Юрий СЛЕПУХИН

У черты заката

Ступи за ограду

Юрий
СЛЕПУХИН

У черты
заката

Ступи
за ограду

Юрий СЛЕПУХИН

У черты заката

РОМАН

Ступи за ограду

РОМАН

ЛЕНИЗДАТ
1980

С 47
84.3(2)7

Слепухин Ю. Г.
С 47 У черты заката. Ступи за ограду. — Л.: Лениздат, 1980. — 560 с., ил.

В однотомник ленинградского прозаика Юрия Слепухина вошли два романа. В первом из них писатель раскрывает трагическую судьбу прогрессивного художника, живущего в Аргентине. Вынужденный пойти на сделку с собственной совестью и заняться выполнением заказов на потребу боссов от искусства, он понимает, что ступил на гибельный путь, но понимает это слишком поздно.

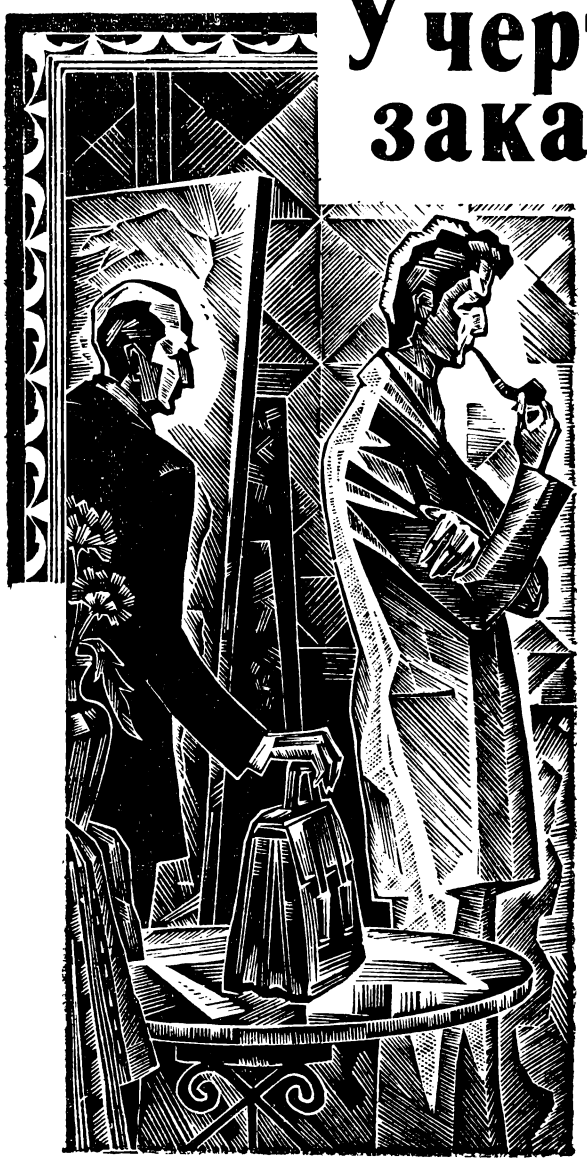
Во втором романе раскрывается широкая панорама жизни молодой американской интеллигенции середины пятидесятых годов.

С $\frac{70302\ 4702010200-037}{M171(03)-80}$ 151—80

84.3(2)7

© Лениздат. 1980

У черты заката



ЧАСТЬ I

Мы живем в двадцатом столетии

1

Последний посетитель ушел в четверть десятого; с полчаса салон пустовал, потом появилась молодая пара. Не задерживаясь, они торопливо прошлись вдоль развешанных по стенам холстов и направились к выходу, негромко болтая и пересмеиваясь.

Человек, сидящий на диванчике в углу салона, поднял голову и устало прищурился вслед ушедшим. На больших часах над выходом обе стрелки сошлись на десяти. Да, посетителей больше не будет.

Служитель в серой ливрее вышел из боковой двери и начал выключать софиты. Человек медленно поднялся с дивана. Конечно, не надо было связываться с этой затеей. На деньги, которые уплачены за помещение, он вполне мог бы прожить пару месяцев, если не больше. А теперь? Впрочем, не исключена еще возможность, что завтра что-нибудь купят. Маклеры обычно покупают в последний день выставки, когда художник более сговорчив. Хотя и это маловероятно.

Развешанные вокруг картины — его собственные картины, которые никто не хочет покупать,— вызывали жалость и отвращение. Опустив голову, чтоб их не видеть, он медленно побрел к выходу.

Человек стоял на углу, сцепив за спиной пальцы, и попыхивал трубкой, морщась от горечи дешевого табака. Сотни автомобилей катились мимо непрерывным сверкающим потоком, в глазах рябило от разноцветных вспышек рекламного электричества, из соседнего бара доносились обрывки танцевальной музыки. Шумливая южная толпа, праздная и беззаботная в этот субботний вечер, теснилась вокруг, и в этой толпе он был одинок — словно отделенный от всех невидимой, но непроницаемой стеной. Да хоть застрелись он сейчас здесь—в самом центре Буэнос-Айреса, на углу Флориды и Коррьентес, — его смерть никого не заинтересует, разве что какого-нибудь безработного репортера...

Трубка погасла, он выколотил ее о каблук и принялся снова набивать табачной трухой со дна кисета. Декабрьская ночь была душной, стены домов и рифленые плитки тротуара щедро отдавали накопленный за день зной. Все казалось бредовым — и эта жара за две недели до Нового года, и воткнутая в черное небо белая, словно раскаленная прожекторной подсветкой, огромная игла Обелиска, и — главное — то, что он сам, Жерар Бюиссонье, стоит сейчас здесь, на этой опутанной неоновым серпантином улице, за тысячи миль от ближайшего французского порта.

Франция, Париж... Облетевшие каштаны и острые шиферные крыши, лабиринт узких горбатых переулков Монмартра, гул зимнего ветра в мостовых пролетах, медленное движение барж, тысячелетние камни и воздух, этот неповторимый воздух Парижа... Зачем только он оттуда уехал, зачем отправился искать признания на чужбине? Как можно было думать, что тебя поймут и оценят чужеземцы — после того, как не поняли соотечественники...

— Что ж, не ты первый, не ты последний,— пробормотал он вслух, зажигая спичку.— Утешайся хоть этим...

Человек стоял, сутуло опустив плечи, в понурой позе усталого мастерового. Но это не была радостная усталость после работы, и она пришла не сегодня и не вчера; уже несколько месяцев, ложась ли спать, просыпаясь ли, он чувствовал себя одинаково усталым — хронически усталым от этой собачьей жизни, от вечного безденежья, от несокрушимого равнодушия публики. И от сомнений, бороться с которыми становится все труднее.

Мы живем в первое десятилетие атомной эры, на переломе самого грозного века человеческой истории. Пятьдесят миллионов убитых в последней войне, Орадур, Дахау, Дрезден и Хиросима; может быть, после всего этого действительно нельзя продолжать жить так, как пытался жить он — этаким новым Ван-Гогом,— не знать ничего, кроме работы, скитаться по стране с этюдником, вновь и вновь открывая для себя, чтобы запечатлеть на холсте, сказочную прелесть волнующейся степной травы и высоких полуденных облаков над равниной Камарги, радужные брызги прибоя, дробящегося о бретонские скалы, сонные заводи на Луаре, бесчисленные оттенки листвы виноградников Шампани... Может быть, это и в самом деле уже никому не нужно? Маршаны, правда, брались выставлять его холсты, похваливали колорит и композицию, но всякий раз при этом давали понять, что рассчитывать особенно не на что. «Вы понимаете, дорогой метр, пейзаж — это сейчас не очень...»

Жанровые вещи, написанные на исторические сюжеты, тоже не имели успеха, хотя «Отъезд из Вокулёра» и удостоился, правда, нескольких благосклонных отзывов печати. Ему самому, всегда относившемуся к своим полотнам с придирчивой требовательностью, «Отъезд» нравился даже сейчас, спустя одиннадцать лет. Да, нравился ему, автору, но не публике. И неизвестно — кого же, наконец, следует отнести к категории ослов: публику или его самого, Жерара Бюиссонье?

Очевидно, приходится признать, что осел — это именно он. И что Дезире была тысячу раз права, когда заявила ему о своем нежелании продолжать игру в романтику и голодать к вящей славе искусства...

Во рту стало горько от попавшего на язык табачного сока. Бюиссонье сплюнул, развинтил и продул трубку, привычным движением пальца умял табак. Да, так она ему и сказала, именно такими словами, в позапрошлом году на Кот д'Азюр. Поездка в Жюан-ле-Пен, на которую ушли их последние сбережения, была ее затеей, сам он никогда не любил модных курортов...

— Если не ошибаюсь, сеньор Бюиссонье? — раздался за его спи-

ной незнакомый голос, произнесший испанские слова с сильным иностранным акцентом.

Вздрогнув от неожиданности, он обернулся и увидел перед собой незнакомца — крепкого, небольшого роста, в свободного покроя светлом костюме и сдвинутой на затылок панаме.

— Не ошибаетесь,— с некоторым недоумением ответил Бюиссонье.— Чем могу служить?

Незнакомец добродушно улыбнулся:

— О, я просто увидел и взял смелость подойти! Я вчера... как это... имел быть в «Галериа Веласкес», на ваша экспозиция. Мое имя есть Брэдли, Аллан Райбэрн Брэдли.

— Очень приятно...—Бюиссонье пожал протянутую руку, та вцепилась энергично, с деловой хваткой.— Если вам удобнее, мы можем говорить по-английски.

— Неужто умеете? — обрадовался тот.— Тем лучше, будь я негр, не придется выламывать язык. Послушайте, мистер, вы сейчас свободны? Я бы предложил зайти пропустить по глотку — суббота ведь, в такой вечер грех не дать себе разрядку. Как вы на это смотрите?

Жерар ответил не сразу. Пить с незнакомыми он не любил, а тем более пить на чужой счет и не иметь возможности ответить встречным угощением.

— Спасибо, но я... сегодня меня не особенно тянет на выпивку, честно говоря...

— Бросьте, мистер! — Брэдли ободряюще потрепал его по локтю.— Бросьте, говорю, аппетит приходит во время еды. Впрочем, может, вы нацелились подцепить девочку? Нет? Тогда пошли! Пошли, что вам еще делать — вот так одному и торчать на улице?

«Резонный вопрос»,— подумал Жерар. Или торчать одному на улице, или возвращаться в обшарпанную меблирашку в Барракас — сорок минут трястись в трамвае, а потом пробираться плохо освещенным переулком, мимо выставленных на тротуар зловонных мусорных баков. И если вернуться раньше полуночи, то есть риск встретиться с хозяйкой, которой не уплачено за два месяца.

— Идемте,— согласился он.— Вечер у меня и в самом деле не занят.

— ...Вот пить вы, европейцы, определенно не умеете. Нет, я имею в виду настоящие мужские напитки. Куда это годится — сидеть вот так над бутылкой кислятины! Все равно что заниматься созерцанием собственного пупа. Как в Индии, знаете? Есть у них там такие, сидит целый день и созерцает. Поэтому-то вас и сшибли с арены — по недостатку динамизма. Мы в Штатах подходим к этому делу иначе. Время — деньги, верно? Значит, если мне нужно дать себе встряску, я что делаю? Быстро хлопаю стаканчик-другой — вот так, на два пальца бурбону, а сверху сода. И через десять минут душа у меня уже ликует. А пить вино — чистая потеря времени, и потом это ведь страшно негигиеничный продукт. Ведь его как делают? Ногами. Ногами, будь я негр! Сам видел во Франции: фермеры лезут прямо в чан с виноградом и топчут его ногами. А ноги-то небось и не мыты, э? Тогда как вот это... — Брэдли протянул руку и пощелкал по горлышку бутылки,— это виски вырабатывается с соблюдением всех правил гигиены, можете мне поверить. Это я тоже видел, как его дистиллируют. Чистота неописуемая! Рабочие в белых халатах, все кругом блестит, трубопроводы из нержавеющей стали — ну просто операционная... Нет, что бы вы ни говорили, а виски — штука гениальная, не хуже водородной бомбы. Главное — действует быстро и безотказно. Вот коктейли эти всякие — это уже ерунда, питье для школьниц. Знаете, когда коктейль бывает полезен?

Вот если вам нужно в темпе обработать даму, тогда рецепт простой: два «хайболла», одна пластинка танцевальной музыки, и дело сделано. Э? Признайтесь, что вы в Европе до этой техники еще не дошли. Ведь верно?

— Ну как сказать.— Жерар усмехнулся.— Ваше лестное мнение о Европе, боюсь, несколько устарело.

— Да знаю я ее! В сорок пятом — в Германии и Италии — мы, понятно, обходились без музыки. Достаточно было показать банку корнед-бифа. Но тогда была особая ситуация — разруха, голод, сами знаете... Нет, я сейчас говорю о подходе к этим делам вообще. Европейцу, чтобы затащить девчонку к себе в постель, требуется еще целая чертова куча всяких атрибутов — серебряная луна, чувства, охи, ахи... На кой дьявол все это во второй половине двадцатого века? Просто смешно — вдруг требуется какая-то луна. При чем тут луна? Да по мне — провались она в преисподнюю... В конце концов, что мне нужно — луна или девчонка? Согласитесь сами!

Залпом опорожнив свой стакан, он снова долил его до половины и выбросил из кармана на стол пачку сигарет.

Оркестр заиграл французское танго, медленное и печальное. Несколько пар покачивалось на маленькой танцевальной площадке, освещенной цветными рефлекторами. Бюиссонье сидел прикрыв глаза, мундштуком трубки отстукивая ритм на подлокотнике. Брэдли молча курил и наблюдал за танцующими, потом вдруг снова пришел в возбуждение и ухватил художника за рукав.

— Смотрите, смотрите,— зашептал он громко,— видите ту, в синем? Вот та, что танцует с усатым, — видите? Что скажете, а?

— Да-а, — протянул Жерар, посмотрев на указанную пару.— Действительно, оригинальное лицо... помните боттичеллевскую Афродиту?

— Идите вы со своим Боттичелли,— отмахнулся Брэдли,— я говорю не про лицо, вы лучше обратите внимание на ее фигуру. Здорово, а? Не тело, а миллион долларов, будь я трижды негр. Чем мне нравится современная мода — это тем, что она — в отличие от всех прежних — раздевает женщину, вместо того чтобы ее одевать. В самом деле, эта девчонка в синем, разве она одета? С таким же успехом могла прийти танцевать в купальном костюме... или вообще без ничего. Молодец она, просто молодец... А у вас, кстати, на одной картине неплохая изображена дамочка...

— У меня?

— Да, там еще билетик был — «продано». Красивая такая блондинка, в длинном платье. Видная женщина.

— А, Изольда.— Жерар улыбнулся: Брэдли начинал забавлять его своей непосредственностью. — Единственный холст, на который нашелся покупатель. Так вам, говорите, она понравилась?

— Да, в моем вкусе. Не люблю, понимаете, этих современных... не знаю даже как их назвать. Женщина должна выглядеть женщиной, какого дьявола. Только вы позволите одно замечание?

— Сколько угодно.

— А то ведь ваш брат бывает обидчив. Так вот: мне думается, парня в гробу вы туда присобачили напрасно. Публика, Бусс, таких штук не любит. Мрачное напоминание — улавливаете мою мысль? Даже странно, что эту картину купили. Мексиканец какой-нибудь, не иначе.

— Почему мексиканец? — удивился Жерар.

— А они, сукины дети, такое обожают. Не приходилось бывать в Мексике? Там у детей любимая игрушка — скелетик на веревочке. Дергаешь, а он пляшет. Представляете? Я раз зашел в кондитерскую на Пасео де Реформа, спросил кофе с пирожными. Знаете, что мне

принесли? Шоколадные гробики, будь я негр! Меня чуть не стошнило. Просто некрофилия какая-то, причем поголовно. У нас в Штатах, скажем, эту вашу картину никогда бы не купили. Нет, в самом деле, чего это вам вздумалось изобразить покойника?

— Вы «Тристана и Изольду» помните? Он ведь ее не дождался. Она приехала, а он уже мертв. Вот эту сцену я и написал.

— А-а, ну тогда конечно,— согласился Брэдли.— Нет, я про эту парочку не читал. Нет, понимаете, времени — слишком я для этого занят. А выдастся свободный день — тянет на выпивку или на что-нибудь вообще такое...— Брэдли вздохнул и отпил глоток. — Никогда не занимайтесь бизнесом, Бусс, послушайте опытного человека. Бизнес выжимает человека, как апельсин, это самая каторжная работа, будь я негр! Это только со стороны кажется, что бизнесмены живут и наслаждаются жизнью... Понятно, есть и такие — ежедневный гольф, прогулки в Европу, женщины и так далее, но это не настоящие дельцы, это, скорее, просто снобы, которые не делают деньги, а тратят их. Знаете, как живет настоящий бизнесмен? Он ни шиша не знает — ни девчонок, ни хорошей выпивки, никаких там парижей или неаполей. Он работает по восемнадцать часов в сутки, как самый последний черномазый сукин сын, и не видит ничего, кроме своих секретарей и своих телефонов. У него полно долларов, но он даже не может хорошо пожрать, потому что к сорока годам у него уже язва желудка и врачи разрешают ему одну овсянку...

— В самом деле, каторга, — кивнул Жерар, рассеянно наблюдая за танцующими. — Впрочем, вы, Брэдли, не производите впечатления выжатого апельсина. А?

Брэдли пожал плечами.

— Я не веду крупных дел, Бусс. Я представляю некоторые фирмы, но... скорее как служащий, как агент на процентах... а самостоятельных дел я не веду. Поэтому у меня больше свободы, больше возможностей располагать собой. Да и то... Я вам говорю — почитать некогда! Вообще паршиво. Вам, людям свободной профессии, можно только завидовать. Давайте-ка выпьем за людей искусства.

— Мерси.

Они выпили и некоторое время сидели молча, думая каждый о своем. Потом Брэдли нарушил молчание, внезапно рассмеявшись:

— Это я вспомнил о «людях искусства»... У меня есть в Штатах приятель, киношник, работает для «Уорнер Бразерз». Вот где обстановочка! Пьют они все, как сукины дети. Этот мой приятель летал в прошлом году на кинофестиваль в Монтевидео — вот, рассказывает, была потеха...

— Это всюду так, более или менее,— зевнул Жерар. — Я, правда, близко с этим народом не общался, но слышать приходилось. Во Франции на киностудиях тоже черт знает что делается.

— Да, эти умеют сочетать приятное с полезным,— посмеялся Брэдли.— И деньги делают, и веселятся в то же время. Но, надо сказать, работать наши ребята умеют, не даром получают свои доллары. Вам вообще наши фильмы нравятся?

— Признаться, не особенно.

— Серьезно? Ну, это вы напрасно. Правда, многие жалуются, что у нас фильмы пресные... Но это уж цензура виновата. Вы знаете, у нас на этот счет строго: если артистка снимается в купальном костюме, то он должен быть строго по регламенту. Цензоры тут как тут: чуть на полдюйма короче, сразу тебе хлоп вето — и в преисподнюю. Эти цензоры страшный народ, прямо коммунисты какие-то... Послушайте, Бусс, когда закрывается ваша выставка?

— Завтра.

— О, уже? Отлично... Давайте-ка встретимся с вами послезавтра вечером, у меня будет к вам деловой разговор. Заходите лучше ко мне на́ дом, там поговорим без помех. Я живу на Санта-Фе, почти на углу Кальяо. Вот, возьмите карточку... Это девятый этаж, квартира «Е»...

2

День спустя, в половине одиннадцатого вечера, Жерар вошел в подъезд нового многоэтажного дома на авеню Санта-Фе. Уже в нижнем вестибюле обстановка непривычной роскоши вызвала у него раздражение. Скрытые в карнизах люминесцентные трубки мягко освещали большой холл, сплошная зеркальная стена еще больше усиливала эффект пространства, под ней, в узком мраморном желобе, росли причудливой формы декоративные кактусы. После уличной бензиновой духоты особенно приятной казалась прохладная свежесть кондиционированного воздуха. Жерар мельком взглянул в зеркало, пригладил волосы и, еще раз сверившись с адресом в записной книжке, пошел к лифту.

Бесшумно задвинулась лакированная дверь кабинки, пол плавно нажал на подошвы. Жерар стоял ссутулясь, держа руки в карманах пиджака, и исподлобья смотрел на вспыхивающие над дверью цифры. Он уже ругал себя за то, что принял приглашение Брэдли и явился в этот дом, где все било в глаза показной роскошью. На кой черт ему все это сдалось, в самом деле?.. Мало он еще видел богатых кретинов! А впрочем, кто знает, что он ему предложит... Седьмой... Если он хочет что-нибудь купить... Восьмой, следующий, кажется, его. Одним словом, посмотрим.

Вспыхнула девятка — лифт так же плавно замедлил ход и остановился. Дверь мягко щелкнула и откатилась. Выйдя, Жерар решительным шагом направился к двери, на которой блестела золоченая буква «Е».

Брэдли, одетый по-домашнему, в пестрой гавайской распашонке, встретил его радушно.

— А-а, Бусс! — воскликнул он.— Как поживаете, старина? Ну и отлично, проходите в ливинг[1], я сейчас похлопочу насчет пойла... Вы знаете, кто-то вылакал у меня весь коньяк, так что если вы не против коктейлей... я сейчас, один момент...

Жерар опустился в низкое кресло и принялся набивать трубку, с любопытством оглядываясь вокруг. Маленькая гостиная была обставлена с тем стандартным комфортом, который свидетельствует только о богатстве, ничего не говоря о вкусах хозяина. Выдержанная в стиле «функциональ» низкая мебель, обитая модной тканью пестрого геометрического рисунка, в углу — большой телевизор с никелированными усиками антенны. На стенах, окрашенных в приятный для глаз бледно-зеленый цвет,— несколько акварелей среднего качества, морские и горные пейзажи. Низкий длинный стеллаж был пуст, если не считать десятка книжек карманного формата в ярких глянцевитых обложках и номера «Лайфа»; на верхней доске валялась кожура апельсина и стоял великолепный «Зенит-Трансконтиненталь» в обтянутом черной кожей футляре. Шкала приемника светилась, но регулятор громкости был прикручен — очевидно, Брэдли слушал музыку до прихода гостя. Раскуривая трубку, Жерар еще раз выругал себя за то, что не отказался от приглашения.

Вошел хозяин с нагруженным подносом в руках. Ногой придвинув к креслу Жерара низкий столик неправильной овальной формы, он рас-

[1] Living-room — гостиная (*англ.*).

ставил на нем бутылки, шекер для сбивания коктейлей и пластмассовую мисочку со льдом.

— Ну, кажется, все в порядке,— заявил он, швырнув поднос на диван.— Жарко на улице?

— Духота,— поморщился Жерар.— Проклятый климат, никак к нему не привыкну.

— Давно в Аргентине? — поинтересовался Брэдли, придвигая для себя второе кресло.

— Третий год.

— Испанским овладеть успели?

— Вполне... Для французов он легок — те же корни.

— Ясно. А мне вот трудно. У вас, наверное, вдобавок ко всему еще и способности к языкам. Английский где учили?

— В школе, где же еще. А потом — практика во время войны... У нас в отряде был один англичанин, мы с ним друг друга и натаскивали. Сам-то он был филолог, интересовался французским.

— Понятно. Ну, а как вам вообще Аргентина?

Жерар сделал неопределенный жест:

— Страна неплохая, если не считать климата...

— Вы правы, климат здесь паскудный, без кондиционированного воздуха не проживешь.

— Проживешь, и еще как. — Жерар усмехнулся. — У меня комнатка под самой крышей — в январе прошлого года по ночам бывало до тридцати градусов, я специально купил термометр. Как видите, еще жив!

Брэдли сочувственно хмыкнул, покачал головой.

— Ничего, это были временные неприятности,— сказал он. — С кем не бывает... Давайте-ка выпьем за ваш успех.

Отложив сигарету, он принялся манипулировать бутылками, с аптекарской точностью отмеривая в шекер разноцветные жидкости.

— Угощу вас собственным изобретением. — Он подмигнул и, закрыв сосуд, стал трясти, перемешивая содержимое. — Я вообще коктейли не очень... Предпочитаю чистое... Но иногда занятно придумать что-нибудь новенькое. Так выставка ваша, значит, закрылась уже... Ясно, ясно. Вы, помнится, говорили, что «Изольду» удалось продать... За сколько, если не секрет?

Жерар, занятый раскуриванием снова погасшей трубки, молча показал два пальца, пошевелил ими в воздухе.

— Две тысячи песо? Немного... Совсем немного! Вон, возьмите-ка «Лайф» — на полке, рядом с вами. Там репродукция одной картины, называется «Голубое молчание»,— продана в Нью-Йорке за полторы тысячи долларов... Тоже с персональной выставки, как и ваша. Долларов, Бусс, понимаете? Вот посчитайте — курс сегодня был двадцать три... Двадцать три плюс одиннадцать пятьсот... Это составляет почти тридцать пять тысяч песо. В семнадцать раз дороже вашей!

Жерар потянулся к стеллажу, взял «Лайф» и, хмурясь, нашел указанную страницу с репродукцией «Голубого молчания». Прочитав сопроводительный текст, он несколько секунд рассматривал картину, потом перевернул журнал вверх ногами, еще посмотрел и пожал плечами.

— Не ново,— сказал он, бросив «Лайф» на место. — Видал я вещи и позаковыристее.

— Это верно,— согласился Брэдли, разливая по стаканам жидкость неопределенного цвета. — Берите, лед добавьте по вкусу... Это верно, есть и позаковыристее. Здесь вообще ничего не разберешь, так что и пугаться нечего, а я вот в прошлом году в Европе был на одной выставке, этих — как они? — суперреалисты, что ли...

— Сюрреалисты.

— Именно. Так там меня, знаете, до холодного пота прошибло, будь я негр. Ваше здоровье, Бусс.

— Мерси,— кивнул Жерар. — Взаимно.

— Знаете, что там было? Например, так: нарисована серая такая плоскость, вроде бетонированной взлетной дорожки, и стоит пара человеческих ступней. Понимаете? Так, приблизительно по щиколотку. И внизу — настоящая ступня: пятка, пальцы, на одном даже мозоль, а выше точно как ботинки — дырочки для шнурков, шнурки развязаны, болтаются, коричневого цвета, как сейчас помню, и внутри пусто. Ну просто стоят на аэродроме чьи-то ботинки, понимаете? И знаете, что самое страшное? Над всей этой чертовщиной — синее-синее небо, в зените — солнце в состоянии полного затмения, просто темный диск и корона, а от этих проклятых ступней-ботинок — тень на две стороны, вправо и влево...

— Я что-то про эту картину слышал... — пробормотал Жерар.

— Вы знаете, я человек не из пугливых,— продолжал Брэдли,— но тут мне просто не по себе как-то стало. Я даже не знаю, как это назвать, такое чувство... Ну, представьте, ночью в темной комнате в вашем присутствии кто-то бредит... Причем страшно бредит, бред ведь бывает и нестрашный. Так вот что-то похожее я испытал перед этой картиной. Ну вот вы мне скажите, Бусс, как это понимать? Я вам скажу прямо: в искусстве я ни черта не смыслю. Но вы-то должны знать. Что это, вот такие картины, — всерьез это или просто так, чтобы деньги из дураков выжимать?

Жерар неопределенно пожал плечами, вертя в пальцах стакан.

— Сложный вопрос, Брэдли, однозначно тут не ответишь... Художник отражает мир таким, как он его видит. Как правило, это всерьез. Другое дело, что... видение мира может быть искаженным, болезненным...

— Вы-то его видите нормальным?

— Я — да. Но опять-таки — нормальным с моей точки зрения, а является ли это нормой для других?.. Кто знает?

Он снова пожал плечами и, криво усмехнувшись, отпил из стакана.

— Возможно, и не является,— продолжал он,— коль скоро публика предпочитает другое. Понимаете, Брэдли... Сколько бы мы ни утешали себя тем, что современники чаще всего ошибаются в своих оценках, все же первая, спонтанная реакция публики кое-что значит...

Брэдли слушал молча, подкидывая на ладони зажигалку.

— Публика...— сказал он задумчиво. — Наверное, не стоит валить всю публику в одну кучу... Там ведь тоже попадаются разные типы. Одни любят современных живописцев, с выкрутасами, а другие... Да и это увлечение модернизмом, должен вам сказать, не очень-то меня убеждает. Это, скорее, погоня за модой. Модно — значит, хорошо. В картинах, если говорить всерьез, непричастные к искусству люди обычно не разбираются... Вот и покупают то, что покупают все. Понятно, есть и другие... У меня вот, знаете, здесь много знакомых. В деловом мире, конечно. Очень богатые люди — по-настоящему богатые, даже в американских масштабах... Ну, у них тоже висит все это модное дерьмо — но где висит? На виду, понимаете? Где люди бывают. Это как вывеска. А на самом деле они, конечно, прекрасно понимают, что все это цента ломаного не стоит. Взять хотя бы старика Руффо — знаете небось, кожевенный король? У него еще здоровенная такая реклама на крыше Эдифисио Вольта, неоновая: «Кожи Руффо — лучшие в мире»...

— Ну, видал. Так что?

— Просто вспомнил,— усмехнулся Брэдли. — У него одна из лучших коллекций Сальвадора Дейли.

— Дали́, — хмуро поправил Жерар.

— Ладно, пускай так, вы вообще на мое произношение плюньте, я оксфордов не кончал. Так я говорю, у него коллекция одна из лучших, и все подлинники. А сам старик мне жаловался: я, говорит, когда мимо прохожу, глаза зажмуриваю... Погодите-ка, что-то наши стаканы пустуют...

Жерар, хмурясь и попыхивая трубкой, молча следил за ловкими движениями волосатых рук своего нового знакомца. Руки ему не нравились — мясистые и короткопалые, уж он-то, как художник, знал толк в руках. А сам Брэдли? Черт его разберет... Так, ни рыба ни мясо, типичный нувориш. Вроде добродушный, а вообще кто его знает.

— Мерси,— кивнул он, принимая стакан.— Так что́ вы начали рассказывать об этом Руффо?

— Ваше здоровье... Да, так я говорю — для людей он держит этого Сальвадора, а у самого в спальне на самом видном месте висит тициановская «Даная», и копия-то довольно посредственная. Вот вам и любовь к модернизму. Небось Пикассо какого-нибудь не повесил, хе-хе-хе! У него вообще много там картин, старые мастера, и все на такую тему... Разные Венеры, Леды, Сусанны, потом там еще Европа на быке и эта, как ее, с облаком...

— Ио, что ли?

— Именно. Нимфа Ио, Юпитер там в виде облака... Ловкий был парень, этот Юп,— засмеялся Брэдли,— вот уж действительно умел подходить к девчонкам... Ну ладно, не в том дело. Так что, видите... Искусство есть искусство, как его ни перелицовывай. Конечно, за модой люди гоняются, это верно. У меня вот племянница в Штатах, в Кентукки... Так к ним как ни приедешь — она всякий раз уже по-новому. То у нее юбка до колен, то чуть ли не до полу, а этим летом заехал — так она гостей принимает в теннисных штанишках, вот до сих пор, будь я негр. И все ее подружки так, а парни — в синих рабочих брюках, фуфайки на них бейсбольные и головы под машинку острижены —как каторжники, страшное дело. Мода, говорят, ничего не поделаешь! А вас мне жалко, Бусс... Черт возьми, с вашим талантом можно было бы...

— Ладно, Брэдли,— грубо сказал Жерар,— сентименты можете оставить при себе. До сих пор я не подох — надо полагать, не подохну и впредь.

— Подыхать вам ни к чему... Вам жить надо — вот в чем штука. Подохнуть — это легче всего, Бусс, это никогда не поздно. Согласны?

— Я не люблю прописных истин, Брэдли. Вы, кажется, пригласили меня по какому-то делу? Выкладывайте, чего зря болтать.

— Дело...— смутился Брэдли. — Видите ли, Бусс, дело есть, тут вы попали в точку... Только я не знаю, как за него взяться... Черт, не гожусь я для таких поручений, будь я негр...

Жерар поднял брови:

— У вас ко мне поручение? От кого?

— Да... Точнее, не именно к вам, а вообще... Но это предложение я могу сделать вам, потому что... Прежде всего вот что, Бусс. Говоря откровенно, вы верите в возможность того, что я, увидя вас, просто захотел вам помочь? Просто помочь — честно, безо всякой для меня выгоды...

— В принципе,— Жерар пожал плечами,— допустим.

— Так вот, я хочу, чтобы вы поверили в мою искренность. Нам, американцам, обычно никто не верит... Слишком уж наши политики нагадили по всем пяти континентам, что тут скрывать. Но я не политик — я просто бизнесмен и человек со связями и средствами. Нам иногда приходит в голову такое желание, вы знаете... Всякие там Карнеги или Рокфеллеры — те основывают музеи, университетские фонды, стипендии и всякую такую штуку, я этого, понятно, не могу — не те воз-

можности. Но помочь одному-другому — это дело другое... В частном порядке, так сказать. Видите ли... Я просто мог бы предложить вам денег. Но вы бы их не взяли. Верно?

— Верно,— ответил Жерар, снова набивая трубку. — Вы чертовски догадливы, Аллан.

— Я так сразу и понял. Это все ваша проклятая европейская гордость, но вообще вы правы. Принимать подачки вам не к лицу, да и ни к чему, вы и без них проживете. Поэтому я решил предложить вам дело другого рода... Только давайте договоримся — вы меня выслушаете спокойно, и если у вас появится желание дать мне в морду, постарайтесь от этого воздержаться.

— Ладно,— засмеялся Жерар,— удержусь. Я уже давно чувствую, что вы хотите подъехать ко мне с какой-то пакостью.

— Да, по сути дела это пакость,— серьезно согласился Брэдли. — Видит небо, мне это предложение не по душе и самому, но в данный момент я просто не вижу другой возможности вам помочь. Сейчас я расскажу вам, в чем дело, но только еще раз прошу верить в полную мою незаинтересованность во всей этой истории...

Он торопливо допил свой коктейль и подался вперед в кресле, соединив концы растопыренных пальцев.

— ...Я исхожу только из желания вам помочь. Вы и сами сейчас увидите, что никакой возможности заработать здесь у меня нет. Вы помните, я рассказал вам о вкусах старика Руффо в отношении картин?

— Ну, — кивнул Жерар, окутываясь дымом.— Леды, Сусанны... Вкус, довольно распространенный в его возрасте.

— Дело в том, что когда-то он был большим бабником. Да и сейчас остался, но главным образом платонически,—годы не те, да и здоровье не позволяет. Остается одно—посмотреть на хорошую картину. Но те, что у него висят, его как-то... не удовлетворяют. В конце концов, все это старье можно увидеть в любом музее. Да и стандарт женской красоты был тогда несколько иной, не правда ли? В конце концов, все эти старинные красотки слишком уж смахивают на упитанные тушки с реклам Свифта—сплошной бекон, никакой линии... Ну, а старик злится, он ведь, между нами говоря, в этом толк понимает. Ему хочется увидеть что-нибудь такое, знаете... чтобы по-настоящему дух захватывало. Чтобы и фигурка была как у Мэрилин Монро, и вообще все... Как это вы называете, композиция? Чтобы и вся композиция картины была бы такой... Ну, вы понимаете, не слишком пуританской...

Жерар, уже сообразивший, в чем дело, смотрел на Брэдли с изумлением.

— Слушайте, Аллан,— сказал он,— можете не продолжать, я уже...

— Стоп,— прервал его тот,— наберитесь терпения, Бусс. Вы, я вижу, уже догадались — тем лучше. Одним словом, дон Ансельмо просил меня подыскать ему хорошего художника — именно художника, не какого-нибудь сопляка из модернистов, — который согласился бы написать с полдюжины таких картин для его галереи. Так. Что касается цены, то вы сами понимаете — Руффо может позволить себе платить по-настоящему хорошо — скажем, в пределах от пятнадцати до двадцати тысяч за полотно, разумеется, в местной валюте. Но, я считаю, и это неплохо? И потом учтите, что тут важно понравиться; попадете в точку — и уже в дальнейшем цены диктовать будете вы, не он. Вот мое предложение, Бусс. Вернее, предложение дона Ансельмо Руффо...

Брэдли облегченно замолчал. Жерар продолжал смотреть на него с тем же выражением.

— Послушайте, — сказал он наконец, пожав плечами. — черт возь-

ми... Неужели вы и впрямь могли подумать, что я пойду на такое? Вы производите впечатление разумного человека и вдруг преспокойно заявляете мне в глаза такую штуку. Тут даже не приходится искать каких-то мотивировок для отказа, вы ведь понимаете. Вы ведь не ребенок, чтобы я поучал вас, что можно делать и что нельзя...

— Минутку, Бусс,— перебил его Брэдли, предостерегающе подняв руку. — Вы недавно сказали, что не любите прописных истин. Верно? В таком случае оставьте их при себе. Я заранее знаю все, что вы мне сейчас скажете, и все это будут именно прописные истины, будь я негр. Давайте обойдемся без них, вы совершенно верно заметили, что я уже не ребенок. Мне пятьдесят лет, вам около тридцати, так что мы оба разумные люди, причем я несколько разумнее вас. Не обижайтесь, я имею в виду жизненный опыт и так далее. Так вот. Повторяю, вы мне ничего нового не скажете — этические нормы, общественный долг служителя искусства, воспитательная роль — все это я знаю. Чем говорить громкие слова, давайте-ка лучше разберемся в их смысле...

— Мне нечего в них разбираться, Брэдли,— уже резко сказал Жерар,— я тоже не мальчишка и давно уже разобрался во всем, в чем считал нужным.

Брэдли добродушно усмехнулся, разливая по стаканам остатки коктейля.

— Боюсь, что плохо вы разобрались, Бусс... Плохо, будь я распоследний черномазый. Ваша же собственная биография об этом свидетельствует.

Жерар опустил трубку и нахмурился:

— Моя биография?

— Ваша собственная, — подмигнув, повторил Брэдли. — Вы, я вижу, заинтригованы? Простая штука, Бусс,— я не люблю иметь дела с неизвестными. И когда вчера я решил вам помочь, то первое, что я сделал, — позвонил кому следует, и через два часа мне прислали ваше досье из архива иммиграционного управления. В конце концов — будем откровенны,— вы могли оказаться чем угодно, от военного преступника до международного афериста. Здесь, в Латинской Америке, можно нарваться на кого хотите. А так я убедился, что вы именно то, чем показались мне с первого взгляда,— обычный честный человек, плюс к тому талантливый, которому просто не повезло в жизни...

— Это не касается никого, кроме меня. Ясно?

— Дорогой мой, я вас понимаю! Выпьем за то, чтобы и вы поняли меня так же хорошо.

Продолжая хмуриться, Жерар залпом опорожнил свой стакан в три глотка. Брэдли, отпив из своего, закурил и занялся приготовлением новой порции.

— Ваша биография...— задумчиво говорил он, морщась от дыма зажатой в углу рта сигареты и разглядывая на свет бутылки,— кое в чем напоминает мне... не в деталях, а так... в обилии веселеньких иллюстраций на тему «Общество и личность», хе-хе-хе-хе... Вы вот, в частности, участвовали в Сопротивлении — верно? А потом у благодарной Четвертой Республики не нашлось для вас нескольких тысяч обесцененных франков на стипендию...

— Как видите, обошелся! — огрызнулся Жерар.

— Это делает честь вашей настойчивости, но не меняет факта.

— Будь я проклят, если это имеет отношение к нашему разговору. Куда вы заехали, черт вас побери? При чем тут мои взаимоотношения с Четвертой Республикой?

— Поставим знак равенства между Францией и человеческим обществом вообще. Так будет понятнее?

Брэдли встал и принялся с виртуозной ловкостью трясти шеке
Поднялся и Жерар.

— Вот как? — насмешливо спросил он. — Можно продолжить в
шу мысль? Значит, если общество меня не оценило или в чем-то ме
обидело, я должен начать мстить этому обществу, переключившись н
порнографию? Так?

Раздраженно фыркнув, он прошелся по комнате, сунув кулаки
и без того уже оттянутые карманы потрепанного спортивного пиджак

— Дешевая логика! — крикнул он, резко остановившись. — И воо
ще я повторяю, что не нахожу нужным продолжать этот разговор.

— Послушайте, да чего вы кипятитесь, в самом деле,— добродуш
но отозвался Брэдли, кончив сбивать коктейль и осторожно ставя ш
кер на столик. — Можно подумать, что я вас насилую... Не хотите — н
надо, мне-то что. «Месть обществу», «порнография»... До чего вы
французы, любите громкие слова! Кто вам говорит о том, чтобы в
мстили обществу? Я просто из чистого желания помочь советую вам -
поменьше думать об этом самом обществе и побольше о себе. Вот и вс
А вы уже чуть ли не в анархисты меня производите, будь я негр. Ве
вы не можете закрывать глаза на простой факт: вы-то понимаете сво
искусство как одну из форм служения обществу, а само общество в
все не желает, чтобы вы ему служили. Есть возражения? Не дума
Сколько ваших картин получило признание общества, публики? Ну
Молчите? То-то, Бусс. В вашем возрасте не стоит превращаться в ц
ника, но пора бы приобрести трезвый взгляд на вещи. Вы работае
уже около десяти лет, и хорошо работаете, и никому нет дела до в
ших работ. Ваши картины никому не нужны, Бусс, поймите это! Пр
должая работать в своем жанре, вы обречены оставаться вечным н
удачником. Это так же верно, как то, что меня зовут Аллан Райбэр
Брэдли. Вы даже жениться не сможете, потому что семью вам не н
что будет прокормить. Кстати, у вас во Франции была девушка. В
с ней порвали? Почему?

Жерар быстрым движением опустил стакан на столик, расплеск
коктейль.

— Что же вы молчите? — продолжал Брэдли. — Поверьте, я спр
шиваю не из пустого любопытства.

— Подите вы к черту, — сдавленным голосом произнес Жерар.
Подите вы к черту со своими вопросами, понятно?

Он отошел к окну. Брэдли покосился на его сутулую спину и пок
чал головой.

— Беда с вами, Бусс, — вздохнул он, разминая в пальцах сигар
ту. — Кстати, мы сейчас в одинаковых ролях: я так же навязываю
вам со своей помощью, как вы — обществу со своим служением. И в
отталкиваете меня так же, как общество — вас...

Жерар не слушал. Тупая боль сжала его сердце. Дело даже
в напоминании о самой Дезире — в конце концов, она оказалась дале
не тем, что он думал... Хотя как знать, в других условиях и Дези
могла бы быть другой. Но вообще дело не в ней. Дело сейч
совсем не в ней.

Через авеню Санта-Фе наискось, на крыше многоэтажного дом
крутится огромная зеленая автопокрышка, и под нею каждые пять с
кунд оранжевым пламенем вспыхивает выписанное стилизованным гот
ческим курсивом слово «Файрстон». Черт возьми, в Буэнос-Айресе
осталось, кажется, ни одного уголка, где бы не мозолила глаза э
марка. «Лучшие покрышки называются Файрстон», «Только Файрст
для вашего автомобиля», «Файрстон экономит для вас на каждом кил
метре пути», «Ваше свадебное путешествие окажется еще более прия
ным с покрышками Файрстон»...

Во Франции покрышек Файрстон он не видел, там был Мишлен — потешный, составленный из надутых резиновых камер человечек в автомобильных очках, похожий на распухшего водолаза в скафандре. Дезире очень любила этого толстяка Мишлена, она объявила его божком-покровителем их любви — наверное, потому, что они бóльшую часть времени проводили в дороге и на крыше каждой заправочной станции их встречал именно он, этот «petit bonhomme de caoutchouc» [1], как она его называла. Нет, ты не имеешь права обвинять в чем-то Дезире. Она была хорошей девушкой, и могла бы стать хорошей женой — подругой на всю жизнь. Виноват ты сам. И даже не ты, а обстоятельства. Но дело все-таки не в Дезире. Дело в том, что тебе нечего возразить этому американцу, совершенно нечего. Кому ты нужен со своим служением? Плевать они на тебя хотели — на тебя, на твои идеалы и на твое искусство...

— Вы не слушаете, Бусс? Положим, я и сам не знаю, зачем продолжаю этот разговор. Наверное, потому, что мне слишком понятно ваше теперешнее состояние...

Жерар вернулся, сел в кресло и не отрываясь осушил свой стакан. Потом достал из кармана кисет и стал медленно уминать в трубке табак, неподвижным взглядом уставившись куда-то мимо сидящего напротив Брэдли.

— Я ведь и сам был в свое время иным, — задумчиво продолжал тот, вертя в пальцах зажигалку. — Вы думаете, я всегда был таким? Ошибаетесь, Бусс, я таким не родился. Просто у меня рано раскрылись глаза, вот в чем дело...

Он замолчал, перебрасывая блестящую вещицу с ладони на ладонь. Где-то далеко — очевидно, за стеной, в соседней квартире, — играло радио. Брэдли рассеянно прислушался и снова опустил голову.

— Я вот упомянул о вашей девушке и в связи с этим вспомнил одну историю. Мне тогда было лет двадцать, я работал клерком в Питсбурге — зарабатывал ровно столько, чтобы заплатить квартирной хозяйке, три раза в день пожрать и раз в неделю сходить в кино, разумеется в одиночку. На прачку уже не хватало, и я свои воротнички стирал сам, ночью,— а каждый день полагалось быть в свежем. Да, так там была одна девочка — дочь моего босса, иногда заезжала в офис... Красивая такая, тоненькая. Ну, я, конечно, смотрел на нее, как на ангела небесного,— может, это и было то, что называется «настоящая любовь», не знаю, я с тех пор ничего подобного больше не чувствовал. Разумеется, ни на что я не надеялся,— за душой не было ни цента, а на внешность мою рассчитывать не приходилось... Меня сейчас жабой называют, а тогда просто был головастиком, поганым таким, хилым. Да, так вот...

Брэдли криво усмехнулся и закурил, затянувшись несколько раз подряд. Жерар слушал с угрюмым вниманием.

— В один прекрасный день слышу — мисс выходит замуж. На свадьбу меня, понятно, не позвали, но я так пошел — со стороны поглядеть, когда будут выходить из церкви. Любопытно мне было жениха увидеть — просто не мог представить себе человека, оказавшегося достойным ее. Разве что, думаю, архангел Гавриил или Родольфо Валентино... Да... А оказался он совсем стариком — почти лысый, видно, что только впрыскиваниями и держится, и еще на физиономии экзема какая-то, даже сквозь пудру заметно. Вот вам и архангел Гавриил. А все дело в том, что этот старик был вице-президентом «Юнайтед металлурджик» и стоил не один миллион...

---

[1] Каучуковый человечек (*франц.*).

За стеной едва слышно играет радио, за окнами полыхает разноцветное зарево рекламного электричества, в стакане покачивается обтаявший кубик льда. «Все к лучшему в лучшем из миров...» В удобном, благоустроенном, довольном собою мире с бесшумными скоростными лифтами и кондиционированным воздухом, с кожевенными королями и вице-президентами металлургических компаний. Жаль, что нельзя кондиционировать собственную душу, привить ей бесстрастное спокойствие ничему не удивляющегося автомата. Где-то сейчас Дезире — девушка, которая могла быть женой, другом на всю жизнь...

— Да, Бусс... В тот вечер, пожалуй, и снизошла на меня благодать. Тогда-то я и понял цену всем этим разговорам насчет общества, моральных устоев, «честной бедности» и всяких таких штук. Ну а уж с тех пор я такого насмотрелся... — Брэдли безнадежно махнул рукой и раздавил в пепельнице окурок.— Я по своим делам чуть ли не весь свет изъездил. Только вот за железным занавесом не был, не случилось... А наш «свободный мир» знаю, как изнанку своего собственного кармана. Поэтому-то я и не могу слушать равнодушно ваши разговоры о служении обществу. Нашли чему служить! Да по мне провались оно в преисподнюю, это общество,— такое, каким я его знаю. Я свои деньги сделал методами, за которые полагается тюрьма... Видите, я с вами откровенен... А другие? Вы думаете, другие лучше? Вы знаете, как начинал тот же Руффо? Это любопытная история, вот послушайте. Тут есть такая болезнь скота, страшно заразная, называется «афтоза». Животных, павших от афтозы, полагается закапывать в негашеную известь — это закон. Так вот, в конце двадцатых годов здесь была эпидемия — страшный падеж, чуть ли не треть поголовья погибла от афтозы. Дон Ансельмо Руффо — тогда еще никто о нем ничего не знал, у него была паршивенькая кожевенная фабричка в Сарандй,— он придумал такую штуку: звонил скотоводам и предлагал свои услуги по уборке падали. Ну, те рады, понятно, — брал он за это недорого, а кому охота возиться с таким делом — рыть ямы, доставать известь... А скот падал сотнями, я говорю. Словом, работа закипела: пеоны Руффо ездили по эстансиям и забирали дохлых коров, потом их где-то закапывали в негашеную известь, как полагается, все по закону,— но уже ободранных, понимаете? А шкуры отсылались в Сарандй. Ловко? Пронюхал об этом какой-то инспектор из министерства агрикультуры — Руффо ему взятку. Пронюхали в самом министерстве — Руффо еще несколько взяток! И все остались довольны. Другие кожевенные предприятия прогорали одно за другим, потому что честно ввозили здоровые шкуры из-за границы, а Руффо скупал заводы и дубил свою падаль. Сейчас он, понятно, падалью больше не интересуется, сейчас он всеми уважаемый промышленник, олицетворение коммерческой честности. Подите загляните в его оффис! Настоящее министерство, будь я негр. Из одних стенографисток можно сформировать целую труппу для мюзик-холла—девочки как на подбор. Вот вам то самое общество, которому вы так честно пытаетесь служить.

От долгой тирады у него пересохло в горле, он потянулся к своему стакану, увидел, что в нем пусто, и налил из шекера Жерару и себе. Тот сидел в низком кресле, обхватив руками торчащие колени, и с угрюмым выражением сосал давно погасшую трубку.

— Все это не то, Брэдли,— пробормотал он сквозь зубы,— я хоть и моложе вас, но тоже достаточно хорошо успел изучить «свободный мир», так что никаких Америк вы мне не открываете. Но тот факт — пускай неоспоримый,— что наше общество протухло сверху донизу, еще не является для меня достаточно веским основанием, чтобы делать то, что вы предлагаете. Тут нужно пытаться спасти то, что еще осталось,—

какие-то ценности высшего порядка, вы понимаете,— а не самому превращаться в носителя заразы.

— Опять громкие слова! О какой заразе вы говорите? Что я вам предлагаю—подсовывать порнографические открытки школьникам, что ли? Кого-то развращать? Руффо был законченным развратником уже в то время, когда вы бегали в коротких штанах. Что он, превратится в девственницу от того, что вы сделаете красивый жест и откажетесь от его предложения? Или общество от этого станет лучше? Не будьте же ослом, Бусс! Он найдет себе более покладистого художника и все равно получит свое. А вы потеряете возможность, которая представляется не каждый день,— возможность заработать за несколько месяцев полмиллиона песо и потом жить и работать, ни от кого не завися. Подумайте о перспективах, которые это перед вами открывает. Цель вашей работы — обобщенно говоря — привить публике вкус к той живописи, которую вы считаете хорошей и здоровой. Так неужели вы до сих пор не поняли, что в наши дни вкусы диктует тот, у кого деньги? Вашими картинами сейчас не интересуются вовсе не потому, что они плохи, а потому, что о вас не пишут в газетах. Поймите это, Бусс. Будь у вас деньги, будь у вас возможность снять лучший зал в городе и заплатить газетчикам за хорошее «паблисити» — на ваших вернисажах будут толпиться сливки общества. Вот тогда и начинайте прививать публике свой вкус! А благородные нищие и непонятые гении никого не интересуют,— не то время. Мы живем в двадцатом столетии, пора бы это понять... Чего же вы молчите, Бусс? Если есть возражения — выкладывайте!

Жерар молчал. Что можно возразить? В самом деле, что можно на это возразить? Радио в соседней квартире играло теперь знакомый мотив — модную в свое время румбу «Сибонэй», которую он однажды танцевал с Дезире в маленьком монпарнасском ресторанчике. Это было очень давно,— теперь он потерял Дезире, потерял родину, растерял друзей. Всех этих жизнерадостных ребят, его однокашников по высшей художественной школе, в свое время вместе с ним поклявшихся до смерти бороться за обновление французской живописи. Нечего сказать, обновили...

Он вернулся на место и допил свой коктейль.

— Похоже, что вы кое в чем и правы,— сказал он с кривой усмешкой. Голос его дрогнул.— Я сейчас пока ничего не знаю, еще подумаю... Но вы дайте мне телефон этого типа. Если решу взяться за это дело — я ему позвоню.

— Правильно, вы подумайте,— кивнул Брэдли. — Торопиться с этим некуда, а дело серьезное. Я уже сказал вам, что прекрасно понимаю, насколько неприятным должно быть для вас такое предложение...

3

27 декабря. Уже неделя, как я живу в квартире Брэдли. Через три дня после нашего разговора вдруг является посыльный с ключом и запиской: оказывается, толстяку срочно пришлось вылететь в Штаты месяца на три и он предлагает мне воспользоваться на этот срок его апартаментами. Пожалуй, не стоило этого делать, но хозяйка моя слишком уж ведьма, а искать где-то новую комнату нет ни энергии, ни денег. Да и, откровенно говоря, захотелось наконец пожить в человеческой обстановке. В конце концов, квартира все равно пустовала бы. Брэдли уплатил за нее за полгода вперед, так что в этом смысле мне нечего беспокоиться. Одним словом, сейчас я живу в роскошной квартире, в самом фешенебельном районе столицы, а обедать езжу в порт, в самую дешевую харчевню — «Трес маринерос». Без драки там не проходит ни

одного дня, но зато за песо можно получить полную тарелку жратвы и стакан красного. От Изольдиных двух тысяч почти ничего не осталось, я и сам не знаю, куда они делись. Купил себе туфли, роздал долги, заплатил хозяйке, а на сорочки уже не хватило. Немного отложил на еду и табак, вот и все. Впрочем, все это чушь. Вчера я сделал последнюю попытку — как бы это покрасивее выразиться? — остаться честным человеком и сохранить незапятнанными мои высокие моральные принципы. Увидел в газете объявление: требуются рабочие всех специальностей на строительство текстильной фабрики. Поехал туда. Это за городом, но не так уж далеко. Оказалось, что ездить не стоило. Рабочие им действительно требуются, но в отделе персонала меня спросили специальность и, когда я назвался землекопом, попросили показать руки. После чего служащий пожал плечами и посоветовал бросить тотализатор, «пока не поздно». Принял меня за проигравшегося на скачках,— здесь такие не редкость. Уже на обратном пути я сообразил, что мог бы попросить место шофера. Впрочем, у меня ведь нет профессиональных прав.

На всякий случай побывал в консульстве. Туда иногда обращаются, если нужен учитель французского или коммерческий переводчик. Сейчас ничего нет. Секретарь посоветовал возвращаться во Францию, а относительно денег на проезд обратиться с просьбой в «Клуб французских резидентов». Пошел он с такими советами! Еще унижаться перед всякими дамами-патронессами, только этого не хватало.

Да и что мне даст теперь Франция? Возможность поступить в Иностранный легион и подохнуть от пули какого-нибудь алжирца или аннамита? Тогда уж лучше подохнуть здесь, это по крайней мере честнее (несколько слов зачеркнуто)... страшная злоба на все это проклятое общество, а иногда просто страх.

Такой припадок страха был сегодня ночью — когда я понял, что прочно и окончательно залез в мышеловку и теперь мне отсюда не выбраться. Панический страх. Почти такой же, как тогда в сорок четвертом, когда подрывали эшелон из Клермон-Феррана, а англичан черт принес с их самолетами. С бошами мы справились, а под бомбежку угодили. Меня завалило обломками водокачки, и когда я очнулся и почувствовал себя заживо погребенным — вот там я узнал, что такое страх! Я просто не мог вынуть пистолет — иначе хлопнул бы себя в ту же секунду. Вот так и теперь. Хотя, если подумать, то хуже. Тогда, по крайней мере, было за что умирать, а сейчас тебя завалило — и не знаешь, за что, почему, ради чего. Сплошной бордель.

31 декабря. Ну вот и Новый год, тысяча девятьсот пятьдесят третий от рождества христова. В Париже он уже наступил, здесь наступит через два часа — сейчас его встречают на судах посредине Атлантики. Термометр снаружи показывает плюс 34 по Цельсию. Как ни странно, к этому привыкнуть труднее всего — к новогодней жаре. Хорошо еще, что в квартире воздух искусственно охлаждается.

За окном — дождь бенгальского огня, взвиваются разноцветные ракеты, медленно улетают маленькие бумажные монгольфьеры, освещенные изнутри стеариновой плошкой. Бурный темперамент не позволяет аргентинцам дождаться полуночи — празднование Нового года здесь всегда начинается заранее, чуть ли не с заката солнца. Сегодня я истратил последние пиастры — купил куклу дочери консьержа Аните, а для себя бутылку хорошего бордоского. В двенадцать включу радио, настроюсь на Франс-II и буду слушать и пить за собственные успехи.

Да, вчера звонили из консульства — заходил какой-то тип, спрашивал обо мне, похоже, что хочет купить «Отъезд из Вокулёра». Я ответил, что эта вещь не продается. Секретарь пробурчал что-то насчет

того, что я, мол, живу в квартире с телефоном и отказываюсь продавать картины, а прикидываюсь безработным. Я не дослушал и повесил трубку. Потом меня подмывало позвонить ему и пригласить на коктейль-парти. Если бы он увидел квартиру — совсем бы рехнулся. А по сути дела, «Отъезд» следовало продать. Какие уж тут красивые жесты, когда жрать нечего! Но все равно, Жаннету я не продам. Слишком к ней привык. Тем более что лишняя тысяча пиастров ничего не изменит, а только оттянет развязку.

8 января. Потешная история. Уже четыре дня промышляю в «Трес маринерос» карандашными экспресс-портретами — увековечиваю посетителей. Желающих много, хорошо платят. Впрочем, теперь эти глаголы следует переставить в «пассэ дефини»: промышлял, увековечивал, платили. Напротив харчевни расположена минутная фотография — я этого просто не учел. Сегодня, когда я как раз был в ударе и увековечивал одного парня с финского лесовоза, зашел фотограф — повертелся, заглянул через мое плечо. А под вечер, когда я в радужном расположении духа шел отдыхать после трудов праведных, со мной поравнялась какая-то мрачная личность и таким же мрачным тоном посоветовала отдать швартовы и переменить якорную стоянку. Он даже не уточнил, что меня ожидает в случае ослушания. Это, как говорится, было понятно без слов. Стоянку я пообещал переменить, потом личность попросила у меня два пиастра на кружку пива, и мы расстались поджентльменски.

23 января. Звонил в консульство — спросил, не оставил ли адреса тот тип, что интересовался «Отъездом». Мне с ледяной любезностью ответили, что нет, к сожалению. Нет так нет. Вчера был по объявлению в рекламном агентстве «Орбе публисидад», им там требуется художник. Роскошная обстановка — стекло, нержавеющая сталь, мебель какого-то марсианского стиля, похоже на реквизит из фильма «Год 2000». Очень милая сеньорита из породы синтетических блондинок, типичная голливудская гёрл. Встретила меня так любезно, что я уже счел себя принятым,— усадила в марсианское кресло, сама села напротив, предложила английскую сигарету. Узнав, что я француз, рассыпалась в похвалах Парижу, где проводила отпуск в прошлом году. Отдав дань светской болтовне, я поинтересовался — что, собственно, потребуется от меня для того, чтобы осчастливить «Орбе» своим сотрудничеством. Оказалось, что потребуется совсем немного: справка о политической благонадежности (зачем, черт побери?) и несколько работ — с указанием, где, кем и когда были опубликованы. «Пусть мсье представит это господину директору, и в течение недели господин директор даст мсье ответ. О, мсье не пожалеет, если решит работать для нашего агентства,— с лучезарной улыбкой заверила сеньорита.— «Орбе публисидад» на хорошем счету, за один сегодняшний день к нам поступило шесть кандидатур...» Я небрежным тоном ответил, что пока не вижу за «Орбе» никаких преимуществ перед известными мне европейскими агентствами — за исключением подбора сотрудниц, делающего честь вкусу господина директора,— и что, вообще, я еще подумаю... Словом, отступление было проведено с достоинством. Не мог же, в самом деле, я ей признаться, что никогда в жизни не занимался рекламной графикой!

Каждый вечер сажусь к телефону и обзваниваю все одиннадцать магазинов, куда рассовал на комиссию свои холсты (все, кроме «Отъезда»; Жаннетту, что бы ни было, продавать не хочу). Никто ничего не покупает. Просто проклятье какое-то!

30 января. Дальше так продолжаться не может. Сегодня пригрози ли выключить свет, если не уплачу по счету в течение недели. (Кварти ра, как мне говорил Брэдли, оплачена за полгода вперед, но за теле фон, воду и электричество приходится платить мне.) Шестьдесят пят пиастров — откуда я их, к дьяволу, возьму? Я понимаю возмущени инкассатора, который приходит ко мне уже третий раз,— еще бы, жит в такой квартире и отказываться уплатить за свет. Поди объясни ему что я вчера не жрал!

Впрочем, все это ерунда. Дело не в электричестве. Дело в том, что я месяц назад дал себе слово — в течение января решить, как быть дальше. Браться за «это дело» или не браться. Сегодня я понял, что все это время я вовсе не пытался найти решение, а просто трусил, играл в жмурки с собственной совестью, боялся признаться самому себе в уже свершившемся факте. Все было решено в тот вечер, когда я не дал Брэдли по физиономии и не ушел. Что уж теперь говорить красивые слова! Если я все же не позвоню этому Руффо, это будет лишь акт трусости, продиктованный боязнью последствий, а вовсе не доказательство моей стойкости. Ее уже нет — после того вечера. Не вижу принципиальной разницы между преступником, уже совершившим преступление, и человеком, в душе согласным на преступление, но боящимся его совершить. Может быть, преступник явный честнее преступника потенциального. Но и опять — и это самое страшное — я все же не уверен, действительно ли является преступлением то, что я собираюсь сделать. То, к чему я вынужден обстоятельствами. Цель оправдывает средства? Никогда не мог согласиться с такой постановкой вопроса — и к чему я пришел? Художник, работающий для самого себя,— живой труп. Он бесполезен так же, как бесполезна крутящаяся вхолостую динамо-машина, отключенная от линии. Если я пишу картины, которые ни на кого не воздействуют, — зачем их писать? Но у меня есть возможность добиться такого положения, при котором они будут воздействовать на многих, при котором мой талант не окажется бесплодным. Для этого нужно пройти через грязь, пожертвовать своей моральной чистоплотностью. Б., несомненно, прав в том, что только деньги могут дать человеку возможность играть какую-то роль в нашем обществе. Если я считаю, что моя роль будет полезной,— то не все ли равно, какими путями я к ней приду? Верно и то, что я, согласившись на предложение Р., не нанес бы этим никакого ущерба обществу. Следовательно, единственный ущерб будет при этом нанесен мне — моей собственной морали, моему чувству собственного достоинства. Черт, как это все сложно! Тут недолго додуматься и до того, что я, согласившись проституировать свой талант, превращаюсь чуть ли не в героя, жертвующего собой ради общества. Я, кажется, окончательно во всем этом запутался. Нужно рассмотреть это дело спокойно и беспристрастно, по-бухгалтерски. Что я выигрываю и что теряю в одном случае и что — в другом. Впрочем, что там рассматривать, у меня ведь все равно нет никакого выхода.

1 февраля. Завтра позвоню Р. В общем, посмотрим, что он мне закажет. Если слишком уж мерзкое что-нибудь — откажусь, пусть ищет другого. А может быть, и не откажусь, не знаю. Я сейчас вообще ничего не знаю. Знаю только, что влип так, как не влипал никогда в жизни. Похуже, чем тогда, под водокачкой.

5 февраля. Замечательная погода — только что прошел дождь, и город весь чистенький, как лакированный. На улице, очевидно, душно,— здесь всегда душно после летнего дождя. А со стороны смотреть — красиво. Сейчас я звонил Р. Интересное дело — обычно с этими

важными господами созвониться не так просто, а тут можно подумать, что сам дьявол сидел за коммутатором: сразу же соединили. Голос у старика малоприятный — пискливый какой-то, резкий. Я сказал, что звоню от имени мистера Брэдли по вопросу картин. Старик обрадовался и заявил, что завтра — в воскресенье — ждет меня в своем загородном доме. Спросил, в котором часу прислать машину. Я сказал, что буду дома весь день, пусть присылает когда угодно. Вот так.

7 февраля. Ну что ж, рассказать о поездке в Каноссу? Мой новый повелитель принял меня исключительно любезно, долго показывал свою галерею, накормил лукулловым обедом. В живописи он не понимает ни шиша — это я понял с первого же взгляда на ту мазню, которой он обвесил все стены. Б. был прав: сюжеты все один к одному. Впрочем, ничего по-настоящему гнусного, просто голые бабы во всех видах. После обеда, за кофе, старик осторожно перешел к делу. Не знаю ли, мол, я, где можно достать несколько хороших картин на такие, знаете ли, темы... поигривее, мм-да... ну, и чтобы было натурально, «вы понимаете, не правда ли?». Если бы он нашел художника, который согласился бы взяться за такую работу, он, дескать, не постоял бы за ценой. «Ну, скажем... тысяч по десять — это ведь хорошая цена, не правда ли?» (Проклятый торгаш, Аллану говорил — от пятнадцати до двадцати, а здесь выколачивает подешевле). Ну, а темы — это он полностью оставляет на усмотрение художника. «Для начала, скажем, какую-нибудь там вакханочку, что ли, но поигривее, поигривее». У него гнусная манера хихикать. Старый сатир, сукин сын. Я, не вынимая изо рта трубки, с великолепным спокойствием заявил: «Двадцать пять тысяч, и через три недели вы будете иметь свою вакханку». Проклятый сатир заерзал, как грешник на сковородке. Откуда у него такие деньги, помилуйте! Дела последнее время идут как нельзя хуже, с кожевенным бизнесом сейчас вообще беда — всюду, знаете ли, эти заменители, синтетика... Я ответил, что меня мало интересует состояние его бизнеса; если сеньор не согласен заплатить мне двадцать пять тысяч, из которых пять — сейчас, в качестве гарантийного аванса, то пусть вооружается кистью и пишет свою вакханочку сам. Он прямо захныкал: «Но ведь я думаю заказать вам несколько картин, не одну, а вы же знаете — оптовые цены всегда ниже розничных, это закон коммерции!» Но я, черт побери, держался, как гвардия под Ватерлоо. Сказал, что законы коммерции меня интересуют еще меньше, и что оптом дешевле обходятся разве что дохлые коровы, но никак не вакханки. И повторил требование насчет аванса,— почем знать, что он через неделю не передумает? Словом, кончилось тем, что сатир извлек чековую книжку и выписал 5.000.

Теперь вот сижу и не знаю, как быть. Дело в том, что я очень мало имел дела с обнаженной натурой. Без натурщицы не обойтись, но не хотелось бы привлекать к этому еще кого-то. А придется, никуда не денешься! Надо будет забежать в «Аполо» — там всегда полно нашего брата, кого-нибудь посоветуют.

Руффо со мной договорился, что приедет дней через десять — посмотреть, как идет работа. Пусть приезжает, черт с ним. Надеюсь, что основное будет к тому времени уже готово, хотя бы вчерне. Над композицией раздумывать особенно не приходится, а пишу я быстро.

9 февраля. Сейчас была натурщица. Только собирался пойти пообедать, вдруг звонок. Открываю—влетает этакая райская птичка в ренуаровских тонах: темно-рыжие волосы, персиковый загар, глаза прямо фиолетовые. «Здрасьте,— говорит,— я от Пузана, очень приятно познакомиться». Я совершенно обалдел. «От какого еще Пузана,— говорю,— вы,

наверное, ошиблись, сеньорита». А она: «Ну как же,— говорит,— Пузан Ремихио, не знаете что ли, бармен в «Аполо», он дал мне ваш адрес — вы ведь ищете натурщицу?» Я только и нашелся, что пробормотать, что да, действительно, натурщицу-то я ищу, но мне бы что-нибудь попроще... Птичка рассмеялась и протянула руку, отрекомендовавшись сеньоритой Элен Монтеро, а для друзей — просто Беба. Боюсь, их у нее слишком много, этих друзей. Войдя в комнату, она огляделась, тараща свои пармские фиалки, и объявила, что ей у меня нравится. Очень. Меня это, разумеется, страшно обрадовало. Потом она порылась в сумочке и запихнула себе в рот какую-то огромную конфету, причем попутно попыталась угостить и меня. Отказался с ледяной вежливостью. «Не успела позавтракать, понимаете,— объясняет она с набитым ртом,— а позировать вам я согласна». — «Мадемуазель,— говорю,— прошу учесть, что я пишу обнаженную натуру».— «Ну и что,— говорит,— это право артиста—выбирать, с какой натурой работать, только ню дороже обходится—по полсотни национальных».—«Что, за сеанс?»—«А вы думали, в месяц?» Цена, конечно, непомерная — это был отличный предлог мирно расстаться, но я упустил момент и сдуру сказал, что если хочет, то пусть приходит завтра с утра. Она жизнерадостно заявляет: «Еще бы я не хотела!» — и спрашивает, устраивает ли меня ее фигура и не желаю ли я взглянуть на ее фото в купальном костюме — снято неделю назад, на побережье. Я говорю, что фигура вполне устраивает, а фото меня не интересует и вообще я сейчас занят. «Ладно, завтра увидите оригинал. До свиданья, дон Херардо, очень рада с вами познакомиться, до завтра». Только я ее выпроводил — опять звонок, опять она. «Простите,— говорит,— я вас надула — мне платят гораздо меньше». При этом в глазах искреннее раскаянье. Я ей ответил, что не догадаться об этом мог бы только кретин, но что в награду за ее честность договор остается в силе. Просияла и ушла. Ну и ну!

4

— Вы, пожалуйста, на меня не кричите! Если вам так хочется иногда покричать, то заведите себе жену и кричите на здоровье!

— А вы, черт бы вас драл, придержите ваш язык и ваши советы и учитесь позировать, если уж беретесь за это дело! Какого дьявола вы крутитесь? Вы что, сами не видите, что здесь мало света? Как я могу работать, если вы все время оказываетесь в тени?

Жерар подобрал кисть, которую за минуту до этого в ярости швырнул на пол, и снова принялся за работу, бросая быстрые взгляды на сеньориту Монтеро.

— Думать нужно, вот что,— ворчливо сказал он, уже остыв.— Другие в вашем возрасте умеют это делать...

— Другие в вашем возрасте умеют схватывать оттенки на лету,— язвительно заявила обиженная сеньорита.— И вообще я устала!

— А я вот не схватываю, понятно? Никто не держит вас здесь на привязи... Устали, говорите? Ничего, сейчас кончаем. Никто вас не держит... Можете искать себе другого мастера. Минутку...

Он встал и отошел от мольберта, приглядываясь к холсту.

— Ладно... Вот здесь еще немного... Впрочем, вы что, устали? Ладно, черт с ним, доделаем завтра. Можете одеваться.

— Наконец-то! У вас есть кофе?

— Есть, сейчас поставлю.— Собирая кисти, Жерар стал весело насвистывать.— А на крики не обижайтесь, я всегда нервничаю, когда работаю. Считайте, что я погорячился, и примите мои извинения. Идет?

Не дожидаясь ответа, он вышел из ателье, на ходу снимая испачканную красками блузу.

— Заварите покрепче! — крикнула вдогонку сеньорита Монтеро.

Спустя полчаса они мирно сидели за столом, словно во время сеанса не было никаких недоразумений. Сеньорита Монтеро оживленно рассказывала о вчерашнем посещении Театра комедии, Жерар слушал краем уха и пил кофе, рассеянно поглядывая на свои руки,— кожа на пальцах шелушилась от частого употребления растворителя.

— Вам нужно купить крем для смягчения кожи,— заметила сеньорита Монтеро,— иначе у вас будут не руки, а петушиные лапы.

— Ладно, Элен, проживем и с петушиными. Хотите еще кофе?

— Нет, спасибо, я сейчас пойду куда-нибудь закусить. Почему вы не хотите попробовать «Понд С»? Он хорошо смягчает.

— Неохота возиться. Выйдем вместе? Я тоже проголодался.

— Хорошо. Дон Херардо, я хотела вас спросить...

— Перестаньте называть меня доном, сколько раз повторять! В чем дело?

Девушка замялась. Жерар допил свой кофе и отставил чашечку.

— Насчет денег?

— Да... То есть... как вы думаете, Херардо, мы с вами сработаемся?

— Боюсь, что да. Хотите вперед?

— Видите ли, мне сейчас нужно очень много денег, и я думала, если мне предстоит работать у вас еще некоторое время, как вы говорили, может быть, вы смогли бы заплатить мне вперед? Я не сбегу, слово чести!

Жерар улыбнулся:

— От меня не сбежите, даже если бы захотели. Зачем вам столько денег, если не секрет?

— Нет, почему же, просто мне... Я хочу купить шубку, а у меня не хватает.

— Вы окончательно спятили, Элен. Шубку — в феврале?

— Сами вы спятили! Когда же мне ее покупать — зимой, что ли? Тогда они будут стоить в полтора раза дороже. А сейчас Харродс объявил карнавальную распродажу...— Она мечтательно прищурила фиолетовые глаза.

— Теперь понял,— сказал Жерар.— Сколько вам не хватает?

— Много,— вздохнула сеньорита Монтеро,— ровно две тысячи. Вы не думайте,— испуганно спохватилась она,— на такую сумму я не рассчитываю. Просто, если бы вы смогли одолжить мне половину...

— Я вам дам две тысячи,— сказал Жерар,— но с условием, что вы научитесь позировать спокойно и перестанете вертеть теми частями тела, которые меня в данный момент интересуют. Ясно?

Сеньорита Монтеро вспыхнула от радости.

— О Херардо, я буду позировать совсем спокойно, слово чести! Я эти деньги отработаю, не думайте.

Жерар подошел к письменному столу и достал четыре билета по пятьсот песо. В ящике лежало еще несколько смятых сотенных бумажек — все, что осталось от гарантийного аванса.

— Держите, Элен, вот ваши пиастры. Выбирайте шубку потеплее.

— Спасибо, Херардо, огромное спасибо, вы очень любезны!

— Ладно, на завтрашнем сеансе увидите, как я любезен. Попробуйте только шевельнуться. С этого дня между нами устанавливаются рабовладельческие отношения. В случае чего, буду раскладывать и лупить бамбуковой тростью по пяткам.

Сеньорита Монтеро весело рассмеялась.

— Пускай, зато у меня будет шубка!

— Мудрое рассуждение, Элен,— кивнул Жерар.— Вы готовы? Идемте.

Внизу, у выхода из лифта, к Жерару подошел портье.

— Вам письмо, сеньор Бусоньер,— поклонился он, по обыкновению исковеркав фамилию на местный лад, и протянул конверт.— Только что принес рассыльный, я уже собирался подняться.

— Мне? — удивился Жерар.— Спасибо... Вот, возьмите.

— Благодарю вас, сеньор Бусоньер.

— От кого бы это? Прошу прощения, Элен...

Он вскрыл письмо.

— А-а, вот что. Я и забыл. Идемте?

— Что-нибудь важное? — поинтересовалась сеньорита Монтеро.

— Заказчик предупреждает, что завтра заедет взглянуть на ваши прелести. На холсте, Элен, только на холсте... Кстати, завтра по этому поводу сеанса не будет, можете отдыхать.

— Правда? — Сеньорита Монтеро обрадовалась, как школьница, получившая освобождение от уроков.— Вот хорошо, поеду с утра на пляж, на целый день.

— Стоящее дело,— одобрил Жерар. — Где вы думали перекусить?

— Вам нравится пицца? Если да, то здесь недалеко готовят очень вкусную, по-милански. Хотите попробовать?

— Это с маслинами? Конечно хочу, Элен, конечно.

Жерар был сегодня в отличном настроении. В работе над «Вакханкой» наступил какой-то перелом, и теперь он ясно видел, как под его руками даже этот пошлый сюжет превращается в произведение искусства. Сознавать это было приятно. Приятно было чувствовать себя — за кои-то веки! — свободным от унизительного безденежья, от необходимости высчитывать каждый сантим. Приятно было идти по залитой солнцем шумной авеню Кальяо рядом с красивой, хорошо сложенной и элегантной девушкой, на которую оглядываются прохожие,— с этой райской птичкой, которая не умеет позировать. Приятно было и то, что он этой непоседливой птице доставил радость своим подарком, что он вообще может теперь доставлять кому-то радость.

В маленькой закусочной они сели за угловой столик, под вентилятором. Маленький шустрый итальянец принял заказ, для верности переспрашивая каждое слово и за каждым словом успокоительно повторяя с неаполитанской жестикуляцией: «Como no, signorina, como no, signor!» Через пять минут он бегом принес на деревянном кружке пиццу — большую толстую лепешку, залитую растопленным сыром и томатным соусом и сверху украшенную кусочками помидора, анчоусами и маслинами.

— Не забудьте пиво и кока-кола,— напомнил Жерар,— только похолоднее, пожалуйста.

— Como no, signor, como no, — закивал итальянец, молниеносно разрезая горячую пиццу на дольки.

— Нравится? — спросила сеньорита Монтеро, уписывая за обе щеки.

— Язык проглотишь. Ее что, полагается есть руками?

— Угу, так приятнее... Я еще когда в колледже училась, обычно забегала сюда после уроков.

— Какой колледж вы окончили? — поинтересовался Жерар, наливая себе пива.

— А никакого. Пришлось бросить: не было денег.

— Печально. Кстати, Элен, сколько вам лет?

— Не очень-то приличный вопрос, но вообще мне двадцать. Вы что, не любите кока-кола?

— Нет. Скажите, а вам не хотелось бы получить образование?

Элен изумленно глянула на него поверх своего стакана:

— Образование? Чего ради, Херардо?

— Ну, хотя бы ради того, чтобы приобрести специальность. Могли бы поступить куда-нибудь в бюро...

— И просиживать юбку за пятьсот билетов в месяц? — Сеньорита Монтеро сделала насмешливую гримаску.— Благодарю покорно!

Тон, каким это было сказано, заставил Жерара поморщиться.

— Предпочитаете, значит, работать вообще без юбки,— грубо сказал он.— Что ж, дело вкуса.

Сеньорита Монтеро быстро поставила на стол недопитый стакан; даже под косметикой было видно, как краска заливает ее лицо.

— При чем тут «вкус», каждый устраивается как может,— пробормотала она, не глядя на Жерара, и вдруг спросила с вызовом: — Вы думаете, мне самой очень это приятно? Конечно, вам легко судить — богатые всегда считают, что...

Голос ее прервался. Жерар тыльной стороной кисти — пальцы были в масле — примирительно погладил руку девушки.

— Вы меня не так поняли, Элен,— улыбнулся он,— я далек от мысли вас упрекать, просто мне стало вдруг обидно за вас. Я именно могу представить себе, как смотрят на вас те, другие, поэтому мне и стало за вас обидно. А насчет моего богатства я вам когда-нибудь расскажу поподробнее, если мы с вами останемся друзьями. Мы ведь ими останемся, верно?

Сеньорита Монтеро закивала головой.

— Ну вот и отлично. А теперь выпьем за нашу дружбу. Вы что пьете? Вермут? Моco! — окликнул он пробегавшего мимо итальянца. — Два вермута, пожалуйста.

— Два? — переспросил тот, для пущей наглядности показав два пальца. — Como no, signor!

— Потешный парень,— улыбнулся Жерар.— Вообще у меня слабость к итальянцам — вот у кого учиться жизнерадостности! Правда, воевали они плохо. Приблизительно как мы в сороковом.

— Правильно делали,— сказала Беба,— если бы все плохо воевали, не было бы никаких войн. А что, Херардо, в Корее еще дерутся?

— Кажется, да. А вот и наш вермут. Ну, Беба, за дружбу?

— За дружбу. Постойте, согните левый мизинец, вот так. У нас такой обычай.

Они выпили, зацепившись мизинцем за мизинец,— на вечную дружбу.

— Теперь мы друзья,— засмеялась Беба,— даже можем быть на «ты».

— В самом деле? Тем лучше, я этих церемоний не люблю. Эй, ты! — подмигнул Жерар, состроив хулиганскую рожу.

Беба опять заразительно засмеялась.

— Ну, будем доедать нашу пиццу, она уже совсем остыла.

— Я не хочу больше. Херардо, а что там, в этой Корее? Из-за чего они подрались?

— Понятия не имею,— пробормотал Жерар с набитым ртом.— Там вообще сам дьявол ничего не разберет... кто-то кого-то освобождает.

— В Линьерсе, где я живу, в прошлом году был митинг. Прошли слухи, будто наши хотят послать в Корею один батальон, так коммунисты устроили митинг. Такая драка была, полиция их разгоняла, прямо ужас. У нас там все стены исписаны: «Янки, вон из Кореи!» Значит, там тоже янки?

— Ты лучше скажи, где их нет!

Беба тщательно вытерла пальцы бумажной салфеткой и допил свой кока-кола.

— Мне янки не нравятся,— сказала она, сделав гримаску,— фильмы у них хорошие, особенно если про ковбоев, и музыка хороша а сами они противные.— Она взглянула на часики и ахнула: — Санта Мария, без десяти два! Херардо, я лечу. Так завтра не приходить?

— Завтра можешь позировать на пляже. Ну, счастливо.

— До послезавтра, Херардо. И еще раз спасибо за это! — уже отойдя от столика, она показала Жерару сумочку и, сделав на прощанье ручкой, выбежала на улицу.

Жерар усмехнулся, вылил в стакан остаток пива из бутылки и стал медленно набивать трубку, щурясь на висящую напротив рекламу ликеров «Болс» — голландец в национальном костюме и ветряные мельницы. Следуя бессознательным путем ассоциаций, его мысли скользнули на голландскую живопись, на рубенсовских женщин, на старого грехо водника Руффо, на «Вакханку». Что хорошо — то хорошо, это будет вещь. Он откинулся назад в затрещавшем плетеном кресле и сладко потянулся, сцепив пальцы на затылке, охваченный радостным ощущением творческой удачи и яростной жажды работать — работать без отдыха, до изнеможения.

В подъезде ему опять встретился портье.

— Еще раз здравствуйте, дон Хесус,— весело сказал Жерар и, уже на полпути к лифту, обернулся: — Кстати, как чувствует себя Анита? Надеюсь, лучше?

Портье бросил полировать суконкой и без того начищенную до золотого сияния львиную морду и печально взглянул на Жерара.

— Боюсь, что нет,— покачал он головой.

— В чем дело? — спросил тот, возвращаясь.

— Вчера был доктор,— медленно сказал портье со своим чуть шепелявым акцентом уроженца Галисии,— он сказал, что у нее слабые легкие, что ее нужно отправить в горы — есть такие детские колонии, в Кордове,— но это стоит денег. Я получаю четыреста песо, сеньор Бусоньер, жена зарабатывает не больше трехсот, мы не можем отправить Аниту в эту колонию... Но я думаю, он может ошибаться, этот доктор, у нас в семье не было никого со слабыми легкими...

— Надо полагать, в Испании другой воздух, дон Хесус.

— Но ведь доктора часто ошибаются? — с надеждой спросил портье.

— Безусловно. Безусловно. Вот что, дон Хесус,— Жерар решительно взял его за пуговицу,— вы не пробовали обратиться с этим делом в фонд социальной помощи?

— Когда же я мог обратиться, сеньор Бусоньер, я только вчера узнал. Моя двоюродная сестра писала в этот фонд бумагу, когда в прошлом году ее Пако упал с лесов и сломал себе ноги, а патрон отказал ему в пособии. Ей не отвечали семь месяцев, а потом ответили, что ничего не могут сделать. Зачем я буду туда писать? Я не перонист, не член партии. Жена Пако...

— Хорошо, вот что,— нетерпеливо кивнул Жерар, перехватывая другую пуговицу.— Прошение вы все-таки напишите — укажите, сколько нужно денег. У меня есть кое-какие связи, я вам это устрою. Безвозвратное пособие, так что платить вам ничего не придется. Принесите мне завтра, и самое большее через десять дней деньги у вас будут. Ясно? Только никуда не ходите, я сделаю это сам.

Оставив растерянного портье, Жерар быстро зашагал к лифту. У себя в ливинге он швырнул на диван пиджак, закурил и прошел

в соседнюю комнату, служившую мастерской. С холста с еще не прописанным фоном, лукаво прикусив цветущую веточку, смотрела на него томными глазами «вакханка»— непоседливая райская птичка, сеньорита Элен Монтеро, Беба. Он долго разглядывал ее, насвистывая сквозь зубы. «Черт побери, да ведь она красавица»,— подумалось ему вдруг почти с удивлением. А он и не замечал. Тут же эта мысль заслонилась другой — рука! С левой рукой что-то не так, сколько ни бился. Ладно, это переделаем послезавтра, а пока можно поработать над антуражем...

Продолжая весело насвистывать, он натянул измазанную красками блузу и стал перебирать кисти.

Беба вернулась в Линьерс вечером, допоздна прошатавшись по магазинам. Ее сожительница по комнате и товарка по профессии была уже дома и по обыкновению читала, лежа в постели.

— Привет,— сказала она, отложив книгу в яркой глянцевой обложке. — Ну, что нового?

Беба сбросила туфли и с облегчением вздохнула:

— Страшно устала. Ты сегодня работала, Линда?

— Нет. Сказал — нет настроения. Целый день валяюсь...

— А что это у тебя?

— «Последний экспресс». Не читала?

Беба, уже начав стаскивать платье, высвободила голову и посмотрела на обложку:

— «Последний экспресс»? Нет, вроде не читала. Интересно?

— Оторваться нельзя, тут один слепой сыщик, понимаешь...

— Слепой? Почитаю... Ой, сейчас все лопнет... Как же это может быть, слепой — и сыщик? Сегодня у меня опять пополз чулок. Видишь? Еще хорошо, что вверху,— не видно. Я просто похолодела, когда почувствовала.

Линда посмотрела и снова взялась за чтение.

— Дрянь этот нейлон, я тебе говорила — покупай другой номер. Насчет аванса не спрашивала?

— Спрашивала. Подожди, сейчас схожу под душ, потом все расскажу. Включи пока чайник — будем пить мате.

Беба надела старый купальный халатик, сунула ноги в шлепанцы и вышла из комнаты, размахивая полотенцем. В конце коридора, возле лестницы, уже сидел за колченогим столиком дон Пепе —старый неудачник и игрок на скачках. Его сожитель не переносил табачного дыма, а дон Пепе курил черный бразильский табак, поэтому он все вечера просиживал здесь, в коридоре, со спортивной газетой в руках и бутылкой дешевого красного вина на столе.

— Ола, дон Пепе,— приветливо бросила Беба, проходя мимо.— Опять мух травите?

— Что делать,— рассеянно отозвался тот, всецело поглощенный изучением таблицы заездов.— Что делать, девочка...

Когда Беба, выкупавшись, вернулась к себе, чайник уже кипел, стуча крышкой.

— Выключи, лентяйка, не слышишь? — крикнула она подруге, доставая из шкафа принадлежности для чаепития — сахарницу, жестяную коробку с парагвайским чаем и маленькую, в кулак величиной, выдолбленную сухую тыковку. Всыпав в тыковку ложку чая, похожего на искрошенные сухие листья, она положила туда же кусок сахара, долила кипятком и, помешав напиток витой серебряной трубочкой с фильтром на нижнем конце, протянула его Линде.

— Вот тебе и слепой,— задумчиво сказала та, отложив книжку и усевшись на кровати с поджатыми под себя ногами.— Если бы все были такими слепыми...— Она покачала головой и, взяв тыковку, приложилась к трубке. Потом отдала ее подруге. Беба с удовольствием втягивала терпкий, горьковатый напиток, пока тыковка не опустела. Потом снова долила ее кипятком.

Мате полагается пить молча. И они — горожанки, выросшие среди асфальта и железобетона и воспитанные на голливудских фильмах и детективных романах,— пили его в торжественном молчании, передавая друг другу выдолбленную тыковку и по очереди потягивая напиток через трубочку; сто лет назад их бородатые прадеды, перегонявшие гурты скота через бескрайние просторы пампы, так же молча передавали мате из рук в руки на вечерних привалах, сидя вокруг костра на брошенных на землю седлах, когда тихо звенит гитара и в огромном небе алмазами дрожит и переливается Южный Крест...

— Что же он тебе ответил насчет аванса? — спросила наконец Линда.— Отказал? Мой всегда отказывает.

— А мой — нет,— с торжеством в голосе ответила Беба.— Знаешь, что он сделал? Я рассчитывала самое большее на пятьсот, но в последний момент набралась храбрости и попросила тысячу, а он дал две.

— Серьезно?

Линда опять улеглась и, не глядя, нашарила возле себя пачку сигарет и зажигалку. Закурила и Беба.

— Ну что ж, поздравляю,— продолжала та.— Но только смотри, мне такая щедрость кажется подозрительной.

— Ничего не подозрительная, мы просто договорились, по-деловому. Я сказала, что эти деньги отработаю. У него много заказов.

— Такие авансы обычно приходится отрабатывать в постели, моя дорогая. И ты это знаешь ничуть не хуже меня.

Линда взглянула на подругу и снова взялась за чтение.

— С тобой просто противно говорить,— после недолгого молчания сказала Беба.— На все ты смотришь как-то так...

— Как «так»? Я знаю жизнь немного побольше, чем ты. Вот и все. Да и ты ее знаешь, не прикидывайся.

— А я и не прикидываюсь... Просто я верю, что он порядочный человек,— упрямо повторила Беба, катая в ладонях пустую тыковку.— Вот! А это главное — когда веришь.

— Слушай! — сказала Линда, откладывая книгу. — Когда ты перестанешь быть дурой, интересно знать? Затвердила, как попугай: «верю», «верю»! Вспомни, что у тебя получилось с твоим Джонни Ферраро! Ты тогда тоже мне доказывала — «порядочный», «из хорошей семьи», «сын фабриканта». А ему только и нужно было с тобой переспать. А потом: «Adios muchachos!»[1].

— Не смей о нем упоминать — сейчас!— вспыхнула Беба, вскочив на ноги. — Как тебе не стыдно! У тебя нет ни капельки простого...

Ее прервал стук в дверь и голос хозяйки:

— Сеньорита Алонсо, к телефону!

— Иду, донья Мерседес! — громко ответила Линда, лениво вставая.— Дай-ка мне халат. И не вопи, я тебя просто предупреждаю. Понимаешь?

Через пять минут она вернулась и, торопливо стащив халатик, через комнату перебросила его подруге.

— Толстяк Эусебио достал кучу контрамарок на «Лили», на десятичасовой,— сообщила она, распахнув скрипучую дверцу шифоньера.— Кажется, там собралась вся наша банда. Идешь?

---

[1] «Прощайте, ребята!» (*исп.*) — слова из популярного в Аргентине танго.

— Не хочу...— покачала Беба головой, смотря куда-то в окно.

— А я пойду. Дочиталась сегодня до одури... Ты почитай, не оторвешься.

— Ладно,— так же рассеянно кивнула Беба.

Линда оделась и ушла. Беба побродила по комнате, бесцельно трогая вещи, потом закурила и легла, выключив свет. Вспомнив о Джонни Ферраро, она поплакала — не так, как плакала год назад, а просто по привычке и от жалости к себе. Две выкуренные подряд сигареты оставили после себя горький привкус; она встала, почистила зубы и тщательно прополоскала рот. В коридоре дон Пепе оживленно обсуждал с кем-то шансы жеребца Патрисио, где-то через улицу Карлос Гардель рыдающим голосом пел одно из своих знаменитых танго, за стеной уныло и настойчиво тренькал неумелый гитарист. Беба ворочалась с боку на бок, пытаясь уснуть. Когда в час ночи вернулась Линда, она еще не спала. Та начала раздеваться в темноте, едва слышно мурлыкая такты какой-то незнакомой песенки.

— Можешь зажечь свет, я не сплю,— вздохнула Беба.— Хороший фильм?

— Хороший, советую посмотреть. Там эта Лесли Карон, француженка. А у меня новость — знаешь, кого я встретила? Своего бывшего патрона из «Teatro de Revistas», носатого Линареса. Когда мы прогорели, я слышала, будто кредиторы его засадили,— а сейчас снова выплыл. Такой шикарный, в английском костюме, на пальце вот такой бриллиант. Но самое главное, что он опять собирает труппу — готовит сейчас какое-то новое обозрение, и вроде у него уже наклевывается турне по перешейку. Коста-Рика, Гондурас, Никарагуа... если не врет. Так вот он опять приглашает меня к себе. Что ты скажешь?

— По-моему, он жулик...

— Ясно, жулик, это я и без тебя знаю! Но импресарио он хороший, этого у него не отнимешь. Зарабатывает сам и дает заработать другим. Если предложит честный контракт, я, пожалуй, поеду. Надоело мне здесь до смерти, по крайней мере попутешествую...

— Пожалуй,— согласилась Беба.— Ты завтра не работаешь?

— С моим поработаешь, жди!— закуривая, Линда дернула плечом.— День пишет, неделю думает... Психопат несчастный. С удовольствием бы его бросила — все-таки противно, когда тебя изображают в виде какой-то кучи треугольников. А тебе и в этом повезло, подумай.

— О да. Я у него на холсте получаюсь даже красивее, чем на самом деле. Поедем с утра в Оливос? Я тоже свободна, искупаемся, пожаримся на солнце.

— Если будет погода, можно съездить. А теперь давай спать. Байбай, беби.

5

Дон Ансельмо Руффо оказался точен по-американски — ровно в пять минут двенадцатого в передней раздался короткий звонок. Жерар лениво поднялся с дивана и, выколотив трубку о край пепельницы, пошел открывать.

— Прошу,— кивнул он, увидев маленького сухого старичка в черном, с крокодиловым портфелем под мышкой.— Как дела, сеньор Руффо?

— Благодарю вас,— пискливо ответил старичок,— дел слишком много, чтобы они могли быть хорошими. Приходится работать, несмотря на возраст, сеньор Бюиссонье.

Войдя в гостиную, он положил портфель и перчатки и, вынув из кармана старомодное пенсне, криво нацепил его на нос.

— В половине двенадцатого у меня заседание административного совета, так что я только на минутку...— Он выжидающе глянул на Жерара.

— А я и не собирался вас задерживать. Заказ в основном выполнен, через недельку сможете за ним прислать. Может быть, у вас будут какие-нибудь дополнительные указания... Прошу сюда, налево, здесь у меня временная мастерская.

Остановившись перед «Вакханкой», Руффо сцепил за спиной пальцы и с минуту молча разглядывал картину. Натянутое выражение его морщинистого личика, когда он обернулся к Жерару, сразу показало тому, что заказчик разочарован.

— Это и все — в основном? — кашлянув, тонким голосом спросил Руффо.

— Разумеется, не считая фона и деталей.

— М-да... Конечно... — Руффо снял пенсне и принялся тщательно протирать стекла носовым платком. — Говоря откровенно, сеньор Бюиссонье, безусловно, вещь талантливая, нет спора, но, говоря откровенно, я ожидал несколько иного.

— А именно? — спокойно спросил Жерар.

— Видите ли, дорогой маэстро... Мы с вами не дети, не так ли?.. Я думал, что в разговоре с вами достаточно ясно дал вам понять, какого типа вещь мне нужна... М-да... Повторяю, мы с вами — взрослые мужчины...

— Вы сказали,— возразил Жерар, вскидывая бровь, — что хотели бы иметь картину «игривого», как вы изволили выразиться, содержания. Этим вашим указанием я и руководствовался. Мне кажется, выражение лица и поза этой молодой дамы достаточно игривы. По крайней мере, я не рискнул бы повесить эту работу в доме, где бывает подрастающая молодежь.

— Дорогой маэстро, у меня в доме нет подрастающей молодежи, и это соображение меня нисколько не беспокоит... При выборе картин я обычно руководствуюсь только своими вкусами, а не... требованиями общепринятой морали... М-да...

— Послушайте, давайте говорить без загадок! Очевидно, я настолько туп, что не умею их разгадывать. Конкретно — чего вы от меня хотите?

— Видите ли... Позвольте показать вам одну вещь, чтобы было более наглядно... Где это я оставил бумаги?..

Руффо вышел в соседнюю комнату и тотчас же вернулся, расстегивая замки портфеля.

— Мне как раз сегодня принесли одну вещь,— проскрипел он, вынув маленький альбом в свиной коже.— Вот, скажем, взгляните на это... Это приблизительно подобный сюжет, но...

Жерар взял протянутый ему открытый альбом — «издание для знатоков» — того рода, что обычно хранят в запертом ящике письменного стола и показывают приятелям на холостяцких пирушках. Несколько секунд он молча смотрел на хорошо отпечатанную цветную репродукцию, потом поднял взгляд на сухонького старичка в черном.

— Вы что, в своем уме? — очень тихо спросил он.— И это мне вы предлагаете написать для вас подобную вещь?

— Вопрос относительно моего ума я нахожу несколько неуместным... М-да... И нетактичным,— с достоинством отозвался Руффо.— Что касается остального, то на этот раз вы поняли меня правильно. Я имею в виду именно подобный жанр... Ничуть, впрочем, не стесняя вашей творческой свободы.

Жерар коротко рассмеялся.

— Вот что, старина,— невежливо сказал он, с треском захлопнув

альбом.— Забирайте свой «подобный жанр» и проваливайте отсюда, пока я не спустил вас в мусоропровод!

Руффо оторопело взглянул на него, потом спрятал альбом и щелкнул замком портфеля.

— Должен сказать, я был лучшего мнения о европейской воспитанности,— проскрипел он, выходя из мастерской впереди Жерара.— Что ж, не смею настаивать... Будем считать наш договор расторгнутым... М-да... В таком случае, сеньор Бюиссонье, я желал бы получить обратно выданный вам аванс.

Жерар шагнул к письменному столу и остановился.

— А, ч-черт...— пробормотал он сквозь зубы.— Вот что, этих денег сейчас у меня нет, я их истратил. Можете считать за мной. Подписать вексель?

Руффо снял пенсне и стал медленно натягивать перчатки.

— Вексель... М-да... Нет, сеньор Бюиссонье, к чему?.. Между джентльменами можно обойтись без этого, с меня достаточно вашего слова. И вообще не торопитесь с этим. Мне неважно, будет ли это через неделю или через две... Не правда ли? Вы вернете эти деньги, когда вам будет удобнее, вместе с квартирной платой.

— Что?..

— Я сказал — вместе с квартирной платой,— повторил Руффо,— с платой за квартиру, в которой вы живете...

— Какое вам дело до моей квартиры, черт вас подери?

Руффо посмотрел на Жерара почти добродушно.

— Разве мистер э-э-э... Брэдли, разве он не сказал вам, что этот дом принадлежит нашей компании?

— В первый раз слышу!

— О, очень жаль... Это большое упущение с его стороны, очень большое.

Жерар резко засмеялся и сел в кресло.

— Вот, значит, что! Ясно. Так это была мышеловка?

— К чему такие слова, сеньор Бюиссонье, что вы?.. У меня и в мыслях не было ничего подобного. Когда мистер Брэдли сказал мне, что вы находитесь в трудном положении, и попросил разрешения временно предоставить вам эту квартиру, я ничего не имел против... поскольку... э-э-э... поскольку мы думали остаться с вами в хороших деловых отношениях. Не так ли, сеньор Бюиссонье? Но коль скоро эти отношения вступили в такую фазу...

— Можете не продолжать,— усталым голосом сказал Жерар.— Сколько стоит эта квартира в месяц?

— О, я в такие детали никогда не входил, это вам нужно справиться у администратора... Около тысячи, я предполагаю... Впрочем, с меблировкой это будет несколько дороже. Не знаю, сеньор Бюиссонье, честно говоря, просто не знаю...

— Ловко,— сквозь зубы проговорил Жерар, глядя в окно пустыми глазами.— Ловко, будь я проклят... Впрочем, так дураков и учат!

Руффо, с портфелем под мышкой, не торопился уходить. Заметив на стене акварели, он снова нацепил пенсне и подошел поближе.

— Вы не дурак, молодой человек...— сказал он рассеянно, разглядывая горный пейзаж.— Просто вы, к сожалению, принадлежите к той вымирающей породе людей, которая готова испортить себе жизнь ради возможности сделать красивый жест. Хотя в данном случае это, пожалуй, не просто красивый жест... Это, пожалуй, уже и в самом деле глупость. Простите э-э-э... за откровенность. Меня удивляет, что вы не способны понять разницу между, скажем, тем, чтобы выступить по радио с чтением неприличных анекдотов или рассказать анекдот приятелю — с глазу на глаз... Я вам не предлагаю написать такую кар-

тину и выставить ее для всеобщего обозрения.... М-да... Одним словом, я не теряю надежды, что вы после здравого размышления посмотрите на это дело несколько иначе... Во всяком случае, прошу помнить, что мое предложение остается в силе. И, зная уже вас как большого мастера своего дела,— Руффо подчеркнул слово «большого» и кивнул на дверь ателье,— я готов теперь предложить вам гораздо большее вознаграждение. Я никогда не сорил деньгами, но никогда и не жалел их на подлинные произведения искусства... В данном случае я предлагаю вам пятьдесят тысяч. Мой телефон вы знаете. Чрезвычайно сожалею...

Он снял пенсне и пошел к выходу — маленький, сухонький, похожий в своем черном, чуть старомодном костюме на учителя в отставке.

В прихожей он обернулся и почти благодушно взглянул на Жерара.

— Мне от души жаль вас, маэстро,— медленно проскрипел он,— с вашим талантом вы через год могли бы стать кумиром публики. Но для этого, разумеется, вам пришлось бы отказаться от красивых жестов... М-да... Дон-Кихоты сейчас не в моде, где бы они ни появлялись—в делах, в искусстве или в политике. В наш реальный век фортуна отдается реалистам, а те, кто этого не понимает, умирают неудачниками. Что ж, честь имею... Простите за беспокойство.

Жерар захлопнул за ним дверь и вернулся в ливинг, задыхаясь от ярости.

— Старый сатир, дерьмо проклятое! — выругался он вслух. — «Фортуна отдается реалистам»! Ну и спи со своей фортуной, старый потаскун, козел...

Подойдя к столику, на котором стоял сифон с сельтерской, он взял стакан и заметил, как дрожат руки. «Сволочь!» — выругался он еще раз, нажав рычажок сифона. Струя с шипением ударила в стакан. На таких вот и покоится общество, прав был Брэдли. «Кожи Руффо — лучшие в мире!» Всеми уважаемый промышленник, олицетворение честности...

Стакан ледяной шипучки немного успокоил Жерара, он присел на край дивана и принялся набивать трубку, стараясь не думать о старом козле, сатире.

Отвесные лучи полуденного солнца не заглядывали в комнату, но Жерару показалось, что света слишком много. Очевидно, переутомил зрение, меньше нужно работать. Ничего, теперь об этом беспокоиться не придется. Встав и подойдя к окну, он опустил штору-жалюзи, набранную из косо поставленных алюминиевых пластин. Комната погрузилась в приятный сумрак, Жерар вытянулся в кресле, ожесточенно дымя трубкой. Да, Элен будет огорчена. «Мне приятно работать только с вами, потому что вы никогда не смотрите на меня так, как другие...» Девчонка безусловно пропадет, и очень скоро. Просто пойдет по рукам, как это часто случается с натурщицами. А жаль — славная она, эта Беба... Надо же придумать такую кличку. Беба — это подходит для обезьяны, вот для кого это подходит. Славная девочка, а пропадет в два счета. С ее профессией и ее внешностью, чтобы не пропасть, нужно иметь сильный характер. Ну и, разумеется, какие-то моральные устои. А что у нее, у этой Бебы? Ничего, кроме соблазнов на каждом шагу. Если бы ее как-то поддержать, помочь, мог бы получиться толк, а иначе... Впрочем, что об этом думать? Теперь-то уж ты ничего сделать не можешь. А мог бы. Конечно, мог бы — имея деньги. Вот вам очередная проблема морального порядка...

Жерару вдруг захотелось заснуть — и спать как можно дольше, чтобы ни о чем не думать. Просидев еще несколько минут с закрытыми глазами, он устало поднялся, прошел в спальню и, не сняв обуви, повалился на постель. «Спать, спать»,— приказал он себе. Но сон не прихо-

дил. В тишине спальни, затененной шторами, монотонно и раздражающе шумела решетка вентиляционного отверстия под потолком, через которое в комнату поступал охлажденный и профильтрованный воздух, однако оставшийся после посещения Руффо душок отравы присутствовал в атмосфере, словно некий зловредный газ, лишенный цвета и запаха, но способный довести до сумасшествия.

Поняв, что заснуть не удастся, Жерар вытянулся на спине, закинув руки за голову. Над ним, в полумраке, блестела причудливой формы люстра, похожая на модель межпланетной станции. И это хитроумное кольцеобразное сооружение из позолоченного и эмалированного металла, и едва слышный шум вентиляции, и даже вкрадчивая упругость матраца из пористого каучука — все это раздражало, казалось нелепым до отвращения. Уехать бы в родную Бретань, жить в окружении воды и камня среди упрямых и неторопливых на язык людей — рыбаков с изъеденными солью руками, с выцветшими глазами на выдубленных ламаншскими бурями лицах...

В два часа — он машинально взглянул на часы — раздался звонок. Жерар открыл, увидел перед собой портье и вспомнил о данном вчера обещании.

— Добрый день, сеньор Бусоньер, — несмело поклонился тот, — простите за беспокойство... Вы мне вчера велели принести вам это...

Дон Хесус робко протянул Жерару исписанный корявым почерком лист бумаги и, встретившись с ним глазами, опустил руку.

— Может быть, вы передумали, сеньор Бусоньер? — тихо спросил он.— Я знаю, это трудная штука — такие хлопоты...

Жерар кашлянул и хотел что-то сказать, но промолчал.

— Вы извините,— опять поклонился портье,— я думал, раз вы сказали... Конечно, это трудно, такие деньги — тысяча семьсот песо...

— Видите ли...— хрипло начал Жерар и снова замолк.

Портье еще раз поклонился и отступил от двери.

— Я понимаю, сеньор Бусоньер... Я понимаю. Конечно, такие деньги... Мы только с женой думали — если не выйдет все, то, может быть, хотя бы часть, мы бы остальное попытались занять под проценты... Есть один турок, он дает...

Дон Хесус улыбнулся дрожащей улыбкой и заискивающе перехватил взгляд Жерара.

— Простите,— сказал наконец тот,— я немного нездоров, не обращайте внимания. Тут дело не в сумме.. Дело в том... что... Впрочем, ладно! Дайте бумагу, я этим займусь.

Ну что ж, иногда за тебя решают обстоятельства. В таких случаях остается лишь покориться, и это оказывается легче, чем решать самому. Намного легче! Жерар был теперь спокоен, совершенно спокоен. Дон Хесус растерянно что-то бормотал, на лице его была недоверчивая радость, и он обеими руками хватал руку Жерара.

— Ладно, ладно,— усмехнулся тот,— не стоит благодарности, дон Хесус, для меня это не составляет труда. Зайдите ко мне завтра в это время. Ну, всего наилучшего...

Он вернулся в ливинг, на ходу пробегая содержание бумаги. Сумма была указана аккуратно — цифрами и прописью. Тысяча семьсот песо. Жерар нацедил себе еще стакан содовой и медленно выпил, не сводя глаз с развернутого прошения. Потом тщательно разорвал бумагу на мелкие клочки, с усмешкой взвесил их на ладони и высыпал в пепельницу. Потом подошел к телефону.

— «Руффо и компания»,— заученно пропел в трубке голос телефонистки.— Что прикажете, кабальеро?

— Мне нужен дон Ансельмо Руффо, спешно.

— Прошу прощения, у сеньора Руффо заседает административный совет. Прикажете что-нибудь передать?

— Соедините меня с ним, черт возьми! — бешено крикнул Жерар. — Я сказал «спешно»!

— Простите, но во время заседаний...

— Послушайте, вы, если через тридцать секунд я не получу соединения с доном Ансельмо, считайте себя уволенной! Ясно?

Телефонистка испуганно умолкла, послышалось щелканье переключаемых коммутаторов и гудки. Потом в трубке недовольно проскрипел знакомый голос:

— В чем дело?

— Сеньор Руффо?

Жерар вдруг замолчал, охваченный каким-то внезапным приступом не то страха, не то слабости.

— Я слушаю,— еще более недовольно проскрипел голос.

— Это говорит Бюиссонье,— быстро сказал Жерар, справившись с собой. — Дело в том, что я передумал и принимаю ваше предложение.

— А, мой молодой друг,— медленно и, как показалось Жерару, с едва уловимым оттенком насмешки протянул Руффо. — Ну что ж, приступайте к работе. Чем-нибудь могу быть вам полезен?

— Да. Мне нужны еще две тысячи песо, и не позже завтрашнего полудня. В противном случае...

— Вы получите их через час.

— Если можно — наличными.

— Как вам угодно. Через час деньги будут в ваших руках. Желаю успеха, маэстро...

— Вот так,— пробормотал Жерар вслух, положив трубку. С минуту постояв с оглушенным видом, он пожал плечами и направился в кухню. В рефрижераторе еще от Брэдли оставалось порядочно спиртного. Жерар распахнул тяжелую бесшумную дверцу и достал едва початую бутылку с черной этикеткой: «BAT69 — выдержанное шотландское виски из наилучшего ячменя. Крепость и чистота гарантированы».

— Правильно,— усмехнулся Жерар,— крепость и чистота — как раз то, что нужно...

Он отвинтил пробку и огляделся в поисках стакана. На столе стояла чашка с недопитым кофе. Жерар выплеснул его в раковину, сполоснул чашку под краном и налил почти до краев.

Неразведенный шестидесятиградусный напиток обжег ему глотку и пищевод и вызвал на глазах слезы. Когда прошел приступ кашля, Жерар отдышался и, стиснув зубы, налил еще чашку. Эта — как ему показалось — прошла уже легче.

6

Основными чертами характера сеньориты Монтеро были любопытство и легкомыслие. Ей уже не однажды случилось испытать на себе отрицательную сторону этих качеств, но на этот раз они сыграли с ней особенно скверную штуку.

Возможно, будь она с подругой, ничего бы не случилось, но деловая по натуре Линда решила использовать свободный день для того, чтобы повидать некоторых своих бывших товарок по Театру обозрений и обсудить с ними предложение носатого Линареса, и на пляж Бебе пришлось поехать одной.

Первая половина дня прошла мирно, и ничто не предвещало мрачной развязки. Правда, в автобусе по дороге в Оливос к Бебе, несмотря

на ранний час, пристал какой-то тип, да так активно, что ей пришлось крикнуть шоферу и попросить его остановиться возле ближайшего постового; наглец выскочил из автобуса прямо на ходу, воспользовавшись замедлением на повороте. На пляже она добросовестно жарилась на солнце, потом плавала, стараясь держаться в обнесенной красными буйками зоне безопасности, потом опять загорала на песке. Пляж был почти безлюден, вода не слишком холодна, на сигнальной мачте развевался голубой вымпел — «идеальные условия для купания». Скоро к Бебе подсел шоколадно-загорелый guardavida[1], которому надоело торчать на своей сторожевой вышке; у него была непомерно развитая грудная клетка пловца-профессионала и кривые, до изумления волосатые ноги. Беба подумала, что ее собственные от такого соседства только выигрывают, и проболтала со стражем целый час, пока того не кликнули вытаскивать из воды какую-то чрезмерно увлекшуюся купанием сеньору. В два часа страж ушел обедать, спустив с мачты голубой вымпел и подняв вместо него красный, означающий, что с этого момента купальщики остаются без ангела-хранителя.

Сделав еще один небольшой заплыв, Беба тоже решила уйти. Она уже порядком проголодалась, и от солнца начала побаливать голова. Зайдя в кабинку, она быстро оделась и побежала к автобусной остановке, весело размахивая пляжной сумкой в блаженном неведении относительно своего ближайшего будущего.

Как это часто бывает с женщинами, ее погубили любопытство плюс необузданная любовь к нарядам. Доехав до Пласа Италиа, она увидела рекламу какого-то модного ателье, предлагающего богатый выбор только что полученных из Нью-Йорка моделей. Ателье было расположено на авениде Кордова, поблизости от здания факультета медицины, и, вместо того чтобы пересесть на автобус, идущий в Линьерс, Беба спустилась в метро и поехала любоваться нью-йоркскими модами.

Выйдя из вагона на станции «Хустисиалисмо» и увидев возбужденно орущую толпу студентов на перроне, она сразу поняла, что в факультете опять происходят какие-то беспорядки. Самым разумным было бы подождать три минуты до следующего поезда, проехать еще одну остановку и вернуться пешком со станции «Кальяо». Но любопытная Беба обрадовалась возможности увидеть сразу два интересных зрелища вместо одного и решительно направилась к выходу.

В подземном вестибюле станции, где студенты обычно закусывали в расположенном тут же баре, атмосфера была еще более накаленной. Беба стала осторожно пробираться к выходу между яростно спорящими группами. На лестнице почти дрались, а наверху, судя по реву голосов и завыванию полицейской сирены, обычный студенческий бедлам развернулся уже, видно, во всю ширь.

Движение по авениде было перекрыто, на углу Хунин стояли патрульные машины федеральной полиции, синие мундиры мелькали в толпе студентов, осаждающей вход в здание факультета. Прижавшись к парапету у входа в метро, Беба с восторгом наблюдала за событиями, не совсем понятными и поэтому особенно интересными. В одном из окон факультета появился седоусый старичок, стал кричать что-то, делая успокаивающие жесты. На секунду стало тише, и Беба расслышала хриплый от натуги голос:

— Коллеги... Заклинаю вас... Помните о своем гражданском долге... Храм науки...

— Долой!.. — неистово заорал рядом с Бебой высокий курчавый парень в растерзанном костюме. — Мы-то помним, что это храм науки! А вы сводите в нем политические счеты! Доло-о-ой!..

---

[1] Сторож на спасательной станции (*исп.*).

Толпа снова взревела, седоусый в окне махнул рукой и скрылся. Старое желтое здание факультета с серыми от пыли парусиновыми маркизами на окнах казалось вымершим и поражало своим покоем среди бушевавшей вокруг свалки. Непрерывно сигналя, сквозь толпу пробралась карета «скорой помощи» — в расположенный напротив факультета клинический госпиталь привезли больного. Пока санитары выгружали носилки, несколько студентов успели забраться на крышу кареты, размахивая кулаками и скандируя: «До-лой, до-лой, до-лой!..»

— Ни в одной нормальной стране,— продолжал выкрикивать курчавый, срывая голос,— власти не имеют права менять профессоров по своему усмотрению! Что такое сегодняшняя Аргентина — свободное государство или гитлеровский райх? Где университетская автономия?

— Автономию!! Автономию!

— Автономию! — завопила и Беба.— Хотим автономию!

Из-за угла улицы Президента Урибуру, кренясь на развороте и истошно завывая сиреной, вылетел еще один полицейский автобус, за ним скользнул патрульный «форд» с установленным на крыше громкоговорителем. Из открытого по бокам автобуса посыпались полицейские с карабинами.

— Предлагаю немедленно разойтись...— монотонно и оглушительно закаркал над толпой громкоговоритель.— Предлагаю немедленно разойтись... Если порядок не будет восстановлен через пятнадцать минут, федеральная полиция сделает это с применением силы. Прошу всех расходиться по боковым улицам группами не более пяти человек. Повто...

Беба не видела, что произошло,— очевидно, в громкоговоритель чем-то швырнули, потому что он вдруг поперхнулся на полуслове, захрипел и совсем умолк. Толпа восторженно заревела, замелькали дубинки полицейских. «Компаньерос, берегитесь провокаций!..»— отчаянно закричал курчавый, но его слова потонули в воплях «Долой!». Бебу оттеснили к ограде госпиталя, она взобралась на цоколь решетки и, сунув в рот два пальца, пронзительно засвистела.

Она была в полном восторге, но теперь уже решительно не понимала, что происходит. Часть студентов дралась с синими мундирами, часть — между собой; скоро полицейским удалось расчистить всю середину проспекта, и они начали усмирять отдельные группы, продолжавшие оказывать сопротивление блюстителям закона или лупить друг друга. Был еще момент, когда Беба могла улизнуть в метро, но она была слишком увлечена дракой нескольких студентов, сцепившихся прямо у того места, где она стояла на цоколе ограды. Возбуждение дерущихся передалось и ей; держась за решетку левой рукой, она перекинула свой пляжный мешок в правую и, улучив момент, с размаху хлопнула по голове какого-то рыжего парня, лицо которого ей не понравилось. Рыжий удара не заметил, и она размахнулась было для вторичного, но тут кто-то с другой стороны сильно дернул ее за юбку — Беба, не глядя, направила удар в ту сторону и, только после этого оглянувшись, обмерла от ужаса.

— Довольно, сеньорита! — заорал дернувший ее полицейский сержант, поправляя едва не слетевшую от удара фуражку.— А ну, сойдите вниз! Быстро!

Беба, мысленно поручив себя заступничеству девы Марии, соскочила с цоколя, и сержант крепко схватил ее выше локтя.

— Разнимайте этих! — крикнул он другим полицейским, указывая на продолжавших драться рыжего и его товарищей, и сердито посмотрел на Бебу: — А вы пойдете со мной!

— Простите, я не хотела...— испуганно сказала она и попыталась улыбнуться.— Отпустите меня, сарxенто[1], будьте таким любезным!

— Идемте, идемте.

— Сарxенто, я очень тороплюсь, правда...

— Успеете!

Сержант повел ее к зданию факультета, куда полицейские загоняли других задержанных. В прохладном вестибюле уже толклось несколько репортеров с камерами и блокнотами в руках. Увидев Бебу, двое из них тотчас же устремились к ней.

— Ваше имя, сеньорита,— затараторил один, пока второй, приседая, нацеливался объективом,— ваше участие в событиях? Что вы желаете сказать по поводу происходящего? Всего несколько слов, сеньорита...

Подоспевший офицер отстранил репортера.

— Прошу вас, господа, прошу вас... Никаких разговоров с задержанными, все сведения о событиях вы получите сегодня же на улице Морено... Господа, прошу вас... Лопес, уведите сеньориту, черт возьми! Ведите ее к Гийермо — последняя дверь по коридору, здесь уже нет места. Быстрее!

— Лейтенант, это недоразумение! — в отчаянье крикнула Беба.

— Ладно, ладно,— нетерпеливо махнул тот рукой.

Сержант повел Бебу по коридору.

— Стыдитесь, сеньорита,— бубнил он, так же крепко придерживая ее за локоть.— Родители на вас деньги тратят, образование вам дают, а вы такими делами занимаетесь...

— Я ничего не делала, сарxенто,— лепетала она,— честное слово!

— Ясно, все ничего не делают, хоть мне бы не говорили. Зайдите-ка покамест сюда... Эй, Гийермо!

Сержант ударил в дверь кулаком и передал Бебу другому полицейскому:

— Возьми еще одну, у Мануэля уже полно.

— Дралась?

— И еще как! На ринге против этой красотки не устоял бы и Джо Луис. Осторожнее с ней, главное — не давай войти в клинч!

Довольный своей шуткой, сержант захохотал и удалился за новой добычей.

Чувствуя, что влипла в нехорошую историю, Беба испуганно огляделась. За подымающимися крутым амфитеатром длинными столами уже сидела дюжина задержанных, ожидающих решения своей участи. Растерзанный вид большинства из них наглядно свидетельствовал об активном участии в событиях — у одного висел оторванный рукав рубашки, двое сидели закинув головы, с платками у носа, еще один с мрачным видом прикладывал к подбитому глазу лезвие перочинного ножа, переворачивая его то одной, то другой стороной.

— Ваше имя? — спросил полицейский, подводя Бебу к кафедре.

— Послушайте, я ничего не делала, уверяю вас...

Полицейский досадливо поморщился.

— Сеньорита, я ведь не комиссар, мое дело вас записать. Объяснять будете после, ничего не делали — тем лучше, значит, выпустят. Ваше имя?

— Монтéро Элена, — вздохнув, тихо ответила Беба.

— Элена... — повторил полицейский, вписывая имя в наполовину уже заполненный список.— Год рождения?

— Тысяча девятьсот тридцать третий.

— Адрес?

---

[1] Sargento — сержант (*исп.*).

— Артúгас шестьсот двадцать восемь, Линьéрс.

— Ладно, идите садитесь. И ни с кем не разговаривать, ясно?

Беба послушно уселась за один из столов во втором ряду, стараясь ни на кого не смотреть и с ужасом думая о том, что ждет ее впереди. Ее даже немного мутило — то ли от страха, то ли от голода. Не ввяжись она в эту дурацкую историю — все было бы совсем иначе: сейчас она уже пообедала бы и спокойно лежала у себя в комнате, читая про слепого сыщика. Что подумает Линда? Сочтет ее утонувшей и начнет звонить по моргам? Но самое главное — что подумает завтра сеньор Бюиссонье, если ее сегодня не выпустят? И зачем только она взяла у него эти деньги?.. Теперь он, конечно, решит, что она попросту сбежала. «Дева Мария,— прошептала про себя Беба, складывая под столом ладони,— пожалуйста, сделай так, чтобы меня обязательно выпустили сегодня...»

В дверь аудитории опять постучали снаружи — полицейский открыл, приняв сразу троих. Те вели себя шумно и вызывающе, отказывались отвечать на вопросы и требовали покончить с полицейским произволом. Потом привели еще одного, более покладистого. Только сейчас Беба заметила над кафедрой большие стенные часы — стрелки показывали половину шестого. Она ахнула — ей казалось, что не более получаса прошло с того момента, когда она вышла из автобуса на Пласа Италиа.

В шесть часов пришел поймавший Бебу сержант; всех задержанных выстроили в затылок и повели по коридору, приказав не шуметь. Во внутреннем дворе стояли два крытых грузовика, один из них был уже почти полон, другой ждал очереди. Очутившись в большом обществе, студенты снова зашумели, явно стараясь, чтобы их услышали на улице. Загнав еще нескольких в первый грузовик, полицейские торопливо подняли борт, один из них, с карабином, вскочил последним, и грузовик с рычанием выехал за ворота; оттуда тотчас же донесся гул возмущенных голосов. Началась посадка на вторую машину. Когда Беба взбиралась по узкой приставной лесенке, стоявший рядом полицейский невежливо подтолкнул ее концом резиновой дубинки, процедив сквозь зубы ругательство.

— Не смей трогать девушку, ты! — тотчас же крикнул кто-то из шеренги ожидающих погрузки.— Будьте свидетелями, компаньерос, он ее ударил!

Остальные зашумели, раздались предложения написать об этом случае министру юстиции. «Да пишите хоть самому Перону,— ворчали полицейские, подгоняя очередь.— Живее, не на пикник едете». Из глубины кузова неслись негодующие крики:

— Не давайте воли рукам!

— Преторианцы!

— Сатрапы!

— Ищейки! Гав, гав, гав!

Грузовик наконец тронулся и, на полном ходу проскочив мимо ожидающей за воротами толпы, круто развернулся и понесся по улице, сопровождаемый двумя патрульными машинами.

В кузове было тесно, все стояли вплотную друг к другу, шатаясь от толчков. Освоившись с темнотой — заднее полотнище покрывавшего кузов брезента было опущено,— Беба увидела рядом с собой того курчавого, что препирался с седоусым. Тот тоже посмотрел на нее, и, словно стараясь припомнить, прищурился.

— Я что-то вас никогда не встречал, компаньера, — сказал он.— Вы на первом курсе?

— Да нет, я вообще не студентка,— растерянно отозвалась Беба и ухватилась за его рукав, так как машину сильно качнуло.

— А что же вы тогда тут делаете? — изумился курчавый.

— Я попала случайно — просто хотела посмотреть. Я проходила мимо! Потом я немного подралась, и меня поймали.

— А-а,— усмехнулся курчавый,— любительница острых ощущений. Ну, острые ощущения вам гарантированы, будьте спокойны. Это вас ударил этот болван?

— Он не ударил, только подтолкнул... совсем не больно. А почему вы думаете...

— Увидите,— сказал курчавый таким зловещим тоном, что Беба похолодела. — После выхода на свободу вам несомненно понадобится медицинская помощь, сеньорита. Хотите мой адрес? Диплом будет у меня через месяц, я на последнем.

— П-почему понадобится? — заикаясь от страха, спросила Беба.

— Потому что в лучшем случае вы отделаетесь ушибами и вывихами, а в худшем... Ну, в худшем могут быть переломы конечностей, различного рода травмы, повреждения внутренних органов, сотрясение мозга, кровоизлияния и так далее. Так или иначе, без моей помощи вам не обойтись, поэтому запишите мое имя — Эрменехильдо Ларральде. Найти меня можно в госпитале Роусон, домашней практики у меня пока нет. Вас я по знакомству приму без очереди.

— Вы шутите, сеньор Ларральде,— с надеждой сказала Беба.

— Думайте так для собственного успокоения. Ребята, у кого есть закурить?

Кто-то перебросил ему сигарету, Ларральде ловко поймал ее на лету и щелкнул зажигалкой.

— Курить запрещено! — крикнул сидящий на заднем борту полицейский.

— Запретный плод сладок, мой генерал,— ответил Ларральде, со вкусом затягиваясь.— Простите, сеньорита, не подумал вам предложить. Вы курите?

— Сейчас не хочу, спасибо, — убитым тоном отозвалась Беба.

— Напрасно, от переломов конечностей ваше послушание все равно не спасет. Знаете, какие бывают переломы? Самые плохие — это открытые.

— Ах, идите вы...

— Вас могут подвергнуть пытке электрическим током,— не унимался Ларральде.— Знаете, как это делается? Вас разденут, положат на оцинкованный стол, пристегнут руки и ноги специальными ремешками и будут прикладывать электроды к чувствительным частям тела. Ощущение острое, поверьте.

— Послушайте, хватит вам! Все это очень остроумно, но у меня нет настроения смеяться.

— А кто вам предлагает смеяться? Плакать надо, сеньорита, плакать. Вы умеете плакать по заказу? У меня была любовница — скромности ради не будем называть ее по имени, но вы, несомненно, не раз видели ее на экране,— так вот она изумительно умела плакать по заказу. Вот такие слезины, не поверите. Вообще, фантастическая женщина, тигрица. Фигура! Темперамент!

— Почему же вы с ней расстались? — насмешливо спросила Беба.

— Именно из-за ее темперамента. Она приревновала меня к дочери одного миллионера — не будем уточнять, кого именно,— и покушалась на мою жизнь. Однажды ночью вдруг пытается ударить меня толедским кинжалом. Представляете? Но я перехватываю ее руку — гоп! — и говорю: «Дорогая, расстанемся без вмешательства полиции». Кинжал она мне оставила, я потом потрошил им трупы в анатомичке.

— Врете,— вздохнула Беба.— В тюрьме чем-нибудь кормят?

— О, в Дэвото кормят отлично. Русская икра, шампанское и так далее. Сейчас увидите сами, мы, кажется, уже подъезжаем. Если не ошибаюсь... Да, асфальт уже кончился, слишком уж трясет. Через пять минут будем дома.

— Похоже, что эту дорогу вы знаете с закрытыми глазами,— съязвила Беба.

— Еще бы! Минимум раз в семестр я путешествую по ней на казенный счет.

— И вам хватает времени на звезд экрана и на потрошение трупов?

— Сеньорита, я давно не занимаюсь ни тем, ни другим,— с достоинством ответил Ларральде.— На последних курсах мы потрошим не трупы, а живых людей.

— Верно, вы же скоро кончаете. Кстати, разве сейчас не каникулы? — спросила Беба.

— Вообще да, но в этом году мы задержались. Университет ведь бастовал весной два месяца — весь август и сентябрь, поэтому сессии были отложены.

— А из-за чего бастовали?

— Не хотели нового министра просвещения...

Машина сбавила ход. Потом она остановилась, полицейский спрыгнул наружу, и задний борт с грохотом откинулся. Студенты загалдели и стали прыгать на землю. Ларральде церемонно поклонился:

— Ну, рад был с вами познакомиться, сеньорита...

— Монтеро.

— Очень рад, сеньорита Монтеро. Жаль, что уже приходится расставаться, но это ненадолго.

Полицейский заколотил резиновой палкой по борту:

— Живее, живее! Вы что, ночевать здесь собрались?

— Потише, мой генерал,— соскочив на землю, сказал Ларральде,— вы разговариваете с представителями медицины. Рано или поздно ваша жизнь окажется в наших руках. Разрешите вам помочь...

Он подхватил Бебу за талию и осторожно опустил на землю.

— Где же мы с вами встретимся? Надеюсь, что через неделю мы все будем на свободе.

— Вы считаете, что это необходимо — встречаться? — лукаво спросила Беба, искоса глянув на него из-под ресниц.

Ларральде, отбросив свой самоуверенный вид записного балагура, добродушно улыбнулся:

— Ну почему... Я просто думал... раз уж мы познакомились в таких обстоятельствах...

Полицейский оттеснил Бебу в сторону.

— Сеньорита, это вам не клуб, здесь разговаривать нельзя! Отойдите к другим девушкам, сейчас за вами придут. Эй, кто там еще в машине — живее на землю!

— Так как же? — быстро спросил Ларральде.

Беба улыбнулась и пожала плечами. Отойдя на несколько шагов, она обернулась и бросила:

— Мой телефон — шестьдесят четыре, двадцать шесть, одиннадцать.

— Я кому сказал, сеньорита! — рявкнул полицейский.

— А я что говорю? — огрызнулась Беба и пошла к группе девушек, небрежно размахивая сумкой.

Тотчас же к ним подошла женщина в сером халате и велела идти за собой. У Бебы опять сжалось сердце; она обвела взглядом ряды зарешеченных окон, потом оглянулась на Ларральде и заставила себя улыбнуться и помахать рукой.

— Номера я не забуду! — крикнул тот, сложив ладони рупором.

Девушек было задержано немного, и их всех рассадили по разным камерам. Беба оказалась в обществе нескольких работниц с текстильной фабрики, арестованных за участие в какой-то демонстрации, и двух мегер гнусного вида, на воле промышлявших наркотиками. Разговаривать с мегерами было противно, а работницы были слишком озабочены своим положением и все время шептались между собой, поэтому Беба оказалась предоставленной самой себе. Одна из мегер в первую же ночь украла у нее нейлоновый шарфик; Беба видела это, но решила не связываться. После завтрака и уборки камеры она села на свою койку со сложенными на коленях руками и просидела так целый день, уныло глядя на зарешеченный кусочек яркого неба. Лежать или ходить по камере не разрешалось — надзирательница то и дело заглядывала в глазок.

Время от времени Беба принималась потихоньку плакать, думая о том, как воспринял ее исчезновение сеньор Бюиссонье. Если бы не это, в ее положении не было бы ничего особенно страшного. Случайное участие в студенческих беспорядках — это же не преступление. О своем новом знакомом Эрменехильдо Ларральде она не думала, только иногда вспоминала о нем в связи с его предсказаниями о возможном сроке заключения. Целая неделя — это же страшно много, завтра или послезавтра Бюиссонье заявит в полицию, и тогда ее обвинят уже не в этой дурацкой студенческой драке, а в гораздо худшем. Кто поверит, что она попала в эту историю случайно, а не нарочно, чтобы на несколько дней засесть в тюрьму и замести следы? Ей очень хотелось посоветоваться с кем-нибудь из текстильщиц, но те явно сторонились ее,— слишком уж нарядно она выглядела со своей модной прической.

Нестерпимо медленно прошли первые сутки заключения, потом вторые. На третий день Беба уже не помнила себя от отчаяния. Ей начинали вспоминаться всякие страшные истории о людях, которые проводили в предварительном заключении по нескольку месяцев, не получая свидания со следователем. Потом припомнила какую-то женщину, которую в тюрьме остригли под машинку; Беба ужаснулась и решила, что если с ней такое сделают, то она немедленно покончит с собой. Вечером ее вызвала надзирательница и повела по бесконечным коридорам. Куда и зачем ее ведут — стричь или пытать — было неясно; Беба приготовилась к худшему. Она так ясно представила себе стол с ремешками, о котором говорил Ларральде, что ей стало тошно от страха, а ноги перестали повиноваться. Но как раз в этот момент надзирательница остановилась у одной из дверей.

— С тобой будет говорить господин комиссар,— строго сказала она Бебе и позвонила.— Отвечай только правду и не вздумай закатывать истерик — он этого не любит...

— Входите! — крикнули изнутри.

Надзирательница открыла дверь и подтолкнула Бебу вперед — та из вежливости хотела уступить ей дорогу.

— Вы вызывали задержанную Монтеро, сеньор комиссарио.

— Кого? Какую еще Монтеро?

— Это из тех, сеньор комиссарио, что задержаны шестнадцатого.

— А-а, да. Хорошо, вы пока свободны. Сюда, сеньорита...

Беба со страхом приблизилась к столу, за которым сидел унылого вида полицейский офицер с зализанными на макушке редкими волосами.

— Садитесь, сеньорита Монтеро.

Беба опустилась на краешек стула.

— Как вам известно,— начал комиссар скучным голосом, заглянув в лежащий перед ним список и поставив в нем птичку,— вы задержаны

за участие в событиях, разыгравшихся шестнадцатого февраля на медицинском факультете. Что вы имеете сообщить по этому поводу?

— Я... Мне нечего сообщить...— запинаясь от страха, пробормотала Беба. — Я совсем не студентка, сеньор комиссарио...

— Это усугубляет вашу вину. Что вы делали перед зданием факультета?

— Ну... я просто проходила мимо... а потом попала в толпу и не могла выбраться. Я ехала с пляжа, сеньор комиссарио... просто остановилась поглядеть.

— Вы проходили мимо или вы остановились? Это не одно и то же!

— Я проходила и потом остановилась...

— Но вы принимали участие в драке?

— Нет... Я только хотела растащить — там дрались двое, и я... я, кажется, ударила одного сумкой... Они так дрались, что мне стало страшно.

— Сумку у вас отобрали в тюрьме?

— Да, сеньор комиссарио.

Комиссар снял телефонную трубку и велел принести вещи задержанной Монтеро.

— Вы ехали с пляжа, говорите? — снова обратился он к Бебе.

— Да, сеньор комиссарио...

— Живете с родителями?

— Нет, сеньор комиссарио, мои родители умерли. Я живу одна... То есть, я хочу сказать,— с подругой.

— У вас есть состояние?

— Нет, сеньор комиссарио...

— В таком случае, почему вы не работаете? Вы были на пляже не в воскресенье. На какие средства вы живете?

— Я работаю натурщицей, сеньор комиссарио... Позирую для художников.

— А-а... позируете?

Комиссар оглядел ее и усмехнулся, Беба под его взглядом покраснела.

— Да, позирую! — запальчиво отпарировала она. — А что такого?

Он успокаивающим жестом выставил перед собой ладони:

— Тише, тише! Я тебе что-нибудь сказал? Вот и не волнуйся...

Положив перед собой лист бумаги, комиссар развинтил вечное перо и попробовал его на ногте. С минуту он писал, не обращая больше на Бебу никакого внимания, потом в дверь стукнули, и вошел полицейский с пляжной сумкой. Комиссар жестом велел положить ее на стол.

— Твоя? — спросил он у Бебы, откладывая бумагу.

— Моя, сеньор комиссарио...

— Глянь, Лопес, что там у нее.

Полицейский развязал сумку и вытащил скомканный купальник, полотенце, флакон туалетного масла и портмоне.

— Над столом хоть не труси! — Комиссар взял папку и ребром ее смахнул на пол насыпавшийся из сумки песок.—Больше ничего? Клади обратно...— Флакон с маслом он развинтил зачем-то, понюхал и отдал Бебе вместе с сумкой.— Ладно, забирай и катись отсюда. Но учти!—Он хлопнул ладонью по столу и угрожающе повысил голос.— Влипнешь еще в одну такую историю — посажу на шесть месяцев. Ясно? Так или иначе, досье на тебя уже заведено, поэтому сиди тихо. Лопес, проводи ее на выход. Да, минутку — тут еще надо расписаться...

Беба, не читая, подмахнула какую-то бумагу и выскочила за дверь, пока комиссар не передумал.

— Куда спешишь? — сказал вышедший следом за нею Лопес.— Сейчас еще пропуск будем оформлять...

Когда она наконец вышла на свободу, уже стемнело. Подкатил автобус, в довершение ко всему еще и полупустой; заняв место у окна, она с наслаждением смотрела на мелькающие мимо дома предместья и все еще не совсем верила свободе. Скоро узкие улочки сменились широкими, ярко освещенными авеню. На одной из остановок Беба увидела телефонную будку и, расталкивая пассажиров, бросилась к выходу.

Она звонила долго, то и дело вешая трубку и снова бросая в щель двадцатицентовую монету. Телефон на другом конце провода был занят. «Странно, с кем это он так долго говорит?—подумала Беба, выходя из будки. — Позвоню еще раз, позже».

Линда встретила ее без удивления — спокойно отложила книгу и улыбнулась:

— Ну, здравствуй. Понравилось в тюрьме?

Беба опешила:

— А ты откуда знаешь?

— Из газет, откуда же еще,— лениво ответила Линда, потягиваясь. — Я в тот же день, когда ты поехала на пляж, вечером была у парикмахера и начала просматривать вечерние газеты... Как раз только что принесли, часов в семь это было... Читаю — какие-то студенческие беспорядки, и вдруг в списке задержанных твоя фамилия. Представляешь, какой шок? Чего ради ты туда полезла?

— Подожди, все расскажу. Бюиссонье не звонил?

— Никто не звонил, насколько я знаю. Знаешь, а у меня новость: уезжаю с Линаресом, и, наверное, очень скоро.

— Серьезно? Ну, смотри... Он все-таки жулик. Впрочем, ты его знаешь лучше.

— Конечно. Ну а ты как — благополучно отделалась?

— Да, но только я сейчас прежде всего должна искупаться... Ты не можешь себе представить, я три дня не мылась. Там жуткие клопы — вот такие, меня всю искусали. Боюсь, еще с собой принесла. Слушай, достань мне белье и полотенца, я даже не хочу лезть в шкаф... Ты умрешь со смеху, когда я тебе все расскажу...

7

На следующий день, с утра, Линда отправилась начинать хлопоты о паспорте. Беба еще несколько раз пыталась позвонить Бюиссонье, но опять безуспешно. Телефон был, очевидно, испорчен, так как все время слышались те же отрывистые сердитые гудки.

Наспех позавтракав, она оделась с особой тщательностью и вышла из дому раньше обыкновенного. Не было еще десяти часов, когда она позвонила у двери своего нового патрона. Долго никто не отзывался, и Беба уже подумала было, что Бюиссонье вообще исчез, когда за дверью послышались непривычно шаркающие шаги.

— А, это вы,— равнодушно сказал Жерар, отворив дверь.— Заходите.

Свет в передней был выключен, и Беба не разглядела его лица, но ей почему-то показался странным весь его вид.

— Добрый день, Херардо,— весело заговорила она, не успев даже сообразить, что именно ее поразило,— воображаю, как вы меня ругаете. Вы знаете, со мной случилась такая история...

— Истории случаются... с каждым,— каким-то спотыкающимся и в то же время равнодушным голосом отозвался Жерар, входя вместе с ней в залитый утренним солнцем ливинг. Закрывая дверь, он пошат-

нулся — и только тут Беба увидела, что он совершенно пьян. В такое время?..

— Что с вами, Херардо? — удивленно спросила она, останавливаясь перед ним.— Вы выпили лишнего? Странно, я не думала... Да и кто же пьет с утра?

— Кому нужно... тот пьет,— подмигнул Жерар, беря у нее из рук сумочку.— Будьте как дома, прошу вас. Стаканчик коньяку? Или вы предпочитаете это, как его... в-виски? Вы же американка...

— Спасибо, я ничего не хочу,— уже встревоженно сказала Беба, не сводя с него глаз.— Послушайте, Херардо, у вас какая-то неприятность?

Жерар покачал головой, скривив губы, и отмахнул свисающие на лоб волосы.

— Что вы... мадемуазель Монтеро...— пробормотал он, свалившись в кресло рядом с уставленным бутылками столиком.— Впрочем, мы же перешли на «ты», у меня совсем вылетело... Не обращай внимания.

Он неторопливо вытянул полстакана золотистой жидкости и, поморщившись, принялся задумчиво жевать ломтик лимона.

— Ты говоришь — неприятность,— усмехнулся он, выплюнув корочку.— Что ты, моя кошечка... У меня огромная удача! И я ее праздную... уже второй день. Или третий?

Беба натянуто рассмеялась и присела на край дивана.

— Я за тебя рада, Херардо... если у тебя и в самом деле удача. Но только мне кажется... Херардо, может быть, тебе хватит? — робко спросила она, когда он опять взялся за бутылку.

— Чеп-пуха... нонсенс, как говорит Аллан. Сейчас мы выпьем вместе — за мою колос-сальную удачу... Рекомендую, Беба,— настоящий «кордон блё»... лучший из французских коньяков. Пр-рошу!

— Нет, Херардо, я же сказала...

— Мадемуазель...— Жерар прикрыл глаза и поклонился, едва не свалившись с кресла.— Не смею настаивать. Ваше драгоценное здоровье...

— Спасибо,— прошептала Беба, глядя на него уже со страхом.

Жерар выпил и трясущимися пальцами разорвал пополам кружок лимона.

— Итак, у меня удача. Ты не хочешь меня поздравить? Ну да, ты же еще не знаешь, в чем дело...

Он покачал головой, жуя лимон.

— Дело в том, что я теперь богат... как сорок тысяч крезов. А это главное в жизни, не так ли? Ты купила себе шубку?

— Нет еще...

— И не надо. Через месяц я куплю тебе горностаевую мантию. Знаешь, такую, с хвостиками.— Он клюнул носом и повертел в воздухе пальцами, по-видимому желая изобразить хвостики горностаев.— Устраивает тебя?

— Да,— растерянно улыбнулась Беба, стараясь попасть ему в тон.— То есть, я не знаю, в ней, пожалуй, неудобно ходить? Будет путаться в ногах, она ведь длинная.

— Укоротишь— по моде,— решительно сказал Жерар.— Да, так что я хотел...

Он на минуту прикрыл глаза, и Беба похолодела: его мертвенно-бледное лицо с трехдневной рыжеватой щетиной на щеках вдруг представилось ей мертвой маской.

— Херардо! — вскрикнула она испуганно.— Тебе нехорошо?

— Нет, напротив,— пробормотал он, с усилием открывая налитые кровью глаза.— Что ты... Я же тебе сказал — мои дела идут просто замечательно... как никогда.

— Конечно, Херардо, я верю. Приготовить тебе крепкого кофе?

Жерар что-то промычал, отрицательно мотнув головой.

— Никуда не ходи,— сказал он спустя минуту.— Нам нужно... поговорить.

— Да, я слушаю...

— Ты рада, что у меня... есть теперь деньги?

— Я думаю, они были у тебя всегда.— Беба пожала плечами.— Но вообще я за тебя рада, конечно.

— Вот именно. Нет, раньше их у меня не было... Но теперь есть. Понимаешь? Это самое главное... Ты согласна, что в жизни самое главное это деньги?

Беба чувствовала себя совсем неловко. По сути дела, нужно было уйти, но ей страшно было оставить Херардо одного в таком состоянии. Нужно обязательно напоить его черным кофе, и побольше... Но что с ним случилось?

— Да... я не знаю,— растерянно ответила она, когда Жерар с упорством пьяного повторил свой вопрос.— Конечно, без денег нельзя жить, Херардо... А насчет того, что в жизни главное, я просто никогда не думала. Но я подумаю, если ты хочешь.

— Н-не нужно... Об этом уже думали без тебя. Главное — это деньги. Понимаешь — день-ги! На моем языке это называется l'argent, на языке Аллана — money. Time is money! Ты говоришь по-английски?

— Нет, Херардо...

— И не надо. Запомни только одно слово — money. Деньги! Это главное, Беба, а все остальное... всякие такие штуки, как мораль... — Жерар покривился и пальцем прочертил в воздухе большой крест,— ...все это чушь, мы живем в двадцатом столетии... и в наши дни Фортуна отдается реалистам — тем, у кого набиты карманы. Видишь, Беба, даже богиня Фортуна и та отдается за деньги, как... впрочем, как все мы. Ты ведь не станешь этого отрицать?

— Прости, я не совсем поняла,— пробормотала Беба.

— Ладно, поясню...

Он снова налил себе коньяку и выпил, и снова закусил лимоном, сжевав его на этот раз вместе с кожурой.

— Слушай меня, Беба. Пятьдесят тысяч пиастров для тебя большие деньги?

— Пятьдесят тысяч песо? О, конечно, громадные...

— Не правда ли? А если я предложу их тебе только за то, чтобы ты сегодня провела ночь у меня в спальне?

Беба уставилась на него большими глазами, медленно заливаясь краской.

— Что за шутки, Херардо?.. Разве я дала повод?..

— А я вовсе не расположен шутить, моя мышка,— с усилием выговаривая слова, заявил Жерар.— Это серьезнее, чем вы думаете, мадемуазель...

— Ах вот как,— тихо сказала Беба и вдруг вскочила с дивана.— Вот как! Так вот, значит, для чего вы мне дали те деньги! В таком случае вы слишком рано проговорились, мой сеньор! — крикнула она, направляясь к двери.

Жерар, вскочив с места с неожиданным для пьяного проворством, настиг ее и крепко схватил за руки:

— Постой, Беба...

Беба отшатнулась, пытаясь высвободиться.

— Пустите меня, слышите! Вы что — хотите, чтобы я закричала?

— Выслушай, что я тебе скажу...

— Мне нечего вас слушать. Пустите!

Она вырвалась вдруг таким резким движением, что Жерар потерял равновесие и снова схватился за нее, чтобы не упасть. Беба размахнулась и звонко ударила его по щеке. Мгновенно протрезвев, Жерар отступил на шаг, глядя на нее остановившимися глазами.

— Как вам не стыдно! — крикнула она с отчаянием.— Как вам только не стыдно! Я еще думала, что...— голос ее задрожал и прервался,— что вы совсем не такой, как все эти... Господи, что вы наделали, Херардо!

Она расплакалась навзрыд, закрыв лицо руками. Жерар отошел к своему креслу, сел, опустив голову. Плакала Беба долго, он молчал. Постепенно она начала успокаиваться.

— Пойдите приведите в порядок лицо, нельзя так выходить,— сказал он негромко, когда она, всхлипывая, взяла со стола свою сумочку. Беба послушалась, ушла в ванную. Жерар, проводив ее взглядом, взял трубку и трясущимися пальцами стал набивать, рассыпая табак себе на колени.

Через несколько минут Беба вернулась — с восстановленной косметикой и в солнцезащитных очках.

— Деньги я вам верну по почте,— не глядя на Жерара, сказала она, уже взявшись за ручку двери. — Сегодня же!

Вернувшись домой, Беба выдернула из-под кровати чемодан, достала спрятанные на дне четыре билета по пятьсот песо и снова вышла на улицу, в знойное безветрие февральского полдня. В маленьком помещении почтовой конторы было еще жарче, дребезжащий в углу вентилятор без толку перемешивал густой и липкий, как патока, воздух, чиновник за барьером — в расстегнутой рубашке с засученными рукавами — выписывал и штемпелевал квитанции с осоловелым видом, то и дело отирая лицо мокрым платком. Беба стояла в очереди с заполненным бланком в руке и чувствовала, что ей вот-вот станет нехорошо. От духоты ее очки сразу же запотели, но она не снимала их, чтобы не показать заплаканных глаз.

Сдав наконец перевод, она торопливо вышла из конторы и, перейдя на другую сторону улицы, остановилась под парусиновым навесом у витрины какой-то лавчонки. Еще полчаса назад ей казалось, что, освободившись от этих денег, она освободится и от сознания незаслуженной обиды, смоет с себя всякий след полученного оскорбления. Но этого не случилось, ей вовсе не стало легче оттого, что она порвала последнюю нить, связывавшую ее с Бюиссонье. Она не могла сейчас понять, что с ней происходит. Почему случившееся так ее потрясло?

Такси с поднятым красным флажком «свободно» выехало из-за угла медленно, словно и на машину действовал удушливый полуденный зной. Беба подошла к краю тротуара и подняла руку.

— Куда-нибудь в центр, — сказала она шоферу, захлопывая за собой дверцу.

Шофер опустил флажок и выбросил в окно окурок.

— Центр большой, сеньорита,— не оборачиваясь, сказал он лениво, включая скорость.

— Ну, давайте на Пласа-де-Майо...

Выйдя из такси на площади, Беба несколько минут постояла в тени пальм, рассеянно глядя на древнего старичка в канотье, кормящего голубей возле входа в метро, на черные лимузины с номерами дипломатического корпуса, выстроившиеся перед Розовым домом, на девушек в темных очках и узких синих брюках, проносящихся мимо на стрекочущих белых мотороллерах. У нее самой не было ни «кадиллака», ни даже мотороллера, но все равно смотреть на это было приятно. Истая горожанка, родившаяся и выросшая в столице, она любила пеструю сутолоку центра, лихорадочный темп столичной жизни, метровые буквы

анонсов над входами в кинематографы, столики на тротуарах и стиснутые многоэтажными фасадами потоки автомобилей. Даже убийственный в летние дни воздух Буэнос-Айреса — раскаленная смесь пыли, шума и бензинового перегара,— даже этот воздух был ей приятен. Он был ее родным воздухом, и она не променяла бы его ни на какой другой.

Постояв под пальмой, Беба пересекла площадь и села за мраморный столик под навесом кафе. Мосо, изнывающий от жары в своем наглухо застегнутом белом кителе, принес ей стаканчик гренадина и тарелочку с колотым льдом. Беба помешала соломинкой рубиновую жидкость и, сделав глоток, снова задумалась.

Полтора года назад — после разрыва с маэстро Оливьери — она попыталась «переменить климат». Выбрала самый маленький, самый стопроцентно провинциальный городок в провинции Мендоса: сутки езды от столицы, семь тысяч жителей, один отель, два кафе, церковь Сан-Игнасио де Лойола и один кинематограф, действующий по субботам и по воскресеньям, — не городок, а сплошная идиллия.

Возможность устроиться была — если не куда-нибудь в бюро, то хотя бы продавщицей. Ее взяли бы с распростертыми объятиями — она сразу поняла это по тому фурору, который произвели на вокзале и в отеле ее туфли на итальянском каблучке (такие в то время были новостью даже для столицы), ее дорожный костюм из шотландского твида и мягкий, кремовой кожи чемодан на «молниях». Конечно, ее взяли бы, даже если бы для этого потребовалось уволить без предупреждения какую-нибудь провинциалочку, проработавшую на своем месте не один год. Более того, она могла бы в одну неделю расстроить любую партию и еще через месяц выйти замуж за какого-нибудь сына лавочника или скотовода. Но разве это была бы жизнь?

Она видела, как там развлекалась молодежь. Одноэтажный отель стоял на площади, напротив церкви. Площадь крошечная — сотня шагов в диаметре, середину занимает цветничок, вокруг него тротуар и скамейки. Днем на ней не увидишь ни души, зато с закатом солнца начинается традиционная провинциальная карусель. Молодые люди — местные донжуаны — сидят на скамейках, а мимо них прогуливаются сеньориты на выданье — группками по две, по три. Донжуаны покуривают сигаретки, рассказывают друг другу мужские анекдоты и окидывают сеньорит оценивающими взглядами прожженных сердцеедов; те шепчутся между собой и неестественно громко смеются. В десять часов сеньориты расходятся по родительским домам, а молодые люди заканчивают вечер либо в баре отеля, либо в одном из двух кафе — «Альгамбра» или «Дос Чинос».

Она терпела все это двое суток, а на третий день с утра отправилась на вокзал и купила обратный билет. Поезд уходил в полночь; в последний вечер своего пребывания в идиллическом городке она надела черный свитер и свои самые узкие брюки и вышла на площадь, усевшись на свободную скамейку, как раз под фонарем. На этот раз карусель пошла обратным ходом: сеньориты, оскорбленные в своих лучших чувствах, демонстративно покинули площадь, а донжуаны весь вечер ходили по кругу и не отрывали глаз от скамейки под фонарем, как солдаты на параде, проходящие мимо трибуны президента Республики. Беба сидела с мечтательным видом, заложив ногу на ногу, и покуривала «Лаки-Страйк».

Вернувшись в Буэнос-Айрес, она уже знала, что никогда не сумеет отказаться от всего того, что давала ей ее профессия,— от известной свободы, от возможности хорошо одеваться, вести столичный образ жизни, иметь поклонников. Веселая и циничная среда художников и скульпторов показалась ей родной, словно она в ней и родилась и выросла. Через шесть месяцев один из ее приятелей по кафе «Аполо», та-

шист Маранья, познакомил ее со своим другом Джонни Ферраро, сыном фабриканта велосипедов. У Джонни была отдельная холостяцкая квартирка в Палермо, собственный «крайслер» и громадная коллекция джазовых пластинок...

Беба вздохнула и потянула через соломинку свой гренадин, потом достала из сумочки сигареты и зажигалку. Конечно, говорить о невинности не приходится. Чего только не наслышишься за три года работы натурщицей... и чего только не насмотришься. Но почему, почему сейчас она восприняла это именно так? Скажи это ей кто-нибудь другой — она просто дала бы ему по физиономии и забыла бы о нем через полчаса. Но Херардо... Как мог сказать это именно он, Херардо?

Как мог он это сказать, и как может она переживать это таким образом? Кто для нее этот Бюиссонье? Никто! Конечно, он был ей очень симпатичен, симпатичен с первого взгляда. Такой худой и нескладный, с растрепанной светлой шевелюрой, широко расставленными глазами и большим насмешливым ртом. Конечно, она чувствовала к нему доверие. Но после истории с Джонни Ферраро она считала себя достаточно застрахованной от того, чтобы так переживать потерю этого самого доверия. Правда, чем доверие сильнее, тем больнее воспринимается обман. Но, санта Мария, разве у нее были основания питать к Бюиссонье какое-то особое доверие, какие-то особые чувства?..

Пожилой господин с фатовскими усиками, в щегольски сдвинутой набекрень дорогой светлой шляпе, подошел к ее столику.

— С вашего позволения, сеньорита,— сказал он вкрадчиво-наглым тоном, берясь за спинку свободного кресла.

Беба бросила на него ледяной взгляд.

— Не видите других столиков? Тогда побывайте у окулиста, в ваши годы это не лишне.

— О-о, роза, оказывается, с шипами,— не смутился тот и сел поодаль, подозвав мосо движением пальца.

На башне муниципального совета часы пробили половину второго. Беба машинально сверила свои часики. Только половина второго... Столько времени впереди, и нечем его убить! Сегодня будет долгий и пустой день, и завтра, и послезавтра, и всегда. Неужели это действительно навсегда — жить вот так, неизвестно для чего, вечно выслушивать одни и те же приставания и комплименты и все время обманываться в людях... Именно в тех, кто вдруг покажется ей особым, ни на кого не похожим, способным придать ее жизни какой-то смысл...

Разноцветные нарядные автомобили один за другим проносились мимо с тем характерным шипением, которое появляется в слишком жаркие дни, когда размягченный асфальт липнет к покрышкам. Лед в тарелочке давно растаял, муха пристроилась на краю стакана с согревшимся гренадином. За соседним столиком господин в светлой шляпе развалился в своем плетеном кресле, закинув ногу за ногу, и взглядом знатока рассматривал рыжую девушку; он твердо решил дождаться ее ухода, чтобы пройтись за ней следом квартал-другой и получить, таким образом, возможность в полной мере оценить ее сложение. Пикантная штучка, черт возьми, ему будет о чем рассказать в клубе сегодня вечером...

Беба закурила сигаретку и тут же ее бросила: в такую жару курить не тянет. Может быть, это все только от жары — и эта тоска, и эта путаница в голове, и все эти непривычные и ненужные мысли о бессмысленности жизни... Она ведь никогда о таких вещах не думала. Или это приходит с возрастом? Хотя — возраст, какой там еще возраст, ей ведь не тридцать лет! У нее впереди вся молодость. Да, но что она ей дает, эта ее молодость? А в будущем?

Удушливый зной пылал над городом, плавя асфальт и накаляя

стекло и бетон. Огибая площадь, бесконечным потоком неслись мимо сверкающие приземистые автомобили, оставляя за собой голубоватый бензиновый дымок. Стрелки старинных часов на башне муниципального совета подходили к двум. Рыжеволосая девушка продолжала сидеть перед стаканом гренадина, красивая, нарядно одетая, тщательно причесанная по последней моде,— и ее сердце все больше сжималось под гнетом непривычной тоски и необъяснимого страха.

8

Сыновья никогда не приносили донье Марии Ларральде ничего, кроме огорчений. Казалось бы, два взрослых сына могли бы стать хорошей опорой для бедной вдовы, будь это нормальные сыновья, как у людей. Старший, Пабло, вообще покинул дом — в сорок третьем году удрал в Бразилию и поступил добровольцем в войска союзников. Правда, семья Ларральде прославилась на всю улицу, но донья Мария этой славой не упивалась. Пабло дрался на итальянском фронте, встретил там какую-то девчонку и после перемирия с ней обвенчался. Сейчас он работает механиком в Турине и все никак не может накопить денег даже на то, чтобы приехать в гости к родной матери. Просто стыд, своих собственных внуков она знает лишь по фотографиям! Только Пабло мог придумать такую глупость— сменить Америку на Европу в такое время, когда все разумные люди поступают наоборот.

А младший, Хиль? Скольких трудов стоило ей, с ее вдовьей пенсией, дать ему образование, дотащить его до университета! Разве он это понимает? Правда, учиться он учится; на первых трех курсах — когда было полегче — он даже учился и работал, дважды в месяц честно принося матери всю получку, но зато без него не обходится ни одна студенческая забастовка, ни одна драка. Если сосчитать, сколько дней провел он в тюрьме за эти шесть лет... Вот и сейчас — человеку остался месяц до градуации[1], а он снова сел. А если его теперь исключат? Нет, это горе, а не сыновья.

Правда, на этот раз донья Мария волновалась больше по привычке: она побывала у доньи Марты, сынок которой тоже попался шестнадцатого февраля, и та сказала ей, что всех задержанных по этому делу должны выпустить по ходатайству поручившейся за них университетской ассоциации.

Действительно, утром двадцать третьего, в карнавальную субботу, к донье Марии явилась незнакомая сеньорита и сообщила, что коллега Ларральде будет освобожден сегодня после обеда.

На этот раз донья Мария решила обойтись без торжественной встречи. Довольно, пусть Эрменехильдо наконец узнает, что она думает по поводу его образа жизни. Приготовления ко встрече блудного сына ограничились куском мяса, выбранным, правда, с особым вниманием, и двумя поставленными на лед бутылками пива.

Блудный сын явился в пять часов — в изжеванном костюме, от которого разило дезинфекцией, небритый и голодный как волк, но, как всегда, неунывающий. Донья Мария всплакнула и приготовилась долго говорить о сыновней неблагодарности, но Хиль схватил ее в объятья, покружил по комнате, опрокидывая стулья, и отнес на кухню. Поняв намек, донья Мария решила отложить объяснения и принялась за стряпню.

Полчаса Хиль отмывался под самодельным душем, приплясывая на деревянной решетке и во все горло распевая арагонскую хоту. Потом он

---

[1] Градуация — получение университетского диплома (в Латинской Америке).

сидел за столом, чистенький и выбритый, уписывал чурраско, запивая его пивом, и, с набитым ртом, рассказывал матери, как они портили кровь тюремщикам.

— Тебе все весело, — укоризненно сказала донья Мария, втайне любуясь сыном, — а каково мне? Костюм теперь придется отдавать в чистку, опять лишний расход. Меньше пятидесяти этот японец не возьмет...

— Что такое пятьдесят песо? — пожал плечами Хиль. — Скоро ко мне потекут гонорары!

Он сделал обеими руками загребущий жест и задумался.

— Мама, газета за шестнадцатое у тебя сохранилась, вечерняя?

— Хочешь полюбоваться на свое имя? — спросила донья Мария, доставая с полки газету. — Мне уже стыдно смотреть в глаза соседям!

— Слава — вещь утомительная, — согласился сын. — А ну-ка...

Он развернул перед собой газету, продолжая с аппетитом жевать. Ага, вот оно: «Новые беспорядки на факультете медицины. Сегодня, в послеобеденные часы, группа студентов-медиков, подстрекаемая левыми элементами, произвела крупный беспорядок в здании своего факультета, пытаясь...» Ну, это пропустим — что мы пытались сделать, это мы и без вас знаем. Так... «...Вынуждены были применить силу. При очистке здания от ворвавшихся туда нарушителей порядка оказали сопротивление и были задержаны федеральной полицией следующие лица...» О, дьявол, сколько их здесь. Сначала, конечно, девочки, — ясно, наша традиционная галантность, дорогу дамам... Сеньорита Ана Мария Роблес, год рождения 1933, проживающая по улице Лавальеха 1270, Оливос. Сеньорита Мерседес Аларкон, 1933, Пастер 416. Сеньорита Хильдегард Кронберг — а, это, наверное, та немочка с третьего курса... Сеньорита Глэдис Каталина Москардо — верно, была такая, эта и в самом деле дралась, даже очки потеряла. Сеньорита Сильвия Аморетти, 1936, — наверняка какая-то первокурсница, сосунок, ей-то и вовсе не стоило мешаться. Ага, вот — сеньорита Элена Монтеро, 1933, Артигас 628, Линьерс. Где же это в Линьерсе улица Артигас?

Хиль заботливо свернул газету и сунул в карман.

— Ешь, у тебя все простынет, — сказала донья Мария.

— Ем, ем. От Пабло ничего нового?

— Получила позавчера. Пишет, что трудно с работой.

— Пусть приезжает, чего ему там сидеть!

Донья Мария поджала губы.

— За Пабло думает теперь его жена, вот чего я боюсь.

— Ну, у него тоже есть голова на плечах.

— Ох, сынок, когда человек женится, про свою голову он забывает прежде всего...

— Ладно, я ему напишу сам, — важно сказал Хиль, допивая остатки пива. — Слушай, ты хорошо знаешь Линьерс? Где там улица Артигас?

— Артигас? — Донья Мария в раздумье покачала головой. — Не знаю, я в Линьерсе почти никогда и не бывала. Если хочешь, спрошу у соседей. Дон Хулио должен знать, — почтальоны знают все улицы.

— Не надо, я поищу по Пеусеру. — Хиль встал из-за стола и закурил. — Знаешь, я пойду вздремну, там почти не спал... Клопы жутко кусали — прямо тигры какие-то!

На следующее утро Хиль еще раз позвонил своей новой знакомой и опять ее не застал. Он уже знал, что сеньорита Монтеро живет в меблированных комнатах, но явиться без предварительного ее согласия не решался и отложил дело до телефонного разговора.

Донья Мария ушла к мессе, а он повалялся еще на кровати, наслаждаясь свободой, перечитал газеты за восемь дней и решил съездить в клуб университетской ассоциации — повидать знакомых и поделиться тюремными впечатлениями.

По случаю первого дня карнавала на улицах было шумно. Несмотря на расклеенный всюду полицейский эдикт, запрещавший употребление ракет и петард, на каждом перекрестке трещала и взрывалась какая-то дрянь и улицы пахли порохом, как после хорошего сражения. С балконов и из дверей прохожих окатывали водой; Хиль сначала обходил опасные места, оберегая свой последний костюм, но в конце концов — за квартал до спасительной остановки автобуса — какая-то каналья подкралась к нему сзади и выплеснула за шиворот целую кружку. Тогда он вошел во вкус и, захватив врасплох девушку, вытащившую на улицу полное ведро, целиком вывернул его ей же на голову. Та, облепленная мокрым платьем, с визгом убежала, и Хиль сел в автобус, чувствуя себя отомщенным.

В клубе не оказалось никого из знакомых. Заглянув в библиотеку, в гимнастический зал и на лодочную станцию, Хиль побродил по аллейкам и направился в буфет. Тут ему повезло больше. В самом углу террасы сидел за столиком длинный парень в массивных роговых очках, некий Пико, юрист с четвертого курса. Увидев его, Хиль повеселел: они познакомились полгода назад на одном диспуте, причем каждый убедился в полном идиотизме взглядов другого, и с тех пор оба всегда находили в разговорах какое-то странное взаимное удовольствие.

— Salud! — сказал он, усаживаясь за столик Пико.— Ну как там поживают сеньоритос с факультета права и общественных наук?

— Привет,— в тон ему отозвался тот.— А как эскулапы?

— Эскулапы,— усмехнулся Хиль, перочинным ножом отколупывая зубчатую крышечку с пивной бутылки,— эскулапы подвергаются полицейским гонениям, дорогой мой крючкотвор... пока коллеги-правоведы подзубривают свои конспектики... Э, дьявол! Подставляй, живо...

Он разлил пиво по стаканам и по примеру Пико снял пиджак, повесив его на спинку своего стула.

— Что ж,— ехидно сказал Пико,— отдаю должное вашей мудрости. Стыдно прожить жизнь, ни разу не вмешавшись в политику, не так ли? Вот вы и вмешиваетесь в такие дела, которые не грозят ничем, кроме недельной отсидки. А потом такой «политик» получает диплом, открывает домашнюю практику и начинает вести благонамеренный образ жизни. Твое здоровье!

— Взаимно. Интересно знать, в какие это дела вмешиваетесь вы, будущие столпы закона?

— В такие, за которые полагается военно-полевой суд, уважаемый curandero[1]. Перечитай историю Латинской Америки за последние полстолетия! Если ты сможешь мне указать хоть один государственный переворот, который обошелся без участия студентов юридических факультетов... Я, понятно, говорю именно о политических переворотах, а не о каких-нибудь вульгарных cuartelazos[2].

— Ого! Уж не хочешь ли ты сказать, что вы готовитесь к государственному перевороту?

— Я хочу сказать, что мы готовимся к той политике, которая делается в парламентах и президентских дворцах... а не в аудиториях.

— Сильно сказано, мой птенчик. Ну, твое здоровье! Когда станешь президентом, прибереги для меня портфель министра здравоохранения.

[1] Знахарь (*исп.*).

[2] Армейские путчи (*исп.*).

— Если к тому времени тебя не упекут за незаконные аборты.

— Заметано, от абортов в таком случае воздержимся...

Приятели молча допили пиво, потом Пико спросил, как прошла отсидка.

— Как всегда,— ответил Хиль,— клопы только кусали. По-моему, их там специально разводят — каждый раз все больше. Мутанты какие-нибудь.

— Я когда весной сидел, взял с собой ДДТ.

— Предусмотрительно. А вообще весело было, мы там по ночам такие концерты закатывали... У тюремщиков, наверное, печень сейчас вот такая — от злости. Ты знаешь, какую я встретил девочку, просто феномен, глаза — ну просто как фиалки. И анатомия на высший балл. Какие бедра, старик!

— В Дэвото встретил?

— Нет, еще до. Собственно говоря, из-за нее я и сел, иначе ускользнул бы. Понимаешь, она не из наших, в свалку попала совершенно случайно, ну и влипла. Я ей крикнул смываться, а сам прикрывал отступление — нокаутировал одного, другого, третьего. А потом нас взяли. — Хиль печально вздохнул. — Подавляющее превосходство сил противника, против этого, че, даже японские «камикадзе» ничего не могли бы сделать. Принести еще пива?

— На мою долю не нужно.

— Ты это сам все высосал? — изумился Хиль, пересчитывая пустые бутылочки из-под кока-кола.

— Нет, я здесь со знакомыми... Они сейчас играют,— Пико кивнул в сторону скрытых за живой изгородью теннисных кортов.

— Ты бы тоже попрыгал,— держу пари, бицепсы у тебя уже атрофировались, осталось одно рудиментарное воспоминание. А те, другие, тоже крючкотворы?

— Один да, а другая вообще еще никто. Из лицея.

— О-о, даже так? Берегись несовершеннолетних, старик, тут дело уже посерьезнее, чем нелегальный аборт. Что говорит по этому поводу уголовный кодекс?

— Иди ты к дьяволу, мы с ней знакомы по клубу ХОК[1].

— А, это, конечно, гарантия,— засмеялся Хиль,— беру свои слова обратно. Говорят, у вас девочки носят вместо нейлона власяницы?

— Иди к дьяволу,— с досадой повторил Пико,— болтаешь всякую чушь...

Хиль покровительственно похлопал его по плечу:

— Ладно, старик, не хочу оскорблять твои лучшие чувства. Ты мне лучше вот что скажи: ты знаешь такого падре Франсиско Гальярдо?

— Ну, еще бы. А что?

— Ничего, мне недавно показали его в одном месте, он меня просто заинтересовал. Он, кажется, из Общества Иисуса?

— Да. Он ведь главный редактор «Критериума», ты разве не знал?

— Такой литературы не читаю. Мне сказали, что это один из руководителей «Католического действия». Но не в том дело, меня просто заинтересовал его вид. Ты понимаешь, у него вид настоящего офицера контрразведки... глаза, я хочу сказать, и вообще манера держаться.

— Я его знаю, как же... — задумчиво сказал Пико. — Он у нас часто бывает в клубе. То есть по-настоящему-то я его, конечно, не знаю...

— Попробуй узнай иезуита,— вставил Хиль, усмехнувшись.

— Конечно... Я знаю в общем то, что знают все,— что он защитил два доктората, теологию в Саламанке и каноническое право где-то в

---

[1] Juventud Obrera Catolica (*исп.*) — «Католическая рабочая молодежь» — международная клерикально-молодежная организация на Западе.

Италии и считается одним из виднейших неотомистов... Пишет он блестяще, его статьи в «Критериуме» можно поместить в любую антологию. А вообще мне он, по правде сказать, не особенно симпатичен.

— По правде сказать, мне вообще не особенно симпатичны попы,— сказал Хиль, потягиваясь. — Бог меня прости, но это так. Попы вообще и иезуиты в частности. Ну, я иду за пивом.

— Сиди, я принесу! Мне нужно разменять деньги.

Пико собрал пустые бутылки и ушел. Хиль закурил сигарету и, щурясь, стал смотреть на искрящуюся в просветах зелени реку, по которой медленно скользил с поднятыми веслами длинный гоночный скиф. Черт возьми, какие все же у этой Монтеро удивительные глаза — такая необыкновенная окраска радужной оболочки...

В это время девушка в коротком теннисном костюме и белом картузике с зеленым целлулоидным козырьком поднялась на террасу, весело размахивая ракеткой, и остановилась в замешательстве, увидев за своим столиком незнакомца. Почувствовав на себе ее взгляд, Хиль оглянулся и широким жестом указал на стул.

— Прошу! — крикнул он.— Сеньор Ретондаро пошел за выпивкой, сейчас вернется.

Девушка подошла и, кивнув Хилю застенчиво и высокомерно — тот с любопытством оглядел ее ноги,— села за стол, положив перед собой ракетку.

— Будьте как дома,— продолжал он,— все равно я вас знаю. Вы учитесь в лицее, верно?

— Верно,— подтвердила она, чуть приподняв брови.

— Ну вот, а меня зовут дон Хиль, только у меня нет зеленых штанов.

У девушки были красивые руки с тонкими пальцами, нежный румянец и чуть раскосые глаза креолки. Несмотря на все это, Хилю она не понравилась. Неженка и ломака, решил он, типичная недотрога из Баррио Норте[1].

— Вы, вероятно, друг Пико? — спросила она, явно не зная, о чем говорить, но чувствуя неловкость молчания.— Боюсь, он тоже изводит вас разговорами о политике... Это, похоже, единственная тема, что его вообще интересует.

Хиль медленно выпустил длинную струю дыма и откинулся назад вместе со стулом, балансируя на задних ножках.

— А вот и не угадали! На этот раз, представьте себе, мы с ним говорили не о политике. Сукин сын уговаривал меня не делать аборты — это, мол, незаконно. Крючкотвор, что вы хотите... В голове одни параграфы. Насчет легальной стороны дела не спорю — что незаконно, то незаконно. Но с другой стороны—жить-то надо? Вот чего он не учитывает. А платят врачам мизерно. Жаль, не было вас,—продолжал он, наслаждаясь ее растерянностью,— впрочем, он сейчас вернется, и мы продолжим.

— Послушайте, если вы собираетесь пробовать на мне свое остроумие, то я лучше встану и уйду. Я не люблю таких разговоров, дон Хиль.

— Один — ноль в вашу пользу,— поклонился Хиль.— Какие же разговоры вы любите? О цветах и поэзии?

— Вы не разбираетесь ни в том, ни в другом, держу пари.

— Верно, в гнойных воспалениях кишечника я разбираюсь куда лучше. Смотрите, вон идет наш крючкотвор.

— Как дела, Дорита? — осведомился Пико, ставя на стол бутылки.— Выиграла?

---

[1] Северный район — аристократическая часть Буэнос-Айреса.

— Проиграла,— сердито отозвалась девушка.

— Сочувствую. Вы уже успели познакомиться?

— Более чем достаточно!

— Мы с Доритой поспорили из-за политики,— посмеиваясь, заявил Ларральде.

Девушка возмущенно взмахнула ресницами, но сдержалась и ничего не сказала.

— Ведь верно, Дорита? — не унимался тот.

— Дон Хиль, меня зовут Дора Беатрис,— холодно сказала она, не удостаивая его взглядом.

— Да хватит вам грызться, в самом деле! — воскликнул Пико, удивленно посмотрев на обоих.— Пейте лучше лимонад, пива больше нет, Хиль. Вы что, действительно поругались из-за политики? Ты меня удивляешь, Дорита. С каких это пор тебя интересуют политические разговоры? На каком же вы вопросе споткнулись?

— Экспансия США в Латинской Америке,— непринужденно назвал Хиль первую пришедшую ему в голову популярную тему. Пико фыркнул от смеха, поперхнувшись лимонадом, а Дора Беатрис выразительно пожала плечиками, как человек, вынужденный терпеть не первую глупость собеседника.

— Чего развеселился? — спросил он у Пико, ничего не понимая.— По-моему, вопрос достаточно злободневный.

— Еще бы — а, Дорита? Ты как на это смотришь?

Дора Беатрис ничего не ответила, продолжая тянуть через соломинку свой лимонад.

— Хорошо, Дорита, не обижайся, я больше не буду. Кстати,— повернулся он к Хилю,— ты помнишь этого баска Арисменди, который перевелся к нам со второго курса медицинского?

— Помню, как же. Он сейчас у вас? Еще бы не помнить — мы с ним были в одной группе. А ты знаешь, почему он перевелся? Это целая потеха. Он не любил работать с трупами, и мы раз — смеха ради — нарочно подсунули ему такой, знаешь, выдержанный... Он там черт знает сколько времени валялся в рефрижераторной камере, вытащили его откуда-то из-под самого спуда, и выглядел покойник, надо признаться, по-настоящему мрачно...

Хиль засмеялся и взглянул на Беатрис, которая быстро поставила на стол свой стакан.

— Вот после того случая Арисменди и решил сменить факультет. Так что ты про него начал?

— Нет, это в связи с вопросом североамериканской экспансии... Арисменди недавно выступал на эту тему в Союзе демократической молодежи, я там тоже присутствовал. В основном он говорил о мерах противодействия, так потом на прениях такое началось — едва не дошло до драки. Ты понимаешь—мы считаем, что с этим можно бороться только путем создания независимой промышленной базы: пока ее нет, мы связаны по рукам и по ногам...

— Этого мало,— покачал головой Хиль.— Тут нужно что-то другое. Какая к черту может быть «независимая промышленная база» в наших условиях? Самообман, че! Мы строим заводы, а финансирует это тот же Уолл-стрит. Не знаю, до сих пор нам эта «индустриализация» помогала, как утопленнику клизма...

Беатрис встала и взяла со стола ракетку.

— Пико, я сыграю еще один сет. Прошу прощения...

Хиль проводил ее оценивающим взглядом.

— Да,— сказал он,— клизма ее доконала. Можешь ты мне объяснить, что это вообще за мамзель Фифи? Откуда ты ее выкопал, такую?

— Дочь профессора Альварадо, историка. Язык у тебя действительно...

— А что я такого сказал? Пусть привыкает. Почему ты засмеялся, когда я сказал насчет экспансии? Ей, по-моему, и это не понравилось. О чем, скажи на милость, можно с ней вообще говорить — о цветочках?

— Понимаешь, Дориту этой самой экспансией изводят все кому не лень. Дело в том, что у нее приятель — янки. Тут как-то приезжала студенческая делегация из Штатов — у нас в ХОК мобилизовали всех знающих английский, ну и она тоже попала — как переводчица. Там она и влюбилась в какого-то парня из Массачусетского технологического.

— Предательница,— сказал Хиль,— мало ей аргентинцев!

— Сердцу, как говорится, не прикажешь...

— Чепуха, на это есть разум. Янки, надо полагать, ответил взаимностью?

— Во всяком случае, они переписываются, и об этом все знают. А потом вышла такая история: был митинг солидарности с Гватемалой, выступал один парень из Пуэрто-Рико и говорил о политической экспансии Соединенных Штатов на нашем континенте, а кто-то возьми и передай ему такую записку: «Если янки приезжает с визитом дружбы в латиноамериканскую республику и похищает там невинное сердце, является ли это тоже актом экспансии?» И подписал — «Дора Беатрис Альварадо». А тот не успел сообразить, все и прочитал с трибуны вслух, прямо с подписью. Что тут началось!

Хиль расхохотался.

— Вот это здорово! А она что же?

— Ее самой, к счастью, на митинге не было... Рассказали на другой день. Она потом месяц нигде не появлялась. С тех пор ее этой экспансией и изводят. Я думал, ты тоже нарочно это сказал...

— Нет, я об этой истории ничего не слышал. Это ваши детские забавы, мы народ более серьезный.

— Ясно, еще бы. А за что Дорита на тебя обиделась?

Хиль закурил и пренебрежительно пожал плечами:

— Понятия не имею... У нее, кстати, приятная рожица, тот янки определенно не лишен вкуса. Ей, что же, лет шестнадцать? А, семнадцать... Совсем еще сосунок. Что, пива и в самом деле нет?

— Нету, я же сказал.

— Канальи, успели вылакать,— с сожалением вздохнул Хиль.— Правда, жара сегодня зверская... Хорошо еще, что карнавал, по крайней мере хоть водой обливают. Танцы вечером будут?

— Надо полагать. Хорош был бы карнавал без танцев... Завтра, кстати, экзистенциалисты устраивают свой годовой бал. Любопытно будет взглянуть,— ты не собираешься?

— Я, видишь ли, не психиатр, меня это не особенно интересует. Да и потом мне сейчас придется поднажать — экзамены есть экзамены.

Приятели поболтали еще полчаса, потом к ним за столик подсели двое однокурсников Пико и затеяли малоинтересный для медика разговор о только что опубликованной в Мексике новой книге Висенте Саэнса. Несколько минут Хиль, позевывая, слушал глубокомысленные рассуждения крючкотворов о проблеме военно-морских баз в заливе Фонсека, о пакте Брайан-Чаморро и о том, насколько подписанные в Чапультепеке и Рио-де-Жанейро соглашения подготовили почву для того, что случилось в Боготе. «Черт возьми,— подумал он наконец, вставая из-за стола,— лучше иметь дело с недельным трупом, чем с этими пактами и соглашениями...»

В буфете он подождал, пока какая-то девица кончила обсуждать по телефону последний фильм Росселини, и опять набрал 64-26-11. На

этот раз ему повезло — сеньорита Монтеро оказалась дома. «Наконец-то»,— проворчал он и свирепо мотнул головой в ответ на умоляющий взгляд любительницы итальянского неореализма, которая, по-видимому, забыла что-то сказать и снова разлетелась было к телефону.

В трубке слышались чужие разговоры, потом простучали каблучки и раздался знакомый голос:

— Ола, кто это?

Хиль откашлялся.

— Сеньорита Монтеро? Это я, Ларральде... Ну, тот, из факультета — помните?

— А-а, доктор... Добрый день! Вы звоните из Вилья Дэвото?

— Нет, я уже вчера выпорхнул. А вы давно?

— Я? Меня выпустили девятнадцатого.

— А-а, раньше всех... Ну как вы там?

— Ничего. Вас в тюрьме кусали клопы?

— Как всегда, это я просто забыл вас предупредить... На свежего человека они действуют особенно сильно. Сеньорита Монтеро!

— Да?

— Мне нужно вас видеть.

Трубка помолчала, потом сказала нерешительно:

— Ну что ж... Когда-нибудь можно встретиться. Я только сейчас не знаю...

— Послушайте, сегодня начался карнавал, эти три дня даже биржевики будут отдыхать. Не скажете же вы, что у вас дела?

— Сеньор Ларральде, вы можете верить или не верить, но у меня действительно дела,— постойте, я вам объясню! Моя подруга — мы с ней вместе живем — подписала контракт на выезд, и сейчас вдруг оказалось, что вся труппа должна ехать послезавтра утром. Понимаете? Она думала, что через две недели, не раньше, и у нее ничего не готово. Понимаете? Я должна помочь ей собраться, так что сегодня и завтра я буду страшно занята...

— Хорошо, ловлю вас на слове — мы увидимся послезавтра вечером. Подруга ваша уедет утром, так что все в порядке.

— Ну ладно... Позвоните мне послезавтра, хорошо?

— Нет! — крикнул Ларральде.— Послезавтра в девять вечера я буду ждать вас у обелиска. Все! Значит, до послезавтра.

Он положил трубку, не дав ей времени ответить, и, весело насвистывая, вернулся к столику крючкотворов.

Тех было уже четверо, и они, судя по всему, уже успели переругаться и сейчас в четыре охрипших голоса обсуждали историческую роль генерала Сандино, причем двое называли его большевиком, а двое национальным героем Латинской Америки, вторым Боливаром. Вернувшаяся с корта черноглазая Дора Беатрис сидела чуть поодаль — места за столиком ей не хватило — и со скучающим видом катала на ракетке теннисный мячик.

— Сеньорита Альварадо,— церемонно сказал Хиль, подсаживаясь к ней,— я должен попросить у вас прощения.

Девушка покосилась на него с опаской, словно ожидая новой пакости, и на лету подхватила скатившийся с ракетки мячик.

— Мы, медики, грубый народ, животные,— с чувством продолжал Хиль,— но вы войдите в наше положение! У нас самая антиэстетичная профессия в мире, нам просто некогда думать о цветах и поэзии...

— Пожалуйста, не говорите за других! — возразила она.— Я знаю одного студента-медика. Вам известен такой писатель — Линч?

— «Роман гаучо»?

— Да, в том числе. Он был близким другом моего отца, поэтому я хорошо знаю эту семью, тем более что они в родстве с Де-ла-Серна.

Так вот, племянник покойного дона Бенито, сын доньи Селии Дела-Серна — он тоже изучает медицину, но как он знает и любит поэзию! И не только поэзию, он вообще человек с разносторонними интересами, много путешествует...

— Погодите-ка,— прервал Хиль.— Я, кажется, знаю этого любителя путешествий...

— Вполне возможно,— кивнула Беатрис,— Эрнесто, по-моему, тоже получает диплом в этом году — значит, вы с ним на одном курсе.

— Группы-то у нас разные, но вообще мы встречались. Еще бы! Только пример не очень удачный, донья инфанта,— в смысле типичности. Редкий случай этот ваш Эрнесто Гевара Де-ла-Серна. И я не уверен, что он достоин такого уж широкого подражания. Медицина все-таки требует полной отдачи, а значит, и полной сосредоточенности. Все это, конечно, неплохо... читать стишки, путешествовать, карабкаться по Андам и так далее. Но прежде всего нужно овладеть своей профессией — раз уж ты ее избрал, каррамба, никто ведь тебя не тащил за уши. Так я смотрю на это дело, донья инфанта. Ну как — прощаете вы меня?

— Условно,— улыбнулась Дора Беатрис.— Видите, я уже усвоила язык этих ненормальных.— Она указала ракеткой на спорщиков.

— Вы с ними поменьше, они не тому еще научат. Как вам нравится этот спор?

Дора Беатрис пожала плечами и подбросила мячик, поймав его ракеткой.

— Я вообще ненавижу политику — это сплошная грязь. И слишком много крови. Не понимаю, как Пико может интересоваться этой гадостью! Вот Сандино умер за родину, и теперь его же обзывают большевиком. Как это все печально и... противно! Больше всего я люблю музыку, вот. Неоконченная симфония Шуберта, или его «Аве Мария», или Девятая Бетховена — хотя это совсем разные вещи, я вовсе не в смысле какой-то параллели,— за это можно отдать все политические программы и все революции мира. Вы не согласны?

— Я же вам сказал, в музыке я вообще ничего не понимаю, а политика... Как вам сказать, это дело сложное. Вот я у вас спрошу одну вещь: вы знаете что-нибудь о своих предках? Ну, скажем, как звали самого далекого, кем он был и так далее.

— Самый далекий предок? — Дора Беатрис удивленно взглянула на собеседника, не понимая неожиданного вопроса.— Ну... был такой дон Педро Мануэль Гонсальво де Альварадо, капитан-генерал испанской короны. А что?

— Сейчас объясню. Видите — вы знаете, кем был ваш прапрапрадед, а я не знаю даже своего деда. Знаю только, что мой отец, родом из Эстремадуры, приехал сюда в трюме вместе с другими эмигрантами. Так? Теперь представьте себе на минутку, что на свете не было всей этой «крови и грязи», как вы говорите, и не было, в частности, французской революции. Сидели бы вы сейчас вот так, рядом, с сыном эстремадурского arriero[1]?

— А-а, я понимаю, что вы хотели сказать... Ну да, но...— Дора Беатрис пожала плечами.— Это ведь просто нормальный прогресс... Конечно, люди не могли все время жить со всякими сословными предрассудками! Все это изменилось бы так или иначе, правда?

— Само собою ничего бы не изменилось. Как же вы себе это представляете — что в один прекрасный день наши гранды так просто взяли бы и отказались от своих привилегий?

---

[1] Погонщик мулов (*исп.*).

Дора Беатрис помолчала, вертя в руках ракетку.

— Я не знаю,— сказала она наконец.— Я знаю только, что все это слишком страшно — если за социальное равенство нужно платить такой ценой. Вы вот упомянули о французской революции... А вспомните, скольких жертв она стоила? Разве это не ужасно!

— Без жертв ничего не делается, нужно только видеть цель.

— Ну, хорошо! Я вовсе не спорю против этой цели. Но почему люди непременно должны убивать одних, чтобы дать счастье другим? Вот чего я не понимаю!

— Я тоже не понимаю,— засмеялся Хиль.— Очевидно, такова жизнь, что ж делать! Вот вырастете, займитесь политикой и покажите нам пример.

Дора Беатрис сделала гримаску.

— Спасибо, предпочитаю заниматься музыкой.

— Это безусловно приятнее.

— Конечно!— с вызовом сказала она.

Хиль посмотрел на часы.

— Как летит время,— пробормотал он, подавляя зевок.— Не правда ли, донья инфанта Дора Беатрис Гонсальво де Альварадо?

— Что вы издеваетесь над моим именем? Не вижу в нем ничего смешного...

— Какой же тут смех? Гонсальво де Альварадо! — повторил он торжественно.— Звучит, звучит, ничего не скажешь.

— Послушайте, хватит,— покраснела черноглазая «инфанта».

— Молчу, молчу. Чертовски некстати этот карнавал — нужно работать, а настроения нет. Сегодня я с ног до головы окатил водой какую-то девчонку. Всемогущий аллах, как она визжала!

— Вы бы тоже визжали, если бы вас окатили с головы до ног! Вообще дурацкий обычай, эти игры с водой... Мне сегодня, пока я добралась сюда, совершенно испортили платье.

— Ничего, надо полагать, оно у вас не единственное.

— Почти,— с сожалением сказала Дора Беатрис.— Я собиралась завтра идти в нем на бал экзистенциалистов...

— Возьмите мешок и прорежьте три дырки — для головы и для рук. Для бала экзистенциалистов это будет в самый раз.

— Там так принято? — улыбнулась Дора Беатрис.— Не знаю, я никогда у них не была... Это меня Пико тянет, они собираются компанией. Вы тоже идете?

— Нет, я ему уже сказал, меня такие вещи не интересуют. Это зрелище для психиатра — сартрит и его последствия.

— Как вы сказали — сартрит? Ах да, Жан-Поль Сартр! — Беатрис весело расхохоталась.— Браво, дон Хиль!

— Не ликуйте, это не я придумал. У этого выражения уже вот такая борода, так что не вздумайте повторять его как новинку.

— Я никогда не слышала, правда!

— Вы еще многого в жизни не слышали, донья инфанта. Не огорчайтесь, невинность относится к категории временных неудобств. Послушайте, сеньоритос!— обернулся он к продолжавшим спорить крючкотворам.— Довольно вам насиловать голосовые связки, это может кончиться катаром горла, какие тогда из вас адвокаты! Вы думаете, сеньорите очень весело слушать вашу трепотню?

— В самом деле, это уже становится скучным,— вздохнула она.

— Я, к сожалению, должен испариться,— с извиняющимся видом сказал Хиль, щелкнув по циферблату своих часов.— У нас ведь начинаются экзамены, а я только что из тюрьмы — и так много времени поте-

рял. Две недели в подземной одиночке, донья инфанта, в обществе крыс-людоедов. Это вам не в теннис играть. Вы еще не сидели?

Дора Беатрис посмотрела на него большими глазами.

— Нет, никогда... А разве есть крысы-людоеды? Ну-у, неправда!

— А вы этого тоже не знали? Обычная крыса, только размером с таксу, и зубы соответствующие. Я спасся только тем, что не спал все четырнадцать суток, а моего предшественника они захватили в сонном виде и начисто выели у него брюшную полость. Причем моментально, он даже не успел проснуться.

— Мне что-то не верится,— улыбнулась Дора Беатрис.

Хиль встал и накинул на плечи пиджак.

— Вы поверите после первого с ними знакомства. А это я вам гарантирую: в нашей Перонландии от тюрьмы не застрахован никто. Я в свое время тоже не верил,— добавил он с печальным вздохом и протянул ей руку: — Ну, до свиданья, донья инфанта. Не исключена возможность, что мы еще где-нибудь и когда-нибудь увидимся. Всего наилучшего, крючкотворы!

9

Проводы всегда печальны для остающихся на берегу. Когда два буксира хлопотливо взбаламутили винтами радужную от нефти воду и, натянув тросы, начали медленно разворачивать белоснежную громаду «Рекса» носом на внешний рейд, у Бебы едко защипало в глазах. Полоса воды между бортом и гранитной стенкой причала медленно расширялась, одна за другой стали обрываться пестрые нити серпантина, протянутые между провожающими на берегу и столпившимися на палубе пассажирами. Лайнер продолжал разворачиваться, пассажиры бежали к корме, над толпой провожающих реяли сотни белых платочков.

Беба смотрела вслед удаляющемуся судну до тех пор, пока не перестала различать лица пассажиров. Когда заработали мощные винты «Рекса» и под его кормой вспухли бугры кипящей пены, она всхлипнула и осторожно осушила глаза платочком. Сейчас она уже завидовала подруге, хотя еще недавно — когда Линда впервые рассказала ей о предложении Линареса — не видела ничего привлекательного в этом сомнительном путешествии с наспех сколоченной труппой и под началом более чем сомнительного импресарио.

Обиднее всего было сознавать, что ведь и она могла быть сейчас там, на палубе выходящего в открытый океан лайнера: Линда предлагала устроить ее в труппу, и носатый Линарес несомненно согласился бы ее принять. На роль звезды она не претендовала, а от рядовой танцовщицы в обозрении не требуется ничего, кроме хорошей фигуры и элементарного чувства ритма, все остальное постигается в несколько репетиций.

Выбравшись с территории порта через лабиринт пакгаузов и рельсовых путей, Беба пересекла пыльную, раскаленную солнцем площадь Ретиро и медленно побрела под аркадами шумной авеню Леандро Алем — мимо витрин лавчонок, где арабы и сирийцы торговали сувенирами и предметами матросского обихода. «Come in, lady,— выскочил один, очевидно приняв ее за туристку.— Good souvenirs, very nice, very cheap!» — «Идите вы, я английского не понимаю», — с досадой сказала Беба, не оборачиваясь. Услышав испанскую речь, тот сразу отстал.

Идти домой Бебе не хотелось. Сейчас она почувствовала, как ей будет не хватать общества рассудительной подруги, которая всегда могла сказать что-нибудь утешительное. Даже постоянные насмешки Линды над ее, Бебы, безрассудством и легкомыслием были, в общем, утешительными. А главное — Линда всегда оказывалась права и к ее

советам стоило прислушиваться. Оказалась она права и в истории с Бюиссонье.

Было четыре часа пополудни. В девять нужно быть у обелиска — этот чудак Ларральде будет ждать. Сегодня это кстати — поможет как-то скоротать вечер, а вообще ей вовсе не хочется поддерживать новое знакомство. К чему? Она заранее знает, как он будет себя вести. Она в конце концов устала от всего этого. Раньше это казалось интересным — принимать ухаживания, чувствовать свою власть над мужчиной. А теперь... Еще один поклонник? Еще одно разочарование? Видит небо, их уже было слишком много, этих разочарований и этих «поклонников». Но кто мог подумать, что и Херардо окажется таким же!

Вернувшись в свою опустевшую комнатку, Беба приняла душ, без аппетита закусила черствыми сандвичами, оставшимися от сегодняшнего завтрака. В комнате был беспорядок, какой всегда остается после торопливого отъезда одного из обитателей,— неприбранные постели, обрывки упаковочной бумаги на полу, чашка с остатками кофе, из которой утром пила Линда. Нужно было заняться приборкой, но у Бебы просто не поднимались руки что-нибудь делать. Было жарко, в оставленное открытым окно налетели мухи, и от всего этого хотелось плакать.

Посидев несколько минут в продавленной плетеной качалке, она заставила себя подняться, достала из-под шкафа распылитель и занялась изгнанием мух. Едко пощипывающие в носу пары флитокса заполнили комнату, мухи встревоженно загудели и роем ринулись в распахнутое настежь окно. Беба, чихая, подгоняла их полотенцем. Выгнав всех, она опустила камышовую шторку и бросилась на свою неубранную постель, стараясь ни о чем не думать.

Сегодняшние суматошные впечатления нахлынули на нее — толчея в порту, фигурка Линды на удаляющейся палубе. Потом все это смешалось.

Проснувшись с тяжелой от духоты головой, Беба вздохнула и поднесла часы к заспанным глазам, втайне надеясь, что уже поздно и на свидание можно не идти. Оказалось не поздно: стрелки показывали всего без четверти восемь. Большинство жильцов меблированных комнат уже сошлось к ужину, и обычный вечерний шум царил в доме, свободно проникая сквозь тонкие стены и неплотно прилегающие двери. В коридоре слышался раздраженный голос хозяйки, отчитывающей старого дона Пепе за его привычку дымить черным бразильским табаком в местах общественного пользования. Старик, по обыкновению, отмалчивался. Покончив с ним, донья Мерседес накинулась на служанку Роситу — жилец из одиннадцатой комнаты пожаловался сегодня, что у него уже вторую неделю не подметают пол. «А чего он ключ не оставляет,— угрюмо отвечала Росита, диковатая молодая индианка из Сантьяго-дель-Эстеро.— Пусть оставляет ключ, тогда буду убирать, а при нем я в его комнату не пойду...»

Беба встала, потягиваясь и зевая. Подняла шторку, включила маленький тарахтящий вентилятор, который давал больше шума, чем ветра. Ехать в город на свидание с Ларральде не хочется, сидеть весь вечер в душной комнате — еще хуже...

В дверь постучали.

— Можно к вам, сеньорита Монтеро? — И, не дожидаясь ответа, донья Мерседес вплыла в комнату.

Беба запахнула халатик, по привычке прикидывая в уме цифру своей задолженности хозяйке.

— Мне только сейчас сказали, что днем вам принесли письмо,— сказала та, вынув из кармана фартука узкий конверт со штампом городской почты.

— Мне?— удивилась Беба.— Спасибо, донья Мерседес...

— Не за что, сеньорита Монтеро. Прогуляться не пойдете? Вечер сегодня такой хороший...

— Да, я выйду,— рассеянно кивнула Беба, с недоумением глядя на незнакомый почерк на конверте. Мельком взглянув на часы, она увидела, что уже восемь. Пора одеваться, иначе она опоздает. Странно, от кого же это? «Сеньорите Э. Монтеро, улица Артигас 628, Линьерс». Она заметила, что в слове «señorita» нет черточки над «н» и получается «сенорита»,— так обычно пишут европейцы. И вдруг ее молнией ударила догадка — Херардо!

Закусив губы, она разорвала плотный конверт и почти не удивилась, увидев внизу исписанного листка бумаги подпись — «Бюиссонье».

В соседней комнате сквозь негромкую музыку приглушенного приемника прорезался отрывистый писк сигналов точного времени — двадцать часов, тридцать минут, ноль секунд. Беба бросила в пепельницу окрашенный губной помадой окурок и, несколько раз качнувшись взад-вперед в скрипучей качалке, не глядя, протянула руку и взяла со стола развернутый лист письма.

«...Наверное, не нужно это писать,— в пятый раз перечитывала она кривые, словно скачущие строки,— но мне просто страшно сейчас от одиночества и от того, что во мне происходит. Согласившись на предложение этого Руффо, я потерял право уважать себя и как художника, и как человека. Оскорбив Вас, я потерял единственного друга, которого мог иметь в этой стране. Элен, я сделал это не потому, что думал о Вас дурно. Просто я был ненормальным — от алкоголя и от свалившегося на меня несчастья. Мне хочется, чтобы Вы в это поверили. Мне сейчас очень тяжело, так тяжело, как не бывало еще никогда. А я вообще легкой жизнью не избалован. Если бы Вы меня простили, мне, наверное, стало бы немного легче. А главное — поверьте, что мой дикий поступок вовсе не говорит о том, что я считаю Вас девушкой, с которой можно позволить себе подобные вещи. Простите, я пишу путано. Но Вы поймете, женщины всегда понимают больше, чем это кажется со стороны...»

В конце шел постскриптум: «Деньги я получил. Ребяческий поступок, Элен, неужели Вы и в самом деле могли подумать, что они имеют для меня какое-нибудь значение?»

Беба осторожно положила письмо на стол, потом вскочила с качалки и остановилась посреди комнаты, под старомодным абажуром с висюльками.

— Мария сантиссима...— с ужасом прошептала она вслух, хрустнув пальцами.— Что же это?..

Взглянув на часы, она сорвалась с места. Надела свое лучшее платье, причесалась, быстрыми, уверенными движениями сделала косметику. Схватив со стола сумочку, она выбежала из комнаты, забыв погасить свет. Не успела выскочить на улицу, как мимо проплыл красный огонек свободного такси. Беба погналась за ним, крича и размахивая рукой, рискуя сломать каблук. Такси остановилось в сотне шагов впереди. Добежав, Беба распахнула дверцу и упала на сиденье.

— Угол Санта-Фе и Кальяо,— срывающимся голосом бросила она вопросительно взглянувшему на нее шоферу.— Как можно скорее, слышите...

По дороге она пыталась успокоиться и хоть немного продумать предстоящий разговор, но из этого ничего не получилось.

— Приехали, сеньорита,— неожиданно скоро сказал шофер, тормозя машину.— Восемнадцать песо ровно.

Беба сунула ему две десятки и выскочила на тротуар, не дожидаясь сдачи. В нижнем вестибюле дома, где жил Жерар, трое юнцов

в белых смокингах замолчали и проводили ее восхищенными взглядами. Войдя в лифт, она нажала кнопку с цифрой 9, боясь даже предположить, что Херардо может не оказаться дома.

Он оказался дома.

— Элен...— растерянно сказал он, открыв дверь.—Вы?

— Ола, Херардо! — Беба изобразила беззаботную улыбку.— Ты меня не ждал? А я сейчас получила твое письмо и...

Они вошли в ливинг, неприбранный и какого-то нежилого вида. Жерар, очевидно, только что собирался ужинать — на столе, на сложенной в несколько раз газете, стояла алюминиевая сковородка с яичницей, лежали два помидора и кусок хлеба. Горсть соли была насыпана прямо на газету. Беба сразу заметила отсутствие бутылок на столе, хотя в углу за телевизором валялось несколько пустых.

— Элен,— тихо начал Жерар, не глядя на нее,— вы на меня больше не сердитесь? Я не был уверен, что вы станете читать мое...

— Херардо, мы ведь перешли на «ты»? Если я пришла, значит, не сержусь, ясно. Я достаточно видела пьяных, чтобы научиться не сбращать внимания на их выходки... Но какой у тебя здесь беспорядок!

Она бросила на диван сумочку и перчатки и прошлась по комнате, неодобрительно покачивая головой и то и дело проводя пальцем по какой-нибудь пыльной поверхности. Потом подошла к столу и нагнулась над сковородкой, от которой еще поднимался пар.

— М-м-м, как пахнет,— зажмурилась она, сделав гримаску удовольствия,— больше всего люблю яичницу с томатами. Херардо, я сегодня за весь день съела несколько сухих сандвичей и выпила две чашки кофе. У тебя есть еще яйца?

— Да-да,— засуетился Жерар,— ешьте, то есть ешь, Беба, я себе приготовлю.

— Нет, так не пойдет! — Она решительно уселась за стол и, подтащив второй стул, хлопнула по сиденью: — Садись! Съедим это, а потом я сделаю вторую порцию. Принеси только еще одну вилку.

Жерар повиновался. Беба разрезала оба помидора на четвертушки, и они принялись за еду. Беба ела с аппетитом, Жерар — нехотя, не поднимая глаз. Оба молчали.

— Ну вот,— сказала Беба, когда сковородка опустела. Она оторвала угол газеты и вытерла пальцы, мокрые от помидорного сока.— Хочешь еще?

Жерар покачал головой:

— Нет, Беба, я больше не буду. Приготовь себе, если хочешь.

— Я тоже наелась. Я съела две трети, ты ведь только ковырял вилкой. Ладно, тогда я сварю кофе.

Она быстро убрала со стола, побросала на сковородку огрызки хлеба, недоеденные помидоры и скомканную газету и отправилась на кухню. Жерар продолжал сидеть сгорбившись и разглядывая свои пальцы. Было слышно, как Беба хлопнула крышкой мусоропровода, как она наливала воду в кофейник и выдвигала ящики буфета. Жерар сидел сдвинув брови и думал о том, что почему-то примирение с оскорбленной им девушкой не принесло и половины того внутреннего облегчения, на которое он надеялся, когда писал письмо. И что этот визит, за который он в первый момент почувствовал к Бебе такую огромную благодарность,— этот ее открытый и прямой поступок каким-то странным образом до невероятного усложнил его собственное положение. Он еще не отдавал себе полного отчета в том, что произошло, но чувствовал только, что произошло что-то слишком серьезное. И это заставляло его хмуриться от гнетущего сознания какой-то ошибки, какого-то неуловимого просчета в чем-то слишком важном...

Беба расставила на столе принесенное и, как в гонг, ударила кулаком в поднос.

— Прошу,— обернулась она к Жерару, делая приглашающий жест.— Сварила крепкий, по твоему вкусу.

Жерар сел за стол — не рядом с Бебой, а напротив.

— Браво,— рассеянно кивнул он, отхлебнув из своей чашечки.— Это не так просто — сварить хороший кофе...

Беба помолчала.

— Херардо, скажи... Ты действительно не мог отказаться от этого заказа?

— Что значит не мог? — Он пожал плечами.

— Я хочу сказать, что... Ну, ты понимаешь, иногда человеку приходится сделать что-нибудь такое, что ему вовсе не по душе, но действительно приходится — просто потому, что нет другого выхода. Тогда, мне кажется, это не должно мучить... Нет, это все равно мучает, конечно, но не так, как если бы ты это сделал по доброй воле и только потом раскаялся. Ты согласен?

Жерар ответил не сразу.

— Слабое утешение, Элен,— сказал он, усмехнувшись.— И, по сути дела, опасное. Этак ведь можно оправдать что угодно... Сегодня ты действительно не можешь поступить иначе, а завтра тебе только покажется, что ты не можешь... а послезавтра вообще не станешь искать альтернативы...

— Искать чего?

— Ну, другого выхода. Нет, Беба, так рассуждать нельзя.

— Да, но...

— Нет, здесь не может быть никаких «но»! Есть только определенный принцип — или отсутствие принципов вообще. Во время войны я был в Сопротивлении... У нас один парень попался и выдал все явки. У него, если хочешь, тоже «не было выхода» — ему плоскогубцами ломали пальцы. Однако в сорок пятом его расстреляли. Несправедливо?

— Это совсем другое дело, Херардо,— тихо сказала Беба.— Он выдал товарищей, они, наверное, погибли из-за него... У тебя совсем другое.

— Конечно,— равнодушно согласился Жерар.— Конечно, у меня другое. Я никого не убил, кроме самого себя.

С минуту за столом было так тихо, что отчетливо слышалось шмелиное жужжание рефрижератора на кухне и монотонный шум нагнетаемого в комнату воздуха.

— Никого не убил, кроме самого себя,— вдруг повторила Беба.— Ох, как ты любишь громкие слова, Херардо! Ты думаешь, с другими не бывало так или еще хуже? Ладно, я тебе тоже расскажу одну историю. Три года назад — мне не было еще семнадцати — я позировала для одного скульптора... Ну, сначала все было хорошо, а потом он вдруг начал преследовать меня своим вниманием — приглашал в рестораны, подарил дорогое платье, предложил поехать с ним в Европу, ну и все такое... В конце концов раз во время сеанса он повел себя так, что мне пришлось уйти. Вообще уйти от него. Ну а потом... Я даже как-то и сама не знаю, почему все так получилось... Безработицы тогда никакой не было—казалось бы, я могла устроиться, но у меня почему-то ничего не вышло. Конечно, будь я постарше, я, наверное, придумала бы что-нибудь... А в шестнадцать лет — и потом я была совсем одна — что я могла придумать? В газетах объявлений много, а придешь — и всегда что-то не так. Я была в нескольких домах, где требовались служанки, и мне всякий раз отказывали... Возможно, из-за внешности, ведь всякая сеньора старается взять служанку постарше и пострашнее видом, ты сам понимаешь. Потом я хотела устроиться куда-нибудь на фабри-

ку — была в «Седалана», в «Альпаргатас», но там всюду нужны были девушки, которые уже хоть немного знакомы с работой, а просто учениц не брали. Пошла на кондитерскую фабрику «Ноэль» — там меня взяли в консервный цех, а я на второй же день очень сильно порезалась ножом... Пришлось уйти, потому что мне отказались уплатить за время лечения, это платят только тем, кто проработал больше месяца. Я с этой рукой провозилась недели три, деньги ушли на пенициллин... А потом встречаю одну знакомую девушку, она говорит: «Я тебя устрою в бюро, там нужно только принимать телефонные звонки и немного печатать на машинке»,—а на машинке я умею, нас в колледже учили. Я туда пошла—действительно, приняли, я так обрадовалась! Ну а что получилось? Через неделю шеф вызывает меня к себе в кабинет— в субботу, я уже собралась уходить— и спрашивает, свободна ли я вечером. А я сначала как-то не сообразила— подумала, что это насчет сверхурочной работы, и сказала, что да, что я свободна. А он говорит: «Вот и отлично, малышка, в Висенте Лопес есть такой ресторанчик, называется «Три ведьмы», мы с тобой туда и закатимся». Я тогда все поняла и сказала, что ни к каким ведьмам закатываться не собираюсь, я думала, что это насчет работы, и что вообще я ему не малышка и не «ты». Он говорит: «О-о-о, лошадка с норовом!» —и хочет посадить меня к себе на колени. Ну, я вырвалась и ушла, а он мне вслед крикнул, что в понедельник я могу на работу не выходить. Знаешь, я от злости сначала даже не испугалась, а потом, уже в лифте, поняла, что мне, по существу, совершенно некуда деваться. Ну, ты понимаешь, как вот если бы тебя со всех сторон заперли решетками... Вышла на улицу—это было на Диагональ-Норте—и разревелась как дура на глазах у всех. Иду и плачу, прямо истерика какая-то...

Беба замолчала и, деланно улыбнувшись, стала рыться в своей сумочке, достала сигареты. Жерар молча протянул ей через стол зажженную спичку. Закурив, она поблагодарила кивком и несколько раз коротко, по-женски, затянулась.

— И какие бывают иногда совпадения, как в романе...— усмехнулась она, сняв с кончика языка табачную соринку.— Я тогда дошла до Ювелирного треста, один квартал, и вдруг меня окликают. Смотрю — маэстро Оливьери... ну, тот самый скульптор... Спрашивает, что со мной, кто меня обидел, и как-то очень по-хорошему, с участием, и ни слова о том, что между нами произошло. Меня это тогда очень тронуло, Херардо... И вообще он мне в ту минуту показался единственным близким человеком...

Она пожала плечами и положила сигарету. Жерар молча слушал с угрюмым лицом, выводя ложечкой на столе какие-то узоры.

— В общем, я вернулась работать к нему. Ну а потом я с ним сошлась. Никто ведь меня и не принуждал... а просто вот так сложились все обстоятельства. Так неужели, Херардо, я теперь от этого должна чувствовать себя какой-то преступницей? Ну, скажи честно! Клянусь небом, я — положа руку на сердце — вовсе не считаю себя настолько уж хуже многих из этих чистеньких сеньорит, которые краснеют как маков цвет, если к ним случайно прикоснутся в троллейбусе...— Беба перевела дыхание и повторила запальчиво, почти крикнула:— Да, вот не считаю, не считаю! А ты объявил себя конченым человеком только потому, что тебе пришлось временно заняться этим свинством. Я не знаю, Херардо... Или я такая уж набитая дура, или ты смотришь на жизнь так, словно вчера родился...

— Нет, Беба.— Жерар усмехнулся и подпер щеку кулаком.— Жизнь я знаю побольше тебя... Знаю настолько, что удивить меня чем бы то ни было вовсе не так легко. Но тут дело не в удивлении грязной стороной жизни. Дело в том, что эта грязь меня захлестнула с головой,

понимаешь? И мне, тонущему, вовсе не легче оттого, что другие тонули до меня и будут тонуть после... Надо полагать, ты в шестнадцать лет тоже уже кое-что знала о жизни... И знала о том, что случившееся с тобой ежедневно случается с сотнями других девушек. Однако от этого знания тебе было не легче...

Он вскочил из-за стола и, пройдясь по комнате, остановился перед окном и сунул руки в карманы. Беба покосилась на его сутулую спину и вздохнула.

Конечно, Херардо нужна другая девушка, умная и образованная. Он ведь ждал от нее какого-то настоящего утешения, а она не нашла ничего лучшего, как рассказывать о себе... Утешила, нечего сказать.

— Беба, который час? — не оборачиваясь, спросил Жерар.

— Половина одиннадцатого...— не сразу, тихо ответила она.

Жерар помолчал, кашлянул.

— Поздно уже... Поедем, пожалуй, я тебя провожу.

Беба низко опустила голову, удерживая навернувшиеся слезы. Жерар обернулся и внимательно посмотрел на нее, потом подошел и сел рядом, придвинув свой стул вплотную.

— Ну что? — ласково спросил он, коснувшись ладонью ее волос. — Не нужно плакать, моя маленькая, все равно все это уже прошло... Я только советую тебе никогда об этом не думать: такие воспоминания ни к чему хорошему не приводят. Ну, успокойся...

Беба рывком подняла голову.

— Да разве я о себе, Херардо!— крикнула она.— Неужели ты не понимаешь — я ведь потому и пришла к тебе, что почувствовала, как тебе сейчас тяжело! Видит небо, я отдала бы все, чтобы хоть как-то тебе помочь, Херардо,— а что я умею? У меня ничего не получается, я не умею связать двух слов, но если бы только ты поверил в мое желание утешить тебя, то, может быть, тебе стало бы немного легче... Если бы ты понял, что ты вовсе не такой одинокий, как тебе кажется. Я знаю, Херардо, я такая глупая — тебе нужна была бы другая девушка, конечно, я это понимаю,— но мне так хочется что-то для тебя сделать, пойми! Мы с тобой знакомы всего две недели, а мне кажется, что уже прошел целый год... Херардо, я ведь знаю, что ты хороший, и ты вовсе не стал хуже оттого, что с тобой так получилось,— пойми это!

— Ну успокойся, Беба, успокойся...— тихо сказал Жерар, прижимая к груди ее голову.— Я верю в то, что ты говоришь, верю, что у меня есть настоящий друг. Успокойся, не нужно. Я и сам не собираюсь делать из этого трагедию. Просто мне очень тяжело... Было тяжело, пока не пришла ты... Вот видишь, если ты хотела мне помочь, то уже и помогла...

— Ты слишком спокойно это говоришь, Херардо, чтобы я могла тебе поверить!— крикнула Беба, подняв голову и глядя на него заплаканными глазами.—Ты сейчас говоришь, как заводной человек. Разве я этого не чувствую? Скажи, Херардо, что я могу для тебя сделать?

— Ты дала мне свою дружбу — это очень много, дорогая...

— Я хочу дать тебе не только дружбу. Я хочу дать все, все, понимаешь? И мне от тебя ничего не нужно взамен, мне только нужно видеть тебя снова живым человеком. Слушай, Херардо...— Беба слегка отстранилась от него и прямо посмотрела ему в глаза.— Я не скрываю от тебя моего прошлого, правда? Я вовсе не невинная девочка, я уже знала мужчин. Но клянусь тебе спасением моей души,— она перекрестилась,—что никому из них я никогда не говорила того, что сейчас хочу сказать тебе. Херардо, хочешь, я останусь сегодня у тебя? Хочешь, чтобы я все время была с тобой до тех пор, пока ты не успокоишься и не перестанешь чувствовать себя таким одиноким? Скажи, Херардо, **это сможет тебе помочь?**

Жерар снова привлек ее к себе.

— Моя дорогая девочка...—медленно сказал он, поглаживая ее волосы,— ты сама не понимаешь, на что идешь... Я ведь никогда не смогу дать тебе того счастья, которого ты заслуживаешь.

— О каком счастье ты говоришь?— прошептала Беба.— Я хочу только одного счастья — дать тебе хоть немного радости. Неужели ты откажешь мне в этом, Херардо мио?..

В огромном городе, миллионами огней озарившем небо над спящей пампой и сонными водами Ла-Платы, часы на башнях и колокольнях разноголосо отзвонили половину второго. В одном из кафе на авениде Коррьентес, где еще не затихала жизнь, уныло сидел за столиком будущий врач дон Эрменехильдо Ларральде, бесцельно переставляя перед собой пустые бутылки из-под пива и размышляя над причинами, помешавшими рыжеволосой девушке прийти в девять часов к обелиску. Та, о которой он думал, в этот момент находилась за несколько кварталов от него. Она лежала, прижавшись горячей щекой к плечу любимого, и широко открытыми глазами смотрела в потолок, по которому перебегали разноцветные отсветы мелькающих за окном реклам.

В это же самое время приятель будущего врача — будущий президент — с одурелым видом и съехавшими с переносицы роговыми очками сидел над «Проблемами колониализма» и, бормоча что-то себе под нос, делал выписки в толстую тетрадь. В маленьком кабинетике, несмотря на распахнутое настежь окно, было душно, и будущего президента давно клонило ко сну, но одним из его жизненных правил было строгое соблюдение ежедневного рабочего расписания, а он сегодня весь день учился играть в гольф и сейчас наверстывал упущенное.

В старой части города, на тихой и тенистой от платанов улице, в одной из комнат ветхого двухэтажного особняка спала на своей узкой кровати черноглазая Дора Беатрис, прапраправнучка капитан-генерала испанской короны дона Педро Мануэля Гонсальво де Альварадо. Укрывавшая ее простыня сползла на пол, на лежавшую перед кроватью вытертую шкурку оцелота, и Дора Беатрис спала крепким сном молодости, уткнув нос в подушку. На ее письменном столе, рядом с увядающей в стакане веточкой жасмина, тлела антимоскитная спираль и лежал развернутый томик Публия Корнелия Тацита, с отмеченными для перевода местами, повествующими о злодействах Сеяна. Дора Беатрис получила на осень переэкзаменовку по латыни, но сейчас ей снился не Сеян и не Тацит, а некий инженер-авиаконструктор по имени Фрэнклин Хартфилд.

Сам мистер Хартфилд в этот момент тоже спал — в откидном кресле рейсового «грейхаунда», разогнанного до семидесятимильной скорости по отполированному миллионами шин бетону федеральной автострады номер 54. Ледяная февральская крупа била в окна и вихрилась в конусах света перед лобовым стеклом, шофер лениво жевал резинку, поглядывая на укрепленную на приборном щитке карточку маршрутного расписания. Выйдя из Уичиты в девятнадцать тридцать, автобус только что миновал Тайрон, уже на территории штата Оклахома, и через час должен был пересечь границу Техаса. До конечного пункта маршрута — Албукерк, штат Нью-Мексико — было еще девять часов пути.

Мистер Хартфилд, или просто Фрэнк,— молодой человек в квадратных очках без оправы, подстриженный коротким ежиком еще по университетской моде,— во сне ворочался в своем кресле и безуспешно пытался вытянуть затекшие ноги. Когда предстоит проехать семьсот миль — удобнее сделать это в слипинге, но услуги железнодорожных

компаний не всегда по карману для человека, который уже шестой месяц носится из штата в штат в поисках работы. Сейчас Фрэнк ехал на Юг, куда его спешно вызвал Рой Баттерстон — бывший однокурсник и собрат по корпорации Бета-Ипсилон-Тау. Месяц назад Рою посчастливилось устроиться в конструкторское бюро завода «Консолидэйтед эйркрафт», и теперь он обещал постараться втиснуть туда же и старого грешника Хартфилда.

Старый грешник ворочался и охал во сне так, словно и в самом деле был уже в преисподней. Его мучил дикий сон. Правда, сначала снились всякие приятные вещи: будто он получил работу, женился на Трикси Альварадо и уже умеет говорить по-испански, но потом началась чертовщина. Вместе с Трикси и двумя большими боссами из НАКА[1] он приехал на испытательный аэродром Роджерс Лэйк, где сегодня шла в облет его новая машина. Они вошли в охраняемый часовыми ангар и — проклятье! — увидели бригаду механиков, которые спешно обмазывали глиной стреловидный фюзеляж перехватчика и обкладывали его огнеупорными кирпичами. Боссы из комитета переглянулись, а механик в белом комбинезоне подошел к прибывшим и сказал: «Мистер Хартфилд, по вашему указанию машина покрывается термозащитным слоем для испытаний на скорости теплового барьера». Боссы стали ехидно посмеиваться. «Проклятые кретины,— пытался закричать Фрэнк,— на защитное покрытие идет керамет, а не кирпичи!» — но голоса у него не стало, он хотел крикнуть — и только беззвучно шипел, разевая рот. «Насколько известно, этот Хартфилд уже с первого курса отличался идиотизмом»,— заметил один из боссов, и Трикси, соглашаясь, весело закивала головой. «В таком случае пускай он сам и летает на своей печке,— решительно сказал другой и обнял Трикси за талию.— Дорогая, вы не хотели бы провести со мной пару недель в Лас-Вегас?» — «О, хоть месяц, я обожаю Неваду!» — воскликнула она и, оглянувшись на Фрэнка, игриво показала ему нос. Все трое, взявшись под руки, направились к выходу вприпляску, высоко вскидывая ноги в этаком френч-канкане. «Трикси!!» — в диком ужасе заорал он, кинувшись вдогонку, но вместо крика опять послышалось шипение, а колени стали ватными, и вот он уже лежит в скрюченной позе между штабелями шамота, пытается крикнуть и выбраться — и не может...

Проснувшись, Фрэнк подскочил и ошалело огляделся вокруг. Спящие пассажиры покачивались в такт плавным толчкам, под потолком слабо светился ряд голубых плафонов. Было жарко.

— Ох, будь я проклят,— с облегчением вздохнул он, усаживаясь на место, ослабил узел галстука и расстегнул воротничок. Пальцы еще дрожали от пережитого страха, он выдвинул пепельницу из спинки переднего сиденья и закурил. Посмотрел на часы — до рассвета было еще далеко. За окном мелькал снег и вспышками проносились огни встречных машин.

Выкурив сигарету, он успокоился. Интересно, как обернутся его дела в Нью-Мексико. Устройся он сейчас, и через год-другой можно будет выписать Трикси в Штаты... Он достал из бумажника маленький — размером в спичечную этикетку — портретик, завернутый в целлофан. Синие ночники под потолком давали слишком мало света, Фрэнк зажег спичку. На лице его появилась блаженная улыбка. Он смотрел, пока спичка не обожгла пальцы, потом бережно спрятал фотографию и откинулся на спинку кресла, закрыв глаза и продолжая широко улыбаться.

---

[1] NACA (*англ.*) — Национальный консультативный комитет по воздухоплаванию (США).

ЧАСТЬ II

Ты этого хотел, Жорж Данден

1

Нет, все равно ничего не выйдет. Негромко выругавшись, Жерар швырнул кисть и вышел из ателье, хлопнув дверью. Через час начнет темнеть, день снова потерян. Будь оно все проклято!

И хоть бы кто-нибудь сказал ему, в чем дело. Хоть бы какой-нибудь сукин сын смог объяснить, что с ним происходит! Та же рука держит кисть. И те же краски, будь они прокляты, лежат на палитре. А на холсте получается не то! На холсте вообще получается неизвестно что — дерьмо, мазня, нечто вялое и бездушное. Дохлятина, одним словом. Да, так всегда бывает, когда начинаешь себя насиловать, когда работаешь без желания.

Это и есть самое страшное. У него просто нет желания писать. Возможно, это объясняется неудачами, а может быть и так, что неудачи объясняются нежеланием. Заколдованный круг! Композиция не нащупывается, даже колорит стал как будто беднее — изменяет ему, что ли, чувство цвета?

Кто-то рассказывал однажды про охотничьих собак: если пойнтеру сунуть в нос керосиновой тряпкой, он надолго теряет нюх. Может быть, и с ним произошло нечто похожее после этого проклятого заказа Руффо? Или просто все дело в том, что он долго не писал, почти полгода? Раньше у него не бывало таких долгих перерывов в работе. Раньше... Впрочем, раньше вообще все было по-иному.

Жерар закурил и подошел к окну, с ненавистью глядя на бегущие по стеклам дождевые струйки. Идеальный день, чтобы повеситься... По крайней мере, не станешь себя жалеть — такого, как ты есть, каким ты себя видишь в подобные моменты. Что ты, в сущности, собою представляешь? Духовный импотент, протоплазма, вообразившая себя гением. Что тебе сейчас нужно? Материально ты обеспечен — неважно, как это получилось, у всякого из нас есть в биографии малопривлекательные страницы. Это не богатство, на черта тебе нужно богатство, ты никог-

да к нему не стремился, но это возможность спокойно работать — то есть как раз то, о чем ты мечтал полгода назад как о самом большом счастье. Но сейчас ты снова недоволен. Ты же этого хотел, Жорж Данден,— какого дьявола тебе еще нужно? И уж совсем скверно получается с Элен...

Из прорезей решетки, скрывающей вделанный под окном калорифер, струится волна теплого воздуха, подхватывая и стремительно унося вверх табачный дым. С утомительным однообразием бегут по стеклу изломанные струйки воды, перегоняют друг друга, сливаются, снова раздваиваются. Дождь не утихает — нудный, зимний дождь, льющий уже вторую неделю. Через улицу, как и полгода назад, на фоне свинцового неба четко выделяется огромный круг рекламной автопокрышки. «Только Файрстон для вашего автомобиля». Через час она вспыхнет зеленым и оранжевым пламенем и будет пылать всю ночь, гигантским неоновым маяком указывая людям путь к счастью — совсем легкий и недолгий путь, если ваше авто катится на покрышках именно этой марки...

Зазвонил телефон. Устало волоча ноги, Жерар подошел к столику и снял трубку:

— Алло, я слушаю... А, это ты, Беба...

— Ола, Херардо, ты еще работаешь? Знаешь, я задержалась у парикмахера, только сейчас выскочила, представляешь — высидеть почти три часа в этом курятнике? У меня от болтовни и сплетен распухла голова. Слушай, Херардо, ты не хочешь пойти в кино? Очень интересный фильм, американский, «Убийцы из космоса». И сегодня последний день. Пойдем? Это в «Гран Рекс», на Коррьентес. Серьезно, приезжай, я сейчас возьму билеты. Ладно?

— Знаешь, шери[1], я что-то неважно себя чувствую...

— А что такое? — Голос Бебы прозвучал встревоженно.

— Да нет, ничего такого, ты не беспокойся, просто голова немного побаливает. Я сегодня много работал, может поэтому. Ты сходи сама, а потом мне расскажешь. Согласна?

Беба помолчала, потом сказала немного обиженным тоном:

— Ну, как хочешь. Я тоже могу не пойти, если тебе не хочется.

— Зачем же тебе пропускать фильм, если ты хочешь его посмотреть. Я с удовольствием пошел бы, если бы не эта голова.

— Ну хорошо, я пойду сама, если так. Я пойду сейчас, на шестичасовой, позже будет трудно с билетами. Херардо, если захочешь обедать без меня, возьми в холодильнике вчерашнюю курицу, разогрей ее как она есть, в кастрюльке. Только добавь немного...

— Да нет,— перебил ее Жерар,— я подожду тебя, сейчас не хочется. Ты вернешься к восьми?

— Приблизительно. Хорошо, тогда подожди, пообедаем вместе. Голова сильно болит? Бедненький! Слушай — в спальне, на туалете, в стеклянной коробочке есть хениоль, прими сейчас же таблетку, или лучше две сразу.

— Хорошо, приму,— послушно ответил Жерар.— Ты не задерживайся, ладно?

— Нет, я сразу домой. Ну, будь здоров. Я тебя поцеловала — слышишь?

В трубке действительно послышалось что-то похожее на поцелуй, линия разъединилась. Жерар осторожно положил трубку. Походив по комнате, он уселся в угол дивана и прикрыл глаза. За такую женщину, как Элен, любой нормальный мужчина пошел бы в огонь, а вот он... Впрочем, если бы понадобилось, он тоже пошел бы за нее в огонь,

---

[1] Chérie — дорогая (*франц.*).

но это уже просто из чувства долга. Жерар зябко поежился, вжимаясь в спинку дивана. В комнате холодно, но для того, чтобы повернуть регулятор калорифера, нужно встать и сделать несколько шагов. Ну его к черту.

Читать не хочется. Думать — еще меньше: все равно ни до чего веселого не додумаешься. Но и не думать тоже нельзя,— человеческий мозг не так устроен, чтобы можно было выключить его нажимом на кнопку. Вот разве что нажимом на курок. Жерар усмехнулся, не открывая глаз. При всех моих милых качествах, я все же не настолько труслив. В сущности, знаменитый вопрос датского принца всего лишь казуистическая попытка представить акт трусости актом высшего героизма:

...Что благороднее — в душе сносить безмолвно
Удары стрел судьбы жестокой или,
Подняв оружье, с легионом бед
Покончить разом? Умереть, уснуть...

Да, это называется делать хорошее лицо в плохой игре. Подумаешь — «с легионом бед покончить разом»... С собой-то ты покончишь — это так, а беды останутся. О, черт возьми, какая дрянь лезет сегодня в голову...

Жерар подошел к стеллажу, порылся в книгах и, не найдя ничего привлекательного, включил приемник. Зелеными рядами цифр вспыхнула шкала, через несколько секунд послышались вкрадчивые шорохи, потрескиванье, переливчатый свист. Зевнув, он повертел ручку настройки. Завывающий грохот джаза, атмосферные разряды, унылый голос, читающий по-португальски какое-то сообщение, наверняка официальное, снова неистовые вопли саксофонов и еще чего-то шумного. Потом завопила женщина, завопила истошным голосом, какой можно услышать только в передачах «Театр у микрофона». «Потише, малютка»,— гангстерским басом угрожающе прохрипел мужчина. Малютка заорала еще отчаяннее, потом стала хрипеть — ее, по-видимому, душили. Красная линия индикатора скользнула влево, и в комнате вдруг во всем своем великолепии зазвучал старый кастильский язык Сервантеса. Жерар, уже собравшийся выключить радио, облокотился на стеллаж, вслушиваясь в торжественную чеканку слов, казалось специально созданных для того, чтобы раздаваться с кафедр под гулкими готическими сводами.

— Знай, друг Санчо,— важно говорил ламанчский идальго,— что весьма в моде среди странствующих рыцарей древности было делать губернаторами своих оруженосцев в завоеванных царствах или островах, и не мне нарушать столь похвальный обычай; скорее я думаю его превзойти, ибо те часто — и, пожалуй, чаще всего — ждали, пока их оруженосцы состарятся, и лишь тогда давали титул графа или по крайней мере маркиза какой-нибудь долины или большей либо меньшей провинции, тогда как если мы с тобой будем живы, очень может быть, что не пройдет и шести дней, как я завоюю такое королевство, которое имело бы другие, к нему прилежащие и годные для того, чтобы венчать тебя королем одного из них...

— С позволения вашей милости будь сказано,— почтительно перебил рыцаря пузатый оруженосец,— и меня и жену мою Хуану Гутьеррес куда больше устроил бы участок земли в курортной зоне Ла-Тересита на атлантическом побережье. Превосходные участки с рассрочкой платежей до десяти лет продает фирма «Сьеррамар» в самых живописных...

Жерар плюнул и выключил радио. Погрев руки у решетки калорифера, он приоткрыл регулятор и снова уселся на диван, принявшись ковырять в трубке Бебиной шпилькой. Напрасно он не пошел с ней в

кино. Какую бы чушь там ни показывали, все лучше, чем сидеть и думать о «легионе бед». Вы, дорогой мсье, просто превращаетесь в неврастеника, вам следует серьезно обратить на себя внимание, иначе дело кончится скверно.

Четыре месяца назад, покончив с Руффо, он дал себе зарок вычеркнуть этот период жизни из памяти. Никогда о нем не вспоминать. Деньги сейчас означают для него два-три года обеспеченной жизни и работы, и это главное. А об их происхождении нужно забыть. Но черт побери, человек устроен хитро. Никогда нельзя знать, что выкинет с тобой твое собственное сердце — не то, которое гонит кровь через твое тело, а то, которое вдруг упорно отказывается забывать...

«И все же я должен забыть,— сказал себе Жерар, стиснув в зубах мундштук и окутываясь густыми клубами дыма.— Я должен или найти этому совершенно непоколебимое оправдание, или забыть. Иначе...»

В передней раздался звонок. Жерар бросил взгляд на часы — для Бебы еще рано, да и потом у нее ключ. Не открывать, что ли... Еще окажется какой-нибудь осел из «Аполо» — для сегодняшнего настроения только и не хватает беседы с абстрактивистом. Впрочем, все равно нужно отозваться, мало ли что может быть...

Звонок повторился.

— Иду, иду! — крикнул Жерар, выходя в переднюю.— Кто там, черт возьми?

— Будь я негр,— проквакал из-за двери знакомый голос,— вы крепко спите, мой мальчик...

Жерар распахнул дверь и вынул изо рта трубку. Брэдли, в прозрачном мутно-зеленом плаще, поставил на пол оклеенный пестрыми ярлыками чемоданчик и расплылся в улыбке.

— Вы, Аллан?

— Не ждали? Хэлло, Бусс, рад вас видеть... — Брэдли заулыбался еще шире, обеими руками тряся руку Жерара.— Вчера собирался дать вам радиограмму из Рима и совсем забыл. Ну, как вы тут?

— Мерси, все в порядке. Вы из Италии?

— Из Италии, мой мальчик, именно из Италии... — Брэдли снял мокрый плащ, бросил его на столик у вешалки и вместе с Жераром прошел в гостиную.— Можете себе представить, еще вчера валялся на пляже в Сорренто и любовался итальяночками, а тут приезжаю — и вдруг такая погода. Ничего себе Южная Америка, «материк солнца»! Ну, так как вы живете, Бусс? Да, прежде всего пусть вас не смущает мое неожиданное появление, я остановлюсь у одного из своих знакомых. У вас найдется выпивка?

— Кажется, что-то есть. Не знаю точно, я давно не пил.

— Правильно делали. Но сейчас вы не откажетесь составить мне компанию, не правда ли? Впрочем, будь я негр! — Он хлопнул себя по лбу и вскочил с кресла.— Что за проклятая память, я ведь только что купил в аэропорту бутылку беспошлинного...

Брэдли принес из передней свой чемодан и, щелкнув замками, достал бутылку виски.

— Контрабанда? — поинтересовался Жерар, набивая трубку.

— Ясно. Дополнительный доход летного персонала, ха-ха-ха! Добрый старый «шэнли»... Представьте, в Италии виски стало совершенно недоступной роскошью, там его пьют только туристы, снобы или миллионеры. Остальные дуют кьянти и эту гнусную виноградную водку — как ее, «grappa»?..

Он достал из кармана перочинный нож, раскрыл одно из лезвий и занялся откупоркой, продолжая оживленно болтать:

— Я вот часто бываю в Европе, привык к ней, уважаю вашу культуру и все такое, а все же по-настоящему хорошо чувствую себя толь-

ко по эту сторону лужи. Причем безразлично где, в каком-нибудь Канзас-Сити, или в Каракасе, или здесь, в Байресе... Тем более что сейчас разницы почти и не заметишь — всюду те же рекламы, те же моды, те же марки автомобилей...

Жерар усмехнулся:

— Не уверен, что уроженец Байреса будет так же хорошо чувствовать себя в Канзас-Сити и что его вообще так уж умиляет это отсутствие разницы.

— Почему? — искренне изумился Брэдли.— Поймите, Бусс, ведь только благодаря нам все эти чертовы «амигос» начинают жить по-человечески. Посмотрели бы вы, что здесь делалось еще двадцать лет назад! Я, помню, приехал сюда в тридцать первом году — страшное дело, Бусс, все кабалерос ходили в черных сюртуках, представляете идиотов? Январь месяц, сотня градусов в тени, а он не выйдет на улицу без крахмального воротничка. А могли вы увидеть в баре женщину? Да ни за миллион долларов — понятно, я не говорю о проститутках. Байрес выглядел в те годы самой захолустной испанской провинцией. После девяти часов вечера ни одна порядочная женщина не могла появиться на улице без провожатого. А теперь? Зайдите в любой бар — тьма девчонок, пьют, курят...

— Одним словом, да здравствует прогресс,— кивнул Жерар.— Прошу прощения...

Он прошел на кухню, достал из холодильника сифон содовой и формочку с кубиками льда, взял стаканы и принес все это в гостиную.

— Дайте-ка ваш ножик, я нарежу лимон,— сказал он, расставив принесенное на столике.

— Держите. Но вы не ответили на мой вопрос. Как ваши успехи?

— О, успехи фантастические. Наливайте себе сами, Аллан, я ваших пропорций не знаю.

— Пополам, как обычно. Вам тоже?

Брэдли положил в стаканы лед, ломтики лимона, на треть наполнил их виски и долил содовой. Жерар взял свой, взболтнул жидкость цвета слабого чая и задумался.

— Ну ладно,— сказал он.— За ваш приезд.

— Милле грациа, как говорят в Риме. Эх, Бусс, какую я позавчера видел итальяночку... — Брэдли покрутил головой и поднес к губам стакан. Отпил из своего и Жерар.

— Чем же закончилось ваше знакомство со стариком Руффо? — поинтересовался Брэдли.— Пришли к соглашению?

Жерар молча дожевал лимон, выбросил в пепельницу ленточку кожуры.

— Слушайте, Аллан, вас никогда не называли сукиным сыном?

— Очень часто. А что?

— А то, что вы со мной поступили как самый настоящий сукин сын. Надеюсь, откровенность вас не обижает?

— В чем дело, Бусс? До меня что-то не доходит.— Брэдли посмотрел на него с недоумением почти искренним.

— Почему вы не сказали мне, что квартира принадлежит Руффо? Вы знаете, что вы этой проклятой квартирой загнали меня в тупик?

— Бусс, будь я негр! — обеспокоенно сказал Брэдли.— Неужели старая вонючка подложила вам свинью? Послушайте, как было дело, я сейчас все вам расскажу. Квартира эта и в самом деле его — это я знал. Я сам перед отъездом позвонил старику и спросил его, нельзя ли временно предоставить помещение тому художнику, о котором мы говорили. Он сейчас чертовски нуждается, сказал я ему. А он говорит: «Ладно, пускай живет, мне-то что! Все равно у нас с ним предстоят деловые отношения, так что это даже удобнее. И насчет платы, дескать,

я скажу администратору, чтобы его не беспокоили». Так он мне и сказал, Бусс, верьте слову! А что случилось?

— Что случилось... Случилось то, что он потом предложил мне заплатить за все прожитое время. Я с ним совсем было порвал. Ну а после такого требования...

— Вот сукин сын! Но в общем-то вы поладили?

— Да... Кое-что я для него сделал,— нехотя сказал Жерар.— Знаете, я был уверен, что эту штуку с квартирой подстроили вы... Теперь-то мне уже наплевать... — Он пожал плечами. — Теперь мне вообще на многое наплевать. Даже на то, что я продолжаю, как видите, здесь жить. Словом, не будем говорить на эту тему.

— Отлично, мой мальчик, как вам угодно,— с явным облегчением поспешно сказал Брэдли. — Поверьте, я понимаю ваше состояние — угрызения совести и всякие такие штуки. Но я уже высказывал вам свою точку зрения на этот счет... В такое уж гнусное время мы живем, что ж делать.

— Угрызения совести? — задумчиво переспросил Жерар. — Нет, Аллан... Тут похуже, чем просто совесть. Ну, довольно об этом.

— Правильно, Бусс, не мучайте себя и не расстраивайтесь. Денег-то хоть подработали?

— Да... На год-другой хватит.

— Великолепно. Теперь вам следует жениться, мой мальчик, мало ли в Байресе красоток...

— А я уже женился.

— Да ну? — Брэдли просиял. — Чего ж вы молчали до сих пор, такие вещи полагается сообщать сразу! Где же ваша миссис?

Жерар отпил глоток и потянулся за лимоном.

— Ушла в кино, смотреть каких-то космических убийц. Подождите до восьми — познакомитесь.

Брэдли посмотрел на часы и вздохнул:

— К великому сожалению, никак не смогу. Придется отложить до другого раза, сегодня вечером у меня чертовски много дел. А жаль. И как же выглядит миссис Бюиссонье?

— Как миллион долларов. — Жерар выплюнул лимонное семечко. — Кстати, ее зовут не миссис Бюиссонье, а мисс Монтеро.

Брэдли, приготовившийся уже провозгласить тост за здоровье новобрачных, явно смутился и в замешательстве опустил стакан.

— А... Вот как... — пробормотал он.

— В чем дело, ваше пуританское сердце шокировано?

— Бусс, мой мальчик, не нужно относиться к этому так... так легкомысленно,— отеческим тоном сказал Брэдли. — Я не шокирован, нет, но... Просто я считаю это достойным сожаления. Вы понимаете, Бусс, внебрачное сожительство...

— Это разврат,— докончил за него Жерар. — О, разумеется, еще бы. Писать порнографические картины — это бизнес, в этом нет ничего страшного, в такое уж время мы живем. А сойтись с женщиной, не сделав положенных визитов к мэру и кюре,— это разврат.

— Не нужно над этим смеяться, Бусс! — Голос Брэдли выразил страдание. — Не нужно, мой мальчик! Впрочем, я надеюсь, что вы и сами рано или поздно захотите узаконить свои отношения с... со своей женой. Если вы ее любите...

— Конечно я ее люблю, черт побери! — вспыхнул Жерар. — При чем тут это идиотское «если»?

— Ну и отлично, мой мальчик, и отлично,— примирительно забормотал Брэдли, снова поднимая свой стакан. — За здоровье вашей миссис, за ваше счастье...

Они чокнулись, выпили. Жерар пожевал лимон и вздохнул.

— Дело в том, что я уже не раз предлагал ей «узаконить»,— сказал он, криво усмехаясь. — Но у нее свои соображения, что же делать...

— Ничего,— бодро сказал Брэдли,— надо полагать, вы ее убедите. Молодой парень, красивый, у вас все впереди. Еще раз от души желаю счастья вам обоим.

Жерар, занятый своей трубкой, поблагодарил молчаливым кивком. Брэдли извлек из кармана толстую сигару и тщательно раскурил ее, сразу сделавшись похожим на карикатурное изображение отдыхающего бизнесмена. Жерар покосился на него и скрыл усмешку за клубами дыма.

— Хотите, Аллан, я напишу ваш портрет? Разумеется, даром, в благодарность за ваши услуги. Мы его выставим под названием... ну, хотя бы «Homo Americanus». Согласны?

— Благодарю, Бусс,— польщенно отозвался тот, попыхивая своей «гаваной». — К сожалению, некогда, а то бы с удовольствием. Вы уж лучше заставьте, чтобы вам попозировала ваша squaw[1]. Она и в самом деле хорошенькая?

— Точнее — красавица. Глаза как фиалки и волосы цвета старого флорентийского золота.

— Красивое сочетание,— одобрительно кивнул Брэдли,— красивое и редкое. Вам повезло, Бусс.

— Еще бы! Мне вообще чертовски везет с того дня, когда я вас встретил.

— А я что говорил? Со мной не пропадете, мой мальчик.

— Везет настолько, что я даже начинаю уже побаиваться. В жизни есть такой скверный закон равновесия — за всякую удачу рано или поздно приходится платить...

— Бросьте, Бусс. В жизни все гораздо проще — одному везет, другому нет, и никому не приходится расплачиваться. Повезло вам — хватайте леди Удачу за волосы и держите покрепче, иначе эта потаскушка изменит вам с первым встречным. Кстати, мне сейчас пришла в голову одна мысль...

Подняв голову, Брэдли выпустил к потолку длинную струю голубого дыма и положил сигару на край пепельницы.

— Понимаете,— сказал он, отхлебнув из стакана,— теперь вам следует основательно подумать о своем будущем... Тем более что вы уже семейный человек. Я как раз подумал вот о чем. У вас сейчас есть какие-то деньги — не так ли? Но если вы не найдете постоянного заработка, то этих денег вам хватит очень ненадолго. Вы рассчитываете прожить на них год-другой, но я готов держать пари, что уже через десять месяцев вы окажетесь в таком же положении, в каком были полгода назад. Мало того, что будете тратить больше, чем заранее предполагаете,— следует также учесть то обстоятельство, что ваши деньги будут с каждым месяцем таять, даже если вы не станете их трогать. В стране начинается катастрофическая инфляция. Боюсь, что вы этого не учитываете, а это чертовски серьезная штука, будь я негр. Я не знаю, что тут думает ваш мистер Перон, но похоже на то, что он со своей «экономической независимостью» зашел в тупик. Вы видели сегодняшний валютный бюллетень?

— Нет, не слежу. А что такое?

— То, мой мальчик, что на прошлой неделе курс доллара был 26,70, а сегодня он уже 31,25. А это значит, что аргентинская экономика начинает трещать по всем швам. Вообще я должен сказать, что уже сейчас за границей мало кто отваживается иметь дело с аргентинским

[1] Жена, женщина — индейское слово, употребляемое в США.

песо. И неудивительно, ведь его курс падает как давление в проколотой камере... Я что хотел сказать — если уж вы заработали какую-то сумму и пока не имеете возможности зарабатывать дальше, то нужно позаботиться хотя бы о том, чтобы заработанное не улетело в трубу. Верно?

— Конечно, но я не представляю себе, что тут можно сделать. Если курс падает, значит, такова уж его судьба. Давайте-ка лучше выпьем.

Он смешал еще две порции виски-сода и протянул стакан Брэдли. Тот поблагодарил с рассеянным видом, что-то соображая.

— Что тут можно сделать? — задумчиво повторил он слова Жерара. — Ну, сделать тут можно многое, очень многое, Бусс... На это и существует бизнес... Вопрос лишь в том, какую из многих возможностей стоит в данном случае выбрать, какая окажется наиболее выгодной...

Он взял с пепельницы продолжающую дымиться сигару, осторожно поднес ее к губам и запыхтел, окутываясь голубоватым облаком.

— Бросьте вы ломать над этим голову, Аллан,— сказал Жерар. — Ничего со мной не случится, подумаешь. Я вот, может, скоро начну продавать свои работы.

— Кстати, вы не думали о новой выставке? Теперь, когда вы можете заплатить газетчикам... Помните, мы как раз об этом говорили с вами в тот вечер...

Жерар помолчал, лежа в кресле и раскачивая туфлей.

— Я помню,— отозвался он наконец. — Нет, о выставке я пока не думал. Новых вещей у меня еще нет... кроме нескольких этюдов, но это так... А выставлять старые я не хочу. Понимаете, мне не нужно купленное признание, Аллан. Если меня не признали тогда, а теперь признают, то это значит, что признают не мое искусство, а мои деньги. — Он криво усмехнулся и пососал погасшую трубку. — Это маленькое обстоятельство я не учел раньше, когда говорил с вами и раздумывал над предложением Руффо. Тогда мне казалось, что с деньгами я заставлю говорить о себе, привлеку к себе внимание — не к себе, понятно, к моему искусству — и сумею убедить эту проклятую толпу. А теперь я вижу, что все это далеко не так просто. Нет, за деньги признание покупается, но только соответствующего качества, а такого признания мне не нужно... — Проговорив это медленно и негромко, словно думая вслух, он посмотрел на Брэдли и сказал уже другим тоном: — Словом, мне нужно начинать сначала, Аллан, так-то. Сейчас буду работать, а позже — через год, через полтора,— может быть, и найдется что выставлять...

— Да... Пожалуй, это разумно. Вы чертовски принципиальный парень, Бусс, трудно вам жить на свете...

— Будь я принципиальным парнем,— усмехнулся Жерар,— многое в моей жизни было бы сейчас совсем иначе.

— Возможно. Но как знать — лучше или хуже? Так вот, Бусс, послушайте. Мне кажется, я могу помочь вам пристроить ваши деньги так, чтобы они не только не таяли, но и давали вам какой-то доход...

— Ренту, что ли?

— Да, что-то в этом роде... — Брэдли задумчиво пожевал сигару. — Конечно, есть известный риск, но он, в общем, не так велик, если взяться с умом. Словом, я тут кое с кем поговорю, посоветуюсь, а потом уже смогу предложить вам что-либо конкретное. Если, разумеется, вы согласны доверить мне свои деньги.

— Да пожалуйста! — Жерар пожал плечами. — Пропадут — туда им и дорога. Как нажито, так и потеряно. Валяйте, Аллан, пробуйте.

Брэдли кивнул, допил свое виски и посмотрел на часы:

— Ну что ж, мне пора. Жаль, что нет времени познакомиться с вашей миссис.

— Посидите, теперь уже скоро придет.

— Да нет, не получится, я тут еще хочу успеть... — Брэдли встал, одергивая пиджак. — Как-нибудь в другой раз познакомимся. Так я вам позвоню, Бусс. Думаю, что мне удастся состряпать для вас нечто выгодное... — Он многозначительно подмигнул.

— Ну что ж, мерси за хлопоты,— отозвался Жерар, в свою очередь вставая. — Мне не совсем удобно причинять вам лишнюю заботу...

— Бросьте вы, это ведь моя стихия, Бусс, я в этих делах чувствую себя как рыба в воде. Покажите, над чем сейчас работаете, а? Что-нибудь крупное?

— Я не люблю показывать незаконченные вещи.

— Ну что ж, увидим на выставке,— кивнул Брэдли. — Одним словом, договорились. Я пробуду здесь дней пять-шесть, это ваше дело мы провернем... И я постараюсь, чтобы риск оказался минимальным. Кое-какое чутье у меня в этих вопросах есть, будь я негр. Так что надеюсь, все будет в полном порядке...

Брэдли ушел. Сумерки, давно уже сгущавшиеся по углам, постепенно заполнили всю комнату, растушевав очертания предметов, придав им странный, почти угрожающий вид. На потолке заиграли отсветы уличных огней. Дождь продолжал лить, размывая на стеклах зеленые и оранжевые блики неона.

В девятом часу вернулась Беба. Как всегда, она несколько секунд возилась с английским замком; потом дверь наконец скрипнула, отворяясь, потом щелкнул выключатель. На полу протянулась острая полоса света.

— Ола-а! — крикнула из передней Беба.

— Добрый вечер, шери,— отозвался Жерар, не поднимаясь с дивана. Беба открыла дверь и заглянула в комнату, расстегивая плащ.

— Ты сидишь в темноте? — испуганно спросила она. — До сих пор болит? Как странно, что хениоль тебе не помог, мне всегда помогает сразу...

— Что? — не сразу понял Жерар. — Да нет, голова уже давно прошла. Как только я принял таблетки.

— А, ну хорошо. Я подумала, что ты сидишь в темноте из-за головной боли.

Успокоившись, Беба сняла плащ и, стоя перед зеркалом, принялась изучать свою прическу.

— Никак не могу понять,— говорила она озабоченно, вертя головой,— лучше мне так или хуже... Ты ел, Херардо?

— Нет, что-то не хотелось.

— Сейчас будем есть. Нет, в общем это даже оригинально! А тебе нравится?

— А мне отсюда плохо видно. Издали выглядит странно. Фильм хороший?

— Ну как же тебе не видно... Хорошо, я сейчас войду. Главное — как общее впечатление, понимаешь? Ой, фильм такой страшный, я сегодня во сне буду кричать... Ну ладно, смотри!

Беба вошла в комнату и включила свет. Жерар молча смотрел на нее, подняв брови.

— Ничего не понимаю,— сказал он наконец. — Это называется прическа?

— Да, представь себе! — запальчиво подтвердила Беба. — Пожалуйста, не задавай глупых вопросов, а скажи прямо — нравится это тебе или нет.

— Пока нет. А ну-ка повернись.

Беба прошлась по комнате походкой манекенщицы и уселась рядом с Жераром.

— Ты должен мне один поцелуй,— напомнила она, подставляя ему щеку. — Помнишь, по телефону?

— Мадам, такие долги я не зажуливаю... — От ее кожи, мешаясь с ароматом духов, исходила свежесть зимнего дождливого вечера. — Ты совсем замерзла. У тебя новые духи?

— Да, ланвэновские. Ну, почему ты ничего не говоришь?

— О чем?

— О моей прическе, пресвятая дева Мария!

— А-а... — Жерар зевнул. — Откровенно говоря, шери, здесь не о чем говорить. Какая же это прическа?

Беба выразительно пожала плечиками:

— Ну, знаешь! Это, по-твоему, не прическа? Это последняя парижская мода, по журналу! Называется «Экзистенциалистка»! Чего ты еще хочешь?

— «Экзистенциалистка»? — Жерар, взяв Бебу за уши, бесцеремонно повертел ее голову, оглядывая общипанные вихры цвета старого флорентийского золота. — Я бы предложил иначе — «После драки». А?

Беба вырвалась от него и пересела подальше, поджав под себя ноги.

— Ты просто мне завидуешь! — крикнула она. — И не говори больше ни слова, иначе я разревусь. Слышишь? Просидеть полдня в этом дурацком салоне только для того, чтобы тебя общипали, как...

— Ну, глупости, не так уж это плохо выглядит,— успокаивающе сказал Жерар. — Тебе идет любая прическа. Расскажи лучше про фильм. Очень было страшно?

— Ой, лучше не напоминай! — Беба поежилась и сделала большие глаза. — Понимаешь, прилетели марсиане — на такой огромной летающей тарелке — и стали уничтожать людей на земле. Как называется эта страна, где всегда холодно?

— Канада?

— Не-ет, другая... Та, где красные!

— Тогда Россия.

— Россия? Ну да, это там, но называется как-то иначе... Сиб... Саб...

— Сибирь?

— Ага, Сибирь. Они высадились там, в Сибири, и сразу всех уничтожили. Ну, не всех, но очень многих. Янки предложили красным помощь, а те сначала отказались — говорят, у нас есть средства не хуже ваших. И вышло, что их средства никуда не годились. Тогда они уже попросили помощи, и янки это место забросали атомными бомбами. Представляешь? Наверное, сто штук сразу.

— Бедные марсиане,— сочувственно сказал Жерар.

— Не говори... У нас кто-то был? — удивилась вдруг Беба, только сейчас заметив стаканы и недопитую бутылку на столике.

— Да, я и забыл тебе сказать. Приехал Брэдли.

— Брэдли? — Беба нахмурилась. — Откуда он выполз?

— На этот раз из Италии,— небрежно сказал Жерар, догадавшись о ее беспокойстве и стараясь его рассеять. — Очень любезен, предлагает всяческую помощь в делах и так далее...

Беба докурила сигарету до половины и бросила ее в пепельницу.

— Знаешь, Херардо,— сказала она задумчиво,— я его совсем не знаю, этого мистера Брэдли, но мне он почему-то по твоим рассказам очень не нравится... Ты бы держался от него подальше.

— А кому он может нравиться? — Жерар пожал плечами. — Типичный янки — циничный, разумеется, совершенно беспринципный, но не дурак. Да я ведь не собираюсь заводить с ним дружбу, пропади он пропадом.

— Да, но...

Беба помолчала, потом спросила:

— Из какого стакана ты пил, Херардо? Я выпью глоток, так промерзла на этом дожде...

— Вон тот, с краю. Холодно на улице?

— Ужасно...

Беба смешала себе виски и со стаканом в руке уселась на прежнее место, сбросив туфельки и поджав под себя ноги.

— Какую помощь он тебе предлагает? — спросила она.

— О, пока ничего конкретного... Просто мы говорили о нашем положении, ну, и он совершенно резонно сказал, что мне следует теперь заботиться не только о себе... — Жерар улыбнулся и подмигнул. — Вот и все, шери. Нет, ты знаешь — я начинаю привыкать к этой прическе. В ней есть нечто... — Он повертел пальцами. — Словом, беру свои слова назад. Как, говоришь, она называется? «Экзистенциалистка»?

Беба рассеянно кивнула. Жерар обнял ее и прижал к себе.

— Погоди, я же тебя оболью... Херардо!

— Ну, хорошо, мадам экзистенциалистка, допивайте свое виски и ступайте в кухню. Помните, что наша экзистенция зависит от регулярного приема пищи,— этого не отрицает даже великий Сартр. Кстати, в сорок шестом году я иногда встречал его в Кафе де Флор. Нужно было видеть, как он глушил свои апро, о-ля-ля! Между прочим, он обычно бывал похож на мечтающую жабу. Серьезно, у него такой рот, немного лягушачий, и очки с необыкновенно толстыми стеклами...

— Ох, перестань ты говорить глупости,— с досадой сказала Беба.— Слушай, Херардо... Тебе очень хочется жить именно в городе?

— Вовсе нет. А что?

— Понимаешь... Я видела вчера объявление в «Ла-Пренса»: на Луханском шоссе сдается кинта [1] с садом, и дом, кажется, даже меблирован. Там сказано, что очень дешево, потому что это далеко — кажется, на сороковом километре, что ли. Но там удобное сообщение — на Лухан ходит много омнибусов. Ты как на это смотришь? Знаешь, я не думаю, что это окажется дороже, чем квартира в городе. Учти, что такую, как эта, ты сейчас дешевле, чем за две тысячи в месяц, не снимешь.

— Ну, такую... Помимо квартир-люкс есть еще и самые обыкновенные — какие-нибудь две комнаты, кухня...

— Но тогда придется снимать где-то ателье? По-моему, стоило бы посмотреть эту кинту. Если она тебе понравится... Для твоей работы это будет куда удобнее, Херардо. В объявлении так и сказано: «Специально для любителей тишины и природы». Зачем тебе город, в самом деле?

— Да мне он ни на черта не нужен,— пожал плечами Жерар.— Я вот только не знаю, понравится ли эта «тишина и природа» тебе...

— Если тебе понравится, то и мне будет хорошо,— сказала Беба.— Съездим посмотрим? А пользоваться любезностью этого янки мне вовсе не хочется, и вообще ты бы держался от него подальше.

Жерар улыбнулся:

— Не волнуйся, я не собираюсь становиться его компаньоном. А если он может помочь нам упрочить наше материальное положение, то почему бы и нет? В конце концов, черт возьми, мне вовсе не хотелось

---

[1] Quinta — загородный дом, усадьба (*исп.*).

бы через какой-нибудь год, а то и раньше, остаться с тобой без куска хлеба. Нужно реально смотреть на вещи, моя дорогая.

— Ну, тебе виднее,— отозвалась Беба немного обиженно, вставая с дивана.— Я пойду готовить ужин. Как тебе без меня работалось?

— Да знаешь, в общем, никак. Что-то не идет дело, наверное, погода мешает...

2

Вместо предполагавшейся недели Брэдли провел в Буэнос-Айресе целых три — главным образом ради устройства денежных дел Жерара, которые, видно, стали для него вопросом собственного престижа. «Вы не понимаете азарта финансовой игры, Бусс,— нетерпеливо говорил он Жерару, когда тот пытался уговорить его не тратить время.— Не мешайте мне, мой мальчик, теперь я уже и сам в этом заинтересован...»

Брэдли познакомился с Бебой, держал себя с ней необычно сдержанно, почти чопорно, и преподнес в качестве запоздалого свадебного подарка пару дорогих клипсов. Очевидно, сразу почувствовав ее скрытую неприязнь, он благоразумно не стал настаивать на дальнейших встречах; деловые свидания происходили обычно где-нибудь в ресторане.

Несколько раз Жерару пришлось обедать или ужинать с приятелями Брэдли — дельцами трудно определимой национальности, хорошо одетыми солидными личностями, разъезжающими в новеньких «крайслерах» или «студебеккерах». Эти ужины были всегда деловыми, разговор присутствующих изобиловал финансовыми терминами, которые звучали для Жерара кабалистическими заклинаниями, и всякий раз ему приходило в голову сравнение между компанией Аллана и бандой алхимиков, нашедших-таки свой философский камень.

Что камень эти типы нашли — можно было не сомневаться. В их руках все превращалось в золото. Сущность загадочного процесса ускользала от понимания Жерара, но результаты были налицо. Однажды ему дали подписать несколько бумаг; на другой день Брэдли, подмигивая с довольным видом, объявил ему, что этими подписями он, Бюиссонье, заработал вчера больше, чем иной аргентинский чиновник зарабатывает за год. Жерар вынул изо рта трубку и посмотрел на американца с дурацким видом. «Каким образом, черт побери?» — спросил он, обретя дар слова. Брэдли захохотал и хлопнул его по животу. «Вы все равно этого не поймете».— «Послушайте, Аллан,— решительно сказал Жерар, вспомнив вдруг слова Бебы. — Давайте поставим точки над i. Если все эти махинации являются не совсем законным делом, то я...» Брэдли не дал ему договорить, обиженно заявив, что ни он, ни его аргентинские друзья не станут портить себе деловую репутацию из-за нескольких вшивых десятков тысяч. Это было резонное соображение. Скоро Жерар вообще потерял способность удивляться чему бы то ни было. Съездив с Бебой посмотреть кинту, он нашел ее вполне пригодной для жилья и подписал с владельцем арендный контракт. Переезжать можно было после первого сентября. Однажды, ужиная с Брэдли в компании нескольких алхимиков, он рассказал о своем новом жилище.

— О, отлично,— одобрил Аллан.— В деревне вам удобно будет работать. А сколько от столицы?

— Около сорока километров, точно не знаю. Неважно, там удобное сообщение, омнибусы ходят прямо с Пласа Онсе...

— Омнибусы? Вы безнадежный человек, Бусс. Омнибусы, будь я негр... Вы видите этого джентльмена? — спросил Брэдли, бесцеремонно ткнув пальцем в сидящего напротив краснолицего техасца.

— Вижу. И что?

— А то, что этот краснорожий субъект представляет здесь автомобильную корпорацию Кэйзер-Фрэзера. Ведь верно, Бобби?

«Краснорожий субъект» кивнул и без помощи пальцев передвинул сигарету из одного угла рта в другой.

— Создаем здесь филиал,— пробурчал он с невероятным акцентом, морщась от дыма,— «Кэйзер Эрджентайна». Большой завод в этом... как его? Кордова. Мистеру нужен кар? Это можно. Знаете наш «манхэттэн»? Седан, четыре дверцы. Это я вам устрою. Да вон посмотрите в окно, я сам езжу на таком. Вон тот, синий, с самого края...

Жерар посмотрел и увидел машину экстравагантного вида, очень низкую и очень обтекаемую.

— Ну, что вы,— сказал он,— зачем мне такой люкс?..

— Вы не смотрите на вид,— засмеялся Брэдли.— Формы у нее в самом деле роскошные, прямо сплошная Ава Гарднер, но вообще это далеко не «кадиллак». И даже не «форд», будем уж откровенны до конца. Впрочем, пару лет она вам послужит. Вы скажете тоже — «люкс»! Бобби, сколько стоит сейчас это чудо техники?

— Для нас — тысяча девятьсот.

— Слышите, Бусс? Я вам устрою валютно-обменное разрешение класса А на две тысячи. Машина обойдется дешевле, чем здесь можно купить у старьевщика списанный мотоцикл,— не больше двадцати тысяч песо...

— Что это за «разрешение класса А»? — ничего не понимая, спросил Жерар.

— Мсье не знает? — удивился один из алхимиков.— О, это интересная вещь. В Аргентине существует несколько типов, или классов, обмена валюты для операций по внешней торговле. Скажем, если простой смертный захочет купить что-нибудь в Штатах, то ему придется платить из расчета официального курса доллара. А для закупок промышленного оборудования был установлен специальный поощрительный курс, так называемый «класс А», по которому доллар оказывается в десять раз дешевле. В теории это было сделано в целях поощрения и развития национальной индустрии, а на практике этим курсом пользуются их превосходительства, когда нужно выписать для себя или для своей любовницы новый «кадиллак».

— Хуан Дуарте сделал свои миллионы именно на этом,— усмехнулся третий собеседник.— Как раз от него и зависела выдача валютно-обменных разрешений.

— Ну его к черту,— сказал Жерар,— не хочу я с этим связываться.

— Неразумно, мой мальчик,— покачал головой Брэдли.— Не возьмете вы — возьмет какой-нибудь жулик. Вам не предлагают обогащаться за счет Аргентинской Республики! Просто, если нужна машина, есть возможность приобрести ее дешево и без хлопот. Не понимаю, что вас смущает...

Жерар подумал и решил, что смущаться и впрямь нечего. Бобби из «Кэйзер Эрджентайна» записал его адрес и пообещал известить, как только дело будет окончательно улажено.

Удивительнее всего была легкость, с какой все это делалось. Вспоминая годы нужды, Жерар только пожимал плечами. Когда не на что пообедать, то иной раз расшибешься в лепешку, прежде чем удастся раздобыть сотню франков. А если на твоем счету лежит в банке сто тысяч, то прибавить к ним двадцать или тридцать, а то и больше, ровно ничего не стоит. Во всяком случае, это происходит с такой легкостью, что невольно начинаешь верить в таинственные свойства денег: например, в их способность размножаться при достижении известной степени

концентрации. Сколоти только первый миллион, потом тебе и вовсе уж не придется ни о чем заботиться. Нужно ли после этого удивляться тому, что тебе вдруг — безо всяких усилий с твоей стороны — предоставляется возможность купить за двадцать тысяч машину, которая стоит тысяч триста, если не больше...

Восьмого июля, накануне Дня Независимости, Брэдли наконец отбыл в Штаты. Жерар провожал его в порт: вопреки своему обыкновению, Брэдли решил на этот раз отдохнуть в пути и отказался от путешествия по воздуху. «Дель Норте» отходил почему-то не от пассажирской пристани Северной гавани, а из Нового порта; обстановка отплытия была самой будничной, небольшая группа пассажиров и провожающих стояла на забитом товарными составами пирсе, под пронизывающим ветром. День выдался хмурый, туманный, все казалось серым, над решетчатыми башнями кранов с резкими, тоскливыми криками шныряли чайки.

Как и все суда линии «Дельта», совершающие скоростные рейсы между Буэнос-Айресом и Нью-Орлеаном, «Дель Норте» со своими зализанными стремительными линиями полукруглой ходовой рубки и скошенной назад низкой трубы, с удачно подобранной окраской — серый корпус с яркой зеленой полосой по фальшборту и белоснежные надстройки — выглядел нарядно даже в такой обесцвеченный день. Подняв воротник пальто и держа руки в карманах, Жерар рассеянно слушал последние деловые наставления Брэдли и слезящимися от ветра глазами оглядывал судно. Почему до сих пор он никогда не замечал красоты технических сооружений?

Подхваченная стрелой, над головами провожающих проплыла в веревочной сетке последняя партия кофров и чемоданов.

— Ну, Бусс, пойду устраиваться,— сказал Брэдли, протягивая ему руку.— Через несколько месяцев мы, очевидно, увидимся, а пока желаю успехов. Держите контакт с теми джентльменами — в случае чего, они вам всегда помогут советом. Но я думаю, это и не понадобится. Теперь ваше положение можно считать прочным, я говорю это, даже имея в виду американский стандарт прочности...

Они распрощались, Жерар пожелал Брэдли счастливого плавания и отправился к стоянке такси. Выезжая с территории порта, он с интересом, словно впервые видя, разглядывал бегущие мимо пакгаузы, бетонные башни элеваторов, мачты и трубы с опознавательными марками всех судоходных компаний мира. Человеческий труд, результаты человеческого труда... Почему эта тема никогда его не затрагивала? Его интересовала природа еще больше интересовал человек. Или человек интересовал меньше? Что, в сущности, было до сих пор основной темой его творчества? Ты скажешь — жизнь. Ну понятно, жизнь, это ведь может сказать про себя почти всякий живописец... Даже сюрреалист, любовно выписывающий развешанные по дереву потроха. Жизнь вообще чертовски сложная штука, чертовски многогранная... И всякий невольно выбирает ту или иную грань. Соответственно своим вкусам и взглядам. Так вот, какую же выбрал ты?..

— Проводил своего друга? — с несвойственной ей язвительностью спросила Беба, когда он вернулся домой.

— Брось говорить глупости,— недовольно отозвался Жерар,— ты отлично знаешь, что он мне никакой не друг.

— Однако последние дни ты только с ним и пропадал!

— Ты отлично знаешь, почему я это делал, черт возьми! — крикнул Жерар. — И почему я вообще согласился принять его помощь в устройстве наших дел! Ты думаешь, мне самому это нужно? Я никогда не был счастлив так, как в те годы, когда ходил в драных штанах и обедал три раза в неделю! Ты думаешь, я...

— Ах вот что,— сказала Беба.— Почему же ты замолчал? Договаривай до конца, прошу тебя. Раньше ты был счастлив, «в те годы»... Скажи уж прямо — «когда я был один»! Оказывается, во всем виновата я...

— Прости, ты меня неверно поняла, я имел в виду другое. И давай не ссориться из-за Брэдли. Может быть, не следовало затевать все это дело, но я, откровенно говоря, не вижу здесь ничего дурного. Мои деньги сыграли на бирже и сейчас помещены в надежные бумаги... Кстати, на твое имя. Мы с Брэдли никого не разорили. Насколько я понимаю, этим бизнесом ежедневно занимаются тысячи людей, и никому не приходит в голову считать их преступниками...

За обедом они молчали, думая каждый о своем: Беба — о несправедливых и обидных словах Жерара, тот — о так неожиданно и внезапно вставшем перед ним сегодня вопросе. Правильно ли понимал он до сих пор свою задачу? А вдруг он проглядел что-то в жизни, в искусстве? Почему, в конце концов, публика — и во Франции, и здесь — всегда оставалась равнодушной перед его картинами?

Ну хорошо, мнение толпы не всегда является верным. Это известно давно и не нуждается в доказательствах. Но, черт возьми, не слишком ли часто эта бесспорная аксиома служила утешением для бездарности?..

— Скажи-ка, шери...— Беба подняла голову и глянула на него через стол.— Я хочу задать тебе один вопрос. Ты видела все мои картины, что были на прошлогодней выставке,— верно? Нравятся они тебе? Только откровенно!

— Ну нравятся...

— А почему выставка провалилась? Ты никогда над этим не задумывалась?

Обиженное выражение в глазах Бебы сменилось недоумевающим.

— Я не знаю... — Она опустила вилку и пожала плечами. — Выставки вообще часто проваливаются, Херардо, и не обязательно потому, что картины плохи. Мне трудно об этом судить, я ведь не критик...

— Хорошо,— терпеливо сказал Жерар,— я знаю, что ты не критик, но у тебя есть вкус. Мне важно знать мнение рядового зрителя, а никакого не критика, будь они все трижды прокляты. Что могло не понравиться в моих картинах таким вот рядовым зрителям?

— Я думаю, время было неудачно выбрано: в декабре никто выставок не устраивает. Ведь с середины декабря все начинают разъезжаться на лето,— кто же станет интересоваться в это время выставками...

— Ну да, это я знаю. Мне об этом говорили, но во время выставочного сезона пришлось бы заплатить за помещение вдвое дороже. И ты думаешь, это единственная причина? Не знаю, не знаю... Не может быть, чтобы только это...

Встав из-за стола, он сунул руки в карманы и принялся ходить по комнате.

— И потом знаешь, Херардо... — нерешительно сказала Беба,— может, публике просто показалось все это слишком непривычным...

— Еще бы! — фыркнул Жерар, не оборачиваясь. — После того, что вы здесь выставляете в Instituto del Arte Moderno... Но ведь я и хотел показать ей разницу, хотел показать, как выглядит другое искусство, не изуродованное этими идиотскими «поисками»!

— Нет, я не об этом... Понимаешь, сейчас публика привыкла, чтобы ей щекотали нервы, поэтому, наверно, она и ходит на выставки ИАМ. А если этого нет, то ей хочется увидеть что-то такое... ну, мне трудно это определить... что-то такое, что ей близко, понимаешь?

— Так,— сказал Жерар, снова присаживаясь к столу.— И значит, в моих картинах она этого не увидела?

— Может быть, нет. Там у тебя пейзажи, потом несколько исторических — Хуана де Арко и другие,— но ведь это все не наше, Херардо... Французская природа, французская история...

— Ради всего святого, шери! Ради всего святого, подумай, что ты говоришь! Если мир дошел до того, что произведение искусства оценивается по мерке «наше» или «не наше»,— тогда его вообще пора на свалку!

— Мир?

— Искусство, черт побери! А может, и мир, ты права... Да будь я проклят, триста лет голландцы понимали Веласкеса, а испанцы — Рембрандта! Не подумай, что я себя сравниваю с ними,— я сейчас говорю о принципе, о...

— О чем, Херардо? — несмело спросила Беба, не дождавшись продолжения оборванной вдруг фразы.

Жерар помолчал еще, барабаня пальцами по столу.

— Да, все дело именно в этом, как ни верти,— проговорил он негромко, словно думая вслух.— Веласкеса понимают во всем мире — это верно. Но уже какой-нибудь Масо-и-Мартинес может представлять интерес лишь для испанца. Ты права, Элен,— чтобы претендовать на международное признание, мало быть хорошим живописцем... Нужно быть Мастером, понимаешь?..

Ночью, когда Беба уже спала, он вышел в ателье, включил трубки дневного света и стал возиться со своими составленными в углу картинами. Отобрав десяток лучших, он расставил их на полу вокруг всей комнаты, прислонив к стенке, и уселся посредине. Черт возьми, хоть бы кто-нибудь смог сказать ему, что, собственно, представляет собой его дарование и существует ли оно вообще!

За окнами, залитый огнями предпраздничной иллюминации, плыл в зимнюю ночь огромный чужой город. В этом городе его не поняли, как не понимали и дома, в Париже. Но почему, почему? Жерар шагал по комнате, не выпуская из зубов трубки; проходя мимо окон, рассеянно щурился на разноцветные отблески, потом снова усаживался посредине на низкий табурет и впивался глазами в расставленные вокруг полотна.

Давай разберемся по существу. Что требуется от хорошего пейзажа? Фотографическая точность? Нет. Зритель никогда не задумывается над вопросом, точно ли передает висящее перед ним полотно все детали того ландшафта, где оно было написано. Но оно должно передавать «дух места», должно заставлять зрителя почувствовать при взгляде на картину то же, что чувствовал когда-то художник, впервые увидевший этот ручей, это ущелье или эту рощу. Зритель должен сам проникнуться очарованием природы, услышать плеск воды и шелест запутавшегося в кустах ветра, ощутить на щеках палящий зной августовского полудня или холодные брызги прибоя. Ну хорошо, вот твои «Окрестности Шартра»: бездонное небо Иль-де-Франса, волны спелой пшеницы, тишина. И вдали, в зыбком мареве зноя,— как мираж, вставший из прошлого,— собор, каменный корабль, навеки бросивший здесь свои якоря. Ты увидел это много лет назад, но до сих пор помнишь, что́ ты тогда почувствовал, что заставило тебя схватиться за кисти. Не может быть, чтобы зритель при взгляде на этот холст не почувствовал того же самого! Не может этого быть, недаром же Элен, увидев картину в первый раз, изумленно и очарованно протянула: «Ой, как ти-и-хо!» Но в таком случае...

В таком случае очень может быть, что ты отлично умеешь говорить что-то сердцу зрителя, но говоришь не то, что следует. И что зрителю вовсе не интересно тебя слушать, как бы красноречиво ты ни говорил. Ты только что думал: «Публика меня не понимает», но какие, собствен-

но, у тебя основания так думать? Ты отнюдь не новатор и никогда не искал новых, непривычных форм самовыражения. Когда публика не поняла импрессионистов, это понятно: они просто были еще ей не по зубам. Прошло полвека, и парижских маршанов точно так же испугали «искаженные» пропорции Модильяни,— эталоном уже был Ренуар. Но ты-то сам, черт побери, ты никогда не рвался опередить свое время! Для тебя всегда было важнее, *что* выразить, нежели *как* выразить...

Пренебрежение формой? Вы только одно забыли, дорогой метр: это не каждый может себе позволить. Для этого действительно нужно быть великим. Есть какой-то уровень мастерства, очень точно определяющий возможность международного признания. Достигни этого уровня — и тебя поймут в любой точке земного шара, а коли не дотягиваешь — оставайся художником локального значения и не претендуй на то, чтобы тебя понимали и ценили у антиподов...

Элен говорит: «Публике нужно что-то, что ей близко». Черт побери, у этих баб и в самом деле какая-то интуиция, дьявольская способность угадывать главное — не умом даже, а вообще непонятно чем. Сразу ухватила, в чем суть. А суть в том, метр Бюиссонье, что вы просто не дотягиваете до уровня, выше которого исчезает это разделение на «наше» и «не наше». Когда Запад открыл для себя русскую икону — все просто ахнули. А кому известна русская живопись девятнадцатого века? Да никому, кроме немногих интеллектуалов! И ведь не потому, что она национальна,— Толстой и Чайковский тоже, надо полагать, национальны. Не говоря уж о Достоевском! Однако ими зачитываются, заслушиваются в Париже и Лондоне нисколько не меньше, чем в Москве... Значит, опять все дело в уровне — в том самом, что делает общечеловеческим любое национальное искусство...

Скрип двери заставил его вздрогнуть от неожиданности. В ателье, придерживая накинутый на плечи халатик, вошла Беба.

— Что ты здесь делаешь, Херардо? — спросила она сонным голосом, глядя на него в недоумении.

Жерар поднялся с табурета и сунул трубку в карман пижамы.

— Ничего... Так, сидел, думал. Ты чего встала?

— Проснулась, смотрю — а тебя нет. Боже, как ты накурил... Что с тобой, Херардо? — Она смотрела на него уже с тревогой.— О чем ты все думаешь? У тебя неприятности какие-нибудь?

— О нет, нет. Просто... — Жерар пожал плечами и повертел в воздухе пальцами, изобразив что-то неопределенное. — Ну, думаю о своей работе.

— О работе...— недоверчиво повторила Беба.— Ты о своей работе думал всегда, но сегодня у тебя какой-то странный вид. Почему ты не хочешь сказать мне, Херардо?

Жерар помолчал.

— Что я могу сказать,— отозвался он тихо.— Понимаешь, сегодня мне вдруг пришло в голову, что я все это время занимался не тем, чем нужно... Поэтому я тебя и спросил тогда за обедом, что ты думаешь о моих картинах...

— Они очень хороши, Херардо, слово чести! — горячо воскликнула Беба, подойдя ближе.— Ты, может быть, неправильно понял мои слова о том, что они могли показаться чуждыми нашей публике... Я просто не так выразилась. Но вообще это тоже может быть, серьезно! Почему бы тебе не попробовать написать что-нибудь аргентинское? Поехали бы с тобой в Барилоче, в Неукен — там очень красивые места — или на Огненную Землю, в проливы... Я видела снимки — такая красота! Знаешь, одни скалы, и все под снегом. Или поезжай один, Херардо. Может быть, тебе лучше будет работаться в одиночестве? Если бы ты выставил серию аргентинских мотивов...

— Это все не то, все не то...— Жерар снова опустился на табурет и сжал руками голову.— Ты понимаешь, я начинаю думать, что...

Он замолчал. Беба, стоя рядом, протянула руку и осторожно провела по его волосам.

— Что, Херардо? — спросила она тихо.

— Что ты была права, когда говорила о «нашем» и «не нашем». Видишь ли... Когда Ван-Гог писал свои провансальские пейзажи, он знал, что они заинтересуют не только жителей Арля. С одной стороны, ему было на это наплевать, но все-таки он знал, понимаешь? У него было сознание нужности того, что он делает, и поэтому он работал как одержимый — до солнечного удара. Вся беда в том, что я не Ван-Гог...

Помолчав еще, он поднялся и махнул рукой.

— Идем-ка лучше спать, шери. Все равно этот вопрос так просто не решишь... Да еще в три часа ночи,— усмехнулся он, глянув на часы.— Ты хочешь завтра идти смотреть парад? Вернее, сегодня утром.

— Я очень хотела бы,— нерешительно сказала Беба.— Но если тебе это кажется неинтересным...

— Ну почему же, парады вещь веселая. Пойдем непременно, как же...

С праздником в этом году повезло: день, не в пример вчерашнему, выдался солнечный и даже не очень холодный. Задолго до начала парада Беба и Жерар уже заняли места недалеко от официальной трибуны на авеню Либертадор. Было шумно, в празднично одетой толпе с непостижимой ловкостью сновали продавцы сластей и прохладительных напитков, балансируя над головой своими лотками; по свободному от людей пространству взад и вперед разъезжала конная полиция, безуспешно стараясь оттеснить зрителей к прочерченным на асфальте белым линиям.

В десять часов по толпе прошел сдержанный гул: на осененной гигантскими бело-голубыми полотнищами трибуне показалась группа военных и штатских. Его превосходительство президент Республики бригадный генерал дон Хуан Доминго Перон занял почетное место в окружении министров, высших партийных функционеров и генералитета. Жерар сообразил вдруг, что до сих пор видел его лишь на портретах. Попросив у Бебы предусмотрительно захваченный ею театральный бинокль, он стал с любопытством разглядывать живописную фигуру на трибуне — в высокой белой фуражке и с президентской перевязью через плечо — живого латиноамериканского диктатора, которые всегда представляются в Европе чем-то чертовски экзотическим, вроде индийских набобов. Трибуна была так недалеко, что с помощью бинокля он отлично видел не только ордена его превосходительства, но и припудренные сине-багровые пятна экземы на его красивом, но уже несколько обрюзгшем лице.

Над трубами военного оркестра позади трибуны сверкнула булава тамбурмажора. «Не забудь шляпу, Херардо»,— торопливо шепнула Беба, дернув его за рукав. Усиленная радиорупорами, зазвучала мелодия гимна. Стотысячная толпа, обнажив головы, запела торжественно и протяжно, как хорал: «Внимайте, сме-е-ертные, кли-и-ичу сво-бо-о-оды...»

Всех слов Жерар не знал, но старательно подпевал как мог. Беба пела чуть ли не со слезами на глазах. Жерар покосился на бело-голубую розетку у нее на груди и подумал вдруг, что в чем-то он свою жену совершенно не знает. Кто бы мог подумать, что легкомысленная Элен

может так переживать исполнение национального гимна... Или это просто привычка, воспоминание о школьных годах — о ежедневном подъеме флага и пении гимна перед уроками? Странная вещь этот патриотизм — никогда не знаешь, в ком и когда он вдруг проявится...

Парад продолжался долго. В дробном цокоте копыт прогарцевали на пляшущих конях эскадроны конно-гренадерского полка; по-прусски пропечатала шаг пехота; неся на плечах лыжи, прошли андийские горные стрелки в белых маскировочных комбинезонах; за ними проследовали летчики, матросы, юнкера и гардемарины военных и военно-морских колледжей и академий, морская пехота, разного рода вспомогательные службы. Вообще не любитель парадов, Жерар на этот раз с любопытством наблюдал пестрое воинство. Пехота, проходящая сейчас мимо него, лишь цветом сукна отличалась от той, которая на его же глазах вступала в опустевший Париж тринадцать лет назад, в июне сорокового года. Все было заимствовано у вермахта—те же каски, те же петлички на куртках того же покроя, те же плоские ножевые штыки и тот же парадный «гусиный шаг» с вытягиванием носка. Разница была лишь в цвете солдатских мундиров: аргентинские были не серо-зелеными, а серовато-коричневыми; все же остальное слишком наглядно напоминало о еще недавнем времени, когда высшие чины аргентинской армии заканчивали свое образование в берлинской академии генерального штаба. Более современные тенденции проявлял зато корпус морской пехоты, солдаты которого, обученные и одетые на американский манер — в хаки и круглых касках, шли небрежно, вразвалку, широко размахивая руками. Летчики, в серых тужурках без погон, с серебряными крылышками на груди и в щегольски примятых фуражках, почти не отличались от английских офицеров РАФ[1]; но самой живописной была форма конно-гренадерского полка, остающаяся без изменений вот уже больше ста лет. В память своего первого командира, генерала-освободителя Хосе де Сан-Мартина, конные гренадеры до сих пор носили лакированные ботфорты выше колен, лосины, синие колеты с красными обшлагами и белой перевязью крест-накрест, высокие кивера. «Единственное, чего здесь не хватает,— внутренне посмеиваясь, подумал Жерар,— это какого-нибудь отряда, одетого в кирасы и панталоны с буфами, со шпагами и аркебузами... Тогда этот парад можно было бы назвать: «Армия от Хуана де Гарая до Хуана Перона».

— Ты не устала?— спросил он у Бебы, когда отгремел последний оркестр и в конце авеню послышался приближающийся рокот моторов. — Сейчас уже ничего интересного не будет...

— Ну что ты! — возразила она.— А танки?

— О, про танки я и забыл,— посмеялся Жерар.

Пришлось остаться. Сдерживая зевоту, он смотрел на прохождение моторизованных частей и артиллерии. Здесь уже все было американское — от бронетранспортеров до джипов; правда, за джипами вдруг пробежало несколько батарей допотопных полевых пушек времен первой мировой войны: прислуга сидела в новеньких доджевских вездеходах, а орудия катились со звоном и лязгом, громыхая по асфальту высокими окованными колесами. Наконец, к радости Бебы, показались танки — высокие горбатые «шерманы».

— Скажи-ка, старые знакомцы,— удивился Жерар.

— Что ты говоришь? — крикнула Беба, не расслышав его слов из-за рева моторов.

— Я говорю — знакомые штуки! Я с такими имел дело во время войны!

---

[1] Royal Air Force — Королевские воздушные силы (*англ.*).

— А-а,— кивнула Беба.— Интересно, правда? А какой дым, смотри — все стало синим!

— Двигатели не в порядке, вот и дым... Видно, уже ни к черту не годятся,— проворчал Жерар.

Парад завершился демонстрацией воздушных сил. Толпа провожала взглядами последнее звено реактивных «глостеров», со свистом и ревом пронесшееся над авеню, и стала расходиться. Найти такси оказалось невозможно — Жерар с Бебой пешком добрались до Пласа Италиа, с боем пробились в метро и только к трем часам, усталые до полусмерти, вернулись домой.

— Ну, я сегодня никуда больше не иду,— заявила Беба, сидя на диване и растирая ступни ног.— Подумай, меня еще угораздило надеть новые туфли... Ой, я, наверно, и завтра не смогу ходить. Ты очень устал?

— Так себе,— отозвался Жерар.— В общем, я не жалею, что посмотрел.

— А как тебе понравилась наша армия?

— Больше всего мне понравилось то, что она явно не из тех армий, которые воюют.

— Она может воевать,— обиделась Беба.— Не думай, что мы такие уж беззащитные! Когда здесь высадились англичане и хотели захватить Буэнос-Айрес, их так расколошматили...

После обеда, когда Беба, свято соблюдающая сиесту[1] в любое время года, отправилась подремать, Жерар потихоньку оделся и вышел на улицу. Как всегда, когда ему нужно было решить какой-то вопрос, он не мог оставаться на месте — ему нужно было ходить, двигаться, находиться в толпе...

Самым неприятным было сейчас то, что сомнений относительно правильности избранного метода, которые еще не так давно его мучили, уже почти не было. Они уступили место чуть ли не уверенности в обратном, и в голове у него творился полный сумбур. Он не знал, связано ли это с тем, главным, или просто тут совпадение во времени. Так или иначе, именно сейчас переломилось что-то в его отношении к окружающей действительности, к Аргентине и, может быть, даже еще шире — к человеческому обществу...

Какими странными, извилистыми тропами следует подчас мысль! С чего все это началось? Что он увидел вчера в порту такого, что могло бы сбросить с рельс его прочные, давно выношенные взгляды? Ровно ничего особенного. Обычная суета у трапов готовящегося к отплытию «Дель Норте», плавные развороты стрел и крики стивидоров, пакгаузы, элеваторы, вереницы товарных вагонов на пристани. Была еще группа оборванных грузчиков, закусывающих бананами под навесом одного из пакгаузов; он обратил внимание на их живописно-бесформенные шляпы и обнаженные — несмотря на холод — руки и груди. Может быть, именно в тот момент пришла к нему мысль: а так ли уж нужна в этой стране твоя тончайше отработанная техника, твое влюбленное восприятие природы, твои экскурсы в историю, все твои «Полдни над Луарой» и «Отъезды из Вокулёра»? Ты хотел завоевать аргентинскую публику, но знаешь ли ты ее, знаешь ли ты Аргентину?

Что ты о ней знал, отплывая из Бордо? «О, это одна из тех экзотических республик по ту сторону Атлантики, где в январе с тебя пот льет ручьем, а революции бывают чаще, чем у нас скандалы в Национальном собрании. Говорят, женщины там — о-ля-ля!»

Ты ничего не знал об этой стране и не хотел знать — до сегодняшнего дня. Но опять-таки почему именно до сегодняшнего? Что такого

[1] Siesta — послеобеденный отдых (*исп.*).

случилось с тобой сегодня? Обычный парад, причем довольно забавный для человека, прошедшего мировую войну. Но там была еще эта группа на официальной трибуне — кучка людей в визитках и генеральских мундирах, было самозабвенное выражение на лице Бебы, певшей «Внимайте, смертные», и были старые «шерманы» с изношенными дымящими моторами, купленные за горы пшеницы и мороженого мяса... Пресвятая дева Мария, как говорит Беба, сколько еще своих проблем у этой страны!

Незаметно для себя Жерар очутился в сквере на площади Либертад. Почувствовав вдруг сильную усталость, он сел на низкую каменную скамью и закурил. Становилось холодно, жесткие листья пальм шелестели странным неживым шорохом, посреди квадратного бассейна зябко белела на своем камне обнаженная фигурка купальщицы. Ничем не огороженный бассейн был полон до краев, темная неподвижная вода казалась положенным на землю огромным зеркалом; мраморная девушка, подавшись вперед, смотрела в него, словно не в силах оторваться от своего отражения. Прошла шумная группа молодежи, и снова стало тихо и безлюдно, лишь за спиной глухо урчали и фыркали автомобили, проносившиеся мимо сквера по улице Либертад. Забыв о погасшей в его зубах трубке, Жерар сидел в понурой позе, бесцельно разглядывая свои руки.

Все-таки непонятно, какое отношение имеет все это к твоему искусству. Что нового ты для себя открыл? Ровно ничего. Казалось бы — ровно ничего. И все же...

Опустив голову, он принялся машинально считать разноцветные каменные плиты у себя под ногами. Хотя и неправильной формы, они были отлично пригнаны одна к другой. «Наверно, итальянская работа»,— подумал он равнодушно. Чертовски одаренный народ эти итальянцы — за что ни возьмутся...

— Хэлло, приятель,— окликнул его незнакомый голос, почему-то по-английски. Жерар поднял взгляд—в нескольких шагах стоял немолодой моряк торгового флота, круглая его багровая физиономия под лихо сдвинутой набекрень фуражкой сияла пьяным благодушием.— Ну как, проводили?

— Вы меня с кем-то спутали,— отозвался Жерар.

— Никогда ничего не путаю,— возразил моряк и, подойдя к скамье, сел рядом.— Вы вчера провожали «Дель Норте»?

— Ах вот что. Да, провожал. Вы тоже?

— Нет, но моя посудина стоит рядом. Может, обратили внимание — «Сантьяго»? Жуткая реликвия — спущена на воду еще при Колумбе, но пока держится на плаву. Я там вторым механиком. Позвольте представиться, сэр,— Свенсон, второй механик...

— Бюиссонье,— сказал Жерар, нехотя пожав протянутую лапу.

— Француз? Скажите на милость. Я как увидел вас на пирсе — сразу подумал: англичанин. Знаете почему? Трубка, светлые волосы.— Свенсон подмигнул.— Ничего не поделаешь — промахнулся. Бывает! Но что вы не из местных — тут я все-таки попал в точку. Давно в этих водах?

— Нет, недавно...

— А я уж скоро тридцать лет! Вшивая, знаете ли, страна. В высшей степени вшивая — это вам Свенсон говорит, не кто-нибудь. Уж он-то знает! Вы не писатель?

— Нет-нет.

— А жаль, черт побери! Про местных баб я вам такое могу рассказать...

— Спасибо. Я только не понимаю — какого черта вы тридцать лет торчите в этой вшивой стране?

— Сам не могу понять! — Свенсон выпучил глаза.— Прирос, видно. Как ракушка к днищу! Выпить не желаете? Я тут рядом квартирую — Талькауано, почти на углу Лавалье. Живет со мной еще один наш брат гринго, неплохой парень, но с ним не развлечешься. Замкнутый сукин сын, наподобие устрицы. Ну что, пошли? У меня есть настоящий «болс» — прихватил в Роттердаме.

— Спасибо, у меня свидание.

— А! Тогда прошу прощения...— Моряк встал, слегка пошатнувшись.— Отчаливаю! Только послушайте моего совета: худшей якорной стоянки, чем Аргентина, на свете не было, нет и никогда не будет. Что отсюда следует? Держите курс обратно на Европу, приятель, держите курс на Европу...

«Пьяный дурак»,— подумал Жерар, проводив Свенсона неприязненным взглядом. Вшивая страна, видите ли. Удивительно еще, что аргентинцы так охотно принимают к себе кого угодно... Приезжает такой вот кретин, торчит здесь всю жизнь и всю жизнь дерет нос: я, видите ли, европеец, не какой-нибудь там креол...

Да ты и сам, впрочем, многим ли лучше? Не случайно ведь, что до сих пор ни одного друга нет у тебя в этой стране. А ведь мог бы быть друг. Но ты друзей и не искал — в сущности, Аргентина и аргентинцы никогда тебя всерьез не интересовали. Они глубоко чужды тебе, а ты чужд им. Не поэтому ли публика остается безучастной к твоим картинам?

Он подошел к самому краю бассейна и посмотрел на мраморную девушку, разглядывающую свое отражение в темном зеркале воды. Вот она тоже совсем одинока. Вокруг нее ходят тысячи людей, а она одинока — всегда наедине со своим собственным отражением. А если в твоих картинах не было ничего, кроме отражения твоей собственной души? Так ли уж она интересна для других, эта твоя душа?..

3

Однажды, в начале августа, дон Эрменехильдо Ларральде, молодой врач-стажер из госпиталя Роусон, решил после дежурства побродить по городу и немного проветриться перед ужином. Позвонив соседу бакалейщику, он попросил его послать мальчика к донье Марии предупредить ее, что сын задержится на пару часов, и вышел из вестибюля госпиталя, подняв воротник легкого, не по сезону, пальто и плотнее нахлобучив шляпу. День был ясным, но холодным, дул пронизывающий южный ветер, в обрывках туч догорал ледяной закат. Хиль неторопливо шел по Сантьяго-дель-Эстеро, с удовольствием вдыхая бодрящий воздух. Профессор Кастро, лучший диагностик госпиталя и гроза всех стажеров, сегодня похвалил его за удачный диагноз, на котором до него срезалось трое коллег. Хиль шел и размышлял о своей профессии, и к законному чувству гордости, вызванному профессорской похвалой, примешивалась тревога. Он-то знал, что сегодняшний точный диагноз поставлен им не «научно», не на основе твердых знаний в симптоматологии, а скорее каким-то внезапным наитием. По сути дела, это была догадка — случайно она оказалась удачной. А могло получиться и наоборот.

Ну, хорошо, пока он еще может посоветоваться с опытным коллегой по любому затруднительному вопросу, но потом? Когда он начнет самостоятельную практику? Или если ему после стажировки придется подписать контракт с министерством здравоохранения и поехать куда-нибудь в провинцию, где он будет единственным врачом на несколько тысяч душ населения? Что тогда?

Зайдя в знакомый бар, Хиль выпил одну за другой две рюмки анисовой и быстро согрелся. В баре было шумно и накурено, в одном углу огромная автоматическая электровиктрола ревела старое танго, в другом несколько завсегдатаев играли в карты. По выражению их лиц можно было за полмили определить, что игра идет не впустую, хотя денег на столе не было.

— Азартные, дьяволы,— усмехнулся Хиль, расплачиваясь с барменом и кивнув в сторону играющих,— смотри, чтобы не вошел инспектор фиска. На прошлой неделе застукали такую компанию в одном баре.

— Ну и чем кончилось? — лениво полюбопытствовал тот, отсчитывая сдачу на мокром алюминиевом прилавке.

— Там сейчас на дверях такая симпатичная бумажка с печатью полиции.

— Надолго?

— На три месяца, «за поощрение азартных игр среди посетителей».

— Я никого не поощряю,— пожал плечами бармен.

— Ладно, оправдываться будешь в комиссарии. Мое дело предупредить. Всего наилучшего, ягненочек.

Хиль прикоснулся к шляпе и вышел из бара, закуривая на ходу. Солнце уже село, на город спускались голубоватые от бензинового угара зимние сумерки, кое-где вспыхнули неяркие еще разноцветные арабески вывесок и реклам. Хиль вскочил в переполненный автобус и через несколько остановок сошел на одном из шумных центральных перекрестков.

Включившись в неторопливый ритм общего движения, Хиль двигался вместе с толпой, рассеянно поглядывая то на витрины, то на лица встречных женщин. Перед витриной большого магазина медицинской аппаратуры он остановился и долго разглядывал разложенный по стеклянным стендам хирургический инструментарий, рентгеновское и лабораторное оборудование — все это соблазнительно красивое, слепящее глаза ледяным блеском никеля и белоснежной эмали. Цен, к сожалению, не было,— вместо них на видном месте красовался изящный, золотыми буквами, плакатик, извещающий господ медиков о том, что фирма предоставляет кредит на самых льготных условиях. «Знаем мы эти льготные условия,— подумал Хиль, со вздохом отходя от витрины,— это лет пять, если не больше, будешь работать только на оплату своего кабинета». А вообще-то, конечно, этого не миновать. Придется как-нибудь зайти полистать проспекты...

— Доктор Ларральде? — прервал его размышления женский голос.

Хиль поднял голову и остановился как вкопанный.

— Сеньорита Монтеро...— пробормотал он в замешательстве.

— Узнали? — засмеялась та, левой рукой прижав к себе сумочку и покупки и протягивая ему правую, затянутую в перчатку. — Ради всего святого, разгрузите меня хоть наполовину, я уже полчаса не могу остановить ни одного такси...

Она вручила ему несколько коробок разного размера, завернутых в цветную папиросную бумагу и перевязанных пестрыми целлофановыми ленточками. Хиль молча сунул их под мышку, не зная, стоит ли радоваться этой встрече. После того памятного вечера на третий день карнавала, когда он целый час напрасно прождал сеньориту Монтеро возле обелиска, он сначала возмутился, но потом обида прошла и он несколько раз звонил ей на дом — всегда безрезультатно. В конце концов ему сказали, что сеньорита часто теперь не ночует дома, и он оставил попытки связаться с нею; к тому же начались выпускные экзамены, а короткий роман с одной из медицинских сестер в Роусоне —

вскоре после начала стажировки — окончательно помог ему забыть о неудачном летнем знакомстве. И вдруг...

Впрочем, замешательство его длилось считанные секунды. Он посмотрел на сеньориту Монтеро и улыбнулся широкой восхищенной улыбкой.

— А вы еще больше похорошели,— сказал он.

— Серьезно? — опять засмеялась та.— Спасибо за комплимент, хочу верить в его искренность. Расскажите, как живете? Вы очень обиделись на меня в тот вечер? Впрочем, знаете что, зайдемте куда-нибудь выпить чаю, я сегодня с самого обеда бегаю по магазинам, устала и проголодалась.

— Я не совсем прилично выгляжу,— пробормотал Хиль нерешительным тоном,— видите ли, я сейчас прямо из госпиталя, с дежурства...

— Господи, я ведь не в Жокей-клуб вас приглашаю! Здесь за углом есть такой чайный салончик, там тепло и уютно. Идемте же, доктор, просто невежливо так долго раздумывать!

— Я не раздумываю, а подсчитываю мысленно свои ресурсы...

Сеньорита Монтеро испуганно округлила глаза.

— О-о, это серьезный вопрос! Ну и как, подсчитали? — Смеясь, она потянула его за рукав.— Пошли, пошли, в случае чего я вас выручу... Вы не думаете, что обстоятельства нашего знакомства освобождают нас от церемонности в отношении друг друга, а?

— Вот это верно. Ладно, идемте, насчет денег я пошутил. Сегодня нам выдали жалованье, так что я могу даже угостить вас не только чаем...

Похожий на английского мажордома гардеробщик принял шубку сеньориты и потрепанное пальто сеньора. Сеньорита осталась в темном, наглухо закрытом до подбородка, гладком шерстяном платье, с граненым крестиком матового золота на груди; сеньор поправил мятый воротничок и передвинул на место дешевый галстук искусственного шелка, явно купленный где-нибудь на распродаже. При этом он неприметным движением проверил, цел ли бумажник.

Зал встретил их полумраком и приглушенной, едва слышной музыкой. Посетителей почти не было, освещение ограничивалось неяркими настольными лампочками. «Местечко для тайных свиданий»,— подозрительно подумал Хиль, усадив свою спутницу и сам опускаясь в удобное кожаное кресло напротив.

— Чай для двоих, пожалуйста,— сказал он подошедшей кельнерше. Кельнерша была хорошенькая, в кокетливой кружевной наколке, и это почему-то еще больше укрепило его в мысли, что чайный салон — место подозрительное.— И чего-нибудь закусить, что там у вас есть... Вы ведь проголодались, сеньорита Монтеро? Может быть, рюмочку коньяку, чтобы согреться?

— Прошу прощения, алкогольных напитков у нас нет,— блеснула зубами кельнерша.

— Тогда тащите что есть,— нетерпеливо сказал Хиль. Уточнений относительно закуски он боялся, попросту не зная, что можно заказать в таком месте. Закажешь обычные честные сандвичи с сыром или колбасой — и окажешься в дураках...

К его облегчению, кельнерша исчезла без дальнейших расспросов.

— Итак, доктор? Сколько раз вы успели побывать с тех пор в Дэво́то? — спросила сеньорита, облокотившись на стол и глядя на собеседника поверх розового абажура. Теплое освещение снизу придало ее улыбающемуся лицу особую прелесть. Хиль ответил не сразу, глядя на нее и рассеянно нащупывая по карманам сигареты.

— Представьте, ни разу,— отозвался он наконец.— Теперь я врач, прошу со мной не шутить. Третий месяц на стажировке.

— Все там же, в Роусоне? Видите, какая у меня хорошая память!

— Да, все там же...— Хиль закурил и помахал в воздухе спичкой.— А насчет памяти... Вы тогда даже забыли о свидании, а я как дурак ждал вас целый вечер.

— Да, это верно,—с сокрушенным видом вздохнула Беба.—Но вы должны простить меня, доктор, я действительно была занята, правда. Вы очень на меня обиделись?

— Всякий бы обиделся на моем месте!

— Да, это верно... Но все равно, вы должны меня простить. Прощаете?

— Если будете хорошо себя вести.

— Ну, в пределах возможного я постараюсь вести себя хорошо. Кстати...

Она замолчала, потому что подошла кельнерша с подносом. Расставив на столике принесенное, та ушла, сунув чек под корзиночку с печеньем.

— Вам крепкий? — спросила сеньорита Монтеро, принимаясь хозяйничать.— С лимоном или со сливками?

— С лимоном. Ну а теперь вы должны рассказать о себе.

— Теперь мы должны пить чай, это главное. Пожалуйста, сеньор Ларральде... печенья?

— Не хочу, я не так давно закусывал в госпитале... Пить только хочется.

— Ну а я буду и пить и есть,— я проголодалась. Чай достаточно крепок?

— Спасибо, хорошо.

— Что нового в медицинском мире? Бациллу рака еще не нашли?

— Нет,— буркнул Хиль. Его начало раздражать поведение собеседницы, явно разыгрывающей перед ним светскую даму.

— Вот как? Это плохо, сеньор Ларральде, очень плохо... Неужели и вам не удастся поймать за хвост эту хитрую бациллу?

— Я не бактериолог и не собираюсь ее ловить,— огрызнулся он.— Я терапевт, просто лечу людей!

— Благородное призвание, сеньор Ларральде. Разрешите налить вам еще?

— Давайте...

— Вам три кусочка?

— Два. Слушайте, сеньорита Монтеро...

— Сеньор?

Хиль взял чашку и, поблагодарив молчаливым кивком, принялся яростно размешивать чай, расплескивая его на блюдце.

— Я слушаю, дон... дон Эрменехильдо? Кажется, так?

— Кажется. Нет, ничего... Я только хотел сказать...

Беба подперла кулачком щеку, всем своим видом изображая внимание.

— Впрочем, ничего,— сказал Хиль.— Ничего интересного я сказать не хотел.

— Доктор, я разочарована,— вздохнула она и взяла из корзиночки миндальную рогульку.— Вот это мы с вами съедим пополам.

— Я не люблю сладкого.

— А я люблю. Ну, съешьте за мое здоровье, ну пожалуйста!

Беба протянула ему кусочек рогульки, и он с мрачным видом отправил его в рот.

— Видите,— улыбнулась она,— я была уверена, что вы слишком

хорошо воспитаны, чтобы отказать даме в таком пустяке. Вы довольны жизнью, дон Эрменехильдо?

— Слушайте, сеньорита Монтеро, я вас не понимаю! Вы какая-то совсем не такая, какой были раньше... в тот раз, когда мы познакомились. Что с вами происходит?

Сеньорита Монтеро лукаво прищурилась.

— Вы должны уметь определить это сами, без наводящих вопросов, уважаемый доктор.

— Я спрашиваю серьезно, сеньорита. В вашей жизни произошла какая-то большая перемена... И если судить по поведению, то...

— К худшему?

Хиль не ответил, задумчиво глядя на нее через стол. Беба деланно рассмеялась.

— Санта Мария, вы смотрите на меня так, словно я уже на операционном столе! Что необыкновенного вы заметили в моем поведении?

— В вас появилось что-то наигранное,— медленно сказал Хиль, опустив глаза и разминая в пальцах сигарету.— Что-то граничащее с истерией... Нервы в порядке, сеньорита Монтеро?

— О, вполне.

— Ну, может, я и ошибаюсь,— сказал Хиль, желая прекратить этот разговор.

— Люди часто ошибаются,— примирительно кивнула Беба,— даже врачи. Но насчет перемены вы не ошиблись. Я ведь вышла замуж, доктор Ларральде.

Она достала из сумочки маленький плоский портсигар и закурила тонкую сигаретку. От внимания Хиля не ускользнули нервные движения ее губ и пальцев; хотя и огорошенный ее последними словами, он отметил это с профессиональной наблюдательностью. Так она замужем, вот что...

— Ну что ж, я... Мне очень приятно, сеньора э-э-э... донья Элена...— Он кашлянул и неловко поклонился.— Примите мои искренние поздравления.

— Спасибо, доктор,— тихо сказала Беба.

— Давно это случилось?

— Да... Почти полгода.

«Держу пари, здесь и зарыта собака,— подумал Хиль.— Счастливая женщина не станет говорить таким тоном о своем замужестве...»

— Черт возьми,— воскликнул он преувеличенно весело,— такая новость, а в этой дыре нечего выпить! Как же теперь звучит ваша фамилия?

— О, можете называть меня просто по имени,— улыбнулась Беба.

Сделав несколько быстрых затяжек, она поморщилась и бросила сигарету в пепельницу.

— Не хочется,— пробормотала она, перехватив внимательный взгляд Хиля.— Наверное, отсырели...

— Да,— кивнул он,— сегодня сыро. К вечеру, правда, прояснилось. Чем занимается ваш супруг, донья Элена?

— Он художник... француз, в Аргентине всего два года.

— Вот как... Жаль, я в этих делах не разбираюсь. И что же, он пользуется успехом?

Беба помолчала, пальцем гоняя по скатерти бумажный шарик.

— Нет,— качнула она головой, не глядя на Хиля.— Успехом он не пользуется... Хотя он очень талантливый художник. Это я говорю не потому, что он мой муж. И вообще...

Она не договорила и снова потянулась за портсигаром. Хиль чиркнул спичкой.

— Благодарю... последнее время с ним творится что-то странное... Начал писать одну картину, у него она все не получалась, а теперь говорит, что вообще потерял представление о том, как нужно работать, и что теперь ему неясен самый смысл... Ну, главная идея, что ли, вообще искусства...

В пепельнице валялись уже две почти целые сигареты со следами губной помады. Беба сидела выпрямившись, в напряженной позе, и смотрела куда-то мимо Хиля, накручивая на палец тонкую золотую цепочку креста.

— Оставьте, оборвете,— строго сказал Хиль. Она тотчас же послушно убрала руку.— Это, конечно, трудный вопрос... Я, к сожалению, в нем не разбираюсь. Но мне кажется... Разве можно быть художником, не зная этой главной идеи? А до сих пор — не мог же он не думать об этом раньше...

— Думал, надо полагать,— пожала плечами Беба. — Вы чудак, дон Хиль... Сегодня смотришь на это так, а завтра начинаешь видеть в другом свете... Мы с вами когда-то были уверены, что детей приносят аисты.

— Ну, положим, я таким дураком никогда не был,— проворчал Хиль.— М-да... В общем, это, пожалуй, тоже вопрос времени, а? По-моему, во всякой проблеме самое важное — это сосредоточиться, а там, если у тебя на плечах есть голова... Рано или поздно человек решает все проблемы, донья Элена.

Беба печально кивнула. Разговор как-то сразу застопорился, словно между ними поставили толстую стеклянную перегородку. Посидев еще несколько минут и обменявшись с Хилем ничего не значащими фразами о погоде и газетных новостях, Беба посмотрела на часики:

— Знаете, доктор, мне, пожалуй...

— Да,— подхватил Хиль,— идемте, мне тоже пора... Завтра у меня утреннее дежурство...

В гардеробной он торопливо напялил пальто и рывком нахлобучил на лоб шляпу, хмуро поглядывая, как человек в расшитой галунами ливрее подает шубку его спутнице. Когда та оделась, он сгреб под мышку ее пакеты и сунул гардеробщику пятерку на чай. Тот с поклонами проводил их до дверей.

На улице тем временем похолодало еще больше, усилился ветер. Прохожие бежали, пряча носы в поднятые воротники и шарфы.

— Брр,— поежилась Беба, зябко переступая своими легкими открытыми туфельками. — Холодно, как в России, я, наверно, не переживу эту зиму...

— Переживете,— бормотнул Хиль, стоя на краю тротуара и тщетно пытаясь высмотреть красный огонек такси. — Шубка у вас теплая, только на ноги нужно что-нибудь посолиднее. Приедете домой —выпейте рюмку коньяку и на всякий случай примите на ночь аспирин...

Он покосился на Бебу. В отсвете зеленого росчерка, горевшего над входом в чайный салон, ее лицо казалось неживым.

— Но вообще, признаться, выглядите вы скверно,— добавил он.— Знаете что, донья Элена... Вот мой телефон — не поленитесь позвонить мне в Роусон, если понадобится помощь.

— Доктор, вы меня просто пугаете,— деланно засмеялась Беба, беря карточку. — Неужели у меня такой уж скверный вид? Уверяю вас, физически я никогда не чувствовала себя лучше.

— Ладно, ладно... О вашем физическом здоровье я ничего не говорю... Нужно понимать. Это телефон регистратуры нашего отделения, там вам скажут, где и когда можно меня найти... Эй, такси!

— Наконец-то,— вздохнула Беба, когда черно-желтая машина сбавила ход, выруливая к тротуару.— Еще минута, и я превратилась бы

в пингвина. Ну, доктор, спасибо за компанию. Может быть, мы еще увидимся.

Она крепко пожала ему руку и забралась в машину. Хиль подал ей пакеты.

— Буду ждать вашего звонка, донья Элена,— поклонился он и захлопнул дверцу.

Она изнутри помахала ему рукой. Машина пыхнула облачком дыма, багрового от горящих стоп-сигналов, и бесшумно отчалила, тотчас же растворившись в потоке движения.

Хиль долго чиркал спичками, пытаясь прикурить на ледяном ветру, потом швырнул так и не затлевшую сигарету и медленно побрел по улице.

Магазины уже закрывались, продолжали торговать только гастрономические и книжные. Толпа стала реже. Несмотря на холод и усталость после дежурства, Хилю не хотелось возвращаться домой, хотя его ждал ужин и недочитанная статья в «Медицинской неделе». Он чувствовал себя выбитым из привычной колеи, по которой уже несколько месяцев шла его жизнь, наполненная теперь только работой. Встреча с доньей Эленой оставила в нем какое-то смутное беспокойство.

«Понятно, что за беспокойство,— усмехнулся про себя Хиль, пытаясь укрыться за старым студенческим цинизмом. — Физиология есть физиология, что там ни выдумывай. Живешь аскетом, а тут встретил красивую девчонку, с анатомией на высший балл и в хорошо пригнанном платье. Чего тут ломать голову, все просто, как апельсин...»

Но тут же он сам поморщился. Нет, физиология ни при чем. Вообще эта сторона жизни давно перестала быть для него проблемой; как и большинство коллег, Хиль решал ее по-деловому, без осложнений морального порядка. Мало ли в Роусоне покладистых сестричек!

Нет, дело, конечно, не в физиологии. Дело в этих удивительного цвета глазах, которые — как ни странно—ему так и не удалось полностью забыть за эти полгода. Каррамба, кто бы мог подумать!

Да, с ней что-то неладно. Фамилию мужа не назвала, кольца не носит. И вообще, художник... Хиль относился к людям искусства с твердым предубеждением. Все это были шарлатаны, предпочитающие честному труду паразитарное существование за счет окружающих. Стоит лишь почитать некоторые современные стихи, зайти на выставку живописи или скульптуры! И потом они еще недовольны, что их не носят на руках. На необитаемый бы остров их всех — пускай бы там восхищались друг другом...

Дойдя до большого книжного магазина, Хиль вспомнил о нужной ему книге, которую давно собирался поискать, и вошел в стеклянную дверь-вертушку. Несмотря на поздний час — только что пробило десять,—в магазине было полно покупателей и просто книголюбов, листающих недоступные по цене издания. Зайдя в медицинский отдел и узнав, что книги в продаже нет, Хиль потолкался возле стенда периодики, полистал последний номер лондонского «Ланцета», еще раз дав себе твердое обещание в ближайшее же время серьезно заняться английским, и отправился в отдел новинок беллетристики.

Фигура в белом халате, изображенная на глянцевой суперобложке, привлекла его внимание. Он взял книгу, чтобы ознакомиться с ней хотя бы по оглавлению, и в этот момент кто-то толкнул его в спину.

— Э, потише там,— проворчал он, не оборачиваясь,— не на стадион пришли...

— Прошу прощения,— отозвался робкий голосок,— меня на вас толкнули, извините, пожалуйста...

Услышав это, Хиль сразу оглянулся, чтобы принести встречные извинения. Уже отошедшая от него девушка в клетчатой юбке и канад-

ской курточке с капюшоном тоже оглянулась в этот самый момент, и Хиль во второй раз за сегодняшний вечер увидел перед собой знакомое лицо — нежный румянец и блестящие миндалевидные глаза «доньи инфанты».

— Положительно, сегодня день встреч старых друзей! — воскликнул он, бросив книгу.— Ваше королевское высочество меня помнит?

— Простите?..— пробормотала черноглазая инфанта и вдруг просияла в улыбке: — Дон Хиль?

— Зеленые Штаны, к вашим услугам. Наконец-то узнали, да? Стыдно, сеньорита, стыдно, я-то узнал вас сразу...

— По тому, как я вас толкнула, да? Еще раз извините,— засмеялась девушка.— Очень рада вас видеть, дон Хиль, серьезно. Пико говорил мне, что вы уже окончили? Ну, поздравляю! Значит, вы уже настоящий врач?

— Самый настоящий. А почему вы так поздно разгуливаете по городу? Разве детям не пора спать?

— Я была с подругой в кино, сейчас иду домой — только зашла посмотреть. Я живу недалеко отсюда — на Окампо, двадцать минут троллейбусом. Сегодня все равно никого нет дома,— Дора Беатрис засмеялась с хитрым видом.

— Ну, смотрите, чтобы вам не влетело завтра. А вы, кажется, в этом году тоже кончаете свой лицей?

Ее лицо сразу приняло огорченное выражение.

— К сожалению, нет,— вздохнула она.— Я осенью провалилась на переэкзаменовке по латыни...

— Второгодница? — злорадно спросил Хиль.

Беатрис печально кивнула.

— Первый раз в жизни, можете себе представить...

— Так вам и надо.

— За что, дон Хиль?

— Сами знаете за что. Дипломатические отношения с Соединенными Штатами еще не прерваны?

Беатрис покраснела до ушей.

— Перестаньте, иначе я уйду! Этот Пико, конечно, уже наболтал вам всяких глупостей...

— Пико? — удивился Хиль.— При чем тут Пико? Об этом говорит весь Буэнос-Айрес, и все желают вам счастья. И я в том числе, донья инфанта. Не верите?

— Вам нельзя верить, ни одному словечку,— обиженно сказала Беатрис.— Пожалуйста, перестаньте надо мной издеваться. И вообще пойдемте, потому что уже и в самом деле поздно.

— Идемте. Вы что-нибудь купили?

— Нет, а вы?

— Не на что, донья инфанта, в моих сокровищницах одна паутина!

— Вот и у меня такое же положение,— вздохнула она.— Печально, правда? Когда кругом столько красивых вещей — платья, книги, картины... Вы не умеете печатать фальшивые деньги, дон Хиль?

— Это Пико должен уметь, спросите у него, как это делается.

— Почему Пико? — засмеялась Беатрис.— Разве он фальшивомонетчик?

— Он юрист, это почти одно и то же. Юристы и политики — мошенники все до одного.

Задержавшись перед дверью-вертушкой, Беатрис накинула на голову подбитый мехом капюшон своей канадки и прошмыгнула наружу. За ней вышел Хиль.

— Это вы хорошо сказали,— одобрительно кивнула она, натягивая перчатки,— это как раз то, что я говорила вам тогда в клубе, помните?

А помните, как тогда было жарко? Вот бы сейчас хоть немного того тепла, брр... Проводите меня до Кальяо, дон Хиль, там я сяду на триста двенадцатый... Видите, наконец-то мы нашли хоть одну общую точку зрения,— весело сказала она, заглядывая ему в лицо блестящими глазами, в которых разноцветными искорками отражались рекламные огни.— О политике я просто не могу слышать, серьезно. Всюду одно и то же, одно и то же... В лицее нас заставляют зазубривать наизусть целые страницы из «Смысла моей жизни», куда ни зайдешь — всюду эти портреты... А у нас на улице поставили недавно громадный щит, в два этажа высоты, и там вот такими метровыми буквами: «Перон выполняет свой долг перед вами, а вы выполняете свой долг перед Пероном?» Представляете, дон Хиль? Всякий раз, когда я теперь выхожу из дому, меня спрашивают, выполняю ли я свой долг перед Пероном. Просто ужас. А вы знаете, дон Хиль?

— Что именно, донья инфанта?

— У нас скоро будет революция, вот увидите,— сказала Беатрис, таинственно понижая голос.

— Да ну? Откуда же у вас такие сведения? Уж не ездите ли вы в Монтевидео?

— Нет, я не езжу, у нас в классе у одной девочки старший брат гардемарин в Рио-Сантьяго, и он говорит, что на флоте сейчас такое брожение, что...

— Послушайте, за подобные разговоры на улице вас следует хорошенько отодрать за уши, ясно? А на месте этого гардемарина я устроил бы сестричке такую трепку, что она запомнила бы на всю жизнь.

— О,— Беатрис пожала плечами,— я ведь об этом никому не рассказываю, и она тоже... А вам хочется, чтобы была революция?

— Смотря какая, донья инфанта, смотря какая.

— Ой, а мне страшно хочется — неважно кто, лишь бы не диктатура! У нас в лицее один профессор говорит, что если Почо продержится у власти еще пару лет, то у нас будет не лучше, чем в Доминиканской Республике...

— Слушайте, хватит дурака валять, я сказал! Это не ваш номер?

Беатрис прищурилась на приближающийся троллейбус и мотнула головой:

— Нет, это триста семнадцать. Вон, за ним, кажется, мой. Ну, я рада была вас видеть, дон Хиль! Если заболею, приду к вам.

— Приходите, приходите,— кивнул Хиль,— уж тогда-то я сразу посчитаюсь с вами за все.

— Не стоит,— засмеялась Беатрис, подавая ему руку.— Вообще я не такая уж плохая, серьезно. Я иногда произвожу невыгодное впечатление... По крайней мере, так говорит мисс Пэйдж.

— Это кто? — поинтересовался Хиль, не выпуская ее руки из своей и чувствуя тепло сквозь тонкую кожу перчатки.

— Мисс Пэйдж? Она живет с нами — моя бывшая гувернантка, а теперь что-то вроде дуэньи. До свиданья, дон Хиль. Вы встречаетесь с Пико?

— Иногда,— кивнул он, подсаживая ее на подножку троллейбуса.

— Держите связь через него,— уже изнутри крикнула Беатрис,— может быть, устроим какое-нибудь sarao![1] До свиданья!

4

Да, теперь он ясно видел, что́ не давало ему работать этой осенью, что́ помешало закончить последнюю картину — тех самых обедающих

[1] Вечеринка (*исп.*).

пеонов. Сомнение в правильности избранного пути прокралось в его сердце гораздо раньше, чем он осознал это рассудком и сумел выразить в конкретных словах. Возможно, это сомнение тайно отравило его еще до того, как он встретил Брэдли, до их разговора и до сделки с Руффо; возможно, именно оно — еще таившееся в подсознании — и сделало возможной эту сделку.

Получи Жерар подобное предложение еще три года назад, во Франции, он или воспринял бы его как дурацкую шутку, или, поверив в серьезность предлагающего, попросту набил бы ему морду. Конечно, за эти три года возникло много новых обстоятельств: разлука с родиной, крушение надежд на признание заокеанской публики, наконец, нищета. Но все равно, все равно... Заблудившегося в пустыне отчаяние может толкнуть на самый дикий поступок, и такая отчаянная бравада, как согласие написать те картины для Руффо, возможно, и была, в конце концов, продиктована именно тем, что где-то в глубине души он уже чувствовал себя безнадежно заблудившимся.

Раньше он только чувствовал это или, еще точнее, предчувствовал; теперь убедился. Иногда это приходит как прозрение, как внезапная вспышка перед глазами: загорается свет, и человек вдруг видит новый путь, отличный от того, каким он шел до сих пор. Но в данном случае вспышка ничего не осветила, и это было хуже всего. Он понял лишь, что до сих пор в чем-то ошибался, но в чем именно и что ему следует делать теперь, ничего этого он не знал. Вспышка, пожалуй, скорее ослепила его, и он вообще перестал видеть что бы то ни было.

Никогда еще он не ощущал с такой остротой свое одиночество. Эту глухую стену не могла пробить даже любовь Бебы; Беба все равно не могла дать ему того, в чем он сейчас так нуждался,— ни трезвого совета дружеского ума, ни того интуитивного понимания с полуслова, которое обычно устанавливается между людьми, связанными общностью взглядов на окружающее. Их не связывало ничто, кроме любви с одной стороны и признательности с другой,— признательности, которой было очень далеко до живой любви.

Не прошло и месяца после отъезда Брэдли, как Жерару пришлось лишний раз убедиться в деловитости своих новых знакомцев. Однажды утром ему позвонили по телефону, и незнакомый голос с английским акцентом предложил «мистеру Бьюсонир» встретиться в полдень у входа в главное таможенное управление, где ему предстояло оформить бумаги на прибывший из Штатов «кар».

— Ничего не понимаю,— отозвался в трубку Жерар.— Кто это говорит? Какой «кар»?

— Тот, что вы мне заказывали, тысяча чертей,— невежливо заявил голос, перейдя на английский.— Мое имя Истмэн, Боб Истмэн из «Кэйзер Эрджентайна». Вы заказывали машину?

— А-а, да, верно! Верно, черт возьми... Хотите сказать, что мой заказ уже выполнен? — изумленно спросил Жерар.

— Машина здесь,— подтвердил Истмэн.— Приходите в полдень в таможню, там целая история с разрешением на выгрузку, вам придется подписать тысячу один формуляр...

На это ушла вся вторая половина дня, зато к вечеру Жерар оказался владельцем четырехдверного седана «кэйзер манхэттэн» за серийным номером 515 268. Ничего не сказав пока Бебе, он на следующий день договорился о получении машины из порта, потом отправился в полицию и сдал шоферский экзамен. Лишь четыре дня спустя, когда ему сообщили из агентства, что машина будет доставлена через час, Жерар рассказал жене о покупке.

— Иди ты,— сказала Беба.— Настоящую машину?

— Самую что ни на есть, через час ты ее увидишь. Не веришь?

Беба недоверчиво пожала плечами:

— Скорее — нет. А впрочем... И сколько же ты за нее заплатил?

— Пустяки, около тридцати тысяч, включая все побочные расходы...

— Тридцать тысяч,— Беба расхохоталась. — Воображаю это чудо, Херардо! Это что, не «форд-Т»?

— Ладно, ладно. Я вот посмеюсь, когда увижу твою рожицу через час. Впрочем, чтобы тебя не хватил удар, скажу заранее, что это шикарная американская машина, совершенно новая, вот такая низкая и длинная...

— И все это за тридцать тысяч? Низкая и длинная?

— Ладно,— повторил Жерар.— Хорошо смеется тот, кто смеется последним.

После обеда явился паренек в форменном комбинезоне.

— Сеньор Бусоньер? — спросил он.— Я от Марселли, пригнал вашу машину. Оставить пока на улице, или хотите прямо в гараж?

— Нет, оставьте пока так,— ответил Жерар,— насчет гаража я еще не договорился.

— Кто это был? — поинтересовалась Беба, когда Жерар вернулся в комнату.

— На, лови! — ответил тот, перебрасывая ей ключи. — Вот тебе твой «форд-Т». Пойдем посмотрим? Он внизу.

— Ох, прямо что-то не верится...— Беба недоверчиво посмотрела на ключи, потом на Жерара.— Ну пойдем, что ж...

Жерар не сразу узнал свой «манхэттэн» в шеренге стоящих у тротуара автомобилей. Вымытая и протертая до зеркального блеска, машина имела теперь такой вид, что он должен был сверить ее номер с полученным от паренька номерным свидетельством, прежде чем рискнул отпереть дверцу.

— Ну и как? — подмигнул он Бебе.— Нравится?

— Ты с ума сошел, Херардо... Сколько ты за нее отдал?

— Я же сказал — тридцать тысяч национальных. Ну, смелее! Забирайся внутрь, мы ее сейчас испытаем...

Беба нерешительно уселась в машину и провела рукой по упругой подушке сиденья.

— Ты просто сошел с ума,— повторила она убежденным тоном.

— Иногда, ты знаешь, мне и самому это кажется,— согласился Жерар, вставляя ключ в замок зажигания. — Поехали?

У Бебы заблестели глаза.

— Поехали,— кивнула она.— Только не очень быстро, Херардо, пока не освоишься!..

Он осторожно вывел непривычно длинную машину, стараясь не зацепить бамперами соседей, проехал два квартала и свернул вправо по улице Айакучо.

— Да, нужно куда-нибудь, где потише,— сказал он,— здесь я и в самом деле чувствую себя неуверенно... Все-таки тронутые они, эти американцы... Ну на кой черт делать машины такими длинными, не понимаю. А мотор, кажется, хороший — смотри, как тянет... Так тебя удивляет, что она мне обошлась так дешево?

Беба посмотрела на него с недоумением:

— Слушай, не станешь же ты меня уверять всерьез, что и в самом деле заплатил за нее тридцать тысяч песо!

— Именно тридцать тысяч, даю слово... Ты понимаешь, это получилось через приятелей Аллана... Один из них служит у Кэйзера, ну и... А Аллан устроил мне какое-то особое валютное разрешение — я даже сам толком не понимаю, что это за штука, но машину я купил из

расчета по восьми с чем-то песо за доллар. Причем по себестоимости, прямо с фабрики.

— Ах вот что...

Беба покосилась на него и замолчала.

— Ты опять недовольна, шери,—вздохнул Жерар, затормозив машину перед взмахом полицейских нарукавников.

— Мы с тобой уже об этом говорили, Херардо,— сухо отозвалась Беба.— Если тебе так нравится эта компания, делай что хочешь, но не требуй от меня, чтобы я этому радовалась. Ты что, слепой, что ли!— выкрикнула она вдруг, рывком оборачиваясь к нему.— Неужели ты не понимаешь, что они хотят тебя впутать?

— Во что? — спокойно спросил Жерар.

— Почем я знаю во что! Я только знаю, что никакой дурак не станет делать таких подарков просто так!

Жерар хотел что-то ответить, но сдержался. Полицейский на перекрестке повернулся и засвистел, вытянув левую руку и подгоняя рванувшиеся с места машины энергичными жестами правой. Жерар дернул рычаг и дал полный газ. Пролетев полквартала, он снова сбавил скорость.

— Ты говоришь глупости,—сказал он, не глядя на Бебу.— Никто не делал мне никаких подарков, эту машину я купил за свои деньги...

— За одну десятую настоящей цены, верно?

— А хотя бы и так! Наивно думать, что для этих людей — при таком размахе дел, какими они ворочают,—что для них имеет значение какая-то несчастная машина!

— Хорошо, Херардо, не будем об этом говорить. Посмотрим, кто окажется наивным в конечном счете.

— Вот именно!— крикнул Жерар.— С этого и надо было начать, а не делать дурацких многозначительных предостережений!

— Вернемся домой, прошу тебя,— сказала Беба дрогнувшим голосом.

— Как угодно!

На первом же перекрестке Жерар развернул машину так, что покрышки пронзительно взвизгнули и их едва не занесло на мокром асфальте.

В холле за своей конторкой разбирал почту дон Хесус. Беба коротко поздоровалась с ним и прошла к лифту.

— Мне нет? — машинально спросил Жерар, остановившись перед конторкой.

— Пока ничего,— ответил портье. — Похоже, что вы купили машину, дон Херардо?

— Да,— кивнул Жерар и добавил, словно оправдываясь:—Мы ведь перебираемся за город, дон Хесус, там это будет необходимо...

— Еще бы, еще бы... Хорошая машина, дон Херардо, можно вас поздравить. А я и не знал, что вы надумали переехать. Если не секрет — куда?

— Это там, по дороге на Лухан... Мы там сняли небольшую кинту. Очевидно, переберемся после первого. Впрочем, я, возможно, поживу еще в городе. Кстати, дон Хесус, как насчет гаража...

— Держите ее здесь же, в подвале,—сказал портье.— Там сейчас всего шесть машин, места сколько угодно. Если хотите, я сегодня же позвоню управляющему, что вы хотите поставить свою машину под дом,—за это придется платить отдельно, вы понимаете...

— Отлично, уладьте это с ним.

— Дон Херардо, можно вас спросить?..

— Да?

— Видите ли,—замялся портье,— тут дело такое... Ну, как бы это сказать — деликатное, что ли. Вам на кинте понадобятся люди?

— Какие люди? — Жерар поднял брови.

— Ну, вообще, кто-нибудь чтобы из мужчин, скажем, сторож или садовник...

— Что вы, дон Хесус! — засмеялся Жерар. — Вы думаете, что я снял целую эстансию? Там маленький шале в четыре комнатки и флигелек, в котором живет кухарка. Она и сторожит, и дом убирает, и даже занимается огородом. А в чем дело, вам нужно кого-то пристроить? Ну что ж... Если не у нас, то, может, я смог бы порекомендовать вашего знакомого кому-нибудь из своих...

— Нет, тут другое...—Портье помолчал, словно не решаясь говорить дальше.— Понимаете, дон Херардо, когда вы сказали о том, что сняли кинту, я действительно решил порекомендовать вам одного человека. У него трудное положение, а вас я хорошо знаю, и... Потом вы иностранец, это было бы проще. Видите ли, у него осложнения с полицией... Не уголовные, не подумайте чего-нибудь такого...

— Ах вот что... Это ваш родственник?

— Нет, нет, просто знакомый. Хороший знакомый, во время гражданской войны он очень помог моему брату...

— Испанец?

— Нет, чистокровный porteño[1]. Он был там в Интернациональной бригаде. Ему сейчас нужно прожить где-то несколько месяцев так, чтобы не попадаться на глаза.

— Почему вы решили обратиться именно ко мне?

— Ну... Я же вас немного знаю, дон Херардо,— сказал портье.— Я вот и подумал — если ваша кинта находится в глухом месте, то это здорово подошло бы ему. Тем более что у вас французский паспорт, значит, местная полиция не стала бы вам надоедать... Вы знаете, иностранцам здесь живется куда проще...

— Я понимаю,— кивнул Жерар.— Ну что ж, это другое дело. Пусть живет сколько хочет. Когда мы можем с ним встретиться? Все-таки, вы сами понимаете, я должен хотя бы увидеть его в лицо...

— Еще бы, дон Херардо, еще бы! — обрадованно заторопился портье.—Если вас не побеспокоит сегодня вечером, то я сейчас же позвоню и попрошу передать ему, чтобы он пришел. В каком часу вам угодно будет его принять?

— А в каком часу ему угодно будет прийти,— ответил Жерар.— Я целый вечер дома. Его зовут?

— Хуарес, Луис Хуарес.

— Пусть придет вечером, и мы обо всем договоримся.

— Спасибо вам, дон Херардо, большое спасибо...

Жерар подмигнул ему и вошел в лифт.

Беба лежала ничком на не убранной с утра постели, зарывшись лицом в подушку,— очевидно, плакала. Уже приготовившись рассказать новость, Жерар при виде ее вспомнил о ссоре и нахмурился. Походив по комнате, он присел на край кровати и тронул жену за плечо:

— Послушай, я... сожалею о своих словах. Серьезно, я не хотел тебя обидеть, шери.

Беба не отвечала. Жерар посидел еще, вздохнул и вышел из спальни.

Дон Луис пришел около десяти часов. Беба была в кино, Жерар сидел у себя в мастерской, в сотый раз разглядывая знакомые полотна и этюды. Занятый своими мыслями, он совсем забыл о разговоре с портье и вспомнил о нем, лишь открыв дверь и увидев на пороге незна-

[1] Уроженец Буэнос-Айреса.

комца лет пятидесяти, в грубошерстной «американке» и маленьком каталонском берете.

— Прошу вас,— сказал Жерар, пропуская посетителя в прихожую. — Если не ошибаюсь, сеньор Хуарес?

— Да, я Хуарес... Добрый вечер, простите за беспокойство.

— Какое там беспокойство. Проходите сюда, сеньор Хуарес, располагайтесь как дома. Одну минутку...

Усадив гостя, Жерар принес бутылку вина, стаканы и сел рядом.

— У нас во Франции не принято вести серьезные разговоры всухомятку,— сказал он.— Ваше здоровье!

Гость поблагодарил и отпил вина, вытерев рукой коротко подстриженные седеющие усы.

— Хесус передал мне свой разговор с вами,— сказал он, кашлянув. — Поэтому я и пришел, чтобы окончательно это выяснить, сеньор...

— Бюиссонье.

— Да, простите, Бюиссонье,—неожиданно правильно повторил Хуарес.— Вы сами понимаете, нечего и говорить о том, как я благодарен за вашу готовность помочь... Но прежде чем впутать вас в это дело, я должен сказать вам о риске, которому вы подвергаетесь.

— Никакому риску я не подвергаюсь, сеньор Хуарес. Дон Хесус совершенно правильно заметил, что мой паспорт служит мне—и вам — лучшей гарантией от полицейского любопытства.

— Конечно,— кивнул Хуарес,—посадить вас не могут. Но в случае чего вас могут выслать из страны, теперь с такими вещами не церемонятся.

— Ну что ж, вышлют так вышлют,— пожал плечами Жерар, подливая в стаканы.— Но будем надеяться, что этого не случится.

— Будем надеяться. Здоровье вашей сеньоры!

— Благодарю. Курите, сеньор Хуарес. К сожалению, не могу вас угостить: у меня трубка.

— Спасибо, у меня есть...

Дон Луис достал из нагрудного кармана пачку «Аванти».

— Не помешает? — улыбнулся он, показывая Жерару тонкую черную сигару, похожую на сухой корешок. — Запах у них, знаете ли...

— Знаю, сам когда-то курил. Крошил и курил в трубке, ничего страшного.

— Да, если привыкнуть, то ничего. Так вот, сеньор Бюиссонье...

— Прошу прощенья,— перебил его Жерар. — Вы что, говорите по-французски?

— Нет, не говорю, но когда-то объяснялся,— улыбнулся дон Луис.— Я прожил у вас около года... В концлагере под Тарбом.

— Понятно. Я вас перебил, вы что-то хотели сказать...

— Ну, я хотел договориться о наших, так сказать, «деловых отношениях». Прежде всего — надеюсь, это вас не обидит — нельзя ли сделать так, чтоб для вашей сеньоры я был просто нанятым садовником, ну или там сторожем?

— Да, так будет лучше,— кивнул Жерар.

— По-моему, да. Я, понятно, буду делать все, что потребуется, иначе это может выглядеть подозрительно. Денег никаких мне не нужно, кое-чем помогут друзья, да и вообще я привык обходиться немногим.

— Ну, знаете, это уже не по-деловому,— возразил Жерар, выколачивая трубку о край пепельницы.— Вы могли бы просто жить на кинте в качестве моего гостя, но если вы предпочитаете работать,— а я согласен, что это будет выглядеть более естественно,— то уж давайте догово-

рим ся так. Вы у меня работаете, я вам предоставляю жилье, стол и обычное жалованье садовника. Согласны?

— Придется согласиться, что ж с вами делать. Понятно, это меня устраивает больше, но... Вы говорили Хесусу, что не собираетесь никого нанимать, поэтому я и не хотел быть в тягость.

— Да нет, я по другим причинам не собирался этого делать. Когда вы хотели бы перебраться на кинту?

— Ну, это уж зависит от вас, патрон.

— Мы вообще договорились с владельцем на первое сентября, он должен там кое-что привести в порядок. Если можете подождать пару недель, переедем вместе. А если предпочитаете раньше, то я вас туда якобы пришлю для помощи, он будет только доволен...

Дон Луис задумчиво пожевал свою черную сигарку.

— Пожалуй... Так будет разумнее. Чем раньше, тем лучше. Владелец не слишком любопытен?

— А черт его знает, я встречался-то с ним всего два раза. В любом случае его там не будет... А на эти дни придумайте, что говорить, если станет расспрашивать. В общем, я с ним договорюсь, вы позвоните мне завтра к вечеру. Или зайдите, если будете поблизости.

— Я позвоню.

— Прекрасно. А сейчас давайте прикончим бутылку.— Жерару уже начинал нравиться этот спокойный, немногословный человек.— Если чилийское вино вам по вкусу.

— Да у меня, знаете, вкус не слишком избалован,— усмехнулся Хуарес.— А вообще чилийские вина хороши. Давно вы здесь?

— В Америке? Два года.

— А-а, новичок. Как говорится — «зеленый гринго», не в обиду вам будь сказано.— У глаз дона Луиса собрались морщинки.— А хорошо говорите по-кастильски. Долго учили?

— Вообще не учил. Так, просто на слух.

— Значит, у вас способности. Я тут знаю людей — по двадцать лет живут, а говорят хуже.

Его глаза встретились со взглядом Жерара, задержались на пару секунд и скользнули в сторону.

— Ваша работа? — спросил он, кивнув на висящую на стене акварель.

— Нет, я пишу маслом...

— Так, так... Кстати, сеньор Бюиссонье, вам даже неинтересно, что такого натворил человек, которого вы будете прятать?

Жерар, занятый чисткой мундштука трубки, поднял голову и удивленно глянул на Хуареса:

— Мне никогда не задавали таких вопросов самому, когда прятали во время войны, и я тоже не собираюсь их задавать... Это не мое дело, что вы там натворили. За вас просил дон Хесус — этого достаточно... А то, что вы не фашист, вытекает из вашего прошлого — Интербригада, тарбский лагерь и так далее. Я не профессиональный конспиратор, сеньор Хуарес, но и не такой дурак, чтобы не уметь вести себя в известных случаях.

— Да вы не обижайтесь,— добродушно сказал дон Луис.— А теперь кроме шуток, сеньор Бюиссонье. Ценю вашу скромность и все такое, но чтобы было спокойнее, я вам скажу вот что. Полиция меня не разыскивает, она даже не знает, что я в столице. Если узнает, то Огненная Земля мне обеспечена, и надолго. А мне нужно побыть здесь несколько ближайших месяцев... чтобы устроить кое-какие дела.

— Очень рад, если смогу оказаться полезен. Меня только удивляет одно...

— Да?

— Только не истолкуйте мой вопрос превратно. Неужели так трудно спрятаться в Байресе, что вы вынуждены прибегать к помощи незнакомого человека? Черт побери, я всегда считал, что в этом Вавилоне можно затеряться буквально как иголка в сене и ни один дьявол тебя не сыщет... Четырехмиллионный город — и никакой регистрации по месту жительства, никаких адресных столов...

Дон Луис улыбнулся:

— Просто вы не знаете, что такое наша федеральная полиция, сеньор Бюиссонье. Специалисты считают ее одной из лучших в мире. Да иначе и быть не может — к нам год за годом съезжалось жулье со всей Европы,— да мы бы здесь пропали без умелой полиции! Ну а вот мне приходится от нее прятаться. Нет, это не так просто, как вам кажется. Ясно,— он пожал плечами,— у меня есть друзья в городе. Но они все живут как под стеклышком, сами понимаете... Остановись я у любого из них, и завтра же это станет известно на улице Морено[1]. Мы большие друзья с братом дона Хесуса, вот он и сказал мне о вас... Это вы помогли тогда устроить девочку в санаторий?

— Я достал ему небольшое пособие... через фонд Эвы Перон.

— Ну, словом, он мне о вас наговорил много хорошего... Иначе я бы, понятно, поискал другой выход. Нет, в Буэнос-Айресе не так легко спрятаться...

Они сидели друг против друга, разделенные низким столиком, на котором стояло вино, пепельница и жестянка с табаком. Жерар обратил внимание на руки своего нового знакомца — небольшие, как обычно у аргентинцев, и сильно загорелые, они как-то особенно спокойно лежали на подлокотниках кресла, почти не шевелясь и лишь изредка подчеркивая ту или иную фразу сдержанными движениями пальцев. «Первый аргентинец, который скупится на жесты,— подумал Жерар.— Очевидно, привычка к профессиональной скрытности. Интересно, чем он вообще занимается, кроме заговоров...»

— Вам уже приходилось когда-нибудь быть садовником? — спросил он.— Не подумайте только, что я боюсь за свой сад...

— Я бы на вашем месте определенно боялся, но могу вас успокоить. Мне приходилось быть и садовником.

Жерар улыбнулся и покачал головой.

— А ведь любопытно, черт возьми! Я, пожалуй, впервые сижу вот так с настоящим, живым конспиратором-профессионалом. Во время войны конспирироваться приходилось нам всем, но то была любительская работа и к тому же временная. А у вас...

— А что у меня? — смешливо прищурился дои Луис.— Я ведь, карамба, тоже надеюсь, что это у меня временное занятие, ха-ха-ха!

Жерар тоже рассмеялся. Взяв бутылку, он посмотрел ее на свет и разлил вино по стаканам.

— Выпьем за то, чтобы ваша надежда сбылась как можно скорее, сеньор Хуарес.

— Хороший тост, сеньор Бюиссонье, спасибо.— Дон Луис выпил и разгладил усы.— Правда, мы занимаемся нашим делом в лучших условиях, нежели приходилось вам во время нацистской оккупации. Вы были в Сопротивлении?

— Да, не очень долго.

— Так вот, нам, конечно, легче. И потом у нас...— Правая рука дона Луиса, вернувшаяся на подлокотник, чуть приподнялась и шевельнула пальцами, словно что-то нащупывая.— У нас несколько иные задачи и иные методы. Кстати, вы не думайте, что те дела, ради которых я приехал в столицу, так уж романтичны. Обычная профсоюзная поли-

[1] На улице Морено помещается управление полиции.

тика, которую приходится прятать в подполье только в таких странах, как сегодняшняя Аргентина. Так что вашей кинте не грозит опасность превратиться в тайный склад оружия... И даже явок там не будет.

— Даже явок? — в тон собеседнику переспросил Жерар.— Ну, тогда я могу спать спокойно.

— Да, вполне, сеньор Бюиссонье, вполне спокойно можете спать. Одним словом,— сказал дон Луис, легонько хлопнув ладонью по подлокотнику,— вы оказываете мне помощь из сочувствия к подпольщику, так как знаете по себе, что это означает. Верно? Ну а если вдобавок к этому вы узнаете, что я еще и коммунист,— не передумаете?

— Да нет, почему же. Мне в маки приходилось встречаться с коммунистами, среди них были неплохие парни. Правда, мы часто спорили, но, в общем, уживались...

— Ну, с вами мы постараемся не спорить,— улыбнулся дон Луис.— Я не был уверен, стоит ли об этом говорить, но, пожалуй, так лучше. А? Нет, я ведь знаю, как некоторые люди относятся к коммунистам... С моей стороны было бы просто свинством скрыть от вас такую вещь.

Жерар пожал плечами. Открыв жестянку, он взял щепоть табака и рассеянно понюхал его.

— Могли и не говорить, но раз уж сказали — спасибо за доверие... Нет, я ничего не имею против коммунистов... Кроме, пожалуй, их нетерпимости к чужому мнению. С этим мне всегда было труднее всего мириться. Да я и не мирился...

— Значит, в отношении нетерпимости вы и сами были нетерпимы? — добродушно подмигнул дон Луис.— Вот видите, наверно, и они смотрели так же.

— И потом их отношение к искусству,— задумчиво продолжал Жерар, не расслышав последних слов собеседника.— Вы понимаете, больше всего мне приходилось спорить с ними именно об этом...

— Ну, мы с вами не будем,— повторил дон Луис. Откинувшись в своем кресле, он достал старомодные карманные часы и щелкнул крышкой.— Тут уж я просто побоялся бы, дон Херардо... спорить на такую тему, да еще со специалистом...

Щурясь, он махнул рукой и поднялся со стариковской неторопливостью. Встал и Жерар.

— Ну что ж, рад был познакомиться. Весьма вам признателен... Так я позвоню завтра? Дайте мне тогда ваш номерок...

— Сорок два, двадцать восемь, шестнадцать.

Дон Луис вытащил из кармана пухлую записную книжку и огрызок карандаша и стал записывать. В прихожей послышался шум открываемого замка, Жерар заметил, что карандаш на секунду замер и затем так же аккуратно продолжал выводить цифры.

— Моя сеньора.

— А-а... Восемь... шестнадцать. Ну вот. Когда прикажете позвонить?

— В любой час после восьми, дон Луис.

В комнату, поправляя примятые шляпкой волосы, вошла Беба.

— Добрый вечер,— сказала она, бросив слегка удивленный взгляд на незнакомого человека в рабочей одежде.

— Добрый вечер, сеньора,— поклонился тот.

— Шери, познакомься с сеньором Хуаресом, нашим садовником,— быстро сказал Жерар.

Тонкие брови Бебы выгнулись еще выше, но она ничего не сказала и подала садовнику руку:

— Очень приятно, сеньор Хуарес.

— Честь для меня, сеньора. Простите, я должен идти. Покойной ночи, сеньора, покойной ночи, сеньор Бюиссонье. Завтра около девяти я вам позвоню.

— Покойной ночи, сеньор Хуарес.

Дон Луис неуклюже поклонился и вышел.

Беба, стягивая с руки перчатку, удивленно смотрела на Жерара.

— Нет, я ничего не понимаю! — сказала она наконец.— Это серьезно?

— Вполне,— тот пожал плечами,— вполне серьезно. А что такого?

— Как что такого? Он еще спрашивает. Зачем тебе понадобился садовник?

— Вот понадобился. А что такого? Я решил заняться садоводством! Создам образцовый сад, может быть, выведу что-нибудь новенькое... — Не глядя на Бебу, он повертел в воздухе пальцами.— И для этого мне понадобится помощь знающего человека. А пока он поедет на кинту и подготовит все к нашему переезду. Все очень просто.

— Санта Мария,— вздохнула Беба,— через неделю тебе понадобится еще и ливрейный шофер. Может, выпишем из Англии мажордома, как ты думаешь? У тебя просто начинается мания величия, мой Херардо. Ты варил кофе?

— Нет, не варил. Ну его к черту, этот твой новый кофейник, не умею я с ним обращаться... В нем что-то щелкает.

— Эх ты, а еще собираешься заниматься садоводством,— с уничтожающим выражением и чисто женской логикой заявила Беба.

Утренняя ссора была забыта, сердиться дольше нескольких часов Беба не умела.

— Слушай, какое впечатление произвел на тебя этот Хуарес?

— Садовник? Я его не особенно рассмотрела, а вообще, кажется, ничего...

Беба подошла к стеллажу, взяла с тарелки банан и начала снимать с него ленточки кожуры.

— У него, наверно, была трудная жизнь, знаешь?

— Почему ты думаешь? — спросил Жерар.

— Потому. Интересные у него глаза...— Беба очистила банан, откусила верхушку и продолжала с набитым ртом: — Я таких глаз еще не видела, м-м-м... Они какие-то такие, знаешь... настороженные, будто он все время к чему-то прислушивается... или ждет чего-то. Ты не заметил?

— Не знаю. Да, пожалуй... Фильм был хороший?

— А я не была в кино,— мотнула головой Беба, доедая банан.— Я встретила Аделиту Гусман, ту, что ездила в турне вместе с Линдой, и мы с ней пошли в «Марокко» и просидели целый вечер. Представь себе, Линда так и не вернулась: ей предложили какой-то фантастический контракт в Рио, и она укатила туда. Уверяет, что писала мне несколько раз, а потом бросила, потому что не было ответа. Ясно, она писала на тот адрес!..

5

Они переселились в «Бельявисту» только в начале октября,— весна в этом году была поздняя, дожди шли весь сентябрь, и лишь в последних его числах установилась сухая, теплая погода. Большой запущенный сад кинты к этому времени был уже приведен в относительный порядок стараниями дона Луиса, который, к удивлению Жерара, и в самом деле оказался умелым садовником. В линялом комбинезоне и продавленной соломенной шляпе, с черными от земли руками, дон Луис

долго водил Жерара по усадьбе, называя его «патрон» и отнюдь не высказывая желания вернуться к откровенному разговору. Жерару втайне этого хотелось, но навязываться он не стал и вернулся в дом немного обиженным.

Кинта сейчас нравилась ему даже больше, чем при первом беглом осмотре. Небольшое ветхое строение в староиспанском «колониальном» стиле, с узорными решетками на окнах и неровными каменными полами, обещало прохладу в самую сильную жару и было, пожалуй, идеальным местом для работы. Небольшая терраса в стиле севильского патио, выложенная бело-синими изразцами, с крошечным фонтанчиком в стене и двумя большими — в пол человеческого роста — майоликовыми тинахами[1] у входа, могла служить отличным ателье, если затянуть ее белым парусиновым тентом. Комнаты были для этого немного темноваты из-за узких окон и густо разросшихся вокруг дома кустов бирючины. Мебель, кроме неплохого рояля в гостиной, была дешевая, в большинстве своем старая, источенная термитами, но после функциональных кресел в квартире Аллана Жерару было даже приятно посидеть на допотопном скрипучем сооружении с прямой спинкой, напоминающем ему детство и гостиную бабушкиного дома в Одьерне. Удачным оказалось и место: всего в трех километрах от оживленного шоссе Буэнос-Айрес — Лухан, «Бельявиста» казалась затерянной в глубине пампы. Других усадеб поблизости не было, по частной дороге, идущей от шоссе к воротам кинты, никто не ездил; если и мог долететь с ветром какой-нибудь звук, то все равно его заглушал никогда не умолкающий шум громадных эвкалиптов, окружавших стеной всю «Бельявисту». Этот шум, подобно гулу моря, не только не нарушал тишину, но, казалось, еще больше подчеркивал ее, делал ее еще более ощутимой. Да, на кинте можно было бы отлично работать. Можно было бы...

Уже на третий день Жерар понял, что должен вернуться в город. В его теперешнем состоянии, подобном состоянию человека, который мучительно пытается вспомнить выскочившую из головы важную мысль, нечего было и думать о том, что безмятежная жизнь на лоне природы вернет ему покой и уверенность в своих силах.

— Знаешь, шери,— сказал он в этот же вечер за ужином,— я вынужден тебя покинуть на какое-то время. Чувствую, что мне пока рано уезжать из города.

Беба положила вилку, несколько секунд посидела молча, словно обдумывая услышанное, потом долила из сифона свой стакан с вином и, не глядя на Жерара, пожала плечами.

— Тебе виднее, Херардо,— сказала она спокойно.

От этого тона у Жерара сразу пропал аппетит. Он отодвинул тарелку, покрутил ее на скатерти, переставил с места на место перечницу и солонку.

— Ты просто не хочешь меня понять, Элен...

— А что я должна понимать? Что тебе со мной скучно? Я уже это давно поняла. Что еще?

— Не нужно, Элен,— устало сказал он.— Не хватает только, чтобы ты начала подозревать меня в изменах...

— Я не говорила тебе этого.

— Мне сейчас и без того трудно, шери,— негромко продолжал Жерар, разминая кусочек хлебного мякиша своими длинными худыми пальцами.— Я совершенно перестал понимать что бы то ни было в живописи... Вообще, пожалуй, в искусстве. Если я сейчас в этом не разберусь до конца — я конченый человек, можешь ты это понять? А здесь... Здесь я мог бы спокойно писать, об этом я и мечтал, но теперь мне

---

[1] Tinaja — род большого кувшина или амфоры (*исп.*).

нужно сначала найти, что́ писать... А здесь я этого не найду. Мне нужно что-то другое сейчас, может быть, просто потолкаться побольше среди людей, не знаю...

На следующее утро они поехали в город. Беба сделала кое-какие покупки, в том числе великолепного десятимесячного дога мышастого цвета, по кличке Макбет. Садовник иногда уезжал в город, и оставаться двум женщинам одним в пустой усадьбе было страшновато; правда, Жерар с сомнением отнесся к сторожевым качествам громадного щенка, но Макбет так понравился Бебе с первого взгляда, что она и слышать не хотела ни о каких немецких овчарках. Они пообедали в маленькой закусочной на площади Примера Хунта. Макбет был оставлен в машине и очень волновался, показывая то в одном, то в другом окне свою громадную голову с настороженными обрезками ушей и по-человечески озабоченными глазами.

— Ну, я поеду,— вздохнула Беба, допив кофе.— Ты хоть звонить-то собираешься?

— Конечно, шери. Я буду не только звонить, но и приезжать в гости,— пошутил Жерар, прикрыв рукой ее пальцы.— А то вдруг возьму и через неделю-другую приеду совсем... Кто знает?

Вернувшись в опостылевшую квартиру Аллана, он походил по тихим комнатам, окинул враждебным взглядом сваленные в ателье холсты и завалился с трубкой на диван.

Вечером он снова отправился бродить по окраинам, что в последнее время привлекало его все больше и больше, хотя никаких конкретных целей он в этих прогулках перед собою не ставил. Просто ему нужно было находиться среди людей, и с некоторого времени ему стало интереснее быть в толпе именно здесь, на заводских окраинах столицы, чем в ее центральных кварталах — вылощенных и почти лишенных национального колорита.

Протискавшись к выходу из душного, битком набитого троллейбуса, Жерар выбрался наружу. В конце улицы, над плоскими крышами, над паутинным сплетением проводов и решетчатыми каркасами рекламных сооружений, гасло небо странного зеленовато-медного цвета. Посверкивая голубыми искрами, ушел троллейбус, разошлись вышедшие вместе с Жераром пассажиры, и он остался один на незнакомой улице незнакомого города, под дрожащими звездами весеннего вечера.

Он прошел квартал, другой, третий. Вокруг было безлюдно — в этот час мужья возвращались с работы, и женщинам некогда было болтать на улице с соседками или бегать по лавкам. Из раскрытых дверей доносились запахи стряпни — пахло горелым маслом, жареным мясом или рыбой, горьковатым дымком древесного угля; в этих кварталах многие готовили по старинке — на жаровне с углями.

Два мира, два совершенно разных города: этот — и тот, другой, расчерченный зеркальными авеню, мертвенно озаренный пляшущими вспышками неона, отравленный грохотом джаза и алкоголем. Впрочем, это ведь всюду и везде; ту же картину он видел и во Франции, там тоже существует не менее резкое разделение двух миров. И если этот факт реально существует, если им определяется большинство явлений в окружающей тебя жизни, то может ли проходить мимо него искусство — искусство, призванное отражать жизнь? И какую вообще жизнь призвано отражать искусство — жизнь чего? Жизнь природы? Жизнь человека? Или жизнь определенных идей, стоящих выше человека и руководящих его поступками? «Отъезд из Вокулёра» ты писал во время оккупации, и для тебя это была не пастушка Жаннет из Домреми, относительно которой до сих пор идут споры, была ли ее фамилия д'Арк, д'Акс или просто д'Э; это было воплощение идеи патриотизма, идеи борющейся Франции. Это было то, что позже стали назы-

вать «ангажированным» искусством. В те годы искусство и не могло быть другим. А сегодня?

Находившись до усталости и выйдя на более широкую торговую улицу, Жерар вошел в первую попавшуюся пивную. Обстановка была привычной — сизые пласты табачного дыма, опилки и шелуха арахиса на полу, засиженные мухами рекламы над стойкой, рядом с цветными портретами Гарделя и Легисамона. Подошедший мосо повозил по столику грязной тряпкой и вопросительно взглянул на посетителя. «Кофе-экспресс и двойную чизотти»,— сказал Жерар, осматриваясь вокруг. Посетителей было много, большинство в рабочей одежде. Очевидно, зашедшие сюда по дороге домой — промочить глотку перед ужином,— они молча потягивали свое пиво, машинальными жестами бросая под усы зернышки арахиса. Усталость не располагает к болтовне, и лишь немногие изредка обменивались отрывистыми фразами; правда, в одном углу компания молодежи шумно обсуждала результаты воскресного матча на стадионе «Рэйсинг».

Мосо принес рюмку и маленькую, такой же вместимости, чашечку черного кофе. Жерар медленно, не отрываясь, вытянул до дна отвратительную на вкус виноградную водку, перевел дыхание и запил глотком кофе. Да, вот она — жизнь этих людей, составляющих большинство населения страны. Каторжная работа изо дня в день, пивная по вечерам и футбол по воскресеньям. Так живет большинство в этом благословенном мире с бесшумными «кадиллаками» и скоростными лифтами. Так кому же нужно сейчас твое искусство — такое, как ты его до сих пор понимал? Ни тем, ни этим... Те уже пресыщены, тем нужен эпатаж, а этим — этим если и нужно какое-то искусство вообще, то это должно быть совершенно принципиально иное искусство...

Жерару вспомнились вдруг давние споры на эту тему — еще там, дома, во время войны. Он тогда считал — и рьяно доказывал,— что искусство не должно, не имеет права ограничивать себя узко понимаемыми социальными, утилитарными задачами, что его цели — цели искусства вообще — шире, свободнее, выше любых соображений сегодняшнего момента. Но странная ирония судьбы: лучшую свою вещь, «Отъезд», он написал именно тогда, когда чувствовал себя — да и был на самом деле! — полностью «ангажированным», когда никакой свободы не было и в помине. Разве не узкой, не утилитарной была тогда задача, стоявшая перед всеми французами,— задача раздолбать бошей? И разве не она подсказала ему тогда тему — напомнить Франции о ее славе?

Беба быстро подружилась с кухаркой, доньей Марией, веселой толстой чилийкой, и часто коротала время у нее на кухне, помогая чистить какую-нибудь зелень и слушая бесконечные рассказы о землетрясениях. Еще охотнее она возилась бы в саду, где было еще много работы, но садовника она почему-то побаивалась. Однажды она заметила на себе его внимательный взгляд из-под кустистых седеющих бровей и с тех пор никак не могла отделаться от ощущения, что дон Луис видит ее всю насквозь и ничего хорошего не находит.

Этот спокойный, молчаливый человек отпугивал ее своей сдержанной суровостью — или тем, что она принимала за суровость,— но в то же время ее и тянуло к нему. Может быть, потому, что дон Луис чем-то отдаленно походил на ее отца, которого она знала по единственной выцветшей фотографии, датированной 1933 годом — годом ее рождения. Беба часто следила за доном Луисом из окон, когда он возился с высаженными за террасой черенками роз, или стриг газоны маленькой ручной мотокосилкой, или отыскивал гнезда термитов, по-

сыпая их порошком инсектицида; ей всегда хотелось подойти к нему и заговорить, но она не решалась.

Распорядок жизни на кинте был деревенским. Утренний кофе Беба пила обычно у себя в спальне, часов в девять. Кухарка и дон Луис завтракали раньше. Обедали в двенадцать, все вместе, на кухне; первые дни Беба с Жераром ели в столовой, за огромным старым столом полированной каобы, но после его отъезда она махнула рукой на условности и перебралась в кухню, благо та содержалась доньей Марией в идеальной чистоте.

С часу до трех обитатели «Бельявисты» погружались в традиционную сиесту, в пять пили кофе или матэ, после чего Беба обычно сажала в машину Макбета и уезжала с ним на прогулку; к девяти все опять сходились на кухню к ужину. Потом дон Луис уходил к себе в служебный флигель, а Беба с помощью доньи Марии делала вечернюю уборку, и для нее наступало самое тоскливое время суток. Она либо устраивалась в шезлонге на террасе, глядя на догорающую за эвкалиптами зарю, либо, не включая света, бесцельно бродила по комнатам в сопровождении неотступно следовавшего за нею Макбета. Мышастый дог, со своими человеческими глазами и гладким, как у нечистого, хвостом, с первого дня появления на кинте прочно подружился со всеми ее обитателями, но явное предпочтение оказывал молодой хозяйке. Днем, отдавая дань возрасту, Макбет носился по саду и оглушительным басовитым лаем отвечал на выговоры дона Луиса, зато вечерами он вспоминал о приличествующем догам достоинстве и проводил время с хозяйкой, бродя за нею по пятам и то и дело стараясь заглянуть в лицо.

Макбету можно было рассказывать о своих делах, но ждать от него советов не приходилось, и вообще его общества было для Бебы явно недостаточно. Она ходила из комнаты в комнату, пробуя чем-нибудь заняться, и ничем не могла отвлечься от своих невеселых мыслей.

Слушать радио тоже не хотелось. Жерар звонил каждый день, иногда утром, иногда после обеда, спрашивал о самочувствии, о делах на кинте, о поведении Макбета, и каждый раз обещал скоро приехать. Все это он говорил своим обычным тоном — ласковым и предупредительным. И совершенно лишенным той самой теплоты, которой ей так недоставало в эти одинокие весенние вечера, наполненные тоской и неумолкающим шелестящим шепотом эвкалиптов.

В один из таких вечеров Беба вышла побродить по саду и возле служебного флигеля увидела садовника, который сидел у дверей на опрокинутом ящике, покуривая свою неизменную сигарку; именно этот красный огонек, то гаснущий, то разгорающийся, привлек ее внимание, заставив подойти поближе.

— Добрый вечер, дон Луис,— тихо сказала она и вдруг спросила, поборов всегдашнюю робость: — Можно мне посидеть здесь с вами?

— Добрый вечер, сеньора, сейчас вынесу стул,— ответил тот, не удивившись, будто ожидал этого визита.

Он затоптал окурок и поднялся.

— Спасибо, не нужно, дон Луис,— быстро сказала Беба,— тут есть еще один ящик, я сяду на него.

— Осторожно, там могут быть гвозди,— сказал садовник, садясь на место.

Беба провела ладонью по шероховатым доскам и тоже села. Пришедший с ней Макбет ткнулся носом в плечо Луиса, шумно фыркнул и свалился на землю, зазвенев кованым ошейником.

— Вы еще не идете спать, дон Луис?

— Посижу еще, очень уж вечер хороший.

Беба погладила Макбета по голове и откинулась назад, обхватив руками колени. В тишине тонко прозвенел комар.

— Скоро появятся москиты,— вздохнула Беба,— сейчас, наверно, еще рано... В ноябре их будет уже полно.

— Здесь не будет,— отозвался из темноты дон Луис. — Место здесь высокое и эвкалипты кругом. Москит этого дерева не любит, он его запаха не переносит.

— О, я и не знала...

Беба запрокинула голову и стала разглядывать звезды.

— Вы умеете определять созвездия, дон Луис?

— Нет, сеньора, по правде сказать, никогда этим не занимался.

— Вот и я тоже не умею. Я знаю только Южный Крест... И потом мне показывали еще одно — такое маленькое, кучкой, блестящее-блестящее... Забыла, как оно называется, сейчас я его почему-то не вижу... Дон Луис, а вы думаете, что летающие тарелки действительно прилетают с Марса?

— Сказки это, сеньора. Кто их видел, эти тарелки?

— Ну почему,— оживилась Беба,— в Соединенных Штатах часто их наблюдают, почти каждую неделю!

— Если сосать столько виски, как это делают янки, то и похуже вещи можно наблюдать. И морскую змею можно увидеть, не то что летающую тарелку. Верно, Макбет?

В ответ Макбет нервно зевнул и завозился в темноте, звеня ошейником.

— Сеньора, я когда договаривался с доном Херардо, то он сказал, что не станет возражать, если мне иногда придется съездить в город по своим делам в будни. С вашего позволения, я взял бы себе свободных полдня завтра, после обеда. Мне нужно встретиться с адвокатом, у меня там маленькая тяжба с моим прежним патроном... из-за невыплаченного увольнительного пособия.

— Пожалуйста, дон Луис. Постойте, а завтра какой день?

— Четверг, сеньора, пятнадцатое.

— Четверг! Тогда мы едем вместе, дон Луис, я совсем забыла о своем парикмахере. Позже он меня уже не примет, перед самым праздником. В котором часу вам нужно быть в городе?

— К двум, к трем, сеньора, это не так точно.

— Поедем сразу после обеда,— кивнула Беба.

На другой день они выехали из «Бельявисты» около двух часов. Беба довела машину только до Мерло, где испугалась встречных грузовиков и смочившего асфальт короткого дождя и передала управление дону Луису. В три они были уже в центре. Дон Луис помог Бебе поставить машину в подземный паркинг на авеню Карлос Пеллегрини и отправился по своим делам. Беба позвонила Жерару, но его, по-видимому, не было дома, так как на звонки никто не ответил; позвонила в парикмахерский салон, чтобы договориться о часе приема, но и тут ее ждала неудача — ей ответили, что мсье Антуан чрезвычайно сожалеет, но никак не может принять мадам ни сегодня, ни вообще на этой неделе, поскольку мадам не договорилась заранее; если мадам угодно записаться на любой день после семнадцатого, то...

Беба не дослушала, с размаху нацепила трубку на рычаг и вышла из кабины надувшись. «А в общем, я сама виновата,— сказала она себе через минуту,— какая же дура не знает, что перед праздниками нужно записываться за две недели... Да и потом, если уж прямо говорить, какой это праздник!» Подумаешь — 17 Октября! Не такая уж она пламенная перонистка, чтобы всерьез готовиться к партийному празднику...

Привычная городская суета вернула ей хорошее настроение. Пожалуй, это даже и лучше, что так получилось,— по крайней мере, некуда

спешить. Погода стояла отличная, свежий pampero[1] умерял жару, на теневой стороне улицы было даже прохладно; Беба чувствовала на себе взгляды мужчин, чувствовала, как ловко сидит на ней новый светло-серый тальер и как он ей к лицу с этим букетиком фиалок на лацкане — под цвет ее глаз.

Беба прошлась по Лавалье, «улице кино», изучила анонсы, купила у разносчика пакетик засахаренных орешков — простонародное лакомство, которое всегда казалось ей самым вкусным в мире. Будь это прилично, она принялась бы грызть их прямо на улице, на виду у всех. Впрочем, стоя перед витриной ювелиров братьев Пальмьери, она все же не утерпела, полезла в сумочку и выковырнула из целлофанового мешочка один орешек. Жуя его, она делала вид, будто во рту у нее просто резинка. Правда, при этом пострадала белая нейлоновая перчатка, пальцы которой испачкались липким коричневым сиропом; Беба подумала, махнула рукой на приличия и спрятала перчатки в сумочку. После этого она почувствовала себя еще лучше.

Почти час заняла прогулка по Флориде — не столько прогулка, сколько стояние перед витринами. Разглядывая разложенные за зеркальным стеклом соблазны, Беба испытала странное чувство. Было время, когда для нее покупка на Флориде даже полдюжины платочков была волнующим событием; теперь ей стало доступно очень многое из того, что она видела, во всяком случае, зайти в магазин и оставить там пятьсот или даже тысячу песо она вполне могла себе позволить. А желания сделать это почти не было. Собственно говоря, соблазны перестали быть соблазнами. Ну хорошо, лишняя пара туфелек, лишний гарнитур, лишняя пара клипсов. И что?

Дойдя до Авенида-де-Майо, Беба свернула по направлению к Конгрессу. На протяжении первого же квартала ей пришлось услышать не менее дюжины комплиментов; впрочем, не обязательно нужно было быть красавицей, чтобы получить их на этой улице — самой испанской во всем Буэнос-Айресе. Даже чумазый мальчишка-чистильщик и тот во всеуслышание сравнил ее с цветком, едва начавшим раскрываться, и выразил желание превратиться в колибри, чтобы помочь этому процессу. Потом с Бебой поравнялся пожилой кабальеро — элегантный, надушенный, с белой гвоздикой в петлице. Пройдя рядом несколько шагов, кабальеро искоса бросил на нее томный взгляд и прикоснулся к своей шляпе, одетой под тем точно рассчитанным углом, который отличает джентльмена от прощелыги.

— Блаженны глаза, созерцающие красоту! — воскликнул он. — Где я мог быть в тот момент, когда спустился с небес этот огненнокудрый ангел?

— Очевидно, в аду, мой сеньор,— отозвалась Беба, не удостоив его взглядом,— присматривали себе местечко...

Сказала это она совсем негромко, но человек с пачкой растрепанных книг под мышкой, только что обогнавший ее и элегантного кабальеро, очевидно, услышал ее голос и резко обернулся.

— Донья Элена! — воскликнул он, остановившись как вкопанный посреди тротуара. — Опять мы с вами встречаемся, что за черт!

— О-о, дон Хиль,— обрадованно сказала Беба,— добрый день, как поживаете? Действительно, нам везет на встречи! Откуда вы и куда?

— Я был там, за Кабильдо... у букинистов,— ответил дон Хиль, почему-то смущаясь. — Купил вот, видите. Нет, ничего интересного — одна медицина... Ну а вы, донья Элена?

Держа в охапке свои книги, он задал этот вопрос и вперил в Бебу такие глаза, что та опустила свои.

---

[1] Южный ветер.

— Спасибо, дон Хиль, ничего... Смотрите, ваши книги сейчас рассыпятся — у вас нечем связать?

— Нет, разве что поясом — так штаны упадут, я без подтяжек, Донья Элена...

— Да?.. О, знаете, я придумала — сейчас зайдем в магазин и попросим веревочку! Идея?

— Гениальная, еще бы. Знаете, донья Элена...

— Ну, идемте. Я вас слушаю, дон Хиль. Да, а как ваши больные в Роусоне?

— Да как всегда — одни поправляются, другие наоборот. Донья Элена, я много думал о вас все эти два месяца...

— Правда? Я очень рада, дон Хиль.

— Радоваться тут нечему,— нахмурился Хиль. — Я и сам не радуюсь, вообще не хотел бы этого...

— Чего, дон Хиль? Я тоже часто думаю о своих знакомых — то одно, то другое... Или вы думали обо мне плохое?

— Да нет, как сказать... Разваливаются и в самом деле, будь они прокляты,— выругался Хиль, подхватывая на лету книгу.

— Дайте несколько штук мне, я понесу, пока найдем веревочку. Так какие у вас были мысли в отношении меня, сознавайтесь, дон Хиль? Плохие или хорошие?

Хиль отдал ей две толстые книги и с минуту шел молча. «Какой-то он сегодня странный,— подумала Беба, искоса поглядывая на него,— с чего бы это?»

— Я даже не знаю, как их назвать,— ответил наконец Хиль. — Понимаете, донья Элена, если бы вы оставались сеньоритой Монтеро, то эти мысли были бы хорошими, ничего такого в них бы не было. Но когда они появляются в отношении замужней женщины...

— ...Постой, ты лучше не кричи и не бесись,— устало сказал Жерар. — На нас уже оборачиваются...

Он допил свой вермут и потянулся к блюдцу с соленым миндалем. Ему уже становился противен и горьковато-приторный вкус «чинзано», и этот никчемный спор, продолжающийся уже второй час, и — главное — сам его собутыльник и оппонент, сюрреалист Туха.

— Пусть оборачиваются, мне-то что,— сказал сюрреалист. — Я тебя не в тайный бардак зазываю, а веду серьезный разговор о проблемах искусства. Что ты хотел сказать?

Жерар задумчиво грыз миндаль, глядя в открытое окно бара через улицу — на оплетенную лесами громаду строящегося муниципального театра.

— Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что это и есть самый настоящий бардак... И не тайный, а явный, всем напоказ.

— Слушай, Бюиссонье, я тебя все-таки отказываюсь понимать. Что ты предлагаешь? Ладно, давай говорить спокойно. Тебе не нравится наш Сальвадор?..

— Нет, хотя некоторые вещи ему безусловно удаются. Например, «Искушение святого Антония»— кстати, я его видел в подлиннике. Так что сам Дали — это еще так-сяк... А вот вся ваша остальная банда...

— Ладно, скажем, тебе не нравится «вся наша банда». Что же ты предлагаешь? Вернуться к академизму? Ты вот упомянул об импрессионистах — а они не были авангардом? Они не отстаивали новые формы живописи, которые казались ересью старым сифилитикам из академии? Почему же Ван-Гог велик, почему Ренуар велик, почему самый поганый этюдик Сислея стоит сегодня целое состояние, а те, кто продолжает поиски нового, ничего, по-твоему, не стоят?

Туха начал дрожать от ярости.

— Хорошо, допустим,— продолжал он, наклоняясь к Жерару через столик,— допустим, нам далеко до Манэ или Дега. Но ты не то хочешь сказать! Вовсе не то! Ты не говоришь: «Вы плохо делаете свое дело», ты говоришь: «Вы вообще занимаетесь не тем, чем надо!» Как же это так, Бюиссонье? Где же тут твоя хваленая логика? Импрессионисты были правы в своих поисках, а мы искать не имеем права! Или ты только за своими французами признаешь право идти в авангарде?

— Туха, ты дурак,— спокойно сказал Жерар.

— Или, по-твоему, в искусстве вообще не нужен больше прогресс? Дошли до какой-то черты — и баста! Что же мы теперь должны делать — копировать стариков, что ли?

— Если бы я знал, что мы теперь должны делать...—медленно сказал Жерар. Усмехнувшись, он покрутил головой и, навалившись на стол, бросил в рот зернышко миндаля. «Этот жест я где-то заимствовал»,— тотчас же промелькнула мысль. Где? Ну конечно, в южных предместьях. В пивных Авельянеды, среди рабочих Тамета и Сиам-ди-Телла. Он покосился на фасад стройки напротив, по которому ползла вверх бесконечная цепь подъемника с подвешенными ковшами бетона.

— Если бы я знал,— повторил он усталым голосом.— К сожалению, я этого не знаю. Я знаю только, что мы с тобой просто паразиты. Любой пеон вон там,— он кивнул в направлении окна,— который подвозит песок к бетономешалке, что-то делает... что-то полезное, что-то такое, что останется для потомков. А мы...

— Дерьмо!— крикнул Туха.— Катись ты со своей полезностью знаешь куда! Старые разговорчики, Бюиссонье, сейчас этим уже никого не купишь. И не распинайся за всех! Ты можешь считать себя паразитом — твое дело, а мы будем вести искусство вперед. Как говорится, каждому свое!

— Вести искусство вперед? — задумчиво переспросил Жерар.— Что ж... На гребне сейчас вы, этого у вас не отнимешь. И я боюсь, Туха, что добром это не кончится. Ты бы лучше не вспоминал импрессионистов, если уж не способен увидеть разницу между ними и теперешним «авангардом». Ты даже не соображаешь того, что импрессионисты вели искусство от условности к жизни, а вы тащите его от жизни к условности. Да даже и не к условности... Какая там у вас к черту условность. Так, сумасшедший дом какой-то.

— Серьезно?

— К сожалению, Туха. И вот что я тебе скажу... Знаешь, ошибаться могут все... Я, например, вижу теперь, что и сам в чем-то ошибался, что-то проглядел, коль скоро публике на меня плевать. Ошибки, повторяю, бывают у всякого. А вот ты, Туха, ты и все ваши —вы просто самые настоящие преступники...

— Ага, даже так...

— Даже так. Вы ведете искусство по очень скверному пути, делаете его инструментом разложения... И ни к чему хорошему не придете, помяни мое слово. Кончиться это может очень скверно.

— Например?

— Я не пророк, Туха, и не собираюсь ничего предсказывать. Я знаю только одно: провозгласить смыслом искусства, его основной задачей отражение «сверхреальности» человеческого подсознания — это значит убить искусство. Или сделать его орудием убийства. Морального убийства, что, на мой взгляд, гораздо хуже физического. Весь этот ваш бред, замешанный на эротике...

Он поморщился и угрюмо замолчал.

— Ах ты мой чистый голубок,— сказал Туха,— эротика тебя шокирует?

— Нет, просто я не вижу, при чем тут искусство.

— Тем хуже для тебя! Тогда ты вообще не художник, а старая дура из Армии спасения. Эротические мотивы присутствуют в сюрреалистической живописи просто потому, что в подсознании половая сфера...

— Да знаю я,— отмахнулся Жерар,— что ты мне лекции читаешь. Читал я и Фрейда, и Юнга, и всех ваших апостолов. Но при чем тут искусство?— Он пожал плечами и потянулся за миндалем.

— Значит, ты собираешься воспитывать человечество,— ехидно сказал Туха.— Ну что ж, желаю успеха. А нам на это плевать! Мы исходим из основной предпосылки: человек никакому воспитанию не поддается, доминируют в нем животные инстинкты, и нет силы, которая смогла бы это изменить. Религия, социальные эксперименты — все это игрушки для дураков. Поэтому мы и отражаем внутренний мир человека таким, как он есть, без стыдливых недомолвок. А на твою «воспитательную функцию» мне плевать, я не учитель из приходской школы. Вот так.

— Понятно, понятно, можешь не продолжать...

Жерар закурил и с минуту молчал, следя за уплывающими в окно струями дыма.

— Все это мне давно известно,— сказал он наконец.— В том и беда, Туха, что искусство по-прежнему оказывает на людей большое влияние... И я просто боюсь думать о том, какие результаты может дать ваше. У меня сейчас одно утешение — что я, очевидно, сдохну раньше, чем смогу увидеть плоды вашей деятельности во всей их красе...

Он поднялся и подозвал мосо, чтобы расплатиться.

— Уходишь? — спросил Туха.

— Да, мне пора. И вот что я тебе скажу: оставляя в стороне личность, вы все — сволочи. Во что вы хотите превратить мир? Мало вам еще нацистских лагерей, мало вам Хиросимы?

Он сунул в карман трубку и, не попрощавшись, пошел к выходу.

Не нужно было вообще говорить с Тухой на эту тему, а уж спорить и подавно! У каждого свой вкус. Но почему этот болван решил, что он — Бюиссонье — вообще отрицает все авангардистские течения? Что за бред, черт побери. Как будто Пикассо не авангард, как будто не был авангардистом Ван-Гог, как будто Микеланджело не поносили за неканоничность «Давида»... Истинное искусство всегда творится авангардом — но опять-таки истинным, а не псевдо! Если Сезанн умышленно ломал перспективу, то это не значит, что сегодня любой неуч может объявлять свою мазню «новым словом» — у меня, дескать, тоже все вкривь и вкось...

В этом все и дело — слишком многие примазываются сегодня к авангарду. А поиск в искусстве должен быть настоящим поиском. В конце концов, тот же абстрактивизм сам по себе не обязательно плох... Ты можешь его не понимать, можешь пожимать плечами, но факт остается фактом — иногда известное сочетание фигур и красок, каким бы беспредметным оно ни казалось на первый взгляд, может отлично передать состояние человека, его восприятие окружающего, может затронуть очень глубокие струны в душе зрителя. Здесь живопись начинает уже действовать подобно музыке, вторгаясь непосредственно в область подсознательных эмоций и не вызывая зачастую никаких предметных представлений. Ты сам никогда не станешь писать в этой манере, но если у других это получается — и получается талантливо,— то почему бы и нет? Если уж отрицать эту форму искусства, то тогда нужно отрицать и многие виды музыки. Но сюрреализм, эта вывернутая напоказ душевная патология...

Хриплый рев музыки оглушил Жерара, он досадливо поморщился и оглянулся. Вынырнувший из-за угла автофургон с громкоговорителем на крыше медленно продвигался в потоке других машин, оглашая улицу бравурными звуками партийного гимна «Ребята-перонисты». Потом музыка оборвалась, и громкоговоритель заорал сорванным голосом:

— Граждане, друзья descamizados[1], послезавтра — в День Верности — все на Пласа-де-Майо, на встречу с лидером! Генерал Перон выполняет свой долг перед вами — выполните ваш долг перед Пероном! Перон выполняет! Да здравствует Семнадцатое октября — День Верности, день единства народа и его лидера! Перонистская партия, единственная подлинно народная партия Аргентины, призывает всех честных граждан Республики еще теснее сплотиться вокруг Генеральной конфедерации труда и генерала Перона! Перон выполняет! Да здравствует Перон!

— Ола, Бюиссонье!

Кто-то с размаху хлопнул его по плечу. Жерар обернулся.

— А, еще один коллега. Салюд, Маранья. Как живешь?

— Ничего, старик. Почему — еще один? Ты кого-нибудь видел?

Снова загремел марш. Мужественный голос запел: «Мы ребята-перонисты, нас Перон ведет к победе, если нужно — жизнь свою мы за Перона отдадим...»

— Узнаешь голосок? — подмигнул Маранья вслед удаляющейся машине.— Уго Дель-Карриль, звезда экрана. Да, можешь говорить что хочешь, а парень одной этой пластинкой сделал себе состояние — и политическое, и в звонкой монете. Ну, черт с ним. Так кого из наших ты встречал?

— Почти два часа просидел с Тухой,— усмехнулся Жерар.— Тебе куда, к Обелиску? Пошли.

— А-а, маэстро Орасио Туха, восходящее светило сюрреализма. Два часа, говоришь? Я с ним десяти минут не выдерживаю. Бюиссонье! Я всегда был другом Франции. Веришь?

— Верю.

— И горячим, восторженным поклонником французского искусства — во всех его видах и жанрах, от Расина до «Мулен-Руж»...

— Не продолжай, я уже уловил твою мысль. Сколько тебе нужно, восходящее светило ташизма?

— Пятьсот? — неуверенно спросил Маранья.

— На твое счастье, такая сумма у меня наберется.

— Правда? Вот это мужской разговор! Думаю, что к Новому году смогу вернуть.

— Только не нужно уточнять, к какому именно. Держи, старина.

— Мерси,— небрежно поблагодарил Маранья, засовывая деньги в верхний кармашек пиджака, где порядочные люди обычно носят платок.— Чем же мне тебя отблагодарить?.. А, знаю! Скажи-ка, Бюиссонье, ты эстет?

— Утонченный, parbleu! Сплошные эмали и камеи. А что такое?

— Если хочешь получить подлинное эстетическое наслаждение, шпарь бегом на Авениду-де-Майо. Где галерея «Риго», знаешь? Там рядом кафе — так вот, за крайним столиком сидит самая феноменальная девочка федеральной столицы! Я ее немного знаю, раньше она бывала в нашем змеятнике, но что-то давно там не показывается. Наверное, хорошо пристроена. Это что-то совершенно...— Маранья коротко простонал, зашатался и, закатив глаза, поцеловал кончики пальцев.— Пойди взгляни на нее! Посмотри на ее волосы и, если ты решишь, что

[1] Безрубашечники (*исп.*) — так называли себя приверженцы Перона.

они крашеные, можешь разыскать меня где хочешь и плюнуть мне в глаза. Или отобрать назад пятьсот национальных.

— Ты имеешь в виду рыженькую Монтеро, натурщицу?

Маранья прервал свои восторги:

— Ты ее знаешь?

— Немного. Прости, старина, я пошел...

— Куда? Да ты погоди...

Но Жерар уже торопливо шел по улице, расталкивая прохожих. Едва услышав, что Беба здесь, в городе, он сразу же понял, как хочется ему сейчас побыть с ней. Даже ни о чем не говорить. Просто посидеть рядом, слушая ее милую болтовню о пустяках. Это было ему сейчас просто необходимо — сейчас, после разговора с Тухой, оставившего в душе мутный осадок какой-то безнадежности, после встречи с автофургоном субсекретариата пропаганды, после разнузданного хриплого рева из репродуктора и бодрого пения Дель-Карриля...

Подходя к кафе возле галереи «Риго», он издали увидел головку Бебы. Она сидела к нему спиной, в своем сером костюме; столик был одним из крайних, и солнце, начиная опускаться к куполу Конгресса, уже забралось под тент, ослепительно осветив ее волосы. Она была не одна — напротив сидел незнакомый Жерару молодой человек с ястребиным худым лицом типичного южноамериканского склада. Юноша — Жерару он показался очень молодым, лет двадцати пяти, не больше,— говорил что-то быстро и негромко, не спуская глаз со своей визави. Беба сидела в немного напряженной позе, выпрямившись и, судя по повороту головы, глядя куда-то в сторону. Едва увидев все это, Жерар почему-то сразу понял, что между Бебой и незнакомцем происходит какое-то объяснение.

Конечно, разумнее было бы уйти, но он, сам не зная для чего, медленно подошел к столику. Почувствовала ли Беба его присутствие или просто перехватила раздосадованный взгляд своего собеседника, но она обернулась и ахнула:

— Херардо!

— Рад тебя видеть, шери...

Он коснулся губами ее щеки и бросил вопросительный взгляд на незнакомца.

— Ах да... Вот, познакомьтесь — мой муж... Доктор Ларральде...

Мужчины обменялись рукопожатиями, Жерар придвинул к столику еще одно плетеное кресло и сел.

— Охотно составил бы вам компанию, но у меня деловая встреча, буквально через полчаса...

Эта ложь получилась как-то экспромтом, сама по себе. Именно в тот момент, когда он догадался, что его приход был неуместен.

— Ты... Тебе нужно идти? — растерянно спросила Беба, видимо не зная, что сказать.— Я тебе звонила сегодня, телефон не ответил...

— Когда, давно? А, около трех. Я вышел раньше. Вы юрист, сеньор Ларральде?

— Почему юрист? Врач,— буркнул тот.

— Ах вот что. Я почему-то решил... Дело в том, что все знакомые мне доктора почему-то юристы.

— Ваше счастье.

— Да, на здоровье не жалуюсь. Большая у вас практика?

— Я стажируюсь в Роусоне, так что до практики еще далеко.

Над столом повисло молчание. Да, они несомненно объяснялись. Элен явно растеряна, вид у нее испуганный, бедняга лекарь чувствует себя по-дурацки. Впрочем, еще более по-дурацки чувствует себя он, муж.

— М-м... На кинте все в порядке? — спросил он.

— Да, конечно... Я здесь с машиной,— сказала Беба.

— Будь осторожна, шери. Ну что ж, мне пора...

Он встал, нашаривая в карманах трубку. Поднялся и медик.

— Очень жаль, что мне приходится покидать вас, но что делать. Надеюсь, доктор, вы когда-нибудь побываете у нас за городом?

Медик пробормотал что-то насчет своей крайней занятости.

— Ну, это все вы уладите с моей супругой...

Жерар поцеловал Бебу, пожал руку медику и пошел прочь.

Вот тебе и новый фактор! До сих пор ему как-то даже не приходила в голову мысль о том, что в жизни Бебы могут быть другие мужчины. Что ж... Все это вполне нормально. А этот Ларральде довольно приятный парень. Трудно даже сказать, что в нем особенно располагает к себе... Скорее всего, глаза. Тогда—еще не видя его — этот медик смотрел на Бебу с такой откровенной жадностью, не стесняясь никого и ничего, как можно смотреть на возлюбленную у себя дома, а не за выставленным на тротуар столиком в центре столицы. «Проходимец этакий,— подумал Жерар, пытаясь разозлиться,— среди бела дня так разглядывать чужую жену...»

Но разозлиться не удалось. Не было ни злобы, ни ревности, просто тоскливое сознание того, что и это его последнее убежище начинает давать трещины. Ну что ж. В конце концов, этого ты тоже хотел, Жорж Данден...

6

Как всегда в это время года, солнце добралось до ее изголовья около половины восьмого. Почувствовав на щеке горячий луч, Беатрис перевернула подушку прохладной стороной и отодвинулась к самой стене, не открывая глаз и не спеша окончательно выбраться из легкой паутины снов. Совсем недавно, уже под утро, ей приснилось несколько собак и мисс Пэйдж, и собаки были одна другой милее, а мисс Пэйдж — такая же, как и в жизни. Или еще хуже. Вспомнив вчерашнюю ссору, Беатрис окончательно проснулась. «Эта женщина сократит мне жизнь на десять лет»,—убежденно подумала она. Какое счастье, что ее не будет ни сегодня, ни завтра! Привстав на локте, Беатрис посмотрела на будильник. Без двадцати восемь, можно полежать еще четверть часа — каникулы есть каникулы, хотя бы трехдневные.

Снова зажмурившись и пытаясь сосредоточиться, Беатрис шепотом прочитала Confiteor[1], испугалась пришедшей вдруг в голову мысли о своей неподготовленности к благочестивому образу жизни и к начинающимся через две недели экзаменам и достала из-под подушки приемник — маленький портативный «Эмерсон», подарок тетки Мерседес к последнему дню рождения. Все местные станции, точно сговорившись, передавали какой-то официальный материал к завтрашнему празднику, Дню Верности. Музыку удалось поймать на самом краю шкалы, на волне уругвайской станции «Радио Гарбэ», передававшей «Аве Мария» Шуберта. Беатрис вытянулась с закрытыми глазами. Бывают такие удивительные моменты, когда все сливается в одно гармоничное ощущение счастья — и птичий щебет за окном, и хрустальная синева солнечного утра, и эта неземная музыка, и то, что мисс Пэйдж на целых два дня уехала в Харлингэм...

К сожалению, Шуберт скоро сменился последними известиями. Беатрис краем уха послушала о ходе переговоров в Панмыньчжоне, о забастовке на мясохладобойнях в Монтевидео, об очередном повыше-

[1] Католическая молитва (*лат.*).

нии цен в Аргентине. Горячие лучи солнца снова добрались до ее лица, она выключила радио и выскочила из постели, одергивая пижаму. Какой день! Нужно будет провести его как-нибудь получше, сидеть дома в такую погоду просто преступление. Осторожно — чтобы не вывалились стекла — она отворила рассохшуюся дверь и вышла на балкон. Половина сада была еще в тени, отбрасываемой стеной соседнего дома, но солнце уже высушило росу на бетонной дорожке перед гаражом и добралось до фонтана, заваленного прошлогодними листьями. Ласточки под карнизом возбужденно гомонили, очевидно, у них что-то случилось. Щурясь от солнца, Беатрис долго пыталась разглядеть, что там происходит, но так ничего и не поняла и облокотилась на растрескавшуюся каменную балюстраду, покрытую цепкими побегами плюща.

— Дора, ты встала? — послышался из-за двери голос отца, сопровождавшийся легким постукиванием.

— Не совсем! — крикнула она. — Я сейчас, папа. Папа! Мисс Пэйдж уехала на два дня к своим,— она тебе говорила? Овсянку мы есть не будем — ни сегодня, ни завтра. Хочешь кофе?

Отец за дверью посмеялся.

— Папа! Сходи, пожалуйста, на кухню и поставь воду, я сварю кофе, сейчас выкупаюсь и сварю. Я быстро!

День начался. Открыв все краны, чтобы поскорее наполнилась ванна, Беатрис надела халатик и сбежала вниз — забрать бутылку молока, оставленную разносчиком у калитки. Потом позвонила булочнику и рыбнику, убрала постель.

— Дора! — крикнул из своей комнаты отец.— По-моему, у тебя в ванной наводнение!

Действительно, вода уже переливалась через край. Пришлось открыть слив и ждать, пока уровень понизится. «Нет ничего хуже домашних работ,— раздеваясь, думала Беатрис,—обязательно выйдет что-нибудь не так...»

Завтракали они в маленькой комнатке возле кухни, которая когда-то предназначалась для хозяйственных нужд, а теперь служила столовой. Настоящая столовая, парадная, помещалась наверху; дом строился в свое время в расчете на слуг, никто тогда не думал, что молодой госпоже придется бегать с кофейником по лестницам и коридорам. Парадная столовая пустовала уже несколько лет, паркет в ней рассохся и покоробился.

— Вчера мы поссорились с мисс Пэйдж,— сообщила Беатрис, наливая отцу кофе.— Я думаю, она уехала отчасти из-за этого. И очень хорошо, по крайней мере отдохнем от ее порриджа[1].

— Она пожилой человек, Дора,— дипломатично заметил доктор Альварадо.— Тебе не мешает об этом помнить.

— Господи, еще бы я об этом не помнила! Ты понимаешь, она просто на этом спекулирует — на том, что она старше и все должны ее слушаться. Ну хорошо, вообще слушаться —пусть, но она считает себя вправе меня третировать. Имею я право завести в своем доме собаку или нет?

— Юридически— да...

— Ты все смеешься!— с досадой воскликнула Беатрис.— Мне нужна живая собака, а не юридическое право. А она мне заявляет: «Собака войдет в этот дом только через мой труп!» Если хочешь знать, собака никогда так бы не сказала... Да ты не смейся, папа, я говорю совершенно серьезно! Ты понимаешь, в таких случаях и видна вся разница между животным и человеком. Я уверена, что порядочная собака никогда

[1] Porridge — овсянка (*англ.*).

не устроила бы скандала из-за того, что с нею в доме собралась поселиться старая дева...

— Дора, ты говоришь такие глупости, что слушать неловко,— поморщился отец.— И кофе на этот раз тебе определенно не удался. Как твой вчерашний теннис?

— Средне. Чемпионки из меня, боюсь, не получится. А кофе и в самом деле неважный. Хочешь еще?

— Пожалуй, чашечку.

— Я тоже выпью... Страшно хочу есть, вчера так и не ужинала.

— Из-за собак?

Беатрис кивнула. Доктор Альварадо принял чашку из рук дочери и улыбнулся:

— Да, этим животным явно суждено играть в твоей жизни фатальную роль. Помнишь ту историю в Тандиле?

Беатрис сделала выразительную гримаску:

— Я думаю, папа! Тетя Мерседес позаботилась о том, чтобы я запомнила ее надолго...— Она вдруг расхохоталась, едва не расплескав свой кофе.— Нет, па, но это было просто фантастически! «Дочь профессора истории покушается на жизнь муниципального служащего» — помнишь?

Доктор Альварадо улыбнулся и покачал головой:

— И ведь подумать, Дора, что тебе было уже двенадцать лет...

Беатрис, с набитым ртом, отрицательно замотала головой.

— Одиннадцать, что ты! — сказала она, прожевав.— Но дело не в возрасте, сейчас мне почти-почти восемнадцать, и я безусловно сделала бы то же самое. В сходных обстоятельствах, я хочу сказать.

Доктор Альварадо отставил чашку и, достав сложенный платок, прикоснулся к усам.

— Моя дорогая, ты ведь с тех пор не поумнела, я всегда это говорил. Одним словом, смерть собачникам.

— Смерть им,— с удовольствием повторила Беатрис.— Подписываюсь обеими руками. Я до сих пор жалею, что в тот раз промахнулась. А собаку я все-таки заведу, вот увидишь.

— В добрый час, ничего не имею против. Уладь этот вопрос с мисс Пэйдж и заводи хоть целую свору. Места хватит.

— Свору,— Беатрис мечтательно вздохнула.— Конечно, я с удовольствием завела бы свору, будь это возможно... Папа, а ты не мог бы сам?

— Что именно?

— Ну, уладить этот вопрос...

— О нет, Дора, уволь! — Доктор встал из-за стола.— В твоих отношениях с мисс Пэйдж я придерживаюсь нейтралитета, ты ведь знаешь.

Дора Беатрис надула губы.

— Пико говорит, что всякий нейтралитет априорно беспринципен...

— Не всегда,— засмеялся доктор,— далеко не всегда, Дора. Кто, говоришь, изрек эту сомнительную истину?

— Пико. Пико Ретондаро, ты его знаешь и даже говорил, что он очень умный юноша,— язвительно добавила Беатрис.

— Молодой Ретондаро, ну как же! Подумай, легок на помине — он ведь должен сегодня быть у меня.

— Кто, Пико? Чего ради? — удивилась Беатрис.

— Мы съездим с ним в одно место, к знакомым,— уклончиво ответил отец.

Беатрис фыркнула.

— Святые угодники, у доктора Альварадо оказались общие знакомые и общие дела с Пико Ретондаро...

— Ты же знаешь, Дора, я всегда интересовался молодежью. И старался по мере возможности поддерживать контакт со студенческой средой.

— Ладно, папочка, не оправдывайся,— снисходительно сказала Беатрис.— Когда приедет твой молодой друг?

Доктор посмотрел на часы:

— Через час. Ты чем сейчас думаешь заняться?

— Пока ничем. Посуду я вымою позже, ладно?

Беатрис убрала со стола и составила на поднос чашки.

— Пойдем пока наверх, посидим у меня. Ты вчера поздно вернулся?

— Нет, около двух. Заезжал к Хуан-Карлосу, но — бог меня прости — долго не выдержал...

Доктор Альварадо со старомодной учтивостью распахнул перед дочерью дверь.

— Бедняга, мне кажется, слегка свихнулся после сожжения Жокей-клуба... Окончательно подпал под влияние этого маньяка дона Марио и мечтает о создании иезуитской империи в бассейне Ла-Платы. Вообще,— доктор Альварадо усмехнулся,— у него собираются теперь совершенно немыслимые типы, неизвестно чем занимающиеся европейцы, какие-то подозрительные личности из испанского посольства, всякие отставные адмиралы. Вчера я чувствовал себя положительно нереально... Главное, все эти бредовые прожекты, их глубокомысленное обсуждение — совершенно всерьез, с цитатами из Мадарьяги и Унамуно...

— Ну и не ходи туда,— беззаботно отозвалась Беатрис.— Зачем они тебе нужны? Как странно, что Хуан-Карлос до сих пор не ушел с кафедры,— он ведь зеленеет от одного вида буквы «П», ха-ха-ха!

— Ну, Дора, это вопрос сложный... Помимо всего прочего, каждое вакантное место дает правящей партии лишний шанс сунуть в университет еще одного профессора-перониста. Если смотреть с такой точки зрения...

— ...то ты, папа, помогаешь Перону,— подхватила Беатрис.— Ай-ай-ай, как не стыдно! Входи, только не обращай внимания на беспорядок...

— Глупости, ты прекрасно знаешь, почему я не преподаю. Имей я возможность вернуться в университет — сделал бы это хоть сегодня.

— Как, во время диктатуры?

— Именно во время диктатуры, дорогая. Именно сейчас...

Доктор Альварадо окинул взглядом комнату дочери, перебрал стопку книг на столе и опустился в шаткое, заскрипевшее под ним кресло.

— Осторожнее, у него нога сломана,— предупредила Беатрис, спешно заталкивая что-то под подушку.

— Я знаю. Дора, ты не хочешь поиграть?

— Очень хочу, но не могу,— Беатрис с сожалением покосилась на рояль и забралась в другое кресло, поджав под себя ноги.— Я дала обет не подходить к инструменту до сдачи последнего экзамена. Представляешь?

— Представляю. Какой будет первым?

Беатрис вздохнула:

— Курс гражданской подготовки, ровно через восемь дней...

— Ну, это легко...

— Зато противно! — Беатрис ударила кулачком по подлокотнику кресла.— «Прогрессивная роль Генеральной конфедерации труда в укреплении национального единства Аргентины», «Генерал Перон как выразитель духа испаноамериканизма», «Позиция Аргентины в отношении экономической экспансии США и политической экспансии Советского Союза» и всякие такие штуки. И главное — целые куски из

«Смысла моей жизни»[1], с комментариями и толкованиями! Честное слово, иногда хочется сбежать на край света. Они кричат, что у нас самая подлинная свобода, какую только можно пожелать, а на самом деле что творится! Знаешь, почему из нашего лицея уволили профессора Охеду? Потому что ему предложили вступить в партию, а он отказался. Теперь вместо него прислали какого-то перониста, и мы его сразу же прозвали Карлом Вторым, потому что он глуп, как сеньор губернатор Алоэ...

Беатрис замолчала и несколько секунд разглядывала едва различимый выцветший рисунок на штофной обивке стен.

— Только вот так и можно,— сказала она,— взять и не думать ни о чем. А когда подумаешь, то просто противно становится жить. И сама себе становишься тоже такой противной, такой противной... Я вообще не знаю, что из меня получится в жизни, папа. У меня иногда вдруг появляется такое странное чувство, будто вообще никакого будущего для меня не существует...

Доктор Альварадо посмотрел на дочь с тревожным изумлением:

— То есть, Дора?

— Ну, ты понимаешь, как будто я стою перед какой-то стеной, а за ней ничего нет. Вообще ничего. Может быть, это тоже от возраста? Может быть, я настолько не знаю еще жизнь, что просто не могу ничего себе представить? Ведь строить планы на будущее — это значит как-то представлять его себе. А я не представляю. С тобой тоже так было?

— Боюсь, что нет, молодость отличается скорее обилием планов на будущее... Дора, ты меня удивляешь. Такие настроения в семнадцать лет...

Доктор Альварадо помолчал, потом кашлянул.

— Я хотел бы задать тебе не совсем скромный вопрос...

— Да, я слушаю...

— Скажи, ты уверена, что у тебя серьезное чувство к Франклину?

— Конечно! — Румянец залил щеки Беатрис, но она не отвела глаз и кивнула с убежденным видом: — Мы любим друг друга, папа, я ведь говорила тебе...— Она запнулась и продолжала после секундного колебания: — Если хочешь, я дам тебе прочитать его письма...

— Спасибо, дорогая, не надо. Но послушай, как же это получается? Где это видано, чтобы любящая девушка не видела впереди ничего, кроме какой-то стены? Что это за любовь, Дора?

Беатрис молча пожала плечами. Доктор Альварадо встал и прошелся по комнате, похрустывая пальцами, потом снова сел.

— Мне было и приятно, и горько тебя слушать, моя девочка,— сказал он.— С одной стороны, я горжусь тем, что сумел в какой-то степени внушить тебе отвращение ко лжи и непримиримость к отрицательным явлениям действительности. Это делает тебе честь, Дора. Но дело, видишь ли, вот в чем. Подобное мироощущение обязывает человека либо активно бороться за нечто лучшее в крупном масштабе, как это делают политические деятели, мужчины, либо пытаться организовать свою жизнь и жизнь окружающих тебя людей так, чтобы в ней были наиболее полно воплощены твои идеалы. Это путь женщины — жены, матери. Но просто опускать руки, заранее отказываться от всякой борьбы за счастье...

— Я же тебе говорю, папа,— быстро и убежденно заговорила Беатрис, почему-то понизив голос, словно сообщая тайну,— жить на свете очень противно. Просто не хочется видеть все, что творится. И даже

---

[1] Книга Эвы Перон, в 1952—1955 годах изучалась во всех средних учебных заведениях Аргентины.

думать об этом не хочется! Конечно, ты можешь спросить, как это мы вообще можем еще учиться, и бегать по кино, и танцевать буги,— но это уж так получается, не будешь же сидеть все время с мрачным видом! Но думать сейчас нельзя. Сейчас все стало страшно сложно и страшно противно, ты же сам видишь. Вся жизнь стала какой-то сложной. Конечно, я люблю Фрэнка, и он меня тоже любит, но все равно — в будущем не уверены ни он, ни я. Во-первых, он до сих пор без работы...

— Ты ведь говорила, что он устроился?

— Оказалось, что это шестимесячный контракт! Он уже так работал у «Нортропа» — год работал, и потом его преспокойно выставили. Это абсолютно никакой гарантии, ты понимаешь? Контракт могут возобновить, а могут и не возобновить. Кстати, срок истекает в этом месяце... Это одно. И вообще я теперь вовсе не знаю, смогу ли я получить визу. Говорят, что теперь это станет еще сложнее, даже для вступающих в брак. Ну, и всякие такие мерзкие вещи. Как же ты хочешь, папа, чтобы я смотрела на будущее и радовалась?

— Помилуй, неужели раньше молодые люди вступали в жизнь, видя перед собой одни удовольствия? Каждая эпоха имеет свои трудности, уж поверь мне...

— Ох, папа, я все это знаю, но такого противного времени, как наше, еще не было. Сейчас все по бумажкам, все по талонам! Если бы у меня были деньги и я захотела бы поехать в гости к Фрэнку, ты думаешь, меня пустили бы? Мне пришлось бы полгода ходить в консульство, чтобы мне разрешили увидеться с собственным женихом. Разве это жизнь, папа? Мало того — сейчас у нас уже даже заграничного паспорта не получишь. Двоюродный брат Альбины хотел съездить в Европу, по делам, так его в полиции несколько месяцев водили за нос и свидетельства о политической благонадежности так и не выдали, а без этого свидетельства о паспорте нечего и думать.

— Вот как...— задумчиво протянул доктор Альварадо, снова встав и принимаясь ходить по комнате.— Одним словом, вы дошли до крайней степени отрицания. До той степени, при которой даже уже нет стремления сделать хоть что-то для того, чтобы исправить положение вещей.

— Ты смешной, папа. Что же я должна делать — выйти на улицу и кричать «Долой Перона!»?

— Ты понимаешь мои слова слишком примитивно, Дора...

Беатрис вздохнула и, отвернувшись к спинке кресла, провела пальцем по завиткам резьбы.

— Единственное, что осталось,— упрямо сказала она,— это музыка, и еще стихи. Я вот с большим удовольствием перечитываю Бекера и Эспронседу. Ну и потом дружба — с людьми и с животными. А все остальное...— Она сделала гримаску и снова повернулась к отцу.

— Целая программа,— улыбнулся доктор Альварадо.— Что ж, дорогая, в семнадцать лет это простительно. Вы странные люди — с одной стороны, вас уже ничем не удивишь, читаете вы совершенно недопустимые по возрасту книги, Фрейда ты, очевидно, прочитала уже год назад, а с другой стороны, какая-то странная инфантильность, какая-то совершенно необъяснимая наивность. Твоя бабка в семнадцать лет была замужней женщиной, хозяйкой эстансии. А ты — разочарованность в жизни, Бекер, дружба с животными. Все это хорошо, но пора ведь и становиться взрослым человеком...

— Папа, ты просто не понимаешь... Вся беда в том, что именно в этом я кажусь себе иногда слишком взрослой. Я не знаю, как это получается. Я и сама хотела бы воспринимать многие вещи гораздо проще, что ли.

— Знаешь, Дора,— помолчав, осторожно сказал доктор Альварадо,— мне кажется, во всем этом большую роль играет твоя религиозность. Я всегда считал, что самое ценное в человеке — это умение привести свои чувства в гармоничное равновесие. У тебя, по-видимому, это равновесие нарушено... Отсюда такое крайнее, болезненное отвращение к тому, что ты видишь вокруг себя. Я почти раскаиваюсь, что твое образование началось в конвенте... Очевидно, эти пять лет у сестер не прошли для тебя даром.

Беатрис вскинула брови:

— Не понимаю, папа! Что плохого мог дать мне конвент? Конечно, монашки были вовсе не святые, и вообще многое там шло совсем не так, как нужно, но все-таки...

— Совершенно верно, я — в принципе — не отрицаю, что монастырские школы дают много хорошего. Все дело в личности ученика, Дора. Может быть, тебе полезнее было бы учиться в светской школе. Кстати, какие у тебя сейчас отношения с падре Гальярдо?

— О, это удивительный человек, папа... Ты не можешь себе представить, что это за человек... В нем чувствуется такая огромная внутренняя сила, что иногда делается просто страшно... Ты знаешь, с тобой я могу спорить и возражать тебе, и вообще защищать свою точку зрения, если ты с ней не согласен. А вот с падре Франсиско это совершенно исключено. Он может одной фразой буквально разбить в пыль все мои доводы, как бы долго я их перед этим ни обдумывала, и сразу начинаешь ощущать свое — как бы это сказать — ну, свое умственное бессилие, что ли...

Доктор Альварадо нахмурился и побарабанил пальцами по подлокотнику.

— И это доставляет тебе удовольствие? — спросил он, искоса глянув на дочь. — Тебе нравится быть в состоянии интеллектуальной подчиненности? Избавляет от досадной необходимости думать, не правда ли?

— Я... Я не боюсь думать,— тихо сказала Беатрис.— И потом, это подчиненность не ума, а скорее души... Ты же знаешь.

— О да! — Доктор развел руками с ироническим видом.— Еще бы! Духовное руководство, воспитание молодежи в принципах христианской морали. Весьма похвально — в теории! Но когда ваш молодежный журнал по указанию падре Гальярдо публикует пастырское послание Фрэнсиса Спеллмана к этим корейским убийцам — это уже, дорогая моя, руководство не только духовное! И ни у кого из вас — интеллигентной молодежи, студентов! — ни у кого не возникло даже мысли о том, насколько это чудовищно...

— Прости, папа,— не поднимая глаз, все так же тихо, но твердо сказала Беатрис,— я не считаю возможным обсуждать этот вопрос... с тобой или с кем бы то ни было. Для меня любой спор такого рода решается авторитетом церкви, а значит...

— О-о, Иисус-Мария! — простонал доктор, взявшись за голову.— Значит — что?! Значит, что ты до сих пор не научилась думать, вот что это значит! И если завтра падре Франсиско Гальярдо заявит тебе, что по последним научным данным Земля все же оказалась плоской и на трех китах, то ты смиренно потупишь глазки и ответишь: «Да, падре, разумеется»! Черт побери, Дора!

— Папа,— укоризненно сказала Беатрис.

— Прости,— спохватился тот и снова закричал: — Но ведь это и в самом деле неслыханно, согласись! Всю жизнь бороться против предрассудков и на старости лет обнаружить, что твоя собственная дочь превращается в обскурантку!

— Какая же я обскурантка? — засмеялась Беатрис, пытаясь обратить в шутку уже начавший тяготить ее разговор.— Мне остался всего один год лицея, я уже усвоила всю классическую премудрость и еще собираюсь в университет. Доктора[1] Д. Б. Альварадо, дипломантка факультета философии и литературоведения! Звучит?

Отец махнул рукой:

— Нет, с тобой невозможно говорить всерьез. А в общем, могу сказать лишь одно: жизнь не так уж безнадежно запутана, как тебе кажется. Но главное, Дора,— тот путь, который сейчас представляется тебе самым верным, он ведь ничего не упрощает.

— Какой путь? — тихо спросила Беатрис.

— Путь бегства от жизни. Ты хочешь сейчас просто убежать от нее, от той ответственности, которую она на тебя налагает. Ты пытаешься укрыться от жизни за своим подчеркнутым отвращением к действительности, за стихами Бекера, за музыкой, наконец, за своим падре Гальярдо...

— Папа, ты ошибаешься,— сказала Беатрис так же тихо.

— Нет, Дора!

Доктор Альварадо поднялся и подошел к дочери. Беатрис быстро посмотрела на него снизу вверх и принялась разглядывать свои ногти, коротко остриженные и покрытые бесцветным лаком (яркий маникюр был в лицее запрещен).

— Нет, не ошибаюсь! Знаешь, что влечет тебя к падре? Возможность получить готовый ответ на любой вопрос. Но смотри, Дора, это опасный путь! Очень опасный, и он может привести тебя к тяжелому конфликту. Учти одно, девочка: ты вообще не из тех, кто может жить по указке. Женщины в нашей семье часто отличались очень своеобразным характером, я бы сказал... — Он замялся, подыскивая правильное определение. Беатрис сидела, опустив голову. — Я бы назвал его вулканическим характером, способным на совершенно неожиданные, м-м-м... взрывы. Надеюсь, ты меня понимаешь. А такие натуры, Дора, больше всего нуждаются в умении управлять своими поступками и принимать самостоятельные решения. Если такую натуру искусственно законсервировать и заставить жить по чьим-то указаниям, то рано или поздно произойдет катастрофа. Подумай об этом, пока не поздно!

— Да, папа,— совсем тихо ответила Беатрис.

Доктор Альварадо вернулся в свое кресло. С минуту в комнате стояла тишина, потом Беатрис сказала:

— Я совсем забыла... Вчера вечером звонил Мак-Миллан, он предлагает мне работу...

— Джозеф — работу? — Доктор недоуменно приподнял брови.— Тебе?

— Временную работу, папа, с первого января до конца марта. Его секретарша берет трехмесячный отпуск за свой счет, и он предлагает мне заместить ее на это время...

— Глупости, Дора, летом нужно отдыхать.

— Ничего не глупости, папа! Что тут такого? Ничего сложного, нужно только знать стенографию и машинку, и он говорит, что работать я буду не полный день — как мне удобнее, или утром, или после обеда. Ему все равно. И он предлагает пятьсот песо в месяц. Почему не заработать полторы тысячи? Фрэнк, когда учился, каждое лето работал — то барменом, то мойщиком автомобилей... В Штатах все студенты так делают. Папа, вон на столе зеркало — будь добр, передай... Мерси... Я ему определенно не ответила, обещала посоветоваться с то-

---

[1] Doctora — в Латинской Америке обращение к женщине, имеющей докторскую степень.

бой и позвонить. Каникулы начинаются в конце ноября, еще успею провести в Альта-Грасиа целый месяц...

Доктор Альварадо молчал. Тщательно расчесав щеткой волосы, Беатрис собрала их на макушке в длинный пучок и скрепила зажимом.

— Вот и готов «лошадиный хвост»,— объявила она, искоса глядя на свое отражение в профиль.— Или, как более элегантно называют это англичане, «хвост пони». Но я все-таки не понимаю, почему ты против того, чтобы я поработала...

— Дора, у тебя нет возможности жить так, как живет большинство твоих подруг.— Доктор Альварадо вздохнул.— И если тебе еще придется работать во время каникул, то эту разницу ты почувствуешь скорее, чем мне бы хотелось.

— Неужели ты думаешь, я ее до сих пор не чувствовала? Мой сеньор, вы слишком дурного мнения о вашей дочери... Я прекрасно знаю, что если бы ты согласился вести себя так, как это делает большинство твоих коллег, то мы жили бы совершенно иначе. Ну, например, если бы ты тогда согласился выступить с реабилитацией Росаса... Конечно, хорошо иметь много денег, но еще лучше, когда тебя уважают, как сказал нищий, сидя в колодках. Так ты разрешишь мне работать у Мак-Миллана?

— Посмотрим, Дора, посмотрим,— уклончиво ответил доктор.— Я с ним поговорю. Если он не станет перегружать тебя работой...

— Конечно, нет! Он обещал, что не станет, да я и сама не дамся,— засмеялась Беатрис.

Внизу позвонили. Беатрис вскочила с места.

— Если это молодой Ретондаро, пусть пройдет ко мне,— сказал отец, выходя из комнаты вместе с нею.

Это и в самом деле оказался Пико.

— Ола, Дорита!

— Салюд, мой Пико. Ты к папе?

— А если к тебе?

— Во-первых, кабальеро, я занята: мне нужно мыть посуду. Во-вторых, сеньорита Люси ван Ситтер слишком ревнива, чтобы я рискнула принимать ее жениха.

— Responsio mortifera [1],— кивнул Пико.— Ни слова больше, Дорита. Итак, доктор Альварадо...

— Ждет вас в своем кабинете, мой сеньор,— присела Беатрис, взявшись за края юбки.

— Ты меня проводишь?

— Наверх и налево, мимо книжных шкафов, потом будет такой низкий ларь и сразу за ним папина дверь. Я же сказала, мне некогда!

— Любезно, любезно,— сказал Пико, направляясь к лестнице. Потом он обернулся: — Экзамены скоро?

Беатрис сделала большие глаза:

— Ой, лучше не напоминай! Иди, папа тебя ждет, после поговорим.

Пико ушел — в очках, с большим портфелем под мышкой, солидный, как и полагается будущему адвокату. Беатрис убрала в кухне, помыла посуду и вернулась в свою комнату. Через минуту зазвонил телефон. Беатрис взяла трубку:

— Ола... Норма? Добрый день, дорогая... Нет, сегодня ничего. А что? О-о, это интересно... Да, я с удовольствием, спасибо... А кто еще будет? Ну хорошо, Норма... Ладно, через час. Угу, до скорого...

Отойдя от телефона, она постояла в нерешительности и отправилась в кабинет отца. Еще из-за двери она услышала его голос, ровный

[1] Убийственный ответ (*лат.*).

и неторопливый,— голос человека, привыкшего говорить с кафедры. Тихонько приоткрыв тяжелую дверь, Беатрис проскользнула в комнату и уселась в углу, словно опоздавшая на урок ученица. Ни отец, ни Пико не обратили на нее внимания.

— ...Проблема далеко не новая, Ретондаро,— продолжал говорить доктор,— далеко не новая. В Аргентине ей уже больше ста лет. Вспомните разногласия в лагере унитариев по вопросу франко-аргентинских отношений, и в частности по вопросу французского вмешательства в войну против Росаса. Там столкнулись именно эти две концепции — одни считали возможным поступиться частью национального суверенитета во имя уничтожения диктатуры, другие утверждали, что никакое положение дел внутри Республики не оправдывает сговора с иностранцами. Обе стороны были по-своему правы, и это до сих пор остается чрезвычайно трудным вопросом. Что касается меня, то я считаю, что наивысшей ценностью является все же совокупность гражданских свобод — слова, печати, собраний и так далее — и что при любых обстоятельствах преступно и самоубийственно жертвовать ими во имя узко понимаемого национализма. Вспомните — фашизм начинал именно с этого... К сожалению, он овладевает в наши дни все большим количеством сердец...

Доктор Альварадо замолчал и потянулся к ящику с сигарами. Воспользовавшись паузой, Беатрис появилась из своего угла.

— Папа, прости, я хотела спросить — звонила Норма, она едет обкатывать свою машину и приглашает меня. Ты разрешишь? Куда-нибудь в Палермо, ненадолго.

— Хорошо, Дора,— кивнул доктор, закуривая сигару.— Если обещаешь, что не будете гнать больше сорока.

— А мы вообще не будем править, она и сама боится — на незнакомой машине. Она пригласила знакомых мальчиков, один из них член Автомобиль-клуба, он и поведет.

— У Линдстромов новая машина? — заинтересовался Пико.— Уже третья?

— Норме подарили «фиат-миллеченто». Вы тоже уезжаете?

— Да, нам, очевидно, пора,— ответил отец.— К какому часу нас ждут, Ретондаро?

— К двенадцати, доктор,— ответил тот, взглянув на часы, и поднялся.

— Папа, когда приготовить ужин? Мне обещали прислать рыбу.

— Ну... Точно не знаю, Дора, часам к десяти-одиннадцати. Вы поужинаете с нами, Ретондаро?

— Благодарю за приглашение, доктор, но сегодня я обещал быть с мамой в театре,— смутился Пико.

— О, в таком случае...— Доктор улыбнулся и развел руками.— Итак, Дора, мы тебя покидаем. Будьте осторожны, вчера было страшное столкновение на авениде Альвеар, в двух квадрах отсюда.

— Да, папа, конечно...

Доктор вышел в предупредительно распахнутую Пико дверь. Тот последовал за ним, оглянувшись и подмигнув Беатрис.

Через минуту послышался тарахтящий шум разболтанного мотора. Беатрис высунулась в окно, помахала вслед машине, посидела на подоконнике, слушая щебет ласточек. В углу окна нашелся закатившийся орех,— Беатрис положила его в нарочно выдолбленную для этого ямку на подоконнике, сняла туфлю и колотила каблуком, пока орех не раскололся. Ядрышко внутри оказалось черным и сморщенным. Беатрис вздохнула и, спрыгнув на пол, отправилась одеваться.

Над выбором костюма для прогулки долго раздумывать не приходилось: в большой гардеробной, где когда-то хранились кринолины и

фижмы нескольких поколений Гонсальво де Альварадо, туалеты представительницы последнего занимали немногим более трети одного из старинных резных шкафов с тяжелыми скрипучими дверцами. В остальных уже давно накапливалась паутина. Беатрис подозревала, что там живут мыши,— во всяком случае, по ночам в гардеробной слышались странные шорохи. Еще года два назад это даже наводило ее на мысль о привидениях. Какое же порядочное abolengo[1] обходится без своего фамильного привидения? И уж конечно, во всем старом доме не было лучшего места для ночных прогулок какой-нибудь «белой дамы», чем эта комната, где тени прошлого прятались за темными резными дверцами и скользили в тусклых от времени зеркалах.

Сбросив домашнее платье, Беатрис надела белую блузочку без рукавов, черную юбку, туго перетянулась широким кожаным поясом и сунула ноги в открытые лодочки на низком каблуке. Старые, ко всему привычные зеркала бесстрастно отразили тоненькую фигурку с задорным хвостом на макушке. Окинув себя критическим взглядом, Беатрис расправила широкую юбку и вышла из гардеробной.

7

Верная себе, Норма опоздала и на этот раз. Стрелки на часах уже почти сошлись на двенадцати, когда у ворот прозвучал незнакомый клаксон; подойдя к выходящему на улицу окну гостиной, Беатрис увидела подругу, которая стояла возле маленькой кремовой малолитражки и разговаривала с кем-то внутри.

— Норма! — крикнула Беатрис, перегнувшись через подоконник.— Поднимайтесь сюда, дверь открыта! Идите!

Сбежав по лестнице, она встретила подругу в холле, куда солнце едва пробивалось сквозь затененные разросшимся снаружи плющом цветные витражи.

— Добрый день, дорогая,— простонала Норма, чмокнув ее в щеку.— Ради всего святого, холодильник у тебя работает? Умираю выпить чего-нибудь холодного!

— Идем, что-нибудь придумаем. А мальчики?

— Пускай сидят там, ничего с ними не сделается. Идем, идем, я сейчас умру!

— Хочешь, я собью бананы с молоком? Со льдом, конечно.

— Нет, что ты, от этого толстеешь. Ты пьешь этот ужас? Сбей мне один апельсин с водой, только побольше льда и поменьше сахару. Бананы с молоком! Это же самоубийство! Би! Давай я очищу.

Беатрис перебросила подруге апельсин и достала из холодильника формочку с кубиками льда.

— А я люблю бананы с молоком,— призналась она, ополаскивая под краном стеклянный резервуар миксера.— Я что-то не замечала, чтобы от них толстели. Слушай, ты нарядилась совсем по-спортивному,— она глянула на сеньориту Линдстром, одетую в голубую «американку» и очень узкие брюки цвета «серый жемчуг»,— а я думала ехать в таком виде. Может быть, не подходит?

— Да какая разница,— пожала плечами Норма,— мы же не на пикник собрались! Конечно, поезжай так. Какая милая юбка. Полное солнце, да? А ну-ка, крутнись... Нет, очень хорошо. А вообще я не понимаю твоей нелюбви к брюкам! Сейчас это так модно.

Беатрис накрошила в резервуар очищенный апельсин и повернула выключатель. Миксер взвыл, за стеклом забилась белоснежная пена,

---

[1] Здесь: наследственный, родовой дом (*исп.*).

— Ты понимаешь,— сказала Беатрис, вытирая руки,— это, по-моему, не совсем прилично — так обтягиваться.

Норма поднесла к губам стакан и вдруг расхохоталась.

— Ох ты ж и смешная, Би! «Неприлично так обтягиваться»! Да когда же еще и обтягиваться, если не в нашем возрасте?

Беатрис вспыхнула:

— Норма, перестань. Миллион раз тебя просила!

— Oh, dear me! [1] — насмешливо сказала Норма. — Мы опять шокированы? Как будто ты сама не носишь обтянутых платьев!

— Платья это совершенно другое дело...

— Ах, другое де-е-ело? Ничего, я тебе это напомню, когда ты наденешь свой черный тальер, тоже мне скромница!

Беатрис, пытаясь скрыть смущение, пожала плечами с независимым видом.

— Это же не брюки. Скажи лучше, кто эти молодые люди, что с нами едут?

— Верно, вы же незнакомы! Один из них — Би, ты пропала! — красавец блондин, влюбишься с ходу, его зовут Ян Гейм и он австриец, но жил в Чехословакии, его родителей разорили красные. А другого ты, может быть, и знаешь — это Качо Мендес...

— Качо Мендес? — Беатрис вскинула брови. — Не знаю, никогда не слышала. Кто такой?

— Электромоторы «Ментор» — Мендес, Торвальдсен и компания. Этот Качо — сын старого Мендеса, фактически он управляет фирмой вместо отца...

— В первый раз слышу. А тот, другой, что делает?

— Гейм? Он на юридическом, Пико его хорошо знает. Кстати, учти, они друг друга не особенно любят. Пико называет Яна реакционером, а тот его агентом коммунистической пятой колонны.

— Пико — коммунист? — рассмеялась Беатрис.

— Ну, не знаю, они там из-за чего-то перегрызлись на факультете.

— Господи, и не противно им. Он что, красив?

— Как бог Аполлон, сама увидишь. Вообще он какой-то аристократ, у него здесь родная тетка — польская принцесса, что ли, кошмарная фамилия, которую не выговоришь, не вывихнув языка... Он такой любезный, настоящий джентльмен, а в общем, я его мало знаю. Ну, идем?

— Минутку. Я только сбегаю наверх — возьму очки и перчатки...

Молодые люди — здоровяк Качо, с черными усиками, в измятых парусиновых брюках и ковбойке, и элегантный Гейм, в светло-синем костюме с красной «бабочкой»,— стояли возле машины, покуривая сигареты. Качо оживленно рассказывал что-то, размахивая руками; его собеседник слушал с выражением вежливой скуки на лице.

— Знакомьтесь,— выйдя за калитку, крикнула Норма и подтолкнула вперед подругу.— Сеньорита Дора Беатрис Альварадо — сеньор Гейм, сеньор Мендес. Смелее, Би!

— Привет, сеньорита Дора,— пробасил Качо.— Очень рад. Норма мне о вас уши прожужжала.

Беатрис улыбнулась, пожимая ему руку, и повернулась к Гейму.

— Очарован знакомством, мадемуазель,— сказал белокурый красавец.— Я не сомневался, что владелица такого дома будет выглядеть именно так, но должен сознаться, что действительность превзошла ожидания...

Гейм говорил по-испански совершенно правильно, и мягкий иностранный акцент придавал его словам какую-то особую вкрадчивость.

---

[1] Ах, какой ужас! (*англ.*)

— Очень рада...— пробормотала Беатрис и покраснела, не успев отдернуть руку от поцелуя.

— Ну, поехали? — спросила Норма.— Би, вы с Яном полезайте назад, я сяду впереди, ладно?

Гейм распахнул перед Беатрис заднюю дверцу, осторожно прихлопнул ее, подергав для верности, и, обойдя машину, сел рядом. Норма забралась на переднее сиденье.

— Качо! — завопила она.— Ты чего там копаешься, иди, тебя ждут! Уже не терпится что-нибудь сломать?

Качо опустил капот и подошел к открытой дверце, вытирая руки о штаны.

— Пробовал, не греется ли. Что угодно сеньорите Линдстром?

— Слушай, куда ты нас повезешь?

— Куда прикажете,— добродушно заявил Качо, забираясь в накренившуюся под его тяжестью машину.— Я предлагаю прежде всего выбраться через Палермо на Костанеру, а потом рванем в сторону Висенте Лопес. А там будет видно. Куда будем выезжать — на Альвеар или по Алькорта?

— На Альвеар,— кивнула Беатрис.— Только осторожно, там большое движение!

Качо, обернувшись через плечо, успокаивающе подмигнул ей. Машина мягко тронулась с места.

Беатрис задумчиво щурилась, глядя в окно на мелькающие мимо садовые решетки и выхоленные газоны перед нарядными особняками. Она любила этот район города, привычный с детства. Но последнюю зиму ежедневно по дороге в лицей и обратно (она садилась в троллейбус на Лас-Эрас) ей при виде этих тихих фасадов и полированных дубовых дверей с ярко начищенными бронзовыми кольцами все чаще думалось, что за нарядной и уверенной в себе внешностью скрыто что-то очень фальшивое, чуть ли не постыдное...

Возможно, что это странное ощущение зародилось в ней после одного происшествия, случившегося неподалеку от их дома прошлой осенью. Там был особняк, принадлежавший двум сестрам — старым девам — и после смерти одной из них проданный некоему Мартинесу, главе необыкновенно быстро поднявшейся фирмы по продаже земельных участков. Крикливые рекламы этой скороспелой фирмы заполняли год назад целые газетные полосы и вопили с крыш и рекламных щитов. Купив старый дом на улице Окампо, сеньор Мартинес нагнал туда рабочих, и через месяц обветшалый аристократический особняк превратился в ультрасовременное жилище, словно перенесенное в этот тихий квартал Буэнос-Айреса откуда-нибудь из Беверли-Хилла. Однажды Беатрис увидела самого хозяина, тот как раз выходил из бесшумно подплывшего черного лимузина, и она услышала, как шофер назвал его «сеньор Мартинес». Проходя мимо, она лишь мельком бросила на него любопытный взгляд, но ей почему-то очень запомнилось одутловатое озабоченное лицо знаменитого человека. Это было в апреле, а однажды в середине мая она, выйдя из лицея, купила вечерний выпуск «Ла Расон» и в троллейбусе прочитала о раскрытии миллионной аферы, процветавшей под вывеской «Мартинес и К°». Как выяснилось, фирма продавала земельные участки, которые либо служили предметом многолетних тяжб, либо вообще не существовали в действительности.

Вслед за сообщением о том, что Мартинес пытался бежать в Уругвай, но на пароходе был задержан агентами федеральной полиции и застрелился у себя в каюте, газета подробно описывала меха и драгоценности двух его возлюбленных, роскошную обстановку его нового дома на Окампо, французские гобелены, американские аппараты для охлаждения воздуха и выписанное из Италии оборудование ванных ком-

нат. Беатрис прочитала все это со странным чувством любопытства и отвращения и потом, проходя мимо, даже задержалась на противоположном тротуаре, с тем же смешанным чувством глядя на таинственный дом, у дверей которого толпились репортеры и полицейские.

И подумать только, что эта омерзительная история случилась, как нарочно, на их улице — в квартале, где издавна слово «нувориш» выражало высшую степень осуждения! Другие районы Буэнос-Айреса давно кишели мартинесами и им подобными, самые разнообразные мошенничества не менее крупного масштаба становились сенсацией чуть ли не каждый месяц, но все это проходило стороной, этого можно было не замечать, газету с описанием всей этой гадости можно было выбросить, не дочитав до конца, и забыть о ней через пять минут. Но этот человек, этот Мартинес,— он ведь жил на Окампо, был их соседом, она встретила его на улице всего две недели назад... А потом в доме поселилась большая семья каких-то американцев из Техаса, с двумя громадными автомобилями, которые то и дело ракетами проносились по тихой улице и ревели мощными клаксонами, не обращая внимания ни на время суток, ни на запрещение звуковых сигналов. Мисс Пэйдж возмущалась поведением «этих янки», доктор Альварадо молча пожимал плечами, а Беатрис все чаще думала о том, что жить на свете становится противно. Казалось бы, все это были мелочи, сущие пустяки — какой-то Мартинес, какие-то техасские скотоводы, какой-то восьмиметровый щит с лозунгом: «Перон выполняет»,— но из этих пустяков складывалась вся отвратительная сторона жизни, вся ее грязь, и эта грязь все ближе подползала к тихому особняку с его воспоминаниями детства, с его мышиными шорохами, тусклыми от времени зеркалами и неповторимым запахом старых книг в библиотеке. Этой грязью была уже невидимо и непоправимо испачкана тенистая от платанов улица, сверкающие окна богатых резиденций и их массивные двери; за ними — Беатрис не могла отделаться от этой мысли — уже завелись другие мартинесы, наглые и озабоченные, лихорадочно обдумывающие какую-то очередную пакость. Нет, жить на свете становилось очень, очень противно...

— Мадемуазель чем-то опечалена? — раздался над ее ухом воркующий голос Гейма.

Беатрис обернулась и рассеянно взглянула на белокурого красавца.

— Опечалена? Нет, что вы... Просто смотрела в окошко. Я очень люблю этот район... Правда, я здесь выросла...

— Это одно из самых красивых мест Буэнос-Айреса,— согласился тот,— вам повезло жить в таком квартале.

— А вы где живете, сеньор Гейм? — спросила Беатрис, чтобы что-то сказать. Она почувствовала, что ее молчаливость становится невежливой.

— Сейчас у своей тети — в двух шагах от станции Бельграно С, на Хураменто. Угловой дом, выходит прямо на сквер.

— О, там тоже хорошо, я знаю Хураменто.

— Да, вообще тем неплохо. Но конечно, нет ни тени того, что чувствуется в вашем квартале, этого неуловимого аромата прошлого. Я восхищен вашим домом, мадемуазель, это поэма из камня. Плющ, запущенный сад — все это выглядит совершенно сказочно.

Беатрис глянула на него с признательностью.

— Он очень красивый, правда,— сказала она тихо,— и я очень его люблю... Но только очень уж старый. Прадедушка начал строить его сто лет назад, после битвы под Касерос... Вы не можете себе представить, как трудно содержать такой огромный дом, когда нет денег...

Большая часть комнат у нас вообще необитаема, в некоторых даже обвалилась штукатурка на потолке. Ремонт стоит так дорого...

Она вдруг замолчала, раскаиваясь в своей откровенности. Зачем рассказывать все это совершенно незнакомому человеку? Еще что-нибудь подумает...

— Да, это всегда печально,— сочувственно вздохнул Гейм и спросил осторожным тоном: — Ваша семья пострадала в связи с каким-нибудь крахом?

Беатрис изумленно подняла брови:

— Крахом? Нет, что вы... У нас никогда этим не занимались, нет, тут другое... — Она помолчала и нехотя добавила: — Понимаете, мой папа историк и антиперонист. Он не может ни преподавать, ни даже печатать свои работы в Аргентине. Его еще издают в Мексике, но из-за всей этой путаницы с валютными курсами от гонораров почти ничего не остается...

В машине запахло свежестью — выбравшись из потока движения, они свернули теперь в одну из аллей парка Палермо. По просьбе Беатрис Качо сбавил ход, и мотора стало почти не слышно. Под шинами с усыпляющим шорохом хрустел гравий, круглые солнечные блики стекали по капоту, словно гонимые назад встречным ветром. Беатрис прикрыла глаза и откинулась на спинку сиденья, отдавшись мягкому покачиванию рессор, рассеянно слушая болтовню своих спутников,— те обсуждали какую-то последнюю премьеру театра «Политеама». Кучка молодежи на стрекочущих мотороллерах с лихими воплями обогнала машину, Качо высунулся в окно и послал им вслед обещание надрать уши за превышение скорости. «Мне тоже кто-то грозился надрать уши,— улыбнувшись, вспомнила вдруг Беатрис. — Но кто — и когда?» Она стала лениво ворошить память и вспомнила: ну конечно, это был тот приятель Пико — Дон Хиль Зеленые Штаны...

— Ну что, поехали на Костанеру? — обернулся Качо.

— Командуй, Норма,— не открывая глаз, отозвалась Беатрис сонным голосом,— тебе впереди виднее...

— Нашла время спать! — возмущенно фыркнула та. — Не девушка, а какой-то несчастный лемур. Право руля, Качо, поедем мимо аэродрома. И побыстрее!

Машина рванулась, пронзительно завизжав покрышками, крутой вираж швырнул испуганно ахнувшую Беатрис на ее соседа, за окном шарахнулось чье-то испуганное лицо и, описывая дугу, промчались деревья и стоящие вокруг фонтана люди. Гейм, сильно и осторожно схватив Беатрис за плечи, помог ей усесться на место.

— Извините,— пробормотала она, не глядя на него. — Сеньор Мендес! Если можно, сбавьте ход, здесь ведь опасно...

— Молитесь святому Христофору! — вместо ответа заорал тот, нагибаясь к рулю.

Машина с воем мчалась по прямой аллее, ведущей к набережной. Перед открытым шлагбаумом узкоколейки «Генерал Бельграно» Качо сбавил скорость и притормозил, но на переезде Гейма и Беатрис дважды подбросило так, что она только охнула.

— Сеньор Мендес, я вас очень прошу! Ой!

На этот раз ее просьба была удовлетворена — аллея кончилась, участок дороги вдоль аэродрома был плох, машину стало валять с боку на бок.

— Смотрите, вон взлетает! — крикнула Норма, показывая рукой.

— Транспортник, морской авиации,— определил Качо, взглянув на серебряный самолетик, который неторопливо двигался на другом конце длинного зеленого поля и казался издали совсем маленьким. — Давайте посмотрим, как он оторвется.

Он остановил машину и, выбравшись наружу, закинул руки за голову и со вкусом потянулся. Вышел и Гейм.

— Ты что-нибудь в этом понимаешь? — Он протянул Качо раскрытый портсигар и кивком указал на самолет.

Качо, закуривая, молча пожал плечами.

— Более или менее,— сказал он, сплевывая табачные соринки. — Год назад мой старик имел глупость купить «пайпер-каб», не знаю даже чего ради. Ну, его я освоил, летаю. Вернее — летал, сейчас надоело. Да и некогда.

— Мировой рекорд беспосадочного перелета,— ехидно заявила Норма, высунувшись из открытой дверцы. — Буэнос-Айрес — Камет, четыреста километров по прямой. Полтора часа в воздухе без заправки горючим. Во!

Серебряный самолет описал полукруг, ярко блеснув на солнце алюминиевым боком, и теперь бежал прямо на них, сердито и все громче урча моторами и оставляя за собой широкие полосы примятой ветром травы.

— А он успеет? — с беспокойством спросила Беатрис. — Если не взлетит, то наедет прямо на нас.

— Взлетит, не бойтесь,— кивнул Качо. — Он уже на двух точках, видите... Сейчас оторвется.

Этого важного момента Беатрис так и не уловила: самолет оказался вдруг совсем близко, уже над землей, потом ее вдруг оглушило неистовым ревом, и над машиной, на секунду заслонив солнце, промелькнула огромная тень. Беатрис бросилась к окошку справа — самолет, втягивая колеса, уносился в сторону Нового порта.

— Ой как смешно,— крикнула она,— смотрите, как будто птичка поджимает лапки! Зачем он это делает?

— Божья птичка,— усмехнулся Гейм. — В сорок четвертом году, в Берлине, эти птички давали нам жару. Правда, те были побольше.

— Вы разве не из Чехословакии, сеньор Гейм?— спросила Беатрис.

— Почти всю войну я провел в Германии, мадемуазель. Фирма моего отца вошла в концерн «Герман Геринг», и нам пришлось переехать в Берлин.

— Ну, мальчики,— капризно заявила Норма,— долго мы будем здесь торчать на жаре? Сюда, Качо!

— Сейчас, только докурим. Две минуты.

— Ах так?

Норма пересела за руль и, подмигнув через плечо, запустила мотор.

— Да погоди ты!— закричал Качо, но машина уже сорвалась с места.

Прыгая на выбоинах, они доехали до конца аэродрома и свернули влево, на бетонное полотно набережной.

— Подождем здесь? — спросила Норма. — Нет, отъедем еще дальше, пусть прогуляются...

Метров через двести она свернула на обочину, в тень высоких деревьев, и выключила мотор. Стало очень тихо, лишь под капотом что-то звонко пощелкивало.

Девушки вышли. Норма, морща нос, стащила свою голубую «американку» и бросила ее на сиденье, оставшись в такого же цвета блузке с короткими рукавами. Беатрис прислушалась к знойной тишине, едва нарушаемой всплесками воды. Широкая набережная, по вечерам обычно заполненная гуляющими, была сейчас пустынна, лишь у здания Клуба рыболовов, построенного на искусственном мысу, стояло несколько автомобилей. За низким каменным парапетом до самого горизон-

та искрилась под солнцем сонная гладь Ла-Платы. У клубного причала лениво покачивались высокие мачты яхт.

— Так им и надо,— сказала Норма, оглянувшись на маячащие вдали фигурки их спутников. — Хорошо здесь, правда, Би?

Беатрис кивнула, с удовольствием вдыхая свежий речной ветер, ласково обдувающий щеки.

— Хорошо... И даже, кажется, не так жарко. Какой ветерок замечательный! И тихо-тихо... Прямо не верится, что ты в столице...

Норма, подпрыгнув, уселась на парапете и перекинула ноги на ту сторону.

— Забирайся сюда,— обернулась она к Беатрис. — Боишься? А-а, неудобно в юбке — видишь, вот тебе преимущество штанов.

— Мне и так хорошо... Смотри не свались туда.

Беатрис облокотилась на парапет и заглянула вниз — у каменной стенки, обросшей водорослями и ракушками, радужные от мазута волны медленно поднимали и опускали отвратительного вида мусор, обломки дерева, тряпки, раздувшуюся дохлую крысу.

— Брр, какая гадость... — Передернув плечиками, она поправила очки и подняла голову, прищурившись на дымки пароходов на горизонте.

— Что это? — спросила Норма. — А-а, это... Да, это лучше не разглядывать, здесь иногда такое увидишь...

Она засмеялась и по-мальчишески лихо плюнула вниз, колотя каблуками по парапету.

— Слушай, Би...

— Да?

— Как тебе Качо?

— Симпатичный,— подумав, ответила Беатрис. — Хотя и простоват. А тебе он нравится?

— Ничего,— засмеялась Норма. — Интересный мальчик.

Что-то в ее тоне заставило Беатрис повернуть голову.

— Почему ты смеешься?

— Господи, просто смеюсь! — Норма хлопнула ладонями по парапету. — Сказать тебе одну вещь, Би?

— Я слушаю.

— Понимаешь... Я, наверно, выйду за него замуж, вот что.

Норма обернулась и сверху вниз бросила на подругу быстрый взгляд. Обе были в солнцезащитных очках, и выражения ее глаз Беатрис не увидела. Несколько секунд она молчала.

— Ты что, серьезно? — спросила она наконец.

— Ну конечно, серьезно! — с досадой воскликнула Норма. — Чего ты на меня уставилась?

— Я не понимаю, Норма... А как же Руперто? Вы что, поссорились? Ведь еще недавно...

— Руперто, Руперто! — перебила ее Норма, капризно передернув плечами. — Если папа не хочет, чтобы он просил моей руки. У него нет будущего, понимаешь! Создать свою фирму он никогда не сможет, значит, будет просто служить. Мне тоже не очень-то весело всю жизнь быть женой служащего...

— Да ведь он же будет архитектором, Норма, не конторщиком! И с твоими деньгами вам не пришлось бы жить бедно... А главное — ведь ты этого Качо... Ты же его не любишь!

— Ой, я же тебе сказала: он мне нра-вит-ся! Что, этого мало?

— Для того, чтобы выйти замуж? По-моему, мало. А тебе самой кажется, что этого достаточно? Да ведь ты только что сказала про него: «Ничего, интересный мальчик».

— Ну, я просто не так выразилась,— смутилась Норма,— конечно, я его, в общем, люблю...

— «В общем»! — воскликнула Беатрис. — Неправда, Норма, ты выразилась совершенно правильно, а вот сейчас ты выкручиваешься. Ты выходишь за него из-за денег, и не выдумывай!

— Ну из-за денег! Одна я так делаю, да? С луны ты свалилась, что ли...

Беатрис не нашла что сказать. Верно, она выросла не на луне. И в самом деле, разве одна Норма...

— Ты понимаешь, моя мама — урожденная Торвальдсен, ее брат — компаньон Мендеса. Если я выйду за Качо, то тогда обе фирмы — папина и «Ментор лимитада» — смогут объединить капитал... Ну что ты молчишь, Би? — капризным тоном воскликнула Норма.

— Да я... — Беатрис растерянно пожала плечами. — Что я тебе скажу, Норма? Ты уже все решила... Ну что ж, желаю счастья...

— Спасибо, Би, дорогая. — Норма перегнулась с парапета и, обхватив Беатрис за шею, с налету чмокнула ее в щеку. — Слушай, на днях мы вместе поедем к моей модистке — я шью в «Мэзон Антуанетт»,— поможешь мне выбрать модель подвенечного платья...

— ...Ох и сумасшедшая же девчонка,— добродушно пробормотал Качо, утирая со лба обильный пот. — Тащиться из-за нее пешком по такой жаре...

— У тебя будет веселая сеньора,— усмехнулся Гейм. Он снял пиджак и нес его, перекинув через плечо.

— А вообще ничего, правда? Она мне здорово нравится, и с каждым днем все больше. Единственная умная затея моего старика за последнее время.

— Les mariages se font dans les cieux,— грассируя произнес Гейм.

— Это что — «браки заключаются на небесах»? — догадался Качо. — Теперь, дружище, они заключаются в конторах, это куда вернее. Правда, не всегда приятно... Моему двоюродному брату пришлось жениться на таком попугае, что страшно смотреть... Вот такой носище, ведьмин характер и полтора миллиона приданого. Ну, мне еще повезло... — Он выломал длинную ветку и стал обрывать с нее листья. — Здесь можно сочетать приятное с полезным. Вернее, полезное с приятным. Лакомый кусочек эта Линдстром, верно? Похожа на одну американочку в Скенектэди, с которой у меня была история во время последней поездки. — Он усмехнулся, со свистом рассекая прутом воздух. — Я уже не рад был, что связался... Мне еще говорили, что американки холодные женщины... Куда к дьяволу!

— Да, у Нормы внешность северная.

— Ага. Ее старики — из Скандинавии, не то шведы, не то норвежцы, что-то в этом роде...

Приятели вышли на набережную и направились к тому месту, где ждали девушки. Гейм снова надел пиджак, застегнув его на одну пуговицу.

— Ну, я вам! — еще издали заорал Качо, грозя прутом. — Увидите сейчас!.. Так вот вы как? — грозно спросил он, подойдя ближе. — Шутки шутить изволите, а знаете что за такие вещи полагается?

— Ага, прогулялся по жаре, прогулялся! — завопила Норма, прыгая на своем насесте.

— Значит, еще и радуетесь,— зловеще сказал Качо. — Ну ничего, каждая из вас получит сейчас свою заслуженную порцию. Вы готовы, сеньорита Альварадо?

— О, пощадите меня, сеньор Мендес! — Беатрис сложила ладони умоляющим жестом. — Видит небо, я не виновата...

Сделав вид, будто хочет опуститься перед ним на колени, она вдруг выхватила у Качо прут и отскочила, пряча его за спину.

— Ага, ага, неуклюжий медведь, разиня! — в восторге визжала Норма.

— Ладно, дети, минутку внимания! — Качо поднял руку успокаивающим жестом, взглянув при этом на часы. — Мне нужно до трех часов заехать на фабрику, подписать бумажонки. Я мог бы оставить вас в каком-нибудь кафе и смотаться в одиночку, но есть и другой вариант — съездить вместе. Задержусь не дольше десяти минут. Как вы думаете?

— Это далеко? — нерешительно спросила Беатрис.

— Баррио Валентин Альсина. Бывали в тех местах? Это там, за мостом Урибуру.

— Нет, я никогда... Мост Урибуру? О, это так далеко...

— Если не бывали, мадемуазель,— усмехнулся Гейм,— рекомендую съездить.

— Там интересно? Ну что ж... Поедем, Норма?

— Поедем, мне-то что. Би, помоги мне с этими дурацкими волосами — свяжи их тоже хвостом, что ли. Ой, какая жара, не могу...

Со стороны порта, отлого забирая вверх, с могучим раскатистым гулом прошел низко над водой двухмоторный гидроплан.

— В Асунсьон, рейсовый,— сообщил Качо, снова посмотрев на часы. — Минута в минуту. Итак, девочки?

— Сейчас едем, терпи!

Качо закурил и, отойдя к машине, снова полез в мотор. Беатрис, продолжая возиться с прической Нормы, спросила небрежным тоном:

— Почему вы рекомендовали мне туда съездить, сеньор Гейм? Там есть что-нибудь интересное, в этом, как его, Баррио Альсина?

Тот пожал плечами:

— Смотря для кого, мадемуазель. Мне почему-то кажется, что на вас это должно произвести впечатление. Самый пролетарский район столицы, царство машин и плебса. Вообще, зрелище для человека с философским складом ума.

— Вы считаете склад своего ума философским? — кольнула его Беатрис, сама не зная за что.

— Да, к сожалению, мадемуазель,— слегка поклонился сеньор Гейм.

На это Беатрис уже не нашла что ответить и только кивнула с удовлетворенным видом, будто именно этих слов и ждала.

— Готово, Норма, пошли.

— Спасибо, дорогая. Поехали, Ян! А почему ты говоришь «к сожалению»? Насчет философии, я хочу сказать.

Гейм предупредительно распахнул перед девушками обе дверцы.

— Потому что, дорогая Норма, в наши дни чувствовать себя счастливым может лишь человек с атрофированным мышлением.

— Ага,— кивнула Норма, забираясь в машину. — Ну, у меня-то оно атрофировано на все сто. Качо, ну что ты там опять копаешься, ради всего святого? Нет, это не человек, это какой-то... машинист!

Трудно было представить себе более безотрадную картину, чем эта широкая, без единого деревца улица с растрескавшимися плитами неровных тротуаров и одноэтажными зданиями, словно придавленными к земле палящими лучами послеобеденного солнца.

На той стороне, в раскрытых воротах под выцветшей вывеской «Оптовая торговля трубами и профилированным железом», небольшой портальный кран грузил на длинную автоплатформу гремящие связки железных полос. По булыжной мостовой в обоих направлениях один за другим неслись грузовики всех видов и размеров, взметая за собой пыль и обрывки бумаги и отравляя воздух едким перегаром. Одни мчались налегке, немилосердно подпрыгивая и грохоча разболтанными кузовами, другие — заваленные поклажей — шли с натужным ревом, тяжело раскачиваясь на перегруженных рессорах. Дощатые ящики с трафаретами: *«Верх — не пользоваться крючьями — осторожно»*, огромные катушки кабеля, кирпич, мотки арматурного железа, бумажные мешки с портландским цементом, наваленные горой связки зеленых, как огурцы, бананов, которые, проделав океаном семидневный путь из Сантоса, ехали теперь дозревать на складах, бензоцистерны с черно-желтым вымпелом на радиаторе — сигналом взрывоопасного груза,— все это с гулом и грохотом проносилось мимо кремового «фиата», уже полчаса стоящего у проходной.

В машине, несмотря на опущенные стекла, было душно. Сладковатый запах новой нитроэмали и пластикатовой обивки сидений — характерный запах автомобиля, не успевшего еще набегать первую тысячу километров,— мог казаться даже приятным в сочетании с речным ветерком или ароматом свежей листвы в Палермо, но здесь, примешиваясь к продымленному воздуху заводского предместья, он делал его положительно непригодным для дыхания.

— Чем заняты эти люди, сеньор Гейм? — спросила Беатрис, указывая на группу пеонов в выцветших лохмотьях, медленно кативших катушку кабеля вдоль высокой бетонной ограды, во всю длину украшенной надписью черными метровыми буквами: *Мендес и Торвальдсен.* Пеоны — загорелые до черноты, с жесткими редкими усами на скуластых лицах — шаг за шагом подталкивали тяжелую поскрипывавшую катушку, переговариваясь между собой на певучем диалекте уроженцев провинции Энтре-Риос.

— Понятия не имею, что-то связанное с электричеством,— отозвался Гейм, взглянув на часы.

— Они проводят свет,— заявила Норма,— я видела, у нас на кинте прошлым летом делали то же самое. Эту штуку разматывают, потом закапывают в землю, и тогда появляется свет. И перестаньте вы называть друг друга «сеньор» и «сеньорита»,— капризно добавила она. — Прямо слушать неприятно, имен у вас нет, что ли...

— Если мадемуазель... Если Дора Беатрис разрешит,— тотчас же сказал Гейм.

— Да, конечно... Но, боже, какие они оборванные...

— Ну, я не знаю, я сейчас возьму и лопну! — воскликнула Норма, ударив кулаком по сиденью. — Что он там сидит, этот антропофаг? Говорил — не дольше десяти минут!

Беатрис все не могла оторвать глаз от людей с катушкой. Как можно так жить? Изо дня в день — одно и то же, одно и то же... И им ведь никогда отсюда не уйти, с этих раскаленных солнцем зловонных улиц, от этих тяжестей, от своих лохмотьев... Они докатят куда-то эту штуку, потом станут катить другую, и так без конца. Сизифу, по крайней мере, было известно, за что он страдает. А эти? Право, лучше бы она сюда не приезжала...

— Нет, это немыслимо,— простонала Норма и сердитым толчком распахнула дверцу. — Посидите, я пойду искать своего монстра...

— Действуй решительнее, Норма, волоки его за шиворот. У Доры Беатрис уже совершенно несчастный вид.

— Да-да, сейчас.

Норма выскочила на тротуар и решительным шагом направилась к проходной. Пеоны приостановили работу, провожая взглядом нарядную девушку.

— Так вы разрешите называть вас по имени? — негромко спросил Гейм.

Беатрис кивнула:

— Пожалуйста, сеньор Гейм...

— Ян,— с улыбкой поправил тот, прикоснувшись к ее руке.

— Да, Ян... Называйте меня первым именем или вторым — это все равно. Дома меня называют Дорой, но мне самой больше нравится второе.

— Мне оно тоже нравится гораздо больше. И оно вам подходит... Беатрис — Беатриче... Оно такое же нежное, как и вы сами...

Беатрис отвернулась, искренне ненавидя себя в эту минуту за дурацкую способность краснеть по малейшему поводу.

— Скажите, вам тоже противно жить на свете? — тихо спросила она после недолгого молчания.

— Мне? — удивился он. — Почему, Беатриче?

— Ну... Вы сказали там, на набережной, когда мы садились в машину...

— А,— улыбнулся Ян. — У вас хорошая память!

— Просто мне часто приходит в голову то же самое,— задумчиво сказала Беатрис. — Только я не считаю себя никаким философом, совсем наоборот, я ни в чем не могу разобраться... Вы очень правильно сказали — сейчас нельзя чувствовать себя счастливым, даже если лично у тебя и нет никакого несчастья... Я думаю, это чувствуют не только те, у кого философский склад ума. Для этого, по-моему, важнее иметь сердце, чем голову...

Она застенчиво взглянула на Яна, словно испугавшись, не покажутся ли ее слова слишком уж глупыми.

— Мне приятно, что вы тоже не находите жизнь уютной,— добавила она.

— Н-да, жизнь становится гнусной штукой,— кивнул тот.— Людям нашей касты скоро вообще не останется на земле места, всё захватят плебеи. Мы, Беатриче, римляне пятого столетия, наша догорающая звезда катится к горизонту... Единственное утешение — это то, что до последней минуты ни одна каналья не отнимет у меня права сознавать себя патрицием.

— Это верно...— задумчиво согласилась Беатрис, сняв очки и протирая их перчаткой. — От плебеев уже не знаешь куда деваться...

Она опять вспомнила Мартинеса — его одутловатое лицо и черный бесшумный лимузин, вспомнила других плебеев, из Техаса. Да, скоро они захватят все, это верно...

— Взгляните-ка на них, Беатриче,— усмехнулся Ян.

— На кого?

— На наших милых плебеев, господ завтрашнего дня... — Он кивнул на пеонов, которые докатили катушку до ворот и теперь возвращались обратно, рассыпавшись по тротуару и со смехом перебрасываясь камешками и щепками. — Завтра эти человекоподобные вскарабкаются на Палатинский холм, начнут шнырять по Капитолию. Веселая перспектива, не правда ли?

— Что вы говорите глупости! — вспыхнула Беатрис. — Я имела в виду совсем других, а это просто несчастные люди, на которых жалко смотреть. Какой там Капитолий, как вам не стыдно!

— Посмотрите, что делается в России, где чернь подчинила все своей воле и своим вкусам. Нельзя быть такой наивной, Беатриче,— мягко сказал Ян.

— Я ничего не знаю про Россию, какое мне до нее дело! — сердито отозвалась Беатрис.— Я говорю, что мне жалко этих людей...

— Когда вы попадете в их лапы, они вас не пожалеют.

— ...И что они не мешают мне жить,— не слушая его, докончила она.— Мне мешают жить все эти нувориши, все эти...

— Беатриче, не будем ссориться из-за пустяков! Простите, если я оскорбил ваши чувства. — Он взял ее руку и заглянул ей в глаза. Беатрис беспомощно пошевелила пальцами, но настойчивый взгляд Гейма на мгновение как-то странно обезволил ее, и она даже не пыталась отдернуть руку, когда тот поднес ее к губам и вдруг повернул ладошкой кверху. Она успела лишь сжать пальцы в кулачок, но он поцеловал запястье у выреза перчатки.

Все это произошло в течение секунды, потом она опомнилась и сердито вырвала руку, отвернувшись к окну.

— Не делайте этого, Ян,— тихо сказала она голосом, который должен был быть решительным, но прозвучал чуть ли не умоляюще.— Не нужно, я вас прошу...

— Беатриче... Вы сами не знаете, какая вы,— прошептал он над ее ухом.— Таких, как вы, больше нет, и они больше не появятся в этом мире, где не будет места красоте. Вы последняя, Беатриче... Ваша изысканная нежность — это пурпуровая полоса на тоге, наследственный знак вымирающей касты патрициев... Вы сами не понимаете, что означает ваше присутствие на этой обреченной земле...

— Перестаньте, Ян! — воскликнула она, рывком повернув к нему пылающее лицо.— Вы сошли с ума, разве можно говорить такие вещи через час после знакомства!

— Я не сошел с ума, Беатриче,— печально отозвался тот,— не бойтесь. Вам нечего меня бояться, вы для меня не девушка, а символ... символ слишком многого, чтобы это можно было выразить в словах... Такие вещи выражает только музыка...

Беатрис не успела еще сообразить, приятно ли это неожиданное превращение из девушки в символ, как из двери проходной появилась Норма в сопровождении своего монстра. Монстр был явно не в духе.

— Прошу прощения, ребятишки,— сказал он, подойдя к машине.— Думал освободиться раньше, да вот...

Он сердито развел руками и полез в карман за сигаретами.

— Какой-нибудь очередной конфликт? — лениво спросил Ян.

— Точно,— кивнул Качо, щелкая зажигалкой.— Пришлось ругаться с делегатами, чтоб они все...

Закурив, он с жадностью затянулся и посмотрел на часы.

— История совершенно дурацкая — вчера Берман уволил одного парня, который не проработал месяца, а остальные взбесились. Уволил-то он его напрасно, но что теперь делать, черт побери! Я не могу из-за какого-то пеона дискредитировать перед всей фабрикой моего инженера...

— Ну хватит, Качо, никому это не интересно, ваши фабричные глупости,— капризно перебила Норма. — Я хочу есть, поехали обедать! Ты проголодалась, Би?

— Да нет, не особенно. Но у меня от этой ужасной пыли уже хрустит на зубах, хорошо бы выпить чего-нибудь.

— О'кэй,— сказал Качо,— решайте, куда ехать.

Норма захлопала в ладоши:

— Слушайте! А что, если мы пообедаем где-нибудь здесь? Найдем самое обыкновенное boliche[1] и завалимся туда. Ты представляешь, Би, обед в обществе пеонов, а? Так изысканно!

---

[1] В данном случае — харчевня (*исп.*).

Качо сказал, что за углом есть итальянская кантина — он часто там закусывает, когда нет времени съездить в центр. Решили идти туда.

— Перес! — крикнул Качо. Из проходной выглянул охранник.— Че, Перес, мы сходим пожевать, ты тут присматривай за коробкой, а то еще свистнут.

Охранник притронулся к околышу:

— Слушаю, патрон. Стекла-то лучше бы поднять, а то пыль набьется.

— Ну понятно,— буркнул Качо, запирая «фиат».— Тут на прошлой неделе, вот прямо напротив, украли новый «олдсмобиль»,— добавил он, обращаясь к Яну.— Да так ловко, дьяволы,— подкатили на аварийной машине, с лебедкой, подцепили крюком под передок и уволокли. Дело одной минуты. Тот тип увидел в окно — выскочил, орет, а тех уж и след простыл. Техника, а?

Беатрис забыла очки в машине и теперь шла, щурясь от неистового света,— перевалившее за полдень солнце било ей прямо в лицо. Затея идти обедать в кантину была глупой и, строго говоря, неприличной. Она покосилась на Яна с его яркой бабочкой и белокурой шевелюрой, в элегантном костюме и дорогих туфлях плетеной кожи, на вызывающе одетую Норму. Что о них подумают? Так бы и поколотила эту глупую курицу.

Кантина «Ла-Дженовеза» была расположена сразу за углом и, к счастью, на тенистой стороне улицы. Перед ней росли даже три чахлые акации с тусклой и пыльной, несмотря на весну, листвой. При виде необычных посетителей из-за стойки вышел сам хозяин дон Руджеро и проводил их в семейное отделение, ничем не отгороженное от мужского и отличающееся от него только грязными клетчатыми скатертями на столиках. Беатрис внутренне вся сжалась под взглядами посетителей кантины, готовая уже надавать себе пощечин за то, что пришла сюда сама и не отговорила остальных.

— Что прикажут синьорины? — с сильным итальянским акцентом спросил дон Руджеро, стряхнув скатерть и хлопотливо расставляя тарелки, хлебницу, оловянный прибор с солонкой, перечницей и флаконами для масла и уксуса. — Есть очень хорошее мясо, сеньор Мендес, останетесь довольны!

— Слово за вами, девочки,— уже придя в свое обычное хорошее настроение, пробасил Качо, когда они расселись. — Вы, Дора?

— Я не знаю,— смутилась Беатрис,— сегодня ведь пятница...

— В самом деле, черт побери! — Качо поднял брови с комически унылым видом.— Мы и забыли...

Норма огорченно вздохнула; ей, видно, напоминание о постном дне тоже пришлось некстати. После короткого обсуждения решили использовать посещение кантины до конца и познакомиться с традиционным итальянским блюдом. Качо заказал макароны с томатной подливкой и бутылку кьянти.

— Это самоубийство, Би,— жалобно сказала Норма, со страхом накручивая на вилку длинную макаронину.— Ты не можешь себе представить, как толстеют от мучного! Господи, на какие жертвы идешь ради спасения души...

Беатрис метнула на нее короткий взгляд, но сдержалась. Качо и Гейм ели молча; все, кроме Нормы, чувствовали себя не в своей тарелке. Впрочем, скоро внимание остальных посетителей отвлеклось от странной компании, в кантине снова стало шумно. В дальнем углу кто-то опустил монетку в щель музыкального автомата, и с заигранной пластинки задребезжал искаженный до неузнаваемости голос Альберто Кастильо. За столиком неподалеку четверо в маленьких каталонских беретах играли в кости, с сухим стуком бросая кубики из кожаного

стакана. Беатрис отпила глоток вина — кьянти было терпкое и очень кислое, но оставило приятный привкус.

— Неплохая вещь,— покосившись на нее, пробормотал Качо, придвинув к себе оплетенную пузатую бутылку с длинным горлышком и разглядывая этикетку. — Впрочем, это настоящее импортное... Иногда его делают здесь, получается дерьмо страшное... О, прошу прощения.

У Беатрис только дрогнули ресницы. Норма положила вилку и посмотрела на жениха, выразительно пожав плечами.

— Любопытно, что скажет Перон в своей завтрашней речи,— непринужденно заметил Ян.

— Мне — нет,— буркнул Качо,— я этого любопытства не испытываю. У меня завтра три сотни квалифицированных рабочих будут торчать весь день на Пласа-де-Майо, а за получкой явятся на фабрику! Две тысячи четыреста человеко-часов,— что скажете, а?

— Тише, Качо,— испуганно сказала Норма. — Ты же понимаешь, где мы находимся...

— К сожалению, да. Мы находимся в стране, где с предпринимателя дерут три шкуры и при этом еще заставляют кричать «Вива Перон!». — Качо сердитым жестом отодвинул пустую тарелку и допил вино. — В Штатах я не видел ничего подобного.

— Вы давно были в Штатах, сеньор Мендес?— спросила Беатрис.

— В прошлом году, ездил изучать производство на один из заводов «Дженерал электрик»...

— Там большая безработица?

— Зависит от отрасли промышленности. В общем — на среднем уровне, как мне показалось.

— Положения в авиационной вы не знаете?

— По правде сказать, не интересовался...

Макароны были съедены. Качо заказал порцию сыра с мармеладом, остальные ограничились фруктами и черным кофе. За кофе тоже молчали.

— Какое-то у нас сегодня похоронное настроение, каррамба,— сказал наконец Качо, обводя взглядом сидящих за столом.— В чем дело, дети? Я вижу — надо поехать встряхнуться. Хотите в Тигрэ?

— Москитов там еще нет? — нерешительно спросила Норма.

— В октябре какие же москиты, что ты. Серьезно, поедем?

— Я — за,— поднял руку Ян.— Вы, Беатриче?

— Хорошо...

Качо свистнул хозяину и остановил руку Гейма, доставшего было бумажник. «Платит старший по возрасту»,— подмигнул он, вытаскивая свой из заднего кармана брюк.

Девушки вышли из кантины первыми. Сойдя со ступенек, Беатрис увидела маленького горбуна в чисто выстиранном линялом комбинезоне, поспешно вскочившего с обочины тротуара, и быстро отвела глаза. Она всегда чувствовала к калекам какую-то пронизывающую жалость. Гейм и Качо спускались следом, говоря что-то о завтрашнем празднике.

— Сеньор Мендес,— негромко сказал вдруг горбун, подойдя к крыльцу кантины. Беатрис круто обернулась и замерла на месте, увидев сразу нахмурившееся лицо Качо.

— Сеньор Мендес, мне сказали, вы тут, и я решил вас подождать,— торопливо проговорил горбун хриплым голосом.— Сеньор Мендес, ведь вы...

— Послушайте, приятель,— перебил его Качо, глядя на калеку с высоты своего роста и двух ступенек.— Мы говорили с вами вчера, только что у меня был получасовой разговор на эту же тему с представителями синдиката. Я ведь сказал вам ясно: ничего не могу сделать,

вопросами найма и увольнения персонала ведает старший инженер. Если он счел необходимым вас уволить...

— Идемте, Беатриче,— сойдя с крыльца, сказал Ян, прикоснувшись к ее локтю.

Беатрис скользнула по нему невидящими глазами и снова отвернулась, растерянно глядя то на горбуна, то на Качо. Ян пожал плечами и достал портсигар.

— Сеньор Мендес, вы ведь знаете мое положение! — отчаянным голосом сказал горбун.— Я уже полгода не могу устроиться, у меня...

— Но, дружище, вы же должны понимать по-кастильски, черт побери! — Качо сошел на тротуар. — Я ведь вам объясняю, как обстоит дело...

— У меня больная мать, сеньор Мендес,— еще тише и еще отчаяннее сказал горбун, и кадык под его обтянутым подбородком сделал судорожное движение.— Я не могу оставить ее без лекарств, подумайте, сеньор Мендес, у вас тоже есть мать... Я ведь работал эти три недели не хуже других...

Беатрис с ужасом бросила взгляд на Качо, потом на остальных. Ян курил, стоя в стороне, прищуренными глазами разглядывая что-то в вершине акации. Норма, отойдя еще дальше, нетерпеливо ковыряла носком туфли выбоину на тротуаре.

— О, черт возьми,— воскликнул Качо,— ну как мне еще с вами тут говорить, на каком языке?..— Он выхватил бумажник и достал несколько кредиток: — Вот возьмите, это все, что я могу для вас сделать, и ради всего святого...

Не глядя, он сунул горбуну скомканные деньги и кинулся от крыльца, подхватив под руку Беатрис:

— Идемте, Дора, пора ехать...

— Подождите! — воскликнула она, упираясь.— Неужели вы не поняли, чего он от вас хочет...

— Идемте, идемте... Я все понял, сейчас поймете и вы. Идемте!

На углу она вырвала у него свою руку и оглянулась. Горбун продолжал стоять перед крыльцом кантины — маленький, почти карлик, в чисто выстиранном линялом комбинезоне. И смотрел им вслед.

— Надоела мне эта история,— сквозь зубы говорил Качо. — Берман, конечно, сволочь... Наверно, накануне напился, а утром пришел на фабрику в собачьем настроении, и тут ему подвернулся этот парень. Он ему с похмелья и ляпнул: «Здесь не цирк, горбунов нам не требуется». А парень, надо сказать, и в самом деле старался... Он сильный, горбуны многие сильные... Но и оставить в дураках старшего инженера я тоже не могу. Создашь прецедент — начнут потом бегать к тебе по каждому пустяку, жаловаться, искать защиты... Ну, всё, не думать больше об этом! Сейчас махнем в Тигрэ, развлечемся...

— Что с вами, Беатриче? — воскликнул вдруг Ян.— Вам нехорошо?

— Да... Нет, ничего,— сдавленным голосом промолвила Беатрис.— Норма, я боюсь, что не смогу поехать.

— Ну во-от, Би, что же это ты... Ой, на тебе и в самом деле лица нет, бедненькая! Это макароны — я тебе говорила, не нужно было есть эту гадость...

— Да, наверно. Вы меня завезите на Окампо, а потом поезжайте.

— Может быть, в машине вам станет лучше,— добавил Качо.

Всю дорогу Беатрис молчала, откинувшись с закрытыми глазами на спинку сиденья.

— Ну, тебе не лучше, Би? — жалобно спросила Норма, когда машина обогнула желтую зубчатую стену Пенитенсиарии, сворачивая на Лас-Эрас.— Может, поедем?

Беатрис, не открывая глаз, отрицательно мотнула головой.

Улица Окампо дремала, погруженная в сиесту. На отполированном шинами асфальте копошились солнечные блики, лиловые лепестки глициний усыпали тротуар возле ржавой калитки с кованым вензелем Альварадо. Из соседнего сада одуряюще крепко пахло какими-то цветами.

— Спасибо, Норма... Позвони на этих днях,— пробормотала Беатрис, поцеловав подругу в щеку.

— Поправляйся, Би.

— Да, да...

Коротко кивнув «мальчикам», Беатрис торопливыми шагами вошла в калитку.

На сиденье остались забытые ею очки. Увидев их, Гейм выскочил из машины и пошел следом за Беатрис.

— Вы забыли, возьмите,— сказал он, догнав ее у ступеней подъезда.

— Спасибо. — Она взяла очки, не глядя на Яна. Тот схватил ее за локоть.

— Беатриче!

— Пустите... — Беатрис, с закушенными губами, дернула руку. — Пустите, слышите...

— Беатриче, нельзя же так...

Сильным рывком она высвободила руку и вскинула на Яна полные слез глаза.

— Не смейте ко мне прикасаться!— крикнула она, задыхаясь.— Вы там присутствовали, все слышали — и остались в стороне... Патриций!

Она повернулась и побежала вверх по ступеням. Гейм посмотрел ей вслед, слегка пожал плечами и вернулся на улицу.

— Что с ней случилось? — покосился на него Качо, нажимая кнопку стартера.

Ян Гейм закинул ногу на ногу, устраиваясь поудобнее на освободившемся сиденье, и поправил складку на брюках.

— О, пустяк,— небрежно отозвался он, закуривая.— Что-то вроде легкого солнечного удара. К вечеру пройдет.

Машина мягко фыркнула и рванулась, взметая за собой лиловый цвет опавших глициний.

8

Человечек, похожий на кобрадора[1] какой-нибудь захудалой фирмы, явился к Жерару во вторник двадцать седьмого, в одиннадцать утра. «Из агентства «Эль Колибри»,— отрекомендовался он.— Позвольте удостоверение личности...» Убедившись, что имеет дело действительно с сеньором Бюиссонье, человечек уныло высморкался, расстегнул истрепанный дешевый портфель и, порывшись в его недрах, вручил Жерару запечатанный сургучом конверт. Когда рассыльный ушел, Жерар уселся в кресло, откупорил жестянку табака и стал медленно набивать трубку, не сводя глаз с лежащего перед ним конверта. Противно, что пришлось прибегать к такому способу, но...

«Новый фактор», так неожиданно свалившийся ему на голову, сразу вытеснил из нее все другие заботы. Речь шла о судьбе Элен, и если на свою ему было наплевать, то в этом случае нужно было что-то решать и что-то делать. Он не мог не понять в тот день, что происходило между его женой и этим Ларральде. Парень влюблен — это видно

[1] Cobrador — лицо, получающее деньги в оплату счетов (*исп.*).

за десять миль. Что чувствует сама Элен — сказать трудно, но во всяком случае она сидела и слушала. Что же должен теперь делать он сам? Право на ревность имеет только любящий. Вопрос, следовательно, сводится к тому, чтобы получше узнать этого молодого медика и, в зависимости от того, что он собою представляет, спасать от него Элен или... или предоставить этой истории идти своим путем.

Ему самому он понравился. Понравился настолько, что он тогда почувствовал вдруг мучительную зависть — зависть к чужой молодости, умеющей смотреть такими глазами на любимую женщину, не обращая внимания ни на что в мире. Разве он, Жерар Бюиссонье, опустошенный и заблудившийся в жизни,— разве сможет он дать ей хоть подобие такого чувства? Если, разумеется, лекарь — порядочный человек...

Вот это и нужно было выяснить. Но как? Однажды ему попалось на глаза это напечатанное петитом объявление в нижнем углу газетной полосы: «Частное сыскное агентство «Эль Колибри» — коммерческие расследования, бракоразводные дела, розыски лиц. Зарегистрировано в федеральной полиции. Большой опыт, оплата умеренная, гарантируется строжайшее соблюдение тайны». Сначала его удивило дурацкое название агентства, потом он подумал, что — как ни противно обращаться к ищейкам — это, пожалуй, и будет наиболее разумное решение вопроса.

Жерар вздохнул, аккуратно уминая пальцем длинные золотистые стружки кэпстена. Действительно ли голос Бебы в телефонной трубке стал в эти последние дни звучать как-то иначе? Может быть, это ему просто кажется. И об этом Ларральде она ни разу не упомянула ни слова. Правда, он и не спрашивал, но естественно было бы с ее стороны самой заговорить о той встрече в кафе...

Ломая мягкие восковые спички, он закурил и несколько секунд сидел неподвижно, окутываясь голубым дымом, бессмысленно уставившись на портрет кинозвезды на спичечной этикетке. Потом перевернул коробочку и стал считать буквы надписи: «Спички-люкс „Виктория" — 35 штук — Южноамериканская спичечная компания». А, ч-черт!

Он швырнул коробку на стол и, потянувшись за конвертом, сломал печать.

«Буэнос-Айрес, 26.10.53

Уважаемый сеньор,

согласно договоренности сообщаем результаты расследования относительно интересующего Вас лица.

Дон Эрменехильдо Ларральде, окончивший в текущем году медицинский факультет Буэнос-Айресского университета, в настоящий момент проходит профессиональную стажировку в поликлиническом госпитале Роусон и живет вместе со своей матерью, доньей Марией Консепсьон Ларральде, урожденной Ольмедо, по адресу — улица Часкомус 6920, Баррио Нуэва-Чикаго (Матадерос). Состоянием не обладает, холост, год рождения 1928, состоит на учете в ФП в связи с неоднократным активным участием в студенческих беспорядках на протяжении последних четырех лет. Несколько раз подвергался кратковременному заключению, под судом не был. Собранные нашей агентурой отзывы бывших однокурсников сеньора Л., а также его коллег по терапевтическому отделению госпиталя Роусон единодушно характеризуют его как хорошего товарища, обладающего вспыльчивым и несколько экспансивным характером. Политические убеждения — умеренно-левые. Полученные нами сведения об интимной стороне жизни сеньора Л. не дают никаких оснований сомневаться в его мужской порядочности.

Такими же положительными оказались отзывы соседей и коммерсантов о семье Ларральде в целом. Старший брат, дон Пабло, участвовал во второй мировой войне в качестве волонтера на стороне союзников и после войны остался в Италии, где женился и работает механиком (Виа Гарибальди 26—8, Турин). Отец, покойный дон Анастасио Ларральде, до момента своей кончины в 1940 году занимал должность младшего бухгалтера в одном из агентств Государственной газовой компании, пользуясь репутацией честного и...»

Жерар пропустил перечисление заслуг покойного дона Анастасио, невнимательно пробежал список знакомств дона Эрменехильдо, взял письмо за уголок и сжег над пепельницей.

Он побродил по комнате, пальцем нарисовал рожицу на пыльной крышке телевизора и свалился на диван, сцепив кисти рук под головой и задумчиво насвистывая «На Авиньонском мосту».

Что ж, картина в общем ясна. Надо полагать, эти «колибри» слишком дорожат своей репутацией, чтобы морочить клиентам головы. Да и к тому же все это совпадает с его личным впечатлением. Трудно представить себе прохвоста с таким лицом...

Уставясь неподвижным взглядом в потолок, он долго лежал не шевелясь, равнодушно перебирая в памяти обрывки воспоминаний. Характерный, всегда почему-то отдающий мылом, запах парижского метро. Стремительное мелькание реклам за окном вагона — «Дюбо — Дюбон — Дюбоннэ, Дюбо — Дюбон...» Загорелые ноги Дезире на пляже Жюан-ле-Пен с присохшими к коже песчинками и крошечными ракушками. Изъеденная столетиями поверхность выветрившегося серого камня на верхней галерее Нотр-Дам. Веселый толстяк марселец — буфетчик из третьего класса пакетбота «Груа». Неправдоподобные закаты над Южной Атлантикой. Танки дивизии Леклерка, утопающие в грязи на размытых осенними дождями полях под Страсбургом. Похожий на Клемансо старик Пьер, макизар, умерший в госпитале. Белые флаги среди развалин прирейнских городков. Ослепительная улыбка какой-то мулатки в порту Рио и зеленые зерна кофе, хрустящие под ногами на мостовых Сантоса...

Когда онемели закинутые под голову руки, Жерар повернулся на бок и закрыл глаза. Все это хорошо, но нужно решать, как быть дальше — с Элен, с этим мальчишкой Ларральде. Решать? Или предоставить решение им самим, вернее — ей? Это было бы, разумеется, самое правильное... Но как это сделать?

Не скажешь же ей прямо: «Послушай, шери, я никакого счастья дать тебе не могу, поэтому присмотрись получше к этому молодому тубибу...»

Около двух часов Жерар отправился обедать. Погода была прохладная, пасмурная, после вчерашней неистовой жары видеть серенькое, напоминающее Европу небо было особенно отрадно.

С удовольствием вдыхая свежий не по-аргентински воздух, уже пахнущий дождем, Жерар пешком проделал свой обычный путь — по Кальяо до площади Конгресса и оттуда вниз, по Авенида-де-Майо.

Эта центральная артерия столицы, по прямой линии соединяющая правительственный дворец «Каса Росада» со зданием Национального конгресса, всегда привлекала его своим неуловимым сходством с некоторыми авеню Парижа. Трудно даже было определить, что именно придавало ей этот неожиданно парижский оттенок: то ли солидная и сдержанная архитектура эпохи «Fin de siècle»; то ли выставленные прямо на тротуар круглые мраморные столики, укрытые от солнца парусиновыми тентами и густой зеленью старых платанов; то ли, наконец, замыкающее перспективу здание Конгресса с его высоким купо-

лом, зеленоватым от бронзовой окиси и издали похожим на купол парижского Пантеона...

Жерар не торопился — обедать шел скорее по обязанности, есть ему не хотелось. Держа руки в карманах и посасывая погасшую трубку, он неторопливо брел по тротуару, отличаясь от других фланирующих бездельников своими светлыми растрепанными волосами и небрежностью костюма: коричневая спортивная рубашка без галстука и расстегнутый пиджак из недорогого клетчатого тропикаля песочного цвета резко выделяли его из толпы аргентинцев, по обыкновению напомаженных, с безукоризненными узлами галстуков и белоснежными воротничками.

Витрины магазина кожаных изделий, как всегда, вызвали воспоминание о старом сатире Руффо, паскуднике. Жерар выругался сквозь зубы, привычно и равнодушно. У открытых окон полуподвального этажа газеты «Критика» несли свою обычную вахту жадные к технике ребятишки, с восторгом заглядывая в освещенную электричеством преисподнюю, откуда пахло нагретым маслом и типографской краской и катился тяжкий гул ротационных машин, изрыгающих первый тираж вечернего выпуска. Поглядывая по сторонам, иногда задерживаясь перед витринами, Жерар добрел до гибельного для рассеянных пешеходов места — перекрестка с проспектом 9-го Июля — и, выждав момент и изловчившись, ухитрился в три перебежки достичь восточного тротуара.

От прогулки на свежем воздухе пришел аппетит. Жерар взглянул на часы и решил, что еще успеет до перерыва забежать в магазин французской книги на Майпу. У «Ашетт» он, как всегда, застрял надолго, и, когда наконец вышел, держа под мышкой пачку журналов и газет, на асфальте уже высыпали темные крапины первых дождевых капель. Он едва успел поравняться с витриной зоологического магазина, как вдруг дождь, собиравшийся с самого утра, разразился настоящим ливнем. Сразу потемнело, асфальт превратился в рябое от брызг зеркало, побежали прохожие, прикрываясь сложенными газетами.

Жерар отошел к самой витрине, где можно было переждать ливень под выступом карниза. За зеркальным стеклом возились на соломе щенки — неуклюжие, как медвежата, овчарки с бессмысленными и любопытными глазами, игрушечные черные скотчтерьеры, юркие и уже сейчас двуличные таксы, похожие на рыженьких лопоухих ящериц. В стороне, растопырив толстые лапы, сидел пегий сенбернар и со вкусом зевал, показывая розовое ребристое нёбо и белые иголочки первых зубов. Жерар, улыбаясь, долго смотрел на неуклюжую щенячью возню, потом набил трубку и, прижав пакет локтем, развернул номер «Париматч».

Монотонный шум дождя стал быстро стихать. Жерар поднял голову. Через улицу, прижимая к груди маленький портфель, перебежала девушка в белом свитере и черной разлетающейся юбке. Вскочив под карниз «Пауля», где кроме Жерара спасалось от дождя еще несколько человек, она растерянно посмотрела на свои ноги в открытых лодочках, которые, очевидно, уже успели набрать воды. Ее очень юное, порозовевшее от бега лицо привлекло внимание Жерара какой-то особой, редко встречающейся чистотой линий и общей гармонией черт, случайно или намеренно подчеркнутых прической в виде небольшого греческого узла. В темных, слегка вьющихся волосах девушки, свободно зачесанных назад, запутались дождевые капли. Стряхнув их рукой в узкой перчатке, она расстегнула портфель и достала платочек, и тут ее взгляд упал на витрину со щенками.

Жерар увидел, как широко открылись ее блестящие миндалевидные глаза. Тихонько ахнув, девушка шагнула к витрине и замерла, опустив расстегнутый портфель. Жерар скосил глаза — в портфеле лежали

книги, аккуратно обернутые в синюю бумагу, с торчащими вместо закладок пестрыми конфетными обертками, и толстая общая тетрадь в муаровом переплете, с кляксой на корешке.

Дождь кончился сразу — словно перекрыли душ. Неожиданно проглянуло солнце, мокрый асфальт заблестел, стало теплее. «Начнет сейчас парить, как в турецкой бане»,— подумал недовольно Жерар, сворачивая свой «Пари-матч».

Взглянув на часы, он выколотил трубку о каблук и сунул ее в карман. На углу Ривадавии что-то заставило его оглянуться — девушка, почти прижавшись носом к стеклу, стучала пальцем, стараясь привлечь внимание обитателей витрины. Ее восторженное лицо в профиль было еще более прелестным.

В закусочной Жерар заказал бутылку пива и бифштекс с жареным картофелем и, сев за столик подальше, зарылся в газеты. Принесли обед, он машинально ел и пил, не отрываясь от чтения и все больше хмурясь.

Вскинув брови, он пробежал глазами таблицу новых, повышенных цен. Квартирная плата, уголь, газ, электричество, хлеб, мясо... Чертовщина какая-то — уже восемь лет, как кончилась война, и никакого улучшения... Впрочем, кой дьявол кончилась, карты фронтов только изменились... Вот куда идут франки: «В последних числах сентября на аэродроме авиастроительной компании Марсель Дассо, под Мариньяном, были с успехом проведены испытания нового турбореактивного истребителя «Мистэр IV-А», снабженного улучшенным вариантом двигателя типа «Вердон». Пилотируемый кавалером Почетного легиона полковником Розановым, истребитель достиг проектных потолка и скорости. На испытаниях присутствовали представители военно-воздушных сил и министерства воздухоплавания». Жерар пожал плечами и за уголок вытащил из пачки журнал. С яркой обложки — искоса и чуть потупившись — глядела знаменитая звезда экрана с наивными глазами пансионерки и неправдоподобным бюстом, открытым ровно наполовину. Каштаново-рыжие волосы звезды, тщательно растрепанные по последней моде, были точь-в-точь как у Элен, когда той приходило вдруг в голову соорудить себе прическу «экзистенциалистка».

— Сладкое, сеньор? — спросил подошедший мосо, убирая хлеб и тарелку.

— Нет, не хочу,— не сразу ответил Жерар, оторвавшись от своих мыслей. — Сколько там с меня?

Да, волосы как у нее, очень похоже. Он подавил вздох. Что ж, так ты ничего и не придумал, старик... А что тут придумаешь? Предоставить все времени — единственное, что остается. Хорошо бы вдруг испариться на какой-то срок, чтобы дать Элен полную свободу выбора без всякого давления. Впрочем, давление все равно будет — со стороны Ларральде. Еще бы, этот мальчишка только обрадуется — понятно, как же не воспользоваться такой роскошной оказией: соперник, муж, вдруг взял и испарился, тут только и действуй...

Он закурил, посидел еще несколько минут, слушая приятную радиомузыку, потом рассовал по карманам газеты и журналы и вышел на улицу. Выглянувшее было солнце опять спряталось, было прохладно, на Авенида-де-Майо непривычно для города пахла свежестью омытая дождем листва платанов. Жерара вдруг охватила острая тоска по природе — не по тому «лону природы», о котором обычно мечтают горожане и которое так идеально представлено в «Бельявисте», а по настоящей природе, вдали от железных дорог и автострад. Ведь Аргентины он совершенно не знает, хотя живет здесь уже четвертый год. А здесь, наверно, есть что посмотреть, еще бы! Взять хотя бы Анды, или северные провинции с их субтропическими джунглями — Чако, «зе-

леный ад» Верхней Параны, развалины древних иезуитских построек в Мисионес, водопады Игуасу, да мало ли что еще. Уехать бы сейчас, забраться в самую глушь и пробродить там несколько месяцев, как когда-то бродил по Камарге. Да, это было бы здорово... Во всех отношениях здорово, даже в свете этой проклятой задачки, навязанной ему мальчишкой-медиком...

Захваченный неожиданно пришедшей мыслью, Жерар долго бродил по улицам. На Ретиро он пил пиво в шумном и чадном матросском кабаке, где, не дожидаясь вечера, уже подстерегали клиентов девчонки в боевой раскраске и между столиками шлялись небритые личности, вполголоса предлагая порнографические открытки. Когда мимо окон проходил патруль морской префектуры, проститутки исчезали с неестественной быстротой, словно растворяясь в воздухе, а вместо открыток появлялись бритвенные лезвия и шнурки для ботинок. Полгода назад в одном из подобных мест Жерар целый день пропьянствовал в компании каких-то сутенеров и своих земляков, матросов с «Лавуазье»; кончилось это веселье мрачно: сутенеры свистнули у него часы и бумажник, подбили глаз и, если бы не матросы, ловко отбивавшиеся бутылками, наверняка оставили бы его под столом с навахой в боку. Сейчас он сидел трезвый и сосредоточенный, дымил трубкой и потягивал пиво, в сотый раз взвешивая все «за» и «против» своей новой затеи.

— Скучаем, rubio [1]? — хрипловатым контральто спросила, подбочениясь перед его столиком, хищного вида брюнетка с грубо намалеванным ртом. — Могу развлечь, я пока не занята!

— Сомневаюсь, что тебе это удастся,— не выпуская из зубов трубки, ответил Жерар. — Сама усохнешь от скуки...

— Ты думаешь? — Брюнетка прищурила глаз.—С настоящим мужчиной я не соскучусь, будь покоен!

— Еще бы,— кивнул Жерар, окутываясь дымом. — С настоящим мужчиной никто не соскучится, что за вопрос. Но я-то уже не настоящий.

Брюнетка поглядела на него оценивающе:

— Что-то рановато, рубио.

— Зато есть что вспомнить,— подмигнул Жерар.

— Andá! — решительно сказала брюнетка. — Об этаких вещах не говорят таким тоном. Скажи лучше, что у тебя нету пятидесяти манго [2].

Жерар достал бумажник и выбросил на стол зеленую кредитку:

— Забирай свои пятьдесят манго и отчаливай. Будем считать, что твоя сегодняшняя программа выполнена.

Брюнетка молниеносным движением спрятала кредитку за чулок и только после этого изумилась:

— Ты это серьезно? А она настоящая?

— Не знаю, красотка, я ее не делал,— пожал плечами Жерар. — Есть еще вопросы? В таком случае, адиос.

— Адиос, рубио, миллион спасибо! — Брюнетка обольстительно улыбнулась и отошла, одергивая на бедрах чересчур узкую юбку.

— Иди с-сюда, Лола, поболтаем,— заплетающимся языком позвал ее из-за соседнего столика пьяный стивидор.

— Иди сам в..... — непринужденно бросила она, проходя мимо.

Трубка Жерара погасла. Он сидел опустив голову, машинальными и точными движениями вычерчивая аттический меандр по окружности картонной подставки со штампом «Лучшее пиво называется Кильмес». Галдеж и кухонный чад от вертела нисколько не мешали ему думать, в этой обстановке он даже чувствовал себя лучше, чем в гнетущей

---

[1] Блондин (*исп.*), фамильярное обращение.

[2] Andá! — Иди ты! Манго — песо, денежная единица в Аргентине (*жарг.*).

тишине Аллановой квартиры. Чем больше он обдумывал свой план — уехать на пару месяцев попутешествовать, предоставив Элен полную свободу действий,— тем более разумным он ему казался. С Ларральде, надо полагать, она будет встречаться; если парень не слишком уж растяпа — за два месяца он либо добьется своего, либо получит окончательную отставку. В то, что Элен способна стать любовницей другого, продолжая прежние отношения с ним, Жераром, он не верил. Ну, а если... Что ж, в таком случае он смог бы порвать с ней без всяких угрызений совести.

«Короче говоря,— сказал себе Жерар, продолжая чертить орнамент,— ты хочешь от нее избавиться и ищешь наиболее удобный предлог».

Что ж, верно. Именно так и обстоит дело. Но избавиться от нее он хочет ради нее самой, и правильнее было бы назвать это избавлением Элен от него, Жерара. Ошибка — большая, непоправимая ошибка — была допущена им в самом начале, в тот вечер, когда она приехала к нему, получив написанное в истерическом состоянии письмо. Ведь он уже тогда чувствовал, что ответить на любовь по-настоящему никогда не сумеет...

Он повертел украшенный меандром кружок. Да, нужно уехать на некоторое время. Пусть они узнают друг друга получше, присмотрятся, привыкнут... Знакомы ведь они, очевидно, совсем недавно, иначе были бы на «ты». А там видно будет.

На Британской башне пробило семь, когда Жерар вышел из кабака. В увеселительном парке Ретиро уже гремела ярмарочная музыка, где-то за вокзалом перекликались паровозные гудки, на территории порта лязгали и погромыхивали буфера маневрирующего состава. В очищенном южным ветром небе, пламенея в лучах догорающего солнца, бежали на север последние обрывки туч. Над зеленой лужайкой, полого поднимающейся к разбитому на площади Сан-Мартин скверу, врезанная в огромное оранжево-бирюзовое полотно заката, высилась уступами тридцатиэтажная бетонная призма Эдифисио Каванаг — высилась надменно и непоколебимо, как форпост другого Буэнос-Айреса, города зеркальных витрин и вылощенных авеню, господствующего над грязью, нищетой и пороком, над чадными кабаками портовой зоны и беспросветным рабством заводских предместий.

«Сейчас семь,— соображал Жерар, сверив свои часы с курантами Британской башни. — Заехать за вещами — и сразу на вокзал... Если не перехвачу луханский автобус, можно поездом до Морено, а там что-нибудь найду...»

Автобус взревел мотором и ушел в ночь, волоча за собою хвост дизельного перегара и быстро утихающий гул. Жерар достал карманный фонарик, который догадался купить на Пласа Онсе, осветил мостик через кювет и столб с покосившимся указателем: «Кинта „Бельявиста“ — 3 км. Приватная дорога, проезд воспрещен».

Здесь, очевидно, дождь лил основательно; покрытое гравием полотно «приватной дороги» было сухим, но в кюветах блестела вода. Опьяняюще пахло эвкалиптами, свежестью полей и мокрой землей, остро сияли крупные умытые звезды. По правую руку, подобно свету встающей луны, разливалось в небе электрическое зарево столицы.

Жерар шел, бодро размахивая легким саквояжем, с удовольствием прислушиваясь к сонному шепоту эвкалиптов и хрусту гравия под ногами. Теперь, когда решение было принято, он верил в его правильность, в то, что все устроится к лучшему. Если раньше каждое напоминание об Элен было для него почти мучительным, то сейчас он думал

о ней с искренней нежностью и давно не испытываемым нетерпением. В этот вечер, в тишине омытых весенним ливнем полей, он чувствовал себя моложе на десяток лет.

Калитка оказалась не заперта, он вошел и по-хозяйски задвинул за собой засов. В темном туннеле аллеи еще крепче казался горьковатый аромат эвкалиптов, из-за густых зарослей жимолости просвечивали огни дома и слышалась музыка — Беба, очевидно, сидела у радио.

В ответ на его звонок где-то в комнатах басовито залаял Макбет. Музыка тотчас же оборвалась.

— Кто там? — раздался через несколько секунд настороженный голос Бебы.

— Это я, шери,— со стукнувшим вдруг сердцем отозвался Жерар.— Я ведь обещал, вот и приехал...

Голос за дверью ахнул, послышалась торопливая возня с запором, и Беба повисла у него на шее — ему пришлось внести ее в холл. Макбет, рассвирепевший не на шутку, прыгал вокруг с оглушительным лаем, гремя ошейником и норовя ухватить пришельца за брюки.

— Да хватит тебе! — крикнул наконец Жерар, оторвавшись от Бебы.— Куш, Макбет! Ты что, не узнаешь, что ли? А ну, поди сюда... Поди сюда, Макбет, ну довольно, довольно...

Пса с трудом увели в столовую и там успокоили соединенными усилиями, убедив в добрых намерениях позднего гостя. Гладя дога между ушей, Жерар поднял голову и посмотрел на сияющую от радости Бебу. В своей черной с золотом пижаме она выглядела сейчас еще соблазнительнее, чем он представлял ее себе двадцать минут назад.

— Если бы ты позвонил, Херардо,— тараторила она, хлопотливо и бестолково накрывая на стол и роняя то нож, то салфетку,— я бы выехала тебя встретить...

Жерар подошел к Бебе сзади и обнял ее, поцеловав в затылок.

— Незачем было меня встречать, я отлично прогулялся, подышал воздухом. У вас тут был сильный дождь?

— Пусти, Херардо, пусти, погоди минутку... Дождь? О да, был страшный ливень, часов с двух, как раз во время сиесты... Я так чудно поспала, под дождь всегда хорошо спится. Ты что хочешь на ужин?

— Тебя,— улыбнулся он.— Тебя, и ничего больше.

— Хорошо, но поужинать ты должен. Серьезно, Херардо, что тебе приготовить?

— Ну, если уж тебе так хочется повозиться на кухне, то сделай омлет из двух яиц и завари кофе, побольше и покрепче. Донья Мария уже спит?

— Наверное. Ничего, я приготовлю все сама...

Жерар прошел в свою комнату, разложил вынутые из саквояжа вещи — туалетные принадлежности, жестянку табака, несколько книг, потом принял ванну и переоделся.

В столовую он вышел в домашней куртке серого сукна с темно-синими шелковыми отворотами, которую обнаружил в своем шкафу,— очевидно, это был подарок.

— Нравится? — улыбнулась Беба, входя с подносом и оглядев его.— По-моему, тебе идет.

— Слишком уж шикарно, пожалуй? Ну, садись, садись, я проголодался...

— Одну минутку, я нарежу томаты...

Жерар улыбнулся — то же меню, вкусы Бебы не изменились. Ни в еде, ни в музыке: из гостиной доносились приглушенные вопли джаза.

— Ты все же слушала бы хоть иногда что-нибудь приличное,— сказал он Бебе.

— Ладно, когда-нибудь послушаю,— согласилась та.— Садись, Херардо, все готово...

Они сели друг против друга, разделенные полированной поверхностью стола, в которой отражалась старомодная хрустальная люстра. Прожевав несколько кусков, Жерар решительно поднялся и перенес свой прибор к Бебе, усевшись рядом с ней.

— Так-то лучше,— пробормотал он,— а то сидим, как на приеме у господина президента. Ну, рассказывай, как живешь...

Они расправились с омлетом и помидорами, болтая о всякой всячине. Беба рассказала о своих прогулках по окрестностям, о дружбе Макбета с уродливым приблудным котенком, которого назвали Дон Фульхенсио, о том, что часто помогает садовнику. За кофе она задала вопрос, который давно вертелся у нее на языке:

— Ты надолго, Херардо?

— Видишь ли,— непринужденно сказал он, разглядывая что-то в своей чашке,— вообще да. Но приблизительно через недельку мне придется съездить на некоторое время в одно место. А потом вернусь уже насовсем! — Он поднял голову и подмигнул внимательно глядевшей на него Бебе: — Вот так, шери.

Та ничего не ответила и в свою очередь опустила глаза.

— А мне... нельзя с тобой? — спросила она, помолчав.

Жерар спокойно допил кофе.

— Просто нет смысла,— сказал он, ставя чашку.— Ничего интересного, деловая поездка, тебе будет скучно. У тебя ведь здесь больше возможностей развлекаться... Совсем рядом с городом, и машина в твоем распоряжении.

Беба сразу поняла намек. Европейская женщина на ее месте, скорее всего, тут же рассказала бы о разговоре с Ларральде, и все стало бы ясным и понятным; Беба этого не сделала. То, что муж ничего не спрашивает у своей жены о мужчине, с которым она встречается за его спиной и с которым он видел ее собственными глазами, было для нее, аргентинки, попросту непостижимо. Не зная, что и думать о поведении Херардо, она совершенно растерялась и замолчала.

Жерар подпер кулаком щеку, покручивая пустую чашку. В соседней комнате хрипло ревел Луи Армстронг, и оттого, что приемник был приглушен, голос его казался особенно неистовым. Нет никакого сомнения, между Элен и Ларральде что-то происходит. Почему она ни слова не говорит о той встрече? Что ж, видимо, он не ошибся...

Жерар вздохнул и встал из-за стола.

— Посидим еще? Или ты...

— Нет-нет, спать мне не хочется.

Беба кликнула Макбета и вышла в гостиную. Жерар подтащил к пустому камину два кресла, усадил Бебу и сам сел напротив, закурив трубку.

— Не жалеешь, что переехала в деревню? — спросил он, потрепав улегшегося между ними Макбета.

— Нет... почему же? Летом здесь хорошо...

Они помолчали. Потом Жерар сказал:

— Ты что-то вдруг загрустила, шери. В чем дело? У тебя какие-нибудь... неприятности?

У Бебы заколотилось сердце. Если он что-то подозревает, то почему не спросит прямо? Ясно, она ему уже не нужна, если он даже не дает себе труда поинтересоваться, с кем она встречается в его отсутствие...

— Нет... какие же неприятности? — Она взяла щипцы и принялась сбивать золу с обгорелого полена в камине.— Никаких неприятностей у меня нет...

— Ну, я просто спросил. А знаешь, эти кресла не особенно удобны. Ты бы купила что-нибудь более современное, я видел недавно занятное кресло в одном магазине на Чаркас...

Разговор перешел на пустяки. О том, куда и надолго ли едет Жерар, Беба так и не спросила. Они проболтали с полчаса, потом Макбет поднялся и стал бродить по комнате, нервно — с подвывом — зевая, тыкался носом в углы, скреб передней лапой пол. Вернувшись к камину, он сунул в него морду, обнюхал холодный пепел и шумно чихнул.

— Лежи, лежи, старик,— сказал Жерар, похлопывая его по спине,— чего волнуешься?

— Он хочет спать и нервничает, как ты не понимаешь...— Беба встала и взяла дога за ошейник.— Правда, Макбет? Спать? Я отведу его в холл, Херардо, там у него спальня. Пошли, зверь...

Покосившись ей вслед, Жерар выколотил трубку о каминную решетку и откинулся на спинку кресла, закрыв глаза.

Элен безусловно заинтересована этим врачом, иначе не стала бы так упорно молчать о нем, не смутилась бы, не полезла неизвестно зачем в камин. Вопрос, конечно,— насколько она заинтересована, серьезное ли это чувство или просто увлечение. Ну, ломать над этим голову нечего, все выяснится в свое время. Нужно будет в четверг или в пятницу съездить в город, договориться с прокатным агентством насчет машины. Лучше всего джип, чтобы не зависеть от состояния дорог и погоды. Краски, подрамники... Впрочем, в ателье он все равно зайдет — там и выяснится, что нужно купить.

Закончив хлопотливую процедуру укладывания Макбета, вернулась Беба. В гостиной горел один только торшер с потемневшим от старости пергаментным абажуром, и этот желтый свет был слишком слаб для того, чтобы Жерар мог из своего угла разглядеть выражение ее глаз, но показались они ему очень печальными.

— Ну как, малыш спит? Поди-ка сюда...

Беба несмело подошла и едва слышно вздохнула, когда он взял ее за руки.

— В чем дело, Элен? Тебе неприятно, что я уезжаю? Глупенькая, это ведь ненадолго... Садись, садись...

Он обнял ее и привлек к себе. Осторожно разомкнув его руки, Беба присела на подлокотник и, повернув голову, печально посмотрела в его глаза.

— Ну что, Херардо? — спросила она с упреком.

— Прежде всего то, что сидеть на этой штуке неудобно. Давай-ка лучше сюда...

Беба спрятала лицо у него на плече и замерла. Из приемника лились вкрадчиво-мяукающие аккорды гавайских гитар, потом они оборвались, и диктор провозгласил торжественно, словно объявлял номер первого приза рождественской лотереи:

— А теперь, друзья слушатели, Радио Сплендид предлагает вам сюрприз этого вечера. Внимание, внимание! Сегодня у наших микрофонов — Дальва да Оливейра, «золотой голос Бразилии»! Свое первое выступление перед аргентинской публикой сеньорита да Оливейра начинает песенкой, уже покорившей сердца всего континента,— «Maria Escandalosa»! Прежде чем...

Беба сорвалась с колен Жерара и бросилась к радио, поворотом ручки оборвав торжественный голос на полуслове. Облокотившись на крышку аппарата, она закрыла лицо руками. Жерар встал. Подойдя к Бебе, он подхватил ее под колени и поднял на руки.

— Ну-у, шери, это уже совсем нехорошо,— ласково прошептал он, целуя ее зажмуренные глаза и чувствуя на губах соленый вкус слез.— Тебя, я вижу, тоже пора укладывать...

Среди ночи он проснулся, разбуженный каким-то сном. Одно из окон было распахнуто настежь, за ним сияли и переливались над темными кущами деревьев лучистые звезды. В комнате, смешиваясь со слабым ароматом духов, стоял горьковатый и терпкий запах эвкалиптов.

Вздрогнув от холода, Жерар плотнее укутал Бебу тонким верблюжьим одеялом и приподнялся на локте. На ее лице, едва освещенном отблеском ночника, было выражение полного покоя. Он смотрел на нее, опираясь на локоть и осторожно шевеля пальцем шелковистые завитки волос над ее ухом, потом лег, натягивая на плечи одеяло. Беба сонно вздохнула и дрогнула губами, сунув ладонь себе под щеку. Где-то перекликались петухи — его всегда поражала дикая манера аргентинских петухов орать в любой час ночи, не признавая никакого расписания.

Он вытянулся на спине и закрыл глаза, пытаясь снова заснуть. Кофе, очевидно, был слишком крепкий, не нужно было его пить. Да, сердце начинает сдавать — еще год назад он мог выпить литр кофе и спать как сурок. И ведь прошлой ночью он тоже не сомкнул глаз — читал Малапарте.

Он улыбнулся, вспомнив старый литературный спор о том, каким словом — «шелковистая» или «бархатистая» — можно точнее определить кожу молодой женщины. Еще говорят, что в прежние времена у людей не было серьезных проблем! А как, в самом деле, правильнее сказать — «бархатистая» или «шелковистая»? Любопытно, действительно... Он протянул под одеялом руку и погладил Бебу — осторожно, чтобы не разбудить. Да, скорее шелковистая. Как же заснуть, вот дьявольщина... Определенно Элен перестаралась с этим кофе.

Решив прибегнуть к испытанному бабушкину средству, Жерар представил себе изгородь на пастбище и принялся терпеливо считать прыгающих через нее барашков. Когда-то в детстве это действительно помогало уснуть, но сейчас барашки прыгали и прыгали, их набралось уже по эту сторону изгороди целое стадо, а сон все не приходил.

Сотый с чем-то барашек перескочил изгородь и вдруг уселся, растопырив толстые лапы, и сладко зевнул, показывая маленькое ребристое нёбо, розовое, как внутренность океанской ракушки. Жерар, уже засыпая, удивился его неожиданному сходству со щенком. Ну да, с тем самым, в витрине...

Сердце его сжалось вдруг такой тревогой, таким мгновенным и острым предчувствием беды, что он вздрогнул и очнулся от дремоты.

«Что такое,— спросил он сам себя,— что это со мной творится?.. Все этот кофе, будь он неладен, никогда в жизни не выпью больше на ночь ни капли. Так вдруг испугаться неизвестно чего! Воспоминание о щенке... Да нет, не о щенке — о той девчонке, что...»

Странно. Встречал он ее где-то раньше, что ли? Нет, никогда, насколько помнится. Нет, такое лицо он бы не забыл. Оно встало перед ним очень отчетливо — юное, чуть задохнувшееся от бега, с нежным румянцем и запутавшимся в волосах бисером дождевых капель,— и он снова подумал, что еще ни разу не видел такого ясного и такого гармоничного воплощения девичьей прелести. Но почему с этим воспоминанием связано что-то тоскливое, мучительное?..

— Проклятые нервы,— пробормотал он вслух сквозь зубы, резко повернувшись на бок.

Беба вздохнула и потерлась щекой о подушку.

— Херардо...— пролепетала она сквозь сон.— Ты спишь?...

— Сплю, сплю...

Б. Айрес, 19.XI.53.

«М-ру Ф. Хартфилду
ВЕРМОНТ-СТРИТ 753 УИЛЛОУ-СПРИНГС.
НЬЮ-МЕКСИКО США

Дорогой Фрэнки,
прости, я не писала почти месяц, меня абсолютно замучили экзамены. Твое письмо от 26-го прошлого я получила, горячо поздравляю тебя с устройством в «Консолидэйтед эйркрафт». Ты ведь ждал этого очень-очень долго, как я за тебя рада, милый. Надеюсь, тебе сразу дали интересную работу.

Фрэнки, мой хороший, я много думала над твоим письмом. И я так ничего и не придумала. Знаешь, Фрэнки, у меня все это время совершенно ужасное настроение, ты просто не можешь представить. А тут еще эти экзамены! И вот пришло твое письмо, а настроение у меня (видишь, я пишу совсем-совсем искренне, как говорила бы в исповедальне) вовсе не улучшилось. Хотя ты написал мне столько хороших вещей и я должна была бы радоваться. Всякая нормальная девушка на моем месте радовалась бы. Конечно, я очень обрадовалась за тебя, но как-то иначе. Просто за тебя, понимаешь?

Фрэнк! Один раз, еще до получения твоего последнего письма, я разговаривала с папой, и он сказал страшную вещь. Он сказал вот что: если мы с тобой любим друг друга и собираемся пожениться, то каким образом у меня может быть такой мрачный взгляд на жизнь. А он у меня и в самом деле мрачный. Я и в самом деле не понимаю, отчего так получается. Ведь любовь должна делать человека счастливым, а я почему-то этого совсем не чувствую.

И теперь мне вдруг стало страшно: вдруг это не настоящая любовь с моей стороны? Фрэнки, а вдруг я обманываю тебя всем своим поведением, все это время? Если бы ты знал, как мне сейчас страшно! Ты пишешь, что уже в апреле я должна буду подать бумаги в консульство, чтобы к моменту окончания лицея, весной (по-вашему осенью), у меня уже была бы виза и тогда мы могли бы сразу пожениться. Я вдруг представила себе— как быстро пролетит этот год! А если мы с тобой ошиблись? Фрэнки, я ведь католичка, и после того, как я скажу тебе «да» перед алтарем, уже не будет силы, которая сможет вернуть нам взаимную свободу. А вдруг мы ошиблись? Мы ведь были вместе всего три недели, а после только переписывались. И ты видишь — я не писала тебе всего.

Фрэнки, милый, всего я не могу написать тебе даже сейчас! Просто потому, что не могу, на бумаге это не выходит. Я не знаю—за сочинения в лицее я всегда получаю 10, а написать письмо не могу. Не знаю, поймешь ли ты, что со мной делается. Постоянная тревога, я и сама не знаю отчего, и отвращение к людям. Если бы ты знал, как это ужасно! Столько страшного происходит вокруг нас в жизни, что мы можем чувствовать себя спокойно, только закрыв глаза. Но я не могу жить с закрытыми глазами! А когда их откроешь, то видишь, что окружена чудовищами, которые только прикидываются людьми.

Умоляю, ответь мне сразу. Я хотела бы стать твоей женой, но только я теперь совсем не уверена, что сумею.

В лицее каникулы начинаются через неделю, и я сразу же уезжаю в горы до рождества, а после праздников буду все лето работать секретаршей у одного адвоката, нашего хорошего знакомого. Пиши мне пока до востребования — Альта-Грасиа, провинция Кордова, Аргентина.

У нас сейчас очень жарко. Вчера я ездила купаться в Пунта-Лара, но было много народу и вообще плохо. Целую тебя и жду твоих писем.

С любовью Б.».

Пульман[1] компании «Шевалье», в шесть часов вечера вышедший из Буэнос-Айреса по маршруту Росарио — Маркос-Хуарес — Кордова, к трем ночи успел сделать больше половины своего восьмисоткилометрового пробега по Национальной автостраде № 9 и прибыл на очередную заправочную станцию. Сменный шофер включил освещение и захлопал в ладоши, будя спящих пассажиров. «Сеньоры, сеньоры, стоим всего пятнадцать минут,— весело закричал он,— спешите размять ноги, нам еще пять часов пути...»

Беатрис встала и подняла спинку своего кресла, чтобы дать возможность выбраться сидящей позади толстой даме. «Нельзя же так низко, сеньорита,— возмущенно сказала та,— вы мне отдавили колени!» — «Простите, сеньора,— покраснела Беатрис,— но вы ничего не сказали...» На это раздражительная сеньора заявила, что молодежи следует быть более догадливой и понимать, что омнибус это не дортуар и что девушке неприлично спать на глазах у всех почти лежа, превратив кресло в кровать. Неизвестно, в какой еще безнравственности уличила бы ее дама, но пассажиры с задних сидений зашумели, требуя выходить и дать выйти другим.

Это неожиданное нападение было нелепым до смешного, но Беатрис вышла из автобуса, едва удерживая слезы. Спрыгнув с нижней ступеньки, она огляделась, спрятаться было негде — на залитой светом бетонной площадке перед станцией было людно, стояло несколько легковых машин, огромный грузовик с прицепом и еще один «Шевалье» — очевидно встречный, идущий из Кордовы в столицу. Делая над собой усилия, чтобы успокоиться, Беатрис вместе со всеми пошла в ресторан. Станция была совсем новой; небольшой зал, отделанный в ультрасовременном стиле, с обилием стекла и нержавеющей стали, встречал входящего запахами свежей штукатурки и краски. Черно-красная мозаика на полу, потоки белого люминесцентного света, причудливо изогнутая стойка бара и стеклянные стены — трудно было поверить, что все это находится не где-нибудь в центре столицы, а на крошечной заправочной станции, окруженной огромными просторами спящей пампы. Сорок человек, ввалившись в и без того не пустой зал, создали давку, но Беатрис ухитрилась пробраться к стойке, выпила кока-кола и съела один «панчо» — маленький сандвич из булочки с вложенной в нее горячей сосиской, политой острым горчичным соусом. Разговорчивый бармен пожелал ей приятного отдыха в горах и выразил надежду, что увидит сеньориту на ее обратном пути; Беатрис ответила, что тоже надеется на это.

В душе она тут же пожелала себе никогда в жизни не видеть больше этой отвратительной станции с ее претенциозным модернизмом. Слишком яркий свет режет глаза, вокруг кричат, едущие в Кордову расспрашивают возвращающихся оттуда о погоде и о ценах на продукты, хотя уже удовлетворяли свое любопытство и в Росарио, и в Пергамино, и еще будут задавать те же идиотские вопросы на каждой станции до самого конца пути. Толстая дама, оскорбившая ее пять минут тому назад, теперь как ни в чем не бывало пьет свой кофе-экспресс и болтает с барменом. А у того над головой — над шеренгами разноцветных бутылок — во всю стену нарисовано что-то гнусное, непонятное

---

[1] Пульманами в Аргентине называют многоместные рейсовые автобусы дальнего следования.

и, если всмотреться, не совсем даже пристойное. И вот так все вокруг, все, на что ни посмотришь! Вдобавок еще Мери Форд визжит по радио «Мама, он со мной заигрывает». Беатрис чувствовала, что ее начинает трясти от омерзения. Как бог может терпеть такое?

Похоже, что ее кощунственный упрек был услышан: Мери Форд поперхнулась и умолкла, и мужской голос пригласил пассажиров, едущих в Буэнос-Айрес, занимать места. Вышла и Беатрис. Пульман, за эти девять часов уже ставший ей немножко родным, стоял темный и печальный, как брошенное жилище; в его корме, открыв решетчатые створки, копались при свете переносной лампы трое механиков. Рядом усаживалось в старый «бьюик» многочисленное семейство с кучей хныкущих сонных детей. «Бьюик» был навьючен, как мул, чемоданы громоздились на крыше и торчали из багажника, полузакрытую дверцу которого удерживала веревка. Беатрис потрогала громадное колесо автобуса: твердая, словно литая, резина оказалась приятно теплой и бархатистой от пыли. «Антонио! — крикнул один из механиков. — Принеси ключ девять шестнадцатых, только живо, да захвати парочку гроверов!»

Ну вот, теперь что-то сломалось, только этого и не хватало. Теперь неизвестно, сколько им придется сидеть на этой станции. И эта Форд опять поет какую-то глупость, а рука стала черной от пыли. Конечно, тебе непременно нужно было лезть трогать это колесо!

Пришлось идти в туалетную комнату. Намыливая руки, Беатрис боялась поднять глаза, чтобы не увидеть себя в зеркале над раковиной. Потом все-таки увидела, без прикрас: отвратительное лицо невротенички, ничуть не привлекательное. Под глазами — тени, от усталости и истеричных переживаний. «Ненавижу себя»,— с омерзением решила Беатрис. И еще эти клипсы, о боже! Закусив губы, она сорвала одну и другую — едва не оборвав себе мочки ушей — модные серьги из искусственного жемчуга, неизвестно зачем купленные вчера и тайком от мисс Пэйдж надетые в дорогу. Какое там «неизвестно»! Вам отлично, великолепно известно, уважаемая сеньорита Альварадо, зачем и с какой целью вы нацепили эти побрякушки! И после этого у вас еще хватает лицемерия каждое утро молиться о том, чтобы всевышний избавил вас от лукавого...

Жалобно звякнув, клипсы полетели в мусорный бак. Беатрис выскочила из туалета, исполненная еще горшего отвращения к себе самой и ко всему окружающему.

Встречный пульман, празднично оцепленный разноцветными опознавательными огнями, уже покинул станционную площадку и осторожно выруливал на автостраду, ощупывая фарами бетонное полотно. Следом за ним тронулся перегруженный детьми и чемоданами «бьюик». Возле грузовика с прицепом происходила шумная ссора. Спутники Беатрис, кончив закусывать, группами выходили из ресторана и собирались: одни — вокруг ссорящихся, другие — вокруг механиков, продолжавших копаться в чреве автобуса. Праздное их любопытство было отвратительным. Чтобы не видеть ничего этого, она зашла за угол станционного здания, в тень. Здесь были свалены ящики из-под пива, строительные материалы, смолисто пахло свежераспиленным лесом, под ногами шуршали стружки. Беатрис села на доски, обхватив колени. Пампа лежала перед ее широко открытыми глазами в двух шагах, подступая к самой кромке бетона колючими побегами чертополоха,— мрак, звезды, ровный полет не знающего преград степного ветра, опьяняющие запахи травы. Это было больше, чем просто ночная степь; это была сама Патриа, древняя Земля Отцов, неустанно впитывавшая в себя поколение за поколением, помнящая неслышный шаг охотников гуарани и тяжелую поступь конкистадоров, медленное движение скрипучих

повозок первых поселенцев и бешеный галоп эскадронов Сан-Мартина. Земля смотрела из темноты в лицо Беатрис, дыхание Земли прикасалось к ее щекам, ласково шевелило волосы. А за ее спиной, на ярко освещенном куске бетона, шумели машины и люди, мошками слетевшиеся на этот брошенный в пампу островок цивилизации. Механики, сквозь зубы отвечая на вопросы зевак, спешно затягивали последние болты. В ресторан ввалилась шумная, полупьяная компания, только что подкатившая на двух машинах. По радио теперь пела Сара Воган: «Я еще никогда-никогда не целовала мужчин, я просто говорю им «покойной ночи» и сразу захлопываю дверь...» «Господи,— прошептала с закрытыми глазами Беатрис, стискивая пальцы,—спаси меня от отчаянья и гордыни, научи меня, как жить в этом мире, как к нему относиться, чтобы не сойти с ума и не окаменеть сердцем...»

В Кордове ей пришлось задержаться дольше, чем она предполагала. Оказалось, что в воскресенье венчается Ньевес Падилья; уехать до свадьбы было бы просто неприлично, и Беатрис отправила в пансион телеграмму: «Вынуждена задержаться пришлите машину понедельник». Эти лишние четыре дня отнюдь не способствовали улучшению ее самочувствия. Остановилась она в чинном и тихом доме профессора Гонтрана, где отлично можно было бы отдохнуть, но уже через два часа после приезда к ней примчалась Глэдис Ривера: в доме Падилья все шло вверх дном, модистка испортила туалет невесты, какая-то ерунда получилась со списком приглашенных, в общем, нужно было немедленно ехать туда и спасать положение. В суматохе и поездках по магазинам прошли пятница и суббота; в воскресенье на церемонии в старинной церкви Сан-Роке Беатрис едва держалась на ногах. Когда, приветствуя вошедшую невесту, под сводами зазвучали торжественные звуки «Свадебного марша» Мендельсона, ей стало невыносимо грустно. Все это было ни к чему — вся эта суета, нарядная толпа вокруг, тюль и флердоранж, цветы, гром органа. Она вспомнила вдруг свой конвент, всегда спокойные лица монахинь под жестко накрахмаленными чепцами, сонный плеск фонтана в саду, где было тенисто и прохладно в самые жаркие часы дня. Вернуться бы в тихий голубой мир ее детства, отгороженный высокими стенами от всех этих мартинесов, мендесов и геймов! Здесь, в Кордове, находится одна из самых старых обителей — Монастерио-де-Санта-Тереса. Триста пятьдесят лет тому назад капитан дон Хуан де Техада-и-Мирабаль пожертвовал золото на постройку женского монастыря во искупление своих неблагочестивых дел, и сестры-терезитки до сих пор молятся о его душе. Но разве можно вернуться в детство, разве можно ей уйти в монастырь?.. Хотя бы на время, на год-другой? Но и это невыполнимо. Папа будет решительно против, и вообще все скажут, что она сошла с ума. Как им ее понять — им, которые ко всему привыкли и теперь совершенно равнодушно смотрят на преступления, творящиеся вокруг них каждый день, каждый час...

После венчания пришлось еще вытерпеть прием в доме родителей невесты. Беатрис видела, что молодые люди не нашли в столичной гостье ничего интересного; она сразу почувствовала это по тому преувеличенному и злорадно-соболезнующему вниманию, каким окружили ее подружки. Ну и пусть. Она и так знает, что не обладает ни умом, ни красотой, вообще ничем. И ничего этого ей не нужно! Клипсы она выбросила, и уж во всяком случае никогда в жизни не позволит себе кокетничать, как это делают Глэдис и Энкарнасьон...

Наконец молодые уехали, осыпанные пригоршнями риса и провожаемые грохотом старых кастрюль и жестянок, привязанных к заднему

бамперу их машины. Чтобы все было как полагается, вслед им швырнули еще несколько стоптанных башмаков.

— Девочка, что с тобой происходит? — спросила сеньора де Гонтран, когда они возвращались домой.

— Со мной? — равнодушно переспросила Беатрис, продолжая смотреть на спину сидящего за рулем профессора.— Ничего, донья Ремедиос... Просто я очень устала.

— Да нет, милая моя, ты уж не выдумывай. Устала! Ты думаешь, я ничего не вижу? В прошлом году ты была совершенно другой. Что с тобой, Дорита?

— Боже мой, донья Ремедиос,— вымученно улыбнулась Беатрис.— Ну просто у меня были трудные экзамены.

— Трудные экзамены!— возмущенно фыркнула профессорша.— Ты ведь сдаешь их уже второй год, лентяйка! Не стыдно тебе? Как хочешь, а я напишу Бернардо о том, какое впечатление ты на меня произвела. И муж говорит то же самое.

Беатрис внутренне усмехнулась. Вряд ли профессор Гонтран замечает вообще ее существование в своем доме! Вот и сейчас он ведет машину и — можно держать пари — не слышит ни слова из того, что говорится за его спиной. Наверное, обдумывает какую-нибудь очередную проблему международного права. Но если донья Ремедиос и в самом деле напишет папе, это будет плохо.

— Напишу, вот увидишь,— подтвердила сеньора де Гонтран, словно подслушав ее мысли.—Он должен обратить на тебя самое серьезное внимание.

— Я вас очень прошу, донья Ремедиос! — быстро сказала Беатрис.— Не нужно ничего писать, папа и без того волнуется. Уверяю вас, со мной ничего страшного! Просто у меня очень плохое настроение, ну и... Вы понимаете, у меня был один случай—еще до экзаменов,— когда я увидела, как гнусно могут поступать люди, совсем, казалось бы, порядочные... И я теперь никому не могу верить и не могу спокойно...

— Тебя кто-нибудь... обидел?

— Да не меня вовсе, донья Ремедиос. Я просто была свидетельницей! И разве это единичный случай... Я уверена, такие вещи творятся теперь всюду и в любой момент, понимаете! Как же можно быть спокойной, когда такое делается!

— Но что именно, ради всего святого?

— Ах, не все ли равно,— сказала Беатрис, нервно перекручивая перчатки.— Ну хорошо, я вам скажу. Вы понимаете... На моих глазах с совершенно чудовищной жестокостью отнеслись к одному рабочему, уволили его просто потому, что...

— Дора, Дора,— облегченно засмеялась сеньора де Гонтран,— я уже вообразила всякие ужасы, глупенькая моя девочка! А рабочий... Ну что ж, это, конечно, грустно, но рабочий может пойти в синдикат, пожаловаться,— в конце концов, в Аргентине нет безработицы, насколько мне известно. Можно ли забивать себе головку такими пустяками в твоем возрасте!

— Вы ничего не понимаете! — крикнула Беатрис.—О, простите меня, донья Ремедиос, но как можно не понимать таких простых вещей!

— Нервы, нервы,— успокаивающе сказала профессорша, гладя ее по руке.

В понедельник пришла машина из пансиона — старенький, дребезжащий пикап. Сеньора де Гонтран, испуганная молодостью шофера, с пристрастием допросила его относительно дороги, потребовала показать права и только после этого успокоилась. Посмеиваясь, шофер уло-

жил в кузов вещи Беатрис, застелил одеялом сиденье с торчащими пружинами, и они поехали. Почти час машина ныряла и петляла по живописным горным дорогам, пока не очутилась на сонных улочках маленького курортного городка Альта-Грасиа. Здесь шофер, уже успевший рассказать все о пансионе и его обитателях, сказал, что должен забрать кое-какие продукты и что через полчаса — самое большее — они поедут дальше, а до пансиона тут остается неполных шесть километров.

— Я зайду на почту,— сказала Беатрис,— а вы подъезжайте к иезуитской миссии, хорошо? Я буду ждать там.

Четверть часа спустя она сидела на стертых ступенях древней церкви. Широкая, открытая площадь, ослепительное солнце, приземистое, вросшее в землю здание в стиле колониального барокко — так строились в семнадцатом веке почти все миссии Общества Иисуса на территориях вице-королевства Ла-Платы. Сглаженная временем каменная резьба, горячий песчаник, трава между покосившимися плитами и в трещинах карнизов. Юркнувшая откуда-то ящерица замерла в двух шагах от Беатрис, мгновенно перейдя от стремительного движения к мертвой неподвижности, зачарованно уставившись на девушку изумрудными бусинками глаз. «Иди сюда,— тихо позвала Беатрис, положив руку ладонью вверх на горячую шершавую плиту.—Иди, я же тебе ничего не сделаю...» Ящерица исчезла с той же непостижимой быстротой, как и появилась. Беатрис вздохнула и покосилась на пестрый конверт, который лежал рядом, прижатый треугольным осколком камня.

Нет, откладывать чтение просто глупо. Она взяла конверт, медленно, словно не решаясь, вскрыла и вытащила три исписанных на машинке листка прозрачной бумаги. Горячий ветер зашелестел ими, пытаясь вытащить у нее из пальцев. Беатрис разложила бумагу у себя на коленях, придерживая края.

«Уиллоу-Спрингс, 24 ноября 1953

Моя любимая,

твое письмо я получил сегодня утром. Я думаю, ты просто переутомилась в колледже за эту зиму. Иногда весна действует на нервы, скорее всего этим и объясняется твое совершенно ужасное настроение.

Трикси, ты не должна ничего бояться. Не сочти за хвастовство, но мои акции в «Консолидэйтед» уже поднялись на несколько пунктов. После того как я выполнил небольшую пробную работу, меня включили в одну из проектных бригад. Практически это означает, что я признан. Правда, получаю пока только 75 в неделю, но Рою, например, дали первую прибавку уже через три месяца (сейчас он загребает 5.000 в год). Я узнавал, здесь можно купить дом на хорошей улице с ежемесячной выплатой около 80 долларов. За вычетом этого и долларов 30 за автомобиль, нам будет оставаться около 300 в месяц (я имею в виду такую же зарплату, как сейчас у Роя, т. е. 100 в неделю). При теперешнем уровне цен на это можно прожить совсем неплохо. Так что тебе совершенно не о чем беспокоиться, моя будущая маленькая скво.

Работа у меня будет очень интересной, пока я в нее еще не полностью вошел. Жаль, что нельзя тебе об этом рассказать, да ты все равно ничего бы и не поняла. Наше проектное бюро начинает разработку эскизного проекта машины, равной которой не будет в мире. На мою долю, конечно, придется в этом грандиозном деле совсем немного, но все равно, интересно в высшей степени. Когда еще приедешь ты, моя любимая девочка, я буду счастливейшим парнем в мире.

У нас уже осень, сегодня весь день сильный туман и моросит. Когда мы с Роем возвращались с завода в его машине, на нас в тумане налетела какая-то леди, смяла заднее крыло и оторвала бампер. Насто-

ящей зимы в Нью-Мексико нет, а вот мы с тобой съездим когда-нибудь в наш Мэн, у канадской границы, там ты увидишь снег, иногда наметает выше человеческого роста. Ты, очевидно, не умеешь бегать на лыжах? Я тебя научу, это отличная вещь.

Пока кончаю, моя любимая. Отдыхай вовсю и пиши мне почаще: твои письма для меня такая радость. И не забывай присылать фото, с сентября ты не прислала ни одного. Ты ведь обещала, Трикси, что будешь фотографироваться каждый месяц и присылать мне. Помнишь? Привет мистеру Альварадо.

Целую тебя — как тогда.

Твой Франклин.

P. S. Моя любимая, я все равно не могу отправить это письмо в таком виде, тактика страуса еще никогда не давала результатов. Конечно, не всегда любовь выдерживает испытание временем и разлукой, я понимаю. Если с тобой случилось именно это, если ты мне прямо скажешь, что так оно и есть,— я просто замолчу. Тут уж ничего не поделаешь, Трикси, я понимаю. Но я все-таки не могу в это поверить. Ты не такая, как другие девушки, чем больше я о тебе думаю, тем больше в этом убеждаюсь. И я так же твердо верю в себя, в то, что сумею дать тебе счастье, моя единственная любимая. Mi solo amor — это правильно по-испански? Может быть, все это еще не так страшно и у тебя действительно только временная депрессия, мало ли от чего — от жары, от расстроенных нервов. Мне страшно представить себе, Трикси, что со мной будет, если ты и в самом деле ко мне переменилась. Пятнадцать месяцев я думаю только о тебе, только о жизни с тобой, и если сейчас все это рухнет, я окажусь как перед пропастью. Впрочем, я пишу глупости. Дело не во мне, дорогая. Я знаю, что моя любовь сумеет защитить тебя от всего в жизни, что бы ни случилось, и не думаю, чтобы это смог дать тебе какой-нибудь другой мужчина. Ты скажешь— хвастовство, но я сейчас просто пишу то, что думаю. Неважно, как это выглядит, сейчас это не имеет никакого значения.

Я не знаю, что тебе еще написать, моя любовь, моя маленькая черноглазая девочка. Если бы я смог сейчас очутиться рядом с тобой— все стало бы по-прежнему, я в этом уверен. Трикси, я вспоминал сегодня нашу первую встречу — у входа в инженерный факультет в Байресе, помнишь, такое огромное готическое здание из красного кирпича? Тогда было очень холодно — солнечный зимний день с пронизывающим ветром,— и ты была в кремовой канадке с капюшоном, меховым изнутри, и вся раскрасневшаяся от холода. Помнишь? А потом, когда мы вдвоем ездили в Ла-Плату на твоем старом «форде» и пришлось менять покрышку на полпути — в парке или в лесу, где такие красивые ворота в виде сдвоенной башни. Я тогда обнял тебя и испачкал твою курточку, и мы едва оттерли пятна и потом замывали их около ручья.

Трикси, я хочу, чтобы ты все это вспомнила. Если, конечно, тебе эти воспоминания еще приятны. Для меня они — самое светлое в жизни, и всегда этим останутся. Я буду любить тебя всегда и везде, что бы ни случилось, в горе и в радости. Больше мне нечего тебе сказать.

Я буду ждать твоего ответа.

Ф. Х.»

10

В полутемном зальце пульперии[1] было душно и пахло прокисшим вином и кухонным чадом. У стойки лениво перебрасывались словами двое посетителей. Озлобленно гудели мухи под темным дощатым потолком.

[1] Деревенский трактир в Аргентине.

Было жарко. За окном калилась на солнце пыльная площадь — такая же, как в любом из этих местечек: белые одноэтажные домики с плоскими крышами и зарешеченными окнами до самой земли, чахлая зелень, коновязь, возле которой понуро стоял оседланный гнедой мерин. Седло было гаучское—непомерно широкое, с круглыми кожаными стременами, покрытое овчиной, шерстью наверх. Чуть поодаль, за оградой из порванной проволочной сетки, лениво бродили на голенастых ногах два неизвестно зачем посаженных сюда ньянду[1] — какие-то общипанные, тускло-серого цвета, с крошечными головками на голых шеях.

Жерар оглянулся, чтобы подозвать хозяина, и в этот момент в пульперию вошел новый посетитель — потрепанный, как и все вокруг, старичок типа опустившегося чиновника в отставке.

— Привет дону Тачо и всей компании! — воскликнул он.— Что это там за машина со столичным номером?

Жерар отвернулся. За его спиной пошептались, и через минуту старичок подошел к столику, неся две раскупоренные бутылки пива.

— Рад приветствовать редкого гостя,— заговорил он с витиеватыми интонациями, бесцеремонно присаживаясь напротив Жерара и не представившись.— Надеюсь, не откажете составить мне компанию...

Жерар поклонился, с любопытством глядя на старика. Тот разлил пиво, отпил и обсосал с усов пену.

— Ездите по коммерческим делам? — спросил он.— Впрочем, на негоцианта вы не похожи. Значит, для собственного удовольствия?

— Почти,— улыбнулся Жерар.— Ваше здоровье, сеньор.

— Благодарю, впрочем, это бесцельный тост. Какое здоровье в мои годы! Значит, решили посмотреть наш Север? Ну-ну. Не совсем подходящая зона для туризма, должен вам сказать. Поехали бы лучше в Сан-Карлос-де-Барилоче, куда столичные дамочки ездят бегать на лыжах. Э? Хотя вы не похожи и на туриста...

Старик окинул его пронзительным и насмешливым взглядом — Жерар в замасленной «американке» и с отросшей за месяц рыжеватой бородой и в самом деле походил скорее на бродягу.

— Да, места у вас невеселые... Вы из старожилов?

— Почти. А что? Вас интересует, как здесь было раньше? Так же! — крикнул старик фальцетом.— Точно так же, мой сеньор, было в этих местах и десять лет назад, и двадцать, и тридцать, и сорок! Знаете, кто был президентом Республики в тот год, когда я сюда приехал? Саэнс-Пенья, сударь! Не Луис, конечно, хе-хе, я еще не так стар, а его сын — дон Роке. И было это, если вы не тверды в хронологии, в лето господне тысяча девятьсот двенадцатое, за два года до начала большой европейской войны. А что изменилось здесь с тех пор? А? Ничего, мой сеньор, ровным счетом ни-че-го! Вот что меняется, только это! — Он мотнул головой на висящий за стойкой портрет Перона и стал загибать пальцы.—Их тут целая дюжина сменилась за мое время: Саэнс-Пенья, Пласа, Иригойен, Альвеар, Урибуру, Хусто, Ортис, Кастильо, Рамирес, Фаррель и, наконец, его высокое и мудрое превосходительство бригадный генерал дон Хуан Доминго Перон. Видите, до дюжины не хватает только одного. А врачей нет до сих пор! — пронзительно крикнул старик, ударив ладонью по столу и едва не опрокинув свой стакан.— Людей до сих пор лечат знахари!

— Да, об этом я читал еще в Буэнос-Айресе,— помолчав, сказал Жерар,— там одно время много писали о нехватке врачей в северных провинциях.

[1] Вид южноамериканского страуса.

— Ах, даже та-а-к,— ехидно закивал старик,— оч-чень отрадно слышать, что блистательная федеральная столица вспомнила о существовании северных провинций. Позволительно ли будет поинтересоваться, о чем вы еще читали в Буэнос-Айресе, мой сеньор? О детской проституции в северных провинциях там не пишут? А о том, что у нас здесь фактически не существует семьи — тоже нет?

— Как не существует?

— А так! Не существует, потому что в северных провинциях половина детей рождается вне брака! Если в провинции Буэнос-Айрес из тысячи новорожденных сто десять являются незаконными, то, скажем, в провинции Формоса незаконнорожденных приходится шестьсот десять! А отчего это происходит? Не от безнравственности, мой сеньор! От нищеты! От того, что в Ла-Риохе пеон получает в шесть раз меньше, чем в Буэнос-Айресе, за ту же работу и при одинаковой стоимости жизни. Чего там! Ему больше и не надо, он же «черноголовый», обойдется и этим! А потом кричат о «моральной деградации северян»! Девяносто процентов служанок во всех крупных городах—девушки-креолки с Севера. Шестнадцатилетняя девчонка, которая еще ни разу в жизни не видела железной дороги, попадает в город,— много ли у нее шансов избежать беды? Начинается с того, что хозяин или хозяйский сын делает ей ребенка, а через три месяца хозяйка выкидывает ее на улицу. Что ей остается делать, позвольте спросить? Идти на фабрику? На фабриках нужны люди, имеющие хотя бы отдаленное знакомство с цивилизацией. Вы не можете поставить к станку индианку из Сальты, если она не прошла обучения. А кто станет ее учить? Кто? Вернуться к положению служанки она уже тоже не может — с ребенком ее не возьмут нигде. Что же ей остается делать, как вы думаете?

— Послушайте,—сказал Жерар.—Я иностранец, мой вопрос может показаться вам наивным. Ведь у вас, кажется, федеральная система, каждая провинция имеет свое правительство и в какой-то степени может сама решать свои местные проблемы. Что же тогда мешает?

— Коррупция, мой сеньор! — крикнул старик.— Поголовная коррупция! Человека избирают губернатором, и перед ним открывается возможность набить карман. Причем он помнит, что через четыре года этой возможности у него больше не будет. Как тут удержаться? Вот сеньор губернатор и начинает усердно разворовывать вверенную ему провинцию. А новая метла, хе-хе, метет, знаете ли, подчистую! И если учесть, что она меняется каждые четыре года, а в Мендосе даже каждые три...

— Ну, это явление не только здешнее,— заметил Жерар.— Вы думаете, у нас во Франции чиновники не воруют и не берут взяток? Меня другое удивляет — есть же у вас печать, общественное мнение, ведь не могут, простите, все поголовно...

— Могут! — взвизгнул старик.— Еще как могут! И не только могут, а все поголовно должны в этом участвовать! Вы ведь не журналист?

— Нет, никакого отношения...

— Ну понятно, журналист такого не сказал бы! Вы просто не знаете. Зато я знаю! Сотрудник газеты зависит от своего редактора, а редактор зависит от издателя. А с издателем делится своими доходами его превосходительство сеньор губернатор! Вот и попробуйте тут что-то разоблачить! Это я говорю о провинциальной печати. А вы думаете, столичная более независима? Хе-хе. Да там они вообще все куплены и перекуплены с потрохами! Видел я ваших столичных деятелей, видел и хорошо знаю. В прошлом году был тут один такой — шикарная американская машина, сам напомаженный, и вместе с ним еще и этакая

модная шлюшка в зеркальных очках... «Я, знаете ли, близок к правительственным кругам, в частности к субсекретарю сеньору Апольду, меня знают там-то, я знаю тех-то, у меня опубликованы такие-то работы, теперь я собираю материалы для серии статей о положении нашего Севера, это произведет впечатление в столице...»— Старик произнес все это гнусавой скороговоркой, передразнивая своего прошлогоднего собеседника, и перегнулся к Жерару, упираясь в стол ладонями. — Будь я на десяток лет моложе, я бы его вышиб в двери пинком, этого марикона! Ему, видите ли, захотелось «произвести впечатление», и он сажает в авто свою, с позволения сказать, секретаршу и катит на Север собирать сенсации!

— Но почему вы так строго?— возразил Жерар.— В конце концов, если есть лишняя возможность напомнить властям о здешних безобразиях... или хотя бы привлечь внимание общественности? Я не понимаю...

— Очень жаль, если вы, сударь, не понимаете! Очень жаль! Что вы скажете о человеке, который в наше время что-то публикует, живет в свое удовольствие и еще хвастает, что «близок к правительственным кругам»? Честные люди сейчас молчат, мой сеньор, а если уж что-то публикуют, то во всяком случае не то, что может принести автору благосклонность апольдов и компании! А тот прохвост — его же за лигу можно было распознать, что это за птица! И такой марикон, такая проститутка в штанах будет привлекать к нам внимание общественности? Спасибо, мой сеньор! Вы говорите о «лишней возможности» — так я вам должен сказать, что таких «возможностей» нам не нужно! То, что здесь происходит... — Старик вытянул руку по направлению к окну и угрожающе затряс костлявым пальцем со вздутыми подагрой суставами.— То, что происходит во всех этих провинциях,— это трагедия целого народа, и ни один подлец не должен прикасаться к ней грязными руками! Руками, которыми он еще недавно пересчитывал свои сребреники! Мы обойдемся и без его помощи, можете быть уверены, обойдемся рано или поздно... Вы, может, думаете сейчас: вот передо мной великолепный образчик старого дурака, но я знаю одно: чистое дело делается чистыми руками, а грязными — грязное, и одно с другим не смешивается...

— Вы правы,— сказал Жерар,— правы в принципе, но стоит ли обобщать?.. Можно допустить возможность такого положения — чисто гипотетически, вы понимаете,— когда человек когда-то в чем-то ошибся и... Ну и потом хочет отмыть эти свои «грязные руки»,— добавил он, криво усмехнувшись.

— Удобная гипотеза! Очень удобная! Случайную ошибку исправить можно, не спорю. Но если всякая грязь смывается с рук, мой сеньор, то далеко не всякую можно смыть с души! Во всяком случае, не такую, в которой был вывалян тот прошлогодний тип. Случайно!—Старик снова фыркнул, дернув носом куда-то в сторону.— «Случайно» люди не продаются, запомните это, молодой человек! И если он продался, то можете быть уверены, эта сделка связана не только с его прошлым, но и с его будущим. Да, да, представьте себе! Я как сейчас вижу перед собой этого напомаженного красавчика... Кстати, у него был с собой целый набор корреспондентских билетов — и от «Лидера», и от «Демократии», и я уж не помню от каких еще столичных газетенок. Этакий расфуфыренный собачий сын! Сколько их сейчас расплодилось, Иисус-Мария... Вся эта современная деловая молодежь, которая торгует чем угодно, а потом еще смеет рассуждать о возвышенных идеалах...

Старичок поговорил еще несколько минут, ругая современную деловую молодежь. Потом он церемонно распрощался с Жераром, сказав, что наступает время сиесты.

Жерар видел, как он проковылял через площадь— маленький, согнутый ревматизмом, с путающейся в ногах короткой тенью, угольно-черной на раскаленной солнцем пыли. Когда старик скрылся в двери одного из домов, Жерар машинально допил теплое пиво и сгорбился, барабаня по столу пальцами. Подошел хозяин, что-то сказал; Жерар поднял на него непонимающие глаза.

— Я говорю, машина ваша готова,— повторил хозяин, убирая пустые бутылки.— Вы собирались ехать, так воду уже налили.

— А-а... Нет, я пока не поеду,— сказал Жерар.

Хозяин ушел к своей стойке — продолжать прерванный разговор с посетителями. Жерар посидел еще с четверть часа, выкурил трубку, не ощутив вкуса. Потом встал и, волоча ноги, отправился в комнату, где провел эту ночь.

Вечером ожидался дождь, и поклажу с джипа внесли в помещение. Ящик с этюдами стоял в углу у двери. Жерар присел на корточки, откинул крышку и вытащил несколько холстов.

...А что, если все дело в том, что сказал этот старик? Что, если все его неудачи объясняются внутренним противодействием какой-то части его «я», сознающей двойственность его поведения? Но действительно ли существует эта двойственность? И реальны ли его неудачи или они просто мерещатся? Кто, черт возьми, кто может определить — действительно ли плохи его последние работы? И главное, кто сможет убедить его в том, что они хороши, если ему самому они кажутся плохими?

Да, такого, пожалуй, с ним не было еще никогда. Раньше было другое: если не считать первого периода его творчества, периода поисков и нащупывания своего пути, его никогда не покидала уверенность в себе, в правильности избранного метода. Не было признания, это верно, иногда равнодушие публики причиняло боль, но даже в самые скверные моменты он находил утешение в сознании собственной правоты. А сейчас в нем исчезло то, что является главным для художника,— уверенность в своих силах.

Это подкралось как-то незаметно, предательски. Сначала все шло отлично. Мучительные и бесплодные размышления о смысле и задачах искусства, терзавшие его в столице, показались смешными уже вскоре после того, как под колесами кончился последний километр бетона. Из столицы он выехал через Росарио, за Санта-Фе свернул прямо на север и, не успев проехать и семисот километров, очутился в совершенно другой эпохе. Трудно было поверить, что на этой же земле стоит Буэнос-Айрес с его небоскребами. Здесь ничего этого не было, здесь были лишь редкие сонные городки и вокруг них на сотни километров безликое и безымянное «кампо»: поля, выжженные солнцем пастбища, бескрайние просторы плохо обработанной или вообще пустующей земли; и люди, родившиеся в двадцатом веке и живущие неизвестно в каком.

Ни школ, ни больниц, ни намека на самую элементарную цивилизацию. Несколько раз он подъезжал к какому-нибудь ранчо— набрать из колодца воды для радиатора. Его встречали со спокойным гостеприимством, лишенным и тени подобострастия, всегда приглашали закусить или выпить матэ. Как правило, он оставался, в свою очередь угощал хозяев своими консервами (почти недоступным для тех лакомством), подолгу расспрашивал о жизни. Его интересовали эти люди, в которых ни нищета, ни постоянный произвол власть имущих, от полицейского комиссара до последнего представителя управляющего, не смогли вытравить врожденного чувства собственного достоинства. Объясняться с ними было трудно: они говорили на местном диалекте и сами плохо понимали заезжего гринго, но жизнь их была как на ладони. Собственно, о ней не приходилось и расспрашивать — так красноре-

чиво рассказывала обстановка. Глинобитное ранчо, часто с прямоугольными дырами вместо окон и дверей, примитивная утварь времен Мартина Фьерро, чумазые нечесаные ребятишки, одно и то же выражение привычной и нежалующейся тоски в глазах у взрослых — нищета, самая отчаянная, безысходная нищета...

И так было повсюду. Дальше к северу пошли безводные места, на полустанках железной дороги Жерар видел длинные очереди оборванных людей с самыми разнообразными посудинами, от глиняных кувшинов — порронов до десятилитровых жестянок с маркой «Шелл мотор ойл». Раз в сутки через полустанок проходил товарный состав; если на нем не было инспектора, машинист мог остановиться и позволить людям набрать воды из тендера — затхлой и радужной от нефти, но пресной. Если состав не останавливался, очередь терпеливо ждала следующего.

Вот что нужно было писать! Вот что нужно было показать публике блистательного Буэнос-Айреса — показать ее собственную страну, брошенные поля и развалившиеся от непогоды ранчо, оборванных детей и очереди за водой на полустанках... Вспоминая столицу, Жерар стискивал зубы от ярости. «Самый большой в мире» аэропорт Пистарини! Новый автодром «17 Октября»! Студенческий городок «Президент Перон» — игрушка стоимостью в полмиллиарда! А на Севере люди травятся водой из паровозных тендеров, потому что правительство не может прислать установки для бурения артезианских колодцев, а крестьяне бросают поля, ставшие их проклятием, и либо превращаются в батраков и бродячих сезонников — брасеро, либо пополняют собой ряды городских люмпенов. Зато по столице расклеены лозунги правящей партии — «Земля тем, кто ее обрабатывает»...

Жерару очень скоро показались смешными все его попытки нащупать какой-то новый путь. В городе он мог наблюдать жизнь рабочих предместий и «не видеть темы»; там эта проблема не стояла так остро, не ставила художника перед категорическим императивом. Городской рабочий находится все же в лучшем положении: у него есть товарищи, его интересы в какой-то степени охраняются синдикатом, он, наконец, может что-то делать, как-то протестовать. Но здесь...

Здесь вообще не может возникнуть для художника этот вопрос: а чему, собственно, должно служить твое искусство? Когда перед тобой оборванный рахитичный ребенок, не знающий, что такое конфета или грошовая игрушка,— ты не станешь думать о приобщении столичного сноба к таинству природы и не станешь писать какой-нибудь «Закат над пампой». Ты напишешь этого ребенка; напишешь вереницу безликих фигур с бидонами; напишешь брошенное людьми ранчо, где когда-то слышался смех детей и аромат горячего хлеба. И напишешь все это так, что каждая из твоих картин, выставленная на Флориде, будет как пощечина...

Первые две недели Жерар не торопился приступать к работе — ездил, наблюдал, исподтишка делал беглые зарисовки. Потом взялся за этюды.

Сначала он не заметил ничего. У него уже и раньше бывало так, что новая тема не давалась сразу, что проходило какое-то время, прежде чем он чувствовал себя окончательно настроившимся именно для этой работы. Хотя период настройки на этот раз слишком уж затянулся, Жерар не придал этому значения. Но потом появились тревожные симптомы.

Впервые в жизни Жерар познал отвратительное состояние творческого бессилия, когда образы, выношенные и, казалось бы, готовые уже излиться на холст, вдруг расплываются и исчезают, едва приступаешь к работе. После нескольких бесплодных попыток он однажды

утром поймал себя на мысли, что ему неприятен сам вид палитры и запах красок. Это испугало его. Промучившись над этюдом целых полдня — так ему показалось,— он посмотрел на часы и тихо выругался: оказалось, что он работал всего час с лишним. Раньше бывало наоборот — только меркнущее освещение напоминало ему, что пора кончать работу...

В ту ночь он долго не мог заснуть. Ему приходилось слышать о художниках, терявших вдруг вкус к работе, но до сих пор это было выше его понимания. Как можно охладеть к делу своей жизни? Когда ему говорили о таких случаях, он молча пожимал плечами — значит, парень никогда не был настоящим живописцем! Ну а он сам?

Потом ему показалось, что он нашел разгадку. Всякий раз, берясь за кисти, он не мог не вспомнить о работе, выполненной для Руффо; написанная им самим мерзость то и дело снова вставала перед глазами. Это был, очевидно, род психологической травмы. Самое страшное— Жерар это сознавал — заключалось в том, что он, против своей воли, выполнил тот заказ не просто как ремесленник, но вложил в работу частицу своего таланта. Как сказал сейчас этот старик, далеко не всякая грязь отмывается...

После того дня, после разговора в пульперии, Жераром овладела какая-то апатия. Правильной или неправильной была его оценка своих последних работ — она укрепилась еще больше, потому что он полностью принял на свой счет слова о грязных руках.

Очевидно, думал он, в этом и заключается разгадка всех его неудач. С одной стороны, для него не прошла бесследно работа для Руффо, травмировавшая его и в какой-то степени исказившая его восприятие мира; это совершенно естественно — надломленная душа никогда не воспримет окружающее так же, как здоровая. С другой стороны, честный художник может работать лишь в том случае, если его совесть чиста, если он уверен в правоте своей позиции и в своем праве ее занимать. У Жерара не было именно этой уверенности.

Солнце уже садилось. Оно лежало на краю земли тяжелым раскаленным куполом, и в огне зажженного им пожара сгорели, казалось, все краски природы, кроме черной и багрово-алой.

Зловещие их сочетания были нереальными, бредовыми. Вообще нереальным стало теперь почти все. Почти все, за исключением быстро надвигающейся ночи и ландшафта вокруг — ландшафта, в котором осталось только два цвета, только два измерения. Ровный, без деревца и возвышенности, круг в кольце горизонта и расколовшая его трещина дороги. Дороги, идущей в никуда.

Эта пустыня и этот путь без цели были теперь единственной его реальностью. Единственным, что осталось ему в жизни, если только можно назвать этим большим словом то существование, на которое он был теперь обречен.

Как заключенный, окидывающий взглядом стены своей одиночки, Жерар поднял голову и огляделся, щурясь от бьющих в глаза закатных лучей. Да, объемного пространства больше не было, мир стал двухмерной плоскостью. Его мир. А третье измерение — это химера, отныне и во веки веков. Химера, изменчивый мираж, недоступный людям. Человек обречен оставаться на плоскости, ходит ли он по земле или поднимается в воздух...

Снова опустив голову, он продолжал равнодушно жевать, складным ножом доставая из жестянки куски мяса. Когда банка опустела,

он выбросил ее, вытер нож о брезентовую обшивку сиденья и ударом о борт сорвал зубчатую крышечку с пивной бутылки. Пиво было отвратительно теплым, но он, переводя дыхание, допил бутылку до конца и швырнул ее вслед за жестянкой. Ужин был окончен.

Потом он выкурил трубку, по-прежнему сидя в машине и барабаня пальцами по ободу руля. Зашло солнце. Плоский круг, в центре которого стоял у обочины пыльный и обшарпанный джип, расширился до бесконечности, края его исчезли из виду, один только западный четко выделялся на фоне уже остывшего неба, продолжающего светиться голубоватым, каким-то отраженным блеском.

Выскочив из джипа, Жерар обошел его и стал рыться в наваленной сзади поклаже. Ящик оказался в самом низу, под палаткой и мешком с консервами. Откинув крышку, он достал один этюд, не глядя швырнул на землю, потом второй, третий, четвертый. Когда ящик опустел, он ногою сгреб выброшенные этюды в кучу, подальше от машины, достал запасную канистру и отвинтил горловину. Забулькал бензин, распространяя острый запах. Когда канистра стала наполовину легче, Жерар аккуратно завинтил ее, отнес в машину и, вытерев руки о штаны, нащупал в кармане спичечную коробку. На секунду он задумался, словно еще не решил окончательно, как поступить, потом пожал плечами и выковырял из коробочки маленькую восковую спичку.

Пламя бухнуло и заплясало в таком свирепом веселье, что он невольно отступил на шаг — не столько от опалившего лицо жара, сколько от внезапного страха перед собственным поступком. Впрочем, это тотчас же прошло. Только продолжали дрожать руки. Пятясь к машине, он не отрывал глаз от бушующего костра и все пытался сунуть в карман спички, не находя кармана. Наконец карман нашелся, и все сразу стало на свои места. Он перекинул ногу через заменяющий дверцу вырез борта, сел на брезентовое сиденье и не глядя, точным движением, нашел торчащий в контактном замке ключ. Костер сзади продолжал пылать, бросая пляшущие алые блики на запыленное ветровое стекло и заставляя шевелиться фантастически длинную, горбатую и изломанную тень машины. Когда джип тронулся, тень побежала перед ним, извиваясь и изламываясь, словно бесноватая...

Спидометр был обычного военного образца — с черным циферблатом, хорошо видными светящимися цифрами и такой же стрелкой. Ее голубоватый колеблющийся язычок лизал сейчас цифру 45. С такой скоростью его давно уже задержали бы на любой из тех дорог, по которым он мотался в такой же точно машине девять лет назад.

Там через каждый километр стояли черные щиты с белой кричащей надписью: *«SPEED LIMIT — 30 M. H.»*. Впрочем, несмотря на щиты и на контроль военной полиции, вдоль дорог вечно валялись вверх колесами разбитые машины; виновниками столкновений чаще всего бывали негры из американского транспортного корпуса, привыкшие к бешеной гонке на односторонних трассах «Ред болл экспресс»...

45 миль в час. Сколько это в километрах? Вообще не так много, но на такой дороге вполне достаточно, чтобы не моргнув глазом вылететь в лучший мир вместе с грудой исковерканного железа. Да, машина такая же самая. Двухместный джип марки «виллис-оверлэнд». Не хватает только белой звезды на капоте и автомата в зажимах справа от приборного щитка. Зажимы, правда, налицо, но пустые.

Почему он не погиб в те годы? Сколько было возможностей... Сколько погибло товарищей, имевших куда больше права на жизнь! Стрелка уже переходит за 50. Тибо — каким он был замечательным парнем, этот молодой математик, и как глупо погиб — от английской бомбы, предназначенной тому самому эшелону, который он подорвал за несколько минут до этого...

А зачем остался жить ты? Ты — бывший макизар, бывший боец ФФИ, бывший художник, бывший порядочный человек! Зачем ты остался жить?

Стрелка колеблется около 55. Забивая дыхание, ревет ветер, машина, едва повинующаяся рулю, рыскает вправо и влево, громыхает поклажей, запасными канистрами, всем своим разболтанным железным кузовом. Где-то далеко позади догорает костер, а впереди — пустой мрак без огонька и просвета. Дорога в никуда.

...А ты воображал себе, что все это будет так просто? Удобный выход, нечего сказать,— встряхнуться как ни в чем не бывало, поставить крест на прошлом и выступить в благородной роли этакого борца за справедливость!..

Впереди показались огоньки. Сначала тусклые и едва заметные, они постепенно рассыпались вширь и стали ярче. Через несколько минут справа промелькнул освещенный щит: *«Граница урбанизованной зоны»*. Названия местечка Жерар не разобрал. Он сбавил ход, машину тряхнуло на переезде через одноколейное полотно, потянулись разделенные садами редкие домики, тусклые фонари, станционный пакгауз гофрированного железа, фабричная труба и грузные очертания цилиндрических резервуаров, от которых резко и приторно запахло свежим льняным маслом. У постоялого двора с вывеской «Звезда Севера — комнаты для приезжающих и продажа алкогольных напитков» Жерар остановил машину.

В зале было многолюдно и шумно. Посетители — кто в линялой ковбойке с косынкой на шее, кто в залоснившемся комбинезоне, пропитанном тем же въедливым, сытным запахом масла,— сидели и толпились у стойки, не снимая шляп. С облупленной стены, сквозь волны сизого дыма, непристойным взглядом смотрела роскошная блондинка в красном, рекомендующая курить сигареты «Кэррингтон», справа от нее висел убранный бело-голубыми лентами портрет Перона, слева — лубочная олеография, образ Луханской божьей матери.

Жерар протолкался к стойке, спросил виски.

— Не держим, — с сожалением сказал кабатчик,— у нас его не употребляют, слишком дорого. Может, хотите джину?

Он поставил перед Жераром прямоугольную бутылку.

— Большой стакан,— сказал тот. — Большой, понимаете, как для виски-сода. Только без соды.

Он вытянул его, не отрываясь. Пьющие рядом переглянулись и одобрительно покрутили усы. Жерар перевел дыхание, закурил и кивнул кабатчику:

— Повторите!

Кругом стало тихо. Когда опустел второй стакан, к Жерару протискался усач со шрамом через все лицо.

— За что я люблю этих гринго, не в обиду вам будь сказано,— заявил он, хлопнув его по плечу,— так это за то, что пить они умеют! А ну-ка, патрон, теперь за мой счет. Выпьем?

Они выпили раз и другой. Странно — Жерар почти не чувствовал опьянения. А он должен был чувствовать, иначе...

— А почему не пьют другие? — крикнул он, шаря по карманам. Найдя бумажник, он выгреб из него пачку кредиток и бросил на стойку. — Я спрашиваю, почему к нам не присе... не присоединяются другие, каррамба! Джин для всех, патрон, посмотрим, кто кого перепьет — гринго или креолы. Слышите, амигос? А ну, кто тут настоящие мужчины?..

На следующее утро он проснулся под шум дождя, в отвратительной незнакомой комнате с растрескавшимся грязным потолком. Пахло сыростью, под окном натекла на каменном полу большая лужа, окно

было открыто, и створка его тоскливо хлопала. За окном, на фоне желтовато-серого неба, терпеливо мокла старая полузасохшая пальма, казавшаяся какой-то обглоданной. Нестерпимо болела голова.

Жерар заставил себя встать. В углу комнаты была свалена его поклажа, насквозь мокрая,— видимо, ее догадались убрать из машины уже после того, как начался дождь. Сунув ноги в холодные отсыревшие башмаки, он подошел к окну и долго смотрел на рябую от дождя желтую лужу во весь двор, обглоданные пальмы, сломанный ржавый плуг без колес. Смертельная тоска охватила его — тоска, которую нужно было немедленно чем-то заглушить...

Он пил весь этот день — сначала в одиночестве, потом с представителем столичной фирмы «Агар Кросс лимитада», распространявшим в этих местах что-то связанное с сельским хозяйством, потом со своими вчерашними собутыльниками, пришедшими после работы проведать лихого гринго. Продолжалось это и на третьи сутки. Ехать было нельзя — джип не имел тента, а дождь все лил и лил, не прекращаясь ни на час. Коммивояжер тоже оказался не дурак выпить; постепенно попойка приняла гомерические размеры. На третий или четвертый день хозяин со смущенным видом сообщил Жерару, что ночью какой-то сукин сын пытался украсть с джипа запасное колесо, но висячий замок, которым оно было заперто, не поддался, и тогда злоумышленник поднял машину на козелки и снял оба задних. Жерар в этот момент возил локтями по столу и объяснял двум пеонам с маслобойки разницу между импрессионизмом и неоимпрессионизмом; говорил он по-французски, но пеоны слушали со вниманием и сочувственно поддакивали. С трудом поняв сообщение кабатчика, Жерар махнул рукой и заплетающимся языком посоветовал тому наплевать на это дело.

Представитель «Агар Кросс» уехал в конце недели, желтый и изможденный, как после приступа тропической лихорадки. Жерар тоже собрался было ехать, но колеса, заказанные в городе, все еще не прибыли. Кроме того, у него кончились деньги. Он телеграфировал Бебе и продолжал пить в кредит. В местечке он был известен уже как «человек-губка»: бородатый гринго, поглощающий невероятные количества алкоголя всех видов, от джина до виноградной водки, и заставляющий каждого нового посетителя поддерживать компанию. Вокруг него крутились теперь какие-то развеселого вида креолки; иногда он видел рядом с собой одну, иногда двух. Может быть, впрочем, у него просто двоилось в глазах. Особенно они ему не надоедали. Он к ним даже привык — угощал их шерри-брэнди, придумывал им прозвища и даже пытался приобщить к поэзии — читал вслух Ронсара и Валери. Однажды ночью, добравшись до своей комнаты, он обнаружил креолку в постели — правда, одетую. Та крепко спала, он бесцеремонно перекатил ее к стене, прикрыл одеялом и улегся без подушки, на жестком краю продавленного соломенного тюфяка. «Как только исправится погода, нужно ехать»,— подумал он, засыпая.

Погода не исправлялась. Тяжелые обложные тучи висели над бразильским штатом Рио-Гранде-до-Сул, над северными департаментами Уругвая, над пшеничными полями аргентинского Междуречья. Моросящие дожди шли на всем правобережье Параны, захватывая восточный край провинции Кордова, но южнее и западнее небо было чистым, и путешественник, приближаясь к зеленым предгорьям кордовского массива, уже издали мог видеть в солнечной дымке его мягкие голубоватые очертания, вставшие над ровным простором пампы.

Ветер, волновавший высокую степную траву на склонах предгорья, дальше становился более резким и свежим, он шумел в перепутанных

зарослях кустарника и дикой яблони, под его напором монотонно гудели провода и стальные мачты электромагистрали, идущей от гидростанции Эмбальсе Рио Терсеро. Одна из этих мачт стояла на самом гребне горы, раскинув короткие руки, крепко упираясь расставленными решетчатыми ногами. Она была похожа на часового, поставленного над поворотом глубокого зеленого ущелья, где внизу проходила дорога и еще ниже шумел горный ручей, и была, к счастью, единственным свидетелем происшествия.

Все еще сидя на земле, Беатрис вытерла слезы тыльной стороной перчатки — расплакалась она не столько от боли, сколько от испуга — и погрозила лошади обломком стека. Та как ни в чем не бывало общипывала куст в десяти шагах от сидящей на земле всадницы, звякая уздечкой и обмахиваясь хвостом с самым независимым видом.

Да, вот это был прыжок! Такое можно увидеть только на родео[1] — с той разницей, что там всадник обычно остается в седле. И что испугало эту Бониту — неизвестно. То ли птица выпорхнула из маторраля, то ли блеснул на повороте осколок бутылки...

Как бы там ни было — благодарение небу, что она еще приземлилась так удачно. Могло быть куда хуже! Узкая дорога, почти тропинка, заросла травой — видно, по ней не ездят с тех пор, как по ту сторону гребня проложили новое шоссе. Беатрис похолодела, представив себя лежащей здесь со сломанной ногой,— сколько прошло бы времени, пока ее хватились бы и стали разыскивать? Да и не так просто здесь найти...

Она испуганно перекрестилась и, подняв голову, увидела высоко над собой решетчатую серебристую мачту и четыре нити, пересекающие ущелье. Небо было бездонным и синим, сильно провисшие провода раскачивались от ветра, но здесь — внизу — стояла знойная тишина и терпко пахло разогретой солнцем зеленью. Мирно позвякивала уздечка Бониты, внизу журчала вода. Подумать только, что упади она иначе, ударься головой — и все это могло погаснуть для нее навеки...

Беатрис глубоко, с благодарностью, вздохнула и ощупала нагрудный карман ковбойки. Блокнот и вечное перо были на месте. А стек сломался, и правая перчатка лопнула на ладони — совсем новая перчатка, как жаль! Запястье побаливает, наверное, опухнет, и бедро тоже ноет, но не сильно. Морщась, Беатрис поднялась на ноги, подобрала блеснувшие в траве солнцезащитные очки и, прихрамывая, направилась к лошади.

— Ну, знаешь, этого я от тебя не ожидала,— сердито сказала она, схватив повод и шлепнув Бониту по потемневшей от пота шее. Кобылка норовисто вскинула головой, косясь на нее большим лиловым глазом.— Тихо! Чудовище ты, а не лошадь, я еще тебе верила...

Привязав повод к искривленному суку дикой яблони, Беатрис стащила перчатки, сунула их в карман бриджей и стала осторожно спускаться к ручью, раздвигая заросли. Она вдруг спохватилась — а часы? — и поднесла к уху левое запястье. Нет, часы, к счастью, шли, было всего два с четвертью. Почта работает до шести, времени еще много.

Ручей был узеньким, его можно было перепрыгнуть с разбегу, но чуть ниже, заваленный крупными обомшелыми валунами, он разлился и образовал крошечное озерцо шириною метров в пять-шесть. Осторожно перебираясь с камня на камень — кожаные подошвы скользили,— Беатрис добралась до озерца и присела на широкий плоский валун, опустив в воду правую руку. Камень был горячий от солнца, а

[1] Состязание ковбоев (*исп.*).

вода холодная, но не очень — не так, как в горных речках Неукена, на юге. Зато такая же чистая, совершенно хрустальная. На дне озерца — Беатрис на глаз определила его глубину, пожалуй будет по пояс,— в причудливой игре солнечных извивающихся пятен словно шевелились чистые, отшлифованные водой голыши, крупные и помельче. В таких вот пятнах можно увидеть что хочешь — это так же, как когда зимой долго смотришь в горящий камин. Там, если повезет, можно увидеть даже саламандру. Несомненно, и здесь, в воде, можно увидеть что-нибудь такое же интересное. Например, крошечных дриад или тритонов. Ей очень захотелось вдруг увидеть тритона или дриаду, она даже вздохнула от нетерпения. Впрочем, руку из воды пришлось убрать — от холода она сразу онемела.

Посидев немного и чувствуя, что жаркое солнце и ровное журчание воды, крошечными водопадами пробивающейся из озерца между камнями, начинают наводить на нее дремоту, Беатрис встряхнулась и вытащила из кармана перо и блокнот. Но писать было трудно — ни одно слово не приходило сейчас на ум. Только звон стрекоз и журчание маленьких водопадов, только горячее солнце и запах воды и обомшелого камня. Глупо было не взять купальный костюм — лучшего места не найдешь. И так пустынно, по дороге никто не ездит...

Она расстегнула ковбойку и растянулась на широком камне, подложив руки под голову. А запястье почти уже не болит,— видно, помогла холодная ванна. Да, выкупаться бы сейчас... Как жжет солнце, через очки, через плотно зажмуренные веки — все равно перед закрытыми глазами все красно. Так всегда на пляже, когда лежишь на спине. А потом перевернешься на живот, и еще разроешь для лица ямку в песке, чтобы было прохладно,— и перед глазами сразу такой мрак, синий-синий. Очень приятно. А потом — в воду, прямо в обрушивающиеся на тебя волны прибоя...

Беатрис вздохнула и, сев на своем каменном ложе, стащила сапоги с узкими голенищами, сняла носки. Смеясь от удовольствия, она поболтала ногами в воде, искушение овладевало ею все сильнее. В самом деле — совершенно заброшенная ложбинка, шоссе проходит по ту сторону гребня. И потом, если бы кто-нибудь и появился поблизости — невероятный случай, но допустим,— то все равно она услышит издали: через этот маторраль на цыпочках не проберешься...

Она сняла очки, разомкнула браслет часов и положила их на камень рядом с блокнотом. Потом выпростала из брюк расстегнутую ковбойку и опять прислушалась. Ей было страшно, и весело, и немного стыдно; она искренне надеялась, что падре-конфессор не сочтет это таким уж большим прегрешением — искупаться нагишом. Среди бела дня и под открытым небом — это верно, но зато в совершенно пустынном месте. «Ах, ну не отлучат же меня за это от церкви, в самом деле,— подумала она, выпутывая руки из ковбойки,— сейчас так жарко, и вода такая чудесная...»

Она оглянулась, прикусив губу, и решительно дернула книзу боковую застежку-молнию на брюках. Только окунуться, посидеть немного в воде, долго в такой холодной все равно не высидишь, и потом на этом валуне можно позагорать...

Вода и в самом деле оказалась невероятно холодной — куда холоднее, чем ощущалось рукой. Смеясь и стуча зубами, Беатрис поплескалась в озерце несколько минут и почувствовала, что больше не выдержит. Она вскарабкалась на свой валун, поскользнувшись и едва не свалившись вниз, и легла ничком, прижавшись щекой к шершавому от лишайника камню. Камень был горячий, она даже поежилась, еще жарче жгло солнце ее спину, но после ледяной ванны это было приятно. Солнце здесь совсем не такое, как в столице,— оно жжет, но не

давит свинцовым зноем. В Кордове в самый жаркий день всегда прохладно в тени, и само солнце какое-то легкое, приятное.

Беатрис подняла лицо и посмотрела вверх, на дорогу, где среди зелени светлым пятном мелькала голова Бониты, потом прислушалась и села, поджав под себя ноги. Дремотно опустив ресницы, она искоса наблюдала, как на серой поверхности валуна, обрызганной золотисто-ржавыми пятнами лишайника, быстро исчезает мокрый отпечаток от ее тела. Как не хочется одеваться... Провести бы так весь день — купаться, потом дремать на горячем камне, потом опять в воду. В купальном костюме этого не ощутишь, ничего нет похожего. Если бы кто-нибудь увидел ее сейчас — что бы он подумал? Что здесь завелась дриада?

— Ан-наи-и-и...— запела она вполголоса, положив руки на колени и глядя из-под опущенных ресниц на искрящиеся переливы струй. — Бессмертьем пылает... в веках не сгорая... цветок гуарани...

Она любила эту песню с ее печальной мелодией и часто — когда никого не бывало поблизости — потихоньку пела ее для самой себя. Принцесса Анай, которой посвящалась песня, была историческим лицом: предводительница одного из гуаранийских племен, захваченная в плен конкистадорами, она отвергла любовь капитана, отказалась креститься и признать владычество испанской короны. За все это ее сожгли живьем, обвинив в колдовстве. Судьба индейской девушки, погибшей четыреста лет назад, очень волновала Беатрис.

Допев песню до конца, она с минуту посидела еще с закрытыми глазами, потом решительно встряхнулась и потянулась за лежащими неподалеку часиками. Ого! Впрочем, время еще есть, важно только успеть на почту.

Так бы и просидела здесь, не одеваясь, до самого вечера... Она разогнула ногу и вытянула ее, шевеля маленькими розовыми пальцами. Нога была ничего — длинная, в меру загорелая. Загорать Беатрис начала еще дома, у себя на балконе по утрам. Кончиками пальцев она легко провела по коже, гладкой и горячей от солнца, и вдруг покраснела, быстро поджав ногу под себя. Уж это-то ей определенно не простят — одно дело искупаться, когда тебе жарко и ты забыла костюм, а другое — сидеть нагишом целых полчаса, петь языческие песни и при этом еще любоваться своим телом...

Она торопливо оделась, вплоть до сапог, оставив незастегнутой одну лишь верхнюю пуговку на ковбойке, и из легкомысленной дриады превратилась в скромную девицу в костюме для верховой езды, с прической хвостом. Одевшись, она снова растянулась на животе и развернула перед собой блокнот.

«Фрэнк, милый,— начала писать Беатрис,— не обращай внимания на почерк, это я пишу, лежа на камне. Меня только что сбросила лошадь, но я ушиблась не сильно. Она чего-то испугалась. Иногда она пугается птиц, если они выпорхнут из кустов прямо перед ней.

Фрэнки, милый, я давно не чувствовала себя так хорошо. Ты был прав, конечно, все это объяснялось нервами. Я здесь всего три недели и уже стала совершенно другим человеком. Кстати, я задержусь здесь до Нового года, потому что одни наши знакомые в Кордове пригласили нас с папой на рождество, так что он приедет сюда. Вот сейчас я вижу, что люблю тебя по-настоящему. Все эти страхи были ни к чему, просто как наваждение. Впрочем, в последнем письме я все это тебе уже написала. Ты можешь быть совершенно спокоен. Я дала тебе слово, любимый, и тебе никогда не придется говорить, что одна из Альварадо тебя обманула...»

Над зеленым ущельем, в хрустальном небе Кордовы, пламенело легкое и неистовое горное солнце, запутавшийся в стальной паутине мачт, сердитым шмелем гудел ветер. Серая кобылка, привязанная к

дикой яблоне, то ли соскучилась, то ли просто объела все, до чего могла дотянуться, и заржала сердито и звонко.

— Иду-у!— крикнула Беатрис, дописывая четвертый листок.— Сейчас иду, Бонита, закончу письмо — и едем! Подожди еще две минутки...

11

Вернуться домой к рождеству Жерар не успел. Дождавшись сухой погоды, он распрощался со своими собутыльниками и погнал машину на Юг. На второй день пути расплавились шатунные подшипники. Случилось это в такой дыре, где не было ни запасных частей, ни даже хорошего механика; с пустяковым делом провозились еще трое суток. Пока ремонтировали машину, Жерар кое-как привел себя в порядок, отоспался, сбрил бороду. Лишь двадцать восьмого вечером он приехал в «Бельявисту».

— Дон Херардо вернулся! — обрадованно закричала выбежавшая на крыльцо кухарка и тут же ахнула: — Угодники небесные, что с вами? Вы болели?

— Нет, донья Мария,— ответил Жерар, пожимая ей руку.— Я здоров. Сеньора дома?

— Дома, ванну принимает... Да как же вы здоровы, посмотрите на себя!

— Ничего, ничего. Вы только не делитесь своими впечатлениями с сеньорой, хорошо?

— Хорошо, дон Херардо,— кивнула та, глядя на него почти со страхом.

Похлопывая по голове Макбета, Жерар подошел к двери ванной комнаты и легонько постучался:

— Алло, шери... Угадай, кто приехал...

— Херардо!— ахнула за дверью Беба. Послышался плеск воды.— Херардо, милый, я сейчас... Только оденусь, минутку!

— Вообще-то не обязательно,— сказал Жерар.— Как ты без меня здесь жила? Скучала?

— О, как ты можешь спрашивать!.. А ты скучал?

— Конечно. Никаких новостей?

— Да нет... О, я перевезла все твои вещи и картины, знаешь?

— Правильно сделала. Скоро ты?

— Две минутки, querido[1]... Знаешь, чем я занималась без тебя?

— Нет, не знаю.

— Слушала серьезную музыку, вот! Ты говорил, что у меня плохой вкус, помнишь? Так вот...

— Шери, я не дождусь и снова уеду...

— Ну подожди, Херардито, всего три минутки, я уже наполовину готова. Так вот, я купила магнитофон, потом поехала к Лоттермозеру и попросила отобрать все лучшие записи. У меня теперь целая куча бобин. Много французов, знаешь? Равель, Дебюсси, Сен-Санс, потом, конечно, другие — всякие, не только французы. Ты доволен?

— Конечно,— улыбнулся Жерар, разглядывая свои руки.— Конечно доволен. Кто тебе посоветовал Дебюсси?

— О, это там, у Лоттермозера. Они меня спросили — для кого, и я сказала, что это один француз, художник и так далее. Они угадали?

— Угадали, еще бы.

— Ой, как я рада! Сейчас иду, Херардо, сейчас иду. Много ты работал на Севере?

---

[1] Милый (*исп.*).

Жерар сунул руки в карманы.

— Н-нет, шери,— сказал он равнодушным голосом.— Я там вообще не работал... Так, просто поездил, посмотрел...

На другой день с утра Беба уехала в столицу за покупками — нужно было готовиться к празднику. Договорились, что Жерар отгонит джип и встретится с нею вечером, чтобы вернуться вместе.

— Только смотри, вести буду я,— сказала она, усаживаясь в машину.— Увидишь, как у меня теперь получается. Так, значит, ровно в шесть, возле отеля «Пласа»...

Садовник перед гаражом окатывал джип из шланга. Сильная струя с гулом била в железную обшивку, смывая куски присохшей грязи, и дробилась на солнце в радужную водяную пыль.

— Да бросьте вы его, дон Луис,— сказал Жерар.— Охота вам возиться, в самом деле...

— Уже все,— ответил тот.— Не люблю вида грязной машины.

Окатив еще раз ветровое стекло и сиденья, он бросил шланг и, войдя в гараж, перекрыл воду.

— Так говорите, Север вам не понравился,— сказал он, укладывая резиновую кишку аккуратной бухтой.

— М-да, уж этот ваш Север...— Жерар покачал головой.— Вернее, нужно сказать: «Уж это ваше правительство...»

Вытерев руки ветошью, дон Луис подошел к верстаку, по которому были аккуратно разложены детали разобранной ручной мотокосилки. Жерар присел на ящик с инструментом, взял с верстака нож и дощечку и принялся машинальными движениями ее обстругивать.

— «Нашим» его можно назвать лишь весьма условно,— отозвался дон Луис, поднося к глазам маленькую шестеренку.— Будь оно нашим...

Он пожал плечами и стал протирать шестеренку смоченной в керосине тряпкой.

— Все-таки,— сказал Жерар,— я в ваших аргентинских делах чего-то не понимаю. Послушать одних — Перон чуть ли не коммунист: предпринимателей прижимает, законы о труде провел, о защите интересов рабочих говорит в каждой своей речи... С другой стороны, многие из моих знакомых считают его фашистом, поскольку он провозгласил себя «лидером нации», разогнал партии, оставив только свою собственную, задавил гласную оппозицию... Словом, в этом плане ведет себя вполне по-гитлеровски. Картина и в самом деле противоречивая. Во всяком случае, то, что я видел на Севере, с разговорами о защите интересов простого народа как-то не согласуется...

— Перон,— усмехнулся дон Луис.— Перон, видите ли, это чертовски хитрая бестия. В начале своей карьеры, когда он вошел в правительство Фарреля секретарем труда и общественного обеспечения и начал создавать профсоюзы, он играл несомненно прогрессивную роль. Может быть, сам того не желая. Настолько прогрессивную, что даже приобрел популярность среди рабочих. Когда правительство испугалось и посадило его в тюрьму — кто его освободил? Рабочие! Весь рабочий Буэнос-Айрес вышел тогда на улицы, требуя его освобождения. Так что к власти он пришел буквально на плечах рабочего класса. Вы сами понимаете, это дало ему такой политический капитал, что вот уже десятый год он живет, так сказать, на проценты с этого капитала. Ну и, естественно, вначале он заботился об увеличении своего актива, провел целый ряд законов, кое в чем прижал предпринимателей, пообещал даже аграрную реформу... А потом уж проявил себя во всей красе — когда почувствовал, что президентское кресло под ним не шатается. Да и потом учтите, что покойная сеньора тоже была умной женщиной, с большим политическим чутьем. Как-никак, а народ до сих пор

называет ее «наша Эвита»... При ней все же сохранялась еще хоть видимость приличий...

Дон Луис, тщательно вытерев руки, закурил свою неизменную «аванти». Жерар продолжал сидеть молча, строгая дощечку.

— Ну а насчет того, можно ли назвать его фашистом,— продолжал дон Луис,— то обратите внимание на такой факт: думаете, случайно к нам переселилось в сорок пятом году столько военных преступников? Витторио Муссолини живет у нас, Анте Павелич — у нас,— дон Луис начал загибать пальцы,— доктор Скорца, «великий секретарь» итальянской фашистской партии, даже журнал свой здесь издает — может, видели в киосках, «Социальная динамика»... Фамилию-то он, понятно, переменил, теперь его зовут Сиртори. Рудель, первый нацистский ас, заведует отделом лётных испытаний на авиационном заводе ИАМЕ в Кордове, там он и книгу свою издал на испанском языке — «2500 боевых вылетов против большевизма», можете купить в любом магазине. Э, да что там, всех разве перечислишь! И это, повторяю, не случайно — они очень хорошо знали, куда и к кому бежать. Перон только потому не превратился еще в стопроцентного диктатора-фашиста, что ему просто не хватает для этого силенок...

Прибежала донья Мария — в кухне случилось что-то с водопроводом. Дон Луис собрал в сумку инструменты и ушел. Жерар сидел в прохладном гараже, строгал дощечку, слушал монотонное гудение насоса за стеной и думал, думал, думал...

Бетонная площадка перед гаражом была залита солнцем, вокруг джипа быстро просыхали сверкающие лужицы. В саду возбужденно лаял Макбет — с теми визгливыми интонациями, которые появляются у молодой собаки, когда она с кем-то играет и уже начинает раздражаться. Жерар вдруг с необычайной и необъяснимой ясностью понял, что все это — и солнце, и шевелящиеся блики на дорожках, и оттенки листвы,— все это скоро не будет иметь для него никакого значения. Или вообще перестанет существовать. Неизвестно, как это все получится, но и продолжаться дальше так не может.

Все, все вокруг него сплелось в какой-то проклятый мертвый узел. Искусство для него умерло (или он умер для искусства, это уж просто жонглирование словами), в личной его жизни тоже приближается какая-то развязка. Какая? Кто может это знать... И не все ли равно! Развязка прийти должна,— это единственное, что он знает. С Элен ведь нужно что-то решать, что-то делать, ты же не можешь обращаться с живым человеком, как с куклой... Черт возьми, если бы она была другой, если бы она сама за время его отсутствия как-то заинтересовалась этим Ларральде...

Неожиданно ему пришла в голову одна мысль — слишком, пожалуй, смелая, но... Выйдя в сад, он долго бродил по дорожкам, курил, задумчиво насвистывая. Да, прежде всего нужно было познакомиться поближе с самим Ларральде. Начинать нужно с этого. Именно с этого. Он обдумывал свою новую идею, стараясь предугадать все возможные варианты, как шахматист, обдумывающий партию. За этими мыслями незаметно пролетело время. Пообедав в одиночестве, он переоделся и уехал в город.

Бебу он нашел в назначенное время и в назначенном месте — синий седан стоял на спуске возле Каванага.

— Ола,— сказала Беба, увидев мужа, и открыла дверцу.—Видишь, я уже здесь! Забирайся.

— Нет уж, поменяемся местами,— заявил Жерар, бросив пиджак на заднее сиденье, заваленное разноцветными пакетами и коробками.—

В городе лучше не рисковать, шери, потом я тебя снова пущу за руль...

Беба нехотя уступила ему место. Жерар сел за руль и отпустил ручной тормоз, машина бесшумно тронулась и покатилась вниз, к вокзалу Ретиро. Включившись, мягко зашелестел мотор.

— Ты собиралась еще куда-нибудь или прямо домой?

— Нет, у меня все, поехали.

Выждав, пока полицейский на своем грибке под зонтиком взмахом белых нарукавников перекрыл встречный поток, синий «манхэттэн» перескочил авеню Леандро Алем, стремительно кренясь и визжа покрышками, обогнул шумную привокзальную площадь и наконец вырвался на асфальтовую ширь проспекта Освободителя.

Беба озабоченно рылась в раскрытой на коленях коробке конфет.

— Возьми, вот вкусная — с ромом. Не хочешь? Я себе купила такие туфельки, у Гримольди... Ой, я тебе еще не показывала сапожки? Настоящие техасские, честное слово, на высоком каблучке, ну не очень, конечно, но вот такой, и потом тут так вырезано, и все расшито цветными узорами. Я нашла хороших верховых лошадей совсем недалеко от нас, на соседней кинте дают напрокат. У меня теперь настоящий ковбойский костюм — такие штаны, совсем узкие, потом еще расшитая куртка и эти сапожки — вот увидишь. Да, знаешь, что я себе еще купила? Ласты, на руки и на ноги.

— Это хорошо,— кивнул Жерар.— В ковбойском костюме и с ластами ты будешь неотразима.

— Санта Мария, этот человек ничего не понимает,— рассмеялась Беба.— Глупый, ласты для плаванья! Ласты, и потом такая маска, и дыхательная трубка. Мы в январе поедем в Пунта-дель-Эсте?

— Граница с Уругваем закрыта, насколько я знаю.

— Люди же ездят! Тем более с твоим французским паспортом... Да, знаешь, я тебе сделала тоже чудные сапоги для верховой езды, прелесть! Ты в обувной шкаф не заглядывал? Понимаешь, английские, с твердыми голенищами, такие красновато-коричневые. Я их заказывала у Таибо — это лучший сапожник в столице для верховой обуви.

— Спасибо, шери, я тронут...

По проспекту только что прошла поливочная цистерна. Мокрый асфальт шипел под шинами, в окна с опущенными стеклами хлестал горячий ветер, пахнущий бензином и речной сыростью. Беба продолжала болтать что-то о своих планах на это лето, о покупках, о поведении Макбета, о тысяче разных пустяков. Жерар слушал ее краем уха, поддакивал, вставлял междометия и думал о своем — все о том же.

— Послушай,— спросил он наконец,— ты никого не хотела пригласить к нам на тридцать первое?

— К нам? Нет, конечно... Кого же я могу пригласить?

— Ну, я не знаю. Разве у тебя нет знакомых?

— Вообще есть, но...

Идущий перед ними огромный автофургон с надписью на задней стенке *«Осторожно — пневмотормоз — держите дистанцию!»* вдруг тревожно замигал стоп-сигналами. Жерар притормозил.

— Слушай, а почему бы тебе не пригласить того врача, с которым ты познакомила меня однажды весной?.. Ну, там, на Авенида-де-Майо, вы с ним сидели в кафе, помнишь?

Фургон снова прибавил ходу. Занятый лавированием, Жерар мог с полным основанием не смотреть на жену.

— О...— сказала наконец та.— Да, я его помню... Знаешь, Херардо... я не хотела тебе говорить... Он ведь пытался за мной ухаживать, знаешь...

— Не надо... Если мы договорились быть друзьями, то это вовсе не значит, что можно каприза ради ставить меня в дурацкое положение! Ладно, ваше здоровье.

— Спасибо, пью за ваше. Ставить вас в дурацкое положение? Санта Мария, у меня и в мыслях этого не было, клянусь спасением души,— совершенно искренне заверила Беба. — Друзья — значит друзья, просто мне захотелось, чтобы вы подружились с моим мужем...

Придуманное только что объяснение понравилось ей самой, и она почувствовала себя свободнее, не без помощи глотка крепкого шотландского виски.

— Что значит подружились?— буркнул Хиль, доставая сигареты.— Курить можно?

— О, конечно... Мой муж тут такое вытворяет со своей трубкой... Да и я курю иногда, когда он не видит,— добавила Беба тоном заговорщицы.

Ей было приятно выглядеть женой, которая находится под башмаком мужа и боится его, даже курит и то украдкой. «Господи,— тут же подумала она с горечью,— да кури я хоть марихуану, он и бровью не поведет...»

Вернулся Жерар. За ним, звеня ошейником, пружинящей походкой вбежал Макбет и, мгновенно насторожившись, рокочуще зарычал.

— Нельзя, это свой,— пальцем погрозила ему Беба.— Иди, я тебе почешу за ухом. Ну?

Макбет сразу перестал обращать внимание на незнакомца и шумно свалился у кресла хозяйки. Жерар подсел к доктору и наполнил стаканы, расспрашивая его о работе. Беба, нагнувшись к Макбету, почесывала его за ухом и рассеянно прислушивалась к разговору мужчин. В ее сердце все росла горечь. Зачем Херардо пригласил Хиля? И спросил он тогда совсем не случайно, он все знает — гораздо больше, чем говорит. А теперь это приглашение... Неужели она, Беба, уже стала ему настолько ненужной, что он сам вводит в дом соперника, не понимая, какое оскорбление наносит ей этим поступком?..

Танцевальная музыка сменилась торжественным колокольным звоном. Беба встала.

— Кабальерос, прошу за стол,— сказала она,—уже пора...

Жерар достал бутылку из ведерка со льдом.

Хлопнула пробка, начали бить часы, по радио звонили колокола. Ночь за распахнутыми настежь окнами озарилась далекими вспышками фейерверка над Морено.

— Ну что ж, с Новым годом!— весело сказал Жерар.

— С Новым годом...

— И с новым счастьем. Желаю вам много счастья, донья Элена.

Беба благодарно склонила голову. Льдинками зазвенел хрусталь, трое осушили бокалы. Новый год начался.

За столом Беба оставалась задумчивой и печальной, но старалась не выдать своего состояния, по мере сил поддерживала разговор и весело улыбалась на обращенные к ней шутки. К счастью, мужчины были слишком заняты друг другом, и хозяйка дома осталась как-то в стороне.

Сколько ни старался Эрменехильдо высмотреть какой-нибудь явный недостаток в муже доньи Элены, тот — как ни странно — начинал ему определенно нравиться. До сих пор она почти ничего не рассказывала ему о муже, он знал только, что тот — художник, француз и достаточно богатый, судя по всему, человек. Этого было достаточно, чтобы он представлял его себе кем-то вроде Сальвадора Дали: безумные глаза, горящие манией величия, усищи в полметра и парчовый жилет с изумрудными пуговицами. В то, что пуговицы на Бюиссонье должны

быть непременно изумрудными, Хиль верил особенно твердо — после того, как увидел портрет Дали на обложке журнала и, невольно заинтересовавшись, прочитал о его образе жизни и привычках. Эти пуговицы и их носитель были ему — заочно — глубоко противны, и поэтому тогда весной, увидев ничем не примечательного человека в дешевом спортивном пиджачке, он был даже несколько разочарован: а где же симптомы мегаломании? Он не мог не признать, что «проклятый сноб» — как он давно уже мысленно называл мужа доньи Элены — оказался, по крайней мере внешне, довольно располагающим к себе типом. Вот и сейчас, одетый в хорошо сшитый смокинг, Бюиссонье держался с той же подкупающей простотой.

Разговор зашел о его недавней поездке.

— Ну и как, насмотрелись? — с усмешкой спросил Ларральде.

Жерар покачал головой:

— Страшная картина, доктор. И знаете, что меня больше всего поразило? Эта всеобщая апатия, как будто все происходящее — в порядке вещей...

— А оно и есть в порядке вещей. Там никогда ничего не меняется.

— И люди терпят?

— А что вы можете им предложить взамен?

— Странно,— сказал Жерар.— В Европе принято считать южноамериканцев народом скорее нетерпеливым и уж во всяком случае не склонным мириться с тиранией. Эти постоянные революции...

— Какие революции? Не смешите меня! Настоящие можно перечесть по пальцам, а все остальное — это казарменные перевороты. Нет, маэстро, характер латиноамериканцев вы себе представляете неверно. Народ у нас терпелив, очень терпелив. И совершенно пассивен политически. Политически активна только ничтожная его часть — образованные круги... Ну и еще военные, но это уже по-другому. Просто, понимаете, у нас на континенте нет ни одного вонючего генерала, который не мечтал бы стать президентом — хоть раз в жизни, хоть на месяц, хоть на недельку! А так что ж — студенты главным образом...

— Юристы?

— Да не только.— Ларральде рассмеялся.—Помните, как мы с вами познакомились, донья Элена?

— О, еще бы! — воскликнула Беба, оторвавшись от своих мыслей.— Вам тогда рукав оторвали, ужас что такое...

— Вы, значит, считаете, что Перон сидит прочно?— спросил Жерар.

— Перон? Вовсе нет. Перона свалят очень скоро— попы и военные: он и тем и другим поперек горла. Будет ли это к лучшему — не уверен. Уж мы-то в Латинской Америке хорошо знаем, что значит власть в руках генералов. Это всегда начало новой диктатуры... Правда, есть одно исключение — Гватемала. Только одно на всем континенте. Трудно предположить, что найдется второй такой Арбенс, и еще труднее — что он найдется именно у нас...

В два часа Беба извинилась перед мужчинами и встала, сославшись на головную боль.

— Мы вас замучили своими разговорами,— смутился Ларральде,— простите, донья Элена. По моей вине вы проскучали весь вечер...

— Что вы, доктор... Я слушала с большим интересом, но сейчас мне и в самом деле нехорошо. Я слишком много выпила, от шампанского у меня всегда начинается головная боль. Доктор, а почему бы вам не остаться ночевать у нас? Стоит ли ехать в такую даль, серьезно...

— Благодарю, донья Элена, к сожалению в шесть у меня дежурство.

— О-о, как неудачно... В шесть утра? От души жалею ваших завтрашних пациентов,— улыбнулась Беба.— Ну что ж, в таком случае до свиданья, доктор, надеемся видеть вас в этих краях почаще — дорогу вы теперь знаете...

— Спасибо... Непременно.— Хиль неловко поклонился.

— Ну что ж, покончим с этой бутылкой? — спросил Жерар, когда Беба вышла.

— М-м... Вы знаете, боюсь,— сказал Ларральде.— Мне ведь и в самом деле работать. Тем более коньяк — я к нему непривычен... Нет, Бюиссонье, не стоит. Мне пора.

— Успеете еще, я вас довезу за час. Даже скорее можно: дороги сейчас свободны.

— Чего ради,— решительно возразил Хиль.— Автобусы по Луханскому шоссе ходят всю ночь, доеду до первой станции, а там электричкой...

— А спать когда?

— Я выспался днем, заранее. Мне только заехать домой переодеться, а там я уже буду в форме. Старый студенческий рецепт,— он улыбнулся,— холодный душ и пол-литра черного кофе.

— Ладно, поехали! Уж к поезду-то я вас доставлю...

Мотор глухо выл на напряженной басовой ноте, в опущенные окна хлестал теплый ночной ветер, крупные бабочки ослепительно вспыхивали в конусах света и мгновенно гасли, втянутые в радиатор мощным потоком воздуха. Жерар сидел в свободной позе, откинувшись на спинку сиденья, свесив локоть за борт и барабаня пальцами по раме окна.

— ...Это приглашение, возможно, несколько вас удивило,— говорил он, не глядя на сидящего рядом Хиля.— Воображаю, как вы ругаете мою жену... Но дело в том, что она вас не приглашала — это сделал я, потому что мне нужно с вами поговорить... на достаточно щекотливую тему.

— Я слушаю,— пытаясь закурить на ветру, пробормотал сразу насторожившийся Хиль.

— Скажите, Ларральде...— помолчав, спросил Жерар.— Какое, собственно, чувство испытываете вы к моей жене? Действительно ли это любовь? Или просто влечение? Только погодите — не возмущайтесь и дослушайте до конца. Потом вы поймете, что я вправе задавать такие вопросы...

Эрменехильдо несколько раз подряд глубоко затянулся сигареткой, красными вспышками озарившей его напряженное лицо.

— Так вот,— продолжал Жерар,— если это просто влечение, то говорить тут не о чем... Если же это любовь — а мне кажется, в какой-то степени так оно и есть, — то выслушайте то, что я вам скажу, и хорошо обдумайте. Времени у вас будет достаточно. Понимаете, доктор, мое дело дрянь в полном смысле слова, я только скрываю это от жены... Простите,— быстро сказал он, заметив движение Ларральде,— я не хочу сейчас пускаться с вами в разговор о моей болезни, достаточно с меня бесед и консилиумов. Важно то, что больше года я, очевидно, не протяну... Я это чувствую сам, у меня нарушены какие-то функции организма, и я сам вижу, что разваливаюсь, как проржавевшая машина...

— Что за нелепость, — вставил Хиль, — «нарушены функции» ,«разваливаюсь»... Какие именно функции у вас нарушены? Любое нарушение органических функций...

— Минутку, Ларральде! Самое страшное в моей болезни это то, что у меня нет желания с ней бороться. Понимаете, никакого. И я знаю, что она меня доконает. К тому же — я говорю совершенно откровенно, видите,— у меня есть основания не цепляться за жизнь. Так вот,

Ларральде. Когда я сыграю в ящик, Элен останется абсолютно одна. Материально ей ничто не грозит, она полностью обеспечена, но у нее нет друзей, которые бы оказались рядом с ней в трудную минуту. Вы меня понимаете? Мне хотелось бы, чтобы в случае моей смерти Элен могла найти в вас поддержку... А дальнейшее будет зависеть только от вас, самое сильное горе излечивается временем, и я не вижу, что сможет помешать ей—через какой-то срок—выйти замуж за своего хорошего друга. Я не собираюсь брать с вас торжественных клятв в стиле старых романов, я только хотел бы, чтобы вы, Ларральде, подумали над положением женщины, которую любите...

Беба лежала у себя в комнате с заплаканными глазами. Она слышала, как подъехал автомобиль, как в холле спросонья заворчал Макбет и сразу затих, узнав хозяина. Жерар осторожно подошел к ее двери, повернул ручку и постоял несколько секунд, очевидно удивленный тем, что дверь оказалась заперта. Потом сдержанно вздохнул и удалился. Беба закусила угол подушки, удерживая рыдания.

С полчаса она боролась с собой, потом, не выдержав, вскочила, наспех привела в порядок лицо, накинула халатик поверх прозрачной ночной рубашки. «Я не могу иначе,— убеждала она себя,— стоит мне начать проявлять обиды — и от нашей жизни вообще ничего не останется...»

Уже подойдя к двери, она вспомнила о своем подарке, вернулась к туалету и достала из ящика маленькую коробочку. Сапфир — камень верности и постоянства в любви. А если его дверь тоже заперта? Санта Мария, в каком глупом положении она тогда окажется...

Дверь была не заперта. Беба поскреблась, предупреждая о себе, и прошмыгнула в комнату. Жерар читал лежа.

— Шери? — удивился он, откладывая книгу.— Я к тебе заходил, было заперто...

— Я заперлась, потому что было страшно — в доме никого, а мне показалось, что кто-то ходит. А потом заснула. Ты давно приехал?

— С полчаса. Головка уже не болит?

— Нет. Дай сюда руку и закрой глаза. Нет, другую...

— Ну, так...— Жерар улыбнулся с закрытыми глазами.— Обручальное?

— Нет, что ты. Смотри!

Жерар поднес к лампе руку — на пальце матово блеснул перстень с плоским квадратным камнем синего цвета.

— Новогодний подарок? Глупышка моя, спасибо... Но я никогда не носил таких штук. Это платина? Ты сошла с ума...

— А, перестань. Нравится? А знаешь, голова у меня вовсе не болела. Это я нарочно, чтобы поскорее ушел Ларральде... Можно к тебе?

Не дожидаясь ответа, она погасила лампу на ночном столике и, выпутавшись в темноте из халата, скользнула под простыню.

— Ты, однако, порядочная притворщица, — сказал Жерар, отодвигаясь, чтобы дать ей место.— И лгунишка. Не стыдно, нет?

— А вот и ни капельки...

Фонарь снаружи, на выступе крыльца, бросал в комнату перекошенную тень оконного переплета. В гостиной неторопливо пробили часы.

— Одним словом, год начался... Интересно, принесет ли он нам исполнение желаний,— задумчиво сказал Жерар.

— У тебя какие? — шепнула Беба, прижимаясь к мужу.

— У меня? Трудно даже сказать... А у тебя, наверно, целая куча?

— Нет-нет, Херардо... Если хочешь знать — совсем мало. В общем, главное одно. Но это такое, что... Ну, самое главное, понимаешь?

— Гм! Притворщица — это раз. Лгунишка — уже два. Теперь, оказывается, вдобавок ко всему этому еще и интриганка. Какие-то таинственные желания...

— Херардо...

— Слушаю вас, мадам.

— Знаешь, чего мне хотелось бы больше всего на свете?

Жерар засмеялся.

— Пари, что угадаю? Изумрудное колье, что мы видели позавчера у Гутмана...

Тело ее словно окаменело в его руках, сделавшись вдруг чужим и враждебным. Вырвавшись, она отодвинулась и спрятала лицо в подушку. Жерар покосился на нее и закрыл глаза, подавив вздох. Через минуту он приподнялся, взял жену за плечи и повернул к себе ласково и настойчиво.

— Ну, в чем дело, моя маленькая?

Она упрямилась, потом повернула голову и посмотрела ему прямо в лицо. Слезы на ее глазах блестели в отсвете наружного фонаря.

— Не делай хотя бы вида, что тебя это интересует! Или отгадывай сам — ты ведь такой чуткий и проницательный, мой Херардо! Очень жаль, что на этот раз ты почему-то не отгадал моего главного желания...— Голос ее оборвался всхлипом, но она продолжала упрямо, уже со злой насмешливостью: — А мне вот больше всего на свете хочется взять первое место на конкурсе красоты и получить титул «Мисс Аргентина», как эта Ивана Кисслингер! Какие же у меня могут быть еще желания! Я ведь всего только раскрашенная кукла, с которой иногда приятно провести ночь, не правда ли?

12

Новый год Беатрис встретила в Кордове, у Гонтранов, задержавших ее с отцом от самого рождества; чопорный профессорский дом, пропитанный университетскими традициями и католицизмом, был бы порядком скучен, но на праздник сюда собралось много молодежи, и Новый год встретили весело — с бесчисленными ракетами и танцами до утра на асотее[1].

В Буэнос-Айрес она возвращалась поездом, одна: доктор Альварадо остался продолжать переговоры с одним издательством. Столица встретила ее духотой, от которой она уже успела отвыкнуть за месяц, проведенный в горном климате; пустяковое дело — разыскать такси и добраться с вещами домой — утомило Беатрис больше, чем в Кордове утомляли многочасовые верховые прогулки. Мисс Пэйдж, против обыкновения, поцеловала воспитанницу с материнским радушием и накормила почти вкусным обедом. Доедая пудинг, Беатрис поинтересовалась, не звонили ли ей от Мак-Миллана. Оказалось, что звонили вчера, в субботу.

— Вы сказали, что я приезжаю сегодня?

— Да, и особа, которая звонила, просила вас быть на службе в понедельник утром. Сказала, что ждет вас, чтобы передать дела. Мне показалось, она не особенно довольна задержкой,— добавила мисс Пэйдж. Беатрис прониклась сознанием собственной значимости — ник-

[1] Azotea (*исп.*) — плоская крыша, служащая террасой.

то еще никогда не задерживался для передачи дел ей, Доре Беатрис Альварадо, и не огорчался из-за ее опозданий.

— Подождет,— важно сказала она.— Завтра только четвертое, не так уж я и опоздала...

На следующее утро Беатрис проснулась по будильнику в половине восьмого. Оделась она как можно строже, по-деловому: черный тальер, чулки со швом, прическа в виде небольшого греческого узла. У цветочницы на углу Лас-Эрас были ландыши—Беатрис мысленно подсчитала свой капитал (Кордова, увы, съела все ее карманные сбережения) и рискнула разориться на пять песо. Крошечный букетик она тут же приколола к лацкану и в троллейбусе все время пыталась уловить свое отражение в стеклянной переборке.

Ровно в девять она вышла из расхлябанного, визжащего лифта на четвертом этаже старого дома на улице Тукуман, расположенного — в буквальном и переносном смысле — под сенью Дворца трибуналов. До сих пор Беатрис о таких местах только читала, в частности у своего любимого Диккенса — всякие Докторс-Коммонс, Грэйс-Инн и прочие трущобы; подъезд был зажат между двумя лавчонками, одна из которых торговала канцелярскими принадлежностями и конторскими книгами, а в другой снимали с документов фотокопии, переписывали на машинке любые бумаги и размножали их на мимеографе. Сам же дом с первого по шестой этаж представлял собой огромный улей с сотами, где в каждой ячейке сидела некая чернильная пчела с высшим юридическим образованием. Беатрис никогда не думала, что дом, населенный крючкотворами, может до такой степени пропахнуть чернилами, старыми бумагами и пылью.

Сумрачный коридор, обшитый панелями темного дерева, мог навести уныние и на более решительную натуру. Миновав дюжину дверей, украшенных бронзовыми и алюминиевыми табличками с именами нотариусов и адвокатов, Беатрис с робостью остановилась перед той, где красовалось имя Джозефа Мак-Миллана. Помедлив секунду, она несмело постучала. «Входите»,— крикнул изнутри женский голос. Беатрис вошла и едва не растянулась, зацепившись каблуком за оторванный край линолеума.

— Да, детка, в этой берлоге нужно быть осторожной,— сказала сидящая за столом девушка.— Вы Дора Альварадо?

Беатрис молча кивнула, уничтоженная собственной неловкостью.

— Меня зовут Анхелика,— представилась та, подавая ей руку.— Не смущайтесь, это старый хрыч должен краснеть — не будь он шотландцем, пол давно был бы починен. Я тоже вначале всегда здесь спотыкалась. Так вот вы какая... Однако, у старика есть вкус, ничего не скажешь! Можно, я перейду на «ты»? Понимаешь, иначе я не терплю, да и потом я на восемь лет старше тебя. Старик говорил, что тебе восемнадцать? А мне двадцать шесть, так что видишь. Слушай, ты меня страшно подвела. Я думала, ты приедешь в субботу, и уже заказала билет на вечерний поезд, пришлось перекомпостировать на сегодня. Ладно, время есть, я тебя пока введу в курс дела, а после обеда явится сам хрыч. Он что, ваш знакомый?

— Да, он давно знает папу,— тихо отозвалась Беатрис.— Вы имеете в виду доктора Мак-Миллана?

— Ясно, кого же еще, старого хрыча Мака... — Подожди, — зловеще сказала Анхелика,— посмотрю я, какими именами ты будешь называть его к моменту моего приезда... Он сказал тебе, что я возвращаюсь только к концу марта?

— Да, сеньорита Анхелика, я знаю.

— Какая я тебе Анхелика, зови меня Хелли. Характер у меня и в самом деле не ангельский, скорее наоборот. Тем более с таким патро-

ном... Ну ладно, Дора. Садись пока, поболтаем! Или перейдем лучше в комнату хрыча, там удобный диван...

Беатрис еще раз окинула взглядом место своей работы — шкафы с унылыми рядами папок, большой, заваленный бумагами стол, пишущая машинка на маленьком металлическом столике на колесиках — и пошла за Анхеликой в другую комнату, где письменный стол был получше и за стеклами шкафа вместо папок стояли толстые книги.

— Куришь? — спросила Анхелика, когда они сели на удобный старый диван.

— Нет, спасибо...

— Ничего, научишься.

Она закурила и стала знакомить Беатрис с ее обязанностями: как отвечать на телефонные звонки, как принимать посетителей, как классифицировать корреспонденцию, как оформлять письма и вообще деловые бумаги. Та слушала, покорно кивая, и с ужасом чувствовала, что вся эта премудрость улетучивается из головы с той же быстротой, с какой Хелли ее излагала.

— Ну ладно, не все сразу. Вообще хрыч не станет на тебя рычать из-за всякого промаха, в этом надо отдать ему справедливость. Если бы не его жадность, он вообще был бы терпимым парнем. Если не секрет — сколько он тебе дает?

— Пятьсот песо, Хелли.

Та кивнула, словно не ожидала ничего другого.

— Вот видишь! А уж работой он тебя завалит, будь покойна. Мне он платит девятьсот, но нужно знать, что я делаю! Я ведь работаю фактически без расписания — если нужно остаться до девяти вечера, я остаюсь до девяти, и если в воскресенье нужно поехать получить подпись какого-нибудь клиента, которому лень зайти к нам, то я ставлю крест на все свои личные планы и еду за этой проклятой подписью. И вообще есть много дел, которые я почти самостоятельно провожу с начала до конца...

— Вы думаете, он и меня заставит вести дела?— со страхом спросила Беатрис.

— Ну что ты, детка! У меня как-никак за плечами три года юридического факультета, а практики побольше, чем у иных адвокатов. Нет, ничего сложного он тебе поручать не будет, можешь быть совершенно спокойна. Ты где учила стенографию и машинку, у Питмана?

— Нет, в лицее это входит в программу... Правда, печатаю я плохо, не всеми десятью. Но мистера Мак-Миллана я об этом предупредила — он сказал, что ничего.

— Да конечно, какая разница? Важнее стенография. Ладно, скажи-ка мне такую штуку. Вот у тебя на столе звонит телефон. Что ты говоришь, когда снимаешь трубку?

— Когда снимаю трубку... Ну, я говорю: «Ола, кто это?»

Хелли замотала головой:

— Нет-нет, Дора, ни в коем случае! Я же тебе только что объяснила. Ты снимаешь трубку и говоришь: «Юридическая контора Мак-Миллан, добрый день, кто говорит?» Если хрыча просят к телефону, а он сам в конторе, то никогда не говори: «Сейчас позову» — это очень важно, запомни. Ты скажешь: «Один момент, сеньор, я узнаю, здесь ли он», а сама пойдешь к хрычу и спросишь у него, желает ли он говорить с таким-то. Если он скажет «нет», то ты возьмешь трубку и очень вежливо сообщишь, что, к сожалению, доктор Мак-Миллан недавно уехал, и спросишь, что ему передать по возвращении. Если хрычу звонят, когда его действительно нет, то ты должна аккуратно записать — кто и в каком часу звонил, по какому делу, что просил передать и

обещал ли позвонить вторично сам или просил позвонить ему по такому-то номеру. Ясно?

— М-м... Боюсь, не очень,— честно призналась Беатрис.

— Привыкнешь, ничего. Это только кажется сложным в первый день. Я в первый день ревела, не веришь? Тебе не советую, а то глазки покраснеют. Ты не собиралась сегодня работать?

— Нет, почему, собиралась. А что?

— Я имею в виду твой костюм.

Беатрис вскинула брови: а что с ее костюмом?

— Слишком нарядно, детка, даже не то что слишком нарядно, а слишком по-вечернему. В таком можно идти на коктейль-парти, а не на работу. На службе девушка должна быть одета со вкусом, но прежде всего удобно. Какая-нибудь блузка, широкая юбка, потом туфли на таком высоком каблуке не годятся,— тебе придется много ходить, то в трибуналы, то еще куда-нибудь. У тебя есть низкие или хотя бы на английском каблуке — спортивные? Лучше всего именно спортивный стиль, особенно к твоей фигуре. Покажи-ка ногти... Правильно. Длинных при нашей работе носить нельзя. А вот губы... Ты что, вообще не красишь?

— Зачем?— с легкой обидой в голосе спросила Беатрис.— Мне кажется, они у меня вовсе не бледные...

— Да не в том дело, детка! Секретарша с ненакрашенными губами выглядит неряхой, которая не успела привести себя в порядок. Если не хочешь ярче, то купи помаду тона «скарлет юниор» —запиши, а то забудешь. Это как раз самый подходящий тон для очень молоденьких темных шатенок с твоим цветом лица. Накрашенные губы иначе блестят, пойми ты. А чулки?

Она бесцеремонно сдвинула юбку Беатрис выше колена и нагнулась, разглядывая чулок. Беатрис покраснела.

— Ты сошла с ума... Пятнадцать денье! — воскликнула Хелли.— Это же вечерние чулки, Дора! Днем, на службе, нужно носить чулки в сорок, в крайнем случае тридцать денье. Но не пятнадцать, праведное небо! Лучше всего сорок — они, кстати, и прочнее, а эта паутинка полезет завтра же. А летом вообще лучше без чулок, я никогда их не ношу... Ну ничего, со всеми этими мелочами ты освоишься. И с работой тоже, я надеюсь.

С работой Беатрис действительно освоилась, и гораздо скорее, чем ожидала. Первого января в судах начались летние каникулы, юридическая жизнь замерла, и Беатрис попала в удачное время— никакой спешки не было, ее патрон занимался лишь подготовкой некоторых дел к предстоящим сессиям. Беатрис приезжала в контору к десяти или половине одиннадцатого, вскрывала письма, раскладывала их по папкам, печатала какую-нибудь бумагу, с трудом разбирая каракули Мак-Миллана. В час она уходила обедать, возвращалась к двум, обычно почти одновременно с патроном, который никогда не приезжал по утрам. Иногда он приводил с собой какого-нибудь клиента, и ей приходилось стенографировать, или диктовал письма, пыхтя и расхаживая по кабинету в своем старом, обсыпанном пеплом пиджаке с висящими на ниточках пуговицами. Однажды Беатрис попросила его снять пиджак и пришила пуговицы все до одной, но через неделю они снова болтались,— только после этого, изумившись, она заметила привычку патрона крутить собственные пуговицы, слушая пространные разглагольствования очередного клиента. Часто ей приходилось ходить по городу со всякими поручениями, и это было самым приятным — на улицах, в озабоченной толпе прохожих чувствовать себя занятой и деловой — никогда не испытанное до сих пор чувство, которое придавало ей вес в собственных глазах. Она научилась, прибежав в банк за полчаса до пре-

кращения операций, занять несколько очередей сразу в разных окошках, чтобы успеть купить гербовые марки в одной кассе, взять нужные формуляры в другой и, заполнив их, успеть сдать в третью. Первые дни ездила обедать домой, но это отнимало много времени, и она начала отваживаться на посещение закусочных, после нескольких неудачных опытов облюбовав «Голландскую хижину» на Коррьентес, недорогую, очень чистую и известную своим быстрым обслуживанием, к тому же расположенную совсем близко от конторы — всего две остановки метро.

Доктор Альварадо, вернувшийся из Кордовы в середине января, нашел дочь сильно изменившейся к лучшему. Дора стала более живой, повеселела, от ее прежних настроений — по крайней мере, внешне — ничего не осталось.

Возвращаясь домой около пяти, она с аппетитом набрасывалась на еду и рассказывала о дневных происшествиях, заявляя, что только теперь стала понимать, что такое отдых.

— И вообще мне непонятно, почему, собственно, труд считается проклятием и всякий непременно стремится к тому, чтобы ничего не делать,— говорила Беатрис,— я работаю с удовольствием, какое же это проклятие?

Она отправила Фрэнку два восторженных письма, где писала главным образом о своей любви и о своей работе, и спрашивала, не будет ли он против, если и в Штатах она первое время тоже будет работать,— только первое время, пока позволят обстоятельства?

Патроном своим Беатрис тоже была довольна, несмотря на его феноменальную скупость, которая изумила ее в первую же неделю работы. Мак-Миллан охал по поводу каждого сломанного карандаша, каждого лишнего листа копирки, каждой затерявшейся резинки: «Она только вчера была вот здесь, на столе, где же она сегодня, Трикси?» Отправляя ее с каким-нибудь поручением, если ехать было не очень уж далеко, он всегда пускался в красноречивые рассуждения о пользе прогулок пешком, особенно при канцелярской работе и «особенно в вашем возрасте, Трикси».

Несмотря на свои чудачества, он был честным человеком. В этом Беатрис смогла убедиться, когда старый скряга на ее глазах отказался от выгодного дела, «чистота» которого вызвала в нем сомнения; после этого она стала прощать ему даже ворчание по поводу слишком длинных карандашных стружек в пепельнице на ее столе. Вообще они ужились сразу. Появляясь в конторе — толстый, с нечесаными седыми космами и обвисшими, как у мопса, щеками,— Мак-Миллан называл ее «my little Trixie» и с отеческим благодушием трепал по щечке, пользуясь привилегией человека, пятнадцать лет назад возившего ее на плечах.

Однажды она встретила Пико, находясь при исполнении служебных обязанностей. Тот только свистнул при виде ее папки с бумагами.

— Куда направляетесь, коллега? — ехидно спросил он.

— В управление гербовых сборов,— ответила она.— Что это за тон?

Пико сменил тон на почтительный и сказал, что он уже подумал, не идет ли коллега с докладом к министру юстиции или к президенту верховного суда. Беатрис вспыхнула и пустилась в горячие рассуждения по поводу женского равноправия — последнее время эта тема стала ее занимать.

— Конечно,— горячилась она,— разве девушка может вести какую-то самостоятельную работу, еще бы! Она ведь только для того и создана, чтобы записывать гениальные мужские мысли и стучать на машинке! И глупости это, что женский ум неприспособлен к юриспруден-

ции, вот я тебя познакомлю с помощницей моего шефа — она сейчас в отпуске, — и посмотрим, что от тебя останется после разговора с ней...

— Да погоди, я ведь не о том,— посмеиваясь, успокаивал ее Пико.— Я не доказываю, что женщины созданы как-то иначе, а говорю только, что они иначе воспитаны,— этим все и объясняется. Если хочешь знать, никто больше вас самих не виноват в вашем положении...

— На нас смотрят как на игрушку! Ты хоть когда-нибудь видел в обществе, чтобы кто-то вдруг заговорил с девушкой на серьезную тему?

— А что ты называешь серьезной темой? Политику?

— Хотя бы политику!

Пико расхохотался.

— Да ведь ты сама терпеть ее не можешь! Тебе непонятно, почему девушкам редко доверяют ответственную работу. Вот тебе и ответ: потому что они так же легкомысленны, как и ты.

— Это я легкомысленна? — со зловещим спокойствием переспросила Беатрис.

— Именно ты. Ты сама не знаешь, что говоришь. Сейчас тебе взбрело на ум разыгрывать из себя синий чулок, но ведь эта роль так же тебе подходит, как френч-канкан — старой монахине.

— Это я — старая монахиня?

— Ну нет, но и юриспруденция это тоже не френч-канкан — нужно уметь понимать юмор.

— Прежде всего нужно уметь острить!

— Ладно, придется взять у тебя пару уроков. Нет, ты понимаешь, ведь это просто феноменально — вдруг взять и встретить Мимозу Альварадо, бегущую с бумагами под мышкой. И еще куда — в управление гербовых сборов!

— Знаешь, сам ты мимоза!— окончательно возмутившись, вспыхнула Беатрис и пошла прочь.

Пико поймал ее за локоть:

— Не сердись, ну чего фыркаешь, Дорита, вот как раз лишнее доказательство, что ты и есть мимоза. Ты ведь страшная недотрога, я тебя знаю хотя бы по клубу. Тебя уже не шокирует, когда приходится стоять в очереди перед кассой?

— Нет! Мне пора, Пико. До какого часа принимают в управлении?

— Сейчас что, четыре? Еще успеешь. Зайдем-ка на полчасика в «Гэйлордс», угощу коктейлем. Я сегодня богатый, мне заплатили гонорар за рецензию. Идем?

— Ну-у что ты...— протянула Беатрис.

— Ага! — с торжеством воскликнул Пико.— Из-под маски деловой женщины опять выглядывает воспитанница конвента. Что ты теперь скажешь?

— Помилуй, уж не думаешь ли ты, что я боюсь зайти в бар?

— Конечно, боишься.

— Ничего подобного, просто мне некогда — не успею с этим.— Она взмахнула папкой.

— О, только поэтому,— ехидно заметил Пико.— А вообще-то ты, конечно, можешь запросто войти в бар...

— Разумеется.

— Заказать коктейль, да?

— Да, представь себе, и заказать коктейль.

— Болтушка ты, самая настоящая чарлатана. Может, и вытянуть его у стойки, через соломинку?

— Именно, мой Пико, через соломинку,— задрав нос, с уничтожающим видом сказала Беатрис.

— И когда же это случится, моя Дорита?

— Когда я захочу. Есть возражения?

— Ну, если через пять лет, то вполне возможно. Не спорю, не спорю.

— О нет, не через пять лет, гораздо раньше. Хочешь — в течение ближайшего месяца, на пари?

— Ставлю коробку лучших конфет от «Бонафиде» против пачки американских сигарет. Ты только не вздумай отправиться в какое-нибудь кафе! Мы говорили о настоящем ресторане.

— Я поняла, мой Пико. Я зайду именно сюда,— кивнула она через улицу, — в этот самый «Гэйлордс». Ты доволен?

— Я буду доволен, когда буду курить твои сигареты. Только смотри, чтобы это были настоящие импортные, а не «made in Avellaneda»! Договорились? Ну, идем, я тебя провожу до угла. Мне тоже в ту сторону. Ты где обычно обедаешь, Дорита?

— Обычно в «Хижине», напротив кинематографа «Астор». Знаешь?

— Еще бы, я тоже забегаю туда, когда приходится мотаться по центру. Когда-нибудь ты меня там увидишь.

— Буду жить этой надеждой, мой Пико...

Письмо от Линды пришло в конце января, когда Беба уже совсем измучилась невидимой, неощутимой и тем не менее совершенно реальной отчужденностью, возникшей между ней и Жераром после новогоднего вечера. Внешне они оставались образцовой супружеской парой, за месяц Жерар ни разу не поехал в столицу без Бебы, часто катался с ней верхом, предупреждал любое ее желание и вообще был тем, что принято называть идеальным мужем. И все же она видела, что это было лишь маской, хотя бы безукоризненно пригнанной, но маской.

Мысль о том, что между ними нет взаимной любви, не покидавшая Бебу даже в моменты близости, в конце концов измучила ее настолько, что она начала желать любого исхода, любого, какого бы то ни было. Уйти она не могла — для этого она была слишком аргентинкой: аргентинская женщина может бросить мужа ради любимого, но никогда не бросит любимого из-за обиды, из чувства оскорбленной гордости. Беба знала, что не расстанется с Херардо, но и продолжать эти пронизанные ложью отношения становилось с каждым днем все тяжелее.

Поэтому письмо от Линды явилось для нее прямо подарком судьбы — каким-то решением, хотя бы временным. Бывшая товарка по комнате в «отеле» доньи Мерседес, видимо, обзавелась деньгами и теперь приглашала подругу погостить у нее до осени, кстати и посмотреть знаменитый карнавал, ради которого в столицу Бразилии съезжаются в феврале тысячи туристов из всех стран.

Поеду, решила Беба, дочитав письмо. Обязательно поеду и пробуду как можно дольше. Впрочем нет. Сначала она скажет Херардо о полученном приглашении; если он начнет протестовать, то поездка не состоится...

Она долго не решалась начать разговор о письме. Вспомнил о нем сам Херардо — на следующее утро, за завтраком.

— Что это за конверт я видел вечером у тебя в комнате? — спросил он, скармливая Макбету поджаренный ломтик хлеба.— Какой-то необычный, с желто-зеленой каймой. Что-нибудь новое?

— О, это от Линды, из Рио,— небрежным почему-то тоном отозвалась Беба.— Помнишь, я тебе про нее говорила?.. Мы с ней когда-то жили вместе.

Она придвинула к себе вазочку со своим любимым апельсиновым джемом и стала аккуратно размазывать его поверх масла.

— Сейчас она там неплохо устроилась. Кстати, Херардо, она знаешь что пишет? Иди-ка сюда, Макбет, я дам тебе сахару...

— Не стоит, шери, ему сахар вреден. Так что пишет твоя Линда?

— Налить тебе еще кофе? Она хочет, чтобы я приехала к ней погостить на все лето... В Рио устраивают эти знаменитые карнавалы, интересно бы увидеть. И я вот теперь не знаю...

— Поезжай,— кивнул Жерар, протягивая ей чашку.— Рио-де-Жанейро — это стоит поглядеть, еще бы. Поезжай, потом мне расскажешь... Смотри, у тебя джем стекает на стол.

— Что? А-а, джем... Так ты не против, Херардо?

— Конечно, нет, шери, тебе ведь эта поездка доставит удовольствие.

— Вот и хорошо. Я только не знаю, получу ли сертификат благонадежности, без него мне не дадут паспорт. Сейчас это трудно, я слышала.

Жерар схватил подошедшего к нему Макбета за морду. Самолюбивый пес, обиженный такой фамильярностью, скосил на хозяина округлившиеся глаза и утробно зарычал от негодования, не скалясь и едва приоткрывая пасть.

— Ваша знаменитая «buena conducta»? — посмеялся Жерар. — Пари, ты будешь иметь ее через двадцать четыре часа, а еще через неделю — паспорт с бразильской визой. Как думаешь ехать — морем, конечно?

— Я лучше полечу, я никогда еще не летала,— задумчиво сказала Беба.

— Лучше бы плыть, куда приятнее и безопаснее. Отсюда до Рио всего неделя плавания, даже с заходами в Монтевидео и Сантос. Куда тебе спешить?

— Нет, я полечу, — с неожиданным упрямством в голосе повторила она.

— Пожалуйста, я не настаиваю,— примирительно сказал Жерар. — Ты завтра собиралась к парикмахеру? Вот как раз подадим в полицию заявление насчет сертификата и кстати заедем в Браниф или Панагра, закажем билет...

Как он и предсказывал, все документы были оформлены в течение одной недели. Утром восьмого февраля Жерар отвез жену в аэропорт Пистарини. Самолет уходил в десять часов, и они еще успели позавтракать в ресторане, стеклянная стена которого открывала вид на огромное зеленое поле, расчерченное бетонными взлетно-посадочными полосами. Жерар заказал шампанского. Когда они чокнулись, Беба вдруг заморгала и, низко опустив голову, быстро поставила нетронутый бокал.

— Что, шери? — ласково спросил Жерар, положив руку на ее пальцы.— Ну не нужно, зачем же плакать, можно подумать, ты улетаешь на Луну. Давай выпьем, — в дорогу нужно выпить...

Беба смахнула с ресниц слезы и, подняв голову, жалко улыбнулась. Под высоким потолком равнодушно закаркал громкоговоритель:

— Внимание, самолет линии Браниф, рейс номер два-восемь-ноль, Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро — Белем — Хабана — Майами — Нуэва-Йорк, отправление через тридцать минут, господ пассажиров просят пройти в зал контроля паспортов. Attention, please...

— Идем, Херардо? — дрогнувшим голосом спросила Беба.

— Успеем, шери, времени еще много, куда спешить. Проверь, все ли бумаги с тобой...

Беба опустила голову, роясь в сумочке. Так же равнодушно продолжал каркать громкоговоритель, повторяя по-английски: «...flight

number two-eight-zero...» Жерар торопливо налил себе еще бокал и с жадностью выпил.

«Что ты делаешь? — кричал в нем внутренний голос.— Ведь ты же видишь, в каком она состоянии, — она, единственное близкое тебе существо, единственная женщина, которая тебя любит! Ведь ты же отлично понимаешь, почему она уезжает, неужели ты и сейчас не найдешь для нее простого и искреннего человеческого тепла?»

«Attention, s'il vous plaît, l'avion de la ligne Braniff...» — опять заговорило радио.

Беба подняла голову.

— Тебе приятно слышать французский, правда, Херардо?

— Да... Послушай, шери... — Он протянул руку через столик и сжал ее пальцы.— Моя маленькая, я не хочу, чтобы мы расстались в таком настроении. Не нужно, paloma mia, все это вовсе не так, как тебе кажется,— тихо говорил он. — Я перед тобой виноват, не думай, что я этого не понимаю... Просто у меня было такое состояние, что... Теперь у нас все будет иначе, вот увидишь.

— Да, да,— кивала она, улыбаясь сквозь слезы,— я тебе верю, Херардо, я ведь тебя люблю, а когда любишь, то нельзя не верить...

Он повел ее в зал контроля, держа под руку и крепко прижимая к себе. Как и десятки других пар вокруг них, они простояли эти последние минуты обнявшись, не обращая внимания на чиновников аэропорта и мешая шепот с поцелуями. На губах Жерара был соленый вкус ее слез, он целовал ее запрокинутое лицо, словно расцветающее от его ласки. «Господ пассажиров просят занимать места,— в третий раз провозгласило радио, — до старта остается пятнадцать минут».

— Береги себя, amado mio,— торопливо шептала Беба,— и пиши почаще, прошу тебя, как только прилетим — я дам телеграмму...

— Да-да, непременно дай,— ну, счастливого пути, постарайся не засиживаться там очень долго, я буду ждать, помни...

У самого выхода она обернулась и приложила к губам пальцы.

Потом он в группе провожающих стоял на высокой террасе и смотрел, как механики в белых комбинезонах откатили трап, как, сотрясая громом утренний воздух, раскручивались винты огромного ДС-6, как ревущий серебряный корабль тронулся с места и медленно пополз по бетону, волоча за собой струи синеватого дыма. Где-то далеко в конце поля самолет оторвался от земли и, описав над аэродромом широкую дугу, растворился в нестерпимом солнечном блеске. Жерар вместе с другими пошел к выходу.

На сердце у него было скверно, ехать домой не хотелось. Барабаня по ободу руля, он сосал трубку, равнодушно поглядывая на сутолоку большого международного аэропорта. Разноцветная шеренга машин, автобусы авиационных компаний, несколько приплюснутых к земле черных «линкольнов» с золотыми правительственными номерами (очевидно, ожидалось прибытие какого-то важного лица), механики в белых комбинезонах, кокетливые стюардессы в синих мундирчиках, похожие на капитанов дальнего плавания пилоты в белых фуражках, с золотом на обшлагах. Снова закаркал рупор над входом в здание аэровокзала: «Внимание, рейсовый самолет линии Эр-Франс, прибывающий из Парижа через Лиссабон — Дакар — Наталь — Рио-де-Жанейро, идет на посадку...»

Жерар высунулся из открытой дверцы, подняв голову и щурясь от солнца. Длинный «суперконстеллейшн» с характерным тройным килем хвостового оперения прошел над аэропортом, уже выпустив шасси. Из шеренги разноцветных автобусов выполз бело-голубой, украшенный надписью «Air-France» и эмблемой линии — крылатым морским конь-

ком, и подкатил к подъезду, готовясь принять пассажиров лайнера для доставки в столицу. Жерар захлопнул дверцу и нажал на стартер.

Доехав до моста № 12, где идущая из аэропорта автострада проходит над окружным шоссе, он увидел промелькнувший внизу автобус линии Сан-Исидро—Эва Перон, решил вдруг последовать за ним и развернул машину на спуск с автострады. Через три минуты он обогнал автобус, рванул рычаг на четвертую скорость и дал полный газ. Шоссе было в неважном состоянии, машина то и дело сотрясалась от попадающих под колеса камешков и выбоин, но Жерар, сцепив зубы, упрямо не сбавлял скорости до тех пор, пока возле загородного ресторана «Лебединое озеро» ему не преградили путь красные сигналы ограждения — впереди работала шоссейноремонтная бригада.

Через час он был уже в Ла-Плате — главном городе провинции Буэнос-Айрес, недавно переименованном в «Эва Перон» в честь покойной супруги президента. Оставив машину на площади возле автобусной станции, он долго бродил по тихим тенистым улицам, в отличие от Буэнос-Айреса имеющим номера вместо названий, потом забрел в зоопарк, полюбовался на отличные изваяния саблезубых тигров у входа в Музей естественных наук. Городок, знаменитый своим университетом, обсерваторией и этим музеем, одним из лучших в Южной Америке, ему очень понравился — чистота, масса зелени, какая-то особая тишина на улицах, наводящая на мысль о тишине аудиторий. Сейчас, когда студенты разъехались на каникулы, Ла-Плата казалась спящей и безлюдной. Было так тихо, что, когда пробили часы на церковной башне, Жерар невольно вздрогнул от неожиданности. Оттянув рукав, он взглянул на свои и заторопился обратно — на площадь, где оставил машину. Выезжая из города по шоссе, идущему вдоль железной дороги на Темперлей, он подумал, что напрасно сюда приезжал. Вид мирного и сонного городка навел на него еще горшую тоску.

Когда он вернулся домой, было три часа. Донья Мария накинулась с расспросами, благополучно ли улетела сеньора. Жерар удовлетворил ее любопытство, передал Бебин прощальный привет. Телеграммы от Бебы еще не было. Телефон позвонил, едва сели обедать; Жерар схватил трубку с заколотившимся сердцем.

— Кинта «Бельявиста»? Звонят из почтового отделения Морено, здесь получена телеграмма на имя сеньора Бусоньер, международная.

— Из Рио? — спросил Жерар.— Я Бюиссонье, читайте текст...

— «Прибыла благополучно, очень довольна перелетом, пиши отель Гуанабара, авенида Атлантика 425, тысячу раз целую, Беба».

Жерар продиктовал ответ с пожеланием хорошего отдыха и развлечений и вернулся в кухню.

— Это уже от самой сеньоры,— сказал он, усаживаясь за стол.— Так что, донья Мария, остались мы с вами в одиночестве. Передайте-ка мне перец, будьте добры... Спасибо.

— Значит, до осени сеньора не вернется? — сочувственно спросила чилийка.

— Очевидно, нет, не раньше апреля. Кстати, донья Мария, вы както говорили, что давно не виделись с родными. Хотите съездить в Чили? Мне ведь одному ваши услуги это время не понадобятся, готовить я и сам умею.

— В Чили? Боже упаси, дон Херардо, чего я там не видала, я и уехала-то оттуда из-за землетрясений. У меня все родные здесь, в Буэнос-Айресе.

— Ну, тем лучше — и вам ближе, и мне дешевле. Серьезно, давайте-ка отдыхать до возвращения хозяйки, не ей же одной развлекаться, верно? Заплачу вам за два месяца вперед, и катите к своим. А когда сеньора вернется, вас вызовут.

Через неделю он остался в одиночестве, если не считать Макбета и безобразного котенка Дона Фульхенсио. Хуарес уехал еще до отъезда Бебы по каким-то своим таинственным делам, сказал, что пробудет в отсутствии с месяц и, возможно, вообще не сможет вернуться в «Бельявисту».

Жерар был почти доволен своим существованием. Продукты ему доставляли по телефонному заказу, питался он кое-как: готовил себе кофе, омлеты, какое-нибудь несложное рагу по студенческому рецепту, ел много фруктов. Целые дни он проводил в саду— воевал с термитами, которые после отъезда дона Луиса успели начисто сгрызть два куста роз, или просто дремал на траве, с книгой под головой.

Благодаря удачному расположению кинты, открытой всем ветрам, летний зной, непереносимый в бетонных ущельях столицы, здесь, в каких-нибудь сорока километрах, почти не ощущался. Не было и москитов. По вечерам, выключив свет и распахнув настежь все окна, Жерар долгие часы просиживал у магнитофона с трубкой в зубах, слушая Дебюсси, Равеля, Шуберта. Мысли о Бебе не вызывали теперь в нем того гнетущего сознания вины, которым они неизменно сопровождались все эти месяцы. После ее возвращения все пойдет иначе...

В тот момент прощания в аэропорту в нем произошел, по-видимому, какой-то перелом. Что бы ни случилось с ним самим — остаток жизни он употребит на то, чтобы дать Элен хоть какое-то счастье. Пусть она ни о чем не догадывается до последнего момента, а там уж... Он, во всяком случае, сделал все возможное для ее будущего, большего уже не сделаешь.

Каждую неделю Жерар находил в почтовом ящике конверт с желто-зеленой каймой бразильской авиапочты. Письма были коротенькие, нежные и неумелые. Беба описывала то прогулку в окрестностях Рио, то подъем по канатной дороге на утес Пан-де-Ашукар, то поездку на остров Пакете. Он всякий раз отвечал ей в тот же день, так же коротко и так же нежно.

Февраль шел к концу. Выпавшие дожди освежили начавшую было желтеть листву и воздух, напоенный ароматом последних цветов. Иногда Жерар запирал ворота и, посадив с собой Макбета, гонял машину по окрестностям. Дог очень любил такие прогулки, он сидел в заднем отделении и высовывал морду то направо, то налево, наслаждаясь встречным ветром и яростно облаивая встречные и попутные машины. Придя в возбуждение, он ложился грудью на спинку переднего сиденья, свесив лапы, и жарко дышал над ухом хозяина, ворча и словно прося прибавить скорости.

Однажды кончился запас табака — трубочного кэпстена, который можно было достать только в двух-трех табачных лавках в столице. Просидев день без курева, Жерар к вечеру не выдержал и, чертыхаясь, отправился в гараж.

— Сегодня, старик, тебе со мной нельзя,— сказал он Макбету, который бросился было к машине, восторженно виляя хвостом.— Еду в город, тебе там делать нечего, так что сиди и стереги дом. Ясно?

Уже за Итусаинго на дороге начались сплошные заторы. Жерар приехал в центр к тому времени, когда магазины закрывались; едва успев купить табак, он с пакетом в руках вышел на улицу, уже озаренную колеблющимся разноцветным заревом реклам, и ему вдруг захотелось остаться в столице. Сев в машину, он задумался. Опять вечер в одиночестве, с музыкой Клода Дебюсси? Ему стало почти страшно от воспоминания о тишине пустой виллы.

— Ба, съезжу-ка я в «Гэйлордс», — вслух пробормотал он, вспомнив ресторан, где в свое время бывал с Бебой.— Там, по крайней мере, приличный коньяк и нет нуворишей... Слишком для них дешево...

Решительно захлопнув дверцу, он нажал на стартер и стал медленно разворачивать машину.

Большой зал ресторана оказался полон. Напрасно поискав глазами свободный столик, Жерар прошел к бару и присел на высокий никелированный табурет. Знакомый бармен приветливо кивнул ему головой, осведомился о делах и здоровье и, не дожидаясь заказа, подал рюмку «кордон блё» и нарезанный лимон на тарелочке. Жерар одним духом вытянул коньяк, пососал лимон и, кивнув бармену: «Повторить», начал набивать трубку, оглядываясь по сторонам.

Молоденькая девушка в темном полувечернем платье взобралась на соседний табурет,— слишком молоденькая для такого времяпрепровождения, как подумал Жерар. Она сидела отвернувшись, и лица ее он не видел, но что-то очень юное было в линии ее шеи и затылка, украшенного модной прической в виде лошадиного хвоста.

— Ола, бармен,— позвала девушка со странной смесью робости и апломба в голосе. — Если можно, один коктейль, пожалуйста.

— Какой прикажете, сеньорита?

Задав вопрос, бармен прошел вдоль стойки, чтобы взять с полки шекер; девушка повернула голову вслед за ним — Жерар увидел маленькое розовое ушко, изогнутые ресницы и чистый профиль. Это было то лицо — то самое, неправдоподобная юная прелесть которого ошеломила его несколько месяцев назад у зоологического магазина.

ЧАСТЬ III

Четырнадцатая соната

1

— Так какой вы желаете, сеньорита? — повторил бармен, открывая шекер, похожий на маленькую блестящую авиабомбу.

Явно не подготовленная к такому вопросу, девушка окончательно смешалась, но тут ей в глаза бросилась спасительная табличка с названиями коктейлей.

— О, простите, я не расслышала,— улыбнулась она.— Пожалуйста, приготовьте мне этот, м-м... «хайболл»!

— «Хайболл», сеньорита, очень хорошо,— кивнул бармен.

— Или нет, постойте! — Девушка разглядела более соблазнительное название. — Лучше «строуберри-физз».

— Хорошо, сеньорита,— покорно согласился бармен.

Жерар выпил вторую рюмку. Обидно разочаровываться в людях... или в лицах. Такое лицо! И такое поведение. А ему еще думалось — когда он вспоминал девушку у витрины со щенками,—что с таким профилем и с такими глазами она не может быть обыкновенной, как все, что ей место не в жизни — в сказке. И вот сказочная принцесса сидит на высоком табурете бара и как ни в чем не бывало тянет через соломинку свой «физз». Сколько ей может быть — лет шестнадцать? Семнадцать самое большее.

Он искоса бросил на соседку сердитый взгляд — быстрый, словно фотографирующий взгляд художника. Какой профиль, силы небесные... Есть лица, словно наляпанные небрежной кистью, есть грубо вырубленные, есть — среди мужских — вырезанные из бронзы стальным резцом, а это — словно уверенная рука гения легко и безошибочно очертила его тончайшей пастелью. Сколько веков усовершенствования человеческого рода, сколько поколений должны были смениться на земле, чтобы появилось такое лицо...

Жерар снова оглянулся. Девушка сидела подавшись вперед и облокотившись на стойку. По-детски обхватив руками стоящий перед ней

высокий стакан, она тянула жидкость через соломинку, из-под опущенных ресниц следя за понижением уровня. Жаль, но что ж делать! Увы, не она первая и не она последняя.

Кивнув бармену на пустую рюмку, он достал из кармана купленный по дороге «Иллюстрасьон». Очередной скандал в Национальном собрании, снежные заносы в департаменте Сены-и-Уазы, прием, устроенный родителями мадемуазель Анжелик Гранвиль де Фершампенуа по случаю ее отъезда в Соединенные Штаты, забастовка горняков в Лилле. Светская хроника, рекламы, последние модели Диора... «Пятьдесят четвертый год начался под знаком Вечного Возврата — мода явно вернулась к обыгрыванию естественных линий женской фигуры. Взгляните на эти снимки первых весенних образцов — покатые плечи, тонкая талия и несколько подчеркнутые бедра убедительно свидетельствуют, что...»

Тут Жерар почувствовал, что моделями Диора интересуется не он один. Не поднимая головы, он покосился на свою соседку — девушка тотчас же отвернулась с независимым видом, побалтывая соломинкой в своем стакане. Маленькое, хорошей формы ушко ее слегка порозовело. Жерар с треском выдрал страницу и положил перед соседкой.

— Прошу, сеньорита, — сказал он, — так вам будет удобнее. Хотя шейка у вас и длинная, но вы рискуете ее вывихнуть.

Ушко заалело еще ярче. Девушка оттолкнула от себя вырванную страницу и повернулась к Жерару:

— Если я вам помешала, кабальеро, то это еще не дает вам права говорить грубости. Бармен, счет!

Услышав зов, бармен взглянул в их сторону — Жерар перехватил его взгляд и, свирепо сдвинув брови, едва заметно отрицательно качнул головой. Тот понимающе усмехнулся и отошел к дальнему концу стойки, занявшись своей сложной никелированной аппаратурой.

— Простите, мадемуазель,— примирительно сказал Жерар,— я не хотел вас обидеть. Вероятно, я употребил не совсем корректный оборот речи, но дело в том, что я иностранец — как вы сами можете слышать.

— Иностранцу тем более следует считаться с правилами поведения в чужой стране, — заносчиво сказала она.

— О-ля-ля, какая строгость! Прежде чем критиковать поведение других, нужно уметь следить за своим собственным, сеньорита.

— Потрудитесь не читать мне нотаций! — вспыхнула она.— Я в них не нуждаюсь.

Жерар, не торопясь, выпил свой коньяк и раскурил погасшую трубку.

— Если хотите знать мое откровенное мнение, сеньорита, — сказал он наконец, — то вы нуждаетесь кое в чем поэнергичнее, чем простая нотация. Еще как нуждаетесь! А с нотациями лучше подождать до тех пор, пока вы достигнете более разумного возраста. Согласны? Ну вот, а теперь ступайте домой и не откажите в любезности передать мои слова своим родителям или тому, кто занимается вашим воспитанием. Если вообще такое лицо существует, в чем я сомневаюсь. Энрике! Сеньорита просила счет.

— Я уйду, когда мне захочется, — отрезала девушка. — Бармен, еще один «строуберри».

— Э, послушайте,— нахмурился Жерар, вынув изо рта трубку.— Довольно вам ребячиться, два подряд — это для вас много. Эти коктейли — предательская штука.

— Не ваше дело, сеньор.

Бармен, отмерив в шекер разноцветные жидкости и добавив туда же колотого льда, закрыл его и принялся трясти с ловкостью жонглера, пританцовывая под музыку. Воспользовавшись тем, что девушка вни-

мательно разглядывала лежащую перед ней страницу с модами, он взглядом указал на нее Жерару, одобрительно подмигнув — заслуживает, мол, внимания. Тот пожал плечами с равнодушным видом — мало ли, мол, таких бегает.

Тройная порция крепкого мартеля уже давала себя чувствовать, голову начинал заволакивать туман, слегка заглушавший музыку и ресторанный шум: это было то — самое приятное — состояние начинающегося опьянения, когда одни мысли и ощущения как бы притухают, гаснут, а другие, наоборот, приобретают необыкновенную легкость и яркость. Джаз в слегка замедленном темпе играл «Три монетки в фонтане». Жерар достал карандаш и стал набрасывать на полях фигурки музыкантов — саксофониста, ударника.

— Простите, что значит слово «эшантийон»? — спросила вдруг соседка, продолжая рассматривать заинтересовавшие ее моды.

— Не ваше дело, сеньорита,— непринужденно ответил Жерар.

— Благодарю вас, вы очень любезны.

— Следую вашему примеру.

Девушка не удостоила его ответом, продолжая разглядывать моды.

Жерар искоса поглядывал на нее, безуспешно пытаясь определить ее общественное положение. Ее полувечернее платье было хорошо сшито, но сумочка — хотя и приличного качества — не соответствовала последней моде и носила следы долгого употребления. Больше всего, пожалуй, поразило его полное отсутствие косметики на ее лице — и это здесь, в Аргентине, где любая девчонка начинает краситься с пятнадцати лет. И никаких украшений, если не считать широкого золотого колечка на левом мизинце,— колечка того типа, что носят в память какого-нибудь события или как знак участия в каком-нибудь обществе. На правом указательном наклеена полоска лейкопласта. Вообще руки — белые и хорошо вылепленные — могли свидетельствовать о трудовом образе жизни; покрытые бесцветным лаком ногти были коротко острижены, чего никогда не сделает ни одна уважающая себя бездельница.

— Вы учили французский, сеньорита? — неожиданно для самого себя спросил Жерар.

Девушка холодно взглянула на него, чуть приподняв брови:

— Почему это вас интересует?

— О, просто так... Я заметил, что вы правильно произнесли то слово. Не учи вы французского, непременно сказали бы «эчантильон».

— Да, я французский учу,— кивнула девушка и, отвернувшись от собеседника, поднесла к губам стакан с торчащей из него соломинкой.

— Вы спросили тогда, что оно означает,— спустя минуту снова сказал Жерар.— Оно означает «образчик». Это во-первых.

— Благодарю. А во-вторых?

— А во-вторых, я должен попросить у вас прощения. Забудем о глупостях, которые мы друг другу наговорили. Согласны?

— Я незлопамятна, кабальеро.— Девушка пожала плечами и бросила на собеседника быстрый взгляд.

— Мне так и казалось,— кивнул Жерар, движением пальца подзывая бармена.— С таким лицом нельзя быть злопамятной. Энрике, вы обо мне забываете, у меня пусто. Не спешите, сеньорита, эта клубничная шипучка не такая невинная вещь, верьте слову. Может быть, потанцуем?

Девушка взглянула на него с изумлением.

— Кабальеро, в этой стране с незнакомыми не танцуют. Вы принимаете меня за «такси-гёрл»? — спросила она высокомерно.

— Что вы, сеньорита,— возразил Жерар.— Я просто... Действительно, этого я не учел. Во Франции к этому относятся иначе, простите,

пожалуйста. Я не хотел вас обидеть. Кстати, мое имя — Жерар Бюиссонье. Можно узнать ваше?

— Мое? — Девушка на секунду растерялась. — О, конечно. Меня зовут Лопес, Беатрис Лопес.

— Очень приятно познакомиться, сеньорита Лопес. Что вы, я и не думал принимать вас за «такси-гёрл»... Я как раз смотрел и пытался отгадать, чем вы занимаетесь и кто вы вообще такая.

— Отгадали? — улыбнулась сеньорита Лопес, снова прикладываясь к своей соломинке.

— Нет. Я только смог определить, что вы работаете. Это верно?

— Совершенно верно. В юриспруденции.

— Черт возьми! — невежливо изумился Жерар. — Вы юристка?

Девушка слегка покраснела.

— Нет, я неправильно выразилась, если вы могли так понять. Я работаю у одного юриста секретаршей. Вообще-то я еще учусь, сеньор Бюиссонье, а работать поступила на время каникул.

— А, это другое дело. Учитесь в колледже?

— Да... Собственно, в лицее. В частном лицее.

— И что же, названия коктейлей не входят в учебную программу? — улыбнулся Жерар.

— Названия коктейлей? Ах да...— Сеньорита Лопес опять покраснела — смутить ее, как видно, было совсем нетрудно.— Вы очень наблюдательны, сеньор. Впрочем, я тоже! Хотите, угадаю вашу профессию?

— Валяйте,— разрешил он.

— Вы имеете отношение к искусству. Правильно?

— Более или менее. Как вы угадали?

— Ну, во-первых, эти человечки.— Она кивнула на изрисованную по полям страницу «Иллюстрасьон».— И потом ваша манера одеваться...

— Манера одеваться?

— Да, без галстука и вообще. И волосы у вас растрепаны — а вы заметили, у нас мужчины ходят напомаженные? Кошмар, все эти помады и брильянтины — просто национальное бедствие. На вашу голову я сразу обратила внимание, но, разумеется, это еще ни о чем не говорит — в конце концов, вы европеец, многие европейцы одеваются так... свободно. Но когда я увидела, как вы рисуете этих человечков... Вы художник?

— Да.

— О, как мило. Впервые разговариваю с художником. И вы... модернист?

— Нет.

Сеньорита Лопес кивнула с еще более довольным видом:

— Это лучше, я не особенно люблю современную живопись... некоторых направлений. Впрочем, я, вероятно, ее просто не понимаю. Вы, например, понимаете абстрактную?

— Абстрактная живопись не рассчитана на «понимание». Ее просто воспринимаешь или не воспринимаешь. Это как с музыкой.

— С музыкой? — задумчиво переспросила сеньорита.

— Ну да, возьмите додекафоническую. Некоторые от нее в восторге, а...

— Боже мой,— она сделала пренебрежительную гримаску. — Шенберг! Кто может его слушать?

— Ну вот видите. Так и с абстрактной живописью — это вопрос субъективного восприятия: одним нравится, а другим нет.

— Мне—нет.

— Да, это я уже уяснил. Если вы не против, поговорим о чем-нибудь другом, не о живописи. Я давно уже ничего не пишу.

Беатрис, смутившись, бросила на него виноватый взгляд.

— Простите, что я затронула эту тему... если она вам неприятна. Я не хотела вас огорчить. Знаете, я никогда не подумала бы, что вы француз, вас скорее можно принять за какого-нибудь северного человека...

— За эскимоса?

— Не-ет,— засмеялась она,— откуда-нибудь оттуда, из северной Европы, из Скандинавии. У меня есть подруга, у нее отец швед, а мать датчанка, и ее старший брат похож на вас.

Сеньорита Лопес нагнулась над своим стаканом, глядя на Жерара искоса и исподлобья. Высосав со дна остатки, она извлекла обтаявшую льдинку и с хрустом ее разгрызла.

— Вы часто здесь бываете? — спросила она.

— Как придется. А вы?

— Я? — Секунду она поколебалась между желанием соврать или сказать правду.— О, нет, не очень часто. У меня обычно нет времени. Собственно, сегодня я в первый раз... здесь.

— Ну да, здесь,— понимающе кивнул Жерар,— но остальные злачные места вам, несомненно, известны как свои пять пальцев, и там вы уже не ищете глазами таблицу, прежде чем заказать коктейль.

Она засмеялась.

— Правда, от вас не скроешься. Я рада нашему знакомству, сеньор Бюиссонье. Сожалею, что оно началось ссорой.

— Ничего, сеньорита, бывает, что знакомство ссорой заканчивается — это хуже.

— Наше ссорой не закончится.

— Откуда такая уверенность?

Повернувшись на табурете к собеседнику, Беатрис сидела подперев кулачком подбородок. Ничего не ответив, она продолжала смотреть на Жерара широко открытыми сияющими глазами, с каким-то по-детски наивным и откровенным любопытством.

— Не знаю,— сказала она наконец, пожав плечиками.— Не знаю откуда, но я чувствую...

— Что мы не поссоримся? Конечно. Мы просто не успеем это сделать, сеньорита. Кстати, у меня есть предложение. Знаете, такие мимолетные знакомства лучше использовать до конца — давайте на сегодняшний вечер станем настоящими старыми друзьями, как будто мы знаем друг друга уже давно. Хорошо?

— Угу. Хорошо, правда.

— Будем называть друг друга по имени, раз уж фамилии у нас все равно выдуманные...

— Как выдуманные? — она покраснела до ушей.

— А вот так. Впрочем, моя — нет. А ваша — неужели вы подумали, что я мог вам поверить, когда вы замялись и потом назвали самую распространенную в стране фамилию. Каррамба, как здесь говорят, да этих Лопесов в телефонной книге двадцать страниц! Ну, ладно, Беатрис, вы только не подумайте, что я стремлюсь выведать у вас настоящую. Называйте меня по имени — Жерар, по-здешнему Херардо.

— Хорошо. Жерар, я буду называть вас так. Моя настоящая фамилия — Альварадо. Просто я не хотела, вы понимаете... Моего папу многие знают, к тому же он сейчас в оппозиции правительству, и...

— Я понимаю, Беатрис. Потанцуем?

Та, подумав секунду, соскочила с табурета.

Жерар, хорошо знавший предательское свойство некоторых коктейлей действовать не сразу, уже с первых шагов почувствовал, что его

новая знакомая доживает последние трезвые минуты. Пока она сидела и разговаривала, это не замечалось, но теперь он видел, как она то и дело сбивается с ритма.

— Голова не кружится, Трисс? — спросил он.

— Нет...— отозвалась она, прикрывая глаза.— Или так, чуть-чуть... А в общем, пожалуй, нет. Почему вы назвали меня Трисс?

— А что, вам не нравится?

— Да нет, но просто... немного неожиданно, согласитесь сами... Вот я возьму и начну тоже называть вас как-нибудь так. Джерри — рассмеялась она, в восторге мотнув своим хвостом. — Жерар — Джерри! Джерри Островитянин, ха-ха-ха... О, вы не обиделись? — спохватилась она. — Простите, пожалуйста!

— За что обижаться, Трисс? Я люблю собак не меньше вашего.

— О, я их обожаю... Но откуда вам это известно?

— Вы знаете магазин Пауля, около «Либрэри Ашетт»?

— Еще бы. Там такие прелестные щенки, Джерри!

— Вот там я вас однажды и видел, вы как раз любовались этими прелестными щенками.

— Меня? Когда это было?

— Весной, где-то в конце октября. Конечно, я тогда не знал, что это вы, Беатрис Альварадо, но сегодня я сразу вас вспомнил, как только увидел.

Джаз умолк. Жерар коснулся губами ее пальцев и провел на место, крепко придерживая под руку.

Снова взобравшись на табурет, она взялась за соломинку и, увидев, что в стакане пусто, сделала капризную гримасу.

— Хватит,— предостерегающе сказал Жерар.— Вы еще не знаете этих коктейлей, они похожи на бомбу замедленного действия. Давайте лучше поговорим.

— Давайте,— согласилась Беатрис.— О чем?

— О вас. Когда вы кончаете лицей?

— Через год. О, вы знаете, я, кажется, потеряла свой платочек — наверное, там, когда танцевали.., Вы не могли бы его поискать, пожалуйста?

Жерар отправился на поиски, ничего не нашел и, вернувшись к стойке, с опозданием понял хитрость Беатрис — бармен вливал в ее стакан новую порцию коктейля.

— Вы соображаете, что делаете? — спросил он.— Я вам говорю: это кончится скандалом!

— Нет, нет,— поспешно ответила она,— я чувствую себя совсем хорошо, и потом это последний. Больше я не буду, правда.

— Ладно, дело ваше,— пожал он плечами.— Итак, вы сказали, что через год получите звание бакалавра. Что же вы думаете делать после этого? Поступить на юридический факультет?

— После этого я думаю выйти замуж,— важно сказала Беатрис. Она отодвинула свой коктейль и открыла сумочку.— Я вам покажу моего жениха. Он в Штатах, я тоже туда поеду.

Она протянула Жерару кожаную книжечку-футляр, в каких носят фотографии. Открыв его, Жерар увидел снимок молодого человека квадратных очертаний — квадратный ежик на голове, квадратный подбородок, квадратные стекла очков. Квадратный юноша улыбался по-американски, во весь рот.

— Какой жизнерадостный молодой человек. Кто он?

— Жених,— сказала Беатрис, на минуту оторвавшись от соломинки.— Мой жених.

— Я понимаю. Но кто он вообще такой, этот ваш жених?

— Он авиационный инженер, строит самолеты, понимаете?

— Теперь да,— улыбнулся Жерар, возвращая ей снимок.— Симпатичный у вас жених, поздравляю.

— О, он чудный человек, Джерри... Вы просто представить не можете, какой он хороший. Я так его люблю! А у вас есть невеста?

— Невеста? Почему именно невеста? Человека моего возраста уместнее спросить, есть ли у него жена.

— Жены у вас нет, это я вижу,— возразила Беатрис, кивком указав на его руку.

— А, это... Это ни о чем не говорит, мисс Шерлок Холмс, кольцо я потерял.

— Вы и другое потеряете, привяжите ниточкой. Смотрите, как оно болтается. Это сапфир? Красивое, очень... Так вы женаты?

— Женат, женат. Послушайте лучше, какая красивая вещь. Вы еще в состоянии двигать ногами?

— Угу, пойдемте...

Они опять вышли на танцевальную площадку. Беатрис стала вдруг молчаливой. Жерар слегка отодвинул от себя девушку и посмотрел ей в глаза.

— Что это вы загрустили, Трисс? Вспомнилось что-нибудь печальное?

— О нет...— Беатрис очнулась от своей задумчивости и бегло улыбнулась. — Просто... я сейчас подумала о Фрэнке. Конечно, я ему напишу о сегодняшнем вечере, что тут такого? Но если бы я...

Она замолчала, покусывая губы.

— Ах, это все так сложно, Джерри... Он самый хороший в мире, я убеждена в этом, но почему у него всегда есть на все ответ? И как он может меня понять, если я сама себя не всегда понимаю?

— А вам непременно нужно, чтобы вас понимали?

— Конечно, Джерри,— кивнула она.— Но только это очень трудно — понимать другого человека, я не говорю, что именно меня, будто я такая сложная и непонятная,— вовсе нет, во мне нет никакой сложности,— а понять человека вообще, понимаете? Другого человека. А Фрэнк все понимает, и меня тоже. То есть ему так кажется, что он понимает, а на самом деле...— Беатрис вздохнула.

— Трисс, люди вообще редко понимают друг друга до конца. О «полном понимании» мечтают в молодости, а на самом деле оно вовсе не так необходимо. Важна любовь, а все остальное придет со временем...

— Да, но... Вы тоже не совсем меня понимаете сейчас, или я не умею сказать толком... Смотрите: один человек видит все сложным и хочет в этом сложном разобраться, а для другого все просто, и он смеется, когда ему говорят, что есть какая-то сложность. Вы думаете, такие люди могут быть счастливы вместе?

— Безусловно, если они любят друг друга,— кивнул Жерар.

— Вы и в самом деле так думаете?

— Слово чести, Трисс.

— Ну, тогда...

— Что?

— Ничего. — Беатрис плутовски сморщила нос. — Давайте танцевать, Джерри, я больше не хочу никаких умных разговоров... Ой, уже конец! Ну ничего, пока посидим.

Вернувшись на свое место у стойки, она подперла кулачком щеку, гоняя соломинкой плавающий в стакане кубик льда. Жерар спросил еще коньяку и стал раскуривать трубку, окутавшись облаком дыма. Когда дымовая завеса рассеялась, он с удивлением заметил, что уровень жидкости в его рюмке понизился ровно наполовину. Беатрис с озабоченным видом тянула через соломинку свой «физз».

— Где мой коньяк? — строго спросил он.

— Я немного влила сюда,— отозвалась она, не поднимая головы и глянув на него из-под ресниц. — Знаете, очень вкусно.

— Да вы что, окончательно с ума сошли? Энрике, перемените у сеньориты ее коктейль!

— Нет, нет! — запротестовала Беатрис, обеими руками прикрыв стакан. — Не нужно, Джерри, я больше не буду, пожалуйста.

— Ах так? Ладно, я умываю руки. Пейте что хотите и сколько хотите, дело ваше.

— Ну не сердитесь, Джерри! Со мной ровно ничего не случится, правда. Зачем ссориться из-за пустяков?

— Из-за пустяков? — зловеще переспросил Жерар.— Увидим. Вы говорите, ваш отец известный человек?

— В определенных кругах, я думаю... Его «Анализ франко-аргентинских отношений в эпоху диктатуры Росаса» имел большой успех. Ему по поводу этой книги писал даже сам Висенте Саэнс.

— И вы считаете, что дочери известного историка прилично напиваться?

— Я не напилась, Джерри.— Беатрис взмахнула ресницами и посмотрела на него невинным взглядом.

— А я говорю — вы уже напились, nom de Dieu! Подождите еще полчаса...

— Зачем вы ругаетесь, Джерри? — укоризненно сказала Беатрис. — Я ведь понимаю по-французски.

— Тем лучше, nom de nom!

— Не нужно ругаться. Расскажите лучше о вашей жене. Почему вы не привезли ее сюда?

— Потому что это не место для молодой женщины— понятно вам? И вообще она сейчас за границей.

— Путешествует, да? Какая счастливая...

— Вы любите путешествовать? — покосился на нее Жерар.

Беатрис вздохнула.

— Я никогда не путешествовала по-настоящему... я даже Аргентину знаю очень плохо. Где я была? — Она пожала плечиками. — Немного на юге — Неукен, Барилоче — и потом в Кордове. Ну, не считая здесь — Мар-дель-Плата, Некочеа, Тандиль... Разве это путешествия! Подумать, что на свете есть столько экзотических стран — Индия, Россия, а тут приходится сидеть в этой скучной Аргентине... Знаете, на Сан-Мартин, возле пассажа Гуэмес, есть такое агентство путешествий, «Экспринтер»? Мне по службе часто приходится бывать в тех местах, так я всегда зайду туда хоть на минутку, хотя бы почитать расписания пароходов, воздушных линий... Можно вообразить себе, что сама собираешься куда-то ехать.

Беатрис застенчиво глянула на Жерара — не смеется ли он. Тот не смеялся, слушал внимательно.

— Иногда я путешествую по карте,— продолжала она ободрившись. — У меня дома есть огромный атлас мира — «Ларусс»... Это очень удобно — можно выбрать любой маршрут.

— Ничего, Трисс, Жюль Верн путешествовал приблизительно так же, — кивнул Жерар. — Не огорчайтесь, вам еще многое предстоит в жизни увидеть — много стран, много людей...

Глаза Беатрис приняли мечтательное выражение.

— Хорошо бы,— вздохнула она. — Джерри, давайте потанцуем?

Потанцевать им на этот раз не удалось — Беатрис вдруг совершенно перестала воспринимать ритм. Увидев, что дело плохо, Жерар тихо присвистнул и увел ее с площадки.

— Не свалитесь? — спросил он, когда она умостилась на своем табурете — слишком высоком, чтобы сидеть на нем после трех коктейлей с полурюмкой старого коньяка в придачу.

— Конечно... н-нет, — безмятежно улыбнулась она, держась за никелированный поручень.— Я чувствую себя очень... хорошо.

— Сколько вам лет, Трисс?

— Мне? Восемнадцать. Недавно исполнилось.

Она допила свой коктейль и покачнулась, улыбнувшись Жерару уже чуть затуманенными глазами.

— Поздравляю, Трисс. Вы уже готовы.

— С чего это вы взяли... что я готова? — высокомерно спросила она.

— Потому что вижу! Я много отдал бы за возможность присутствовать сегодня при сцене возвращения блудной дочери в родительский дом. На упитанного тельца, Трисс, вам определенно не стоит рассчитывать.

— Я и не рассчитываю ни на каких... тельцов,— пробормотала Беатрис, стараясь говорить отчетливо.— И если хотите знать, я вообще не собираюсь возвращаться сегодня домой... Вот! Папа уехал к тетке в Тандиль, а мисс Пэйдж я сказала, что иду ночевать к Инес... Это моя подруга. Я еще должна ей позвонить, сказать, что приду...

— Вы еще не договорились? Позвоните сейчас, пока не поздно.

— Успею,— беспечно бросила Беатрис.— Инес раньше полуночи не ложится.

— Смотрите. А кто эта мисс... как вы сказали?

— Пэйдж, была гувернанткой, а сейчас — дуэнья, что ли, я и сама не разбираюсь в наших отношениях. Мы воюем из-за собак.

— У вас много собак?

— В том-то и дело, что ни одной! Это все мисс Пэйдж, она их не хочет и запрещает мне...— Беатрис на секунду замолчала, прикрыв глаза, справляясь с приступом головокружения. — Она мне запрещает, понимаете... Ну ничего, я ей устрою... Если она не позволяет мне иметь собаку, то я сделаю хуже — я заведу себе мангуста или ихневмона...

— Это вроде ихтиозавра? — улыбнулся Жерар.

— Не-ет, что вы! Это вроде ласки, такой небольшой зверек... Их приручают, они живут в домах и поедают вредных насекомых и змей. У наших знакомых в Кордове живет ихневмон... Мисс Пэйдж сойдет с ума, просто рехнется! Кстати, она тоже шотландка, как и мой шеф... Конечно, мы с папой уже немного ее переделали, но все равно — скупая. Она меня всегда кормит на завтрак порриджем — это такая овсянка, знаете? О,— Беатрис снова расхохоталась,— послушайте, она была против того, чтобы я носила такую прическу,— что это, говорит, за лошадиный хвост? А я ей тогда говорю: мисс Пэйдж, но ведь я с самого детства питаюсь овсом!

— Правильно сказали. А теперь ступайте-ка звонить этой своей Инес. Ступайте, ступайте, уже поздно.

Беатрис послушно спустилась с табурета и направилась к телефонной кабине. Проводив ее взглядом, Жерар допил коньяк и, опустив голову, крепко потер виски, словно пытаясь вернуться к реальности. Он вспомнил — Беба, ее вчерашнее письмо... Где все это — в каком веке, за сколько тысяч километров отсюда?

Он обернулся и увидел Беатрис, стоящую рядом с выражением испуга и крайней растерянности на лице.

— Договорились? — злорадно спросил он, помогая ей подняться на место. — Успели, да?

— Инес куда-то уехала до понедельника...— убитым тоном отозвалась Беатрис, глядя на него со страхом. — Со мной говорил портеро...

Боже мой... Что же мне теперь делать? Джерри, у меня действительно... не совсем трезвый вид?

— Праздный вопрос, Трисс. Полюбуйтесь на себя в зеркало. У вас нет других подруг, кроме Инес?

— Есть, конечно... Но у всех родители, прислуга... Инес живет одна, к ней я могла бы прийти. А к другим... Потом весь город будет говорить, что дочь доктора Альварадо — пьяница...

— Вы и есть пьяница,— безжалостно подтвердил Жерар.— Доигрались?

— О, Джерри, не нужно,— всхлипнула Беатрис.— Вы не представляете моего положения...

— Я его вижу, черт возьми! Я вам говорил, чтобы вы не пили? Говорил я вам это или нет? Выпороть бы вас, сеньорита Лопес-Альварадо, ничего другого вы не заслуживаете. Не смейте хныкать, слышите вы?

— О Джерри...

— При чем тут «о Джерри»!.. Что я теперь буду с вами делать? Выпутывайтесь как знаете, если вы такая взрослая и умная.

Он раскурил трубку и отвернулся. Беатрис робко взглянула на него и опустила голову с несчастным видом.

— Что вам мешает вернуться домой? — резко спросил он.

— Мисс Пэйдж, я же вам сказала...

— Ну и что мисс Пэйдж? В конце концов, она не ваша мать. Вы что, живете без матери?

— Мои родители разошлись... Уже давно...

— Возвращайтесь без разговоров. Отца все равно нет, а мисс...

— Вы не понимаете, Джерри,— умоляюще заговорила Беатрис,— если бы папа был дома, это совсем другое дело... А то ведь она наговорит ему такое... Что я вернулась домой совершенно пьяная, ночью, и вообще... Он вообразит себе какую-то ужасную картину...

— Картина и так ужасна, не стройте себе иллюзий. Дочь известного ученого — в восемнадцать лет — вдруг напивается в баре, как... Каким дьяволом вам вообще могла явиться в голову мысль идти одной в «Гэйлордс»?

— На... на пари, Джерри,— удерживая слезы, прошептала она.

— «На пари»! Перестаньте хныкать, я вам сказал! Ну? Энрике! Приготовьте барышне черного кофе и дайте мне еще коньяку.

— Я не хочу кофе, не хочу!

— Потрудитесь молчать! Вас не спрашивают, чего вы хотите и чего нет. Может, вам еще парочку коктейлей? — Он с отвращением покосился на нее и фыркнул.— Хороши, нечего сказать. Сказочная принцесса! И вам не стыдно?

— Мне... мне очень стыдно, Джерри, — еле выговорила она.

— Правда? Ну ничего, посмотрим, как вам будет стыдно завтра! Бар закрывают в два часа ночи, а на улице вас сразу же заберет полицейский и отправит в комиссарию. У вас спросят удостоверение личности, и через четверть часа туда сбегутся корреспонденты... Что? Почему сбегутся, вы спрашиваете? Да потому, что им сообщат о задержании в нетрезвом виде дочери известного оппозиционера, понятно? И в утренних газетах появится ваш снимок — в растерзанном платье и с растрепанной прической, полицейские умеют это делать. И под ним будет подпись: «Такова мораль тех, кто обвиняет в аморальности и коррупции партию генерала Перона».

Последние слова он произнес вполголоса, но на Беатрис они подействовали как пощечина. Она вздрогнула и уставилась на Жерара, бледнея на глазах.

— Теперь дошло? — резко спросил он.

Бармен поставил перед Беатрис чашечку дымящегося кофе и рюмку перед Жераром.

— Пейте! — приказал тот, залпом опрокинув коньяк и закусывая лимоном.

Беатрис, съежившись, маленькими глотками стала пить кофе, обжигаясь и морщась.

— Он без сахара, Джерри,— робко сказала она.

— Пейте, я вам сказал!

Попыхивая трубкой, он смотрел на нее, пока она не допила до дна и не опустила чашку, закусив губы.

— Вы поедете ночевать ко мне. Вот так.

Беатрис обернулась к нему, делая большие глаза:

— Ночевать к... — Она запнулась и воскликнула в ужасе: — Что вы, Джерри, как можно!

— Ах, нельзя? Отлично, отправляйтесь домой.

— Но я не могу домой в таком виде,— сказала она, чуть не плача.— Мисс Пэйдж сразу заметит...

— Хорошо, будем логичны,— терпеливо сказал Жерар. — Ночевать в полиции вы не хотите? Нет. Ехать ко мне тоже не хотите? Прекрасно. Не подумайте, что я на этом настаиваю. Что же остается?

Беатрис растерянно пожала плечами.

— Но это неприлично, Джерри, постарайтесь понять... В Аргентине — чтобы девушка ехала ночевать в незнакомый дом...

— Езжайте в знакомый, дело ваше.

Беатрис вздохнула, искоса взглянув на Жерара и быстро опустив глаза.

— Да нет, но как же так... Поймите, Джерри, от моей чести ничего не останется, если я к вам поеду...

— Нет у меня других забот — покушаться на вашу честь.

— Вы меня не поняли, — покраснела Беатрис, — я говорю о репутации...

— О своей репутации вам нужно было думать раньше, когда вы входили в «Гэйлордс»!

Беатрис молчала, опустив голову.

— Я не знаю, Джерри... — сказала она негромко. — Ни от одного мужчины я не приняла бы такого предложения... но вам я почему-то верю. Хорошо, я поеду с вами.

— Давно бы так. Поедем сейчас или еще посидим?

— Давайте посидим немного еще...

Опьянение, временно нейтрализованное страхом и черным кофе, постепенно снова начало овладевать Беатрис. Успокоившись насчет своей дальнейшей судьбы, она опять развеселилась и болтала без умолку. Этот носатый похож в профиль на тукана, а блондинка так мило причесана,— наверно, новая мода; а та пара танцует, будто оба накурились марихуаны — совершенно в трансе...

— Ой, Джерри, — шепнула она вдруг, сжав его руку, — смотрите, смотрите — вон за тем столиком, где пальма, видите — такая дама в золотом платье? Понимаете, я знаю эту материю — это французский брокат, я его недавно увидела на Санта-Фе и просто влюбилась. Два дня не могла думать ни о чем другом, потом наконец не выдержала и пошла спросить цену — думаю, без такого платья я на всю жизнь останусь несчастной! И знаете, почем оказался этот брокат? Четыреста песо метр, ха-ха-ха-ха, а я получаю пятьсот в месяц...

— Это мало, Трисс,— покачал головой Жерар.— Вам следовало бы поискать другое место.

— Нет, зачем же, у меня очень хороший шеф. Только скупой, как... Впрочем, он ведь шотландец, этим все сказано. Доктор Джозеф

Мак-Миллан! Это человек, который не ест яиц, чтобы не выбрасывать скорлупу. Я его попросила купить машинку, которая затачивает карандаши, — знаете, есть такие, вы только вставляете карандаш, крутнете ручку — и готово. Так он мне знаете что заявил? «Трикси, — говорит, — первый шаг к разорению самой процветающей фирмы это покупка такого аппарата. Получив в руки эту машину, секретарша начинает развлекаться, перерабатывая карандаши на стружку, и вы тоже будете это делать, Трикси, и тогда всего моего скромного капитала не хватит, чтобы снабжать вас сырьем». Представляете? И мне приходится чинить карандаши бритвочкой, вот пожалуйста. — Она подняла заклеенный лейкопластом палец.

— Какое животное, — сочувственно сказал Жерар.

— Ну нет, он, конечно, не животное, просто он... Ой, у меня так кружится голова...

— Ах, уже? Я ведь вам это предсказывал,— кивнул Жерар.— И не только это. Посмотрим, как вы будете чувствовать себя завтра.

— Это не от коктейлей, Джерри, просто мне хочется есть. Я не ужинала. А как я буду чувствовать себя завтра?

— Увидите. Собирайтесь, Трисс, нам пора ехать.

— Еще рано, Джерри!

— Уже не рано, и вы голодны. Поужинаем у меня. Энрике!

В Линьерсе, где авеню Ривадавия проходит под мостом пересекающей ее автострады Хенераль Пас, их остановил затор. Беатрис проснулась и вдруг потребовала пустить ее к рулю.

— Я хорошо умею, Джерри, вот увидите! Ну пустите меня, хотя бы несколько кварталов...

— Ни нескольких метров. Спите уж лучше.

— Истинный кабальеро выполнял любую просьбу своей дамы,— пробурчала Беатрис.— А почему это мы стоим, уже приехали?

— Нет, путь занят. Сейчас поедем, спите.

— Я уже выспалась...

— Так скоро?

— Угу... Я очень люблю спать в машине... Похоже, будто плывешь. Я сейчас хотела бы очутиться на корабле...

— На межпланетном?

— Не-ет, что вы... Говорят, у марсиан вместо ушей антенны? На самом обыкновенном корабле... Например, на заколдованном корабле Тристана...

— «На обыкновенном заколдованном корабле Тристана»,— усмехнулся Жерар. — Скромное желание, Трисс!

— А я и не говорю, что скромное... У меня все желания нескромные. Наверно, у меня необузданная натура.

— Это заметно.

— Наследственность, что вы хотите...— Беатрис зевнула.— Прошу прощения. Один из моих пра-пра-пра... дон Педро Мануэль... вырезал на перешейке население целой провинции. Потом индейцы убили его самого — бросили в яму с колючками. А еще одного Альварадо сожгли в Вальядолиде. Тоже, кстати, по заслугам.

— Его-то за что? — поинтересовался Жерар.

— О, черные мессы и тому подобное. Он продал душу, понимаете? Жуткий, наверное, был тип.

— Да, родственнички у вас...

— Не говорите! В сущности, мы совсем недавно вступили на стезю добродетели... каких-нибудь полтораста лет. Во время войны за независимость и позже, при Росасе, Альварадо уже вели себя по-джентльменски... Ой, я забыла — у нас еще был один пират! Этого повесили и засмолили англичане. Джерри, я так соскучилась по морю! За неиме-

нием Тристана, я не отказалась бы сейчас и от пиратского брига... Чтобы были раздутые ветром паруса, огромное море и летящие клочья пены... Почему я не живу в семнадцатом веке?

Стоящие впереди машины начали трогаться. Беатрис, лежа с откинутой на спинку сиденья головой, продекламировала вполголоса, не открывая глаз:

— «Как чудовищные крылья — белый парус корабельный... Небо сверху... Море снизу... Море с небом нераздельны..» Кто это?

— Не знаю...

— Дон Хосе де Эспронседа. Вам нравится испанская поэзия?

— К сожалению, Трисс, я ее не читал.

— Как не стыдно...— укоризненно пробормотала она, снова засыпая.

Проснувшись уже у дверей «Бельявисты», Беатрис потерла глаза и зевнула.

— Как, приехали? — спросила она сонным голосом.— Я не хочу, покатайте меня еще...

— Вот напасть,— вздохнул Жерар,— в жизни еще не встречал девицы с таким противным характером. Ну-ка, выкатывайтесь.

— Почему вы не хотите покатать меня еще? — капризно спросила Беатрис.

— Потому что вам пора спать. Выходите из машины!

Беатрис нехотя повиновалась и, зацепившись каблуком за подножку, едва не растянулась — Жерар еле успел подхватить ее на лету.

— Хорошо? — свирепо прошипел он.— Постыдились бы, в таком возрасте напиваться. Идемте!

— О, я вовсе не... не напивалась...

В холле, услышав голоса, басом залаял Макбет. «Спи, лежать!» — крикнул Жерар, поддерживая Беатрис и роясь по карманам в поисках ключа.

— О, у вас есть собачка...— сонно просияла она.— Какой вы счастливый...

— Да, собачка... Вы только не упадите в обморок, когда ее увидите... эту собачку! Входите, Трисс. Макбет, спокойно!

Предупреждение оказалось излишним — дог почему-то и не подумал отнестись к гостье враждебно. Приветливо виляя гладким хвостом, он лизнул ей руку и ткнулся носом в ее платье. «Вас зовут Макбет?» — в полном восторге Беатрис принялась гладить пса по голове.

— Идемте, идемте,— сказал Жерар,— успеете побеседовать завтра утром.

— Я так люблю собак, Джерри, так люблю! — не слушая его, воскликнула Беатрис. — Знаете, я один раз стреляла в человека...

— На вас похоже,— кивнул Жерар.— Из-за любви?

— Нет, что вы! Из-за щенка. Я жила у тетки, в Тандиле, и возле нашего дома собачник поймал щенка — такой милый щенок, с ушами! — и я его просила, чтобы он отпустил, а он ничего. Тогда я взяла дядин револьвер — у него всегда лежал в столе револьвер, и он один раз, в шутку, показал мне, как нужно стрелять,— и выбежала на улицу, а этот собачник уже отъехал со своей повозкой, и выстрелила в него, только не попала...

— Ладно, хватит вам фантазировать, идемте.

— Даю слово, Джерри!

Жерар изумленно посмотрел на нее и пожал плечами:

— Ну знаете... И чем это кончилось?

— Тетка меня вздула,— печально сказала Беатрис.

— Разумная женщина. Жаль, что Тандиль так далеко, я бы непременно свозил вас завтра к вашей тетушке. Щенка-то вы хоть спасли?

— О да. Всех, что были в повозке! Собачник так испугался, что лупил без остановки до самого вокзала, а повозку бросил, и мальчишки открыли дверцу, и все собаки разбежались...

— Ну значит, вы пострадали не напрасно,— улыбнулся Жерар.— Идемте, Трисс, вам пора спать.

— Я не хочу спать, что вы... Макбет, Макбет!

— Куш, Макбет! — свирепо крикнул Жерар.— Идемте, я вам сказал! Вам нужно принять холодную ванну, поужинать — и спать.

В столовой Беатрис прислонилась к притолоке и огляделась непонимающими глазами.

— Я не хочу никакую ванну, я хочу еще один коктейль,— пробормотала она.— И потом, приведите пса... Пожалуйста, Джерри, пожа-а-алуйста...

— Не изображайте из себя кошку, Трисс! Перестаньте мяукать и идите под душ.

— Назло вам буду мяукать всю ночь... Вот увидите! Мяу-а-ау...

— Не дурачьтесь, Трисс. Я вам говорю, не дурачьтесь — иначе дело кончится слезами...

— Мяу-а-а-а-ау! — затянула Беатрис мерзким голосом.— Ай!

— Так вы назло? — спросил Жерар, крепко держа ее за ухо.— Идемте.

— Пустите, мне больно... Джерри!

— Идемте, маленькое чудовище, идемте... Я вас предупреждал...

— Как вам не стыдно! — крикнула Беатрис, когда Жерар отпустил ее перед дверью в туалетную комнату.— Рады, что оказались сильнее...

— Именно. Ну, под душ, если не хотите, чтобы я действовал в том же духе и дальше. В шкафу налево найдете мохнатые простыни и все прочее.

— Мне нужна пижама,— обиженно пробурчала Беатрис.

— Хоть дюжину. Все в шкафу, я сказал. Ну, счастливого плавания...

Через полчаса, сварив кофе и собрав кое-какую снедь, Жерар вернулся в гостиную. Беатрис, в голубой Бебиной пижаме, уже спала в кресле возле камина, подтянув коленки к самому лицу. Поставив поднос на столик, Жерар подошел к девушке и погладил ее по голове.

— Вставайте, Трисс... Проснитесь, я приготовил кофе. Слышите, Трисс? Проснитесь, будем ужинать...

Вместо ответа она пробормотала что-то нечленораздельное и сердито дернула босой ступней. Жерар осторожно тряхнул ее за плечи — Беатрис захныкала, еще больше сворачиваясь в клубок.

Постояв в задумчивости, Жерар решительно нагнулся, подхватил спящую на руки и понес в комнату Бебы. Очутившись в постели, Беатрис опять недовольно забормотала, обняла подушку и зарылась в нее носом. Жерар прикрыл ее простыней и вышел.

В гостиной он налил себе кофе и стал пить большими глотками, глядя в пространство прямо перед собой. Шум льющейся воды привлек его внимание — он прошел в ванную, закрыл краны, собрал разбросанные вещи Беатрис и отнес их в спальню. Девушка спала в той же позе. С минуту Жерар смотрел на нее, приподняв ночник, потом быстро поставил его на столик и вышел, без стука притворив дверь.

2

Уже под утро, накурившись до головокружения, Жерар ушел к себе. Заснул он мгновенно, словно провалился в омут; потом снова всплыл на поверхность, как ему показалось — сразу, не проспав и полу-

часа. Открыв глаза, он увидел острый луч солнца, пробившийся в щель неплотно задернутой шторы.

В ту же секунду, подобное этому раскаленному лезвию света, в его сердце вошло воспоминание о вчерашнем. «Странно,— почти равнодушно подумал он, прислушиваясь к тупой боли в груди,— кто бы мог подумать, что со мной может случиться что-то непоправимое...» Говорят, что безвыходные положения хороши тем, что неоткуда ждать нового удара судьбы. Однако даже в его положении судьба нашла нужным подвергнуть его этому последнему, утонченному издевательству, как если бы гибнущему в пустыне показывали издали чистую родниковую воду...

Ты ведь никогда не был особенно влюбчивым. Более того, женщины вообще никогда не играли в твоей жизни первостепенной роли, впереди всегда стояло искусство. Вспомни Дезире, вспомни Элен. И если сегодня ты готов отдать жизнь за один взмах ресниц еще вчера незнакомой тебе ясноглазой девочки, то это значит, что твой путь наконец скрестился с путем той, которая рождена для тебя так же, как ты рожден для нее. И именно теперь, когда ты уже недостоин ни любить, ни называть себя человеком, именно теперь предстала она перед тобой — бесконечно далекая на недоступной высоте своей юности, своей чистоты...

Этот последний удар судьбы был настолько несправедлив, что все вчерашнее можно было бы принять за сон, если бы не явное доказательство реальности — платок с голубой монограммой «Д. Б. А.», подобранный вчера в ванной комнате. Прижав его к лицу, Жерар вдохнул слабый запах почти выветрившегося недорогого одеколона и закрыл глаза.

Где-то заскрипела дверь, послышались осторожные шаги по коридору. Жерар лежал с закрытыми глазами, стиснув в кулаке крошечный, почти неощутимый платочек.

Через полчаса, освеженный горячим душем и бритьем, он вышел в гостиную. Беатрис сидела возле открытого окна — сидела на самом краешке кресла, сцепив на коленях руки, растерянным и неподвижным взглядом уставившись куда-то в сад. Благодаря скрадывающему шаги ковру она не услышала приближения Жерара и вздрогнула от неожиданности, когда он кашлянул, остановившись на пороге комнаты. Метнув на него взгляд, она вскочила и замерла на месте, медленно заливаясь краской и не отрывая глаз от его лица.

— Доброе утро, сеньорита,— поклонился Жерар с церемонным видом.— Надеюсь, вы хорошо спали?

— Благодарю вас... Доброе утро, сеньор,— едва слышно пробормотала она, опуская ресницы; сейчас она была похожа на школьницу, ожидающую заслуженного наказания.

— Я очень сожалею о... о вчерашнем,— сказала она еще тише, почти шепотом.— Очень прошу извинить меня... Боюсь, мое вчерашнее поведение...

Закусив губы, она еще ниже опустила голову и пальцем нарисовала кружок на пыльной крышке рояля.

— Продолжайте, сеньорита,— кивнул Жерар.— Очень любопытно услышать, что вы сами думаете о вашем вчерашнем поведении.

— Оно было ужасным и отвратительным,— сказала Беатрис дрожащим голосом.— Я это знаю, сеньор... сеньор Бюиссонье... Возможно даже, что... что я вела себя как-нибудь... непристойно. К сожалению, я ничего не помню... после того, как мы с вами танцевали. Почти ничего.

— Вот как? В таком случае, придется кое-что вам напомнить. Прежде всего пройдемте в столовую — если вы не против холодного завтрака.

— У меня нет аппетита, сеньор Бюиссонье...
— Он придет во время еды. Голова болит?
— Нет, сеньор Бюиссонье...
— Прошу вас... сюда...

Усадив Беатрис, Жерар придвинул к ней тарелку с холодным мясом и салатницу, нарезал хлеба, включил кофейник и сам сел напротив гостьи.

— Прошу вас,— повторил он.— Попробуйте-ка съесть яйцо с маслом и горчицей... Только осторожно — горчица английская, не увлекайтесь. Попробуйте, это вкусно. К сожалению, не могу накормить вас как полагается, я питаюсь по-холостяцки. Может быть, принести бутылочку вина? Нет? Я понимаю. Ешьте же, сеньорита Альварадо, не стесняйтесь.

Беатрис медленно принялась за еду, не поднимая глаз. Видно было, что от стыда у нее и впрямь пропал всякий аппетит.

— Так вот,— продолжал Жерар тем же тоном.— Я в самых общих чертах напомню вам вчерашние события. Прежде всего — вы помните, как очутились в этом доме?

Беатрис замерла с вилкой в руке.

— Помните? — повторил Жерар.

Она отрицательно качнула головой.

— Я предполагаю, что... что вы меня пригласили... может быть, из-за моего состояния,— робко сказала она.

— Я вас не приглашал, сеньорита Альварадо,— возразил Жерар.— Более того, я отговаривал вас от такой странной затеи — молоденькой девушке ехать ночевать к незнакомому мужчине на загородную виллу...

Беатрис смотрела на него с ужасом, пытаясь что-то сказать.

— Но вы упорно настаивали, заявив, что не видите в этом ничего предосудительного...

— Это неправда! — воскликнула Беатрис, чуть не плача.— Я не могла...

— Минутку! — жестом остановил ее Жерар.— Сеньорита Альварадо, я излагаю факты, прошу или верить, или вообще не слушать. Далее. В авто, пока мы ехали, вы говорили о своих нескромных желаниях...

— О!

— А здесь уже окончательно распоясались — пели, мяукали...

— О-о, нет! — крикнула Беатрис.

Закрыв лицо ладонями, она вскочила из-за стола и выбежала в гостиную. Глянув ей вслед, Жерар опустил голову. С минуту он сидел сгорбившись, разминая в пальцах хлебную крошку, потом встал и прошел за портьеру.

Беатрис, съежившись и судорожно вздрагивая от рыданий, лежала на диване, уткнувшись лицом в кожаную подушку.

— Перестаньте,— сказал Жерар, помолчав.— Я сам привез вас сюда, потому что вам некуда было деваться и вы боялись вернуться домой в таком виде. Из-за мисс Пэйдж, насколько помнится. Ну, Трисс? — Он несмело положил руку ей на плечо.

— Дайте мне слово...— всхлипывая, проговорила Беатрис,— что вы сейчас говорите правду...

— Честное слово, Трисс. А вы дайте слово, что не будете больше злоупотреблять своей самостоятельностью, хотя бы на пари.

— Я никогда, никогда не буду... сеньор Бюиссонье...

— А зачем так официально?

— Я больше не буду... мсье Жерар,— повторила Беатрис, все еще пряча лицо.

— Вот и отлично. А теперь идемте кончать завтрак...

Они вернулись в столовую, и Беатрис уселась на свое место, вытирая кулачком глаза.

— Я куда-то дела свой платок...— пробормотала она все еще вздрагивающим голосом.

— Возьмите этот,— Жерар достал свой.

Беатрис протянула руку и вдруг отдернула ее, смущенно улыбнувшись сквозь не просохшие еще слезы.

— Не нужно, это плохая примета — брать чужой платок... Говорят, с таким человеком обязательно рассоришься...

— Правда? Я этого не знал. Разрешите вашу чашку, Трисс, кофе готов.

— Благодарю вас... Так вы сами меня сюда привезли... Воображаю, в каком я была виде...

— Да, я вас похитил. Вы здорово протестовали, нужно отдать вам справедливость.

— Но что же я собиралась делать?

— Вот этого я никак не мог понять. Вы только повторяли: «Но не могу же я ехать в таком виде домой! Но не могу же я ночевать в комиссарии! Но не могу же я провести ночь в чужом доме!» Логика чисто женская, если учесть, что четвертого варианта не было.

— Ну, мне, наверное, тогда было не до логики,—улыбнулась Трисс, коротко глянув на Жерара из-под ресниц.— Ох, просто не знаю, что бы я сейчас с собой сделала за эту вчерашнюю глупость...

— Ничего, Трисс, нет худа без добра. Хороший урок никогда не бывает лишним.

— Да, но... Если бы не вы, я вообще не знаю, что со мной было бы... Меня ведь и в самом деле могли забрать в полицию, время от времени полиция делает такие облавы — специально ловят молодежь, после определенного часа. Для меня — учитывая папино положение— это было бы настоящей катастрофой... Вы меня спасли, хотелось бы мне когда-нибудь отблагодарить вас за это. К сожалению, вряд ли я смогу что-либо для вас сделать... такое же важное.

— Ладно уж, с моей стороны это не было актом героизма. Да и вообще, в крайнем случае вы все же могли бы вернуться домой.

— Конечно, если выбирать между комиссарией... Но это было бы ужасно, поверьте мне.

— Можно подумать, что эта ваша мисс Пэйдж что-то вроде дракона.

— Хуже, она старая дева и пуританка...

— В самом деле, веселое сочетание. Пожалуй, вы и правы были, что боялись...

— О да, безусловно. Если бы папа был дома, я бы не боялась, но с мисс Пэйдж это совершенно иначе...

После завтрака оба почувствовали какую-то странную неловкость. Беатрис понимала, что сейчас нужно поблагодарить хозяина за гостеприимство и попросить доставить ее на ближайшую остановку автобуса, но что-то удерживало ее, и она сидела с растерянным видом, испытывая отчаянный стыд за вчерашнее и не зная, как вести себя теперь.

Непривычная скованность овладела и Жераром. Он видел смущение своей гостьи, оно передавалось ему самому, но главное — Беатрис не была уже той вчерашней набедокурившей девчонкой, которой можно было прочитать нотацию и на правах старшего пожелать хорошей родительской шлепки; Беатрис Альварадо стала теперь именно тем, кем она невольно представилась ему вчера при первом взгляде: недоступной принцессой, в присутствии которой не осмелишься сесть без разрешения Ее Сказочного Высочества.

Они вышли в сад. Беатрис похвалила кинту, приласкала бросивше-

гося к ним Макбета, — сдержанно, как и подобает принцессе. Разговор не клеился.

— Вы, кажется, говорили, что занимаетесь живописью? — спросила Беатрис, щурясь по сторонам.— Это, наверно, очень приятно... иметь возможность заниматься искусством. Одна моя подруга лепит, у нее получается совсем неплохо. Может быть, вы показали бы мне свои работы?

Жерар помолчал. Вчерашние его слова о том, что ему неприятно говорить о живописи, очевидно, улетучились у нее из памяти.

— Дело в том,— сказал он наконец,— что они до сих пор не распакованы... Все как-то не соберусь. Впрочем... одну вещь я могу вам показать, пойдемте.

«Отъезд из Вокулёра» был повешен наспех и плохо, в темном простенке. Жерар снял полотно — оно было небольшим, тридцатого размера[1] — и поставил на стул, повернув к свету под наиболее выгодным углом.

— Ну что ж, смотрите,— сказал он, отходя в сторону.—Нет, станьте там, возле шкафа. Вот так.

Беатрис застыла на указанном ей месте. Набивая трубку, Жерар покосился на свою работу — нет, этого можно не стыдиться. Он подавил вздох и сунул трубку обратно в карман.

Картина была написана темперой. Он вспомнил вдруг, каких трудов стоило ему тогда, в условиях оккупации, раздобыть эти отличные довоенные краски «Таленс»... Что ж, спекулянт его не надул — за десять лет они сохранили свежесть. Фигура всадницы в белом доспехе, на фоне черного провала ворот и дымно-багрового зарева вокруг, все так же сияла своей необычной окрыленностью, побеждая мрачные краски войны и человеческого отчаяния. Да, если после него останется хоть одна эта вещь — это уже, как говорится, кое-что...

— Нет, я просто...— шепотом сказала Беатрис, обернувшись к Жерару и глядя на него как-то недоверчиво, словно не узнавая.— Я еще никогда в жизни не видела ничего подобного... из современных... Теперь я понимаю — сегодня утром я еще удивилась, что художник может быть таким богатым... Моя подруга знает нескольких, и все они бедны как церковные мыши. Но теперь — о, еще бы вы не были богаты, с таким талантом! Честное слово, если бы у меня был миллион песо, я отдала бы его за эту вещь... Я представляю себе, как приятно зарабатывать много денег собственным талантом, представляю, какое это должно быть моральное удовлетворение...

Лицо Жерара передернулось. Беатрис ничего не заметила, продолжая восхищенно разглядывать картину.

— Вы знаете, в первый момент я даже не сообразила, кто это здесь изображен... А когда поняла— прямо вся похолодела внутри, слово чести! Мне еще никогда не приходилось видеть такого изображения Жанны д'Арк...

— Решение несколько условно,— пробормотал Жерар,— впрочем, я и не стремился к доскональному историзму... Важна идея... Я назвал картину «Отъезд из Вокулёра», в действительности этот момент выглядел иначе... насколько нам известно. Жанна еще не была вооружена, ну и вообще... Зарево — все это условно...

— Да-да, я понимаю, — закивала Беатрис.

— Я хотел показать Жанну именно в начале ее миссии, когда еще все было впереди — Орлеан, Реймс... И в то же время уже во всеоружии. Доспех нужно здесь понимать скорее символически.

---

[1] Один из принятых во Франции стандартных размеров живописных полотен — 92×73 см.

— Разумеется, Джерри! Я очень понимаю ваш замысел. И вы исполнили его...—Она запнулась, подыскивая слово, и в восхищении щелкнула пальцами.

Этот школьный жест и это неожиданно прорвавшееся вчерашнее дружеское обращение сразу сделали принцессу ближе и понятнее. Жерар широко улыбнулся.

— Я страшно рад, Трисс... Вы себе представить не можете. Мне всегда трудно объяснять какой-нибудь свой замысел, его понимаешь где-то здесь, а на словах...

Неожиданная мысль вспыхнула вдруг в нем — мысль совершенно невозможная и опасная. Он замолчал и в смятении снова полез в карман за трубкой.

— Нет, я поняла сразу! И знаете, что еще здесь замечательно? В одной книге про Жанну д'Арк я прочитала, что она явилась предтечей нового времени — с ее идеями патриотизма, гуманности... Ну, вы понимаете, недаром ее и сожгли, по-моему, это очень верный анализ образа. И вот здесь у вас она вся такая светлая, именно как герольд нового века, а за ее спиной этот темный провал, стрельчатая арка и зарево — это же само средневековье со всеми его ужасами, не правда ли?.. И еще мне нравится, что вы не показываете ее лица — можно увидеть ее именно такою, как представляла всегда в мыслях... Я никогда не поверила бы, что можно сделать человеческую фигуру настолько выразительной, не показав ее лица. Но кто бы мог подумать, что я встречусь с таким художником... И даже попаду к нему в дом...

...Сказать или не сказать? Нет, нет, ни в коем случае... К чему? Во-первых, она не согласится, а во-вторых, даже если бы...

— Да, счастливый вы...— вздохнула Беатрис и мельком взглянула на свои часики. Этот перехваченный Жераром взгляд сразу решил все его колебания.

— Послушайте, Трисс,— весело сказал он,— у меня сейчас мелькнула мысль... Хочу поймать вас на слове.

— Да, Джерри?

— Вы сказали, что хотели бы иметь возможность отблагодарить меня за вчерашнее? Видите, я настолько неджентльмен, что хочу воспользоваться этим и потребовать от вас платы...

— Какой же, Джерри? — Беатрис приподняла брови.— Я с удовольствием, но не знаю только, смогу ли...

— Вы сможете, Трисс.— Сердце у него так заколотилось, что он на секунду замер и потом продолжал тем же веселым тоном: — Сегодня суббота, не так ли? Завтра вы тоже свободны. Подарите мне этот уикэнд, останьтесь со мной до завтра...

Теперь, когда это было сказано, он не мог усидеть на месте от охватившего его смятения и, порывисто встав, подошел к Беатрис, удивленно глядевшей на него снизу вверх.

— Как вы думаете?— Он просительно заглянул ей в глаза и попытался улыбнуться.— Для вас это такой пустяк... Не сочтите за навязчивость, но... Трисс, вам не понять, что значит для меня каждый лишний час вашего присутствия в этом доме...

— Моего присутствия...— растерянно повторила Беатрис.— Но, Джерри... почему?

Жерар улыбнулся несмелой и какой-то жалкой улыбкой и в ту же секунду увидел, как бледнеет Беатрис, не отрывая от его лица широко открытых, встревоженных глаз с прорезавшейся между бровей складочкой.

— Трисс, я прошу вас побыть со мной еще сутки, одни только сутки... если, разумеется, у вас нет на сегодня других планов...

— У меня, планов? Нет, никаких, Джерри,—прошептала Беатрис.

— Тогда останьтесь. Я вас не принуждаю, Трисс, скажите лишь — и я отвезу вас домой хоть сейчас. Но если вы можете... если бы вы смогли...

— Хорошо, я останусь,—просто сказала Беатрис.— Вот только... нужно как-то уладить это с мисс Пэйдж— я обещала вернуться к обеду... Хорошо, придумаю что-нибудь. Но я все же вас не понимаю...

— Ерунда, Трисс, не делайте испуганных глазок. Просто мне... ну, мне хорошо с вами, понимаете?

Еще несколько секунд Беатрис смотрела на него с тем же выражением сострадания и тревожного любопытства, словно пытаясь разобраться в чем-то не совсем ей понятном, потом улыбнулась несколько растерянно:

— Вам со мной? Я... тронута, поверьте, но... Так я позвоню домой и скажу, что вернусь позже, завтра. В той комнате, где я спала, кажется, есть телефон?

— Да, можно и оттуда...

Когда Беатрис вышла, Жерар почувствовал вдруг укол тревоги. Зачем он это затеял? Как могла ему прийти в голову такая нелепая мысль? Ничего хорошего ему эти несколько лишних часов не принесут — он понимал это,— но о том, что будет послезавтра, сейчас не думалось, сейчас важным было только одно—не передумает ли она, сумеет ли получить разрешение от своей мисс...

Услышав в коридоре быстрый стук каблучков, он на миг даже задохнулся —так билось сердце.

— Договорилась!— весело заявила Беатрис, распахивая дверь.— Я ей сказала, что уезжаю с Инес, а она на это заявила, что в таком случае тоже уедет до завтрашнего вечера играть в бридж. У нее, знаете ли, родственники в Харлингеме, она иногда ездит туда играть в карты. Для меня это всегда праздник. Боже мой!— засмеялась Беатрис.— Если бы она знала, что со мной было и где я сейчас нахожусь! Кстати, Джерри, я ведь и сама этого не знаю. Где мы, в самом деле? Вы сказали — за городом?

— За городом, Трисс. Вы знаете Лухан?

— О, еще бы, я несколько раз бывала там, обычно с паломниками, на страстной неделе. Так что?

— Ну, мы с вами находимся сейчас приблизительно в трех километрах от Луханского шоссе, возле Пасо-дель-Рей. Теперь ориентируетесь?

Беатрис посмотрела на него недоверчиво и прижала к щеке ладошку.

— Пасо-дель-Рей...— тихо ахнула она.— Но ведь это же час езды от города, Джерри! Куда вы меня завезли! — Она рассмеялась.— Я думала, мы где-нибудь не дальше Висенте Лопес или Оливос... Джерри, вы просто киднаппер[1]! Похитили и завезли на край света, ха-ха-ха... Ну хорошо, а что мы будем делать? Знаете что, поедем немного покатаемся по окрестностям! Куда попало, без всякого определенного плана — это всегда приятнее. Попадется какая-нибудь симпатичная боковая дорога — свернем на нее, потом еще куда-нибудь, пока не заблудимся. Хорошо?

— У вас хорошая машина,— кивнула Беатрис, похлопав по сиденью. — Хотя мне больше нравятся европейские...

— Почему именно европейские? — рассеянно спросил Жерар.

---

[1] Kidnapper — людокрад (*англ.*).

— Понимаете... в американских иногда чувствуется что-то... немного нуворишское, вы не замечали? Слишком уж роскошно они выглядят — слишком длинный кузов, слишком много никеля, даже, если хотите, слишком много всяких удобств... А всякое «слишком» — это уже плохо. Знаете, если бы даже у меня было много денег, я никогда не стала бы одеваться ни слишком нарядно, ни слишком модно. Это дурной тон. Вы согласны?

— Вполне. И какие же европейские машины вам нравятся?

— Ой, я влюблена в английские... Недавно в одном журнале я видела такой «деймлер»! Просто не верится, что есть счастливцы, ездящие в такой машине. Вы понимаете, Джерри, такая выдержанность, такая предельная, строгая элегантность в каждой линии...

— Э, да вы прямо поэтесса...

Беатрис пожала плечиками:

— Просто я люблю все красивое. И цветы, и красивые автомобили, и... Ну, словом все.

— Красивых людей тоже? — покосился на нее Жерар.

— Нет, что вы! Я их боюсь.

— Красивых людей?

— Угу. Красивых мужчин, хочу я сказать.

— Да, это народ опасный...

— Нет, я не в том смысле. Просто они противные. Джерри, почему так получается, что человек всегда становится рабом своей красоты? Почти всегда, во всяком случае. И мужчины, и женщины...

— Вы тоже?

— Что?

— Вы тоже порабощены своей красотой?

— А у меня ее просто нет,— засмеялась Беатрис.

— Без жеманства, Трисс. Вам это не идет, вы для этого слишком умны.

— А я не жеманничаю, что вы! Просто я не считаю себя красивой. Мне иногда говорили, что я хорошенькая, но это же совсем другое. У меня раскосые глаза... немножко. И Мак-Миллан даже издевается надо мной, называет «joung japanese lady» [1]. Джерри!

— Да, я слушаю.

— Вы не ответили на мой вопрос: почему человек слишком легко становится рабом своей внешности? И почему вообще человек так устроен, что достаточно одной песчинки, чтобы сбить его с пути?

— Хотите откровенный ответ?

— Разумеется...

— Я вообще невысокого мнения о людях, Трисс.

Беатрис посмотрела на него и промолчала.

— Ну, удовлетворил вас мой ответ?

— Я не верю, что вы можете так думать.

— Да?

— Да, не верю. Вы взрослый и умный — слишком взрослый и слишком умный, чтобы так думать...

— Черт возьми, долг платежом красен... Я назвал вас умной не для того, чтобы получить обратный комплимент,— усмехнулся Жерар.

— А это не комплимент, поверьте... Со мной тоже недавно было такое, что я потеряла любовь к людям и чуть не сошла с ума. У меня было такое состояние, что я готова была покончить с собой. А потом я поняла, что это неправильно... и кроме плохих есть очень много хороших людей.

— И на этом успокоились?

---

[1] Молодая японская леди (*англ.*).

— Да,— вызывающе сказала Беатрис.— То есть не то что успокоилась, а просто поняла свою глупость. Конечно, вокруг нас делается много всякой гадости, но если есть хорошие люди, то они смогут все это переменить.

— Ох, Трисс, блажен, кто верует...

— А я вообще не смогла бы жить без веры!

— Ладно, ладно,— добродушно усмехнулся Жерар,— я не собираюсь вливать яд в вашу душу.

— О, у меня есть сильное противоядие...

— Догадываюсь какое,— кивнул Жерар.— Поэтому-то я и не хочу говорить с вами на эту тему. И вообще это тема скучная... Разве нет? В вашем нежном возрасте только герои Достоевского любят рассуждать о подобных вещах... Этот мальчик, помните, как его...

— Я Достоевского не читала.

— Да? Положим, вам еще рано...

— Не в этом дело. Я спрашивала разрешения у падре, и он не позволил. Не могла же я читать еретического писателя без разрешения своего духовника!

— А, понятно. Словом, давайте поговорим о чем-нибудь более интересном.

— Вы считаете меня глупой,— обиделась Беатрис.— Пожалуйста, как вам угодно.

— Я не считаю вас глупой. Я считаю вас молодой. Хотите, отгадаю желание, которое появилось у вас в тот момент, когда мы выехали из «Бельявисты»?

— Пожалуйста. Все равно не отгадаете.

— На пари? Вам хочется сесть за руль.

— За руль? — Беатрис сделала равнодушный вид и пожала плечами.— Вот еще... С чего вы взяли, что я вообще умею водить машину?

— Вы вчера всю дорогу клянчили у меня пустить вас к рулю. Ну, как, рискнем?

— Я очень осторожна за рулем,— вкрадчиво сказала Беатрис,— я часто беру у папы машину, когда она свободна, так что у меня есть практика. Честное слово! И потом в Кордове я несколько раз ездила из пансиона за молоком, на таком полугрузовичке... Шофер иногда напивался, и тогда я ездила. А в горах это трудно, знаете...

— Ладно, Трисс, сейчас выедем на ответвление, покажете мне свое искусство.

Миновав заправочную станцию «Эссо» на развилке дорог, Жерар свернул на менее оживленную и, остановив машину на обочине, поменялся местами со своей спутницей. Пока он объяснял ей некоторые особенности «манхэттэна», Беатрис нетерпеливо кивала и поддакивала, потом закусила губы и с заблестевшими глазами взялась за руль, тронула рычаг скоростей.

— Ну, давайте,— сказал Жерар, закуривая.— Сначала медленно, пока не освоитесь. Смелее, смелее, только плавно,— ободряюще кивнул он, видя, что она, включив передачу, не решается отпустить педаль сцепления.— Вот, правильно...

— Ну как? — спросил он через несколько минут, когда Беатрис осмелела и начала увеличивать скорость.

— Хорошо...— отозвалась та, не сводя глаз с бегущего навстречу бетона.— Еще бы... такая сильная машина! Можно прибавить газ, Джерри?

— Только не увлекайтесь.

— Нет... Я совсем чуть-чуть,— кивнула Беатрис, мотор взвыл, и Жерара вдавило в спинку сиденья.

— Трисс, не увлекаться! Вы пока еще не Фанжио и не Стирлинг Мосс.

— Кто это вас учил произносить «Фанжио́»? — засмеялась Беатрис. — Фа́нхио! Хуан Мануэль Фа́нхио. Давно вы здесь, Джерри?

— В Аргентине? Я приехал в пятидесятом.

— О-о... Я думала, гораздо раньше, вы очень хорошо говорите по-испански... Вы много путешествовали?

— Не очень. Францию знаю хорошо, а вообще я почти нигде не бывал.

— Странно... Имея ваши возможности, я бы изъездила весь мир. Неужели не тянет?

Жерар молча пожал плечами.

Беатрис покосилась на него украдкой, ее прикованный к дороге взгляд сделался задумчивым. Несколько минут они молчали.

— Правее, Трисс, грузовик навстречу,— предупредил Жерар.

— Я вижу. Скажите, Джерри... Я читала, что богатство обычно приводит к разочарованию — вернее, к пресыщению жизнью. Это правда?

Жерар взглянул на нее и опустил голову, внимательно разглядывая свои руки.

— Пожалуй,— отозвался он нехотя.

Беатрис просигналила коротко и требовательно и двумя крутыми виражами — так, что Жерара бросило сперва направо, потом налево,— мастерски обошла тяжелую автоцистерну.

— Мне так и казалось,— кивнула она, бросив взгляд на спидометр.— Но только это странно, Джерри... Конечно, я понимаю, у богатого человека нет ни одного сильного желания, потому что практически все ему доступно... А бедный находит радость даже в тех вещах, которые для богатого не представляют никакого интереса. Например, я сужу по себе, Джерри,— мне нужна новая сумочка, и я откладываю деньги. Мне сейчас не хватает сорока песо, которые я смогу взять из получки. Понимаете — когда я иногда вспомню, что после первого пойду выбирать себе эту сумочку, мне приятно. Наверное, покупая ее, я испытаю больше радости, чем испытали вы, купив эту машину... Вам не смешно?

Задав этот вопрос неожиданно вызывающим тоном, она покосилась на Жерара.

— Если смешно, лучше скажите сразу — я вовсе не желаю показаться вам какой-то...

— Что вы, Трисс, я и не думаю смеяться...

— Но, с другой стороны,— продолжала она,— я ведь прекрасно понимаю, в этом есть что-то унизительное — радоваться такой мелочи. И мне трудно поверить, что богатый человек не может ставить перед собой по-настоящему интересные цели... и стараться их достичь. Есть столько возможностей... учиться, путешествовать, заниматься любимым делом...

— Трисс, отпустите акселератор.

— Разве это скорость — семьдесят пять? Я на своей развалине делаю восемьдесят, если за городом... Конечно, богатство не всегда приятно... У меня есть одна подруга очень богатая, ее отец разбогател на всяких некрасивых операциях — это все знают. Но когда богатство такое, как ваше,— заслуженное талантом... Я иногда думаю, какое счастье быть человеком искусства, признанным мастером,— можно совершенно честным способом создать себе такие условия жизни, какие ты хочешь... Не сочтите меня за материалистку, но я считаю, что бедность — очень неприятная вещь... И если есть возможность сочетать...

Не договорив фразу, она испуганно ахнула и, рывком затормозив машину, распахнула дверцу и выскочила наружу.

— Гоните ее, ради всего святого! — закричала она в панике.

— Да кого гнать? — недоуменно воскликнул ничего не успевший сообразить Жерар.

— Господи, пчелу! Пчелу — видите, вон сидит на самом руле! Она только что влетела в окно... Гоните ее пожалуйста, только не убейте... Осторожнее, Джерри,— она вас ужалит!

Жерар, посмеиваясь, выгнал страшное насекомое. Беатрис снова уселась за руль.

— Должен сделать вам три замечания,— строго сказал Жерар.— Во-первых, никто так не тормозит, я чуть не вышиб головой стекло. Во-вторых, вы остановились на самой середине шоссе и, в-третьих, выскочили, даже не оглянувшись назад. А если бы следом шла другая машина, да еще с плохими тормозами?

— Я очень испугалась, Джерри,— виновато вздохнула Беатрис.— Я так испугалась — у меня до сих пор дрожат колени...

— Тогда подождите стартовать,— сказал Жерар, удерживая руку Беатрис, уже лежащую на рычаге скоростей, и сквозь тонкую кожу перчатки чувствуя теплоту ее пальцев.— Сначала успокойтесь, люди с дрожащими коленями не водят автомобилей...

Беатрис обернулась к нему со смущенной улыбкой.

— Я лучше поеду...— шепнула она, сделав нерешительную попытку освободить пальцы. Глаза их встретились, и Беатрис замерла с полуоткрытыми губами, потому что на какой-то миг — секунда? минута? — вся вселенная вдруг ограничилась ощущением тяжелой мужской руки на ее вздрагивающих пальцах. Потом он быстро убрал руку, колдовство окончилось, Беатрис отвела глаза и, прикусив губы, плавно передвинула щелкнувший рычаг.

С минуту она молчала, поглядывая то на дорогу, то на быстро ползущую вверх стрелку спидометра, потом — словно что-то отгоняя — встряхнула головой и торопливо заговорила:

— Скажите, ваше... Ну, вот такое ваше отношение к жизни и к людям — оно не связано с разочарованием в чем-нибудь? Например, в любви?

— Нет, нисколько,— Жерар поглядел на свою собеседницу с некоторым удивлением.

— Вы извините за такой вопрос, мне просто хочется вас понять... В комнате вашей жены, где я спала, я видела ее портрет... Она такая красавица... Можно обогнать этого, Джерри?

— Обгоняйте, только осторожно...

— Угу...

Повинуясь движению ее ноги, машина с воем ринулась вперед и через минуту оставила позади идущий на большой скорости низкий, приземистый «бьюик родмастер»; водитель того только успел погрозить Жерару кулаком.

— Люблю обгонять,— довольным тоном сказала Беатрис.— К сожалению, на нашем «форде» это редко удается.

— Что вы начали говорить о моей жене?

— О вашей жене... О, я просто подумала, когда увидела фото, что с такой женщиной мужчина должен быть или очень счастливым, или очень несчастным.

— Послушайте, вы еще не можете разбираться в этих вопросах.

— Вот поэтому я и хочу начать... разбираться. И потом не думайте, восемнадцать лет это не такой уж детский возраст... У мужчин — может быть, не знаю... А девушка в восемнадцать лет понимает гораздо больше.

— Это верно,— согласился Жерар.— А вообще заметно, что вы служите Фемиде... У вас уже все повадки следователя.

Беатрис покраснела.

— Вам это неприятно, Джерри,— что я спрашиваю?

— Не в том дело... Меня удивляет ваша склонность анализировать явления... и людей. Обычно это более свойственно мужскому уму.

— О, я вовсе не ради анализа... Просто мне — когда я встречаю что-нибудь непонятное — всегда хочется разобраться и понять. Это плохо?

— Иногда это бывает опасно. Над некоторыми вещами в жизни лучше вообще не задумываться.

— Но, Джерри, как тогда жить? — удивленно покосилась на него Беатрис.— Говорят, самое страшное — это то, чего не понимаешь. Поэтому я хотела бы понять в жизни как можно больше.

— Не пытайтесь понять жизнь, Трисс. Тем более в восемнадцать лет... В таком возрасте можно еще жить не задумываясь. А впрочем...

— Вот именно,— подхватила Беатрис,— вы сами поняли сейчас, что сказали неправильно. Я не знаю — может, другие и могут, а я не могу жить «не задумываясь»... Я сегодня все думаю о вас, понимаете... У вас есть возможность жить так, как вы хотите, заниматься искусством, вы счастливы в семейной жизни, а между тем...

— Что «между тем»?

Беатрис помолчала. На секунду оторвав левую руку от руля, она заправила в прическу растрепанную ветром прядь волос.

— Вы знаете, Джерри... когда я увидела вас вчера в первый раз... там, в баре... мне почему-то сразу подумалось, что вот сидит очень несчастный человек. Вас не обижает откровенность? Мы ведь договорились быть друзьями.

— Какие тут могут быть обиды. Итак, я показался вам несчастным человеком?

— Ну, что-то в этом роде...— Беатрис опять бросила на него быстрый, внимательный взгляд.— И сегодня я еще больше убедилась... Знаете, Джерри, я считаю, что жить на земле становится с каждым годом все хуже и хуже,— вы можете надо мной смеяться, но я это чувствую, как животные чувствуют приближающееся землетрясение... Поэтому мне всегда интересно — не чувствуют ли этого же и другие. Иначе чем можно объяснить, что человек, имеющий в жизни все...

Она замолчала, словно подбирая правильные слова. Машина, мерно раскачиваясь, с гулом пожирала километры белого от солнца шоссе, убегающего вдаль через выжженную и уже по-осеннему бурую травянистую равнину.

— Почему так качает, Джерри? — спросила Беатрис.

Жерар ответил непонимающим взглядом.

— А, это,— сообразил он, оторвавшись от своих мыслей.— Не знаю, амортизаторы слабоваты.

— Качает, как в лодке. Джерри, у вас есть дети?

— Нет.

— А где сейчас ваша жена — в Европе? Она тоже француженка?

— Нет, аргентинка, сейчас она в Бразилии... Поехала навестить подругу.

— Ага... А сколько ей лет, Джерри? Этот снимок, что в ее комнате,— он сделан давно?

— Недавно. Она старше вас на два года.

— Вы очень ее любите?

— Конечно!

— Я хочу сказать... любите именно как друга, не правда ли? — продолжала допытываться Беатрис.

— Как друга,— терпеливо согласился Жерар.

— Потому что иногда можно любить за внешность... Тогда это не то. Это, пожалуй, и не любовь. Господи, как трудно устроена жизнь...

— Хватит вам, философ в юбочке,— усмехнулся Жерар.— Не опережайте своего возраста, это вредно во всех отношениях.

— Я никакой не философ, наоборот, я ничего не понимаю. Но я не могу жить вслепую, поймите!

— Согласен, Трисс. Жить с открытыми глазами куда интереснее. Вопрос только — что безопаснее.

Помолчав, Беатрис спросила нерешительно:

— Скажите, Джерри... вы — католик?

— Нет.

— Протестант? Хотя не похоже...

— Послушайте, чтобы вам не пришлось перечислять все вероисповедания и религии — их слишком много, — я вам скажу сразу, что я атеист, просто-напросто атеист. Вы-то, конечно, принадлежите к святой апостольской римско-католической церкви?

— Джерри, это не тема для иронии,— укоризненно взглянула на него Беатрис.— Да, я принадлежу к римской церкви. Не знаю... Мне кажется...— Она вздохнула и снова поправила разлетающиеся от ветра волосы.

— Что вам кажется? — спросил Жерар, тщетно подождав конца неоконченной фразы.

— Не знаю,— повторила она, покачав головой.— Атеистом трудно прожить, я так думаю.

— Вот как? — язвительно спросил Жерар.— Вы так думаете? А я думаю, что куда труднее верить в бога — всемилостивого и всемогущего — сегодня, во второй половине двадцатого века, после Хиросимы и нацистских бухенвальдов...

— Что это — бухенвальды?

— А это был в Германии такой лагерь, один из многих... И был еще Дахау, где медики из СС занимались вивисекцией над заключенными. Знаете, Трисс, почему вы еще остаетесь верующей? Да просто потому, что вам...— Он высунул руку в окно и сердито выколотил трубку о борт.— Потому что вам, к счастью, не пришлось побывать в Европе во время последней войны. Вы любите путешествовать — так вот, когда получите возможность, поезжайте во Францию, в департамент Верхней Вьенны, там недалеко от Лиможа есть местечко Орадур-сюр-Глан. Десятого июня сорок четвертого года немцы согнали в орадурскую церковь семьсот человек жителей городка — из них три четверти женщин и детей — и сожгли заживо. Развалины этой церкви существуют до сих пор. Когда вы там будете, Трисс, можете присесть на кучу обгорелого щебня, смешанного с человеческим пеплом, и поразмышлять о божьем милосердии... Трудно прожить атеистом! — фыркнул Жерар.— Вы, мадемуазель, поживите сначала с мое и повидайте то, что пришлось повидать мне, а потом посмотрим, что останется от вашей веры.

— Я не знаю, Джерри...— заговорила Беатрис вздрагивающим голосом.— Вы... вы говорите такие вещи... Я вообще не должна была бы вас слушать, но... бог не может принуждать людей быть хорошими, вернее, не хочет — понимаете? Человеку дана свобода выбора между добром и злом...

— Вот как! — насмешливо воскликнул Жерар.— В самом деле, какой великолепный принцип! Бросьте, Трисс! Попытка оправдать зло принципом свободного выбора — это, знаете ли, годится только для схоластических споров. При первом столкновении с обычной логикой от этого принципа ничего не остается. Принято говорить,

что все мы — дети бога, не так ли? Так вот, когда вы, Трисс, выйдете замуж и нарожаете детей, воспитывайте их согласно принципу свободного выбора между добром и злом. Пусть делают что хотят, а вы будете смотреть со стороны и спокойно записывать их дурные и хорошие поступки...

— Джерри, я вас очень прошу! — почти со слезами крикнула Беатрис.

— Да?

— Джерри, не нужно! Есть вещи, о которых нельзя думать,— понимаете? Нужно или верить, или не верить, но... Как вы не понимаете? К вере нельзя подходить так, как вы подходите... Это совершенно разные вещи, Джерри, при чем тут «обычная логика»?.. Это ведь совершенно в разных планах! Мне страшно вас слушать, я понимаю, откуда в вас это разочарование... Поймите, Джерри, ведь нельзя жить с пустой душой! Человек с пустой душой может оставаться нормальным только при исключительно счастливом стечении обстоятельств... А если вдруг случится какое-нибудь несчастье, и в душе нет ничего, абсолютно ничего, что могло бы как-то утешить?.. Я теперь понимаю, почему...

— Ничего вы не понимаете! — закричал Жерар.— На кой дьявол мне теперь какие-то утешения! Что вы понимаете в моей душе! Оставьте ее в покое и изощряйте свою догадливость на ком-нибудь другом!

Беатрис затормозила так, что машину бросило на обочину. Резко запахло горелой резиной. Выключив зажигание, она пыталась открыть дверцу, дергая ручку в обратную сторону; наконец дверца открылась, и Беатрис выскочила из-за руля. Отступив на шаг, она сказала вздрагивающим голосом, почти шепотом:

— Я думаю, мне лучше вернуться в город... Я остановлю какую-нибудь машину, не беспокойтесь... Я... я очень сожалею, что так получилось, что вы приняли мои слова... как непрошеное вторжение в вашу душу...

Замолчав, она приложила руку в перчатке — тыльной стороной — к своей щеке.

— Джерри... Я только хотела бы, чтобы вы потом поняли, что это не было просто любопытством... Мне сразу стало вас жаль, с того момента, как я вас увидела... Простите, если это оказалось неуместным...

Жерар сидел молча, согнувшись, закрыв лицо ладонями. Беатрис с минуту смотрела на него с напряженно-растерянным выражением, словно очутившись вдруг перед чем-то необъяснимым и пугающим. Потом она шагнула вперед и, перегнувшись через руль, несмело коснулась его светлых растрепанных волос.

— Прощайте, Джерри...— шепнула она и, закусив губы, отвернулась и торопливо пошла прочь от машины, оставшейся стоять с распахнутой дверцей на обочине шоссе.

Через минуту Жерар, словно очнувшись, поднял голову и рванул дверную ручку. Беатрис стояла в полусотне метров поодаль — одинокая фигурка в темном полувечернем платье с узким корсажем и широкой, как опрокинутый цветок колокольчика, юбке, одна на пустынной, белой от солнца дороге; сцена была нереальной, словно приснившейся.

Все было нереальным — самое его существование, его прошлое, его будущее. Одна лишь тоненькая одинокая фигурка в белой пустыне — девушка, которая могла бы спасти его, случись все это раньше,— она одна — единственная реальность в этом проклятом мире, единственная, которая могла бы и уже не сможет...

— Трисс! — закричал Жерар, подбегая к ней.— Трисс, простите меня, не уходите...

Он схватился за ее руки каким-то предсмертным движением — как утопающий, от которого ускользает спасательный круг.

— Вы не можете оставить меня здесь,— шептал он лихорадочно,— не оставляйте меня сейчас, это единственное, о чем я прошу.

Беатрис осторожно освободила пальцы и, сдернув перчатки, снова отдала руки Жерару.

— Я вас не оставлю... Не волнуйтесь...

Огромный грузовик с ревом пролетел мимо, обдав их вихрем пыли. В пустом кузове, держась за кабину, стоял человек в комбинезоне; он обернулся и проводил глазами странную пару — девушку в праздничном платье и мужчину, который стоял перед нею с опущенной головой, прижимая ее руки к своему лицу.

— Ну успокойтесь, Джерри, — шептала Беатрис, едва сдерживая слезы.— Не нужно... Сейчас мы вернемся, вы отдохнете, и все будет в порядке...— Она раздвинула ладони и, заглянув в глаза Жерару, постаралась улыбнуться.

— Ну, поедем обратно, Джерри?

— Да, поехали,— глухо отозвался Жерар.— Простите эту идиотскую выходку... Мне иногда трудно совладать с нервами...

— Мне тоже, Джерри! — улыбнулась Беатрис.— Я иногда готова искусать всех вокруг, начиная с доктора Мак-Миллана. Идемте!

— Погодите, Трисс... Ваши перчатки,— пробормотал Жерар, подбирая их с земли.— Этак вы все растеряете... И сумочку свою в машине оставили...

— Ничего,— весело сказала Беатрис,— я все равно приехала бы за ней, у меня там документы. Вот и был бы лишний предлог увидеться еще раз, не правда ли?

3

Обратно ехали без происшествий, если не считать одного слишком крутого поворота, который Беатрис попыталась взять на полной скорости, поплатившись отстранением от руля. Уступив место Жерару, она весело и не переставая болтала до самой «Бельявисты», рассказывая о своем лицее, о службе и о вечных конфликтах с мисс Пэйдж.

В Пасо-дель-Рей они купили кое-какой провизии, и по возвращении на кинту Беатрис заявила, что будет готовить обед. «Боюсь, что вы составили обо мне превратное мнение,— сказала она весело,— я совсем неплохо готовлю, умею шить и даже вышивать монограммы на белье. Так что вы не думайте, что я «синий чулок», умеющий только размышлять о смысле жизни...» Помощь Жерара она решительно отвергла. Он указал ей стенной шкаф, где Беба держала свое кухонное снаряжение, и покорно ушел в сад.

«Сеньора Бюиссонье одного роста со мной,— подумала Беатрис, застегивая на себе кокетливый накрахмаленный халатик.— Интересно было бы ее увидеть...» Скрутив узлом свой лошадиный хвост, она туго повязалась белоснежной косынкой, натянула резиновые перчатки и принялась хозяйничать.

До сих пор можно было не думать. Вести машину, разговаривать с Джерри, болтать о всяких пустяках, суетиться по кухне, но потом все было сделано, оставалось ждать, пока обед будет готов. Теперь уже ей нечем было заслониться от мыслей.

В кухне было тихо, лишь едва слышно гудела вытяжная вентиляция и нерешительно посвистывал собирающийся закипать чайник. На панели белоснежной электроплиты, напоминающей положенный боком холодильник, мирными рубиновыми огоньками светились контрольные лампочки.

Стаскивая тугие перчатки, Беатрис растерянным взглядом обвела холодно отсвечивающие кафельные стены. Все это было как во сне. Где она? Почему она здесь? Неужели еще вчера вечером она была дома, собираясь в «Гэйлордс» и ребячески радуясь предстоящему посрамлению Пико...

Она прикрыла глаза, пытаясь сосредоточиться, что-то понять. Но что?

И нужно ли? Джерри говорит: «Не пытайтесь понять всего». Почему этот человек вдруг стал для нее таким... таким жалким, праведное небо! Что с ним? Почему он такой? Как он может оставаться здесь один, совсем один в этом доме...

Совершенно один. И ведь с ним творится что-то странное, разве этого не видно с первого же взгляда. Хорошо, пусть там, на дороге, это было только нервной вспышкой, но вообще у него какое-то горе, достаточно посмотреть в глаза. Что его мучает? Какой глупый вопрос! Разве он может не быть несчастным?.. Пройти войну, увидеть все эти ужасы — и не иметь в сердце никакого утешения! А что может утешить того, кто собственными глазами видел кучи человеческого пепла? «Поживите с мое, мадемуазель...»

Нет, об этом нельзя думать, нельзя касаться этого даже краем мысли. Ты же видишь, пример у тебя перед глазами! Если бы можно было сделать для него хоть что-нибудь... Но что, что она может сделать? А эта красавица с улыбкой кинозвезды преспокойно укатила себе в Бразилию, «навестить подругу»... «Боже, если бы когда-нибудь мой Фрэнк оказался вдруг в таком положении, неужели у меня хватило бы жестокости уехать развлекаться?..»

«Мой Фрэнк»,— повторила она вслух упрямым шепотом, как заклинание неизвестно от чего. Ее Фрэнк, которого она любит, которому она дала слово верности — нерушимое слово Гонсальво де Альварадо...

Макбет, соскучившись смотреть на молчаливую гостью, поднялся с недовольным ворчаньем и, цокая когтями, вышел из кухни. На террасе он мимоходом подкинул носом дремлющего на солнце Дона Фульхенсио, тот с перепугу метнулся в сторону и обшипел приятеля, выгнув спину. Дог примирительно и покровительственно вильнул хвостом и своей пружинящей побежкой направился в сад, искать хозяина. Тот сидел в обычном месте — на берегу пруда.

— Ты чего? — спросил Жерар, когда дог ткнулся носом ему в плечо. Вынув изо рта трубку, он потрепал Макбета по голове.— Ты почему ушел от барышни, а? Ну-ка, идем...

Они вместе направились к дому. Из кухни навстречу им вышла Беатрис с подносом в руках.

— Макбет просит прощения,— сказал Жерар.— Он был оставлен здесь, чтобы вас развлекать, и покинул свой пост.

— Это я виновата,— улыбнулась Беатрис,— я с ним не играла, забегалась со стряпней. Ничего, Макбет, еще есть время. Джерри, минут через двадцать можно обедать, сейчас только закипит... Я пока накрою на стол.

— Оставьте, Трисс, накроем потом, вместе. Не хотите посидеть с нами в саду?

— Хорошо, Джерри,— кивнула Беатрис.— Минутку, я сниму халат...

Жерар принес на берег еще один шезлонг. В густой листве отраженных в зеркальной воде деревьев резким пощелкиваньем перекликались птичьи голоса. Беатрис приставила ладонь козырьком и, щурясь от солнечных бликов, старалась высмотреть невидимых крикунов.

— Кто это здесь у вас, Джерри? — спросила она, так ничего и не увидев.— По голосу похожи на попугаев — знаете, есть такие малень-

кие зеленые попугайчики, cotorritos... Правда, они живут больше на Севере...

Жерар рассеянно пожал плечами:

— Понятия не имею, Трисс... Никогда их не видел.

— Как у вас здесь хорошо-о-о...

— Когда вы собираетесь в Штаты?

— В Штаты? О, будущей весной... Как только окончу лицей.

Жерар кивнул, похлопывая себя прутом по носку туфли.

— Где, вы говорили, работает ваш жених?

— Уиллоу-Спрингс, штат Нью-Мексико. Это почти на границе с Техасом, я смотрела по карте. Совсем маленький городок — там только авиационный завод, ничего больше.

— Вам не жаль будет уехать из Аргентины?

— Жаль, конечно,— вздохнула Беатрис,— но что же делать?.. Я, может быть, сумею иногда сюда приезжать, если Фрэнк будет прилично зарабатывать...

Они проболтали с полчаса, потом Беатрис вспомнила вдруг о кухне и ахнула:

— Бегу, Джерри! Обед через пять минут, идите пока мыться, как раз успеете...

Когда они сели за стол, Беатрис вначале с тревогой следила за тем, как Жерар ест.

— Да что вы так смотрите? — засмеялся он наконец.— Можно подумать, что вы кормите подопытного кролика.

— Я не уверена в своих кулинарных способностях,— смутилась Беатрис.— Я дома не избалована, мисс Пэйдж готовит на редкость плохо, и я просто боюсь, что моя стряпня покажется вам несъедобной...

— Еще чего, отличный суп... Если и дальше будет так, то вашего будущего мужа можно только поздравить.

Беатрис покраснела от удовольствия.

— Я очень рада, если вам понравилось... Но я приготовила только два блюда,— не знаю, что вы любите на сладкое. Может быть, просто фрукты?

— На сладкое, Трисс, будет кофе моего приготовления, я умею варить настоящий турецкий. Кроме того, я угощу вас музыкой. Сам я играю плохо, но у меня есть магнитофон. Вам нравится Шуберт?

— О, еще бы! Как вы угадали?

— Умозаключение, Трисс. Не только же вам фехтовать логикой...

Макбет лежал, пристроив морду на вытянутые лапы, и явно томился человеческим молчанием и музыкой, с вожделением поглядывая на отогнувшийся угол ковра. Наконец, решившись, он на брюхе пополз к соблазнительному месту, но услышал скрип кресла и воровато покосился на хозяина. Жерар сделал страшное лицо и погрозил догу кулаком. Макбет тотчас же встал с видом полнейшего равнодушия, будто никаких ковров и на свете не существовало, лениво прошелся вдоль стены и шумно, загремев ошейником, свалился набок к ногам Беатрис. Та испуганно вздрогнула, открыв глаза.

— Хорошо спалось? — улыбнулся Жерар.

— На меня что-то и в самом деле напала дремота...— виновато пробормотала Беатрис.— Боюсь, что вы влили мне в кофе слишком много этой штуки... Правда, я мало спала сегодня. Утром меня разбудила такая головная боль — хорошо, что в сумочке нашлась таблетка, иначе я, наверное, не оправилась бы до сих пор.

— Послушайте, предлагаю пойти и хорошенько поспать. Какая же вы южноамериканка, если не соблюдаете сиесту?

— Спасибо, Джерри... Но я не знаю,— нерешительно пожала плечами Беатрис.— Это не совсем удобно — приехать в гости и завалиться спать...

— Глупости, чего тут неудобного.— Жерар встал и остановил ленту.— Ступайте без разговоров, я тоже пойду в сад отдохну. У нас еще будет время наговориться.

— Ну, хорошо, Джерри... Только я не хочу долго — вы меня потом разбудите, если я разосплюсь. Например, через час.

— Ладно,— кивнул Жерар.— Впрочем, там есть будильник, заведите его — это будет вернее. Макбета я возьму с собой, а то он не даст вам спать — будет скрестись у двери, как грешная душа в рай...

— Джерри,— укоризненно взглянула на него Беатрис.

— Ну-ну, не буду. Макбет, гулять!

Вернувшись к пруду, Жерар приказал Макбету лежать смирно и сам растянулся на траве, закинув руки под голову и насвистывая мотив народной песенки, слышанной когда-то в Бретани. Небо в просветах листвы было таким ослепительно-ярким, что он зажмурил глаза и сам не заметил, как задремал.

Проснулся он от легкого холодного прикосновения к щеке. Машинально отмахнувшись, он открыл глаза и, повернув голову, увидел Беатрис, сидящую рядом с поджатыми ногами. Та засмеялась и бросила на траву длинную ленточку апельсиновой кожуры.

— Проснитесь, очарованный кабальеро,— сказала она, деля пополам очищенный апельсин.— Вас заколдовала фея Моргана? Съешьте этот волшебный плод, в моей власти освободить вас от чар. Моргана — моя старая соперница, мы давно конкурируем. Вставайте, уже пять часов.

— М-м-м...— промычал Жерар, выплевывая косточки.— Я и в самом деле хорошо исполняю хозяйские обязанности. Это вы виноваты — заразили меня сном, теперь не сваливайте на Моргану...

Он встал на ноги и потянулся, отбрасывая на траву длинную тень.

— Сегодня будет чудный вечер,— сказала Беатрис,— даже с луной. Как жаль, что у вас нет верховых лошадей... Впрочем, я в этом платье все равно не смогла бы.

— Лошадей? — задумчиво переспросил Жерар. — Это легко устроить, Трисс,— здесь недалеко дают напрокат. У них там замечательный гунтер, Баярд... А что касается вашего костюма, то у Элен в ее гардеробе достаточно брюк, чтобы обмундировать целый эскадрон. Возьмите любые, фигуры у вас с ней приблизительно одинаковые. Одним словом, попробуйте.

— Элен — это ваша жена? Но вы уверены, что она не обидится, если я воспользуюсь ее туалетами?

— Уверен. Ну, идемте, не будем откладывать дело в долгий ящик...

Жерар наскоро освежился под душем, переоделся. Минут двадцать он ждал в холле, потом из Бебиной комнаты, стараясь не звенеть шпорами, смущенной походкой вышла Беатрис, словно выскочившая из ковбойского фильма.

— Вот это да,— кивнул Жерар.— А где же ваш кольт?

Беатрис покраснела.

— Джерри, если вы будете издеваться, я остаюсь здесь!

— И не думаю. Я просто в восторге!

— Ну конечно... Воображаю, на что я похожа в таком виде.

— На Квазимодо,— злорадно сказал Жерар.— Настоящий Квазимодо, мне просто стыдно будет ехать вместе с вами.

— Я этого и опасалась,— вздохнула Беатрис.— А кто этот — как вы сказали — Квазимодо?

— Ладно, не прикидывайтесь. Квазимодо — это Квазимодо, и вы на него похожи.

— Честное слово, Джерри, — Беатрис сделала большие глаза, — честное слово, я не знаю никакого Квазимодо...

Жерар уставился на нее:

— Вы что, никогда не слышали о Викторе Гюго?

— Что вы, Гюго я знаю. Французский поэт и писатель, представитель романтической школы, родился в тысяча восемьсот втором году, умер в тысяча восемьсот восемьдесят пятом.

— Отлично. Вы его читали?

Беатрис пожала плечами.

— Странный вопрос, Джерри,— сказала она высокомерно.— Я через год оканчиваю лицей, а вы спрашиваете такие вещи! Конечно, читала, представьте себе. «Труженики моря», «Человек, который смеется», потом стихи и пьесы. У него замечательные стихи.

— А «Собор Парижской богоматери»? Забыли, да?

— «Собор Парижской богоматери»? Что вы, Джерри! Как я могла читать книгу, которая внесена в Индекс?

— Ах вот оно что... Ну, идемте, Трисс.

— Возьмем с собой Макбета?

— Ну что вы. Он испугает лошадей — это опасно. Вы за руль?

— Если позволите...

Она круто развернула лимузин по хрустящему гравию и вывела его на аллею. Макбет пробежал за ними до ворот и, когда Жерар закрыл створку перед его носом, остался стоять с обескураженным видом, просунув пятнистую морду между прутьями решетки.

Беатрис, далеко опередив своего спутника, первой вынеслась на пригорок и сдержала коня, подавшись вперед и похлопывая его по шее. Ее тоненькая фигурка на высоком, поджаром гунтере четко вырисовывалась на фоне пылающего закатного неба, и Жерар вдруг пожалел, что с ним нет эскизника. Подъехав к девушке, он погрозил ей пальцем:

— Смотрите, Трисс, свернете себе шею, это вам не манеж...

— Ничего... — ответила она еще прерывающимся от возбуждения голосом.— Надеюсь, не свалюсь... Не в первый раз. Видите, видите, я вас обогнала! Правда, моя лошадь лучше... Посмотрите, как красиво, Джерри. Вам нравится закат? Впрочем, художнику глупо задавать такой вопрос... Фу, как стало жарко...

Она стащила перчатку и стала обмахивать разгоревшееся лицо. Лежавшая перед ними равнина пологими волнами убегала вдаль, плавясь в огне заката. Разбросанные по ней усадьбы с зелеными островками эвкалиптов должны были, казалось, вот-вот вспыхнуть, как макеты на рельефной карте, сунутой в жерло огромной печи.

— Закат? — щурясь, переспросил Жерар. — Трудно сказать, Трисс... На меня он всегда действует как-то странно. Зрительно, так сказать, я им восхищаюсь, как правило... И в то же время мне всегда становится тоскливо, когда я долго смотрю на закат...

Он усмехнулся немного смущенно и глянул на внимательно слушавшую его Беатрис.

— Понимаете, они бывают разные,— продолжал он негромко.— Бывают такие, как сейчас,— широкие, в полнеба, они более добрые, еще позволяют на что-то надеяться... А бывают жестокие, ледяные закаты — знаете, когда небо все в тучах, и под ними вдруг такая узкая кровавая черта по самому горизонту... Когда я смотрю на такое, мне всегда ка-

жется, что это символ всей нашей цивилизации, нашего времени... Вам не кажется?

Беатрис не ответила. Ее рыжий гунтер вскинул голову и укусил за холку своего смирного собрата. Беатрис сердито шлепнула его ладонью и укоротила повод.

— Да, это символ,— повторил Жерар, словно размышляя вслух.— Беспросветное небо, и внизу только одна красная черта — итог на границе ночи...

— Не смейте так говорить! — крикнула вдруг Беатрис. Зажав под мышкой стек, она нервными движениями натягивала перчатки, покачиваясь в седле от движений неспокойного гунтера.— Вы не мужчина, а неврастеник! Почему вы, глядя на закат, способны думать только о наступающей ночи, а не о завтрашнем утре? Если вы не прекратите этот разговор, я немедленно вернусь в город. Обязательно нужно испортить такой вечер! — воскликнула она, ударив кулачком себя по колену.

— Хорошо, Трисс, не будем его портить,— согласился Жерар.— Я и в самом деле осел. Я вот сейчас вспомнил закаты в Атлантике, в экваториальных водах... Там они очень коротки, всего несколько минут, и сразу темнота, но эти несколько минут — это буквально какая-то феерия, вы себе представить не можете. Океан, небо — все это одна огромная сверкающая палитра, на которой все время меняются краски, смешиваются, переходят одна в другую... Передать это на холсте, хотя бы приблизительно, совершенно невозможно, для самого гениального колориста. А потом с востока быстро — на глазах — начинает наплывать густая фиолетовая синева, и одна за другой вспыхивают звезды — такие огромные, мохнатые... Лежишь на палубе — и кажется, будто мачта вот-вот зацепит звезду...

Беатрис слушала его как зачарованная, приоткрыв губы, и ее глаза сами казались тропическими звездами — такие же близкие и такие же недостижимые. Жерар повернул голову и вдруг замолчал. Беатрис опустила глаза.

— Вот так,— хрипловато сказал Жерар, кашлянув. — Много есть на свете красивого...

— Какой вы... счастливый,— прошептала Беатрис, расправляя перчатку.— Как бы я хотела посмотреть все, что видели вы...

— М-да, вообще это интересно,— пробормотал Жерар,— но я не пожелал бы вам увидеть и половины... Ну что ж, поехали дальше? Вы не устали?

— Нисколько... В Кордове я по целым дням не спускалась с седла. Едем!

Беатрис тронула каблуком своего Баярда и начала спускаться с холма, откинувшись назад. У подножия она нагнулась, поправляя стремя, и оглянулась на спускавшегося следом Жерара.

— Попробуем еще раз — кто кого. Хотите, Джерри?

«Здесь, наверно, есть кротовые кучи — если бы упасть, повредить ногу... — Эта сумасшедшая и полуоформленная мысль стремительно скользнула где-то в глубине подсознания, как рыба в подводном сумраке.— Господи, что со мной делается...»

— Давайте, давайте,— отозвался Жерар.— На этот раз вы так просто от меня не убежите...

— Ах так? Попробуем! — Беатрис щелкнула стеком по сапожку.— Я занимаюсь верховым спортом с четырнадцати лет, мой сеньор. Arre![1] — звонко крикнула она, привстав на стременах. — Пошел, Баярд!

[1] Возглас, которым погоняют лошадей.

К ужину Жерар вышел в смокинге. Беатрис, занятая в этот момент раскладыванием срезанных в саду роз по плоским хрустальным вазочкам, подняла глаза и быстро выпрямилась.

— В чем дело? — спросил Жерар.— Можно подумать, что увидели василиска! — Он пожал плечами.— Не каждый день случается принимать гостей... Да и потом не только же вам одной щеголять в вечернем туалете. Мне вот тоже захотелось!

Беатрис опустила ресницы.

— Спасибо, Джерри... — сказала она совсем тихо, так что Жерар едва расслышал, и низко склонилась над столом, бестолково вороша цветы. Уколовшись шипом, она отдернула руку и поднесла палец к губам, и тут же заторопилась: — Ужин будет скудным по вашей вине... Не позволили мне возиться в кухне — ляжете спать голодным...

— Ничего, так полезнее. Я ведь уже говорил, что веду спартанский образ жизни. Садитесь, Трисс, довольно вам хлопотать. Я сейчас, минутку...

Он вышел. Беатрис села и затихла с отрешенным видом, словно к чему-то прислушиваясь, закрыв глаза и сцепив пальцы на коленях, потом порывисто встала, поправила отогнувшийся угол портьеры, заглянула в гостиную. Там ее внимание привлекли два канделябра на каминной доске — свечи не были обожжены,— видимо, канделябрами никогда не пользовались. Беатрис унесла их в столовую и, ломая от торопливости спички, зажгла все шесть свечей. Она едва успела выключить свет и сесть на место, щурясь на мягкое сияние чуть колеблющихся огоньков, как вернулся Жерар.

— Браво, Трисс,— сказал он в дверях,— отличная мысль!

— Не правда ли? — сдавленным голосом отозвалась Беатрис, не оборачиваясь.

— А моя дополняет вашу,— подойдя к столу, Жерар поставил между канделябрами бутылку с серебряным горлышком.— Между прочим, это французское... Не в обиду вашей стране будь сказано, я до сих пор не уяснил себе разницу между здешним шампанским и сидром.

— У нас в торжественных случаях больше принято пить сидр.

— Кощунство, Трисс, настоящее кощунство, — весело говорил Жерар, сдирая с бутылки фольгу.— Заменять вино сидром, где это видано...

— Да, конечно...

Жерар бросил на нее через стол быстрый взгляд и снова занялся бутылкой.

— Ну что ж, Трисс, давайте-ка раскладывайте по тарелкам наш скудный по моей вине ужин, я уже открываю.

Ее взгляд не сразу оторвался от свечей и скользнул на руки Жерара, осторожными движениями расшатывающие пробку. Руки артиста — худые, сильные, с длинными пальцами...

— Джерри,— испуганно спросила вдруг она,— а ваше кольцо...

— Кольцо? — Жерар распрямил пальцы и, вскинув брови, озабоченно присвистнул.— Черт возьми... Неужто потерял?..

— Вы его не оставили в туалете?

— Нет... Сейчас я припоминаю, что, когда мылся после возвращения, его уже не было...— Он нахмурился.— Обидно... Это был подарок жены.

— Может быть, оно где-нибудь здесь? — с надеждой спросила Беатрис.

— Да нет, вряд ли... Нет, это, очевидно, во время наших скачек,— покачал головой Жерар.— Жаль. Ну что ж, как говорится, никогда не оплакивай потерянного. Кто-нибудь найдет — на счастье...— Он усмехнулся и снова принялся расшатывать пробку.

— Мне очень жаль,— тихо сказала Беатрис.— Я оказалась невольной виновницей, Джерри. Ваша жена мне этого не простит...

— Глупости, какая вы виновница. Значит, ему суждено было потеряться именно сегодня, и все тут. Ваш бокал, Трисс.

Беатрис подставила бокал, щурясь на неяркую игру теплого света в золотистой струе. Потом она подняла голову и посмотрела Жерару в глаза:

— Джерри, я пью за наше знакомство...

...О боже, пусть он ответит: «И за то, чтобы оно оказалось долгим». Если он так скажет, все будет хорошо...

— Я тоже. Ну, за нашу мимолетную встречу, Трисс...

Ее бокал на секунду замер в воздухе, потом она зажмурилась и выпила вино до дна.

...Какой неуютной кажется сейчас эта комната... Нельзя было зажигать свечи, она для них слишком велика, свечи хороши в небольшой комнате, или уж их должно быть очень много, а сейчас кругом мрак, по всем углам, и только здесь маленький теплый островок света... Только не поднять глаз — не встретиться взглядом...

Мрак за окнами, мрак у тебя за спиной. А между тобою и Джерри — бездна, обманчиво сияющая темным зеркалом полированного дерева. Темно-вишневое, оно кажется прозрачным, и опрокинутые отражения канделябров горят где-то в непостижимой глубине, на дне разверзшейся у ее ног пропасти. Всмотрись — какой красный огонь у этих свечей, как кровь... Кровь, опрокинутые свечи — древний обряд проклятия... Где-то у Данте...

— Налейте еще,— быстро сказала она, протягивая пустой бокал.

— Не боитесь? — улыбнулся Жерар.— Впрочем, шампанское не так опасно... Что это — гром?

Он оглянулся на окна, где вздувались и опадали белеющие в темноте занавеси. Снова послышался далекий глухой рокот.

— Да, идет гроза,— кивнул Жерар, разливая вино по бокалам.— Когда же это успели собраться тучи, кажется, все небо было ясным...

— Нет, с юга находили,— сказала Беатрис,— я уже заметила, когда мы возвращались. На юге не было звезд.

— Ну ничего, может, пройдет стороной.

— Нет, Джерри, не пройдет...

— Почему вы думаете? — удивился Жерар.

— Не знаю.— Беатрис пожала плечами.— Когда на тебя идет гроза... не нужно надеяться, что она пройдет стороной. Выпейте за мое счастье — хорошо, Джерри? А я — за ваше.

— Хорошо, Трисс, выпьем друг за друга. Только давайте-ка подойдем к окну...

Беатрис встала из-за стола и вместе с Жераром подошла к окну, держа в руке налитый до краев бокал. Сильно похолодавший ветер вздувал и крутил занавеси, в темноте ровно шумели эвкалипты, и их неясные очертания то и дело на миг вырисовывались на фоне мертвенного сияния далеких зарниц. Пахло близким дождем и осенью.

— Ну, Трисс...— сказал Жерар тем тоном, каким говорят на перроне или на пристани,— будьте счастливы...

Он залпом выпил ледяное вино и взмахнул рукой. Мрак отозвался хрупким звоном.

— Спасибо, — шепнула Беатрис. — Будьте счастливы и вы, Джерри...

Второй бокал полетел в ночь.

— Как свежо стало,— заметил тихо Жерар.— Странно, днем была такая погода, да и весь вечер...

— Все меняется, Джерри, рано или поздно. Я хотела спросить — у вас инструмент настроен? Я сыграю, если вы не против...

— Что вы, Трисс, разумеется... Я не знаю, в каком состоянии рояль,— по правде сказать, никогда к нему не подходил... Давайте посмотрим.

— Вы играете?

— О,— Жерар сделал неопределенный жест.— Почти нет. Когда-то играл, но с тех пор... Минутку, я включу свет в гостиной.

— Не нужно, отнесите туда свечи.

Беатрис прошла в гостиную, к поблескивающему в темноте роялю, села на банкетку, подняла крышку клавиатуры. Вошел Жерар с канделябрами в руках, по стенам побежали ломаные тени. «Сюда»,— кивнула Беатрис, пробуя клавиши.

— Ну как, можно играть? — спросил Жерар, поставив на рояль свечи и садясь в кресло поодаль.

— Можно...

— А как вам звук?

Беатрис пожала плечами.

— Понимаете, мне после моего инструмента всякий другой кажется глухим... У меня дома концертный «Стейнвэй», единственная фамильная драгоценность... если не считать папиной библиотеки. Но ваш, кажется, ничего...

— Что же вы мне сыграете?

Она провела рукой по клавишам.

— Я сыграю то, что хотела бы оставить вам на память... о нашей мимолетной встрече. Слушайте, Джерри.

Более близкий раскат грома заглушил вступление — тихое, словно нерешительное. «Четырнадцатая соната»,— подумал Жерар со смутным ощущением шевельнувшегося в душе беспокойства. Почему именно эта — ведь Беатрис не может не понимать...

Она-то понимает, ответил ему внутренний голос, ты сам должен видеть — она все понимает, поэтому она и выбрала эту вещь. Но в таком случае что это — исповедь, признание?

Тихая задумчивость первой части, неопределенная еще юная мечта о счастье, пронизанное нежной грустью предчувствие сменяются беззаботным аллегретто второй. Светлые, радостные ноты звенят в комнате, но ведь за окном грозовой мрак, озаренный мертвенным пламенем зарниц. И ничего больше. В нашей встрече нет радости, нет и не могло быть. И то счастье, о котором вы сейчас рассказываете — может быть, веря и надеясь,— оно не для нас с вами, поймите это, Трисс. Поймите это, пока не поздно!

Но было уже поздно. Когда первый трагический аккорд взорвал мираж счастья, Жерар зажмурился от рванувшей сердце острой боли, с ужасом осознав свою непоправимую ошибку. Теперь ты понимаешь, о чем играет Беатрис? Теперь ты видишь, что не имел права оставлять ее здесь и рисковать тем, что случилось? Ведь это ее исповедь — ее рассказ о себе... Что ты наделал, что ты наделал...

«Остановитесь, Трисс!» — чуть было не крикнул Жерар и, открыв глаза, увидел ее озаренный колеблющимся пламенем свечей профиль, закушенные губы и блеснувший след на щеке. Да, уже не остановишь.

Лунная соната? Четырнадцатой Трагической следовало бы ее назвать,— ведь это о трагедии гремит рояль, о смертной муке обреченной любви, о страдании любящих без надежды. Торопливая, словно задыхающаяся мольба сменяется взрывом отчаяния, мелькнувшее воспоминание о прошлом — криком ужаса перед будущим. «То, что я хотела бы оставить вам на память...» А еще вчера она казалась ребенком! Не

нужно, Трисс, остановитесь хоть сейчас — это будет страшнее с каждой минутой, остановитесь ради всего святого...

Удар грома взорвался где-то над самой крышей. На секунду показалось, что рушится весь дом. Потом наступила тишина. Жерар вытер со лба холодный пот и открыл глаза — Беатрис беззвучно плакала, прижавшись щекой к клавиатуре.

Деревья во мраке шумели тревожно, как всегда перед грозой, почти сливаясь, полыхали зарницы, бледное восковое пламя свечей металось под ветром, готовое вот-вот оторваться и улететь в ночь. Беатрис продолжала плакать отчаянно и беззвучно; и то, что она не стыдилась своих слез, и то, что Жерар продолжал молча сидеть в своем кресле, не пытаясь ее утешить,— создало между ними такую близость, какой не могли бы создать никакие слова.

Слов и не было. Ни одного слова не было сказано ими с того момента, как Беатрис положила руки на клавиши. Она долго плакала, потом постепенно затихла, но не трогалась с места и продолжала сидеть за роялем, держа руки на коленях и остановившимися глазами глядя перед собой в полыхающий зарницами мрак. Жерар тоже словно окаменел в своем кресле. Оплывали свечи, их огни трепетали теперь уже совсем низко, часы пробили двенадцать, потом час. Свечи догорели и стали гаснуть одна за другой. Осталась единственная — ее крошечный синий огонек долго бился в пустой чашечке подсвечника, поднимался и падал, изнемогая в неравной борьбе с ночью. Наконец умер и этот.

Непрерывно — то близко, то далеко — тяжкими волнами плыл гром. Комната освещалась то мертвенным сиянием зарницы, то беспощадным огнем молнии, от которого лицо Беатрис становилось гипсовой маской, а пустые канделябры перед нею вспыхивали острым серебряным блеском.

Почувствовав вдруг, что это не может продолжаться ни одной минутой, ни одной секундой дольше, Жерар вскочил с кресла и, бросившись к двери, нащупал кнопку выключателя. Так же торопливо, точно боясь чьего-то вторжения, он позахлопывал створки окон и задернул шторы, и только после этого посмотрел на Беатрис.

Она ответила ему коротким, тотчас же ускользнувшим взглядом и отвернулась.

Жерар кашлянул, собираясь что-то сказать, но промолчал и снова опустился в свое кресло, сжимая в ладонях голову. Прошло еще несколько минут.

— Я пойду спать, Джерри...— сдавленным голосом и с видимым усилием сказала Беатрис, поднимаясь из-за рояля.

— Да, поздно... Покойной ночи, Трисс.

— Покойной ночи...

Она прошла мимо него, не глянув и не подняв головы, и бесшумно скрылась за портьерой.

Хлынувший перед рассветом дождь лил до самого обеда, то усиливаясь, то затихая. Низко над растрепанными ветром эвкалиптами шли тучи — тяжелые, набухшие ливнем. В комнатах «Бельявисты» было холодно и неуютно.

Впоследствии Жерар никак не мог припомнить, о чем говорили они с Беатрис в то утро и говорили ли вообще. Во всяком случае, встретились они молча. Жерар, сам едва державшийся на ногах, взглянул на лицо Беатрис — осунувшееся после бессонной ночи, с обведенными синевой глазами и пустым ускользающим взглядом — и ничего не сказал. Лишь минуту спустя, опомнившись, он пробормотал что-то насчет ис-

портившейся погоды, так и не пожелав ей доброго утра. Не в силах оставаться без дела, он усадил ее в гостиной с кипой французских журналов и пошел готовить завтрак. Потом они сидели за столом — так же молча, не глядя друг на друга и почти не притрагиваясь к еде. Жерар, чашку за чашкой, пил крепчайший кофе и чувствовал, что нервное напряжение начинает трясти его подобно приступу тропической лихорадки.

Из-за портьеры, отделявшей столовую от гостиной, в тишине явственно доносился звонкий ход каминных часов, с каждым ударом маятника приближая разлуку. Непереносимо было вспоминать вчерашний день, когда впереди было еще столько времени, непереносимо было думать о завтрашнем дне, даже о сегодняшнем вечере, когда он вернется сюда без Беатрис, будет ходить один по опустевшему дому и видеть вещи, к которым она прикасалась, кресло, в котором она сидела, книги, которые она перелистывала...

После полудня дождь кончился, в быстро увеличивающихся разрывах между тучами засияла ослепительная синева. Жерар предложил поехать покататься в ближнюю рощу. Беатрис медленно вела машину по размытой дороге, косые лучи солнца, пронизывая голубоватый туман испарений, падали между стволами громадных деревьев в длинных лохмотьях отстающей коры, пахло дождевой свежестью и эвкалиптами. В одном месте, несмотря на предосторожности, они все же застряли — машина начала буксовать. Жерару пришлось вылезть в грязь и собирать ветки. Беатрис, закусив губы, нервно рвала рычаг скоростей, пробуя сдвинуть тяжелый лимузин с мертвой точки; наконец ей удалось выбраться задним ходом.

В «Бельявисту» они вернулись уже после пяти. Жерар, мокрый и заляпанный грязью, пошел приводить себя в человеческий вид. Когда он вернулся в гостиную, часы на камине звонко пробили шесть раз.

— Джерри...— тихо сказала Беатрис, не глядя на него,— я думаю, мне лучше было бы... Боюсь, мисс Пэйдж может вернуться раньше меня и позвонить Инес. В конце концов, все равно... Часом раньше или часом позже...

— Разумеется, Трисс, — спокойно ответил Жерар. — Это не имеет значения. Вы готовы? Если хотите, попрощайтесь с Макбетом, я пойду заправлю машину.

Он вышел. Беатрис пустым взглядом обвела комнату, увидела подсвечники на рояле — выгоревшие до конца, в застывших наплывах воска. Так выгорела в эту страшную ночь и она сама. Боже мой, если только он скажет хоть одно слово, если спросит: «Когда мы увидимся?» — но он никогда этого не скажет, никогда не спросит. А ведь теперь все зависит от него! В ней самой уже ничего не осталось — ни чести, ни чувства долга, ни простого самолюбия... Только любовь, только ее запретная и обреченная любовь, обрушившаяся на нее подобно горной лавине...

Вернулся Жерар, неся картину в узкой черной раме.

— Вот, Трисс,— сказал он глухим голосом.— Возьмите это на память... Вам она понравилась, я тоже считаю ее лучшей из всего, что написал...

Он повернул полотно, Беатрис увидела «Отъезд из Вокулёра».

— Спасибо, Джерри,— просто сказала она.— Лучшего подарка вы не могли мне сделать. Идемте...

Всю дорогу они молчали. Машину вел Жерар, Беатрис сидела рядом с ним в спокойной позе, глядя прямо перед собой сухими блестящими глазами. Перед мостом Хенераль Пас он притормозил и покосился на нее.

— Как, собственно, нам ехать?.. Вы говорили, что живете на Окампо,— где это?

— Это недалеко от зоологического...— Беатрис кашлянула, словно у нее пересохло в горле и было трудно говорить. После секундной паузы она, не глядя на Жерара, продолжала ровным, бесстрастным тоном, словно давая указания шоферу: — Сейчас выезжайте наверх, налево до авеню Дель-Техар. Там свернем вправо. Вы знаете улицу Монро? По ней выедете на Кабильдо и поедете до Пласа Италиа. А там я скажу.

Жерар молча кивнул. Синий «манхэттэн» поднялся на автостраду и в густом воскресном потоке машин помчался в сторону реки. После дождя было сыро, бензиновый перегар мешался с запахами мокрой травы, влажные сумерки опускались на столицу. Кое-где по сторонам автострады загорались первые, неяркие еще росчерки цветных реклам.

— Следующая направо будет Дель-Техар,— тихо сказала Беатрис.

Воскресное безлюдье предместий, старые пальмы на Монро, широкая, ярко освещенная авеню Кабильдо с ее немецкими ресторанчиками и пивными — «Мюнхен», «Цум Цеппелин», «Цум блауэн Донау» — потом прогрохотавший над головой поезд Тихоокеанской железной дороги и конная статуя Гарибальди на Пласа Италиа. Лязгающая музыка из баров, толпа перед подъездом кино, освещенные указатели над спуском в подземку, убегающая вдаль двойная цепочка фонарей. Жерар обогнул площадь против часовой стрелки и нырнул в темный тунель авеню Лас-Эрас, между стенами высоких деревьев зоопарка и ботанического сада.

— Уже близко...— Голос Беатрис прозвучал безжизненно.— Джерри... остановитесь где-нибудь здесь, пройдем пешком...

Жерар свернул к тротуару и, заглушив мотор, обошел машину и помог выйти Беатрис.

— А здесь теплее,— заметил он, доставая с заднего сиденья картину.

— Да...

Они долго шли по тихим тенистым улицам, вдоль низких оград особняков; движения здесь не было, лишь раза два мимо них с достоинством прошелестело что-то черное и сверкающее. Прохожих не было и подавно.

— Мы пришли, Джерри,— тихо сказала вдруг Беатрис, останавливаясь перед увитой глициниями решеткой. Она подошла к ржавой калитке и попыталась повернуть ручку.

— Заперто... Мисс Пэйдж еще не вернулась... — Она раскрыла сумочку и поднесла ее к лицу, разыскивая ключи.

— Зайдите, Джерри,— сказала она так же тихо, не глядя на Жерара, и вложила ключ в замочную скважину.

Жерар прошел в отворившуюся со скрипом калитку. Уличные фонари освещали заросший плющом верхний этаж серого каменного дома, повернутого фасадом во двор, перпендикулярно тротуару. Они поднялись по ступенькам высокого крыльца, Беатрис пошарила рукой в темноте, и вверху под навесом вспыхнул пыльный фонарь, тускло осветив массивные каменные столбы подъезда и резную, давно не крашенную дверь с позеленевшими львиными мордами.

— Осторожнее, Джерри,— тихо сказала Беатрис, входя в холл.— Здесь очень темно... и нет лампочки. Постойте, я сейчас...

Ее голос удалился, потом Жерар увидел ее в желтом электрическом освещении, стоящую на площадке широкой полукруглой лестницы с истертыми мраморными ступенями.

— Поднимайтесь сюда, Джерри...

Они прошли слабо освещенный отблеском уличных фонарей пустой зал с неровным скрипучим паркетом, гулкий сводчатый коридор; Беатрис открыла одну из дверей и щелкнула выключателем.

— Вот моя келья, входите...

Жерар вошел со странным чувством робости. «Келья» была большой, с высоким лепным потолком, выцветшими штофными обоями, на которых нельзя было разобрать рисунка, двумя большими окнами и стеклянной дверью — по-видимому, на балкон. Великолепный рояль красного дерева, старинный секретер с инкрустациями и два готических кресла тисненой кожи явно не гармонировали с простыми книжными стеллажами, недорогим письменным столом и узенькой кроватью, перед которой лежала вытертая пятнистая шкурка. Над кроватью висели распятие и хорошая репродукция Сикстинской мадонны, над столом — пестрый вымпел, очевидно какой-нибудь лицейской спортивной команды, и чья-то фотография. Осторожно ступая по рассохшемуся узорному паркету, Жерар прошел к столу и прислонил картину к стене.

Беатрис бросила на кровать сумочку и перчатки.

— Почему вы не сядете, Джерри? — спросила она тихо.

Жерар продолжал стоять, перебирая книги на столе. «Записки о галльской войне», латинская грамматика, «Введение в философию» Жака Маритэна. Он мельком взглянул на фотографию — это была увеличенная копия той, что показывала ему Беатрис.

— Джерри... Я хотела вас попросить — я принесу молоток и гвозди, и вы повесьте картину сами... Вот здесь над полками...

— Хорошо, Трисс...

Картина была повешена.

— Спасибо, Джерри... Угостить вас чем-нибудь? Хотите чаю? Некоторые европейцы любят чай, мы с папой тоже научились — от мисс Пэйдж... Выпейте чаю, Джерри, я так долго была вашей гостьей...— Она попыталась улыбнуться.

— Нет, Трисс. Я пойду... Нехорошо, если ваша мисс Пэйдж вернется, пока я буду здесь.

— О, это не имеет значения...

Они опять замолчали. За приоткрытой стеклянной дверью жестко скреблись листья пальмы. Где-то в стене треснуло рассыхающееся дерево.

— Я пойду, Трисс,— хрипло сказал Жерар.— Мне...

Голос его прервался. Он взглянул на Беатрис — ее поднятое к нему лицо с остановившимися глазами стало бледнеть — и, круто повернувшись, большими шагами пошел к двери.

— Джерри! — выкрикнула она отчаянно, опомнившись минутой позже.— О, Джерри!

Она догнала его на полукруглой лестнице холла. Он обернулся — Беатрис, задыхаясь, замерла несколькими ступенями выше, схватившись за край холодного мраморного парапета.

— Джерри...— шепнула она одним дыханием и поднесла руку к груди.

— Ступайте наверх! — крикнул он яростно.— Слышите — не смейте ни одного шага...

Он бросился вниз, прыгая через две ступени. Нестерпимо громко прогремели через холл его удалявшиеся шаги, потом в темноте на один миг очертилась светлым прямоугольником распахнутая и с грохотом захлопнувшаяся дверь. И наступила тишина — дремотная тишина старого дома, необъяснимые шорохи, потрескивание рассыхающегося дерева, мерный стук маятников. Ловя воздух открытым ртом, Беатрис опустилась на ступеньку и прижалась лицом к холодным каменным завиткам.

4

За стеной бешено грохотала темпераментная кубинская румба — классическая «Кариока» исполнялась в ускоренном, сумасшедшем темпе, почти срывающемся на буги. Возле железной лестницы шеренга причудливо разодетых хористок, ожидающих сигнала на выход, репетировала под руководством суетливого толстяка нечто вроде чечетки или канкана. Толстяк в пестрой гавайке отчаянно жестикулировал, хватался за голову, то и дело утирал платком блестящий от пота лоб и кричал задушенным голосом: «Больше согласованности, девочки, больше синхронности! Что вы со мной делаете, ай-ай-ай-ай...» Девочки усердно работали ногами, одни с серьезным видом, другие смеясь, гримасничая и показывая толстяку язык.

Беба, не держась за поручень, взбежала по гремящим ступенькам. Наверху, в коридоре, тоже было шумно — взад и вперед сновали камеристки, гримеры, окончательно очумевший помощник режиссера орал на группу статистов. Перед афишей с портретом знаменитого танцора Камачо голая девушка в трико из рыболовной сети и венке из водорослей ела сандвич и при помощи гримировального карандаша старательно украшала знаменитость ослиными ушами. Оглянувшись на Бебу, ундина показала великолепные зубы и сказала что-то по-португальски, подмигнув на портрет. «Не понимаю»,— улыбнулась Беба, пожав плечами, но тоже подмигнула с одобряющим видом.

На белой двери блестела табличка «Линда Алонсо». В свое время, когда Беба пыталась танцевать в Театре обозрений, ее предельной мечтой было — достичь «звездной» категории, получить ангажемент в Майпо и иметь персональный «камарин» [1], на двери которого была бы такая вот табличка с ее именем. Вспомнив это, Беба задумчиво улыбнулась — как немного ждала она тогда от судьбы...

Линда в пушистом белом халате — она, очевидно, только что вернулась со сцены — сидела перед широким зеркалом, ватой и вазелином снимая с лица боевую раскраску. Увидев в зеркале вошедшую подругу, она кивнула ей, не оборачиваясь, и сказала что-то возившейся в углу камеристке.

— Как прошло выступление? — спросила Беба, присаживаясь.

— Как всегда... Страшно устала. Подожди минутку, я сейчас... А ты чем занималась?

Беба прищурилась от слишком яркого света обрамляющих зеркало ничем не защищенных ламп.

— Да так... Немного покаталась по авениде Варгас, вечером там очень красиво... И никак не могла договориться с шофером. Странно, вроде такой похожий язык, а никто тебя не понимает.

— О, я его освоила быстро. Сейчас приедет Жозе со своими приятелями, он сегодня тащит нас на какой-то прием в АБИ, с газетчиками. Я дала согласие за тебя.

— Ты знаешь, мне что-то совершенно не хочется никуда сегодня ехать,— огорченно сказала Беба. — Я думала, ты сразу из театра поедешь домой...

— Ну, милая моя, раз уж приехала в Рио, изволь развлекаться. Завтра я свободна, обещаю болтать с тобой хоть целый день. Запремся, снимем трубку с телефона и будем отдыхать по-настоящему. А сегодня уж ты меня не подводи.

Беба вздохнула и, заглянув в зеркало, поправила прическу.

— Я себя неважно чувствую,— капризно сказала она. — Слушай, Линда, а этот Хосе — кто он, собственно, такой?

---

[1] Camarin — артистическая уборная (*исп.*).

— Жозе Перейра... — Линда прикрыла глаза, осторожными движениями снимая с век зеленые тени. — Как тебе сказать... Он служит в концерне Матарасо... — Она пожала плечами, отыскивая что-то среди баночек и флаконов. — На довольно солидном посту, если судить по его образу жизни. Впрочем, может быть, он еще играет на бирже, или спекулирует, или содержит пару притонов. Не знаю, беби, здесь в Рио человек может заниматься чем угодно. Он не говорит — я не спрашиваю, это лучшая система. Знаю только, что одевается он лучше, чем кто-нибудь, у него шикарная квартира в Сан-Пауло на авениде Ипиранга и вилла здесь, в квартале Леблон. Кроме этого, он щедр и вполне устраивает меня как мужчина. Остальным я не интересуюсь. Ты, конечно, это осуждаешь?

— Нет, что ты...

— Ну, положим. Вся беда в том, беби, что мне не встретился в жизни такой человек, как твой Херардо. А в нашем положении кто сказал «а», должен рано или поздно сказать и «б». Ты просто вытащила счастливый билет... Только не умеешь им пользоваться.

— Линда,— укоризненно сказала Беба, указав взглядом на камеристку.

— Она почти не понимает по-испански. Смотри, беби, ты слишком много начинаешь требовать от жизни... На твоем месте я не задумываясь вышла бы за него замуж. В конце концов, что делается у него на сердце — не все ли равно...

— Представь себе — нет! — вспыхнула Беба.

— Ладно, я не так выразилась, не придирайся. Я хочу сказать, что если он относится к тебе так, как ты рассказываешь, то глупо с твоей стороны отказываться от свадьбы только потому, что он, видите ли, не пылает любовью! Где ты ее в наше время видела, эту любовь?

— Я не хочу его связывать,— упрямо сказала Беба,— не хочу, чтобы он когда-нибудь пожалел о своем решении.

— Ладно, это ты мне уже говорила десять раз. И я тебе тоже скажу, в одиннадцатый: смотри, как бы о своем решении не пришлось жалеть тебе...

Оглядев себя в зеркале, Линда встала и сбросила халат, оставшись в костюме арабской танцовщицы, сделанном из прозрачного газа и очень небольшого количества блесток. Сказав что-то по-португальски своей камеристке, она вместе с ней прошла за ширму и стала переодеваться. Беба увидела на туалете нарядную коробку и открыла ее, щипчиками перебирая конфеты.

— Пока не жалею... — сказала она задумчиво. — А дальше... Не знаю, мне почему-то кажется, что сейчас у нас с Херардо все пойдет иначе... Он и сам мне это сказал, когда я уезжала. А я ему верю, просто так он бы этого не сказал...

— Ты поживи-ка здесь подольше, вот что,— сказала Линда, выглянув поверх ширмы. — Пусть он соскучится. А то хорошо разыгрывать безразличие, когда достаточно протянуть руку...

В дверь постучали.

— Войдите! — крикнула Линда.

В сопровождении двух незнакомцев вошел Перейра — невысокий плотный брюнет с усиками и напомаженной головой, благоухающий и нарядный, как шулер. Всякий раз, когда Беба его видела, ей становилось почти неловко при виде этих постоянно меняющихся фантастических галстуков, золотого браслета в дюйм шириной, перстней и бриллиантов. Впрочем, здесь, в Рио, мужская мода вообще не отличалась строгостью.

— Я одеваюсь,— сказала из-за ширмы Линда,— развлекайте пока мою беби, она сегодня не в духе...

Перейра склонился перед Бебой и произнес длинный цветистый комплимент, который та поняла лишь наполовину, настолько силен был акцент в испанской речи дона Жозе. Потом он представил ей своих приятелей: один оказался сотрудником «О Глобо», другой работал вместе с доном Жозе в концерне. Журналист дон Розалво Соарес, хорошо владеющий испанским, стал расспрашивать Бебу об аргентинских делах. Перейра с сослуживцем отошли к ширме, любезничая с невидимой Линдой.

Беба отвечала своему собеседнику немногословно. Она никогда не интересовалась политикой и не любила о ней говорить, но кроме этого еще одна особая причина делала этот разговор очень неприятным.

Неделю назад ей позвонили из аргентинского консульства и пригласили зайти для какой-то отметки в паспорте. Беба отправилась и была принята одним из секретарей; человек с партийным значком в петлице листнул ее паспорт, поинтересовался целями путешествия и кругом местных знакомств и посоветовал избегать всяких разговоров о внутреннем положении Аргентины. «Здесь распространяют много нелепых слухов о нашей стране и о перонистской партии, — сказал секретарь, похлопывая по столу темно-вишневой книжечкой с вытисненным на переплете золотым гербом Республики. — И одним из источников этой дезинформации, к сожалению, часто являются наши же туристы, чересчур болтливые или просто не умеющие взвешивать свои слова... Скажем так: неосторожные. А вы очень неосторожны, сеньорита Монтеро, в Буэнос-Айресе это ваше качество однажды уже сослужило вам скверную службу. Тогда к вам отнеслись снисходительно, но всякий рецидив... Вы сами понимаете... Одним словом, надеюсь на ваше благоразумие. Ясно?»

Бебе стало ясно, что федеральная полиция ни о чем не забывает и что ей и в самом деле лучше держать язык покрепче за зубами, если она не хочет снова очутиться в камере, откуда ее на этот раз так скоро не выпустят...

— Я, право, ничего не знаю,— вздохнула она в ответ на очередной вопрос неугомонного Соареса. — Я ничего не понимаю в политике, никогда ею не интересовалась... Если вы меня спросите, какие сейчас в Буэнос-Айресе моды и что там ставят в театрах,— я вам отвечу. А относительно того, что думают и что говорят по поводу самоубийства Хуана Дуарте...

Она пожала плечами и демонстративно потянулась за лежащим на столике номером «Крузейро» в яркой обложке. Журналист, не смущаясь, тотчас же бесцеремонно отобрал у нее журнал и свернул его в трубку.

— Но ведь вам известно,— сказал он,— что покойный брат Эвы Перон занимал крупный пост в ИАПИ[1] и, в частности, ведал выдачей лицензий на импорт американских автомобилей по официальному курсу доллара? Вы ведь принадлежите к привилегированным кругам общества, донья Элена, неужели вам ни разу не приходилось слышать разговоров на эту тему?..

— Уверяю вас, сеньор Соарес...

— А вы сами никогда не думали, что самоубийство сеньора Дуарте было инсценировано и его убрали как человека, бывшего слишком в курсе «семейных дел» вашего диктатора...

— Я никогда не слышала ни о каких семейных делах Перона, у меня есть свои семейные заботы, и чужие меня не интересуют. Я знаю только, что генерал пользуется поддержкой всех аргентинцев и является нашим лидером...

---

[1] IAPI — созданный во время диктатуры Институт внешней торговли, контролировавший международные экономические связи Аргентины.

Соарес бросил журнал и с досадой махнул рукой.

— Каррамба, вы говорите в точности как один турист из Доминиканской Республики, с которым мне недавно случилось побеседовать. Тот тоже твердил: «Его превосходительство генералиссимус доктор Леонидас Трухильо пользуется единодушной любовью доминиканцев, заслуженно почтивших его титулом Благодетеля Отчизны...»

Беба беспомощно пожала плечами. На ее счастье, из-за ширмы появилась Линда, и неприятный разговор оборвался.

— Ну что, едем? — спросила та, натягивая перчатки. — Дон Розалво, вы совершенно замучили мою беби политикой. Это ваш всегдашний метод обращения с хорошенькими женщинами? — Она погрозила ему пальцем и укоризненно покачала головой.

Нарядный бело-оранжевый «де-сото» стоял у служебного подъезда театра. Перейра сел за руль, Линда с ним рядом, Беба поместилась между двумя мужчинами на заднем сиденье. Машина бесшумно тронулась с места, обогнула Ларго-де-Кариока и вылетела на авениду Рио-Бранко.

Беба щурилась на мелькающие мимо огни реклам и витрин и огорченно думала об испорченном вечере. Эти приемы у журналистов уже были ей известны. Опять будут расспрашивать об Аргентине, наспех говорить комплименты, заставлять пить в надежде развязать ей язык...

— Ты слышишь, беби? — Голос подруги вывел ее из задумчивости. — Дон Жозе предлагает съездить на той неделе в Сан-Пауло. Я буду свободна три дня. Поедем?

— Это ведь далеко?

— Всего четыреста километров по автостраде,— не оборачиваясь, сказал Перейра. — И дорога красивая, в Аргентине таких нет.

— Четыреста шестьдесят,— поправил Соарес.

— Почему же шестьдесят?..

— Как почему — отсюда до Таубатэ сколько, триста? Ну и оттуда до Сан-Пауло ровно сто шестьдесят.

— Ладно, пускай четыреста шестьдесят. Зато дорога какая... В Аргентине, говорю, таких не увидите.

— В Аргентине очень красивые дороги,— ревниво возразила Беба. — Поезжайте в Мендосу...

— Не спорь, беби, здесь красивее,— вмешалась Линда. — Вот поедем — сама увидишь.

— Никуда я не поеду,— сердито сказала Беба. — Где это мы сейчас? — спросила она у журналиста.

— Ру́а Мексико,— ответил тот.— Видите впереди этот громадный белый куб? Это наш АБИ, мы туда и направляемся.

— Что это — АБИ?

— Associaçao Brasileira de Imprensa, Бразильская ассоциация печати.

— А-а...

Перейра остановил машину, все вышли. У витрины швейцарского часового магазина, расположенного среди других в нижнем этаже здания, Беба задержалась, рассматривая сверкающие на черном бархате хронометры.

— «Лонжин» — это хорошая марка? — спросила она у Соареса.

— Одна из лучших, донья Элена.

— Идем, беби, что ты там застряла? — крикнула Линда, оборачиваясь.

«Нужно будет купить Херардо такие часы, они очень элегантно выглядят»,— думала Беба, поднимаясь в лифте. Она ведь никогда ему ничего такого не дарила... Кроме того кольца с сапфиром. И кроме своей любви.

Последняя мысль на этот раз не вызвала в ней привычной горечи. Ей стало тепло от воспоминаний и очень захотелось, чтобы этот месяц пролетел как можно скорее. Впрочем, может быть, она даже уедет и раньше. Если не вытерпит, то возьмет и уедет. Может, и через две недели... А дома теперь все будет иначе — сам Херардо ей это сказал, уж он не стал бы обманывать...

Погруженная в свои мысли, Беба плохо понимала, что делается вокруг нее. Кто-то произносил речь по-португальски, потом выступали переводчики, но и смысл испанского текста тоже до нее не дошел. Люди кругом шумели, смеялись, бродили по залам или собирались кучками и громко спорили, стоя со стаканами в руках. У Бебы тоже оказался стакан, высокий и узкий, с плавающими в нем кусочками льда и лимона. Соарес подвел к ней двух французов из «Франс-пресс», долго работавших в Аргентине и хорошо говорящих по-испански. Французы стали соревноваться в комплиментах. Беба слушала, изредка отпивая из своего стакана что-то крепкое, не понимала слов и наслаждалась их произношением: французы говорили, как Жерар, с тем же картавым «р», и теми же ударениями, то и дело соскальзывающими на последний слог.

Линда ободряюще подмигнула ей, выглянув из-за чьей-то спины, и снова затерялась в толпе. Один француз скоро исчез, другой продолжал бродить вместе с нею и с Соаресом, рассказывая довольно рискованные анекдоты. В одном углу зала они увидели окруженного кучкой слушателей высокого краснолицего американца, который ораторствовал, размахивая своим стаканом — по счастью, уже пустым.

— Джефф Холборн из «Юнайтед»,— подмигнул француз. — Забавный парень, я его знаю... Боже праведный, сколько этот человек может выпить...

Беба сказала, что не любит пьяниц, и сразу забыла о шумном американце. Вернулся второй француз, скоро вокруг нее собрался целый кружок; она заученно улыбалась, думала о Жераре и чувствовала, что ей все труднее переносить этот шум. «Что это со мной делается? — подумала она.—Мне совсем нехорошо... Наверное, я сегодня слишком долго купалась и это что-то вроде солнечного удара...»

Один из французов рассказывал что-то смешное. Все смеялись, засмеялась и Беба — от радости, что слышит голос, так похожий на голос ее Херардо, и что конечно она не будет торчать здесь целый месяц, как советует Линда...

Она не заметила, как стакан выскользнул из ее пальцев,— услышала только звон разлетевшегося стекла и почувствовала холод от плеснувшей на чулок жидкости, и перед ее глазами все поплыло и закружилось — огни, бело-черные фигуры вокруг, испуганное лицо бросившегося к ней француза и абстрактные фрески на стене.

Очнулась она уже в машине. Линда поддерживала ей голову и обмахивала платочком — возможно, крепкий аромат духов и привел ее в сознание.

— Ну как? — спросила Линда. — Ты была права, не нужно было туда ехать, я тебя совсем замучила. Ну ничего, завтра отдыхаем.

— Дона Элена плохо переносит климат,— со своим ужасным акцентом участливо сказал сидевший за рулем Перейра.

От свежего океанского ветра, врывающегося в открытые окна, ей стало лучше. Машина медленно огибала широкую дугу Копакабаны, справа сияли огнями многоэтажные дома на авениде Атлантика, слева шумели в темноте волны, с шипением набегая на остывший песок пляжа.

— Знаешь, Линда... — задумчиво сказала Беба, когда они очутились наконец в тишине своего большого трехкомнатного номера. — Я

думаю, мне нужно съездить завтра к врачу... Ты знаешь какого-нибудь хорошего?

— К врачу — из-за обморока? — удивилась Линда.—Ты думаешь... А впрочем, пожалуй... Слушай, в пятницу возвращается из отпуска наш театральный врач, ты сможешь проконсультироваться у него. Он очень толковый и вообще порядочный человек.

— В пятницу...

Беба подошла к открытому окну, глядя на перемигивающиеся огни маяков на островах у входа в бухту Гуанабара.

— Ну что ж, Линда, я думаю, до пятницы можно подождать...

5

Все эти дни он находился в странном, ни на что не похожем состоянии: его существо как бы раздвоилось, и одна половина наблюдала за медленным умиранием другой. Когда у человека в безвыходном положении не хватает решимости поднять на себя руку, организм может, наверное, убить сам себя, словно скорпион в огненном кольце. Когда нет никакого выхода. Когда знаешь, что этот выход никогда не появится. Когда исчезает воля к жизни.

Дело было вовсе не в Элен. Он был уверен, что она дала бы ему свободу, она не отказала бы, она не преградила бы ему путь к счастью. Дело было совершенно в другом.

Он не мог и подумать о том, чтобы коснуться Беатрис, запятнав ее несмываемой грязью своего собственного падения. Более того — приди она сама к нему, он прогнал бы ее прочь, как прокаженный, боящийся заразить любимую. Выхода для него не было.

И если бы речь шла только о нем! Если бы не было той страшной ночи, если бы не было того, что он видел в последний день в глазах Беатрис... Страшнее его собственной муки было непереносимое сознание, что в это же время страдает и она, страдает из-за его малодушия, помешавшего им расстаться вовремя.

Гибель перестала быть просто тоскливым предчувствием, впервые пришедшим к нему во время поездки по Северу; теперь Жерар ощущал ее вокруг себя, слышал ее в звенящей тишине пустых комнат, чувствовал на губах ее горьковатый привкус — страшный вкус смерти, о котором писал Хемингуэй. Мысль о смерти овладела его душой, переплелась с каждой минутой его существования.

Смерть — и Беатрис. Два полюса, между которыми — как железные опилки в силовом поле магнита — располагались теперь все его мысли и ощущения. Две концентрические оболочки, наглухо окружившие его душу, изолировавшие ее от всего остального, от всего того, что не имело больше никакого значения.

Трудно было сказать, какая из этих оболочек ближе, какая — внешняя и какая — внутренняя; чаще всего обе переплетались, сливаясь в одну. Смерть таилась вокруг него, выжидающе молчала в тишине дома, но в этой же тишине слышался голос Беатрис, ее смех, легкий перестук ее каблучков. Жерар читал когда-то, что умирающим от голода снятся необыкновенно яркие и причудливые сны, и Беатрис была таким сном. Она, воплотившая в себе всю свежесть и чистоту юности, пришла к нему невольной вестницей смерти, как последний привет уходящей жизни. Жизнь уходила от него, теперь в этом уже не могло быть никакого сомнения.

Да и зачем было ему оставаться жить? Поняв во время поездки на Север, что никогда больше не сможет работать по-настоящему, он утратил главный смысл своей жизни. Но тогда еще оставалась надежда, что он сможет хотя бы устроить маленькое личное счастье для себя и для

Элен, наладить семью. Теперь у него не было больше ничего — ни творчества, ни семьи; он должен был умереть по той простой причине, что ему незачем стало жить.

Об эту мысль о смерти вдребезги разбивалась теперь всякая другая, связанная с будущим — хотя бы самым ближайшим. Будущее потеряло для Жерара всякое значение, стало отвлеченным понятием. «Общество друзей французской книги» прислало очередной каталог вышедших во Франции новинок, из «Альянс франсэз» пришло расписание лекций на март месяц, из издательства «Ревю де дё монд» — извещение об истекающем сроке подписки на журнал; Жерар бросал все это в корзину, ему уже не нужны были ни книги, ни журналы, ни лекции.

Погода была пасмурной, туманной. Жерар проводил дни в гостиной, сидя с закрытыми глазами в том же кресле, где сидел в ту ночь и, ни о чем не думая, курил трубку за трубкой. Макбет, чувствуя настроение хозяина, лежал обычно в углу, положив морду на вытянутые лапы и не сводя с него печальных глаз. Нужно было бы запереть эту комнату, запереть навсегда и выбросить ключи в пруд, но Жерар знал, что в первый же вечер взломал бы двери, только чтобы снова увидеть этот молчаливый рояль с пустыми канделябрами на пыльной крышке...

Удивительно было то, что организм продолжал исправно напоминать о себе: проголодавшись, Жерар шел в кухню, что-то готовил и съедал, не ощущая вкуса, около полуночи уходил спать. Спал он спокойно, почти без снов. На третью ночь его разбудил негромкий вой Макбета — Жерар вышел в холл и долго сидел рядом с догом, машинально поглаживая его по голове. Странно также, что Беатрис не приснилась ему ни разу. В четверг пришло очередное письмо в желто-зеленом конверте. Жерар прочитал его совершенно равнодушно и так же равнодушно настрочил короткий ответ. Что он мог написать Бебе? Рассказать обо всем? Или просто, ничего не объясняя, сказать, что для него в жизни все кончено?

Мак-Миллана еще не было. Беатрис отперла дверь своим ключом, бросила на стол пачку взятых внизу у портье писем и прошла в крошечную туалетную комнатку. Не снимая плаща, она долго стояла перед зеркалом, пытаясь отыскать знакомые черты в этом чужом лице, в этих чужих, изолгавшихся глазах. Главное — эта ложь, эта постоянная боязнь встретить взгляд отца...

Раздевшись, она вымыла руки, поправила прическу и вышла в контору, с ужасом понимая, что вот сейчас разберет корреспонденцию, разложит ее по папкам, и, если Мак-Миллана еще не будет, у нее не останется больше никаких причин, чтобы не вскрыть письмо Фрэнка. Выйди она из дому на пять минут раньше, ничего не случилось бы, по крайней мере до вечера, но почтальон подкатил на своем велосипеде как раз в тот момент, когда она выходила из калитки.

Торопливо спрятанное в сумочку, письмо жгло ее всю дорогу. В троллейбусе его можно было не читать хотя бы потому, что читать письмо в общественном месте неприлично. И разумеется, придя на работу, она прежде всего должна была заняться делами...

Их оказалось слишком мало, этих дел. Переменить воду в стоящем на ее столе бокале с тремя хризантемами, вскрыть письма, наиболее важные отнести на стол шефа, остальные сунуть в папку с надписью «К подшивке». Служебных писем больше не было. Вынув из сумочки свое, Беатрис повертела его в руках, положила на стол и, остановившись у окна, прижалась лбом к холодному стеклу. Почему не идет этот Мак-Миллан, праведное небо?.. А вдруг никакого письма не было — это ей просто показалось, причудилось минуту назад? Прежде чем

обернуться, Беатрис зажмурилась. «Господи, если письма на столе не будет, я пойду пешком в Лухан и там в базилике целый день простою на коленях...» Нет, в Лухан ей теперь нельзя: дорога проходит мимо того столбика с указателем... Да и не только поэтому. Как она сможет теперь совершить паломничество, она, преступница, скрывающая в своем сердце измену, обманывающая всех своим видом достойной уважения девушки?..

Она потерла виски кончиками пальцев и обернулась. Яркий красно-бело-синий конверт лежал на застилающей стол зеленой промокашке. Беатрис села во вращающееся кресло и взяла в руки разрезальный нож. Мак-Миллана нет — тем лучше, какая разница, часом раньше или часом позже...

«Уиллоу-Спрингс, 26. 2. 54

Трикси, моя любимая!

У меня для тебя две хорошие новости — вернее, не просто хорошие, а великолепные. Оказывается, у нашего шеф-инженера сестра на дипломатической службе и в настоящее время работает в консульстве в Байресе; он сказал, что напишет ей о тебе, и ты со своими бумагами должна будешь обратиться прямо к ней. Это очень важно: в консульствах всюду такая волокита, и я боялся, что тебе придется там бегать и хлопотать, а я ничем не смогу тебе помочь. Надеюсь, у тебя по-прежнему все о'кэй, меня сейчас так радуют твои веселые письма — помнишь, какое мрачное настроение у тебя было осенью (по-вашему весной)? Я рад, что работа тебе по душе, очень важно, чтобы человеку нравилось его дело, иначе все идет вверх ногами. Теперь относительно моей работы — это вторая новость, — с первого марта я получаю девяносто долларов в неделю, почти восемьсот в год лишних, но главное не это, а — почему мне так скоро дали эту прибавку. Жаль, что ты не разбираешься в технике, — словом, дело в том, что я тут подал одну мысль, которую наши боссы весьма одобрили. Понимаешь, что это значит? Это значит, что передо мной открываются кое-какие перспективы, черт возьми, и ты имеешь все шансы через несколько лет стать женой ведущего инженера и иметь двухэтажный особняк с колоннами и машину «специальный заказ», длиною отсюда до угла...»

Беатрис дочитала письмо с неподвижным лицом, все четыре листка, потом аккуратно сложила их по сгибам и вложила обратно в пестрый конверт. Во рту у нее пересохло и чувствовался какой-то горький привкус. Она прошла в туалетную комнату, выдернула из кассеты бумажный стаканчик и напилась из-под крана, потом долго ломала стаканчик на куски и следила, как обрывки один за другим исчезают в отверстии раковины, уносимые водой. Слово Альварадо! «Тебе никогда не придется говорить, что одна из Альварадо тебя обманула...»

Вернувшись к своему столу, она села и опустила лицо в ладони. Если бы хоть поплакать или помолиться... Что сегодня — среда? Да, только среда, а кажется, будто прошла целая вечность. Всего только два дня и три ночи, кто бы подумал, что за такое время можно так состариться. Неудивительно, что она не может теперь молиться,— ее ведь всегда учили, что для молитвы нужно чистое сердце. Но странно, что нет слез, что она ни разу не заплакала за все это время.

В таком странном оцепенении, отрывочно думая о том и о другом и мучительно стараясь не думать о главном, Беатрис просидела все утро в пустой конторе. Мак-Миллан явился только в час.

— Как поживает маленькая Трикси?— спросил он, приблизившись к столу Беатрис и потирая руки.— Последние дни мне очень не нравится ваш вид, определенно не нравится.

— Я плохо себя чувствую, сэр,— тихо отозвалась она.

Мак-Миллан участливо склонил к ней обрюзгшее лицо с вислыми щеками бульдога.

— Простуда?

— Не думаю, сэр... Просто вообще нездоровится...

— Ступайте домой! — решительно сказал Мак-Миллан.

На улице сеялся мелкий дождь, было не по сезону холодно. Поеживаясь в своем легком плаще, Беатрис пешком дошла до площади Обелиска, пересекла ее подземным туннелем и вышла к ювелирному тресту. Одна из витрин была оформлена для начинающейся завтра распродажи обручальных колец и свадебных подарков. Белый шелк, розовые голые амуры среди ватных облаков, флердоранж, усыпанные блестками колокола. «Двухэтажный особняк с колоннами»,— вспомнила Беатрис, проходя мимо рекламной идиллии. Сердце ее рванулось, все тело на мгновение охватила обморочная слабость. Что она ответит Фрэнку? Господи, что может она ему написать?

В дверях «Хижины» она взяла контрольную карточку и пошла по узкому проходу между стойкой и расположенными слева боксами, отыскивая свободный. Четырехместные боксы напоминали маленькие железнодорожные купе — два диванчика, один против другого, и между ними привинченный к стене узкий столик вагонного типа. Открытые со стороны прохода кабинки разделялись между собой перегородками выше головы сидящего человека, и в них можно было пообедать и поговорить, не чувствуя на себе чужих взглядов. «Голландская хижина» нравилась Беатрис главным образом благодаря этой особенности своего устройства.

Найдя пустой бокс, она опустилась на диванчик, не снимая плаща, и начала медленно стягивать перчатки. Было тепло, усыпляюще жужжали голоса, радио передавало негромкую, приятную музыку. Есть ей не хотелось, лучше всего было бы прикорнуть здесь в уголке и проспать до самого вечера. Но поесть нужно хоть немного, иначе опять разболится голова. Что делать после обеда? Правильнее было вернуться в контору и заняться стенограммами, но и работа кажется сегодня непереносимой. Домой идти не хочется. Господи, как она устала... Заснуть бы сейчас, принять люминал и заснуть...

— Сеньорита? — остановился перед ее боксом официант. Зажав под мышкой поднос, он выхватил из кармана никелированные кондукторские щипчики и нетерпеливо ими пощелкал. Беатрис подняла глаза и посмотрела на него непонимающим взглядом.

— Ах да,— опомнилась она.— Дайте мне... рис с молоком, что ли, и крем-шантильи,— сказала она, протягивая официанту карточку. Тот кивнул и молниеносно прощелкнул полоску картона в нескольких местах. «Рис один, шантильи один!» — пронзительно выкрикнул он, вернув карточку Беатрис и переходя к следующему боксу.

Она подумала вдруг, что хорошо было бы иметь вот такую работу — не официантом, конечно, девушка не может работать официантом, но что-нибудь похожее, чтобы все время быть занятой, не иметь ни одной свободной минутки... На фабрике это не то, она была зимой с экскурсией из лицея на фармацевтической фабрике «Скуиб» и видела, как там девушки работают на конвейере расфасовки пенициллина. Ни одной свободной минутки — это верно, но заняты только руки, а голова совершенно свободна, можешь думать о чем хочешь. Девушки на конвейере слушают музыку, которая не умолкает в цехе ни на минуту, или болтают между собой. А тут хорошо бы так, чтобы и голова была занята, как у этого мосо,— не забыть заказы, не перепутать столики,— и уставать так, чтобы только приходить домой и сразу после ужина — в постель, без всякого люминала...

Официант принес тарелку риса и вазочку со взбитым кремом. Холодный отварной рис, залитый сладким молоком, был ее любимым блюдом, но сейчас она нехотя ковыряла его ложкой, упорно думая о том, каким это образом китайцы ухитряются есть при помощи палочек...

— Ола, кого я вижу! — послышался знакомый голос.— Дорита?

Она равнодушно подняла голову:

— А, Пико...

— У тебя не занято?

— Садись...

Пико повесил на крючок мокрый плащ и шляпу, сел и принялся протирать очки, близоруко моргая.

— Наконец-то я вас поймал, коллега!

Он надел очки и воззрился на нее с торжествующим видом.

— Где же это вы пропадаете, а? Сколько процессов выиграли за последнее время?

Подошел официант. Пико отдал ему карточку и заказал биф по-милански и кофе. Потом снова повернулся к Беатрис и сказал уже другим тоном:

— У тебя плохой вид, Дорита. Ты что — нездорова?

— Немного,— нехотя ответила она, бесцельно черпая ложкой молоко и выливая его на горку риса.— Ничего страшного...

— Да ты посмотри на себя — зеленая, под глазами синяки. Что с тобой?

— Боже мой,— раздражительно сказала Беатрис и отодвинула от себя тарелку.— Что я, врач?

— А у врача была?

— Да, была.

— И что он сказал?

— Ох, Пико, ради всего святого!

Тот смутился или обиделся, снова занявшись своими очками — подышал на них, протер носовым платком, поглядел на свет. Когда официант принес его заказ, он молча принялся за еду, косясь на сидящую напротив девушку. Беатрис через силу проглотила несколько ложечек взбитого крема и подперла кулачком щеку, опустив глаза и разглаживая пальцами лежащую на столе перчатку.

— О тебе спрашивал падре Франсиско,— сказал вдруг Пико, безуспешно пытаясь разрезать мясо тупым ресторанным ножом.— Карамба... Что это за подошву мне дали...

Беатрис подняла глаза и уставилась на него.

— Как... падре Франсиско здесь? — шепнула она. — Он что — вернулся?

— Ну понятно, вернулся, если я говорю, что он про тебя спрашивал. Или ты воображаешь, что я разговаривал с Ватиканом по прямому проводу? Вчера мы встречали его в аэропорту... Ну и мясо, будь оно трижды...

— Слушай, Пико! Он будет сегодня в клубе?

— Падре? Нет, в клубе сегодня никого нет. Он вечером будет у себя в редакции, так говорил Эрнандо. А что такое? Он тебе нужен?

Беатрис не ответила. Ее внезапно словно озарило проблеском надежды — падре вернулся! Единственный человек в мире, который может ей помочь,— это он, падре Франсиско Гальярдо, ее духовный отец. И он приезжает именно в тот момент, когда это нужно! О небо, неужели кончились ее муки?..

— Пико, ты уверен, что он будет сегодня в «Критериуме»? В котором часу? А если он туда не придет, где можно его найти, хотя бы по телефону?

— Да будет он там, сказано тебе.— Пико посмотрел на нее изум-

ленно.— Эрнандо сказал, что он приедет в редакцию часов в восемь и останется до десяти-одиннадцати. Что с тобой делается, Дорита?

— О, ничего...

Господи! Еще несколько часов — и все будет кончено... Сегодня ночью она наконец уснет спокойно, а завтра... завтра все должно стать совсем иначе, ведь падре Франсиско не может ей не помочь — он, ее духовный наставник, ее второй отец...

Она подняла ресницы, и впервые за эти дни ее лицо осветилось слабой улыбкой.

— Ничего, Пико, не обращай внимания... У меня были неприятности, я не могла справиться с ними без падре. Ты не можешь себе представить, как это удачно, что он приехал...

Ей стало стыдно за свой недавний раздражительный тон. Чтобы загладить вину, она спросила как можно более заинтересованно:

— Ну, а у тебя что нового, Пико?

— Да ничего...— мотнул тот головой, старательно жуя.— Масса работы... Экзамены на носу, ничего не готово. Статья не клеится. Вообще гнусно все до предела. Вчера видел Освальдо — они с Рамоном тоже решили смываться — и невольно позавидовал. Хотя в принципе считаю, что эмиграция— не выход...

— Освальдо? — рассеянно переспросила Беатрис.

— Ну да, Лагартиха — с нашего курса. Я тебя однажды познакомил с ним в ассоциации. Длинный такой, с унылой физиономией, а Беренгер — толстяк, настоящий Панса. Их так и зовут—Санчо и Дон-Кихот. Ни шагу друг без друга, теперь вот и в Монтевидео собрались вместе...

— Им выдали паспорта? Как странно.

— Да никаких паспортов у них нет — смываются нелегально. Освальдо считает, что здесь делать уже нечего, поскольку легальные методы борьбы ничего не дают. Не знаю, может, он и прав...

Беатрис снова придвинула к себе вазочку с кремом.

— Беренгера я знаю,— сказала она.— Лагартиху не помню, а Рамона видела не так давно у Линдстромов. Норма еще сказала, что он — коммунист.

— Чепуха, Освальдо куда левее.

— Правда? — Она зачерпнула ложечкой немного крема и нерешительно поднесла к губам.

— Во всяком случае, все время кричит о необходимости «прямого действия»... Троцкистская, в сущности, позиция.

— Как интересно.— Беатрис лизнула крем, отодвинула вазочку и принялась вытирать пальцы бумажной салфеткой.— Какого же действия он хочет?

— Понятно какого! — Пико вскинул над столом руку, словно прицеливаясь из пистолета, и дернул указательным пальцем.— Освальдо рожден быть террористом.

Беатрис не слышала, что он сказал, вернее — слышала, но смысл до нее не дошел. Ей вдруг стало страшно. То ли падре Франсиско не сможет принять ее сегодня вечером и снова уедет, так и не оказав ей никакой помощи, то ли случится какое-нибудь другое несчастье. Беатрис почувствовала, что не может оставаться на месте, ждать и ничего не делать. Если бы можно было увидеть его сейчас, не дожидаясь вечера!

— Пико, никак нельзя поговорить с падре раньше, днем? — умоляюще, словно от него зависело предоставить ей эту аудиенцию, спросила она.

— Не думаю... Нет, конечно, он сегодня собирался быть у монсеньора и в курии, — где же ты будешь его ловить? Да потерпи до вечера!

Конечно... до вечера придется ждать. Беатрис посмотрела на свои часики, потом оглянулась на большие настенные. Нет, те и другие показывают одинаково — пять минут третьего. Еще шесть часов.

— Мне нужно уходить, Пико. Ты остаешься?

— Да, мы тут договорились встретиться с одним парнем...— Пико тоже посмотрел на часы.— Он обещал прийти в два, верно, опоздает. Это насчет студенческого общежития для центроамериканцев... Тут сейчас много ребят с перешейка, мы хотим устроить для них что-то вроде приюта, а то они...

— Прости, Пико, я спешу.— Беатрис поднялась, застегивая плащ.— Всего хорошего. Звони мне...

— Ладно, как-нибудь звякну. Счастливо, Дорита, поправляйся.

У кассы она подала контрольную карточку, уплатила выбитую на ней сумму и вышла на улицу. Погода не улучшалась, небо было таким же темным, резкими порывами дул с Ла-Платы холодный и сырой восточный ветер, бросая в лицо мелкие дождевые брызги. Еще и эта погода, словно нарочно... Как рано наступила в этом году осень — только начало марта, а уже... Впрочем, хорошая погода до настоящей осени еще вернется...

Дойдя до «Гельвеции», старейшего кафе столицы, ржавая вывеска которого традиционно не подновлялась со времени первых президентов, Беатрис свернула за угол, мимо бронированного входа в штаб Национального антикоммунистического командования[1]. Да, погода может еще улучшиться. А вот как будет с нею... Невозможно представить себе, что еще неделю назад все в ее жизни было иначе. Было солнце, тепло, была радость, и очень много хорошего было впереди. Она поежилась и туже затянула пояс плаща, ниже надвинув капюшон. А в Кордове... Как хорошо было ей там в ту последнюю неделю перед праздниками...

В тот день, когда ее сбросила испугавшаяся Бонита, она думала, что счастливо избежала несчастья. Еще бы — можно было удариться головой о камень! А на самом деле... Такое ли уж это было бы несчастье? В тот день она была счастлива: она любила Фрэнка, сердце ее было чистым, она могла уважать себя и считать себя достойной уважения со стороны окружающих. Внезапная смерть — и она именно такой, счастливой и чистой, перешла бы в вечную жизнь. А теперь...

На непривычно безлюдной Пласа-де-Майо ветер мотал мокрые листья пальм, гудел в колоннаде кафедрального собора, раздувая пламя неугасимого светильника. Низко над площадью бежали тучи, почти цепляясь за флагшток на крыше Розового дома, где тяжело плескалось полотнище государственного флага. Бело-желтый флаг Ватикана над входом в папскую курию, рядом с собором, тоже потемнел и обвис, едва колышась тяжелыми складками. Беатрис несколько раз прошлась взад-вперед, от соборной паперти до резного гранитного подъезда страхового общества на углу, и всякий раз, проходя под бело-желтым штандартом, придерживала шаги и с надеждой и замиранием сердца вглядывалась в темный провал парадного.

Потом она сообразила, что это глупо — ждать здесь падре. Он может и не быть в курии, а даже если он и здесь, если ей удастся перехватить его у дверей, то не станет же он разговаривать с ней на улице... Да, но зато тогда можно было бы определенно договориться на вечер...

У подъезда стояла шеренга машин. Беатрис пробежала ее взглядом — знакомой черной «ланчии» не было. Хотя падре мог приехать и в чужой машине... Хорошо, она еще здесь походит, сосчитает до трехсот, а дольше ждать нет смысла...

---

[1] Comando Nacional Anticomunista — один из отделов «Национально-освободительного союза» — террористической организации, созданной Пероном для борьбы с политическими противниками.

Она сосчитала до трехсот, потом до четырехсот пятидесяти. Всякий раз, когда из подъезда курии выходила фигура в сутане и круглой шляпе, у нее обрывалось сердце. Но всякий раз это оказывался не падре Гальярдо.

Беатрис достала из сумочки скомканный платочек, вытерла мокрое от дождя лицо и побрела вниз, к площади Колумба. Часы на башне муниципального совета пробили три. Еще пять часов. Триста минут. Восемнадцать тысяч секунд. Сосчитай до восемнадцати тысяч, и все. Совсем немного. Ее спортивные туфли на толстой подошве из белого креп-каучука, очевидно, промокли, ногам было холодно. Она приостановилась и попыталась пошевелить пальцами. Да, промокли.

Нужно ехать домой, подумала она вяло. Наверное, она уже простудилась — во рту было сухо, лицо горело, кожа на спине и на плечах стала болезненно-чувствительной, как после солнечного ожога на пляже. При каждом движении легкий нейлон царапал ее, словно это была толстая шерстяная фуфайка. Поморщившись от неприятного привкуса, Беатрис достала из кармана плаща столбик ментоловых лепешек и попыталась развернуть его пальцами в перчатках. Скользкий целлофан не поддавался, она чуть не заплакала от этой новой неприятности и разорвала обертку зубами. Прохладный вкус мяты сначала приятно освежил рот, потом показался отвратительным, горьким. Она выплюнула таблетку и остановилась под аркадами на углу Леандро Алем, пытаясь сообразить, каким автобусом или троллейбусом можно добраться отсюда домой.

Дождь усилился. За его прозрачной завесой, как в тумане, высился стеклянный закругленный фасад морского министерства. Часовые конно-гренадеры укрылись в нишах по обеим сторонам парадного бокового подъезда Розового дома, но капитан кастильской короны дон Хуан де Гарай продолжал непоколебимо стоять на своем гранитном цоколе, выставив вперед правый ботфорт и надменным жестом указывая вниз протянутой рукой в перчатке с раструбом, словно говоря: «Здесь!» Бородатое лицо знаменитого авантюриста и конкистадора, четыреста лет назад основавшего на пустынном берегу Серебряной реки маленькое укрепление Нуэстра-Сеньора-де-Буэнос-Айрес, мрачно глядело из-под сходящихся углом краев боевого морриона [1].

Нужно скорее ехать домой. Беатрис открыла сумочку, выгребла мятые бумажки, мелочь. Одиннадцать песо с чем-то, должно хватить. Она затолкала деньги в карман и подошла к самому краю тротуара, морщась от залетающих под аркаду дождевых брызг. На ее счастье, такси с красным флажком подошло сразу и ей удалось опередить бросившегося было господина с портфелем. «Окампо, угол Кастекс»,— сказала она, стуча зубами от озноба, и машина тронулась.

Войдя в калитку, Беатрис прежде всего заглянула в сад. Гараж открыт, машины нет — значит, отец куда-то уехал. В промелькнувшем тотчас же чувстве облегчения было что-то нехорошее. Она осторожно прикрыла за собой тяжелую дверь с позеленевшими бронзовыми мордами и на цыпочках прошмыгнула через холл. Не успела она подняться до первой площадки, как из двери нижнего коридора вышла мисс Пэйдж.

— Вы, Дора?— удивленно спросила англичанка.— Так рано?

Беатрис посмотрела вниз через перила.

— Я ушла с работы, мисс Пэйдж, мне нездоровится.

— О-о... Тогда ступайте в постель, я принесу вам чаю. Температура есть?

— Нет, мисс Пэйдж...

---

[1] Morrion — испанский шлем без забрала (XVI в.).

В ее комнате было холодно, из-под неплотно прилегающей двери на балкон сильно дуло. Дрожа, Беатрис разделась, запахнула на себе теплый халатик, натянула на ноги колючие шерстяные носки и свернулась на постели, укрывшись теплым индейским пóнчо, когда-то присланным отцу одним почитателем из Сальты. При всей ее любви к старому дому, в такую погоду она положительно его ненавидела. С мая по сентябрь он превращался в настоящий холодильник: ни одна дверь плотно не прикрывалась, из окон дуло, в роскошных когда-то каминах можно было сжигать уголь целыми тоннами и все равно дрожать от холода. Жилые комнаты кое-как отапливались переносными керосиновыми каминами «Вулкан», которые требовали неусыпного надзора и при малейшем упущении надолго отравляли воздух въедливым чадом. В позапрошлом году, когда доктору Альварадо удалось издать в Чили одну из своих работ, он пригласил специалиста и поручил ему составить смету на проводку центрального отопления; оказалось, что стоимость его не покроется и тремя такими гонорарами.

Пришла мисс Пэйдж с подносом. Беатрис выпила крепкий, по-английски, чай, проглотила какие-то таблетки и снова легла, укутавшись поплотнее. Ей стало тепло, началась дремота. «А вдруг просплю?» — мелькнула в голове тревожная мысль. Она встала, чтобы завести будильник, но его на столе не оказалось. Беатрис обвела глазами комнату и вспомнила, что будильник вчера брал отец. Плотнее завернувшись в халатик, она вышла в коридор.

В комнате отца, сумрачной от темных корешков книг, было еще холоднее. Будильник стоял на заваленном бумагами столе. Беатрис взяла его и машинально поднесла к уху; взгляд ее упал на развернутый лист какого-то письма, наполовину торчавший из-под пресс-папье. «...При нашей последней встрече, уважаемый доктор, я подробно информировал Вас о положении дел на факультете и сообщил о наличии нескольких изолированных пока групп демократически настроенной молодежи, могущих если не слиться полностью, то во всяком случае действовать в нужный момент вполне координированно. Сейчас я хочу еще раз подтвердить Вам мое глубокое убеждение в том, что подобные студенческие центры могут стать основным гражданским ядром освободительного движения в Кордове. Человек, которому поручено доставить это письмо, дополнит его устными...»

Беатрис прочитала это, держа у щеки маленький тикающий будильник, и только здесь сообразила, что читает чужое письмо, и к тому же секретное. То, что отец участвует в антиправительственном заговоре, даже не поразило ее сейчас — это было как-то слишком далеко от нее, чтобы об этом думать. Она подняла брови и вышла из комнаты. Уже в коридоре она забыла и о письме, и о заговоре.

Вернувшись к себе, она завела будильник на семь тридцать, поставила на тумбочку у изголовья и снова свернулась в клубок, натянув на уши пончо.

— Падре Гальярдо у себя, сеньорита,— вежливо и холодно сказала элегантная пожилая секретарша,— но он занят и никого не принимает. Он назначил вам на сегодня?

Беатрис сделала беспомощное движение:

— Нет, я... Мне абсолютно необходимо видеть падре, поймите... Если бы вы были так добры сказать, что его хочет видеть Дора Беатрис Альварадо... по совершенно неотложному делу... Я уверена, что падре не откажет...

— Вы дочь доктора Альварадо? — спросила секретарша, чуть приподняв брови.

Беатрис судорожно кивнула.

— Хорошо, я спрошу у падре...

Секретарша собрала бумаги и вышла, указав Беатрис на кресло. Та осталась стоять, комкая перчатки. «Помоги же мне,— крикнула она мысленно, обращаясь к своей небесной покровительнице,— помолись за меня... Sancta Beatrix ora pro me...»

— Падре Гальярдо примет вас, — более любезно сказала вернувшаяся секретарша. — Разденьтесь, пожалуйста... Повесьте плащ сюда.

Беатрис сняла плащ.

— Сюда, сеньорита, вторая дверь направо.

— Благодарю вас.

Перед дверью она остановилась, охваченная вдруг волной смятения. «Что я скажу?» — подумала она в ужасе и постучалась.

— Войдите,— отозвался знакомый ей энергичный голос.

— Добрый вечер, падре,— едва слышно сказала Беатрис, входя в кабинет.

— Ага, это ты...

Падре Франсиско Гальярдо сидел за заваленным бумагами столом, быстро печатая двумя пальцами на маленькой портативной машинке. Его гладко выбритое лицо с умными, чуть насмешливыми глазами за квадратными стеклами очков на секунду обернулось к вошедшей.

— Так это ты, Дора Беатрис...— повторил он, снова отворачиваясь к своей работе.— Очень рад, что ты наконец сочла нужным заглянуть к своему духовнику...

— Вас не было, падре.

— Да, но до отъезда я тоже долго тебя не видел. Сейчас я окончу, и мы сможем побеседовать. Садись.

— Спасибо, падре.— Беатрис присела на неудобный твердый стул с прямой спинкой и робко огляделась — в этом кабинете она не была еще ни разу. Над столом резко выделялось на выбеленной стене небольшое распятие черного дерева и слоновой кости, выше висели два портрета в узких рамках — Пий XII и монсеньор Копельо, архиепископ-примас Аргентины. Стальной сейф и несколько книжных шкафов дополняли обстановку, за стеклом одного из них тускло светились золотым тиснением знакомые корешки святого Томаса Аквинского. Светлый паркет был тщательно навощен, под высоким потолком сиял простой шар матового стекла, какие бывают на вокзалах.

В дверь, не постучавшись, просунул голову какой-то человек в штатском,— очевидно, сотрудник редакции.

— Разрешите, падре,— смутился он, увидев посетительницу.

— Я занят, — властно сказал падре Франсиско, не оборачиваясь.— Через час!

Кончив печатать, он с треском крутнул валик, вынул лист, и потянулся за лежащей на столе трубкой, пробегая написанное.

— Итак, Дора Беатрис,— сказал он, набивая в трубку табак,— я тебя слушаю.

«Как об этом рассказать?» — опять молнией промелькнуло у нее в голове. Она глотнула воздух, словно в прохладной комнате стало вдруг невыносимо душно.

— Падре...— сказала она дрогнувшим голосом.— Со мною случилась... страшная история... Я грешна в помыслах, но это не просто... так, как иногда бывает, вы понимаете... Я должна рассказать вам все и... просить вашей помощи...

— Слушаю,— кивнул падре. Он закурил и откинулся на спинку стула.— Успокойся, соберись с мыслями и говори. Не торопись, нас никто не прервет.

Синий дымок поплыл по комнате. Беатрис вздрогнула от мучительно знакомого пряного запаха трубочного табака. Мысли сразу разбе-

жались, только минуту спустя ей удалось как-то взять себя в руки и начать рассказывать.

Говорила она долго. Сначала сбивчиво и словно через силу, потом монотонным и невыразительным голосом, часто делая паузы, как будто задумываясь над собственными словами. Падре Франсиско докурил трубку и продолжал слушать молча, не прерывая ни одним вопросом.

— Вот, падре,— сказала наконец Беатрис, закончив рассказ о встрече в «Гэйлордс», об уик-энде и о своем состоянии в последние три дня. Странно, что, рассказав обо всем этом, она не испытала ожидаемого облегчения; она сидела с опущенными глазами, глядя на свои безвольно лежащие на коленях руки.— Только вы, падре, можете меня спасти... Как — я не знаю. Я знаю только, что этот человек теперь стал для меня дороже всего на свете. Я люблю его, и я видела его глаза... Он мне ничего не сказал, но... говорить было не нужно. А о своем женихе я теперь думаю как о совершенно чужом человеке, которого я предала, вы понимаете, я сознаю это все время... Но — он мне чужой. Что мне теперь делать?

Она задала этот вопрос совершенно спокойным тоном — как секретарша, окончившая печатать письмо и спрашивающая патрона о новом задании, и в ту же минуту словно лопнула сковывавшая ее до сих пор оболочка неестественного оцепенелого спокойствия.

— Что же мне делать, падре? — выкрикнула она отчаянно, подавшись вперед на стуле и стискивая перед собой судорожно переплетенные пальцы.— Падре, помогите мне, спасите меня!

Падре Франсиско ответил не сразу. Он слегка повернул голову, его очки вспыхнули холодным, неподвижным блеском.

— Спасти можно только того, Дора Беатрис,— сказал он негромко,— кто твердо и обдуманно желает быть спасенным. Так учит церковь. Ты это понимаешь? Полностью и до конца?

— Д-да, падре...

— Отлично. Давай теперь разберемся в твоей трагедии. Трагедия ли это? Да, без сомнения. Но почему? Со стороны, согласись, все это выглядит довольно банально. Девушка, давшая слово верности своему жениху, следовательно — по сути дела — уже с ним обрученная, неожиданно встречает другого мужчину, теряет голову, и потом оказывается, что тот женат. В такой ситуации вообще, строго говоря, нет ничего трагического... Это не трагедия, а всего лишь испытание честности, силы воли, характера. Если бы ты пришла ко мне с такого рода проблемой, то о ней не было бы смысла и говорить. Ответ мог бы быть только один: если ты христианка и, следовательно, тебе знакомо понятие нравственного долга,— ты выбросишь все это из головы. Здесь не могло бы быть никаких «но». Ты согласна?

Беатрис, не сводя с него испуганных глаз, нерешительно кивнула.

— Но у тебя,— продолжал падре Франсиско,— дело обстоит совершенно иначе. Ты не говоришь мне просто: «Падре, я вдруг разлюбила своего жениха и полюбила чужого мужа». Ты говоришь: «Я полюбила глубоко несчастного человека и чувствую, что только я могу его спасти. Но он женат, а у меня есть жених» — и так далее. Следовательно, твоя греховная и в других обстоятельствах не подлежавшая бы никакому оправданию любовь приобретает совершенно иную этическую окраску. Это уже не просто любовь — это акт самопожертвования. Ты жертвуешь собой, своим душевным спокойствием и даже, если понадобится, своей честью — ради чего? Ради того, чтобы спасти другого человека. Так?

— Да, падре,— едва слышно отозвалась Беатрис.

Падре Франсиско покачал головой и задумался.

— Любовь-жалость,— медленно произнес он.— Казалось бы, самая христианская из всех форм любви... «Она меня за муки полюбила» — помнишь? Именно так должна была полюбить Дездемона, воплощение христианской кротости. Неудивительно, что по этому же привычному пути пошло и твое чувство. Но этот путь полон неожиданностей, Дора Беатрис. И он не всегда верен!

Беатрис вздрогнула. Выкрикнув последние слова, падре помолчал и спросил тихо:

— Можешь ответить мне на один вопрос? Только сразу, не обдумывая. В лицее на лекциях по психологии вы, очевидно, занимались тестами «вопрос-ответ»,— так вот отвечай мне так же, сразу. Скажи, в чем ты видишь главную добродетель христианина?

— В милосердии, падре.

— Нет! Нет, Дора Беатрис! — Падре Франсиско твердо ударил ладонью по столу.— Главная заключается в мужестве. Так было, есть и будет, меняются лишь формы проявления этого мужества, сущность его остается неизменной. В свое время оно проявлялось в том, чтобы открыто заявить о своей вере перед римским трибуналом и умереть на арене Колизея. Сегодня — для тебя в частности — оно проявляется в том, чтобы пройти через жизнь чистой и незапятнанной и научить тому же своих детей. Ты думаешь, это легко, Дора Беатрис? Нет, это не легко! Для этого, пожалуй, требуется не меньшее мужество, чем то, которое проявляли мученики первых веков. Тех терзали львы, убивавшие их плоть, нас же терзают легионы мелких и незаметных искушений, которые опаснее львов, ибо убивают душу. Понимаешь ли ты — душу!

Падре Франсиско встал и подошел к Беатрис. Та, оцепенев, испуганно смотрела на него снизу вверх.

— Для того, чтобы бороться с этими искушениями,— продолжал он,— необходимо мужество! Ты слышишь, Дора Беатрис?

Она поднялась со стула, пытаясь что-то сказать неповинующимися губами, не отрывая глаз от своего духовника.

— Я призываю тебя сейчас к этому мужеству, если ты считаешь себя христианкой...

— Падре...— Беатрис отступила на шаг, умоляющим жестом прижимая руки к груди.— Падре, вы меня не поняли...

— Я понял, что на твоем пути встретилось первое серьезное искушение — искушение жалостью! Пойми это и ты, Дора Беатрис! Дьявол способен надевать любую маску, он никому не является с хвостом и рогами, как его рисуют в детских книжках...

— Выслушайте меня, падре!

— В своем коварстве он может искусить нас вполне христианскими чувствами — милосердием, жалостью, человеколюбием. Поддайся этому искушению — и ты погибла! Дора Беатрис, своей духовной властью я приказываю тебе вырвать из сердца недостойную и гибельную жалость к этому человеку. Сумей выдержать с честью первое посланное тебе испытание — испытание твоей христианской верности, с одной стороны, и верности человеческой — с другой, в любви к твоему жениху...

— Падре! — рыдая, выкрикнула Беатрис.— Вы не можете требовать от меня этого, падре, разрешите мне увидеться с ним еще один только раз... Он такой несчастный, если бы вы знали, падре, какой он несчастный!..

Падре Франсиско отошел к своему столу и вернулся со стаканом воды. Беатрис пила, всхлипывая и обливаясь. Властным жестом он положил руку ей на голову.

— Всякий человек, добровольно отторгающийся от веры христовой,

несчастен. Тот, кто отталкивает спасательный круг, тонет. Церковь может только молиться за таких людей, и она это делает. Вот все, что я могу тебе сказать, Дора Беатрис. Подумай над этим, и если через несколько дней у тебя еще останутся какие-нибудь сомнения, я охотно побеседую с тобой еще раз. Иди с миром.

Беатрис вышла из кабинета, глотая слезы. Секретарша проводила ее удивленным взглядом и крикнула: «Вы забыли плащ, сеньорита!» Она даже помогла ей одеться и материнским движением накинула на голову капюшон. Забыв застегнуться, Беатрис прошла большую, светлую прихожую, коридор, спустилась по лестнице.

Редакция «Критериума» помещалась на одной из тихих зеленых улиц, пересекающих авеню Санта-Фе неподалеку от Пласа Италиа. Улица в этот неприютный дождливый вечер была пуста. «Господи, пошли мне смерть,— шептала Беатрис побелевшими губами,— пошли мне смерть...» Она шла как пьяная, до боли стиснув руки в карманах расстегнутого плаща, не замечая, что дождь уже промочил ее платье на груди и над коленями. Зачем ей нужна теперь эта жизнь!

Она шла не разбирая дороги, обезумев от отчаяния, и дождь смывал слезы с ее лица.

6

Это была Камарга — необозримая равнина, волны степной травы, высокое небо и пронизанный солнцем хрустальный воздух. Беатрис была рядом с ним, они шли взявшись за руки, и, поворачивая голову, он встречался с ее сияющими глазами, полными любви и счастья. Звенела весна, и они шли медленно, путаясь в высокой траве, и оба молчали, прислушиваясь к биению собственных сердец и разливающейся вокруг них торжественной мелодии счастья и молодости,— мелодии, которая рождалась в шелесте трав, в пении невидимого жаворонка и росла и ширилась, заполняя собой необъятное пространство юного мира, очерченного голубыми горизонтами...

Как это бывает часто, сон мгновенно забылся в самый момент пробуждения; это смягчило страшный шок перехода к действительности. Помня только, что еще секунду назад переживал что-то сказочное, Жерар вскочил с неистово колотящимся сердцем, обводя комнату непонимающими глазами.

Близился рассвет, ночные тени еще прятались по углам, но из открытого окна вместе с шелестом просыпающихся деревьев уже вливался в спальню холодный свет осенней зари. Чистое голубовато-стальное небо обещало солнечный день — первый за всю неделю.

Жерар сбросил ноги с кровати и сел, согнувшись и потирая ладонями колючие щеки. Постепенно он вспомнил все — весеннее утро в Камарге, Беатрис, ее глаза и то необычайное, немыслимое ощущение полного счастья, какое бывает только во сне. Оцепенев, он долго сидел так — небритый, в измятой пижаме, тупо уставившись в одну точку. Потом встал и подошел к окну.

Окно выходило на восток. Где-то впереди, за деревьями, лежал Буэнос-Айрес, тихая улица Окампо, старый дом в плюще и глициниях за ржавой решеткой с коваными вензелями. Там, очевидно, спят. Солнце еще не встало, сейчас его первые холодные лучи окрашивали кровью тяжелые волны Атлантики далеко на востоке.

Он повернул голову — и вдруг замер, забыв обо всем. Чуть левее, в просвете между двумя высокими эвкалиптами, лежала огромная голубая звезда, переливающаяся неземным огнем. Она именно лежала —

на верхней кромке вытянутой над горизонтом тучи, словно бриллиант на сером бархате, и ее величина и яркость казались особенно фантастическими в этот предрассветный час, когда одна за другой гасли бледные догорающие звезды в зените. Что это было — утренняя звезда, Венера? Жерар этого не знал, но это было неважно. Он видел голубой алмаз — яркий путеводный огонь, вставший для него над домом любимой. Не отрывая от него жадного взгляда, он в то же время словно внезапно открывшимися глазами видел со стороны себя и Беатрис. Безумец, каким он был безумцем все это время... Да разве она не поймет, разве ее любовь не преодолеет все?

Он пойдет к ней, расскажет ей все — все до конца. Если она любит, она простит. Сбросив с себя проклятие, он придет к ней с пустыми руками, таким же свободным нищим, каким бродил когда-то по Франции, и они повторят этот путь вместе, они еще придут в солнечную Камаргу его юности... Этот сегодняшний сон, эта голубая звезда — это не может быть простым совпадением, это знак, это сигнал судьбы. Судьба звала его к действию, к борьбе за счастье. Неужели он, когда-то сражавшийся в рядах Сопротивления, находивший в себе силу долгие годы грести против течения в искусстве,— неужели сейчас он не сумеет повернуть жизнь по своей воле? Только наваждением можно объяснить, что это не приходило ему в голову до сих пор. Чем он связан? Своей ошибкой? Раскаяние смывало и не такие дела. Если Беатрис его простит, он очистится от всего. Любовью Элен? Но она поймет — иначе нельзя. Что еще его связывает? Чистота Беатрис, боязнь оскорбить ее своей исповедью? Но разве лучше, если она будет продолжать страдать от любви, считая его честным человеком?

Бросив последний взгляд на голубую звезду, Жерар отошел от окна. Скоро она начнет меркнуть, он не хотел этого видеть, он хотел сохранить ее в памяти именно такой — острым алмазом, призывно сияющим на предрассветном небе.

Он прошелся по комнате, прилег на кровать, потом снова вскочил, закурил трубку и принялся ходить взад и вперед, оттягивая кулаками карманы пижамной куртки. Им овладела лихорадочная жажда действия — немедленно, тотчас же. Но сейчас делать было пока нечего. «Терпение, старина», — пробормотал он сквозь зубы, стиснутые на мундштуке. Жаль, что телефонную книгу растерзал Макбет, — можно было бы уже сейчас найти номер и адрес этого адвоката. Фамилия Мак-Миллан встречается здесь не так часто. Впрочем, это несущественно. К десяти часам он приедет в столицу и полистает книгу в первом же кафе. В одиннадцатом Трисс, очевидно, уже будет в бюро. Сегодня ровно неделя, как они встретились. Возможно, они смогут увидеться уже сегодня вечером, после ее работы. Ровно неделя! Семь дней — как он не додумался до всего этого раньше...

Первый луч озарил комнату. Начинался новый день — солнечный день его новой жизни. Стараясь не торопиться, Жерар принял горячую ванну, побрился с особым старанием, позавтракал. В восемь он встал из-за стола, покосившись на замершие, казалось, стрелки, и вышел в сад в сопровождении Макбета. На дорожках лежали прибитые вчерашним дождем желтые листья, мокрый песок хрустел под ногами, над зеркалом пруда дымился легкий туман. Начинающее пригревать солнце блестело и путалось в мокрой зелени, уже тронутой увяданием. Сад, весь светящийся тихой, неяркой прелестью ранней осени, точно желал покрасоваться на прощанье.

Бедняжка Элен, вот и все, что ты оставишь ей взамен ее любви. Сердце Жерара сжалось, когда он подумал о предстоящем разговоре. Написать в Рио было бы проще, это самый легкий выход — слишком легкий, чтобы быть порядочным. Нет, ты будешь говорить с ней здесь,

сам, глядя ей в глаза. Это страшно, но это необходимо. Такие узлы нужно рубить. Чем раньше Элен все узнает, тем скорее она переболеет и выздоровеет. В конце концов, время и молодость залечивают все раны...

Хорошо, что он может хотя бы обеспечить ее материально. Деньги не дают человеку счастья, но помогают переносить его отсутствие. Было бы совсем уж плохо, если бы вдобавок Элен осталась без средств к существованию и должна была бы вернуться к прежней жизни. А так — молодая женщина, красивая, обеспеченная...

Обойдя сад, Жерар вернулся к пруду и подошел к пологому берегу. Словно вырезанные из начищенной латуни, лежали на зеркале воды узкие листья ивы, сорванные осенью и непогодой последних дней. Его легкие туфли сразу промокли от росы, он посмотрел вниз, выбирая место посуше, и увидел в траве съежившуюся и вымытую дождями ленточку апельсиновой кожуры. «Проснитесь, очарованный кабальеро, в моей власти освободить вас от чар...» Вот здесь она сидела, с апельсином в протянутой руке, чуть склонив голову набок, и говорила важным тоном. А глаза ее искрились от смеха. «Вас околдовала фея Моргана? Это моя старая соперница, мы давно конкурируем...» Кто бы меня ни околдовал, Трисс, только в вашей власти освободить меня от чар, и сегодня я напомню вам эти слова.

Жерар посмотрел на часы — было без четверти девять. Пора!

— Макбет, старина, идем-ка в дом. Я сейчас уезжаю, останешься тут за сторожа. Слышишь?

Но Макбет не слушал, вернее, он прислушивался к чему-то другому, насторожив косые обрезки ушей. Торопливо, совершенно по-человечески оглянувшись на хозяина, он вдруг сорвался с места и исчез за поворотом аллеи. Жерар пошел за ним.

Возле дома он увидел Хуареса с чемоданчиком в руке. Макбет прыгал вокруг него, норовя лизнуть в лицо.

— С приездом, дон Луис! — весело крикнул Жерар.— Гоните его к дьяволу, он вас измажет. Вернулись, значит?

— Здравствуйте, патрон, здравствуйте... Ну, Макбет, довольно, хватит. Как поживаете, патрон?

Они обменялись рукопожатиями.

— Все по-старому? — спросил, посмеиваясь, дон Луис.— Не помешал? Видите, как получилось. Чертовски назойливого садовника навязали вы на свою голову, дон Херардо. Может быть, даже слишком назойливого, а?

— Бросьте, бросьте. Ваша комната вас ждет, идите и располагайтесь. Как прошла поездка?

— В норме, вполне в норме,— подмигнул дон Луис.— Как поживает донья Элена?

— О, она укатила в Бразилию — погостить у подруги. Очевидно, скоро будет дома.

— Так, так. Ну а вы?

Жерар улыбнулся:

— Теперь уже «в норме», дон Луис. Знаете, сейчас я еду в город, а когда вернусь, мы с вами посидим и обстоятельно поболтаем. Сейчас у меня просто нет времени...

Дон Луис кивнул и подхватил чемоданчик.

— С удовольствием, патрон, с большим удовольствием. Вернетесь поздно?

— Только вечером. Хозяйничайте здесь, дон Луис, продукты вчера привезли, а если вас интересуют столичные газеты, то их там в холле накопилась целая гора. Ну, а я пока пошел.

— Счастливо, патрон.

Мотор начал барахлить, не доезжая Итусаинго,— перестал тянуть, принялся чихать и задыхаться, не повинуясь акселератору. «Что за дьявольщина,— подумал Жерар,— никогда ничего подобного с ним не случалось. Новый мотор, спятил он, что ли, черт бы его драл...» Пожав плечами, он бросил недоумевающий взгляд на приборную доску и грубо выругался: стрелка указателя горючего стояла на нуле.

Делать было нечего — ругайся не ругайся, а с пустым баком далеко не уедешь. Жерар выключил зажигание и выскочил на дорогу, яростно хлопнув дверцей. Движения, как назло, не было. Несколько минут Жерар ходил по шоссе взад и вперед, ругаясь сквозь зубы. Наконец вдали показался большой оранжевый грузовик; подождав, пока тот приблизится, Жерар поднял руку. Грузовик затормозил, из кабины выглянул шофер.

— Авария? — сочувственно крикнул он.— Нужна помощь?

— Остался без горючего, будь оно неладно! Продайте хоть десять литров, будьте добры!

— Не выйдет, приятель, у нас ведь дизель, ходим на газойле. До заправки дотащить можем, нам все равно по пути. Трос найдется?

Через минуту оскандалившийся «манхэттэн» покорно потащился на буксире за оранжевым фургоном.

Подъезжая к заправочной станции, Жерар еще издали увидел длинную очередь машин. Новая задержка привела его в отчаяние, но он тут же сообразил, что час-то еще слишком ранний.

— Ключ в машине, малыш,— сказал он мальчишке в форменном кепи ИПФ,— продвинешь ее тогда сам, мне пока нужно позвонить. Где у вас тут телефонная книга?

— Пройдите в отдел запасных частей, там есть. Вам только бензин?

— Да, ничего больше...

Абонентов с фамилией Альварадо оказалось немного, Жерар сразу увидел то, что искал: «Д-р Бернардо Иполито Альварадо — улица Окампо 2852 — тел. 83-1127». Переписав адрес и номер, Жерар стал разыскивать Мак-Миллана, нашел и его — телефон 41-3076, внутренний — 90. Позвонить сейчас?

Глупости, на работе ее еще нет. А домой звонить неудобно. Или все же позвонить? Она, конечно, еще дома. Нет, нельзя. Ладно, пока он доедет... Улица Тукуман — это центр.

Положив на место затрепанную пухлую книгу, Жерар вышел. Очередь продвинулась, но ненамного. Он отошел за красную линию, обозначавшую на асфальте границу огнеопасной зоны, и закурил, поглядывая на рекламный щит «Счастливого пути — на покрышках ФАЙРСТОН».

— Хэлло, Бусс, будь я негр! — послышалось вдруг ему. Он изумленно вынул изо рта трубку — галлюцинация, что ли? — и оглянулся. В двадцати метрах от него затормозило только что промелькнувшее мимо такси, и из распахнувшейся дверцы появилась сияющая физиономия мистера Брэдли.

— Бусс, мальчик, какая встреча! — Аллан выбрался из машины и поспешил к Жерару с распростертыми объятиями.— Рад вас видеть, но какое совпадение — еду к вам и вдруг вижу вас собственной персоной стоящего здесь наподобие дорожного указателя!

— Откуда вы взялись, черт побери? — спросил Жерар.

— Из Штатов, откуда же еще! Вы в город или домой?

— В город... Остался вот с пустым баком, заправляюсь.

Брэдли оглянулся:

— Эта, синяя? Значит, сукин сын Истмэн вас не надул, видите. Ну, отлично, мой мальчик. Я ехал к вам, но, если вы не против, можем поехать в город вместе, э? По пути и побеседуем.

— Ладно,— не особенно любезно пожал плечами Жерар.— Какие-нибудь дела?

— Да так, пустяки... Так я сейчас расплачусь со своим такси, один момент...

Брэдли отошел, вытаскивая на ходу бумажник. Жерар хмуро поглядел ему вслед. Встреча была неприятной, именно сегодня напоминание о прошлом было особенно некстати. «Черт его принес»,— нахмурившись, пробормотал Жерар и нетерпеливо оглянулся на медленно продвигающуюся очередь у колонок.

Такси, в котором приехал Брэдли, развернулось и укатило обратно в город. Аллан подошел к Жерару, широко улыбаясь и утирая лоб платком.

— Как поживает ваша миссис? Я, признаться, надеялся ее сегодня увидеть.

— Она сейчас в Рио... Гостит там у подруги.

— А вы чего ж с ней не поехали?

— Не пригласили, вот и не поехал.

— Жаль, Рио стоит посмотреть. А скажите, Бусс, нет у вас желания слетать на недельку в Штаты?

— Вот уж чего нет, того нет. Идемте, сейчас заправят мою...

Машину заправили. Расплатившись, Жерар забрал у механика ключи и сел за руль. Брэдли, кряхтя, умостился рядом.

— Послушайте, Бусс, — сказал он, когда они выехали на шоссе. — Насчет поездки в Штаты я ведь спросил всерьез...

— А я всерьез ответил. Какая еще к черту поездка? — огрызнулся Жерар.— Не морочьте мне голову!

— Вы, наверное, не поняли... — Брэдли достал сигару и принялся ее раскуривать.— Речь идет о деле, сынок...

— У меня нет никаких дел в Штатах.

— Сейчас нет, завтра будут. Серьезно, Бусс, придется нам слетать на недельку в Нью-Йорк. Даже меньше — дня через четыре будете дома.

— Бога ради, Аллан, оставьте вы меня в покое. Чего вы ко мне привязались с этой идиотской поездкой? Я сказал: никуда не поеду.

Брэдли вынул изо рта сигару и стряхнул пепел себе под ноги.

— Ладно, поговорим начистоту, — сказал он. — Когда мы познакомились, без малого полтора года назад, у вас нечем было заплатить за кружку пива. Сегодня вы катаетесь на такой вот игрушке,— он постучал согнутым пальцем по приборному щитку,— живете в загородной усадьбе, у вас красавица жена и солидный капитал, вложенный в акции самых крепких предприятий...

— Дальше что?

— Скажите по совести, Бусс,— не обязаны ли вы всем этим мне, хотя бы отчасти?

— Слушайте, Аллан! На эту тему можно говорить очень много, но мы тут друг друга не поймем. Хочу верить, что вы действовали тогда совершенно искренне, желая помочь. За это желание я вам благодарен и сегодня. А что из всего этого получилось — вопрос другой, не будем, повторяю, его касаться.

— Правильно, Бусс,— кивнул Брэдли,— я хотел вам помочь — и помог. Рад, что вы это понимаете. Если потом вам это опротивело, то это уж не моя вина. Вам нужно было лучше обдумать все последствия.

— Безусловно.

— Так вот. Между джентльменами не принято напоминать о собственной услуге и просить за нее плату, но...

Жерар засмеялся.

— А, вам нужны деньги? Так бы и сказали, чего тут ходить вокруг да около! Пожалуйста, старина, любую сумму...

— Минутку, Бусс, вы меня не дослушали. Денег мне не нужно, я хотел просить вас об услуге другого рода. Дело в следующем: мой босс организует сейчас одно новое дело, и он хотел бы, чтобы вы стали его компаньоном...

— Кто, я — компаньоном? — Жерар притормозил машину и изумленно взглянул на собеседника.— Какие у меня могут быть дела с вашим боссом?

— Этого я не знаю, Бусс, будь я негр! Мой босс занимается чем хотите — и газетами, и рудниками, и даже в какой-то степени атомной энергией. Мне поручено привезти вас для переговоров, вот почему я прошу вас об этой услуге. Вы мне сделаете большое одолжение, мой мальчик...

— Да провались он, ваш босс, с его атомной энергией и его газетами! И почему «одолжение»? Если я не поеду — что он, оторвет вам голову?

— Поверьте, Бусс,— серьезно сказал Аллан,— будет лучше, если вы поедете.

— Для переговоров?

— Для переговоров.

— Да какого черта! Что, мы не можем поговорить с вами здесь?

— Но ведь я не уполномочен вести с вами эти переговоры. Мне поручено вас привезти, и кончено. Не забывайте, что я только служащий.

— Хорошо. Допустим, я говорю «нет». Что тогда?

Брэдли пожал плечами и принялся раскуривать погасшую сигару.

— Не стоит, Бусс... У вас могут быть неприятности. С такими людьми, как мой босс, лучше не обострять отношений...

Жерар понял, что это «приглашение» — дело серьезное. Мысль его напряженно работала. Еще вчера он не задумываясь послал бы к черту и самого Аллана, и его босса. Но сегодня... Сегодня он уже не имел права действовать необдуманно. Теперь речь шла не только о нем. Принятое утром решение уже связало его с Беатрис слишком тесными узами, чтобы он мог относиться безответственно к своей дальнейшей судьбе. Она уже принадлежала ей — его маленькой Трисс,— и он не мог распоряжаться чужой собственностью. Что ж, придется поехать... Вести себя хитро и умно и отделаться от них как можно скорее и раз и навсегда. Безусловно, другого выхода у него просто нет. Главное — покончить с этим как можно скорее, ведь с Трисс он сможет говорить только после этого...

— Ладно, черт с вами,— сказал он.

— Ну вот и прекрасно, мой мальчик!— обрадовался Аллан.— Я так и думал, что вы не станете упрямиться. Паспорт не при вас?

— Паспорт? Да, паспорт со мной...

— Давайте, если вы не торопитесь, заедем сейчас же в консульство, вы там только подпишете формуляры прошения о визе и анкеты, а все остальное я проверну сам. Если удастся сделать это сегодня же, то я сразу заказываю места на завтрашний самолет. Хорошо было бы успеть сегодня — завтра суббота, почти никто не работает...

В консульстве его долго не задержали. Посетителей было много, но Брэдли юркнул за барьер, пошептался с одной блондинкой, полюбезничал с другой, вместе с нею скрылся за дверью какого-то важного лица и через десять минут выглянул снова, взглядом отыскивая своего протеже. В отдельной комнате Жерара усадили за стол, положили

перед ним пачку разноцветных формуляров. Брэдли стоял за его плечом и указывал: «Подпишите здесь... Теперь вот здесь — и нижние тоже, все пять экземпляров... Теперь номера вашего французского паспорта и аргентинского удостоверения личности,— впрочем, паспорт вы все равно оставите, я это заполню сам... Ну, цель поездки — туризм... Так, это не нужно, еще вот здесь...»

Подписав еще отдельную декларацию о своей непринадлежности к коммунистической партии и о том, что по прибытии в Штаты нижеподписавшийся не намерен пытаться убить президента или открыть дом терпимости, Жерар перешел в руки третьей блондинки, которая с профессиональной ловкостью сняла у него отпечатки пальцев. «А снимки?— спохватился Аллан.— Снимки забыли, будь я трижды негр...» «Попросите Боба»,— посоветовала дактилоскопистка, оттирая пальцы Жерара растворителем. Аллан выкатился из комнаты и через минуту вернулся в сопровождении флегматичного молодого гиганта в ярком галстуке и без пиджака, жующего резинку. Жерар пересел к окну, флегматичный гигант вынул из стола «роллейкорд», и последняя формальность была окончена.

— Отлично, Бусс, видите, как хорошо мы успели,— с довольным видом бормотал Брэдли, провожая Жерара к лифту.— Остальное я здесь закончу сам, вы ни о чем не беспокойтесь. Вечером будете дома? Я позвоню вам часов в шесть, скажу о результатах... Ну, пока.

Жерар вышел из здания банка «Ферст нэйшнл оф Бостон», верхние этажи которого занимало консульство, и свернул за угол, на узкую и круто опускающуюся книзу улицу Бартоломе Митре. Откуда-то из открытого наверху окна прорезался сквозь уличный шум тонкий писк сигналов точного времени. Был полдень. «Если бы не этот жирный сукин сын,— с яростью подумал он,— я к этому моменту уже поговорил бы с Трисс...»

Спустившись к Главному почтамту, он не без труда разыскал свою машину среди сотен других, тесными рядами заполнивших большую площадку паркинга, и вывел ее на Пасео Колон. Торопиться было некуда, он свернул к самому тротуару и ехал на малой скорости, угрюмо поглядывая по сторонам.

Это был правительственный квартал: слева, из-за деревьев густого сквера, высился белый многоэтажный корпус военного министерства с установленными на крыше вогнутыми дисками параболических антенн; справа тянулись облицованные коричневым полированным гранитом толстые колонны министерства хозяйства, потом министерства общественного здравоохранения. Здесь Жерар вдруг притормозил и всмотрелся: действительно, в стеклянном подъезде стоял, покуривая сигарету, доктор Эрменехильдо Ларральде. Жерар остановил машину и вышел.

— Добрый день, доктор!

Хиль оглянулся и приподнял брови:

— А, Бюиссонье... Очень рад. Как поживаете?

— Мерси, по-прежнему. А вы как? Могу вас куда-нибудь подвезти?

— Нет, спасибо, я здесь ожидаю коллег. Идем опять ругаться,— невесело усмехнулся Ларральде.

— Опять? Следовательно, ругались и раньше?

— И неоднократно.— Он махнул рукой.— Так, ходим для очистки собственной совести... Нас, молодежь, никто не слушает, а старшие слишком благоразумны, чтобы пытаться что-то делать. Вот так и получается. Как поживает донья Элена?

— Она сейчас в Бразилии, но скоро вернется. Вы почему к нам не заглядываете, не звоните?

— Некогда,— коротко ответил Хиль.— Работы по горло.

— Сочувствую.

— Сочувствовать нужно нашим пациентам. Что нового у вас?

— У меня? Ничего ровным счетом. Вот, завтра лечу на недельку в Штаты. В случае чего,— улыбнулся он,— вспомните наш новогодний разговор...

— Бросьте вы каркать,— нахмурился Хиль.— Когда думаете вернуться?

— Не позже следующей пятницы.

К подъезду подошла группа молодых людей.

— Салюд, старина,— крикнул один из них Хилю,— записался уже?

— Записался, на пять человек. Решайте, кто пойдет. Так вот что, дон Херардо, я вам позвоню в следующую субботу,— может, заеду в воскресенье поболтать. Сейчас, ребята, иду!

— Прекрасно, доктор, буду ждать вашего звонка. Счастливо.

— Счастливого пути...

Молодые люди вместе с Хилем скрылись в стеклянном подъезде министерства. Жерар вернулся в машину и задумался. Может быть, позвонить все же Трисс? Увидеться сегодня — тогда он будет действовать еще решительнее... с этими прохвостами. Или нет, нет! К Трисс он должен прийти совершенно чистым от всего, порвав последние связи с прошлым. Нет, сегодня звонить ей невозможно...

Он стиснул зубы, снова оглянувшись на министерский подъезд. Привинченная у входа синяя эмалированная табличка «Telefono publico» притягивала его, как магнит тянет железо. Нет, нельзя, сегодня еще нельзя. Разделайся с прошлым, вернись из Штатов — тогда будет можно. Но не сейчас! Сейчас еще рано. Сейчас это было бы ни к чему. Свидание с Трисс должно состояться только тогда, когда над тобой уже ничто не будет висеть — ни в прошлом, ни в будущем. Сейчас еще нельзя. Нельзя. Нельзя!

Но будь они прокляты — почему именно сегодня, когда должна была измениться его жизнь, явился к нему этот прохвост! Жерар снова ощутил ярость, которую страшными усилиями подавлял в себе все эти часы — с момента вынужденного согласия лететь в Штаты. На секунду зажмурившись, он включил мотор и дал полный газ. Полтораста сорвавшихся с цепи лошадиных сил ударили его в спину и швырнули вперед. Раскачиваясь, как пьяные, и сливаясь в один пестрый поток, понеслись фасады, троллейбусы, деревья. Где-то позади отчаянно заверещал полицейский свисток и быстро стих. Промелькнул украшенный знаками зодиака столб перед таможней, исполинские беломраморные колонны строящегося здания фонда Эвы Перон, скульптурная группа «Песнь труда»— толпа обнаженных людей, волоком тянущих огромную каменную глыбу. Снова свисток, потом воющие сирены — одна, другая. С полкилометра патрульные мотоциклисты дорожной полиции гнались за взбесившимся «манхэттэном»; у зеленого холма парка Лесама они обошли его и ловко оттеснили к тротуару.

— Да вы что, каррамба, из психарни вырвались!— заорал один, остановивший свой мотоцикл перед самым радиатором нарушителя.— Так мы вас туда в два счета вернем, будьте уверены!

— Иди ты, парень, ко всем дьяволам,— устало ответил по-французски Жерар, доставая бумажник.— No comprender, yo extranjero! Multa — cuanto?[1]

— Мульта, мульта!— передразнил его патрульный.— За такие дела не мульта, а вот!— Он сделал вокруг своей шеи выразительный жест и постучал по виску.— Сумасшедший, вот ты кто!

---

[1] Не понимать, я иностранец! Штраф — сколько? (искаженный *исп.*).

Второй полицейский, не сходя с мотоцикла и упираясь ногой в землю, проверил шоферское удостоверение Жерара.

— Че,— окликнул он первого,— а это ведь и впрямь гринго. Что будем делать? С ними вообще лучше не связываться, ну их к черту...

— А ты вкати ему такой штраф, чтобы он зачесался, сукин сын! У него хватит, не бойся. Воображают, что они в Чикаго, потаскухины дети.

— Этот гринго из Франции,— заметил второй, вернув удостоверение и доставая из кармана квитанционную книжку.

— Все они хороши... Приезжают тут, будто к себе в колонию,— проворчал первый.— Здоровенного пинка бы им всем в зад...

— Это точно...

Полицейский полистал книжку, нашел чистую страницу и стал выписывать квитанцию.

— Cuanto?— повторил Жерар, продолжая разыгрывать незнание языка.

— Пятьсот, вот сколько,— ответил полицейский,— пятьсот, пять раз сто, понял?— Для пущей ясности он растопырил пятерню, потом пальцем написал цифру на ветровом стекле. Жерар заплатил не протестуя.

Дальше он поехал уже медленно, стыдясь самого себя за идиотскую выходку. Мог и в самом деле убить кого-нибудь, мог и сам разбиться — глупее ничего не придумаешь...

Подъезжая к мосту Барракас, он вспомнил — здесь неподалеку он жил полтора года назад, в дешевом пансионе, где было по пять человек жильцов в каждой комнате. Собственно говоря, это была просто ночлежка, с клопами и прочим. В жаркие дни в комнате стояло зловоние от протекающей поблизости Риачуэло, засоренной отбросами боен. Зимой плесень покрывала одежду в шкафу и даже иногда за одну ночь успевала вырасти тончайшей пыльцой на поставленных под койку башмаках. А время было все же хорошее...

Он ехал без всякой определенной цели. Машина прошла мост, свернула вправо, миновала мясохладобойню «Ла Негра» и станцию Авельянеда. За полотном железной дороги, параллельно ей, потянулась широкая авеню Перон — прямая семнадцатикилометровая ось, на которую нанизаны южные пригороды столицы. Пыль, солнце, безрадостные кварталы плоских одноэтажных домов, серая громада элеватора, сходящиеся и разбегающиеся провода троллейбусных линий, ремонтные мастерские и заправочные колонки, площадь перед вокзалом Ланус, пивные и магазины, вокзал Ремедиос-де-Эскалада, выстроенная в виде средневекового замка трансформаторная подстанция Итало-Аргентинской электрической компании, заправочная станция «Эссо», новенький особняк какого-то нувориша — двухэтажный кремовый торт из тесаного камня, с газонами и искусственными холмиками...

Спидометр показывал сорок. Жерар правил одной рукой, держа в зубах незажженную трубку, то и дело поглядывая на часы. Время тянулось нестерпимо медленно. Пошли более озелененные и благоустроенные пригороды — Банфилд, Ломас-де-Самора; мимо машины пробегали теперь нарядные коттеджи. По правую руку распахнулась площадь — широкий асфальтированный квадрат с церковью, цветником, конным памятником Сан-Мартину и белой ступенчатой пирамидой муниципалитета. У первой же станции обслуживания Жерар остановился и попросил сменить воду, вспомнив, что не делал этого в Итусаинго. Механик поднял капот и стал отвинчивать пробку.

— Спичек у вас нет? — спросил Жерар, похлопав себя по карманам.

— Войдите в контору, там на столе лежат,— ответил тот.

Жерар вошел, взял спички. Над столом, заваленным каталогами запасных частей, пестрели рекламные плакатики — аккумуляторы «Эксод», тормозная жидкость «Престофрен» — и висел настенный телефон. Медленно раскуривая трубку, Жерар не сводил с него глаз. Трисс еще в бюро. Ты можешь еще позвонить ей, встретиться еще сегодня — до отъезда. И сказать, что уезжаешь всего на неделю. Ты же помнишь номер ее служебного телефона — 41-3076, внутренний—90.

— Готово, сеньор,— сказал механик, входя в контору.— А-а, тоже любуетесь? Здорово изображено, верно?

— Что такое?

— Любуетесь моей чемпионкой, говорю,— засмеялся механик, кивая на стол. Только сейчас Жерар заметил под телефоном рекламный календарь с изображением томно раскинувшейся красотки в более чем легкомысленном наряде. «Воспламеняет без отказа — запальная свеча «Чемпион», многократно испытанная на всех автодромах мира».

— Да, в самом деле,— сказал Жерар,— такая не откажет. Как проехать в Мерло?

— Прямо до Темперлея, а там свернете вправо, на кольцевое шоссе. Оно выходит на Седьмую национальную между Мороном и Кастеляром, оттуда до Мерло рукой подать.

— Спасибо... Телефон у вас работает?

— Да, только нужно звонить через подстанцию. Хотите, я вызову?

Жерар помолчал.

— Нет, не надо...

Тоска снова охватила его, едва он вернулся в «Бельявисту». Дон Луис, усталый с дороги, спал у себя в комнате, в доме стояла мертвая тишина. Было уже около пяти. Через несколько минут Трисс выйдет из бюро, они могли бы встретиться перед Дворцом трибуналов... Да, не так думал он вернуться сегодня домой, выезжая утром из ворот кинты.

Тоска была глухой, сосущей, как неосознанная угроза, как страх перед неизвестным. Жерар тщетно пытался взять себя в руки, убедить себя в том, что ничего страшного, в сущности, не произошло. Всего лишь отсрочка на несколько дней. Что значит одна лишняя неделя по сравнению с ожидающим их счастьем? По крайней мере, вернувшись из Штатов, он будет окончательно свободен от прошлого. А может быть, позвонить все же сегодня... Сказать, что уезжает на несколько дней и придет к ней, как только вернется...

Искушение становилось все сильнее. Телефон стоял в холле, но, в какой бы комнате Жерар ни находился, ему отовсюду казалось, что он видит сквозь стены этот черный молчаливый аппарат. Это ведь так просто: подойти, снять трубку, назвать телефонистке шесть цифр: восемь, три, один, один, два, семь. Всего только шесть цифр. «Проснитесь, очарованный кабальеро, в моей власти освободить вас от чар...»

Аллан позвонил в восьмом часу.

— Бусс? Все в полном порядке, мой мальчик,—радостно проквакала трубка.— Все о'кэй, ваш паспорт завизирован, места заказаны, летим завтра в восемь тридцать самолетом «Панагра», утром в воскресенье будем в Нью-Йорке. Всего три посадки — Рио, Порт-оф-Спэйн и Майами. Здорово, будь я негр, как это мы все ловко успели обделать — буквально за один день, а? Так как мы с вами договоримся — заехать за вами или увидимся прямо в аэропорту?

— Увидимся в восемь, в Пистарини.

— Э-э, Бусс, не путайте! В Пистарини вам делать нечего, «Панагра» пользуется своим аэропортом в Мороне. Вы слышите — приезжайте в Морон, не в Пистарини...

— Ладно, приеду в Морон, это мне ближе. До завтра, Аллан.

— До завтра, Бусс, не забудьте завести будильник— и смотрите же, аэропорт Мо...

Жерар с грохотом обрушил трубку на рычаг.

За эвкалиптами садилось солнце. Дон Луис проснулся и сидел с Макбетом на террасе, вполголоса укоряя его за паразитический образ жизни и упорное нежелание ловить крыс. Макбет изредка издавал глухое утробное ворчание — нельзя было понять, соглашается он или возражает. Стало быстро темнеть, на медном фоне гаснущего заката первая летучая мышь бесшумно, как во сне, прочертила черный стремительный зигзаг. Где-то в комнатах зазвенел москит.

...Через полчаса станет совсем темно, и телефон растворится во мраке. Завтра в это время ты будешь видеть закат над Карибским морем, а послезавтра — над небоскребами Манхэттэна. Понедельник, вторник, самое позднее в среду ты должен вылететь обратно. И в пятницу позвонишь Трисс. Только в пятницу — через семь дней, — а тут под рукой стоит телефон. Протяни руку, назови телефонистке шесть цифр...

Не в силах больше выносить это молчаливое единоборство, Жерар с отчаянием выругался, вскочил и вышел из холла.

— Дон Луис! — крикнул он.— Вы уже отдохнули? Бросьте беседовать с бессловесной тварью, заходите лучше сюда.

— А я думал, вы тоже легли отдыхать,— сказал садовник, входя вместе с ним в столовую.— Я сам проснулся, смотрю — машина стоит, а в доме темно. Что нового в столице?

Жерар достал из буфета бутылку вина, стал обдирать пробку.

— То нового, что я завтра улетаю... на неделю. Это по делам, в Штаты. Вас не затруднит отвезти меня в Морон к восьми утра?— спросил он, разливая вино.

— Нет, не затруднит. А вам, я вижу, поездка не особенно по душе?

— Да, но съездить надо. Ваше здоровье, дон Луис.

— Взаимно, дон Херардо.

Жерар залпом опорожнил стакан. Достав из кармана трубку, он набил ее и, не закурив, стал чертить мундштуком треугольники на поверхности стола.

— Какая все же гнусная штука, эта жизнь,— тихо сказал он после долгого молчания.— Человек хочет только одного — немножко личного счастья и чтобы его оставили в покое... Такая фраза есть у одного писателя, не помню у кого... А его в покое не оставляют. Самая страшная проблема нашего века, дон Луис, это взаимоотношения между личностью и обществом, между единицей и бесконечностью. Ваши единомышленники, кажется, решают ее арифметическим путем? Личность — по сравнению с обществом — для них всего только одна столько-то миллионная доля целого, следовательно, и говорить о ней нечего...

— Странное дело,— сказал садовник,— вы ведь умный человек, дон Херардо, а повторяете чужие глупости. Нам просто трудно спорить на эту тему, потому что вы не понимаете главного. Для моих единомышленников человек — это не «одна столько-то миллионная», а то, ради чего мы и живем, и сидим по тюрьмам, и помираем, когда приходится. Вы уж изините за риторику! Мы, по правде сказать, не очень-то умеем говорить красивые слова о «правах личности», но говорить — это одно, а делать — это совсем другое. Либеральные говоруны и привели мир к такому состоянию, в каком вы его сейчас видите. И мир, и эту самую «свободную личность», о правах которой они так распинались. А если уж вы хотите говорить о взаимоотношениях личности и общества, пользуясь примерами не из области социологии, то тогда уж возьмите клетку и живой организм. Это тоже неудачная аналогия, вы

меня понимаете — клетка не мыслит и не имеет своей воли, но известную параллель провести можно.

— Вы, значит, предпочитаете биологию,— усмехнулся Жерар.— Клетка! Что такое клетка? И в чем же тогда для вас ценность человеческой личности? Или она вообще лишена всякой ценности, всякого значения?

— А в чем ценность клетки? Надо полагать, в том, что от здоровья каждой клетки зависит здоровье всего организма...

— Опять вы все сворачиваете к организму, черт возьми! А если клетке плевать на организм, если она хочет существовать сама по себе — тогда что? Или она не имеет права этого хотеть?

— При чем тут право, дон Херардо?.. Право — это одно, а жизнь — это совсем другое. С правом или без права, а клетка не может жить отдельно, просто не может, и все тут. Ну, пускай она отделится — пускай она решит, что у нее есть это право, и отделится. И что из этого получится? Организм не пострадает, а клетка погибнет...

7

Утром, доставив Бюиссонье в аэропорт, дон Луис вернулся на кинту, засел за письма и провел за этим делом первую половину дня. Когда все шесть были готовы (за ними должны были заехать вечером, отправляющий их человек приезжал в «Бельявисту» под видом зеленщика), он занялся стряпней и позволил своим мыслям вернуться к «патрону».

Вчера они спорили долго, за полночь. В конце концов, после очередного высказывания Бюиссонье, он прямо сказал ему: «Вы, дон Херардо, напоминаете мне елочный шарик — блестящий снаружи и пустой внутри. Если придавить пальцем, от вас ничего не останется». Сейчас вспомнив это, дон Луис даже поморщился от досады на самого себя. Говорить этого не следовало. Во-первых, потому, что Бюиссонье и без того был чем-то удручен; после этих слов он замолчал и потом пробормотал со своей кривой улыбкой: «Тут вы чертовски правы, дон Луис, раздавить меня и в самом деле нетрудно». Да, это было большой бестактностью с его стороны — сказать и без того расстроенному человеку такую вещь. Кто знает, что с ним случилось, с доном Херардо... Может быть, он ждал от него помощи, по крайней мере участия. Это во-первых. А во-вторых, сегодня, на свежую голову, эти слова выглядят не только жестоко, но и неверно. Бюиссонье вовсе не так пуст, как желает казаться со своим напускным цинизмом и наплевательским отношением к миру. Все это мишура, но под ней не обязательно должно быть пусто...

Ополаскивая под краном очищенные картофелины, дон Луис по-стариковски вздохнул и покачал головой. Мало ли он их видел, таких вот интеллигентов, щеголявших своим презрением к буржуазному мещанству капитализма и своим высокомерным, с позиций «духовно свободной личности», неприятием коммунизма... Сколько он их видел — и все они по большей части оказывались потерянными людьми, а ведь далеко не все были пустозвонами. Были среди них и талантливые, по-настоящему талантливые люди, которые могли бы принести большую пользу.

Вся их беда в том, что они не понимают одной простой вещи. Если общество устроено плохо, так переделывайте же его, черт возьми, находите себе единомышленников, пытайтесь проводить в жизнь свои собственные мысли! Но нет, куда там. Это для них уже «политика» — грязное дело, недостойное их утонченного интеллекта. А сидеть и брюз-

жать, замкнувшись в каморке своей «духовной свободы»,— это, по их мнению, куда достойнее...

После обеда дон Луис отдохнул, потом поработал немного в саду. Сад подзапустили за время его отсутствия — дорожки были не расчищены, многие кусты роз объедены муравьями, у пруда валялся сломанный шезлонг. Дон Луис отнес его в гараж, выстругал две планки твердого дерева, аккуратно приладил их к сломанной стойке, зашлифовав головки шурупов напильником и шкуркой. Он не переносил вида сломанной и непочиненной вещи, какой бы грошовой ни была ее стоимость.

За письмами должны были приехать около семи. Поужинав, дон Луис положил пакет в карман и вышел за калитку, с удовольствием прислушиваясь к тишине вечерних полей. На восточной стороне неба уже дрожали первые звезды, в наполнившемся от дождей кювете звонко и печально перекликались лягушки, едва слышно шелестели эвкалипты.

Через несколько минут из-за поворота показалась знакомая тележка — высокая, двухколесная, с парусиновым тентом, украшенным по краям фестончиками и побрякушками. На затейливо расписанной боковой стенке тележки вилась надпись: «Одинокий орел».

Человек, сидевший на тележке среди корзин с салатом и апельсинами, мало походил на орла. Это был паренек в комбинезоне и маленьком каталонском берете — самый обычный паренек из предместий Буэнос-Айреса, каких можно десятками видеть у ворот фабрики или в пивной за обсуждением последнего футбольного матча.

— Ола, дон Луис! — крикнул паренек, соскочив с тележки.— Значит, вернулись? Скажите, а я и не думал, что вы так скоро... Вчера Тонио говорит мне ехать к вам, а я думаю — как же так, он же собирался...

— Да вот, Альберто, так вышло.— Дон Луис пожал ему руку.— Мало ли кто что собирается делать, а выходит иначе. Ну, присаживайся, рассказывай.

— Опять письма, дон Луис?

— Опять. Какие тут у вас новости? Я вчера успел только позвонить Тонио... Он сказал, что ты расскажешь. Что случилось с Санчесом?

Альберто помрачнел.

— Да что случилось... Убили,— сказал он, свертывая самокрутку.

— Это я знаю. При каких обстоятельствах? Где?

— Там же, в Кильмесе. Прямо в помещении ячейки. В понедельник это случилось, часов в десять вечера... Там как раз был Санчес, и еще Бланкита Обрегон, — вы ее знаете, верно? — и Хуан Каличук из Берасатеги... Они проверяли списки пожертвований на газету. Ну, альянсисты[1] как раз в это время и явились...

— Сколько их было?

— Каличук говорит — человек десять. Вы понимаете, у них там печка топилась, Санчес ведь все время болел, а тут как раз дождь, холод, ну он и затопил... Так когда те ворвались, он успел бросить списки в эту печку, а один альянсист как даст ему по виску рукояткой кольта — ну и на месте... Списки-то сгорели, печка там чугунная, «саламандра», с узенькой такой дверцей наверху, туда сразу и не залезешь... Они тогда начали бить Каличука, говорят: «Вы сожгли доказательства своей преступной деятельности». Ну, он им сказал, что партия никакой преступной деятельностью не занимается и что сожгли просто списки жертвователей, потому что людям могут быть неприятности. Тогда они

---

[1] Альянсисты — члены «Альянса либертадора насьоналиста» (АЛН), «Национально-освободительного союза». См. примечание на стр. 247.

за Бланку взялись. А другие все перерыли — искали оружие. Ротатор выбросили из окна, библиотечку сожгли тут же в патио. Бланкиту они здорово избили, и ногами и по-всякому, она даже сознание потеряла, а Каличук — тот ведь парень крепкий, вы его видели,— так он удрал, когда их потащили в машину. Дал одному ногой вот сюда и удрал, хорошо, там улица темная. Он после чуть не ревел. «Может,— говорит,— не нужно мне было бежать, как это я девушку дал арестовать, а сам удрал...»

— Он сделал правильно,— сказал дон Луис.— Ей он все равно не мог помочь.

— Вот и Тонио так же ему сказал, и мы все то же говорили. Но только он убивается до сих пор.

— Полиции не было при налете?

— Постовой на углу стоял, сволочь — пальцем не шевельнул! Бланкита ведь кричала сперва, после уже ей рот зажали... А тот стоит на углу, вроде ничего и не слышит. На другой день наши заявили официальный протест генералу Бертольо, а он знаете что ответил? «Это,— говорит,— ваши внутренние драки, нас эти дела не касаются, и по имеющимся у нас сведениям АЛН к этому происшествию непричастна». Вот же сволочи, дон Луис!

Дон Луис помолчал.

— Где сейчас камарада Обрегон, не узнали?

— Есть слухи, что ее отвезли в Сексьон Эспесиаль...

— Да. Плохо.— Дон Луис опять помолчал.— И еще хуже, что ничего нельзя сделать.

— Нельзя?

— А ты сам как думаешь?

Альберто докурил свою самокрутку и затоптал окурок.

— А что тут думать,— проворчал он.— И так уже мы только и делаем, что думаем... У меня вчера были ребята с фригорифико [1], они правильно ставят вопрос...

— И как же они его ставят?

— А так, что нужно действовать,— сказал Альберто с упрямым выражением.— Почему-то все действуют, даже попы... А коммунисты...

— Что коммунисты? — резко спросил дон Луис.— Что, по-твоему, мы должны делать, а? Участвовать в заговорах вместе с попами и латифундистами, а после переворота отдать им власть? Или ты воображаешь, что мы сможем ее удержать? Запомни хорошо одну вещь: это фашисты могут силой навязывать народам свои идеи, а мы приходим к власти только тогда, когда ход исторического процесса поднимает сознание народа до определенного уровня. Вот и получается, что наша задача сейчас — не заговоры устраивать, а организовывать народ, повышать его классовое сознание, даже, если хочешь, — учить его! Понятно тебе это? А ну-ка, отверни свой комбинезон...

Альберто, смутившись, дернул книзу застежку-молнию. На нагрудном кармане, изнутри, был пришпилен значок: серп и молот на развернутой книге.

— Так я и знал,— кивнул дон Луис.— Сколько раз вам всем говорилось не носить партийного значка, но всякий, понятно, считает себя умнее... Погляди-ка на него хорошенько. Как ты думаешь, почему аргентинская компартия взяла себе такую эмблему — книгу? Случайно?

— Да это понятно всякому, — буркнул Альберто.

— А если понятно, то вот ты и должен был объяснить это своим ребятам с фригорифико. А ты вместо этого развесил уши и сам уже собрался чуть ли не обвинять партийное руководство в оппортунизме...

---

[1] Фригорифико — мясохладобойня (*исп.*).

— Да нет, что вы, дон Луис, я и не думал...

— Ну, бери письма и кати, а то не успеешь. Скажешь Тонио, что я буду у него в середине недели.

Альберто взял письма, попрощался и уехал на своем разукрашенном возке, громко понукая ленивую лошаденку. Дон Луис остался сидеть у ворот, хмуро уставившись взглядом себе под ноги.

Когда до него донесся шум мотора, он сначала не обратил внимания, потом удивился — шум становился все сильнее, кто-то ехал по приватной дороге, оканчивающейся тупиком у ворот кинты. Странно, к ним обычно никто не ездил, кроме поставщиков, всегда приезжавших по утрам. Может быть, сеньора решила вернуться без предупреждения?

Шум мотора приближался, из-за эвкалиптов на повороте вынырнула маленькая светлая малолитражка, идущая с погашенными фарами. Впрочем, было еще довольно светло. Малолитражка — дон Луис узнал новую модель фиата, «миллеченто»,— подкатила к воротам, мотор чихнул и умолк, и из распахнувшейся дверцы выскочила незнакомая сеньорита в черном английском костюме. «Э-э, заблудилась девчушка»,— подумал дон Луис. Сеньорита в черном торопливо направилась к нему.

— Добрый вечер, сеньор,— сказала она странным задыхающимся голосом, — будьте добры, мне нужно видеть сеньора Бюиссонье...

— Добрый вечер. — Дон Луис приложил пальцы к берету. — Боюсь, вы сделали неудачную прогулку, сеньорита: патрон улетел сегодня утром... Если у вас к нему дело, позвоните на будущей неделе, он, очевидно, уже будет дома. Если бы вы приехали вчера...

— Да,— безжизненно повторила девушка,— если бы я приехала вчера... Конечно...

Она опустила голову и сорвала перчатку с правой руки, потом начала ее натягивать.

— Сеньор Бюиссонье улетел во Францию? — спросила она совсем тихо.

— Зачем во Францию — в Штаты. Вы бы зашли, сеньорита, отдохнули в доме. Я вам приготовлю кофе...

— Нет.— Девушка качнула головой, даже не поблагодарив за приглашение.— Он улетел сегодня утром?

Дон Луис видел, как дрожат ее пальцы, судорожными движениями расправляющие перчатку.

— Утром, сеньорита, самолет ушел в полдевятого. С аэропорта «Панагра», в Мороне.

— В полдевятого,— повторила девушка.— Я понимаю... Вы видели его... перед отъездом?

Она подняла голову, глядя на собеседника снизу вверх, губы ее тоже дрожали. «Каррамба, я замешался в романтическую историю,— подумал дон Луис,— подружка это его, что ли...»

— Конечно, сеньорита, видел. Я ведь его отвозил утром в аэропорт. Я, видите ли, здешний садовник.

— Вот как... Скажите, вы не...— Девушка смотрела теперь ему в глаза с молящим и каким-то затравленным выражением.— Скажите, он...— Голос ее прервался, она беззвучно шевельнула пересохшими губами, опять рывками стаскивая с руки узкую перчатку.— Он... сеньор Бюиссонье чувствовал себя хорошо в последнее время?..

Сегодняшнее состояние Бюиссонье, не говоря уже о вчерашнем, дону Луису не понравилось — настолько, что донье Элене, пожалуй, он не стал бы об этом говорить. Но сейчас он посмотрел в молящие глаза странной посетительницы и понял, что именно ей он не должен солгать, что у этой девушки есть какое-то право знать правду.

— Признаться, настроение у патрона было неважное,— кашлянул дон Луис, шаря по карманам комбинезона.— Меня здесь не было, я

только вчера вернулся из отпуска... Мне так показалось, что он вроде был не в себе. Правда, патрон вообще человек не из веселых, но вчера...

Дон Луис покачал головой, нашел наконец свою недокуренную «аванти» и усердно защелкал зажигалкой, стараясь не смотреть на девушку и все время чувствуя на себе ее взгляд.

— Я понимаю...— едва слышно сказала гостья.— Боже, что я наделала...

Закусив губы, она повернулась и, спотыкаясь, пошла к машине, не попрощавшись с доном Луисом. Тот бросил сигарку, растерянно глядя ей вслед и тщетно пытаясь придумать какие-то слова утешения — от чего, он и сам не знал.

— Послушайте, сеньорита,— кашлянул он громче,— я, может, не так...

Но она уже села в машину. Резко хлопнула дверца, маленький «миллеченто» качнулся на легких рессорах. Но мотор молчал. Прошло несколько секунд; дон Луис подумал с тревогой, что девушке стало нехорошо.

Быстро густеющие сумерки уже не позволяли видеть, что делается в стоящей в десятке метров от него машине. Дон Луис подошел ближе, услышал подавленные рыдания и остановился, окончательно потерявшись.

— Ну успокойтесь, сеньорита,— сказал он громко,— зачем же так...

Он не договорил — мотор «фиата» вдруг замурлыкал, брызнули ослепительные лучи фар, еще больше сгустив вокруг себя темноту и выхватив из нее лохматый и словно скрученный ствол эвкалипта. Машина рванулась с места.

Когда рубиновые огоньки погасли за поворотом, дон Луис покачал головой. Не нужно было отпускать ее в таком состоянии, еще разобьется... И что вообще за таинственная история, внезапный отъезд Бюиссонье, теперь эта гостья?..

Он запер калитку и медленно пошел к дому. Ему было жаль незнакомку, выглядела она по-настоящему несчастной, но он не мог тут же не подумать, что даже несчастье — вещь очень относительная.

Если память ему не изменяет, камарада Обрегон тридцать пятого года рождения. Они почти сверстницы — работница с фабрики «Медиас Парис», дочь и сестра коммунистов, и эта элегантная сеньорита. Конечно, никто не спорит: сейчас сеньорита по-настоящему страдает. Страдает от какой-то загадочной любовной истории. И пока страдающая сеньорита мечется по городу в своей итальянской машине стоимостью в триста тысяч песо (пустячок, всего-навсего десятилетний бюджет рабочей семьи) — в это самое время ее сверстницу, девятнадцатилетнюю Бланку Обрегон, пытают в камере Сексьон Эспесиаль. Если она вообще еще жива!

Лежать, притворяясь больной, было отчасти удобно: избавляло от необходимости отвечать на вопросы. Беатрис пролежала так всю пятницу — не шевелясь и не открывая глаз, когда в комнату, осторожно постучавшись и не получив ответа, на цыпочках входил отец. Дон Бернардо смотрел на спящую дочь, сдержанно вздыхал, поглаживал усы и так же бесшумно выходил. Это было хорошо. Но в то же время неподвижное лежание в постели оказалось мукой. Лежать, слушать доводящее до безумия тиканье будильника, шорохи и трески в стенах — и думать, думать, думать...

Не в пример отцу, мисс Пэйдж проявила вдруг редкую проница-

тельность. В час дня она снова вошла с подносом, поставила его на ночной столик и сказала негромко, но твердо:

— Вы не спите, Дора, я это знаю. Меня не интересуют ваши переживания, но есть вы должны. Слышите?

— Хорошо...— Беатрис, не открывая глаз, с усилием разлепила спекшиеся губы.— Оставьте здесь... Я потом...

— Хорошо. Помните, что вы обещали.

Когда англичанка вышла, Беатрис приподнялась на локте и через силу заставила себя выпить стакан сбитого с бананом молока. За окнами сиял солнечный день — первый за всю эту пасмурную неделю. Зажмурившись, чтобы не видеть солнца, неба, зацепившегося за верхушку пальмы тонкого облачка, Беатрис снова легла и замерла, вытянувшись на спине.

Нестерпимо медленно тянулся этот день. Шелестели за окном жесткие пальмовые листья, резко пищали ласточки под карнизом, где-то в доме жужжал пылесос, потом долго гудела басом стиральная машина. Отец несколько раз говорил с кем-то по телефону, перед вечером к нему пришли, и он заперся с гостями в своем кабинете. В соседнем саду громко играло включенное на полную мощность радио, прокричал на улице почтальон: «Cartero-o-o!» Час спустя раздались неистовые вопли мальчишки-газетчика. Жизнь шла своим чередом — чужая и уже ненужная ей жизнь.

В десять часов Беатрис приняла свою обычную дозу люминала. Не будь это опасно, она принимала бы его круглые сутки, едва проснувшись. Спать бы, спать и никогда не просыпаться, не видеть этого страшного мира... «Умереть — уснуть...» Церковь, осуждая самоубийц на вечную гибель, закрывала для нее даже этот последний выход. Зачем ей жизнь? Диос мио, зачем ей нужна теперь ее сломанная жизнь?..

Утром в субботу, как всегда после приема снотворного, голова у нее была тяжелой, физическое самочувствие еще хуже вчерашнего. Но она решила, что должна встать, иначе так можно и в самом деле сойти с ума. Может быть, если что-то делать — заняться хозяйством, попытаться читать...

Самыми трудными оказались простые обыденные действия и поступки: одеваться, готовить себе ванну, чистить зубы, причесываться. Наверно, именно поэтому люди так часто опускаются в несчастье, подумала Беатрис, заметив это. Действительно, когда у тебя растерзана душа — не все ли равно, чистила ли ты зубы.

Покончив с туалетом, она убрала свою постель и спустилась вниз.

— Да, папа, мне сегодня уже совсем хорошо, — равнодушно ответила она отцу.

— Если вы не хотите порридж, — сказала мисс Пэйдж, — может быть, сделать яичницу?

— О, неважно, — отозвалась Беатрис, придвигая к себе тарелку.

Завтрак проходил в молчании. Не поднимая глаз от клетчатой скатерти, Беатрис все время чувствовала на себе то встревоженный взгляд отца, то испытующий блеск очков мисс Пэйдж.

— Кстати, Дора,— сказала та, наливая ей чаю,— вы, если не ошибаюсь, хотели иметь собаку, не правда ли? В Харлингэме мне обещают щенка скотчтерьера, абсолютно породистого. Его можно будет привезти через две недели.

— Блестящая идея, мисс Маргарет,— оживленно отозвался дон Бернардо. — Скотчтерьеры очень умные и ласковые животные, не так ли, Дора?

— О да, папа,— спокойно сказала Беатрис.— Благодарю вас, мисс Пэйдж, вы очень любезны. Передайте мне джем, пожалуйста.

После завтрака она поднялась к себе, взяла с полки первую попавшуюся книгу и села в кресло перед открытой на балкон дверью. Солнце грело ей колени и слепящим светом отражалось от бумаги. Она прочитала страницу, не поняв ни одного слова. Зачем ей теперь читать? Она захлопнула книгу и взглянула на переплет — это оказался Маритэн. Тотчас же у нее в мозгу вспыхнула короткая цепочка ассоциаций: Маритэн — философия неотомизма — святой Томас Аквинский — «Summa Theologiae» — золоченые корешки в шкафу у падре Гальярдо...

В дверь постучали.

— Разреши, Дора? — кашлянул отец.

— Да, папа...

Дон Бернардо вошел с несколько нерешительным видом и опустился в кресло поодаль от дочери, поглаживая усы.

— Я не помешал?

— Нет, папа... Я ничего не делала.

— И не собираешься?

— Не знаю... Нужно будет кое-что поштопать...

— В такую погоду не стоит сидеть дома, девочка, скоро начнутся дожди, и я на твоем месте воспользовался бы последними хорошими днями. Я хотел тебе предложить... После обеда я еду в Ла-Плату и мог бы по пути завезти тебя к Сурриага, в Сити-Белл. Они приглашают провести у них уик-энд. Я, очевидно, переночую в Ла-Плате, а завтра утром приеду в Сити-Белл, и мы проведем воскресенье вместе. Сурриага очень милые люди...

— Зачем тебе в Ла-Плату? — Беатрис словно оторвалась вдруг от совершенно посторонних мыслей.

— О, просто некоторые дела...

— Связанные с заговором? — спокойно спросила Беатрис, глядя в открытую балконную дверь.

— Tiens, — изумленно сказал отец. Иногда, в минуту растерянности, у доктора Альварадо прорывались вдруг французские словечки, оставшиеся от студенческих лет в Париже.— Вот как...

Он встал и прошелся по комнате, сунув руки в карманы домашней куртки из вытертого рубчатого бархата.

— Я должна попросить у тебя прощения,— сказала Беатрис.— Несколько дней назад я зашла в твой кабинет за будильником и случайно прочитала несколько фраз лежавшего на столе письма. Я не должна была этого делать, разумеется. Но я не понимаю, как можно открыто оставлять на виду такие письма.

Доктор Альварадо сердито кашлянул.

— Я слишком уважаю тебя и мисс Маргарет, чтобы прятать от вас свою переписку.

— Папа, я же тебе говорю — я и не собиралась читать, это получилось совсем нечаянно.

— «Нечаянно» — великолепное объяснение. Нечаянно прочитать чужое письмо!

— Всего несколько фраз.

— Хотя бы несколько слов, Дора. Это не оправдание.

— Я не оправдываюсь, я просто объясняю, как это вышло.

Дон Бернардо снова сел в кресло, вплотную придвинув его к креслу дочери.

— Может быть, я был не прав, Дора, умолчав о своем участии в антиправительственной деятельности,— сказал он.— Но видишь ли, политика —это не женское дело, и я не хотел, чтобы ты была причастна к этому хотя бы косвенно.

— Все равно я стала к этому причастна, когда ты вошел в заговор.

— Я принимаю твой упрек, девочка. Но я пошел на это, твердо зная, что ты все равно одобрила бы мое решение. Тебе, Дора, известны политические традиции нашей семьи... Мы, Альварадо, никогда не мирились с тиранией. Вспомни своего прадеда, потерявшего руку под Касерос[1], вспомни Роке и Рафаэля Альварадо, чьи подписи стоят под Жужуйской декларацией от тринадцатого апреля тысяча восемьсот сорокового...

— Я помню, папа,— сдерживая нетерпение, сказала Беатрис.— Конечно, ты поступил правильно, что об этом говорить. Не думай, что я боюсь быть дочерью заговорщика.

— Верю, девочка, ни одна Альварадо этого не боялась. Когда в тысяча восемьсот сорок шестом году Масорка[2] арестовала по обвинению в конспирации твоего...

— Это про донью Эстер Люс? Я знаю эту историю, папа, она есть в хрестоматиях. Ты можешь быть за меня спокоен, я тоже помню свою фамилию.

Дон Бернардо встал и поцеловал дочери руку.

— Спасибо, дорогая, я в этом не сомневался. Видишь ли, Дора, я хотел поговорить с тобой о другом. Мне не хотелось бы показаться навязчивым, но я вынужден снова спросить тебя: что с тобой происходит, моя девочка? Ведь я отец, Дора, ты не можешь ожидать от меня равнодушия к твоей судьбе, согласись сама...

— Со мной ничего не происходит,— тихо сказала Беатрис. Лицо ее снова замкнулось, приняло почти враждебное выражение. Потом ее губы задрожали.— Папа, я не могу об этом говорить, прости...

— Но почему? — терпеливо спросил отец.— Неужели я заслужил твое недоверие?

— Нет, конечно...

— Хорошо, Дора. Очевидно, как я догадываюсь, перед тобой какая-то проблема личного характера. С отцами не принято говорить на такие темы, согласен, но это глупо! Неужели ты думаешь, что я — просто как человек старший по возрасту и опыту — не смогу дать тебе хороший совет? Наконец, хотя бы только подсказать! Пускай решение будет за тобой, я не хочу покушаться на твою внутреннюю свободу, но ведь можно посоветоваться, подумать... Что может быть у тебя такого, о чем нельзя сказать отцу? Если твое недоверие ко мне основано — хотя бы подсознательно — на моей собственной неудаче в семейной жизни, то я готов поговорить с тобой и на эту тему. До сих пор я этого избегал, ты была просто слишком молода, но мне нечего от тебя скрывать, поверь! Мне больно говорить тебе это, Дора, но твоя мать оказалась недостойной женщиной... И ее последний поступок, когда она бросила ради богатства тебя, свою собственную дочь, только подтверждает мои слова...

— Я знаю, — тихо сказала Беатрис. — Где сейчас... она?

— В Мексике, насколько мне известно. Кажется, ее муж стал нефтяным магнатом. Дора, у тебя какая-то трагедия. Скажи, в чем дело?

Он взял ее руку в свои. Беатрис шевельнула пальцами, словно пытаясь освободиться, и затихла, неподвижно глядя мимо отца.

— Никакой трагедии нет, папа,— повторила она упрямо.— Просто нервы...

— Просто нервы! Посмотри на себя в зеркало, что с тобой стало за

---

[1] Местечко под Буэнос-Айресом, где в 1852 году генерал Уркиса разбил войска диктатора Росаса.

[2] Mazorca (*исп.*) — полицейско-террористическая организация, созданная Росасом для борьбы с политическими противниками.

эту неделю! У тебя был отличный, здоровый цвет лица, а на что ты похожа сейчас! Ты ничего не ешь, наверно, и не спишь... Признайся, ты принимала снотворное?

— Ничего я не принимала...

Дон Бернардо вздохнул. Продолжать разговор было бесполезно.

— Так ты поедешь в Сити-Белл?

— Нет, папа. Как-нибудь в другой раз.

— Но, Дора...— уже возмущенно начал он и не договорил. Беатрис осторожно, но решительно высвободила свои пальцы, встала и вышла на балкон.

Доктор Альварадо остался сидеть опустив голову. Через минуту он тоже поднялся и ушел к себе.

У себя в кабинете он тщательно раскурил сигару и принялся шагать по скрипучему паркету. Происходящее с дочерью уже начинало беспокоить его не на шутку. Вначале, еще три дня назад, он не придал этому большого значения,— разумеется, он сразу заметил и ее состояние, и появление в ее комнате отличной картины, изображающей Жанну д'Арк, и исчезновение портрета этого молодого Хартфилда,— но выводы, которые он сделал, сопоставив все это, не были тревожными. По поводу картины Дора дала сбивчивое и неясное объяснение, упомянув какого-то художника, с которым познакомилась у Инес; очевидно, решил он тогда, девочка внезапно кем-то увлеклась или даже в кого-то влюбилась и теперь не знает, как быть с Хартфилдом. В этом не было ничего страшного. По правде сказать, он никогда не считал Хартфилда блестящей партией для дочери; в общем, молодой человек произвел на него тогда неплохое впечатление, но мысль о том, что Дора выйдет замуж за янки и должна будет жить в этой ужасной стране автомобилей и жевательной резинки, — эта мысль была доктору Альварадо неприятна. И он подумал сначала, что случившееся, пожалуй, и к лучшему. Но сейчас уже состояние дочери ему определенно не нравилось. А что, если он здесь чего-то не видит, если тут действительно какая-то трагедия?

— Будем логичны,— пробормотал он вслух, осторожно, чтобы не упал пепел, держа сигару в горизонтальном положении.— В чем симптомы возможной трагедии? В том, что Дора переживает все это так болезненно? Но с ее обостренной, почти экзальтированной религиозностью она и не может легко отнестись к нарушению своего слова. Все дело, очевидно, в этом... Да, несомненно.

Докурив сигару до половины и не придя ни к какому решению, доктор Альварадо сел за письменный стол и достал из ящика неоконченную главу своей рукописи.

Несколько раз пришлось ему перечитать последний абзац, прежде чем он убедился в его легковесности. Громкие слова, пышная — слишком уж испанская — риторика, не соответствующая общему стилю его работы. Безусловно, и у Тацита есть громкие (но тогда уже убийственные, насквозь прожигающие) места, но в основном он писал как подобает настоящему историку — сдержанно и беспристрастно, sine ira et studio. И этот завет великого римлянина особенно важно помнить сегодня, когда пристрастность открыто провозглашена чуть ли не добродетелью...

Доктор Альварадо привычным движением ногтя откинул крышечку чернильницы, обмакнул перо и аккуратно вычеркнул все одиннадцать строчек.

Автоматических ручек он не признавал, не говоря уже об этих ужасных машинках, на которых современные авторы так лихо выщелкивают свои скороспелые опусы (подумать только, Хартфилд даже письма к любимой наколачивает на ремингтоне. Чего можно ожидать

от такой молодежи?). Трудно найти этому логическое объяснение, но факт остается фактом — искусство писать идет на убыль по мере того, как совершенствуются инструменты писания. Действительно, бессмертные произведения писались стилосом или гусиным пером, из написанного стальными перейдет к потомкам не так уж много, а книги, настуканные на машинке, живут, как правило, не дольше года. А теперь, говорят, изобрели еще и электронный версификатор — на бумажной ленте кодируется нужное содержание поэмы, потом нажимают кнопку — и готово. То-то будет бессмертная поэзия двадцатого века, электронный Петрарка.

Доктор Альварадо задумчиво вертел в пальцах старую ручку — оправленную в золото резную вещицу из пожелтевшей слоновой кости. Тоже своего рода реликвия. Этой ручкой подписывались когда-то документы государственной важности, а филигранная резьба попорчена на конце зубками Доры. Она получила ручку в день своего пятнадцатилетия и отнеслась к фамильной реликвии неуважительно: кусала ее, мучаясь над сочинениями и латинскими переводами, жаловалась на необходимость то и дело макать в чернильницу и в конце концов потихоньку от отца купила себе «паркер». Костяную ручку дон Бернардо нашел месяц спустя в ящике ее письменного стола, между программками кино и окаменелыми конфетами, обиделся и унес к себе. Теперешняя молодежь боится старого — идет ли речь о простой ручке или об отцовских советах... В этом, к сожалению, все дело.

Да, с Дорой что-то нехорошее. Не хотелось бы ехать сегодня в Ла-Плату, но его присутствие там будет необходимо. От сегодняшнего совещания с представителями флота зависит слишком многое, а он, признаться, не особенно доверяет всем этим коммодорам и контр-адмиралам. Сейчас, конечно, без единого антиперонистского фронта не обойтись, но основной проблемой будущего революционного правительства неизбежно станет проблема обуздания военщины. Если это правительство само не окажется составленным из адмиралов...

Он вздохнул и начал писать, часто макая перо в чернильницу и с привычным удовольствием ощущая его скольжение по плотной глянцевой бумаге.

Работа сегодня не спорилась, но он не разрешил себе встать из-за письменного стола до самого обеда, пока мисс Маргарет внизу не ударила в гонг. За обедом Дора была такой же молчаливой, ела без аппетита, прятала глаза. После короткой сиесты дон Бернардо проработал с час, потом долго одевался со стариковской неторопливостью, мучился с крахмальным воротничком, выбирал галстук построже. В пять часов он заглянул в комнату дочери — та лежала лицом к стене, спала или притворялась,— и уехал.

На этот раз ей действительно удалось поспать, но сон не принес отдыха — она проснулась совершенно разбитая. Солнца в комнате уже не было, красные лучи освещали крышу соседнего дома за садом. Было душно. Беатрис умылась холодной водой, включила настольный вентилятор и села рядом, подставляя щеки прохладной воздушной струе.

Нет, дольше бороться с собой невозможно. Будь что будет, она должна это сделать. «Будь что будет» — откуда эта фраза? Что-то связанное с историей...

Ее взгляд упал на картину. Ах да! Это же сказал мессир Робер де Бодрикур, провожая Жанну в воротах Вокулёра: «Va, et advienne que pourra»...

Вот именно. Поезжай, и будь что будет; ты должна ехать, это сознание гонит тебя так же, как пастушку из Домреми гнали ее таинственные голоса. Но ведь есть прямое запрещение падре Франсиско, едва

слышно шепнул в ней внутренний голос. Да, есть, она о нем помнит. Но ей теперь все равно, она должна, и она поедет — advienne que pourra.

Двигаясь как сомнамбула, она пошла в гардеробную, переоделась, потом вернулась к себе, выдвинула один из ящичков испанского секретера и переложила в кошелек все деньги — сбережения на покупку новой сумочки.

Мисс Пэйдж встретила ее на лестнице и удивленно вскинула брови:

— Вы уходите?

— Я выйду погулять, мисс Пэйдж, у меня болит голова...

— Почему же вы не поехали с отцом, Дора, он ведь вам предлагал?

Беатрис пожала плечами и ничего не ответила.

На Альвеар она долго и безуспешно пыталась остановить такси; как всегда в субботу после обеда, транспорт был перегружен. Сообразив наконец, что здесь она свободного такси не найдет, Беатрис доехала троллейбусом до Пласа Италиа. После долгого ожидания ей удалось наконец поймать машину с красным флажком «свободно», но шофер наотрез отказался ехать за город. Она обратилась еще к двум, умоляла, совала деньги — все было напрасно. Наконец ей вспомнилось, что Линдстромы живут совсем близко, за Ботаническим садом; Норма звонила ей на прошлой неделе, только что вернувшись из Мирамара. Беатрис вбежала в будку, порылась в сумочке и торопливо набрала номер.

— Что угодно?— спросил вышколенный голос лакея.

— Антонио? Попросите к телефону Норму, пожалуйста... Скажите, что ее спрашивает Беатрис.

— Слушаюсь, сеньорита Беатрис, будьте любезны не вешать трубку.

Наступило молчание. Беатрис лихорадочно кусала губы, трубка в ее руке стала горячей и влажной.

— Ола, это ты, Би? — запищал наконец голосок Нормы.

— Здраствуй, Норма. Я...

— Ой, дорогая, как это мило с твоей стороны — еще пять минут — и ты бы меня не застала, мы едем с Качо куда-нибудь потанцевать! Не хочешь с нами? У нас сейчас сидит мой кузен, курсант военного колледжа. Бедняга остался без девушки, сидит мрачный и дует виски. Выручи его, Би, он, знаешь, танцует как бог...

— Прости, Норма, сегодня не могу. Я...

— Ой, как жаль, Би, дорогая. А ты знаешь, что я тебе расскажу про эту тихоню Хэйди? Вообрази, в Мирамаре...

Норма сделала многозначительную паузу. Воспользовавшись этим, Беатрис торопливо сказала:

— Прости, мне некогда. Я хотела спросить — ты не одолжишь мне машину на несколько часов? Мне очень нужно съездить в одно место, а наша занята...

— Ну конечно, Би, что за вопрос, ведь я тебе говорила — в любое время...

— Спасибо, Норма, так я зайду?

— Ага, приходи, я скажу Антонио, чтобы приготовил. Так ты никак не хочешь на танцы? Как жаль, Би, дорогая, боюсь, что не смогу тебя встретить — Качо уже полчаса как торопит. Ой, ты непременно приезжай завтра, я тебе раскажу про Хэйди, вообрази, она завела себе купальник «бикини» — совсем ничего нет, одни ленточки — и так кокетничала с...

— Хорошо, Норма, потом. Не забудь предупредить Антонио, я зайду через несколько минут.

Беатрис повесила трубку.

Подойдя к высокому новому дому, где Линдстромы занимали целый этаж, она убедилась, что Норма не забыла о своем обещании. Ее маленький «фиат» уже стоял у выезда из подземного гаража, лакей в желтой полосатой куртке похаживал около, крутя на пальце ключи.

Всю дорогу она старалась не думать о том, что произойдет в «Бельявисте». Она увидит Джерри, и все. А потом... Все равно, теперь уже она не остановится ни перед чем.

Только когда впереди показался знакомый столб с повернутым вправо указателем, ее вдруг охватил страх. Она провела машину через мостик и затормозила, глядя на темнеющие впереди эвкалипты. Ты еще можешь повернуть назад. Подумай еще, пока не поздно. Пока еще есть последняя возможность...

Нет, этой возможности уже нет. И ты это знаешь. Теперь уже поздно думать о благоразумии, о собственном достоинстве, о чести фамилии Альварадо. Теперь уже ничто не зависит от тебя, тебя уже вообще нет — есть только твоя любовь, в жертву которой ты сейчас принесешь все. Все без остатка.

С минуту она сидела неподвижно, закрыв глаза и беззвучно шепча слова какой-то молитвы. Сзади, по шоссе, с ревом пронесся автобус. Точно разбуженная этим шумом, Беатрис вздрогнула и включила мотор.

Вернувшись к Линдстромам, она сдала машину, ровным тоном извинилась перед Антонио за беспокойство и пошла по улице, не разбирая дороги.

Лицо ее казалось совершенно спокойным. Но это не была та маска деланного безразличия, которую всякая уважающая себя аргентинка носит на улице в защиту от приставаний фланирующих бездельников; лицо Беатрис окаменело от горя. Четко постукивая каблучками, она шла своей прямой и чуть колеблющейся походкой, и ей хотелось разорвать на себе одежду, упасть наземь и биться лицом о желтые плитки тротуара, крича от боли, от кошмарного сознания никогда не поправимой ошибки.

Никогда! Что сказал этот садовник о скором возвращении Джерри? Что он может знать? Джерри никогда не вернется, они никогда больше не увидятся на этой земле, и все потому, что ты побоялась преступить запрет, послушная дочь церкви! Тебе запретили, и ты всю эту неделю покорно сидела у себя в комнате, зная о чужих страданиях и ничего не делая, чтобы их облегчить. Гордись теперь своей твердостью, своим послушанием...

Вчера, позавчера — все эти дни — Джерри был один, страдал в одиночестве, терзаемый своими предчувствиями. А у тебя не было такого же предчувствия? Ты не чувствовала все эти дни слепого ужаса перед чем-то неизвестным, которое неотвратимо на тебя надвигается? И ты не чувствовала, что это каким-то образом связано с Джерри?

Ты все это чувствовала, знала, но тебе сказали «нельзя» — и ты покорно остановилась, предала любимого в его смертельном одиночестве. Предчувствие может обманывать, но не тогда, когда оно возникает одновременно у двоих. Они никогда больше не увидятся. Никогда!

Сама не зная как, Беатрис очутилась у Клуба католической молодежи. Черная «ланчиа» стояла перед подъездом; Беатрис взглянула на нее, так же спокойно поднялась по лестнице и вошла в зал.

— Салюд, коллега! — закричал вышедший из боковой двери Пико.— Наконец-то я тебя поймал, помнишь наше пари?.. Что с тобой? — испуганно спросил он, подойдя ближе.

— Ровно ничего,— ответила Беатрис.— Падре Гальярдо здесь?

— Кажется, здесь... Да, он там, в той комнате. Дорита, тебе что, нехорошо? Что у тебя за вид?

Беатрис, не отвечая, прошла мимо него; в эту минуту в глубине зала распахнулась дверь, и она услышала голос своего духовника — звучный, богатый интонациями, великолепно модулированный голос умелого оратора. Держа под мышкой портфель — очевидно, он уже собирался уезжать,— падре Гальярдо вышел из комнаты в сопровождении группы молодых людей. Группа остановилась. Обернувшись к своим слушателям, падре продолжал говорить не допускающим возражения тоном:

— ...Кроме того, вам всем должно быть известно, что его святейшество облек монсеньора Степинца кардинальским саном. Может быть, кто-нибудь из вас считает себя более безошибочным судьей в вопросах христианской совести, нежели святой отец? — Голос его, усмехнувшийся добродушной насмешкой, стал вдруг режуще-властным.— Роль, которую монсеньор Степинец играл на Балканах во время второй мировой войны, упомянутым решением святейшего престола одобрена и ретроспективно поддержана, и здесь неуместны какие бы то ни было дискуссии. Его эминенция кардинал Степинец не пытался «возродить тактику Варфоломеевской ночи», как здесь чрезвычайно остроумно выразился наш молодой друг, а всего лишь призвал верных сынов римской католической церкви мечом защитить ее от посягательств со стороны сербского населения Югославии, зараженного ересью православия и атеизмом. Если в этой священной борьбе и были допущены какие-то эксцессы, церковь первая об этом скорбит, ибо — как вам известно — Ecclesia abhorret a sanguine[1]. Повторяю, я крайне неприятно удивлен тем, что этот вопрос мог вообще возникнуть и дебатироваться в среде молодых католиков...

Падре Гальярдо коротко кивнул в знак окончания беседы и направился к выходу. Беатрис сделала несколько шагов наперерез ему и остановилась посреди зала. Падре улыбнулся и подошел к ней.

— Рад тебя видеть, Дора Беатрис,— приветливо сказал он.— Ты, очевидно, ко мне? У меня, правда, не так много времени, но...— он откинул рукав сутаны и посмотрел на часы,— четверть часа я смогу тебе уделить. Пройдем ко мне в комнату, дочь моя...

Он пошел к двери, из которой только что вышел.

— Реверендо падре[2],— сказала Беатрис звенящим голосом.

Духовник обернулся к ней и снова остановился, нетерпеливо шевельнув бровью.

— Я думал, ты хотела со мной поговорить?

— Да, падре. Но я хотела сказать вам только одно. Я сейчас была у человека, о котором мы говорили с вами в среду...

По интонации ее голоса, звенящего перетянутой струной, и по тому, что она отказалась от приглашения поговорить с глазу на глаз, демонстративно начав разговор перед посторонними, падре Гальярдо сразу понял ее состояние и отчасти ее намерение.

— Вот как? — спросил он со спокойной иронией.— Приятно слышать, что ты так пунктуально последовала совету своего духовника. Продолжай, мы тебя слушаем.

Прижимая локтем сумочку, Беатрис зачем-то расстегнула и снова застегнула перчатку на левой руке. Вокруг стало так тихо, что было слышно, как в соседней комнате мягко гудит вентилятор. Лица окружающих белели вокруг нее неясными пятнами; среди них выделилось

---

[1] Церковь отвращается от кровопролития (*лат.*).

[2] Преподобный отец (*исп.*) — принятое обращение к священнику.

вдруг лицо Пико, растерянное и ничего не понимающее. Потом она — словно откуда-то со стороны — услышала свой голос:

— Этот человек, реверендо падре, покинул страну сегодня утром. Перед отъездом он находился в таком состоянии, в каком... в каком бывают люди, приговоренные к смерти...— Голос прервался, она беззвучно шевельнула губами и продолжала тихо, словно думая вслух:— Я до сих пор не понимаю, как могла последовать вашему совету, подчиниться вашему запрещению... Боже, и я еще думала, что поступаю как настоящая христианка... Если бы я поняла это одним днем, одним только днем раньше...

— Конкретно, что ты хочешь мне сказать, Дора Беатрис? — сухо спросил падре Гальярдо.

Беатрис, словно не узнавая, пристально смотрела ему в глаза.

— Вы до сих пор этого не поняли? И продолжаете считать себя христианином?

— Прекратим этот разговор, дочь моя. В твоем теперешнем состоянии он ни к чему не приведет. Отдохни, успокойся, и тогда мы побеседуем. Сейчас ты слишком...

— Как вы могли дать мне такой совет,— почти выкрикнула Беатрис,— ведь я же говорила вам, что этот человек находится на краю пропасти! И как я могла вас послушать! Как я могла принять вас за настоящего пастыря! Сердце говорит мне, что человека, которого я люблю, ждет гибель. Если он погибнет, его убийцей будете вы, реверендо падре Франсиско Гальярдо, я обвиняю вас в этом перед богом и людьми!

Ее слова прозвенели и замерли в напряженной тишине затихшего зала. Ничего не видя, Беатрис повернулась и быстрыми шагами пошла к выходу, продолжая на ходу расстегивать и застегивать перчатку.

8

Уже второй час под самолетом расстилалась пустынная гладь залива Санта-Катарина. Смотреть было не на что: искрящаяся на солнце синева внизу, бездонная лазурь вокруг и серебряная кромка крыла с туманным диском крайнего пропеллера.

Беба постучала пальцем по толстому стеклу и вздохнула. Путешествовать по воздуху было скучно. То ли дело по земле — проедешь пульманом четыреста километров до Мар-дель-Плата и за семь часов успеешь повидать целую кучу интересных вещей: то новый рекламный щит у дороги, то лежащую вверх колесами в кювете разбитую машину, то стадо коров, на которых всегда приятно посмотреть горожанке. А тут — хотя бы какой пароходик внизу...

Единственное преимущество — скорость. В час тридцать она вылетела из Рио, а в шесть будет дома. То есть не дома, а в аэропорту. Хорошо, что не послушалась Линду и не послала Херардо телеграмму; она приедет без предупреждения и встретится с ним на кинте. Конечно, приятно было бы увидеть его среди встречающих, но новость, которую она ему везет, не такого рода, чтобы можно было рассказать ее в сутолоке аэропорта, в толпе. Об этом нужно говорить именно дома. Санта Мария, можно подумать, что он прямо что-то предчувствовал, когда сказал ей, что теперь все будет иначе. Еще бы, теперь все будет совершенно иначе...

— Господа,— объявила хорошенькая стюардесса,— мы над Флорианополисом, столицей штата Санта-Катарина. До Байреса остается тысяча сто километров, ровно два с половиной часа полета...

Беба заглянула в иллюминатор. Внизу наискось выплывала изрезанная бухтами береговая линия, большой вытянутый вдоль нее остров, отделенный от земли узким проливом, россыпь городских построек. С острова только что взлетел маленький двухмоторный самолетик, наверно, какой-нибудь внутренней аэролинии.

Остров проплыл и остался позади. Потянулась буро-зеленая холмистая равнина, курс лайнера наискось врезался в глубь материка, удаляясь от океана. Впереди забрезжили отлогие нагорья, такого же бурого с прозеленью цвета. Беба сунула в рот кислую лимонную карамельку — на всякий случай — и с внезапным сожалением вспомнила Рио, весь этот сумасшедший месяц, пролетевший в купаниях, прогулках и вечерних увеселениях. Тогда ее мало что развлекало, все время тянуло домой, к Херардо, но сейчас вспомнить все это было приятно. И косо торчащий из ультрамариновой воды утес Пан-де-Ашукар, и огромную статую Христа на Корковадо, и Ботанический сад, и волнистую мозаику тротуаров Копакабаны. В общем, Рио веселый и приятный город, пожалуй, Линда права, что не хочет возвращаться пока в Аргентину...

Постепенно она задремала, убаюканная едва заметным покачиванием и монотонным ревом моторов, который проникал сквозь изоляцию пассажирского салона, наполняя весь лайнер негромким, чуть вибрирующим гулом, словно где-то неподалеку клубился гигантский пчелиный рой. Ей приснился Херардо, встречающий ее с охапкой мокрых от росы цветов, и она тихонько засмеялась во сне от счастья, но потом ее разбудило начавшееся среди пассажиров оживление. «Вот и дома»,— сказал ее сосед, толстый, добродушного вида коммерсант. «Как, уже?» — ахнула Беба и взглянула на часы. Было уже без четверти шесть. «Проспала самое интересное»,— подумала она с огорчением и прижалась носом к стеклу.

Самолет шел уже довольно низко, и под ним разворачивался из дымки гигантский план Буэнос-Айреса, который она столько раз видела на бумаге. Желтая вода Ла-Платы, набережные, зубчатая линия гаваней Нового порта, зеленые пятна скверов и парков. Она узнала торчащие из разграфленного улицами хаоса крыш столбики небоскребов — Каванаг, министерство общественных работ с тоненькой иголочкой обелиска неподалеку, строящееся возле Луна-парка сорокаэтажное здание издательства «Алеа». От игрушечных столбиков тянулись влево длинные уже тени, вечернее солнце неистово пылало в иллюминаторах правого борта, внизу ширились и разворачивались такие же разграфленные кварталы северо-западных предместий, трубы заводов, двойная лента автострады Хенераль Пас с ползущими по ней игрушечными автомобильчиками. В салон вошла улыбающаяся стюардесса:

— Господа, прошу застегнуть предохранительные пояса, корабль идет на посадку...

Шофер оказался разговорчивым, как неаполитанец. Всю дорогу он развлекал Бебу самой разнообразной болтовней — и о спорте, и о политике, и о песенках Никколо Паоне; самую популярную из них — «Эй, земляк» — он даже спел, победоносно косясь в зеркальце на сидящую позади пассажирку.

Беба терпела это, слушала и иногда поддакивала. Конечно, лучше бы он помолчал, но что ж делать, если у человека такой веселый характер. Она была до краев переполнена своей радостью, и все кругом казалось таким милым, даже дурацкая песенка Никколо Паоне, которого она вообще терпеть не могла. Беба вертела головой, глядя по сторонам. Вон из-за деревьев машут крылья ветряной мельницы, сейчас она покажется за поворотом. Это не настоящая мельница, только рек-

лама голландских ликеров, но все равно — какая симпатичная... По этой самой дороге они ехали с Херардо, когда он отвозил ее в то утро в аэропорт. У нее тогда было ужасное настроение, она была почти уверена, что между ними все кончено. И вдруг все изменилось, в самую последнюю минуту; кто знает, не скажи он тогда этих прощальных слов,— может быть, она вообще повернула бы свою судьбу совсем по-иному. В тогдашнем ее состоянии она вообще была способна уйти совсем — настолько тяжелой стала для нее эта фальшивая жизнь, эта погоня за малейшими крохами искренности и нежности со стороны любимого...

На секунду ей вдруг стало страшно: а как отнесется Херардо к этой новости? Он ведь не хотел... Явно не хотел, хотя между ними ни разу не было прямого разговора на эту тему. Но тут же она решительно отмахнулась от непрошеной тревоги. Почему он мог не хотеть? Ведь не из боязни же оказаться связанным, ведь он сам несколько раз предлагал ей обвенчаться. Очевидно, причина была не в этом. Или он боялся — это самое вероятное,— что она будет плохой матерью? Санта Мария, да ведь только материнство — вместе с ее любовью — и может наполнить ее жизнь, дать ей какое-то новое содержание...

Впрочем, никакого содержания раньше вообще не было. Если так посмотреть — разве ее жизнь не была до сих пор совершенно пустой? Другие хоть чем-то интересуются, что-то читают... А она — ничего, кроме детективов и дамских журнальчиков. Наверно, Херардо не раз замечал, поэтому и было ему с ней скучно. Но когда ей придется воспитывать ребенка, она и сама станет другой. Недаром она где-то читала, что процесс воспитания полезен для обеих сторон...

Теперь она сама напомнит ему о его предложении обвенчаться. Теперь да, теперь ведь совсем другое дело. Раньше она все время никак не могла избавиться от ощущения, что все происходящее между нею и Херардо — это что-то ненастоящее, какая-то игра. А теперь это уже настоящая семья и их ребенок будет носить фамилию Бюиссонье.

Беба счастливо вздохнула и, не слушая болтовни веселого шофера, приблизила лицо к открытому окну, почти высунулась наружу, щурясь от теплого ветра.

Ворота кинты оказались на запоре. Шофер посигналил, вызывая обитателей, и выгрузил из багажника чемоданы с яркими наклейками: «Guanabara Hotel», «Braniff Airline», «Panair-do-Brazil». Потом он получил деньги и уехал, а Беба с легким саквояжиком пошла по аллее. Навстречу показался дон Луис. Выбежавший за ним Макбет, увидев хозяйку, басовито рявкнул и ринулся к ней.

— Держите его, дон Луис! — в панике крикнула Беба, выставив перед собой саквояжик.

Дон Луис, и без того изумленный неожиданным появлением сеньоры, еще больше изумился ее испугу, но успел схватить пса за ошейник и с трудом удержал на месте.

— Здравствуйте, дон Луис, — засмеялась Беба, пожимая ему руку.— Я боялась, что он меня свалит с разбегу, теперь можно отпустить...

— Добрый день, сеньора, с приездом. Почему же вы не предупредили?

— А я хотела устроить сюрприз. Ну, как вы все здесь живете? Ну-ну, Макбет, славный пес, хороший... Дон Луис, не откажите взять чемоданы, они там у калитки. Мой супруг дома?

— Да нет,— торопливо, уже уходя, отозвался садовник.— Он вернется к концу недели...

— Погодите, дон Луис! Оставьте чемоданы, потом. Он уехал, что ли?

Дон Луис нехотя вернулся.

— Патрон? Да, он... Он, кажется, полетел в Штаты. Вчера утром.

— Ничего не понимаю! Что значит «кажется»? Что, он полетел и не сказал куда?

— Нет, в Штаты, сеньора,— успокаивающим тоном сказал дон Луис.— В пятницу вернется.

— Но как же он мне ничего не написал?

— Сеньора,— улыбнулся дон Луис,— вы ведь тоже не написали о своем прибытии.

— Ну да, но... Ах, как это некстати! — Беба была готова расплакаться.

— Он будет к концу недели, сеньора, не волнуйтесь. Ступайте в дом, я принесу чемоданы.

У себя в комнате Беба подошла к туалету, начала медленно стаскивать перчатки, глядя на себя в зеркало. Широкий гасконский берет, надетый сильно набекрень и заломленный вперед, придавал мальчишеский вид ее лицу, загоревшему под солнцем Копакабаны, и делал его совсем юным. Подумать только, что эта рыжая девчонка через семь месяцев будет матерью. Но ждать — ждать еще целых пять дней, санта Мария! А она так торопилась...

У Бебы задрожали губы. Всхлипнув, она отколола берет, швырнула его на столик и села, прикладывая к глазам платочек.

— Да! — крикнула она, когда в дверь постучали. Вошел с чемоданами дон Луис.

— Спасибо, оставьте их здесь, я разберу. А где донья Мария?

— В отпуске, сеньора, патрон отпустил ее до вашего возвращения. Я сегодня пошлю телеграмму.

— Правда, я же сама говорила насчет ее отпуска... Значит, вы сами себе готовите?

— Сам, сеньора. Но ведь я тоже долго отсутствовал, вернулся два дня назад.

— А-а... Садитесь, дон Луис. А как здоровье дона Херардо? Сядьте и расскажите все толком!

Дон Луис осторожно сел в низенькое креслице.

— Вполне хорошо, сеньора... По-моему, куда лучше, чем было.

— Правда? — радостно переспросила Беба.— Ой, хоть бы он скорее возвращался... Вы не знаете, зачем он туда отправился?

— Вот уж этого не могу сказать, сеньора. А как вам гостилось в Бразилии?

— Спасибо, дон Луис, замечательно...

— Вы хорошо выглядите, сеньора.— Он улыбнулся в усы.— Патрона ждет приятный сюрприз.

Его улыбка снова напомнила Бебе фотографию отца, садовник показался близким и родным человеком. Движимая этим внезапным чувством и настоятельным стремлением поделиться своей радостью, она посмотрела на него с каким-то особым и новым для нее, смущенно-счастливым выражением в глазах.

— Знаете, дон Луис... Я хочу сказать вам очень большую новость. У меня будет ребенок, дон Луис.

Наступило молчание.

— Почему вы так на меня смотрите? — изумленно и тревожно вскинула брови Беба.

— Да нет, сеньора,— спохватился дон Луис,— просто я... Поздравляю, сеньора, от души поздравляю. Понимаете, слишком уж вы молоденькая, ну и... как-то мне трудно представить вас матерью. Но это так, знаете, первое впечатление — от неожиданности... Примите мои поздравления, сеньора.

— Спасибо, дон Луис, большое спасибо.

— Сеньора,— заторопился тот,— вы, наверно, хотите покушать? Я пойду что-нибудь приготовлю, вы пока отдыхайте...

— А вы умеете? — засмеялась Беба.— Тогда пожалуйста, дон Луис, я с удовольствием... Я позавтракала в Рио, в полдень, а потом ничего не ела — в самолете что-то не тянуло.

Дон Луис закивал и быстро вышел из комнаты.

В кухне он включил плиту, налил воду в кофейник и остановился перед окном, глядя в вечереющий сад и задумчиво покусывая ус. По дорожке, преследуя Дона Фульхенсио, галопом промчался Макбет, загнал приятеля на дерево и успел схватить за хвост. Дон Фульхенсио, вцепившись в ствол растопыренными лапами, прижал уши и неистово заорал. «Ты что делаешь, здоровый дурень,— крикнул дон Луис,— чего маленьких обижаешь!» Макбет тотчас же отпустил добычу и отошел с независимым видом.

— Да, плохо дело,— сказал вслух дон Луис, закуривая сигарку. За его спиной звонко защелкал термостат. Он подошел к плите, повернул регулятор и присел к столу, следя за сизыми прядями табачного дыма, медленно уплывающими в открытое окно.

— Вы здесь, дон Луис? — послышался в дверях голос Бебы.— Я к вам на помощь, можно? У меня уже вся усталость прошла, честное слово. Чем вы будете меня кормить? Давайте сделаем яичницу, хорошо? Вы ее любите? Дон Луис, вы знаете — говорят, что на свете нет полностью счастливых людей, но вот я, когда приедет Херардо, буду самой-самой счастливой женщиной в мире...

9

Воздух в кабинете был до духоты согрет сухим жаром калориферов, но за огромным, во всю стену, окном день был морозным. Снег лежал на карнизах, на выступах архитектурных деталей фасадов, на крышах, ощетинившихся причудливыми крестиками телевизионных антенн. Отсюда, с высоты неизвестно какого этажа, можно было рассмотреть здание Объединенных Наций на другом конце Манхэттэна, и в лучах неяркого зимнего солнца оно морозно сияло, как поставленная на ребро гигантская ледяная плита, расчерченная квадратиками бесчисленных окон.

Участники совещания рассаживались в глубоких клубных креслах, вполголоса переговариваясь и поглядывая на розданные им мимеографированные листки, заполненные колонками цифр. Помимо хозяина, Жерара и Брэдли, их было четверо. Двое, с серьезными деловыми лицами, походили на инженеров, собравшихся обсудить какой-нибудь технический вопрос, третий мог сойти за пастора, присутствующего на воскресной чашке чая с дамами-благотворительницами своего прихода, на всем облике и манерах четвертого лежал налет аристократического снобизма.

Сам хозяин отнюдь не производил впечатления акулы. Напротив, это было воплощение скромного и достойного делового человека — энергичные и внушающие доверие черты гладко выбритого загорелого лица, благородные седины, выдержанный синий костюм безукоризненного покроя. Подозрительно выглядел лишь Брэдли, со своим галстуком цвета павлиньего хвоста.

— Джентльмены,— кашлянул хозяин,— с вашего позволения, мы начнем. Перед началом совещания я роздал вам цифры, выражающие рост концентрации капиталов в экономике Соединенных Штатов. Прошу на них взглянуть, хотя я уверен, что никому из вас они не скажут ничего нового.

По кабинету пронесся сдержанный шелест бумаги.

— Эти данные,— продолжал хозяин,— не являются ни для кого секретом. Все вы уже имели возможность сотни раз видеть их на страницах «Форчюн», или «Бизнес уик», или «Уолл-стрит джорнэл». Но приходило ли вам когда-нибудь в голову их значение? Боюсь, что нет. В этих цифрах, джентльмены, содержится смертный приговор американской частной инициативе...

На последних словах хозяин повысил голос и подчеркнул их энергичным хлопком ладони по подлокотнику своего кресла.

— Вас, несомненно, поразит утверждение, что есть на свете сила, способная убить предприимчивость американца. Увы, такая сила существует, и она — как бы парадоксально это ни звучало — порождена не чем иным, как самой инициативой, самим духом предприимчивости, составляющим едва ли не основную черту нашего национального характера... Взгляните на эти цифры глазами человека, который располагает известным свободным капиталом и хочет заняться своим делом. Под словами «свое дело» я подразумеваю серьезный, масштабный бизнес — ну, скажем, создание новой отрасли промышленности или захват контроля над уже существующей. У кого есть сегодня такая возможность? Увы, ни у кого! Возьмем простейший пример: некто сумел запустить действительно перспективное дело и оно успешно развивается; каковы же его реальные перспективы — реальные, а не существующие в мечтах? Рано или поздно этот успех обратит на себя внимание кругов, для которых он будет представлять опасность конкуренции, — и тогда, джентльмены, я ни цента не поставлю на такого человека. Потому что он с этого момента будет обречен. А пройти этот момент, этот критический пункт ему придется так же неизбежно, как самолет должен пробить звуковой барьер, чтобы достичь скорости в тысячу миль... С той только разницей, что пробивать звуковой барьер мы научились, а пробить ту стену, которая воздвигнута монополиями для защиты от конкурентов, до сих пор никому не удавалось. Вы, очевидно, помните «аферу Токера». В этом деле много неясного, но есть основания думать, что Токер своим изобретением действительно мог произвести техническую революцию в области моторов внутреннего сгорания и был попросту удушен — экономически, разумеется, — автомобильными монополистами. Кстати, поскольку мы о них упомянули, будьте добры взглянуть в раздел В. Цифры относятся к первым триместрам прошлого и позапрошлого годов. Данные позапрошлого года: «Дженерал моторс» выпустил 45,5% всех произведенных в Штатах автомобилей. «Крайслер корпорейшн» — 22%, «Форд мотор компани» — 21%, и только 11,5% осталось на долю независимых фирм. За двенадцать месяцев это соотношение изменилось следующим образом: «Дженерал моторс» — 49,5%, «Форд» — 32,8%, «Крайслер» — 12,9%, независимые — 4,8%. Вы поняли? Здесь важно не временное отступление Крайслера — «трое великих» все время ведут между собой борьбу с переменным успехом и в следующем году поражение может потерпеть Форд. Здесь важно то, что за один только год объем производства независимых фирм сократился больше чем на половину. Это, друзья мои, крайне симптоматично! Изобретите вы какой-нибудь чудо-автомобиль, способный пробежать сто миль с одним литром газолина, обладайте вы даже достаточным капиталом, чтобы наладить его серийное производство,— и то я не дам ломаного цента за ваши шансы на конечный успех. Не дам, потому что в автомобильной промышленности уже не найдется для вас места, как не нашлось его для Токера. И разве только в автомобильной? Допустим, вы хотите вложить деньги в сталь. Взгляните на цифры: «Юнайтед стэйтс стил» и «Бетлехем стил» — между этими двумя гигантами распределено 50% всей производственной

мощности, на долю других шести монополий приходится еще 34%, и вряд ли остающиеся шестнадцать только и ждут, чтобы какой-нибудь новый делец обратил на них свое благосклонное внимание...

Хозяин, в голосе которого уже появилась легкая хрипота, налил себе содовой из стоящего на столике сифона и залпом осушил стакан.

— Таково положение во всех отраслях промышленности,— продолжал он.— Электрическую контролируют две фирмы — «Вестингауз» и «Дженерал электрик», которые производят все, что хотите,— от карманных фонариков и пылесосов до турбореакторов для наших воздушных сил. Остальная мелочь, даже такая, как «Эллис-Чалмерз» или «Катлер-Хаммер», существует лишь постольку, поскольку против этого не возражают боссы из Скеннектеди. В химической вы не сделаете ни шагу без согласия Дюпон де Немура. «Стандарт ойл» позаботится о том, чтобы вы не достигли слишком большого успеха в добыче или переработке нефти, и так далее. Черт побери, этих примеров можно привести десятки и сотни, но я не хочу задерживаться на и без того ясном для всех вопросе. Вывод напрашивается сам собою: практически в деловом мире Штатов уже не существует сегодня ни одной области промышленности, где предприимчивый человек мог бы действовать свободно, не подвергаясь опасности быть раздавленным борющимися между собой гигантами.

— Это так,— кивнул один из инженеров, вкручивая сигарету в янтарный мундштук. — К сожалению, это так.

— Джентльмены! — с горечью воскликнул хозяин.— Вы сегодня не можете выбросить на рынок новую марку жевательной резинки без того, чтобы не подвергнуться яростным подводным атакам со стороны уже действующих фабрикантов. И эти атаки будут тем яростнее, чем большим будет успех нового продукта среди покупателей.

— Да-да,— горестно вздохнул похожий на пастора старичок, возводя к потолку свои выцветшие голубые глаза престарелого ангела.— Увы, у нас уже слишком все монополизировано...

— К счастью, не все, — возразил хозяин.— Джентльмены, есть еще одна область — только одна,— в которой по сей день действуют законы свободной конкуренции. Эта область еще ждет своих пионеров, и мы, джентльмены, можем стать этими пионерами. Прежде чем я перейду к сути вопроса, ради которого мы собрались, может быть, стоит сделать маленький перерыв? Бар к вашим услугам, джентльмены.

Поднявшись с кресла с заметным усилием человека, страдающего легкой подагрой, хозяин подошел к одному из тянувшихся вдоль стен кабинета книжных шкафов. Одна из секций, золоченые корешки которой оказались декоративным орнаментом, откинулась вперед, образовав зеркальную полку, за которой открылась внутренность небольшого бара-рефрижератора. Джентльмены разобрали стаканы и занялись напитками, сохраняя сосредоточенное молчание людей, обдумывающих только что услышанные важные новости; только Брэдли обменялся с хозяином несколькими негромкими словами.

Жерар не тронулся с места. Он уже догадался, ради какого вопроса собрались сюда сегодня эти представители «делового мира Штатов». По сути дела, он догадался обо всем этом задолго до того, как очутился в Нью-Йорке. Разумеется — какое другое дело могло быть к нему у Алланова босса? Опять какое-нибудь паскудство. Но какова наглость — пригласить его на это совещание — несомненно, в качестве «технического эксперта»,— даже не переговорив предварительно. Что ж, они настолько уверены в его согласии сотрудничать?

«А почему бы и нет — после Руффо? — пробормотал про себя Жерар, машинально уминая в трубке перегоревший табак.— Ну ничего, пусть дело дойдет до разговора...» Стиснув зубы, он долго рассматри-

вал черный от золы палец, потом шепотом выругался и вытер его о брюки. Ничего, пусть только босс соблаговолит обратиться к нему...

Сегодня понедельник. Хорошо, что все это решится здесь, это даже лучше, чем он предполагал. Вечером он позвонит в агентство, и — если на завтра будут свободные места — в среду он уже дома. В среду он позвонит Трисс. Прямо из аэропорта, в каком бы часу он ни прилетел, позвонит в бюро или даже прямо домой...

Участники совещания рассаживались по местам, переговаривались, двигали кресла. Хозяин взял из шкатулки сигарету и прикурил ее от настольной зажигалки в виде маленькой античной амфоры.

— Продолжаем, джентльмены,— сказал он, выпустив прямую струю дыма и ставя на место серебряную амфору.— Время — деньги, а нам предстоит еще обсудить много деталей. Итак, я сказал, что сегодня имеется лишь одна область, где для делового и энергичного человека есть еще шанс достичь большого и реального успеха. Джентльмены, эта область называется искусством.— Он сделал паузу и обвел слушателей прищуренным взглядом.— Я, разумеется, имею в виду не искусство вообще. Я имею в виду то, что принято называть «фривольным искусством». Не будем бояться слов, джентльмены. Этот род человеческой деятельности еще не монополизирован, и он лежит перед нами, как в свое время лежала перед Саттером девственная Калифорния. Дайте мне три года — и, если провидение не оставит нас своими милостями, к концу этого срока мы будем держать в своих руках трест, более мощный, чем «Дженерал моторс» и «Дженерал электрик», вместе взятые...

— Неплохая идея, Арчи,— лениво процедил бостонский сноб,— назовем его «Дженерал порнограф».

Один из инженеров коротко рассмеялся, остальные смотрели на хозяина с напряженным любопытством.

— Я не шучу, джентльмены,— покачал тот головой.— Должен напомнить вам одну тривиальную истину: широта перспектив всякой монополии прямо пропорциональна широте потребления монополизированного продукта. Было бы глупо монополизировать торговлю этрусскими вазами, но спички — простые спички, которые бесплатно прилагаются к покупаемой вами пачке сигарет,— эти спички создали в годы нашей молодости гигантскую финансовую империю Ивара Крейгера. А тот факт, что американцы полюбили скорость, привел к возникновению таких колоссов, как наши автомобильные сверхкорпорации. И в этом смысле нет принципиальной разницы между книжечкой спичек и «бьюиком», стоящим три тысячи долларов. Важна, как я сказал, не цена продукта, а степень его популярности, степень массовости его потребления...

Второй инженер кашлянул и поправил массивные роговые очки.

— Мне кажется,— осторожно заметил он,— порнографию вряд ли можно назвать предметом первой необходимости. Не хотел бы вас обескураживать, но... не думаю, чтобы средний американец нуждался в ней так же, как он нуждается в спичках или в своем автомобиле.

— Ну, порнография — это слишком сильно сказано,— усмехнулся хозяин.— Будем говорить просто об искусстве м-м-м... легкого жанра, джентльмены. Об искусстве смелого и не слишком пуританского показа человеческого тела. Так вот, если говорить об искусстве такого рода, о потребности среднего американца видеть именно такие изображения, то тут вы не правы,— обернулся он ко второму инженеру.— Эта потребность уже сейчас стала для него почти первой необходимостью. Чтобы не быть голословным...

Хозяин взял с полки толстый номер «Ивнинг пост» и бросил его на стол.

— Полистайте этот журнал, джентльмены,— журнал, который яв-

ляется излюбленным воскресным чтением миллионов американцев. Здесь из полутораста страниц не менее ста заняты рекламами, и по крайней мере половина из них изображает не столько сам рекламируемый продукт, сколько какую-нибудь привлекательную молодую особу в более или менее легкомысленном туалете. Возьмем наугад несколько примеров! Ну, скажем, эти две рекламы — «Спан-Ло Андергарментс» и купальные костюмы «Джентсен» — они, разумеется, и не могут изображать ничего другого... Но, например, этот «линкольн» достаточно хорош сам по себе, однако его сочли нужным сфотографировать с девицей за рулем — опять-таки в купальном костюме, и дверца, естественно, распахнута. А вот моторные яхты «Крис-Крафт», тут вы, разумеется, обратите внимание не столько на самую яхту, сколько на эту очаровательную юную леди, которая в столь живописной позе лежит на палубе. Или, например, это...

Прикрыв ладонью низ страницы, хозяин поднял журнал, показывая слушателям рекламу в ярких красках — выходящую из бассейна девушку, над которой было написано: «Ослепительная красота и легкость».

— Как вы думаете, что здесь рекламируется? Купальные костюмы? Крем для загара? Или грейпфрутовый сок, придающий женской фигуре изящество линий? Ничего подобного, джентльмены, речь идет только об алюминиевой лесенке, за поручни которой держится это прелестное создание...

Он убрал ладонь, открыв надпись: «Алюминиевые изделия АЛКОА — лучшие в мире. Легкость, красота, прочность, высокий коэффициент сопротивления коррозии».

— Я думаю, джентльмены, что трест АЛКОА, снабжающий алюминиевым прокатом нашу авиационную промышленность, может похвастать более интересными вещами, чем лесенки для купальных бассейнов. Однако опубликуй он технические данные лучшей из полученных им новых марок дюраля — этим заинтересуются только специалисты. А из ста нормальных мужчин девяносто девять, перелистывая журнал, невольно задержатся взглядом на такой вот размалеванной девчонке и, следовательно, заметят изображенную под ней фирменную марку «Алюминиум компани оф Америка». В этом и заключена эффективность подобного метода рекламы, каким бы абсурдным ни казался он на первый взгляд.

Хозяин улыбнулся и пожал плечами:

— Разумеется, джентльмены, в то время, когда мы с вами бегали в школу, этот метод многих бы шокировал. Но сегодня он не вызывает ни в ком и тени протеста. Что ж делать, времена и нравы меняются! Я скажу больше — американский читатель был бы сегодня потрясен, если бы такие рекламы и такие изображения исчезли вдруг с журнальных страниц! Это совершенно понятно, мужчина всегда остается мужчиной, и ему всегда приятно посмотреть на изображение привлекательной молодой женщины. Лишите его этой возможности — как он себя почувствует?

Хозяин сделал паузу, обведя взглядом аудиторию, словно ожидая ответа на свой вопрос.

— Да, джентльмены, плохо это или хорошо, но американец к этому привык, это стало для него укоренившейся привычкой, а всякая укоренившаяся привычка превращается в необходимость, в насущную потребность. Я предлагаю трезво исходить из этого факта. Вспомним, что помимо коммерческой рекламы в этом же направлении работают сегодня десятки специальных изданий, демонстрирующих женские прелести в гораздо более широком масштабе, в более откровенной форме и далеко не с такой невинной целью, как содействие торговле. Вспомним

такие журналы, как «Скрин-Гайд», «Глэймор», «Фото», «Пэйджент» или, наконец, знаменитый «Эсквайр» — эту отраду подростков и старых холостяков. Итак, поставим точки над i. Являются ли подобные «вольные изображения» предметом широкого потребления и первой необходимости? Безусловно, являются. Можно ли считать, что сегодняшняя степень их распространенности и их откровенности обусловливает возможность того, что в ближайшем будущем они станут еще более откровенными и более распространенными? Безусловно можно, джентльмены. Следовательно, в данных условиях не исключена возможность возникновения на этой основе целой своеобразной отрасли искусства,— отрасли, которую нужно будет упорядочить и монополизировать. Я предлагаю следующее...

Он закурил новую сигарету и отпил содовой.

— Приглашенный нами на это совещание мистер Бюиссонье,— присутствующие оглянулись на безучастно сидевшего у окна Жерара,— является непревзойденным мастером этого жанра. С его помощью, вернее под его общим художественным руководством, мы создадим экип художников, работающих в том же направлении, в каком мистер Бюиссонье так успешно работал в Южной Америке. Но мистер Бюиссонье работал на избранных, его картины стоят не одну тысячу долларов каждая, а мы перенесем искусство в массы. Как вам известно, джентльмены, последние века прошли под знаком демократизации искусства вообще, и мы не можем оставаться в стороне от этого исторического процесса. Вспомните искусство Возрождения — оно не выходило из дворцов. Для кого писали Рафаэль, Леонардо, Микеланджело? А сейчас любой клерк может любоваться их полотнами в музее или за несколько центов приобрести отличную репродукцию. Для кого писал мистер Бюиссонье? И разве не наша священная обязанность — как граждан страны, являющейся сегодня бастионом свободного мира,— демократизировать его искусство, сделать его доступным для всех?

— Ближе к делу, Арчи, — зевнул сноб, — вы не на трибуне Мэдисон-сквера, какого дьявола заниматься демагогией...

— Короче говоря, я предлагаю организовать — для начала — массовое издание работ мистера Бюиссонье и тех художников, которые будут работать под его руководством. Издавать будем альбомами, высокими тиражами и, следовательно, по вполне доступным ценам. По нашему примеру начнут, несомненно, действовать и другие издательства; ну что ж, придется внимательно следить за ними и по мере надобности ликвидировать их обычными методами честной конкуренции или прибирать к рукам. Ну, как создаются монополии — вы знаете не хуже меня, говорить об этом нечего. Вот моя основная мысль, джентльмены. Если в принципе она получит ваше одобрение, перейдем к обсуждению деталей.

Слушатели молчали. Один из инженеров снял очки и, щурясь, начал протирать их носовым платком.

— Мысль, я бы сказал, перспективная,— осторожно заметил он.— Но, боюсь, в процессе ее реализации мы рискуем войти в конфликт с федеральными властями, что крайне нежелательно. В частности, как насчет цензуры?

— Майк, вы меня сегодня удивляете. Если бы в Штатах действительно существовала цензура, следящая за нравственностью, то половина наших издателей давно уже сидела бы в Синг-Синге.

Сомневающийся надел очки и пристыженно замолчал. Вместо него взял слово похожий на пастора старичок.

— Дорогой Арчибалд, не могу ничего возразить против вашего плана,— заговорил он тихим голосом.— Я восхищен смелостью замысла и тоже нахожу его перспективным. Меня несколько смущает лишь

одно — возможная реакция церкви. Как посмотрит на это дело церковь — вот что меня беспокоит.

— Церковь?— переспросил хозяин.— Но какая церковь? В Штатах существует около двухсот пятидесяти разновидностей этой почтенной организации, и все они питают одна к другой столь христианские чувства, что стоит лишь одной из них поднять голос против нашей деятельности, как остальные двести сорок девять съедят ее заживо, обвинив в клевете на американский образ жизни. Скорее всего могут возмутиться католики, но в таком случае на них обрушатся и мормоны, и баптисты, и методисты, и пресвитериане, и адвентисты седьмого дня, и епископальные протестанты, и иудеи... В конце концов, пятнадцать миллионов католиков — это не так много.

— Да и потом,— зевнул сноб, переплетая вытянутые ноги,— не будем забывать еще одного обстоятельства... По сути своей, наша деятельность пойдет только на пользу церкви... Чем большее количество заблудших душ свернет на стезю порока благодаря нашим картинкам, тем больше работы будет пастырям — ловить их и возвращать в лоно благодати. Если вдуматься, в этом ведь и заключается raison d'être[1] всех церквей, не так ли? Они будут нам только благодарны... Мы ведь создадим для них такую же благоприятную конъюнктуру, какой является война для кадровых офицеров. Поверьте, святые отцы достаточно умные люди, чтобы это понять.

Произнеся непривычно длинную тираду, он еще раз зевнул и опять погрузился в летаргию.

Хозяин улыбнулся, как улыбаются взрослые при невинной выходке балованного ребенка, и снова повернулся к старичку.

— Я не думаю, Джэймс, чтобы ваши опасения были обоснованны. Церковь нам не опасна. Я благодарен за лестный отзыв о моем плане, но детали нам предстоит еще обсудить, и я хотел бы воспользоваться остающимся временем,— он оттянул рукав и взглянул на часы,— чтобы разобраться хотя бы в главнейших. Может быть, для начала мы выслушаем мнение мистера Бюиссонье?

Жерар поднялся и сунул трубку в карман.

— Пока ничего не могу сказать.— Он старался говорить как можно спокойнее.— Я выйду проветриться, но мне необходимо увидеться с вами сегодня еще раз. Когда это можно будет сделать?

— Сейчас половина первого...— задумчиво сказал хозяин, и любезно улыбнулся: — Вас устроило бы в два? Вы хотите говорить только со мной или и с другими джентльменами?

— С вами,— сказал Жерар, направляясь к двери.— В два ровно я буду у вас...

Здесь, на самом дне каменного ущелья улицы, не было ни солнца, ни снега,— мокрый асфальт, глухое рычание автомобильного стада, торопливая толчея на тротуарах и пронизывающий ветер с Гудзона. Впрочем, может быть, он дул и со стороны океана — Жерар не знал, в какой части города он находится. Он долго бродил, задумчиво насвистывая, разглядывая прохожих, иногда останавливаясь перед витринами. Сильно продрогнув в своем легком пальто, он вошел в первую попавшуюся стеклянную дверь. Бармен с уважением смотрел, как он не отрываясь вытянул стакан виски. Подумав, Жерар спросил второй и прошел к свободному столику, набивая трубку. Через несколько минут в голове у него прояснилось, мысли приобрели четкость и последовательность.

Вспомнив покинутое совещание, он пожал плечами. «Черт возьми, напиши об этом — и ведь никто не поверит, скажут: выдумка, это уж слишком...»

---

[1] Смысл существования (*франц.*).

Второй час, десять минут второго. В два он увидит этого сукина сына и скажет ему в лицо все, что думает о нем и о его затее. Хорошо, что сдержался и не начал разговора при всех. Наедине будет проще. Но до какой же степени они уверены в его согласии на эту работу, если даже не потрудились переговорить с ним до начала совещания!

Он отхлебнул виски, поморщился, жадно затянулся дымом. Неприятно было то, что — вопреки всей логике — где-то в глубине души копошилось беспокойство. Откуда у них эта уверенность? Такая появляется лишь тогда, когда у тебя в руках безотказное оружие, дающее тебе абсолютное превосходство над противником. Но какое оружие может быть у них?

Угрозы? Черт возьми, у него в кармане французский паспорт, и достаточно снять телефонную трубку, чтобы связаться с консулом. Пусть попробуют. Скорее всего они, очевидно, попытаются припугнуть его бедностью. Идиоты, трижды идиоты, да разве это его теперь испугает!

Да, нужно было самому пройти через всю эту гнусность, чтобы узнать подлинную цену богатства. Раньше он боялся бедности, боялся отказаться от мечты об успехе. Почему он не поискал себе любую работу? О, он искал, еще бы... Но все это было несерьезно. Его попытка устроиться чернорабочим на строительство была бравадой. Ах вот мол как! Не хотите, чтобы я был художником, так вот возьму назло всему стану пеоном. Бравада, мальчишеская и неумная. А из бравады ничего хорошего получиться не могло. Теперь-то уж он будет действовать иначе. В сорок четвертом году он одно время ремонтировал танковые моторы в походной мастерской дивизии Леклерка, почему же теперь он не может поступить механиком в обыкновенную авторемонтную мастерскую?

Все это неважно, на кусок хлеба он всегда заработает. Лишь бы Трисс приняла его исповедь, лишь бы она простила. Тысячи, миллионы семей живут на скромный заработок механика, неужели не проживут и они? Главное не это, главное — как примет его Трисс...

Взглянув на часы, Жерар встал и торопливо расплатился. Было без двадцати два. Найти такси, доехать — как раз будет время. Ну, сейчас они побеседуют...

Хозяин принял его в том же кабинете, радушно усадил в кресло, предложил выпить.

— Ну, мы в основном договорились,— сообщил он,— джентльмены заинтересованы всерьез. Глоток виски, мистер Бюиссонье?

— Не надо,— отрезал Жерар.

Он сел напротив хозяина, обхватив пальцами подлокотники, и посмотрел ему в глаза.

— Я пришел вот зачем. Меня удивило, что вы сочли возможным пригласить меня на это совещание без предварительного разговора о моем согласии участвовать в подобного рода затее...

— Видите ли,— неожиданно невежливо перебил его хозяин,— я не счел нужным прибегать к предварительному разговору по двум причинам. Во-первых, у меня не было времени. Во-вторых — и это главное,— между нами не может возникнуть никаких разногласий хотя бы потому, что я полностью признаю ваше право ставить любые условия и заранее их принимаю. Какое бы вознаграждение вы ни потребовали, я говорю «да». Мы умеем ценить подлинные таланты, мистер Бюиссонье.

— Мерси, вы очень любезны,— улыбнулся Жерар.— Вся беда в том, что я не собираюсь ставить никаких условий и не собираюсь с вами работать. Так будет яснее?

Хозяин спокойно приподнял брови:

— Но какие же причины мешают вам с нами сотрудничать?

— Боюсь, вы их не поймете...

— Но все же? Давайте уж объяснимся до конца.

— Для этого я и пришел,— кивнул Жерар.

— Материальная сторона дела вас не интересует, я понимаю. Может быть, речь идет о соображениях м-м-м... морального порядка?

— Вы догадливы,— иронически сказал Жерар.— Странно, что это слово нашлось в вашем лексиконе.

— Но, простите... Вам не кажется, дорогой мой Бюиссонье, что и в вашем оно появилось слишком поздно?

— Может быть. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

— Мудрая поговорка,— кивнул хозяин.— Увы, эта мудрость не всегда применима...— Он прищурил один глаз, глядя на собеседника с откровенной насмешкой.— В некоторых случаях понятия «поздно» и «никогда» становятся синонимами. Смешно вспоминать о такой вещи, как невинность, после того как вы ее благополучно потеряли... или продали, если уж называть вещи своими именами. Насколько я понимаю, вы решили покончить с прошлым и начать новую, честную жизнь. С деньгами, заработанными на порнографии, не так ли?

Жерар встал, стиснув челюсти.

— Не знаю, что мне мешает сейчас разбить вам вашу мерзкую фарисейскую морду,— произнес он с тихой яростью.

— О, я не советую вам знакомиться с нашей полицией,— усмехнулся хозяин, тоже вставая.— Смею вас уверить, по части разбивания морд эти парни куда опытнее вас. Одним словом, вот что! Сказанное мною по поводу любых условий остается в силе несмотря ни на что. Честность в игре — закон американского бизнеса. Но работать с нами вы будете, не стройте себе на этот счет никаких иллюзий. В противном случае мне достаточно снять телефонную трубку, чтобы от вас осталось мокрое место. От вас и от ваших планов «честной жизни». Как я это сделаю? О, извольте, не вижу надобности скрывать от вас свое оружие. Вы писали порнографические картины, не так ли? А теперь хотите с нами бороться? Ну что ж...— Хозяин пожал плечами.— Давайте попробуем, дорогой Бюиссонье. Ровно через неделю вы прославитесь на весь мир как герой сенсационного «дела о порнографической живописи». Представьте себе такие заголовки в газетах всего полушария — да и в европейских тоже,— ну, скажем: «Карьера Жерара Бюиссонье» или «Непризнанный гений зарабатывает миллион на картинах запретного жанра». Хороша будет ваша честная жизнь, ха-ха-ха...

Жерар молча повернулся и вышел из кабинета.

...В голове и в сердце у него было теперь совсем пусто — ни ярости, ни сожаления, ничего, кроме безграничной усталости. Главное, теперь уже не нужно было ни о чем думать. За десять минут, проведенных в кабинете, все рухнуло и стало совершенно ненужным. Не нужно было ни о чем думать, не нужно было ни о чем беспокоиться, тревожиться, ждать. Все было кончено, все решилось без него. Он шел в толпе, не замечая холода, чувствуя только опустошенность и огромную душевную усталость. Еще полчаса назад он думал о Трисс — о свидании с ней через два дня, о телефонном звонке, о ее голосе. Теперь ничего этого не будет. Он просто опоздал. Этот тип прав: «поздно» слишком часто означает «никогда». Они встретились слишком поздно, и поэтому они никогда больше не увидятся. Странно, что даже эта мысль — это страшное слово «никогда» — не вызывает в нем сейчас никакой боли. Боль теперь тоже ни к чему.

...Да, мастерский удар. Ничего не скажешь. Абсолютный мат. Глупое выражение, — мат не бывает наполовину, но это все же мат абсолютный. Впрочем, этого следовало ожидать. Наивно было думать, что

они так просто выпустят добычу из своих рук. Они умеют пользоваться бархатными перчатками, но лишь до поры до времени. Пока есть надежда, что одураченный останется одураченным. А когда все карты выложены на стол, то хватка становится мертвой.

Интересно, знают ли они о Трисс. А ведь это именно она превратила их ход в абсолютный мат. Ты заперт на угловом поле. Принять их предложение — и потерять Трисс. Отказаться — и тоже потерять. Не принесешь же ей газетный скандал в качестве свадебного подарка. Так или иначе, ты ее теряешь. Поэтому остается лишь третий ход. Последний, самый последний.

Жизнь все равно не нужна тебе после того, как ты перестал быть художником. Теперь, когда ты потерял Трисс, — еще меньше. По крайней мере, не будет этой травли в газетах, и она не увидит твое имя вываляннным в уличной грязи. Что ж, это уже кое-что.

Впрочем, подумай еще раз: может быть, есть еще четвертый ход? Нет, об этом даже не думается. Четвертого хода у тебя никакого нет, есть только ход в четвертое измерение — последний шаг, который можно сделать из этой трехмерной вселенной...

Он постоял перед светофором, вместе с толпой пешеходов пересек улицу и медленно побрел дальше. Из входа в метро на него пахнуло волной теплого воздуха, насыщенного характерным запахом подземки. Он снова остановился — машинально, словно боясь уходить в холод.

Люди торопливо взбегали по лестнице безликим стадом, как в знаменитом фильме Чаплина. Жерар сверху смотрел на них отсутствующими глазами, стараясь припомнить, где и когда он смотрел этот фильм. Почему-то стало вдруг очень важно припомнить именно это. Но вспомнить он не мог. Это было еще до войны, в маленьком «синема» захолустного провинциального городишки. Очевидно, во время каникул... Да, он был тогда школьником, это он помнит хорошо. Провинциальные городки Франции...

Один из таких городков вспомнился вдруг ему — один из многих, пройденных на страшном пути июньского отступления. Лазурное небо, на которое смотрели со страхом, потому что в нем каждую секунду могли опять завыть пикировщики; стекло и битая черепица на тротуарах, огромная воронка посреди площади с завалившейся в нее танкеткой; беженцы на допотопных «пежо» и «ситроенах», в тележках, бредущие пешком с детскими колясочками и велосипедами с перекинутыми через раму чемоданами; оборванные солдаты разбитых на границе Бельгии линейных полков; выцветшие листы прошлогодних приказов о мобилизации под скрещенными трехцветными флагами и торопливая надпись мелом на прислоненной к дверям школы грифельной доске: «Сегодня занятий не будет»... Для многих, слишком многих ребятишек эти занятия никогда больше не возобновились.

Ледяной ветер высушил слезы на глазах Жерара, когда он снова побрел вперед, запахнув пальто машинальным жестом. Нет, сейчас думать об этом нельзя. Нельзя думать о Франции, нельзя думать об Аргентине — этой экзотической республике, всегда казавшейся непонятной и немножко нелепой и вдруг ставшей такой родной; нельзя думать о городе, где в старом доме на тихой, тенистой улице живет девушка с ясными глазами и чистым профилем...

Итак, все кончено. Остается лишь поставить точку, и хорошо, что это произойдет здесь, в этом проклятом городе, вдали от всего, ради чего стоило жить. Вдали от Франции, вдали от жены, вдали от любимой. Здесь нет ничего, что может в последний момент остановить его руку жалостью или сожалением. Так лучше. Нужно только уметь это сделать. Хотя такое умение приходит обычно само собой, этому не учатся... Хорошо, если бы до конца остаться таким же спокойным. Удаст-

ся ли? Впрочем, какое это имеет значение. Не об этом же теперь думать, в самом деле... Теперь, когда вообще можно не думать ни о чем. Единственное, о чем еще стоит подумать,— это как это сделать. Придется купить револьвер, говорят, это надежнее всего...

Странный покой медленно вливался в его душу. Какими наивными, какими детски наивными были все его мечты, все его планы на будущее... Мыльные пузыри, мираж, наваждение голубой звезды. Неумолимый рок, страшная «мойра» древних трагедий настигла его, уничтожив одним ударом. Мойра? Или в наши дни это называется иначе? Это можно назвать как угодно — мойрой или бизнесом — и представить в каком угодно виде — разъяренной фурией с аспидами в волосах или корректным пожилым джентльменом. Дело не в имени и не в облике, дело в том, что от этого ему уже не спастись...

Постепенно стало темнеть, ветер усилился и стал еще более пронизывающим, вокруг зажигались огни реклам. Огненные разноцветные буквы бежали вверх и вниз, вертелись, кувыркались, кричали о чем-то, уже не имеющем для него никакого смысла.

Было уже совершенно темно, когда Жерар очутился где-то на территории порта и вышел на пирс. У него под ногами, маслянисто переливая огни фонарей, плескалась тяжелая ледяная вода. Он поднял голову, щуря слезящиеся от ветра глаза. В непроглядном мраке мигали далекие огоньки — маяки или пароходы. Перед ним лежала Атлантика — ночь, ветер, тысячи километров водной пустыни. На другом ее конце эти же ледяные волны бились о гранитные причалы Гавра и Шербура, врывались в Ла-Манш, омывая подножия дуврских меловых скал, ревели в каменном лабиринте норвежских фиордов и, уже застывая в последнем усилии, лизали кромку арктических льдов. Земля, маленькая планета, подобно брошенному из пращи камню летела в пустоту, в бездонные океаны вечности. Что из того, если на ней погаснет жизнь какого-то Жерара Бюиссонье — невообразимо малого ничтожества, песчинки из песчинок?

«...Если я рассказал Вам свою историю — всю, ничего не утаивая и не щадя Вашей чистоты,— я сделал это по двум причинам. Первая — та самая, которая заставляет верующих исповедоваться перед смертью. Сегодня я понял, что нельзя уходить из жизни с грузом нераскаянного преступления на сердце. Трисс, не осудите меня за то, что я сделал Вас моей исповедницей. Вторую причину следовало бы назвать первой, и она заключается в следующем. Трисс, в подобном письме нет места недомолвкам. Я знаю, почему Вы играли мне Четырнадцатую сонату, и я видел Ваши глаза в последний момент нашего прощания. Моя любимая, насколько легче мне было бы умереть, не будь всего этого! Но это было, Трисс, и Вы должны знать, что я был недостоин Вашей любви. Поймите это до конца и не ищите никакого благородства в принятом мною решении. Я кончаю с собой из-за самой обыкновенной и недостойной мужчины трусости и ужаса перед окружившими меня обстоятельствами, с которыми у меня нет сил бороться. Я давно уже сломлен и умерщвлен духовно, я был живым мертвецом в блаженный и проклятый час нашей встречи, и моя физическая смерть ничего по существу не меняет — она может лишь закрепить уже совершившийся факт».

Жерар отложил ручку и закурил. Американские спички — картонные, их нужно было отрывать от книжечки — были слишком маленькими, чтобы раскурить трубку в один прием. Истратив две, Жерар с

равнодушным удивлением отметил, что дрожь пальцев исчезла. Он был совершенно спокоен.

Встав из-за письменного стола, Жерар прошелся по комнате и остановился перед камином, в котором тлела горсть каменного угля.

Несколько минут он стоял, попыхивая трубкой, глядя на перебегающие по раскаленным угольям голубые язычки пламени, потом вернулся за стол и позвонил.

— Будьте добры прибавить огня в камине,— сказал он вошедшему бою в маленькой круглой шапочке набекрень. — Здесь можно достать хорошего французского вина?

— В нашем отеле, сэр? — вежливо удивился мальчик. — Ручаюсь, сэр, лучшего вы не могли бы получить даже в Уолдорфе!

— В таком случае принесите мне бутылку... скажем, бургундского.

Через несколько минут просьба была выполнена.

— Угодно ли еще что-нибудь, сэр? — осведомился мальчик.

— Что? А-а, да... Вино поставьте на столик перед камином, потом пройдите в спальню и снимите телефонную трубку. И будьте добры передать консьержу, что меня ни для кого нет в отеле. Пусть говорит, что я еще не вернулся. Почтовое отделение еще работает?

Мальчик бросил взгляд на часы:

— Да, сэр. Впрочем, телеграммы и срочная авиакорреспонденция принимаются всю ночь.

— Хорошо. Зайдите ко мне через полчаса... Хотя я сам позвоню, когда письма будут готовы. Да, чуть не забыл — я уезжаю рано утром, пусть мне приготовят счет. Вы принесете его, когда придете за письмами.

— Слушаюсь, сэр. Ничего больше?

— Больше ничего, ступайте.

Бой вышел, бесшумно притворив за собою дверь.

Посидев с закрытыми глазами, Жерар вынул из бювара новый лист тонкой голубоватой бумаги с гербом отеля в верхнем углу.

«Что же еще остается мне сказать Вам, Трисс? Помните, во время нашей прогулки верхом мы разговаривали о закате? Я сказал тогда о последней черте, которая всему ставит конец, и Вы на меня за это рассердились. Я пришел именно к этой черте, но в тот вечер я думал о будущем нашего общества. Не знаю, был ли я тогда прав, моя любимая. И да и нет. Возможно, я был прав в своих опасениях (или предчувствиях), но нельзя было относиться к этому так, как относился я. Очевидно, нужно что-то делать, чтобы человечество не пришло к своей последней черте. Мы с Вами, Трисс, воспитаны цивилизацией, которая переживает сегодня едва ли не самый страшный кризис своей истории. В такие моменты нельзя быть посторонним наблюдателем. Во время войны, во время Сопротивления, всякого уклонившегося от борьбы мы считали изменником родины; сейчас вышло так, что я стал изменником человечества.

Когда общество переживает кризис, бездействие и предательство становятся равнозначными понятиями. У каждого из нас могут быть свои счеты с обществом, но выключиться из его жизни мы не можем и не имеем права. Нельзя спокойно наблюдать за его распадом, нельзя с утонченным любопытством предвкушать его гибель; нужно переделывать его сверху донизу, спасая то, что заслуживает спасения. Особенно важно, чтобы так думала молодежь, подобная Вам, чтобы она не боялась лепить жизнь своими руками. Как это нужно делать — я не знаю; поэтому я и гибну. Но есть люди, которые знают. И я верю, что рано или поздно это будет сделано...»

Перечитав написанное, Жерар подумал и продолжал быстро писать крупным косым почерком:

«Откуда появилась у меня сейчас — слишком поздно — эта вера? Я думаю, только благодаря Вам. Трисс, моя навеки любимая, Вам по праву я завещаю эту веру, и пусть она поддерживает Вас в трудные минуты. Знаю, что Вы ее не потеряете. Я завещаю Вам также мою любовь к жизни, которая, несмотря ни на что, никогда меня не покидала. Только любя жизнь, можно бороться за ее исправление. И жизнь не прощает тем, кто любит ее издалека, забывая о суровом долге любящего перед возлюбленной. Со мной случилось именно это.

Трисс, прощайте. Знайте, что мне было легко умереть, потому что Ваш светлый образ был со мной до последнего мгновения, как воплощение всего, что я любил в этой жестокой и прекрасной жизни.

Бюиссонье».

Заклеив конверт и надписав адрес, Жерар после короткого раздумья взял второе письмо, еще не запечатанное, и перечитал его, задумчиво хмурясь.

«Беба, моя дорогая девочка,

меня уже не будет в живых, когда ты получишь это письмо. Я не могу поступить иначе — не хочу рассказывать тебе всего, это слишком гнусно, но дело сводится к тому, что шайка Брэдли поймала меня в такую ловушку, из которой мне уже не выбраться.

Прости за горе, которое я тебе причиняю. Я знаю, оно будет для тебя огромным. Сумей его преодолеть — это моя последняя предсмертная просьба к тебе, моя девочка,— и ты сама поймешь, рано или поздно, что иначе быть не могло и что это только к лучшему для тебя.

Тебе, родная, я ведь все равно не мог дать того, что ты заслуживаешь: ни настоящей любви, ни настоящего счастья. Я знаю, что ты всегда хотела иметь ребенка, но разве такие, как я, имеют право на отцовство? Подумай, какие качества мог бы унаследовать от меня наш ребенок?

Я рад, что могу оставить тебе средства для спокойной и обеспеченной жизни. Помни, что ты не одинока, что около тебя есть друзья, всегда готовые поддержать тебя участием и добрым советом. Дон Луис — это человек, которому ты можешь во всем довериться так же, как доверялась мне. Эрменехильдо Ларральде может стать твоим другом на всю жизнь — подумай об этом, шери, прошу тебя. Кроме того, у тебя есть молодость, которая, как и время, залечивает все раны.

Прощай, paloma mia, и будь счастлива — перед тобой ведь вся долгая-долгая жизнь. Целую тебя в последний раз, моя маленькая верная подружка.

Твой Херардо».

Жерар нерешительно потянулся за ручкой и тотчас же, вздохнув, положил ее на место. Что он может написать Бебе о Беатрис? И должен ли он это делать — именно сейчас, именно в этом письме? «Моя маленькая шери, я и в этом непростительно виноват перед тобой...»

Взяв письмо, он вложил его в конверт, заклеил и нажал кнопку звонка. Бесшумно появившийся перед столом мальчик протянул ему узкий лист:

— Вы просили счет, сэр.

— Спасибо... Сейчас сдайте эти два письма заказным авиаэкспрессом и принесите мне квитанции. Я буду ждать.

— Слушаюсь, сэр.

Мрак за окном искрился и мерцал миллионами огней ночного Нью-Йорка. Внизу они сливались в сплошное море света, из которого тут и там застывшими огненными каскадами возносились вверх отдельные небоскребы. Вдали, освещенная снизу прожекторами, телевизионная мачта на остроконечной крыше Импайра сияла своей паутинной структурой, похожая на хрупкое елочное украшение.

Жерар неподвижно стоял перед окном, пока не вернулся бой, принесший почтовые квитанции. Поблагодарив, он сунул их в карман и вынул бумажник.

— Уплатите по этому счету,— сказал он, протягивая мальчику пачку кредиток — все, что нашлось в бумажнике. — Сдачу возьмете себе.

Мальчик вытаращил глаза, не решаясь взять деньги.

— Но, сэр... Это ведь слишком много!

— Берите, берите...

Когда бой исчез за дверью, Жерар взглянул на квитанции и бросил их в камин. Оставалось исполнить еще одну формальность. Подойдя к столу, он взял чистый лист и написал крупными буквами:

«Я, Жерар Поль-Анри Бюиссонье, кончаю с собой по своей доброй воле, находясь в здравом уме и твердой памяти. В смерти моей прошу винить наше столетие».

Жерар поставил дату, подписался, положил лист на видное место посреди стола и вернулся к камину. Опустившись в кресло, он достал из кармана платочек с голубыми инициалами и налил себе вина.

— Итак, Трисс... — негромко сказал он вслух. — Ваше здоровье!

Вино, которое он пил, было последним приветом родины — сок французских виноградников, созревший на французской земле под французским солнцем, превращенный в благородный напиток руками французских виноделов. И Беатрис была рядом с ним — в его сердце звучал ее голос, ее руки вышили этот голубой вензель. Смотри же на него, Жерар Бюиссонье. Смотри на него в последний раз — на пороге вечности.

Прижав платок к лицу, он закрыл глаза и увидел травянистый пригорок, высокое небо над пампой и тоненькую фигурку всадницы. За нею неистовым огнем горел закат — последняя вспышка дня на границе ночи. Трисс, о Трисс, почему это случилось так поздно?..

Зажмурившись еще крепче, Жерар скомкал платочек и бросил его в камин.

Когда он открыл глаза, все было кончено, и только серые лоскутки пепла шевелились на раскаленных углях. Он залпом допил вино и торопливо потянул из кармана маленький пистолет.

В последний момент самообладание его покинуло. Пальцы не сразу нащупали кнопку предохранителя, вкус стали и оружейной смазки вызвал на мгновение чувство отвратительной тошноты, зубы стучали о металл, как в жесточайшем приступе лихорадки. Собрав последние остатки сил, он на какую-то долю секунды еще раз овладел своими нервами и повернул пистолет боком, чтобы удобнее было сжать зубами его плоский ствол. Зажмурившись и левой рукой машинально отерев со лба холодную испарину, Жерар вцепился ею в подлокотник кресла и, откинувшись всем телом на спинку, спустил курок.

1956—1959
Буэнос-Айрес — Воронеж — Ленинград

Ступи за ограду

ЧАСТЬ I

Одиночество

1

Звонок залился так оглушительно громко, что мог перебудить спящих всего квартала. Впрочем, многие ли спали в эту ночь? Улица, мокро блестящая булыжниками в желтых пятнах света под раскачиваемыми ветром фонарями, была безлюдной, и безлюдность — он не мог избавиться от этого ощущения — была какой-то затаившейся. Те, кого не было сейчас на обмытых дождем тротуарах, не просто отдыхали в своих домах — они прятались, ждали и прислушивались.

— Кто там? — спросил за дверью настороженный женский голос.

Пико еще раз оглянулся — на улице не было никого — и приблизил лицо к дверной решетке.

— Прошу прощения, сеньора, мне нужен доктор Ларральде,— сказал он внятно, стараясь не повышать голоса. — По очень важному делу...

— Моего сына еще нет, — помедлив, отозвалась женщина из-за двери. — А кто его спрашивает?

— Ретондаро,— сказал он еще тише, снова оглядываясь. — Пико Ретондаро, к вашим услугам, сеньора. Мы с Хилем друзья. Когда он может вернуться? Мне совершенно необходимо...

Дверь отворилась, и женский голос из темноты пригласил его войти. Потом дверь захлопнулась за его спиной.

— Сейчас включу свет,— сказала сеньора Ларральде, продолжая возиться с запорами. — Я до сих пор не могу опомниться... Какой день, сеньор Ретондаро, какой день! Все эти бедные люди, которые ничего не ожидали, а были, говорят, и с детьми...

Щелкнул выключатель. Пико увидел себя в обществе пожилой женщины с испуганным выражением лица.

— Очень рад, сеньора. — Он поклонился. — Как поживаете?

— Проходите, сеньор. — Донья Мария открыла дверь в гостиную. — Я дам вам кофе, вы совсем промокли. Сын должен вот-вот вер-

нуться. С этими событиями — вы сами понимаете — воображаю, что делается там, в госпитале! Иисус-Мария, какой ужасный день...

Донья Мария повторила приглашение сесть и чувствовать себя как дома и вышла. Пико, держа руки в карманах плаща, обвел взглядом маленькую, старомодно обставленную гостиную. Семейные фотографии, маленькая статуэтка Луханской мадонны, какие-то сувениры из ракушек. Большая цифра 16 на отрывном календаре. Он шагнул к календарю, сорвал листок и долго смотрел на него, словно пытаясь разобрать иероглифы. 1955, 16 июня, четверг. День поминовения святого Иоанна-Франциска Р. Что означает это «Р.»? Римлянин? Был разве такой святой — Иоанн-Франциск Римлянин? Возможно, был. Возможно, не был. Какое это теперь имеет значение?

Он сложил листок пополам, потом вчетверо и зачем-то спрятал его во внутренний карман. Какой адский холод в этой комнате, здесь, очевидно, никогда не топят. Черт, он весь промок. Сколько прошло часов? Сейчас уже полночь, а началось это около полудня...

Точнее — около полудня началось в городе. Для них все это началось еще сутки назад. На рассвете они — штурмовая группа, обозначенная в диспозиции под кодовым именем «Хота», — уже шестой час томились в прокуренных комнатах чьей-то пустой квартиры в Палермо, ожидая условного сигнала по телефону. Задача, стоявшая перед ними, заключалась — если вспомнить слово в слово текст диспозиции — в «содействии захвату казарм Первого моторизованного полка Мальдонадо». Кто, собственно, должен был захватывать Мальдонадо, кому они должны были в этом содействовать — они не знали. По крайней мере, лично он не знал. Плохо представлял он и то, каким образом тридцать человек с пятью «томпсонами» могли содействовать захвату одной из самых крупных казарм столицы. Пистолеты-то у них были, еще бы. У кого из студентов в наши дни нет пистолета! Но автоматов было всего пять. Конечно, может быть, те, кому они собирались содействовать, были вооружены лучше...

— Чашечку кофе, молодой человек? — Донья Мария поставила на стол сахарницу и кофейник. — Что же вы не садитесь? И плащ лучше сняли бы,— он у вас весь мокрый... Впрочем, здесь холодно...

Она говорила что-то еще, Пико ее не слышал. Присев к столу, он выпил кофе почти залпом, не размешав сахар; хозяйка немедленно налила ему еще.

— Вы бесконечно любезны, сеньора,— пробормотал он сквозь сжатые зубы, чувствуя, что его начинает колотить озноб. — Но вы должны знать, что я замешан в сегодняшних событиях. Может быть, мне лучше выйти и подождать Хиля на углу квартала...

— Еще чего, в такую погоду! — возразила донья Мария. — Вы думаете, мой сын никогда не был замешан в событиях? Извините, я вас оставлю,— ужин еще не готов...

Донья Мария вышла. Пико сидел, нахохлившись в своем мокром плаще, и грел руки о кофейник. Потом он налил себе еще чашку и выпил так же, залпом. Напоминание об ужине вызвало у него голодную спазму в желудке. Впрочем, он где-то что-то съел. Несколько часов назад. Прежде всего нужно восстановить в памяти — как, в какой последовательности все это случилось.

Утром они были там, в Палермо,— вся «группа Хота». Сидели и ждали сигнала, чтобы идти брать это проклятое Мальдонадо. Но сигнал так и не был получен, вместо этого около одиннадцати им позвонили и сказали, что весь список «Хоты» попал в руки полиции, что план меняется соответственно этому и все тридцать человек должны немедленно исчезнуть. Не только из района Палермо, не только из

Буэнос-Айреса — предпочтительно вообще из Аргентины. На хорошем кастильском языке это означало: «Спасайся кто может».

Они вышли втроем — он, Эрнандо и маленький Кёрман с инженерного факультета. Разобранный автомат Эрнандо рассовал по специально приспособленным для этого карманам под плащом, а магазины отдал им. Два унес Керман, а два остались у него. Он хорошо понимал, что если его арестуют сейчас, пока у него еще нет фальшивого удостоверения личности, то судьбу его решат не эти два магазина, а имя и фамилия, фигурирующие в захваченном полицией списке штурмовой группы. К тому же, кроме магазинов в кармане лежал пистолет. Подумаешь, одной уликой больше или меньше!

Он добрел пешком до Пласа Италиа. На улицах было спокойно, жизнь шла своим обычным чередом. Только в баре, зайдя выпить кофе, он вдруг сообразил, что произошло что-то очень важное с самим планом восстания и дело вовсе не в захваченном списке. Его привыкший к логике ум юриста не мог согласиться с тем, что атака на Мальдонадо отменена только потому, что полиции стали известны фамилии некоторых из тех, кто должен был в этой атаке участвовать. А распоряжение «исчезнуть из Буэнос-Айреса и предпочтительно из Аргентины» — к чему оно? Значит ли это, что руководство восстанием уже заранее, еще ничего не начав, предвидит провал? Или восстание вообще отменено? Но ведь им же сказали, что речь идет лишь о частичном изменении плана. Если заговорщикам все же предстоит действовать, то в силу какой логики они перед этим распыляют свои силы и лишаются определенной их части?

Он хорошо помнит, что думал обо всем этом, сидя в открытом на площадь баре против памятника Гарибальди, а проклятые магазины упирались ему под ребра и оттягивали карманы — два тяжелых прямоугольных бруска, отштампованные из черной вороненой стали, теплые и какие-то скользкие на ощупь. А потом вокруг него стало очень тихо, и он услышал вдруг, как кто-то срывающимся голосом рассказывает, что полчаса назад самолеты морской авиации атаковали правительственный квартал, сбросив бомбы на Розовый дом и военное министерство. Началась паника, люди повалили к выходу. Кто-то кричал, что метро и троллейбусы уже стали, а автобусы будут пока ходить по кольцевым маршрутам, минуя центр. Он продолжал сидеть в почти опустевшем помещении, охваченный внезапной и отвратительной слабостью, и с каждой секундой картина всего происшедшего становилась ему все более беспощадно ясной...

— Ну, вот вы и дождались,—сказала донья Мария, заглянув в комнату. — Хиль приехал, кто-то подвез его на машине. Сейчас будете ужинать.

Он поднялся из-за стола и отошел к окну, оттягивая кулаками карманы плаща. Совершенно отчетливо ему вдруг вспомнился характерный звук набитого патронами магазина, падающего на кафельный пол. Он выбросил их в уборной, там же, в баре на Пласа Италиа. Такой тяжелый дребезжащий удар, резкий и вместе с тем глухой, короткий и совершенно без резонанса. Он их выбросил потому, что уже там, в опустевшем баре, еще не побывав на Пласа-де-Майо и не увидев всего своими глазами, он уже все понял, и понял, что для него «революция» уже окончена...

Дверь распахнулась. Хиль Ларральде, небритый, отчего его ястребиное лицо казалось еще более худым, в пальто и криво нахлобученной шляпе, заглянул в гостиную.

— А, — сказал он, увидев гостя, — Ликург пожаловал? Привет. Я сейчас помоюсь, минутку.

Донья Мария накрыла на стол. Вернулся Хиль.

— А ты? — спросил он у матери, увидев два прибора.

— Я давно поужинала,— ответила та,— ты же знаешь, мне запрещено есть на ночь...

Поставив на стол сифон и початую бутылку дешевого «тинто», она пожелала приятелям доброго аппетита и вышла.

— Давай поедим сначала,— сказал Хиль хмуро, придвигая свою тарелку.— Я еще ничего не ел... Сестры там раздобыли пару бутербродов. Устал, как мул. Ешь, после поговорим. Или ты куда торопишься?

— Нет,— ответил Пико и машинально посмотрел на часы.

Они покончили с ужином молча и очень быстро. Хиль собрал тарелки, кости, пустую бутылку, унес все это на кухню и вернулся с уже знакомым Пико кофейником.

— Ну, рассказывай,— пригласил он, разлив кофе. — Ты что, тоже влип?

— Да,— сказал Пико. — Понимаешь... Список группы, в которую я входил, попал в руки полиции. А мы должны были выступить сегодня утром. Да, и вдобавок после обеда полиция заняла все наши явки... насколько мне удалось узнать.

— Фальшивки у вас есть у всех? — угрюмо спросил Хиль.

— Ни у кого их нет. Этот вариант не был предусмотрен.

— А что было предусмотрено? Устроить бойню в центре столицы, накрошить человечины — и потом что? С комфортом переселиться в Уругвай? Что же ты молчишь? Ты всегда обвинял меня в политическом дилетантстве. Ладно, мы играли в политику. Но мы не убивали детей!!

После выкрика Хиля в комнате стало очень тихо. Слышно было, как за окном, в вымощенном плитками патио, равномерно журчат стекающие с крыши дождевые струйки. Пико отодвинул нетронутую чашку.

— Давай договоримся,— сказал он, сдерживая голос. — Или ты веришь мне на́ слово, потому что никаких доказательств у меня сейчас нет, или я лучше уйду!

— Куда ты к черту собираешься уйти без фальшивки? Говори, раз пришел. Хотя я заранее могу сказать, что́ ты будешь говорить. Вы, невинные голуби, ничего не знали, не правда ли?

— Да, мы ничего не знали. Мы — я, по крайней мере, говорю о своих друзьях,— мы вошли в гражданское крыло заговора, будучи уверены, что наши руководители обо всем осведомлены и будут держать нас в курсе. А военных мы вообще не знали. Нам были только известны имена некоторых высших офицеров флота — Кальдерон, Оливьери и еще двое-трое. А в результате получилась гнусная история...

Он вытащил из кармана плаща смятую пачку, расковырял ее — сигареты были сырыми. Хиль молча протянул ему свои.

— Я понял все, когда услышал о бомбардировке,— продолжал Пико, не сразу раскурив сигарету. — Эти проклятые миликос [1] просто решили в последний момент устранить нас из игры... и действовать своими обычными методами. Я еще не совсем уверен, что наши имена попали в полицию без их содействия...

— А они действительно там?

Пико помолчал.

— По крайней мере, за мной уже приезжали,— сказал он, усмехнувшись одной стороной лица. — Я побывал у своей невесты... Ты ее, кажется, знаешь... Лусиа Ван-Ситтер. Она съездила к нам и разговаривала с прислугой. Приезжали около пяти вечера — спрашивали, где я и что я. Ну ладно, это несущественно...

---

[1] Milicos (*исп.*) — пренебрежительная кличка военных в Аргентине.

— Существенно здесь то, что вы все — ты и все твои р-р-революционно настроенные сеньоритос,— все вы оказались сопляками. Ясно? Самые настоящие безмозглые сопляки — вот кто вы такие, и я рад, что вам хоть таким образом немного прочистили мозги. Ты мне хвастал когда-то, что близок со стариком Альварадо — помнишь? Еще расхваливал его до небес: «Гордость аргентинской науки, настоящий классический ум»,— ты уже не знал, какими еще эпитетами его обвешать. А когда старик порвал с вашей бандой — тебе, что же, этот факт ни на что не раскрыл глаза? Или ты тогда решил, что ум у дона Бернардо не такой уж классический, а вот ум вице-адмирала Кальдерона действительно...

— Пошел ты к черту, Ларральде! — крикнул Пико. — Я тебе уже сказал, что в таком тоне нам разговаривать нет смысла! Легче всего указывать на чужие ошибки, когда сам ничего не делаешь...

— Я-то как раз делаю! Я сегодня всю вторую половину дня только тем и занимался, черт бы вас драл, что чинил и штопал последствия ваших невинных ошибок! Тебе известно, что одна из первых бомб — на углу Пасео Колон и Альсина, прямо перед министерством,— разорвалась в пяти метрах от переполненного троллейбуса? Я это знаю, потому что некоторых пассажиров потом привезли к нам... Тех, у кого осталось что к чему пришивать. Остальных сгребали лопатой. Понял, революционер?

Пико снял очки, вытащил из кармана плаща скомканный платок — мокрый, в прилипшем табачном мусоре — и стал бесцельно тереть стекла.

— Я этих бомб не бросал,— сказал он наконец, близоруко моргая.— Ни я, ни мои товарищи к этому непричастны. Способен ты наконец это понять, кусок кретина?!

— Не вопи, истеричка. Я тебя и не обвиняю в том, что ты лично приказал бомбить Пласа-де-Майо. Я только знаю, что вина за случившееся лежит и на вас, потому что это случилось только потому, что существовал этот ваш заговор. Военные не отважились бы на восстание в одиночку, без поддержки гражданской оппозиции.

— Однако они без нее великолепно обошлись!

— Да, в последний момент. А до самого выступления они хотели создать видимость сотрудничества и единомыслия с гражданскими кругами. Но ведь вы ни черта не поняли! И даже когда из игры вышла группа Альварадо, вы старику не поверили, вообразили себя умнее...

Пико надел еще более помутневшие очки, посмотрел на лампу, снял и снова принялся протирать — на этот раз бумажной салфеткой.

— Дело совершенно не в этом,— возразил он.— Никто из нас не воображал себя умнее доктора Альварадо, мы принципиально не были согласны с его основным тезисом. Мы считали, что к проблеме создания революционного блока нельзя было подходить с такой... с тем чрезмерным «пуризмом», что ли, какой проповедовала группа Альварадо.

— Ну, теперь и собирайте, что посеяли,— кивнул Хиль и встал из-за стола, посмотрев на часы.— Так... Каррамба, уже второй час! Я тебе постелю у себя в комнате, сейчас все устрою. Что ты думаешь делать завтра?

— Завтра мне нужно во что бы то ни стало пробраться в Энсенаду.

Хиль задержался у двери и обернулся:

— В Энсенаду?

— Ну да, в Рио-Сантьяго.

— Верно, я же забыл, что сеньор связан с флотом тесными узами! Ну-ну.

Ларральде вышел. Пико допил свой остывший кофе, обошел комнату — промокшие туфли попискивали при каждом шаге,— потрогал стоявшее на полочке странное сооружение из ракушек, с вклеенной в него фотографией пляжа и надписью «Мар-дель-Плата, 1929». Это сочетание цифр было каким-то привычным; он постоял с минуту, разглядывая выцветшую фотографию, и только потом сообразил, что 1929 — это год его рождения. Вздохнув, он поправил очки и отошел к к окну. Тонкие струйки дождя продолжали журчать так же монотонно.

Дождь начался вечером. Когда он был на площади, дождя еще не было. Возле министерства военно-морского флота еще стреляли, за Розовым домом — у памятника Колумбу — догорали автомобили на исковерканной бомбами площадке паркинга. Там же, правее, поближе к военному министерству, солдаты устанавливали зенитки. А на самой площади — путаница оборванных троллейбусных проводов, битое стекло и какие-то обломки под ногами придавали ей непривычный хаотический облик,— на самой площади ревела толпа перед разгромленным зданием папской курии[1]. Здание уже горело, но из верхних этажей еще выбрасывали на площадь книги и мебель. Он стоял поодаль в каком-то оцепенении и равнодушно думал о том, что, если сейчас ветер отогнет борт его плаща и кто-нибудь увидит сине-серебряный значок с крестом, его убьют тут же, ни о чем не спрашивая. У него даже не будет времени вытащить пистолет. А если бы нашлось время? Все равно он бы не стрелял. И не только потому, что это было бы бессмысленно...

— Ну, идем укладываться, — сказал вошедший Хиль. — Ты у меня еще никогда не был? Это наверху. Оружие с тобой?

— Со мной.

— Давай сюда. Завтра получишь обратно, а держать у себя это дерьмо я не хочу. В конце концов, я здесь не один.

Пико сунул руку за борт пиджака и выложил на стол большой «баллестер-молина».

— Двадцать второй?— спросил Хиль, взяв пистолет.

— Сорок пятый. У них сменные стволы, на любой калибр.

— Вон оно что. Я вижу, факультет права и общественных наук кое-что тебе дал, а? Пошли. Я это пока спрячу, до завтра.

Хиль накинул на плечи пальто. «Минутку»,— сказал он, когда они вышли в слабо освещенный фонарем патио, и направился в дальний его угол, где виднелась цементная раковина для стирки и громоздились какие-то ящики. Пико ждал, поглядывая в темное небо и морщась от падающих на лицо дождевых капель.

— Ну вот,— удовлетворенно сказал Хиль, подходя к нему.— Там отличное место, ни одна собака не найдет. Осторожность никогда не мешает, дорогой конспиратор... Взбирайся наверх, только осторожно, в дождь здесь скользко. Из-за этой лестницы мне вечно не везет с любовью — представляешь, таскать девчонок на этакую голубятню?

Очутившись в «голубятне» и увидев приготовленную постель на раскидном кресле, Пико почувствовал вдруг такую смертельную усталость, что едва заставил себя раздеться. Хиль улегся на кушетке, ироническим тоном пожелал ему спокойной ночи и погасил свет.

— Спишь, Ретондаро?— спросил он негромко спустя четверть часа.

— Черт, не знаю, что со мной такое,— с досадой отозвался Пико.— Думал, что головы не донесу до подушки, а теперь какая-то идиотская бессонница...

Хиль зевнул.

---

[1] В данном случае — дипломатическое представительство Ватикана.

— Да, мне тоже не спится. Хочешь снотворного? Из двух зол, старик...

— Спасибо за совет. Завтра я хочу быть с ясной головой.

— Похвальное желание,— одобрил Хиль, роясь в своей брошенной на стул у изголовья одежде.— Почему оно не возникло у тебя несколько раньше?

Он закурил сам и перебросил приятелю сигареты и спички.

— Так ты завтра едешь в Рио-Сантьяго,— продолжал он, молча докурив сигарету до половины.— Насколько я понимаю, там только пересадка. А дальше куда, если это не слишком нескромное любопытство?

— Брось ты паясничать,— раздраженно огрызнулся Пико.— Сам не знаешь, куда можно бежать из Сантьяго?

— Разумеется, в Монтевидео. О, Монтевидео! Земля свободы, традиционное прибежище всех аргентинских тираноборцев, начиная с диких и омерзительных унитариев. Так, так. Значит, доктор Ретондаро едет заканчивать свое политическое образование в эмиграции. И на чем же тебя повезут бравые питомцы адмирала Броуна — на подводной лодке?

— Иди к черту...

— Нет, на подводную лодку ты не соглашайся. Это не демократично, потому что таким образом драпали к нам недобитые наци в сорок пятом, и потом это не романтично. Вспомни, как это делалось во времена Мармоля. А? Ночь, пустынный берег, утлая бальенера[1] и на палубе — изгнанник, живописно окутанный плащом. А ты? Подлодку тебе не дадут — слишком много чести и горючего, — а повезут на патрульном катере, который будет трещать и вонять на всю Ла-Плату. Подумаешь, романтика изгнания! Оставался бы лучше здесь, Ретондаро.

— Идиот,— прошипел Пико, швырнув окурок, рассыпавшийся в темноте красными искрами.— Я же тебе сказал, полиция меня разыскивает!

— Верно, я и забыл. Интересно, твои адмиралы уже успели дать интервью уругвайским газетам?

— Насколько я знаю, они уже арестованы... Так мне сказали у Ван-Ситтеров. Кто-то застрелился, остальных взяли.

— Кретины, даже удрать не сумели. А что, семья твоей невесты тоже участвует в предприятии?

Пико раздраженно фыркнул в темноте.

— Семья? Они там сегодня все по очереди падали в обморок, пока я разговаривал с Люси! А потом этот старый бол... Словом, мой вероятный тесть начал плести мне всякую чушь насчет того, как должен вести себя настоящий мужчина, не желающий подвергать опасности дом своей невесты...

— Вообще-то нужно сказать, что ты и в самом деле поступил не очень рыцарски, посылая сеньориту к себе домой. А если бы ее там схватили?

— Ее никто и не посылал, она поехала по собственной инициативе.

— Смелая девчонка. Почему ты, собственно, до сих пор не женился? Я об этой Ван-Ситтер слышу от тебя уже года четыре. А за дочкой старика Альварадо ты не приволакивался? Помнишь, такая недотрога, с глазищами? Кстати, куда она девалась, я ее что-то давно нигде не встречаю...

— Дорита? Она в Европе, уже около года. Никогда я за нею не ухаживал всерьез. Так, шутки ради...

Пико зевнул и завозился на своей скрипучей постели.

---

[1] Ballenera — вельбот (*исп.*).

— Да-а, Дора Беатрис Альварадо...— задумчиво произнес он после недолгого молчания.— Фатальная женщина. А в свое время и я называл ее недотрогой.

— Фатальная?— В голосе Ларральде послышалось любопытство.

— Да нет... Это я в шутку. С ней в прошлом году была загадочная история — полюбила какого-то человека, а он умер, что ли, точно не знаю. Собственно, я не знаю почти ничего — однажды случайно был свидетелем ее разговора с падре Гальярдо... Не только я один — это происходило в клубе... Выглядела она тогда совершенно какой-то обезумевшей. А потом я только слышал, что она болела, у дона Бернардо спрашивать неудобно, так что толком я так ничего и не знаю.

— Каррамба, кто бы мог подумать,— отозвался Хиль.— Такая краснеющая лицеисточка. А у нее же был жених — янки, что ли? Это не он умер?

— Думаю, что нет.

— Так, так. Значит, она имела неосторожность влюбляться каждый год в нового. Действительно, фатальная персона. Она мне почему-то напоминала какую-нибудь такую инфанту, ей всегда не хватало стоячего кружевного воротника выше макушки. Ну и чтобы полдюжины пажей волокли за нею ее собственный хвост. Честно говоря, я таких не особенно люблю, хотя маленькая Альварадо имела, в общем, лакомый вид. А старик сейчас в Кордове, ты об этом знаешь?

— Знаю.

— Ты думаешь, он там просто лечится?

— Нет, не думаю...— помедлив, отозвался Пико.

— То-то же. Погоди, он еще всем вам утрет нос! На твоем месте, Ретондаро,— только сейчас я говорю совершенно серьезно, понял?— на твоем месте я бы попытался пробраться именно туда. Не в Монтевидео, а в Кордову. Понял?

Пико долго молчал. Ларральде подумал уже, не заснул ли его собеседник, но тот вдруг спросил:

— Ты связан с группой дона Бернардо? Ты или твои друзья, я имею в виду.

— Все мы сегодня в какой-то степени связаны между собой,— неопределенно ответил Хиль.— Как говорится, одной цепочкой. Сегодня я даже косвенно связался через тебя с представителями доблестных военно-морских сил. А в чем дело?

— Нет, просто так. Видишь ли, сейчас я все равно должен ехать в Уругвай. Но это не значит, что я пробуду там долго. Слушай, Ларральде. Ты считаешь, что мы были не правы в том, что связались с военными или что вообще сделали ставку на вооруженное восстание? Впрочем, первое вытекает из второго: в наши дни вооруженное восстание мыслимо только с одобрения армии. Разве не так? Значит, по-твоему, мы ошиблись в основном?

— Ты меня спрашиваешь, будто я ваш партийный теоретик,— с позевыванием отозвался Хиль, переворачиваясь на бок.— Непременно тебе нужны обобщения, чуть ли уже не целая доктрина: «В наши дни то-то следует делать только так-то и так-то...» А мне плевать на теории, понимаешь? В политике иной раз и ошибешься, кто против этого возражает... Но нужно так делать, чтобы от этих ошибок никто не страдал. Чтоб не гибли люди от ваших просчетов! Бывает, гибнут и от наших, и это случается, но все же ни один врач не приступает к операции на ощупь, с завязанными глазами... О людях нужно прежде всего помнить, понимаешь? О людях, а не о политических теориях. На свете, Ликург, и без того хватает несчастных, чтобы еще умножать их число с помощью политики...

2

По утрам тихую Фултонстраат оглашают вопли скупщика бутылок. Медленно громыхая по булыжнику окованными колесами своей тележки, он всегда появляется справа, со стороны парка, и бредет по направлению к площади Гёзов; слышно, как тележка дребезжит на переезде через трамвайные пути, а потом шум и крики стихают почти сразу — очевидно, «маршан» сворачивает куда-нибудь за угол.

В дождливую погоду этот неизменный утренний концерт вызывает жалость к исполнителю и желание поплотнее завернуться в одеяло. Зато, если утро выдается солнечным, Беатрис иногда хочется высунуться по пояс из косого окна мансарды, лечь на водосточный желоб и хоть раз увидеть внизу старьевщика. Два вопроса приходят ей на ум каждое утро: много ли бутылок покупает он ежедневно в этом квартале и кто таскает тележку — он сам или собака? Собаки здесь честно зарабатывают свой хлеб — лохматые степенные твари ростом с теленка. Обычно они развозят молоко.

Разумеется, любопытство это не настолько сильно, чтобы из-за него вставать с постели. Оно, пожалуй, скорее равнодушно — до такой степени равнодушно, что неизвестно даже, можно ли назвать это любопытством. Просто где-то в мозгу возникает вопрос, причем возникает чисто рефлекторно, вызванный определенными звуками, то что называется «внешним раздражителем». Потом снова приходит безразличие ко всему. Когда-то она очень любила собак. Собак, теннис, вообще многие вещи. Но что вспоминать прошлое! В прошлом было время, когда вся жизнь казалась ей интересной...

Оно — это прошлое — вообще уже как бы не существует, наглухо отделенное от нее стеною одного-единственного воспоминания, которое гасит все остальные, как молния гасит звезды. Вспоминать ей просто нельзя.

Сегодня светило солнце, и она опять подумала, что хорошо бы вылезти в окно и перевеситься через желоб, чтобы увидеть наконец «маршана» и его предполагаемую собаку. Потом крики и дребезжание колес внизу утихли, стало опять слышно, как под самым окном ходят по водостоку голуби, урча и дробно и деловито перестукивая по железу клювами. Рама окна, устроенная на горизонтальных петлях, как крышка ящика, была поднята на подпорку, за нею синело бледное небо Фландрии. «Как здесь свежо в середине лета,— подумала Беатрис, зябко натягивая на плечи простыню. — И они еще называют это жарой!»

День, кажется, обещал быть безветренным, но здесь наверху дул легкий утренний ветерок, пробираясь в окно и обвевая прохладой щеки. Ярко светило солнце, ворковали голуби. В такие утра можно иногда поверить на час-другой, что жизнь действительно хороша.

Беатрис попыталась задремать, но сон уже не шел. Вздохнув, она перевернулась на живот и прижалась щекой к подушке, одним глазом глядя в окно. В светло-синий прямоугольник неба наискось вбежала острая белоснежная стрела, с крошечной, едва различимой серебряной мушкой вместо наконечника. Самолет шел так высоко, что звука его не было слышно. По-прежнему, словно тихий крупный дождь падал на крышу, стучали по водосточному желобу лапки и клювы голубей. Где-то внизу заиграло радио. «Нужно вставать»,— подумала Беатрис с привычной тоской. Впереди лежал долгий, ничем не заполненный день, и нужно было решить, что с ним делать. Впрочем, да! Вчера ведь она собиралась навестить Клариту Эйкенс,— может быть, у той есть какая-нибудь работа...

Мансарда состояла из двух комнат — вторая служила гостиной и спальней, а первая, куда открывалась дверь прямо с лестничной площадки, была приспособлена под кухню: там была раковина и из стены

торчал газовый кран, соединенный со стоящей на полке маленькой плиткой. Тут же в углу, за повешенной на веревке мохнатой купальной простыней, стояла ванна — допотопное жестяное сооружение. Наполнять этого урода и потом вычерпывать воду обратно в раковину было очень хлопотно, и единственной хорошей стороной этого было то, что туалет в таких условиях отнимал массу времени — того самого времени, с которым она не знала что делать.

Беатрис вытащила ванну из угла, размотала резиновый шланг и, надев его на кран, пустила воду. Пока ванна наполнялась, она успела убрать в спальне. После купания позавтракала, оделась — на все это тоже понадобилось время. В двенадцатом часу она вышла из дому и медленно направилась к парку Сенкантнэр.

В Брюсселе она совсем отвыкла от городского транспорта. Времени ей всегда хватало, город, по сравнению с Буэнос-Айресом, был невелик — если не считать окраин, посещать которые Беатрис не любила, практически из любого района можно было добраться до центра, совершив приятную прогулку пешком.

По странной иронии судьбы, «отель разбитых сердец» со своим более чем богемным населением помещался в одном из самых респектабельных мест буржуазного Брюсселя, недалеко от Буа-де-ла-Камбр. Дом принадлежал какой-то старухе аристократке; года три назад владелица, живущая в провинции, из благотворительных побуждений отдала его для бездомных студентов. А потом — то ли управляющий там оказался очень уж снисходительным человеком, то ли вообще патронесса не давала на этот счет определенных указаний — постепенно в доме помимо студентов начали селиться люди совершенно посторонние. Какие-то художники, непризнанный писатель, безработные журналисты,— в одной комнате иногда ночевал коммивояжер из Антверпена; в основном — за исключением торговца — дом был населен молодежью самых разнообразных и не всегда определенных занятий. «Отелем разбитых сердец» его прозвали уже давно.

«Разбитые сердца» из старожилов — было их человек двадцать — находились между собой в более или менее дружеских отношениях, хотя часто ссорились из-за любого пустяка. Когда рыжая Эйкенс, одна из первых обитательниц «отеля», выгнанная в позапрошлом году с медицинского факультета, однажды привела к себе в гости Беатрис, соседи приняли аргентинку как еще одно «разбитое сердце», проявленное ими гостеприимство ее даже испугало немного. «Пока не обзаведешься комнатой и прочим, — сказал ей какой-то бородатый парень, — можешь спать со мной. У меня матрас — настоящий «симмондс», видела рекламы? Не стану отрицать, что он куплен на Блошином рынке, но блох в нем нет». Беатрис так и не поняла, в шутку это говорилось или всерьез, во всяком случае, «разбитые сердца» не вызвали в ней большой симпатии.

Исключение там составляла сама Клер Эйкенс — Клара или Кларита, как называла ее Беатрис. С нею они почти подружились. Клер не была любопытной и никогда не пыталась узнать о своей новой приятельнице больше того, чем та считала нужным о себе рассказать.

Из-за двери, когда Беатрис постучала, отозвался мужской голос. Она вошла, секунду помедлив. Клер не было, вместо нее в комнате сидел поэт Жюльен — тот самый бородач, что предлагал ей когда-то свой матрас. Впрочем, позже оказалось, что черт не так страшен, как старается выглядеть.

— А, явилась невинная Додо,— сказал Жюльен, рассеянно глянув на нее и продолжая рыться в книгах.— Салют, старуха. Никогда бы не подумал, что Эйкенс может читать подобное дерьмо... Ты к ней? Садись, она скоро будет.

— Да нет, я, наверное, пойду,— нерешительно сказала Беатрис, стоя в дверях.— Просто хотела узнать...

— Насчет работы? Да ты заходи, садись! Что у тебя за идиотская манера держаться — точно все время ждешь, что тебя изнасилуют, и еще не решила, как быть.

— Придержите ваш проклятый язык,— холодно посоветовала Беатрис по-английски. Французским она еще не овладела настолько, чтобы на нем ругаться, кроме того, ей всегда казалось, что именно по-английски можно с наибольшим эффектом обругать человека, оставаясь в рамках приличий.

— Sorry,— примирительно отозвался Жюльен. Разговор перешел на английский.— Серьезно, Додо, в тебе ощущается глубокая неудовлетворенность...

Беатрис присела на подлокотник кресла, держа руки в карманах куртки. Обижаться было бессмысленно.

— Хочешь выкурить настоящую египетскую сигарету?— спросил Жюльен.— Чистый табак, без «травки».

— Нет, спасибо...

Поэт с мечтательным видом поскреб в бороде. Одет он был в сандалии на босу ногу, синие, как и на Беатрис, джинсы и черный, несмотря на жару, шерстяной свитер.

— Слушай, Додо,— объявил он торжественно.— Ты пришла очень кстати, сегодня большой день...

— Да?— рассеянно откликнулась Беатрис.— Кто-нибудь угощает?

— Какие там угощенья, все сидят без сантима. Сегодня утром я закончил новую поэму! «Сублимация бессмертия», три с половиной тысячи стихов, а?

— Поздравляю,— сказала Беатрис. Она вспомнила вдруг, что, несмотря на почти четырехмесячное знакомство, еще не читала ни одной строчки, написанной Жюльеном.— Кстати, Жюльен, ты дай мне почитать что-нибудь свое, из опубликованного.

— Из опубликованного!— Жюльен фыркнул.— Кто я, по-твоему, такой, чтобы публиковать свои вещи? Я тебе не какой-нибудь слюнявый потаскун Клодель, чтобы писать стихи для развлечения буржуа!

— Ты, разумеется, не Клодель,— кивнула Беатрис.— Но какой смысл работать, если не имеешь намерения печататься? Кто будет читать?

— Во всяком случае, не ты,— высокомерно бросил Жюльен, закуривая бережно извлеченную из кармана помятую сигарету.— Не ты, не Клер и не те шлюхи, что каждый вечер прогуливают своих собачонок и своих любовников по авеню Луиз...

— Спасибо за...— Беатрис запнулась, подыскивая слово.— За параллель. Ты, как всегда, страшно любезен.

— А что до меня, то я никогда не гнался за дешевым успехом,— продолжал Жюльен.— С меня достаточно, если мои стихи поймут и оценят пятнадцать человек. А на остальное человечество мне наплевать! Я знаю, что гениален, и с меня этого достаточно!

Беатрис стало вдруг нестерпимо скучно и неуютно. Бедно обставленная комнатка Клары Эйкенс выходила окном на север, а Беатрис органически не переносила мест, лишенных солнца. Она поглубже забралась в кресло, поджав под себя ноги, и прикрыла глаза. Жюльен продолжал говорить что-то о поэтической школе неолеттристов, последователем которых являлся.

— Ты что, спишь? — спросил он вдруг, толкнув Беатрис.

Та отрицательно помотала головой.

— Плохое настроение? — продолжал он допытываться.

Беатрис пожала плечами и ничего не ответила.

— Ладно, я тебе почитаю из своего, раз уж ты просила,— сказал Жюльен.— Хочешь послушать «Плач Калипсо»?

Беатрис кивнула. Жюльен почесал бороду, кашлянул и начал читать нараспев:

Зилькар аволи лизар бедор
Туси килаф оризис капита,
Коли сто абизор сулик
Эсталли эсталли казук...

Невольно заинтересовавшись, Беатрис открыла глаза. Жюльен не сдержал довольной улыбки.

— Здорово, а? Впрочем, не стоило читать тебе такие грустные стихи, раз ты не в настроении. Вот послушай, эти веселее:

Малана ова калемо
Мостри нале тутф тутф,
Аиди нале нале
А! О! И! Пан пан! [1]

— На каком это языке?— спросила Беатрис, подняв брови.

— Ты просто маленькая идиотка,— снисходительно ответил Жюльен.— Я ведь тебе только что объяснил, что нам не нужно прибегать к помощи уже существующих языков, как это делают ублюдки-классицисты. Попутно замечу, что к ним я причисляю всех, от Ронсара до старой потаскухи Клоделя...

— Господи, да чем тебе досадил этот несчастный Клодель?

— Не мне, черт побери! Человечеству, поэзии — вот кому он досадил! Он и — я беру шире, гораздо шире — вся эта банда. Так о чем это я? А, да! Так вот, языки нам не нужны. Как показывает само слово «леттризм», мы ищем красоту и возможность самовыражения в совершенно новом и смелом сочетании букв. Если же...

Беатрис пожала плечами.

— Насчет самовыражения не знаю, но если вы действительно видите красоту в этих своих «тутф тутф»...

— А по-твоему, слюнявая жвачка этого мерзавца Валери красивее, да?! — яростно закричал Жюльен, вскакивая на ноги.— Что такое вообще красота?! «О кровля мирная, где голуби воркуют» [2] — это красиво, да?

— Что ж, это несомненно красиво,— сказала Беатрис.— И приятно. Я, например, очень люблю воркующих голубей. И мирные кровли тоже. Не понимаю, чем они тебя раздражают!

— Тем, что это ложь!! Нет больше никаких мирных кровель — понимаешь ты это или нет, или до вас в вашей Америке это еще не дошло?!

Жюльен вышел из комнаты, хлопнув дверью. Беатрис вздохнула и снова закрыла глаза.

Не нужно было приходить в этот дурацкий дом, подумала она. Всякий раз, когда сюда придешь, — обязательно неприятность. Или тебя обругают, или расскажут неприличный анекдот, или начнут при тебе ссориться и чуть ли не драться. Что за нелепая жизнь!

Минут через двадцать — Беатрис уже собиралась уходить — явилась наконец Клер, худощавая энергичная девица в веснушках, с огненно-рыжими волосами.

— О, добрый день,— сказала она, увидев забившуюся в кресло Беатрис.— Давно ждешь? Я не знала, что ты здесь, иначе вернулась бы

[1] Оба отрывка принадлежат перу французского леттриста Ги Поммерана (Париж, 1946).

[2] Начало стихотворения «Морское кладбище» Поля Валери.

раньше. До чего скверно жить без телефона... Сейчас я встретила этого болвана Грооте, моего бывшего профессора, и он...

Продолжая болтать скороговоркой, Клер выложила из сумки принесенные пакеты, пинком загнала под шкаф старую туфлю. Беатрис молча наблюдала за ней, не двигаясь с места.

— Что это ты сегодня такая молчаливая?— спросила наконец Клер, удивленно глядя на подругу.

Беатрис пожала плечами.

— А вообще я люблю поговорить?

— Нет, но сегодня ты молчишь особенно. Что-нибудь случилось?

— Господи, что может со мной случиться...— Вздохнув, Беатрис встала и отошла к окну.— Сейчас Жюльен читал мне свои стихи.

— Это что, «казук казук»?— Клер засмеялась.— Ну, из-за «казука» не стоит впадать в мрачность, Додо. Есть хочешь? Смотри, что я принесла!

Беатрис подошла к столу, расковыряла целлофановый мешочек с жареным картофелем и положила в рот несколько тонких ломтиков.

— Валяй,— сказала Клер,— видишь, я запаслась. У меня даже и пиво сегодня есть, после этого захочется. Вкусно?

— Да, мне нравится,— сказала Беатрис, вытирая платком кончики пальцев.— Но это вредно для печени. Впрочем, если у меня что-нибудь заболит, я прибегу к тебе. Ты ведь немножко медик?

— Вот именно, немножко. Я бы даже сказала — очень немножко!

Клер наспех убрала со стола, принесла бутылку пива, два пластмассовых стакана.

Подруги сидели — одна на колченогом стуле, другая на придвинутом к столу кресле — и руками ели еще горячий картофель, доставая его прямо из мешочков. Обе молчали.

— Клара,— спросила вдруг Беатрис,— почему ты ушла с факультета? Ты сама не хотела или пришлось?

— И то, и другое. В основном — первое.

— Как жаль. А почему ты не хотела изучать медицину? Я думаю, это очень хорошее занятие.

— Да, платят ничего,— согласилась Клер, выливая остаток пива в свой стакан.— Если иметь собственную практику, я хочу сказать.

— Ты не поняла... Я говорила не о заработке. Моральное удовлетворение, понимаешь? Что-то, за что зацепиться, ради чего жить... Мне трудно на отвлеченные темы, Клара, все-таки я еще французский так не знаю...

— Я тебя понимаю, не беспокойся.— Клер допила пиво и, скомкав пустой мешочек из-под картофеля, скатала хрустящий целлофан в комок и метко — через всю комнату — швырнула в открытое окно.— Конечно, медицина может стать хорошей зацепкой. Если верить в ее пользу, понимаешь? А я вот не верю.

Беатрис удивленно подняла брови:

— Но почему? Если медицина еще чего-то не умеет — ну, рак и всякие такие вещи, еще не открытые,—то ведь это — ну, как это?— вопрос времени, да? И потом, — она улыбнулась, — я вообще не верю людям, которые говорят: «Я не верю в медицину». Когда у них заболит живот — о, они так быстро бегут к врачу!

— Да вовсе я не про это.— Клара досадливо поморщилась.— Я не верю в медицину не в том смысле, что отрицаю ее способность спасать людей от смерти. Ты понимаешь — я вообще не особенно уверена в том, что их следует спасать. Для чего? Для войны? Для концлагерей? Моего брата ребенком едва спасли от менингита, а в сорок третьем году он погиб в Бреендонке. Ты только подумай — для чего он выжил? Чтобы успеть пройти перед смертью еще и через этот ад?

Клер достала сигареты и закурила. Беатрис молча смотрела в окно, где над торцовой стеной соседнего дома темнело и набухало, ширясь, серое дождевое облако. В комнате стало еще более сумрачно.

— Ну, чего молчишь?— с усмешкой спросила Клер.— Ты со мной не согласна?

— Пожалуйста, дай мне сигарету,— попросила Беатрис каким-то не своим, тонким голосом и кашлянула. Курила она не затягиваясь, неловко держа сигарету большим и указательным пальцами. Когда на сигарете образовался столбик пепла, она стряхнула его и принялась пальцем загонять в щели между рассохшимися досками столешницы.

— Я не знаю, Клара,— ответила она наконец.— Честно — не знаю. То, что ты сказала,— это абсолютно чудовищно. Но... Ты понимаешь, я возразить сейчас не могу ничего. Хотя знаю, что возражать нужно. Я сейчас подумала о себе — я была очень, очень больна год назад. О, я могла умереть! Меня врачи спасли, ты видишь сама, но я сейчас — вот перед своим сердцем — не знаю, могу ли я благодарить их за то, что осталась жить. Ты понимаешь, Клара, жизнь сама по себе может не иметь никакой ценности, если... Нет, я все равно не смогу объяснить. Почему ты не говоришь по-испански или по-английски?

— Надо полагать, по той же причине, по какой ты не говоришь по-фламандски. Ничего, теперь мы начинаем понимать друг друга... — Клер невесело усмехнулась.— Мы ведь, по существу, говорим одно и то же. Весь ужас в том, что у человека в наши дни может быть слишком много самых разнообразных причин, чтобы не так уж цепляться за жизнь. У всякого свое. Я, например, просто-напросто по горло сыта войной и не желаю видеть еще одну. Мне было семь лет, когда к нам пришли немцы и я осталась без детства. Понимаешь? Детства у меня не было. Была оккупация, был постоянный страх, постоянный голод, разговоры о предателях, о заложниках, о черном рынке. А сколько было подлости! Даже мы, дети, видели ее вот так — невооруженным глазом... А сколько подлости было потом — после освобождения! Когда самые жирные из коллабó покупали себе награды за участие в маки... Я в университете знала одну девчонку — с факультета этнографии, сейчас она, кстати, где-то в твоих краях,— так ее родитель всю войну торговал с бошами. Причем открыто, его весь Антверпен знал, этого Стеенховена. А сейчас он — герой Сопротивления!

— Возможно, он торговал — как это говорится — для камуфляжа?

— Какой там камуфляж, иди ты. Греб деньги лопатой, я тебе говорю! Мне-то это все известно, можно сказать, из первых рук — мы с Астрид дружили.

Беатрис подняла брови:

— Ты могла дружить с дочерью такого отвратительного человека?

— А она-то при чем? Ей было десять лет, когда кончилась война. А потом она из-за этого и расплевалась со своей семейкой — когда все сообразила. Бросила даже университет и умотала к вам.

— В Аргентину?

— Не знаю точно, последнее письмо было из Монтевидео.

— О, это совсем рядом...

— Так что, видишь... Такие, как ее папаша, благополучно выкрутились, а мелкую рыбешку в сорок пятом году расстреливали пачками — без суда и следствия...

— Совсем без суда?

— Ну как «совсем»... Формально суды были — полевые суды, по законам военного времени. Полчаса разбирательства — и к стенке. Иногда даже по анонимному доносу.

— Кларита, не нужно вспоминать о таких вещах.

— О них и не забудешь, Додо. Знаешь, детские впечатления оста-

ются на всю жизнь. Ты счастливая — у тебя было хорошее детство, обыкновенное. С куклами, со сластями, с каруселями...

— Да, детство у меня было хорошее,— тихо отозвалась Беатрис.

Они опять замолчали. Начался дождь. По подоконнику снаружи мягко барабанили капли, в комнате запахло теплым летним ненастьем.

— Что у вас там сейчас делается?— спросила Клер.

— Где — у нас?

— В Аргентине. Я читала недавно, там была революция, какие-то беспорядки.

— Да,— кивнула Беатрис.— Было восстание. Как это называется... попытка переворота. Месяц назад. Некоторые мои знакомые там принимали участие...

— Ты бы, наверное, тоже принимала участие, если бы была сейчас там?

Беатрис улыбнулась и покачала головой:

— О нет. Зачем?

— Ты же говорила, у вас там какой-то диктатор. Он что, сукин сын?

— Да, и большой. Но мне до него нет никакого дела. До политики вообще, я хочу сказать.

Клер посмотрела на нее задумчиво, словно собираясь что-то возразить, но ничего не сказала. Беатрис, подперев кулачком подбородок, прищуренными глазами смотрела в окно, на дождь в неяркие пятна синевы между тучами. Что-то неуловимо надменное в линии профиля и длинные, не по моде, волосы в сочетании с мешковатой непромокаемой курткой придавали облику аргентинки некоторую театральность — так мог выглядеть паж на сцене.

— Черт, ты мне иногда напоминаешь орхидею,— сказала Клер.

Беатрис, не сразу оторвавшись взглядом от окна, рассеянно глянула на подругу:

— Напоминаю кого?

— Орхидею, понимаешь? Такой цветок.— Клер усмехнулась.— Ясно, почему тебе нет дела до политики. Впрочем, мне тоже плевать на нее в высочайшей степени. У тебя сейчас есть любовник, Додо?

Беатрис рассмеялась несколько принужденно.

— Кларита, это не очень здоровое любопытство!

— Помилуй, вполне естественное. Я почему спросила — вчера мы о тебе вспоминали в одной компании, там были Вермееры и Жюльен, и мадам Вермеер вдруг говорит — про тебя: «Воображаю, сколько у этой девочки любовников!» — а Жюльен сказал, что ты вообще обходишься без них. Вермееpша вытаращила глаза: «Как, разве и Додо лесбиянка?»

Беатрис покраснела и возмущенно фыркнула.

— Я так хохотала, чуть не лопнула, — продолжала, смеясь, Клер. — А потом вдруг подумала: а ведь, пожалуй, Жюльен прав, как это ни странно. Ты что, действительно спишь одна?

— Клара, мне не нравится этот разговор, пожалуйста, прекрати.

— Ждешь прекрасного принца? Не стоит, Додо, ни к кому они не приходят, поэтому лучше найди себе хорошего парня. Я тебя могу познакомить с кем хочешь, есть даже один студент конголезец, сын какого-то черного вождя из Руанда-Урунди. Не смейся, говорят, это шикарно — иметь любовника-негра. Ты не пробовала?

— Господи, хватит тебе,— с досадой сказала Беатрис. Встав из-за стола, она отошла к полке с книгами и стала перебирать томики в истрепанных бумажных обложках.

— Я говорю совершенно серьезно,— сказала Клер.— Ну, за исключением негра, это в шутку. А вообще любовник тебе нужен, Додо. Ты

думаешь, я не понимаю, откуда вся эта меланхолия? Не нужно вести себя так, как эта дурища Сюзанн, которая в понедельник не помнит, с кем спала в субботу, но и изображать из себя святую...

— Клара, я прошу тебя прекратить!

— Ну ладно, ладно! Молчу. С тебя станется, что ты еще и в сводничестве меня обвинишь. Я ведь просто хотела тебе помочь. Скажи, Додо, у тебя была в прошлом несчастная любовь? Да? Я ведь вижу.

Беатрис положила книгу, которую только что взяла, и отошла от полки. Сняв с гвоздя старый студенческий картузик Клер, она принялась внимательно разглядывать амулеты и жетоны, которыми, по традиции Брюссельского университета, был сплошь облеплен бархатный околыш.

— Он что, бросил тебя?— снова спросила Клер, не дождавшись ответа на первый вопрос.

— Он умер,— медленно ответила наконец Беатрис.— Умер самой страшной смертью, какою может умереть человек...

— Я тебе сочувствую,— сказала Клер, помолчав.— Это было давно?

Беатрис пожала плечами, продолжая разглядывать амулеты.

— Не знаю... По календарю — давно.— Она повесила картузик на место и вернулась к столу. — Клара, я хотела узнать насчет работы...

— Верно, я ведь так и не договорила! Сегодня встретила профессора Грооте, он обещает несколько переводов на будущей неделе, три или четыре статьи. Но это пока только обещание, а вот у Вермееров есть возможность достать халтуру для кабаре — переводить мексиканские песенки. Я сразу подумала о тебе.

— Стихи? Но я их никогда не писала,— удивленно сказала Беатрис.

— Неважно, сделаешь подстрочник, а для обработки найдем поэта. Этот кретин Жюльен не захочет, а то можно было бы дать ему: он тоже сидит без денег. У тебя как сейчас?

— Хватит до конца недели, а потом я надеюсь получить новый чек. Если Жульену нужно, то я могу...

— Ни в коем случае! Жюльен ничего парень, но долгов он принципиально не отдает. Тебе присылают в долларах?

Беатрис улыбнулась.

— О, к сожалению, просто в песо. Иначе я жила бы в этом, как называется... Картье Леопольд! Удивительно, Кларита, я получаю чеки на «Итало-Бельж», и там мне каждый раз дают по ним меньше и меньше. Ты думаешь, обман?

— Ну, на такой мелкий банки не идут. Просто курс меняется, наверное. Инфляция, понимаешь?

— Здесь?

— Да нет же, у вас в Аргентине! Если бы падал наш франк, ты, наоборот, получала бы каждый раз больше. Похоже, Додо, что у вас там дело всерьез идет к революции...

Когда Беатрис вышла из «отеля», дождь уже кончился и переменчивая брюссельская погода словно торопилась наверстать упущенное. Стало припекать солнце, в аллее Камбрского леса было почти жарко и чудесно пахло мокрой зеленью и мокрой землей. Выйдя на авеню Луиз, Беатрис пешком прошла ее до самого конца. Перед гигантским порталом Дворца правосудия дети кормили голубей у мрачного памятника бельгийской пехоте. Дойдя до памятника Готфриду Бульонскому, Беатрис остановилась, решая, что делать дальше. Можно было закончить день в Музее изящных искусств, или просто пойти посидеть в сквере Пти-Саблон. Все это было близко, рукой подать. Она вспомнила вдруг, что и на Пти-Саблон тоже есть памятник — Эгмонту и Горну.

Слишком много памятников было вокруг нее, слишком много мертвецов — знаменитых и безымянных. Тоска овладела ею, еще больше усилившись от одной мысли о тихих пустых залах Королевского музея с дремлющими служителями...

Беатрис хорошо знала это состояние. Когда оно начиналось, не помогала ни толпа, ни шум; мысль о тишине пугала, но в то же время обычная уличная толчея доводила до грани истерики. Такие часы нужно было проводить только дома. Едва удерживаясь от слез, Беатрис остановила первое такси и поехала домой.

Улица Фультона, где жила Беатрис, была обычно безлюдна, в какой бы час она ни возвращалась домой. На этот раз по тротуару прогуливался человек в светлом костюме, похожий на туриста; очевидно, это и был турист, потому что он именно прогуливался,— но что делать туристу в этой части города, вдали от церкви святой Гудулы и знаменитого закоулка, где стоит «Маннекен-Пис»?

Расплачиваясь с шофером, Беатрис зачем-то оглянулась на туриста, который, повернув на углу, подходил теперь к ее дому, и вдруг замерла, выпрямившись и прикусив губу.

— Мадмуазель, вы берете сдачу или вы ее не берете?— сердито окликнул ее таксист. Беатрис растерянно сунула деньги в карман. Ей захотелось вдруг крикнуть: «Подождите, я еду дальше!»— но такси уже скрылось за углом. Беатрис осталась совсем одна на пустынной улице, она и человек в светлом костюме, и это было как во сне, и она окаменело стояла на тротуаре, не сводя глаз с человека, который шел теперь к ней, ускоряя шаги.

Потом он остановился, словно не решаясь подойти ближе, и с какой-то потерянной улыбкой поправил квадратные очки без оправы. Беатрис отступила к своей двери.

— Фрэнк,— сказала она тихо.— Мистер Хартфилд, что вы здесь делаете?

3

— Зачем вы приехали?— снова спросила она. Продолжая улыбаться, теперь уже совсем почти глупо, Фрэнк сделал еще один неуверенный шаг, и вдруг лицо его сделалось серьезным.

— Добрый день, Трикси,— сказал он так же тихо.— Как сегодня жарко, не правда ли?.. Я себе представлял бельгийский климат несколько иначе. Я, видите ли... Я здесь в командировке, точнее не здесь — во Франции, «Консолидэйтед» продала французам лицензию на одну из наших моделей, но они хотят внести изменения в конструкцию, и... Мы вот и прилетели, чтобы все согласовать. Модификацию они предлагают небольшую, но она может отразиться на некоторых параметрах...

Беатрис смотрела на него, все еще ничего не понимая и не особенно доверяя своим глазам. Хартфилд вынул платок и приложил ко лбу, потом повел шеей, точно воротничок вдруг стал ему тесен.

— А сюда я на один день,— продолжал он совершенно уже потерянным тоном,— французы предложили прервать наши работы, пока данные не будут обработаны вычислительным центром... Каких-нибудь два дня максимум, и я решил вот... навестить. Как поживаете, Трикси?

— Благодарю вас. Вы... Страшно любезно с вашей стороны, Фрэнклин, но... Ну что ж, зайдемте ко мне...

Она отперла дверь, не оглядываясь вошла в дом и стала подниматься по скрипучей деревянной лестнице, пропахшей жавелевой водой и сельдереем. За спиной, внизу, она слышала осторожные каучуковые шаги Фрэнка Хартфилда. Вот черт, только этого не хватало!

На верхней площадке, пока Беатрис с закушенными губами дергала и вертела застрявший в замке ключ, он стоял в стороне, словно боясь к ней приблизиться.

— Дайте я попробую,— робко сказал он наконец.

— Нет... Здесь дело не в силе — нужно просто нащупать... Не зная, это не сделаешь, будь он прок...

Фрэнк деликатно кашлянул.

— Кстати, Трикси... Я не знал — если вы живете одна, то... может быть, мой визит не совсем...

— Будь он трижды проклят, — сказала Беатрис, выдернув поддавшийся наконец ключ и ударом ноги распахивая дверь. — Сколько раз собиралась позвать слесаря! Входите, Фрэнклин...

Они вошли в квартиру — Беатрис, сердитая и раскрасневшаяся от возни с замком, за нею Фрэнк, смущенно протирая очки. В мансарде, как обычно во второй половине дня, было довольно жарко. Беатрис сняла куртку и швырнула через комнату.

— Снимайте пиджак, если хотите,— сказала она, быстрым мальчишеским движением заправив в брюки выбившийся край блузки. — Здесь жарко. К сожалению, у меня нет холодильника, так что я ничем не могу вас угостить. Разве что кофе. Вы спрашиваете, как я живу? Вот, пожалуйста. — Она сделала быстрый круговой жест и спрятала руки за спину.

— Как мило,— сказал Фрэнк, окинув взглядом обстановку. Странная какая-то кровать, возможно просто пружинный матрас на чурках, ободранный шкаф прошлого века, книги в беспорядке — все слишком не вязалось с обликом той, что стояла посреди этого убожества на слегка расставленных ногах, заложив руки за спину и упрямо наклонив голову, и была похожа на... Трудно сказать, на кого именно. Какие у нее волосы — совсем темные, почти черные и почти прямые, с каких пор она стала носить их такими длинными? Два года назад у нее была прическа «лошадиный хвост»...

— Трикси, вы с ума сошли, вы же не можете жить в такой... такой проклятой дыре,— заговорил он вдруг. — Трикси, я просто не в состоянии понять, что заставляет...

— Простите,— сказала она очень ровным тоном, почти холодно. — Садитесь, пожалуйста. Можете снять пиджак, здесь жарко. У меня к вам просьба, Фрэнклин. Надеюсь, вы поймете. Не нужно называть меня «Трикси», хорошо?

Несколько секунд — может быть, их прошло всего две или три, но показалось больше,— Фрэнк смотрел на нее молча, как смотришь иногда на собеседника-иностранца, когда плохо знаешь язык и каждую фразу приходится переводить в уме, прежде чем поймешь ее смысл.

— О, конечно,— сказал он наконец. На скулах его проступили красные пятна. Он отошел от двери и, не снимая пиджака, опустился в кресло — смешную допотопную штуку в стиле «провансаль», составленную из точеных палочек и продавленных подушек в веселеньком, цветочками, кретоне. — Конечно, Дора Беатрис. Мне следовало самому догадаться...

Беатрис села на край постели, выпрямившись и держа руки на коленях; только спустя минуту, случайно опустив глаза, она увидела побелевшие суставы своих судорожно сплетенных пальцев и заставила себя их расцепить. Фрэнк молчал, так и не докончив фразу; Беатрис чувствовала, что нельзя дать ему заговорить, что она должна сейчас говорить сама — говорить без умолку, о чем угодно, лишь бы не дать заговорить ему! Но язык ей не повиновался, и в голове было совершенно пусто.

Что могла она сказать этому широкоплечему человеку по имени

Фрэнклин Хартфилд, аккуратному, отутюженному и выбритому так, как только может быть выбрит и отутюжен преуспевающий молодой американец, любящий свою профессию, свою бейсбольную команду и свое «хобби»...

— Как вы узнали мой адрес? — спросила она, найдя наконец какую-то зацепку для разговора.

— О, вы, несомненно, рассердитесь,— сказал Фрэнк,— я, очевидно, не должен был этого делать... Я написал мистеру Альварадо... Кстати, он сейчас не в Байресе, но вы это, очевидно, знаете... — Фрэнк опять промокнул лоб платком. — Мистер Альварадо был так любезен, что сообщил мне ваш брюссельский адрес. Мне не следовало этого делать, Трик... Дора Беатрис... Но, вы понимаете... Я чувствовал, что должен вас повидать, потому что...

— О, ничего, пожалуйста! — Беатрис судорожно улыбнулась. — Где вы работаете во Франции, в самом Париже?

— Нет, нас загнали в Тулузу. Это на самом юге, знаете? Очень жарко, почти как у нас в Нью-Мексико. Парни были страшно разочарованы — почему-то сначала все решили, что речь идет о Париже... Вы понимаете, это все делается по плану унификации вооружения в системе НАТО... Кое-что дают европейцы, мы вот на прошлой неделе видели испытания нового французского перехватчика... Возможно, он и будет принят на вооружение, там интересно решена силовая установка — две турбины и один жидкостный... Впрочем, вам это неинтересно. Расскажите лучше о себе, Дора Беатрис.

— О себе? — Лицо ее сразу приняло настороженное, почти враждебное выражение. — Сожалею, Фрэнклин, но мне нечего вам рассказать.

По существу, это была ясная и даже не особенно завуалированная вежливостью просьба не вмешиваться в ее жизнь и раз навсегда отстать с расспросами. Фрэнк так и понял. Он сидел в дурацком кресле из точеных палочек, смотрел на носки собственных ботинок и со стыдом и болью думал о том, что не нужно было выпрашивать у Делонга этот двухдневный отпуск, не нужно было лететь из Тулузы в Париж, а из Парижа сюда, и уж во всяком случае не нужно было подходить к ней, когда она вышла из такси. Он мог посмотреть издали и вернуться в аэропорт. Не нужно было с нею заговаривать. Чего он надеялся добиться? Она стала взрослее и, может быть, еще более красивой, хотя это трудно сказать. Может быть, просто волосы — черные и почти прямые. Ему такие всегда нравились. Именно такие — чуть волнистые. Так длинно сейчас никто не носит, по крайней мере у нас, дома...

— Вы повзрослели, Дора Беатрис,— сказал он упрямо, несмотря на все эти мысли, только что промелькнувшие в его голове. Он вообще был упрям. Очевидно, фамильное качество: капитан Джон Хартфилд тоже был упрям и погиб, в общем-то, именно из-за своего упрямства. По возрасту он уже мог не летать, но упрямо считал, что летать нужно, и летал до тех пор, пока его «крепость» не взорвалась над Швейнфуртом с полной бомбовой нагрузкой и девятью человеками экипажа.

— Вы стали совсем взрослой дамой,— сказал он упрямым голосом. — И выглядите очень хорошо.

— Вы находите? Не знаю.

— Скажите... А как у вас с вашим колледжем — то есть лицеем?

— С лицеем? — В голосе Беатрис прозвучало легкое удивление. Она пожала плечами: — Никак. А что?

— О, просто спросил. Вы его не окончили?

— Нет.

— И не думаете?

— Нет.

— Что вы вообще думаете делать, Дора Беатрис? Я имею в виду вообще, понимаете?

— Не знаю, Фрэнклин. Вообще — не знаю.

— Но ведь, Дора Беатрис... так жить нельзя!

— Можно, как видите. Сейчас я поставлю кофе, минутку...

Она вскочила и почти выбежала из комнаты. Фрэнк слышал, как вода из крана лилась в кофейник, как зашипел газ, как выдвигались какие-то ящики и шуршала бумага. Потом хлопнула дверь, и стало тихо. Фрэнклин сидел на трогаясь с места и думал о том, что приехал он сюда совершенно напрасно, но что приехать было нужно. И что он не уйдет из этой комнаты до тех пор, пока они не поговорят обо всем откровенно и до конца...

Кофейник вскипел. Фрэнк погасил плитку, подивившись ее странному виду, с опасением потрогал идущую от газового крана резиновую трубку и недоверчиво принюхался. Потом он огляделся, как оглядывался в другой комнате. Очевидно, это называется кухней? Да, холодильника нет. И вообще ничего нет. Черт возьми, когда эти европейцы научатся жить по-человечески?..

Он уже начал тревожиться, когда вернулась Беатрис, прижимая к груди свертки.

— Вы погасили? Спасибо, я боялась, что вы не найдете кран. Я только сбегала в лавку — здесь недалеко, на улице Утонувших Детей... Честное слово, так и называется!

Фрэнк вернулся в свое кресло. Дверь оставалась открытой, Беатрис суетилась, заваривая кофе и разворачивая свои покупки.

— Правда, здесь чудесные названия улиц,— продолжала она говорить с тем же неестественным, лихорадочным оживлением в голосе. — Вы знаете, можно просто ходить и читать названия... В Икселле, где пруды, есть, например, улица Золотой Шпоры. И еще я видела улицу, которая называется Волчий Ров. Это в самом центре! Если забраться в старые кварталы, то там вообще есть все, что хотите: и улица Меча, и улица Зеркала, и даже улица Лисиц. Интересно, правда? Я считаю, что это куда лучше, чем у нас в Америке: или просто номера, или фамилии генералов, или места знаменитых сражений... Возьмите в Аргентине! Куда бы ты ни приехал — обязательно Сан-Мартин, обязательно Боливар, обязательно Кальяо... Ну, или еще названия деревьев. А здесь — улица Золотой Шпоры! Вы хотели бы жить на улице Золотой Шпоры, Фрэнк?

— Еще бы,— сказал он. — Хватит вам заниматься кухней, идите сюда.

— Иду! Сейчас мы выпьем кофе, я тоже немного проголодалась. Когда улетает ваш самолет?

— Утром, в девять с чем-то, но у меня еще нет билета.

— В каком отеле вы остановились?

Фрэнк засмеялся.

— Никак не мог договориться с водителем, он в конце концов плюнул и отвез меня чуть ли не в самый дорогой, не знаю уж, за кого он меня принял. Называется «Бедфорд», в самом центре. Там чертова куча англичан...

Беатрис, нервно суетясь, накрыла на стол, придвинув его к своему странному ложу. Фрэнк только сейчас заметил, что в комнате нет второго стула. «Поменяемся местами»,— предложил он, когда Беатрис пригласила его подсаживаться и сама забралась на постель, подмостив что-то под себя. Она отказалась, и он смутился, задним числом сообразив допущенную бестактность.

Весь его план приехать сюда был, в общем, одной большущей бестактностью, но эта маленькая, незначительная, совсем его убила. Он

молча съел что-то, предложенное Беатрис, и выпил кофе. Беатрис тоже молчала. Положение начинало становиться непереносимым своею бессмысленной напряженностью, именно бессмысленной, потому что оба прекрасно понимали, что никакого выхода, никакого решения, ради которого стоило бы терпеть до конца эту встречу, в данном случае быть не может.

— Еще? — спросила Беатрис, когда он отодвинул чашку.

— Нет, спасибо. А вы сами почему не пьете?

— Не знаю, не хочется. В жару у меня никогда нет аппетита...

Вскочив — словно обрадовавшись, что можно чем-то заняться,— Беатрис откатила стол обратно к окну. Ролики на ножках, очевидно уже совершенно стертые, отчаянно визжали.

— Давайте, я их смажу,— предложил Фрэнк.— Масло у вас есть?

— Нет, откуда же? Не стоит возиться, Фрэнклин, я когда-нибудь сделаю это сама...

Постояв возле стола, словно не зная, заняться ли уборкой или оставить все как есть, Беатрис вернулась к кровати и села на край, боком к Фрэнку.

— Жарко сегодня,— сказала она очень усталым голосом.

— Ваши вкусы изменились, Дора Беатрис. — Фрэнк улыбнулся. — Я вот сейчас смотрю на вас и вспоминаю, как вы в свое время возмущались девушками, которые носят брюки.

Беатрис помолчала.

— Так удобнее,— отозвалась она нехотя. — Меньше тряпок приходится возить. У меня с собой только одно платье, полувечернее, чтобы пойти иногда в концерт. Хотя я вообще хожу редко...

— Раньше вы любили музыку,— сказал Фрэнк и тут же сообразил, что этого говорить не стоило.

— Да, раньше любила, — сказала Беатрис. — Почему я еще ношу брюки — я часто катаюсь на велосипеде. Велосипед есть у консьержки внизу, она дает напрокат. Здесь хорошие велосипедные дороги, называются «макадам», можно проехать по всей стране. Конечно, я далеко не езжу. Куда-нибудь в Лакен или в Форе-де-Суань. Чудесный лес, до самого Тервюрена. О, послушайте, Фрэнклин! — На секунду Беатрис обернулась к собеседнику, слегка улыбнувшись, впервые за все время их встречи. — Хотите, я вам покажу немного город? Идемте, побродим по самым интересным местам. Хотите?

— С вашего разрешения лучше побудем здесь,— виноватым голосом ответил Фрэнк. — Я хотел бы поговорить с вами серьезно и... На улице не совсем удобно, мне думается.

— Вы правы,— сказала Беатрис. Из голоса ее сразу исчезло искусственное оживление, с каким она предлагала пойти погулять. — Улица — это, конечно, не самое удобное место для серьезного разговора. Я не совсем, правда, понимаю, о чем вы хотели бы поговорить, но... Что ж, я слушаю.

Нет, все-таки он правильно сделал, что сюда приехал. Ничего хорошего для него из этого разговора не получится, но будет хоть достигнута какая-то ясность. Впрочем, неужели до сих пор для него еще оставалось что-то неясным? Все равно, он должен услышать это от нее самой.

— Говорите же, Фрэнклин,— повторила Беатрис. — Я вас слушаю.

— Да, простите, я... сейчас скажу. Я думаю, Дора Беатрис, что нам нужно все же поговорить о.... о наших отношениях...

Он сидел в трех шагах от Беатрис, подавшись вперед в своем кресле, опираясь локтями на колени и крепко соединив концы расставленных пальцев. Беатрис, сидя очень прямо со сложенными на коленях ру-

ками, безучастно смотрела куда-то в окно. Глянув на нее, Фрэнк снова опустил голову.

— Ведь определенные отношения между нами существуют, Дора Беатрис... Вы не можете этого отрицать. Существуют, несмотря ни на что. Вы только не примите мои слова за упрек, я просто констатирую факт. Если между двумя людьми возникает, хотя бы на короткий срок, то, что было между вами и мною, то это не так просто забыть и от этого не так просто отделаться. Это остается, несмотря ни на что. Я...

— Почему вы все время говорите «я»? — перебила Беатрис. — «Я думаю», «я констатирую факт», «я», «я»... Пока вы не поймете, что помимо вас в этой истории участвую еще и я, мы все равно ни до чего не договоримся. А я могу сказать вам о себе только одно. Поймите раз и навсегда, Фрэнклин Хартфилд, что я не в состоянии вас любить. Поймите это, ну пожалуйста. И, пожалуйста, оставьте меня в покое, пока я еще не сошла с ума!!

— Я не могу оставить вас в том, что вам угодно называть «покоем»,— упрямо возразил Фрэнк. — Я оставил бы вас, если бы вы были счастливы. Если бы не произошло несчастья и если бы вы действительно оказались...

— Не нужно, Фрэнк, ради всего святого, — умоляюще сказала Беатрис,— я же вас прошу!

— Если бы вы оказались по-настоящему счастливой с тем человеком, я не приблизился бы к вашей жизни ни на шаг. Наверное, он действительно был лучше меня, раз вы его полюбили. Вы для меня значите слишком много, чтобы я мог брать под сомнение справедливость вашего выбора. Что бы со мной было — вопрос другой; может, я спился бы, не знаю. Во всяком случае, вам бы я не навязывался. Но ведь он умер, Дора Беатрис, вы же не можете прожить жизнь воспоминаниями! Вы же не можете искалечить себе жизнь из-за той встречи!

Беатрис вскочила, словно собравшись выбежать из комнаты, но овладела собой и забралась на постель с ногами, сев по-китайски на пятки, теперь уже лицом к Фрэнку.

— Dios mio, какое красноречие! — воскликнула она с издевательским смехом. — Что вы окончили, сэр,— Массачузетский технологический или факультет теологии в Саламанке? Вместо того чтобы учить французов строить перехватчики, вам следовало бы ехать распространять библию среди папуасов — с вашим талантом проповедника!

Фрэнк покачал головой.

— Вы хотите кончить дело ссорой, Дора Беатрис, но меня вы из равновесия не выведете. Скорее расплачетесь сами, у вас уже дрожат губы. Не нужно. Давайте все же не ссориться окончательно.

— Хорошо. Я не хочу ссориться,— сказала Беатрис, пытаясь овладеть собой. — Я хочу только, чтобы вы меня поняли. Вы уговариваете меня «не калечить жизнь» — но моя уже все равно искалечена. Я разлюбила жизнь. Понимаете? Она мне не нужна. Я еще надеюсь, что бог удержит меня от самоубийства, потому что никаких внутренних барьеров от этого, кроме боязни причинить горе отцу, у меня нет. Это вам понятно? А вы теперь являетесь читать мне проповеди о том, как нужно устраивать свою жизнь наиболее удобным образом! Никак я ее не хочу устраивать в этом подлом мире!! И пусть он провалится в преисподнюю, или разлетится вдребезги, или его сожгут этими вашими бомбами — понятно вам?!

— Глупости, Дора Беатрис. Мир не так подл, как вам кажется. Есть в нем и подлость, есть и... ну, святость, что ли, есть и просто среднее — обычные люди, такие вот, как мы с вами. Таких людей очень много. Я не думаю, что так уж похвально желать им всем провалиться или погибнуть от...

— Еще одна проповедь?

— ...от радиации. То, что вы говорите,— слишком чудовищно, чтобы это могло быть всерьез вашими мыслями. Рано или поздно вы сами поймете их нелепость, и, наверное, лучше всего было бы предоставить вас на это время самой себе...

— Я давно уже прошу вас об этом! — выкрикнула Беатрис чуть не со слезами.

— ...если бы вы были девушкой более уравновешенной,— продолжал Фрэнк, изо всех сил стараясь говорить спокойно. — Но вся беда в том, Дора Беатрис, что это может наложить на вас какой-то отпечаток, понимаете, может получиться что-то вроде коррозии, простите за техническое сравнение... И тогда жизнь действительно окажется искалеченной... Оставить вас в таком положении я не могу. Ведь вы же когда-то сами писали мне...

— Что?! Что я вам писала? — Беатрис выпрямилась, словно подброшенная пружиной, и стояла теперь на коленях на краю постели. Фрэнк, с красными пятнами на щеках, тоже встал. — У вас хватает совести напоминать мне о моих письмах! О моих обещаниях!

— Послушайте,— нахмурился Фрэнк,— я вовсе не об этом, я...

— В свое время я считала вас джентльменом,— не слушая его, продолжала Беатрис,— так что мы ошиблись в равной мере! Да, я обещала выйти за вас замуж! Но ведь я уже вас не люблю — мне нечем любить, понимаете, у меня здесь пусто! Что же вы от меня хотите, Фрэнк Хартфилд?! Для чего я вам? Что я вам могу теперь дать?! Скажите же, por Dios, что вам от меня нужно!! Если вам нужна моя душа, мое сердце — то они мертвы, их нет, понимаете ли вы это! А если вам нужно только мое тело — пожалуйста! Вы считаете, что я осталась перед вами в долгу? Можете получить по своему счету!

— Беатрис!!

— Можете провести сегодняшнюю ночь у меня! — выкрикнула она сквозь слезы. — Или взять меня с собой в «Бедфорд»! И утром у нас не останется никакого долга в отношении друг...

Фрэнк шагнул к постели и коротким движением, без размаха, хлестнул Беатрис по щеке. Она отшатнулась и села, схватившись руками за лицо. Секунду он смотрел на нее, пытаясь что-то выговорить прыгающими губами, потом повернулся и молча вышел.

Вернувшись в свой номер, Фрэнк бросился на кровать и долго лежал не раздеваясь, сняв лишь обувь и ослабив узел галстука. Вечером он позвонил в агентство «Сабена» и заказал билет, потом вышел поужинать. Потом опять лежал и курил, стряхивая пепел на ковер. Вспомнив, как рассказывал Беатрис об испытаниях нового французского самолета, он обрадовался — в портфеле у него лежал взятый с собою номер «Эрплэйн» со статьей об этих компаунд-установках. Статью он начал читать еще в самолете, но бросил — слишком волновался, думая о предстоящей встрече. Идиот!

«...Необходимость разгона до боевой скорости за минимальное время имеет огромное значение для перехвата. На фигуре 4 показаны типичные кривые изменения коэффициента лобового сопротивления самолета и коэффициента тяги турбореактивного двигателя. Из графика видно, что эти линии идут почти параллельно и сходятся очень медленно. Теоретически возможно достижение максимальной скорости, соответствующей большому числу М, но ускорения при этом будут весьма малы.

Если для достижения скорости, соответствующей числу М-2, принять дополнительный суммарный вес двигателя и топлива равным 0,2 взлетного веса самолета, то...»

Фрэнк швырнул журнал и встал. Работа начнется завтра, в Тулузе. А сегодня — что делать сегодня?

Он вышел из отеля, пересек шумную, ярко освещенную авеню де Миди и свернул в первый попавшийся темный переулок. Не переулок, а просто щель какая-то, да еще кривая. Проклятые европейцы, когда они научатся жить по-человечески?..

Повернув несколько раз вправо и влево, он вышел вдруг на довольно большую площадь, кажущуюся тесной от узких фасадов сдавленных средневековых домов. Дома были в резьбе, в позолоте, в тонких острогранных колонках. Над всем этим, подсвеченная снизу, вонзалась в черное летнее небо высокая, вся из белого каменного кружева, башня, увенчанная какой-то золоченой фигурой. Он долго стоял с закинутой головой, потом обошел всю площадь. Все это было не на самом деле — эта площадь и этот сегодняшний разговор с Трикси, вообще все. Проклятые европейцы. Строить такие дома! Создавать такие города и такие площади, где чувствуешь себя выброшенным, буквально катапультированным из времени...

Если бы полтора года назад Трикси не встретила того сумасшедшего художника, она сейчас была бы его женой и жила не в Брюсселе, а в Уиллоу-Спрингс. А тот парень, конечно, был сумасшедшим. Ему следовало бы хорошо набить морду, этому проклятому французу, потому что порядочный человек не кончает с собой, когда его любят так, как любила Трикси Альварадо!

Опять француз. Опять европеец. Проклятые европейцы, когда они наконец научатся жить по-человечески, когда эта проклятая Европа забудет наконец о своих завитушках?..

То ли дело у нас. У нас все гладко. У нас все понятно. У нас все блестяще и обтекаемо. Но любят почему-то не нас!

Почему-то любят Европу. Почему-то любят именно то, что непонятно и нелогично. Какого-нибудь свихнувшегося француза. Какую-нибудь вот такую площадь. У нас, благодарение всевышнему, нет таких площадей. Где у нас есть места, которые могут заставить взрослого человека стоять среди ночи с задранной головой, глазея на улетающего во мрак золотого ангела, и молча, как плачут никогда не плакавшие мужчины, плакать о мгновении, когда ангел был совсем рядом?..

4

Прошло два месяца после июньского восстания. Были вставлены выбитые стекла, засыпаны и залиты асфальтом воронки, похоронены убитые. Лишь оклеенный веселыми рекламами трехметровый забор вокруг обгорелых развалин Курии да еще глубокие рваные рубцы, выгрызенные осколками в полированном граните министерских фасадов, могли напомнить о недавних событиях туристу, попавшему на главную площадь Буэнос-Айреса в начале сентября пятьдесят пятого года.

Впрочем, туристов было мало. Сырая и промозглая аргентинская зима особенно неприятна в столице, и немногие приезжие, едва высадившись с парохода или самолета, стремятся поскорее уехать либо на южные озера, к настоящей горной зиме со снегом и отличными условиями для лыжного спорта, либо на север — посетить жаркий субтропический Жужуй, сняться на фоне грохочущих водопадов Игуасу, послушать древние жалобы пастушьей «кены» в трагической каменной

пустыне андийских нагорий. Охотников проводить зиму в холодном и туманном Буэнос-Айресе находится мало.

В этом году их было меньше, чем когда-либо. К неблагоприятному географическому климату прибавился на этот раз еще менее благоприятный — политический. В стране доживала свои последние сроки диктатура, сумевшая подавить одну попытку переворота и слишком явно обреченная рухнуть при второй. Все, даже иностранцы, интересовавшиеся в эту зиму аргентинскими делами, чувствовали, что крушение «эры хустисиализма» неминуемо, но никто не знал, когда оно произойдет и какими перипетиями будет сопровождаться. Многое в режиме генерала Перона вообще не позволяло принимать его всерьез, но возглавляемая Пероном партия все еще оставалась правящей, она держала в своих руках профсоюзы, учебные заведения, мощный аппарат пропаганды (пять радиостанций и восемь ежедневных газет в одной столице) и — теоретически — вооруженные силы. Трудно было предугадать, на какие крайние меры решится диктатура в последние свои часы.

Разумеется, контроль партии над вооруженными силами оставался чисто номинальным. Ни для кого не была секретом открытая вражда между диктатором и офицерским составом армии, авиации и флота, особенно флота — с его замкнутой кастовостью, традиционным «esprit de corps»[1] и огромным влиянием церкви, перенесенным в кают-компании броненосцев из чопорных особняков Баррио Норте.

Не поддержав выступление шестнадцатого июня, оставшееся, таким образом, как бы частной затеей группы офицеров, вооруженные силы продолжали сохранять внешнюю лояльность по отношению к правительству. Новобранцы в казармах зазубривали наизусть основные положения «Доктрины перонизма», Перон писал свой очередной труд — «Десять заповедей солдата», а в офицерских казино подвыпившие лейтенанты поднимали бокалы «за близкие перемены», и на загородную кинту известного генерала в отставке чуть ли не каждый уик-энд — совсем не по сезону — съезжались большими группами полковники и коммодоры. Военный министр Соса Молина назначил на первую половину сентября проведение больших весенних маневров на плоскогорье Пампа-де-Олаэн. Внешне все было спокойно, но в эту зиму видимость уже никого не обманывала.

Хиль Ларральде, как и большинство его коллег и знакомых, относился к происходящему скорее безучастно. Прошло время, когда оппозиция надеялась добиться каких-то перемен в стране собственными силами; политические партии, кроме правящей, были разогнаны, на восемь правительственных газет в столице осталась одна оппозиционная, ни одно издательство Аргентины не смело опубликовать хотя бы строчки, направленной против «хустисиализма»...

У страны, дошедшей до подобной степени гражданского унижения, есть один выход — революция. О революции Хиль и ему подобные мечтали уже несколько лет, но совершить ее пока не удалось. Некоторые, как Пико Ретондаро, принимали участие в отдельных отчаянных выступлениях, расплачиваясь смертью, тюрьмой или изгнанием. Другие ждали. Просто смотрели и ждали, что будет.

Дело в том, что диктатура доживала последние свои сроки. Это видел каждый. Но каждый чувствовал, что падет она не от народной революции, а от казарменного переворота, и переворот может означать только лишь замену имени диктатора и названия партии. К весне пять-

[1] Кастовый дух (*франц.*).

десят пятого года в Аргентине осталось две силы, способные оспаривать государственную власть: правительство и армия. С минуты на минуту они должны были схватиться в открытой борьбе, но исход этой борьбы, каким бы он ни оказался, был слишком далек от интересов народа, и народ не чувствовал ни малейшей склонности вступаться за ту или другую сторону.

В ту памятную ночь шестнадцатого июня, когда Пико спросил его о связи с «группой Альварадо», Хиль покривил душой, избежав прямого отрицательного ответа (потом ему было стыдно вспоминать об этом неожиданном и нелепом мальчишестве). Никакой прямой связи с Кордовой у него или у его друзей не было; он знал только, что доктор Альварадо вошел (может быть, даже возглавив ее) в группу гражданских лиц, главным образом из университетских кругов, решившую, несмотря ни на что, продолжать сотрудничество с определенной частью военных заговорщиков.

Понять побуждения старика было довольно сложно, так как незадолго до этого Альварадо едва не развалил своим уходом коалиционный центр в столице — тот самый, куда входил Ретондаро. Он и несколько ближайших его единомышленников мотивировали это нежеланием «сотрудничать с безответственными авантюристами»,— Хилю передали собственные слова самого дона Бернардо. Что произошло с ним в Кордове — можно было только догадываться.

Скорее всего, тамошние представители военного заговора оказались умнее (возможно, хитрее) своих столичных коллег; может быть, также, что старик просто-напросто еще раз взвесил все «за» и «против» и решил, что лучше действовать так, чем не действовать вообще. Впрочем, доктор Альварадо всей окружающей его молодежи казался обычно человеком немного не от мира сего — со всеми своими понятиями о чести, долге и прочих вещах, которые также существовали и имели ценность и для молодых людей, но в их глазах приобретали все же неуловимо иной смысловой и качественный оттенок...

Хиль догадывался, что и в Кордову старик переселился специально для того, чтобы там без помех заниматься своими конспиративными хлопотами. Несколько удивляло одно обстоятельство. Дон Бернардо был очень типичным представителем «свободомыслящей» части старой интеллигенции — той интеллигенции, которая в свое время считала необходимым получать университетские дипломы где-нибудь в Старом свете; одни предпочитали Мадрид, другие — Париж, и этот выбор, обусловленный личной склонностью или семейными традициями, впоследствии определял место человека в одном из двух основных направлений аргентинской общественно-политической мысли, отличных друг от друга точно так же, как галльское рационалистическое свободомыслие отлично от мистицизма, пронизывающего католическую культуру Испании.

Между тем именно Кордовский университет всегда отличался скорее консервативными настроениями студенческой массы, и не совсем понятно было, что́ заставило доктора Альварадо, ходившего чуть ли не в «красных», избрать ареной своей деятельности этот оплот клерикализма. Правда, католиков можно обвинять в чем угодно, кроме политической пассивности; и если направить эту энергию в нужную сторону, то безусловно можно добиться многого. Может быть, думал Хиль, старик просто решил, что революция стоит мессы.

Во всяком случае, Альварадо действовал пока умнее столичных заговорщиков, и чувствовалось, что планы его идут далеко. Это Хиль и имел в виду, когда в ту ночь посоветовал Пико связаться с кордовским центром. Последовал ли тот совету — он не знал. Сам он ни с кем связываться не торопился.

Дело было не в трусости — мать в случае чего могла бы уехать в Италию к старшему сыну, для Элены он все еще оставался просто другом, так что никаких особенных оснований бояться за свою жизнь у Хиля не было. От активного участия в политической деятельности, ставшей в условиях диктатуры деятельностью преимущественно подпольной, его удерживало тайное чувство разочарования, в котором он неохотно признавался самому себе,— разочарования в собственных, не всегда ясных, политических воззрениях, разочарования в друзьях, которые в студенческие годы очень любили погорланить на митингах и героически отсидеть неделю-другую, а теперь, став врачами, щеголяли своим циничным практицизмом: «Эти дела меня не интересуют,— за них, старик, денег не платят...»

Диктатура должна была свалиться не сегодня-завтра; Хиль с немного брезгливым любопытством ждал этого дня, а пока ездил в госпиталь, принимал на дому немногих пациентов, как правило — бесплатных, из своего квартала, и понемногу собирал материалы для статьи о диагностике внутренних болезней, которую думал написать когда-нибудь для «Медицинской недели». У Элены, которая после смерти мужа и рождения маленького Херардина переселилась в город, он бывал каждую неделю.

...Самому себе Ларральде мог признаться в том, что отношения с доньей Эленой Монтеро занимали его в эту зиму гораздо больше, чем вопросы политики. Начавшись почти три года назад, эти отношения прошли несколько стадий и были теперь менее определенными, чем когда-либо.

Когда он познакомился с Эленой — летом пятьдесят третьего года, во время каких-то беспорядков в университете,— она привлекла его внимание только своими анатомическими данными; верный себе, он прежде всего подумал, что эта девчонка, словно соскочившая с обложки «Темпо», может оказаться идеальным партнером для небольшого развлечения — месяца на два-три.

Потом случилось так, что они не виделись почти полгода, а когда встретились снова, Элена была уже замужем. Хиль сразу понял, что брак у Элены не из счастливых, и подумал, что скорее всего она вышла замуж из-за денег и теперь раскаивается. Можно было бы затеять с незадачливой дамой приятную интрижку, но на этот раз ему и в голову не пришло ничего подобного.

Вспоминая потом ту встречу, Хиль и сам удивлялся, как это у него не возникло тогда поползновений нарушить девятую заповедь и откуда бы вдруг такое неожиданное целомудрие. Дело, по-видимому, было в том, что донья Элена уже тогда начала интересовать его не так, как интересуют женщины, с которыми заводишь интрижки.

Потом он познакомился с ее мужем, художником; а когда тот покончил с собой, Хиль превратился в нечто вроде опекуна молоденькой беременной женщины, которую он не так давно хотел сделать своей любовницей. Ситуация получилась — хуже не придумаешь.

О том, что Элена ждет ребенка, он узнал одновременно с известием о гибели дона Херардо. Опекун, несостоявшийся любовник, Хиль прежде всего был врачом, и перед ним прежде всего встал вопрос — как сохранить здоровье Элены и ее будущего ребенка. Он не знал, как такое сильное потрясение, пережитое на третьем месяце беременности, может отразиться на общем ее ходе; коллеги-гинекологи из Роусона успокаивали его на этот счет, но сам он не находил себе места от беспокойства — можно было подумать, что отцом является он сам, доктор Ларральде.

Многое зависело от самой Элены. Беременность ее была, с одной стороны, фактором усложняющим, но Хиль скоро понял, что она же

может стать самым надежным лекарством. Он понял, что для Элены будущий ее ребенок был не просто первенцем,— только что овдовев, она хотела и должна была увидеть в нем повторение отцовских черт, снова найти в жизни часть своего Херардо.

Ему даже не пришлось ничего ей объяснять. Похоже было, что материнский инстинкт сам подсказывал Элене ее поведение; вероятно, она сама понимала, как вредно в ее положении было бы дать полную волю своим чувствам.

Как встретила Элена первое известие о гибели мужа — Хиль не знал. Но четыре дня спустя, когда он приехал на кинту, она уже держала себя в руках. В ней не было ни истерического отчаяния, ни того опасного окаменения, которое иногда овладевает людьми под действием огромного горя. Элена — Хиль сразу это увидел — восприняла свое несчастье с какой-то неожиданной в ней мудростью, что ли, с тем завидным стоицизмом, с каким воспринимают смерть близких люди долгого жизненного опыта...

Она много плакала, но плакала тоже как-то примиренно, без надрыва. Одно время Хиль даже усомнился, любила ли Элена по-настоящему своего мужа; позже он понял, что дело здесь не в силе чувства, а в его своеобразном характере. Элена по-настоящему любила, но любовь эта была какой-то обреченной и — Хиль постепенно догадался об этом — в общем, оставалась безответной. Очевидно, Элена все время чувствовала, что мужа она потеряет так или иначе.

Конечно, огромным утешением была для нее мысль о ребенке. Она всякий раз задавала Хилю тот самый вопрос, что тревожил и его самого,— не может ли отразиться все это на здоровье малыша. Хиль должен был читать ей длинные лекции, узнавать адреса знаменитостей, доказывать, что далеко не всегда самый дорогой врач является самым лучшим, и возить ее в город на консультации.

Потом хлопоты окончились. В конце сентября — как раз год назад — Элена была помещена в небольшую клинику, принадлежащую одному из известных гинекологов, и двадцать девятого благополучно разрешилась от бремени. На пятый день Хилю разрешили свидание. Он поздравил Элену с сыном и, увидев букет роз у ее изголовья (любезность клиники, заранее включенная в стоимость пребывания в этих стенах), выругал себя за недогадливость. Потом его повели по выстеленному белым каучуком коридору; хорошенькая сестра появилась за стеклянной перегородкой и показала ему белоснежный сверток, осторожно отогнув верхний угол пеленки. Младенец не спал, но глазенки его ничего не выражали, личико было спокойно и на редкость некрасиво. Хиль постучал по толстому стеклу и сделал страшное лицо. Сестра не без кокетливости погрозила ему пальцем и исчезла, увозя младенца на никелированном столике. Выйдя на улицу, Хиль сказал себе, что — слава Иисусу-Марии — с этим все устроено и теперь он может спать спокойно.

Но ему было почему-то немного не по себе. Наверное, просто раздражала обстановка клиники, весь этот граничащий с развратом комфорт, отдельная палата Элены, розы у ее постели и телевизор с дистанционным управлением. «Чего я в самом деле связался с этими богатыми бездельниками»,— подумал он сердито. Хорошо помогать бедным, а когда человеку некуда девать деньги, так помощники найдутся на каждом шагу, только свистни! Потом Хиль вспомнил сестру за стеклянной стенкой и решил, что непременно разузнает номер ее телефона и в следующую же субботу пригласит куда-нибудь потанцевать. Он попытался утешить себя этим приятным планом, но все же ему было очень не по себе. Если говорить более определенно — ему было почему-то грустно.

Конечно, отойти от Элены и развлечься с сестричкой из клиники «Ла Сигенья» Хилю так и не удалось. Сам не зная зачем, он продолжал ездить на кинту гораздо чаще, чем нужно было для наблюдения за здоровьем маленького Херардина.

Хлопот ребенок доставлял не так много, рос и развивался нормально — немного бледненький, не слишком крикливый мальчуган с внимательными серо-голубыми глазами и льняным пушком на головке. Уже через месяц-другой исчезла жалкая некрасивость личика, так удивившая Хиля при первом взгляде, и он начал думать, что со временем Херардин может еще стать настоящим гуапо[1]. Руки он, во всяком случае, очевидно, унаследовал от отца: несмотря на возраст, пальчики были стройными и крошечные ноготки на них — хорошей удлиненной формы. С каждым визитом Хилю становилось все приятнее и интереснее подолгу просиживать у колыбели. К маленьким детям он относился до сих пор без всякой нежности, видя в них скорее возможный объект практики, нежели повод для умиления; не умилялся он и над Херардином, но белокурый малыш пробуждал в Хиле какие-то особые чувства, отличные от всего, что он испытывал до сих пор. Чаще всего ему становилось немного грустно — это была та самая грусть, которая, казалось бы беспричинно, овладела им тогда в клинике. Может быть, все дело было в том, что Хиль не мог назвать его своим сыном...

Когда Хилю Ларральде впервые пришла в голову эта мысль, он тут же вспомнил свой разговор с покойным Бюиссонье в ту новогоднюю ночь — очень давнюю, как казалось ему теперь: столько событий произошло за неполных два года!

В общем-то, если смотреть на вещи трезво, было достаточно очевидно, что рано или поздно им с Эленой придется пожениться. Иначе в какой форме мог он осуществлять «защиту и присмотр», о которых просил его дон Херардо? И для малыша было бы лучше, если бы, подрастая, он видел в доме отца — пусть мнимого. До какого-то возраста вовсе не обязательно знать все о родителях. Все это было так, но думать о будущих отношениях с Эленой было для Хиля трудно.

Мало того, что она его не любила. В конце концов, la donna é mobile[2]: сегодня не любит, завтра любит. Разница их имущественного положения была делом куда более серьезным — жениться и заставить Элену отказаться от своих денег было бы нелепо, а жениться бедняку на богатой и пользоваться этим богатством — еще хуже. Устроить в семье какое-то раздельное владение имуществом — тоже идиотство, да это, в общем, и неосуществимо. А что скажут приятели? Правда, сама внешность Элены может служить доказательством искренности всякого, кто бы на ней ни женился, и все же, когда такой голодранец пристраивается к богачке...

Конечно, на это как раз и не стоило обращать внимания, но полностью игнорировать этот момент Хиль не мог, возможно по молодости: в двадцать пять лет иногда кажется, что жить нельзя, если тебя подозревают в чем-то неблаговидном.

Кроме того, и, возможно, опять-таки в силу возраста, Хиль чувствовал, что подобная женитьба — женитьба в некотором роде «по поручению» — чем-то уязвляет его мужскую гордость. Одно дело — завоевать женщину, а другое — получить ее по наследству, сознавая, что вышла она за тебя только по необходимости, оставшись без защитника...

Да, Бюиссонье оставил ему хлопотное наследство. Иногда Хиль спрашивал себя — сознает ли сама Элена всю трудность его теперешнего положения. Если она и понимала это, то, во всяком случае, ничем

---

[1] Guapo — красавец (*исп.*).

[2] Женщина переменчива (*итал.*).

своего понимания не проявляла. Относилась она к нему так, как можно относиться к брату или, по крайней мере, как к человеку, которого знаешь с детства.

Когда Херардину исполнилось шесть месяцев, Элена решила переселиться в столицу. Хиль помог ей найти небольшой домик в Бельграно, на улице Облигадо. Расположенный в хорошем месте, неподалеку от церкви Непорочного зачатия, дом этот удалось снять только потому, что занимавший его английский инженер срочно уехал в Европу и один знакомый Хиля уговорил владелицу — полуоглохшую старую деву — «помочь вдове из хорошей семьи».

В апреле они переехали — Элена, кухарка донья Мария, Херардин со всеми своими погремушками и мышастый дог Макбет. Элена и донья Мария были очень довольны и домом, и местом — почти центр, до Кабильдо один квартал, а улица зеленая и тихая. Херардину было все равно. Единственным недовольным был Макбет; всякий раз, когда Хиль появлялся в калитке, пес выбегал откуда-нибудь из-за гаража и, наставив обрезки ушей, настороженно смотрел в глаза гостю, словно пытаясь отгадать — не принес ли человек известия о том, что пора возвращаться домой. Но человек входил в дверь, молча потрепав его по загривку и опять ничем не намекнув о переезде, и Макбет разочарованно отходил в сторону. Сад при доме — дюжина подстриженных кустов и сотня метров газона — был слишком мал, чтобы побегать в нем по-настоящему. Описав круг своей пружинящей пробежкой, Макбет мимоходом облаивал через решетку какого-нибудь прохожего и ложился, пристроив морду на вытянутые лапы.

Город ему не нравился; он даже закрывал свои разноцветные глаза, чтобы не видеть стен и решеток. Он лежал с закрытыми глазами и вспоминал огромный парк «Бельявисты», шум эвкалиптов, веселые игры с Доном Фульхенсио; все реже и туманнее, но всякий раз с какой-то сладкой болью вспоминался Макбету совсем другой, тот, прежний человек, хозяин, с которым он часто ездил на прогулки, сидя в заднем отделении автомобиля, пьянея от качки, скорости, пряного трубочного дымка и бьющего прямо в морду горячего степного ветра...

5

В эту субботу Хиль засиделся у Элены дольше обычного, потому что шел дождь, к тому же завтра он был свободен от дежурства и мог отоспаться за всю неделю сразу. Около одиннадцати в соседней комнате проснулся и закапризничал Херардин.

— Что это с ним сегодня? — встревоженно сказала Элена, вставая из-за стола. — Он вам не показался больным?

— Пустяки, он здоров как бычок. Попробуйте дать ему воды.

Элена вышла. Хиль глянул ей вслед и задумчиво нахмурился, почесывая ус ногтем мизинца. Усы он начал носить месяца два назад — отчасти для солидности, так как на некоторых пациентов это действовало, а отчасти из патриотизма. Чего ради, в самом деле, лишаться мужской красы, подражая всяким гринго! Элена, когда его усы подросли настолько, что стали заметны, сначала рассмеялась, а потом сказала, что они придают ему вид «мафиозо», а в общем, решила она, с усами ему, пожалуй, лучше: ярче подчеркивается типаж.

Элена в соседней комнате звякала склянками и тихо говорила что-то ребенку. Потом она вышла, осторожно прикрыв дверь.

— Так что там случилось? — спросил Хиль.

— Действительно, он хотел пить,— успокоенно сказала она.— Кроме того, оказывается, в комнате сидел куко.

— Кто сидел?

— Куко! Это тот самый, что хочет нас утащить, когда мы не хотим кушать или плохо себя ведем. Донья Мария часто его видела.

— Вон оно что... Зря она рассказывает ребенку про всяких куко — это ни к чему. Вообще, пора бы вам и самой заниматься сыном... Все равно торчите дома, ничего не делаете.

— Я уже думала об этом.— Элена вздохнула.— Но как раз дома-то я, наверное, досиживаю последние дни.

— Почему?

— Смотрите,— сказала вместо ответа Элена. Она опять встала и отошла подальше.— Платье на мне хорошо сидит?

— Ну... как всегда.— Помолчав, Хиль спросил неприязненно: — Что это с вами, кокетство одолевает?

— Нет, серьезно — хорошо?— Она повернулась, показывая себя со всех сторон, и подошла к столу.— Это платье я сшила сама. Совершенно сама — кроила, шила, всё. Понимаете, одна приятельница предлагает мне начать на паях дело...

— Шить, что ли?

— Да, ателье мод.

— Тоже, придумали,— раздраженно сказал Хиль.— Вы соображаете? Для такого дела наверняка нужно быть выжигой, вам это не подойдет. На черта вам связываться с такой штукой?

— Выжигой? — Элена задумалась.— Почему же именно выжигой?.. И потом я вообще могла бы не касаться коммерческой стороны. Заниматься только шитьем даже приятнее.

— Да на черта вам это вообще понадобилось, каррамба!

— Странный вопрос, Хиль. Как по-вашему — должна я теперь думать о своем будущем?

— О вашем будущем?— Хиль поднял брови.— Да оно, мне кажется, вполне обеспечено, ваше будущее. Чего вам еще надо? Миллионов?

— Не миллионов.— Элена покачала головой.— Мне просто нужно иметь немного уверенности в том, что Херардин не будет ни в чем нуждаться ни через год, ни через два, ни через десять лет. Понимаете?

— Ну, допустим. Такое желание вообще можно понять. Но не совсем понятно, что заставляет именно вас — все-таки денег у вас много,— что вас заставляет пускаться в авантюру... На этом ведь можно не только заработать, но и потерять. Вдруг у вас не будет заказов?

— Ну что вы!— Элена засмеялась.— Если я вам скажу, где находится помещение, которое нам предлагают, то вы сами назовете это золотым дном. Самый центр Баррио Норте, представляете себе?

— Место хорошее,— согласился Хиль.— А что было раньше в том помещении?

— Тоже какая-то «мэзон»[1]. В том-то и дело, что там уже есть своя клиентура! Нет, это дело верное. Вы чудак, Эрменехильдо. Я не могу быть уверенной в завтрашнем дне, живя на какую-то ренту — пусть большую, согласна. Но я в ней ничего не понимаю, я слышала, что бывают случаи, когда такой капитал вдруг возьмет и превратится в дым. Просто так! А если иметь дело, работать — это совсем другое. Если бы я была одна, пожалуйста... Мне самой почти ничего не нужно. Хотя... мне тоже нужно знать, что и у меня будет кусок хлеба. Вы не знаете настоящей бедности, Хиль...

— Ну ясно!— фыркнул тот.— Я вырос во дворце, и мои родители были богаты, как Бульрич и Анчорена[2], вместе взятые! Где же мне знать бедность!

---

[1] Ателье мод (Maison de couture — *франц.*).

[2] Фамилии известных аргентинских миллионеров.

— Хиль, вы ее не знаете,— повторила Элена.— Вы как-то перебивались, у вашей мамы была пенсия, в общем, концы с концами вы сводили — пусть с натяжкой, но сводили. Во всяком случае, вам не приходилось бегать искать работу высунув язык! А мне пришлось, понимаете? И вообще я знаю, на что может толкнуть человека безденежье. Очень хорошо знаю! Поэтому я и сказала себе, что пока только я могу что-то делать, то я сделаю все возможное и невозможное, чтобы мой Херардин никогда не пережил того, что пришлось пережить мне и... и вообще другим. Я хочу, чтобы он не знал слова «нужда», понимаете! Хочу, чтобы он всегда был хорошо одет, чтобы у него был автомобиль, чтобы он учился в лучшем колледже и потом окончил университет...

— Университет — это правильно,— согласился Хиль.— Но если вы всерьез насчет автомобилей и прочего, то вас и близко нельзя подпускать к воспитанию Херардина.

— Это еще почему?

— Да потому, что вы мальчишку искалечите, вот почему! Уж я-то на факультете повидал этих маменькиных сынков, которые даже не давали себе труда учиться. У нас, правда, таких было немного, — медицина не для бездельников, — зато на юридическом...

— Господи, Хиль, можно подумать,— я собираюсь воспитать сына бездельником! Но неужели вам непонятно мое желание уберечь его от бедности? Вы не знаете, как мне за него иногда страшно,— добавила она, помолчав.— Если с ним что-нибудь случится, я этого не переживу. У меня ведь ничего не осталось, кроме него...

— Ну, в вашем возрасте...— пробормотал Хиль.

— Что — в моем возрасте? Личная жизнь, вы хотите сказать? Нет, Хиль.— Элена покачала головой.— Когда я встретила Херардо, это для меня стало — ну всем, вы понимаете? Второй раз такого не бывает. А Херардо... Он, в общем, не любил меня так, как я бы хотела. То есть он любил, по-своему. Наверное, просто привязался, как к чему-то домашнему. Ну, вот как к Макбету или кошке.

Хиль попытался улыбнуться и потянул из кармана сигареты. Элена остановила его жестом.

— Простите, забыл,— буркнул он, запихивая пачку обратно.— Я, конечно, польщен вашей откровенностью... Но, каррамба, я все-таки не поп и не соседняя кумушка, с которой можно делиться подобными воспоминаниями — как любили вы, как любили вас...

Элена вскинула брови.

— Почему кумушка, просто вы мне друг, я, наверное, и с братом не чувствовала бы себя так просто, как с вами. И потом вы врач,— она улыбнулась,— а врачам и священникам рассказывают все! Не сердитесь, дорогой Хиль, я ведь действительно сейчас очень одна. Моя подруга — та, что предлагает открыть дело,— она когда-то была мне очень близка, но долго жила в Рио, сейчас я чувствую, что мы не всегда понимаем друг друга. Был еще один человек, которому я могла бы рассказать все, да вы помните — садовник в «Бельявисте», дон Луис,— но его за что-то арестовали. Вот и получилось, что сейчас у меня остались только вы...

— Чтобы поплакать в жилетку?— спросил Хиль с кривой усмешкой.

— Вас это обижает?— Элена пожала плечами.— Как хотите, Эрменехильдо. До сих пор вы казались мне добрым и отзывчивым человеком...

Хиль раздраженно фыркнул.

— Добрым! Отзывчивым! Благородным! Каким еще, донья Элена? Валяйте дальше, обмазывайте меня сиропом. А потом можете обсыпать сахарной пудрой и кушать на здоровье.

— Ну чего вы злитесь?

— В самом деле — чего бы мне злиться, такому доброму и отзывчивому?

Элена покосилась на него с обиженным выражением.

— Не буду я вам ничего рассказывать, если вас так возмущает, когда вам «плачут в жилетку». Вы, Эрменехильдо, действительно многого еще в жизни не знаете, не только бедности. Вы не знаете, что такое быть совсем одиноким, вот что! Иначе вам было бы стыдно!

— Ну вот,— смущенно проворчал Хиль.— Уже и пошутить нельзя. И потом послушайте, донья Элена, не вам жаловаться на одиночество. А ребенок?

— Хиль, это другое дело. Я же вам сказала, что ребенок для меня — все. Но пока он такой маленький, вы понимаете... Я всегда мечтаю, что придет время, когда сын будет приходить ко мне советоваться о своих делах, может быть, спрашивать моего мнения о знакомых девушках...

— Как же,— засмеялся Хиль.— Об этом-то не спрашивают! А признайтесь, донья Лена, — вы ведь будете отыскивать в бедных девчонках малейший изъян?

Элена тоже рассмеялась.

— Не говорите! Я буду страшной свекровью, дон Хиль. Если лет через пять у вас родится дочка, держите ее подальше от дона Херардо Монтеро...

— Кстати, донья Лена... Я давно хотел спросить. Вы не носите фамилию покойного сеньора Бюиссонье?

— Нет,— сказала Элена.— Мы не венчались, дон Хиль.

— Вот что...

— Это моя вина,— добавила Элена.— Херардо предлагал много раз, но... Если бы вы знали, как я сейчас об этом жалею — из-за Херардина, ему так и не придется носить фамилию отца...

— М-да... Вообще-то...

— Я это сделала вовсе не потому, что не хотела связывать себя или что-нибудь в этом роде,— помолчав, продолжала Элена.— Я вам уже сказала — я всегда чувствовала, что Херардо не любит меня по-настоящему. Я так к этому привыкла, что, если бы он просто уехал с другой женщиной, я, наверное, даже не страдала бы особенно, потому что заранее была к этому готова. Если бы он просто меня бросил...

Хиль покачал головой.

— Я мало знал вашего покойного супруга, донья Лена, но думаю, что он бы вас не бросил.

— Нет, бросил бы,— повторила Элена с убеждением.— Я ведь совсем не то, что было нужно Херардо. И он это видел с самого начала.— Она поколебалась и добавила: — Вы знаете, у него была другая женщина.

Хиль опять почувствовал неловкость.

— Откуда вы взяли, что у него была женщина?— проворчал он.— Интуитивные догадки?

— Какие там догадки,— печально усмехнулась Элена.— Эта женщина гостила на кинте, когда я была в Рио... Не знаю, долго ли. Она оставила мне записку.

— Записку, вам?— Хиль удивленно посмотрел на нее.— Но если у нее действительно было что-то с доном Херардо, то... кто же в таких случаях пишет записки жене! По-моему, это доказывает как раз обратное...

Элена сидела задумавшись.

— Не знаю... Это могло быть чем хотите — и хитростью, и даже...

ну, желанием показать, что ей вообще нечего меня бояться — как сопернице, что ли. Не знаю, Хиль. Женщину иной раз трудно понять.

— А что было в этой записке, донья Лена?— спросил Хиль.

— О,— Элена усмехнулась немного пренебрежительно,— она воспользовалась какими-то моими вещами для верховой езды и сообщила мне об этом. С извинением, что позволила себе забраться в мой гардероб. Впрочем, все очень вежливо: «Уважаемая сеньора Бюиссонье» и так далее. Надо отдать ей справедливость, другая написала бы: «Дорогая сеньорита Монтеро».

— Очевидно, дон Херардо не счел нужным посвящать ее в... обстоятельства вашего брака. Это лишний раз доказывает, что между ними ничего не было.

— Не будьте наивным, Хиль! Садовник проговорился однажды, что после отлета Херардо — в тот же день вечером — на кинту приезжала какая-то особа, спрашивала о нем. Он не хотел ничего говорить, но я поняла из некоторых его слов, что она была в смятении, узнав о его отъезде. Понимаете теперь? Сложите все это вместе, и тут даже отгадывать ничего не придется.

— Ну... не знаю,— проворчал Хиль. — Конечно, она могла его преследовать, навязываться ему... Но если он сам говорил ей о вас, как о своей жене... Вы меня простите, донья Элена, я пытаюсь объяснить ход моих рассуждений... Так вот, если он ничего такого ей не сказал, то он, значит, и не хотел вам изменять. Вы говорите — женщину понять трудно, но мужчин-то уж я в таких делах знаю, поверьте мне. Нет, я склонен думать, что вы здесь ошибаетесь...

Он помолчал, потом спросил:

— А по ее подписи вы никак не смогли бы установить, кто она такая? Может быть, вам приходилось слышать от мужа эту фамилию раньше... В конце концов, друзья не друзья, но знакомые-то у него были?

Элена пренебрежительно пожала плечами:

— Подпись! Что мне говорит ее подпись? Какая-то Дора Б. Альварадо — никогда в жизни не слышала...

— Как — Дора Альварадо? — Хиль выпрямился, с изумлением глядя на Элену. — Альварадо?

— Ну да,— та недоуменно кивнула. — Альварадо — это я хорошо запомнила, еще бы. Очень четкая подпись. А что, вы ее знаете? Вы... Это действительно ваша знакомая?

Хиль в растерянности встал и прошелся по комнате, ероша волосы.

— Вы ее знаете, Эрменехильдо? — уже встревоженно спросила опять Элена.

— Ну... Как сказать... Не совсем, то есть я знаю одну Альварадо... Дору, да, Дорой ее звать. Дора Беатрис. Но... это совсем молодая девушка, лицеистка, и вообще...

Он пожал плечами и, нахмурившись, уставился куда-то в угол.

— Дора Беатрис? — медленно повторила Элена. — Да, там так и стояло — Дора Бэ. Значит, вы ее знаете...

— Я не сказал, что я ее знаю, каррамба! Мало ли на свете Альварадо! Мало ли на свете девчонок, которых зовут Дорами! И это ваше «Бэ» тоже ни о чем не говорит — это может быть и Бланка, и Барбара, и Брихида... Подумаешь, доказательство!

Элена ничего не ответила. Хиль покосился на нее и вдруг подумал, что глупо ему лезть на стенку и доказывать недоказуемое, и главное — чего ради? Что это изменит?

Как будто ей легче будет, если она поверит, что речь идет не о Беатрис. А на самом деле именно о Беатрис идет речь, это совершенно ясно — нужно только вспомнить, что говорил тогда Ретондаро. Как

раз в это самое время, когда Бюиссонье умер, у маленькой Альварадо произошла какая-то трагедия. Какая — теперь ясно. Да и что в этой истории такого неправдоподобного, чтобы непременно искать какой-то другой ответ? Ровно ничего, кроме разве странного совпадения, сделавшего его, Хиля Ларральде, знакомым и той, и другой стороны. Но даже и в этом совпадении, если подумать, нет ничего странного: мир тесен, а Буэнос-Айрес — тем более.

— А вообще-то вы, может быть, и правы,— сказал он, снова усевшись в кресло напротив Элены. — Может быть, это и есть та самая Альварадо... Кто знает.

Элена молчала, глядя в сторону, и вертела в пальцах надетый поверх платья крестик. Движения ее руки что-то Хилю напоминали, мешали думать. Потом он вспомнил — этот самый крестик, гладкий, матового золота, был на ней в тот вечер два года назад, когда она впервые рассказала ему о своем замужестве. И платье, кажется, было какое-то похожее. Тоже закрытое и тоже черное. Задним числом можно счесть за предзнаменование. Глупости какие лезут в голову, прямо удивительно...

— Расскажите мне об этой женщине,— тихо сказала Элена, не глядя на него.

— О ком? — глупо спросил Хиль, чтобы выиграть время неизвестно для чего.

— Об этой Альварадо, вы же понимаете!

— Ах, о ней... Ну, я ведь так близко ее не знаю... Это совсем молодая девчонка, сейчас ей, должно быть, лет... восемнадцать, девятнадцать. Я с ней когда познакомился, она еще была в лицее.

— Да? — Голос Элены прозвучал небрежно, почти рассеянно. — Вот как, в лицее. Значит, она из состоятельной семьи?

— Я не сказал бы,— подумав, ответил Хиль. — Семья у нее, очевидно, была когда-то состоятельной, но сейчас, насколько я знаю, нет. Ее отец преподавал в университете... до Перона.

Элена помолчала, вертя крестик еще быстрее, и потом заговорила торопливо, словно сообразив вдруг, что молчать нельзя:

— Вот как, профессор из университета, это интересно, а она сама... Я хотела сказать,— вы были с ней знакомы, то есть знакомы сейчас,— она интересна как человек? Ну, вы понимаете — интересно вам с ней говорить? Вообще разговаривать? Наверное, она все это знает — литературу, всяких знаменитых писателей?

— Интересна ли она как человек? — медленно повторил Хиль. — Хм, это зависит — что понимать под интересностью, для меня это не обязательно сводится к начитанности. Самые интересные разговоры в моей жизни мне пришлось вести несколько лет назад с одним стариком, сторожем в Пергамино, а он был неграмотным. А еще ближе — извините за сопоставление — с вами мне очень интересно говорить, донья Лена, хотя я вовсе не уверен, что вы отличите Сервантеса от Кеведо... Да меня и самого это не интересует. Так что я просто затрудняюсь ответить на ваш вопрос относительно Дориты. Вообще-то она, очевидно, начитанна... Девушки в таких семьях обычно получают хорошее образование. Но как раз это меня в ней никогда не привлекало... Тем более что и встречаться и разговаривать нам приходилось, в общем, не так уж часто. Я знаю, например, что она любит музыку и, наверно, способна говорить о ней интересно, но сам я в музыке ничего не смыслю. То, что интересовало меня, обычно не интересовало ее, и наоборот. Болтать с ней было приятно... Я тоже говорю «было», потому что не видел ее уже почти два года. Да, с ней было интересно, но как-то... как бы вам сказать — как с забавным ребенком, что ли. Я над ней больше подшучивал, она очень мило обижалась. В ней было тогда что-

то детское. Я ее еще называл «инфантой»: у нее оказалась куча знатных предков. А всерьез я ее как-то не принимал.

Элена усмехнулась:

— Сейчас вы посвятили ей слишком длинную речь, чтобы я могла поверить вашей последней фразе, вам не кажется? Значит, это всегонавсего инфанта, которая получила хорошее образование, умеет говорить о музыке и «очень мило обижаться». Что ж, такие сейчас не встречаются на каждом шагу, не правда ли?

— На каждом шагу не встречаются,— хмуро согласился Хиль.

— А ее внешность? — спросила Элена, весело улыбаясь. — Соответствует всему остальному?

— Не знаю,— буркнул Хиль. — Внешность как внешность. В общем, конечно, ничего.

— Блондинка, брюнетка?

— Кажется, брюнетка,— подумав, сказал Хиль. — Вернее, не совсем, волосы у нее темные, но не черные. И глаза тоже какие-то такие. Нет, глаза, пожалуй, черные. Что вас еще интересует? Рост — средний. Фигура самая обычная, все на своем месте и как полагается. Вы довольны? И пожалуйста, хватит расспросов. Чтобы покончить с этой темой, я могу только повторить еще раз то, что уже сказал в самом начале. Я знаю эту девчонку Альварадо и немного знал вашего покойного супруга, и я не верю, что между ними могло быть что-то предосудительное. Для меня это совершенно вне сомнения.

— Еще бы,— кивнула Элена, и он не сразу понял, говорит ли она серьезно или в насмешку. — Еще бы, девушка из такой семьи, с кучей знатных предков! А вам не кажется странным, дон Эрменехильдо, что так безупречно воспитанная сеньорита гостит за городом у постороннего мужчины, пока его жена находится в отсутствии?

Хиль молча пожал плечами:

— Не знаю, со стороны трудно судить. Да и не нужно, донья Элена. К чему? Что это меняет? Вы сейчас озлоблены против нее так, словно это действительно ваша соперница. А ведь толком вы ничего не знаете. Когда не знаешь точно, почему человек совершил тот или иной поступок, можно подходить к нему с двух сторон... Вы меня понимаете? Можно предположить худшее и можно предположить лучшее. Это зависит от того, как вы вообще смотрите на людей, доверяете ли вы им или не доверяете... У меня есть такие знакомые, из моих коллег,— о чем бы такой тип ни услышал, у него всегда на все готовое объяснение, причем именно определенного рода. У кого-то хорошие отношения с начальством — значит, подхалимствует. Кто-то с начальством ругается — значит, бьет на популярность, хочет прослыть правдоискателем. И так без конца. Конечно, такой подход к людям может уберечь от разочарований, но ведь этак мало-помалу превратишься в мизантропа...

— Пресвятая дева,— вздохнула Элена,— до чего мужчины сентиментальны. Я не знаю, что такое быть мизантропом, но если это значит видеть людей такими, как они есть, то значит я и есть самый стопроцентный мизантроп. А вы можете разводить всякие красивые теории, дело ваше.

— Послушайте, донья Элена. Только что я вам сказал, что вы озлоблены против маленькой Альварадо, а теперь оказывается, что вы озлоблены вообще против всего мира...

— Я против него не озлоблена! — вспыхнула Элена. — Просто я знаю ему цену, будь он проклят! Если хотите говорить откровенно, то этот ваш мир в шестнадцать лет сделал из меня шлюху... Да, я сказала — шлюху! Не беспокойтесь, я не ловила клиентов на Леандро Алем. Я просто спала со своим патроном, чтобы не потерять работу! Не правда ли, мой дорогой дон Эрменехильдо, вы никогда не слышали

о подобных вещах? Так вот слушайте, что делается в этом вашем мире, который вы призываете меня любить! И не забывайте, что этот мир отнял у меня человека, которого я любила больше своей души,— человека, сделавшего меня матерью!

— Да, но...

— Молчите! Мне неважно, кто виноват в смерти Херардо — банда того жирного янки или ваша подружка, чистенькая профессорская дочка! Молчите, я говорю! Какое вы имеете право требовать от меня, чтобы я им всем доверяла?! Кому я должна доверять — такому Брэдли? Или такой Альварадо, которой от скуки захотелось развлечься с чужим мужем?

— Да выслушайте вы меня наконец, каррамба!

— Мне ваши утешения не нужны! Какие слова могут теперь меня утешить? Вы не избавите меня от страха только тем, что скажете «не бойся»! А я боюсь, понимаете?! Не за себя боюсь, мне уже бояться нечего, а боюсь за своего маленького, за своего Херардина! Только теперь я, может быть, поняла, почему Херардо не хотел ребенка,— он тоже боялся, понимаете, боялся за них — за тех, кто по воле родителей входит в этот проклятый мир! Мне страшно за него каждое утро и каждый вечер, когда я смотрю, как он спит в своей кроватке... Ведь и Херардо когда-то тоже...

Элена — голос ее прервался — упала в кресло и заплакала, уткнувшись лицом в колени. Хиль смотрел на нее, вытянув шею, словно воротничок вдруг стал ему тесен.

— Успокойтесь, донья Элена,— проговорил он наконец. — Иначе я сейчас вкачу вам такую дозу нембутала, что вы пролежите пластом двое суток. Ну?

Элена, продолжая плакать, дернула плечом. Хиль покосился на шкафчик с лекарствами и остался сидеть. Пусть поплачет, в конце концов это тоже успокаивает.

Что ж, если обзаводишься детьми, тревога за них — вещь нормальная. К тому же у Элены это еще и гипертрофировано под влиянием недавно пережитой травмы — удивляться нечему. Но если это останется, мальчишку она может загубить. Дурочка, как будто богатые застрахованы от несчастий! Не о богатстве ей нужно думать, а о том, чтобы у ребенка был отец. Настоящий отец, который сделал бы из него мужчину. Я бы за это взялся. Еще как взялся бы! Но ведь не скажешь же ей так просто: «Донья Лена, выходите за меня замуж». Ведь не скажешь? А может, и скажу... когда-нибудь. Очень возможно. Вот возьму и скажу. Только нужно время.

6

Пико Ретондаро вернулся из эмиграции в понедельник двенадцатого сентября. В отличие от знаменитых «Тридцати трех» полковника Лавальехи[1] его группа насчитывала всего тринадцать человек, и переправлялись они не из Аргентины в Уругвай, а обратно. Но цель была та же, что и сто тридцать лет назад,— революция.

Пико всегда был суеверен, и сейчас странное нагромождение противоречивых примет привело его в трепет. Их было тринадцать — число само по себе дурное, хотя многие носят его на брелоках именно для отвода злых сил, а дата— двенадцатое, но зато понедельник, худший

[1] В 1821 году территория нынешнего Уругвая была аннексирована Бразилией под названием «Цисплатинская провинция», четырьмя годами позже аргентинский полковник Хуан Антонио де Лавальеха, командуя отрядом из 33 человек, высадился в стране и поднял там восстание, покончившее с бразильским владычеством.

из дней недели. Что сулило им такое странное и противоречивое сочетание, понять было трудно.

В городке Белья-Унион, пока ждали переправы на аргентинский берег, он даже купил газету с гороскопами и начал расшифровывать предсказания, касающиеся его и остальных членов группы. Судьба-то у них была теперь более или менее одна! Оказалась чушь: ему и еще двум парням, родившимся под знаками Тельца и Водолея, газета посулила любовные приключения, а остальным — финансовые заботы, ссору с близким человеком и еще какие-то мелкие неприятности.

Когда он прочитал вслух эту галиматью, все посмеялись, но потом вечный оптимист Кабраль сказал, что такой гороскоп предсказывает успех, так как в противном случае их ждет либо тюрьма, либо яма, а уж там-то определенно не будет ни любви, ни денег.

Каким образом должна была осуществиться переправа под носом у аргентинских пограничников, никто не знал. Это было дело контрабандиста, получившего авансом большие деньги. Тот сказал, что все устроит и что им беспокоиться не о чем: он-де не первый год занимается этим промыслом, переправляя через Рио-Уругвай то беспошлинный нейлон, то революционеров, то уголовников.

Действительно, после обеда их всех повели на пристань, где была причалена маленькая моторная ланча с грязным парусиновым тентом, точь-в-точь похожая на те, что в воскресенье развозят по островам Дельты выехавших на лоно природы жителей Буэнос-Айреса. Нарушители забрались в посудину — тринадцать человек, все с оружием и без единого опознавательного документа, на случай провала. Уругвайский пограничник смотрел на них, облокотившись на парапет, и лениво плевался, целя в болтающийся в воде гнилой апельсин.

Ланча затарахтела мотором и пошла вверх по реке, расталкивая мусор. Отойдя на километр, она повернула и снова прошла мимо пристани, на этот раз не остановившись, потом их высадили на аргентинский берег, километрах в трех ниже городка Монте-Касерос.

В городке их ждали со вчерашнего дня. Высадка произошла в шестом часу вечера, а в восемь, наспех перекусив и обменявшись новостями с местными комитетчиками, вся группа на двух машинах выехала в Курусу-Куатиа.

Индейскому названию этого местечка через неделю суждено было замелькать на валах ротационных машин во всех южноамериканских столицах, но в понедельник двенадцатого это было название как название, и местечко как местечко, столь захолустное, что группе молодых туристов и переночевать негде было бы, если бы не любезность военного коменданта, открывшая им свободный доступ в гарнизонные казармы.

Наутро нарушителям границы пришлось распрощаться друг с другом. Двое оставались здесь, в гарнизоне Курусу-Куатиа, восемь человек отправлялись в Буэнос-Айрес и уже, благодаря той же неисчерпаемой любезности коменданта, были переодеты в форму и снабжены солдатскими книжками и отпускными свидетельствами. Пико, Рамон Беренгер и Освальдо Лагартиха должны были ехать в Кордову.

Сначала они тоже решили было переодеться в форму, но офицеры им отсоветовали, так как в провинции Кордова начинались большие маневры и документы солдат неизбежно проверялись бы на каждом дорожном посту; проще было ехать в штатском обличье, не привлекая внимания.

Первой отбыла столичная группа; гарнизонный грузовик должен был доставить их в Росарио, где им следовало сесть в поезд. Беренгер смотрел на отъезжающих с завистью: он, чистокровный «портеньо», провел в эмиграции два года и сейчас продал бы душу дьяволу за возможность пройтись вечером по Коррьентес — от Флориды до Эсме-

ральды и обратно. И нужно же, что ему приходится теперь ехать в эту чертову Кордову!

— Мелкая ты личность,— сказал Пико, когда Рамон поделился с ним своими чувствами.— Они что? Они возвращаются туда тайком, под чужим именем. А мы вернемся победителями. Разве это не лучше? Стыдись, бескрылая ты душа.

Скоро пришла машина и за ними, новенький аргентинский пикап «растрохеро». Солдат принес несколько охапок сухого люпина, сумку с хлебом и консервами и пятилитровую бутыль красного вина; комендант посоветовал на всякий случай избегать остановок в харчевнях.

Как назло, погода испортилась, не успели они отъехать пяти километров. Похолодало, стали собираться тучи. Лагартиха ехал в кабине, Рамон в позе римлянина возлежал на сене, жуя стебелек люпина, а Пико трясся на боковой скамеечке, с тревогой посматривал на серый горизонт и плохую дорогу и ругался сквозь зубы, кутаясь в грязный дождевик. Плащ был тот самый, в котором он три месяца назад удирал из Буэнос-Айреса, и грязь на нем была та самая. Конечно, сто раз уже можно было отдать его в чистку в Монтевидео, но Пико Ретондаро был выше этого. Политическому эмигранту не до чистоты своего плаща. Тем более что когда молодой человек интеллигентного вида и в общем-то достаточно хорошо (для эмигранта) одетый ходит в плаще столь уже грязном и измятом, то сразу видно, что дело тут не просто в неряшливости, а в чем-то более серьезном...

— Мы, кажется, гнусно влипли,— сказал он Рамону.— Если пойдет дождь, то все проклятые дороги этой провинции превратятся в болото. И о чем думала до сих пор эта сволочь Перон?

— Держу пари, не об удобстве возвращающихся эмигрантов, — лениво ответил Беренгер, переворачиваясь на спину.— А куда нам торопиться?

— Осел, до Кордовы почти восемьсот километров. Соображаешь, когда мы туда явимся? И еще эта чертова переправа в Санта-Фе...

— А знаешь, Ликург, — помолчав, сказал Рамон и вытащил из сена еще один стебелек,— строго говоря, мы зря едем. Согласись, наш приезд ровно ничего не меняет и ни на что не влияет. Я это понял в этом паскудном Курусу. Механизм уже крутится без нас, так что напрасно мы воображаем себя этакими Боливарами.

— А я и не воображаю себя этаким Боливаром,— отозвался Пико.— Я просто не могу оставаться в стороне. Понимаешь? Раньше я думал, что смогу. После шестнадцатого июня меня тошнило от одного слова «революция», а в Монтевидео я понял, что и бездействие — тоже не выход.

— Это верно,— согласился Рамон, откусывая и сплевывая кусочки стебля.— Но верно и то, что нам страшно хочется походить потом в участниках этой истории. Когда революция победит, люди очень разно будут смотреть на тех, кто вернулся из Монтевидео «до» или «после».

— И будут правы!

— Как сказать...

— Факт остается фактом, сеньор Беренгер,— мы сегодня рискуем здесь собственной шкурой. А те, в Монтевидео, не рискуют. Перед лицом вечности, как говорится, эта разница не столь уж значительная, но именно она предопределяет разницу в отношениях будущих историков революции к нам и к ним. И не только историков, вообще людей.

— В том числе и буэнос-айресских девчонок, не правда ли?

— Отчасти и их,— согласился Пико.

Рамон засмеялся.

— Ты хоть откровенен, черт возьми!

— Да я не себя имел в виду, дурень.— Пико пересел спиной к кабине и втянул голову в плечи, повыше подняв воротник плаща. Глаза его под очками слезились от пронзительного холодного ветра.— Как раз этот фактор для меня не работает. Я давно обручен, старик, и моя невеста скорее предпочла бы, чтобы я оставался в Монтевидео. А вообще, если ты хочешь сказать, что нами движет сегодня не только патриотическая жертвенность в ее чистом виде, а и другие побуждения, не столь возвышенные, то я заранее с тобой согласен. Кстати, если уж говорить про упомянутого тобой Симона Боливара, то он был, в общем, довольно честолюбивым и самовлюбленным фанфароном, а в историю вошел как Великий Освободитель — с прописных букв и безо всяких кавычек. И не он один, у многих великих людей высокие побуждения были смешаны с самыми низменными. Почему же мы должны быть исключением?

— А ты не погибнешь от скромности, Ретондаро,— усмехнулся Беренгер.

— Нет, конечно. У меня больше шансов погибнуть от пули,— высокомерно сказал Пико.

Потом он тоже растянулся на сене, и некоторое время они ехали молча, изредка поругиваясь от особенно сильных толчков.

— И дерьмо же эта дорога,— сказал Пико.

— Еще большее дерьмо — машина, на которой мы едем,— отозвался Рамон.— Это что, у нас выпускают теперь таких уродов?

— Да, первенец отечественного автомобилестроения. Их собирают в той же Кордове, на заводах ИАМЕ.

— Вот как,— сказал Рамон.— В мое время их еще не было. И сколько такое добро стоит?

— Сто семьдесят тысяч, если не подорожали. Впрочем, говорят, мотор у него хороший. Дизель. Немецкий, что ли, или по немецкой лицензии. Интересно, какое они пьют вино, эти гарнизонные крысы?

Он протянул руку и встряхнул торчащую из сена оплетенную бутыль.

— Меня самого давно занимает этот вопрос,— живо отозвался Рамон.— Вряд ли хорошее. Чтобы попить хорошего вина, нужно ехать в Мендосу или, еще лучше, в Сан-Луис. Но можно попробовать и это.

Они по очереди пососали из бутыли, нашли, что вино неважное, но немного согрелись и через некоторое время повторили опыт. Ехать стало немного веселее.

На исходе четвертого часа пути они добрались до моста через Рио-Гуайкираро. Машина остановилась, сразу стих ветер, и стало теплее. Лагартиха с шофером вышли из кабины, Рамон и Пико спрыгнули на землю, разминая ноги.

— Не очень я вас раструсил? — спросил шофер.— Дорога здесь...— Он покрутил головой и выругался.— Ну, за речкой начинается уже Энтре-Риос, здесь провинциальная граница. Через час будем в Ла-Пасе.

Пико сказал, что это, конечно, большое утешение, но их целью является по-прежнему Кордова, до которой от Ла-Паса больше пятисот километров. Потом он спросил, не в лучшем ли состоянии дороги на правобережье. Шофер ответил, что дорогу от Санта-Фе до Сан-Франциско он не знает, так как сюда ехал с юга, через Конкордию, но слышал, что там здорово развезло.

— Ничего не поделаешь,— вздохнул Пико,— тринадцатое есть тринадцатое.

Они развели огонь, разогрели консервы и поели, наполовину опорожнив гарнизонную «дамахуану». Потом шофер достал из-под сиденья закопченный чайничек; примащивая его над костром, он поинтересовался, имели ли сеньоры возможность пить мате «там, за границей».

— Где, в Уругвае? — удивился Рамон.— Да они там без бомбильи[1] ни шагу.

— Скажи ты. — Шофер покрутил головой. — А другие гринго мате не любят.

— Так то гринго, а уругвайцы такие же креолы, как и мы с тобой.

Шофер свернул самокрутку, вытащил из огня уголек и прикурил.

— Я на той неделе ездил за удобрениями в Сальсакате,— сказал он, выпуская дым из-под усов.— Там по радио говорил Перон, так он сказал, что уругвайцы это все равно что гринго или еще хуже. Так и сказал.

— Перон? — переспросил Пико.

— Ну да, я ж говорю, Перон.

— А вы верите всему, что говорит Перон?

Шофер подумал, пожал плечами и ничего не ответил.

— Ну хорошо,— не унимался Пико,— вы видели плакаты «Земля тем, кто ее обрабатывает»?

— Кто их не видел,— кивнул водитель.

— Верно, их всюду полно. А много вы знаете случаев, чтобы арендаторы получали землю?

— У нас такого не было,— подумав, сказал шофер.— Да и в других местах я не слыхал. Ездить-то мне приходится достаточно.

— Вот вам и Перон. Сколько лет обещает аграрную реформу...

— Ну, реформу! — Шофер усмехнулся.— Чего захотели, реформу... Никогда ее и не будет, этой реформы.

— Почему? Нужно только, чтобы пришли к власти честные люди.

— Это-то верно,— кивнул шофер.— А только где их взять? Власть для человека — это все равно что ржавчина для железа. Пока он внизу, он честный, а как прошел по выборам хоть в самый дерьмовый муниципалитет — уже через год делается хуже любой шлюхи...

Пососав мате, они снова тронулись. Лагартиха, ехавший до сих пор в кабине, предложил кому-нибудь поменяться с ним местами, если наверху холодно. Рамон отказался, сославшись на арабскую пословицу о том, что глупо стоять, когда можно сидеть, и еще глупее сидеть, когда можно лежать. Пико эту восточную мудрость не оценил, он с удовольствием забрался бы в теплую кабину, но что-то удержало его, и он тоже отказался. Немного погодя, кутаясь от ветра в плащ, он с неудовольствием понял, что отказ его был продиктован не чем иным, как нежеланием остаться один на один с шофером. Это было неприятное открытие.

Беренгер дремал, завернувшись в истрепанное, щегольское когда-то пальто. Пико прятался от ветра за стенкой кабины, курил, смотрел на убегающую назад разбитую дорогу, покосившиеся телеграфные столбы, монотонное кружение серых пустых полей, и на душе у него было так же холодно и серо, как серо и холодно было вокруг — в небе и на земле, еще не сбросившей с себя зимнее оцепенение.

Он убеждал себя, что дело просто в неизбежной реакции после всех тревог и волнений, связанных с переходом границы. До сих пор он держался не хуже других, но человек же не машина! Почему обязательно его голова должна сейчас работать так же ясно и четко, как она работает за письменным столом? За столом она работает хорошо. Ведь не откинешь факта, что его, Ретондаро, статью с анализом сегодняшнего положения аргентинских синдикатов хвалил сам Фрондиси! Значит, его голова все же чего-то стоит.

Однако сейчас он побоялся сесть в кабину. Ведь так? Побоялся потому, что двое в кабине всегда начинают говорить, и они — шофер и

---

[1] Трубочка, через которую пьют мате — «парагвайский чай».

Ретондаро — неизбежно вернулись бы к тому разговору, прерванному вскипевшим чайничком и процедурой заваривания мате. И он,— в этом-то вся и беда,— он ничего не смог бы сказать толком этому простому аргентинскому парню, потому что когда парень с такой безотрадной уверенностью изложил свой взгляд на всякую власть вообще, он не нашел в голове никакого возражения. Голова его оказалась в тот момент совершенно пустой. А ведь сколько раз приходилось ему раньше говорить и писать на эту тему...

Конечно, тогда было легче. Легко выступать перед избранным кружком единомышленников, которые понимают тебя с полуслова; еще легче нанизывать доводы и аргументы в ровные машинописные строчки, когда тебе никто не мешает и под рукой есть пачка сигарет и термос крепкого кофе...

А вот переубедить этого парня оказалось трудно. Не то чтобы он пробовал это сделать, нет, он даже не пробовал. Он просто смолчал тогда, а сейчас, когда представилась возможность продолжить разговор, он уклонился. «Ликург» Ретондаро, уже считающийся в движении довольно видным молодым теоретиком, уклонился от разговора с простым парнем из пампы. Но ведь это ради них — таких вот простых парней из пампы — затеяно все движение. Иначе ради чего другого находятся сегодня здесь они, тринадцать эмигрантов, нелегально вернувшихся на родину? Хорошо, шутить можно как угодно, можно как угодно говорить о честолюбии, о юношеском авантюризме, о желании покрасоваться в ореоле героя перед знакомыми девушками — все это, несомненно, есть, и все играет какую-то роль, если начать копаться в психологии. Но ведь не это же главное!

Сколько бы недостатков ни имел каждый из них — тот хвастун, тот юбочник,— все же есть для них ряд определенных ценностей, находящихся, так сказать, превыше всего и не подлежащих ни сравнениям, ни переоценкам. Религия, Родина, Свобода, Честь и тому подобное. Так или иначе, плохо или хорошо, но они воспитаны на этих понятиях. Все это, если вдуматься, довольно абстрактные категории, и однако ради этих нематериальных ценностей они рискуют сегодня своей жизнью. Очень материальной и очень ощутимой ценностью своего существования.

Любопытно, что большой процент молодых участников движения принадлежит к обеспеченным слоям общества. Что же они, идут на это ради увеличения семейных доходов? Глупости, хотя наши предприниматели и вопят в один голос, что Перон их душит налогами и поборами, они живут ничуть не хуже, чем жили до сорок третьего года. И вообще зачем бы, казалось, сыну землевладельца рисковать своей жизнью ради программы, предусматривающей проведение аграрной реформы?

Да ведь если рассуждать трезво, то и для него, молодого юриста Ретондаро, есть более надежные способы добиться в жизни прочного и уважаемого положения, чем участие в переворотах. Используя семейные связи, он мог бы пойти по обычному пути: поступить в солидную юридическую контору с хорошей репутацией, поработать на жалованье год-другой, перейти на проценты, потом наконец открыть собственную контору и вести дела, попутно занимаясь умеренной политикой.

Вместо этого он и все его единомышленники избрали политику в ее предельно неумеренной, если так можно выразиться, экстремальной форме — в форме политического насилия, открытого нарушения лояльности к власти и принудительного изменения существующего порядка вещей. Ради чего? Ведь не ради же собственного спокойствия и собственной выгоды! Значит, ради тех же высших ценностей, в их числе — едва ли не прежде всего — Родины. Но родина — это народ, а народ —

этот самый парень, с которым он не сумел найти общего языка: Не о слишком ли многом говорит эта встреча накануне восстания?..

Не останавливаясь, забрызганный грязью «растрохеро» поюлил по улочкам Ла-Паса и снова выбежал на шоссе, миновав указатель «Санта-Фе — 184 км». Стало еще холоднее, смеркалось. Беренгер проснулся, позевал, ухитрился закурить, прикрываясь от ветра полою пальто.

— Хороши мы будем, если ты зажжешь это чертово сено,— ворчливо сказал Пико.

— Успеем выскочить. Я сейчас думаю об этих типах, что поехали в столицу, и готов лопнуть от зависти. Наверное, они уже в Росарио. Интересно, какое там сейчас расписание поездов... При мне вечерний в столицу отходил в восемнадцать сорок пять и в полночь прибывал на Ретиро. Дневной «рапидо» ходил скорее, за четыре часа с чем-то, но я предпочитал этот вечерний... Вечерний был удобнее всего — с делами покончишь и как раз поспеваешь на вокзал. Ужинал я всегда в поезде. В то время в вагоне-ресторане подавали колоссальные бифштексы — вот такой толщины, лучших я не пробовал и в «Шортхорн-Грилл». А ты обратил внимание, какое гнусное мясо в Уругвае?

— По-моему, мясо как мясо,— рассеянно отозвался Пико.

— Что? Да там вообще нет мяса! В Монтевидео тебе в лучшем случае подадут подошву, а чаще всего — просто обжаренный кусок дерева. Иди ты,— Беренгер возмущенно взмахнул рукой,— не говори мне, что в Уругвае ты хоть раз поел мяса!

— Че, Рамон,— сказал Пико.— Ты слышал, что говорил шофер на остановке?

— Слышал. А что?

— Тебя не удивило, что я ничего ему не возразил?

— А что ты ему мог возразить?

— Но ты сам возразил бы что-нибудь, очутись ты в необходимости отвечать?

— Необходимости отвечать не бывает, Ретондаро, или бывает очень редко. Бывает необходимость удрать, ничего не ответив. Это дело другое. Я бы именно так и сделал.

— Удрал бы, ничего не ответив? И ты думаешь, это лучший способ завоевывать доверие народа?

— Скажи еще — любовь! — иронически отозвался Рамон.— Не неси чушь, Ликург, ты ведь неглупый парень.

— Ты что же, — помолчав, сухо спросил Пико, — считаешь, что народ в принципе не может нам верить?

— Не обобщай и не притягивай сюда принципы. Пока что, при нынешнем положении вещей,— да, не может. Его слишком часто надували, чтобы он теперь верил кому попало.

— Но за каким же ты тогда чертом примкнул к движению, если считаешь, что мы не можем пользоваться доверием народа? Ты ведь тоже не дурак и прекрасно понимаешь, что в таком деле, как наше, выигрывает в конечном итоге только тот, кому поверят простые люди! Такие вот, как этот водитель! А ты считаешь, что нам они никогда не поверят. За каким же тогда чертом ты едешь сейчас в Кордову?!

— Чисто личные побуждения, — с зевком ответил Беренгер.— Все дело в том, что мне не нравится перонизм. Лично мне, понимаешь? Мне тошно от этих речей, от тона газет и казенной фразеологии — словом, от всего, что составляет лицо сегодняшней Аргентины. Поэтому я и примкнул к движению. Плюс к этому, разумеется, я еще считаю, вернее — надеюсь, что те перемены, которые могут произойти в стране при нашем содействии, не изменят жизни народа в худшую сторону. Для народа более или менее все останется по-старому. А я хоть пере-

стану видеть эти паскудные портреты и паскудные лозунги, от которых сегодня в Буэнос-Айресе хочется блевать на каждом шагу.

— С такими мыслями революций не делают,— проворчал Пико.

— Делают, и еще как. Слушай, Ретондаро, если мы — идеалисты по нашему мировоззрению, то это не значит, что нам позволено подменять действительность идеалами. В области практики мы должны быть самыми трезвыми из материалистов, только при этом условии можно теперь что-то делать. Я хочу сказать — делать с минимальными хотя бы шансами на успех. Разумеется, атаковать с копьем наперевес ветряную мельницу, о чем мечтает наш дон Освальдо, можно и с закрытыми глазами... Ну что, пососем гарнизонного винца?

Пико отказался. Рамон достал из кармана свою трубочку, продул от мусора и припал в темноте к бутыли. Потом он выкурил еще одну сигарету, завернулся в пальто и уснул.

Поздно вечером они переправились на пароме через Рио-Парана. Замелькали освещенные улицы Санта-Фе, уже малолюдные, как обычно в провинции после десяти часов, и снова поглотила машину темная пустота спящей пампы, совершенно глухая, без огонька и просвета, без луны и звезд.

В Кордову приехали ранним утром. Пико проснулся от толчка Рамона и первую секунду не мог сообразить, где он и откуда этот холод, это прозрачное, чистое утреннее небо над головой, этот запах бензина и мокрого от росы сена. Потом он поднялся, растирая лицо ладонями. Пикап стоял у обочины; тут же на дороге, фыркая и гогоча, умывался Лагартиха, которому шофер сливал на руки из бидона. В отдалении, местами сиреневые, местами нежно-голубые, неожиданно и неправдоподобно высились очертания гор, а внизу, куда полого сбегало шоссе, лежал город — бело-желтый в лучах утреннего солнца, очень живописный, с беспорядочным нагромождением красных и серых черепичных крыш, стеклянно-бетонной геометрией новой архитектуры и оправленным в темную зелень колониальным барокко фронтонов и колоколен.

Они помылись, кое-как привели себя в порядок, доели остатки гарнизонной провизии.

— Итак, сегодня уже среда, четырнадцатое,— сказал Пико, листая блокнот-календарь. — Хорошо, что вчера не произошло ничего существенного. Промежуточный этап, так сказать. Не хотел бы я, чтобы мы тринадцатого перешли границу или прибыли на место назначения. Кто знает, где дом профессора Гонтрана?

— Это который Гонтран? — спросил Лагартиха.— Тот, что читал международное право? Он живет на бульваре Уилрайт. Тебя что, подбросить туда?

Пико с сомнением посмотрел на часы — было без четверти восемь. Являться в чужой дом спозаранку? Он вспомнил, что Дорита Альварадо рассказывала ему когда-то о помешанной на порядке профессорше, вечно донимавшей ее нотациями.

— Нет, туда еще рано. Высадите меня в центре, я побреюсь, пока есть время...

Они въехали в город, оставив справа железнодорожные мастерские, и по улице Пе́нья свернули к центру. Через несколько кварталов Пико постучал по крыше кабины. Пикап затормозил, сворачивая к тротуару.

— Парни, я пошел,— сказал Пико, выпрыгнув из кузова и отряхивая с плаща приставшее сено. — Значит, встречаемся в шесть? Надеюсь, никто ничего не перепутает. Итак...

Он подмигнул и поднял правую руку с выставленными указатель-

ным и средним пальцами — старый знак победы, придуманный еще союзниками в годы войны против нацизма. Теперь в Аргентине он стал полуофициальной эмблемой движения, и на стенах его рисовали обычно в сочетании с крестом. Конечно, делать такой жест на улице, среди бела дня, было неразумно, что тотчас же отметил Беренгер, обозвавший приятеля кретином.

На улице Сан-Мартин Пико побрился в только что открывшейся парикмахерской. Когда он оттуда вышел, было около девяти и уже становилось тепло. Он обогнул площадь, зашел в собор, рассеянно помолился, потом вышел на паперть и долго смотрел на старинное здание Кабильдо. Ему никак не удавалось вспомнить фамилию архитектора, который его строил. Почти двести лет назад, повелением вице-короля Собремонте. В тысяча семьсот каком-то году. Но кто? Интересно, как все пройдет в этом городе. Если не удастся захватить власть с налета и начнутся уличные бои, такое здание — настоящая крепость. Да, в восемнадцатом веке не жалели строительных материалов. Какова толщина этих стен — метра полтора? Два? Так или иначе, за ними можно выдержать любую осаду. Без артиллерии здесь ничего не сделаешь, в случае чего. Интересно вообще, чем мы будем располагать в смысле техники. Да, но как же звали того проклятого архитектора?..

В половине десятого Пико ушел с площади и медленно побрел по Индепенденсии; к дому Гонтрана он добрался около десяти. Пожилая горничная подозрительно посмотрела на его плащ и явно удивилась, когда он спросил, здесь ли сейчас находится доктор дон Бернардо Иполито Альварадо.

— Да, доктор Альварадо живет у нас,— сказала она, растягивая «а» с коррентинским акцентом.— А вам что угодно?

Пико достал из бумажника визитную карточку. Горничная взяла ее и ушла, бесцеремонно захлопнув двери у него перед носом. Впрочем, скоро она вернулась.

— Заходите, молодой человек,— сказала она немного более приветливо.

Почему-то он приблизительно так и представлял себе этот дом — очевидно, Дорита обладала даром художественного описания. Прохлада, затененные окна, неразличимые картины на темных стенах и какой-то совершенно особый запах добропорядочности и скуки: неповторимая смесь лаванды, старой мебели, навощенного паркета. Пико едва успел осмотреться и принюхаться к комнате, где оставила его суровая горничная, как за дверью послышались шаги и вошел доктор Альварадо — в домашней куртке, как всегда, небрежно-элегантный и, как всегда, удивляющий своим сходством с портретом президента Мануэля Кинтаны.

— Здравствуйте, мой молодой друг,— сказал он, идя к гостю с протянутыми навстречу руками.— Добро пожаловать на родину, хотя и в несколько необычных обстоятельствах...

Он обнял Пико и похлопал по спине. Пико обнял доктора в свою очередь, но похлопать не решился.

Дон Бернардо усадил гостя на диванчик и сам сел в кресло напротив, закинув ногу на ногу.

— Где и когда вы перешли границу? — спросил он.

— Позавчера, доктор, в Монте-Касерос.

— Были трудности?

— Нет... Почти никаких.

— Великолепно. О делах эмигрантских я вас расспрашивать не буду,— с эмигрантами мне приходится беседовать довольно часто. Лучше постараюсь ответить на ваши вопросы, Ретондаро. Очевидно, у вас они есть?

— Очень много, доктор.

— Говорите,— нетерпеливо сказал дон Бернардо и, приготовившись слушать, вскинул седую остроконечную бородку. Пико еще раз удивился сходству его с Кинтаной и тут же подумал, что, очевидно, именно так — повелительно вскидывая бороду — бросал когда-то дон Бернардо это слово «говорите» студенту, пришедшему сдавать зачет. Ему почему-то стало страшновато, словно он и сам почувствовал себя студентом перед экзаменационной комиссией.

— Видите ли, доктор, — пробормотал он сбивчиво, схватившись за спасительные очки и начиная старательно их протирать, — у меня столько вопросов... Не сразу можно все сформулировать, вы понимаете?..

— Можно и не сразу,— сказал доктор и добавил, словно прочитав его мысли: — Вы не на экзамене, Ретондаро, можете изъясняться как угодно. Время у нас есть.

Пико помолчал, потом сказал тихо:

— Доктор, я задам вопрос, который может показаться несколько странным, учитывая обстоятельства нашего разговора и даже сам характер нашей встречи здесь, в этом городе. Вы действительно считаете, что революция нужна всему нашему народу, а не только группе интеллигентов, не приемлющих нынешний режим по соображениям иногда даже этическим? Нельзя забывать, что — помимо нас — в деле участвует армия... Не знаю, понятно ли я выражаю свою мысль, доктор... Вы понимаете, с одной стороны — армия и всякого рода реакционеры, с другой — мы, убежденные в том, что действуем только во имя и для блага народа. Ради этого мы ломаем установившийся в стране порядок. Но сам-то народ в этом не участвует, не так ли? Доктор, а что, если мы ошибаемся в нашем представлении о том, что́ нужно для народа? Вас не удивляет, что я приехал сюда с такими мыслями? Дело в том, что у меня в пути было два любопытных разговора...

Пико коротко пересказал вчерашний разговор с шофером и слова Рамона о «чисто личных побуждениях». Дон Бернардо слушал с непроницаемым выражением, прикрыв глаза.

— Иными словами, Ретондаро, вы сомневаетесь в правоте дела, во имя которого приехали рисковать жизнью? — спросил он, когда Пико замолчал.

Вопрос был задан таким тоном, что Пико приготовился к худшему. Но кривить душой было уже поздно, и поэтому он ответил:

— Я не то что сомневаюсь, доктор. Я боюсь, что могу начать сомневаться в любой момент...

В полутемной комнате, пахнущей воском и лавандой, повисло молчание. Потом доктор Альварадо сказал совершенно неожиданным, почти веселым тоном:

— Это великолепно, Ретондаро, что вы можете начать сомневаться, и еще лучше было бы, если бы вы уже сомневались. От сомнений свободны только идиоты или фанатики, впрочем это категории равнозначные, а нормальный человек сомневается всегда и во всем. Простите, вы католик, прошу не относить вышесказанного к вопросам религии. Это, пожалуй, единственная область человеческого духа, где сомнение противопоказано. В политике, Ретондаро, нужно сомневаться во всем и ничего не принимать на веру. И даже когда вы что-то выбрали — какой-то путь, какую-то систему,— вы не имеете права отказаться полностью от сомнения, от постоянной самопроверки. Теперь относительно вашего вопроса. Да, я считаю эту революцию необходимой, Ретондаро. При этом я учитываю все: и всех этих генералов, и господ из «Сосьедад Рураль», и... Словом, все реакционное крыло коалиции. Но, Ретондаро, положение в стране таково, что ждать дольше нельзя. Любым способом, но с диктатурой должно быть покончено. Диктатура страшна не

тем, что она физически уничтожает несогласных,— моральное уничтожение подчинившихся гораздо страшнее. Ваш приятель, несомненно, прав в том, что народ не верит нам сейчас и не поверит еще долгое время. Но положение от этого не меняется. Бывают моменты, Ретондаро, когда всякий честный человек может сказать только одно: «Я восстаю против существующего порядка потому, что в противном случае он превратит меня в подлеца и сделает подлецами моих детей». Это даже не вопрос мировоззрения, Ретондаро. Это вопрос элементарной порядочности.

Дон Бернардо замолчал, и в комнате снова стало тихо. Где-то послышался шум поезда, паровозный гудок. «Здесь недалеко должен быть вокзал»,— вспомнил Пико, и перед ним возник затрепанный план Кордовы, весь в карандашных и чернильных пометках. Это было еще там, в Монтевидео.

— Да... — неопределенно пробормотал он, глядя в пол.—Вы не знаете, доктор, когда начало?

— Нет. — Дон Бернардо пожал плечами. — Это зависит не от нас, мой молодой друг. То есть, разумеется, в какой-то степени это зависит и от степени нашей готовности — в числе прочих факторов. Но начинать будет флот. Контр-адмирал дон Исаак Рохас.

— В Пуэрто-Бельграно?

— Да, и в столице тоже. Не бойтесь, шестнадцатое июня не повторится. Вы уже завтракали, Ретондаро?

Пико поднял голову и посмотрел на него непонимающе.

— Да, уже, — спохватился он, — пожалуйста, не беспокойтесь, доктор...

Они поднялись одновременно. Аудиенция была окончена. Дон Бернардо проводил гостя к выходной двери, рассказывая о какой-то недавней стычке между Рохасом и руководителем армейского сектора заговора, генералом Лонарди; позже Пико обнаружил, что ничего не запомнил из этого рассказа.

Теперь до самого вечера ему нечего было делать. Прошатавшись по улицам около часа, он почувствовал голод и пожалел, что отказался от предложения позавтракать с доном Бернардо: для подпольщика, только позавчера нелегально перешедшего границу, таскаться по ресторанам — определенно не самое разумное времяпрепровождение. Но делать было нечего, они договорились, что явочными адресами будут пользоваться только в самых крайних случаях, а день проведут по возможности где-нибудь в толпе.

Выбрав одну из наиболее оживленных закусочных, Пико вошел и сел за свободный столик в углу. Через минуту мосо поставил перед ним большую чашку кофе с молоком и тарелочку рогаликов.

— Получите с меня, я тороплюсь,— сказал Пико.

— Сеньор никого не ждет? — спросил мосо.

— А в чем дело?

— Я просто хотел — если вы не возражаете, конечно,— посадить за ваш столик еще одного сеньора. В этот час у нас всегда не хватает мест...

— О, пожалуйста,— буркнул Пико, принимаясь размазывать по свежему рогалику твердое замороженное масло.

Новый посетитель сел напротив него и заказал пиво и сандвичи. Пико, не поднимая глаз от развернутой газеты, пил свой кофе и думал о том, что голос неожиданного соседа кажется ему очень знакомым. Конечно, вполне возможно, что именно вот так — совершенно случайно — и нарвешься на кого-нибудь, знающего тебя в лицо. Из десяти провалившихся конспираторов семеро как минимум срываются как раз

на таких случайностях. Черт, недаром ему так не хотелось идти в это кафе.

Не утерпев, он поднял глаза и встретился взглядом с сидящим напротив. Так и есть — знакомое лицо, хотя и без усов на этот раз. Хвала Иисусу, эта встреча не из опасных; во всяком случае, для кого она сейчас опаснее — сказать трудно.

Визави спокойно посмотрел на него, чуть шевельнул бровью и налил себе из бутылки второй стакан.

— Сеньор Хуарес? — негромко спросил Пико.— Или я ошибаюсь?

— Последнее вернее,— тотчас же отозвался тот без удивления, точно ждал этого вопроса.— Сожалею, молодой человек, но фамилия у меня совсем другая.

— Тогда извините,— сказал Пико.— Спутал вас с одним знакомым.

— Ничего,— ответил предполагаемый Хуарес. Откусив половину сандвича, он неторопливо прожевал ее, запил пивом и добавил: — Это бывает. Вы вот, на первый взгляд, тоже мне напомнили — я знавал некоего Ретондаро, в столице. Похож на вас как две капли воды.

— Какое совпадение,— пробормотал Пико.

Он допил кофе и закурил. Тем временем Хуарес, покончив со своим завтраком, встал, расплатился с подошедшим мосо и направился к двери, бросив на Пико взгляд, который можно было истолковать как угодно. Пико видел через окно, как он остановился у выхода, сунул в рот черную итальянскую сигарку и принялся неторопливо похлопывать себя по карманам в поисках спичек с ленивым видом человека, которому некуда девать время.

Пико тоже вышел.

— Разрешите огоньку,— сказал Хуарес, когда он поравнялся с ним.

Пико протянул ему зажигалку, они пошли рядом, Хуарес долго и тщательно раскуривал на ходу свою «аванти».

— Я вижу, молодой кабальеро,— сказал он наконец,— что даже подполье не отучило вас от болтливости, привитой на юридическом факультете...

Пико смутился:

— Конечно, мне не следовало называть вашу фамилию вслух... Но я был просто поражен,— ведь Ларральде говорил мне, что вы в тюрьме!

— Ларральде — большой мастер рассказывать небылицы про своих знакомых,— усмехнулся Хуарес. — Про вас, например, он сказал, будто вы где-то в эмиграции. Вы очень спешите?

— Нисколько,— поспешил заверить Пико. Удивительно удачно, что он встретил этого человека! Интересный собеседник помогает коротать время, а дон Луис Хуарес был несомненно интересным собеседником. С ним, коммунистом, можно было отлично поспорить. Пико всегда предпочитал разговаривать с людьми, исповедующими взгляды, отличные от его собственных. Беседа с единомышленником никогда не доставляет такого удовольствия, как хороший спор с умным противником.

— Я совершенно не занят, сеньор Хуарес,— сказал он.— Если вы не против, зайдемте в парк, там в амфитеатре можно поговорить без помех...

Хиль познакомил их года полтора назад, но встречались они за это время всего раза четыре, может быть, пять — и всякий раз спорили. Однако сейчас Пико почему-то чувствовал, что ему хочется не столько спорить, сколько советоваться.

Они сидели в пустой каменной чаше греческого амфитеатра, в пологой воронке, образованной концентрическими рядами скамей. Было уже довольно жарко, не по-весеннему припекало полуденное солнце. Внизу, на небольшой площадке сцены, ребятишки в линялых комбинезонах гоняли тряпичный футбольный мяч.

— Я не за конформизм и не за сидение сложа руки,— негромко говорил Хуарес,— вы просто не хотите меня понять. Я только против безответственных авантюр. Я против того, чтобы честные парни вроде вас таскали из огня каштаны, которыми будут лакомиться другие. Вы отдаете себе отчет — с какими силами блокируетесь?

— У нас нет другого выбора,— возразил Пико.— Если хотите знать, я, католик, куда охотнее блокировался бы с вашими единомышленниками. Но, как видно, коммунисты предпочитают держаться в сторонке, что ж делать...

Он пожал плечами, не глядя на собеседника.

— Совершенно верно,— отозвался тот.— От этой кухни мы предпочитаем держаться в сторонке. За интересы латифундистов и генералов мы на баррикады не пойдем, вы совершенно правы.

— Мы идем на них за интересы народа, — сухо сказал Пико.

— А он вас на это уполномачивал?

— Бывают моменты, когда честные люди начинают действовать, не дожидаясь полномочий!

— Верно. А бесчестные тем временем ухмыляются и подталкивают их в спину: идите, мальчики, идите и умирайте, ни о чем не заботясь!

— Я не настолько наивен, как вы думаете, сеньор Хуарес. Всегда находятся негодяи, умеющие извлечь пользу из чужого подвига, но эта мысль меня не останавливает. Ни меня, ни моих друзей. Мы знаем, что идем за правое дело, и этого сознания нам довольно.

— Вы уверены, что оно действительно правое? Ну что ж, желаю вам не разочароваться. Мне только хотелось бы знать, на чем эта уверенность основана.

— На том, что мы видим вокруг себя! — вспыхнул Пико. — Наш народ подвергается систематическому и планомерному растлению, сеньор Хуарес! Ему грозит моральная гибель — что значит по сравнению с этим физическая смерть нескольких сотен, даже тысяч человек? Вот на чем основана моя уверенность!

Хуарес усмехнулся и покачал головой:

— «Растление», «моральная гибель»... Плохо вы знаете народ, молодой человек,— тот самый народ, за интересы которого готовы идти на смерть, и мало в него верите! Народ не так просто растлить и не так легко привести к «моральной гибели», как вам кажется. Уж как нас растлевали во времена колонии и позднее — в эпоху Росаса... Казалось бы, вы, студент, должны знать собственную историю!

— Кстати об истории,— сказал Пико.— И попутно о возрасте, потому что за вашими словами я угадываю снисходительную насмешку над моим жизненным опытом, точнее — над его отсутствием. Так вот, сеньор Хуарес, эту же самую мысль — относительно моральной гибели — мне недавно высказывал человек, который старше вас, который обладает довольно солидным запасом опыта и наблюдений и для которого изучение истории является профессией. Вам знакомо имя доктора Альварадо?

— А, вон что,— улыбнулся Хуарес.— Немного знакомо, как же.

— Его, пожалуй, не обвинишь в легкомыслии, не правда ли?

Хуарес помолчал, продолжая улыбаться каким-то своим мыслям.

— Послушайте, дружище,— сказал он, закуривая новую сигарку.— Я, наверное, плохо поступаю, пытаясь подорвать в вас веру в ту

затею, ради которой вы сюда приехали, и доверие к вашим руководителям...

— Это не так просто сделать, сеньор Хуарес!

— Позвольте, я кончу. Я ведь прекрасно понимаю, что для вас уже поздно сворачивать в сторону... И, коль скоро вы уже на этой дорожке, пожалуй, гуманнее было бы не обременять вас лишними сомнениями накануне восстания. Но вы сами начали этот разговор, и я не вправе от него уклониться. Вот вы говорите — Альварадо... Что ж, это человек, несомненно, честный, но неужели вы сами не видите, что он меньше всего подходит для таких дел? Его призвание — изучать историю, а он пытается ее делать. Да разве с такими руководителями совершают государственные перевороты? Альварадо — пешка в чужих руках, его именем прикрываются, используют его авторитет среди студентов, но не больше. А вы ссылаетесь на его мнение. На мнение человека, который сам едва ли понимает, что делает...

Пико вскипел:

— Но что дает вам право думать, сеньор Хуарес, что только вы и ваши единомышленники обладаете единственно правильным пониманием происходящего?!

— Наша близость к народу, вот что. Поверьте — если бы мы сейчас видели, что народ поддерживает идею переворота, мы были бы с вами. Но народ вас не поддерживает и не поддержит, поэтому не поддерживаем и мы. Народ знает, чем все это кончится. На смену одному прогнившему режиму придет другой, который начнет гнить с первого же дня, и этим ограничатся перемены. Нет, знаете ли, такая игра не стоит свеч. Я только что пожелал вам не разочароваться в этой вашей так называемой «революции», но это ерунда, вы все равно разочаруетесь. Я сейчас хочу пожелать вам другого — чтобы разочарование пошло вам на пользу. Мне думается, дружище, так оно и будет...

7

До сих пор она только по книгам знала, что бывают воспоминания, которых можно стыдиться так мучительно, с такой почти физически ощутимой болью. Раньше она только читала о таких вещах, теперь ей пришлось переживать их самой.

Внешне Беатрис ничем этого не проявляла. Она по-прежнему бывала в отеле, даже стала бывать там чаще обычного, иногда посещала с Жюльеном сборища молодых поэтов, где каждый раз ей было отчаянно скучно, и приняла приглашение Клары Эйкенс съездить на недельку «в поля». Они вдвоем прожили десять дней в Торикуре, глухой брабантской деревушке, километрах в шестидесяти от столицы, потом вернулись в опустевший и сонный от августовской жары Брюссель. Все это время она была еще молчаливее обычного — и только, но душа ее день за днем корчилась на медленном огне.

После встречи с Фрэнком прошло уже больше месяца. В тот вечер, когда прошло милосердное оцепенение первой минуты, она прежде всего испытала туманящую рассудок ярость от перенесенного оскорбления; в тот момент она не задумываясь убила бы Фрэнка, окажись он перед ней и будь у нее в руках оружие. Но это схлынуло быстро, и тогда Беатрис поняла самое страшное: за полученную пощечину ей винить некого, потому что пощечина была заслуженной. Оскорбление было нанесено не со стороны, не извне, и это оказалось самым страшным; она сама — дочь Альварадо! — облила себя грязью, растоптав свою честь, свое воспитание, все то, что когда-то давало ей возможность считать себя на полголовы выше всех остальных.

Это сознание своей исключительности, хотя и старательно спрятанное от окружающих, Беатрис привыкла ощущать в себе с самого детства, как нечто совершенно от нее неотделимое, такое же ей свойственное, как ее имя, фамилия или внешность. Все это выражалось для нее короткой формулой: «Я — Альварадо». Она никогда не произносила этого вслух, но довольно часто повторяла мысленно, и этих двух слов всегда оказывалось достаточно, чтобы удержаться от любого поступка, способного в той или иной степени уронить ее достоинство, достоинство урожденной Альварадо.

Чувство собственного превосходства может либо толкать человека на необычные поступки, либо удерживать от обычных. С Беатрис чаще всего происходило последнее; известную поговорку насчет быка и Юпитера она для собственного употребления вывернула наизнанку — «Quod licet bovi...»[1].

Еще в лицее она приучила себя к мысли о том, что ей непозволительно ни сплетничать, ни лгать подругам или профессорам, ни тайком от наставниц надевать модные украшения, выходя на улицу,— все то, что было позволительно для ее подруг, не было позволительным для нее, Беатрис Альварадо. Начинаясь с мелочей, это перешло постепенно и на вещи более серьезные, определив мало-помалу целый стиль поведения, более того — стиль жизни. Бывали, однако, моменты, когда это же самое сознание превосходства вдруг прорывалось обратной своей стороной — ощущением дозволенности того, что не дозволено другим.

То, что произошло в день объяснения с Фрэнком, не имело ни оправдания, ни объяснения ни с какой стороны. Беатрис очутилась перед беспощадным фактом: она, всю жизнь брезгливо сторонившаяся малейшего проявления вульгарности, в трудный момент — в один из тех моментов, когда проверяется истинное, а не показное благородство человека, — повела себя как последняя уличная девка. За это ее ударили по лицу — ее, Альварадо! — и она даже не могла хотя бы на секунду утешиться сознанием того, что стала жертвой несправедливости! Какая там несправедливость! Теперь она по праву была одной из тех, кто получает пощечины.

Потом она вдруг восприняла случившееся под совершенно иным углом зрения. Однажды ночью, когда Беатрис лежала без сна, ей неожиданно пришло в голову то, что не приходило до сих пор,— положение Фрэнка Хартфилда во всей этой безобразной истории.

Что́ должен думать теперь Фрэнк о ней, она представляла себе очень хорошо и с этим свыклась. Сама она думала о себе еще хуже. Но что́ в тот день должен был Фрэнк пережить — это пришло ей в голову только сейчас, и только сейчас ей пришло в голову, что все ее чувства оскорбленной гордости и оскорбленного собственного достоинства мелки и ничего не стоят по сравнению с тем чувством оскорбленной любви, с каким он тогда от нее ушел...

С этого дня мысль о Фрэнке не покидала ее. Во что бы то ни стало ей нужно было рассказать ему о своем раскаянии, убедить его в том, что она вовсе не хотела его обидеть, что все случившееся было с ее стороны просто неприличной истерической выходкой, должна была бы сказать ему все это, будь к такому разговору хоть малейшая возможность. Но возможности уже не было и не могло быть — Беатрис понимала это очень хорошо.

В субботу семнадцатого она с утра отправилась в «отель разбитых сердец», чтобы вытащить Клер куда-нибудь за город. Но у той оказалась гостья.

---

[1] «Что позволено быку... (не позволено Юпитеру)» (*лат.*).

— Знакомься, Додо,— сказала Клер,— это та самая Астрид, помнишь, я тебе рассказывала...

Пытаясь вспомнить, Беатрис нерешительно протянула руку загорелой, мальчишеского вида блондинке в очках без оправы.

— Очень приятно,— сказала она.— Клер говорила, вы были в Южной Америке? Я вижу, такой загар...

— Уже не тот,—рассмеялась блондинка.— Это уже средиземноморский, из Америки я уехала почти три месяца назад. А сейчас, понимаете, шеф мой опять умотал в Байрес, ненадолго, и я тем временем решила вот навестить свою обожаемую отчизну. Черт его понес именно теперь — еще ненароком пристрелят...

— Кого, простите? — переспросила Беатрис, мало что поняв из французской скороговорки Клариной приятельницы.

— Моего шефа, Маду! Тем более что я собираюсь за него замуж.

— Но вы сказали — он в Буэнос-Айресе? Я не думаю, чтобы там так много стреляли на улицах.— Беатрис улыбнулась.— Это больше в фильмах — пальба, гаучо с большими ножами... Вы ведь были в Аргентине?

— Нет, не получилось, мы последнее время работали в Парагвае.

— Ах так. И что у вас за работа?

— Да я там таскалась с одной экспедицией... Этнографы, изучают индейцев бассейна Ла-Платы.

— В Парагвае уже не Ла-Плата, а Парана,— поправила Беатрис.— Много вы изучили индейцев?

— По правде сказать,— блондинка опять засмеялась,— мофов видели куда больше!

— Мофов?— Беатрис подняла брови.— Что есть моф?

— А это у нас так во время войны немцев называли,— пояснила Клер.— Астрид говорит, их там сейчас целые колонии.

— Ах, немцы. — Беатрис понимающе кивнула.— Да, они многочисленны и в Аргентине. Приехали после войны. Но в Парагвае их должно быть еще больше, поскольку там президент — немец.

— Йа, йа,— басом подтвердила Астрид.— Герр Альфред Штрёснер, хайль Гитлер. Да если бы только он один! У них там все онемечено — полиция, все решительно... Ой, девочки, в какую я там однажды влипла компанию! — Она расхохоталась.— Эти болваны приняли меня за немку — я им представилась под слегка измененной фамилией — фон Штейнхауфен вместо Ван Стеенховен,— и они меня потащили на какой-то свой праздник...

— Но зачем вы представились под слегка измененной фамилией?— удивленно спросила Беатрис.

— Да просто так — для смеха! Ты что, никогда не бывала на маскараде? Вот и я поехала, чтобы развлечься...

«Странное развлечение»,— подумала Беатрис. Приятельница Клариты ей определенно не понравилась — слишком шумная, и потом эта непрошеная фамильярность!.. Нет, непонятно, что нашла Кларита в дочери антверпенского коллабо.

Посидев для приличия еще с полчаса, Беатрис сказала, что ей пора идти. О загородной прогулке и не заикнулась — еще чего доброго увяжется эта любительница маскарадов. Сразу на «ты», и голос какой-то вульгарный, и вдобавок еще очки...

Беатрис решила вернуться домой, но в парке Сенкантнэр, пока она лениво брела вдоль полукруглой колоннады Исторического музея, рассеянно поглядывая на стенную роспись между колоннами и ворошa ногами сухие листья, ее вдруг охватило нестерпимое желание уехать за город. Наверное, слишком не вязался с этим мирным шорохом гул автомобильного потока, извергающегося сквозь Триумфальную

арку по Рю-де-ла-Луа, и бензиновая гарь — с нежным и терпким запахом вянущей осени. Лучше всего было бы сейчас взять у консьержки велосипед и уехать на целый день куда-нибудь в Форэ-де-Суань, но по субботам к мадам приезжал племянник и велосипед до понедельника оставался в его распоряжении.

«Напрасно я вообще вернулась в Брюссель,— подумала Беатрис.— Нужно было прожить до осени в деревне, а потом...» Что будет потом, она и сама не знала. Рано или поздно придется, очевидно, ехать домой... Ей вспомнился заросший бурьяном дворик в Торикуре, низкие комнаты с балками на потолках, смешная каменная ванна. Лучше всего там были тихие, долгие северные закаты: дом стоял немного на пригорке, и из окна спальни были видны разбросанные до близкого горизонта лоскутные одеяла полей, рощицы и отдельные фермы, две-три далекие колокольни, уже которое столетие молчаливо указывающие людям на небо, и небо по вечерам светилось над этими полями тихим, бесконечно тихим сиянием. Беатрис еще никогда — ни на родине, ни в Италии — не видела таких удивительных закатов, завораживающих своей отрешенностью от всего земного...

На трамвайной остановке она вскочила в первый подошедший вагон, не посмотрев на номер. Дойдя до бульвара Режан, трамвай свернул влево, миновал шумную и людную Порт-де-Намюр, потом обогнул мрачную громаду музея средневекового оружия на Порт-де-Аль; у Южного вокзала кондуктор объявил конец маршрута.

Беатрис постояла у журнального киоска, почитала рекламы, приглашения посетить Спа и Остенде, поинтересовалась расписанием поездов на Париж. Ей вспомнилось, как когда-то — очень-очень давно — она любила читать расписания кораблей и самолетов, воображая себя настоящей путешественницей. Ну что ж, вот она и путешественница. Джерри оказался прав, когда предсказывал ей путешествия...

Потом она села в другой трамвай — пригородный, идущий в сторону Энгьена. В длинном вагоне было почти пусто, ехало большое крестьянское семейство, чем-то похожее на «Едоков картофеля», пестрели привычные рекламы — телевизоры «Филипс», шоколад «Кот д'Ор», фотопленка «Геварт». За окном убегали назад унылые улицы Андерлехта, брусчатые мостовые, грязно-красный кирпич фасадов, фабрики, мастерские. Чтобы не видеть всего этого безобразия, Беатрис закрыла глаза и прижалась головой в угол сиденья. «Нужно было ехать в другое место»,— подумала она равнодушно.

Остановки на этом маршруте были редкими, однообразная тряска вагона и жара действовали усыпляюще; Беатрис сама не заметила, как задремала. Когда она проснулась, трамвай, гремя и раскачиваясь, летел вдоль желтой полосы сжатого поля, рядом с шоссе, обсаженным старыми вязами. Тесная стайка разноцветных велосипедистов мелькнула навстречу и исчезла, словно подхваченная ветром. Оранжевый грузовик с надписью «Сольвэй» догнал вагон и с минуту бежал рядом, играя рессорами, потом отстал. Мимо шоссе, за мелькающим частоколом древесных стволов, медленной каруселью вертелась желто-зеленая геометрическая мозаика полей и садов, словно придуманная модным декоратором. «Едоки картофеля» уже исчезли, теперь в вагоне не было никого, кроме дремавшего у передней площадки пожилого толстяка. Беатрис встала и, пошатываясь от толчков, пошла к выходу; толстяк тоже поднялся.

На остановке, где они сошли, было пусто: бетонная лента шоссе, несколько домиков под черепицей и маленькая закусочная. После духоты в вагоне здесь показалось прохладно, но тотчас же Беатрис почувствовала, что день жаркий, почти без ветра.

Когда затих грохот уходящего трамвая, стало очень тихо. Переходя через шоссе, Беатрис подумала, что в Европе все иное — даже запахи. Если дóма выехать куда-нибудь за город, сразу услышишь запах земли — запах, который хочется вдыхать и вдыхать полной грудью, закрыв глаза. А здесь и в полях пахнет какой-то техникой. Впрочем, наверное, это от трамвайных рельсов.

Хозяйка закусочной, когда Беатрис спросила что-нибудь поесть, жизнерадостно предложила ей свежие виноградные улитки, «только что сваренные и вот такие жирные».

— Мадемуазель останется довольна,—закричала она в восторге,— это настоящие улитки, а не те заморыши, что вам могут подать в Брюсселе! Лакомство!

— Господи, нет,— сказала Беатрис с содроганием.— Я их никаких не ем, ни заморышей, ни других. Мне просто закусить, без лакомств. Понимаете?

— О, мадемуазель — иностранка,— сказала хозяйка понимающе и сочувственно.— Что же тогда?

— Можно два яйца? — спросила Беатрис.— И кофе, пожалуйста. Если можно — фильтр.

Она села к окну и подперла щеку кулаком. Зачем она сюда приехала, на эту трамвайную остановку в чистом поле? Есть улиток? Уж лучше бы провести день в музее.

В закусочной было тихо и безлюдно, приглушенный приемник передавал обычную программу люксембургского радио — танцевальную музыку вперемежку с рекламами; за горячим от солнца стеклом белело шоссе и блестели отполированные струны трамвайных рельсов. Тяжелый военный грузовик проревел мимо, неистово хлопая незашнурованным сзади брезентом, — пыльно-зеленая громадина с белой звездой армии Соединенных Штатов. Беатрис проводила машину глазами и в тысячный раз устало подумала о том, что нужно написать в Штаты, и еще о том, что писать бессмысленно, так как Фрэнк все равно не станет читать ее писем. Она с трудом оторвала взгляд от шоссе. Напротив, чуть левее, проселочная дорога уходила к поросшему лесом пригорку. Приехавший с Беатрис толстяк стоял у изгороди, разговаривая с двумя францисканцами в коричневых рясах.

— Что это там? — спросила Беатрис фламандку, принесшую яйца, и указала на дорогу.

Фламандка посмотрела и пренебрежительно махнула рукой.

— О, просто монахи,— сказала она.— Мадемуазель никогда не видела монахов? Самый бесполезный народ, мадемуазель.

— Я не имела в виду монахов,— возразила Беатрис.— Там, дальше, видите? Лес?

— О, это! Теперь я поняла. Это не лес, мадемуазель, это замковый парк. Зáмок там и расположен.

— Какой зáмок?

— Гаасбек, какой же еще. Вы ведь приехали посмотреть замок? К нам только за этим и приезжают.

— Нет,— Беатрис отрицательно качнула головой.— Я приехала не за этим. А стоит его смотреть?

— Один из лучших замков Бельгии, мадемуазель, сорок гектаров одного парка! То, что вы там видите,— это не лес, это парк. Сходите туда, не пожалеете. Приятного аппетита, мадемуазель, сейчас подам кофе.

Поев, Беатрис выкурила сигарету. Курила она теперь довольно часто; ей казалось, что это если не успокаивает по-настоящему, то хоть в какой-то мере развлекает. В компании «разбитых сердец» курили почти все, и Беатрис постепенно стала делать то же, что и другие.

Иногда она сама равнодушно удивлялась той легкости, с какою перенимала теперь чужие привычки, становилась как все.

Хор дикторов люксембургского радио бодро прокричал какой-то рекламный стишок, потом джаз заиграл «Три монетки в фонтане» — приглушенно, в слегка замедленном темпе, без вокального сопровождения. Беатрис сидела выпрямившись, лицом к окну, и в ее глазах туманилась и расплывалась белая от солнца дорога, трамвайные столбы, пыльная придорожная зелень. Нужно было встать и уйти сразу, но она осталась и теперь не могла заставить себя тронуться с места. Белое, синее и зеленое переливалось в ее глазах, слезы приняли окраску неба и деревьев и жгли, как огнем, но она боялась сморгнуть их и опустить веки, чтобы не увидеть то, что вставало перед нею всякий раз, когда она слышала эту простенькую мелодию, чтобы не очутиться снова рядом с ним в тот вечер, за тысячи миль и лет отсюда...

Дойдя до ворот парка, Беатрис узнала, что замок открыт для обозрения по вторникам, четвергам и воскресеньям, с десяти до семнадцати. Она не огорчилась: переходить с толпою зевак из зала в зал и слушать затверженные объяснения гида ее вовсе не привлекало. Провести день в парке было куда приятнее.

Здесь было так тихо и безлюдно, что на мгновение ей стало даже страшновато; в Аргентине, по крайней мере, она никогда не рискнула бы гулять в таком месте без провожатых. Впрочем, это неприятное чувство быстро рассеялось — слишком здесь было тихо и слишком безлюдно. Здесь она действительно была одна; такого ощущения покоя и одиночества ей не приходилось испытывать уже давно.

Аллея, уходящая от ворот направо, была обсажена громадными старыми каштанами. Увидев под ногами коричневый матовый орешек с заостренным кончиком, Беатрис удивилась. Ей почему-то не попадались до сих пор съедобные каштаны, растущие так открыто. Она очистила его и съела, потом начала искать другие, вороша сухие листья, и скоро набила оба кармана.

Увлеченная этим занятием, Беатрис не заметила, как дошла до самого замка; подняв голову, она неожиданно увидела впереди, за деревьями, красные кирпичные стены.

Снаружи Гаасбек выглядел неприветливо, несмотря на зелень и солнце. Ворота в глубине стрельчатой арки были закрыты, маленькие узкие окошки, разбросанные по стенам редко и беспорядочно, смотрели угрюмо; Беатрис поежилась, представив себе эту постройку зимой, в окружении стонущих от ветра голых деревьев.

Обойдя замок слева, она снова углубилась в парк. Шуршали под ногами сухие листья, иногда какая-нибудь незнакомая Беатрис птица перепархивала над ее головой с ветки на ветку; было очень тихо.

Грызя каштаны, она долго бродила по запущенным дорожкам, опускалась в прохладные сырые ложбинки и выходила на горячие от солнечного безветрия поляны, где крепко и тонко пахло опавшим листом. Она старалась ни о чем не думать, ни о своем прошлом, ни о своем настоящем, ни о своем будущем — старалась не думать, но мысли ее то и дело возвращались на ту же проклятую орбиту, где они были обречены кружиться без исхода и конца, подобно душам во втором кругу ада. Здесь, в этом вековом парке, окруженная сияющим великолепием золотой осени, Беатрис почувствовала вдруг с пугающей отчетливостью, что ей начинает уже просто не хватать сил, чтобы выносить дальше эту страшную, нелепую и никому не нужную жизнь.

Она снова вышла к замку. Ехавший вместе с нею пожилой господин стоял вдалеке на другом конце моста, у ворот, разглядывая ароч-

ную кладку. Беатрис сбежала по откосу рва, давно пересохшего, ставшего теперь обыкновенным лесным овражком, и села на ворох сухих листьев, опустив голову на колени и обхватив их руками.

В самом деле — кому нужна теперь ее жизнь и она сама? Ну, только близким: папе и тете Мерседес. Еще на несколько лет, не больше. Богу? Беатрис не была уверена, имеет ли еще ее душа хотя бы крошечный шанс на спасение после того, как она порвала с церковью. В сущности, как ни страшно это звучит, она теперь еретичка, отпавшая от церкви. Она, Дора Беатрис Альварадо, воспитанная в конвенте и когда-то не представлявшая себе, как можно прожить неделю, не побывав у мессы в воскресенье, уже почти два года не переступает порог храма. Можно ли после этого надеяться на то, что кого-то на небе может всерьез интересовать ее существование?

Горькое чувство жалости к самой себе охватило Беатрис. За что, за какие грехи ей суждено было пережить весь этот ужас? При всем своем романтизме она сравнительно рано догадалась, что любовь, о которой с таким жаром говорили и мечтали ее подружки (да и она сама мечтала, предпочитая, в отличие от них, не рассказывать об этом вслух),— что эта самая любовь в жизни приносит с собой не столько восторгов, сколько горестей, а иногда и просто несчастий. Все это она отлично знала — из книг, из рассказов старших. Она никогда и не претендовала всерьез ни на какое фантастическое счастье, тем более что и история, и литература на каждом шагу давали ей примеры того, что чем ослепительнее горит любовь, тем страшнее она кончается. Изольда и Джульетта, Инес де Кастро и Ракель Ла-Фермоса — все они платили за свое счастье слишком дорого.

Но они хоть видели его, это счастье! Они его испытали — одна дольше, другая короче; они были счастливы. Но ей — за какие грехи ей выпало сразу, еще не узнав любви, увидеть самую страшную ее сторону?

А за что же еще и эти лишние страдания, за что еще и Фрэнк! Почему судьба не могла просто убрать этого человека с ее дороги, зачем еще нужна была эта встреча?..

С необычной резкостью — точно это случилось вчера — вспомнила вдруг Беатрис тот жаркий предзакатный час, плывущее в окне розовое облако, свои собственные слова и лицо Фрэнка. Он шагнул к ней — она испугалась только в самую последнюю, сотую долю секунды—и...

Беатрис схватилась за лицо и упала набок в сухие листья, закусив губы, чтобы не завыть от стыда и отчаяния — острого, нестерпимого, как нож, отчаяния, пронзившего ее при этом воспоминании. Зачем еще и это, господи!! Зачем нужно было провести ее еще и через это!

Она не плакала — просто лежала так, сжавшись в оцепенении. Услышав голос наверху, над краем овражка, она не пошевелилась и не подняла головы. Она сразу догадалась, что это опять тот самый толстяк, и мысленно пожелала ему провалиться.

— Послушайте, послушайте! — кричал тот, очевидно спускаясь вниз по склону, если судить по треску сухих ветвей и его тяжелому дыханию. — Что с вами, мадемуазель, вам плохо? Минутку, я сейчас!

Беатрис отняла руки от лица и приподняла голову, глянув вверх. Действительно, он спешил к ней, расшвыривая ногами листья и хватаясь за кусты орешника. Тревога была написана на его круглой физиономии.

— Не беспокойтесь, мсье,— сказала Беатрис, поднимаясь.— Спасибо, мне уже лучше...

— Как вы меня напугали! — сказал тот, подойдя ближе и с облегчением отдуваясь.— Что с вами было, мадемуазель? Что-нибудь заболело?

— Да,— кивнула Беатрис и, подумав, приложила ладонь к желудку.— Вот здесь, но теперь уже хорошо. Я поела улиток — вероятно, не стоило.

— О, да. Улитки — штука коварная, к ним еще нужно привыкнуть. Вы итальянка?

— Нет, я американка, мсье. Аргентинка.

— О-о, Аргентина! В молодости я мечтал там побывать, у вас и вообще в Южной Америке. Так, так. При первом взгляде — и когда услышал ваше произношение — я решил, что вы итальянка. И знаете, у меня сразу мелькнула странная, признаюсь, ассоциация: этот замок,— он указал пальцем на кирпичную стену,— принадлежал в свое время роду Арконати-Висконти — несомненно итальянского происхождения, и вдруг я вижу здесь вас, настоящую итальянку с виду. Мне сразу подумалось, что так могла бы выглядеть последняя Висконти, приехавшая навестить свое родовое гнездо. Забавно, не правда ли? — Он добродушно рассмеялся, утирая лоб клетчатым платком.— Мог бы держать пари, что вы откуда-нибудь из Романьи.

Беатрис улыбнулась:

— Но я действительно приехала из Италии! Я там не жила много. Только — как это говорится? — транзит. Около полугода. Простите, пожалуйста, я говорю по-французски бездарно. У меня не было раньше много практики.

— Ну, не так уж бездарно. А с английским у вас лучше?

— Да, я пользовалась им с детства.

— Давайте тогда говорить по-английски,— сказал толстяк, переходя на этот язык.— Скучная штука — разговаривать, нащупывая слово за словом. Никогда не забуду, как я однажды — еще студентом — попал в Германию, зная язык в объеме школьного курса. Да, я тогда помучился. Как ваши боли, мадемуазель?

Беатрис стало стыдно продолжать обман.

— Простите, сэр,— сказала она смущенно,— я вам солгала. У меня ничего не болело. Просто... просто мне стало очень тяжело на душе...

— Вот как. Ну что ж, это... это, может быть, и лучше — в некотором смысле. Невзгоды душевные излечиваются иной раз легче телесных. А впрочем... это вопрос трудный. Вы приехали посмотреть замок? — спросил он, меняя тему. — Сегодня он закрыт, да. Его можно посещать трижды в неделю, от пасхи до дня всех святых. Зимой сюда не пускают. Но парк стóит того, чтобы приехать только ради такой прогулки, не правда ли?

— Да, красивый парк.

— Изумительный. Я люблю проводить здесь свободные дни. Гаасбек внутри тоже интересен, но не так. История его довольно любопытна, как, впрочем, любого из феодальных жилищ. Тут существовало укрепление уже в двенадцатом столетии, а в середине шестнадцатого Мартин де Горн построил замок в приблизительно теперешнем виде — нужно учесть, понятно, бесконечные достройки и перестройки после осад и пожаров. Изнутри, со двора, все это выглядит приветливее. Так вы, говорите, аргентинка... — Он еще раз взглянул на нее искоса и хмыкнул. — Подумайте, а я мог бы держать пари, что итальянка. Но, может быть, у вас итальянское происхождение?

— Нет, происхождение у меня испанское,— сказала Беатрис.— Чисто испанское, без примеси.

— Подумайте,— повторил толстяк.— В вашем лице есть мягкость, более свойственная итальянкам, нежели испанкам. Я бы сказал, что тип красоты испанской несколько суше и резче... Явное влияние мавританской крови. Впрочем, Сицилия при Гогенштауфенах не многим отличалась от Кордовского халифата.

— Вы историк? — спросила Беатрис.

— Нет-нет.— Он добродушно рассмеялся и снова достал платок.— Я немного занимаюсь историей для собственного удовольствия, как дилетант. Может быть, потому, что у меня слишком точная профессия, история в этом смысле является прямой противоположностью, ха-ха-ха! Я, видите ли, читаю курс гидродинамики в одном из технических колледжей.

— Господи,— сказала Беатрис,— это еще что такое?

— Это раздел механики, рассматривающий законы движения жидкостей. Вы разве не учили физику?

— Терпеть ее не могла, никогда не знала больше чем на шестерку. И то профессор меня просто жалел.

— Пожалуй,— подумав, сказал он,— это действительно не женское дело. У меня было несколько студенток, в разное время, но как-то из них ничего не вышло. Я подозреваю, они просто оригинальничали. Однако становится жарко... Жаль, что здесь не торгуют пивом.

— Скажите, мсье...— нерешительно проговорила Беатрис.

— Роже, — подсказал он. — Меня зовут Роже.

Беатрис поблагодарила и представилась в свою очередь. Роже смотрел на нее выжидающе:

— Вы о чем-то хотели меня спросить?

— Да, но... Нет, это, собственно, пустяк,— быстро сказала Беатрис.— Действительно, здесь очень тепло. Но приятно,— я не люблю холода.

— Еще бы, приехав из Аргентины. А у вас там сейчас жарко и в прямом смысле, и в переносном, верно?

— Да,— рассеянно кивнула Беатрис и потом удивилась: — Почему «в переносном»?

— Ну, я имею в виду вчерашние события,— пояснил Роже.

— А, ну да.— Беатрис помолчала, потом спросила: — А что, вчера произошли какие-нибудь события?

— Вы разве не читаете газет?

— Господи, еще чего...

— И радио никогда не слушаете?

— Нет, ну почему же. Иногда слушаю — музыку, но как только начинается болтовня, я выключаю. Еще не хватает слушать о «событиях»! Но вы сказали — в Аргентине?

— Да, там у вас, похоже, какие-то крупные беспорядки.

— Серьезно?

«Так вот почему Кларина приятельница беспокоилась за своего шефа,— подумала Беатрис.— Ну да, она же сказала — он в Буэнос-Айресе...»

— А что именно, мсье Роже, какая-нибудь забастовка?

— Нет, речь идет о попытке переворота. Армейский путч, насколько я понимаю.

— Ах вот что. Ну, это, наверное, опять какая-нибудь глупость вроде июньской,— ответила Беатрис, со скукой глядя на зубчатую башенку над воротами.— Господи, как мне все это надоело...

— Со стороны, конечно, трудно судить,— сказал Роже,— но газеты придают вчерашним событиям серьезное значение. Восстания начались сразу в нескольких городах, кроме Буэнос-Айреса. А что, вы говорите, вам надоело, мисс Альварадо?

— Да все вообще,— вздохнула Беатрис. Она достала из кармана брюк горсть каштанов и предложила своему собеседнику. Тот съел один и со вздохом отказался от остальных, сославшись на печень. Беатрис принялась швырять каштаны через ров, целя в дуплистый пень у самой стены.

— Вы богаты, ленивы и эгоистичны,— задумчиво сказал вдруг Роже, словно продолжая начатую уже речь.— Людям вашего склада чаще всего свойственна именно эта поза — «мне все надоело».

Беатрис, не бросив очередного каштана, опустила руку и посмотрела на собеседника с изумлением. Потом она покраснела.

— Откуда вы взяли, что я богата? — сказала она запальчиво.— И относительно лени и эгоизма — не думаю, чтобы я в этом смысле была хуже других...

— Богатство, разумеется, вещь относительная,— кивнул Роже.— Но девушку, которая имеет возможность ездить по свету без определенных целей, бедной, во всяком случае, не назовешь. Что касается других ваших качеств, мисс Альварадо, то я мог, разумеется, ошибиться. Вам они действительно не свойственны — ни лень, я хочу сказать, ни эгоизм?

Беатрис повернула голову и встретила его взгляд, добродушный и в то же время внимательный. Она снова отвернулась, обхватив руками поднятые колени, и пожала плечами:

— Не знаю, мсье Роже. Я думаю только, что вы принимаете меня за кого-то другого. Тип людей, о котором вы говорите, мне знаком, но я никогда к нему не принадлежала. Если я говорю, что мне все надоело, то, поверьте, это не от снобизма. Неужели вы и в самом деле считаете, что для счастья достаточно молодости и небольшой суммы денег?

— Нет, конечно, я так не считаю,— сказал Роже.— Признаться, я никогда не занимался специально этим вопросом, тем более что в моем возрасте проблема счастья представляется не столь уж важной. Но кое-какие мысли мне, конечно, приходили иногда в голову. Мне думается, мисс Альварадо, что человек может чувствовать себя счастливым при наличии двух качеств: доброты и мужества. Если ваши слова о том, что вам «все надоело», не были сказаны просто так, следуя модному теперь поветрию, то очевидно, что вы не обладаете ни мужеством, ни добротой. Я говорю о настоящей доброте, которая заставляет человека делать добро, а не о том ее подобии, которое может лишь удержать от соучастия в зле. Плюс к этому необходимо, как я сказал, еще и мужество, чтобы не отчаиваться при взгляде на окружающее.

Беатрис помолчала, потом проговорила медленно, словно нехотя:

— Доброта не спасает от несчастий, мсье Роже... И я не знаю, какое нужно мужество, чтобы переносить их не отчаиваясь.

— Очень большое, мисс Альварадо,— согласился он.— А разве счастье такая уж безделица, что можно прийти к нему легким путем? Но мы говорим сейчас не о том, о чем следует. Вы, очевидно, испытали какое-то серьезное потрясение, может быть, даже несчастье. Смешно было бы давать вам сейчас советы — как быть счастливой. Речь не об этом, мисс Альварадо. Речь идет о том, чтобы не чувствовать себя бесконечно и безнадежно несчастной. Вас может удивить, почему я так к вам пристал, но дело в том, что я постоянно имею дело с молодежью и очень ею интересуюсь... как старый человек, которому уже недалеко до смерти и которому любопытно знать — кто сменит его на земле. Молодежь находится сейчас в страшном положении, мисс Альварадо. Никогда еще не было эпохи, где процесс распада внутриобщественных связей зашел бы так далеко, как мы видим сегодня. Не знаю, приходилось ли вам задумываться над этим. Вряд ли, молодежь это не интересует...

Беатрис слушала говорливого профессора, подтянув колени к подбородку и обхватив их руками. То, что он говорил, не особенно ее интересовало — в этом Роже был прав. К тому же, это не было и особенно новым — все это она слышала и читала уже не раз. Насчет

доброты и мужества, правда, он сказал хорошо, но это опять-таки почти хрестоматийная истина. Красивые слова, не больше.

— В сущности,— продолжал Роже,— у вас не осталось ни одной из тех ценностей, на которых держалось в свое время миропонимание нашего поколения. Я далек от мысли утверждать, что это миропонимание было истинным или что мы ни в чем не ошибались...

— Еще бы вы это утверждали,— усмехнувшись, перебила его Беатрис.— Вам не кажется, профессор, что ваше поколение отчасти несет ответственность за то, что происходит с моим?

— Отчасти,— согласился тот.— Но только отчасти, мисс Альварадо. Вы сейчас повторяете очень избитое обвинение, хотя, скажу еще раз, отчасти и справедливое. Кстати, я думаю, что еще не было поколения, которое не обращалось бы к предыдущему с такими же точно упреками, поэтому — если рассуждать логично — обвинять следует не только одно наше, а и все предыдущие, но совершенно справедливо говорится, что обвинять всех — значит не обвинять никого. Но мы опять уклонились. Нé все ли равно — кто в чем виноват? Мы ведь никого не судим, мисс Альварадо. Мы просто констатируем факты и пытаемся, исходя из них и применяясь к ним, найти какой-то modus vivendi.

— Я предпочитаю ни к чему не применяться,— сказала Беатрис.

— Но как же вы в таком случае намерены жить?

Беатрис пожала плечами и ничего не ответила. Роже смотрел на нее, склонив голову немного набок, словно прислушиваясь.

— Разумеется, у вас положение особое,— сказал он наконец.— На вопрос «Как вы собираетесь жить?» вы имеете возможность молча пожать плечами, и это будет исчерпывающим ответом. Но представьте себя в положении одной из тех миллионов девушек вашего возраста, у которых есть в жизни определенные и неизбежные обязанности. Представьте себе, что у вас есть старики родители и младшие братья или сестры, которых вы должны содержать. Можете вы представить себя в таком положении? Мне кажется, для вас многое выглядело бы совсем иначе, чем сейчас, когда вы изнываете от безделья.

Беатрис вспыхнула, но овладела собой и отвернулась.

— Вы рассуждаете сейчас, как какой-нибудь коммунист,— сказала она сдержанно, глядя в сторону.— У меня здесь есть один знакомый... Вообще разумный человек, но становится совершенно невменяемым, как только речь заходит о труде. У него все просто и ясно: работай, и все остальное приложится. И ценность человека определяется только тем, работает он или нет...

Роже улыбнулся:

— Я далек от мысли утверждать, что вы непременно стали бы лучше, будь у вас необходимость работать, я говорю лишь, что в этом случае жизнь имела бы для вас бóльшую ценность, чем, по-видимому, имеет сейчас.

— Не понимаю почему.— Беатрис пожала плечами.— Имела бы бóльшую ценность? Но почему? Разве окружающее может стать лучше или хуже в зависимости от того, какое положение я в нем занимаю?

— Объективно — нет. Но меняется ваше субъективное восприятие этого окружающего и ваша субъективная оценка. Иными словами — ваше отношение к жизни. Один из самых странных социологических парадоксов состоит в том, мисс Альварадо, что наибольшим жизнелюбием обладают именно те общественные группы, которые жизнь воспринимают с самой трудной стороны... Они более жизнелюбивы, жизнерадостны, жизнеспособны.

— В этом, может быть, и нет никакого парадокса,— возразила Беатрис.— Богатство ведет к пресыщению — это я знаю. Но, мсье Роже, повторяю: я вовсе не богата! Отец у меня такой же преподаватель, как

и вы. Конечно, я не знала нужды, но у нас никогда не было столько денег, чтобы я могла удовлетворять свои прихоти. Мне кажется, это даже примитивно — сводить все к деньгам!

— Допустим. А к чему сводите вы?

— К тому, что все вокруг слишком гнусно,— горячо сказала Беатрис.— Я не знаю, может быть, старшие этого уже и не замечают, но мы видим. Может быть, вы хотите сказать, что если человек работает, то ему не остается времени на подобные наблюдения? Я этого не думаю...

— Я не говорил такой глупости, мисс Альварадо.

— Простите, мсье Роже.— Беатрис смутилась.— Но если все одинаково видят мерзость жизни, то почему же разные общественные группы, как вы сказали, по-разному на это реагируют?

Роже покачал головой:

— «Мерзость жизни»... Какое неправильное и кощунственное определение! Я старше вас в три раза, по меньшей мере, но я никогда не осмелюсь сказать то, что сейчас сказали вы. Нет никакой «мерзости жизни», есть мерзость условий человеческого существования, созданная самими людьми. И реагируют на нее по-разному, совершенно верно. Тот, кто привык преодолевать трудности, хотя бы мелкие и повседневные, знает, что всякое зло преодолимо. А вам зло кажется всемогущим и несокрушимым... Может быть, потому,— я не знаю вашей жизни,— что вы подошли к нему слишком близко. Когда стоишь у подножия холмика, он может заслонить солнце...

— Если бы это был только холмик,— усмехнулась Беатрис. Она сидела с опущенной головой, разгребая прутиком сухие листья.— Неужели вам, мсье Роже, ни разу в жизни не случалось почувствовать себя не перед холмиком, нет, а перед стеной, в замкнутой ограде, понимаете?

— Понимаю,— кивнул Роже.— Четырнадцать лет назад мне удалось бежать из немецкого лагеря... Так что, представьте себе, некоторое понятие об оградах я имею. И вы напрасно пожимаете плечами! Я отношусь с полным сочувствием к вашим переживаниям, но материальная ограда из колючей проволоки под током — это, поверьте, не самое пустяковое из препятствий, которые могут встретиться в жизни. Если хотите, истинная ценность человека этим и проверяется — препятствиями, оградами... Это как фильтр, задерживающий слабых и ни к чему не годных...

— Вы ставите знак равенства между этими двумя категориями? Нельзя сказать, чтобы это звучало человеколюбиво,— сухо сказала Беатрис.— Отсюда недалеко до практики тех же немцев... Я слышала, они убивали неизлечимо больных? Что ж, принцип тот же!

— Принципом это было для немцев,— возразил Роже.— Для меня это лишь констатация печального факта. Слабые люди, к сожалению, действительно оказываются очень часто ни к чему не годными. Это не значит, однако, что их следует убивать.

— Что же вы предлагаете с ними делать? — спросила Беатрис вызывающим тоном.

— Убеждать их.

— Убеждать — в чем?!

— В том, что всякая слабость преодолима. В том, что, если вы позовете, всегда найдется кто-то более сильный, чтобы вам помочь. Слабость, по сути дела, представляет собой лишь одну из форм одиночества. Кстати, из лагеря я бежал не один, сделать это в одиночку было немыслимо. Нас бежало пятеро, мисс Альварадо. Пятеро, из которых спаслось трое.

Беатрис долго молчала.

— Пусть мои слова не покажутся вам кощунством,— сказала она тихо,— но я думаю, что иногда бежать из-за колючей проволоки легче, чем вырваться из той ограды, которую имею в виду я. Из ограды одиночества... неверия в возможность для человека что-то сделать... как-то изменить жизнь к лучшему... Ваш побег — это был подвиг, а подвиг всегда легче...

— Безусловно,— закивал Роже,— безусловно. В этом вы отчасти правы: иногда бывает легче совершить подвиг. Скажем, когда выбор возможностей ограничен — или смерть медленная и мучительная, или смерть быстрая, но плюс к этому еще и некоторый шанс остаться в живых и на свободе. Тут уж раздумывать не станешь. Ваше положение труднее в том смысле, что перед вами бóльший выбор. И для того, чтобы решиться ступить за эту вашу ограду, вам пришлось бы отказаться от очень удобной, ни к чему не обязывающей позиции. Ну что ж! Вам жить, мисс Альварадо, вам и решать.

Роже посидел еще несколько минут, потом взглянул на часы и тяжело поднялся. «Мне пора, к сожалению,— сказал он,— прощайте и подумайте хорошо над моими словами — как-нибудь на досуге».

Беатрис осталась одна. Набежавшее облако на минуту скрыло солнце, потом горячий свет снова залил кирпичную стену, темную зелень плюща, желтые и красные листья на земле. Над воротами, вокруг выщербленных временем зубцов, ласточки стремительно чертили свои ломаные орбиты.

Беатрис смотрела на ласточек и думала о том, что самое яркое и острое воспоминание ее детства — это такие вот ласточки, реющие в солнечной синеве вокруг старой колокольни конвента; о том, что тогда она не могла смотреть на них без какого-то странного чувства, всегда возникавшего мгновенным головокружением, потом, пробежав ознобом по спине, таявшего в груди сладкой и томительной судорогой, а теперь смотрит и ничего не испытывает, ничего, кроме горькой зависти к этим легким и беззаботным созданиям; она думала о том, что всегда хотела прожить жизнь бездумно и беззаботно, как птица, и что прав Роже, назвавший ее ленивой эгоисткой, и что его мысли до ужаса совпадают с тем, что писал ей Джерри, и что теперь она сама не знает — было ли ее чувство к Джерри настоящей любовью или просто страстью, потому что настоящая любовь должна была бы сделать для нее священным законом каждое слово любимого, в то время как она всем своим поведением, каждой своей мыслью нарушает последнюю его волю...

Она просидела так еще около часа, пока опять не испортилась погода. Скрылось солнце, парк сразу стал неуютным: в воздухе закружились сорванные ветром листья, заскрипели каштаны. Беатрис едва успела дойти до остановки и вскочить в подошедший трамвай, как полил дождь. Впрочем, он кончился раньше, чем она доехала до Южного вокзала.

В городе она прежде всего отправилась за газетами. Ей удалось купить «Суар» и «Либр Бельжик»; сообщения о заокеанских событиях были на первой странице. Первым, что бросилось Беатрис в глаза, был крупный кричащий заголовок: «СТУДЕНТЫ ПРОТИВ ДИКТАТУРЫ. *Ожесточенные уличные бои продолжаются со вчерашнего утра в Кордове — старейшем университетском городе Аргентины*».

8

До войны местечко с названием Уиллоу-Спрингс можно было отыскать лишь на очень подробных дорожных картах восточной части Новой Мексики, почти на границе штата. Сами жители уверяли себя и других, что живут в городке, но по-настоящему это был просто посе-

лок — один из тех пастушьих поселков, которые здесь, как и в соседнем Техасе, вырастали посреди прерии в утеху окрестным скотоводам. К концу тридцатых годов в Уиллоу-Спрингс было пятнадцать тысяч жителей, банк, несколько неоновых вывесок на Мэйн-стрит, аптека и два отчаянно конкурирующих автомобильных агентства. Дальше этого цивилизация не пошла.

Мало что изменилось в городке и после Пирл-Харбора. Стали нормировать газолин, в окнах некоторых домов появились наклеенные на стекло бумажные звезды, означающие: «Отсюда ушел солдат»; по улицам запестрели плакаты, призывающие парней быть мужчинами и добровольно вступать в ряды защитников демократии.

Война вспомнила о существовании Уиллоу-Спрингс лишь несколько месяцев спустя, летом сорок второго года. В городке появились военные высоких рангов и по-столичному одетые штатские с портфелями. Заняв все номера единственной гостиницы, гости по вечерам пили в баре, не смешиваясь с глазеющими на них аборигенами, а днем ездили по окрестностям в лимузинах цвета хаки, с отпечатанными прямо по капоту белыми армейскими номерами.

Когда они наконец исчезли, снова стало тихо, но не прошло и месяца, как возле Уиллоу-Спрингс — милях в восьми к югу — вдруг вырос лагерь бараков из гофрированного железа, а по проходящему через городок шоссе потянулись вереницами невиданные и безобразные машины, горбатые, на гигантских рубчатых колесах; машины были похожи на чудовищных желто-оранжевых насекомых.

Уроды принялись за работу вокруг барачного лагеря. Днем и ночью, окутанные тучами пыли, под палящими лучами солнца и при свете прожекторов, они с рычанием грызли землю, рыли канавы, нивелировали площадки и дороги, сгрызали целые холмы в одном месте и нагребали насыпи в другом.

Плохонькое шоссе, проложенное еще при Тедди Рузвельте, уступило место настоящей бетонной автостраде; вдоль нее как грибы повырастали заправочные станции и кафетерии; все, у кого в доме была свободная комната или две, стали делать бизнес — помещений для приезжих не хватало, и они платили не торгуясь. Началась спекуляция земельными участками и строительными материалами — городком овладела лихорадка.

Над строительством, раскинувшимся на площади в двести акров, днем стояла густая туча пыли, а ночью — огромное зарево, колеблемое трепещущими фиолетовыми зарницами. Гигантскими грибами выросли расписанные в белую и красную клетку водонапорные башни, ощетинился шеренгой коротких конусообразных труб корпус силовой станции, потом из леса дерриков стали подниматься ажурные каркасы цехов.

Вместе со строящимся заводом рос и город, потрясаемый невиданным в его истории бумом. Сносились деревянные домишки, улицы расширялись и бетонировались, обрастая чистенькими одинаковыми коттеджами, на окраинах одно за другим возникали увеселительные заведения. В невиданном и угрожающем количестве расплодились проститутки. Передовицы в «Саутерн-Геральд» твердили о наступившей эре процветания.

Четвертого июля сорок третьего года, в присутствии губернатора и множества официальных лиц, над четырехэтажным зданием заводской администрации, украшенным по фасаду огромными рельефными буквами «КОНСОЛИДЭЙТЕД ЭЙРКРАФТ КОМПАНИ», медленно всползло по флагштоку звездное знамя и под ним — сине-красный вымпел предприятия, работающего на оборону. В этот же день из ворот сборочного цеха выкатили первый истребитель Консэйр Р-36 «Кугуар».

Война шла далеко от Уиллоу-Спрингс — на Гуаме, на Маршалльских и Соломоновых островах, в Сицилии, вокруг русских городов с трудными названиями. За исключением десятка семейств, получивших стандартную телеграмму со словами «Военное министерство Соединенных Штатов с прискорбием извещает Вас...», для большинства жителей города эта война была связана с наступившим просперити и могла тянуться сколько угодно.

Она требовала самолетов. Истребители тактических соединений взаимодействовали с наземными войсками, держали под огнем вражеские коммуникации, без эскорта истребителей не могли громить Германию и Японию «Летающие крепости» стратегических воздушных сил. Завод в Уиллоу-Спрингс работал в три смены, и все равно не справлялся с растущими заказами; щиты с огромными заголовками «ТРЕБУЮТСЯ» торчали вдоль дорог по всему штату. Любая девчонка, способная держать в руках гайковерт или клепальный пистолет, за неделю овладевала своим несложным делом и начинала зарабатывать по четыре доллара в час.

Легко заработанные деньги с такой же легкостью и расходовались. На Мэйн-стрит, рядом с новеньким отелем Статлера, засиял неоновыми огнями шикарный ночной клуб «Дайамонд Гартер». В дансингах лихо отплясывали модные танцы — «суинг», «джиттер-баг». Впервые опустели просторные витрины автомобильных агентств: все машины были давно распроданы, а новых не поступало, с заводских конвейеров шли танки и бронетранспортеры. Впрочем, ловкачи агенты не унывали — спекуляция газолином и запасными частями давала им не меньший доход. Завидный бизнес делали теперь и ювелиры, и портные, и даже парфюмерщики — их новая клиентура набрасывалась на любую синтетическую дрянь, не отличая ее от довоенных парижских марок. День высадки в Нормандии город отметил иллюминацией и гомерическими кутежами во всех злачных местах — от «Бриллиантовой подвязки» до последнего окраинного бара.

Отрезвление началось весной сорок пятого года. Первым ударом грома с ясного неба было апрельское увольнение трех тысяч человек в одну субботу. Город притих. В конце августа, когда капитулировала Япония, компания «Консолидэйтед Эйркрафт» объявила локаут и завод стал.

Наступило похмелье. «Подвязка» закрылась, проститутки разъехались по более перспективным городам Техаса и Калифорнии, опустело большинство инженерских коттеджей. Впрочем, часть персонала на заводе осталась, в некоторых цехах что-то делали, время от времени с заводского аэродрома поднималась одинокая машина и долго кружила в пустом небе. Слыша ее унылый гул, горожане вздыхали, вспоминая незабвенный сорок четвертый год.

«Саутерн-Хералд» писал что-то о реконверсии, но на что можно было переключить завод, оснащенный для выпуска боевых самолетов определенного типа? В автомобильной промышленности реконверсия прошла сравнительно безболезненно, и уже весной сорок шестого года в витринах засверкали новенькие модели первого послевоенного выпуска (правда, их теперь мало кто покупал). Самолетостроение же свернулось почти полностью. Ненужные станки ржавели в цехах гигантских заводов на калифорнийском побережье, по пустым ангарам гулял ветер, трава прорастала сквозь трещины бетонного покрытия на брошенных испытательных аэродромах. Не было ничего удивительного в том, что фирма «Консэйр» разделила участь своих конкурентов; поговаривали даже, что завод в Уиллоу-Спрингс будет продан на слом.

Схлынувшая волна процветания принесла городу кое-какую пользу: он вырос, приобрел известность, украсился современными зданиями. Но

жителям этого казалось недостаточно. Они были уже избалованы; привыкнув рассовывать по карманам плывущие туда деньги, они вовсе не хотели снова начать гоняться за ними в поте лица. А гоняться приходилось,— работы в городе не было.

Со смертью завода остановилась жизнь почти всюду, за исключением нескольких маленьких предприятий, тоже появившихся во время войны, но не имевших к ней прямого отношения. Эти фабрички, выпускающие разную мелочь, кое-как еще существовали, перебиваясь от заказа к заказу. Основная же масса рабочих авиационного завода, которых к моменту апогея производства насчитывалось около восьми тысяч, осталась без дела и без надежд на заработок в будущем. Постепенно все они уехали в северо-восточные штаты, где переходила на мирные рельсы более устойчивая промышленность и шансы найти работу были в какой-то степени реальными. Уиллоу-Спрингс, скороспелый плод военного ажиотажа, оказался в не меньшей степени скоропортящимся и хирел из месяца в месяц — вплоть до июня пятидесятого года.

Корейскую войну в городе встретили равнодушно — опять там передрались какие-то косоглазые. Куда бо́льшую сенсацию вызвало другое событие: дня через два после начала боев на 38-й параллели к запертому помещению «Бриллиантовой подвязки» подкатила машина с номером федерального округа Колумбии, и из нее выбрался сам владелец клуба — еще более растолстевший за четыре года Джо Гиршфельд. В сопровождении трех типов Джо долго ходил по запущенным залам, что-то показывая и объясняя (это видели мальчишки, заглядывавшие в пыльные окна «Подвязки»), потом отправился в Статлер, где взял номер на двоих. Оказалось, с ним приехала платиновая блондинка с такой талией и такими бедрами, что все только рот разинули. Вечером, в баре, несколько человек попытались подъехать к Джо с расспросами, но тот сказал только, что думает поселиться в Уиллоу-Спрингс и что снова откроет заведение, хотя бы в убыток себе: очень уж приятно ему вспомнить былые дни. Он сказал также, что привез с собой знаменитого декоратора из Лас-Вегас, и когда тот заново отделает «Подвязку», то по сравнению с ней даже хваленый «Сторк клаб» в Рино покажется хлевом.

Никто не мог понять, с чего бы толстяку Джо всаживать деньги в такое мертвое дело. Объяснить это можно было лишь причудой, если только не видеть в этом какую-то сложную махинацию с целью обжулить федеральное управление налогов. Но миновал месяц, и однажды чудесным июльским утром «Саутерн-Хералд» вышел с кричащим аншлагом через всю полосу: «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ НА ДВЕСТИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ — КОНСОЛИДЭЙТЕД ЭЙРКРАФТ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО». В этот вечер «Бриллиантовая подвязка», заново отделанная, сияла всеми огнями. Джо Гиршфельд оказался ясновидящим.

Вернулись военные, вернулись проститутки и инженеры, вернулось процветание. Правда, это уже не было то, незабываемое и неповторимое просперити начала сороковых годов; заработки были теперь несколько ниже, если пересчитывать на стоимость жизни. Но жизнь вернулась в Уиллоу-Спрингс: завод снова действовал.

С тех пор прошло пять лет. Корейская война давно окончилась, но завод продолжал работать полным ходом, как работал до начала Панмыньчжонских переговоров. На нем было занято теперь около шестнадцати тысяч человек, и то, что они выпускали, мало походило на прежнюю продукцию фирмы. Испытательный аэродром находился довольно далеко от города — по старым понятиям; во всяком случае, когда там во время войны проходили заводские испытания прежние «Кугуары» с поршневыми двигателями, горожане никаких неприятностей не

переживали. Но для этих новых реактивных дьяволов расстояние, казалось, вообще не существовало. Поднимаясь в воздух или заходя на посадку, они проносились над самыми крышами, обрушивая за собой чудовищный свистящий грохот, от которого лопались оконные стекла и перепуганные дети подымали крик в своих колыбельках. Представительницы местной Лиги матерей побывали по этому поводу у мэра, но им объяснили, что ради безопасности Америки приходится идти на некоторые жертвы. Правда, после этого ночные полеты над городом прекратились.

Во время корейской войны завод в Уиллоу-Спрингс выпускал палубные истребители «Барракуда», а с пятьдесят третьего года перешел на выпуск перехватчиков по заказу Воздушных Сил. Созданный конструкторами фирмы всепогодный перехватчик Ф-105 «Стратофайтер» был принят на вооружение и рекомендован для использования в оборонной системе Западной Европы. Никогда еще дела фирмы не были столь процветающими и ее акции столь прочными.

Яства в стеклянных окошечках выглядели непривлекательно. Продвигаясь вместе с очередью и подталкивая свой поднос, Фрэнк с сожалением вспомнил французскую кухню. Как их кормили в этой Тулузе! К стакану апельсинового сока, уже стоявшему на подносе, присоединилась тарелка с двумя гамбургскими сосисками и зеленым горошком, потом чашка кофе и запечатанный в целлофан кусок яблочного пирога.

Девушка, вышедшая перед ним из-за никелированного барьера, оглянулась и неодобрительно покачала головой.

— Добрый день, Хартфилд,— сказала она с гримаской.— В первый раз вижу, чтобы мужчина так заботился о своей талии. Посмотрите сюда!

Фрэнк посмотрел не на загруженный поднос, который она ему показала, а на ее талию, и смешался, пытаясь придумать подобающий случаю комплимент и одновременно вспомнить — кто она и где работает. Пока он собирался с мыслями, его собеседница исчезла, и только тогда он вспомнил: Шийла Уоррен, из группы планирования. Но где они познакомились?

Большой зал заводского кафетерия был полон. Не менее пятисот человек смеялось и разговаривало за столиками, но низкий потолок, обшитый ячеистыми плитами акустической изоляции, гасил резонанс и в помещении казалось тихо. Фрэнку не без труда удалось найти свободное место в самом углу, у стеклянной стены, выходящей на зеленый газон перед административным корпусом.

Он выпил сок, нехотя сжевал несколько горошин. К столику подошел шеф-инженер Делонг — свою теперешнюю работу Фрэнк начинал в его проектной группе и вынес о старике хорошее мнение. Спросив, не занято ли, Делонг сел, поставил две принесенные с собой банки пива и вытащил из кармана халата большой пакет в целлофане.

— Не боитесь есть эту отраву? — спросил он, посмотрев на стоящую перед Фрэнком тарелку.— Впрочем, в вашем возрасте я переваривал болты. А теперь боюсь. Питаюсь только домашними сандвичами. Хотите? Жена, как всегда, завернула мне слишком много.

— Спасибо, сэр, сегодня я совершенно не чувствую аппетита,— отозвался Фрэнк.

— Пуще всего следите за желудком,— ворчливо сказал Делонг. Отломив припаянный к пивной банке ключ, он аккуратно продавил в крышке два треугольных отверстия и вылил пиво в стакан. — Желудок — это все. В молодости, конечно, на это не обращаешь внимания.

— Это верно,— согласился Фрэнк.

— Вчера за моим столиком оказались одни девчонки...— Делонг допил стакан и, развернув сандвич, запустил в него длинные зубы. Прожевав, он докончил свое замечание, немного удивившее Фрэнка. — Трое каких-то вертушек из административного персонала. Весь перерыв трещали так, что кусок не лез в глотку.

Фрэнк сочувственно хмыкнул, доедая сосиску.

— За едой нужно молчать,— сказал Делонг, строго посмотрев на него из-под взъерошенных бровей.— Лучше усваивается.

— Я это учту, сэр,— смиренно сказал Фрэнк.

Он бросил взгляд на своего визави и сдержал улыбку, вспомнив, что вся группа называла Делонга «старым занудой» именно за эту страсть к нравоучениям по всякому пустяку. Впрочем, он был хорошим шефом и с подчиненными всегда ладил лучше, чем с начальством. Другой с его опытом — при наличии более обтекаемого характера — давно уже руководил бы отделом. Но что он зануда — этого у старика не отнимешь.

Фрэнк ел и смотрел на плакат на противоположной стене — очень привычный плакат, который висел здесь давно и был так же неотделим от обстановки, как запах кофе и слитный шум голосов. На плакате, освещенная снизу отблеском молнии, крутым виражом уносилась в черное грозовое небо узкокрылая сигара с опознавательным знаком воздушных сил США на фюзеляже. Вверху на плакате — огненно-красными буквами по черному фону — стояло: «В ЛЮБОЙ ЧАС, В ЛЮБУЮ ПОГОДУ», а внизу — «КРЫЛЬЯ КОНСОЛИДЭЙТЕД ЭЙРКРАФТ ГАРАНТИРУЮТ ПОКОЙ АМЕРИКИ». Все это было хорошо исполнено, и посмотреть на такой плакат было приятно. Но для Фрэнка он имел еще и совсем особое значение.

Изображенный на нем истребитель был знаменитый Ф-105, модификация «Н»,— тот самый прототип, эскизный проект которого разрабатывался в главном конструкторском бюро завода, когда Фрэнк пришел туда два года назад. Таким образом, в эту машину была вложена доля — хотя и очень незначительная — его труда. Но главное в том, что время, когда они работали над проектом «Стратофайтер», было для Фрэнка самым, пожалуй, счастливым периодом его жизни. Он был очень счастлив еще и раньше, те три недели в Байресе, но то счастье было каким-то не таким.

Тогда все было слишком фантастическим, чтобы воспринимать случившееся всерьез. Неожиданная для него поездка, и этот экзотический город, и потом появление черноглазой и тоненькой мисс переводчицы, в которую сразу же влюбилась половина их группы... И потом — их дружба (ведь вначале это всегда называют дружбой), и та маленькая тенистая площадь, где он вдруг потерял голову и поцеловал ее, замершую от испуга и неожиданности (луна тогда спряталась за тучку, иначе он никогда бы на это не отважился), и ее дом, и ее отец — никогда в жизни не видел он ни таких старых домов, ни таких пугающе воспитанных джентльменов... Нет, слишком все было необычно и неожиданно, чтобы можно было поверить в это всерьез. Даже в последний их вечер, когда они сидели в ложе под самым потолком какого-то крошечного кино и не видели ничего из происходящего на экране, даже тогда не мог он полностью поверить в реальность происходящего. Все это воспринималось как сон, слишком приятный, чтобы быть реальностью. Ему тогда казалось, что все кончится с отъездом из Аргентины, что стоит ему снова ступить на землю Штатов и окунуться в привычный и прозаический мир телефонных звонков, поездок из города в город и равнодушно-вежливых отказов на бланках с фирменными грифами — и все это сказочное происшествие так и останется сказкой. К тому же,

не имея работы, он тогда вообще не мог еще всерьез планировать свое будущее — даже свое, не говоря уже о будущем любимой девушки...

Настоящее счастье он узнал позже, много позже, спустя целый год. Именно в период работы над проектом «Стратофайтер». У него было постоянное место, интересная работа, и Трикси должна была приехать к нему сразу после окончания своего колледжа. Вот когда он — впервые в жизни — узнал, что значит быть счастливым! Любовь, казалось, удесятерила его силы, и он проводил на заводе по двенадцать часов, не обращая внимания на насмешки некоторых коллег, увидевших в новичке только желание угодить начальству своей работоспособностью. Когда закрывались помещения конструкторского бюро, он переходил в макетный цех, где на плазах расчерчивались и выкраивались части обшивки и на стапеле рос веретенообразный скелет первого экземпляра машины...

— Куда это вы уставились? — подозрительно спросил Делонг и оглянулся. — А-а, плакат разглядываете. Эта реклама была заказана для «Сэчьюрдэй ивнинг» и так понравилась боссам, что они решили тиснуть ее плакатом.

— Что ж, нарисовано хорошо,— кашлянув, сказал Фрэнк.— Наша птичка выглядит прямо красавицей.

— Они все — красавицы,— сказал Делонг.— Я еще не видел самолета — хорошего самолета,— который был бы некрасив. Можете мне поверить: всякий хороший самолет выглядит как мисс Америка.

— Во Франции нам показывали на редкость безобразный,— возразил Фрэнк.— Один из экспериментальных прототипов фирмы «Норд», выпущенный этой зимой. В плане он еще ничего, но сбоку — в жизни не видел ничего более гнусного. Как блоха, даю слово. Вот такой короткий и горбатый, просто не верится, что это сверхзвуковая машина.

— Или машина плохая, или вы в ней чего-то не поняли,— сказал Делонг.— Пива хотите?

Не дожидаясь ответа, он откупорил вторую банку и налил Фрэнку в картонный стакан.

— Если хотите увидеть по-настоящему красивую машину,— сказал он,— посмотрите на последнюю работу Мак-Доннела. Двухмоторный эскортный истребитель, Ф-101 «А». Ровно год назад, двадцать девятого сентября, я присутствовал при его первом полете. Запомнил дату, потому что это день рождения моей сестры, той, что работает в Байресе. Я из-за этого испытания забыл послать ей каблограмму. Интересно, как она там сейчас. Я ей еще в июне советовал просить перевода в другое место. Хотя бы под предлогом климата, что ли. Я ведь чувствовал, что дело там кончится стрельбой. В этих проклятых странах только и жди неприятностей.

— Я не нахожу, сэр,— сухо сказал Фрэнк,— что Аргентина заслуживает названия «проклятой страны».

Делонг усмехнулся:

— Господи, не нужно понимать все так буквально. Я тоже знаю Аргентину и сохранил о ней самые приятные воспоминания. Во время войны я работал в Канаде, на заводах Авро, мы продали аргентинцам несколько тяжелых бомбардировщиков... Авро «Линкольн», если вам приходилось слышать,— разновидность английского «Галифакса». Так вот, один из них взорвался в воздухе, и я летал туда с комиссией экспертов. Это было уже под самый конец войны или даже после. Году, пожалуй, в сорок шестом. Мне понравилось, я даже подумывал остаться. Там красивые девушки. Правда, это соображение я в расчет уже не брал, но не заметить не мог. Очень красивые. Девушек там называют, если не ошибаюсь, «сенорита». Впрочем, кому я рассказываю! — Снова улыбка смягчила на мгновение сухое длинное лицо шеф-инженера,—

У вас же была в Аргентине девушка, насколько помнится. Я еще писал о ней моей сестре, да? Что-то насчет визы? Конечно, конечно, теперь припоминаю. Ну и как, она уже в Штатах?

— Н-нет,— сказал Фрэнк.— Мы с ней несколько... поссорились.

— Вот как? — Делонг посмотрел на него с сочувствием.— Это жаль. Впрочем, в молодости чем же еще заниматься, как не заводить подружек, ссориться, искать новых... Нет, Аргентину я обругал не со зла, вы неправильно поняли. Я сказал только в смысле политической нестабильности. Только в этом смысле. Я давно уже чувствовал, что этому парню Перону долго не усидеть...

Делонг со стариковской аккуратностью вытряхнул крошки из пластикатового мешочка, разгладил его ладонью, сложил и спрятал в карман; из другого он достал кисет и короткую изогнутую трубку и принялся ее набивать. Фрэнк, опустив голову, скручивал в жгутики обрывки целлофана и раскладывал их перед собой.

— Очевидно,— сказал Делонг, закурив,— он просто перестал нас устраивать. В этом все дело.

— Кто? — рассеянно спросил Фрэнк, пальцем подгоняя один целлофановый жгутик к другому.

— Мистер Перон, кто же еще.

Фрэнк поднял голову и посмотрел на шеф-инженера с хмурым недоумением:

— А когда он нас устраивал? И почему вы вообще думаете, что...

— Что в Байресе не обошлось без нашей помощи? Сынок, в моем возрасте привыкаешь смотреть на вещи более зорко. Когда-то Перон был нам выгоден, несмотря на так называемый «антиимпериализм», все эти истории с Браденом и прочее,— был выгоден как гарантия против красной опасности в южной части полушария. Он и еще этот чилиец — как его, Ибаньес? А когда Перон довел страну до того, что возникла опасность взрыва,— мы убираем Перона и, так сказать, приоткрываем предохранительный клапан. Обратите внимание, Хартфилд, это стало стандартом нашей политики в отношении всех диктаторов. Их используют как дубинку против красных, а потом выбрасывают. Легко и просто, а? Нужно только очень внимательно следить за манометром, потому что в случае чего первыми, кто воспользуется взрывом в своих целях, будут те же красные. Логично?

— Не знаю, я никогда об этом не думал. Пожалуй, то, что вы сказали, выглядит и в самом деле логично.

— Еще бы! — торжествующе сказал Делонг.— Сынок, что бы про меня ни говорили, у меня все же есть голова на плечах. Мне следовало бы быть государственным деятелем, а не строить эти идиотские машины, которые стареют раньше, чем заканчиваются их заводские испытания. Я не люблю моей профессии, Хартфилд. Тупое, в сущности, дело. При всей кажущейся сложности и тонкости. Не говоря уже о том, что работаем мы для убийства, не для чего-нибудь.

Фрэнк снял и протер очки.

— Не знаю,— сухо сказал он. Он не любил таких разговоров.— Всякое оружие убивает, нужно только различать — кого и при каких обстоятельствах. Если существует вообще по-настоящему гуманное оружие, то это именно наше. Машины, которые мы выпускаем, предназначены только для перехвата. Когда уничтожается вражеский бомбардировщик, нужно думать не о погибшем экипаже, а о спасенном городе. Я на это дело смотрю так, и разговоры о «работе для убийства» представляются мне пустыми.

— Верно,— кивнул Делонг.— Многие мысли, сынок, не направленные на извлечение практической выгоды, принято считать пустыми. Однако без них не проживешь. Просуществовать можно, не спорю. Так

что это дело вкуса. А ваши слова о «гуманном оружии» просто наивны! Это вам еще повезло, что вы пришли к нам сейчас, когда завод выпускает эту модель. А что бы вы сказали, появившись здесь на три года раньше, когда мы работали для военно-морского ведомства? Мы выпускали палубные истребители-бомбардировщики, типичные многоцелевые машины. Да вы знаете — А-26 «Барракуда». В Корее они применялись как штурмовики, и они же эскортировали бомбардировочные группы за 38-ю параллель. Значит, строившие эту самую «Барракуду» поступали плохо, а построившие «Стратофайтер» — хорошо? Наивно, сынок. Все мы работаем для убийства! Сегодня вы делаете перехватчик, а завтра не поладили с начальством и оказываетесь перед необходимостью искать работу, а единственная фирма, которая вам эту работу предлагает, строит, как вы вдруг узнаете, вовсе не перехватчики, а межконтинентальные атомоносцы. Что же вы в таком случае сделаете? Откажетесь? Ничего подобного, сынок! Вы поворчите, а потом с тем же точно рвением засядете за расчеты какого-нибудь «Хастлера» или «Динозавра». Вот так-то... Ну, ладно...

Он еще раз посмотрел на часы и встал, сказав, что должен еще зайти к макетчикам. Поднялся и Фрэнк.

— Любопытно, что расскажет Кэрин, вернувшись из Байреса,— сказал Делонг, идя рядом с Фрэнком к выходу.— Новый президент уже принес присягу, читали? Опять какой-то генерал. Итальянская фамилия, что-то вроде Леонардо.

— Лонарди,— поправил Фрэнк. При всем своем равнодушии к политике он внимательно прочитывал в газетах все, касающееся Аргентины.— Лонарди, его показывали по телевизору.

— Значит, еще один,— сказал Делонг.— Ну-ну, qui vivra — verra...

— Простите?

— Я говорю: поживем — увидим. Нет, это я не из снобизма,— я ведь канадец, наполовину француз. Вы не бывали у нас? Приезжайте, не пожалеете. Посмотрите Онтарио, половите лососей...

— Эй, Хартфилд! — окликнул женский голос.— Мистер Делонг, довольно вам его мучить, отпустите человека!

Фрэнк обернулся — та же мисс Уоррен привстала из-за столика и поманила его к себе. С нею сидели еще две девушки.

— Ладно, идите,— сказал Делонг.— Я же вам говорил — за заместительницами сеньориты дело не станет...

Фрэнк нехотя пошел к столику Шийлы Уоррен.

— У меня кончается перерыв,— сказал он, пожимая руки ее приятельницам.— А после обеда будет совещание.

— До чего же эти мужчины себя ценят,— вздохнула Шийла.— Не бойтесь, мы вас не задержим, раз вы столь важная и занятая личность. С Рондой вы знакомы? А это вот — Энн Вандербилт.

— Ух черт,— сказал Фрэнк, сделав испуганное лицо. Девушки засмеялись.

— Где там,— вздохнула Шийла.— К сожалению, она просто машинистка. Важно другое, Хартфилд. В субботу Энн празднует день рождения...

Фрэнк поклонился:

— Мисс Энн, примите мои искренние...

— Не торопитесь с поздравлениями, вы принесете их в субботу, ко мне домой. Ясно?

— Страшно любезно с вашей стороны,— пробормотал Фрэнк.— Непременно буду.

— Ронда, поставьте его в список,— сказала Шийла.— У нас сегодня чудный улов — правда, девочки? Господи, как я в субботу напьюсь!

— Можете рассчитывать на мою поддержку,— кивнул Фрэнк. — А пока я пошел, мне действительно пора.

— В субботу к девяти! — крикнула ему вслед мисс Вандербилт.

9

В субботу, с самого утра, Фрэнка не покидала уверенность, что ничем хорошим этот день не кончится. Началось с того, что утром отказала бритва, оставив его выбритым ровно наполовину. Фрэнк разобрал механизм, но от торопливости — времени оставалось в обрез — рассыпал мелкие детали, и часть из них укатилась под письменный стол. Пришлось одалживаться у квартирной хозяйки, сын которой пользовался обычным «жиллетом». На работу он опоздал.

Неприятности ждали и там. Рабочий день начался совещанием с представителями фирмы «Уэстерн электроникс», по субконтракту устанавливающей на новой машине все спецоборудование; вернее, она это оборудование только поставляла, размещать его в радарном и других отсеках проектируемой машины предстояло им, то есть Фрэнку и его коллегам,— в этом-то и была загвоздка. Каждая сторона отстаивала свой вариант решения, в конце концов ни к какому решению не пришли, и представитель «Уэстерна», запихав бумаги в портфель, улетел консультироваться со своими боссами. Совещание оставило у Фрэнка неприятный осадок: всякий раз, когда в чисто инженерную проблему вмешивались соображения бизнеса, ему хотелось плюнуть на все и отойти в сторону.

Потом оказалось, что в мастерских не успели изготовить заказанное неделю назад моделирующее устройство. Фрэнк окончательно пал духом и целый час просидел перед приколотым на кульман листом ватмана, где накануне начал набрасывать блок-схему управления демпферными сервомеханизмами. Сидел, курил, стряхивая пепел в желоб чертежной доски, и злился.

Злился он и на себя, и на пройдох-субконтрактистов, и на Шийлу Уоррен. Зачем ему туда идти? В первый раз в жизни увидел эту дурацкую мисс Вандербилт (надо же, такая фамилия) — и изволь праздновать ее день рождения...

Перед концом работы Фрэнку пришлось сходить в аэродинамическую лабораторию, где при продувке модели обнаружились какие-то неполадки в телеметрической системе. Вернулся он оттуда злой как черт. Выведя из заводского паркинга свой «плимут-52», купленный в прошлом году у старьевщика за полтораста долларов, Фрэнк погнал к городу что было духу, не жалея дребезжащей машины и постепенно успокаиваясь. Не успел он войти в дом, как позвонил Рой — его, оказывается, девчонки тоже пригласили. Они договорились ехать вместе, потом Рой спросил, не собирается ли Фрэнк на стадион, посмотреть игру заводских регбистов. Фрэнк отказался, наспех закусил и лег поспать до вечера.

Проснувшись в половине девятого, он почувствовал, что ему и вовсе расхотелось ехать к Энн Вандербилт. Он попытался вспомнить ее внешность — почти ничего не вспоминалось. Прическа стандартная, улыбка тоже. Такие девушки, чуть покрасивее, показывают свои глаза, зубы и все прочее со страниц любого еженедельного журнала. Во Франции ему говорили, что американки считаются красивыми. Если спорт, оптимизм и эстетическая диета могут создать красоту, то, конечно, они красивы. Лично он так не считает, черт бы их взял. Как не хочется ехать на вечеринку! Трикси среди этих девушек была бы как — трудно сказать, как что́ именно. Как тот цветок, что продают по десять

долларов штука. Если такой вынуть из целлофановой коробки (они всегда продаются в прозрачных коробках, обвязанных золотым шнурочком) и воткнуть в пучок молодого редиса — вот так выглядела бы здесь Трикси. Идиот, как он мог вообразить всерьез...

Он покончил с бритьем и повязывал галстук, когда явился Баттерстон — шикарный, как всегда, в вечернем костюме.

— Торопись, старик, нам еще в магазины,— сказал он, закуривая.— Ты в этом и идешь?

— Может, ты хочешь, чтобы и я напялил смокинг? — огрызнулся Фрэнк.— Кстати, у меня его нет. И не будет, понимаешь? Ненавижу снобов.

— Снобов ты можешь ненавидеть сколько угодно, но без смокинга не обойдешься. Подожди вот, тебя еще не заприметила «первая леди».

— Миссис Флетчер? Надеюсь, что и не заприметит.

— Как сказать. Она любит «устанавливать социальные контакты» с молодыми инженерами.— Рой подмигнул.— Самое забавное, что без всяких бесчестных намерений. Господи помилуй, ничего более добродетельного и скучного, чем ее воскресные коктейль-парти, я никогда не видел и не увижу. А попробуй отказаться от приглашения — и можешь считать свою карьеру в «Консэйр» оконченной...

По пути они заехали за выпивкой, купили подарки. Рой увидел в игрушечном магазине чудовищного зайца ростом в полчеловека, по имени Хэрви. Стоил он соответственно своему росту, но Рой и Фрэнк к тому времени уже успели вытянуть полбутылки виски, и Хэрви был куплен и водворен на заднее сиденье. Когда они втроем приехали к мисс Уоррен, веселье там уже шло вовсю.

Шийла Уоррен уже за несколько дней до вечеринки говорила о своем желании напиться; Рой Баттерстон напивался при каждом удобном случае; что касается Фрэнка Хартфилда, то он или вообще не напивался, или, если был не в настроении, делал это очень быстро. У остальных гостей, а их набралось человек тридцать, тоже, очевидно, были какие-то свои причины спешить с выпивкой.

Так или иначе, трезвых в этот вечер здесь не было. Фрэнк еще раз поздравил виновницу торжества, поболтал с девушками, потом выпил с ними сухого мартини. Когда девчонок утащили танцевать, Фрэнк остался с двумя парнями из отдела лётных испытаний. Парни спросили, какой у него профиль, и когда узнали, что он работает по электронному оборудованию, решили за это пить. Фрэнк не отказался, и они выпили за электронику и за всех с нею связанных, а потом он поинтересовался — в чем, собственно, дело и почему, собственно, его заставили пить за эту сволочь электронику, от которой в сегодняшнем мире одни неприятности. К ним подошел еще один. Сколько же их было? Высокий из отдела лётных испытаний, по имени Стив, и другой, пониже, — кажется, Эб, как Линкольн, а тот, что подошел,— этот был производственник, только Фрэнк не помнил, из какого цеха. Джонни его звали, именно так — Джонни, а парень был шести футов, не меньше. Он тоже согласился, что за электронику пить не стоило, потому что это штука гнусная. Конечно, кое-какая польза от нее есть, отрицать нельзя. Телевидение, например,— это вещь. Особенно когда мисс Дагмар раздевается в своей ежевечерней «программе для холостяков». Фрэнк вместе с другими выпил за груди мисс Дагмар. Говорят, она их застраховала. Нет, телевидение — это вещь. А вообще электроника — дерьмо. Взять хотя бы программирование технологических процессов. А? Это все электроника, это она, сволочь. Конечно, нам, инженерам, от этого пока что хуже не становится. Пока что, а? Но парням в цехе ты избегаешь

смотреть в глаза. Очень просто: вчера здесь работало шестеро, а завтра поставят программное устройство, и все шестеро пойдут за пособием. Вот вам и электроника! Уже не говоря о прочем. О таких штуках, например, как ракетное оружие. «О нем мы и говорили»,— подмигнул Стив. Фрэнк не понял — когда? Когда предложили тебе выпить за электронику, вот когда. Скоро завод перейдет на выпуск «джи-эм», вот тогда ты оценишь свой профиль. Шассисты, например, или крыльевики — те будут плакать и размазывать слезы кулаками. Черт, этот парень совсем уже надрался; какой дурак говорит об автомобилях? «Джи-эм» — это не «Дженерал моторс». Это значит «управляемый снаряд» — ясно, сэр? А она опять танцует с этим идиотским зайцем, смотрите. Можно держать пари, она и спать с ним будет.

Они выпили за то, чтобы «Хэрви» оказался на должной высоте, а потом Шийла стала вопить, что это в конце концов хамство — явиться по приглашению девушек и весь вечер торчать со стаканами в руках. Стали танцевать, но места не хватало, да и девчонки тоже перебрали. Фрэнк наступил на ногу какой-то рыжей. Такой рыжей, что она была похожа скорее на морковку, чем на редиску. Морковка истошно взвизгнула, он с достоинством сказал: «Виноват» — и снова пошел пить, поняв, что танцора из него не получится. Он стоял, пил, старался держаться прямо. Стив и еще кто-то пили вместе с ним, Рой в углу деятельно обхаживал одну из редисок.

Когда он увидел Трикси, весь хмель мгновенно испарился. Протрезвевши, он тут же понял, что это вовсе никакая не Трикси. Просто ему показалось. Она стояла в противоположном углу комнаты, спиною к нему,— волна темных, как у Трикси, волос, плечо, поворот шеи. Он так уставился, что, наверное, кто-то заметил и сказал ей, и она обернулась со смехом. Лицо как у всех, чуть вздернутый нос, яркие и полные губы. Но волосы! Она улыбнулась еще шире, встретившись с ним глазами, и отвернулась к своему собеседнику. Фрэнк тоже отвернулся, чтобы не видеть этих слишком похожих волос, но потом не выдержал и оглянулся еще раз. Черненькая опять смотрела в его сторону, загадочно улыбаясь. Ронда Халидэй отплясывала с Баттерстоном какой-то новый танец — сплошные прыжки и выверты.

— Здорово, скажешь нет? — одобрил Джонни-производственник.

Фрэнк спросил, из какого он цеха, оказалось — из холодной штамповки. Выпили за холодную штамповку.

— А танец непристоен,— мрачно объявил Фрэнк. Он бы такие танцы запрещал, не должна молодая леди выкаблучиваться подобным образом. Да еще перед всеми. Он смотрит на это так. Может, он — ископаемое, кто его знает.

— А что такого,— сказал Джонни,— ноги у нее о'кэй, почему бы и не покрасоваться такими ногами? Правда, сестренке своей я бы такое танцевать не позволил — это верно. Хотя она наверняка уже танцует. Они все теперь это танцуют, от тринадцати и выше. Рокинг, что ли, так это называется...

Появились бумажные карнавальные шапочки. Рой в красной феске и смокинге стал похож на турецкого дипломата. Энн Вандербилт нацепила трехфутовый колпак алхимика, украшенный кабалистическими знаками. К Фрэнку подошла черненькая, сказала: «Хэлло»; — и надела что-то ему на голову, общелкнув резинкой подбородок.

— Хэлло,— сказал Фрэнк, потрогал шапочку и на ощупь ничего не понял. — А вы сами? — спросил он у черненькой.

— Я и без украшений ничего,— сказала та.

— Верно,— согласился Фрэнк, наливая ей и себе.— Волосы у вас просто...

Она взяла стакан и поверх его края глянула на Фрэнка смешливо прищуренным глазом.

— Только волосы? — спросила она.— А остальное?

Фрэнк посмотрел и пожал плечами.

— Ничего,— сказал он.— На уровне.

— Не очень-то вы любезны,— вздохнула черненькая.— А жаль.

— Почему?

— Да так. Вы из того типа мужчин, на который я реагирую.

Она допила стакан, и кто-то увел ее танцевать.

— Ну и стерва,— восхищенно сказал Джонни.— Я бы на месте ее мужа...

— А у нее есть? — спросил Фрэнк.

— Говорят, есть, только где-то далеко.

— Ее зовут Джин?

— Джин, да. Джин Бакстер. Феноменальная стерва, но красива. Я ее видел в бассейне, с месяц назад. Можно подумать, рисовал Варга. Прямо хоть сейчас на календарь. Вам брюнетки нравятся?

Фрэнк кивнул и непослушными пальцами стал отвинчивать пробку с новой бутылки. Он хотел еще сказать, что брюнетки ему нравятся далеко не всякие и, во всяком случае, совсем не такие, как эта Бакстер, что если говорить всерьез, то ему нравятся не брюнетки вообще, а одна-единственная брюнетка, и вообще «нравится» — это не то слово, совершенно не то, но он ничего этого не сказал, потому что у него перехватило горло и застлало глаза. «А здорово же я сегодня насосался»,— подумал он в эту секунду, а в следующую секунду сообразил, что и хорошо, что так получилось, так как здесь не время и не место для упоминания — хотя бы намеком — о Трикси Альварадо. Отвинтив наконец проклятую пробку, он стоял пошатываясь, слушая бульканье и плеск льющейся в стакан жидкости, потом перелил ее в себя, пошел по коридору и дальше, толкая двери, пока не очутился на воздухе.

...Как они оказались вместе — вышла ли она вслед за ним или уже была там раньше,— он так и не мог вспомнить. Она стояла спиной, положив руки на перила, и проехавшая машина на миг осветила ее фарами — темные блестящие волосы,— и он подошел к ней и положил руки на ее плечи, прохладные от ночной свежести, и прижался щекой к ее затылку, а она не пошевелилась и не сказала ни слова, и это уже была не она, Джин Бакстер, а та, другая, вернувшаяся вдруг из своего немыслимого и непреодолимого отчуждения и стоящая теперь рядом с ним здесь, под летящими осенними звездами Нью-Мексико...

— Решили мириться? — спросила она негромко, голос у нее был чуть хрипловатый и тон такой, точно она сдерживала смех.— А вам идет быть грубым, вам никто этого не говорил?

— Нет, — сказал он, отвечая сразу на оба вопроса, и сам спросил, стараясь выговаривать слова твердо и внушительно, почти строго: — Где ваш муж?

Она рассмеялась, коротко и так же хрипловато.

— Не беспокойтесь, он далеко отсюда...

— Что он делает?

— Сторожит наш благословенный свободный мир. Он служит в САК[1], понимаете? Летает с этой водородной штукой в кармане. Что еще вас интересует?

— Я понимаю,— сказал Фрэнк, почему-то не убирая рук.— А почему вы не с ним?

Джин Бакстер опять коротко рассмеялась.

— Не люблю холода. Я жила на трех базах — на Гаваях, в Север-

[1] Стратегическое воздушное командование (*англ.*).

ной Африке и на Формозе. А сейчас он в Туле, Гренландия,— по полгода без солнца, весело? Будь они прокляты со своим водородом и своей стратегией — глобальной, гемисферической и вообще всякой. Да и потом, я хочу жить, понимаете?! Я не такая уж идиотка, чтобы не представить себе, что́ произойдет на этих базах в первый же час... Они там уже сейчас все как психопаты, заранее. Моему мужу еще нет тридцати, а он уже ни на что не годен. Почему? Да потому, что он летает на «би-сорок семь», я же вам сказала...

Она говорила еще что-то, зло и насмешливо, но Фрэнк уже не слушал ее, убеждая себя в том, что не нужно ему стоять здесь и не нужно держать ее за плечи, ощущая ладонями обнаженную кожу— такую гладкую и прохладную от ночного воздуха (в этот момент ему вспомнились слова Джонни из цеха холодной штамповки — насчет Варги). Наверное, это не по-джентльменски в отношении того парня, ее мужа. Его можно пожалеть уже за одно то, что бедняга служит у генерала Лимэя. Круглосуточное, из месяца в месяц, состояние готовности номер один, непрекращающаяся лётная тренировка в немыслимо трудных условиях, с дозаправкой в воздухе и прочей акробатикой, наконец, пресловутое «стратегическое патрулирование» с термоядерным оружием на борту— полеты, любой из которых может в любую минуту превратиться в первый боевой вылет новой войны...

Джин Бакстер опять засмеялась негромко и хрипловато и прижалась к Фрэнку спиной, закинув голову; руки его соскользнули с ее плеч и как-то сами — совершенно сами, непроизвольно — сомкнулись ниже.

— Вы хоть целоваться-то умеете? — спросила она деловито.

Конечно, он вообще умел. Но только ему не очень хотелось целоваться с этой Бакстер, и поэтому, когда они все-таки поцеловались, то скорее по ее инициативе. Ну а потом он сделал это уже и сам. Раз или другой — трудно сказать. Может быть, и три. Все-таки она была красива,— гораздо красивее, чем там в комнате, при ярком свете,— и звезды летели взад и вперед, точно все небо раскачивалось гигантским маятником, и музыка слышалась из комнат, где танцевали остальные,— очень красивая музыка, не какой-нибудь рокинг, а что-то южноамериканское, что он слышал уже не раз, и всегда думал при этом о Трикси Альварадо и был уверен, что уж в следующий раз, услышав эту проклятую музыку, он непременно расплачется, как мальчишка, хотя плакать ему в жизни пришлось до сих пор только два раза: в сорок третьем году, когда его письмо к отцу вернулось с четким фиолетовым штемпелем «Addressee killed in action» [1], и еще в ту ночь в Брюсселе. Сейчас он снова слушал эту проклятую музыку и думал о Трикси Альварадо и целовал совсем другую...

...Ее машина стояла в самом конце, такая открытая, серебристая.

— Пустили бы вы меня к рулю,— посмеиваясь, сказала Джин, передавая ему ключи.— Или рискнем?

Сердито сопя и стараясь сосредоточиться, Фрэнк обшарил переднюю панель, включил освещение приборов, стал нащупывать ногами педали.

— Вторую не ищите,— сказала Джин,— это гидроматик. Может, все-таки лучше мне?

Фрэнк, не отвечая, запустил мотор и с места дал полный газ — только непривычно мягкая гидропередача спасла их от аварии. Проехав несколько блоков, он почти отрезвел. Он почему-то всегда трезвел за рулем.

Джин указывала дорогу. Прямо, направо, свернуть вон у того указателя, теперь снова прямо. Они были уже в поле. Во всяком случае, огни

[1] «Адресат убит в бою» (*англ.*).

и рекламы остались позади. Городок-то, в общем, небольшой — не успеешь оглянуться, как проскакиваешь его из конца в конец. Она достала плоскую фляжку, Фрэнк пил прямо из горлышка, запрокинув голову, удерживая руль одной рукой.

Она тоже здорово насосалась у девчонок, хотя держала себя в руках. Закурив сигарету, она сунула ее в рот Фрэнку, потом зажгла вторую — уже для себя. Фрэнк снова начал пьянеть.

— Разобьемся,— выговорил он с усилием и прибавил скорости.

— Не стоит,— сказала Джин.— Едем лучше ко мне. На первом перекрестке разворачивайтесь и обратно.

Удивительно, что они все же доехали благополучно. В лифте он смотрел на себя в зеркало и видел что-то расплывчатое. Что за дрянь была у нее во фляжке? Хотя, наверное, самое обычное виски. Просто он сегодня... перебрал. Да, вот именно. Он повторил эту мысль про себя еще раз и с некоторым усилием высказал стоящей рядом Джин. Та согласилась и сказала, что и сама она тоже, кажется, выглядит не лучше.

— Сейчас голову под кран,— сказала она,— и все станет на место.

Так оно и случилось. Фрэнк долго вертел головой под холодными секущими струйками душа, не сняв пиджака и даже не развязав галстука, и почувствовал себя значительно лучше. Когда он вошел в ливинг, Джин, уже успев переодеться в кимоно, возилась у открытого шкафчика-бара.

— Готовы? — спросила она.— Ну, теперь моя очередь. Но только я сделаю это более основательно. Займитесь пока чем-нибудь, слушайте музыку или просто сидите и пейте. Смешать вам? Ну как хотите. Если надумаете — приготовите себе сами. Вы уже протрезвели. Когда мы ехали, я еще никогда в жизни так не боялась. Впрочем, за рулем вы молодец, если и в постели такой же, то все в порядке...

Все-таки она была красива — даже сейчас, при ярком свете. Или японский наряд ей шел, или просто он раньше не рассмотрел как следует. Он поймал ее, когда она проходила мимо.

— Стоп, стоп,— сказала она смеющимся шепотом,— не все сразу, верно? — Вырвавшись, она запахнула кимоно и ушла, а он остался ходить по ливингу, натыкаясь на мебель.

Потом Фрэнк включил радио и сел в кресло. Сел, поднял голову и засмеялся — вот так штука! Кресло стояло в углу; обе двери — в коридор и дальше, в ванную комнату,— были на одной линии, и обе были открыты. Он сидел в кресле, а она стояла под душем, и единственным, что их разделяло, было несколько десятков футов пространства и прозрачная штора, которую она все же догадалась задернуть. До сих пор он видел такое только на экране, правда довольно часто. Избитая, в сущности, ситуация. А этот Джонни был прав: фигура у нее действительно «календарная»...

Фрэнк откинулся в кресле и зевнул, закинув руки за голову и чуть не сбив что-то висящее над ним на стене. Какую-то рамочку. Не вставая и не оборачиваясь, закинутой за голову рукой он попытался ее поправить, но что-то легкое упало на пол, наверное выпавший из стены гвоздь, а рамочка осталась у него в руке.

Это был B-47, снятый в полете, очевидно, с такой же машины, идущей параллельным курсом. Очень хороший снимок. Удивительно, как иногда хорошо выходят снимки. У него как-то никогда ничего особенно хорошего не получалось, хотя фотографией он увлекался. Еще студентом. Всегда или недодержка, или передержка, или еще что-нибудь. Да, так вот он какой. Он самый, Боинг B-47 «Стратоджет». Гнусная штука, более страшного самолета он в жизни не видел.

Во-первых, у него профиль акулы. Совершенно акулий профиль, или

какой-то другой рыбы, такой же хищной. Конечно, может, это просто предубеждение... Дело в том, что ведь все знали, для чего создавалась эта машина — самый мощный в мире боевой самолет, способный нанести атомный удар в любой точке земного шара и без посадки вернуться на свою базу. А в общем, трудно сказать, почему иногда возникает вдруг такая антипатия-боязнь — то ли по отношению к человеку, то ли к месту, то ли к сооружению.

Он всегда любил самое новое, самое технически совершенное, и это естественно — их учили создавать новую технику. Но когда он впервые увидел «Стратоджет», ему стало страшно.

Он совершенно отчетливо помнит это чувство. Именно страшно. И вся их группа, которую тогда послали на базу Макконелл, в Уичито,— они все чувствовали нечто похожее, он отлично видел это, хотя никто ничего не говорил. Им, студентам, показывали самое мощное и самое новое оружие Америки, а они даже не испытывали законной в таких случаях гордости. Он, по крайней мере, ее не испытывал.

Ему было страшно, словно он заглянул вдруг в какой-то совершенно новый мир, в мир чудовищной техники марсиан. В этом мире человеку не было места — вот что понял он тогда, осматривая эту ни на что не похожую машину.

В ней не было ничего от прежних тяжелых бомбардировщиков, с их по-своему удобными и светлыми кабинами, со множеством уютных отсеков в фюзеляже, где во время патрульного полета можно сварить кофе, разогреть консервы и даже подремать между двумя вахтами. В-47 — это шесть турбин, равных по суммарной мощности силовой установке эскадренного миноносца, и огромное веретенообразное туловище, сплошь начиненное автоматикой и электроникой, с узкой щелью-кабиной наверху — с кабиной, где три человека в скафандрах не могут даже вытянуть руку или ногу, чтобы размяться. Обзора почти нет. Только пилот кое-что видит, а у навигатора, сидящего под ногами у пилота, нет перед глазами ничего, кроме шкал и экранов. В-47 предназначен, главным образом, для слепого полета, но даже если лететь с хорошей видимостью —навигатору стратосферного бомбардировщика она все равно ни к чему.

Фрэнк заглядывал в узкие норы с неудобными маленькими сиденьями, думая о том, что ни один из простодушных громовержцев Олимпа не обладал мощью, которая была подвластна экипажу нового Боинга, но эта мысль не вызывала в нем гордости.

Люди, пальцам которых повиновались самые тонкие приборы, самые мощные двигатели и самая чудовищная разрушительная сила во всей истории техники, сами были рабами, и ему тогда показалось, что в компоновке кабины «Стратоджета» выразилась не только конструктивная необходимость, но и какая-то более важная и более глубокая идея, еще не совсем ясная ему самому.

Он вообще никогда не был силен в отвлеченных идеях, но одно он видел совершенно ясно: летчики на этой машине не были «господами воздуха», они были рабами техники, злорадно и демонстративно загнавшей их в щель между приборами и машинами, как некогда сажали человека в каменный мешок. Во Франции ему показывали один зáмок, там были подземные каменные мешки, les oubliettes. На В-47 — не многим лучше. Когда самолет приземляется, экипаж приходится «приводить в форму» какими-то специальными ваннами, массажами, чуть ли не искусственным дыханием...

...Все это он вспомнил в течение одной какой-нибудь минуты, пока держал в руках вставленную в рамку фотографию. Потом оглянулся и обвел глазами стены — портрета не было. Еще бы, зачем ей портрет? Да... страшный самолет. Он даже когда взлетает — и то похож не на

самолет, а на управляемый снаряд: дым, грохот — того и другого очень много. Он ведь для отрыва от земли использует пороховые ускорители, этот проклятый В-47. Если смотреть издали — кажется, будто запускают «Регьюлус». А на снимке выглядит красиво — серебряный на почти черном фоне. Снято с очень плотным светофильтром, почти красным. Или просто там такое небо? Конечно, это же стратосфера!

...Вот она плещется здесь за прозрачной занавеской, вся как на ладони,— красивая длинноногая женщина, жена того самого парня, который сейчас где-то в стратосфере. Над Аляской, над полюсом, или над Францией, или над Брюсселем — зашнурованный в декомпрессионный скафандр, втиснутый в узкую щель между сотней тумблеров, кнопок и рукояток, опутанный шлангами и проводами, со своим страшным грузом в бомбовом отсеке. Может быть, он думает сейчас о ней, если вообще способен еще думать о чем-нибудь, кроме пунктов полетного задания. О ней, об этой самой, когда-то обещавшей ему верность, «феноменальной стерве» Джин Бакстер. Это же его фамилия, его собственная...

— Джин Бакстер! — громко позвал Фрэнк.— Слышите, вы!

Она услышала, но не сразу; отвернулась, пошарила по стене (видно, вода попала ей в глаза) и перекрыла кран. Шум воды стих.

— Хэлло! — крикнула она, снимая шапочку.— Что вы там кричите? Я ничего не слышала, очень шумит. Держите себя в руках, мальчик, я через минуту готова...

— Послушайте, вы, Джин Бакстер! — громко, почти торжественно заявил Фрэнк. — Можете ни к чему не готовиться и оставаться там, где вы есть. Я ухожу. Вы слышите?

Джин Бакстер отдернула пластикатовый занавес — так, что взвизгнули кольца,— и вышла к Фрэнку, оставляя на линолеуме узкие мокрые следы.

— Что с вами, милый? — спросила она тем же своим насмешливым и злым тоном, не попадая в рукава халата. Она подошла так близко, что Фрэнку вдруг захотелось потрогать капельки воды на ее теле. — Вы что — испугались вдруг, что я шантажистка?

— Шантаж мне не страшен,— усмехнулся Фрэнк,— ревнивой жены у меня нет, а баллотироваться на ближайших выборах я не собираюсь. Если вам действительно хочется знать, что я о вас думаю, миссис Бакстер, то вы не шантажистка, а просто самая обыкновенная шлюха...

Последние слова он произнес уже на пороге, выходя из комнаты, и обернулся только потому, что такие вещи полагается говорить глядя в глаза. Не обернись он — дело могло бы кончиться плохо, потому что Джин Бакстер его слова явно пришлись не по душе, а так как возразить на них в данной ситуации было трудно, то она молча схватила какой-то предмет и запустила ему в голову. Фрэнк успел отшатнуться, предмет с треском разлетелся о стенку, что-то посыпалось и покатилось. Наверное, это были часы. Ему стало и вовсе противно, словно его заставили участвовать в пошлой комедии.

— Не валяйте дурака, — сказал он угрюмо. — Нечего устраивать бурлеск в два часа ночи и будить соседей...

— Убирайтесь к черту!! — с искаженным яростью лицом крикнула Джин, хватаясь за какую-то бронзовую чашу, солидное азиатское изделие.

— Я это и делаю,— огрызнулся Фрэнк, отступая к двери. — Не вздумайте бросить в меня этой штукой, иначе я на прощанье еще и всыплю вам как полагается, хотя в жизни ни одну женщину пальцем не...

Он запнулся, не договорив, потом повернулся и вышел. Не вызывая лифта, сбежал по лестнице, выскочил на улицу и пошел сам не зная

куда. Эта часть города была ему незнакома, улица — пустынна, белый свет заливал витрины и замусоренный асфальт. Несколько парней в гавайках навыпуск толклись у дверей закрывающегося бара, переругиваясь с официантом. Фрэнк торопливо шел, стиснув зубы, оттягивая кулаками карманы расстегнутого пиджака.

...Случайно, машинально сорвавшиеся слова «в жизни ни одну женщину...» — совершенно машинально, просто потому, что так обычно и говорится. Действительно, цивилизованный человек женщину не ударит. Даже такую, как Джин Бакстер, заслуживающую этого без всяких оговорок. Не ударит,— ведь бить женщину просто не принято. Даже если бы она швырнула в него той курильницей, это все же не повод, чтобы ударить женщину. Не все ли равно, потаскушка она или нет.

Ты только ее смог ударить тогда в Брюсселе, только ее. А кроме нее — ни одну женщину пальцем не тронул. Как полагается цивилизованному человеку, джентльмену с высшим инженерным образованием. Только ее, в отношении которой поцелуй казался святотатством!

Те самые парни в гавайках нагнали его, спросили — не знает ли он, где можно выпить в этот час в этом вонючем городишке.

Они оказались водителями, доставившими сегодня какой-то срочный груз для завода. Нашли открытый еще бар, просидели до закрытия, потом наконец разошлись — парни к себе в отель, Фрэнк домой. Новая порция алкоголя не улучшила его самочувствия. Настоящий мужчина никогда не поступит так, как поступает он, Фрэнк Хартфилд. Вечно невпопад или глупо — это в лучшем случае, а в худшем — просто подло. С Трикси получилось подло, то есть с мисс Альварадо, разумеется. Она ведь просила не называть ее «Трикси», помните?

А с этой, как ее... Джин Бакстер — с ней получилось глупо. Нужно было или не уезжать с нею от девчонок, ведь было же видно, что она за птица, или уж остаться у нее и не устраивать дурацких сцен с проповедями. Рой поступил бы на его месте именно так. Как он будет хохотать, прохвост, если узнает, что́ произошло в квартире у этой Бакстер!

Стерва, чуть не раскроила ему голову. Если бы не фото, он сейчас лежал бы с нею в постели и занимался тем, чем принято заниматься в таких случаях. И все было бы о'кэй.

Рой так бы и сделал и, может, был бы прав, а он, Фрэнклин Хартфилд, вечно все делает невпопад...

Вернувшись домой, он на цыпочках пробалансировал через темную прихожую, с грохотом опрокинул стул и, шепотом ругаясь, поднялся к себе по узкой и отчаянно скрипучей деревянной лестнице. На столике у двери его комнаты стоял поднос с прикрытым салфеткой ужином и какой-то почтой. Фрэнк покосился — «Электроникс», «Авиэйшн уик», еще какой-то конверт. Завтра, все завтра! Он вошел в комнату и, не включая света, сел на постель и стал расшнуровывать туфли.

Потом словно что-то толкнуло его: задним числом он сообразил, что конверт, торчавший из-под журнала, был воздушной почты, международный. Кто мог писать ему из-за границы? Он постарался припомнить, сидя в носках на краю постели и глядя в окно. К дому напротив подъехала машина, развернулась поперек улицы, осветив фарами низкую белую решетку ограды и подстриженные кусты бирючины. Кто мог ему написать? Кто-нибудь из институтских приятелей, хотя переписка постепенно прекратилась почти со всеми, а если не они, то...

Он вышел, взял с подноса конверт и, помедлив, перевернул лицевой стороной. Сердце его словно остановилось и тут же начало колотиться медленными, тяжелыми ударами, перехватывая дыхание. Вернувшись в комнату и осторожно прикрыв за собою дверь, он с минуту стоял в темноте, держа в опущенной руке конверт и не зная, что делать.

Можно заранее представить, что она ему написала. Вообще не читать? Или прочитать утром? А что изменится утром — легче это будет, что ли...

Фрэнк протянул руку и нашарил выключатель, потом осторожно вскрыл конверт. Как и следовало ожидать, обращение было совершенно официальным: «Дорогой мистер Хартфилд». Мистер Хартфилд с трудом глотнул ставший в горле комок и подумал, что ему еще ни разу не встречался такой странный почерк, как у мисс Альварадо. Узкие, со стремительным наклоном вправо, буквы то и дело отрываются одна от другой — словно улетают. И строчки всегда неровные, одна загибается книзу, другая лезет вверх...

«...размышлений решила наконец Вам написать, хотя мне было бы легче потерять руку, чем взяться за перо. Просто я поняла, что нужно уметь отвечать за свои поступки. Мой поступок в отношении Вас, мистер Хартфилд, я считаю самым дурным поступком моей жизни, а их вообще было немало. Пожалуй, для Вас лучше, что все так получилось. Чем больше я думаю о себе и о Вас, тем больше убеждаюсь, что менее подходящую жену, чем я, Вам не найти.

И еще одно. Писать об этом очень стыдно, но раз уж я начала, то нужно говорить обо всем до конца, хотя бы для того, чтобы Вы не заблуждались более на мой счет. Я считаю полностью заслуженным и справедливым тот ответ, который Вы сочли нужным дать на мои слова. Пусть Вас никогда не тревожит мысль, что Вы поступили тогда жестоко или несправедливо. Все было как нужно.

Мне хотелось бы надеяться, что теперь, когда между нами нет уже никаких поводов для недоразумений, мы могли бы остаться просто хорошими знакомыми. Если, разумеется, Вы сможете когда-нибудь простить мне то оскорбление, которое я бросила Вам и всему тому, что нас когда-то связывало. Просить Вас об этом я не могу, мне только хотелось бы, чтобы Вы поняли, в каком я тогда была состоянии. Не всегда и не всякий умеет находить в трудный момент самые правильные слова.

Послезавтра я уезжаю домой. О том, что произошло в Аргентине, Вы, наверное, уже знаете из газет. Мой папа оказался в самом центре событий, но все обошлось благополучно. Я получила от него каблограмму, он уже в Б. Айресе. Мест на самолеты сейчас туда не продают, положение считается пока недостаточно устойчивым, поэтому я решила не ждать и плыть пароходом. Тем более что это гораздо дешевле. У одной из моих здешних подруг есть знакомства в «Компани Маритим Бельж», и она достала мне каюту на грузовом пароходе «Губернатор Галопэн». Уходит он послезавтра вечером, из Антверпена.

Дома я буду недели через три, если плавание пройдет без задержек. Буду рада получить от Вас весточку. Не сейчас, разумеется, а когда-нибудь, когда найдется время и желание. Кстати, я теперь согласна с Вами в том отношении, что так жить, как я жила до сих пор, очевидно, нельзя.

Простите и не сердитесь на меня.

Дора Б. Альварадо».

ЧАСТЬ II

Плоды райского дерева

1

О назначении дона Бернардо она узнала совершенно случайно по радио, на другой день после перехода экватора. Отсюда уже можно было ловить южноамериканские станции стоявшим у нее в каюте маленьким «филипсом», и каждое утро Беатрис слушала новости, пытаясь составить себе более или менее определенную картину положения на родине.

Когда имя доктора Альварадо было произнесено обычной скороговоркой диктора, перечислявшего последние дипломатические назначения нового аргентинского кабинета, Беатрис восприняла это как должное, хотя раньше никогда о такой возможности не думала. Что ж, ее отец был в движении достаточно видной фигурой! То, что сама она теперь — дочь чрезвычайного и полномочного посланника, ее не тронуло, показалось только немного смешным. Она представила себя на дипломатическом приеме; ей вспомнилась Одри Хепберн в «Римских каникулах». Говорят, скука на этих приемах самая зеленая...

Она решила никому ничего не говорить, но за завтраком стюард принес ей радиограмму от тетки Мерседес, и сидящая напротив Беатрис жизнерадостная молодая немка тотчас же выразила любопытство — плохие или хорошие новости получила из дому «ф'оляйн Альфа'адо». Пришлось объявить, что новость хорошая, но касается не столько ее самой, сколько ее отца, получившего дипломатический пост в одной из центроамериканских республик. Начались поздравления: капитан велел откупорить шампанское и предложил тост за «очаровательную дочь государственного деятеля, случайно оказавшуюся в нашем скромном обществе». Беатрис раскланивалась с таким видом, будто на ней были не обычные ее теннисные шорты и мужская рубашка с подкатанными выше локтей рукавами, а вечерний туалет. «Итак, папа — государственный деятель, — улыбаясь, подумала она. — Интересно, почему он сам ничего не сообщил. Просто ли занят? Или не очень доволен назначени-

ем? Вообще, представить себе папу в роли дипломата довольно трудно...»

Чем больше она об этом думала, тем больше проникалась уверенностью, что здесь что-то не так. Доктора Альварадо, насколько ей известно, никогда не прельщала государственная служба. Конечно, может быть, теперь, после переворота, он смотрит на это иначе — правительственный аппарат действительно нуждается в оздоровлении, все это так, но... Что ни говори, а само назначение выглядит более чем странно. Послать именно в Сьюдад-Трухильо такого закоренелого либерала старой школы...

Беатрис припоминала все, что ей приходилось слышать о Доминиканской Республике,— от Пико, от его приятелей. Кое-что она и сама читала — Уильяма Крима, например, «Демократия и тирания в Карибском бассейне». Судя по всему, это какой-то дикий средневековый феод, апанаж семейства Трухильо. Кому и зачем могло прийти в голову назначить доктора Альварадо именно туда?

После завтрака она ушла к себе, сославшись на головную боль. Путешествие на «Галопэне» оказалось приятным, обстановка была почти домашней — ничего похожего на строгий этикет, которому была подчинена ее жизнь на итальянском лайнере год назад. Пассажиров здесь не было и дюжины — пара туристов-молодоженов из Федеративной Республики, молчаливый бельгиец в толстых роговых очках — инженер фирмы «Франки», с мрачноватым и не совсем понятным юмором представившийся Беатрис как «специалист по свайным постройкам эпохи атомного палеолита», и семеро молодых голландцев, студентов школы колониальной администрации. Вместе с нею — одиннадцать человек. Отношения между всеми были вполне приятельскими, но, кроме жизнерадостной фрау Хельги, она была на судне единственной представительницей прекрасного пола и побыть в одиночестве ей удавалось не так часто. Стоило Беатрис перенести свой шезлонг под навес на корме, откуда хорошо было следить за убегающей вдаль широкой пенной дорогой кильватера, как рядом немедленно появлялся кто-нибудь из студентов или свободных от вахты офицеров «Галопэна».

Надежным одиночество было только здесь, в каюте. Беатрис лежала на диванчике, заложив руки под затылок, и пальцем ноги выписывала вопросительные знаки на переборке. Слегка качало, ветер похлопывал сдвинутой у открытого окна занавеской, на полу у стены медленно и равномерно, как маятник, ползал по линолеуму вытянутый и закругленный по углам ромб солнечного света. В каюте хорошо пахло свежестью океана, эмалевой краской и еще немного хвойной эссенцией, пролившейся ночью из упавшего с туалетной полочки флакона.

Беатрис протянула руку и включила радио, но потом снова выключила, не дождавшись, пока нагреются лампы. Все равно ничего нового пока не услышишь. Почему нет радиограммы от папы? Она почувствовала вдруг почти уверенность в том, что он не рад своему неожиданному возвышению. Но что в таком случае могло заставить его согласиться — непонятно. Может быть, просто не принято отказываться, когда тебя назначают посланником...

За окном — наверху, на шлюпочной палубе, где обычно загорали и музицировали на банджо и губных гармониках молодые колонизаторы,— послышалось шумное ликование, ритмичный топот босых ног, выкрики. «Тьерра, тьерра!» — заорал кто-то, и Беатрис улыбнулась: таким смешным показалось ей чужое мягкое произношение испанского слова, лишь секундой спустя она восприняла его значение. Встав, она босиком подошла к окну и высунулась наружу, обжигая руки о накаленную солнцем медь. Горизонт был ослепителен и пуст, как вчера, как и в течение всей последней недели после Дакара; как и все последние дни,

с ровным и монотонным рокотом шли к борту широкие пологие волны, блещущие мириадами искр и тяжелые, словно жидкое сине-зеленое стекло. Впереди, насколько она могла увидеть, ничего не было, но на палубе продолжали плясать и выкрикивать: «Земля, земля!»

«Верно,— сообразила она вдруг,— берег должен открываться с другой стороны, мы ведь приближаемся к земле слева...» Она убрала голову — каюта сразу показалась ей полутемной — и позвонила на мостик.

— Мсье Жюно? — спросила она, узнав голос штурманского помощника.— Пожалуйста, извините, я хотела спросить — что там видно? Это уже Бразилия?

— Нет, мадемуазель, до бразильского берега больше двухсот миль,— отозвался тот.— Это Фернандо-де-Норонья, но пока ничего интересного еще не видно. Приходите сюда минут через сорок, я вам дам бинокль...

Беатрис поблагодарила, снова легла и нарисовала на переборке еще один вопросительный знак, побольше.

Она смотрела на белый эмалевый потолок, по которому дрожащей рябью струилось отраженное от воды солнце, слушала ровный, всепроникающий гул судовых машин и с некоторым даже сожалением думала о том, что еще какая-нибудь неделя — и кончится эта приятная жизнь, пусть не особенно интересная, но по крайней мере совершенно свободная от необходимости загадывать вперед до какого-то определенного срока. Конечно, будет приятно вернуться на родину, увидеть отца... Но и плыть вот так — в приличной обстановке, среди приятных людей, в сопровождении хорошей погоды,— она не отказалась бы совершить в таких условиях кругосветное путешествие. Самое приятное это то, что ни о чем не нужно заботиться — ни на завтра, ни на послезавтра... Да, дней через восемь мы дома. Хорошо? Конечно, хорошо. Что ни говори, а так жить, как она прожила последние полгода в Брюсселе, тоже нельзя...

Беатрис посмотрела на часы, встала и сунула ноги в сандалии. В закругленном прямоугольнике окна пылал и плавился утренний океан. Еще какая-нибудь неделя — и ничего этого не будет, будут лишь улицы, асфальт, бензиновый чад. В декабре начнется жара. Уехать в Мар-дель-Плата, что ли? Беатрис вздохнула и вышла из каюты, надев солнцезащитные очки.

Остров медленно проплывал мимо корабля, отвесно поднимая из волн свой зеленый и скалистый массив. Задернутый голубоватой солнечной дымкой, он был огромен и в то же время невесом, как может быть огромным и невесомым только остров посреди океана, подобно миражу возникший вдруг в ослепительном и пустом кольце горизонта.

Пассажиры и часть команды толпились на галерее правого борта, ловя долгожданное зрелище в бинокли и фотоаппараты; фрау Хельга, возбужденно тараторя, накручивала завод кинокамеры. Беатрис остановилась в сторонке. Сердце ее дрогнуло: ей вдруг захотелось, чтобы все поздравляли ее и говорили, что еще никогда никто из них не видел ничего красивее, чем Фернандо-де-Норонья — эти выдвинутые в океан ворота Южной Америки...

Да, здесь начало Америки, ее земли. Кто знает — не мимо этих ли скал прошли четыреста лет назад галеоны первого Альварадо? Смотрите, как красивы эти утесы, как жарко пылает солнце, как свеж пассат и как сини волны, омывающие мою Америку! Она начинается отсюда; еще несколько дней люди на корабле не увидят вокруг ничего, кроме воды, но Америка будет рядом, она все время будет их сопровождать, скрытая за горизонтом по правому борту; она будет долетать к ним на крыльях радиоволн, врываясь в приемники перекличкой каботажных судов и диспетчерскими командами аэродромов, звоном гитар и синко-

пированным шуршанием марак, рекламными песенками и бесконечными цифрами биржевых бюллетеней: арробы и квинталы, крузейрос и песос, кофе и каучук, какао и сахарный тростник...

Они могли бы увидеть ее берега, пролегай их курс на сотню миль западнее; могли бы увидеть кокосовые пальмы и треугольные паруса рыбачьих жангад, летящих через белые полосы прибоя, могли бы увидеть дюны и мангровые заросли. Но кто сможет окинуть взглядом всю Америку, которая здесь только начинается, на тысячи и тысячи километров простирая к югу и западу свои необозримые земли, недостижимые даже для кондоров вершины своих вулканов, бассейны своих неисчерпаемых рек... Да они и не поняли бы ее, этой магии пространства; они, европейцы, выросшие в странах, где от границы до границы можно доехать на трамвае...

Ветер, дувший теперь со стороны острова, ласково трепал и закручивал волосы Беатрис. Придерживая их рукой, она закрыла глаза, всей грудью вдыхая соленую, пахнущую йодом свежесть; наверное, ей это только показалось — до острова было все же довольно далеко,— но на секунду ее ноздрей коснулся аромат цветущей земли, вызвав в спине восторженный озноб. Нет, это ей, конечно, показалось, но она тут же вспомнила запах глициний в своем саду, вспомнила, как пахнет цветами улица Окампо ранним летним утром, когда еще прохладно в тени и не успел просохнуть вымытый на рассвете асфальт, — и ей вдруг нестерпимо, до слез захотелось очутиться в Буэнос-Айресе. Какое счастье, что две трети пути уже за кормой! И как хорошо, что именно в такое утро, солнечная и радужно обрызганная прибоем, предстала перед ними Америка — пусть хотя бы маленькой своей частью, оторванной от материка и заброшенной на двести миль в океан. Ей вспомнилась Европа: в Антверпене лил дождь, погода в Ла-Манше была серой и холодной, дул резкий ветер, и невероятно уныло выглядела панорама английского побережья — холмы в тумане, грязные меловые обрывы, над которыми мрачно, с какой-то нечеловеческой, марсианской размеренностью настороженно вращались решетчатые параболы радарных антенн...

Беатрис еще раз окинула взглядом воздушную громаду острова, уже уплывающую на север, и вернулась к себе. Каюта, солнечная и лакированная, теперь не показалась ей такой уютной — во всяком случае, если бы сейчас Беатрис предложили кругосветное путешествие, она бы, пожалуй, отказалась. Скорее бы прошли эти девять дней, скорее бы оказаться дома!

Эти дни пролетали один за другим все быстрее и быстрее. В Рио сошли молодожены — жизнерадостная фрау Хельга и ее застенчивый, интеллектуального вида супруг. Во время путешествия немка часто раздражала Беатрис своей шумной любознательностью и постоянным стремлением быть американизированной и очень up-to-date[1], но теперь, когда смешная пара исчезла, все почувствовали, что за столом кого-то недостает.

Беатрис было необъяснимо грустно в тот день. Она не захотела сходить на берег; правда, стоянка в Рио была короткой — несколько часов. Вечером, когда «Галопэн» выходил из бухты, она лежала в шезлонге на верхней палубе и безучастно слушала болтовню одного из голландцев. Тот наконец ушел, возможно обидевшись. Горы медленно погружались в воду, словно подтаивая снизу, их очертания становились все более расплывчатыми в синих сумерках вечера; скоро от бразиль-

[1] Современной (*англ.*).

ской столицы осталось лишь небольшое зарево да горстка огней на горизонте. Грозно, по-ночному, шумели волны.

Утром она проснулась от духоты. Странная тишина стояла в каюте, машины не работали, качки не было. Она встала и подошла к окну — за окном, совсем близко, были округлые низкие холмы, пальмы, какие-то строения. Беатрис торопливо оделась и вышла наверх. Судно стояло в устье реки или в какой-то узкой бухте, впереди было много других кораблей, по берегу тянулись пакгаузы, бесконечные линии причалов. За кормой «Галопэна», еще не оторвавшееся от поверхности океана, лежало тяжелое раскаленное солнце. Взъерошенный со сна голландец стоял у поручней, глядя на берег, и чистил апельсин (накануне, в Рио, все покупали баснословно дешевые фрукты).

— Сантос? — спросила Беатрис, кивнув на причалы.

Голландец ответил утвердительно и предложил ей апельсин.

— А неочищенного у вас нет? — спросила она. Тот пожал плечами и достал из кармана неочищенный.

— Не обижайтесь,— улыбнулась Беатрис,— просто я хочу научить вас есть настоящие апельсины. Смотрите, как это делается.

Она прокусила кожицу и стала высасывать сок из отверстия, сжимая апельсин в ладонях. Когда от плода осталась пустая оболочка, похожая на лопнувший мячик, она выбросила ее и мальчишеским жестом вытерла губы.

— Вот и все! Конечно, с вашими европейскими апельсинами так не получится: они у вас слишком грубые. Вы все сходите в Сантосе?

— Да, мы все вместе,— сказал голландец.

Беатрис облокотилась на релинг и выставила за борт ногу, болтая на пальцах незастегнутую сандалию.

— Здесь отвратительно,— сказала она.— Подумайте, солнце только еще встает, и уже такая духота. Я не совсем понимаю, что, собственно, вам делать в Сантосе. Вы ведь говорили, что едете в Парамарибо?

— Да, но у нас есть время, и попутно мы решили — как это говорится? — echar un vistazo[1] на Бразилию. Мы думаем так — автобусом отсюда до Сан-Пауло, потом поездом до Аннаполиса, а там наймем лодку и спустимся по Токантинсу до Белема. Оттуда в Суринам уже придется самолетом.

— А-а,— сказала Беатрис, сдержав зевок. — Это, пожалуй, неплохо придумано. Если по дороге вас не сожрут какие-нибудь хиварос, вам потом будет о чем рассказать...

Лишь к полудню им дали место для швартовки. Голландцы со всеми попрощались, отдудели на губных гармошках что-то заунывно-веселое и принялись бегом таскать к трапу рюкзаки и палатки. Беатрис сошла на берег вместе с ними,— капитан сказал ей, что вряд ли удастся закончить погрузку до темноты.

Город был пылен, душен и угнетающе провинциален. Пыль разъедала глаза и хрустела на зубах, стайки полуголых негритят таращились из дверей облупленных одноэтажных домов, вдоль замощенных булыжником припортовых улиц тянулись бесконечные ряды складов. На маленькой площади в центре города истлевала под солнцем чахлая зелень. Войдя вместе с другими в полутемное кафе, Беатрис почувствовала себя такой потной и усталой, что ей захотелось разреветься.

Двое голландцев отправились узнавать расписание автобусов на Сан-Пауло, остальные пятеро развлекали Беатрис как могли, бодро дудели на гармониках и бренчали на банджо. Они выразили сожаление, что ее достопочтенный отец получил назначение не в Парамарибо,— это дало бы им возможность надеяться на встречу в будущем. Она побла-

[1] Бросить взгляд (*исп.*).

годарила и сказала, что едва ли ее достопочтенный отец принял бы подобное назначение, так как он всегда считал возмутительным сам факт существования Суринама как голландской колонии. Студенты посмеялись и сказали, что вполне понимают подобную точку зрения, но что и она должна понять другую: как-никак Суринам стоил их родине Нью-Йорка — это во-первых, а во-вторых — боксит в наше время является слишком важным сырьем, чтобы отдать его неизвестно кому из этических соображений...

Они вшестером выпили кучу бутылок чего-то прохладительного, а потом прибежали те двое, что-то крикнули, перебивая друг друга, и колонизаторами овладела паника. Один помчался расплачиваться, другой начал поспешно объяснять Беатрис, что автобус уходит через пятнадцать минут, а ехать поездом не хотелось бы,— слишком уж им расхваливали знаменитую автостраду Аншьета,— другие тем временем разобрали поклажу, и через минуту вся компания, грохоча подкованными башмаками, умчалась со своими рюкзаками, палатками и банджо.

Оставшись в одиночестве, Беатрис долго бродила по улицам, стараясь держаться в тени; заводила разговоры с негритятами, разглядывала оставшиеся от недавних президентских выборов плакаты с портретами кандидатов-соперников — Тавора и Кубичека, заходила в тесные лавчонки, где торговали сумочками из кожи жакаре, высушенными морскими коньками и шкатулками, выложенными пламенно-лазурными крыльями тропических бабочек. Время шло медленно. Беатрис побывала в питомнике орхидей, пообедала, съездила в фуникулере на вершину Монте Серрат. Уже вечером, уставшая до полусмерти, она вернулась на судно. Там продолжалась погрузка, гремели лебедки, палуба была скользкой от раздавленных бананов. Вдобавок ко всему омерзительные портовые мухи налетели во внутренние помещения, в каюте было душно, а в ванной вода едва текла, грозя иссякнуть в любой момент. Беатрис кое-как помылась, съела в буфете сандвич и легла спать, приняв люминал.

Последние дни плавания оказались самыми трудными, если не вспоминать о Ламанше и Бискайском заливе. Беатрис хорошо переносила качку, но утомительной была необходимость все время оставаться настороже, рассчитывать каждое свое движение, каждый шаг. Отдыха не было даже ночью, потому что и во сне приходилось то и дело цепляться руками за что попало, чтобы не вылететь из кровати даже через поднятый штормовой бортик. К вечеру второго дня Беатрис сдалась и перестала есть. Она сидела у себя в каюте, крепко держась за подлокотники притянутого к полу креслица, и не открывала глаз, чтобы не видеть, как за наглухо завинченным иллюминатором то взлетает, захлестывая небо, то валится вниз разодранный ветром мутно-зеленый океан.

На четвертый день после ухода из Сантоса погода стихла. На пятый, к вечеру, зеленая вода сменилась желтой; когда стемнело, справа замерцали далекие огни уругвайского берега. Утром Беатрис проснулась с особым, чуточку тревожным чувством возвращения домой; вскочив, она босиком подбежала к окну и тихонько ахнула от радости, прижимая ладони к щекам: панорама гигантского порта медленно плыла и разворачивалась мимо «Галопэна», пронизанный солнцем утренний туман висел над водой, и за ним — насколько доставал взгляд вправо и влево — борта и надстройки кораблей, элеваторы, серебристые туши нефтехранилищ, мачты и ломаная путаница подъемных кранов; сам город не столько виделся, сколько угадывался за всем этим, призрачно розовея сквозь туман уступчатыми призмами небоскребов.

Ее пригласили зайти в салон, где сидели таможенники и чиновники морской префектуры,— очевидно, они поднялись на борт вместе с лоцманом. Беатрис ответила на вопросы, что-то подписала. Покончив с формальностями, она поднялась на мостик. Судно уже вошло в авангорт и теперь медленно, словно дрейфуя, двигалось ко входу в Северную гавань. Стоя на правом крыле мостика, Беатрис жадно оглядывала эту часть порта, хорошо ей знакомую: еще девчонкой она тайком от домашних приезжала сюда с подругами — любоваться прибывающими из Европы пароходами. Проплыла мимо причудливая башенка яхт-клуба, открылся прямоугольник Северной гавани. Справа, у пассажирского причала, высилась белоснежная громада большого лайнера, дальше виднелся серый корпус отеля иммигрантов, верхушка Британской башни, Каванаг. «Buenos Aires, mi tierra querida» [1],— пробормотала Беатрис полунасмешливо-полурастроганно и почувствовала, что у нее защипало в глазах.

Когда наконец буксиры подвели «Галопэн» к назначенному месту в пятой секции третьего дока, она уже издали увидела на пирсе фигуру отца. Как всегда элегантный, с букетом и висящей на локте палкой, дон Бернардо непринужденно прохаживался среди грузчиков и редких зевак. Она сбежала на нижнюю палубу, замахала шарфом. Стюард вынес из ее каюты вещи — чемоданчик и дорожную сумку. «Большой чемодан мадемуазель получит прямо в таможне, сейчас нет смысла ждать, пока вскроют трюмы»,— сказал он, провожая ее к трапу. Он говорил еще что-то, но Беатрис, не слушая, сунула ему приготовленные заранее деньги, пожелала всего хорошего и побежала по наклонному трапу.

Она никогда не думала, что будет так плакать при встрече и что вообще способна плакать на улице, под сочувственными взглядами грузчиков и каких-то итальянцев, сокрушенно жестикулировавших и называвших ее poverella bambina [2]. Только в машине она немного успокоилась и стала улыбаться, по-детски шмыгая носом.

— Я-то надеялась, что ты приедешь за мной в длинном черном «роллс-ройсе»,— сказала она, когда мотор старенького «форда» со скрежетом завелся. — Боюсь, ты не умеешь пользоваться положением. Но серьезно — скажи хоть, поздравлять тебя или не поздравлять?

— Лучше не поздравляй,— сказал дон Бернардо.

Они выехали из порта мимо стеклянного здания морского министерства, обогнули центральный почтамт и стали подниматься по Коррьентес. Проехав три квартала, дон Бернардо остановил машину на углу перед кондитерской «Фрегат».

— Ты успела позавтракать? — спросил он у дочери.

— Что ты, там с утра такое делалось! Ты хочешь зайти сюда? А почему не дома? Вообще-то я уже проголодалась.

— Я тебе не писал, Маргарет сейчас у нас не живет,— сказал дон Бернардо.— Она что-то расхворалась и пока переселилась к своим в Харлингэм... Возможно, вообще вернется в Англию. Так что обстановка у нас сейчас довольно нежилая, я без тебя не хотел никого нанимать. Мерседес обещала приехать, но ты свою тетку знаешь — она тяжела на подъем...

В кондитерской, еще полупустой по случаю раннего часа, дон Бернардо выбрал место у окна и пальцем подозвал официанта. Когда тот ушел, приняв заказ, Беатрис улыбнулась отцу и вздохнула:

— А все-таки хорошо вернуться домой! Честно говоря, я не предполагала, что это будет так приятно...

---

[1] «Буэнос-Айрес, земля моя родная» (*исп.*) — слова из популярного танго.
[2] Бедняжечкой (*итал.*).

«По крайней мере, девочка со мной по-прежнему откровенна»,— усмехнулся про себя дон Бернардо. Вслух он спросил:

— Ты совсем не скучала, дорогая?

— Н-ну... — как тебе сказать. — Беатрис пожала плечами. — По тебе — разумеется. Ну и в какой-то степени по Буэнос-Айресу, вообще по Аргентине. Но это скорее как-то платонически. Во всяком случае, никогда не думала, что мне даже воздух на Коррьентес покажется приятным! Ты знаешь, европейские города пахнут совсем иначе, я даже не пойму, в чем разница. Я очень изменилась?

— Ты повзрослела, Дора. Но я не сказал бы, что тебе к лицу этот костюм. Впрочем, я старомоден. Мне нравится, когда женщина одета по-женски. Ты и на пароходе ходила в брюках?

— Нет, что ты. В этой проклятой жаре? Я там носила шорты, совсем коротенькие. На грузовых пароходах все просто и можно не стесняться. Слушай, ты действительно согласился быть этим самым, полномочным и чрезвычайным?

— Пришлось, к сожалению,—кивнул дон Бернардо, разворачивая салфетку.

— Я бы на твоем месте отказалась! Говорят, это не страна, а черт знает что. Неужели ты там уживешься?

— На дипломатической службе, дорогая, человек не «уживается», а работает. Ну и... наблюдает окружающее,— добавил дон Бернардо.— Не забывай, я прежде всего историк...

— Господи, ужасно тебе надо «наблюдать» этот трухильевский борд... я хочу сказать — балаган,— быстро поправилась Беатрис.— Почитал бы того же Крима, вполне достаточно!

Дон Бернардо, несколько оглушенный странной обмолвкой дочери, решил, что ослышался.

— Крима? — переспросил он рассеянно.— Положим, есть и более серьезные авторы. Но, видишь ли, лучше один раз увидеть, чем десять раз прочитать...

Разговор прервался, когда вернувшийся официант начал накрывать на стол.

— Ну, накидываемся, — сказала Беатрис, принимаясь за еду.— Я действительно умираю от голода. Наверное, я отощала за последние дни — была сильная качка, и я почти ничего не ела. Если не считать таблеток дромамина. Теперь я понимаю, что тебе действительно неудобно было отказаться, бедный папочка! А дон Альберто тоже получил дипломатическое назначение — в Уругвай? Ха-ха, воображаю, как он сходит на берег в Монтевидео с этими своими усищами...

— Ему-то повезло,— улыбнулся дон Бернардо. — Ты не смотрела на карте, куда нужно ехать мне? Это не Монтевидео, моя дорогая. Будь это прилично, они загнали бы меня к белым медведям.

— Слушай, папочка, я, очевидно, просто дура, но я так до сих пор и не понимаю — за каким, собственно, дьяволом им вообще понадобилось тебя куда-то загонять?

Дон Бернардо поморщился, размазывая по булочке замороженное масло.

— Видишь ли... Как выяснилось, мы слишком уж по-разному смотрим на многие вопросы...

— Кто это «мы»?

— Я имею в виду себя и моих единомышленников, с одной стороны, и тех, кто делает нашу сегодняшнюю политику, — с другой. Ближайшее окружение Лонарди, иными словами.

— Что он за тип, кстати? — рассеянно спросила Беатрис, занятая едой и наблюдениями за улицей.— Выглядит симпатично, он даже понравился моим знакомым в Брюсселе...

— Лонарди — честный и недалекий человек,— ответил дон Бернардо.— А окружение его погубит. Он совершенно не понимает, что нельзя всерьез руководить страной с теми людьми, которыми он себя окружил. Точнее — которым он позволил себя окружить. Между прочим, наш милейший Хуан-Карлос сейчас стал субсекретарем по делам печати. Ты, надеюсь, оцениваешь всю прелесть этого назначения?

— Оцениваю всю прелесть,— кивнула Беатрис.— Но он хоть настоящий кабальеро, папа. После всей этой сволочи, которая руководила печатью при Пероне...

— Дора, ты неподражаема,— засмеялся дон Бернардо.— Если бы Хуан-Карлос услышал твой комплимент...

— Нет, но в самом деле! Не сравнишь же ты его с каким-нибудь Апольдом!

— Революция для того и делалась, чтобы новые руководители не были похожи на старых, — возразил дон Бернардо. — Ты сама знаешь, я очень люблю Хуан-Карлоса, но ведь это человек, начисто лишенный даже зачатков политического common sense [1]...

— Ну, в моих глазах это не такой уж недостаток,— засмеялась Беатрис. — Ненавижу людей, наделенных здравым смыслом. Может быть, конечно, в политике они нужны, но тогда тем хуже для политики. Папа, тебе действительно нужно туда ехать?

— То есть? — переспросил дон Бернардо, подняв брови. — Я ведь тебе сказал, почему мне нельзя было отказаться.

— Я это поняла. Но, может быть, твое назначение можно рассматривать как... ну, как своего рода «гонорис кауза», без необходимости что-то делать в действительности?

— Ах вот что! К сожалению, нет, дорогая, от «необходимости что-то делать» мне, пожалуй, не отвертеться.

— И когда ваше превосходительство думает отбыть к месту назначения?

— Я ждал тебя. Теперь это уже вопрос дней.

Беатрис вздохнула и отодвинула свой прибор.

— Жаль. Я могла бы поехать с тобой, но, честно говоря, хочется пожить какое-то время здесь. И потом, Доминиканская Республика...— Она сделала гримаску. — Боюсь, это слишком уж на любителя. Хватит с меня перонизма. Послушай, расскажи — как все это здесь происходило?

— Что именно?

— Ну, революция. Много было стрельбы?

— Здесь — нет. Впрочем... Вон, посмотри напротив, видишь?

Беатрис посмотрела через перекресток и только сейчас заметила не убранные до сих пор развалины небольшого трехэтажного дома рядом с баром «Гельвеция».

— Ого! Я и не заметила. Здесь было антикоммунистическое командование или что-то в этом роде, правда?

— Да, штаб-квартира «Альянсы»,— кивнул дон Бернардо.— Странные эти субъекты продолжали защищать режим, даже когда сам Перон уже сидел на канонерке. Они держали под обстрелом весь этот перекресток, кончилось тем, что сюда подошел танк и начал стрелять из пушки прямо им в окна. Это было, так сказать, единственное сражение в столице. Ну а в Кордове уличные бои продолжались двое суток, там было сложнее...

— Послушай! — воскликнула Беатрис.— Ты о Пико Ретондаро ничего не знаешь? Он ведь, наверное, уже вернулся,— воображаю, какой лихорадочной деятельностью он сейчас занят!

---

[1] Здравый смысл (*англ.*).

— Молодой Ретондаро? Да, он вернулся. Приехал ко мне в Кордову накануне всей этой истории. Ему... очень не повезло. Он был тяжело ранен, в первый же день. Пулеметной очередью, если не ошибаюсь. Ему ампутировали руку... левую.

Дон Бернардо кашлянул и оттянул пальцем твердый крахмальный воротничок.

— И вообще врачи ничего не гарантируют, — продолжал он негромко, глядя в окно мимо головы дочери.— Его перевезли сюда на прошлой неделе... До сих пор он вообще считался нетранспортабельным, как это называют. У него сильно повреждены легкие и еще что-то... словом, в грудной клетке.

Беатрис, выпрямившись, смотрела на него расширенными глазами, с выражением скорее недоумевающим, чем испуганным.

— То есть как это — ампутировали руку? — сказала она, пожав плечами, и спросила: — Что же он теперь — совсем без руки?

— Глупый вопрос, дорогая. Если у человека ампутирована рука, то, значит, ее совсем нет.

— Я понимаю,— прошептала Беатрис, вдруг вся как-то съежившись.— Но представить себе Пико...

Дон Бернардо продолжал смотреть в окно, беззвучно барабаня пальцем по подлокотнику. За соседним столиком кто-то придушенным от сдерживаемого смеха голосом рассказывал политический анекдот, часто упоминая имя контр-адмирала Рохаса.

— Ваша проклятая политика,— сказала Беатрис со злой убежденностью. — Неужели все это стоит того, чтобы калечились и умирали самые лучшие? Ведь всегда получается, что подлецы остаются в стороне, а гибнет всегда лучшая часть молодежи...

Она говорила, тоже глядя куда-то в сторону, но сейчас посмотрела на отца и осеклась.

— Папа, тебе плохо?

— Нет-нет, нисколько,— отозвался дон Бернардо. — То есть я хотел сказать... Я просто устал, Дора. Ты хочешь еще чего-нибудь? Нет? Тогда поехали домой. Я тебя отвезу и сам должен буду отлучиться на несколько часов... Мы договоримся, где встретиться, чтобы пообедать...

Он встал, расплатился с подошедшим официантом и предложил дочери руку. Беатрис почувствовала, что на этот раз за привычной отцовской галантностью скрывается слабость, стремление почувствовать поддержку; ее охватило смешанное чувство жалости и панического страха.

— Если ты устал, я поведу машину,— сказала она.— Правда, папа, мне очень хочется. Я так давно не садилась за руль!

— Я еще не инвалид, чтобы меня возила дочь,— отказался дон Бернардо.

Пожалуй, она напрасно встревожилась. Сидя сейчас рядом с отцом и поглядывая на его руки, уверенно лежащие на руле, Беатрис подумала, что приступ мгновенного и панического страха был необоснованным. Просто ее ошеломили новости, это страшное известие о бедном Пико. Понятно, что и папа не относится к этому спокойно. Он изменился в лице — она даже подумала, что ему плохо,— именно тогда, когда она сказала о жертвах среди лучшей части молодежи. А что, если он — один из руководителей восстания в Кордове — чувствует себя ответственным за все эти жертвы?

Беатрис покосилась на отца, словно разглядывая незнакомое лицо. Он сидел выпрямившись, в немного напряженной позе, как всегда за рулем; удивительное, в сущности, лицо, смешавшее в себе черты ученого и конкистадора. Или она никогда этого не замечала раньше, или

что-то новое появилось в нем за этот последний год. Седые и аккуратно подстриженные усы и бородка — это все очень профессорское, так же как и лоб, которого сейчас не видно под шляпой. А вот ка́к эта шляпа надвинута и ка́к смотрят из-под нее глаза — в этом есть что-то даже пиратское. Бедный папка! Не пиратское, конечно, но что-то такое... Шляпа? Что ж, папа всегда умел быть элегантным, и если уж он надевает шляпу под таким углом, то можно быть уверенной, что именно такой угол и является самым distingué, а взгляд у человека всегда становится немного пиратским, когда он ведет машину по такой улице, как Коррьентес. Нос — другое дело, этот большой и горбатый нос ничем уже не объяснишь, он несомненно достался от первых Альварадо. Dieu merci, она своим носом обязана предкам по материнской линии, скорее всего каким-нибудь японцам. Действительно, откуда бы в семье носатых Альварадо взяться такому ничтожному носу...

Дело, конечно, не в носах. Почему всегда думаешь о ерунде, когда нужно думать о важном? Может быть, у папы это в характере, такое раздвоение. Доктор Джекилл и мистер Хайд. Доктор Альварадо и кондотьер Коллеоне. Впрочем, кондотьер — это совсем другое. Скорее — конкистадор. Один из тех, кто шел в джунгли со шпагой, и не ради наживы. Ради мечты, как Понсе де Леон. Но бросить на карту свою жизнь — это одно. А жизни других? Жизни тех, кто тебе доверился? Что, если он действительно обвиняет себя в том, что произошло с бедным Пико?

Занятая своими мыслями, Беатрис не заметила, как они пересекли Кальяо. На авеню Пуэйрредон дон Бернардо повернул направо.

— Сейчас можем заехать навестить Хуан-Карлоса,— пошутил он.— Он будет рад тебя видеть и несомненно оценит твое последнее mot...

— Какое это? — рассеянно спросила Беатрис.

— Ну, относительно того, что на фоне сволочи Хуан-Карлос выглядит настоящим кабальеро...

— Я так не сказала! Послушай, папа, в том, что случилось с Ретондаро... ну, и вообще в жертвах этого восстания — пойми меня правильно, вопрос может показаться бестактным, но мне самой очень больно, — в этом всем ты не чувствуешь какой-то доли своей вины?

Дон Бернардо молчал, словно не расслышав вопроса. Они миновали площадь с псевдоготическим зданием инженерного факультета и свернули на Лас-Эрас. «Здесь я в первый раз увидела Фрэнка»,— подумала вдруг Беатрис.

— Вину свою я, несомненно, чувствую, Дора,— заговорил отец, когда она уже окончательно решила, что тот обиделся и не скажет ни слова. — Но это не так просто, как тебе кажется. Самое страшное для меня — это не мысль о том, что лично я не шел на полицейские пулеметы вместе со студентами; такая мысль могла бы мучить человека молодого, а в моем возрасте уже отходишь от наивного понимания слова «героизм». Не это страшно... Страшна возможность того, что в конечном счете жертвы окажутся напрасными. Вот это действительно... трудно. Это сомнение и заставляет меня чувствовать вину. Но это сложная проблема. С одной стороны, понимаешь всю преступность экспериментов с человеческими жизнями... Но ведь если бы не было подобных «экспериментов», то не было бы и истории. Точнее, история превратилась бы в перечень сменяющих друг друга тиранов. Ужас в том, что из них ни один никогда не задает себе вопроса: «Имею ли я право посылать людей на смерть?» Тирания никогда не считается с человеческой жизнью, и в этом ее страшное преимущество перед силами свободы...

Беатрис молчала, рассеянно поглядывая по сторонам. Потом она спросила:

— Но ты не считаешь, что эта революция была напрасной?

— Нет, конечно, — ответил дон Бернардо. — Или, если выразиться более точно и более честно, нет еще.

— Бедный папка,— вздохнула Беатрис.— Нет, все-таки ученым нечего лезть в политику.

— Ты, дорогая, поглупела,— сухо сказал дон Бернардо.

Подъехав к дому, он отнес в холл чемодан, отдал Беатрис ключи и сказал, что заедет за ней около пяти, чтобы где-нибудь пообедать. После этого он поцеловал ей руку и уехал.

Оставшись одна, Беатрис прошлась по холлу, прислушиваясь, как гулко отдаются шаги на каменных плитах. Потом села на пыльный деревянный ларь возле лестницы, обхватила руками колени и прищурилась на цветную стеклянную мозаику витража. В детстве она любила сидеть на этом месте в такой же позе, смотреть на окно и воображать себе всякую всячину. Света теперь пробивается совсем мало: за год очень разрослась глициния, а стекла потускнели еще больше; в остальном все осталось по-прежнему. Так же здесь прохладно и тихо, и так же пахнет старым деревом и еще чем-то неопределимым. Беатрис опустила руку, и ее пальцы сами нашли знакомый с детства завиток на резной крышке ларя.

Просто удивительно, как неподвижен и безразличен мир вещей, до какой степени нет им никакого дела до того, что происходит с людьми. Она могла бы выйти замуж за Джерри Бюиссонье, а витражи не стали бы пропускать больше света и не просияли бы тусклые зеркала; она могла бы умереть той осенью или сойти с ума, и все так же стучали бы часы, и не сдвинулся бы с места этот ларь, и не обрушился бы потолок. И полы точно так же скрипели бы под чужими ногами. Говорят, старые дома и старые вещи достойны любви. За что? Разве они не безразличны к своим владельцам?

Ей не хотелось идти наверх. Собственно, «не хотелось» — это даже не совсем то; о своей комнате Беатрис думала приблизительно с таким же чувством, с каким человек, когда-то перенесший пытку, вспоминает обстановку застенка. В ее комнате висел «Отъезд из Вокулёра», и длинный конверт с нью-йоркским почтовым штемпелем лежал в потайном ящичке секретера — эти вещи были как орудия пытки, действующие на расстоянии, и с ними ничего нельзя было сделать — ни забыть, ни уничтожить. Ей не то что не хотелось — ей было страшно идти к себе.

Она прошла мимо двери, не остановившись, и, чтобы куда-то войти, вошла в ванную комнату. Здесь тоже все было как и год назад, как и раньше. В детстве эта комната казалась ей самой приятной: очень просторная, освещенная овальным потолочным окном, вся сияющая белоснежным кафелем и медными трубами. Трубы эти, не запрятанные в стены, а по-старинному пущенные поверх кафельной облицовки, были из красной меди, а все их соединения и краны — из светло-желтой, и все это всегда начищено до золотого сияния. Смешно, но, пожалуй, первые эстетические впечатления своей жизни Беатрис получила именно здесь, любуясь сочетанием белого и золотого. С этим зрительным восприятием для нее навсегда остался связанным и запах ванной комнаты, тоже не меняющийся с годами,— прохладный и удивительно приятный, особенно в жару, запах свежей воды, туалетной соли и мыла «санлайт». Беатрис закрыла глаза, глубоко вдохнула носом воздух и на секунду почувствовала себя девчонкой, только что примчавшейся из лицея.

Она умылась, расчесала волосы, бесцельно переставила флаконы на стеклянной полочке. Поселиться в какой-нибудь другой комнате? Папа скоро уезжает, можно было бы занять его кабинет или еще проще — его спальню. Диос мио, но разве это выход?..

Гостиная была тщательно приготовлена к ее приезду, Беатрис увидела это сразу, едва открыв дверь. Начищенный паркет, протертые стекла — и всюду цветы, большие букеты белых гладиолусов. Таких же, с какими отец приехал в порт. Беатрис, еще стоя на пороге, покраснела и закусила губы, вспомнив, что забыла цветы в машине. Остались на сиденье, а папа, конечно, видел и ничего не сказал. Как нехорошо получилось...

Она подошла к дивану и села на край совсем расстроенная. Нужно же было с самого начала так себя повести! Вопрос об ответственности нужно было задать как-то иначе, или его вообще не нужно было задавать — она же видела, что отцу и без того тяжело. И еще эти цветы!

Беатрис стало тошно от сознания собственной глупости, бестактности и вообще полной непригодности к чему бы то ни было. За что мог полюбить ее Джерри, за что любил Фрэнк? Только по незнанию, очевидно. Всего двадцать дней провели они вместе с Фрэнком — разве узнаешь за такой срок девушку, которая хочет понравиться! А с Джерри было совсем иначе, она не позволила себе с ним ни малейшего кокетства, ничего ровно, и была совершенно искренней. Но и он ничего в ней не увидел, потому что все произошло мгновенно, как поражает стоящих рядом удар молнии, а в таких случаях, наверное, люди вообще уже ничего не видят и ничего не оценивают...

В открытое окно влетела пчела, туго гудя, обошла цветы и повисла над столом, похожая на крохотный геликоптер. Беатрис вспомнилось, как пчела села на руль машины — там, на Луханском шоссе; она вскочила, обожженная болью, и слепо пошла к двери — сама не зная куда, лишь бы уйти от воспоминания. Она их слишком хорошо знала, эти воспоминания. Вот такие, как это, только что мелькнувшее. От них нужно было избавляться немедленно, сразу же, иначе... Иначе вообще нельзя жить!

Воспоминание гнало ее и вело, от него никуда нельзя было деться; гонимая и ведомая им, Беатрис распахнула знакомо скрипнувшую дверь, не помедлив на пороге. Картина висела на своем месте, и ничья рука не прикасалась к испанскому секретеру, где в потайном ящичке лежал отправленный из Нью-Йорка конверт. Еще минуту назад она думала о Джерри почти спокойно, как привыкла думать за все эти месяцы в Европе, но здесь все было иначе, в этой комнате, здесь действительно время остановилось полтора года назад, и, войдя сюда и вдохнув воздух, которым совсем недавно дышал живой Джерри, Беатрис почувствовала, как мгновенно — словно под ударом лавины — рухнуло и рассыпалось прахом призрачное успокоение последних месяцев...

2

В госпиталь Беатрис поехала на следующее утро. Оказалось слишком рано, ей почти час пришлось ждать в белом пустом помещении, где пахло лекарствами и было очень холодно; она сидела в углу на неудобном жестком диванчике, куталась в большой, не по росту халат, тоже пропахший дезинфекцией, и старалась унять дрожь.

Ретондаро лежал в отдельной палате. Беатрис вошла на цыпочках, больше всего боясь не совладать с собою в первый момент. Но этот первый момент промелькнул совсем незаметно: она увидела не что-нибудь страшное, как боялась весь этот час в приемной, а просто лицо Пико на высоко взбитой подушке, и он улыбнулся и сказал ей привычное «Ола, Дорита!» обычным своим голосом. Только голос этот был слабее, чем всегда, а лицо похудело и цвет кожи был желтовато-бледным.

Беатрис тоже сказала что-то обычное. Что-то такое, что всегда говорят при встречах, — «Салюд, рада тебя видеть» и тому подобное. Потом она подошла и села на стул в ногах кровати, все еще боясь, чтобы взгляд сам не соскользнул с бледного лица на подушке и не метнулся по серому одеялу, и чтобы Пико не прочитал этой боязни в ее глазах.

— Да ты смелее, Дорита,—слабо усмехнулся Пико, очевидно все же прочитав.— Как видишь, я живехонек и исправно виляю хвостом. Могло быть хуже. Как доехала? Как ты вообще живешь?

Беатрис пожала плечами:

— Я? Ничего... живу. Но как ты, Пико, — как это могло случиться?..

— Я легко отделался, говорю тебе. Что такое рука — да еще левая — для человека, работающего головой? А случилось это совсем просто. Ты помнишь центр Кордовы? Так вот, мы вели атаку против Хефатуры, на площади. Потом они около двух часов выкидывают белый флаг. Мы все вскакиваем из-за укрытий и бежим к зданию, и на полдороге — на самом открытом месте — нас встречает шквальный огонь. Меня ударило поперек груди, прямо как палкой изо всех сил, но боли я не почувствовал. Мне только одно запомнилось: я, прежде чем упасть, выронил автомат — говорят, в такой момент человек вспоминает всю свою жизнь, родных и так далее, но я ничего этого не вспоминал, а подумал только, что вот досадно—уронил автомат и он теперь наверняка снова заклинится от удара, его у меня в то утро раза три заклинивало...

— Пико, тебе не вредно говорить? — осторожно спросила Беатрис.

— Нет, ничего. Ну, вот, а очнулся я уже, когда все было кончено. Обидно, конечно. Хотелось увидеть все три акта. Да и руки немного жаль. Хотя,— Пико подмигнул,— этим даже можно гордиться. Все-таки, черт возьми, руку я не под трамваем потерял, а возложил, можно сказать, на алтарь свободы. И вообще, у каждого великого человека должно быть свое Лепанто![1]

Пико снова подмигнул, потом прикрыл глаза и облизнул губы. Он попросил воды, Беатрис вскочила, взяла на столике фарфоровую поилку и со страхом поднесла к его губам.

— Спасибо,— сказал тот, откинув голову.— У тебя случайно нет сигареты?

— Ты с ума сошел. Да и нет их у меня. Пико, а что Ван-Ситтеры?

— О! — Пико усмехнулся, не открывая глаз.— Послушала бы ты, что теперь говорит обо мне мой будущий beau-père[2]! Я теперь котируюсь, черт возьми! Оказывается, нужно было лишиться конечности, чтобы тебя признали достойным претендентом на руку сеньориты! Хуже всего то, что мне это все надоело.

— Надеюсь, не Люси тебе надоела?

— Да нет.— Пико задумчиво скривил губы.— Она славная девушка. Но семейка! Я уже не говорю, что это сватовство, продолжающееся четвертый год...

— Дорогой мой, среди наших традиций есть совсем не плохие, какими бы смешными они сегодня ни казались. Я видела, как выходят замуж в Европе, спасибо.

— Патриотизм и ностальгия — благородные чувства, но не нужно им поддаваться сверх меры. Я понимаю, что в Европе тебе все наше казалось милым и хорошим...

— Да вовсе я не такая уж патриотка, как ты думаешь,— сказала Беатрис.

---

[1] В морском сражении у Лепанто (1571 г.) Сервантес потерял руку.

[2] Тесть (*франц.*).

Они помолчали.

— Ты приехала из-за этой революции, или вообще потянуло домой? — спросил Пико.

— Трудно сказать, отчего я приехала,— отозвалась не сразу Беатрис.— «Из-за этой революции»! — Она усмехнулась.

— А в чем дело?

— Нет, ничего. Просто мне показалось, что это звучит немного... Ну, не совсем так, как должен произносить слово «революция» человек, недавно принимавший в ней участие...

— Тебе бы быть следователем,— сказал Пико.— Впрочем, хватит об этом. Тебя политика никогда не интересовала, а меня перестала интересовать на время пребывания в госпитале. Тебе со мной скучно?

— Что ты, Пико...

— Ну, не станешь же говорить, что весело. Ничего, потерпи. Если хочешь увидеть заодно еще одного старого знакомца — скоро должен прийти Хиль Ларральде. Помнишь его?

— Ларральде? Еще бы. Он что, лечит тебя?

— Нет, заходит провéдать. Попутно интересуется и ходом лечения,— подозреваю, что он видит во мне подопытное животное. Хороший парень, этот Хиль.

— Да,— Беатрис кивнула,— он казался симпатичным. Еще не женат?

— Нет, но что-то у него, подозреваю, на уме есть. Осенью он тут суетился, как цыган на родео... Искал квартиру для какой-то богатой вдовушки. Так что почем знать, почем знать!

— Фи,— сказала Беатрис.— Я была о нем лучшего мнения. Обхаживать богатую вдову — в этом есть нечто опереточное, согласись.

— Ну, смотря какая вдова,— подмигнул Пико.— Зачем непременно представлять себе толстую старуху? Протеже Хиля, я слышал, очаровательная молодая женщина — муж у нее был художник, эта братия на ком попало не женится. Они жили за городом, и она после смерти мужа решила перебраться с ребенком сюда, так наш Хиль прямо с ног сбился — все бегал, спрашивал, не знает ли кто чего-нибудь подходящего... Я, правда, не в курсе, чем все это кончилось,— дело было уже в мае, подготовка у нас шла полным ходом, а сразу после шестнадцатого я смылся. В последнюю ночь я, правда, ночевал у Хиля, но насчет вдовушки не спросил. Ты, кстати, знаешь, как тогда все получилось? Ну-у, что ты! Я тебе сейчас расскажу, это почище любого романа...

Он стал рассказывать, но Беатрис потеряла уже всякий интерес к событиям шестнадцатого июня. Очаровательная молодая женщина, муж был художником, жили за городом... Да нет, что за вздор! Мало ли кто из художников живет за городом... И потом, он сказал — с ребенком? У Джерри не было детей. Глупости, конечно. Впрочем, ребенок мог родиться и после...

— Да ты спишь, что ли?— окликнул Пико.

— Что? Нет-нет, я слушаю. Скажи, а у этой... протеже Хиля, большой у нее ребенок?

— У вдовы, что ли? Понятия не имею. Так вот, понимаешь, при такой расстановке сил внутри главного ядра нечего было и рассчитывать на хотя бы отдаленную возможность взаимопонимания. Поэтому они и решили делать все сами, никого не принимая в расчет. Типичная казарменная политика, что ты хочешь. Я одного до сих пор не понимаю — как ни у кого из нас не хватило тогда простого здравого смысла... Ведь предостерегал же нас дон Бернардо... О, кажется, это Хиль!

В коридоре послышались быстрые приближающиеся шаги, потом за спиною Беатрис с шумом распахнулась дверь.

— Салюд, старик,— воскликнул знакомый голос.— До сих пор жив и даже принялся ухаживать, как я вижу. Осторожнее с этим прохвостом, сестричка,— отсутствие руки не помешает ему сделать вам небольшого реб...

Беатрис оглянулась —Ларральде поперхнулся и вытаращил глаза.

— Вы? — спросил он ошеломленно.— Откуда?

— Здравствуйте, дон Хиль.— Беатрис, не вставая, протянула ему руку.— Откуда же я могла взяться, как не из дому. Я вчера вернулась. Как поживаете? Впрочем, я вижу, вы не изменились,— по крайней мере, язык у вас тот же.

— Что ж делать, донья инфанта, люди в моем возрасте уже не меняются... А я, знаете, принял вас за одну из здешних сестер, смотрю — сидит какая-то в халатике. Ну, дайте на вас посмотреть!

Хиль сел на койку и бесцеремонно уставился на Беатрис.

— Да, повзрослели. Каррамба, давно ли я видел вас девчонкой! А сейчас — прямо хоть на обложку. Вы не торопитесь?

Беатрис пожала плечами.

— Тогда посидите немного, выйдем вместе,— сказал Хиль и обернулся к Пико.— Ну, а у тебя все в порядке? Я сейчас говорил там внизу с Торресом, он, в общем, доволен. Через месяц обещал выписать. Так что, старый пес, скоро кутнем!

— Только об этом и мечтаю. Что вообще слышно?

— А я уже и не интересуюсь, осточертел весь этот бордель. Видел одного парня из Мексики — о, кстати, донья инфанта!

— Да?

— Можете радоваться, нашелся наконец ваш друг Эрнесто.

— Эрнесто? — непонимающе переспросила Беатрис.

— Ну да, племянник Бенито Линча — вы его, помнится, однажды приводили мне в пример, как человека с разносторонними интересами...

— Ах, вы имеете в виду Де-ла-Серну. Так где он нашелся? И почему ему вообще нужно было найтись — он что, пропадал?

— А вы не знали? В прошлом году получил свой диплом и смылся, как потом выяснилось — в Гватемалу. Потом о нем опять никто ничего не знал. И вот теперь он, оказывается, в Мехико — работает в Институте кардиологии. Видимо, уехал туда после падения Арбенса. Манрике говорит, связался там с какими-то кубинцами — разносторонние интересы, что вы хотите! И опять же любовь к путешествиям.

— Делать ему нечего.— Беатрис пожала плечами.— Бедная донья Селия, с таким сыном не соскучишься...

Встав, она отошла к окну, оттягивая кулаками карманы халата. Над больничным садом, сталкиваясь и обгоняя друг друга, торопливо бежали разорванные облака. Кто может быть эта знакомая Хиля Ларральде?

Через четверть часа они вышли из подъезда госпиталя. Ветер растрепал волосы Беатрис, подхватил юбку.

— Дьявол,— сказала она с досадой, быстро нагнувшись и прижав подол,— насколько удобнее носить брюки...

Хиль, глядя на нее, молча посмеивался.

— Да, донья инфанта, вы-то изменились порядочно. Кстати, что вам мешает ходить в брюках?

— Не хочется огорчать папу,— сказала Беатрис.— Он скоро уезжает, как-нибудь дотерплю...

— Когда едет дон Бернардо? — поинтересовался Хиль.

— Очевидно, на будущей неделе. Это идиотское назначение... Пико совсем поправится, как вы думаете?

— Как сказать! Новая рука у него, боюсь, не вырастет, это случа-

ется редко, и то больше с ящерицами. А в смысле этого,—Хиль постучал себя по лбу,— он будет даже лучше прежнего. От таких казусов люди обычно умнеют, если они не лишены мыслительных способностей от рождения.

Беатрис шла молча, щурясь от ветра. Наконец она решилась и глянула искоса на своего спутника:

— Зайдем куда-нибудь? Я бы не прочь выпить, если вы не возражаете.

— Пить я могу всегда,— с готовностью отозвался Хиль.— А вы что, уже алкоголичка?

— Европа, знаете ли, всему научит,— в тон ему отозвалась Беатрис.— И потом хочется ощутить себя на родине. Едемте на Коррьентес, в какой-нибудь самый прокуренный бар!

— Нет, спасибо. В прокуренных барах вам придется бывать с другим провожатым, я драться из-за вас не намерен. У меня есть в жизни более интересные планы, чем умереть, защищая честь последней Гонсальво де Альварадо...

— Какой кабальеро,— вздохнула Беатрис.— Где же нам тогда выпить?

— Поедемте к Конгрессу, там недавно открылась симпатичная берлога.

Поехали к Конгрессу. Выйдя из троллейбуса, Беатрис обвела взглядом площадь. Ей вспомнилось вдруг, как года три назад они с Нормой и еще двумя одноклассницами тайком устраивали «кутежи» вот здесь напротив, в кондитерской «Эль Молино».

— Дон Хиль, почему так быстро проходит детство? — спросила она.— Вам жаль, что вы уже взрослый?

— Нет, я этому скорее рад,— отозвался тот.— Я почему-то не сохранил о детстве особенно светлых воспоминаний. Вспоминать студенческие годы куда приятнее, особенно первые. Осторожнее, куда вы лезете под машину! — Он удержал ее, схватив за локоть; выждав, они перебежали на тротуар, и Хиль указал пальцем: — Идите туда — видите, где сплошное стекло? Занимайте столик и ждите. Я подойду через минуту, только позвоню в одно место...

Беатрис вошла в указанную дверь и села за столик. В баре, отделанном в подчеркнуто современном стиле, было прохладно и почти пусто. Бармен, спрятанный за развернутой газетой в углу стойки, выглянул поверх листа и вопросительно глянул на Беатрис — она сделала отрицательный жест, бармен кивнул и снова спрятался. На стойке, рядом с батареей миксеров, стоял телефон. «Странно, что Хиль пошел звонить из автомата»,— подумала Беатрис.

В этот момент он сам вошел в стеклянную дверь, поздоровался с кем-то за столиком, по-приятельски окликнул бармена и на ходу заказал что-то, не посоветовавшись с Беатрис.

— Ну как, нравится здесь? — весело спросил он, усаживаясь за столик.— Здорово отделали, собаки, можно вообразить себя где-нибудь в Кáйо-Уэ́со[1]. Кстати, как поживает ваш янки?

— Жив, насколько я знаю. Дон Хиль, нескромность за нескромность,— кому это вы ходили звонить по телефону? Можно ведь было отсюда, правда? Уходят в таких случаях только, если разговор секретен. У вас завелась возлюбленная?

— Мне было тринадцать лет, донья инфанта, когда у меня завелась возлюбленная. Так что вопрос несколько запоздал, по крайней мере в этой форме. А вообще — почему вы думаете, что у меня не может быть личных секретов?

---

[1] Испанское название курорта Ки-Уэст (Флорида, США).

— О, разумеется, могут быть! Кстати...

Беатрис замолчала— подошедший официант поставил перед ними рюмки и налил их, предварительно показав бутылку. Что значилось на этикетке — Беатрис не увидела, так же как не разобрала она и вкуса темного напитка, когда следом за Хилем подняла рюмку и отпила глоток. Сердце ее страшно колотилось, словно от исхода этого разговора что-то могло измениться в ее жизни.

— Что «кстати», донья инфанта? — спросил Хиль, поставив рюмку.

Беатрис весело рассмеялась.

— О, я вас сейчас поймаю! Знаете, что мне рассказал Ретондаро? Да-да, про вас! Он говорит...— Беатрис понизила голос и продолжала дурашливым тоном школьницы, поддразнивающей подружку: — Он говорит, дон Хиль, что вы влюблены в какую-то вдовушку, во всяком случае принимаете большое участие в ее судьбе...

— Второе более точно,— сказал Хиль.— А этот Ретондаро, оказывается, порядочный сплетник, не мешало бы отпилить ему еще и язык.

— Не нужно, какой же он адвокат без языка. И потом он не виноват: лежать ведь скучно, сами понимаете, а на разговор о вас навела его я, нарочно, мне было интересно узнать о вас побольше. На правах старой знакомой, не правда ли? — Беатрис рассмеялась и снова поднесла к губам рюмку.— Так расскажите же об этой вдовушке, дон Хиль. Она красива?

Ларральде смотрел на нее и улыбался, а глаза его были совсем серьезны; Беатрис встретилась с ними и быстро отвела свои.

— Да, она красива,— помедлив, ответил Хиль.— А еще что вы о ней знаете? Что вам говорил Пико?

— Ничего! — Беатрис беззаботно пожала плечами.— Так, упомянул вскользь... Вы, кажется, искали для нее дом?

— Да, искал.

— Вот как... Оказывается, иногда вы все-таки умеете быть кабальеро... Здоровье вашей знакомой!

Беатрис подняла рюмку до уровня глаз и опустила на стол, не коснувшись ее губами. Хиль усмехнулся и выпил свою до дна.

— Почему же вам пришлось взять на себя эту роль... квартирного агента? — спросила Беатрис тем же ненатурально веселым тоном.— Где эта дама жила до тех пор?

— За городом,— коротко ответил Хиль. Помолчав, он исподлобья глянул на Беатрис и спросил: — Что вы еще хотите о ней знать?

— Боже мой, ничего! — Беатрис опять пожала плечами и, закинув голову, посмотрела на стенную роспись.— Вы спрашивали, нравится ли мне обстановка,— что ж, неплохо. Я не особенно люблю такой стиль, но это хоть не безвкусица, как в других местах. Кое-что в этом есть, надо признаться. Видимо, если эпоха обязательно должна найти свое выражение в архитектуре, то наше время иначе и не выразишь, как всей этой геометрией, кричащими красками и пустыми плоскостями. На вид красиво, но если всмотреться и вдуматься — хочется завыть. Терпеть не могу современной архитектуры и вообще городов. Подумать, что есть люди, которые имеют возможность жить в деревне и все-таки переселяются сюда! Как, например, эта ваша знакомая. Впрочем, может быть, она жила в плохом месте?

— Послушайте, Беатрис,— негромко сказал Хиль.— Ретондаро назвал вам ее имя?

— Нет.

— И вы хотите его узнать, не правда? Но ее имя вам, пожалуй, ничего не скажет. Имя ее покойного мужа более известно, он был художник. Вы его знаете, Беатрис. Если вы ищете подтверждения, то я могу сказать вам: да, это тот самый.

Он долго сидел, не глядя на нее, вертя в пальцах пустую рюмку и время от времени принимаясь насвистывать что-то сквозь зубы и тотчас обрывая. Негромко играло радио, бармен за стойкой шуршал газетой, за стеклянной стеной шумела улица.

— Простите мне этот дурацкий разговор,— тихо сказала Беатрис.— Не нужно было ничего выпытывать, я ведь все равно догадалась... Не знаю даже почему, просто так. Уйдем отсюда.

Она отодвинула на середину стола нетронутую рюмку и поднялась. Хиль расплатился с барменом, они вышли на площадь, молча дошли до угла и молча свернули на Кальяо. На перекрестке, когда их задержало движение, Беатрис сказала, не оборачиваясь к стоящему рядом Хилю:

— Итак, мадам Бюиссонье сообщила вам, что я была знакома с ее покойным супругом... Кстати, как она об этом узнала?

— Она нашла вашу записку,— сказал Хиль.— Помнится, что-то в этом роде, записку или...

— Ах вот что... — Беатрис нахмурилась, прикусив губу. — Да, конечно... Я оставила записку тогда. Скажите, дон Хиль... сеньора отзывалась обо мне плохо? Что она вообще вам говорила — обо мне?

— Да ничего особенного она о вас не говорила,— отозвался Хиль, подумав.— Ну, она знала, что вы были знакомы, и...

— Она меня ревнует? — тихо спросила Беатрис.— Скажите точно, что она обо мне думает. Я вас об этом прошу, сеньор Ларральде, ведь вы врач и должны уметь говорить правду, какой бы тяжелой она ни была. Она считает, что я перед ней виновата?

— Откуда я знаю, что она считает,— буркнул Хиль.— Вы-то сами чувствуете себя виноватой? Нет? Ну и забудьте об этом. Мало ли кто что о вас думает...

— Дайте мне ее адрес, дон Хиль.

— Чей адрес? — глупо спросил он в замешательстве.

— Вы сами знаете — чей! — нетерпеливо бросила Беатрис. Она обернулась к Хилю, и ветер подхватил и рассыпал по лицу ее волосы.— Ну что вы на меня смотрите! Я не собираюсь стрелять или что-нибудь в этом роде. Дайте мне адрес или скажите, где ее можно увидеть. Ну, быстрее!

— Вы можете увидеть ее на работе,— пробормотал Хиль.

Беатрис вскинула брови, придерживая волосы рукой.

— Она работает? Где?

— Какая-то дура предложила ей стать компаньонкой, у них — как это называется — «мэзон де кутюр». Здесь, совсем рядом, на углу Монтевидео и Ареналес. Но я не совсем понимаю, о чем вы собираетесь...

— Да ничего я не собираюсь,— перебила Беатрис.— Может, я туда и не пойду... Послушайте, дон Хиль, но как не повезло этому бедняге Пико!

— Почему же не повезло, по-моему, наоборот. Поумнеет, а рука ему ни к чему, он ведь не хирург. Вы куда, собственно, сейчас направляетесь?

— Я? Скорее всего, домой. А вы?

— А я к себе в Роусон, как раз в обратном направлении. Или вы хотите, чтобы я вас проводил? Давайте тогда, только быстрее.

Беатрис рассмеялась.

— Дон Хиль, вы неподражаемы! Езжайте уж лучше в обратном направлении, никто меня не украдет. Запишите мой телефон, на всякий случай...

Хиль записал телефон, потом они распрощались, и Хиль помчался через улицу вдогонку за подходившим к остановке троллейбусом.

Беатрис дошла до угла Санта-Фе и несколько минут стояла у какой-то витрины, покусывая губы и размышляя — идти или не идти. Она

совершенно не представляла себе, как будет вести себя с этой женщиной и о чем будет с ней говорить, но и отказаться от этого странного свидания, странного и, в сущности, ненужного, было свыше ее сил. «Уж не боюсь ли я ее, в самом деле?» — подумала она высокомерно и вздохнула.

Она медленно прошла квартал вниз по Санта-Фе, потом еще один. Потом вернулась до улицы Монтевидео и решительно свернула вправо, к площади Висенте-Лопес.

В небольшом прохладном салоне ею вдруг овладело паническое желание, чтобы сеньора Бюиссонье оказалась занята, или больна, или чтобы ее вообще не было на свете. И зачем только она сюда пришла! Сидя в кресле, Беатрис окинула снисходительным взглядом обстановку салона, чуть-чуть — в меру — старомодную, как полагается солидной «мэзон», успевшей уже завоевать себе прочную клиентуру и репутацию. Подумать только, что она, Альварадо, боится встречи с какой-то... какой-то маленькой couturiere[1]! Яростная вспышка гордыни ослепила Беатрис, и тут же ее захлестнуло горькой волной отвращения к самой себе. Она вскочила, чтобы выбежать отсюда и никогда больше не возвращаться, никогда не встретиться с этой женщиной, к которой она недостойна обратиться по имени, и как раз в эту секунду именно она, эта женщина, появилась из-за драпировки и удивленно посмотрела на Беатрис.

— Вы торопитесь, сеньорита? — спросила она.— Простите, я слышала звонок, но задержалась. Собственно, сейчас обед, я осталась одна и уже собиралась уходить. Чем. могу служить, сеньорита?

Беатрис медленно опустилась в кресло, не отрывая от нее глаз. Узнала она ее сразу — у нее была хорошая память на лица, и достаточно было взглянуть на эту элегантную молодую даму в черном, чтобы вспомнить портрет в спальне Джерри.

— О, я...— пробормотала она растерянно,— я только хотела спросить... но если у вас перерыв — может быть, я заеду в другой раз...

— Не беспокойтесь, сеньорита, прошу вас,— улыбнулась Элена, садясь напротив.— Вы зашли посоветоваться, не так ли? Надеюсь, мы сможем вам помочь, я вас слушаю.

— Нет, это... совершенный пустяк, просто я вернулась из Европы... после довольно долгого отсутствия, вы понимаете... Мой гардероб чудовищно запущен, я не занималась им совершенно и... может быть, мадам, вы смогли бы посоветовать мне что-либо из летних моделей...

— Я понимаю,— сказала мадам с той же улыбкой. Если ее и удивило странное состояние клиентки, то внешне, по крайней мере, она ничем этого не проявляла.

«Что ж, она достаточно хорошо воспитана»,— подумала Беатрис.

«Какая странная девушка, — подумала Элена. — Не похоже, что она пришла обсуждать туалеты...»

— Я понимаю,— повторила она.— Разумеется, трудно одобрить ваше решение — обновлять гардероб здесь, вернувшись из Европы... Обычно это делают там. Кстати, я должна вас предупредить, сеньорита, что это обойдется очень дорого — вы сами понимаете, сейчас все так вздорожало, после революции... И материалы, и работа, судите сами! Я позволила бы себе посоветовать — если, например, вас интересуют пляжные ансамбли, вы могли бы купить отличные готовые вещи в каком-нибудь хорошем магазине, скажем в «Спортинг Степпер»... Как раз вчера я туда заходила, у них получены последние модели. Это обошлось бы вам значительно дешевле, и, честно говоря, вы бы почти не проиграли ни в смысле качества, ни...

---

[1] Модисткой (*франц.*).

— В самом деле,— сказала посетительница,— «Спортинг Степпер», как это мне самой не пришло в голову. Прошу прощения — у вас не найдется холодной воды?

Элена пошла достать из холодильника сифон. Посетительница казалась ей очень странной. Из высшего общества — если судить по языку и манерам, а одета почти бедно...

— Благодарю,— сказала Беатрис, не поднимаясь, когда вернувшаяся Элена протянула ей высокий запотевший стакан. Отпив немного, она поставила стакан на глянцевую обложку журнала мод и повторила: — Благодарю вас... мадам Бюиссонье.

Элена, сидя напротив нее, за разделявшим их низким столиком, подняла голову и несколько секунд смотрела на Беатрис молча, словно пытаясь понять смысл услышанного.

— Простите, а вы...

— Меня зовут Альварадо,— сказала Беатрис, теперь уже спокойным тоном.— Я вам писала однажды — если вы помните...

— Да,— сказала Элена.— Да, я помню. Зачем вы пришли, сеньорита Альварадо?

— Зачем я пришла? — задумчиво повторила Беатрис.— Не знаю... Мне нужно было вас увидеть — не знаю почему. То есть нет, это неправда. Я знаю, почему мне нужно было вас видеть.

Она взяла стакан, отпила глоток и приложила холодное запотевшее стекло к щеке. Элена, не глядя на нее, машинально перекладывала на столике журналы. «Вог», «Атлантида», «Харперс». Беатрис следила за ее вздрагивающими руками, держа стакан у щеки.

— Сеньора, я любила вашего мужа,— сказала она спокойно и печально.— Вы понимаете, таких вещей не рассказывают... вот так, как я говорю вам. Если я пришла сюда... и говорю это сейчас... то только потому, что мне не за что стыдиться и муж ваш перед вами не виноват. Может быть, вы сомневались в этом, думая обо мне. Я... любила вашего мужа издали. Клянусь спасением души — между нами ничего не было. Наше знакомство началось и кончилось в течение тех суток, что я провела у вас на кинте. И попала я туда совершенно случайно. Просто так случилось...

Беатрис допила воду и поставила стакан. Элена посмотрела на нее, словно собираясь что-то спросить, но, ничего не сказав, снова опустила голову.

— Это странно выглядит со стороны,— продолжала Беатрис медленно, будто размышляя вслух,— но в этот короткий срок я полюбила вашего мужа... Полюбила так, что он стал для меня всем. И если между нами ничего не было, то это...— Она запнулась и договорила почти вызывающим тоном: — Это вовсе не благодаря моей скромности. Извините меня, сеньора. Такие вещи трудно говорить, но и слушать их тяжело, я понимаю. Вы, наверное, думаете, что я начиталась Достоевского, но я не любительница душевного эксгибиционизма. Сейчас я говорю все это вам просто потому, что... Ну, вы понимаете, нужно ведь рассказать об этом хоть кому-то! У меня нет матери, никогда не было настоящих подруг...

Элена опять подняла голову и посмотрела на Беатрис. Глаза их на секунду встретились; Беатрис резким движением встала и посмотрела на часы.

— Небо, как я заболталась,— сказала она совсем другим тоном, рассеянно и снисходительно.— Простите, я нарушила ваш отдых,— надеюсь, вы не истолкуете мой визит как-нибудь превратно. Не скажу, что я рада нашему знакомству,— согласитесь, в данной ситуации это прозвучало бы фальшиво,— но я не жалею, что пришла к вам. Всего доброго, мадам...

Беатрис кивнула несколько высокомерно и пошла к двери своей легкой, чуть колеблющейся походкой. Элена ошеломленно смотрела ей вслед. Прозвенел дверной колокольчик, потом хлопнуло парадное, и стало тихо.

«Так вот она какая, эта Д. Б. Альварадо»,— подумала Элена, подходя к окну, чтобы еще раз увидеть странную особу. Но той уже не было,— очевидно, она сразу же свернула по Ареналес в сторону Кальяо. Элена долго, пытаясь собраться с мыслями, смотрела на раскачиваемые ветром деревья сквера, на редких прохожих, на афишу эстрадного политического обозрения «Да здравствуют гориллы». Так вот она какая, эта Альварадо...

3

В середине ноября доктор Альварадо отбыл в Сьюдад-Трухильо. Начиналась жара, знакомые стали разъезжаться — кто в горы, кто по курортам атлантического побережья. Просматривая однажды газету, в отделе светской хроники, перечислявшей выехавших на открытие сезона в Пунта-дель-Эсте, Беатрис увидела имя Нормы Линдстром де Мендес — «обаятельной супруги молодого промышленника, широко известного в спортивных и деловых кругах нашей столицы». Она с удивлением подумала о своей былой дружбе с Нормой и еще больше удивилась тому, как быстро привыкаешь к одиночеству.

Она, во всяком случае, к нему привыкла. Быть всегда наедине со своими мыслями стало привычным и уже не тяготило. Ей даже казалось теперь немного странным, что раньше она могла испытывать потребность в общении с людьми. Самым, пожалуй, нелепым проявлением этой потребности оказался — как теперь думала Беатрис — ее визит к мадам Бюиссонье. Идя к ней, она не рассчитывала, конечно, встретить сочувствие и понимание, но робкая надежда на это, возможно, подсознательно продиктовала Беатрис ее нелепую исповедь, о которой она не могла теперь вспоминать без мучительного стыда. Она избегала встреч с Ларральде и даже стала реже бывать у Пико, боясь опять встретить там их общего знакомого.

Впервые в жизни она решила заинтересоваться политикой и несколько дней читала газеты, но это скоро наскучило. Статьи в «Ла Насьон» были слишком сухи и академичны, авторы обладали удивительной способностью нагромождать длиннейшие глубокомысленные абзацы, ничего не разъясняя читателю, а большинство остальных газет занималось в основном сведением мелких счетов с перонизмом. Беатрис никогда не питала симпатии к диктатору, но сейчас ей было противно читать на страницах «Лидера» или «Демократии» громовые филиппики против Апольда или Борленги, перечисление сумм, награбленных бежавшими партийными функционерами, или пикантные разоблачения их личной жизни. Хуже всего было то, что — в девяти случаях из десяти — все это писалось теми же перьями, которые еще полгода назад прославляли «великую эру хустисиализма». Когда в одной из газет начал печатать свои записки один иностранный писатель, за несколько дней до переворота прибывший в Аргентину как личный гость президента, Беатрис решила, что с нее хватит.

На эту тему она даже едва не поругалась с Пико, в одно из своих посещений затеяв разговор о печати и журналистах. Пико доказывал, что во всем этом нет ничего страшного: пресса есть пресса, и свое дело она делает, хотя и не в белых перчатках. А что вообще можно делать в белых перчатках? Разве что танцевать.

— При чем тут танцы? — с досадой возразила Беатрис.— Что ты

говоришь глупости! Ты понимаешь, от всего этого просто тошнит— точно так же, как раньше тошнило от портретов и от «Перон выполняет»... В любой из этих газетенок— куда ни заглянешь! — одно и то же, одно и то же: сколько машин было у депутата такого-то, сколько норковых манто нашли в гардеробе у секретарши субсекретаря такого-то, какие взятки брал министр такой-то... Одна сплошная грязь — страшно себе представить, что думают о нас иностранцы!

— Ничего не думают.— Пико зевнул.— Прости, Дорита, я сегодня плохо спал. Ничего они о нас не думают, у них и у самих точно то же самое — и взятки, и норковые манто, и автомобили. Чтобы удивляться этому, нужно быть такой мимозой, как ты.

— Я не удивляюсь, но мне противно. Одни откровения этого писателя чего стоят! Жил гостем на президентской кинте, а теперь почитай, что пишет...

Пико рассмеялся.

— Чего ты хочешь от человека искусства?

— А вся эта мерзость — кто была чьей любовницей и так далее? Для чего это делается, Пико? Ты вообще читаешь газеты?

— Признаться, мало. С одной клешней как-то непривычно, а сестер просить не хочется — терпеть не могу, когда читают с ошибками. Я больше слушаю радио.— Он щелкнул пальцем по шкале небольшого приемника у изголовья и произнес загробным голосом: — «Иносенсио Натале, партбилет номер тринадцать тысяч тринадцать»! Ты эти передачи слушаешь? В общем, глупо, но иной раз смеешься... Конечно, не так легко — острить каждый день по полчаса. Кстати, говорят, это кто-то из известных комиков, чуть ли не Сандрини. Дорита, ты не понимаешь главного: все это делается не случайно и объясняется не только дурным вкусом редакторов и режиссеров. Конечно, дурной вкус тоже, не спорю. Но основная цель всей этой кампании — окончательно дискредитировать свергнутый режим в глазах народа. Понимаешь? К сожалению, приходится прибегать даже к таким штукам, как альковные сплетни. Что же делать!

— Постой, я чего-то не понимаю,— сказала Беатрис.— Когда готовилась революция, вы все время доказывали, что народ с вами, что весь народ ненавидит перонистов и что вы намерены лишь осуществить то, о чем мечтает народ. А теперь получается, что Перона мало было свергнуть, что теперь еще нужно его дискредитировать. Но вы же кричали, что народ его и так ненавидел?

Пико стал говорить о неоднородности настроений рабочих масс, о психологической инерции, о демагогии в официальной пропаганде последних лет. Беатрис слушала его и не могла избавиться от мысли, что здесь что-то не так, что с революцией вообще произошло что-то странное. Вначале — по крайней мере, так восприняла революцию она сама, будучи еще в Европе,— все это было очень чистым и романтичным. Ей нравился Лонарди — «генерал-рыцарь», накануне восстания посвятивший свою шпагу деве Марии и во время уличных боев в Кордове приказавший выстроить почетный караул для встречи пленных курсантов-парашютистов, которые сложили оружие последними. Все это воскрешало в памяти времена мушкетеров, белых плюмажей и рыцарского обращения с врагом. На пароходе, по пути домой, Беатрис думала иногда, что Аргентина будет теперь какой-то совершенно иной, что «элегантная революция» покончила не только с диктатурой, но и со всем тем темным и грязным, что постепенно накапливается в застоявшемся обществе...

Теперь ей было грустно вспоминать тогдашние свои мысли. Никакого «национального обновления», по-видимому, не получилось, и взбаламученная вода быстро успокоилась, не очистившись и не изменив своего состава. Генерал-рыцарь провалился в роли главы государства, ка-

бинет его разогнали, кое-кого из слишком уж явных ультра пришлось посадить в тюрьму; в Белом салоне дворца правительства вторично состоялась церемония вручения власти — на этот раз президентскую присягу приносил дивизионный генерал дон Педро Эухенио Арамбуру, хмурый коренастый баск с широким лицом крестьянина. Многие из революционных вождей, в том числе генералы Уранга и Бенгоа, были уже в открытой оппозиции и угрожали мятежом.

А народ, который еще недавно требовал свободы и писал на стенах антиперонистические лозунги, этот самый народ приходилось теперь всеми правдами и неправдами убеждать в том, что бежавший диктатор и его окружение были людьми невежественными, развратными и нечистыми на руку, что они вели страну к гибели, что единственное спасение Республики было в перевороте...

Когда Пико выписался из госпиталя и вместе с Люси уехал в имение Ван-Ситтеров под Мендосой, Беатрис осталась совсем одна. Шел декабрь, по ночам было очень душно — раскалившийся за день город не успевал остыть; отвыкнув от жары в Европе, Беатрис быстро уставала от любой работы, испытывала гнетущую апатию.

В своей комнате она почти не бывала, лишь изредка заходила взять что-нибудь необходимое. Днем, оставаясь дома, она проводила время в отцовском кабинете, а для сна выбрала огромную заброшенную спальню, где был очень высокий лепной потолок, весь в паутине, и стояло — почему-то на возвышении в две ступеньки — королевских размеров ложе, которому не хватало лишь балдахина. Электрическая проводка в комнате была сорвана,— видимо, понадобилась когда-то для ремонта в другом месте, но Беатрис доставляло удовольствие по ночам отправляться в спальню со свечой, заслоняя ее от сквозняков. Шандал — медный и уродливый, но несомненно старинный — она купила у старьевщика на улице 25 Мая.

Первое время Беатрис много и с любопытством ходила по улицам, разглядывала витрины и афиши, прислушивалась к спорам в книжных лавках. Новизна «свидания с родиной» скоро исчезла, и Буэнос-Айрес опять стал самим собою — огромный скучноватый город, целиком занятый политикой и наживой (если эти два понятия можно отделять одно от другого), город, в котором за два года не изменилось почти ничего, если не считать цен, мод и политических анекдотов. Однажды, в час «пик», Беатрис шла по Диагональ Норте; остановленная на перекрестке, она подняла голову и вдруг, словно впервые в жизни, увидела эту хорошо знакомую улицу — увидела себя на дне удручающе ровного, прочерченного по линейке ущелья глубиной в десять этажей, на его дне, сплошь забитом людьми и автомобилями. И тут же, как виденный в детстве сон, ей вспомнился Брюгге — тусклые зеркала каналов, колокольный звон, тихие северные закаты над брабантской равниной; Беатрис почувствовала, что уже тоскует по только что оставленной Европе.

Раз в неделю она ездила в Харлингэм навещать мисс Пэйдж. Осенью та собиралась возвращаться в Англию, где ее ждало какое-то небольшое наследство. Бывшая гувернантка оставалась для Беатрис загадкой: были ли у нее хоть какие-то чувства к своей воспитаннице или нет,— определить было нельзя. Во всяком случае, когда Беатрис предложила ей снова переселиться на Окампо и прожить до отъезда вместе, англичанка решительно отказалась. После этого разговора Беатрис стало тяжело, хотя когда-то она мечтала освободиться от нудной своей дуэньи. Одиночество смыкалось вокруг нее все глуше и безысходнее.

Она полюбила бесцельные поездки по незнакомым местам. Где-то

между городской чертой и тихими зелеными пригородами резиденциальной зоны располагались странные полузастроенные пространства, обозначенные на плане Большого Буэнос-Айреса неопределенными пунктирными границами и громкими именами — «Вилья Прогресо», «Вилья Диаманте», «Вилья Просперидад», странные поселения, не похожие ни на что из виденного до сих пор Беатрис, неповторимая смесь столицы и захолустья, нищеты и цивилизации...

Чтобы попасть сюда, нужно было ехать по какой-нибудь из больших юго-западных магистралей. Чем дальше от центра, тем ниже становились дома, асфальт уступал место булыжнику, вместо нарядных витрин начинали мелькать по сторонам пыльные окна мастерских, воздух сгущался и тяжелел, насыщаясь гарью, сложными и удушливыми химическими запахами, тошнотворным зловонием боен и кожевенных фабрик. Потом возникало царство заводов: глухие кирпичные заборы высотой в два этажа, трубы, водонапорные башни с гигантскими буквами: «СИАМ», «ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС», «МАННЕСМАН», закопченные крыши цехов и слитный грохот, идущий со всех сторон и проникающий в машину вместе с колючей угольной пылью. И вдруг — где-нибудь за мостом, за радужной от нефти водой и ржавыми бортами отплававших свое пароходов — начинались ухабистые деревенские улочки, с поросшими бурьяном сточными канавами и мостками на перекрестках.

Беатрис и сама не понимала, что могло ей понравиться в таких местах и чем они ее притягивали. Если говорить о «романтике нищеты», то уж бедные кварталы Неаполя или Генуи были куда живописнее, и все равно никакой романтики Беатрис там не нашла; она вообще считала, что романтику эту выдумали снобы. Нет, здесь ее привлекала не фальшивая живописность лохмотьев, которая так нравится туристам, а что-то совершенно другое, чему она и сама не могла подобрать определения.

Ей, выросшей в замкнутом и чопорном мире, где полагалось все свои переживания прятать за ничего не говорящими словами и поступками, а свой образ жизни — за толстыми дверьми и непроницаемыми для любопытства оградами, ей было захватывающе интересно наблюдать на этих улицах совсем другую жизнь, свободную от покровов условности и распахнутую напоказ.

Строили здесь, судя по всему, давно и не слишком торопливо. Рядом с домиками, уже успевшими покоситься, зеленели пустыри с торчащим где-нибудь в углу выцветшим плакатиком: «Продается великолепный участок, рассрочка 20 мес.;»; были дома старые, обшитые гофрированным железом, были новенькие — без единого кустика в патио, еще замусоренном известкой и битым кирпичом, — но всюду дети, грязные, несокрушимо здоровые на вид, и всюду шумные и крикливые женщины.

Сказать, что Беатрис нравилось здесь все, было бы неверно. Немощеные улицы и самодельные изгороди, как правило сооруженные из чего-го ржавого, наводили уныние, голоса женщин и их лексикон были вульгарны до неприличия. Но они имели удивительно жизнерадостный вид, эти растрепанные матроны; переругиваясь через заборы своих участков или судача у дверей лавок, они, казалось, бросали вызов окружающей их грязи и бедности. Во всяком случае, какой бы неприглядной ни была земля, по которой они ходили,— землю эту они чувствовали под собою прочно и уверенно. Как раз этого и не хватало самой Беатрис.

Иногда она им просто завидовала. Ей хотелось обладать хотя бы частичкой того непонятного оптимизма, который помогал этим женщинам жить в условиях, в каких они жили,— в условиях, с точки зрения Беатрис, совершенно непригодных для человеческого существования...

Однажды, тихим и жарким вечером, она медленно вела машину по пыльной улочке нового, почти еще не застроенного поселка где-то между Сан-Хусто и автодромом. Некоторые кварталы здесь были только размечены, на других поднимались из бурьяна выведенные наполовину стены, виднелись штабеля кирпича, прикрытые ржавыми листами железа мешки с цементом и известью. Было очень тихо; слева, за темнеющими вдалеке деревьями, только что село солнце, впереди дымили в чистое вечернее небо трубы какого-то большого завода. На открытой веранде одного из домиков ужинала семья — небритый черноусый мужчина, женщина, трое детей. Сцена почему-то привлекла внимание Беатрис — медленно проезжая мимо, она успела разглядеть лица сидящих за столом, неряшливую прическу женщины, жест мужчины, который в этот момент, устало навалившись на стол, доливал из сифона свой стакан. Ей захотелось вдруг остановить машину и понаблюдать за этими людьми, но она проехала дальше, миновала еще несколько домов, лавку с кучей сваленных у стены пивных ящиков и остановилась у выезда на асфальт. По шоссе, взвихривая пыль и оставляя за собой резкий запах хлева, промчалось несколько громадных грузовиков с прицепами для перевозки скота. Беатрис сидела, положив руки на руль, и не моргая смотрела перед собой.

Ей очень хотелось вернуться к тем людям — посидеть бы с ними, поговорить, может быть, съесть за их столом тарелку «пучéро» и выпить дешевого красного вина пополам с содовой. Она сидела и думала об этом, а потом словно увидела себя со стороны и прочитала со стороны свои мысли, и удивленно выгнула брови, прикусив губу. Что с ней делается, откуда это странное любопытство к чужой жизни?

Высокий парень в комбинезоне поравнялся с машиной, равнодушно глянул в ее сторону и вдруг свистнул, изобразив на лице восторженное изумление.

— Ола, конфетка! — сказал он бесцеремонно, подойдя вплотную.— Что-нибудь не крутится? Или забыли дорогу? Или ждете кого-нибудь? Так я могу заместить, если не придет!

— Вы очень любезны,— ответила Беатрис.— Мне нужно в город, это направо или налево?

Парень сказал, что в город нужно ехать направо, назвал Беатрис светом своих очей и вызвался быть проводником. Получив отказ, он вздохнул, сказал, что сердце его отныне разбито, и отправился своей дорогой, весело насвистывая.

Когда Беатрис вернулась домой, было уже темно. Она оставила машину на улице — лень было отворять ворота. Вымывшись и переодевшись, она долго сидела в пустой прохладной кухне, рассеянно поглядывая по стенам и думая о том, что нужно что-то приготовить себе на ужин, но готовить ничего не хочется, а есть хочется, и что здесь, дома, она оказалась ничуть не менее одинокой, чем была в Европе.

Потом она заставила себя встать; пошарив по полкам, нашла початую банку джема, хлеб, достала из холодильника бутылку молока. В холле она вспомнила, что не посмотрела почту, поставила поднос на перила и пошла к дверям. В ящике было несколько газет и письмо от Фрэнка. Беатрис повертела конверт в руках и сунула в карман.

После отъезда отца она всегда ела наверху — в парадной столовой, обшитой темными дубовыми панелями, за столом, где можно было усадить не менее полусотни гостей. Комната была мрачной даже в лучшие времена, хотя тогда ее, наверное, оживляли голоса людей, а сейчас она просто наводила тоску, но Беатрис нравилось сидеть здесь — во главе длинного-длинного стола, под тусклым светом одинокой лампочки, заблудившейся среди пыльных хрустальных подвесок огромной люстры,— сидеть, словно бросая вызов обступившему ее одиночеству.

Она сидела на неудобном стуле с высокой резной спинкой, медленно тянула из стакана холодное молоко и искоса посматривала на лежащий перед нею конверт. Странно, что Фрэнк все же написал.

Неужели он еще продолжает любить? Беатрис пожала плечами и слизнула с пальца каплю джема. Просто непонятно, откуда такое в человеке, родившемся чуть ли не за Арктическим кругом. В человеке, который занимается строительством каких-то аэропланов! Вот уж не думала, что инженер, да еще янки, может оказаться таким... таким Орландо!

Она разорвала конверт и вытащила письмо — одну страничку, напечатанную не очень густо, через два интервала и с довольно широким полем, почти как на официальных бумагах. Письмо было очень простое и очень товарищеское, начиная с обращения — «Dear Beatrice»[1]. Слишком уж товарищеское для человека, который называл ее «my only beloved»[2]...

Беатрис дочитала и рассеянно принялась за свой прерванный ужин. Есть уже не хотелось. Она отодвинула недопитый стакан и встала, но тут же снова опустилась на место. Какой неудобный стул, думала она, глядя через комнату в открытое окно, за которым — в темноте — сухо и безжизненно шуршали и терлись друг о друга пальмовые листья. Нужно было бы купить сюда новые стулья, где это она видела недавно такие замечательные?.. Из каобы, да, и обтянутые белой кожей. И форма хорошая: сиденье просто изгибается и переходит в спинку. Где же она их могла видеть?.. Где-то на Боэдо или... впрочем, не все ли равно — она ведь не будет их покупать, эти дурацкие стулья белой кожи. Можно представить себе, сколько стоит такая мебель!

Да и если уж говорить правду, то это нелепое колючее сооружение куда больше подходит к стилю дома. Или к стилю ее жизни — это более точно и обобщенно. Посмотреть только, как она сидит здесь, в этом идиотски огромном зале, где пахнет пылью и источенным жучками деревом,— сидит и не знает, что с собою делать, этакий дон Хайме Фебрер[3] в юбке. Абсолютно никому на свете не нужная — кроме, разумеется, папы. Но и с ним отношения никак не наладятся по-настоящему, тоже все время остается какой-то необъяснимый барьер, через который не перешагнешь... А вообще — никому на свете. Даже мисс Пэйдж. И даже Фрэнку, как это ни удивительно. Фрэнку, который называл ее своей маленькой черноглазой девочкой. Конечно, в том, что сейчас он ее уже так не называет, виновата она сама, она и не думает обвинять Фрэнка...

Что ж, это довольно любопытное ощущение — вдруг осознать, что ты никому не нужна. Та женщина, что ужинала со своей семьей в том поселке, — она нужна многим: мужу, детям. Хорошо жить в семье, где у всех есть какие-то свои обязанности и все нуждаются друг в друге. Наверное, поэтому ее и потянуло сегодня к тем людям, — потянуло совершенно бессознательно, как растение тянется к теплу. Трудно себе представить, сколько забот у той женщины; если бы ей вдруг предложили пожить какое-то время так, как живет она, Беатрис Альварадо,— та, наверное, не поверила бы своему счастью. Не нужно ни стирать, ни готовить, ни высчитывать каждый сентаво при покупках. А эта страшная пустота одиночества — ее ведь не познаешь с чужих слов, не пережив самой.

Встав наконец из-за стола, Беатрис сложила на поднос остатки своего ужина и спустилась вниз. В кухне скопилась куча посуды — за

---

[1] Дорогая Беатрис (*англ.*).

[2] Моя единственная любимая (*англ.*).

[3] Герой романа Б. Ибаньеса «Мертвые повелевают».

всю неделю. Она решила заняться хоть этим, чтобы отвлечься, но расстроилась еще больше, опять вспомнив женщину из поселка: наверное, той даже посуду мыть приятно, потому что на этой посуде ели ее домашние. Муж, дети. А она — Беатрис — в двадцать лет уже зеленая холостячка. Для кого ей жить? Для кого мыть посуду? Она решительно закрутила краны, развязала передник, стащила резиновые перчатки и швырнула их в раковину, на горку недомытых тарелок.

— Пропади оно все,— сказала она громко, выходя из кухни, и с наслаждением хлопнула за собой дверью.

Когда позвонил телефон, Беатрис была уже в постели — только что легла, еще не успев погасить свечу. Прислушавшись — телефон звонил в кабинете отца,— она соскочила со своего монументального ложа и сунула ноги в туфли. Сердце ее колотилось, когда она торопливо шла, а потом бежала по коридору; она почему-то сразу решила, что звонит мадам Бюиссонье. Беатрис почувствовала вдруг, что если эта женщина предложит ей дружбу или даже пусть не дружбу, а хотя бы простое знакомство, она будет ей за это так благодарна, как не была благодарна еще никому в жизни. Эта мысль была у нее в голове, когда она торопливо подняла трубку — и услышала мужской, незнакомый и в то же время странно напоминающий кого-то голос:

— Мадемуазель Альварадо?

— Да, это я,— отозвалась Беатрис, и спросила в свою очередь: — С кем имею честь?..

— Вы вряд ли меня помните, мадемуазель,— сказал голос мягко, чуть-чуть грассируя. Беатрис, держа трубку у уха, наморщила лоб, пытаясь вспомнить, где и когда слышала она эту странную, вкрадчивую манеру говорить...

— Простите — вы не сеньор Гейм?— воскликнула она вдруг почти обрадованно, вспомнив наконец иностранца, с которым однажды познакомила ее Норма.

— Честь для меня, мадемуазель,— немедленно отозвался тот,— за столько времени не исчезнуть из вашей памяти...

Он говорил еще что-то, но Беатрис упустила несколько его слов, только сейчас сообразив неуместность своего радостного восклицания: она-то просто обрадовалась тому, что удалось поймать ускользающее воспоминание, но он мог понять это совсем иначе. Ну, конечно, она его отлично помнит — белокурый красавец, рассуждавший о патрициях и плебеях...

— Я узнал о вашем прибытии от общих знакомых,—говорил Гейм,— и решил позвонить, чтобы выразить вам... В общем, мне просто хотелось услышать ваш голос. Надеюсь, вы не сочтете это слишком большой дерзостью... Я только что был приятно удивлен и тронут тем, что вы меня помните, но, может быть, это объясняется лишь тем, что я слишком много думал о вас все эти два года... Если верить в телепатию, то я, несомненно, внушил вам это воспоминание о себе, мадемуазель,— так много я о вас думал и так часто разговаривал с вами мысленно. Не бойтесь, Беатриче,—вы позволите мне называть вас так, в память нашего старого знакомства, не правда ли? — не бойтесь, я не стану досаждать вам декларациями. Я говорю сейчас о чувствах лишь потому, что разговор происходит на расстоянии, и потому, что это первый разговор, а я поклялся себе, что скажу вам это в первый же раз, когда услышу ваш милый голос. А когда мы увидимся, вы можете быть спокойны и не опасаться непрошеных излияний. Завтра вы в этом убедитесь, Беатриче.

— Завтра? — спросила она растерянно.

— Да, с вашего позволения, я хотел бы лично поздравить вас с приездом — в любой час, когда вам будет удобно...

Беатрис окончательно растерялась. С ума он, что ли, сошел, этот Гейм? Как может он говорить ей такие вещи и предупреждать о своем визите... Или он не знает, что она живет одна? А если знает, то что это тогда — сознательная наглость или просто присущее европейцам пренебрежение условностями?

— К сожалению, не могу вас принять,— сказала она сдержанным тоном.— Я живу одна, и вы сами понимаете, что...

Гейм помолчал, потом сказал смущенно:

— Кажется, я допустил бестактность... Простите, мадемуазель, умоляю вас. Дело в том, что я был уверен — мне говорила Норма Мендес,— что с вами живет ваша гувернантка, и я... разумеется, я знал об отъезде вашего отца, но, поверьте, у меня не было и в мыслях пытаться посетить вас наедине — я был уверен, что вы не одна в доме...

— К сожалению, одна,— сказала Беатрис.— Мисс Пэйдж со мной не живет.

— Еще раз — простите,— повторил Гейм.— Но ведь не исключена возможность, что мы встретимся в городе?

— Не исключена,— согласилась Беатрис и хотела добавить, что сегодня очень устала и сейчас у нее слипаются глаза. Вместо этого она назвала одну из кондитерских в центре и сказала, что проще всего будет встретиться там, а насчет дня и часа — пусть он позвонит в начале будущей недели. Гейм принялся благодарить, она пожелала ему доброй ночи и повесила трубку.

Ей действительно очень хотелось спать, но сон прошел, пока она говорила с Геймом. Вернувшись в спальню, она высунулась в окно и подышала подымающейся из сада прохладной сыростью, потом с минуту стояла перед зеркалом со свечой в руке и пыталась решить, на кого из своих прабабок она похожа. Длинная ночная рубашка и рассыпанные по плечам волосы придавали ей старинный вид — он-то и навел на мысль о прабабках. Потом вспомнился Гейм. «Никакого разговора не было,— подумала она беспечно,— все это мне приснилось. Кто же ведет такие разговоры в полночь! Приснилось, конечно». Она сделала перед зеркалом реверанс и погасила свечу. Удивительно, что ей не страшно оставаться одной в таком огромном и старом доме. Одна кровать чего стоит! Беатрис сбросила туфли на верхней ступеньке и шагнула на постель — та была совсем низкая, фута полтора. Она прошлась по ней вдоль и поперек — оказался действительно квадрат, как она и предполагала, квадрат со стороной в пять шагов. На такой постели хочется кувыркаться — таких она размеров. Странный этот Гейм. А все-таки был он или приснился?

Беатрис полежала на животе, пытаясь уснуть, потом вздохнула и перевернулась на спину. За окнами стало светлее, очевидно, всходила луна, и на потолке можно было различить лепку карниза. Она лежала, чинно протянув руки поверх простыни, разглядывала потолок и слушала танцевальную музыку, доносившуюся откуда-то издалека, возможно с Пласа Италиа, где было много всяких танцулек.

Нельзя слушать музыку ночью, когда ты одна и не можешь уснуть и когда все так трудно и плохо в твоей жизни. Нужно было бы заткнуть уши или встать и закрыть окна, но эта музыка уже вошла в тебя как парализующий яд, и ты уже не двинешься и будешь лежать и слушать. Странно, что это вовсе не настоящая музыка, а самое обычное заигранное танго, шаблонно-тоскливое и шаблонно-сентиментальное, но в такую ночь, издали, оно пронизывает, как «Аве Мария». Письмо Фрэнка осталось там на столе, завтра нужно будет положить его в пачку к другим. Или — зачем? Те ведь она все равно сожжет. Зачем они ей — как лишнее напоминание, что ли...

Она просто никому в мире не нужна. Стыдно вспомнить, как она обрадовалась, когда вдруг раздался звонок,— решила, что это звонит вдова Джерри. Эта радость была просто унизительной! Не ей, урожденной Гонсальво де Альварадо, искать дружбы простой модистки, какой бы красивой и прилично воспитанной та ни была...

И стыдно вспомнить разговор с Геймом — зачем она назвала ему кондитерскую и попросила звонить? Ведь она хорошо помнит его, женоподобного красавчика, всерьез считающего себя последним патрицием, а теперь чуть ли не навязываться самой, назначать свидания — только потому, что нашелся человек, которому ты для чего-то нужна...

Только бы удалось уснуть. Только бы не слышать этой музыки, вообще ничего не слышать, и не помнить, и не сознавать... Фрэнк тут ни при чем. Она сама написала ему, чтобы их отношения были именно такими — товарищескими, не больше. А еще раньше она его обманула и оскорбила, так что дело совсем не в Хартфилде. Дело в ней самой, в Доре Беатрис, которой было когда-то семнадцать лет, которая когда-то любила и надеялась на счастье...

4

— Ну а вы, мистер Хартфилд, вы тоже мечтали о счастье, когда были — не скажу «молодым», вы и так достаточно молоды,— а скажем, очень-очень молодым?

Фрэнк смутился — от необычности вопроса, от того, что не следил до этого момента за общим разговором и, наконец, от того, что впервые за весь вечер к нему обратилась сама миссис Флетчер.

— Простите, мэм, я... Да, мечтал, очевидно,— пробормотал он, не зная, куда девать свой стакан, за полминуты до этого добросовестно наполненный до краев, и куда деваться самому под изучающим, чуточку ироническим и в то же время матерински снисходительным взглядом «первой леди». Подумав, он добросовестно добавил:

— Насколько мне помнится. Дело в том, что некоторые вещи вспоминаются потом совсем иначе.

— Да-да, вы правы,— согласилась миссис Флетчер то ли рассеянно, то ли задумчиво.— Я спросила потому, что наша милая Джойя сказала чудовищную вещь — совершенно чудовищную, на мой взгляд...

— Что делать, тетя, мы принадлежим к разным эпохам,— лениво перебила ее сидящая напротив Фрэнка молодая женщина, типичная англичанка по виду, несмотря не причудливое итальянское имя.— Я уверена, мистеру Хартфилду легче меня понять...

Фрэнк смутился еще больше.

— К сожалению, я не расслышал, что вы сказали, — буркнул он отрывисто.

— Ну как же,— миссис Флетчер улыбнулась, перебирая сухими пальцами нитку жемчуга,— Джойя утверждает, что никогда не мечтала о счастье и что мечтать о нем могут только идиоты. Мистер Баттерстон с этим не согласился. А вы? И остальная молодежь?

Она обвела глазами их группку — молодых инженеров, державшихся весь вечер вместе и из осторожности не смешивавшихся с остальными гостями.

— Господи,— так же лениво сказала Джойя,— вы, тетя, становитесь философом. Это, знаете ли, худшее из того, что может случиться с женщиной. Идемте лучше пить, Баттерстон, составьте мне компанию...

Рой отошел вместе с нею, тем временем улизнули и остальные, и Фрэнк остался один на один с «первой леди». Та жестом пригласила его пересесть поближе.

— В сущности, нельзя ее винить,— сказала она, прищурившись вслед племяннице.— У бедняжки трудно сложилась жизнь: вышла замуж рано и неудачно, второй муж оказался не лучше. Плохо, что она впадает в пессимизм,— это большой грех. Надеюсь, вы не пессимист, мистер Хартфилд?

Фрэнк сказал, что пессимистом себя не считает, и миссис Флетчер удовлетворенно кивнула головой:

— Это хорошо. Быть пессимистом — это так не по-христиански. Впрочем, у вас и нет для этого никаких оснований, насколько я понимаю. Скажу по секрету, компания вас ценит, так что в смысле карьеры у вас уже все налажено. А это не часто случается,— не так ли? — чтобы человек в двадцать восемь лет уже имел перед собой обеспеченное будущее... Я слышала, вас посылают в Грейт-Салинас?

— Да, мэм.

— И скоро вы едете?

— Сразу после праздников, очевидно.

— Надолго?

Фрэнк пожал плечами и, поколебавшись секунду, допил свой стакан.

— Недели на две-три. Если справимся.

— Ну что ж, это интересная поездка.— «Первая леди» покивала своей сложной аметистово-седой прической— Вы еще не бывали в пустыне? Я там была, в Салинас и на других базах. Обожаю пустыни! До войны мы с мужем много путешествовали по Северной Африке... Странно, как беспечно жили люди в то время — не правда ли, мистер Хартфилд? Сейчас трудно представить себе жизнь без атомной угрозы и всех этих новомодных ужасов. Впрочем, вы вряд ли хорошо помните предвоенное время, ведь вам в год Пирл-Харбора было всего — позвольте-ка — ну да, четырнадцать лет, это совсем немного... В сущности, вам повезло с возрастом, мистер Хартфилд. Случись вам родиться двумя годами раньше — война не прошла бы мимо вас...

— Она и так не прошла, мэм. Мой отец погиб над Германией в сорок третьем году.

Тонкие пальцы «первой леди» на секунду коснулись его локтя.

— Простите, мой мальчик, с моей стороны было бестактно сказать вам такую вещь,— я ведь слышала о вашем отце,— сказала она мягко. — Он служил в воздушных силах? Конечно, конечно, Делонг мне рассказывал. Боже праведный, сколько эта война стоила Америке... Я иногда спрашиваю себя — так ли уж было необходимо ее вести, по крайней мере в Европе? Можно было локализовать наш конфликт с Японией и не вмешиваться во все эти европейские истории, вы не думаете?

— Нет, мэм.

Увядшее лицо миссис Флетчер, очень тщательно и умело загримированное, на секунду выразило удивление.

— Странно слышать это от человека, потерявшего отца в Европе...

— Именно поэтому, мэм.

— В самом деле? Не знаю... Неужели вы считаете — если, разумеется, вам случалось об этом думать,— что Рузвельт вообще правильно держался во время войны?

— Да, мэм,— упрямо сказал Фрэнк.

— Просто удивительно,— сказала миссис Флетчер и тут же добавила примирительным тоном: — Впрочем, вы еще молоды, мой мальчик...

«При чем тут молодость? — подумал Фрэнк, угрюмо разглядывая обтаявшие льдинки на дне своего стакана.— Глупость это, а не молодость, вот что это такое...»

Он покосился на двух ярко раскрашенных дам, на его счастье подошедших к «первой леди» с каким-то разговором, и убрался в сторону.

Глупость, конечно, и ничего больше. Умный человек всегда сумеет направить разговор в безопасное русло. А дурак будет тащиться на поводу у собеседника, как издыхающий лосось на спиннинге. Подведут куда следует — и хлоп по башке. На черта ему понадобилось спорить с хозяйкой? С хозяйкой не только этого дома, а — если верно то, что о ней говорят,— всей «Консолидэйтед эйркрафт»...

Черт возьми, он — Хартфилд — никогда не был подхалимом или карьеристом. Уж этого-то про него никто не скажет. Но и портить себе жизнь ради удовольствия лишний раз сказать правду он тоже не собирается. Допустим, на этот раз ничего не произошло; допустим, все ограничилось тем, что миссис Флетчер будет теперь считать его человеком со странными взглядами. Но потом он позволит себе сболтнуть что-нибудь подобное в разговоре с еще одной миссис или еще одним мистером — и кончится тем, что при одном упоминании имени «Хартфилд» люди будут переглядываться и пожимать плечами. А это определенно не самый лучший способ делать карьеру...

На этом слове, произнесенном хотя и мысленно, Фрэнк споткнулся. «Вы же, сэр, только что объявили себя некарьеристом, так при чем тут карьера?»

«Смотря что понимать под карьерой,— возразил он сам себе и взял новый стакан с подноса проходившего мимо слуги.— Для меня выражение „сделать карьеру“ означает просто-напросто добиться такого положения, при котором как раз и отпала бы необходимость заботиться о ней, что самое гнусное. Чтобы, например, иметь возможность сказать кому угодно все что угодно и при этом не думать трусливо: а не повредят ли эти слова?.. Только это — свободу — и означает для меня слово „карьера“».

Со стаканом в руке он забрался в угол и устроился там в относительной безопасности, наблюдая за гостями. Ему хотелось выпить как следует, но об этом сегодня и думать нечего. Напиться на рождественском приеме у «первой леди»! Любопытно все же, что она за человек,— нужно будет как-нибудь спросить у Делонга.

В общем, ему было скучно. Хорошеньких девушек, которых всегда много на обыкновенных вечеринках, здесь не было, молодежи вообще было мало, а среди дам Фрэнк высмотрел несколько интересных, но все они были отпугивающе изысканны, и он решил держаться от них подальше. Старшие гости пили мало, из молодых порядком надрался сегодня один Рой; сейчас, наверное, он спаивал где-нибудь разочарованную в жизни племянницу «первой леди».

«Кажется, я нахожусь сегодня в самых что ни на есть сливках общества», — подумал Фрэнк. Ему было хорошо известно, что честью быть принятым в доме на Эпплтриз-Роуд могли похвастать очень немногие; Джо Гиршфельд, например, добивался этого долго и безуспешно, хотя к этому времени уже успел прикарманить всю полицию и половину городского совета. Правда, молодые инженеры, поступающие на службу в «Консолидэйтед», приглашались рано или поздно почти все, но обычно по одному разу; только повторное приглашение означало, что человек прошел первую стадию испытаний и признан достойным кандидатом в «хорошее общество».

Фрэнк был приглашен сегодня в третий раз — возможно, благодаря своей дружбе с Баттерстоном, который неизвестно каким образом сумел сразу понравиться «первой леди». Нельзя сказать, что приглашения эти приводили его в восторг: здесь всегда было скучно, и к тому же пришлось сшить себе смокинг — гнусную вещь, которая стоила уйму денег и невыносимо отдавала пижонством.

Но в то же время Фрэнку не могло не льстить то обстоятельство, что ему без всякого труда удалось попасть в очень замкнутый кружок, куда так безуспешно стремились другие. А сегодняшние слова хозяйки о прочности его служебного положения? Вряд ли она сказала это просто так, любезности ради.

«Удивительно, но мне, похоже, начинает везти,— подумал Фрэнк, сидя в безопасном углу и без охоты потягивая горьковато-сладкий мартини.— Может, это просто потому, что мне, в общем, не особенно везло в жизни до сих пор...»

Он отставил стакан и закурил, обводя взглядом громадную гостиную. Неподалеку от него, в компании двух незнакомых Фрэнку типов, сидел возле радиокомбайна Делонг — с обычным своим брюзгливо-насмешливым выражением он слушал одного из незнакомцев и рассеянно перебирал пластинки; вокруг миссис Флетчер собралось несколько дам; в дальнем углу, под мерцающей бесчисленными электрическими свечами разноцветной елкой, затевал какую-то непонятную игру шеф отдела рекламы Чарльз Рэттиган — пятидесятилетний плейбой с эффектно седеющими висками. Несколько человек собралось у рояля, где кто-то пытался петь негритянский «спиричюэл». «Проклятая синяя скука»,— подумал Фрэнк, подавив зевок, и украдкой посмотрел на часы.

На черта, в сущности, нужны ему эти приглашения и эта трех-четырехчасовая борьба с зевотой и благосклонность кого бы то ни было, в том числе и самой «первой леди». Для карьеры? Он о ней не думает—раз. Он ее уже сделал—два.

Впрочем, стоп. Никакой карьеры он еще не сделал, и несколько похвал еще не означает успеха — в таком виде, в каком понимает успех он. И не нужно забывать, что ничего по-настоящему важного и самостоятельного он еще не выдумал, не изобрел, не построил.

Да, но важное и самостоятельное инженер обычно создает попозже, не так ли? Имеется в виду именно инженер, не какой-нибудь там Томас Альва Эдисон. Райты и Эдисоны появляются не так уж часто, и по ним равняться не стоит.

О чем это он думал?.. Странно — вроде и не пил сегодня, а в голове какой-то туман. Усталость, что ли, сказывается.

Да, о карьере! Глупость это все — «карьера мне не нужна». Если человек заявляет такую вещь, можно сказать наверняка: перед тобой или кретин, или просто лицемер. Всякий нормальный мужчина, достигший определенного возраста, становится карьеристом. И в этом нет ничего плохого.

Конечно, следует различать — какими способами эта карьера делается и что, собственно, является ее целью. Какая, например, цель у него — Фрэнклина Р. Хартфилда? Пожалуй, скорее всего ее можно определить словом «независимость».

Быть независимым — это значит иметь возможность работать в полную меру своих сил. Ведь, говоря по правде, даже здесь, в «Консолидэйтед», где к нему хорошо относятся и нет никаких оснований жаловаться на затирание, — даже здесь он, в сущности, выполняет очень второстепенную работу и редко получает возможность заняться чем-нибудь по-настоящему интересным.

Достичь независимого положения, возможности осуществлять собственные идеи — ради этого можно пойти на многое. Конечно, будь у него деньги...

Фрэнк еще раз оглядел гостиную и вздохнул. Как глупо, что богатство дается не тем, кому оно нужно. По этому поводу их французский переводчик в Тулузе сказал однажды: «Господь бог, как правило, посылает штаны тому, у кого нет зада». До чего же веселый народ, эти французы.

Тот француз, в которого... Впрочем, что о нем вспоминать. О мертвых, кажется, принято говорить только хорошее. Ему-то легко, сукину сыну.

И ведь все случилось бы совсем иначе, будь у него, Фрэнклина Р. Хартфилда, приличное материальное положение три года назад. Будь у него деньги, много денег. Он смог бы жениться уже тогда, и Трикси не пришлось бы сидеть и ждать свадьбы в этом чертовом Байресе, среди всяких художников...

...За два дня до Нового года Фрэнк с небольшой группой инженеров прибыл на испытательную базу Грейт-Салинас. База, когда он ее впервые увидел с воздуха, неприятно поразила его своим унылым видом — ни кустика, ни клочка травы, только расчерченный квадратами бетон и низкие, казарменного типа постройки, а вокруг — насколько хватал взгляд — бурая солончаковая пустыня.

Едва самолет коснулся земли, как перед ним откуда-то сбоку вынесся джип, разрисованный наискось крупными черными и желтыми полосами, с прикрепленным сзади щитом *«Следовать за мной»*. Повинуясь полосатому гиду, пилот отрулил в дальний угол поля, к небольшому строению, где уже ждал наряд военной полиции. Тут же, не отпуская ни на шаг в сторону, у всех прибывших тщательно проверили документы.

Ожидая, пока очередь дойдет до него, Фрэнк оглядывался вокруг, щурясь от резкого ветра. Было холодно, хотя и светило невысокое зимнее солнце; поверх фюзеляжа старой транспортной «Дакоты», на которой прилетели инженеры, гудела на ветру туго натянутая антенна. Низко над бетонным полем, свистя и подвывая турбинами, прошли два Ф-86 и какая-то незнакомая машина с удлиненной носовой частью и коротким дельта-крылом. Все, как по команде, подняли головы.

— Веселое место,— сказал Фрэнк, проводив взглядом самолеты и ожесточенно сплевывая уже хрустящий на зубах песок.

— Зато здесь, в среднем, триста пятьдесят дней лётной погоды в году,— отозвался кто-то.— А насчет веселья, конечно, далеко не Рино. И даже не Уиллоу-Спрингс, будем уж откровенны до конца.

Инженеры посмеялись, потом Бойд спросил у сержанта МР[1], здесь ли еще единственное украшение Грейт-Салинас, ну та, как ее... платинированная блондиночка из аптеки. Сержант поморщился и сообщил, что так точно, платинированное сокровище пока на месте, но украшает ли оно базу — это еще вопрос.

— Ваш голос звучит без особого энтузиазма,— подмигнул весельчак Бойд.— Не повезло?

— Не в том дело,—отозвался сержант, ловко закуривая на ветру.— Тут вряд ли найдешь парня, которому бы не повезло. Хлопот из-за нее много, вот что плохо. Каждый уик-энд в этой проклятой аптеке кто-то дерется. В жизни не видел, чтобы вокруг юбки было столько шума. В ту субботу опять передрались — когда полковнику доложили, старик полез на стенку. Знаете, что он сказал? Пусть меня повесят, говорит, но в один прекрасный день я своими руками выволоку это дрянцо из ее бордельной аптеки и дам такого пинка в зад, что она приземлится по ту сторону пустыни...

Инженеры опять засмеялись.

— Надеюсь, запуск будет произведен при нас,— сказал Бойд.— В принципе я против подобного обращения с дамой, особенно молоденькой, но жаль пропустить захватывающее зрелище.

— Насчет зрелищ можете не беспокоиться,— заметил сержант.—

---

[1] МР (сокр. military police) — военная полиция (*англ.*).

Уж что-что, а это вам гарантировано. Вчера тут грохнулся новый прототип «Локхида». Вот это было зрелище.

Приезжие, еще ничего не слышавшие о катастрофе, переглянулись. Кто-то негромко присвистнул, сержанта стали забрасывать вопросами.

— Вам расскажут,— отмахнулся тот, видимо не расположенный к дальнейшей откровенности. — На этой проклятой базе ни один секрет не сохраняется дольше часа.

— Где он упал?

— Вон там,— сержант указал рукой,— три мили к северу. Кратер получился, как от бомбы, я ездил смотреть...

В тот же вечер, после совещания у шеф-инженера проекта, Фрэнк зашел в бар, надеясь услышать что-нибудь о вчерашней катастрофе. За день, вопреки предсказанию сержанта, они ничего не узнали, — с ними на эту тему не заговаривали, а расспрашивать самим было неудобно: как-никак их фирма конкурировала с «Локхидом».

Бар, голый и неуютный, как большинство помещений в Грейт-Салинас, был почти пуст. В углу играли в карты четверо солдат в защитных комбинезонах и кепи с вывернутыми кверху козырьками — Фрэнк решил, что это какие-нибудь механики. Молчаливая кучка штатских сидела в другом углу, несколько одиноких и таких же неразговорчивых фигур торчали перед стойкой, молодой капитан слушал музыку, стоя перед приемником с отсутствующим выражением глаз и погасшей сигаретой во рту.

Фрэнк приканчивал вторую бутылку пива, когда входная дверь шумно распахнулась и к стойке подошла новая группа штатских в рабочей одежде, испачканной землей и машинным маслом.

— Всё разыскали? — спросил бармен, расставляя по стойке стаканы.

— Куда к черту,— хмуро отозвался один из пришедших.— Там еще несколько дней нужно копаться. Яма вот с этот барак, поди поройся.

Говоривший облокотился о стойку рядом с Фрэнком, устало сгорбившись.

— Вы с места аварии? Как, собственно, это случилось — еще неизвестно? — осторожно спросил Фрэнк.

— Никто ничего не знает,— ответил его собеседник.— Говорят, пикировал с работающими двигателями с высоты шестьдесят тысяч. Вошел в землю почти отвесно. А почему и отчего... — Человек пожал плечами и глубоко затянулся. — Вот разыщем самописцы — в лабораториях разберутся.

— А удастся их разыскать?

— Обычно удается. Бронированные кассеты, что им сделается.

Человек допил пиво и ушел. Фрэнк прикинул кинетическую энергию самолета к моменту падения: начальная скорость порядка тысячи миль, масса, допустим, около пяти тонн, высота падения по вертикали — шестьдесят тысяч футов... Он машинально потянулся к нагрудному карману за логарифмической линейкой, вспомнил, что оставил ее в портфеле, и принялся считать в уме. Да, еще ведь нужно учесть тягу двигателей, если они действительно работали до конца. Округленно говоря, тонн десять — двенадцать... Это если предположить, что на нем были установлены обычные серийные двигатели. Да, неудивительно, что получился «кратер, как от бомбы»...

Снаружи, когда он вышел из бара, было уже совсем темно и очень холодно. Ледяной ветер усилился к ночи и сек лицо песчинками, перехватывая дыхание. Туже замотав шарф и застегнув плащ доверху, Фрэнк прыгнул со скрипучего деревянного крыльца и пошел, с удовольствием слыша стук своих каблуков по бетону и похрустывание вездесу-

щего песка под подошвами. Шел он куда глаза глядят — просто нечего было делать и не хотелось возвращаться в голую комнату, которую пришлось делить с Бойдом и его круглосуточным остроумием.

Будь он суеверным, это совпадение показалось бы ему дурным предзнаменованием: известие о катастрофе с «Локхидом» было первым, что они услышали здесь на базе. Он всегда думал, что верить в предчувствия и прочую чертовщину могут лишь негры и старухи, но сейчас ему было не по себе.

Он шел быстрым деловым шагом, словно спеша на работу, и думал — откуда взялось это «не по себе». Ну хорошо, вчера погиб человек — в авиации такое случается каждый день. Если смотреть на вещи трезво, то это еще не самый плохой вид смерти — мгновенно исчезнуть, аннигилировать, со сверхзвуковой скоростью обрушившись на землю из стратосферы. К тому же, он, несомненно, был без сознания, иначе выбросился бы из падающей машины...

...А что, если просто не успел? Или не сработала система катапультирования и человек, запертый в кабине, считал секунды, отделяющие его от смерти?

Фрэнк остановился — впереди была ярко освещенная ограда из сетки, окрашенная блестящей алюминиевой эмалью. По ту сторону начинались ангары, поодаль, привалившись плечом к стене, стоял в скучающей позе часовой с автоматом под мышкой.

— Эй, мистер! — крикнул он, оживившись при виде Фрэнка. — Сигареты не найдется?

Фрэнк подошел к ограде вплотную, приблизился и солдат. Взяв из пачки три сигареты, он тут же закурил одну, две спрятал про запас и принялся объяснять, что забыл свои в казарме, идти за ними далеко — меньше чем за четверть часа не обернешься, а начальство тут вшивое. Сержант способен испортить человеку жизнь из-за каждого пустяка — например, если отлучишься с поста на какие-нибудь дерьмовые пятнадцать минут...

— Да вы возьмите все,— сказал Фрэнк.— Берите, у меня в комнате запас.

Солдат не заставил себя упрашивать, сунул пачку в карман и в знак благодарности приложил палец к каске.

— Приезжий? — спросил он, оглядев Фрэнка.— Тоже из Бэрбенка?

— Нет, я из другой фирмы.

— А-а. Тут сейчас почти все приезжие — парни с «Локхида». Бегают как наскипидаренные.

— Еще бы,— сказал Фрэнк.

— Так они, сукины дети, сами и виноваты! Знали же, что на этой машине нельзя летать.

— Ерунда, мало ли что можно теперь выдумать.

— А я вам говорю, что знали,— возразил часовой.— На этой ихней машине летал наш испытатель, от воздушных сил. Он после отказался, сказал, что до какой-то скорости можно, а после что-то там такое нарушается — устойчивость или управление, я уж не знаю...

— В том-то и дело, что не знаете,— сказал Фрэнк.— Здесь проводится последний этап всего цикла испытаний. Прототип испытывается сотни раз на заводе, так что трудно предположить, чтобы какой-то конструктивный дефект не был замечен раньше.

— Ну, не знаю,— повторил солдат.— Вам, конечно, виднее. А только вся эта история с новым «Локхидом» воняла с самого начала. Спросите у любого! Капитан Хэйрер отказался летать— это было неделю назад,— и тогда они вызвали своего парня и договорились. Говорят, заплатили ему кучу денег. Семье-то, конечно, повезло...

Фрэнк еще побродил по территории базы и вернулся к бараку для приезжих — длинному низкому сооружению из гофрированного алюминия, на крыше которого местные шутники воздвигли громадную неоновую вывеску «Статлер-Шератон». Бойд был уже в постели, с несколькими бутылками пива на ночном столике и свежим номером «Эсквайра» в руках. Когда вошел Фрэнк, он отложил журнал и потянулся, закинув руки за голову.

— Были в аптеке? — спросил он, кончив зевать.— Если хотите пива — пейте, я запасся.

— Спасибо, я уже пил,— сказал Фрэнк.— Только не в аптеке, а в баре. Почему вы спросили про аптеку?

— Да там же эта, как ее...— Бойд опять зевнул, провыв при этом нечто нечленораздельное.— Молодые люди, вроде вас, знакомство с базой обычно начинают оттуда.

Фрэнк сел на свою койку, застланную зеленым армейским одеялом, и задумчиво посмотрел на Бойда.

— Что она, в самом деле привлекательна? — спросил он.

Бойд пожал плечами:

— Кому что нравится. Впрочем, этот тип нравится почти всем — сплошной секс.

Фрэнк подумал.

— Нет, мне она, пожалуй, не понравится,— решил он и стал расшнуровывать туфли.— Черт, сколько песку...

— Пустыня, чего вы хотите Я был здесь летом — жил, кстати, в соседней комнате,— и проклятый кондиционер ломался каждый второй день. Мы буквально жарились. А уж песок... Мне сегодня жаловался один двигателист — говорит, невозможно держать на земле самолет с запущенными турбинами. Столько песка, что буквально съедает лопатки первых ступеней компрессора... А вообще, с нами поступили гнусно: хоть бы Новый год дали встретить дома.

— Послушайте, Бойд,— сказал Фрэнк.— Вы узнали что-нибудь про эту историю с «Локхидом»?

Бойд посмотрел на него непонимающе.

— С «Локхидом»? А-а, вы про вчерашнюю катастрофу. Да нет, ничего определенного. Пока не будут найдены и расшифрованы ленты самописцев, ничего нельзя сказать. А что?

— Я просто спросил,— сказал Фрэнк. Помолчав, он добавил: — Я тут сейчас разговаривал с одним солдатом... так он утверждает, что самолет считался опасным и что военный испытатель отказался продолжать полеты.

— Опасным... — Бойд скептически хмыкнул. — А который из них не опасен? Все они, старина, опасны... пока не запущены в серию. Да и после этого тоже, если хотите знать.

— Я понимаю,— сказал Фрэнк.— Есть, очевидно, какой-то неизбежный «коэффициент опасности» для каждого испытываемого прототипа, но из-за этого пилот не откажется летать. Раз он отказывается, то коэффициент этот, очевидно, превышает обычную норму... По его мнению, разумеется. А мне кажется, мнению Хэйрера можно доверять.

— А, так это он его испытывал? Не знал. Ну что ж... капитан Хэйрер вообще осторожный человек. С ним вечно случались всякие нелепые истории, и всякий раз с благополучным концом за полдюйма от гибели. Еще когда он работал в Эдуордс-центре. Так что неудивительно, если авантюры ему поднадоели.

— Значит, полет «Локхида» все-таки был авантюрой? — упрямо спросил Фрэнк.

— Я же говорю — всякий полет это авантюра, даже на пассажирском лайнере. И потом запомните одну вещь, Фрэнки. Когда новый

прототип попадает в руки военных испытателей, дело никогда не обходится без конфликтов. А едва ли не главная причина — это то, что военный испытатель, по сравнению с гражданским, получает за ту же работу в десять раз меньше. Соответственно уменьшается и готовность рисковать жизнью, вы же сами понимаете.

Наступило молчание. Ветер из пустыни сотрясал стекла, откуда-то из-под окна дуло холодом. Фрэнк, нахмурившись, смотрел на висящий напротив яркий календарь с изображением мышонка Мики и утенка Доналда. Какого черта они здесь делают, эти двое, на испытательной базе Грейт-Салинас?

— Вы как хотите,— сказал он упрямо,— а я все же уверен, что эта проклятая «Локхид эйркрафт корпорэйшн» заведомо угробила своего пилота.

— Господи твоя воля,— отозвался Бойд, с изумлением глядя на Фрэнка.— Да вам-то что?

5

Скандал разразился в самый неподходящий момент — за новогодним столом. Это удивило всех, и в том числе самого виновника: за месяц, проведенный в чудодейственном климате Мендосы, Пико окреп, и с нервами у него было в порядке. Правда, многие из гостей, съехавшихся к праздникам на эстансию Ван-Ситтеров, раздражали его своим неуязвимо самодовольным видом, но к этой людской разновидности, тоже преобладавшей в семье Ретондаро и среди их знакомых, Пико привык с детства, как привыкают к чему-то не особенно приятному, но неизбежному.

Хуже было, когда гости брались рассуждать о политике. Пико в таких случаях обычно не поддерживал разговора и уходил при первой возможности; в этот вечер он не сделал этого только потому, что неудобно было встать из-за праздничного стола.

На правах жениха он сидел рядом с молодой хозяйкой, сеньоритой Лусией Моникой Ван-Ситтер. Как обычно бывает в обществе, собравшемся отпраздновать встречу Нового года, разговор вертелся вокруг событий старого; одна из подруг Лусии, ее однокурсница по факультету философии и литературы, со смехом рассказывала, как в сентябре студентки чуть не спалили на радостях свою альма матер, когда в актовом зале начали жечь сваленные грудой портреты и книги «перонистической эры».

Кто-то тут же предложил витиеватый тост за этот благородный патриотический порыв, великолепно выразивший преемственность свободолюбивых традиций аргентинского студенчества. Раздались аплодисменты, зазвенели бокалы, однако Лусиа оставила свой нетронутым и громко заявила, что за этим столом есть представители студенчества, выражавшего свое свободолюбие иным способом. Еще более громкие аплодисменты заглушили ее слова, все обернулись к Пико, кто-то даже закричал нетрезвым голосом: «Вива Ретондаро!»

— Прошу не относить слов сеньориты ко мне,— со внезапно вспыхнувшей злостью сказал Пико.— Сейчас уместнее подумать не о сидящих за этим столом, а о тех, кто остался там... на улицах Кордовы.

— Ты злишься? — тихо спросила Лусиа, когда за столом снова заговорили после короткого молчания, наступившего за словами Пико.— В чем дело?

— В том, что мне это уже надоедает,— отозвался он.— Нечего делать из меня застольный аттракцион!

Она обиженно отвернулась и спустя минуту заговорила с соседом

слева. Пико сидел, не подымая глаз от тарелки, вертя в пальцах тяжелую старинную вилку; ему вдруг захотелось со всего размаха воткнуть ее в стол.

Может быть, он напрасно нагрубил, — она ведь сказала это от чистого сердца, но его уже давно начало понемногу выводить из себя постоянное стремление старших Ван-Ситтеров так или иначе выставлять на всеобщее обозрение своего будущего зятя. Еще бы — каррамба! — жертва и герой освободительной революции!

Настроение было испорчено. Он заметил вдруг, как некрасивы лица старших, как глупо или неестественно выглядят его сверстники и сверстницы. Молодой Дра́го, со своими бараньими глазами и напомаженной прической, так и просится на рекламу брильянтина, рыжевато-бледный Кардо́со разыгрывает утомленного светом европейского аристократа, а о девчонках и говорить нечего. Все фальшиво, все заимствовано с экрана, все десятки раз прорепетировано и отработано перед зеркалом. Слава Иисусу, Люси хоть не такая!

Он покосился на свою невесту, продолжавшую оживленно — может быть, слишком оживленно — болтать с соседом, и машинально перевел взгляд на сидящего наискось через стол сеньора Ван-Ситтера. Вот уж кто вульгарен, подумал он с содроганием. Наверное, именно таким должен представляться буржуа правоверному коммунисту: небольшого роста округлый человечек, умеренно хорошо одетый (ни в коем случае не изысканно!), с умеренно умным и умеренно благонамеренным выражением лица (ни в коем случае не отмеченного интеллектом!),— словом, воплощенный принцип «золотой серединки».

Пико снял очки, положил их ребром на стол и протер стекла, придерживая дужку запястьем. Потом он снова взглянул на Ван-Ситтера — с враждебностью, удивившей его самого. Ведь, в сущности, ничего плохого будущий тесть ему не сделал... А что человеку довелось родиться посредственностью — так ведь не злиться же на него за это!

Дело не в нем, конечно. Не в самом Ван-Ситтере. Дело во всей этой банде, собравшейся тут за столом, во всех этих упитанных, умеренных, добропорядочных буржуа. Почему раньше он не видел всего их убожества? Ведь и в его доме всегда бывали эти же люди — коммерсанты, промышленники среднего калибра. Как и большинство студенческой молодежи, вышедшей из этой среды, Пико привык относиться к своим «старикам» свысока, снисходительно, но, в общем, терпимо. А теперь он смотрел на все какими-то другими глазами.

Возможно, это началось раньше — в эмиграции или даже в период подготовки июньского восстания, но окончательно созрело и оформилось там, в Кордове. Трудно даже сказать, что это было: то ли какое-то огромное разочарование, то ли просто люди и события стали видеться ему под совершенно новым углом. Пико хорошо запомнил ту ночь, когда он очнулся в каком-то полутемном помещении и сразу понял, что умирает, потому что тела у него уже не было, а оставалась только боль, исступленно рвущая остатки того, что еще несколько часов назад было его телом. Временами его сознание снова мутилось, потом возвращалось, и тогда он думал, думал — и спокойно удивлялся тому, как ясно и отчетливо думается перед смертью...

В помещении было еще несколько человек, судя по тяжелому дыханию и стонам, которые он слышал. Была там еще и какая-то девушка; в полумраке и без очков он не увидел ее лица, но смог различить полосатую блузку с повязкой Красного Креста на рукаве. Шел дождь, и где-то стреляли — редкими одиночными выстрелами.

Уже тогда он знал, что город в руках повстанцев. Возможно, девушка в полосатой блузке сказала ему об этом. Правда, тогда еще не было известно, как идут дела в федеральной столице и в Пуэрто-Бель-

грано,—но Кордова была освобождена, и в ту ночь, слушая шум дождя и далекие выстрелы, Пико уже думал о революции как о совершившемся факте.

То, что мысль о падении диктатуры, не вызывала в нем радости, было понятно. Он знал, что умирает, а в таком положении радоваться довольно трудно. Любопытно другое: у него могло быть хотя бы чувство удовлетворения,— ведь он и те другие, вместе с ним бежавшие под огнем через залитую солнцем площадь к стенам Хефатуры,— все они погибли не напрасно. Но и сознание победы не утешало его в ту ночь.

А сейчас он сидел живой и здоровый — почти здоровый — за сверкающим праздничным столом, рядом с любимой девушкой. Его ждала женитьба, удобная и обеспеченная жизнь, всеобщее уважение; надежная политическая карьера была обеспечена ему, начавшему ее так блестяще. И все это предлагали ему люди, сидящие вокруг него за этим столом.

Люди, которые двенадцать лет были самыми ярыми противниками диктатуры. Не потому, что Перон задушил печать, разогнал оппозиционные партии, осквернил школы и университеты,— эти люди ненавидели диктатора за то, что состряпанная им доктрина провозглашала «единение труда и капитала» и требовала уступок с каждой стороны, ненавидели за поборы на партию и фонд общественной помощи, ненавидели за платные отпуска рабочим и необходимость считаться с профсоюзами...

Теперь эти люди, пересидевшие революцию в своих особняках, готовились пожинать ее плоды. Чужая кровь обернулась для них прибылью. Он не говорил себе этих слов в ту ночь, в Кордове, но заключенная в них мысль все время копошилась в его мозгу. Он вспоминал тогда последние дни перед восстанием, разговоры с Рамоном, с шофером, привезшим их из Курусу-Куатиа, с доктором Альварадо. Во имя чего и для кого осуществилась эта революция?

А что, если их всех провели? Вот эти — сидящие сейчас вокруг него, осторожные, расчетливые, никогда не теряющие голову, умеющие все использовать в своих целях, все самые потайные пружины политического механизма — низкую корысть и высокие идеалы, бесшабашный авантюризм и обдуманное самопожертвование...

Вокруг захлопали, закричали: «Просим, просим!» Он поднял голову и увидел, что все смотрят на него.

— Сынок, выкладывай тост! — крикнул Ван-Ситтер.— Только не простой, а политический!

— Погоди, папа, я объясню,— сказала Лусиа и повернулась к Пико с выражением ласковой укоризны.— Ты совсем замечтался, дорогой. Тут до тебя дошла очередь произнести тост, и все хотят, чтобы ты не ограничился обычными новогодними авгуриями, а сказал — что, по-твоему, принесет нам будущее в смысле политическом и чего ты сам пожелал бы стране, в этом же плане... — Она засмеялась и добавила: — Это целая программа, я понимаю, но ты ведь у нас политик-профессионал!

Пико подумал и встал.

— Дамы и господа,— сказал он церемонно, глядя прямо перед собой, в распахнутые на другом конце столовой стеклянные двери в сад.— Я польщен вашим вниманием, но боюсь, что не смогу ответить на него так, как хотелось бы... вам.

Он сделал короткую паузу, чувствуя на себе сосредоточенное внимание присутствующих, и продолжал, немного повысив голос:

— Если сеньорита Лусиа правильно сформулировала ваше общее желание — вы ждете от меня прогнозов. От этого я воздержусь. Я не настолько самоуверен, чтобы пытаться что-то предсказывать... в столь сложной обстановке. Если же вас интересуют и мои пожелания, иными

словами — если вы хотите познакомиться с моей личной, очень личной точкой зрения на происходящее в стране, то я боюсь, повторяю, что наши мнения по этому вопросу совпасть не могут.

— Не понимаю почему,— громко сказал кто-то, когда Пико снова сделал паузу.— Мы здесь люди одного круга...

— Почему — вы сейчас увидите,— отозвался Пико, не взглянув на говорившего.— Я сужу по тем высказываниям, которые мне пришлось слышать все эти последние дни, и в частности сегодня за этим столом. Будем откровенны: слушая вас, я не всегда понимал, какой год от рождества христова мы сегодня встречаем — тысяча девятьсот пятьдесят шестой или... тысяча девятьсот сорок четвертый. Слушая вас, я спрашивал себя: да прошли ли действительно на наших глазах эти двенадцать позорных и поучительных лет диктатуры?

— Ваше красноречие делает вам честь, сеньор Ретондаро,— сказал тот же голос; теперь Пико посмотрел на говорившего и узнал его.—Но, может быть, вы поясните свою мысль?

— Охотно, сеньор Жильярди,— кивнул Пико.— Если не ошибаюсь, именно вы говорили вчера за обедом о том, что надеетесь теперь не видеть больше профсоюзных делегатов на своем предприятии?

— Да, я, пожалуй, говорил что-то в этом роде,— подумав, отозвался тот.—Во всяком случае, мог сказать. И поверьте, сеньор Ретондаро, эту надежду разделяет всякий, кто имел несчастье сталкиваться с политикой диктатуры в рабочем вопросе.

— С ней прежде всего сталкивались сами рабочие,— сказал Пико. Он все еще продолжал стоять и почувствовал вдруг, что выглядит немного странно — словно выставляя всем напоказ свой пустой рукав, аккуратно заправленный в карман пиджака. — Прошу прощения,— пошутил он, садясь на место.— Как я и боялся, тоста не получилось. Итак, я продолжу свою мысль, сеньор Жильярди. Вам кажется, что рабочие тоже могут разделять только что сформулированную вами надежду?

— Боже мой, но кто говорит о рабочих? — удивленно заметила какая-то дама.

Жильярди улыбнулся и покачал головой:

— Видите ли, мой дорогой и уважаемый сеньор, интересы рабочего и предпринимателя обычно не совпадают — в этом я готов согласиться с марксистами.

— И я не пытаюсь этого оспаривать,— кивнул Пико.— Но, исходя из данной предпосылки, можно сделать два противоположных вывода, избрать два пути. Первый — это признать за рабочими право так же отстаивать их интересы, как мы отстаиваем наши...

— Да, право это у них есть, пускай на здоровье отстаивают,— примирительно заявил Ван-Ситтер, тоже вмешавшись в спор.

— Однако, дон Лауреано, большинство ваших гостей предпочитает думать иначе,— возразил Пико.— Аргентинский рабочий остается для них тем же невежественным «черноголовым», как и до сорок третьего года. До того дня, как эти «черноголовые» продиктовали правительству свою волю и на собственных плечах внесли в Розовый дом полковника Перона! Для вас, сеньор Жильярди, и для всех ваших единомышленников этого дня никогда не было, и не было всех этих двенадцати лет, когда нашему рабочему — пусть лживо, пусть демагогически — ежечасно и ежеминутно внушали мысль о том, что именно он, рабочий, является хозяином Аргентины! Вы предпочитаете этого не помнить. Вы избрали второй путь — закрыть глаза на окружающее. Что ж, дело ваше! Вы хотели услышать мои пожелания — так я, кабальерос, могу пожелать вам одного: чтобы у вас поскорее открылись глаза. Иначе они откроются лишь для того, чтобы увидеть перед собой гильотину!

За столом засмеялись.

— Ты с ума сошел,— сказала Лусиа.— Нашел о чем говорить в новогоднюю ночь!

— Дорогая, это всего-навсего метафора, — отшутился Пико. — Но, пожалуй, ее следует пояснить. Видите ли, сеньор Жильярди... перечисляя выводы, которые можно сделать из тезиса о несовпадении классовых интересов, я не упомянул о третьем, который рекомендует решение этой проблемы самым радикальным способом: уничтожением класса, чьи интересы не совпадают с твоими.

— Я уже имел удовольствие отметить сегодня ваше красноречие, сеньор Ретондаро,— отозвался тот.— Искренне завидую вашим будущим клиентам. Но я прежде всего реалист, и риторика на меня не действует. Я учитываю реальную обстановку, а не фантомы.

— Продолжая логическую линию той же метафоры, я могу вам напомнить, что в тысяча семьсот восемьдесят восьмом году французские аристократы тоже считали революцию фантомом.

Жильярди ответил на слова Пико задумчивой улыбкой.

— Не знаю, не знаю,— протянул он, — Пока что революцию сделали мы, сделали ее в своих интересах, и никому...

Он не договорил, глядя на Ретондаро, который с дергающимся от бешенства лицом медленно поднимался с места.

— Какую это революцию вы сделали? — спросил тот тихо, почти любезным тоном.— Когда? Где?

Лусиа, вскочив, обняла жениха за плечи, пытаясь усадить на место.

— Где? — повторил он свой вопрос, не обращая внимания на невесту, и вдруг крикнул так, что та отшатнулась.— Где вы делали свою революцию?! В Кордове я вас не видел, там умирали другие — и не ради ваших интересов, слышите, вы, спекулянт!

Дама за столом взвизгнула и заткнула себе уши, с неистовым любопытством глядя на Жильярди и Ретондаро.

— Дорогой, успокойся, ты просто не так понял,— беспомощно бормотала Лусиа.

— Да-да,— сказал он, отстранив ее от себя.— Не беспокойся, Люси, все в порядке...

Он обвел взглядом замершее общество, словно собираясь что-то добавить, но промолчал и вышел из комнаты, отшвырнув стул. Следом за ним, едва удерживая слезы, выбежала Лусиа.

На следующее утро состоялось объяснение. Пико едва успел побриться и выпить кофе, как в его окно бросили камешком. Он толкнул ставню и выглянул наружу, в зеленую и солнечную прохладу летнего утра. Лусиа, стоя поодаль на дорожке, окликнула его и пожелала доброго утра и счастья в наступившем году.

— Ты выспался? — крикнула она, щурясь от солнца.— Едем тогда кататься, пока не проснулись остальные! Я сказала, чтобы заложили Карабобо. Хорошо?

Через несколько минут гнедой красавец, приплясывая от радостного ощущения погожего утра и собственного застоявшегося в конюшне тела, вынес на магистральное шоссе их крошечную рессорную одноколку и пошел широкой размашистой рысью, подковами высекая из бетона четкий звенящий ритм. Лусиа правила, Пико сидел рядом, безучастно поглядывая то на разбросанные по сторонам виноградники, то на свою молчаливую спутницу, то на сверкающие далеко-далеко впереди и словно парящие над горизонтом снеговые громады Анд.

— Жаркий будет день,— сказал Пико, почувствовав, как припекает спину низкое еще утреннее солнце.

— Здесь всегда жарко в это время,— не сразу отозвалась Лусиа.— Чем хороша Мендоса, так это удивительно ровным климатом.

— И вином, я бы добавил,— сказал Пико.

Лусиа ничего не ответила.

— Знаешь, Люси,— снова заговорил он через минуту,— а ведь, пожалуй, никакими «кадиллаками» цивилизация не сможет расплатиться за украденную у человечества лошадь. Тебе никогда не приходило в голову? Я вообще люблю машины, и сам неплохо вожу... водил, я хочу сказать... разные марки, иной раз очень интересные, правда всегда чужие. Но такого вот удовольствия, как сейчас, там не получишь. Я помню, в позапрошлом году мы в феврале застряли с одним парнем в Мар-дель-Плата — ну, ты знаешь, что там всегда делается с билетами в конце сезона... И вот мы с Феликсом — это кузен Альбины, Феликс Ногера,— мы с Феликсом и еще доброй сотней таких же несчастных штурмуем в час ночи билетные кассы на авениде Люро, и вдруг подкатывает какой-то пижон в открытом «гран-спорт» и громко спрашивает попутчика до федеральной, причем с условием — вести машину. Короче, мы с Феликсом перепрыгнули через головы других претендентов, тут же заехали в пансионат за нашей движимостью и взяли курс на столицу. Я до сих пор не понимаю, что это был за тип — он у нас даже не спросил водительские права, отдал ключи и завалился спать на заднее сиденье. Только, говорит, если можно — побыстрее. Да, а машина-то — самое интересное — оказалась ни больше ни меньше как «Бугатти». Представляешь? Мотор — гоночный, форсированный с турбонаддувом, я просто обалдел...

— Не знаю, мне эти автомобильные восторги не совсем понятны,— сказала Лусиа.— Больше люблю лошадей.

— Я об этом и говорю,— кивнул Пико.— Мы в тот раз — хочешь верь, хочешь не верь — отмахали четыреста километров за три часа, меняясь через каждую сотню. Это было просто здорово, Люси. Лунная ночь, совершенно пустое шоссе — только рейсовые пульманы попадались — и такая фантастическая машина! Но все равно, ты понимаешь, это совсем другое удовольствие, я бы сказал — качественно иное. На лошади — верхом или хотя бы так — чувствуешь себя человеком, а не придатком механизма. Мне хорошо думается на лошади. Наверное, это у нас в какой-то степени национальная черта, еще от коренных гаучо, что ли. А в общем, слушай, Люси. Сколько бы чепухи я ни болтал, все равно придется начать разговор, ради которого мы затеяли эту прогулку. Так кому начинать? Да, я прежде всего должен попросить у тебя прощения за то, что испортил вчера праздник...

— Ничего страшного не случилось, насколько я знаю,— отозвалась Лусиа.— Сейчас не найдешь дома, где не спорили бы о политике. Так что никого этим не удивишь. Конечно, не стоило называть Жильярди спекулянтом... — Она кротко улыбнулась.— Хотя, между нами говоря, он спекулянт и есть. Дело не в том, дорогой... Свернем туда?

Не дожидаясь ответа, она тронула вожжи и, придержав коня, повернула на узкую боковую дорогу. Карабобо, круп которого уже потемнел от пота, пошел шагом, коляска мягко закачалась на рытвинах.

— Я не о вчерашнем хотела с тобой поговорить,— сказала Лусиа.— Вчера, по-моему, никто и не обиделся... Все прекрасно понимают, что нервы у тебя еще не совсем в норме, да и Жильярди сказал страшную бестактность... если учесть — кому он это сказал. Меня другое беспокоит...

— Что же именно? — спросил Пико спокойно.

— Видишь ли, я уже давно заметила, что тебе не особенно нравятся мои родители. Очень давно, собственно в первый год нашего знакомства, как только мы обручились. Я никогда не придавала этому большо-

го значения... В конце концов, теща есть теща, никто и не требовал бы от тебя нежной любви к моей маме, а с папой ты вообще встречался бы раз в год...

— Кстати, я и со своими вижусь не чаще,— заметил Пико.

— Да, я знаю. Поэтому, повторяю, меня и не беспокоило твое отношение к моим родителям... как к определенным личностям, если хочешь... с определенными недостатками, определенными смешными качествами... Между прочим, мне эти недостатки и смешные качества видны больше, чем кому-нибудь. Но вот сейчас, дорогой... после того как ты выписался из госпиталя... я сразу это заметила — твою какую-то озлобленность, что ли. Впрочем, это не просто озлобленность... Я бы поняла, если бы твое несчастье заставило тебя озлобиться против других, здоровых. Это было бы нелогично и не по-христиански, но по-человечески я бы тебя поняла. Но, дорогой, у тебя ведь не это!

— Хорошо, что ты хоть догадалась,— пробормотал Пико.

— Ты не хочешь продолжать этот разговор? — обиженно спросила Лусиа.— Если тебе неприятно, я могу замолчать.

— Нет, отчего же. Я тоже считаю, что откладывать такие вещи неразумно.

— Чудесно. — Лусиа натянуто улыбнулась. — Я вижу, мы по-прежнему понимаем друг друга с полуслова. Так вот, дорогой... я продолжу, если ты не против. Та неприязнь, которую я с самого начала видела в тебе по отношению к моим родителям,— и, повторяю, ничуть этим не беспокоилась,— сейчас она у тебя переносится вообще на все окружающее... Я ведь уже давно вижу, а вчера это только проявилось открыто... подтвердило для меня, если хочешь. Разве я не права?

— Боюсь, что права, Люси.

— Не правда ли, дорогой? И я начинаю думать сейчас — а не отразится ли это на наших с тобой отношениях? Ты ведь очень изменился за эти три года, согласись. Если говорить точнее — за последний год, за последние месяцы.

— Ты права,— повторил Пико,— дважды права. Я изменился, и поэтому изменилось мое отношение к окружающему. А если говорить о наших отношениях с тобой, Люси, то они зависят только от тебя. Ты помнишь — в тот день, когда ты первый раз пришла и плакала у меня в госпитале,— я тебе сказал сразу: Люси, обдумай все заново и серьезно. С приятелями я могу валять дурака и шутить насчет Муция Сцеволы и Лепанто, но брак дело серьезное...

— Я тебе еще тогда сказала, что не хочу больше слышать ни слова на эту тему!

— Я помню, Люси, я помню. Но ведь с тех пор кое-что изменилось, не так ли? Прежде всего, как ты говоришь, изменился я сам. Точнее, я изменился раньше, но тогда ты этого еще не видела. Так вот, давай теперь думать, трезво и спокойно.

Лусиа рванула вожжи так, что конь замер на месте и стал пятиться, всхрапывая и изогнув шею в кольцо.

— «Трезво и спокойно!» — крикнула она, обернувшись к Пико.— Знаешь, мой милый, когда начинают «спокойно» говорить о любви — это первый признак, что ее нет!

Пико открыл уже рот, собравшись протестовать, но тут же почувствовал, что любое слово будет ложью, и ничего не сказал. Лусиа правильно поняла его молчание, рассмеялась коротким нервным смешком и тронула коня. Коляска опять медленно заколыхалась по неровной пыльной дороге, под жарким утренним солнцем.

— Это хоть делает тебе честь,— насмешливо сказала Лусиа через минуту.— Твоей искренности, я хочу сказать. Кстати, это новое качество. Зачем ты обманывал меня три года?

— Я тебя не обманывал,— глухо сказал Пико.

— Значит, ты обманывал себя!

— Не знаю, Люси. Думаю, что если тут и был какой-то обман, то — скорее всего — невольный обман с твоей стороны. С девушками это часто бывает.

— Браво, Пико! Теперь не хватает одного — чтобы ты во всем обвинил меня.

— Дело не в обвинениях, я тебя ни в чем не обвиняю. Я хотел только сказать, что раньше между нами никогда не возникало никаких разногласий... А мы с тобой о многом разговаривали, и о политике тоже. И ты мои взгляды знала. Разве они изменились?

Лусиа язвительно рассмеялась.

— Твои взгляды! Они всегда были сплошной путаницей, если хочешь знать. То он католик, то он коммунист, то он начинает находить какое-то «рациональное» зерно в перонизме... Иди ты со своими взглядами!

Пико, задетый за живое, помолчал, но через минуту заговорил снова:

— Не будем об этом говорить. Тебе, очевидно, более понятны взгляды неграмотного монаха или партийного догматика — тех сомнения не посещают. Но я так жить не могу и никогда не мог. Повторяю, Люси, ты это знала всегда. Почему же ты раньше не смеялась надо мной?

— Потому что любила, идиот! Я тебя ревновала ко всем своим подругам, даже к этой курносой аристократке Альварадо, которая в то время разыгрывала из себя недотрогу. Я могла не понимать твоих взглядов, но ни одна дура не признается в этом любимому человеку!

Пико усмехнулся:

— Если сейчас ты считаешь возможным такое признание, мне остается сделать вывод, что...

— Если ты так торопишься с выводами, можешь делать какой угодно,— холодно сказала Лусиа, успевшая снова взять себя в руки.— Собственно, уже нет смысла продолжать этот разговор... потому что мы, кажется, уже во всем объяснились.

— Значит, ты все же не можешь простить мне вчерашней истории?

— Меня совершенно не волнует, что ты поругался с Жильярди. Он действительно спекулянт, и ты правильно его осадил. Хуже то, что мы с тобой просто не подходим больше друг другу, понимаешь? Вчера я это поняла, и в этом смысле я действительно не могу простить тебе вчерашнего. Та среда, в которой я живу и к которой я привыкла, вызывает в тебе злость, презрение, и я уж не знаю, какие еще нежные чувства... А я боюсь, что не сумею привыкнуть к твоей.

Пико молча пожал плечами. Очевидно, нужно было что-то возразить, но он молчал, чувствуя только желание поскорее кончить этот разговор и равнодушное удивление той легкостью, с какой превратилась в чужую сидящая рядом с ним Лусиа Ван-Ситтер, его невеста, официально обрученная с ним два года назад. Неужели он действительно обманывал ее или себя все это время?

Когда они вернулись домой, завтрак уже кончался и за столом было почти пусто — большинство гостей разбрелись кто куда. Это избавило Пико от встречи с его вчерашним оппонентом. После завтрака он сказал Ван-Ситтеру, что неотложные дела лишают его возможности воспользоваться и дальше гостеприимством этого дома; дон Лауреано ничуть не удивился и не стал уговаривать его сверх того формального минимума, который диктуется простой вежливостью в отношении уезжающего гостя. Пико показалось, что отец Лусии одновременно и огорчен, и обрадован их разрывом.

У себя в комнате он сел к письменному столу и стал лениво собирать книги, откладывая в сторону взятые из библиотеки Ван-Ситтеров. Потом он позвонил в Сан-Рафаэль, узнал, когда будет ближайший самолет на Буэнос-Айрес, и заказал себе место. Самолет шел в девять вечера — впереди был целый день. Но провести его в этом доме было бы трудно.

Договорившись с управляющим насчет машины, Пико зашел к Лусии и сказал, что уезжает. Они посидели, поговорили. Лусиа дала ему какое-то пустяковое поручение к какой-то из своих столичных подруг; Пико тотчас же о нем забыл. Он смотрел на свою бывшую невесту и снова и снова удивлялся — как быстро и легко стала она чужой, эта смуглая худощавая девушка, похожая скорее на цыганку из Гренады, чем на внучку роттердамского негоцианта. Действительно ли он ее когда-то любил?

— Ну что ж,— сказала Лусиа, когда разговор иссяк и Пико встал, чтобы уйти.— Счастливого тебе пути, в прямом и переносном смысле. Я думаю, мы делаем правильно. Кстати... чтобы уж соблюсти все формальности...

Она сняла с пальца обручальное кольцо и на раскрытой ладони протянула его Пико. Тот на секунду пришел в замешательство: что, собственно, полагается делать в подобном случае? Забрать свой подарок — вроде смешно, оставлять — нелепо... Лусиа разрешила эти сомнения, сама сунув кольцо в карман его пиджака. Пико дернул плечом, пробормотал что-то вроде «Будь счастлива» и вышел.

Через час он был уже в Сан-Рафаэле. Оформив билет и оставив чемодан в аэропорту, он пообедал без аппетита, потом долго слонялся по жарким улочкам затихшего в час сиесты провинциального города, пил у красных ящиков ледяное «кока-кола» и тосковал по запретной сигарете. Улицы, замусоренные обрывками серпантина, обгорелыми клочьями петард и хлопушек, были украшены протянутыми поперек гирляндами разноцветных лампочек и электрическими вензелями «1956».

«Весело он для меня начался, этот пятьдесят шестой»,— думал Пико, поглядывая на праздничные транспаранты по сторонам. Впрочем, ощущения потери у него не было. То и дело возвращаясь в мыслях к разрыву с Ван-Ситтерами, Пико испытывал даже чувство какой-то странной освобожденности. Все, что отныне могло с ним произойти, касалось его одного, и никого больше.

Вечером, устав от жары и безделья, Пико сидел в скверике на площади и ждал таксиста, который должен был отвезти его в аэропорт. С таксистом он уговорился еще днем, после того как тот сначала пытался соблазнить его поездкой в какое-то историческое место за городом, потом пожаловался на отсутствие веселых заведений и растущую дороговизну и, наконец, спросил о руке. Пико ответил, что руку потерял на охоте, в Чако. Выследили здоровенного льва [1], а тот прыгнул с дерева — пришлось бить на лету, и один парень промахнулся, разрывной прямо вот сюда — только и остались лохмотья. Таксист посочувствовал, рассказал о ловле кайманов в Парагвае, потом они распили несколько бутылок пива и поговорили о политике. Таксист с одинаковым воодушевлением ругал и Перона, и Лонарди, и Арамбуру. «Да, все они хороши»,— сказал Пико.

Сейчас он сидел на скамье, рассеянно следил за мелькающими в кустах светлячками и думал, как хорошо было бы увидеть завтра в Буэнос-Айресе доктора Альварадо. Интересно, что бы тот сказал? А впрочем, старику сейчас вряд ли есть что сказать, пожалуй, он и сам

[1] Львом в Латинской Америке часто называют ягуара.

в таком же положении... Недаром же его угнали к Трухильо. Ему с самого начала казалось, что с назначением Альварадо дело нечисто...

Девочка лет пяти, босиком и в линялом платьице, остановилась в нескольких шагах от него, сунув палец в рот и с любопытством выглядывая из-под копны нечесаных волос. Пико подмигнул ей и поманил пальцем, девочка медленно приблизилась с тем же зачарованным видом.

— Причесалась бы, что ли,— сказал Пико.— Или здесь такая мода?

Девочка уклонилась от ответа и спросила в свою очередь, указывая на его пустой рукав:

— А почему это?

— Да вот так вышло,— сказал Пико.— Гребенка у вас дома есть?

Девочка отрицательно помотала головой.

— У меня папа безработный,— заявила она важно, словно сообщая о своем родстве с президентом.

— Вот как,— сказал Пико.— Но гребенку тебе придется все же купить, иначе так зарастешь, что мусорщик примет тебя за клубок шерсти и сметет в урну. Возьми вот и завтра купи себе хорошую гребенку, да побольше...

Он полез в карман, выгреб несколько смятых песо и горстку мелочи. Среди монет вспыхнул вдруг острый радужный лучик. Пико коротко свистнул и опустил руку, с улыбкой глядя на девочку.

— Как же тебя зовут, Золушка?

— Меня зовут Ана Мариа,— с тем же достоинством отозвалась та.

— Правильно, я так и думал,— кивнул Пико.— Один волшебник просил передать тебе интересную штуку, я тебя искал. Подойди-ка ближе, Ана Мариа! Закрой глаза и дай мне левую руку.

Девочка зажмурилась, сморщив от старательности нос, и протянула Пико грязную растопыренную ладошку. Пико, усмехаясь, еще раз посмотрел на кольцо — тонкий золотой обруч с впаянной в него гирляндой из пяти маленьких чистых алмазов — и надел его на палец Аны Марии, перевернув ручонку ладонью вниз.

— Ну, а теперь смотри,— сказал он, легонько щелкнув ее по носу.

Ана Мариа посмотрела и ничего не поняла.

— Это мне? — спросила она.— Почему?

— После пригодится,— сказал Пико. Он вскинул руку и посмотрел на часы, которые приходилось теперь носить на правом запястье, циферблатом внутрь.— Понимаешь, такие кольца дарят, когда обещают жениться. На тебе женится принц, только когда ты станешь большой и научишься причесываться. А пока отдай кольцо маме, пусть спрячет. И не показывай мальчишкам по дороге, а то отнимут...

— Принц — это ты? — оценивающе спросила Ана Мариа.

— Нет, что ты. Я тогда буду уже старым. К тебе придет настоящий, с двумя руками.

— Он тоже будет безработным?

— Нет, Ана Мариа,— сказал Пико и встал, увидя подъезжающее такси.— Безработным он не будет, это я тебе обещаю...

6

Заканчивался первый день тысяча девятьсот пятьдесят шестого года: до полуночи оставалось два часа. Прибывший из Мендосы самолет «Аэролинеас Архентинас», в числе восемнадцати пассажиров которого находился Пико Ретондаро, только что приземлился в столичном аэропорту Эсейса и еще катился по бетону, устало покачивая крыльями.

В эту же самую минуту другой самолет поднялся с испытательного аэродрома Грейт-Салинас в штате Нью-Мексико, США. Это была новая машина, не получившая еще цифрового обозначения воздушных сил и известная пока под кодовым именем проекта «Блю Манстер». Серебряной молнией просверкнув в прожекторах вдоль взлетной полосы, перехватчик со включенными ускорителями ринулся вверх, окатив землю волной шквального свиста и грохота; оранжево-белый факел из сопла турбины и синие струи пламени бустерных ракет скоро растворились во мраке, бесследно поглощенные огромным ночным небом над пустыней. Присутствовавшие при старте — в основном специалисты различных служб обеспечения полетов — стали расходиться, закуривая и поглядывая на часы.

Фрэнк, продрогший на ледяном ветру, бегом вернулся в комнату, где вокруг ламп слоился табачный дым и четверо с расстегнутыми воротничками и подвернутыми рукавами сорочек сидели за столом, загроможденным таблицами, синьками, бутылками пива и ворохом бумажных лент из вычислительной машины. Все были небриты, с уже одуревшими от усталости глазами. Ошибка в расчетах обнаружилась вчера, совершенно неожиданно и в самое неподходящее время, когда все уже предвкушали новогоднюю выпивку. Точнее, обнаружилась не сама ошибка, а одно очень неприятное ее последствие, способное вывести из строя всю систему, а ошибку еще только предстояло обнаружить.

Когда вошел Фрэнк, один из сидящих откинулся на задних ножках стула и потянулся, сцепив ладони за головой. «К черту,— сказал он,— разве это жизнь. Работаешь как негр целый год, и вот тебе к празднику подарок от Санта-Клауса! Попался бы мне этот бородатый сукин сын. Ну, как там прошел старт, Хартфилд? Конкурент не развалился на полосе?» Фрэнк сказал, что не развалился. Потом он достал из холодильника еще несколько бутылок и сдвинул чертежи на середину стола.

Они молча курили и пили пиво, слишком уставшие от работы, чтобы говорить о ней, и слишком поглощенные ею, чтобы разговаривать о чем-то другом. Включили приемник, Оклахома передавала концерт Элвиса Присли. «Типичный голос педераста,— сказал Бойд,— не понимаю, что в нем находят девчонки». Ветер сотрясал стекла барака, летел над громадной черной пустыней, а еще выше, в ледяном вакууме стратосферы, невидимый и неслышимый никому, кроме радистов и локаторщиков, летел маленький серебряный самолетик — пять тонн воплощенной в металле математики стоимостью в полтора миллиона долларов, результат двухлетнего труда нескольких тысяч человек. «А потом одна такая ошибка, — устало думал Фрэнк, спичкой собирая упавший на кальку пепел, — и все идет к черту. Одна вот такая маленькая, до вчерашнего дня никем не замеченная ошибка. Господи, почему я не стал лесорубом...»

Приблизительно такой же вопрос задавал себе в эту минуту еще один человек, чрезвычайный и полномочный представитель Временного правительства Аргентинской Республики доктор дон Бернардо Иполито Альварадо. Он стоял у окна, а за окном шел дождь — настоящий тропический ливень, обычное явление в это время года здесь, на Карибском побережье,— и лежал очень старый город, один из первых городов, основанных испанцами по эту сторону Атлантики. «Напрасно я согласился сюда ехать»,— думал дон Бернардо, осторожно, чтобы не уронить пепел, держа в пальцах сигару. Единственно, что мирило его немного с пребыванием здесь, были отличные местные сигары. Но из-за сигар, конечно, приезжать не стоило.

Сейчас не стоило ехать сюда, а еще раньше не стоило связываться с полковниками и коммодорами... И вообще, пожалуй, не стоило связываться с активной политикой. И происходящее сейчас дома, в Аргенти-

не, и то, что он увидел здесь, в этой маленькой нищей стране с ее невежественными, жестокими и ненасытно алчными правителями,— все это может до конца жизни отвратить человека от участия в активной политике. Нужно было в свое время ограничиться преподавательской деятельностью. Может быть, даже не в университете, а просто в школе, просто в обыкновенной сельской школе...

Дон Бернардо стоял у раскрытого окна, смотрел на дождь, на мокрый асфальт, на цветные рекламные огни и темный фронтон старого собора, где под алтарем покоился прах Христофора Колумба. Он слушал шум дождя и думал о том, что, в сущности, жизнь ему не удалась. «J'ai raté ma vie»,— повторил он мысленно на языке своей молодости, на языке Сорбонны и Анатоля Франса; привычка думать по-французски, хотя и почти забытая, иногда напоминала о себе в минуты растерянности или такого вот удручающего самоанализа. В сущности, ничто по-настоящему не удалось: ни научная карьера, ни политическая деятельность, ни личная жизнь. Да, он написал несколько хороших книг. Он читал лекции, и читал неплохо, аудитории бывали переполнены... Но главная работа так и не написана, а из числа его студентов вышли потом и диктаторы, мелкие и покрупнее, и политические авантюристы, и министры, прославленные миллионными аферами... Что же им дали лекции профессора Альварадо? Какой смысл имела его преподавательская деятельность в конечном итоге?

А что касается политики, то о ней лучше и не говорить. Всего три с половиной месяца, как победила «революция» (вначале она казалась Революцией с большой буквы), и уж нет никакого сомнения в торжестве самых реакционных элементов антипероновской коалиции,— иными словами, произошло именно то, от чего он, Альварадо, постоянно предостерегал, неоднократно заявляя, что такая победа будет страшнее поражения. Но если он боялся подобного исхода, если он его в какой-то степени предвидел — то как мог он войти в блок, как мог позволить себе сотрудничать с авантюристами, вовлекать в это сотрудничество молодежь...

«Банкрот, банкрот»,— пробормотал вслух дон Бернардо. Бросив сигару, он прошелся по комнате. Как теперь встретиться с тем же Ретондаро? Тот имеет право сказать ему: «Доктор, ведь я приходил к вам накануне, помните?» Но — с другой стороны — что иное мог он сказать этому юноше в тот день?..

Он остановился перед письменным столом и долго смотрел на портрет Доры. Лицо дочери было почти копией лица той, которая безучастно прошла через его жизнь, не оставив после себя ничего, кроме боли. Правда, осталась еще дочь, вот эта, Дора Беатрис, но он слишком привык даже в мыслях не связывать девочку с ее матерью...

Не удалась жизнь у него, не удалась у Доры, не удалась их общая. А могла бы удасться. В чем же дело? Что когда-то ошибся он сам, что первая любовь Доры обернулась трагедией — это уж, как видно, просто судьба. Но почему так все не ладится между ними, вот что непонятно...

...— Я этого просто не понимаю,— говорила Беатрис, щурясь на плавающий в черной воде свет фонаря. — Вот скажите, Ян,— у вас бывало такое с вашим отцом, чтобы вы чувствовали и любовь, и желание как-то подойти и в то же время словно что-то вас удерживает? Было у вас такое?

Она сидела, поджав ноги под скамейку и держась за ее края, слегка покачиваясь взад и вперед в такт музыке. Джаз играл в ресторанчике «Роседаль» — по ту сторону пруда. Задав свой вопрос, она повернула голову и с искренним любопытством, которое не отважива-

лась проявлять днем, посмотрела на Гейма, стараясь разглядеть в темноте выражение его лица.

— С моим отцом...— задумчиво повторил тот.— У нас в семье были сложные отношения, Беатриче. Отца я просто не любил, если говорить прямо. Это, наверное, чудовищно звучит, но я не испытал никакого горя, когда отец погиб... Я вам рассказывал, при одной из бомбежек Берлина. Так что...

Он взглянул на Беатрис, и та быстро опустила голову.

— Это ужасно, Ян,— прошептала она сочувственно.— У вас были какие-нибудь причины... для вражды, я хочу сказать... или просто необъяснимая отчужденность?

— Нет, причины были, и вполне объяснимые. Вам следовало бы видеть моего отца, Беатриче. Типичный венский «хохштаплер», разбогатевший на валютных мошенничествах. Со стороны матери это был чудовищный мезальянс, вы сами понимаете...

Он достал портсигар, попросил разрешения закурить. «Да-да»,— поспешно сказала Беатрис. Ей захотелось вдруг зажечь для него спичку; осознав это желание, Беатрис закусила губы и отодвинулась от Гейма чуть подальше — на сантиметр-другой, хотя их и без того разделяла почти половина длины скамейки.

— Наверное, ее не следует винить... — задумчиво говорил он, уставившись на тлеющий огонек своей сигареты.— Бедность есть бедность, Беатриче... И она не делается приятнее от того, что в твоих жилах течет голубая кровь Ягеллонов. Скорее, пожалуй, наоборот. Сейчас я это понимаю, а раньше не понимал. Я до ненормальности любил мать и в то же время не уважал ее, не мог простить ей этого брака со спекулянтом, способным — простите за подробность — пользоваться за столом зубочисткой. Мать, конечно, чувствовала мое отношение. Словом, вы понимаете, у нас в семье каждый жил обособленно: у матери была ее религия, у отца — его бизнес с нацистами, а у меня...

Он замолчал. Беатрис глянула на него вопросительно и снова отвернулась, опустив голову.

— У меня, в сущности, не было ничего,— продолжал Гейм с усмешкой в голосе.— Я смертельно ненавидел плебеев и мечтал о средневековье. Моей настольной книгой был трактат о рыцарстве Леона Готье, а у нас в доме постоянно толклись какие-то мясники в мундирах группенфюреров, аферисты с золотыми партийными значками в петличках, их, с позволения сказать, дамы и прочая сволочь... В знак протеста я открыто слушал Би-Би-Си и демонстративно разговаривал с матерью только по-английски, особенно при гостях. А в общем, я был совершенно одинок, Беатриче, потому что единственным человеком, с которым у меня было что-то общее, была мать, но я осуждал ее за капитуляцию перед чернью, и она все время это чувствовала. Друзей-сверстников у меня не было. У меня и сейчас нет друзей, знаете? Самое страшное в жизни, Беатриче,— это одиночество. Вы не представляете себе, насколько это страшно...

Беатрис могла бы ответить, что очень хорошо представляет себе, что такое одиночество. Она уже и собралась это сказать, но испугалась вдруг, чтобы Ян не истолковал ее ответную откровенность как-нибудь превратно. Поэтому она промолчала и ограничилась только сочувственным взглядом.

— Впрочем, это не совсем подходящая тема для разговора в такой вечер,— сказал Гейм совершенно другим тоном.— Сегодня ведь еще праздник, не так ли? Чего вы ждете от начавшегося года?

— Право, не знаю...

— Вы со мной неискренни, Беатриче.

Беатрис посмотрела на него с упреком:

— Ян, я всегда искренна со своими друзьями... — Она запнулась, подумав, что этого говорить не следовало, но слово уже вылетело.

— Вы сами не понимаете, какой подарок сделали мне сейчас,— тихо сказал Гейм после короткого молчания.

Беатрис попыталась отшутиться:

— Вы ведь напомнили мне, что сегодня Новый год, а в этот день разве можно без подарков?..

— Ваш, Беатриче, самый дорогой из всех, что я когда-либо получал,— сказал Гейм.

Потом они опять сидели и молчали. Им это хорошо удавалось в последнее время — молчать и не чувствовать этого молчания, как если бы между ними все время продолжался какой-то неслышный для других разговор. Это было ново и удивительно, по крайней мере для Беатрис. Было ли это новым и для Яна — она не знала; она иногда спрашивала себя, есть ли вообще на свете что-нибудь, чего бы Ян Гейм не испытал, не испробовал, в чем бы не разочаровался.

Около одиннадцати он посмотрел на часы и встал. Беатрис осталась сидеть, подумав, что было бы куда лучше, если бы этот Ян с меньшей пунктуальностью исполнял свое обещание относительно сроков ее возвращения домой. Дело в том, что первое время они встречались только днем — чаще всего около пяти, в какой-нибудь кондитерской или tea-room [1], и проводили вместе час-другой. А как-то раз после одного из таких чаепитий Гейм предложил ей пойти подышать воздухом на набережной; она заколебалась тогда, потому что по вечерам Костанера была обычным местом гулянья довольно неприятной публики — разного рода зажиточного мещанства, а Ян неправильно истолковал ее замешательство (уже начинало смеркаться) и пообещал, что она будет дома не позже одиннадцати. Так с тех пор и повелось.

А самой Беатрис вовсе не нравилось возвращаться домой так рано. Она уже и рассказала Яну о том, как бродила с Клер по ночному Брюсселю — почти до рассвета, и сообщила о латиноамериканском обыкновении поздно вставать и еще позже ложиться — все равно, не позже половины двенадцатого он целовал ей руку у калитки, желал доброй ночи и уходил, выждав, пока она обернется и махнет ему из дверей.

И сейчас ей ничего не оставалось. Не сказать же прямо, что она с удовольствием сидела бы здесь еще и час, и два, вместо того чтобы возвращаться в огромный пустой дом и потом лежать без сна, пересчитывая завитки карниза... Поэтому Беатрис тоже посмотрела на часы и вскочила, воскликнув испуганно:

— Ян, мы с ума сошли, уже двенадцатый час!

— Сейчас я достану такси, и через десять минут вы будете дома,— утешил тот.

— Ненавижу такси,— сказала Беатрис.— У меня к ним брезгливое чувство. Идемте лучше пешком, по Вьейтес здесь совсем недалеко... Или вы не любите пешком?

— Беатриче, я люблю все, что любите вы,— ответил Гейм очень серьезно.

Беатрис притихла. Положительно этого человека нельзя было понять!

— Всякий раз, как я попадаю в этот квартал, мне вспоминается день, когда мы познакомились,— заметил Гейм несколько минут спустя, когда они, выйдя уже из парка, медленно шли по улице Кастекс. — Я сделал тогда для себя два открытия: Беатрис Альварадо и «Палермо Чико» [2].

[1] Чайный салон (*англ.*).

[2] Район Буэнос-Айреса, примыкающий к парку Палермо.

— Оба не из тех, что могут доставить радость,— усмехнулась Беатрис.— Вам повезло в тот день, кабальеро.

— Не напрашивайтесь на комплименты,— укоризненно сказал Гейм.— Что касается вашего квартала, то вы сами говорили, что он вам нравится.

— Нравился в детстве,— согласилась Беатрис и насмешливо передразнила кого-то: — Южноамериканский «Faubourg Saint-Honoré»[1]! Вы смóтрите на все это со стороны,— она сделала рукою широкий жест,—и видите только шиферные крыши и газоны, которые кажутся столетними. А мне теперь каждую неделю приходится бывать в этих домах с визитами — пить чай в обществе старых рамоликов и слушать, как молодые ослы пересказывают статейки из «Ридерс Дайджеста»...

— Вы еще милее, когда злитесь,— шутливым тоном сказал Гейм.

— Вовсе я не злюсь, Ян. Эти улицы вызывают во мне не злость, а просто скуку. Вот вы, если уж говорить откровенно,— Беатрис негромко рассмеялась,— вы сумели вызвать во мне злость. В тот день, я хочу сказать.

— Я сразу это заметил, Беатриче,— сказал Гейм серьезно.— Мне было очень неприятно, поверьте. Это из-за той истории — с каким-то... пролетарием, которого уволил муж Нормы? Да, я помню, вы приняли это так близко к сердцу... Я, наверное, должен был показаться вам отвратительным черствым эгоистом. Кстати, я и есть эгоист, в этом вы не ошиблись.

— Похвальная откровенность,— усмехнулась Беатрис.

— Это не откровенность, Беатриче. Кстати, я вообще довольно скрытен — во мне слишком много плохого, чтобы об этом можно было говорить вслух... Но когда я сознаюсь в своем эгоизме, то это просто потому, что не стыжусь быть эгоистом. Конечно, в моем понимании эгоизм должен быть разумным и ограниченным, как конституционная монархия, и не посягать на чужие права. А насчет того парня — знаете, Беатриче, я просто слишком много видел, поверьте мне. Люди на моих глазах теряли состояния, семьи, родину, так что «трагедия» поденщика, потерявшего работу, меня уже не трогает...

Возразить на эти слова было очень легко, и Беатрис уже собралась это сделать, но ее остановила странная робость, которую она с некоторого времени чувствовала иногда в присутствии Яна. Откуда эта робость — Беатрис и сама не понимала.

Немыслимо было представить себе, чтобы Гейм вдруг заговорил с нею хотя бы просто резким тоном; его всегдашняя и неизменная почтительная предупредительность была совершенно искренней — Беатрис ни на секунду в этом не сомневалась,— и все же Ян Гейм внушал ей странное чувство — не страх, но какую-то робость, готовность сразу отказаться от спора, заранее признать свое поражение. Она могла спорить и с Пико, и с Хилем Зеленые Штаны, и с Жюльеном, и с Фрэнком, наверное, она смогла бы спорить и с Джерри. А спорить с Яном Геймом она не могла.

Он даже не давал себе труда возражать, а просто вдруг улыбался и взглядывал на нее по-своему, ласково и чуть снисходительно, с едва уловимой добродушной насмешкой, и она вдруг понимала, что это просто нелепо: ей, девчонке, пытаться доказать неправоту Яна Сигизмунда Гейма!

Поэтому и сейчас она отказалась от такой попытки. Помолчав немного — они уже подходили к тому месту, где Кастекс упиралась в Окампо и на той стороне улицы темнел мрачной глыбой неосвещенный дом Альварадо,— Ян сказал весело, тронув Беатрис за локоть:

---

[1] Аристократическое предместье Парижа.

— Не будем вспоминать о том дне, Беатриче. Возможно, я был не прав, и во всяком случае ваша реакция была такой же благородной и чистой, как вы сами. Все хорошо, что хорошо кончается. Что вы думаете делать завтра вечером?

— Не знаю, Ян,— робко ответила Беатрис.— В пять я должна быть в одном доме, меня пригласили...

— Вы, я вижу, становитесь звездой салонов.— Гейм улыбнулся.

— О, это из-за папы. И потом у нас здесь так много старых знакомых...

Они вышли на Окампо, пересекли ее наискось. Беатрис бросила привычный взгляд на окна — а вдруг кто-нибудь приехал? Но в доме было темно; оба этажа, до крыши заросшие плющом, равнодушно и безжизненно отражали в окнах свет уличных фонарей.

— Ну вот! — Беатрис прислонилась к калитке и, весело улыбаясь, посмотрела на Гейма. Она ждала, чтобы он еще раз спросил относительно завтрашнего вечера: она ведь просто не успела сказать ему, что в доме Олабарри́а пробудет часа два, не больше, а потом с удовольствием пошла бы куда-нибудь с ним вместе.

Здесь было совсем темно, потому что свет фонаря не проникал сквозь густую листву платана, раскинутую над воротами и калиткой, и Беатрис не могла рассмотреть выражения лица Гейма, но он молчал.

— Вот я и дома,— сказала она, перестав улыбаться. Она протянула руку вверх, сорвала веточку глицинии и потрогала шершавый и еще горячий от дневного солнца камень воротного столба. Там, наверху, сидело забавное животное — очевидно, лев по замыслу строителей, но вид у него был добродушный, и Беатрис всегда считала его просто собакой. Она представила себе, как эта каменная собака сидит сейчас там в темноте и скалит зубы, посмеиваясь над странным свиданием...

— Спокойной ночи, Ян,— сказала Беатрис, сделав усилие, чтобы голос звучал весело.—Я вас сегодня так задержала...

Он поднес к губам ее руку и, поцеловав, не отпустил, а прижал вдруг ладонью к своей щеке и замер, опустив голову. Совершенно растерявшись, Беатрис слабо шевельнула пальцами и попросила едва слышно:

— Пустите, Ян... Не нужно...

Он обнял ее и прижал к себе — она даже не сопротивлялась теперь,— и они простояли так несколько секунд, может быть минуту.

— Беатриче...— шепнул Гейм.

Она открыла глаза, увидела над собой его лицо и снова быстро зажмурилась, откинув голову. Медленно и осторожно, словно боясь разбудить спящую, он коснулся губами ее щеки.

Беатрис вздрогнула от этого прикосновения, будто и в самом деле была внезапно разбужена. Потом она с неожиданной силой вырвалась из его рук и отшатнулась, прижавшись спиной к решетке. Гейм тотчас же покорно отступил.

Беатрис молча смотрела на него с закушенными губами, то ли ожидая каких-то слов, то ли не находя их в себе. Но он ничего не говорил. Она протянула руку за спину, нашарила запор калитки. Тягуче проскрипели ржавые петли, потом калитка лязгнула и захлопнулась, и каблучки Беатрис застучали по плитам дорожки, все быстрее и быстрее.

Вбежав в темный холл, она заперла за собою дверь и, не включая света, прошла в умывальную. Вода в кране была, как всегда вечером, тепловатой; умывание не успокоило и не освежило. Вытирая лицо, Беатрис отвернулась от зеркала, чтобы не встретиться глазами с собственным отражением. Ей не хотелось ни видеть себя в эту минуту, ни думать о том, что произошло минуту назад; ей хотелось сейчас одно-

го — погрузить лицо в ледяную горную речку, чтобы погас этот позорный огонь на щеках, чтобы онеметь, чтобы ничего не чувствовать... Она снова открыла кран, вывинтив его до отказа, струя била в раковину и брызги летели во все стороны, но вода не становилась холоднее. Беатрис стояла у стены, прижавшись щекой к кафелю, и плакала навзрыд, содрогаясь от страха и отвращения к себе.

Потом она поднялась наверх и заказала междугородный разговор. Линии были свободны, ее соединили с Тандилем почти сразу. Через минуту в трубке послышалось перепуганное «ола!» тетки Мерседес.

— Это я, тетя,— сказала Беатрис.— Ты меня слышишь?

— Дора, ради всех святых! Что случилось?

— Ровно ничего, тетя. Во-первых, я хотела пожелать тебе счастливого Нового года...

— Ты с ума сошла — звонить в полночь, будить весь дом, чтобы пожелать счастливого Нового года! Знаешь, моя милая, жаль, что ты сейчас не тут рядом, я бы тебе прописала за такое поздравление!

— Дело не только в поздравлении, тетя Мерседес. Я хочу, чтобы ты приехала ко мне пожить несколько дней. Ты меня слышишь?

— Слышу, но не понимаю. Зачем приехать? Ты что — заболела?

— Нет, я здорова, то есть, ну как сказать... Я просто хочу тебя видеть, понимаешь? Мне очень нужно, чтобы ты приехала, тетя!

— Да ты действительно рехнулась, друг мой! Как это я могу приехать, если мне не на кого оставить дом? Впрочем, ты же не знаешь главного — у меня опять новая служанка! Вообрази, последняя тоже оказалась...

— Да что ты мне рассказываешь всякую чушь! — вспыхнула Беатрис.— Мне нужно, чтобы ты завтра же была здесь!

— Знаешь, Дора, научись сначала быть вежливой со старшими,— величественно заявила тетка.— Боюсь, что мне придется коснуться этого вопроса в ближайшем письме твоему отцу.

Линия разъединилась. «Старая дура!» — прошептала Беатрис в отчаянии и слепом бешенстве, со всего размаха швырнув трубку.

Утром она решила, что ничего не произошло и самый простой выход — не видеть больше этого Гейма и, уж разумеется, не думать о нем. Первую половину дня она провела согласно этой программе, но после обеда, сидя в гостиной сеньоры Санчес Итурбе де Олабарриа, сообразила вдруг, что, в сущности, и не перестает думать об «этом Гейме». Ей опять стало тошно от какой-то непонятной тоски и страха, как вчера ночью.

Она повернула голову и увидела свое отражение в зеркальной двери — строго одетая сеньорита сидела в золоченом креслице Луи XV на фоне какого-то блеклого гобелена, такая скромная, так безупречно воспитанная — залюбуешься. Кто бы сказал, что несколько часов назад она позволяла обнимать себя на улице, как горничная, едва дождавшаяся свидания со своим почтальоном...

В гостиной, легко перепрыгивая с темы на тему, порхал пустой и ни к чему не обязывающий разговор, обычная салонная causerie. Величественная пожилая сеньора, имя которой Беатрис не смогла припомнить, назвала ее милочкой и поинтересовалась, что пишет дон Бернардо из своего карибского далека; хорошенькая и глупая донья Соледад де Этчегарай, только что вернувшаяся из Чили, щебетала что-то о сезоне в Винья-дель-Мар; потом дамы одобрили остроумный ответ супруги какого-то генерала президенту Арамбуру на последнем приеме и тут же согласились в том, что манеры сеньора президента оставляют желать лучшего. Горничная вкатила низкий столик с чайным сервизом и сереб-

ряным русским самоваром, вызвавшим всеобщее восхищение; хозяйка тут же рассказала его историю — что-то в высшей степени экзотичное, связанное с большевиками. «Когда он позвонит — я сразу положу трубку»,— думала Беатрис, любезно улыбаясь на чьи-то обращенные к ней слова. Сеньора Санчес Итурбе протянула ей крошечную мейссенскую чашечку и порекомендовала отведать какого-то особенного кекса. «Вам еще можно не думать о своей талии, не правда ли, дорогая?» — добавила она с обворожительной улыбкой. Все вокруг улыбались, улыбались — это была просто какая-то выставка улыбок! Неужели им действительно так весело? Впрочем, и она ведь сама улыбается (можно представить себе, как это выглядит со стороны). Хорошо бы уронить чашку себе на колени (чай все равно уж остыл), а еще лучше на колени хотя бы той же донье Инес — чтобы не улыбалась, как Чеширская кошка [1]. По крайней мере, раз навсегда избавишься от приглашений в хорошее общество...

Промучившись до семи, Беатрис дождалась наконец чьего-то ухода,— подняться первой ей, самой молодой среди приглашенных, было бы неприлично. Они нежно расцеловались с хозяйкой, наговорили друг другу кучу приятных вещей, к которым Беатрис мысленно добавила столько же неприятных, и тяжелая дверь особняка с достоинством закрылась у нее за спиной.

Олабарриа жили всего в трех квадрах от ее дома. Она пробежала бы эти триста метров бегом, если бы не итальянские каблучки толщиной в карандаш. Просто положить трубку будет, конечно, неправильно. Он тогда подумает, что попал не туда, и станет звонить снова и снова — получится фарс. Ответить, поздороваться очень спокойно — даже не холодно, а именно спокойно, с безразличием и, когда он предложит пойти куда-нибудь, ответить: «Очень жаль, кабальеро, но я не считаю возможным продолжать наши встречи». Да, именно так: «Не считаю возможным продолжать встречи». С достоинством и абсолютно спокойно. Только бы он не позвонил раньше! Если к телефону никто не подойдет, он может подумать, что она просто не хочет отвечать, и тогда вообще не позвонит. А ей так нужно, чтобы он позвонил именно сегодня, чтобы именно сегодня можно было сообщить ему о прекращении встреч...

Он позвонил только в половине девятого. Все эти полтора часа Беатрис просидела, поджав ноги, в кресле у телефонного столика, в кабинете отца. За целый день, если не считать завтрака, она съела только кусочек кекса у Олабарриа, и сейчас ей очень хотелось есть и было нехорошо от выкуренных трех сигарет. Нужно было бы спуститься в кухню, взять хоть кусок хлеба, но телефон мог зазвонить в любую минуту — а попробуй добеги сюда с нижнего этажа! Поэтому она сидела и ждала. Телефон был старинный, такие устанавливались задолго до ее рождения — круглый никелированный столбик с шарнирным раструбом наверху и пристроенным внизу диском, а слуховая трубка, которую при разговоре подносят к уху, короткая и нелепая, висит на торчащем сбоку столбика крючке. Вообще не телефон, а страшилище, и такой же стоял у нее в комнате. Девчонкой Беатрис всегда мечтала — как только заведутся деньги, первым делом выкинуть этих допотопных уродов и поставить вместо них обтекаемые, цвета слоновой кости, как у Линдстромов. Сейчас деньги были, но белые телефоны утратили привлекательность.

— Беатриче? — спросил Гейм. — Вы уже дома?

— Только что вернулась, минутой раньше вы бы меня еще не застали,— небрежно ответила Беатрис.

---

[1] Чеширский кот — персонаж из «Алисы в стране чудес» Л. Кэрролла.

— Чудесно, Беатриче. Как прошел прием?

— О, как всегда.

— Воображаю! Сочувствую вам от всего сердца, бедняжка. Беатриче, у меня грустная новость.

— Да?

— Я должен уехать недели на две-три в Уругвай и, возможно, в Бразилию — в Сан-Пауло. Да, недели на три, может быть, даже и на месяц.

— О... Ну что же. Bon voyage, monsieur.

— Благодарю, Беатриче. Вы понимаете, у моего дядюшки там дела, обычно во время каникул я ему помогаю. И отказаться сейчас от этой поездки я просто не счел возможным — в конце концов, я у них живу, и вообще они много для меня сделали...

— Простите, я не требую объяснений.

— Дело не в требованиях, Беатриче,— ласково сказал Гейм.— Вы сердитесь?

— Из-за чего, кабальеро? — Беатрис чувствовала, что ее щеки холодеют от ярости, но продолжала говорить тем же ровным тоном.— Вы ошибаетесь, думая, что ваши поездки могут влиять на мое настроение.

— Ну, великолепно. Вы, кстати, не совсем верно меня поняли, Беатриче. Скажите, а вы сами никуда не собираетесь?

— Не знаю.

— Великолепно,— повторил Гейм.— Так значит, Беатриче, я вас пока покидаю... Надеюсь, ненадолго. Месяц — это самый крайний срок. А по возвращении сразу же позвоню. Хорошо?

— Пожалуйста,— холодно сказала Беатрис. Голос ее лишь чуть-чуть дрогнул — можно было надеяться, что Гейм этого не уловил.

Она торопливо нацепила трубку на крючок, боясь, как бы Гейм не опередил ее еще и в этом. Потом ноющая боль в левой руке вывела ее из оцепенения — она с трудом разжала пальцы, намертво вцепившиеся в подлокотник, и встала.

Она еще не совсем понимала, что, в сущности, случилось и откуда это страшное чувство унижения, словно ее отхлестали по щекам или выставили у позорного столба. Но после всего, что произошло между нею и Геймом на протяжении последних суток, Беатрис чувствовала себя сейчас настолько униженной, что не могла даже плакать.

7

Лео Альтвангер, заметное светило в мире журналистики — звезда если не первой, то бесспорно второй величины,— издавна находился в дружеских, почти родственных отношениях с Флетчерами. Поэтому, когда редакция еженедельника предложила ему тему, он тотчас же подумал о «Консолидэйтед» и согласился, хотя по обыкновению был завален работой.

Тема была интересной и опасной, как раз в его вкусе. Однако, прилетев в Уиллоу-Спрингс и договорившись о завтрашней встрече с Дэйвидом, он понял вдруг, что все это даже труднее, чем показалось сразу. Открытие удивило его и немного встревожило: раньше с ним такого не случалось — возможно, нюх (главное в его профессии) начинает ему изменять.

Он даже вышел в туалет и несколько минут стоял перед зеркалом, пытаясь определить совершенно беспристрастно — старше или моложе своих пятидесяти лет он выглядит. «Да нет, во всяком случае, не старше», — подумал он успокоенно, скривив рот и массируя пальцами щеку. Спорт и сравнительно регулярный (насколько это доступно газет-

чику) образ жизни сохранили его в хорошей форме. Хотя старость иной раз начинается не снаружи...

— Хэлло, Дэйв,— сказал он, входя на следующее утро в кабинет президента административного совета «Консолидэйтед эйркрафт».— Вчера вечером меня впервые в жизни посетила мысль о старости. С тобой это уже бывало?

Дэйвид Флетчер встретил посетителя на середине своего просторного кабинета. Уже совершенно седой и отяжелевший от сидячего образа жизни, в немного старомодном двубортном костюме, синем в мелкую белую полоску, как носили в сороковых годах, он выглядел старше своего худощавого друга, одетого в грубошерстный шотландский home-spun [1]. Они обнялись, похлопали друг друга по плечам.

— Напрашиваешься на комплименты, бродяга,— сказал Флетчер. — От меня ты их не дождешься, и от Пэм тоже. Она возмутилась, узнав, что ты прибыл еще вчера. Мысль о старости — это тебе наказание за то, что предпочел просидеть вечер у себя в номере. Не знаю, впрочем, был ли ты один... Хотя в противном случае вряд ли тебя посетила бы эта мысль, а?

— Отчего же, многих она впервые посещает именно в тех обстоятельствах, которые ты имеешь в виду. Но я действительно был один,— вздохнул журналист. — Нужно было собраться с мыслями.

— Неприятности какие-нибудь?

Альтвангер, перебирая бутылки на полках вделанного в стену рефрижератора, пожал плечами:

— Как будто в моем деле можно обойтись без неприятностей!

— Ну-ну, не прибедняйся, тебе еще не приходилось попробовать настоящих.

— Видишь ли, Дэйв, во время войны я перевидал кучу генералов, и среди них не было ни одного, который не доказывал бы мне, что именно его дивизия занимает худший участок фронта... О, у тебя есть даже водка,— сказал он, вытащив бутылку с надписью «Смирнофф» на этикетке. — А я не думал, что ты пьешь столь подрывной напиток. Налить тебе?

— Немного, пожалуйста. Там есть апельсиновый сок, разбавь пополам. Ты к нам надолго?

— Зависит,— загадочно ответил Альтвангер. — Ну что ж, за встречу!

Они выпили. Альтвангер, держа в руке стакан, задумчиво смотрел в окно. За окном было туманное зимнее ненастье, мокрые газоны, голые прутья молодых тополей, высаженных вдоль бетонной дорожки к двухэтажному зданию лаборатории.

— Как Памела? — спросил он рассеянно.

— Как всегда. — Флетчер пожал плечами. — Ей следовало бы выйти замуж за губернатора штата, как минимум. Не понимаю, откуда у женщин эта страсть к общественной деятельности. Надеюсь, сегодня ты обедаешь у нас?

Альтвангер молча кивнул.

— Ну, к делу, Дэйв,— сказал он и отставил недопитый стакан. — Понимаешь, «Коллирс» всучил мне дохлую тему. На этот раз я свалял дурака и не сообразил отказаться сразу, ну а теперь... Теперь что ж — остается выдерживать марку.

— Что за тема? — поинтересовался Флетчер.

— Дерьмо, можешь мне верить. Сейчас узнаешь, но сначала скажи мне одну вещь. Ваша лавочка действительно ведет переговоры с немцами?

---

[1] Домотканый шерстяной материал, употребляемый для спортивной одежды.

Флетчер подумал, пощелкивая дужками очков.

— Это для печати?

— Черт возьми! Ты что, действительно думаешь, что я уже выжил из ума?

— Я понимаю. Ну что ж... Если этот разговор останется между нами, я отвечу «да».

— Великолепно, Дэйв. Каков характер этих переговоров?

— Тема, ты хочешь сказать? — Флетчер сложил очки и щелчком крутнул их по гладкой поверхности стола.— Тема переговоров... Видишь ли, немцы хотят купить лицензию на производство одного из наших прототипов. Мне лично это представляется разумным, так как интересующая их машина принята на вооружение воздушными силами НАТО, и, следовательно, есть смысл наладить серийный выпуск на месте, используя более дешевую рабочую силу. Если соглашение будет подписано... а я считаю это весьма вероятным... то, очевидно, некоторым нашим специалистам придется пожить какое-то время в Германии...

— Ясно, ясно,— невежливо оборвал Альтвангер.— В общем, это приблизительно то же, что я слышал из других источников. Насколько я понимаю, соглашение такого рода не сможет оставаться секретным?

— Нет, конечно. Как только начнется производство, секрет так или иначе перестанет существовать. Но в сегодняшней фазе эти переговоры строго секретны.

— Ясно. Дело в том, что мне поручена именно эта тема: вчерашние враги — завтрашние союзники. Почему я назвал ее дерьмом? Дэйв, она просто дохлая! Слушай, я не Липпман и не Олсоп, но я знаю свою профессию. И если я не уверен, смогу ли убедить в чем-то рядового американца, то значит, его в этом действительно трудно убедить. А как, спрашиваю я тебя, как и каким чертом убедить в необходимости германской ремилитаризации простого старика фермера, у которого где-то под Бастонью погиб единственный сын?

— Между нами говоря,— усмехнулся Флетчер,— их было не так много.

— Достаточно для страны, которая семьдесят лет не воевала всерьез. И дело не в цифрах потерь, Дэйв, дело в самом факте, что потери были. Кстати, на Тихом океане их было куда больше, а всякий знает, что не случись японцам подписать пакт с Гитлером, не случилось бы и Пирл-Харбора. Поэтому убитых на пляжах Таравы или Ивосимы можно точно так же считать жертвами Гитлера, как и тех, кто погиб в Хюртгенском лесу...

— Да, тема трудная,— подумав, сказал Флетчер.— Ну что ж, старина, на то ты и Альтвангер.

Тот неопределенно хмыкнул.

— Ты понимаешь,— заговорил он после недолгого молчания,— я просто не знаю, как за нее ухватиться. Нужен какой-то ключ, зацепка, что-то, чтобы ухватиться и тащить. Вот этого «что-то» я пока и не вижу... Ну, ладно! Придумаем что-нибудь, времени пока много. Вот пока единственное преимущество этого задания: никакой срочности, просто не верится. Очевидно, мы сделаем так: материал появится сразу после того, как будет подписано и опубликовано соглашение с немецкими фирмами. Кто еще участвует с нашей стороны?

— Точно не знаю,— осторожно ответил Флетчер.— Несколько фирм, производящих оборудование,— «Сперри», «Рэйтрон», «Бендикс». А кто из крупных авиастроителей...— Он пожал плечами, потом добавил: — Впрочем, мне называли Гленн-Мартина.

«Вонючка ты, старая лиса»,— беззлобно подумал Альтвангер. Он плеснул себе еще водки, понюхал и отставил в сторону.

— Ладно. Дэйв. я не сую нос в ваши кастрюли. Стряпайте что

хотите, но только дай мне знать заранее, как подойдет время кидаться к столу. Понимаешь? Черт возьми. Дэйв, я вовсе не хочу, чтобы меня тут опередили.

— Будь спокоен, старина, ты финишируешь первым. Кстати, насчет еды,— он посмотрел на часы и листнул настольный блокнот,— мы, очевидно, продолжим этот разговор у нас за обедом... вернее, после обеда, потому что мало ли кто может оказаться за столом. А сейчас у меня заседание, через двадцать минут. Ты когда приедешь?

— Заранее, старик, чтобы успеть до обеда соблазнить Памелу.

— Валяй, она будет рада.

— Будешь ли рад ты — вот вопрос...

Альтвангер вышел из кабинета и задумчиво уставился на секретаршу. Та была похожа на манекенщицу и сидела за полукруглым плексигласовым пюпитром, позволявшим посетителям коротать ожидание, разглядывая ее длинные красивые ноги. Он смотрел так долго, что девушка забеспокоилась и украдкой глянула куда-то за селектор— очевидно, там у нее было пристроено зеркальце. Потом она кокетливо улыбнулась:

— Забыли что-нибудь, мистер Альтвангер?

— Да нет,— сказал он,— просто смотрю и безуспешно пытаюсь понять, для чего вас сюда посадили — работать или строить глазки. Что это за поведение? Придется сказать шефу, чтобы он вас отшлепал. Впрочем, я и сам могу это сделать.

— Я закричу,— предупреждающе сказала секретарша.

— И еще как! Рука у меня довольно тяжелая. Вечером свободны?

Секретарша выпятила губку:

— Определенно не для вас, сэр!

— Дурочка, я не имел в виду себя. У меня в номере сидит Марлон Брандо и подыхает от скуки. Но раз вы заняты, ничего не поделаешь! Возьмите тогда в лапку карандаш, быстро, и запишите мне телефон редактора «Саутерн Хералд»...

— Лео, ты чем-то озабочен,— сказала Памела Флетчер, когда ушли гости и они остались втроем.— У тебя неприятности?

Альтвангер досадливо поморщился.

— Я уже ему рассказывал.— Он кивнул на задремавшего в кресле Дэйвида.— Не знаю, как взяться за тему. Вот проклятье!

Он встал, походил по комнате, держа руки в карманах, потом снова сел. Миссис Флетчер смотрела на него выжидающе.

— О немцах,— сказал он.— Понимаешь, Пэм? О воздушных силах бундесвера. О том, как мы помогаем создавать новую «Люфтваффе». Ты представляешь себе, каким образом можно подать все это читателю?

— Почему же нет? — спросила миссис Флетчер.

Альтвангер уставился на нее с изумлением, потом рассмеялся и безнадежно махнул рукой.

— Женщинам всегда все кажется простым,— не открывая глаз, заметил из своего кресла Дэйвид.— Впрочем, иногда они действительно находят выход там, где его не увидит мужчина. Дорогая, ты помнишь глупейшую историю с Джойей?

— Нет, но я в самом деле не понимаю — почему нельзя интересно рассказать американскому читателю о бундесвере? — Она пожала плечами, глядя на Лео с искренним недоумением.

— Пэм, девочка,— вздохнул тот.— Дело не в интересности. Интересно можно рассказать о чем угодно, хоть о жизни элементарных частиц. Моя задача — не развлечь читателя, а убедить. Понимаешь?

— Я понимаю,— миссис Флетчер кивнула,— но почему ты думаешь, что читатель не поймет того, что понимаем все мы? И вообще, неужели есть еще люди, не убедившиеся в необходимости восстановить Германию? Смею тебя уверить, Лео,— сказала она значительным тоном,— среди моих знакомых их нет.

— Пэм, ты просто прелесть,— сказал Альтвангер,— я бы тебя увез от твоего толстого бизнесмена, будь мы на тридцать лет моложе. Не будем говорить больше о политике, моя радость.

— Ты уклоняешься, потому что тебе нечего возразить,— торжествующе заявила она.— Значит, никаких трудностей с твоей темой больше нет?

— Господь моя сила,— с отчаяньем простонал Альтвангер,— ну и логика! Дэйвид, плесни мне чего-нибудь укрепляющего, иначе я не выдержу. Слушай, Пэм! Ты, во-первых, всегда была германофилкой, не так ли? Во-вторых, у тебя немцы не убили никого из близких. Ну а как насчет других?

— Я понимаю, что ты хочешь сказать.— Миссис Флетчер опять величественно кивнула своей аметистовой прической.— Но позволь мне заметить, что наших мальчиков убивали наци, а не «немцы вообще». И второе: только Германия может сейчас в какой-то степени стать гарантией от русской агрессии против Европы, а если такая агрессия произойдет — убитых будет больше, чем в сороковых годах. Намного больше, Лео!

— Конечно, конечно. Но послушай, Пэм, русская агрессия — это пока еще только, так сказать, теория. А две войны с немцами при жизни одного поколения — это реальность, от которой никуда не денешься.

Миссис Флетчер возмущенно пожала плечами:

— Прости, Лео, я тебя не понимаю! Ты-то сам вообще согласен с нашей политикой в отношении западных немцев? Или, по-твоему, их следовало бы оставить сегодня безоружными лицом к лицу с русскими?

— Если хочешь мое откровенное мнение — немцу вообще нельзя давать в руки никакого оружия, даже охотничьего.

Наступило молчание.

— Ты всегда оригинальничал своими взглядами, Лео,— сказала наконец Памела Флетчер.— Так что этим ты уже никого не удивишь. Удивляет меня другое. Как ты мог взяться писать вещи, в которые сам не веришь?

— А что оставалось делать? — огрызнулся Альтвангер.

— Как это — что? Ты говоришь так, словно у тебя дома голодная семья и нет никакой возможности заработать, кроме этой статьи...

Альтвангер поморщился:

— Дело не в заработке, Пэм, ты же это отлично знаешь. Если бы все сводилось только к заработку, половина этических проблем нашего времени перестала бы существовать... Да будем говорить прямо: если какой-нибудь голодный сукин сын нанимается сделать пакость за стоимость бифштекса, то это даже не вопрос этики. Это, дорогая моя Памела, просто биология. А если сук...— он осекся, встретив негодующий взгляд своей собеседницы, и тут же вывернулся: — если, говорю, субъект вроде меня, имеющий сорок тысяч годового дохода...

Дэйвид Флетчер, словно разбуженный волшебным словом, раскрыл глаза и сонно уставился на приятеля.

— Врешь,— заявил он,— никогда ты не зарабатывал сорок тысяч.

— Как это не зарабатывал! — подскочил Альтвангер.— В прошлом году от одной только «Кинг Фичерз» я получил в общей сложности около...

— Это неважно, Лео,— сказала миссис Флетчер, прерывая его вос-

поминания.— Зарабатываешь ли ты в год тридцать тысяч или пятьдесят — разница уже не существенна. Так или иначе, ты останешься обеспеченным человеком, свободным от необходимости жертвовать убеждениями ради заработка. Чем же тогда объясняется такая жертва?

— Надо полагать — привычкой! Ты говоришь: «писать вещи, в которые сам не веришь». Но, дорогая моя, я ведь занимаюсь этим всю жизнь! Исключением были годы войны — до некоторой степени исключением. А все остальное время... В молодости я это делал, чтобы удержаться на месте, потом — чтобы завоевать расположение начальства, потом — чтобы укрепить его, ну и так далее. А теперь мне плевать на всех — у меня нет никакого начальства, семья обеспечена,— но привычка осталась. Осталась привычка не подходить к порученной теме со своей личной точки зрения, а оценивать все глазами читателя. Что́ думаешь ты сам — неважно; важно — что́ подумает читатель. Это даже не измена убеждениям, это просто отказ выносить их наружу. Поэтому я и буду писать этот материал о ремилитаризации Германии, хотя сам ей не сочувствую.

— Поэтому ты и не знаешь, как начать. Не так-то просто писать против своих убеждений, я думаю.

— Честно говоря, со стороны это кажется труднее, чем на самом деле,— усмехнулся Альтвангер.— Дело не в этом. Мне просто нужно ухватиться за что-то, а там дело пойдет.

Они помолчали, Альтвангер стал расспрашивать про общих знакомых.

— Со многими я уже даже не переписываюсь,— сказала миссис Флетчер.— Если не считать поздравлений к праздникам. Мы ведь живем в захолустье, Лео, не то что ты — вечный путешественник.

— Бедняжка,— сочувственно сказал Альтвангер.— Конечно, при вашей бедности не поездишь. А вы попробуйте по способу той шотландской пары, которая совершила свадебное путешествие даром. Знакомый капитан устроил их в угольном бункере.

— Ах, при чем тут деньги. Ты же знаешь Дэйвида! Он не может просидеть без дела больше десяти дней. В прошлом году я повезла его на Гавайи — причем до этого у нас месяца три были сражения каждый вечер, хотя врачи признали у него общее переутомление, и спать он уже не мог, и с язвой у него стало хуже,— и что же ты думаешь, уже через две недели пришлось вернуться, потому что у него началась просто какая-то черная меланхолия. А приехал сюда — ожил. И самое любопытное, Лео, это то, что он не всегда был таким одержимым. Ведь ты помнишь его до войны...

— Вспомнила,— проворчал проснувшийся Дэйвид.— До войны и конъюнктура была совсем другой...

— Дело не в конъюнктуре, мой милый. Дело в том, что тогда ты еще был человеком, а не бизнесменом. Нет, Лео, с таким супругом не устанешь от обилия новых впечатлений.

— Не верь ей, старик,— сказал Дэйвид.— Как можно жаловаться на скуку, если в доме постоянно кто-то толчется? Да у нас недели не проходит без какого-нибудь чертова приема!

— Да, faute de mieux,[1]— вздохнула миссис Флетчер.— Кстати, Дэйв, ты чудовищно распустил свой язык, мне то и дело приходится за тебя краснеть. Что же касается моих приемов, то ты очень ошибаешься, думая, что они так веселы. Я, если хочешь, только исполняю свой долг перед обществом.

— Любопытное понимание долга...— проворчал Дэйвид, снова закрывая глаза.

---

[1] За неимением лучшего (*франц.*).

— Сочувствую, Пэм,— сказал Альтвангер.— Мне известно, что значит провинциальное общество. В основном все служащие фирмы?

— Да, в основном наши люди. Малоинтересный народ, надо сказать. Хотя среди них попадаются — изредка — и заслуживающие внимания. Есть, например, один молодой инженер, в фирме сравнительно недавно... Очень оригинальная личность. С собственными взглядами, правда ошибочными, но это объясняется молодостью. Мне понравилось, что он думает независимо, и говорит то, что думает...

— Редкое качество,— пробормотал Альтвангер, закуривая.

— О, да! Кстати, взгляды его, очевидно, более или менее совпадают с твоими — я имею в виду отношение к германской проблеме. Этот юноша тоже считает, что Рузвельт был прав, вмешавшись в европейский конфликт.

— Господи,— Альтвангер пожал плечами,— думать иначе может только тот, чье понимание политики находится приблизительно на твоем уровне.

— Благодарю, дорогой, ты сегодня так любезен.

— Но согласись, Памела...

— Послушай, Лео, мы с тобой часто спорили на эту тему, и сейчас мне не хотелось бы портить вечер, серьезно. Я тебе одно скажу: я твердо убеждена, что правильное понимание германской проблемы доступно только людям беспристрастным и, так сказать, лично в ней не заинтересованным. Видишь ли, ты — полунемец-полуеврей, у тебя не может быть к Германии беспристрастного отношения. У этого молодого человека, о котором я упомянула, во время войны погиб в Германии отец — естественно, что и он не может теперь относиться к этой проблеме спокойно и беспристрастно. Кроме того, он молод. Скоро, очевидно, он поедет в Германию, поживет там, узнает людей — я думаю, многое в его взглядах тогда изменится... Ты ведь знаешь, что мы посылаем туда наших инженеров?

— Да, Дэйв мне говорил,— рассеянно отозвался Альтвангер. Он поднялся и начал вышагивать по ковру, заложив руки в карманы и щурясь от дыма собственной сигареты. Памела Флетчер продолжала что-то говорить, но он пропускал ее слова мимо ушей.

— Слушай, Пэм,— сказал он, остановившись.— Кто, ты говоришь, этот парень с независимыми взглядами? Расскажи-ка мне о нем.

— О Хартфилде? О нем, собственно, многого не расскажешь. Типичный молодой инженер, хорошо знающий свое дело и плохо разбирающийся во всем остальном...

— Положим, в политике он разбирается!

Миссис Флетчер пожала плечами:

— Мне кажется, из его высказываний можно сделать вывод как раз обратный, но сейчас я имела в виду не это. Я хочу сказать, что он не знает ни литературы, ни театра...

— Господи, кому это теперь нужно. Он на хорошем счету в фирме?

— О да. Делонг отзывается о нем хорошо, а это один из лучших наших конструкторов, с большим опытом.

— Так, так...— Альтвангер помолчал, что-то соображая.— А его отец, ты говоришь, погиб во время войны, и в Германии?

— Да, он был летчиком, насколько помнится.

— Летчиком? Черт, совсем здорово. Как здорово, Пэм!

Миссис Флетчер посмотрела на него вопросительно:

— Что «здорово»?

— Ничего, ничего, мне пришла в голову одна мысль,— торопливо ответил Альтвангер после некоторого молчания.— Ты говоришь, его тоже посылают в Германию?

— По-моему, я это слышала. Дэйв, скажи-ка... Дэйвид!

— А, что? — забормотал спросонья Флетчер.

— Дэйвид, вопрос о посылке молодого Хартфилда в Германию решен окончательно?

— Какого Хартфилда? Из отдела рекламы?

— Да нет же, я говорю про Хартфилда из конструкторского бюро.

— Помилуй, Пэм, откуда мне знать, кого туда посылают! У нас на заводе три тысячи инженеров... — Президент административного совета пробормотал еще что-то невразумительное и снова захрапел.

— Минутку, сейчас я это выясню,— сказала миссис Флетчер. Она позвонила и сказала вошедшему лакею: — Джонс, будьте добры, телефон. Спрошу у шефа персонала,— объяснила она Альтвангеру. — Проще было бы узнать у Делонга, но он сейчас на одной из наших испытательных баз, кстати и сам Хартфилд там же...

Лакей вернулся с аппаратом, поставил на диван возле миссис Флетчер и исчез, протянув через всю гостиную длинный шнур. Миссис Флетчер набрала номер.

— Мистера Сомерсета, пожалуйста,— сказала она, накручивая на палец нитку жемчуга.—Хэлло, Дик! Угадайте, кто вас беспокоит... Да-да, совершенно верно. Ну еще бы, провести в а с! Как у вас дома, все благополучно? Как Мэрион? Спасибо, Дик... Спасибо, вполне... насколько это возможно в нашем возрасте! Надеюсь видеть вас у себя в следующий четверг, передайте Мэрион, хотя я и сама ей позвоню. Дик, у меня к вам маленькое дело. Скажите, вы помните фамилии наших инженеров, намеченных к заокеанской поездке? Ну, еще бы, ваша память! Есть среди них такое имя — Фрэнклин Хартфилд? Есть, да? Это вы точно помните? Что? А, ну еще бы, я понимаю... Нет-нет, это не согласовывалось ни с кем из них, насколько мне известно. Вы понимаете, на этой стадии просто не имело смысла... Ну конечно, еще будет время...

Миссис Флетчер поговорила еще с минуту, обсуждая какие-то местные новости; уже прощаясь, она вдруг спросила:

— Кстати, Дик, об этом Хартфилде... Вы хорошо знаете его досье? Что там было с его отцом — не помните подробностей?..

— Так вот,— сказала она Альтвангеру, выслушав ответ своего собеседника и повесив трубку. — Хартфилд намечен к посылке, это совершенно точно, так что если соглашение будет подписано, он туда поедет. А его отец был командиром «Летающей крепости», в чине капитана, и погиб в сорок третьем году. Но не понимаю, почему он тебя так заинтересовал?

— Потому что это ключ, Пэм! — воскликнул Альтвангер, щелкнув пальцами.— Ты понимаешь ситуацию: сын помогает стране, в которой погиб его отец!

— Но позволь... Это как раз тот случай,— удивленно сказала миссис Флетчер,— когда — по твоим же словам — наименее уместно говорить о нашем сотрудничестве с Германией...

— Совершенно верно! — Альтвангер вскочил и, весело пробежавшись по комнате, остановился перед диваном.— Совершенно верно, моя девочка! Именно поэтому я за него и ухватился! Здесь, понимаешь ли, вступает в дело психология пропаганды. Существует закон: если в системе твоих рассуждений есть какой-либо уязвимый момент, могущий стать ахиллесовой пятой всей системы, то обходить и замалчивать его опасно. Опасно, потому что оппоненты сыграют на этом. Понимаешь? В таких случаях остается один выход: опереться именно на этот уязвимый момент, сделать его своей опорной точкой. Геббельс, скажем, в своей пропаганде не мог отрицать того, что в Германии нет свободы; обходи он этот вопрос молчанием — даже самые тупые из немцев могли бы призадуматься. Поэтому он с этого вопроса и начинал — он говорил

прямо: «Да, свободы у нас нет, так как свобода является мифом либерально-иудейского происхождения и истинным арийцам не нужна». Понимаешь? Этим он в какой-то степени парировал заранее возможные доводы своих противников. Ловко?

— Ты, разумеется, как всегда упрощаешь, — сказала миссис Флетчер слегка недовольным тоном. — Но допустим. Какое же отношение имеет это к твоей теме?

— Неужели ты еще не уловила? — изумился Альтвангер. — Да ведь это тот же случай, Пэм! Ведь первый аргумент против ремилитаризации Германии — и, надо сказать, самый убийственный — это жертвы, принесенные нами во второй мировой войне. Не коснуться этого вопроса я не могу, ты сама понимаешь. Что же я делаю? Да я с него и начинаю! Я прямо беру случай этого парня и делаю его гвоздем всего материала. Там, где нельзя подействовать на логику, действуют на эмоции. Дэйв, послушай-ка, Дэйв!

Дэйвид Флетчер выпрямился в кресле, сонно моргая, и сунул в рот сигарету.

— Удивительно, как меня сегодня разморило...— промычал он, щелкая зажигалкой.

— Слушай, Дэйв! — торжествующе сказал Альтвангер.— Похоже, что я нашел именно то, что искал.

— Ну, я же тебе говорил, что вы вдвоем что-нибудь придумаете...

— Точнее будет сказать, что нашел это я. Пэм этого момента просто не заметила, а у меня сработало сразу. Чутье как-никак! А что вы думаете, тридцать лет работы в прессе — это, дети мои, срок! Так вот, послушай...

Альтвангер изложил свою мысль — обыграть случай молодого инженера, чтобы он стал стержнем всего материала. Дэйвид Флетчер слушал, одобрительно кивая.

— Ну что ж,— сказал он, выслушав все,— идея, мне кажется, неплохая...

— Неплохая?! — закричал в восторге Альтвангер.— Гениальная, старый ты тюфяк!

— Возможно, возможно,— согласился Флетчер.— Видишь ли, я не специалист по части психологии и прочих штук, тут тебя скорее понял бы наш Рэттиган... Но звучит это убедительно. Что ж, действуй! Ты, конечно, помнишь — ни строчки в печать, пока...

— Господи, само собой разумеется! Я сделаю так, Дэйв: материал, подготовленный полностью, с клише и прочим, будет ждать в сейфе. Понимаешь? В тот же день, когда будут опубликованы соглашения, он пойдет на ротацию. Тут уж меня никто не обскачет! Да, насчет фото! Дэйв, я пришлю фотографа, и пусть он нащелкает этого парня в разных видах. За чертежным столом, где-нибудь в цехах, дома — словом ты понимаешь. Он будет делать это тайком — такие снимки всегда получаются естественнее, и ваш парень ничего не будет знать. Пропуск фотографу ты устроишь?

— Попытаюсь,— кивнул Флетчер.— Не во все места, разумеется, но попытаюсь.

— Мальчики, но для самого Хартфилда это будет такой сюрприз! — воскликнула миссис Флетчер.— Представляете — увидеть статью о себе в таком журнале, как «Коллирс»! Нет, я от души за него рада...

8

Осенью они с Роем договаривались провести будущий отпуск на юге — во Флориде или на Кубе, выбрав время так, чтобы оно совпало с разгаром рыболовного сезона; Рой, побывавший год назад на карибб-

ском побережье, говорил, что нет лучшего спорта и отдыха, чем кубинская pesca mayor [1]. Но за этот месяц, проведенный в пустыне, Фрэнк так возненавидел песок и синее небо, что, когда после окончания работ на базе Делонг предложил ему взять отпуск немедленно и поехать вместе на Север, он тотчас же согласился.

Они прилетели в Уиллоу-Спрингс после обеда. Фрэнк, у которого в самолете разболелась голова, отправился домой, а Делонг поехал на завод. Вечером он зашел к Фрэнку и сказал, что его отпуск срывается, так как возникли какие-то осложнения с новым проектом.

— А вы поезжайте,— сказал он, предваряя вопрос Фрэнка.— На заводе не появляйтесь, а то зацепят и вас. В случае чего, скажете, что вопрос об отпуске был согласован заранее, а об изменении ситуации вам ничего не известно. Понимаете, сынок?

Фрэнк поколебался — удобно ли будет удрать таким манером, но он очень устал за последнее время, и если сам Делонг советует...

— Ладно,— кивнул он,— завтра меня здесь не будет. Жаль, что сорвалось у вас.

— Ничего не поделаешь.— Делонг пожал плечами.— Такая уж профессия.

Фрэнк разлил пиво, они молча опорожнили по стакану, Делонг стал сосредоточенно ковыряться в своей трубке.

— А вы не разочаровались еще? — спросил он небрежным тоном.

— Нет,— помедлив, отозвался Фрэнк.— В нашем деле много неприятного... Как и во всяком другом, мне кажется. И многое делается не так, как следовало бы. Но ведь делаться-то это должно, так или иначе, не правда ли?

— К сожалению, к сожалению,— сказал Делонг, рассеянно оглядывая комнату. Помолчав, он спросил: — Вам известно что-нибудь о наших переговорах с немцами?

— Бойд говорил что-то, но он и сам толком ничего не знает. По-моему, это несерьезно. Я не совсем представляю себе, о чем мы можем с ними договариваться.

Делонг налил себе еще пива и медленно выпил, двигая кадыком.

— В принципе, мы можем договариваться с ними о чем угодно,— сказал он, не глядя на Фрэнка. — Вплоть до передачи лицензий на постройку наших машин. И вплоть до сотрудничества в разработке новых — на немецких заводах.

— Бред какой,— фыркнул Фрэнк. — Чтобы мы с ними сотрудничали? Никогда не поверю. Явная сплетня, сэр. Я никогда не был шовинистом, но...

Он пожал плечами. Делонг помолчал, дымя трубкой, потом заговорил о лыжах, спросил, не собирается ли Фрэнк побывать в Канаде, и посоветовал одно хорошее место для слалома, еще не разнюханное туристами. Фрэнк ответил, что скорее всего проведет отпуск в родных местах в штате Мэн.

— Вы там где жили? — спросил Делонг.

— О, такой крошечный городишко, Мэплз-Вэлли. В четверть этого, хотя в детстве он мне казался большим.

— Мэплз-Вэлли...— мечтательно повторил Делонг. — Сынок, знаете, о чем я вас попрошу? Привезите мне кленового сиропа — такую здоровенную банку галлона на два. Здесь в лавках не найдешь ничего похожего, сплошная подделка. А вы привезите мне именно оттуда, хорошо?

— Считайте, что банка уже у вас в кладовой,— улыбнулся Фрэнк. — Вы тоже любите оладьи с сиропом? Мальчишкой я ими просто об-

[1] Ловля крупной рыбы (*исп.*).

жирался. А помните, как весной собирают сок, а? Совсем ранней весной, когда еще всюду снег...

— Не говорите,— подхватил Делонг.— Все-таки идиотство с моей стороны — полжизни проторчать на этом проклятом Юге. Как здесь живут, вы мне скажите? Ни снега, ни зелени, ничего! Песок да колючки. А в Калифорнии меня от тамошних расписных красот просто тошнит... Не страна, а сплошной «техниколор»... По-моему, творцу явно изменил вкус, когда он создавал южную природу.

— Да, у нас там хорошо... Знаете, я недавно пожалел, что не остался дома. Был бы каким-нибудь лесорубом, жил бы в лесу...

— Увлечение Торо? — Делонг усмехнулся.— Или начало разочарования?

— Ни то, ни другое,— сказал Фрэнк.— Торо я читал еще в колледже и сейчас не помню ни строчки, а насчет разочарования я вам уже сказал. Почему вы всякий раз спрашиваете об этом?

— Да нет, мне просто показалось, что вы в последнее время утратили часть своего былого энтузиазма.

— Я устал за этот месяц. И потом... Эта новогодняя катастрофа с «Локхидом» меня несколько... ошарашила.

Делонг пожал плечами, иронически глядя на Фрэнка:

— Не предполагали, что самолеты иногда разбиваются?

— Не в этом дело, сэр. Я не предполагал, что их разбивают сознательно... или почти сознательно, скажем так.

Делонг поковырялся в трубке, посмотрел мундштук на свет, подул его.

— Вы не совсем правы, сынок... в данном случае,— сказал он.— Прежде всего, гибель прототипа обходится фирме в слишком солидную сумму, чтобы можно было идти на это «почти сознательно»... Конечно, «Локхид» торопился со сдачей машины, и скорее всего торопился потому, что им грозила какая-то неустойка. Но это все же недостаточное основание для подобных... обвинений. — Он строго посмотрел на Фрэнка из-под кустистых бровей. — Кроме того, не забудьте, что погибший пилот был служащим фирмы, несомненно знал испытываемую машину, знал ее характер и, уж разумеется, представлял себе размеры опасности. Это была деловая сделка, сынок, каждая сторона шла на сознательный риск. Так что вы сделали не совсем правильный вывод из этой новогодней истории... несомненно поучительной, добавлю от себя.

— Какой же вывод сделали бы вы, сэр?

Делонг спрятал трубку в карман, посмотрел на часы и поднялся, устало потягиваясь.

— Я этот вывод сделал много лет назад,— сказал он,— когда впервые столкнулся с подобными фактами. Пожалуй, нет смысла излагать его перед вами... сейчас. Мне все же хотелось бы, чтобы вы доходили до всего своим умом. Ну ладно, сынок! Так вы завтра едете?

— Утром,— ответил Фрэнк, пожимая ему руку.

— Да, поезжайте утром, и чтобы вас никто из наших не видел. А то застрянете до лета, как я!

Делонг подмигнул, хлопнул Фрэнка по плечу и вышел. Снизу, из холла, он крикнул, чтобы Фрэнк не забыл про кленовый сироп.

Фрэнк посидел, покурил, допил пиво, потом решительно вытряхнул из головы все мысли, связанные с работой, и стал думать о снеге, о лыжах, о бледно-голубом небе над лесистыми холмами Мэна. Ему так захотелось домой, что он вскочил и стал лихорадочно собираться, швыряя в чемодан скомканные сорочки.

Покончив со сборами, он поехал к Рою. Тот встретил его в пижаме, вполголоса заорал от восторга, но в комнату не пустил, загораживая собою полуоткрытую дверь.

— Ладно, я понимаю,— догадался Фрэнк,— выйди тогда сюда, поговорим на лестнице.

Рой вышел с бутылкой, тщательно притворив дверь; они сели на ступеньках, выпили, обменялись новостями.

— Ты знаешь,— сказал Фрэнк,— боюсь, нам с тобой тунца не удить. Я уже получил отпуск и завтра утром качу на Север.

— Ты что, спятил? — подозрительно спросил Рой.

— Да нет, просто мне все здесь осточертело. Хочется наконец понюхать снега. Так что, старина, ты меня извини за то, что срываю план...

— Уж не думаешь ли ты, что я не найду тебе замены? — Рой пренебрежительно сплюнул. — Я наберу себе таких девочек, что ты еще побежишь за моей машиной, скуля от зависти.

— Кстати о машинах,— сказал Фрэнк,— мне сейчас придется забрать твою. Я на своей развалине не доеду и до Кентукки, а здесь в городе она тебе послужит. В случае чего, поездишь пока с кем-нибудь из наших парней.

— Ничего себе придумал! — недовольно проворчал Рой, недавно купивший новый «крайслер».— На твоем шарабане и до завода не доберешься!

— Я же добираюсь,— возразил Фрэнк.— Все-таки восемь миль или три тысячи — разница?

Баттерстон, ворча, принес ключи.

— Ты что, сразу утром и уезжаешь? — спросил он.— Я бы на твоем месте заехал на завод, по-моему, там были о тебе какие-то разговоры...

— Обо мне? Тем больше оснований не заезжать. Старого зануду сцапали в последний момент — мы должны были ехать вместе, он только заскочил на завод сдать документацию. Потом приходит и говорит, что у него сорвалось. Нет, я удираю! Слушай, а что обо мне говорили?

— Не помню точно,— сказал Рой, разливая остатки из бутылки.— Но что-то хорошее. Держу пари, ты скоро обскачешь меня на два корпуса. Черт с тобой, скачи, я независлив. За твои успехи!

— И за твои,— подмигнул Фрэнк, ткнув большим пальцем через плечо, на закрытую дверь.

— В этом смысле ты за меня не беспокойся,— хвастливо сказал Рой.— Еще увидишь, какой экип я сколочу для поездки во Флориду!

— Охотно верю. Но только твоя рыбная ловля кончится тем, что на крючке повиснешь ты сам. И как повиснешь!

Рой ударил себя кулаком в грудь:

— Нет еще такого крючка, на котором можно подвесить старого Баттерстона! Ну ладно, проваливай, меня ждут. Напиши, как там ваш Мэн. Да, а ключи от твоей развалины?

— Держи. Тоже мне, «развалина»! Посмотрим, в каком состоянии вернется твоя красотка.

— Воображаю,— сказал Рой.— Уж что-что, а портить машины ты мастер. Гений! Кстати, насчет маршрута, — я бы тебе посоветовал так: езжай сейчас через Ловингтон, Хоббс, Эндрюс, а в Одессе вырвешься на восьмидесятую — и жми прямо на восток, через Даллас — Монтгомери. До Саванны, а потом наверх вдоль побережья, а? Немного дальше, зато теплее. И можно не бояться заносов...

— Да нет, куда такой крюк! Я лучше поеду по Шестьдесят шестой, напрямик. Оклахома, Миссури, Иллинойс, а там вдоль озер — и дома. Я тебе говорю, сыт Югом по горло. Ну, счастливо!

Утром он выехал совсем рано, когда только всходило солнце. На виадуке, переброшенном через ведущее к заводу шоссе, он притормозил и опустил запотевшее боковое стекло. Плотный поток машин нетороп-

ливо двигался внизу в одном направлении — через полчаса на заводе заступала утренняя смена. Машины останутся на громадном бетонном поле заводского паркинга, а шесть тысяч человек, одетые в одинаковые голубые комбинезоны, неся в руках одинаковые алюминиевые ящички с захваченным из дому завтраком, разойдутся к плазам и сборочным конвейерам, к испытательным стендам, к термическим печам, к прессам и молотам, к фрезерным и токарным автоматам. А час спустя оживут помещения лабораторий, конструкторского бюро, вычислительного центра, автобусы выгрузят перед административным корпусом пеструю щебечущую толпу девушек, и несколько длинных черных «паккардов» с достоинством займут свои обведенные цветными полосами и пронумерованные места у главного подъезда. Начнется новый рабочий день, а он сам, Фрэнк Хартфилд, будет тем временем преспокойно катить на северо-восток, к снегу и кленовым долинам штата Мэн. Хорошо!

Он прибавил газ, повернул регулятор отопления, включил радио. Город и завод остались позади, прямая и пустынная автострада рассекала степь надвое, справа вставало красное зимнее солнце. Радио передавало какую-то успокоительно-глупую смесь реклам и музыки, мотор работал как часы, нигде в кузове не было слышно никакого скрипа, не ощущалось вибрации, хотя стрелка устойчиво стояла на семидесяти милях. Фрэнку стало жаль Роя, у которого он бесцеремонно забрал такую приятную машину.

Впрочем, эта мысль не испортила ему настроения. Впереди был хорошо заслуженный отдых — целый месяц без единой мысли в голове, за три тысячи миль от этого проклятого завода. А когда он вернется на проклятый завод, это тоже будет здорово, потому что за месяц он, пожалуй, все-таки соскучится по всему тому, что принято ругать походя,— по чертежам и бумажным лентам с бесконечными колонками цифр, по истошному вою турбореакторов в испытательных камерах, по усталости после рабочего дня и по нравоучениям старого зануды Делонга. Хорошо, черт возьми! Фрэнк сдвинул шляпу на затылок и, прибавив еще десять миль скорости, во все горло заорал «О, Сусанна».

На пятый день путешествия, уже в Нью-Хэмпшире, его встретили заносы. Сотни машин, брошенных на автостраде Бостон — Манчестер, застыли аккуратными цепочками сугробов, и непрекращающийся снегопад все больше и больше сглаживал их очертания. К счастью, Фрэнк застрял у самого выезда из городка, где жили старые знакомые их семьи; с трудом вернувшись назад, он оставил машину на их попечение и добрался до Мэплз-Вэлли по железной дороге.

Дома ему пришлось испытать то, что обычно случается с людьми после долгого отсутствия: приехав утром, он уже к вечеру почувствовал, что и мать, и обе сестры, и старший брат — все они в какой-то степени успели за эти годы неуловимо отдалиться от него, создать какую-то свою, не совсем понятную ему жизнь, какой-то свой круг не затрагивающих его интересов. Впрочем, разумеется, это не они отдалились от него, а он от них — они жили вместе, а он вылетел из гнезда. Понимая это, Фрэнк не был в обиде на своих, но ему стало как-то грустно.

Мать, как это и было видно раньше из ее писем, всецело посвятила себя делам прихода, перепоручив домашние заботы невестке; старшая сестра, замужняя, жила отдельно, младшая Сью была поглощена своими сердечными делами и то и дело звонила по телефону. Брат Джеремия «делал карьеру» в банке и изучал бухгалтерию на каких-то заочных курсах. Вздумай Фрэнк рассказать здесь о тех мыслях, которые

мучили его на испытательной базе после гибели «Локхида», — никто бы ничего не понял.

Вечером он пошел прогуляться по знакомым местам. С особенным удовольствием ощущал он на себе непривычную теплую одежду, тяжелые непромокаемые башмаки, меховую шапку с опущенными наушниками. Беззвучно шел снег, желтые квадраты света лежали перед окнами в палисадниках, тишина и острые крыши (Фрэнк отвык от них среди белых и плоских построек Юга) делали городок похожим на рождественскую открытку. Он дошел до конца Орчард-стрит, безошибочно нашел знакомую с детства тропинку через сад, который когда-то принадлежал старику Грили, и стал подниматься по отлогому склону поросшего соснами холма.

У сросшихся вместе двух сосен, почти на самом гребне, он утоптал снег, наломал охапку веток и сел, подтянув колени к подбородку. Внизу мерцали городские огни — редкие и желтоватые, они тоже были какими-то игрушечными; казалось неправдоподобным, что эти тусклые лампочки подключены к тем же генераторам, которые питают током гигантские зарева неона к югу и западу от Мэплз-Вэлли...

Фрэнк закурил и тотчас же бросил сигарету: кощунством показалось ему осквернять никотином этот чистейший воздух. Он съел горсть снега, радуясь его пресному вкусу, потом слепил плотный снежок и запустил куда-то между сосен. Потом просто сидел и слушал тишину.

И эта тишина тоже казалась ему неправдоподобной. Неправдоподобным было вообще существование этого тихого лесного края, зажатого в кольцо грохочущим миром цивилизации, края, где ничто не изменилось со времен его детства. Началась и окончилась мировая война, были разрушены одни государства и созданы другие, пятьдесят миллионов человек погибли на земле, в море и в воздухе, умерщвленные многими разнообразными способами — начиная от простейшего и кончая наиболее усовершенствованным, найденным в результате многолетней работы самых гениальных умов двадцатого века,— а в штате Мэн все так же рубили лес, сажали и выкапывали картофель, ловили рыбу и пасли коров.

Это была другая Америка, совсем не похожая на ту, что он только что пересек в своем автомобиле. И можно было не задаваться праздным вопросом относительно того, какая из двух является подлинной: обе они были неотделимы одна от другой, обе составляли лицо страны.

Фрэнк опять достал сигареты и закурил, на этот раз машинально. Он сидел и вспоминал свои поездки по стране, думая о ней с какой-то растерянностью. Страна огромная, немыслимо огромная и многоликая, не укладывающаяся в рамки какого-то определенного цельного представления. Что нужно сказать, чтобы определить Америку в нескольких словах, дать картину страны не знающему ее человеку? В Тулузе французские коллеги часто задавали американцам этот вопрос, и ни Фрэнк, ни его сослуживцы — никто из них никогда не находил подходящих слов.

Пожалуй, все же именно это многообразие и является в какой-то степени главной определяющей чертой Америки, думал он сейчас. Многообразие и изобилие. Изобилие всего — хорошего и дурного, нужного и ненужного, облегчающего жизнь человека и превращающего ее в стерильную и обернутую целлофаном каторгу...

Две совершенно разные страны. Одна — Америка человекоподобных машин и людей, уподобившихся машинам, страна безостановочных конвейеров и неустанной погони за прибылью, обреченная на бесконечное кружение по замкнутой орбите — в погоне за новыми и новыми средствами для достижения несуществующей цели. Он, инженер Хартфилд, принадлежит этой Америке душою и телом, если в данном случае

уместно говорить о душе; с этой Америкой связана вся его жизнь, его работа, все его планы на будущее. И удивительно, с какой силой охватывает его иной раз тоска по совсем другой Америке — по этой, лежащей сейчас перед ним в мирной тишине и безмолвии, по старой патриархальной Америке фермеров и лесорубов...

Очевидно, эта Америка отомрет так же, как в наши дни отмирает в мире все старое и патриархальное. Не менее очевидно также, что он, инженер Хартфилд, всей своей деятельностью мало-помалу способствует тому, чтобы от этой Америки, страны его детства, поскорее осталось одно лишь романтическое воспоминание. А кто от этого выигрывает?

Определенно, ему следовало сделаться лесорубом. Самым обыкновенным лесорубом, лучше даже неграмотным. Дня три назад в маленьком придорожном ресторанчике на границе Канзаса и Миссури к нему снова вернулась эта мысль, впервые посетившая его там, еще на базе Грейт-Салинас. К ресторанчику одновременно с ним подъехал древний автомобиль неопределимой марки — представитель вымершей породы начала тридцатых годов, какой-нибудь «апперсон», «пирлесс» или «грэхэм-пэйдж». За рулем ископаемого сидел парень в комбинезоне, приблизительно одного с Фрэнком возраста и даже чем-то на него похожий. Они поставили машины рядом, Фрэнк поинтересовался маркой, но парень этого не знал и вообще не выразил желания поддержать разговор. Может, он обиделся за свою реликвию, увидев ее рядом со стрелоподобным «крайслером» Баттерстона, а может, в тоне вопроса ему почудилась насмешка — так или иначе, ответил он довольно неприветливо и тотчас же отошел. Потом, за завтраком, Фрэнк поймал на себе его взгляд, в котором, как ему показалось, была какая-то угрюмая зависть.

Если смотреть на вещи поверхностно, то у этого фермера были, конечно, все основания ему завидовать, но до какой степени извращенности должен был дойти мир, чтобы такая зависть стала возможной! Ведь это он, обреченный создавать орудия убийства, должен был бы завидовать этому молодому фермеру, посвятившему жизнь самому древнему и самому благородному занятию человека — возделыванию земных плодов...

Они говорили на одном языке, одну национальность и одно подданство удостоверяли их документы, в случае войны им суждено было бы драться под одним знаменем, и все же они были гражданами двух разных, бесконечно чуждых друг другу стран. За окном ресторанчика тянулись поля убранной кукурузы, серое февральское небо висело над бескрайней равниной Восточного Канзаса, и равнодушные ко всему машины, не останавливаясь, неслись вдоль бетонной полосы автострады, словно листья, бесцельно гонимые зимним ветром. В тот день он особенно остро почувствовал тоску по своей брошенной отчизне...

Наутро Фрэнк объявил за завтраком, что хочет пожить несколько дней в охотничьей хижине в горах: втайне он надеялся, что мать станет отговаривать его или что кто-нибудь — ну хотя бы Сью — выразит желание отправиться в хижину вместе с ним. Не последовало ни того, ни другого; мать сказала только, что это хорошая идея, — в хижине давно никто не живет, пора привести ее в порядок. Потом она добавила, что хорошо было бы, если бы Фрэнк все же спускался в город по воскресеньям послушать проповедь.

— А ты не хочешь со мной? — спросил Фрэнк сидящую рядом сестру.

— Еще чего! — фыркнула Сью. Потом, наверное, ей стало немного стыдно, и она добавила: — То есть, конечно, я поеду с тобой, чтобы вымести паутину. Но жить в горах, бр-р-р...

— Верно, там же нет телефона,— улыбнулся Фрэнк. — А насчет уборки не беспокойся, я сам все сделаю.

В этот же день он и перебрался. Джеремия сказал, что дорога к хижине расчищена, и предложил отвезти его на своей машине, но Фрэнк решил доставить себе еще одно удовольствие и договорился со старым Фонтэйном, у которого были лучшие сани в городке. Старик, хорошо знавший его отца и деда, обиделся, когда Фрэнк упомянул о плате. Сидя рядом с ним и то и дело понукая лошадь легкими подергиваньями вожжей, Фонтэйн расспрашивал о жизни на Юге, о работе Фрэнка, о том, не нашел ли он себе хорошую девушку. «Дома мне не задавали столько вопросов»,— подумал Фрэнк с горечью.

До хижины они добрались еще засветло. Внутри оказалось не так запущено, как боялась миссис Хартфилд; правда, пришлось немного повозиться со всякой мелочью — перекосилась дверь, дымоход оказался чем-то забит и не тянул, проказливые сойки растеребили мох между бревнами. Когда развели огонь в очаге и позатыкали все щели, в хижине стало совсем уютно.

Фрэнк достал из чемодана бутылку «Лорд Калверта», расковырял и вывалил на сковородку банку свинины, заварил кофе. Фонтэйн оказался незаменимым собутыльником, и они просидели за столом чуть ли не до полуночи — старик рассказывал о случаях на охоте, о лесном промысле, о ловле трески у мыса Код, о своих похождениях во Франции, где он служил в войсках Першинга, о незабвенных временах сухого закона.

— Тут кругом сплошь были одни самогонщики! — в восторге орал старый нечестивец, выставляя взъерошенную бороду. — Ты Лероев знал, которые жили возле церкви? Они после вернулись в Канаду, чего-то здесь не прижились. Так вот ихняя старуха — упокой господи ее душу,— эта старуха Лерой гнала такой самогон, что за ним приезжали из Огасты, из Монпелье, из Барлингтона — отовсюду. А власти ничего с ней не могли поделать — лопнуть мне на этом месте! — потому что нравом эта старуха была что твой гризли. Хижина у ней была туда, ниже по ручью, возле самого брода... После она сгорела, может, кто поджег. Так вот, констебль к ней раз туда приходит, она его и на порог не пустила. Он тогда вернулся с шерифом, а старуха Лерой открывает дверь и выходит с винчестером. «А ну,— говорит,— подходи по одному, сукины дети...» Ну, те постояли и пошли обратно — ничего не сделаешь, верно? Все-таки леди, не станешь же с ней драться. Я тогда тоже гнал, только у меня хуже получалось. Из картошки — это здесь дешевле всего. Видно, не тот у меня талант, а вот Лероиха — та гнала, как Джонни Уокер, ни у кого в графстве не было такого самогона...

Наконец запас подобных историй был исчерпан, виски выпито, старик Фонтэйн взгромоздился в сани и поехал домой, оглашая лес псалмами богохульного содержания. Фрэнк проветрил комнату, на всякий случай заложил дверь брусом и с наслаждением завалился на скрипучую расшатанную кровать.

Прожив в хижине два дня, он понял, что лучшего отдыха и быть не может. Самым приятным оказалось исчезновение времени — часы остановились, потому что он забыл завести их после пьянки со старым Фонтэйном, и время остановилось тоже. Дни стояли мглистые, бессолнечные, на много миль вокруг не было ни одной фабрики, по гудку которой можно было бы сверять часы, поезд в Мэплз-Вэлли проходил рано утром, и Фрэнк никогда его не слышал. Для него, привыкшего распределять свой день буквально по минутам, это «вневременность» составляла главную прелесть его теперешнего существования. Единственным ориентиром во времени остался календарь, на котором Фрэнк каждый вечер зачеркивал одну цифру.

Вставал он рано — в маленьких окошках едва брезжило утро, выстуженная сквозняками хижина казалась нежилой, вода в бочонке у двери успевала за ночь подернуться тонким игольчатым ледком. В одной пижаме он выскакивал наружу, делал гимнастику, обтирался снегом. Хозяйство его было несложным, но достаточно трудоемким: приходилось рубить дрова, стряпать, почти за полмили носить из ручья воду. Решив до конца вкусить всю прелесть дикарства, Фрэнк перестал бриться, и теперь то и дело удовлетворенно потирал на подбородке щетину. Сперва она кололась, а потом стала мягкой и податливой.

Он много ходил на лыжах, всегда со старым отцовским «ремингтоном» за плечами — в надежде подстрелить какую-нибудь дичину. Но крупная дичь что-то не попадалась, лишь однажды он увидел довольно близко небольшого уопити — олень оказался с наветренной стороны и не замечал опасности, но был так красив, что Фрэнк не прикоснулся к ружью. Потом он утешал себя, что все равно не сумел бы правильно разделать тушу.

По вечерам после ужина, вымыв и начистив золой посуду, Фрэнк сидел за столом под висящей в проволочном кольце керосиновой лампой и читал старые журналы. Ящик этих журналов, очевидно запасенных для растопки, он нашел на чердаке и очень им обрадовался. Журналы были в среднем его ровесниками — конца двадцатых годов, начала тридцатых, читать в них было нечего, но разглядывание старых фоторепортажей оказалось интересным занятием, вполне под стать всему стилю жизни в этой хижине.

О Беатрис он думал нечасто и уже как-то спокойно. Ее портрет стоял на полочке у кровати, рядом с последним снимком отца. Оба фото были почти одного размера: капитан Хартфилд, в мягкой фуражке полевого образца, широко улыбался, а девушка рядом с ним очень серьезно смотрела большими миндалевидными глазами. Однажды Фрэнк подумал, что вот так же, как сейчас присутствует в хижине портрет Трикси, могла бы присутствовать она сама. Они спали бы на этой кровати, и по утрам он вставал бы первый и готовил кофе, а она следила бы за ним своими блестящими внимательными глазами, укутавшись до носа в меховое одеяло. И даже эта картина, представившаяся вдруг совершенно отчетливо, как недавнее воспоминание, не вызвала в нем боли.

Гораздо чаще думалось ему об отце — слишком многое напоминало здесь о нем. Дома, в первый же день, он нашел отцовский чемодан, пересланный тогда из армии с его вещами. Старый и вместительный, с широкими ремнями и солидными медными запорами, он лежал в кладовой, куда Фрэнк зашел за своими лыжами; его желтые кожаные бока были потерты и исцарапаны, а на крышке были еще видны полустертые, когда-то отпечатанные белой краской буквы «Кпт. Дж. А. Хартфилд». Фрэнк тут же забрал чемодан, переложив в него свои вещи из пластмассового, купленного на Юге.

Об отце напоминало и ружье — Фрэнк хорошо помнил день, когда отец привез из Огасты этот автоматический пятизарядный «ремингтон», новинку по тем временам. Многое в хижине было сделано руками отца или хранило следы его пребывания, например темные пятна на подоконнике, куда отец имел привычку выколачивать золу из своей трубки. Или место на очаге, выщербленное каблуками сушившихся тут отцовских охотничьих сапог.

Фрэнку почему-то все чаще приходила в голову мысль, что его жизнь сложилась бы совсем по-другому, будь жив отец. И не в смысле материального положения — оно со смертью отца ухудшилось сравнительно ненамного. Например, ему казалось, что и с Трикси все было бы совсем иначе, что отец вовремя нашел и подсказал бы ему какой-то

выход. Да, отца он потерял именно в таком возрасте, когда отцы бывают нужнее всего — отцы-друзья, с которыми можно говорить как мужчина с мужчиной...

Капитан Хартфилд погиб 14 октября 1943 года, в день, прозванный «черным днем американской авиации», при первом опыте глубокого дневного рейда без сопровождения истребителей. Объектом эксперимента командование VIII воздушной армии не совсем удачно избрало Швейнфурт — город в самом сердце Германии, расположенный в полутора часах полета от ламаншского побережья.

Дело кончилось катастрофой: из двухсот пятидесяти «крепостей», принимавших участие в операции, шестьдесят две были сбиты над Германией, а сто сорок вернулись с тяжелыми повреждениями. Почти шестьсот человек квалифицированного летного персонала — пилоты, навигаторы, бортинженеры, радисты и воздушные стрелки — погибли в воздухе, были расстреляны при парашютировании или остались до конца войны в немецких лагерях. И это не считая всех тех, что истекли кровью в возвращающихся на базы изрешеченных машинах или умерли позже в английских госпиталях...

Подробности гибели отца Фрэнк узнал случайно уже после войны, от некоего Мариано, служившего в том же тяжелобомбардировочном крыле[1]. Корабль, на котором в тот день находился Мариано, шел в эшелоне первой волны; он уже развернулся на обратный курс, когда вторая волна сбрасывала бомбы, а третья подходила к цели, отбиваясь от наседавших со всех сторон «мессершмиттов».

Воздушные атаки, в которых немцы впервые применили тогда 210-миллиметровые реактивные снаряды, беспрерывно следовали одна за другой от самого Рейна, где повернули назад американские истребители сопровождения, вылетевшие без подвесных баков, и таким же непрерывным, на всем пути эскадры, был ураганный огонь зениток, особенно мощный в заградительной зоне Франкфурта-на-Майне.

Мариано, по его собственным словам, к тому моменту уже окончательно одурел и мало что соображал, сидя скрючившись в своей подфюзеляжной турели. Некоторая передышка наступила после того, как они отбомбились, — немецкие Ме-110 особенно яростно рвались к бомбардировщикам, заходящим на цель. Только тут Мариано немного пришел в себя и стал воспринимать окружающее в целом — он увидел далеко внизу буро-зеленые осенние поля, стальной блеск излучины Майна и чудовищную тучу дыма над Швейнфуртом, а по сторонам — насколько позволял увидеть сектор обзора — белые немецкие и оранжевые американские парашюты, дымы горящих самолетов и бесчисленное множество «крепостей», разбредшихся как попало, с полностью расстроенными боевыми порядками...

Одно время Мариано летал в экипаже капитана Хартфилда и хорошо знал этот корабль, сейчас наискось перерезáвший им курс, — корабль с номером 24395 и кличкой «Джолли Джо», выписанной на фюзеляже сразу за остеклением штурманской кабины, рядом с изображением головы хохочущего индейца. Сильно дымя обоими левыми моторами, «Джолли Джо» шел прямо на цель с уже раскрытыми створками бомбовых люков, но в эту минуту снизу крутым виражом всплыл черный Ме-110. Мариано едва успел развернуть турель, как из-под крыльев немца выбежали дымные трассы реактивных снарядов, — и вдруг на месте «Джолли Джо» возник ослепительный шар клубящегося пламени, а через секунду взрывная волна ударила по кораблю Мариано, и двадцатипятитонную «крепость» швырнуло как бумажного го-

---

[1] Авиационное крыло — основная организационная единица ВВС США, состоящая из боевой группы и необходимых административных и обслуживающих частей.

лубя; больше Мариано ничего не видел, так как потерял сознание в этот самый момент, раскроив себе лицо о выступ станины.

...Что ж, по крайней мере отец умер легко, не успев ничего почувствовать. Его В-17 получил попадание, имея в бомбовых отсеках дюжину тысячефунтовых фугасок — достаточно, чтобы одним залпом пустить на дно тяжелый крейсер или разнести в щебень половину такого городка, как Мэплз-Вэлли...

Первое воскресенье Фрэнк провел в лесу, но прошла еще неделя, и он, зачеркивая в субботу очередную клеточку на календаре, решил, что нужно все же навестить своих.

Утром, пробежав на лыжах двенадцать миль, он явился домой. Мать похвалила его цветущий вид и напомнила, что через час нужно в церковь. Пришлось принимать ванну, бриться, надевать белую сорочку. «Ничего,— утешал себя Фрэнк, отвыкшими пальцами повязывая перед зеркалом галстук, — долго ты у меня на шее не повисишь...»

К обеду явились гости — пастор, банковское начальство Джеремии, члены приходского совета. Был и новый поклонник сестры (третий по счету, как она призналась) — долговязый парень с добродушным и глуповатым лицом спортсмена, непрестанно жующий резинку. Все поглядывали на Фрэнка с большим любопытством — очевидно, по местным понятиям, его карьера считалась блистательной. Позже он узнал, что мать — строго по секрету — намекнула всем своим приятельницам, что безопасность Америки зависит, в сущности, от того, насколько полно будут реализованы некоторые идеи ее младшего сына.

— Скажите, Фрэнклин,— спросил пастор, когда подали сладкое,— как высоко вы оцениваете наше воздушное превосходство над любым потенциальным противником? Мы понимаем, что вам, как лицу, причастному к государственным и военным секретам, может быть, не совсем удобно отвечать на подобные вопросы, но мы живем в такой глуши, что наше любопытство понятно и, я бы сказал даже, простительно. Ибо современная война, если она снова разразится — чего да не допустит всевышний! — она, хочу я сказать, равно не пощадит малые города, как и большие. Чему я сам был свидетелем в Европе, в бытность мою капелланом при сто двенадцатом полку четвертой пехотной дивизии...

Фрэнк почтительно выслушал тираду до конца.

— Боюсь, сэр, что вы сильно преувеличиваете мою осведомленность, — сказал он, подавив улыбку. — Работа, которую мне приходится выполнять, действительно относится к засекреченному военному производству, но это ведь далеко не значит, что мы «причастны к государственным и военным секретам». Наше начальство — может быть, и то лишь в некоторой степени... а мы знаем только то, что нам положено знать в очень узкой и очень специальной сфере. Так что, боюсь, я просто не сумею сказать в ответ на ваш вопрос ничего нового... выходящего за пределы общеизвестных данных.

— Я понимаю, Фрэнклин,— кивнул пастор.— Боже вас упаси выбалтывать секреты. Но ведь нам неизвестны и те данные, которые, как вы говорите, «общеизвестны» в вашем кругу. Не может быть, чтобы среди специалистов ни разу не высказывалось мнения относительно нашего превосходства над русскими — в области авиации, я имею в виду.

Фрэнк подумал и пожал плечами.

— А я бы не сказал, что мы вообще превосходим их в области авиации,— сказал он.

Присутствующие за столом были явно — и неприятно — удивлены его словами.

— Не совсем понятно, в таком случае, куда к ч... о, прошу проще-

ния... куда идут все наши налоги,— сердито сказал директор банка.— Если, несмотря на все жертвы, мы до сих пор не сумели обеспечить себе абсолютного технического превосходства над какими-то московитами...

— «Какие-то московиты» точно так же платят налоги своему правительству,— возразил Фрэнк,— и, надо полагать, точно так же заботятся о росте и развитии своих воздушных сил. А инженеры у них не хуже, чем у нас. Поэтому говорить сейчас о превосходстве нашей авиационной техники как о чем-то само собой разумеющемся по меньшей мере наивно...

За столом все молчали. Пастор кашлянул и поправил воротничок.

— Ваши слова явились для нас м-м-м... неожиданностью, и отнюдь не радостной,— пробормотал он, не поднимая глаз от скатерти.— Если я верно истолковываю их сокровенный смысл, в случае войны мы нисколько не гарантированы от... — Он замялся и не докончил фразу.

— В случае войны, сэр, никто ни от чего не гарантирован,— сказал Фрэнк, не дождавшись продолжения. Он оглядел притихших гостей и добавил шутливым тоном: — Я надеюсь, что нам никогда не доведется меряться достижениями с моими русскими коллегами...

— Все мы надеемся на это, дорогой Фрэнклин,— кивнул пастор,— и об этом мы ежедневно возносим наши молитвы. Будем уповать на неизреченное милосердие всевышнего.

— Милосердие милосердием, а сидеть сложа руки тоже не годится,— проворчал директор банка.— Хорошо, что мы хоть подписали эти соглашения с немцами. Немцы народ деловой... могут научить нас работать, если мы сами до сих пор не умеем!

Фрэнк поднял брови:

— О каких соглашениях вы говорите?

— Ну как же, соглашения между нашими авиастроительными компаниями и немецкими фирмами. Вы разве не читали?

Фрэнк сказал, что ничего не знает, так как уже несколько дней не видел ни одной газеты.

Новость неприятно удивила его. Он вспомнил разговор с Делонгом накануне отъезда. Неужели старый зануда был прав, когда говорил, что с немцами возможна в принципе любая договоренность?..

После ухода гостей он разыскал позавчерашние газеты. Действительно, сообщение было, но мало о чем говорящее: речь шла о пребывании в США группы представителей деловых и технических кругов ФРГ и о том, что между ними и некоторыми американскими авиастроительными фирмами заключены соглашения, направленные к дальнейшему укреплению германо-американского сотрудничества в деле обороны Запада.

Вечером он вернулся в хижину в угрюмом расположении духа. Даже странно было, что факт подписания каких-то соглашений может так подействовать на человека, абсолютно к ним непричастного. В этот вечер его не развлекли даже снимки бракосочетания герцога Виндзорского с миссис Симпсон; он сидел перед очагом и курил сигарету за сигаретой, швыряя в огонь окурки.

Конечно, его самого это не касалось — подписаны какие-то там соглашения или не подписаны. Его не касалось и то, что погиб человек, испытывая обреченную машину. В конце концов, еще меньше касался его тот факт, что подонкам из «Уэстерн электроник» удалось подписать с его фирмой контракт на поставку заведомо негодного, устаревшего спецоборудования; у него в кармане нет ни одной акции «Консолидэйтед», ему плевать, теряет ли фирма на этом или не теряет. Все эти вещи его не касались, но он не мог проходить мимо них равнодушно, не мог просто потому, что здесь нарушались принципы, в которых он был вос-

питан и которые исповедовал с упрямым до фанатизма пуританством уроженца Новой Англии.

На другой день привычные хозяйственные заботы, тишина и долгая прогулка на лыжах вернули ему хорошее настроение. Почему-то он теперь больше стал думать о Беатрис, как будто воскресная новость — это лишнее доказательство всеобщей продажности — заставила его снова взглянуть туда, где ничто не продавалось, где даже измена могла оставаться чистой...

Прошло несколько дней. Однажды утром, когда Фрэнк, гогоча от холода, растирался перед хижиной снегом, его удивил шум мотора. Шум приближался, и через несколько минут из-за деревьев показался старый «форд» Джеремии.

— Ты что ж, прохвост! — радостно крикнул брат, выскакивая из машины.— Чего ж ты молчал столько времени!

— О чем? — спросил Фрэнк. У него мелькнула вдруг ослепительная и сумасшедшая мысль: Трикси сообщает о своем приезде, и дома подумали, что он знал это заранее.— О чем я молчал?

— О чем, о чем! — Джеремия дал ему тумака и захохотал.— Мы, оказывается, важные теперь персоны! Нас посылают в Германию, о нас пишут статьи в журналах! Фрэнки, скотина!

Фрэнк смотрел на него остолбенело:

— Я — в Германию? Кто меня посылал в Германию, опомнись. А что за статья?

— На почте получили свежий «Коллирс» — о тебе статья Альтвангера на десять страниц, с фотографиями, пишет, что ты в числе лучших специалистов американского авиастроения едешь в Германию налаживать какое-то там сотрудничество... Ну, статья, конечно, не только о тебе, вообще о Германии...

— Дай-ка журнал,— сквозь зубы сказал Фрэнк, быстро натягивая рубаху.

— Да нет его у меня — ма понесла показывать миссис Коулз. Едем скорее, дома прочитаешь!

Фрэнк, надев свитер, шагнул в сени и, обрывая вешалку, дернул с крючка куртку.

— Ты чего ждешь?! — яростно крикнул он брату, не попадая в рукава.— Разворачивай машину —задом мы отсюда поедем, что ли?!

9

После того как уехал Гейм, Беатрис несколько дней ходила как потерянная. При всей своей неопытности в такого рода делах она — хотя бы из книг — хорошо знала, что такое физическая страсть, как она проявляется и до какой степени способна поработить человека, не защищенного культурой, воспитанием или принципами. Всего этого у нее самой было вдоволь — и принципов, и воспитания; она видела на себе этот блестящий панцирь, но уже боялась дотронуться до него, втайне опасаясь, что при ближайшем рассмотрении он может оказаться раскрашенным картоном. В самом деле, временами Беатрис чувствовала себя обнаженной и беззащитной перед тем, что на нее надвигалось.

Ужасно было, что это произошло именно с нею, Альварадо. С нею, всегда такой уверенной в собственном моральном превосходстве над большинством, в своей способности противостоять любому плотскому искушению...

В том, что это искушение было только и исключительно плотским, можно было не сомневаться. Можно было не обманывать себя на этот счет, не утешаться никакими красивыми словами «о родстве душ».

О какой душевной близости можно говорить, когда нет простого понимания.

Более чем наполовину Ян был для нее непонятен. А то, что она в нем разгадала — или считала разгаданным,— никак не способствовало возникновению внутренней близости. Он был холоден к людям, равнодушен к жизни; Беатрис не могла избавиться от чувства, что даже за его безукоризненным поведением в отношении ее самой, за его почтительной сдержанностью нет ничего, кроме того же равнодушия: он просто не считал нужным снизойти до настоящего ухаживания.

Беатрис не могла не сознавать, что до сих пор именно она сама все время ждала от Яна чего-то, в чем он ей неизменно отказывал, мягко, но решительно. Холодея от стыда, она безжалостно напоминала себе случай за случаем. Когда ей хотелось побыть с Яном подольше — он провожал ее домой. Когда ей хотелось встретиться с ним назавтра — он делал вид, что не догадывается об этом, и назначал свидание на четвертый день. И когда — самое позорное ее воспоминание! — когда она ждала, что он ее поцелует, ждала и хотела этого — он тронул губами ее щеку и отстранился...

Вспоминая, она каждый раз чувствовала, что никогда не простит Яну этого вечера, хотя сам он ровно ничем ее не оскорбил. Она была оскорблена и унижена своим собственным трепетом, внезапной своей слабостью, угодливо подогнувшей ее колени при первом прикосновении Яна, своим мгновенно вспыхнувшим и неудовлетворенным желанием. Она понимала, что во всем виновата сама, и знала, что не простит этого Яну Гейму до конца жизни.

О, если бы во всем этом была хоть капля любви! Ее не было и не могло быть, было лишь минутное влечение, унизительное, как всякая страсть, не подчиненная ни сердцу, ни разуму. Ведь не только разум — даже сердце Беатрис предостерегало ее от этого человека; порою ей становилось просто нехорошо от какой-то тоскливой уверенности в том, что ни к чему хорошему знакомство с Геймом не приведет. И несмотря на все это, влечение оставалось.

Дело было не только в его внешности — он был, пожалуй, слишком красив, а красивых мужчин Беатрис не любила даже на экране. В Гейме привлекало другое — его особенная манера держаться, сдержанная и чуть ироническая, за которой (помимо равнодушия) она угадывала жизненный опыт, всегда импонирующий женщине. В нем ощущалась большая внутренняя сила, и это ощущение лишало Беатрис воли, делало ее в присутствии Гейма послушной девчонкой, робко поглядывающей на высшее существо. Немыслимо было ему противиться; даже сейчас, когда она решилась наконец вырваться из этого унизительного рабства, он словно угадал ее намерение каким-то дьявольским шестым чувством и лишил Беатрис даже этого — права оставить за собой инициативу разрыва. Брошенной, в конечном счете, оказалась она. Брошенной в тот момент, когда этого захотелось ему!

И самым страшным было то, что Беатрис уже сама не верила в свои силы. Поединок оказывался слишком неравным, и предчувствие неминуемого поражения наполняло ее тоской и страхом.

К середине января жара в столице достигла сорока градусов в тени. Промучившись несколько дней, Беатрис решила сбежать в Мардель-Плата, где климат был немного прохладнее и к тому же имелась возможность не вылезать из воды с утра до вечера.

Ехать машиной Беатрис побоялась — не так просто в эту одуряющую жару сделать четыреста километров по узкому, перегруженному движением шоссе, которое уже давно из-за обилия катастроф прозвали «дорогой трагедий».

За билетами — на поезда, на самолеты, на автобусы — стояли огромные очереди. Потолкавшись у касс, Беатрис уже решила или рискнуть жизнью за рулем, или вообще отказаться от поездки; к счастью, подвернулся какой-то оборванец, предложивший ей — шепотом и втридорога — драгоценный билет на послезавтра.

Рейс был из самых неудобных — послеобеденный, автобус отходил из столицы в час дня. В довершение беды проданное оборванцем место оказалось на самом солнцепеке — с правой стороны, у окна. Имея уже некоторый опыт автобусных путешествий летом, Беатрис сразу поняла, что ее ждет, и приготовилась к худшему.

По-слоновьи вырулив из ворот автобусной станции, громадный тяжелый пульман долго пробирался в густом уличном движении, то и дело застревая в пробках. Авенида Орнос, авенида Монтес-де-Ока, ржавые туши проданных на слом пароходов в мутной от нефти Риачуэло, зной, горячий ветер, пыль. Беатрис с тоской смотрела на пробегающие мимо фабричные корпуса — как могут люди работать в закрытых помещениях при таком зное? И еще говорят, что есть места, где приходится стоять около всяких печек...

Миновав виадук Саранди, автобус прибавил ходу, захлопали шторки на открытых окнах, от встречного ветра в салоне стало немного прохладнее. Беатрис задремала, а когда ее разбудил какой-то толчок, они уже были за Кильмесом. Автобус летел полным ходом, половину окон пришлось закрыть из-за сквозняков, а солнце уже сошло с зенита и с каждой минутой больше и больше накаляло правый борт. Начала болеть голова. Беатрис всухую сжевала таблетку и стала следить за километровыми столбами — казалось, что так они пролетают быстрее. Флоренсио Варела, Брандсен — 65 километров от столицы. Хеппенер — 80. Альтамирано, Гандара — 100. Четверть пути уже есть! Часкомус — 120, стоянка четверть часа. Снова в дороге — в салоне еще жарче, парусиновые шторки уже не спасают от солнца, которое бьет теперь прямо в лицо. Адела, Лесама — 150 километров, Кастелли — 177, Севинье — 190, Долорес —203. Ровно полпути!

На остановке Беатрис вышла из автобуса, слегка пошатываясь. В ресторанчике были опущены жалюзи, и входящим с улицы первые шаги приходилось делать почти на ощупь — помещение казалось совершенно темным. Было прохладно, под потолком бесшумно мелькали большие лопасти горизонтальных вентиляторов. «В месте злачном, в месте прохладном»,— вспомнила Беатрис, и подумала, что именно такое определение рая должно было возникнуть в раскаленных пустынях Иудеи. Следовало бы еще добавить — в месте затененном и чтобы не было слишком шумно.

Дон Хиль Зеленые Штаны подошел к ее столику, когда она допивала «кока-кола». Беатрис поперхнулась и высоко подняла брови.

— Нет, это просто рок,— сказала она.— Вы что здесь делаете?

— То же, что и вы, донья инфанта, путешествую. Но, боюсь, направления опять не совпадают. Вы куда — купаться?

— Разумеется. Что же еще делают люди в такую жару?

— Представьте себе — иногда работают.— Дон Хиль развел руками.— Я понимаю, вас это должно удивлять, но есть такие чудаки. Люди с извращенными вкусами, я бы сказал. Вместо того чтобы спокойно загорать на Плайя-Бристоль, они почему-то бегут работать...

— Ужасно,— сказала Беатрис.— Впрочем, ничего удивительного — более извращенного века, чем наш, не придумаешь. Вы, значит, тоже возвращаетесь в столицу из мазохистических побуждений? Бедный дон Хиль.

— Тронут вашим сочувствием, донья инфанта, но не вправе его принять. Как полноценный мужчина, свободный от пороков и извраще-

ний, я пока предпочитаю отдых работе и в столицу еду всего на два дня. Кстати, мы ведь в Мар-дель-Плата целой компанией; если вам будет скучно, присоединяйтесь. Там донья Элена со своим отпрыском и небезызвестный вам однорукий герой.

— О, и Пико с вами. Ну, как он?

— Да ничего. Левеет не по дням, а по часам. Он со своей невестой порвал, вы слышали?

— Да, он мне звонил...

Они поболтали еще о том и о другом, потом вышли наружу. Огромная, дымная от зноя пампа лежала вокруг маленького белого домика в тени пыльных деревьев, прилепившегося к самому шоссе, и синее небо с редкими неподвижными облачками — цветов национального флага — стояло над пампой, как бездонный купол. Торопливыми вереницами бежали и бежали по шоссе машины — одни направо, к столице, другие налево, к атлантическому побережью.

— Удивительная вещь,— сказала Беатрис, протирая солнцезащитные очки,— в сущности, трудно придумать более скучный пейзаж, чем у нас в провинции Буэнос-Айрес... Но если бы вы знали, как я тосковала по нему в Италии! Там на каждом шагу такие красоты, что уже через неделю чувствуешь себя, как будто объелась пирожными...

Она надела очки и посмотрела вокруг. Сильно запыленная машина стояла под навесом — длинный «кэйзер-манхэттэн» синего цвета. Воспоминание стукнуло в сердце Беатрис — она бросила взгляд на Хиля и еще раз обвела глазами площадку. Да, кроме автобуса и синего «кайзера» здесь не было ни одной машины.

— Это ваша? — спросила она, указав подбородком.

— Что вы, донья инфанта, я еще не знаменитость! Это доньи Элены — я ведь еду по ее делу, и она любезно предоставила в мое распоряжение находящееся перед вами транспортное средство...

Он явно смутился почему-то, но Беатрис было не до него. Значит, действительно — она узнала с первого взгляда. Странно, почему бы... Марка распространенная, и цвет тоже. Почему именно эта?

Она подошла к навесу. Пассажиры уже усаживались в автобус, но она не трогалась с места. Ей очень хотелось прикоснуться к дверце или провести пальцами по ветровому стеклу. Сесть внутрь и тронуть руль — нет. Этого она не хотела бы, это было бы... ну, этого нельзя. А просто прикоснуться...

Наверное, это смешно выглядело со стороны. Наверное, так стоит и смотрит дикарь, увидев автомобиль впервые в жизни. Ничего, ей тоже можно постоять и посмотреть минуту-другую — посмотреть на длинную синюю машину, которая едва не стала для нее заколдованным кораблем Тристана...

— Никогда не видали этой марки?— закуривая, спросил подошедший Хиль.— Странно, их ведь до черта. Нравится?

— Да,— сказала Беатрис.— Очень, дон Хиль...

Она постояла еще несколько секунд, прощаясь с призраком, который сидел за рулем. Призраки обычно злые, а этот добрый, совсем добрый, и ей было с ним не страшно, и уже даже не очень больно, а просто бесконечно грустно. Они поговорили, попрощались. Потом она пожала руку Хилю и пошла к автобусу.

Остаток пути Беатрис пролежала в своем кресле с закрытыми глазами, думая о встрече на станции — встрече со своим прошлым. Ее не оставляло странное ощущение, что она только что видела самого Джерри Бюиссонье, что это с ним она разговаривала и прощалась, теперь уже навсегда.

В первый раз за два года она думала о нем без боли, без рвущего мозг отчаяния; было только горькое сознание огромной и ничем не

возместимой потери. Но разве не бесконечной цепью потерь является вся человеческая жизнь?

«Сейчас будет Кобо, почти приехали»,— сказал кто-то. Беатрис привстала и отодвинула шторку. Солнце стояло уже совсем низко, на фоне пылающего предвечернего неба пампа казалась черной, подымаясь у горизонта к плоским холмам Балькарсе. Где-то там, немного севернее, лежит Тандиль — маленький сонный городок, где прошла половина ее детства, дом тетки Мерседес, прохладные полутемные комнаты с каменными полами и высокими черными дверьми, фиговое дерево в вымощенном плитками патио... Ей вспомнился разговор с Кларитой Эйкенс в брюссельском «отеле разбитых сердец». Да, детство у нее было счастливым; возможно, за это и приходится теперь платить.

Шоссе вбежало в эвкалиптовую рощу, слева остался аэродром Камет, промелькнула арка с надписью «Жемчужина Атлантики приветствует своих гостей», за поворотом стали все чаще мелькать окруженные садами виллы, пошли окраинные улицы, первые двухэтажные дома. Еще один поворот, и огромное, уже по-вечернему сумрачное пространство океана распахнулось во всю ширь горизонта, подкатываясь медленно вскипающими гребнями волн под самое шоссе. Потом его снова заслонили дома, уже многоэтажные. В семь часов пятнадцать минут горячий и пыльный пульман устало вполз под навес автобусной станции Мар-дель-Плата.

Умывшись и наспех перекусив тут же, в вокзальном буфете, Беатрис вышла на улицу. Кто-то рядом с ней громко возмущался отсутствием мест в отелях и пансионах. «В самом деле! А где я, собственно, буду жить?» — беспечно подумала Беатрис и решила не беспокоиться на этот счет. В крайнем случае всегда оставалась возможность поселиться пока у кого-нибудь из знакомых. Она глубоко, с наслаждением вдохнула прохладный, пахнущий прибоем воздух и пошла наугад, размахивая дорожной сумкой.

И действительно, с комнатой ей повезло так же случайно, как позавчера с билетом на автобус. На одной из тихих боковых улиц она увидела, как из дверей небольшого отеля выносят к такси чемоданы. Тут же войдя, она попросила оставить за ней освободившийся номер и сразу заплатила за две недели вперед. Хозяйка предупредила ее, что комната не из лучших — на верхнем этаже и слишком жаркая, с окном на север.

— Ничего, я люблю солнце,— сказала Беатрис.— Да, еще вот — возьмите квитанцию, пусть привезут мой чемодан с автовокзала. Я приеду позже. Сумка пусть пока останется у вас, отнесете ее в номер вместе с чемоданом...

Было уже совсем темно, когда она вышла к набережной. Шумная, по-курортному беспечная толпа заполняла тротуары, припомаженный кабальеро среднего возраста увязался за Беатрис и стал нашептывать комплименты. Сначала она не обращала внимания, потом разозлилась.

— Fuck off...— сказала она негромко и, когда тот обалдело вытаращил глаза — понял,— с удовольствием добавила: — You moth-eaten baboon... [1]

У кабальеро отвисла челюсть, и он мгновенно затерялся в толпе. Беатрис прошлась по Рамбле, полной гуляющих, ярко освещенной витринами по одну сторону, а по другую — сразу за парапетом и узкой полосой пляжа — обрывающейся в шумящую волнами черную пустоту.

По широкой лестнице, мимо двух громадных белокаменных изваяний морских львов, она спустилась на пляж. Песок, изрытый и замусоренный бумагой, апельсиновыми и банановыми корками и бумажными

---

[1] Катись ты... Траченный молью павиан (*англ.*).

стаканчиками, был еще горяч. Выйдя на мол, Беатрис прошла в самый конец и опустилась на теплый шершавый бетон, влажный от брызг и осевшей соли.

Океан шумел во мраке ровно и неумолчно, в одном и том же волнообразно нарастающем и гаснущем ритме. Волна, невидимо зарождаясь где-то в темноте, проходила под ногами у Беатрис уже ясно различимая, сверкая фосфоресцирующей на ее гребне пеной, и, на глазах вырастая и ускоряя свой бег, мчалась к берегу, чтобы с бессильным ревом разметать по песку тающие клочья пены, а следом за ней, охваченная той же слепой самоубийственной яростью, устремлялась другая, и третья подходила с несмелым еще вкрадчивым ропотом, и уже где-то в непроглядном мраке глубин рождалась четвертая... «Как бессмысленно,— думала Беатрис, обхватив руками колени и положив на них подбородок.— Как много на свете бесцельного и бессмысленного...»

Она сидела здесь, словно на полоске «ничьей земли» между двумя враждебными друг другу и одинаково бессмысленными стихиями. Не было смысла в бесконечно повторяющемся движении волн, не было смысла в муравьиной человеческой деятельности, в этом электрическом зареве, в мелькании реклам, в огнях, вызывающе зажженных на краю земли — лицом к лицу с мраком и океаном... Может быть, не менее ярко, чем эти фонари и витрины, сверкали тысячи лет назад города атлантов там, за горизонтом, где сейчас непроглядный мрак и бездонная черная вода. И как, наверное, гордились жители этих городов своей цивилизацией, своей техникой, своей призрачной властью над природой...

Утром ее разбудило ослепительно жаркое солнце. Она встала, подошла к окну, высунулась наружу. Комната была на третьем этаже, внизу — еще в тени — лежал чистенький, только что политый тротуар из широких каменных плит, какие она видела только здесь, в Мар-дель-Плата, да еще в некоторых городах Италии; наискось через улицу, у лавки зеленщика, стояла похожая на свежий натюрморт тележка с оранжевыми тыквами, яркими мокрыми пучками салата и редиса, белыми, словно обструганными палочками спаржи. Соленый, пахнущий йодом ветер прохладой коснулся щеки Беатрис, она повернула к нему лицо и в конце улицы, между домами, увидела живое, точно кипящее, золото утреннего океана. «Хорошо, что я сюда приехала»,— подумала Беатрис.

Она полюбила этот город давно, еще лицеисткой, когда проводила здесь свои каникулы с отцом или теткой Мерседес. С тех пор само имя Мар-дель-Плата прочно связалось для нее с праздничным ощущением свободы и ничегонеделанья; часто каким-нибудь промозглым зимним утром, дрожа от холода в очереди на троллейбусной остановке, она вдруг вспоминала горячий песок, сверкающее кипение прибоя и этих белых морских львов перед зданием казино, задравших морды к синему небу, и от мысли, что она снова увидит все это через три-четыре месяца, ей сразу становилось теплее и даже забывались всякие неприятности, вроде неминуемого вызова к доске на первом уроке математики...

Да, она хорошо сделала, приехав сюда. Казалось, сама беспечная атмосфера этого города настраивала на беззаботность. Здесь можно было ни о чем не думать, не особенно беспокоиться о своем туалете и прочих условностях, ходить по улицам босиком, в шортах, а то и — если не очень далеко от пляжа — просто в купальном костюме, накинув на плечи какую-нибудь курточку. Можно было пролежать целый день на песке или просидеть за столиком на Рамбле, наблюдая, как искрится под солнцем безбрежная синева океана и за линией буйков ныряет по волнам рекламное суденышко, напоминая отдыхающим о существовании универсального магазина Боу.

Можно было сесть в автобус — смешное старинное сооружение, выкрашенное в белый и голубой цвета, с открытыми площадками и какими-то рисуночками на стеклах, — и ехать по бесконечной авениде Индепенденсии куда-нибудь на окраину, к обсаженным эвкалиптами усадьбам и огородам Перальта Рамос, или — мимо каменоломен и пахучих сардинных фабрик — в порт, посмотреть, как возвращаются с лова рыбаки.

Можно было, наконец, просто по целым дням не выходить из номера. Так Беатрис иногда и делала, когда уставала от солнца, от шума толпы, от ветра, оставляющего на губах горьковатый вкус соли. Настежь распахнув окно и закрыв решетчатые наружные ставни, она валялась на постели, читала исторические романы и, проголодавшись, ела что-нибудь принесенное горничной — не вставая и не отрываясь от книги. Костэйн, Шеллабарджер, Мика Валтари были теперь ее любимыми авторами — уже несколько месяцев она не читала ничего другого. Их герои жили в интересной обстановке, с одинаковой ловкостью занимаясь любовью, войной или дипломатией, в последней главе обычно добивались своего, а если и гибли, то очень эффектно, приготовив под занавес какой-нибудь сюрприз своим врагам и читателю.

Однажды, зайдя в пассаж возле казино, Беатрис увидела перед одной из витрин Элену Монтеро, с ребенком на руках. Оцепенев, она издали впилась взглядом в белокурого малыша; мать говорила ему что-то, смеясь и показывая на разложенные в витрине вещи, и он слушал очень внимательно, с приоткрытым ротиком. Подойти ближе Беатрис так и не решилась. Помимо всего прочего, она не была уверена, что Монтеро позволит ей прикоснуться к ребенку.

Держась в отдалении, она проводила их до машины и видела, как донья Элена усадила ребенка в прикрепленное на переднем сиденье подвесное креслице и сама села за руль. «Чем заслужила эта женщина такое счастье? — с горечью подумала Беатрис. — Она ведь даже не сумела сделать Джерри счастливым... А теперь у нее — его ребенок, маленький Джерри, который вырастет похожим на своего отца...»

Дня два спустя она еще раз увидела синий «кэйзер» на стоянке возле пляжа Сент-Джемс. Ее первым порывом было сойти вниз и поискать донью Элену среди купающихся, но тут же она остановилась и пошла прочь. Что хорошего могла принести им еще одна встреча?

Два этих случая снова лишили Беатрис того относительного спокойствия, которое она испытывала здесь в первое время после приезда. К тому же испортилась и погода — несколько дней шел дождь, а потом началась духота не хуже, чем в Буэнос-Айресе. Чтобы не встретиться невзначай с доньей Эленой, Беатрис почти перестала бывать на центральных пляжах и ездила купаться куда-нибудь подальше, а так как каждая поездка в такую жару была мучением, то она чаще сидела у себя, измученная духотой, и с завистью вспоминала строчки из последнего полученного в Буэнос-Айресе письма Фрэнка, где тот описывал снег и морозы где-то на канадской границе. В один из таких дней, решив все же пойти искупаться, хотя бы рискуя солнечным ударом, Беатрис вышла из отеля и, не пройдя и половины пути до пляжа, на углу возле кондитерской «Жокей-клуб» нос к носу столкнулась с Геймом.

Она была так поражена, что даже не сумела скрыть своего изумления и остановилась, глядя на него с немым вопросом. Будь у Гейма намерение избежать встречи, он мог бы пройти мимо, сделав вид, что ничего не заметил, и Беатрис осталась бы в глупейшем положении — для всякого постороннего очевидца этой сцены. Но Гейм, напротив, бросился к ней чуть ли не с распростертыми объятиями.

— Какое счастье, Беатриче! — воскликнул он, целуя ей руку.—

Кто мог бы думать, что я найду вас на следующий же день после приезда! Давно вы здесь?

— А вы? — растерянно спросила в свою очередь Беатрис.

— Я же говорю — второй день! Я вернулся из своей поездки и все никак не мог вам дозвониться, потом понял, что вас нет в городе, и стал обзванивать всех знакомых. У Ретондаро мне сказали, что Пико здесь, и дали адрес, и я сразу ему телеграфировал. Позавчера получил ответ, вот видите...

Он вытащил из кармана телеграмму и показал Беатрис: «Альварадо по слухам здесь адрес неизвестен приезжай ищи».

Беатрис прочитала наклеенные кривые строчки, помолчала несколько секунд и подняла взгляд на Гейма:

— Ян, для чего вы приехали?

— Неужели вы не видите, Беатриче? — спросил он, мягко взяв ее под локоть и отводя в тень парусиновой маркизы.— Я искал вас — и нашел.

— Но для чего? — повторила Беатрис, не отрывая глаз от его лица. «Он очень загорел там, в Бразилии,— мелькнула у нее мысль.— Господи, не нужно мне этого, ну пожалуйста, не нужно... Лучше бы он сразу сгинул и расточился!»

Но Ян Гейм не расточался. Загорелый до того, что его вьющиеся светлые волосы казались теперь совсем льняными, он стоял перед нею живой и очень осязаемый, улыбаясь немного озадаченно и вертя за дужку снятые солнцезащитные очки. Беатрис своих не сняла.

— Для чего?..— повторил и он ее вопрос.— Гм, действительно — для чего? На вопрос «почему» ответить куда проще, Беатриче. Спроси вы — почему я сюда приехал, я ответил бы, что приехал потому, что люблю вас.

Беатрис не смутилась и не отвела глаз.

— Я не знаю, отдаете ли вы себе отчет в полном значении произнесенных вами слов,— сказала она сухо, словно беседуя на отвлеченную тему.— О, я не в смысле ответственности, не думайте! Меня просто интересует, что вы подразумеваете под словом «любовь».

— То же, Беатриче, что подразумевали под ним всегда,— сказал Гейм, перестав улыбаться.— Это одно из самых старых слов на земле. Кто может вложить в него новое значение?

Беатрис помолчала.

— Ян, вы способны выполнить мою просьбу?

— Любую, Беатриче.

— Тогда я попрошу вас никогда в жизни не произносить больше это старое слово в моем присутствии. Хорошо?

— Хорошо,— просто ответил Гейм.— Я и не надеялся ни на что другое. Теперь вы поняли, почему я не сумел ответить на ваше «для чего»?

Беатрис опустила голову.

— Вы на пляж? — спросила она через минуту.— Ну что ж, идемте. Какая погода в Буэнос-Айресе?

— Вчера была гроза — утром, когда я уезжал.— Гейм тоже говорил теперь совсем спокойно, небрежным тоном, словно между ними ничего не произошло.— Кстати, здесь сегодня тоже какая-то предгрозовая духота.

— Да,— кивнула Беатрис.— Уже несколько дней.

Они пришли на почти пустой пляж — было два часа пополудни, время обеда и начала сиесты. Гейм сразу разделся и пошел к воде. Беатрис сидела с поджатыми ногами, разравнивая ладонью песок. Когда Гейм отошел на несколько шагов, она не утерпела и посмотрела ему вслед и тотчас же быстро отвела взгляд, до боли прикусив губы.

Немногие купальщики, которые еще оставались на пляже, постепенно исчезли один за другим, и теперь вокруг нее было совсем тихо и безлюдно. Только шумел прибой, и где-то далеко торопливый и неразборчивый на расстоянии голос диктора передавал последние известия. Неподвижными мертвыми складками висел красный флажок на сигнальной мачте, а еще выше в ослепительном и пустом небе густого, почти ультрамаринового цвета неторопливо описывал круги альбатрос на широко распростертых, словно изломанных под странным углом крыльях.

Беатрис сидела, скорчившись на песке, придавленная зноем, тишиной и совершенно четким, беспощадным ощущением катастрофы.

Вернулся Гейм. Опустившись рядом, он осушил руки о песок и достал из брошенной рядом одежды сигареты и зажигалку.

— Хорошо,— сказал он.— Но прибой такой, что трудно удержаться на ногах, хотя там, дальше, почти штиль. Здесь что, всегда так?

— Да,— коротко ответила Беатрис.

Задумчиво пощелкав зажигалкой, Гейм бросил незажженную сигарету и лег на спину, закрыв глаза.

— Мне лучше уйти, Беатриче? — спросил он через минуту.

Она долго молчала, не поднимая головы, потом сказала негромко, с выражением тоски и усталости:

— Ничего я теперь не знаю... что лучше, что хуже...

Она понимала, что говорит совсем не то, но никаких других слов у нее не было. У нее не было сейчас даже никаких отчетливых мыслей, а только то же леденящее сознание катастрофы — не надвигающейся, а уже совершившейся. Ей очень хотелось повернуть голову и взглянуть на лежащего в трех шагах Гейма, но она боялась встретиться с ним глазами, а еще больше хотелось уйти, убежать, но убегать было уже поздно — она это понимала.

Они долго молчали — может быть, полчаса. Молчали и не двигались с места. Потом Гейм приподнялся на локте и посмотрел на Беатрис:

— Вы не думаете купаться?

— Да... в самом деле, нужно выкупаться,— сказала она.

Гейм встал. Беатрис достала из сумки резиновую шапочку и нерешительно расстегнула пуговку на блузке. Она почувствовала вдруг странную неловкость при мысли, что сейчас Гейм увидит ее в купальном костюме, как будто она никогда не появлялась в нем на пляже, под сотнями мужских взглядов. Словно отгадав ее мысли, Гейм отвернулся и пошел к воде.

— Прыгнем с мола? — спросил он, когда Беатрис догнала его, заправляя волосы под шапочку.— Там гораздо тише. Вы умеете нырять?

— Я ныряю, правда не очень ловко,— ответила Беатрис.

Они дошли до конца мола. Беатрис прыгнула первой, следом за нею почти бесшумно нырнул Гейм, скользнув в глубину большой золотистой рыбой. Он оставался под водой так долго, что Беатрис уже начала беспокоиться, потом вынырнул так же стремительно и бесшумно и поплыл в сторону Торреона, жестом пригласив Беатрис следовать за собой.

Они провели в воде около часа. Небо тем временем начало затягиваться тонкой облачной пеленой, сквозь которую солнце жгло, казалось, еще сильнее. Перевернувшись на спину, чтобы отдохнуть, Беатрис тотчас же зажмурилась — так больно было глазам от этого раскаленного оловянного блеска.

— Ян, вы не знаете, отчего так получается? — спросила она, покачиваясь на зыби с раскинутыми руками.— Облака обычно дают тень, а сейчас наоборот...

— Это, наверное, зависит от их плотности,— отозвался Гейм.— В тонком слое лучи не задерживаются, а просто рассеиваются, и тогда кажется, что они идут из любой точки неба...— Он прикоснулся к ее пальцам.— Посмотрите-ка, Беатриче, альбатрос...

— Не хочется,— сказала Беатрис, не открывая глаз и не убирая руку.— Не хочется мне смотреть ни на каких альбатросов...

Здесь, вдали от берега, поверхность океана была совершенно спокойной, она дышала ровно и размеренно, и их тела медленно поднимались и опускались в сонном, убаюкивающем ритме, и пальцы Беатрис тихонько лежали в руке Гейма, словно притаившись и чего-то выжидая, и не зная, как поступить. Они покорно, словно ничего не сознавая, подчинялись ласке, потом вдруг сжали мужскую руку судорожным ответным движением и выскользнули. Резко перевернувшись, Беатрис ушла под воду, вынырнула и быстро поплыла к берегу.

— Следите за волной! — крикнул Гейм, когда их подхватил прибой.— Рассчитайте, чтобы попасть на гребень!

Из попытки рассчитать ничего не вышло — Беатрис попала в интервал и, едва почувствовав под ногами дно, услышала сзади стремительно настигающий рев. В ту же секунду она полетела кувырком, сбитая с ног страшным ударом в спину, и покатилась куда-то в кипящем грохоте, ослепнув и захлебнувшись соленой горечью, обдирая колени и плечи о песок. Выбравшись из воды, она обнаружила, что шапочку с головы сорвало и в волосы набилось песку.

Почему-то до смешного огорченная этой маленькой неприятностью, Беатрис чувствовала, что может разреветься в любой момент. Полежав четверть часа, она села и начала натягивать брюки.

— Уже уходите? — спросил Гейм.

— Да. Вы удивительно догадливы.

Гейм тоже оделся.

— Вы на меня сердиты, Беатриче? — спросил он, когда они вышли на лестницу.

Беатрис оперлась на его руку и помотала ногой, вытряхивая песок из сандалии.

— Я сердита, но не знаю на кого,— ответила она виноватым тоном.— Простите меня, Ян, я просто превращаюсь в истеричку.

— О, это жара,— улыбнулся Гейм.— И я не думал на вас обижаться, Беатриче.

Они молча дошли до ее отеля.

— Ну вот,— сказала Беатрис.— Я дома!

— Вы здесь живете?

— Вон там.— Беатрис мотнула головой вверх.— Третий этаж... комната двадцать шесть. До свидания, Ян.

— А где это свидание состоится? — спросил Ян, задерживая ее руку в своей.— И когда?

— Не знаю,— сказала Беатрис.— Всего хорошего!

У себя в комнате она села на кровать и долго, не двигаясь с места, смотрела в окно. Прошло три часа с тех пор, как она была в этой комнате последний раз, и за эти три часа все совершенно изменилось. Но что? Почему?

В комнате было очень жарко, несмотря на раскрытое настежь окно и прикрытые сквозные ставни, защищающие от солнца. Чувствуя, что буквально задыхается, Беатрис встала, походила из угла в угол и снова села, опустив голову на руки. Волосы были непривычно жесткими от соли и набившегося песка. «Сейчас выкупаться, вымыть голову», — подумала она. Но как все же быть с этим Геймом?

Она разделась, с трудом стащила влажный и колючий от песка купальник. После горячей ванны ей стало немного прохладнее, но на-

строение не улучшилось, странная тревога не оставляла ее ни на минуту. Начав одеваться, она передумала и решила, что лучше всего принять снотворное и поспать несколько часов.

Услышав в коридоре голос горничной, Беатрис быстро надела купальный халатик и выглянула за дверь:

— Тереса, нельзя ли попросить кого-нибудь сходить в аптеку?

— Я схожу, сеньорита,— ответила горничная,— мне как раз нужно в город. Я сейчас только фартук сниму и зайду к вам, вы мне на бумажке напишите, что купить...

Подойдя к столу, Беатрис вырвала листок из блокнота и стала искать закатившийся куда-то карандаш. В дверь постучали.

— Да-да, входите, — сказала она не оборачиваясь, — я сейчас напишу...

Секундой позже Беатрис сообразила, что Тереса никогда так не стучит — у нее стук быстрый и торопливый, а этот какой-то нерешительный. Похолодев от мгновенного непонятного испуга, она быстро обернулась и закусила губы.

— Ян? — шепнула она, отступив на шаг.— Вы что...

Придерживая у горла воротник халата, она сделала еще шаг назад, наткнулась на край кровати и села, не сводя глаз с гостя. Тот продолжал стоять у двери, словно хотел и не мог что-то выговорить.

— Беатриче,— сказал он наконец едва слышно.— Беатриче, простите меня, но...

И опять замолчал. Молчала и Беатрис. Мертвая тишина стояла в маленькой комнате, наполненной сухим зноем и запахом моря и солнца.

Потом — оба они вздрогнули — эта тишина взорвалась быстрым стуком в дверь. Выждав минуту, Тереса крикнула из коридора:

— Сеньорита Дора! Я иду, давайте бумажку!

Беатрис закрыла глаза.

— Не нужно, Тереса,— сказала она отчетливо.— Мне ничего не нужно, идите.

Было очень жарко в этой комнате, и она чувствовала, что от зноя ее кровь как бы сгустилась и пульсирует по телу с трудом, мучительно. Кровь так стучала в ушах, что ничего не было слышно, но Беатрис услышала все же, как щелкнул в двери ключ. И это было последним. После этого она не слышала ничего и ничего не видела, сидя на краю постели с накрепко зажмуренными глазами, судорожно вцепившись в ворот халатика пальцами, дрожащими от ужаса и нетерпения...

ЧАСТЬ III

Ступи за ограду

1

По обыкновению она вышла первой. Привычный страх, унизительный, как пощечина, опалил ее, словно эти семь шагов вниз по ступенькам, до поворота на тротуар, она проходила мимо раскаленной печи. Только свернуть — и никто, увидев ее, не догадается, что минуту назад она вышла из этих дверей...

Впрочем, она шла совершенно спокойно своей быстрой, легкой, чуть колеблющейся походкой, четко постукивая каблучками и бесстрастно глядя перед собой сквозь большие солнцезащитные поляроиды. Она всегда смеялась над этой дурацкой модой носить на глазах зеркала и никогда их не носила — именно поэтому стала носить теперь. Прическа тоже была изменена по мере возможности. Но все равно — у нее было слишком много знакомых, которые проводили сезон в Мар-дель-Плата, и каждый из них мог очутиться на этой улице, в этот самый утренний час, в эту минуту...

Знакомое стрекотание мотороллера догнало ее за углом, на середине следующего квартала. Не оглянувшись, Беатрис подошла к обочине тротуара и, когда рядом затормозила белая «ламбретта», примостилась боком на заднее седло, левой рукой взявшись за пояс Яна.

— Держишься? — спросил тот, не оборачиваясь.

— Да, поехали.

Мотороллер тронулся, ускоряя ход, вильнул влево, вправо, юркнул между машинами и помчался вместе с ними, фыркая и подпрыгивая. «До чего же нелепый вид транспорта», — подумала Беатрис, правой рукой нашаривая какую-нибудь дополнительную точку опоры позади себя.

— Где мы будем завтракать сегодня? — Ян спросил это громко, может быть, просто чтобы перекричать шум ветра и уличного движения, а может быть, и оттого, что его уже раздражало ее маниакальное

нежелание появляться дважды в одном и том же месте. Беатрис, во всяком случае, восприняла его тон именно как раздраженный.

«Скоро начнутся сцены»,— подумала она, а вслух сказала:

— Где хочешь.— Она выглянула из-за его плеча и прищурилась.— Что это там впереди, кажется «Мартона»? Вот и прекрасно.

Ян снова вырулил к тротуару и затормозил. Беатрис соскочила с седла и торопливо, не глядя по сторонам, вошла в дверь молочной. Внутри было чисто и прохладно — кафель и белый мрамор — и вкусно пахло свежим сливочным маслом; все это почему-то напомнило ей детство. Но тут же, следом, в эту белизну и прохладу вошел Ян Гейм.

— Возьми мне молока и рогаликов, что ли,— сказала она, снимая перчатки.— Можно с джемом. Я займу тот столик, в углу.

Позавтракали они молча. Впрочем, теперь это было уже не то молчание, которое так хорошо получалось у них месяц назад там, в Буэнос-Айресе.

— Ты не хочешь съездить на Пунта Моготес? — спросил наконец Ян.— Говорят, там пляж совсем пустой.

— Можно,— не сразу отозвалась Беатрис.— Только не сейчас, я должна побывать у себя в отеле. Воображаю, что думает обо мне хозяйка...

Ян посмотрел на нее удивленно:

— Тебя всерьез беспокоит, что думает о тебе какая-то трактирщица? Будь выше этого, Беатриче.

— О, я уже выше,— усмехнулась Беатрис, бросив на него почти ненавидящий взгляд.— Ты меня научил, мой патриций. Это правда, что римские дамы купались в присутствии рабов?

— Кажется,— лениво подтвердил Ян.— Я об этом где-то читал. У Светония, что ли.

— Вот видишь. Единственное, что мне теперь остается, это пройтись нагишом по Рамбле, с великолепным патрицианским презрением к тому, что обо мне подумают. Кстати, я ведь до сих пор толком не знаю, что думаешь обо мне ты, mi fiel amador [1]. Если не как о человеке — на это я не претендую,— то хотя бы как о любовнице. А? — Она весело смотрела на Яна, ожидая ответа.

Тот промолчал.

— Говорите же, Дон Хуан Тенорио [2],— продолжала Беатрис.— У вас ведь есть опыт, судя по всему... И есть с кем сравнивать. Так что же?

Ян, сидевший с опущенной головой, поднял на нее глаза, и Беатрис не поняла, чего в них больше — тоски или обыкновенной скуки.

— Хочешь ссориться, Беатриче?

— О нет, что ты! — Она рассмеялась, немного истерически.— Ссориться нам уже поздно, Хуансито. Я просто хочу знать себе цену, поэтому и спрашиваю!

— Не понимаю одного, Беатриче,— сказал Ян.— Я ведь ни к чему тебя не принуждал, ты знаешь. И если ты воспринимаешь все это так... так трагически, то как же ты тогда могла вообще...

Он не договорил и снова опустил голову. Беатрис смотрела на него и чувствовала, как улетучивается ее истеричная бравада, уступая место отвращению, и как откуда-то со дна души поднимается темный нерассуждающий ужас перед ее новым «я» — тот самый ужас, что погнал ее к Яну поздним вечером того дня, когда все это случилось, когда она была одинока и опозорена и когда у нее не было в мире ни одного близкого человека, кроме него, «близкого» уже хотя бы физически...

[1] Мой верный возлюбленный (*исп. устар.*).

[2] Герой пьесы Тирсо де Молина, прототип образа Дон-Жуана.

— Как я могла стать твоей любовницей? — переспросила она уже совсем другим тоном, просто устало.— Ты это хотел спросить? Не знаю, Хуан. Или, пожалуй, знаю... но предпочитаю не говорить,— в этом ответе нет ничего приятного ни для тебя, ни для меня самой. Будем считать, что просто так уж случилось... Как случалось миллионы раз у других...

Они вышли на улицу. Ян взял прислоненный к дереву мотороллер, свел его на мостовую и, запустив мотор, сел в седло, упираясь ногою в тротуар. Машинально покручивая рукоятку газа, он смотрел прямо перед собой пустым, неподвижным взглядом, словно не в силах оторвать глаз от какой-то видимой ему одному точки. Беатрис только сейчас заметила у него эту странную, безнадежную складку губ. Или раньше ее не было?

Словно опомнившись или очнувшись, он посмотрел на Беатрис:

— Подвезти тебя?

— Нет, я пойду пешком. Ты куда сейчас?

— На почту, потом заправиться. Когда за тобой заехать? Минут через сорок?

— Хорошо,— безразлично сказала Беатрис.— Только не подъезжай к отелю, я выйду на угол...

«Мои plaisirs d'amour [1],— устало подумала она, провожая взглядом белую «ламбретту».— Будь проклят навеки выдумавший эту ложь, этот подлый обман!»

«А в общем, это даже и не обман»,— сказала она себе через минуту, медленно идя по тихой, прохладной от зеленых утренних теней улочке. Кто ее обманывал? Кто обещал ей что-нибудь другое? Даже прямой виновник — Ян — и тот, в сущности, ни в чем не виноват — она со злости назвала его Хуаном Тенорио, а ведь он ее не соблазнял, он просто взял то, что она ему предложила... Как взял бы на его месте любой.

Ей некого винить, кроме себя самой. А если посмотреть глубже, то даже и не себя — вот что самое страшное. Страшнее всего, когда приходится винить безликие «обстоятельства», судьбу, жизнь. Жизнь вообще, ее беспощадные к человеку законы...

В какой-то степени Беатрис всегда это предчувствовала. Может быть, повлияло монастырское воспитание, но с тех пор, как она еще подростком открыла для себя существование пола, все связанное с ним было для нее предметом скорее страха, чем интереса. Разумеется, было и любопытство, было и притяжение, подобное тому, что испытывает человек на краю пропасти, но страх был сильнее. Беатрис чувствовала, догадывалась: здесь действительно пропасть, а не овражек, куда можно безнаказанно спрыгнуть из любопытства.

Она избегала всяких разговоров на эту тему с подругами, и не только потому, что ее шокировала обычная в таких случаях фривольность. Беатрис считала, что это не тема для болтовни,— слишком много было здесь страшного и таинственного. Здесь лежала тайна — глубочайшая тайна бытия, охраняемая грозным табу, подобно тем древним мистериям, где неосторожное прикосновение к святыне оказывалось гибельным для неофита.

И такое отношение к проблеме пола не изменилось для нее с возрастом. Мистерия оставалась мистерией, и сделать ее понятнее не могли ни наблюдения над окружающей жизнью, ни книги, ни даже лицейский курс биологии. А семнадцати лет Беатрис тайком купила у букиниста «Теорию либидо», и в истолковании Фрейда все это представилось уже настолько ужасным, что она несколько дней то и дело ловила себя на мысли о самоубийстве. Правда, это скоро прошло — она тогда

---

[1] Радости любви (*франц.*).

была влюблена в Фрэнка, — но не могло не оставить после себя определенного отпечатка.

Так что сейчас, в истории с Яном, не было ничего случайного. Все оказалось таким, каким должно было оказаться по этому чудовищному закону природы, который делает пол точкой соприкосновения самого высокого и самого низменного, сплавляет воедино со стыдом и страданиями наиболее полное и всеобъемлющее физическое наслаждение и, делая человека богом-творцом в акте созидания новой жизни, именно в этот момент превращает его в животное...

И винить было некого — разве что природу? Или все же ее, Дору Беатрис Альварадо,— за слабоволие, за отсутствие твердых взглядов, за то, что при первом же испытании развеялись прахом все ее принципы? Пожалуй, дело было не только в природе.

А что, если прав был тот старик в Гаасбеке, и катастрофа случилась с нею именно потому, что слишком легкой — материально — была вся ее жизнь? Возможно, будь у нее занятие, работа, какие-то обязанности, ничего этого не произошло бы, потому что не было бы главной причины, толкнувшей ее к Гейму,— одиночества...

Словом, все было чудовищно непонятно и перепутано. И — самое ужасное — за это время физическое влечение к Яну не только не исчезло, но, напротив, приобретало силу привычки, становилось потребностью. Вначале близость с Яном доставляла ей только страдания, теперь Беатрис уже находила в его объятиях какую-то темную и страшную радость — единственное свое вознаграждение за мрак и пустоту этой «любви»...

Из поездки на мыс Пунта Моготес они вернулись около пяти часов. У Яна что-то разладилось в его мотороллере, и он поехал к механику, договорившись встретиться вечером в порту — поужинать на поплавке, где подавали всякие морские диковины.

Беатрис медленно шла по улице, еще не придя в себя после пятнадцатикилометровой гонки по раскаленному шоссе; когда ее окликнули, она не сразу это сообразила. Лишь услышав повторное «Ола, донья инфанта!», Беатрис оглянулась и увидела высунувшегося из окна Хиля Ларральде.

— Заходите сюда! — крикнул тот.— Входите смело, здесь семейное отделение!

Беатрис, поколебавшись секунду, вернулась и вошла в кафе. В семейном отделении, за перегородкой, сидели у окна Хиль и Пико.

— Мосо!! — заорал Хиль, усаживая ее за столик. — Иди сюда, шарлатан, и убедись собственными гляделками, что наша дама пришла! Не хотел нас сюда пускать,— сказал он Беатрис,— хотя мы сказали, что ждем даму. А небо послало нам не кого-нибудь, а донью инфанту, конечно в награду за наши добродетели. Вы что пьете?

— Если я скажу коньяк, вы все равно не поверите, поэтому закажите мне что-нибудь попроще и похолоднее. Скажем, бильц или кока-кола. Ну а ты, Пико, как поживаешь?

Пико неопределенно скривился, зажигая от окурка новую сигарету.

— Ты почему куришь? — удивленно спросила Беатрис.— Да еще одну за другой! За чем вы смотрите, дон Хиль?

Хиль добродушно махнул рукой:

— Не помрет. Эй, мо-со!!

— С легкими у меня уже все в порядке, — объяснил Пико, — на прошлой неделе делали радиографию. Вот я и наслаждаюсь! Послушай, ты не встречала здесь такого Гейма — помнишь, приятель Нормы? Он о тебе справлялся недели две назад. Я ответил, что ты где-то здесь.

— Да, я его видела,— сказала Беатрис, глядя в окно.

— А, ну значит нашел. Что ему было от тебя нужно?

— Не знаю.— Она пожала плечами.— Наверное, просто решил навестить от скуки. Как донья Элена?

— Да ничего,— сказал Хиль.— Живет, цветет. Мальчишка у нее хороший.

— Я их видела,— кивнула Беатрис.— Малыш просто прелестный. Он уже говорит?

— Так, лепечет что-то. Вы приходите, посмóтрите на него вблизи — это, знаете ли, зрелище. Получше всякого зверинца.

— Спасибо, зайду как-нибудь,— неопределенно сказала Беатрис.— Вы поселились все вместе?

— Да, классическим треугольником, так сказать. Донья Элена сняла домик, и наверху оказалась нежилая комната, которую мы с одноруким отлично освоили. Правда, ее всю продувает сквозняками, но по такой жаре это даже хорошо. Словом, паразитируем за счет бедной вдовы.

— И долго вы еще думаете здесь пробыть?

— По-разному, донья инфанта. Элена с малышом останется, очевидно, до конца февраля, а мне нужно удирать дня через три...

— У вас что, отпуск? Тогда конечно. А ты, Пико?

— Да я тоже думаю возвращаться. Понимаешь, я здесь себя, в общем, глупо чувствую. Купаться все равно не купаюсь...

— Стыдится своей культи, идиот,— снисходительно вставил Хиль.— Я бы на его месте только ею и красовался, и еще привесил бы этикетку: «Кордова, семнадцатое сентября».

— Иди к черту. Дело не в стыде, а просто я не могу теперь плавать, еще не научился. Говорят, со временем это можно освоить... А пока скучно.

— Ты человек богатый, мог бы от скуки побаловаться и рулеткой,— не унимался Хиль.— Спустил за ночь тысяч пять — смотришь и развлекся. Или завел бы себе красивую любовницу — тоже занятие.

— Боюсь, не из веселых,— сказала Беатрис.— Такого развлечения я бы тебе не посоветовала, мой Пико.

— Вы-то сами что в этом понимаете? — изумленно уставился на нее Хиль и захохотал. — Тоже мне, жрица любви!

— Кстати, о моем богатстве,— громко сказал Пико, бросив на Хиля косой взгляд.— Ты ведь, Дорита, еще не знаешь, что я со всеми переругался...

— Ну да, ты мне звонил, когда вернулся от Ван-Ситтеров.

— Ван-Ситтеры — это что! — Пико рассмеялся с довольным видом.— Я после них порвал еще и с некими Ретондаро, как говорится, c'est le prémier pas que coûte [1]...

— Ты что, серьезно? — спросила Беатрис. — Из-за чего?

— Все из-за того же, Дорита, все из-за того же! Когда я информировал своего родителя о известном тебе мендосском инциденте, он пришел в ярость, которая меня даже удивила, так как Люси ему в свое время не нравилась. Ты понимаешь — если бы не это удивление, ничего бы не случилось, потому что я просто оборвал бы разговор и ушел, но меня разобрало любопытство — почему старику так вдруг понадобилось, чтобы я женился на Люси? Короче говоря, я стал выяснять отношения, и оказалось, что Ван-Ситтеры — в качестве приданого — должны были финансировать начало моей адвокатской карьеры. Ты понимаешь? А теперь, значит, либо я должен срочно найти себе новую богатую невесту, либо Ретондаро-старшему придется выложить деньги на

---

[1] Лиха беда начало (*франц.*).

открытие юридической конторы из собственного бумажника. Ну, что касается первого варианта, то это обстоятельство,— Пико хлопнул себя по пустому рукаву белого пиджака,— делает его практически неосуществимым, и старик прекрасно это понимает. Знаешь, что он мне в конце концов заявил? Как, говорит, у тебя хватило ума нарушить помолвку накануне свадьбы, — ведь уже через год можно было бы разойтись, а раздел имущества — дело долгое, ты выплатил бы им эти деньги по частям совершенно безболезненно для дела, ну и далее в таком же роде...

— Какой заботливый родитель,— завистливо вздохнул Хиль, качая головой. — Ты, конечно, этого не оценил, неблагодарное ты животное. Вот так и производи на свет потомство, донья инфанта!

— Тебя, наверное, удивляет, что я рассказываю о своем отце такие вещи,— усмехнулся Пико.

Беатрис, которая действительно почувствовала себя несколько шокированной, отделалась неопределенным междометием.

— Дело в том, Дорита, что я уже давно фактически отошел от семьи. Я ведь даже жил отдельно весь последний год — до бегства.

— Ах вот как...

— Да, мы как-то давно уже перестали друг друга понимать. Ну а теперь я ушел окончательно. Плюнул, фигурально говоря, на всех своих ларов и пенатов, отряхнул прах на пороге и ушел.

— Ну хорошо, а... как же ты теперь думаешь жить, Пико? Открыть контору действительно стоит больших денег?

— Еще бы, черт возьми! А на дьявола мне теперь контора? Мне предлагают работу, я уже согласился.

— Впрочем, да, конечно,— сказала Беатрис.— Можно ведь поступить к адвокату. Я даже могу познакомить тебя с одним, у которого я когда-то работала.

Пико засмеялся.

— Знаю, о ком ты говоришь! Старый Мак-Миллан? Я его видел не так давно — вылитый Чарльз Лоутон. Нет, я начинаю работать асессором в профсоюзе текстильщиков.

Беатрис вскинула брови:

— Ты — в профсоюзе? И почему именно текстильщиков?

— Да так получилось, они остались без асессора и искали нового, вот я и подвернулся...

— Ничего вы не понимаете,— вмешался Хиль,— просто он потерпел крушение в среде олигархии и начинает подмазываться к пролетариату. А ведь президента из него уже не выйдет, а, донья инфанта? Жаль, каррамба, жаль. Стань этот тип президентом, я мог бы рассчитывать хотя бы на портфель министра здравоохранения, в порядке дружеской услуги. Вы о чем грустите, донья инфанта?

Прежде чем ответить, Беатрис непонимающе смотрела на него секунду-другую.

— Я, собственно, не грущу,— сказала она наконец.— Я просто вспоминаю. Мы с вами, дон Хиль, познакомились ровно три года назад, помните? Это был карнавал пятьдесят третьего года, и вы с самого начала стали говорить мне гадости. Вы сейчас сказали о министерском портфеле, и я вспомнила: вы тогда ушли, я спрашиваю у Пико, что это был за тип, а он говорит: «Да так, один лекарь, который надеется, что я сделаю его министром...»

— Мерзавец,— сказал Хиль.— Жаль, что он теперь однорукий, я бы его вызвал на гаучскую дуэль. На больших ножах! Я бы ему выпустил кишки, как этот, как его... Мартин Фьерро.

— Ты начинаешь просто подавлять своей эрудицией,— с почтением сказал Пико.— Раньше, насколько помнится, единственными известны-

ми тебе литературными героями были Дон Фульхенсио и Донья Тремебунда [1].

— Лжешь, как последний подонок,— отозвался Хиль.— Я всегда был регулярным читателем «Паторусу» [2].

Все засмеялись.

— Дон Хиль, а кто написал «Анну Каренину»? — спросила Беатрис.

— Ну ладно, ладно,— проворчал тот,— вы уже совсем решили, что я круглый невежда... Спросите еще, кто написал «Дон-Кихота»!

— Но все-таки, кто — «Каренину»?

— Ну, Достоевский! Получили? — Хиль торжествующе подмигнул.— А вот если я вас спрошу, кто написал первое исследование о полиомиелите, так вы оба хоть лопните— не ответите правильно.

— Ты, кстати, тоже можешь лопнуть,— сказал Пико.— Только отойди подальше, хорошо?

— Чего это я должен лопаться?

— А то, что «Каренину» написал Лео Толстой.

— Первый раз слышу,— с достоинством сказал Хиль.— Впрочем, хватит о литературе. Ведь в самом деле, прошло уже три года, как мы с вами знакомы, донья инфанта...

— Скажите, дон Хиль, о прошлом вы вспоминаете с удовольствием или нет? — помолчав, спросила Беатрис.— А ты, Пико?

— Смотря о каком,— ответил тот.— Приятно вспоминать детство. А позже...— Он пожал плечами.— Почему-то юность считается лучшей порой жизни, но я так не думаю. По-моему, юность скорее мучительна. Ломаются какие-то детские представления об окружающем, начинаешь воспринимать мир по-новому, складывается какое-то свое восприятие жизни — и все это мучительно, трудно, с болью, — а потом проходит год, и ты видишь, что твое «новое восприятие» тоже никуда не годится и нужно все переосмысливать и передумывать заново... Какое-то бесконечное внутреннее самоперемалывание. И потом — извини, Дорита, но мы уже все взрослые люди,— самое, может быть, мучительное в юности — это проблема пола. Говорят, у девушек это проще и легче, но парни — скольких я ни знаю — переносят это... трудно. А сколько вообще калечится — непоправимо, на всю жизнь! Нет, юность мне вспоминать неприятно. И даже не самую юность...

— Не знаю,— сказал Хиль, воспользовавшись паузой, когда Пико потянулся за своим стаканом.— Что-то мне эти твои сексуальные терзания кажутся немного надуманными. Видимо, все дело в том, как к этому подойти с самого начала. Если во всякой женщине видеть воплощение мадонны, тогда, конечно, можно потом свихнуться. А в ней нужно видеть просто женщину, и все будет просто.

— Это, конечно, вопрос весьма индивидуальный,— сказал Пико.

— Да, но ты говоришь — «все парни, каких я знал»!

— Хорошо, не буквально «все», пусть большинство. Большинство моих знакомых, друзей... Мне и не только юность плохо вспоминается, студенческие годы не лучше. Стыдно подумать, чем была забита голова, до какой степени ничего вокруг себя не понимал... Когда я рассорился с Люси, она сказала, что никогда не принимала всерьез моих взглядов — слишком уж они часто менялись. Я, конечно, огрызнулся, но вообще-то есть рациональное зерно и в ее словах... А ты, Дорита, вспоминаешь о прошлом с удовольствием?

— Да,— тихо сказала Беатрис. Она помолчала, машинально взбалтывая стакан с остатками кока-кола, в котором звякала круглая обтаявшая льдинка, и добавила нерешительно: — Я как раз сейчас

[1] Популярные персонажи аргентинских газетных комиксов.

[2] Юмористический журнал, рассчитанный на нетребовательного читателя.

вспомнила... когда мы сидели в тот день в клубе ассоциации, помните? Господи, неужели это действительно была я, просто страшно...

— Страшно? — удивленно спросил Хиль.

Беатрис молча кивнула.

— Очень страшно, дон Хиль, — сказала она через полминуты. — О таких вещах лучше не думать...

— Вот именно, у меня то же самое,— подхватил Пико,— точно то же самое, Дорита. Мне тоже страшно представить себе, как бессмысленно потрачено время черт знает на что.

— Как же это? — ехидно сказал Хиль.— После генерала Сан-Мартина ни один аргентинец не принес таких жертв на алтарь Свободы, как сеньор Ретондаро. Участник двух революций, герой Кордовы!

— Не нужно, дон Хиль,— укоризненно сказала Беатрис.

Пико усмехнулся и закурил новую сигарету, Хиль тут же бесцеремонно отобрал ее у него и бросил в пепельницу.

— Я говорил даже не об этом,— сказал Пико.— Это особая тема, совсем особая. Ты понимаешь, Дорита... Даже если бы с революцией все оказалось в порядке — все равно, это что-то не то. Я вот смотрю на Ларральде и иногда ему завидую. Кстати, Хиль, тебе пришлось хоть раз спасти жизнь какому-нибудь больному — ну вот так, как об этом пишут? Не просто провести успешное лечение, а так, сразу, взять и спасти?

— А как же,— самодовольно кивнул Хиль.— Одного пятилетнего сопляка именно вот так взял и спас. В прошлом году. Чертенок выдул целый стакан какой-то химии — привезли уже синим, гнусно было смотреть. Самое интересное, что это совсем не по моему ведомству — я ведь не токсиколог, каррамба! Да-а, мы с ним повозились... Но вы заметьте вот что, донья инфанта,— когда этот тип,— он указал пальцем на Пико,— когда он был здоров и в полном комплекте, не было случая, чтобы он не выразил презрения к лекарям. Но теперь, когда его продырявили и окоротили на одну конечность, — смотрите, как он начинает юлить и заискивать перед нашим братом!

— А что ж,— сказал Пико,— честная капитуляция никому не возбраняется. Волею судеб я оказался во власти вашего племени, и мне остается только выкинуть белый флаг. В конце концов, не могу же я проверять содержимое каждой ампулы, что вы мне вливаете! А вот и донья Элена...

Он привстал и помахал поднятой рукой. Хиль и Беатрис оглянулись.

— Так вы действительно ждали даму,— сказала Беатрис.

— Да, собрались в кино. Хотите вместе, донья инфанта?

Беатрис не успела ответить — донья Элена подошла к столику и бросила на нее взгляд, в котором мелькнуло удивление.

— О, сеньорита Альварадо, — сказала она с любезной улыбкой, — и вы здесь. Как поживаете?

— Добрый вечер, сеньора, благодарю вас. Как себя чувствует ваш маленький?

— Надо думать, неплохо,— засмеялась донья Элена, садясь напротив Беатрис.— Это не ребенок, а фокстерьер!

— Хуже,— мрачно сказал Хиль.— Не будьте оптимисткой, донья Лена.

— Очень много хлопот? — сочувственно спросила Беатрис.

— Вы не можете себе представить! Верите ли, за полтора месяца я первый раз вырвалась сегодня в кино... Хиль, билеты уже взяли?

— А что, разве нужно заранее? Возьмем сразу.

— Ну конечно, так они и будут нас ждать! Я же просила зайти раньше!

— А донья Элена права,— сказал Пико.— Идем-ка лучше сейчас, иначе ничего не выйдет. На тебя брать, Дорита?

— Спасибо, я не могу сегодня. Что вы хотите смотреть?

— Что-то французское, называется «Эта проклятая девчонка». Очень хвалят героиню, какая-то совсем неизвестная — как ее? — Бидо, Бридо, что-то в этом роде. Так ты действительно не можешь?

— Я просто занята,— сказала Беатрис.— Да и вообще, я сейчас охладела к кино.

— Вы, донья инфанта, не изворачивайтесь,— сказал Хиль, вставая из-за стола.— Признались бы уж прямо, что у вас вечером любовное свидание. Поразительная вещь, как иногда обманчива внешность. Впрочем, попы утверждают, что дьявол способен надевать любую личину.

— Идем, лекарь,— перебил его Пико.

— Иду, иду! Так что же скажет на этот счет ваше католическое высочество? — не унимаясь, обратился он к Беатрис.

Та через силу улыбнулась:

— Я не сильна в демонологии, дон Хиль. Но говорят, тихая вода глубже, так что, может быть, вы и правы.

— Значит, сами признаете, что завели здесь какие-то шашни? — Хиль засмеялся и погрозил ей пальцем: — Ах, донья инфанта, донья инфанта! Подумать только, что делают с людьми йод, безделье и ультрафиолетовые лучи...

Элен бросила взгляд на лицо Беатрис и вдруг вспылила:

— Слушайте, Ларральде, идите к дьяволу! Чего вы привязались, в самом деле!

Хиль сделал испуганное лицо и заторопился к выходу следом за Пико, крикнув, что будут ждать у кинематографа.

— Не обращайте внимания,— пробормотала Беатрис.— Я очень устала сегодня, мне просто немного не по себе... Я, наверное, пойду...

— Посидите,— сказала Элен.— На улице еще жарко.

Они помолчали. Мосо поставил перед Элен заказанный ею гренадин и отошел, окинув клиенток нагловатым оценивающим взглядом. Беатрис подумала, что раньше на нее никто так не смотрел. Или просто не замечала?

— Я, наверное, кажусь вам идиоткой,— усмехнулась она.— В самом деле, это вторая наша встреча, и вы оба раза видите меня на грани истерики. Впрочем, не бойтесь, это просто так говорится, что на грани, а вообще-то я редко плачу... Даже удивительно...

Элен смотрела на нее молча, внимательно и — как в первый момент — немного удивленно. «Прости меня господь, но она глупа,— подумала вдруг Беатрис со внезапным раздражением.— Нельзя безнаказанно быть такой красивой, при этой внешности ум был бы уже просто расточительством. Впрочем... Джерри сказал тогда, что она старше меня всего на два года? Я бы подумала — на все шесть...»

Элен действительно выглядела теперь старше своих двадцати двух лет. Она немного пополнела после рождения Херардина — совсем немного, но ее фигура утратила прежнюю мальчишескую гибкость, а красота стала почти вызывающей — донья Элена Монтеро приближалась теперь к тому типу, который был в моде полвека назад и на языке того времени определялся словами «роскошная женщина».

— Почему вы думаете, что я боюсь истерик? — сказала Элен.— И никакого особенно странного впечатления, сеньорита, вы на меня не производите. Что у вас какие-то неприятности или заботы — это видно. Но у кого их нет?

— Если говорить о заботах, то есть, очевидно, заботы очень приятные, хотя и трудные. Я, например, думаю о вашем маленьком. Ведь тревогу о нем вы не променяли бы ни на какую беззаботность, не

правда ли, сеньора? Я даже думаю, что и такая забота, как забота о прокормлении голодной семьи, является, в сущности, приятной и утешительной...

— Вы ее испытали, сеньорита? — с улыбкой спросила Элен.

— О нет, конечно. Это, если хотите, просто умозаключение. Ведь, в конце концов, к большинству выводов приходишь чисто спекулятивно, не правда ли?

Элен пожала плечами:

— Мне не совсем понятно, что вы сказали относительно спекуляции. Среди моих поставщиков есть один спекулянт, но я не замечала, чтобы он был таким уж умным. И если уж говорить о его выводах, то боюсь, он будет делать их сидя на скамье подсудимых...

На этот раз улыбнулась Беатрис.

— Я имела в виду несколько иное, сеньора, но неважно. Так вот, если говорить о заботах, то, по-моему, самая неприятная из них — это когда ты сама являешься единственным ее объектом. Вы понимаете — одно дело беспокоиться о семье, ребенке и тому подобное и в то же время ощущать мир внутри себя, и совсем иначе себя чувствуешь, когда у тебя в душе полный разлад, хаос, и ты к тому же совершенно одна, без каких бы то ни было обязанностей по отношению к окружающим...

— Вы думаете, это возможно? — задумчиво спросила Элен.

— Что, сеньора?

— Ну вот — не чувствовать никаких обязанностей, как вы сказали.

— Мне нечего думать, сеньора, я это испытываю на собственном опыте!

— Но ведь вы же не в пустыне живете, верно? У вас разве нет семьи?

— Почему, у меня есть отец, но он сейчас за границей. А друзей — по-настоящему — нет. С Пико мы, если хотите, просто хорошие и старые приятели, не больше. У меня был один настоящий друг, но я его оттолкнула...

— Зачем же, если это был друг?

— Боже мой, зачем! Так вышло, сеньора. Вы спрашиваете, как будто к любому человеческому поступку применимы вопросы «зачем» и «почему»...— Беатрис помолчала и натянуто улыбнулась: — Видите, я осчастливила вас еще одной исповедью. Увидев меня в третий раз, вы, несомненно, испытаете желание перейти на другой тротуар, не правда ли? Кстати, я однажды видела вас с малышом в пассаже.

— Да? — Элен смотрела на нее не то рассеянно, не то задумчиво.— Мы иногда бродим с ним, рассматриваем витрины. Сеньорита, мне очень хотелось бы, я была бы просто рада, если бы смогла чем-то вам помочь. Хотя я, конечно, не представляю себе — чем...

— Право, вы так любезны,— салонным тоном ответила Беатрис,— Я бесконечно тронута. Вы не опоздаете в кино?

Элен взглянула на часы:

— Да, мне пора уже...

— Это в каком кинематографе? — спросила Беатрис.

— Здесь рядом — «Гран Мар», на углу Сальта и Люро.

— О, это мне по пути,— небрежно сказала Беатрис, начиная натягивать перчатки.— Я вас провожу, сеньора, если не возражаете...

2

Получив вечером телеграмму, Альтвангер немедленно отменил все намеченные на завтра встречи и заказал место на утренний самолет. Ночь он провел отвратительно, его знаменитый нюх говорил на этот раз, что история так просто не кончится.

От предварительного телефонного разговора с Флетчером он решил воздержаться, хотя его неудержимо тянуло снять трубку и вызвать междугородную. Лучше было сначала обдумать все самому.

Но из обдумывания ничего не получилось. Проворочавшись несколько часов без сна и выкурив пачку сигарет, Альтвангер плюнул и решил, что утро вечера мудренее. Потом он сидел в самолете, мрачный и невыспавшийся, и мысленно проклинал инженера Хартфилда, компанию «Консолидэйтед эйркрафт», проблему ремилитаризации Германии и — с особым жаром — чванную дуру Пэм Флетчер.

В девять часов самолет приземлился на чистеньком аэродроме Уиллоу-Спрингс. Накануне в городе ударили необычные для февраля заморозки, термометр опустился до тридцати градусов[1], и Альтвангер, шагая напрямик через газон по хрусткой от мороза траве, пробормотал еще одно проклятие — на этот раз по адресу предательской новомексиканской зимы. Из Вашингтона он вылетел в легком пальто, теперь не хватало только подцепить грипп!

Черный «паккард» президента административного совета ждал его у выхода из аэровокзала. Ровно в девять двадцать Альтвангер выскочил из машины у подъезда белого, построенного под георгианский стиль, дома на Эпплтриз-Роуд.

Войдя в знакомую гостиную, он хмуро приветствовал вышедшего ему навстречу Дэйвида Флетчера.

— Ну что, влипли? — без предисловий спросил он, швыряя в кресло портфель. — Где парень, Дэйв? Ты сам с ним говорил?

— Говорил, — кивнул Флетчер. — «Влипли» — это, пожалуй, несколько сильно сказано, но...

— Ничего не «но»! Ты понимаешь, что такое пресса? — Альтвангер закурил и пробежался по ковру, держа руки в брючных карманах.— Господь моя сила, недаром говорится — спроси совета у женщины и поступай наоборот! Где этот Хартфилд?

— За ним можно послать, если нужно...

— И немедленно же! Слышишь, Дэйв? Мы не можем терять ни минуты!

— Хорошо, хорошо,— пробормотал Флетчер, задумчиво уставившись себе под ноги.— Я сейчас его приглашу... Разумеется, он может и не прийти, если ему вздумается. Ничего, я напишу ему сам, так будет приличнее...

Альтвангер выхватил блокнот, раскрыл на чистой страничке и протянул Флетчеру.

— Пиши, — скомандовал он, сунув ему в руки вечное перо. — Пиши что угодно, изъясняйся этому сукину сыну в любви и нежности, но чтобы через полчаса он был здесь...

Флетчер, немного ошеломленный натиском, покорно отошел к роялю и, примостив блокнот на углу крышки, стал писать.

Закончив быстрым размашистым росчерком, он осторожно вырвал листок и помахал им в воздухе.

— Ты написал, чтобы немедленно? — подозрительно спросил Альтвангер.

— Ну да, в этом смысле... Я написал «по возможности скорее», мы все-таки не можем ему приказывать, не так ли?..

— Ну ладно, — махнул Альтвангер, — давай!

— Сейчас отвезут, нужно только запечатать...

Флетчер отдал ему перо и вышел. Почти одновременно через другую дверь прошествовала «первая леди», величественно неся свою аметистовую прическу.

---

[1] По Фаренгейту; соответствует приблизительно —2° Ц.

— Лео, дорогой, как я рада тебя видеть! — Она протянула ему — ладонью вниз — руку, которую Альтвангер скорее злобно клюнул, чем поцеловал, и указала на кресло: — Садись и рассказывай. Что нового в столице?

— Ты мне лучше расскажи, что нового здесь! — сдержанно огрызнулся Альтвангер.— Хорошенькую мы заварили кашу, а?

Миссис Флетчер подняла брови:

— Не понимаю тебя. А-а, ты об этом юноше? Боже мой, я ведь тебя предупреждала, что у него всякие экстравагантные идеи...

Альтвангер, лишившись от возмущения дара речи, издал какой-то невразумительный шип; неизвестно, что последовало бы за этим многообещающим вступлением, если бы в гостиную не вернулся сам Флетчер.

— Записка отправлена,— сказал он успокаивающим тоном,— надеюсь, через полчаса его привезут. Но, ради всего святого, старина! Что за паника? Мы могли бы спокойно и не торопясь все обсудить, потом встретиться с Хартфилдом, может быть, вместе со всей их группой...

— Минутку, Дэйв! Этот парень сейчас на работе?

— Очевидно, нет, его отпуск еще не кончился.

— Великолепно! Значит, он болтается где-то вне завода. Откуда ты знаешь, чем он в эту минуту занят? Да он — пойми ты! — в любую минуту может послать опровержение!

— Хорошо, хорошо, старина. Ты говоришь — он напишет опровержение. Во-первых, вряд ли он станет это делать, скорее всего — даже если не удастся уломать — он просто не поедет и останется здесь. Вряд ли у него хватит навыка в подобных вещах, чтобы выступать с каким-то опровержением. Но допустим! Допустим, он выступит. Что он может сказать? Что твоя статья была написана без согласования с ним? Что на самом деле он ни в какую Германию ехать не собирается? Ну что ж! Неприятно, конечно, но ведь мы можем выступить с разъяснениями и сказать, как это получилось: что предварительной согласованности не было в силу секретности переговоров, ну и...

— Стоп! — прервал его Альтвангер.— Что мы будем потом писать — это дело десятое. Нам важно, Дэйв, что будет писать он! Я вижу, ты не совсем ясно представляешь себе возможные последствия этой истории. У меня, к сожалению, больше прозорливости и нюха в таких вещах. Если ты думаешь, что этот парень ограничится простым «я не поеду», то твое умение разбираться в людях не стоит стертого никеля.

— Но что он может сделать? — Флетчер недоумевающе пожал плечами.

— Все, Дэйв. Буквально все, если, конечно, у него хватит ума воспользоваться ситуацией, чего, надеюсь, господь не допустит. Он может вызвать падение акций «Консолидэйтед». Он может испортить карьеру лично тебе, и как испортить! А что касается меня, то этот Хартфилд может сделать то, что от Лео Альтвангера, как журналиста, останется дурно пахнущее воспоминание. Которое к тому же — будем говорить честно — очень скоро выветрится. Ты думаешь, он ограничится тем, что скажет «не поеду»? — Альтвангер усмехнулся и выразительно поводил перед носом у собеседника поднятым указательным пальцем: — Нет, мой дорогой Дэйв! Если он скажет «а», то скажет и «б»; если он объявит о своем нежелании ехать в Германию, то объявит и причины этого нежелания. Теперь ты понял?

Он откинулся на спинку кресла и вытянул скрещенные ноги, насмешливо глядя на приятеля.

— Такое заявление,— продолжал он, закурив сигарету,— написанное с толком и опубликованное в более или менее крупной газете или переданное в эфир, способно вызвать скандал общенационального масштаба. Скандал, от которого кое-кому в Вашингтоне станет еще жарче,

чем мне в данную минуту! Я не хочу сказать, что от этого обесценится доллар или купол Капитолия рухнет на головы нашим отцам сенаторам, но за прочность положения «Консолидэйтед» я с такой же уверенностью не поручусь.

— Но помилуй, при чем тут положение фирмы? — изумленно спросила миссис Флетчер.— Я просто не в состоянии тебя понять!

— Меня это не удивляет, — сказал Альтвангер. — Надеюсь, Дэйв более сообразителен. Ваш Хартфилд имеет сейчас возможность одним росчерком пера запустить кампанию против ремилитаризации ФРГ — вплоть до митингов, петиций, сбора подписей и всяких таких штук. А вы учтите одно: правительство очень не любит подобного шума и предпочитает не иметь дела с людьми или фирмами, вокруг которых этот шум поднят. Мы можем подписывать какие угодно соглашения, какие угодно договоры, но это только в том случае, когда не протестует его величество налогоплательщик. Вступать же в открытый конфликт с общественным мнением — по крайней мере в таком вопросе — люди из Вашингтона никогда не станут. И они предпочтут пожертвовать интересами какой-нибудь «Консолидэйтед эйркрафт», чем своими шансами на будущих выборах. Впрочем, уж это ты, Дэйв, должен знать не хуже меня!

— Бесспорно, бесспорно,— несколько растерянно пробормотал Флетчер.— В самом деле, какая неприятность...

Альтвангер в молчании докурил сигарету, то и дело поглядывая на часы.

— Конечно,— сказал он задумчиво, бросив окурок и пощелкивая ногтями по краю пепельницы,— он, как я уже говорил, может быть, и не осознает еще всех своих возможностей... Но ведь ему могут и подсказать! Теперь представим себе на минуту, что возможности эти осознаны и своевременно использованы,— что же получается? Чистокровный американец — не полуеврей, не полунегр, не полуитальянец и даже не полунемец, как некий Лео Альтвангер,— способный молодой инженер, разумеется не коммунист и — главное — сын боевого офицера, погибшего при исполнении долга. Да это же образ для Голливуда! Держу пари — не одна тысяча девчонок спала сегодня с номером «Коллирса» под подушкой. И вот этот обаятельный молодой человек обращается к общественному мнению Америки! Его имя опорочили! Его оклеветали! Его хотят заставить пойти против собственной совести! Вы представляете реакцию одних хотя бы ветеранов? А все так называемые «прогрессивные» организации? А пресса коммунистического блока? Поверь, Дэйв, я нисколько не преувеличиваю, говоря о возможности очень большого скандала... Скандала не по поводу инженера Фрэнклина Хартфилда, а по поводу германской проблемы...

Когда виновник переполоха вошел в гостиную, Альтвангер впился в него глазами, одновременно изобразив на лице свою знаменитую добродушную улыбку — ту самую, с которой он каждую субботу появлялся перед миллионами телезрителей. Он был проницателен и хорошо разбирался в лицах, причем первое впечатление обычно оказывалось безошибочным; ему сейчас важнее всего было определить, насколько опасен противник.

Он нашел, что Хартфилд нефотогеничен и снимки дают о нем довольно искаженное представление. На них он казался старше и — Альтвангер не сумел даже определить это точным словом — как-то обыденнее, что ли. Во всяком случае, что-то очень важное в его облике от объектива ускользает. А вообще, если бы не хорошо сшитый костюм из серой фланели и квадратные, без оправы очки, этот Хартфилд сошел бы за фермера откуда-нибудь со Среднего Запада — очень легко представить его в линялом комбинезоне и пропотевшей по ободку шляпе с

обвислыми полями. Правда, то неуловимое, ускользающее от объективов,— это в нем уже не фермерское...

— Хэлло, Фрэнки,— сказал журналист с безмятежным радушием, встретив вошедшего посреди гостиной и пожимая ему руку.— Пусть вас не удивляет такое обращение — я с вами знаком лучше, пожалуй, чем иные из ваших друзей. Дело в том, что мое имя Лео Альтвангер. Ну да, тот самый, что треплется по телевидению и иногда для лишнего заработка пописывает в журнальчиках, вроде «Коллирса»...

— А, это вы,— неопределенно буркнул Фрэнки, блеснув на него очками. Отражение залитого утренним солнцем окна полыхнуло в стеклах, и Альтвангер не смог увидеть выражения глаз, но выражение голоса ему не понравилось.

Так же сдержанно Хартфилд поздоровался с Флетчером («первая леди» ушла, едва было доложено о его приезде) и опустился в кресло. От выпивки он отказался, сигарету из предложенной шкатулки взял и закурил, но после второй затяжки бросил — очевидно, не пришлась по вкусу — и вытащил из кармана помятую пачку «честерфилда».

«Что делается у него внутри, неизвестно,— подумал Альтвангер, продолжая свои наблюдения,— но сукин сын умеет собой владеть...»

— Так вот, мистер Хартфилд, — сказал хозяин, подавшись вперед в своем кресле и соединяя перед грудью концы растопыренных пальцев.— Я пригласил вас для вторичного разговора, так как наш вчерашний, в общем, ничем конкретным не окончился... А я очень хотел бы прийти все же к соглашению, одинаково удобному для обеих сторон.

— Я вас понимаю, сэр,— сказал Хартфилд.— Впрочем, это не совсем точно. Скорее, я вас не понимаю — в смысле соглашения. По-моему, я ясно высказал вчера свое отношение к этому вопросу и менять его не намерен.

— Разумеется, разумеется,— кивнул Флетчер.— Но, видите ли, я не сумел, наверное, осветить вам некоторые стороны дела. Мистер Альтвангер сумеет это сделать лучше, и мы втроем подумаем, как выходить из неприятного положения...

Альтвангер с готовностью перехватил инициативу:

— Да, позвольте мне! Послушайте, Фрэнки,— надеюсь вас не обижает фамильярность, я ведь просто старше вас на добрых три десятка,— послушайте, что я вам скажу. Прежде всего: приношу вам свое искреннее сожаление о случившемся. Мистер Флетчер уже объяснил вам, как все это получилось, но — оставляя в стороне детали — главная вина лежит, конечно, на мне. Когда было подписано соглашение с немцами и нужно было давать материал в печать, вас здесь не оказалось: можно было бы, конечно, и даже должно было предварительно показать статью вам, но — проклятая оперативность! — я подумал, что, пока сумею разыскать вас и договориться о встрече, время будет упущено...

Хартфилд уже несколько раз порывался что-то сказать, но без умолку тараторивший Альтвангер не давал ему вставить слова. Наконец, воспользовавшись паузой, он решительно перебил журналиста:

— Прошу прощения, сэр, это несущественно, мне кажется. Я не разбираюсь в специфике газетной работы и не хочу ее обсуждать. Мне казалось до сих пор, что не полагается писать о человеке так, как вы написали обо мне и моем отце, не получив предварительно согласия от него самого... или хотя бы от родственников. Но не это главное. Главное тут то, что я не собираюсь ехать в Германию и не поеду. Между тем ваш журнал расписал меня на все Соединенные Штаты чуть ли не как... поборника какого-то нового крестового похода, что ли, я уж даже не знаю, как это назвать. Боюсь, сэр, что вам придется напечатать соответствующее опровержение.

— Минутку, Фрэнки. Минутку! Почему, собственно, вы не хотите ехать в Германию?

Хартфилд несколько секунд смотрел на него, прежде чем ответить.

— Это, пожалуй, трудно объяснить в нескольких словах. Вы знаете, что там погиб мой отец. Но это, конечно, не основная причина, а как бы... повод, что ли...

— Господи, я вас прекрасно понимаю! — добродушно воскликнул Альтвангер. — Это совершенно естественная реакция, но давайте разберемся в ней правильно. Ваши рассуждения следуют приблизительно по такой линии: мой отец погиб в бою против немцев, а меня посылают этим немцам помогать — нет, я из уважения к его памяти не могу этого сделать. Приблизительно так, да?

Фрэнк пожал плечами, то ли соглашаясь, то ли оспаривая гипотезу.

— Фрэнки, — продолжал Альтвангер, — мне пятьдесят лет, и вы не должны обидеться, если я назову такой ход рассуждений несколько наивным. Да, формально вы, может быть, и правы. Да, вашего отца убил немец, и вы не можете об этом не думать. Но разве в этом случайном обстоятельстве — смысл жертвы капитана Хартфилда? Разве против Германии как таковой воевал ваш отец? Нет, нет и нет! Он воевал против страны, посягнувшей на свободу Америки! Вот что вы должны понять прежде всего. Он воевал против системы, которая в силу случайных исторических обстоятельств возникла и укрепилась в центре Европы, на территории одной из самых цивилизованных ее стран, а не против этой страны как таковой. Как вы думаете, если бы нацизм возник не в Германии, а во Франции, и если бы в сорок третьем году вашему отцу пришлось бомбить вместо Швейнфурта какой-нибудь, скажем, Клермон-Ферран,— он бы полетел?

— Очевидно,— сказал Фрэнк.— Я прекрасно знаю, что у отца не было никакой ненависти к немцам, как к народу. Надо полагать, он в этом смысле не делал бы разницы между ними и французами.

— Допустим, и русскими, не так ли?

— Очевидно,— повторил Фрэнк.

— Ваш отец, как вам, несомненно, известно, по своему возрасту мог уже не принимать личного участия в выполнении боевых заданий, не так ли? Значит, в тот день, когда его «крепость» вылетела на Швейнфурт, он был, по существу, добровольцем. Как вы думаете, Фрэнки, какая идея побудила капитана Хартфилда сделать этот шаг?

— Мой отец ненавидел нацизм еще с гражданской войны в Испании.

Флетчер, до этого момента молчаливо следивший за разговором из глубины своего кресла, кашлянул и посмотрел на Фрэнка:

— Простите, Хартфилд, разве ваш отец принимал в ней участие?

— Нет, сэр. Он собирался, насколько мне известно, но ему что-то помешало. Если не ошибаюсь, какие-то трудности с документами.

— Великолепно, мой мальчик, — снова вмешался Альтвангер. — Капитан Хартфилд ненавидел нацизм — это мы установили. Надо полагать, это объяснялось тем, что именно нацизм был в те годы той силой, которая угрожала принятым в нашей стране принципам свободы. Вы согласны?

Фрэнк на секунду задумался, стараясь разгадать почудившуюся ему в этих словах ловушку.

— Нацизм в те годы угрожал всему миру, сэр,— сказал он наконец.

— Разумеется, разумеется,— с готовностью закивал Альтвангер,— но мы говорим сейчас об Америке, о нашей стране. Вы ведь, простите, не коммунист?

Услышав этот вопрос, Хартфилд улыбнулся широко и простодушно, в первый раз за все время разговора.

— Что вы! — сказал он.— Никогда им и не был. Даже среди моих знакомых не было, пожалуй, ни одного коммуниста... Насколько мне известно, конечно.

— Мы так и думали,— одобрительно заявил Альтвангер.— И вы, надо полагать, коммунистическим идеям не сочувствуете даже издали?

Фрэнк опять подумал, прежде чем ответить.

— Я с ними, в сущности, не знаком,— сказал он извиняющимся тоном.

— Я не случайно задал вам эти два вопроса, сынок. Если вы свободны от влияния красных идей, то вы, очевидно, не можете не признать, что место нацистской Германии, как силы, реально угрожающей принципам свободы, заняла в наше время Россия. Я знаю, обычно инженеры мало интересуются политикой, но вы все же читаете газеты и не можете не понимать роли, которую играет сегодня Федеративная Республика... — Он говорил теперь совершенно серьезно, без тени улыбки в голосе, почти строго — как профессор, разговаривающий с не слишком понятливым студентом. — Хотим мы этого или не хотим — Западная Германия уже стала нашим партнером в оборонной системе Северо-Атлантического пакта и, по существу, нашим союзником. Лично я предпочел бы, чтобы этого не было. Лично меня — как и вас, как и миллионы американцев — гораздо больше устроило бы, если бы мир никогда больше не увидел ни одного немца в мундире. Поверьте в мою искренность, мистер Хартфилд. Мой отец родился в Германии, но это нисколько не влияет на мои убеждения. К тому же я хорошо знаю, что такое нацизм — может быть, следует сказать вам, что в апреле сорок пятого года я был одним из первых корреспондентов, своими глазами увидевших еще теплые печи крематориев. Я вошел в Дахау с танковым авангардом Паттона, если уж говорить более точно. Так что не примите меня за скрытого неонациста, ради всего святого! В принципе я против ремилитаризации Германии. Но вы согласны с тем фактом, что она уже идет так или иначе и была начата не нами, а русскими? Вам известно, что в Восточной зоне под видом «народной полиции» полностью восстановлен вермахт? Вы, наконец, согласны с тем основным, краеугольным положением, что сегодня Россия угрожает жизни и безопасности Америки?

Вопрос был задан прямо, и в такой форме, что не ответить было нельзя. Фрэнк добросовестно подумал.

— Очевидно, она угрожает нам в той же мере, в какой мы угрожаем ей. Видите ли, «холодная война» — вещь запутанная, тут уже иной раз просто не разберешься, кто кому начал угрожать и чьими действиями было вызвано противодействие другой стороны...

— Не нужно играть словами и понятиями, мистер Хартфилд. Были люди, которые ухитрялись заниматься этим и во время войны — в тот момент, когда ваш отец находился под огнем зениток. Они тоже не могли понять, «чьими действиями было вызвано противодействие», и вспоминали Версаль, и Седан, и Иену, и так далее, вплоть до Фридриха Барбароссы. Но таких, к счастью, было мало! Простые американцы — такие, как ваш отец,— они просто исполняли свой долг. И умирали за Америку и ее свободу. Неужели пример отца ничему вас не научил? Ведь вы — инженер, создающий боевое оружие; от вашей работы зависит оборонная мощь страны, а вы отказываетесь ее исполнять...

— Простите, сэр,— твердо перебил Фрэнк,— я никогда не отказывался от работы.

Альтвангер, уже начиная терять терпение, подскочил в кресле.

— Да как же не отказываетесь, когда вам поручают делать это, а вы заявляете, что согласны делать только другое! Неужели вы думаете, что руководство фирмы не знает, где именно вы способны принести наибольшую пользу? Я понимаю, что вам неприятно будет работать с немцами; но послушайте, с каких это пор исполнение долга стало связываться с приятными ощущениями? Да смысл его в том и заключается, чтобы ради принципа пойти на самое неприятное, на самое трудное, самое страшное! Пожертвовать самым дорогим! Ваш отец отдал Америке жизнь, а вы не хотите пожертвовать своим душевным комфортом...

Фрэнк покраснел и стиснул зубы, отчего лицо его стало еще более квадратным.

— Вы спекулируете на имени моего отца, сэр,— сказал он, глядя на журналиста, как смотрят через прорезь прицела.— Прекратим этот разговор, если вы не возражаете.

— Так вы не хотите ехать в Германию? — спросил Альтвангер.

— По-моему, я сразу это сказал,— ответил Фрэнк.— Я говорил это вчера мистеру Флетчеру и сегодня, в начале разговора, повторил вам.

— Послушайте, Лео,— сказал Флетчер, словно выведенный из оцепенения упоминанием собственного имени.— А ведь молодой человек прав.

Альтвангер уставился на него с обалделым видом, не понимая смысла этого предательского удара в спину.

— Как? — с трудом выдавил он.— Как прав?

Флетчер поднялся, развел руками и прошелся по гостиной, остановившись перед креслом журналиста.

— Так, дорогой мой Лео, как бывают правы такие вот искренние и упрямые молодые люди. Мистер Хартфилд прав в том, что не хочет поступать вопреки своим убеждениям. Понимаешь? Я не касаюсь вопроса правильности самих убеждений! — Он поднял палец и сделал паузу.— В конце концов, убеждения — личное дело каждого из нас. Я, например, тоже считаю, что мистер Хартфилд не прав в своем отношении к Германии, но раз это отношение у него сложилось, глупо было бы заставлять человека поступать наперекор самому себе. Во мне говорят сейчас даже не соображения этического порядка, заметьте это. Я хорошо знаю, что человек хорошо работает лишь тогда, когда работа доставляет ему удовольствие. Поверь, Лео, от поездки мистера Хартфилда в Германию фирма не выиграет...

Он вернулся в свое кресло, неподалеку от Фрэнка, и посмотрел на него с дружелюбным сожалением:

— Жаль, конечно! Мне называли вас как одного из лучших наших молодых инженеров, и мы думали, что опыт работы на немецких предприятиях пойдет вам на пользу. Но раз такое дело... — Он опять развел руками и улыбнулся. Потом лицо его стало серьезным.— Короче говоря, мистер Хартфилд, вы остаетесь здесь. Будем считать вопрос решенным. Нужно будет только уладить маленькую неприятность с этой статьей... Как она теперь некстати, черт возьми...

Он замолчал, сосредоточенно глядя в пол.

— Простите, сэр,— выждав полминуты, кашлянул Фрэнк.— Если вы приглашали меня только для этого разговора, то, может быть... поскольку с ним мы покончили...

— Вы торопитесь?

Фрэнк бросил взгляд на часы:

— Да... То есть не совсем еще, но через полчаса мне должны звонить из Албукерка.

— Ну что ж. Так послушай, Лео... как же нам быть с «Коллирсом»? И что думаете вы, мистер Хартфилд?

Фрэнк, уже стоя на ногах, вопросительно посмотрел на Флетчера:

— А что тут думать, сэр? Журнал должен поместить опровержение, и все. Мистер Альтвангер, очевидно, знает, как это делается.

Альтвангер кивнул и потыкал в пепельницу сигаретой.

— Как это делается, Фрэнки, я знаю. Беда в том, что журнал такого опровержения не напечатает.

— Как это «не напечатает»? — недоуменно спросил Фрэнк.

— Вы понимаете, ведь о вас была дана не заметка в десять строчек под рубрикой «Смесь». Вас подали в центре номера, вам была посвящена целая статья, и вся она строилась именно на этой вашей поездке. Если теперь дать опровержение, как вы предлагаете, то «Коллирс» сразу потеряет тридцать процентов подписчиков. Кто же станет читать журнал, который дает непроверенный материал и потом спохватывается: «Ах, извините, оказывается, в тот раз мы вас надули!» Что вы, сынок. Наивно и думать, что «Коллирс» пойдет на такое!

— Хорошо,— подумав, сказал Фрэнк,— но что он выиграет, если опровержение будет опубликовано в другом журнале — скажем, конкурирующем? В журнале, который прямо обвинит «Коллирс» во лжи? Мне кажется, достойнее сознаться самому, чем быть разоблаченным кем-то другим.

— Как сказать,— усмехнулся Альтвангер.— Как сказать! Когда кто-то кого-то разоблачает — это обычная журнальная полемика, дело привычное. Обвиняют друг друга и во лжи, и в продажности, и в чем хотите. О конкурирующем журнале можно написать, что среди его редакторов процветает содомский грех, а заведующие отделами содержат гаремы из стенографисток, — и это не удивит никого из читателей. Не удивит и не возмутит. А вот признание в собственном неумении организовать материал — это возмутит. Это просто убьет репутацию журнала, понимаете?

Фрэнк кивнул:

— Я понимаю. Что ж, мне все равно. Можно и в другом.

— Послушайте, мистер Хартфилд,— сказал Флетчер.— Прошу вас, задержитесь еще на пять минут.

Фрэнк еще раз взглянул на часы и сел.

— Мистер Хартфилд, мне кажется, я нашел выход. Я понимаю, что раз вы не согласны ехать в Германию, вам следует опровергнуть в печати все то, что было об этой вашей поездке уже написано. Иначе ваше положение становится несколько двусмысленным, не так ли?

— Именно двусмысленным, сэр.

— Разумеется. Но вы видите — мистер Альтвангер объяснил вам,— с какими трудностями связано теперь подобное опровержение. Оно неизбежно вызовет шум, а шум вокруг нашей фирмы и подписанных ею соглашений с германской промышленностью — вещь нежелательная, мистер Хартфилд. И я надеюсь, вы понимаете — почему.

— Я понимаю,— медленно сказал Фрэнк.

— Великолепно,— кивнул Флетчер.— Мне кажется, я нашел компромиссное решение. Вы не хотите работать с немцами? Прекрасно. Вы едете в Германию вместе с нашей группой, но в качестве... Ну, словом, можно придумать какую-нибудь функцию, которая полностью освободит вас от необходимости что-то делать. Вы понимаете? Посидите там недели две-три, посмотрите Германию, а потом мы вас отзываем, и вы спокойно возвращаетесь в Штаты...

Альтвангер, морщась от дыма торчащей в углу рта сигареты, одобрительно что-то промычал и кивнул. Фрэнк взглянул на него и снова повернулся к Флетчеру.

— Не правда ли, это идеальный выход? — спросил тот.

— Боюсь, что я этого не думаю, сэр.— Фрэнк покачал головой.— Определенно не думаю.

— Но почему, мистер Хартфилд? — спросил Флетчер уже с легким нетерпением в голосе.— Вы не хотите работать с немцами — хорошо, фирма не настаивает. Фирма идет вам навстречу! Почему же вы не хотите пойти навстречу фирме? Эта неприятная история с публикацией «Коллирса» может навредить и вам, и мистеру Альтвангеру, и, наконец, компании «Консолидэйтед эйркрафт». Пострадать — в разной степени — могут все, между тем я предлагаю выход, при котором не пострадает никто. Я не говорю уже о том, что ваше выступление в печати, мистер Хартфилд, может быть — и несомненно было бы — обыграно и использовано безответственными элементами в целях подрыва престижа Соединенных Штатов...

— Об этом следует думать прежде всего,—пробормотал Альтвангер, глядя куда-то в потолок.

— Со своей стороны, мистер Хартфилд,— продолжал Флетчер,— я могу обещать вам, что если в данном случае вы проявите понимание интересов фирмы, то это не будет забыто. Вы — талантливый инженер, никто этого не оспаривает, но талантливых молодых инженеров в Америке много и их продвижение по службе не всегда идет так быстро, как они, может быть, заслуживают. Что касается вас, то мы можем ускорить этот процесс... в любых пределах. Поймите меня правильно, мой молодой друг. Это не попытка подкупа вашей совести, иначе я не говорил бы об этом так открыто, да еще при свидетеле. Это просто деловой разговор, в котором я от имени «Консолидэйтед эйркрафт» прошу вашей помощи в определенном деле и в обмен предлагаю вам определенное вознаграждение...

В гостиной стало тихо. «Да, теперь сказано уже все, к этому ничего не добавишь»,— подумал Альтвангер, разминая новую сигарету. Он накурился до горечи, обычно до завтрака он старался не курить. Сейчас он почувствовал вдруг, что ожидает ответа Хартфилда с каким-то спортивным интересом, без особенной личной заинтересованности. Парень, при всем его бульдожьем упрямстве, был все же простаком; настоящей серьезной драки такие обычно не выдерживают, несмотря на свою «мертвую хватку». Альтвангер ждал ответа с любопытством экспериментатора, уже догадываясь о его характере и, странное дело, почти радуясь этому заранее. Как-никак, на свете без таких упрямых ослов было бы еще гнуснее.

Упрямый осел медленно покачал головой.

— Нет, сэр,— сказал он словно в раздумье, и в его речи отчетливо прозвучал северный протяжный акцент. — Благодарю за доверие, но, боюсь, ничего из этого не выйдет. Вы предлагаете мне такой же обман, каким было бы мое молчание, если бы я не поехал в Германию и в то же время не дал публичного опровержения на статью мистера Альтвангера. Все дело в том, что статья выставляет меня сторонником ремилитаризации Западной Германии. Я прочитал ее очень внимательно и потом перечитывал еще дважды. Если я понял правильно, мистер Альтвангер, смысл вашей статьи сводится к тому, чтобы на моем примере доказать... как бы это точнее сформулировать... моральную допустимость, что ли, участия американцев в возрождении военной мощи Германии, но дело в том, что именно это я и считаю совершенно недопустимым. Во всяком случае, такова моя личная точка зрения. Поэтому я вынужден настаивать, чтобы «Коллирс» в самое ближайшее время опубликовал соответствующее заявление, текст которого я вам на днях передам. В противном случае, вы сами понимаете, я буду считать себя вправе предпринимать любые шаги без согласования с вами...

Вечером он сидел в маленькой запущенной гостиной Делонга. Жена шеф-инженера уехала на несколько дней в Пекос, и квартира в ее отсутствие успела уже приобрести вполне холостяцкий вид. Мебель в гостиной была старая, покупалась явно в разное время и как попало, единственной дорогой вещью был стоящий в углу большой радиокомбайн, на проигрывателе которого медленно вращалась сейчас широкая, тускло поблескивающая пластинка.

Суровая органная мелодия, исполненная сдержанной, сверхчеловеческой мощи, наполняла комнату, звук был приглушен, чтобы не мешать разговору, и Фрэнк не мог избавиться от какого-то странного ощущения — словно рядом с ним притаилась сила, способная в любой момент вырваться на свободу всесокрушающим взрывом.

— В какой-то степени, сынок, в случившемся виноват и я,— задумчиво говорил Делонг, прочищая свою трубку куском проволоки.— Тут я просто свалял дурака на старости лет...

— При чем же тут вы? — удивленно сказал Фрэнк. — Разве вы могли повлиять на выбор кандидатов?

— И это тоже,— кивнул шеф-инженер. — Решающего голоса я не имел, но со мной советовались. Кстати, против вашей кандидатуры я решительно возражал. Но главное не в этом. Я ведь знал об этой истории еще до вашего отъезда.

— Почему же вы ничего мне не сказали? — удивленно спросил Фрэнк.

— В том-то и дело,— вздохнул Делонг.— Честно говоря, сынок, я боялся, что вы согласитесь. Можете дать мне пинка, я не обижусь. И я подумал так: пусть мальчик уедет подальше, без его согласия вопрос не решится, а когда он вернется, может быть, будут уже назначены другие. Я просто старый и выживший из ума идиот. Если бы вы сказали «нет» до появления этой подлой статьи, все обошлось бы. На вашей кандидатуре никто особенно и не настаивал...

Музыка умолкла. Рычаг автоматического устройства поднял пластинку, перевернул ее и плавно опустил на вращающийся диск, тотчас же к ее краю вкрадчивым движением приникла змеиная головка звукоснимателя. Снова зазвучал орган.

Делонг прикрыл глаза. Музыка была его единственной страстью; Фрэнку вспомнилось, что молодые инженеры часто зубоскалили над этой странностью старого зануды.

— Да, это вышло не совсем удачно,— сказал он.— Но вы знаете, сэр, я как-то не особенно огорчен. Вернее, не то что не огорчен... Конечно, чертовски жаль, у меня намечалась интересная работа по контролю демпферных систем. Я хочу сказать, что есть вещи, с которыми рано или поздно приходится сталкиваться лицом к лицу, и в таких случаях, пожалуй, лучше, чтобы встреча не откладывалась. Вы не думаете?

— Не знаю, сынок,— не сразу отозвался Делонг.— В принципе — да. Но человек должен быть достаточно сильным, иначе встреча может кончиться плохо. Если не уверен в себе — лучше, пожалуй, подождать и набраться сил.

— Я понимаю...

Фрэнк ослабил узел галстука и повертел шеей. Сейчас он чувствовал себя достаточно сильным, чтобы встретиться лицом к лицу с кем и с чем угодно. Может быть, это музыка так на него действовала — странная музыка, какой он никогда раньше не слышал. Из танцев под такую музыку ничего бы не получилось, но драться под нее хорошо. Торжествующие трубы органа пели ему о победе, и он чувствовал себя очень сильным, гораздо сильнее Флетчера и Альтвангера. Если бы только рядом с ним была Трикси...

— Нет, в своих силах я уверен,— сказал он.— Хотя бы потому, что я прав. Да, кстати, сэр... точнее — некстати, но мне просто вспомнилось: ваш кленовый сироп выслан по почте и прибудет, очевидно, на той неделе.

Делонг изумленно на него уставился:

— Черт возьми, сынок, да я про него и забыл! Что, у вас других забот там не было?

— Я же вам обещал. Дело в том, что я просто не смог взять бидон с собой, — я ведь вернулся самолетом, — но сестра обещала отправить его в тот же день...

3

Едва ли не самым мучительным в ее отношениях с Яном была для Беатрис необходимость прятаться, все время быть начеку, все время бояться разоблачения. Квартира, в которой жил сейчас Ян, принадлежала его тетке; в конце концов, та могла приехать в любой момент, не предупреждая об этом племянника.

— Хочешь психологическую головоломку? — сказала однажды Беатрис.— Представь себе, что в одну прекрасную ночь приезжает твоя тетушка и застает меня здесь. Прыгать из окна спальни я не буду, условимся об этом сразу. Теперь смотри, тут могут быть два варианта. Первый: ты почтительно выводишь меня, держа за кончики пальцев, ну знаешь, как в менуэте, и говоришь: «Madame la princesse, имею честь познакомить вас с мадемуазель Гонсальво де Альварадо, достойно представляющей здесь одно из старейших семейств Аргентины» — и так далее. Вариант второй: ты понижаешь голос и говоришь: «Тетушка, вы женщина современная и без предрассудков,— так вот, у меня здесь одна девчонка, ну, вы понимаете, из этих... Но не беспокойтесь, сейчас я ее спроважу...» Какой из двух вариантов ты находишь менее для меня оскорбительным?

— А какой предпочла бы ты? — спросил Ян.

Беатрис посмотрела на него внимательно, словно видя в первый раз, и молча улыбнулась каким-то своим мыслям.

— В сущности, Хуан,— сказала она минуту спустя,— ты давно уже должен был бы сделать мне предложение.

— Ты бы его приняла? — спокойно спросил он.

— Нет, конечно. Я спрашиваю из чистого любопытства! Ты, насколько помнится, сказал однажды, что любишь меня?

— Я продолжаю тебя любить, Беатриче. Но что из этого?

— Странный вопрос! — воскликнула она с немного нервным смехом.— Тебе не кажется, что для мужчины естественно желать брака с женщиной, которую он любит... и с которой спит, будем уж называть вещи своими именами!

— Беатриче, дорогая,— лениво сказал Ян.— У тебя совершенно превратное понятие о мужчинах — это во-первых. Во-вторых, есть очень много вещей, которые естественны для других и совершенно неестественны для меня. В частности, к их числу принадлежит и женитьба.

— Но почему? — с уже искренним любопытством спросила Беатрис.

— Потому что мы с тобой живем в обреченный век, Беатриче. Обзаводиться домом? Он все равно будет испепелен. Рожать детей? Если не в первом, то во втором поколении они превратятся в мутантов, пострашнее тех, что рождаются сегодня в Хиросиме...

Вскоре после этого разговора — Беатрис точно нагадала — тетушка действительно приехала без предупреждения, но, к счастью, днем, поэтому все обошлось благопристойно.

— Прекрасно,— сказала Беатрис, когда Ян сообщил ей эту новость.— Теперь, очевидно, ты будешь водить меня в меблированные комнаты?

На этот раз Ян вспылил, Беатрис испугалась даже, что он ее ударит. «Что ж, это было бы вполне заслуженно,— подумала она тут же,— и, кстати, мне уже не в новинку».

— Прости, — сказала она примирительно.— Я действительно стала злобной дрянью. Скорее всего, мне просто нужна хорошая отрезвляющая порка, но это, к сожалению, никому не приходит в голову. Послушай, Хуан, я больше не могу, мне нужно вернуться в Буэнос-Айрес...

Ян ничего не сказал. Погода в этот день была прохладной — чувствовалось приближение осени, и они укрылись от ветра в нагромождении скал возле Торреона. Беатрис успела побывать в воде до прихода Яна и сейчас сидела съежившись, в толстом колючем свитере поверх купальника. Ветер здесь все равно чувствовался, и, когда впереди с пушечным грохотом ударяла в скалу волна, швыряя вверх радужный веер пены, их обдавало мелкими, как осенний дождь, холодными брызгами.

Ян сидел молча, безучастно глядя в пустой горизонт, а потом вдруг посмотрел на Беатрис такими же пустыми глазами и сказал негромко, с тоскливой убежденностью:

— Беатриче, я пропаду, если мы расстанемся...

— Вместе мы пропадем еще скорее,— ответила Беатрис.— Пойми, Хуан, мы совершенно не те люди, которые нужны друг другу, нас ведь ничто не связывает, кроме...

Она поднялась, чтобы взять одежду. Ян обнял ее колени, прижался лицом. «Пусти, что ты делаешь, ну пусти же»,— шептала Беатрис, пытаясь вырваться из его рук. Она закусила губы и быстро посмотрела вверх — с парапета набережной их могли увидеть, ей было стыдно, и стыд этот был мучительным и тоскливым. Она вспомнила вдруг, как однажды Фрэнк поцеловал ее вечером на какой-то тихой и совершенно безлюдной улочке, а секундой позже они заметили в окне человека, который, несомненно, видел всю сцену; ей тоже было тогда очень стыдно, но это был совсем другой стыд — она стыдилась своего поступка и в то же время словно где-то в глубине сердца гордилась им, гордилась своей любовью... А теперь все было совсем иначе.

— Перестань, прошу тебя! — выкрикнула она уже со слезами в голосе. Оттолкнув Яна коленом, она рванулась и потеряла равновесие.

Вокруг был только камень, серый и шершавый, но Ян успел немного поддержать ее, и она ушиблась не очень больно. Во всяком случае, не настолько больно, чтобы так заплакать: Ян в первый момент решил даже, что она сломала себе руку или ногу.

Потом он понял, что дело не в ушибе. Беатрис захлебывалась рыданиями, лежа скорчившись в двух шагах от него и пряча лицо в мокрые от слез ладони, а он сидел рядом и ничем не мог ей помочь, и вокруг них был только камень, режущий ветер, негреющее осеннее солнце и равнодушный грохот океана.

Затихнув наконец, она лежала не двигаясь, потом встала и спустилась вниз. Здесь было еще холоднее, в расщелинах между расколотыми прибоем глыбами кипела белая пена, то уходя вниз, точно ее всасывали какие-то таинственные недра, то выплескиваясь вверх после каждого удара новой волны. Присев на корточки у края скользкой, коричнево-зеленой от водорослей глыбы, Беатрис с трудом умылась, ловя в пригоршни точно играющую с ней воду. Ян помог ей взобраться наверх, она причесала спутанные волосы, оделась.

— Ты не смог бы достать мне билет? — спросила она, когда они вышли на набережную.— На что угодно, может быть, на самолет лег-

че... В крайнем случае можно даже поездом, хотя бы в бесплацкартном.

— Я тебя отвезу,— сказал Ян спокойно,— мои ведь приехали машиной, здесь она им не особенно нужна. Во всяком случае, два дня они без нее обойдутся. Когда ты думаешь ехать?

— Как можно скорее. Если бы ты действительно мог взять машину...

— Конечно, возьму, не беспокойся. Так что же — завтра?

— Нет. Лучше сегодня вечером,— упрямо сказала Беатрис.

Вечером, около семи, Ян подъехал к отелю на маленьком «боргварде» цвета молодого салата. В машине пахло дорогим табаком и какими-то духами — Беатрис долго к ним принюхивалась, но так и не смогла определить. Не вытерпев, она спросила у Яна, что за духи у его тетушки; тот в ответ молча пожал плечами.

— Похоже на «Табу»,— сказал он через минуту.— А впрочем, не знаю.

Дождь пошел, когда они отъезжали. Хозяйка, вышедшая проводить Беатрис, сказала, что это хорошая примета — к счастью. Когда ехали по набережной, Беатрис привычно взглянула направо, и сердце ее сжалось — так беспросветно мрачен был угрюмый, притихший от дождя сумеречный океан, уже слитый у горизонта с надвигающейся на материк ночью. Ей вспомнилось первое утро после приезда сюда, когда она выглянула из окна и зажмурилась, ослепленная сверканием воды и солнца,— бесконечно далекое утро, зеленое и золотое, пахнущее йодом и водорослями и звенящее криками пьяных от солнца ласточек. «Почему я не утонула в тот день», — с тоской подумала Беатрис.

Ехать пришлось медленно, асфальт скользил, под Каметом они увидели первую аварию — вокруг опрокинутого белого «бьюика» толпились и жестикулировали любопытные. Быстро темнело, машины начали включать габаритное освещение, на поворотах Беатрис видела впереди бесконечную цепочку бегущих один за другим огней, разной яркости и разных оттенков красного цвета — от холодных малиновых до горячих огненно-оранжевых. Дождь лил не переставая.

К девяти часам они миновали Пиран, не проехав за два часа и сотни километров. Увидев мелькнувший в свете фар указатель «Буэнос-Айрес — 318 км», Беатрис подавила вздох. Раньше утра они до столицы не доберутся, это уже ясно.

— Если устал, поменяемся местами,— предложила она Яну.

— Что ты,— не сразу отозвался тот.— По этой проклятой дороге только тебе и вести...

Беатрис сообразила, что это были едва ли не первые слова, которыми они обменялись в пути.

— Более тяжелой трассы я в жизни не видел... — сквозь зубы сказал он через минуту. — Подумать только — шестиметровое полотно при таком движении... Качо Мендес едва не разбился здесь в прошлом году, а уж он водит...

— Кстати, что с Мендесами? — спросила Беатрис. — Норма мне давно ничего не пишет...

— Я этой зимой видел их в Театре Колон,— отозвался Ян, не отрывая взгляда от стоп-сигналов идущей впереди машины.— И потом был у них однажды... Играли в канасту...

— Где они сейчас живут?

— Они купили квартиру... в одном из этих новых домов на Кабильдо. Квартира ничего... но обстановка у них чудовищная — рококо а-ля нувориш. Качо, бедняга, дико пьет.

— Серьезно?

— Да... Норма, мне так показалось, даже не дает себе труда скрывать от него свои развлечения...

Беатрис опять замолчала. С Нормой она дружила очень давно и то как-то скорее по привычке, Качо Мендес вообще был ей чужим, но почему-то сейчас ей захотелось плакать от этого короткого рассказа о чужой неудавшейся жизни. Когда ее познакомили с Качо, это был веселый здоровяк, уверенный в себе и в своем будущем, по-видимому искренне радующийся предстоящему браку с хорошенькой Нормой Линдстром. А теперь — прошло всего три года, даже два с половиной... А что случилось за эти два с половиной года с нею самой?..

Уже за полночь они остановились перекусить — в том самом ресторанчике, где месяц назад Беатрис встретилась с синим «манхэттэном» и Хилем Ларральде. Она думала сейчас об этой встрече, сидя над остывающей чашкой кофе и глядя в залитое дождем окно, за которым, в непроглядной темноте осенней ночи, мелькали огни пролетающих по шоссе автомобилей. Чудовищно, но она ни разу не вспомнила о Джерри за все это время — с того дня, как появился Ян. Или, может быть, именно вспоминать о Джерри и было бы самым чудовищным?

— Опять ливень, — заметил Ян, прислушавшись к шуму дождя за окном. — Проклятая дорога, никогда еще я не уставал так за рулем...

— Я не должна была тащить тебя ночью,— виновато отозвалась Беатрис. — Ты не очень сердишься на меня за эту поездку?

Ян усмехнулся:

— Такая умная девушка, как ты, Беатриче, могла бы и не задавать подобных вопросов. Я понимаю, бывают положения, когда серьезного разговора не получается... но тогда лучше молчать, чем произносить первую попавшуюся бессмыслицу. Едем, этот дождь все равно не кончится.

Он встал, подал Беатрис плащ, подозвал официанта. Беатрис вышла наружу и остановилась под навесом. Глухая осенняя ночь, дождь, мелькающие по шоссе фары и красные огни. Серьезный разговор? Какого «серьезного разговора» он хочет?

— Ты, надеюсь, не думаешь, что я избегаю объяснений? — сказала она, когда Ян тронул машину. — Я просто считала, что все и без того понятно. Но если хочешь, мы можем объясниться... со всей возможной в нашем положении серьезностью. Если, повторяю, ты видишь необходимость этого. Я ее не вижу.

— Великолепно,— сказал Ян, поморщившись и заслоняя глаза от слепящего света встречных фар.— Ты права, обойдемся без деклараций.

Они опять замолчали. Постепенно Беатрис начало клонить в сон. Она дремала, то и дело испуганно вздрагивая от бешеного взрева какой-нибудь встречной десятитонки, потом усталость окончательно ее сморила.

Когда она проснулась, был тусклый рассвет, машина медленно шла по городской улице. Дождь прекратился, как видно, совсем недавно, под вянущими в туманной мгле фонарями мокро блестел булыжник.

— Доброе утро,— сказала Беатрис, подавив зевок. — Как я выспалась! — Она опустила боковое стекло и высунулась наружу, вдыхая сырой воздух с ощутимым привкусом каменноугольного дыма. — Судя по всему, это уже столица?

— Да, сейчас будет Авельянеда,— отозвался Ян,— виадук мы уже проехали... — Он закинул руку за голову и потянулся, стукнув кулаком в потолок кабины. — Черт, давно я так не уставал! Знаешь, мне поче-

му-то все время казалось, что поездка кончится плохо. Обязательно, думаю, разобьемся... Ну, теперь мы уже дома.

Беатрис торопливо показала ему рога из пальцев, трижды пробормотав «крус-дьябло».

— Почем я знаю, что ты не «джеттатóре»[1], — объяснила она.— Думаешь, люди разбиваются только за городом? А тут еще этот туман!

— Ничего,— улыбнулся Ян,— сейчас еще мало движения на улицах, проскочим...

Уже совсем рассвело, когда забрызганный грязью светло-зеленый «боргвард», обогнув парк Лесама, выехал на Пасео Колон. Широкий проспект был почти безлюден, лишь кое-где стояли на углу группы ожидающих автобуса и трамваи шли уже переполненными. Туман стал реже, вверху угадывалось чистое небо.

— Погода, пожалуй, исправится,— сказала Беатрис.

— Возможно.

— Ты... когда думаешь ехать обратно?

— Завтра утром.

— И долго еще собираешься там пробыть?

— Беатриче, не делай хотя бы вида, что тебя это интересует!

«Очень интересует,— мысленно ответила Беатрис, ничего не сказав вслух.— Интересует, потому что нам просто нельзя быть вместе — в одном городе, с постоянным риском встречи на улице...»

Они миновали оживленную, несмотря на ранний час, площадь Ретиро, с толкучкой на троллейбусных остановках. Промелькнули в зелени оранжево-кирпичные стены Музея изящных искусств, серые колонны юридического факультета. Вокруг опять стало безлюдно — в резиденциях авениды Альвеар день начинался поздно.

— Мне очень жаль, Ян,— сказала Беатрис, начиная собирать в дорожную сумку разбросанные по сиденью мелочи,— очень жаль, что ты так отнесся к моему решению. Я надеялась, ты сам поймешь, что это не может продолжаться...

— Ты все же хочешь объяснений,— усмехнулся Ян,— хотя и сказала, что не видишь в них необходимости. В сущности, они действительно ни к чему. Да и что мы можем сказать друг другу? Ты решила порвать со мной — не стану же я тебя упрашивать!

На углу Окампо Беатрис прикоснулась к его рукаву:

— Минутку, Ян. Пожалуйста, оставь машину здесь, не будем подъезжать к дому...

Предосторожность оказалась излишней — в столь ранний час в соседних домах спала даже прислуга. Стараясь не шуметь, Беатрис открыла калитку и выгребла из почтового ящика груду корреспонденции. Дорожка была плотно устлана желтыми и коричневыми листьями, чистое, промытое ночным дождем утреннее небо стояло над садом, свежо пахло землей и мокрой зеленью. Было очень холодно.

— Никогда не было в феврале такого холода,— сказала Беатрис, идя к дому вместе с Яном, несшим ее чемодан и дорожную сумку.

— Просто ты никогда не вставала так рано,— отозвался тот.— А день будет жарким...

Они вошли в холл, здесь было почти темно — бледный утренний свет едва просачивался сквозь витражи. Беатрис остановилась в нерешительности, ей почему-то не хотелось включать электричество. Странная растерянность овладела ею — сейчас, когда все было кончено, когда оставалось только попрощаться. Она добилась своего: с Геймом было покончено, он стоял здесь, опустив на пол чемодан, и смотрел на нее печально и словно выжидающе — уже совершенно чужой человек, ко-

---

[1] Jettatore — человек, обладающий «дурным глазом» (*итал.*).

торому оставалось только сказать «прощай». И она поняла вдруг, что произнести это слово не так просто.

— Ну что ж, вот теперь я действительно вижу, что ты не «джеттаторе»,— заговорила она с неестественным оживлением, избегая смотреть на Яна. Только сейчас она заметила, что все еще прижимает к груди ворох разноцветных конвертов и бандеролей, и вывалила их на крышку старого резного ларя возле лестницы.— Неужели придется все это разбирать, ужас просто!

Потом она снова обернулась к Яну. Тот стоял посреди холла и смотрел на нее без упрека, без осуждения — просто печально. Не так легко, оказывается, нанести человеку coup de grâce [1] — даже чужому, даже причинившему зло. Даже Гейму!

— Что же ты стоишь,— продолжала она бессвязно и торопливо (просто чтобы не молчать),— о, знаешь что? Пожалуйста, отнеси чемодан наверх, я с ним не справлюсь, и быстро спускайся — будем завтракать... Из еды, конечно, ничего не найдется, но кофе будет через десять минут. Ты, кстати, можешь пока умыться, дверь в ванную — справа из коридора, там матовое стекло...

Ян понес чемодан наверх. Беатрис вышла на кухню, постояла с закушенными губами, забыв, что нужно делать, потом схватила кофейник, ополоснула под краном, наполнила водой, включила газовую горелку. Сейчас он уйдет. Самое большее — полчаса. Может быть, он догадается сам, и тогда ей не придется ничего говорить. Догадается и просто уйдет...

Она снова вышла в холл. Здесь было уже светлее, но Беатрис зажгла электричество и, подойдя к ларю, стала рассеянно ворошить конверты; в эту минуту ее слух уловил знакомое металлическое царапанье вставляемого в замок ключа.

Она обернулась к входной двери скорее с удивлением, даже не успев испугаться. Она не испугалась и тогда, когда дверь тяжело заскрипела и в холл вошел отец.

— Ты уже здесь, моя дорогая девочка,— обрадованно сказал дон Бернардо, бросив на столик портфель и палку и освобождаясь от макинтоша.— Я так боялся, что ты поздно получишь телеграмму и не успеешь приехать — я ведь всего на два дня...

«Боже, как пирамидально я влипла. Почему вдруг это лицейское словцо? Но влипла я действительно пирамидально, классически и — главное — абсолютно незаслуженно на этот раз. Как глупо — ни разу не влипнуть в Мар-дель-Плата и попасться тут в первые же десять минут после приезда...»

— Здравствуй, папа,— едва шепнула она помертвевшими губами.— Я не ожидала... Ты разве посылал телеграмму?

— Разумеется, в Мар-дель-Плата и на всякий случай сюда, я ведь не знал, вернулась ли ты,— ты так долго не писала...

Беатрис успела еще подумать, что лучше будет, если она скажет отцу о присутствии Яна раньше, чем тот появится на лестничной площадке, но говорить было уже поздно.

— Алло, Беатриче! — послышался сверху голос Яна (наверное, он крикнул, приоткрыв дверь ванной).— Прости, я не могу найти полотенца!

Беатрис закусила губы. Отец, который тем временем уже успел пересечь весь холл и был в двух шагах от нее, замер на месте. «Матерь божия, как я влипла... И угораздило же меня послать его с этим идиотским чемоданом!»

Она беспомощно глянула вверх, на лестничную площадку, и хрустнула переплетенными пальцами.

[1] Последний удар («удар милосердия», *франц.*).

— Послушай, папа...

— Что это,— выговорил наконец дон Бернардо,— что это значит, Дора? Ты что — вышла замуж, ничего мне не сообщив?

— Я не замужем, что ты! Ты понимаешь, это просто знакомый, он...

Она испугалась, что отец сейчас задохнется, таким страшным стало вдруг его лицо.

— Просто знакомый — у тебя в доме, в пять часов утра...— Дон Бернардо с ужасом смотрел на дочь, и она видела, что он все еще отказывался поверить факту, надеясь увидеть его в каком-то ином свете. И ведь так легко было бы все объяснить! «Погоди, папа, ты не дал мне сказать: мы только что приехали, я попросила сеньора Гейма отнести наверх чамодан — только и всего!» Она могла сейчас сказать все это отцу и не солгала бы ни в одном слове, и в то же время во всем этом не было бы ни слова правды. «Мы четверть часа как приехали,— могла бы она сказать,— ты можешь проверить: машина стоит за углом, у нее и мотор еще не остыл». Все это можно было сказать, и ложь была бы вполне надежной и правдоподобной, но у Беатрис уже не было сил лгать.

В этот момент Ян появился на верху лестницы. Остановившись на секунду, он тут же все понял и стал неторопливо спускаться — как ни в чем не бывало. Подойдя к ним, Ян коротко поклонился доктору и, словно поколебавшись или подождав — не спросят ли его о чем-либо, достал визитную карточку.

— Сеньор Альварадо,— сказал он,— до завтрашнего утра я к вашим услугам, по этому адресу.

Он положил карточку на перила, молча поклонился Беатрис и вышел.

— Ничего не понимаю...— тихо сказал дон Бернардо. Потом он схватил карточку трясущейся рукой, другою нашаривая пенсне в жилетном кармане.— Этот сеньор, этот... Гейм! Этот... Ян Сигизмунд Гейм — кто он тебе?!

Беатрис подняла на него глаза и ничего не сказала. Сделав шаг в сторону, она облокотилась на перила и опустила лицо в ладони.

— Господи, папа, ты ведь взрослый человек...— выговорила она наконец глухим голосом, не поднимая головы.

Доктор Альварадо вдруг как-то сник. Он сунул в один кармашек жилета пенсне, в другой — визитную карточку, зачем-то посмотрел на часы, щелкнув крышкой.

— Извини, Дора,— тихо сказал он.— Может быть, мое появление действительно оказалось бестактным... Но я ведь послал телеграмму, так что...

Он замолчал, беспомощно стоя возле Беатрис. В доме было очень тихо, потом из кухни послышался дробный стук крышки вскипевшего кофейника и шипение воды, выплескивающейся на раскаленную горелку. Дон Бернардо поспешил туда, словно обрадовавшись возможности разрядить хоть чем-то обстановку.

Когда он вернулся в холл, Беатрис там не было. Он поднялся наверх и увидел дочь в гостиной; ему показалось, что она плачет. Немного поколебавшись, дон Бернардо вошел и осторожно прикрыл за собою дверь, словно кто-то мог подслушать их в этом пустом доме.

— Послушай, Дора,— сказал он, кашлянув.— Поверь, я ни в чем тебя не упрекаю. Лицемерить и говорить, что мне приятно все это, я не стану, как не стану и отрицать того, что мне — как представителю старшего поколения — многое кажется странным в поведении нынешней молодежи вообще. Что ж... у каждой эпохи свои нравы, я понимаю. Но, Дора, я все же отец. Ты... всерьез уверена в прочности своих чувств — на этот раз? Не сочти за бестактность, моя девочка. Я просто боюсь за

тебя, ты ведь считала когда-то, что всерьез любишь Хартфилда, не правда ли?.. Впрочем, я понимаю, сейчас задавать этот вопрос уже поздно...

Он помолчал и, подойдя к окну, побарабанил по стеклу пальцами. Потом он обернулся и взглянул на дочь, которая стояла у противоположной стены, прислонившись к выцветшей штофной панели и держа руки за спиной.

— Почему ты молчишь, Дора?

Беатрис дернула плечом и, словно отклеившись от стены, перешла к висевшей в углу старинной гравюре с видом Рима и стала ее рассматривать.

— Дора,— подойдя к ней, сказал дон Бернардо.— Ты уверена, что Гейм будет тебе хорошим мужем?

Она резко повернулась — так, что разлетелись волосы,— и сказала отчетливо, глядя ему в глаза:

— Гейм никаким мужем мне не будет, ни плохим, ни хорошим. И если понимать любовь так, как понимали ее раньше,— я его вообще не люблю. Теперь тебе все ясно?

Да, теперь ему было все ясно. Он отошел от нее и тяжело опустился в кресло, нашарив подлокотник слепым жестом. Он сидел так минуту или десять, не поднимая глаз от ямки на месте выпавшего завитка паркета, прислушиваясь к боли в сердце и накатывающейся волнами обморочной пустоте, а Беатрис стояла на том же месте — под старой пожелтевшей гравюрой с обстоятельной, тончайшим курсивом, подписью на двух языках,— стояла с белым, совершенно белым лицом и никак не могла найти те единственные нужные слова, которые могли бы сейчас все объяснить и все поправить. Или все было уже непоправимо?

Потом дон Бернардо с трудом встал и пошел к выходу — мимо нее. Беатрис сделала шаг:

— Папа, послушай...

— Прочь,— сказал он даже не холодно, а просто безразлично. И добавил негромко, скользнув взглядом по ее лицу: — Развратная негодяйка...

Он прошел по коридору и заперся у себя в кабинете. Опомнившись, Беатрис бросилась к двери, стала дергать ручку, колотить в толстые дубовые филенки.

— Я тебе все объясню,— выкрикивала она сквозь слезы,— ты должен меня выслушать, ну пусти же меня — слышишь!! Папочка, открой, я тебе объясню... Побей меня, пожалуйста, можешь избить меня как угодно! Только пусти, ну открой дверь, прошу тебя!!

Отец не отвечал. Беатрис слышала, как он ходил по кабинету, часто чиркая спичками, потом позвонил и вызвал машину. Беатрис, всхлипывая, сидела у притолоки на полу, растрепанная и опухшая от слез, со ссадинами на руках и коленях. Когда щелкнул замок и дон Бернардо вышел из кабинета, у нее даже не было голоса окликнуть его. Он прошел мимо, не взглянув на нее, держась очень прямо, с портфелем под мышкой. Когда Беатрис, словно очнувшись, вскочила и подбежала к окну, он уже садился в машину — длинную, черную, с овальным правительственным номером. Беатрис увидела только, как, сверкнув лаком, захлопнулась дверца и лимузин скрылся за деревьями. Она вцепилась себе в щеки и стала биться головой о подоконник.

В два часа доктор Альварадо вышел из высоких кованых ворот министерства и сразу же увидел молодого Ретондаро, выскочившего из такси на углу Ареналес и Басавильбасс.

— Как я рад вас видеть, доктор,— закричал тот, подбегая.— Вы надолго? Я сегодня прочитал о вашем прибытии — сразу позвонил на Окампо, на всякий случай, и оказалось, что Дорита уже тоже здесь. Она мне сказала, что вы в министерстве, я уже целый час пытаюсь вас найти по всем телефонам...

— Здравствуйте, мой друг.— Дон Бернардо сердечно обнял его и похлопал по спине. Он вдруг подумал, что хотел бы иметь такого сына, как этот Ретондаро.— Я не менее вас рад встрече, идемте куда-нибудь пообедать, если вы не против...

— Ну, что вы скажете о наших делах? — спросил Пико, когда официант усадил их за столик и ушел, приняв заказ.— Доктор, говоря откровенно, вам иногда не кажется, что даже Перон был лучше?

— Перон, конечно, лучше не был,— усмехнулся дон Бернардо.— Но и о наших делах я не могу сказать ничего хорошего. Кстати, дорогой Ретондаро, их теперь едва ли уместно называть «нашими»...

— Я не знаю,— горячился Пико,— стоит только развернуть любую газету — и чувствуешь, словно провалился в клоаку. Сейчас, кажется, единственное, что еще можно читать,— это «Пропоситос»

— Да, это газета достойная,— кивнул дон Бернардо.— Кстати, я хорошо знаком с Барлеттой — он порядочный человек. Если вы захотите там сотрудничать, я с радостью дам вам рекомендацию к дону Леонидасу.

— Благодарю вас, доктор. Пока я от вашего любезного предложения воздержусь: не хочу распыляться. Дорита не сказала вам, что я превратился в профсоюзного работника?

— Вот как? Нет, не слышал. И в качестве кого же?..

— Пока просто юридическим асессором,— улыбнулся Пико.— Но вы знаете, плох тот солдат, который не ощущает в своем ранце тяжести маршальского жезла. Я иногда думаю, дон Бернардо,— а вдруг я просто честолюбец? Вы не замечали за мной такого качества?

— Я, мой друг, и сейчас его замечаю. Но оно не столь уж скверно, на мой взгляд. Опасно — да. Честолюбие плюс способности — эта комбинация дает и народных вождей, и тиранов, а еще чаще — просто авантюристов. Так что все зависит от того, к чему эти силы будут приложены. Что ж, профсоюзное движение...

Он замолчал, увидев подходившего с подносом официанта. Его мысли опять — в сотый раз за этот день — вернулись к дочери... К дочери, которую он сегодня потерял. Какое-то неприятное воспоминание мучило его всякий раз, когда перед его глазами снова и снова вставал образ Беатрис — там, под гравюрой с изображением замка Сан-Анджело, в вызывающей позе, бросившей ему в лицо эти страшные слова. Что-то неприятное и навязчивое, какая-то застрявшая в мозгу заноза. А сейчас вдруг вспомнил — Лаура! Ну конечно, ведь это она тем же издевательским тоном спросила его: «Теперь все ясно?» — после того как объявила, что уезжает в Мексику с тем нефтяником...

— Ну что ж, доктор, начнем с салата? — весело спросил Пико.— Честно говоря, я голоден... Никак не могу организовать правильно свое питание. Разрешите вам? Доктор, у вас очень усталый вид...

— Благодарю, хватит! — Дон Бернардо задержал его руку.— Усталый вид, говорите? У меня много неприятностей в последнее время, да и со здоровьем не так уж хорошо...

— Могу себе представить,— сказал Пико сочувственно.— Ваша теперешняя служба — это, конечно, подвиг.., Простите, что́ вы начали говорить о профсоюзном движении?

— О профсоюзном? Ах да. Я хотел сказать, что вполне одобряю ваш выбор, Ретондаро. Тем более, это давно интересовавшая вас тема.

Любопытно только, сработаетесь ли вы с коммунистами. С ними бывает трудно.

— А с кем легко, доктор?

— И это верно.

— Видите ли,— сказал Пико,— если вынести за скобки планы коммунистов в планетарном, так сказать, масштабе, я готов подписаться под любым их заявлением, касающимся сегодняшних проблем Аргентины.

— Согласен, позиция коммунистической партии в этом вопросе выглядит разумно. Кроме того, следует отдать им справедливость — коммунисты надежные союзники. Чего, к сожалению, не скажешь о других. Посмотрите, с какой легкостью развалилась вся антипероновская коалиция. Кстати, сегодня моя дипломатическая карьера висела на волоске.— Дон Бернардо усмехнулся, допил вино и тронул губы салфеткой.— Несколько дней назад я дал интервью корреспонденту одной мексиканской газеты... Одним из первых вопросов, разумеется, был затронут «план Пребиша», и я совершенно откровенно высказал свое мнение... признаться, не слишком лестное. Так вот, по этому поводу у меня был сегодня довольно острый разговор с одним весьма высокопоставленным лицом... которое долго и торжественно разъясняло мне, что доктор Рауль Пребиш является экономическим советником президента, что, следовательно, его образ мыслей совпадает с генеральной линией правительства и что мне, официально представляющему вышеупомянутое правительство за пределами Республики, не следовало бы выступать со столь резкой критикой мероприятий, направленных к оздоровлению национальной экономики. Затем высокопоставленное лицо заявило снисходительно: «В конце концов, доктор, вы ведь историк, а не экономист», на что я ответил, что прежде всего считаю себя порядочным человеком. Словом, Ретондаро, еще немного, и в завтрашних газетах появилось бы еще одно сообщение об отставке.

— Но его не будет?

— На этот раз — нет. Послезавтра я вылетаю обратно.

Он замолчал, сгорбившись над нетронутыми тарелками. Пико подумал с сожалением, что старик порядочно сдал за эти месяцы. Когда они виделись в Кордове накануне восстания, Альварадо был бодр, как кузнечик...

Он посмотрел на часы и испуганно ахнул:

— Доктор, простите — мне пора!

— Спасибо за компанию, дорогой друг.

— Благодарю, доктор. Кстати, Дорита не собиралась поступать куда-нибудь на работу?

— На работу?

— Ну да, она ведь когда-то работала у Мак-Миллана, помните? Скажите ей, что, если захочет, может поработать со мной. У нас там нужен секретарь. Правда, платят гроши, но для Дориты это ведь не главное. Скажите ей, а потом я позвоню — на днях...

Домой дон Бернардо вернулся около одиннадцати. Беатрис тотчас же вышла из кухни — очевидно, она долго просидела здесь, ожидая его возвращения. Он молча кивнул в ответ на ее робкое «Добрый вечер, папа» и прошел в туалетную комнату мыть руки. В белой блузочке и черной юбке Беатрис выглядела совсем девчонкой, глаза ее были воспалены от слез. Дон Бернардо вдруг с ужасом и отвращением вспомнил, что не прошло и двадцати часов, как эта тоненькая заплаканная девочка лежала в постели с мужчиной, которого она даже не дала себе труда полюбить. Зажмурившись от боли, он согнулся над раковиной, судорожно схватившись за ее холодные фаянсовые края.

— Папа, хочешь кофе?— спросила Беатрис тем же робким тоном, когда он вышел.

— Нет, благодарю,— сухо ответил дон Бернардо.— Я ужинал в клубе.

Он стал подниматься по лестнице. На третьей ступеньке что-то заставило его оглянуться — дочь стояла внизу и смотрела на него огромными страшными глазами.

— Ты так и уедешь, не поговорив со мной? — спросила она очень тихо, каким-то странным, надорванным голосом.

Дон Бернардо пожал плечами:

— Ну что ж, поговорим...

Он вошел в кабинет, впервые в жизни не пропустив дочь вперед, поискал что-то среди бумаг, сел и жестом указал Беатрис на второе кресло, перед столом.

— О чем же мы будем говорить? — спросил он, глядя на дочь отчужденно, как смотрят на не вовремя явившегося посетителя.

Та вместо ответа опять разразилась рыданиями, среди которых дон Бернардо с трудом разобрал что-то вроде «прости меня».

— Дора, успокойся,— сказал он.— Держи себя в руках, если ты действительно хочешь поговорить, а не поплакать.

— Я ничего не могла, пойми! — закричала Беатрис сквозь слезы.— Это оказалось сильнее — мне всегда говорили, и я читала, что только испорченные натуры не могут этому противиться, но у меня ничего не вышло, и потом я была совсем, совсем одна, понимаешь! Я просила тетку приехать еще на Новый год — я уже тогда чувствовала! — а она не захотела, и я тогда удрала в Мар-дель-Плата... Думала, он туда не... не приедет...

Дон Бернардо встал и подошел к дочери.

— Он...— Голос его прервался, и несколько секунд он не мог выговорить ни слова больше.— Он... принудил тебя к этому?

— Да нет же, нет! — крикнула Беатрис, подняв к нему залитое слезами лицо.— Я сама — ведь это и есть самое страшное! Он меня пальцем бы не тронул, я сама... Я теперь не могу жить, папа!!

— Успокойся, успокойся.— Дон Бернардо вздрагивающей рукой прикоснулся к ее голове.— Успокойся, Дора... Но почему Мерседес не приехала, когда ты ее просила?

— Но ведь она ничего не знала, я не сказала ей ничего, а только просила приехать — я звонила ночью и ничего не объяснила, и она рассердилась...

— Господи,— сказал дон Бернардо. Он вернулся к своему креслу и сел, подперев голову ладонями.— Неужели ты не могла написать мне, Дора?.. Неужели ты думала, что я не помогу тебе в такую минуту?..

— Я надеялась...— Беатрис едва могла говорить от судорожных рыданий,— я была уверена... что справлюсь сама... Ты не можешь себе представить, как это унизительно! И потом еще... еще хуже было! Все время такое... такое ощущение, будто тебя голую водят по улицам, что все смотрят на тебя с жалостью, с омерзением! Как мне теперь жить — скажи!

— Теперь тебе прежде всего нужно идти спать,— сказал дон Бернардо. Он встал и поднял дочь из кресла; она судорожно вцепилась в него, спрятав лицо в его рукав и стуча зубами, словно ее колотил приступ желтой лихорадки.— Идем, девочка, я тебя уложу. Сейчас ты мне дашь свою седулу [1] и номер телефона молодого Ретондаро,— он ведь у тебя записан? Ну, идем...

Вернувшись через полчаса в кабинет, он положил на стол седулу

---

[1] Cédula de identidad — удостоверение личности (*исп.*).

Беатрис и ее записную книжку. Полистав исчирканные странички, он нашел нужный номер и придвинул к себе телефон.

— Ола,— сказал он, услышав знакомый голос.— Это Альварадо, извините за позднее беспокойство...

— Что вы, доктор! — отозвался тот.— Я по старой привычке бездельника ложусь поздно. Я вас слушаю, доктор!

— Это по поводу вашего сегодняшнего предложения, мой друг, относительно Доры. Видите ли, мне очень нужно, чтобы она поступила к вам работать, но только не сейчас. Послезавтра она улетает со мной — недели на три, на месяц самое большее. Я подумал, если бы вы нашли на этот срок временного работника, летом это довольно просто, насколько мне известно...

— Разумеется, доктор, никакой проблемы,— несколько удивленно отозвался Пико.— А... почему Дорита вдруг решила ехать с вами?

— Друг мой, у девушек в этом возрасте все случается «вдруг». Очевидно, ей просто захотелось посмотреть Карибы.

— Да-да, я понимаю,— быстро сказал Пико, видимо устыдившись своего любопытства.— Разумеется, доктор, место будет за ней. Скажем, с середины марта?

— Да, приблизительно так.

— Прекрасно! Но, доктор, вы хорошо объяснили Дорите, что это за работа? У нас ведь обстановка несколько своеобразная — все время приходится иметь дело с рабочими, загруженность делами колоссальная, а платят куда меньше, чем в любой юридической конторе...

— Ничего, загруженность — это как раз то, что ей нужно. Ну, покойной ночи.

— Покойной ночи, доктор, и привет Дорите...

Отодвинув телефон, дон Бернардо достал сигару и закурил, обрезав ее перочинным ножом. Он долго сидел, неподвижно глядя в темные корешки книг на противоположной стене, потом развернул седулу. С фотографии, снятой тринадцать лет назад,— документ был выдан, когда Беатрис пошла в школу, — на него глянула круглолицая глазастая девчушка, немного похожая на стилизованные изображения японских детей. Дон Бернардо вздохнул, сложил седулу и спрятал ее в бумажник.

4

В воскресенье четвертого марта Фрэнка разбудил телефонный звонок.

— Что это у вас такой сонный голос? — ворчливо сказал Делонг.— Имя графа Сен-Симона что-нибудь вам говорит?

— Что, что? Какой Сен-Симон?

— Граф Анри-Клод Сен-Симон, чертов вы невежда. Еще мальчишкой он приказывал, чтобы его будили словами: «Вставайте, граф, великие дела вас ждут». Вспомнили теперь?

— Что-то слышал,— неуверенно отозвался Фрэнк.— Так что с ним?

— С ним ничего, уже много-много лет. А вот что с вами — это мне хотелось бы узнать. Вы тоже считаете, что вас ждут великие дела? Сегодня ведь четвертое, сынок.

— Помню. Что ж, эти подонки ничего не напечатали, насколько мне известно.

— И не напечатают, я вас предупреждал,— ответил Делонг.— Слушайте, вы, Галахад [1] с логарифмической линейкой! Мне звонил ваш пресс-агент.

[1] Персонаж кельтских легенд так называемого «Артуровского цикла», олицетворение рыцарственной добродетели.

Трубка многозначительно умолкла.

— Подумать только,— сказал Фрэнк без особого энтузиазма.— Шутка сказать — собственный пресс-агент.

— Хартфилд, не валяйте дурака, все гораздо серьезнее, чем вы думаете. Помните, что если я порекомендовал вам этого парня, то это вовсе не значит, что я рекомендую придерживаться плана, который вы с ним состряпали.

— У вас есть лучший?

— Да! Плюнуть на все и молчать! Вы понимаете, в какую игру ввязываетесь?

— Понимаю,— медленно отозвался Фрэнк.— Но что делать? Не могу же я и в самом деле промолчать?..

— Почему не можете? Вы свернете себе шею, идиот!

Фрэнк помолчал, пощелкивая ногтями по трубке.

— Возможно,— вздохнул он.— Сукин сын этот Альтвангер. Но, видите ли, сэр, есть вещи поважнее собственной шеи.

— Вот как, — сказал Делонг. — Подумайте, а ведь мне эта благородная мысль никогда не приходила в голову. Конечно, что взять со старого зануды. Словом, если вы всерьез решили покончить жизнь самоубийством, то для этого вам надлежит явиться во вторник утром в Санта-Фе, Тед будет ждать вас в десять утра в отеле «Плаза». Там и будет произведено харакири.

— Ну ладно,— сказал Фрэнк.— Ничего не поделаешь. Жаль, конечно.

— Мне вас тоже,— заверил Делонг.— Зайдете сегодня ко мне?

— Зайду,— сказал Фрэнк.— Немного попозже.

Положив трубку, он сдержанно вздохнул и стал собирать разбросанные по столу машинописные страницы, исчирканные, со вставками от руки между строчками. Странная штука это писание — в голове все ясно, но только захочешь изложить мысли на бумаге — они превращаются в месиво. А может, и не нужно ничего излагать? Говорить, в общем, легче, чем записывать то, что хочешь сказать. Черт с ним. Как скажется, так и скажется.

Скомкав листы и запихав их в корзину, Фрэнк достал из ящика телеграмму Беатрис. Это был полученный во вторник ответ на ту, что он послал еще на прошлой неделе. Он долго не решался вообще сообщать что-нибудь о своем деле в Байрес и наконец ограничился тем, что написал: «Если прочитаете статью журнале коллирс ничему не верьте не думайте обо мне плохо». А теперь Трикси ответила: «Коллирс не читала думать плохо о вас не могу».

Здесь было две загадки. Прежде всего, Фрэнк не понял, почему телеграмма отправлена из Сьюдад-Трухильо. Точнее — он понимал, что это означает пребывание Беатрис в Доминиканской Республике, но чего ради ей вздумалось туда ехать? Сама она писала, что мистер Альварадо недоволен своим назначением и вряд ли там останется, да и страна, надо сказать, мало привлекательная для туризма. Но главная загадка была не в этом.

Он не мог расшифровать смысла того, что сказала Трикси. Как нужно понимать ее слова? Они могут означать, что она не читала «Коллирса», а потому и не может ничего о нем думать, о Фрэнке. Ничего —ни плохого, ни хорошего. Она просто не знает, о чем идет речь. Но этот же загадочный текст может означать и другое: думать о нем плохо она вообще не может, ну просто не в состоянии, а журнал не читала и не очень интересуется. Ей просто все равно, что напишут про Фрэнклина Хартфилда, потому что она-то сама уже имеет о нем твердое мнение и думает о нем только хорошее...

Последний вариант был утешительнее, и Фрэнк на нем остановился. Бреясь, он старался не думать о сообщенной Делонгом новости — ему было немного не по себе, хотя неожиданной она не явилась. Ведь именно сегодня кончился трехнедельный срок, который они с Тедом решили предоставить Альтвангеру. Значит, нужно действовать.

После завтрака он поехал к Баттерстону. Тот, как всегда, был бодр и излучал хорошее настроение. Впрочем, услышав вопрос Фрэнка о состоянии его банковского счета, Рой сразу насторожился.

— Это не твое собачье дело,— ответил он на всякий случай.— Опять пришел побираться? То ему машину, то ему чековую книжку. Когда это кончится? Я из-за тебя боюсь жениться! Я знаю, что не успею вернуться из свадебного путешествия, как явишься ты и станешь выклянчивать на недельку мою жену. И самое ужасное это то, что я ведь ее тебе отдам, будь ты проклят!

— Зачем мне твоя жена? — сказал Фрэнк.— Можешь жениться на здоровье, никто ее у тебя не заберет. А вот деньги я заберу.

— Побойся господа бога, Фрэнки,— сказал Рой.— Сколько?

— Все,— сказал Фрэнк.— Ничего не поделаешь, старик. Ты ведь каждую неделю будешь по-прежнему получать свою сотню монет, так что тебе ничто не грозит. А у меня, ты сам знаешь, какое теперь положение. Так что не жмись, мистер Шейлок.

— А кто виноват в этом твоем «положении»! — заорал Рой.— Я ведь тебя, дурака, предупреждал!

— Ладно, ты мне лучше скажи, на какую сумму я могу рассчитывать.

— На одну тысячу. Понял? Тысяча, и ни цента больше.

— Полторы,— твердо сказал Фрэнк.

— Да откуда у меня полторы тысячи!

— Найдешь, найдешь. В крайнем случае доложишь сто долларов из ближайшей получки, я поверю тебе в долг.

Баттерстон сделался вдруг серьезным.

— Послушай, а ты действительно решил уходить?

— Ничего я не решал, и мне здесь нравится. Вся беда в том, что в среду или четверг я буду торжественно выведен к главным воротам, где мне сообщат определенную начальную скорость посредством пинка в предназначенную для этого часть тела. Ну а если мне из снобизма захочется вдруг сохранить свой зад в неприкосновенности, то придется уходить самому, не дожидаясь начала вышеописанной церемонии.

— Я понимаю. Нет, все-таки глупость ты затеял, старик. Никому ты этим ничего не докажешь, а неприятностями обеспечишь себя на несколько лет вперед, это уж гарантировано.

— Так мрачно я не смотрю, но дело не в этом. Просто я не могу иначе, понимаешь ты или нет? — Фрэнк вдруг вспылил: какого черта, в самом деле, все как сговорились сегодня! — Как будто у меня есть какой-то другой выход! Наверное, если бы он был, я бы не начинал этой истории! Какого черта вы все стараетесь размалевать меня каким-то Галахадом, я вовсе не Галахад, а просто меня загнали в угол, вот я и защищаюсь. Нашли героизм!

Вечером, перебирая обычную кучу писем, он нашел одно заграничное — от Беатрис. «Вашу телеграмму переслали сюда из Буэнос-Айреса,— писала она,— поэтому я и не ответила на нее сразу. Я ничего не поняла, даже когда прочитала тот номер «Коллирса», после того как отправила вам ответную телеграмму. Мне было очень приятно увидеть ваши фото и прочитать о Вас такую большую статью. Но почему вы написали: «Ничему не верьте»? Чему я не должна верить — тому, что вас посылают в Европу? И почему я должна «думать плохо» о вас?

Фрэнк, поверьте — *я никогда и ни при каких обстоятельствах* не смогу думать о вас ничего, *кроме самого хорошего...»*

Дочитав до этого места, Фрэнк отложил письмо и, вскочив, прошелся по комнате, натыкаясь на мебель. Трикси даже подчеркнула эти слова! «Никогда и ни при каких обстоятельствах — ничего, кроме самого хорошего». И это после того, что он тогда в Брюсселе обошелся с ней, как скотина, как самая последняя пьяная скотина...

Побегав, он уселся и дочитал письмо до конца. Странно, Трикси ничем не объяснила свой неожиданный переезд в Сьюдад-Трухильо, написала только, что живет здесь уже третью неделю, но чувствует себя очень плохо и что ей ничто здесь не нравится: диктатура еще хуже, чем была в Аргентине во времена Перона, хотя здешний диктатор официально всего лишь брат президента, а титулов у него хватило бы на десять человек — он и главнокомандующий (в чине генералиссимуса), и «доктор гонорис кауза», и Первый учитель, и Благодетель отчизны, и многое другое. «Вчера я узнала, что какой-то профессор Галиндес (кажется, испанский республиканец, эмигрант) написал о генералиссимусе разоблачающую книгу и представил ее как диссертацию на соискание докторской степени в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Воображаю, какое здесь будет негодование во всех газетах! Вы понимаете, конечно, что все это я пишу так свободно лишь потому, что — как дочь посланника — пользуюсь правом дипломатической неприкосновенности. И мне совершенно все равно, прочитают ли мое письмо здешние шпионы, которыми тут все кишит. По крайней мере, будут знать, что я думаю об их стране...»

«При чем же тут страна?» — подумал Фрэнк, складывая письмо. В политике Трикси совершенно не разбирается, вот и в статье Альтвангера ровно ничего не увидела...

Он ей все это растолкует, но только не сейчас. Он напишет ей во вторник, после пресс-конференции. Заодно расскажет и об этом событии, хотя, пожалуй, Трикси раньше узнает о нем из газет. Письмо идет дня три-четыре — да, конечно, она все узнает раньше...

Во вторник, в четверть одиннадцатого, Фрэнк сидел со своим пресс-агентом в номере отеля «Плаза» и терпеливо выслушивал последние инструкции.

— Главное — воздержитесь от каких бы то ни было заявлений политического характера,— говорил Тед Рили.— Вы меня поняли?

— Не совсем,— признался Фрэнк.— Насколько я понимаю, сам вопрос, вокруг которого все это завертелось, носит сугубо политический характер. Что же мне тогда говорить?

— Что угодно, кроме высказываний, которые могут быть истолкованы как критика нашей внешней политики. Именно потому, что ваше дело так тесно с нею связано, я вас и предостерегаю. Вы должны говорить о мотивах, побудивших вас отказаться от предложения фирмы. Но не о тех факторах, которые сделали возможным такое предложение. Понимаете, Хартфилд?

— Понимаю,— медленно сказал Фрэнк.— Но не совсем уверен, что это лучший путь. Мне кажется, что...

— Хартфилд, поймите,— быстро перебил Рили, взглянув на часы,— у нас нет времени начинать дискуссию. Я верю, что вы знающий инженер, иначе вас не посылали бы за океан, но в остальных вопросах вы — ребенок. Вам придется либо следовать моим советам, либо вообще отказаться от них и действовать на свой риск. А для этого прежде всего нужно быть искусным дипломатом. Вы чувствуете себя таковым?

— Нет, черт возьми,— сказал Фрэнк.— Но поймите и вы, Рили, мне просто не было смысла затевать всю эту историю, если я не собирался говорить откровенно.

— Правильно, хитрить с нашим братом я вам не советую. Но есть разные степени откровенности, верно? Так вот, соблюдайте чувство меры, иначе зарветесь и наговорите черт знает чего. Вы можете наговорить такого, что ни одна газета не напечатает ни строчки из сказанного вами. А какой смысл тогда говорить?

— Да, с этим я согласен,— подумав, сказал Фрэнк.

— Наконец-то! Ну, выпейте стаканчик для храбрости, и идемте, нас уже ждут.

— Нет, выпью потом,— улыбнулся Фрэнк, вставая.

Когда они вошли в комнату, где ждали журналисты, Фрэнк почувствовал мгновенный приступ паники. Десятки чужих любопытных взглядов и нацеленных прямо на него объективов вызвали желание сбежать, но он овладел собой, услышав рядом знакомый голос Рили.

— Ну, ребята,— весело заявил тот,— вот вам Фрэнк Хартфилд, знакомьтесь! Мистер Хартфилд хочет сделать небольшое заявление по поводу той нашумевшей публикации в журнале «Коллирс», а потом он, естественно, ответит на ваши вопросы. Валяйте, Фрэнк.

Фрэнк сделал несколько шагов, сел за столик, поставил у ног принесенный с собой объемистый портфель и только после этого отважился посмотреть на собравшихся. По комнате снова пронесся стрекочущий шелест спускаемых затворов, залпом полыхнули фотовспышки. Фрэнк моргнул, наполовину ослепленный, и кое-как улыбнулся.

— Ребята,— сказал он чужим голосом.— То есть джентльмены.

Тут он вспомнил одно из наставлений Теда — смотреть в глаза слушателям. Он посмотрел и увидел совсем близко торопливо записывающую в блокнот молодую женщину, а дальше — за чьим-то плечом — еще одну, в очках.

— И леди,— добавил он потерянно.— Простите, я хотел сказать — леди и джентльмены...

— О'кэй, Фрэнки,— пробасил кто-то, — можете не извиняться. Они такие же леди, как я джентльмен!

Фрэнк вдруг разозлился.

— Я попросил бы не перебивать,— сказал он и почувствовал себя увереннее.— Леди и джентльмены, я не сразу согласился на эту пресс-конференцию. Вы понимаете — мне это трудно, я никогда не выступал... перед такой кучей народу. Но дело в том, что... та статья — вы знаете, о чем я говорю,— наделала слишком много шума. Чтобы не быть голословным...— он нагнулся и достал из-под стола портфель,— я привез показать вам часть полученных мною писем.— Он улыбнулся, расстегивая замки портфеля, потом поднял его и вывалил на стол груду разноцветных конвертов. Опять затрещала и засверкала собранная в этой комнате фотографическая техника.— У меня еще и дома столько же, и все это я получил... ну, вот за месяц...

— Что же вам пишут, мистер Хартфилд? — быстро спросила женщина с блокнотом.

— О, что угодно,— ответил Фрэнк.— И ругают, и предлагают жениться, и вообще что угодно. Я ведь просто не в состоянии прочитать все. Раньше читал — было интересно, потом надоело. С вашего разрешения, я продолжу.

Секунду он помолчал, собираясь с мыслями.

— Я захотел встретиться с вами, чтобы через ваши газеты сказать тем, кто прочел номер «Коллирса», что они прочитали ложь. Дело в том, что я ничего не знал о командировке в Германию, пока не прочитал статью мистера Альтвангера. Со мной даже не сочли нужным пого-

ворить хотя бы для формы, если уж они так были уверены, что я поеду. И, не поставив меня в известность, растрезвонили на все Штаты. Я... я просто не знаю, как это назвать!

— Но ведь статья написана в довольно лестном для вас тоне, не так ли? — сказал кто-то.

— Мне плевать, в каком тоне она написана,— громко возразил Фрэнк.— Статья эта — ложь с начала до конца, вот что мне важно! То есть — прошу прощения — она правильно излагает факты моей биографии и... все связанное с моей семьей. Но,— он снова повысил голос,— Альтвангер лжет насчет моей поездки в Германию, я туда не собирался ехать и не поеду, и он лжет еще в более важном...

Сидящий рядом Рили кашлянул и пошевелился в кресле, но Фрэнк не обратил на него внимания. Правда, он тут же подумал, что слишком часто употребляет слово «ложь», решил придерживаться более мягких выражений и сам пришел в восторг от собственной способности к самоконтролю.

— Мистер Альтвангер отходит от истины еще и в том,— продолжал он,— что пытается изобразить меня как бы представителем тех... тех американцев, тех молодых американцев, которые, хотя и потеряли на последней войне своих близких и не испытывают симпатий к нацизму, якобы готовы сделать все, чтобы сегодняшняя Германия поскорее обзавелась новым оружием. Конечно, я не уполномочен говорить за других, но сам я отношусь к этой сегодняшней Германии совсем не так, как это можно заключить из статьи Альтвангера.

— Будьте добры сформулировать ваше отношение,— крикнул кто-то.

— Уймитесь вы, ради всего святого...— угрожающе прошипел рядом Тед Рили.

— На вопросы я буду отвечать потом,— сказал Фрэнк.— Пока хочу добавить еще одно. Вернувшись на завод из отпуска, я сразу заявил о том, что ехать не намерен, и потребовал опубликовать в том же «Коллирсе» соответствующее опровержение. Я говорил и с Флетчером, президентом административного совета компании «Консолидэйтед эйркрафт», и с самим Альтвангером. Как видите, ничего опубликовано не было по сей день. Поэтому я решил изложить это вам и — через ваши газеты — всем тем, кого могла ввести в заблуждение статья Альтвангера. Здесь меня просили сформулировать мое отношение к германской проблеме... к ремилитаризации Западной Германии, очевидно. Так вот, я по этому поводу могу сказать одно: я этой Германии не верю, считаю, что вооружать ее глупо, и именно поэтому я не принял предложения компании... вообще для меня очень выгодного, должен сказать.

— Вы считаете,— услышал он чей-то голос,— что прием Федеративной Республики в систему Северо-Атлантического пакта был глупым шагом?

— Во всяком случае, я считаю, что этого делать не стоило,— отрезал Фрэнк.

— Вы коммунист?

— Нет!

— А раньше вы никогда не были членом коммунистической партии?

— Нет, я сказал!

— Вам известно о существовании на территории той же Германии так называемой Демократической Республики?

— Разумеется.

— Но почему вы с таким жаром говорите о ремилитаризации Западной Германии и в то же время умалчиваете о том, что Восточная давно уже ремилитаризована?

— А я этого не знаю! — крикнул Фрэнк.— Мне не поручали ехать к восточным немцам и вместе с ними работать над улучшением конструкции наших гиперзвуковых перехватчиков. А к западным — поручали! Вот поэтому я и говорю о западных, ясно вам?

Вопросы стали сыпаться со всех сторон — Фрэнк едва успевал отвечать. На некоторые он вообще не отвечал, чуя в них слишком явную ловушку. Тед уже несколько раз пытался прекратить конференцию, но его собратья решили, по-видимому, что тут еще можно кое-чем поживиться.

— Ваша карьера в «Консолидэйтед», по-видимому, окончена,— сказал кто-то.— Чем вы теперь думаете заняться?

— Тем же, чем занимался до сих пор. «Консэйр» — не единственная авиастроительная компания в Соединенных Штатах.

— А вы не думаете попросить убежища в Москве?

Фрэнк молча пожал плечами. Потом, сообразив, что этот жест может быть истолкован двояко, сказал:

— Послушайте, может, обойдемся без идиотских вопросов?

Озабоченная молодая дама в очках протискалась вплотную к Фрэнку.

— Не обращайте внимания,— сказала она,— в любой компании может найтись дурак или провокатор.

— Ничего,— сказал Фрэнк.

— Можно задать вопрос? Я Джейн Митчелл, от «Балтимор сан». Эта история отразилась на интимной стороне вашей жизни?

— Не понимаю вопроса,— сказал Фрэнк, подняв брови.

— Ну, могло ведь быть так, что из-за всего этого вы разошлись со своей девушкой или, наоборот, познакомились с новой? Вы сказали, что в получаемых вами письмах содержатся даже матримониальные предложения?

— Верно, но я на них не отвечаю. Нет, мисс...

— Джейн Митчелл!

— Мисс Митчелл, эта сторона моей жизни историей с «Коллирсом» не затронута.

— Благодарю вас. И еще одно — какой тип женщин вы предпочитаете? Интеллектуальный или сексуальный?

— Я бы сказал — тот, который задает поменьше вопросов, мисс Митчелл.

— Благодарю вас, у меня все! — Джейн Митчелл отошла с удовлетворенным видом, ничуть не смущенная общим хохотом. На ее месте перед Фрэнком тотчас же очутился толстяк, назвавший одну из ведущих газет Среднего Запада.

— Скажите, мистер Хартфилд, вы верите в возможность прочного мира и разоружения?

Тед Рили предостерегающе кашлянул и заворочался в своем кресле.

— Спокойнее, — проворчал он сквозь зубы, — спокойнее, не торопитесь с ответом...

Но Фрэнк и сам не торопился — он сразу понял, что объявить себя открытым сторонником разоружения было бы слишком опасно даже для него. Хотя, казалось бы, терять было уже нечего...

— Видите ли,— сказал он осторожно,— я верю в то, что войны удастся избежать... если люди по обе стороны будут благоразумны. Я в это верю просто потому, что кое-что знаю о новых типах оружия и... слишком хорошо представляю себе, как будет выглядеть его применение. Я... я просто не верю, что человечество покончит самоубийством. Ну а что касается разоружения... Может быть, с этим следует подождать. На всякий случай.

— Безусловно,— кивнул толстяк.— Этот «случай» всегда нужно иметь в виду, хотя бы он оставался одним шансом из миллиона. Но предположим все же, что этот единственный шанс сработал. Взрыв! Вам не кажется, что в этом случае вооруженная до зубов Западная Германия могла бы сыграть роль буфера, который примет на себя первый удар нашего эвентуального противника и тем самым сохранит жизнь миллионам американских парней?

— Видите ли, — сказал Фрэнк, — я сам — американский парень. Один из тех, кого вы имеете в виду. Так вот, я вам должен сказать, что если моя страна подвергнется нападению, то я предпочту защищать ее своими руками, не сваливая эту обязанность на иностранцев.

В комнате одобрительно зашумели.

— На этот раз хорошо — проворчал рядом Тед.

— Если я правильно вас понял, — не унимался толстяк, — вы в принципе против того, чтобы у Америки были союзники?

— Когда это я вам говорил, что нам не нужны союзники? Но, во-первых, вы сами сказали, что Германия в случае войны сыграет роль буфера. Я внесу поправку: буфер обычно остается цел после использования, а останется ли что-нибудь от Германии — это вопрос. Под словом «союзник» я понимаю равноправного партнера, а не заранее обреченную жертву. Это во-первых! А во-вторых, я не верю, что вчерашние враги могут вдруг оказаться хорошими союзниками...

— Разрешите мне!

Тед Рили встал перед Фрэнком, ловко оттерев толстяка, и широко улыбнулся журналистам.

— Ребята, не будем превращать пресс-конференцию в митинг! Мистер Хартфилд сделал вам заявление и любезно согласился ответить на относящиеся к делу вопросы. А тут, я вижу, уже пошли неотносящиеся, так что тему можно считать исчерпанной. Не так ли, мистер Хартфилд?

— Да, конечно,— согласился Фрэнк.— Я только хотел добавить...— Он поискал взглядом толстяка.— У меня нет никакой ненависти к немцам как к народу. Несмотря на то, что кто-то из них лично виновен в гибели моего отца. Но нацистов я не люблю и считаю, что заключать подобного рода соглашения со страной, где у власти по-прежнему находятся нацисты, значит оскорблять память всех американцев, погибших во второй мировой войне. Ни один честный человек под таким соглашением не подпишется и выполнять его не станет. Вот и все. Леди и джентльмены, благодарю вас за внимание.

5

Пико так торопил ее всю дорогу, что в Эсейсу они приехали слишком рано.

— Уж эти мужчины, — покачала головой донья Элена, когда служащий компании «Панагра» сказал им, что придется ждать еще более получаса.— Вечно вы или опаздываете, или являетесь ни свет ни заря. И кто это выдумал, что мужчинам свойственна деловитость...

Они прошли в зал ожидания, нашли пару свободных кресел. Пико предложил своей спутнице сигарету, но та отказалась.

— Я выкурила недавно одну или две у себя на работе,— сказала она,— и что же вы думаете, Херардо сразу выразил неудовольствие.

— А как он это делает? — улыбнулся Пико.

— Господи, даже и не расскажешь, это нужно видеть. А вы курите, доктор, пожалуйста.

— Благодарю, сеньора. Так вы невысокого мнения о наших деловых способностях?

— Представьте, нет. Вы знаете, что фирмы, руководимые женщинами, редко терпят крах?

— Это вполне понятно,— кивнул Пико.— Естественный отбор, донья Элена. Если женщина решает заняться мужской деятельностью, то на ее пути встает столько препятствий, что лишь одна из тысячи сумеет их преодолеть, и это будет самая способная. А мужчина занимается бизнесом так или иначе, независимо от своих природных качеств, просто потому, что так нужно. Скажите, а своей работой вы довольны?

— О, еще бы!

— Так приятно зарабатывать деньги?

— Приятно чувствовать себя самостоятельной, доктор. Знать, что ни от кого не зависишь! Я ведь всегда от кого-то зависела, вы понимаете. Ну, как всякая женщина. А сейчас — вы не можете себе представить, как это приятно — чувствовать себя наравне с любым мужчиной! И потом у меня такие хорошие отношения с моими служащими — это ведь тоже приятно, не правда ли?

— Вы, значит, принадлежите к породе «добрых капиталистов»?

— Ага! Все мои мастерицы получают выше, чем положено по коллективному договору. И они довольны, и я могу не бояться, что останусь без рук.

— Вам бы поехать в Северную Америку и выйти замуж за Форда, донья Элена.

— Ну, знаете, если уж я не выхожу за Ларральде...

Разговор перешел в шутливую болтовню. Потом радио сообщило о прибытии самолета «Панамерикэн-Грэйс», следующего из Нью-Йорка через Порт-о-Пренс, Белем, Рио-де-Жанейро.

— Вот и она, — сказал Пико, вставая. — Вы подождете здесь, или пойдем вместе?

— Идите, доктор, я подожду.

Пико ушел, донья Элена достала записную книжку и карандашик и стала подсчитывать самые срочные платежи, которые ей предстояли на этой неделе. Подсчитав, она испуганно прикусила губу.

Она не кривила душой, говоря Пико об удовольствии, которое доставляла ей работа. Ей действительно нравилось все это — и новое для нее чувство независимости, и неизбежный риск, и возможность помогать в какой-то степени своим служащим; в декабре, например, дела шли хорошо, и донья Элена кроме традиционного «агинальдо» смогла выплатить мастерицам дополнительные премии. Но последние месяцы оказались трудными, и сейчас она просто не знала, как сумеет выкрутиться с этими платежами и зарплатой за первую пятнадцатидневку марта.

Трудно было получать деньги с заказчиц. Здесь приходилось постоянно лавировать между необходимой настойчивостью и умением сохранить клиентуру. А клиентура была избалованной, напоминаний о деньгах не любила, считая их для себя чуть ли не оскорблением...

Донья Элена спрятала записную книжку. В зал уже входили пассажиры нью-йоркского лайнера, но Пико и Альварадо еще не появились. Донья Элена опять почувствовала, что ей хочется познакомиться с девушкой поближе. Неужели Беатрис Альварадо действительно была для Херардо тем, чем не сумела стать она сама?

Увидев наконец в дверях высокую тощую фигуру Пико, донья Элена встала и пошла навстречу. «Хороша», — подумала она без зависти, скорее с одобрением, еще издали оглядев Беатрис от туфелек до прически и профессионально оценив покрой ее широкого черного пальто.

— Добро пожаловать, сеньорита! — Она сердечно обняла девушку.— Ну, как прошел полет?

— Не спрашивайте, сеньора, это ведь мое второе в жизни путе-

шествие по воздуху,— устало ответила та.— Право, мне ужасно неловко, что вам пришлось ехать из-за меня в такую даль,— Пико рассказал мне, как вы его выручили...

— Ну да, он метался на перекрестке как угорелый — я сразу поняла, что человек торопится, а такси, вы сами знаете, в таких случаях никогда не найдешь. Как было не выручить!

— Сердечное спасибо, сеньора. Как ваш маленький?

— Ну, не такой уж он «маленький» — полтора года и уже пятнадцать зубов! Приезжайте как-нибудь, я вам его покажу. Ну что ж, доктор, а где багаж сеньориты?

— Вот! — Беатрис взмахнула черной пластикатовой сумкой с золотой надписью «Панагра».— Чемодан пришлют на дом. Поехали?

— Да, идемте...

— Как скоро думает вернуться дон Бернардо? — спросил Пико, когда машина, выехав со стояночной площадки аэропорта, свернула на ведущую в город автостраду.

— Он ведь должен передать дела своему преемнику, но того пока нет.

— Нет, назначения не было, я слежу.

— Боюсь, не будет еще долго. Какой идиот захочет теперь туда ехать?

— Ты слишком хорошего мнения о наших дипломатах. Хотя пост, надо признать, и в самом деле не из завидных. Чудо, что дон Бернардо выдержал там четыре месяца... Все ожидали, что он сбежит раньше.

— Ну, отец упрям. Он продержался бы и дольше — его доконала история с этим беднягой Галиндесом. На другой же день отправил телеграмму о своей отставке. Слушай, но ты тоже считаешь, что Галиндеса они похитили?

— Скорее всего,— кивнул Пико.— Это не первый случай. Несколько лет назад они точно так же похитили в Гаване Маурисио Баэса... Я точно не помню, где-то в году пятьдесят втором или пятьдесят первом. А потом Андрес Рекена был застрелен в Нью-Йорке, днем, прямо на улице. Так что вполне возможно.

— Но я так испугалась! — сказала Беатрис. — Ты понимаешь, за несколько дней до этого я написала одному своему знакомому в Штаты, что Галиндес собирается опубликовать эту книгу. Накануне мы обедали с нашим пресс-атташе, и кто-то за столом рассказывал об этом,— ну, я вспомнила и написала. И можешь себе представить — не проходит и двух недель, как вдруг эта новость! У меня первая мысль была: а что, если они это через меня узнали? Там ведь письма вскрываются, нас об этом специально предупреждали. Я так перепугалась — даже у папы боялась спросить, а потом пошла в библиотеку и стала рыться в газетах. Ну, оказалось, что об этой книге уже писали, так что это не было никаким секретом. У меня просто гора с плеч свалилась!

— Вообще, Дорита, ты это хорошо придумала — выбалтывать в письмах кулуарные слухи. Для любой разведки ты просто клад. Кому ты это писала, Хартфилду?

— Ну да. Кстати, ты знаешь, что он стал знаменитостью?

— Изобрел что-нибудь?

— Ты разве не читаешь североамериканские газеты?

— Почти никогда. А что, о нем уже пишут?

— И как! Вообрази, он давал пресс-конференцию, это была такая сенсация! Началось с того, что один журналист написал о нем статью, не договорившись с ним. Как будто Фрэнк стоит за вооружение Германии и даже собирается туда ехать. А он как раз наоборот — против этого. Он потребовал, чтобы дали опровержение, но те не захотели, и тогда ему пришлось выступить самому перед журналистами. Я тебе

говорю — это была настоящая сенсация. Почти во всех газетах его снимки, и то, что он говорил, и его история — ну просто как о голливудской звезде. Его теперь называют «красный Хартфилд», можешь себе представить...

Пико сочувственно хмыкнул и покачал головой:

— Бедняга, как же это он?..

— Ты считаешь, что он не должен был этого делать? — удивленно спросила Беатрис.— Извините, сеньора,— спохватившись, обернулась она к своей соседке,— мы тут все время болтаем о своем...

— Ничего,— отозвалась та, не отрывая взгляда от шоссе.— Я боюсь разговаривать за рулем, меня это отвлекает...

— Ты понимаешь, Дорита,— сказал Пико,— я не считаю, что он не должен был этого делать... но, очевидно, он сделал это как-то не так. Если ему уже пришпилили кличку «красный» — это плохо, значит, он дал им соответствующий повод. Вот этого он ни в коем случае не должен был делать...

— Ты думаешь, ему это грозит чем-нибудь? — подумав, спросила Беатрис.— Но почему, собственно...

— Да потому, что он работает в военной промышленности, вот почему! Не знаю, конечно. — Пико пожал плечами. — Разве что у них сейчас многое изменилось... А при Маккарти его определенно сжили бы со света.

— Во всяком случае, сам он настроен бодро,— сказала Беатрис.— Он считает, что легко найдет работу, потому что его уже немного знают...

— Так работу он уже потерял?

— Прежнюю — да. Впрочем, кажется, ушел сам, я точно не поняла. Сразу после этой пресс-конференции.

— Ну вот,— сказал Пико.— А ты еще спрашиваешь, грозит ли ему что-нибудь...

На авениде Мариано Акоста их остановил затор. Пико посмотрел на часы и сказал, что выйдет здесь, иначе не успеет попасть к себе в бюро до ухода секретаря.

— Я тоже, пожалуй, выйду,— сказала Беатрис.— Меня немного укачало, лучше пройдусь пешком...

— Смотрите,— сказала донья Элена.— А то я могла бы подвезти вас до Пенитенсиарии, мне в тот район.

Она еще раз пригласила Беатрис побывать как-нибудь у нее и посмотреть на Херардина; потом передние машины тронулись, и она уехала. Пико и Беатрис перешли на теневую сторону улицы.

— Ну, что здесь происходило за это время? — спросила Беатрис, пройдя в молчании с полквартала.

— Многое, и ничего хорошего. Ты знала Освальдо Лагартиху?

— Лагартиху? Я с ним встречалась на одном приеме в министерстве, где-то в начале ноября... Самое смешное, что у нас нашлась общая знакомая — одна бельгийка, которую он знал в Монтевидео, а я видела в Брюсселе. Мир и в самом деле тесен. А что с Лагартихой, ты говоришь?

— Погиб.

— Как это — погиб? — ошеломленно спросила Беатрис.— Но... когда? Каким образом?

— А вот только что. Возьми почитай...— Пико достал из кармана «Критику» и протянул Беатрис.— Четвертая полоса, внизу.

Они остановились у витрины. Беатрис развернула газету, Пико ткнул пальцем в набранный жирным шрифтом заголовок «ПОКУШЕНИЕ НА ЧЛЕНА ХУНТЫ».

«14 марта. Как нам сообщили в управлении федеральной полиции,

вчера во второй половине дня была произведена попытка покушения на жизнь одного из руководителей военной хунты. Автомобиль, в котором следовал вице-адмирал Рудольфо А. Гальван, подвергся обстрелу на 5-м километре шоссе Энсенада — Ла-Плата. Благодаря энергичным действиям охраны преступная попытка не удалась и все злоумышленники погибли в завязавшейся перестрелке. Среди сопровождавших вице-адмирала жертв нет. Личности убитых террористов устанавливаются следственными органами».

Дочитав сообщение, Беатрис молча перевела взгляд на Пико.

— Боже, какой кошмар,— выговорила она наконец.— Но... почему ты думаешь, что Освальдо?.. Здесь ведь никаких имен...

— Я просто знаю.— Пико забрал у нее газету и ловко сложил, помогая себе подбородком.— Рамон мне сказал вчера. Ну, идем.— Он сунул газету в карман и тронул Беатрис за локоть.

— Подожди, ты хочешь сказать, что и Рамон в этом участвовал? Рамон Беренгер?

— Нет, напротив, он пытался их отговорить. Там был Пибе Карденас и еще двое. Тех я не знал.

— Но Освальдо... Нет, я все-таки не понимаю! Почему он вообще оказался в оппозиции? Тогда, в ноябре, министр предложил ему возглавить комиссию по...

— Дорита, не будь наивной, с ноября месяца у нас исчезло много министров. Я не знаю точно, как там получилось, но в декабре Освальдо уже был в подполье. Ночевал то у меня, то у Хиля Ларральде, то еще у кого-то. И кричал, что перестреляет всю эту сволочь. Желание понятное — трудно его не испытать, когда видишь все, что делается в стране,— но террор все же не метод, это и я ему говорил, и Рамон сколько раз с ним спорил. Я его пытался заинтересовать профсоюзной деятельностью, но куда там... Ты, кстати, когда думаешь приступить к работе?

— Чем скорее, тем лучше.

— Если хочешь, зайдем сейчас, я тебя познакомлю с Пересом и другими ребятами.

— Нет, Пико, не сегодня. Я устала, и потом мне еще нужно...— Она оглянулась и увидела телефонную будку на другой стороне улицы.— Мне сегодня нужно повидаться с одним человеком, ты позвони вечером — договоримся на завтра.

— Ладно,— кивнул Пико.— Я тогда пошел. Ну, чао!

Беатрис перешла улицу и плотно прикрыла за собой дверь будки. Набрав номер, она стала терпеливо ждать, покусывая кожицу на губе и изучая вывешенный над аппаратом список телефонных подстанций Большого Буэнос-Айреса. Почему-то там всегда не торопятся снимать трубку... 290 — Аэропорт, 78 — Агуэро, 93 — Альмагро, 55 — Андес, 27 — Арсенал. Если его сейчас не окажется, она больше не позвонит. Или позвонит в любом случае?

— Попросите Гейма, пожалуйста, — сказала она, услышав женский голос. — Что? Это не имеет значения, скажите, что его просят к телефону, и ничего больше. Благодарю вас. Нет, я не вешаю...

21 — Барракас, 76 — Бельграно, 656 — Белья Виста, 201 — Берасатеги, 202 — Берналь. Интересно все же, подойдет он или не подойдет?

— Ола, — сказала она, когда он подошел.— Здравствуй, Хуан... Да, как видишь. Точнее — как слышишь. Ну да, конечно, из города, я прилетела час назад. Что? Ничего, спасибо. Послушай, Хуан... Да? А-а, нет, ничего. Послушай, ты свободен сейчас? Приезжай в «Молино»... Ну что ты, не знаешь, у Конгресса, угол Кальяо и Ривадавии... Да, через полчаса.

Войдя в знакомый, разукрашенный со смешной пышностью начала века зал «Эль Молино», Беатрис сразу увидела Яна за одним из столиков вблизи от входа. Он вскочил, отодвинул для нее стул, поцеловал руку.

— Здравствуй, Хуан, — сказала она очень тихо, — как поживаешь?..

Они посидели, помолчали. Потом Беатрис украдкой посмотрела на Яна.

— Я тогда хотела тебе позвонить,— сказала она со вздохом.— Но папа взял с меня слово, что я не буду...

Ян кашлянул, скручивая трубочкой салфетку.

— Ну, как ты там жила? — спросил он, глядя куда-то мимо.

— О,— Беатрис пожала плечами.— В общем, плохо.

— Беатриче...

— Да?

— Видишь ли... Пока тебя не было, я тут о многом передумал...— Он помолчал, не глядя на Беатрис, и продолжал чуть ироническим тоном: — Никогда ведь не поздно признавать свои ошибки, не правда ли? Без тебя я понял, какую ошибку совершил тогда... в Мар-дель-Плата. Мне следовало в первый же день сделать тебе предложение, Беатриче. Но ты помнишь, как я тогда на это смотрел... Мы однажды говорили на эту тему, помнишь?

— Конечно,— сдавленным голосом сказала Беатрис.— И что же?

— Видишь ли... Я решил исправить ошибку и сделать тебе это предложение сейчас. Не подумай, что изменился мой взгляд на мир и его будущее... Изменилась лишь оценка того, что внесла в мою жизнь ты. Раньше я просто не понимал, что значит для меня твое присутствие... — Иронические интонации, которыми Ян пытался замаскировать неловкость в начале разговора, исчезли теперь из его голоса. Беатрис чувствовала, что он сейчас искренен, как, пожалуй, никогда не был с нею до этого момента.

— Хуан, послушай,— вставила она торопливо, еще не зная, что хочет и сможет сказать; ей просто панически захотелось оборвать, прекратить эту бесцельную и мучительную исповедь.— Ты должен понять...

— Погоди, Беатриче,— властно сказал он.— Я давно все понял, и не это сейчас важно. Ты будешь моей женой?

— Нет.— Беатрис отрицательно качнула головой.— Нет, Хуан, это невозможно.

Он долго смотрел на нее.

— Но почему? Неужели из-за того разговора, Беатриче?

— Не говори глупостей. Тот разговор начала я, если ты помнишь. Неужели ты всерьез способен подумать, что я могла это сделать, хоть на миг допуская возможность выйти за тебя замуж? Мне тогда просто хотелось понять тебя.

— Вот как,— с видимым усилием выговорил Ян.— Любопытно. Новый аспект «вечно женственного» — даже в постели заниматься психологическими исследованиями...

Он долго молчал, потом спросил:

— Могу я рассчитывать на то, что ты еще подумаешь?

— Боюсь, что нет, Хуан,— устало сказала Беатрис.— Я для этого и просила тебя прийти, чтобы мы раз и навсегда обо всем договорились. Извини, что я говорю так... жестко.

Ян усмехнулся углом рта:

— Ничего... моя нежная Беатриче. Я переживу и это.

— Хуан,— с упреком сказала Беатрис,— неужели ты думаешь, что я не страдаю от всего случившегося? Зачем нам еще мучить друг друга — после того, что мы уже сделали?

Ян ничего не ответил. Беатрис закусила губы и отвернулась к окну. На другой стороне Ривадавии, у входа в библиотеку Конгресса, мальчишка-газетчик сидел на перилах решетки, с трех сторон ограждающей спуск в метро. Что-то выкрикивая, он рассовывал прохожим газеты, с обезьяньей ловкостью выхватывая их из пачки, лежащей в надетом через плечо ремне.

— Ты еще не была дома? — спросил Ян, указав взглядом на дорожную сумку с надписью «Панагра», которую Беатрис положила на соседний стул.

— Нет,— сказала Беатрис.— Я прямо из аэропорта.

— Как прошел полет?

— Не знаю, наверное, нормально. Я не люблю летать, так что мне не понравилось.

— Очевидно, мы больше не увидимся,— сказал Ян не то вопросительно, не то просто констатируя факт.

— Я думаю, нет,— сказала Беатрис тихо.— Так будет лучше.

— Да, так будет просто чудесно. Волшебно и фантастически. Как в сказке!

— Хуан, я прошу тебя,— вздрагивающим голосом сказала Беатрис.— Я прекрасно знаю, что причинила тебе горе, но не мучай меня. Прости меня и не мучай, я очень тебя прошу...

— Разве я тебя мучаю? — Ян сделал весело-изумленное лицо, Беатрис опустила взгляд и увидела его пальцы, комкающие салфетку.— Я тебя мучаю, Беатриче? Странно. Что, в сущности, произошло? Ничего, самая банальная история. Роман в стиле двадцатого века — легкий, непродолжительный, без последствий. Какое же тут горе?

— Послушай, перестань... Я тебя прошу — перестань!

— Ты не причинила мне никакого горя, Беатриче,— весело продолжал Ян.— Ничего, кроме радости. Если говорить точнее — удовольствия. Как женщина ты меня вполне устраивала... несмотря на всю твою неопытность...

Беатрис, выпрямившись, смотрела на него с совершенно белым лицом.

— Или, может быть, именно благодаря ей? — Ян судорожно усмехнулся.— Да, пожалуй. Кстати, я считаю, что мы не можем обижаться друг на друга: каждый из нас получил то, что хотел, тебе не кажется? Я думаю, мои уроки пошли тебе на пользу. Робкая и неопытная Беатриче оказалась способной ученицей. О да. Ты просто молодец!

Беатрис изо всех сил прижимала ладони к скатерти. Она подумала, что Ян даже через стол может ощутить их дрожь, и тут же ей стало смешно — какое это имеет значение? Почему в такие моменты думаешь о пустяках, о совершенно незначительном? «Откуда тебе знать,— вмешался какой-то внутренний голос,— *таких* моментов в твоей жизни еще не было...»

— Вот как? — сказала она и улыбнулась со страшным усилием, глядя Яну прямо в глаза.— Приятно слышать. Почему же ты замолчал? Говори, прошу тебя.

— А я уже, собственно, все сказал.— Ян пожал плечами.— Под чьим руководством ты думаешь продолжать теперь свое образование? Желаю успехов, Беатриче.

— Ну что ж,— сказала Беатрис.— Все это я заслужила, полной мерой. Поэтому я сидела и слушала, и поэтому сейчас ты уйдешь отсюда безнаказанно. Но запомни, Ян Сигизмунд Гейм! Если ты хоть раз осмелишься позвонить мне по телефону, я дам тебе пощечину при первой встрече, в каких бы обстоятельствах она ни произошла. А если когда-нибудь ты переступишь порог моего дома, клянусь, я застрелю тебя, как собаку...

6

Долгожданный ответ от Стэнфорда пришел шестого июля, сразу после празднования Дня Независимости. Взяв у портье конверт с внушительным грифом «БОИНГ ЭЙРПЛЕЙН КОМПАНИ — департамент научно-исследовательских работ», Фрэнк невольно задержал дыхание. Поднявшись к себе в номер, он положил конверт на стол и посматривал на него издали, вешая на спинку стула пиджак и развязывая галстук.

Умывшись и развязав шнурки туфель, он сел, закурил сигарету и только после этого позволил себе вскрыть конверт. Внутри был плотный глянцевитый бланк с тем же грифом, несколькими отпечатанными на машинке строчками и размашистой подписью внизу. М-р Хартфилд приглашался зайти к главному инженеру департамента завтра, в девять утра, для беседы по делу, изложенному им в письме на имя м-ра Стэнфорда от тридцатого прошлого месяца.

— Ага! — торжествующе сказал Фрэнк.— Наконец-то!

Он положил бланк на видном месте и прошелся по комнате, не теряя его из виду и испытывая сильное желание сплясать что-нибудь индейское. Наконец-то, черт возьми!

Он начал искать работу в мае. Делонг посоветовал выждать время, пока уляжется бумажная буря, и почти два месяца ему пришлось проболтаться без дела, занимаясь спортом и время от времени перечитывая собранные в папку вырезки и наиболее интересные письма. А в мае Фрэнк начал свое турне сперва по соседним Техасу и Калифорнии — Даллас, Бербэнк, Лос-Анджелес, Сан-Диего, Санта-Моника, а потом все дальше и дальше — побывал у Мак-Доннелла в Сент-Луис, Миссури, оттуда, по совету одного тамошнего парня, поехал в Детройт, где корпорация «Бендикс» якобы искала специалистов по электронике стабилизирующих систем, и уже потом стал объезжать восточные штаты. В его записной книжке появилась красноречивая страница:

Штат Нью-Йорк
Бетпэйдж — «Грумман эйркрафт энджиниринг» — нет.
Буффало — «Белл эйркрафт» — нет.
Фарминдэйл — «Рипаблик авиэйшн» — нет.
Лейк-Саксесс — «Сперри джайроскоп» — нет.

Штат Мэриленд
Балтимор — «Гленн Л. Мартин» — нет.
Хэгерстаун — «Фэйрчайлд» — нет.

Штат Нью-Джерси
Вуд-Ридж — «Кертисс Райт» — нет.

После этого на странице красовалось ругательство, а ниже — еще один адрес: фирмы «Томпсон Электроникс» в Кливленде, Охайо. Там он побывал уже на обратном пути, когда ехал сюда, в Сиэтл.

Неудивительно, что сюда он прибыл в довольно мрачном настроении. «Боинг» оказался его последним прибежищем не только географически; перспектива работать именно в этой фирме устраивала Фрэнка меньше всего хотя бы потому, что его вообще не привлекало строить бомбардировщики-атомоносцы. Он предпочитал работать над легкими сверхскоростными машинами типа перехватчиков, утешая себя тем, что это оружие скорее оборонительного, нежели наступательного характера. Правда, наивность подобной «классификации» была очевидна и ему самому. Однажды, когда разговор об этом зашел с Делонгом, тот беспощадно его высмеял, и Фрэнку просто нечем было защититься — настолько зыбкими показались ему самому его собственные аргументы.

И все же компания «Боинг» была последней фирмой, куда он мог обратиться. Она была действительно последней. Когда ему одна за дру-

гой отказали в работе крупные калифорнийские компании — такие, как «Нортроп», «Локхид», «Норт-Американ», «Дуглас»,— ему стало немного не по себе, но впереди оставался еще большой выбор. Странным было одно обстоятельство. Этой зимой, в Грейт-Салинас, он познакомился с инженером фирмы «Локхид»; они часто выпивали вместе, вместе ухаживали за платинированной аптекаршей, и Бернини — так звали инженера — несколько раз говорил, что их фирма нуждается в хороших специалистах, и предлагал подумать о переходе в «Локхид». А сейчас, когда Фрэнк приехал туда, с ним даже не стали разговаривать.

Тогда он сказал себе, что конъюнктура вполне могла измениться за четыре месяца, и отказ еще ни о чем не говорит. Но потом ему стало казаться, что его преследует просто какой-то рок: куда бы он ни обращался, ответ был одним и тем же. Иногда ему отказывали сразу, иногда обещали узнать и тянули несколько дней, но работы для него так и не находилось.

Перспектива остаться безработным пугала Фрэнка не материальной стороной. Семья его была относительно обеспечена, сам он мог довольствоваться очень немногим. Взятой у Роя тысячи ему должно было хватить надолго, машина у него была — правда, старая, но он собственноручно перебрал и отремонтировал ее в апреле, за время своего вынужденного отдыха. В случае чего он — специалист по сложнейшему электронному оборудованию — мог устроиться в какую-нибудь радиокомпанию или, на самый худой конец, хотя бы в мастерскую по ремонту приемников, если бы перед ним действительно встал вопрос заработка на жизнь. Но такой проблемы перед Фрэнком еще не стояло, и его теперешнее положение было тяжело не этим.

Он уже начинал догадываться, что все это связано с пресс-конференцией и поднятой вокруг его имени шумихой. Тут могло быть два варианта: либо с ним просто предпочитали не связываться, как с человеком, в данный момент пользующимся скандальной известностью, либо руководство «Консолидэйтед эйркрафт» уже позаботилось о том, чтобы предупредить коллег о дурном характере «красного Хартфилда». В первом случае еще можно было бы рассчитывать на то, что со временем о газетной буре просто забудут, но во втором — его положение становилось по-настоящему скверным.

Вот почему он с таким нетерпением и такой тревогой ждал ответа от «Боинга», вторую неделю сидя здесь, в крайнем северо-западном уголке страны. И ответ наконец пришел, ура! Это не могло быть отказом уже хотя бы потому, что его пригласили зайти к самому Стэнфорду,— «нет» обычно сообщают в письменной форме. Другое дело — ему могли предложить что-нибудь похуже того, что он имел в «Консолидэйтед» и на что рассчитывал в первый, еще оптимистический период своих поисков. Но черт с ним, лишь бы работать!..

В этот день он впервые за много времени пообедал с аппетитом, посидел в баре с двумя флотскими лейтенантами с Бремертонской базы, поговорил с ними о девушках, о летающих тарелках. Под вечер, когда стало немного прохладнее, он пошел в порт и взял напрокат маленькую моторку. В холмы западного берега садилось солнце, по тихой воде Пьюджет-Саунда бесшумно скользили белые паруса яхт, в фонтанах брызг проносились за скутерами загорелые лыжники. Глухо рокоча машинами, медленно, словно крадучись, прошел ощетинившийся расчехленными зенитками длинный низкий корвет с громадными белыми цифрами на серых бортах. Проплавав до темноты, Фрэнк сдал лодку, вернулся в отель и сел за письмо к Трикси. «...Скоро я смогу уже сообщить вам новый адрес,— писал он,— и, наверное, это будет Сиэтл, Вашингтон. Похоже на то, что здесь у меня наконец клюнуло: завтра утром иду на прием к одному из здешних боссов, сегодня полу-

чил приглашение. Если бы вы знали, как мне надоело безделье! Пишите о себе почаще и более подробно, если вас не затруднит. Ваше последнее письмо мне переслали в Кливленд. Я думаю, мистер Альварадо правильно поступил, отказавшись от дипломатической деятельности и вернувшись в университет. Дипломатия — грязное дело, теперь я убедился в этом больше, чем когда-либо».

Он вложил письмо в конверт, надписал адрес и уже хотел заклеить, но что-то удержало его. «Ладно, отправлю завтра,— подумал он,— вернусь от Стэнфорда и заодно напишу о результатах. Интересно, что они мне предложат...»

Утром он ровно без пяти девять явился в оффис, и ровно в пять минут десятого секретарша пригласила его пройти к мистеру Стэнфорду.

Тот с первого взгляда произвел на Фрэнка хорошее впечатление. Худой, еще моложавый, в роговых очках, он сидел за почти пустым письменным столом в просторном, светлом, аскетически убранном кабинете. За спиной Стэнфорда, в углу, стоял на высокой подставке выполненный в масштабе 1:50 макет межконтинентального В-52.

— Хэлло,— сказал Стэнфорд, привставая. Через стол пожав Фрэнку руку, он указал ему на кресло и уставился на посетителя, что-то соображая.

— Вот что,— сказал он после короткого молчания, словно решившись.— Вот что, мистер Хартфилд. Ваше письмо я получил. И письмо моего старого друга Стива Делонга — тоже. Он писал о вас, как вы можете догадаться. Я очень внимательно ознакомился с тем, что вы сообщаете о своей работе... и что о вашей работе сообщил Делонг. Все это очень хорошо, и я не сомневаюсь, что вы хороший специалист. К сожалению, несмотря на все это, «Боинг» не может предоставить вам работу.

Фрэнк даже не удивился в первый момент — словно именно этого ответа он и ждал. Но тотчас же его оглушила беспощадно четкая мысль: он, Фрэнклин Хартфилд,— пария... Неизвестно как и почему, но он, еще вчера полноправный гражданин самой могущественной державы земного шара, стал вдруг заклейменным и неприкасаемым, подобно прокаженному где-то в глубинах Азии. Потом он заговорил и сам удивился, как спокойно звучит его голос.

— Я понимаю, что, когда получаешь отказ, глупо требовать объяснений,— сказал он.— Но вы назвали мистера Делонга своим другом, это дает мне право спросить у вас неофициально... Я случайно встретился вчера с одной из ваших служащих, она говорит, что компания постоянно нуждается в специалистах. Вы не могли бы объяснить мне — что, в конце концов, со мной происходит?

— Могу, мистер Хартфилд,— кивнул Стэнфорд.— Я для этого вас и пригласил, ведь отказ проще было бы послать по почте, не правда ли? Я так и сделал бы, но раз Стив принимает в вас такое участие, считаю долгом объяснить вам ситуацию... Просто чтобы вы не блуждали в потемках, понимаете?

— Да, я понимаю, спасибо,— сказал Фрэнк.

— Так вот в чем дело. Если говорить открыто и напрямик, мистер Хартфилд, если говорить по-мужски, то ваши возможности устроиться на работу в авиационной промышленности равны нулю. Я, очевидно, не имею права сообщать вам об этом, но вы зачислены в категорию политически неблагонадежных лиц, которым в силу совершенно определенных инструкций органов национальной безопасности закрыт доступ к некоторым областям промышленности и науки, имеющим отношение к обороне страны. Теперь вы понимаете, почему «Боинг» вынужден отказаться от предложенных вами услуг.

— Понимаю,— повторил Фрэнк. Он помолчал, пытаясь собраться

с мыслями. — Но, мистер Стэнфорд... Здесь что-то явно не так. Если я считаюсь неблагонадежным, то почему меня не пригласит сенатская комиссия и не расследует этого обвинения? Согласитесь, это противоречит всем юридическим нормам... насколько я имею о них понятие. Человеку не предъявляют никакого обвинения, и в то же время он становится парией.

Стэнфорд молча пожал плечами.

— Может быть, мне следует самому обратиться в комиссию?

— Не думаю,— сказал Стэнфорд.— Посоветуйтесь с адвокатом, но не думаю. В комиссию можно обращаться тогда, когда против вас публично выдвинуто то или иное обвинение. В таком случае вы имеете право потребовать расследования с целью восстановления своего доброго имени. Но если обратитесь вы, никто не станет вас слушать. Вы скажете: «Меня не принимают на работу», но это не повод для разбирательства. Вы скажете: «Я не пользуюсь доверием органов безопасности», но это опять-таки их дело, только их, и ничье больше, и дело к тому же весьма секретное. Вы же не видели и не держали в руках никакого документа, не правда ли? Я, кстати, тоже его не видел. Мне сказали, точнее — намекнули, и я счел своим долгом поставить вас в известность... чтобы избавить от лишних и бесполезных хлопот. В какие еще фирмы вы обращались?

— Спросите лучше, в какие я не обращался,— угрюмо сказал Фрэнк.

— Ну, видите,— кивнул Стэнфорд.— К сожалению, там были менее откровенные парни. Я не хочу вмешиваться, каждый действует сообразно своим принципам, но ваша затея с пресс-конференцией была неосторожной. Очень, очень неосторожной.

— А что мне оставалось делать? — вспыхнул Фрэнк.— Мне надоели эти разговоры об осторожности! В конце концов, бывают моменты, когда на карту ставится что-то более важное, чем спокойная карьера.

— Я понимаю вас,— медленно сказал Стэнфорд.— Но и вы должны понять, что за подобные вещи приходится платить. И, если быть последовательным, вы не должны сейчас чувствовать себя несправедливо обиженным.

— А я чувствую! — сказал Фрэнк.—Чувствую, потому что я за всю свою жизнь не сделал ничего, что шло бы вразрез с интересами моей страны... Как я их понимаю.

— Вот именно — как вы их понимаете. К сожалению, другие понимают их иначе.

— И вы в их числе? — агрессивно спросил Фрэнк.

Стэнфорд пожал плечами:

— Это сложный вопрос, мистер Хартфилд. Во всяком случае, я уважаю вашу принципиальность. Иначе я просто не стал бы с вами разговаривать, вы понимаете.

— Спасибо,— усмехнулся Фрэнк.— Это все-таки утешение.

— Да, пожалуй,— серьезно сказал Стэнфорд.— Сознавать, что вы пострадали за свой собственный образ мыслей, это действительно утешение. Значит, вы говорите, что обращались практически во все фирмы, связанные с вашей специальностью?

— Практически — да. Есть еще «Хьюз энджиниринг», но...

Стэнфорд сделал скептическую гримасу.

— Да, там, пожалуй, нет смысла и пробовать,— сказал он.— «Хьюз» ведет очень секретные работы с новыми типами оружия... Управляемые снаряды и тому подобное. Там контроль безопасности еще более строг.

— Ну хорошо,— сказал Фрэнк.— Вы говорите — мне запрещено иметь дело с оборонными темами. Но ведь ваша фирма, насколько мне

известно, работает и для гражданской авиации... Скажем, ваш новый реактивный лайнер, «707». Может быть, я мог бы...

— Нет,— Стэнфорд покачал головой,— «Боинг компани» в целом является предприятием, работающим для военного ведомства. Все наши департаменты и отделы подчинены одному статуту.

Он взглянул на Фрэнка и побарабанил пальцами по столу.

— Ну что ж,— сказал Фрэнк, поняв это как намек на конец аудиенции.— Простите, что отнял ваше время..

— Ничего,— сказал Стэнфорд.— Я был бы очень рад сделать что-нибудь для протеже старика Стива, но... Скажите, каковы теперь ваши планы?

Фрэнк мрачно усмехнулся.

— Студентом я здорово научился мыть посуду в ресторанах,— сказал он.— Придется вспомнить.

— Нет, я спрашиваю серьезно. Дело вот в чем. Когда-то мы со Стивом работали в «Авро-Канада», и у меня до сих пор сохранились неплохие отношения с тамошними ребятами. Если бы вы захотели, я мог бы, пожалуй, кое-чем помочь вам в этом отношении. «Авро» ведет сейчас большую работу по гиперзвуковым машинам, а вы в последнее время, если не ошибаюсь, занимались как раз перехватчиками...

— Вы что, предлагаете мне уехать из Штатов? — удивленно спросил Фрэнк.

— Я предлагаю вам трезво оценить ваше положение и ваши возможности в Штатах,— сказал Стэнфорд.— А решать, конечно, нужно вам. Словом, подумайте.... — Он встал и через стол протянул Фрэнку руку.— Если решите обратиться в «Авро» — дайте мне знать. Впрочем, у Стива те же возможности. Но и на меня всегда можете рассчитывать. Скажу еще раз — ценю вашу принципиальность и рад был бы иметь вас в числе моих сотрудников... при иных обстоятельствах.

Выйдя на улицу, Фрэнк машинально посмотрел на часы и удивился — как мало времени пробыл он в кабинете Стэнфорда. Ему казалось, что прошла целая вечность с того момента, как он поднялся по этим ступеням. Во рту у него было горько, словно он накурился натощак, а в голове совсем пусто. Нужно было что-то решать, что-то делать, но ему хотелось одного — пойти куда-нибудь, хорошенько надраться и завалиться спать.

Вернувшись в номер, он увидел на столе незапечатанное письмо к Беатрис. Он вытащил из конверта лист, развернул его и, не вставляя в машинку, нацарапал от руки: «Трикси, все пошло к черту. Я в черном списке — практически это лишает меня всякой возможности работать по специальности. Если бы вы знали, как мне вас не хватает!»

Уже запечатав конверт, он сообразил, что опять назвал ее «Трикси» — как не называл с того дня в Брюсселе, и еще подумал, что последней фразы писать не стоило: Трикси решит, что он опять ей навязывается. Но распечатывать письмо он уже не стал. Ему действительно очень ее не хватало.

Через две недели он вернулся в Уиллоу-Спрингс. Ехал медленно — торопиться было уже некуда. Автострада шла вдоль побережья, он часто останавливался и проводил день-другой на одном месте, купался, возился с машиной, просто сидел часами на песке, глядя в искрящийся на июльском солнце простор Тихого океана. Иногда он подвозил хичхайкеров, каких-то бродяг, беседовал с ними о жизни, пил. Под Лос-Анджелесом, уже свернув на восток, он встретил табун странной молодежи, называющей себя «битым поколением»: тут были бородатые парни и нечесаные, решительного вида девушки, некоторые совсем молоденькие, все в грязных свитерах и стоптанной обуви. Узнав

за выпивкой его историю, юные бродяги предложили Фрэнку присоединиться к ним и стали посвящать в свою несложную философию. Все идет к черту, говорили они, термоядерная война рано или поздно покончит с этой навозной кучей, и нужно быть интегральным идиотом, чтобы в такое время работать и вообще строить какие-то планы на будущее. Единственное, чем еще стоит заниматься, это выпивка и любовь. Еще, пожалуй, бродяжничество: таскаться с места на место и иронически наблюдать за окружающим свинством...

Жили они своим кемпингом, милях в шести от Пасадены. Однажды среди ночи чье-то прикосновение разбудило Фрэнка, он открыл глаза и увидел рядом одну из нечесаных девиц, довольно легко одетую. На вопрос — что ей нужно — девица ответила настолько недвусмысленно, что Фрэнк окончательно проснулся. Подумав немного, он сел, взял свернутые в изголовье брюки и, вытаскивая пояс, сказал, что сейчас молодая леди получит все основания причислять себя к «битому поколению» не в переносном, а в самом прямом смысле. Не соблазненная этой перспективой, молодая леди обозвала его малопристойным словом и исчезла в темноте, откуда выкрикнула еще одно, совсем уж нецензурное.

Вечером двадцатого июля его пыльная дребезжащая машина медленно прокатилась по Вермонт-стрит, мимо белого деревянного коттеджа, где он прожил три года. Фрэнк подумал было остановиться и зайти к своей хозяйке, но сердобольная миссис Писецки непременно стала бы охать и сокрушаться, а Фрэнк не любил быть объектом жалости. Поэтому он проехал мимо, направляясь к Рою, у которого оставил некоторые свои вещи и книги.

Квартирная хозяйка Роя встретила его сообщением, что мистер Баттерстон только-только вчера уехал в отпуск — вроде бы на Кубу. Фрэнк почувствовал огорчение, нелепое, разумеется, но огорчение. Глупо было бы ожидать, что Рой изменит свои летние планы из-за его собственных неприятностей; несмотря на это, Фрэнк вдруг с какой-то особенной отчетливостью ощутил себя выброшенным за борт.

Приняв ванну и отдохнув в комнате Роя, он пошел к Делонгу. «Не хватает только, чтобы и старика не оказалось, — подумал он, подходя к коттеджу шеф-инженера.— Тогда останется одно — заглянуть на огонек к Флетчерам. Хэлло, Дэйви, как поскрипываешь, дружище? Давно не виделись, я прямо стосковался...»

Старик оказался дома, и Жаклин Делонг тоже. Худенькая подвижная женщина, несмотря на возраст сохранившая бурный средиземноморский темперамент, с восторгом встретила Фрэнка.

— Ну, рассказывайте, рассказывайте скорее! — закричала она, почти втаскивая Фрэнка в гостиную.— Посмотри, кто приехал, Этьен! Наш enfant terrible! Как вы, мой мальчик,— со щитом или на щите?

— На щите возвращались мертвые герои, мэм,— мрачно пошутил Фрэнк.— А я просто на свалке, как дохлый пес.

Делонг, пожимая ему руку, озабоченно нахмурился:

— Так плохо?

— Хуже некуда, сэр. Я конченый человек, говорю вам.

— Вы были в Сиэтле? Почему сразу не написали?

— Да не хотелось об этом писать... Я уж думал, приеду и расскажу, а потом задержался.

Мадам Жаклин выключила музыку.

— Садитесь и рассказывайте все по порядку,— сказала она решительно.— И не смейте воображать себя на свалке! Взрослый, сильный мужчина хнычет comme une écoliere[1], какой позор!

---

[1] Как школьница (*франц.*).

Фрэнк начал рассказывать. Рассказывал он долго. Мадам Жаклин возмущалась, то по-английски, то по-французски; ее муж слушал молча, изредка прерывая Фрэнка вопросами.

— Плохо,— сказал он без обиняков, когда Фрэнк кончил свое повествование.— Очень плохо, сынок. Я, знаете, никогда не был пессимистом и нытиком, хотя со мной тоже случались разные скверные истории. Но в данном случае я просто не знаю, что сказать и что вам посоветовать...

Мадам Жаклин возмущенно посмотрела на мужа, но промолчала.

— Мистер Стэнфорд дал мне один совет,— усмехнулся Фрэнк.— Почему бы вам, говорит, не уехать в Канаду, на «Авро»? Даже предложил свою помощь в устройстве.

— Гм,— сказал Делонг.— В самом деле, «Авро»... Мы с ним работали там во время войны. Помочь с этим делом мог бы и я, незачем обращаться к Стэнфорду...

— Но что мне делать в Канаде? — Фрэнк развел руками.— Извините, сэр, я ничего плохого не хочу сказать о вашей родине, но работать для чужой страны...— Он запнулся, поняв, что сказал бестактность: сам Делонг уже много лет работал в Штатах.— Простите, я не имею в виду вас.

— Ничего, сынок,— улыбнулся Делонг.— Я давно уже стал космополитом. В молодости работал во Франции, за что и был наказан — меня там женили...

— И с каким трудом! — Мадам Жаклин рассмеялась— Мой мальчик, если бы вы только знали, каких хлопот мне это стоило! Но, как говорится, чего хочет женщина — хочет дьявол, и мой Этьен все-таки вошел в мышеловку. Правда, при этом он настороженно пошевеливал усами — тогда он еще носил роскошные усы! Какие это были усы, mon Dieu! Из-за них все и началось.

— А потом мне приходилось таскаться повсюду,— невозмутимо продолжал Делонг.— Я побывал даже в Аргентине — о, вот кстати! Вас ждут письма из Байреса, сынок, одно пришло недели две назад, а другое вчера...

Он поднялся и вышел в свой кабинет.

— У вас там девушка, не правда ли? — спросила мадам Жаклин, заговорщически улыбаясь. — Любовь?

— Просто дружба,— сказал Фрэнк.

— О-ля-ля, дружба! Не рассказывайте мне сказок. Какая там может быть дружба между девушкой и молодым человеком!

— Я говорю правду, мэм,— сказал Фрэнк.— Действительно, раньше это было... несколько иначе, но сейчас между нами просто дружеские отношения.

— Франклэн, вы ребенок! Запомните хорошо одну вещь — если девушка действительно перестала любить, она никогда не станет продолжать «дружеские отношения» и поддерживать переписку.

Делонг вернулся и протянул Фрэнку два конверта с бело-голубой аргентинской каймой.

— От нее? — спросил он, обменявшись с женой многозначительными взглядами. Фрэнк понял, что они уже достаточно обсуждали эту переписку.

— Да, это от мисс Альварадо,—сказал он, пряча письма в карман.

— Можете прочитать сейчас, мы не обидимся,— добродушно сказал Делонг.

— Что ты понимаешь! — подскочила мадам Жаклин.— Мсье Франклэн хочет насладиться ими дома, в тишине и одиночестве. Очень интересно читать письма от девушки, когда рядом сидят два любопытных старика!

— Кстати, как у вас с жильем? — спросил Делонг.— Вы говорили, что со старой квартиры уже съехали?

— Да, поживу пока в комнате Баттерстона, он в отпуске.

— Верно, он уехал вчера и еще спрашивал о вас. Я сказал, что, наверное, вы устроились, раз ничего не пишете. Ну-ну. А то могли бы поселиться и у нас, комната наверху все равно пустует.

— Спасибо, зачем же я буду вас стеснять? — сказал Фрэнк.

— И зачем мы будем стеснять мсье Франклэна? — подхватила мадам Жаклин.— Ты со своим Бахом, я с моей болтовней! Кроме того, к молодому человеку должны ходить девушки, он будет стесняться.

— Кстати, о девушках,— сказал Делонг.— Вам передает большой привет блондинка из Грейт-Салинас. Та, что в аптеке, помните?

— Voila! — сказала мадам Жаклин. — А ты говоришь — поселиться у нас.

— Вы были в Грейт-Салинас? — спросил Фрэнк.

— Да, на прошлой неделе.

— Ну как там?

— Все то же. — Делонг пожал плечами. — Та же спешка, та же лихорадка. С нами недавно чуть не произошло то самое, что случилось на Новый год с высотным разведчиком «Локхида», помните? И те же причины — командование требует новых машин, сроки испытаний сжаты до абсолютного минимума, на заводах делается черт знает что...

— Вы думаете, дело все же идет к войне? — помолчав, спросил Фрэнк.

— Нет, этого я, к счастью, не думаю,— сказал Делонг.— Просто выяснилось наше чудовищное отставание от русских. Я читал секретный отчет миссии Туайнинга... В Москве им показали такое; что у генерала отвисла челюсть. И будьте уверены, показали далеко не все.

Фрэнк спросил разрешения у хозяйки и закурил.

— Да,— сказал он, невесело усмехнувшись.— А вы говорите — ехать за границу...

— Сынок, сынок, — Делонг покачал головой. — Вы слишком наивны. Я уже не говорю о том, что возможность работать в Штатах для вас закрыта так или иначе... и, может быть, это к лучшему. Вы как-то спросили меня, какие выводы можно было сделать из той новогодней истории, и я посоветовал вам подумать над этим самому. Наверное, мне следовало все же поделиться с вами моим собственным опытом. Видите ли, я прекрасно все понимаю — желание работать для обороны своей страны и тому подобное. Но, так или иначе, наша работа стала сейчас грязным делом. Это парадокс, я понимаю, и парадокс трагический. Наверное, это вытекает из парадоксальности всего нашего времени, всей нашей системы жизни, нашего строя. Мы хотим приносить пользу стране, а в результате наши усилия день за днем приближают мир к катастрофе. Разве эта гонка вооружений действительно диктуется интересами безопасности? Это же игра, сынок, самая грязная политическая и финансовая игра...

— Я тебе давно говорила — брось все это к черту,— хладнокровно сказала мадам Жаклин, тоже закуривая.

— Мне скоро на пенсию,— возразил Делонг.— Мы с тобой, дорогая, не накопили состояния, я не хочу, чтобы ты на старости лет осталась нищей. Но если бы я был моложе... Если бы я понял все это несколькими годами раньше...

— Vaut mieux tard que jamais[1],— сказала мадам Жаклин.— Мальчики, я приготовлю коктейль.

---

[1] Лучше поздно, чем никогда (*франц.*).

— Недавно в одном городке, в Калифорнии,— медленно сказал Фрэнк, словно думая вслух,— я видел, как дети играли с ручной белкой — угощали ее мороженым и всякие такие штуки...

— О, бедное животное,— сочувственно сказала мадам Жаклин, доставая бутылки.

— И я вдруг представил себе — совершенно ясно, словно увидел,— как вот в такое же солнечное утро к этому городу и к этим детям приближается где-то в стратосфере чужой атомоносец. Ведь это моя страна, поймите!

— Вы что же, думаете, что дети играют только в американских городах?— усмехнулся Делонг.— И что только американцы способны тревожиться о их будущем? А русские, по-вашему, не могут представить себе, как к их детям приближается наш В-52? Это круг страха и реакции на страх, проклятый заколдованный круг, и лучше вырваться из него, пока не поздно. Если случится худшее, если начнется война — вы так или иначе будете защищать свою страну, никто в этом не сомневается. Но участвовать в коллективном безумии...

Он не договорил и покачал головой. Мадам Жаклин подкатила столик с напитками и снова уселась рядом с мужем.

— Хватит мрачных разговоров,— сказала она.— Я хочу напиться! А вам совет, мой мальчик,— плюньте на все и уезжайте в Аргентину. Зачем вам Канада? Как нам понравилась Аргентина! Помнишь, Этьен? Выпьем, мальчики. За то, чтобы не было войны!

Они выпили.

— Вообще-то это мысль,— сказал Делонг, доставая свою трубку.— В самом деле, Канада... В Канаде, конечно, есть авиационная промышленность, но там достаточно и своих инженеров. Тогда как менее индустриальная страна... Там всегда больше возможностей. На вашем месте, сынок, я бы над этим подумал...

Вернувшись домой уже за полночь, Фрэнк достал оба письма. Одно было проштемпелевано первым июля, второе — двенадцатым. Он вскрыл первое.

«Дорогой Фрэнк, я давно вам не писала, так как ждала, что вы сообщите о своем месте работы. Неужели ничего не нашли? Удивительно, что в такой стране, как Соединенные Штаты, инженеру трудно устроиться, и еще с такой нужной специальностью. Вы не думаете, что это может быть связано с вашей пресс-конференцией?

Поздравляю вас с Четвертым июля. Вы знаете, у нас ведь тоже праздник почти одновременно — Девятое июля. Правда, это называется День Флага, но все равно это тоже праздник Независимости. И удивительно — во Франции тоже праздник, четырнадцатого. Какое совпадение, правда? Июль — это просто сплошной месяц Независимости.

Надо сказать, он у нас довольно неуютный — очень холодно, все время туман и дожди. Я страшно мерзну. Очень довольна своей работой, хотя она, конечно, несколько своеобразна и я не сразу к ней привыкла. Мы все время имеем дело со всякими случаями нарушений трудового законодательства — то кого-то незаконно уволили, то где-то снизили расценки. Но это, конечно, гораздо интереснее, чем, например, прошлая моя работа — в позапрошлом году.

Я очень боялась, как сложатся мои отношения с рабочими,— я ведь их совершенно до сих пор не знала. Представьте, все оказалось гораздо проще, чем я думала. В профсоюзе принято называть друг друга не «сеньор», а «компаньеро» — это имеет несколько иной оттенок, чем слово «товарищ», но смысл почти тот же. Так вот, меня теперь

тоже все называют «компаньера Альварадо», а те, кто бывает у нас часто,— делегаты с фабрик, например, — просто «компаньера Беатрис». Вы не можете себе представить, как приятно это слышать. Может быть, я покажусь вам сентиментальной девчонкой?

Папа получил кафедру, однако с правительством у него опять отношения очень натянутые. Недавно он должен был выступать с публичным докладом — не в университете,— и полиция за час до начала закрыла зал под предлогом плохой вентиляции помещения.

Ну, я кончаю пока, сейчас уже поздний вечер, и я страшно устала сегодня на работе. Буду с нетерпением ждать от вас хороших известий. От всей души желаю вам хорошо устроиться! Привет и те же пожелания от папы. Он говорит, что вы должны гордиться тем, что сделали.

Ваш друг *Дора Б. Альварадо».*

Фрэнк долго сидел с письмом в руках, не прикасаясь ко второму. А что, если и в самом деле в Аргентину? Делонг сказал, что если бы возникли трудности с получением паспорта, то он мог бы использовать связи своей сестры в госдепартаменте, а она сама работает в консульстве в Байресе и может ускорить получение аргентинской визы. Впрочем, аргентинскую визу вообще получить нетрудно... Собственно, почему бы и нет?..

По крайней мере, он смог бы хоть изредка видеть Трикси. Судя по письмам, она действительно не сердится на него. Почему бы им не быть просто друзьями? А там, со временем, все еще может и измениться... Впрочем, об этом думать не нужно. Но просто видеть ее, иметь возможность встречаться...

Он вздохнул и взял второй конверт.

«Фрэнк, дорогой, я только что получила ваше письмо с этой ужасной припиской — просто не могу поверить, что это действительно могло с вами случиться. Я говорила с папой и позвонила своему шефу доктору Ретондаро; папа считает, что вам следует обратиться к адвокату, но Пико сказал, что это бесполезно. Я просто потеряла голову. Что вы уже предприняли? И можно ли вообще что-нибудь предпринимать в подобных случаях?

Я бесконечно тронута вашей последней фразой. Я ее не заслужила, но мне она принесла большую радость — и боль за вас, потому что я поняла из нее, как вам сейчас трудно. Иначе вы никогда бы такого не написали.

Я отдала бы все, чтобы действительно иметь возможность хоть чем-то вам помочь и искупить хотя бы часть своей огромной вины.

Ваш искренний друг Б.».

7

Эти зимние месяцы Беатрис находилась в каком-то странном, совершенно новом для нее состоянии. Она знала из биологии, что клетки человеческого тела все время обновляются, каждую минуту отмирают одни и на их месте зарождаются новые; нечто подобное, казалось ей, происходило сейчас и в ее душе.

Даже со своей всегдашней склонностью к самоанализу и пристальному наблюдению за своим внутренним миром, Беатрис все равно не могла бы еще определить сути и смысла происходящих в ней перемен, но эти перемены совершались, точно в ее душе шла все время какая-то напряженная работа, наполняя ее радостным чувством освобождения от старого и тревожным ожиданием неизвестного еще нового.

Вспоминая себя в еще недавнем прошлом, Беатрис словно наблюдала со стороны за кем-то чужим. И даже ее собственные поступки, воспоминание о которых в ином состоянии могло бы довести ее до безумия, уже почти не вызывали в ней боли. Это действительно были уже чьи-то поступки — они могли вызывать чувство гадливости, но не больше. Они просто уже не имели к ней никакого отношения.

Впервые за долгое-долгое время Беатрис освободилась от чувства одиночества. Началось это там, в Сьюдад-Трухильо, где она чуть ли не в первый раз с детских лет нашла общий язык с отцом и почувствовала в нем друга. Потом — как ни странно — этому очень способствовала работа. Странно, потому что Беатрис не думала вначале, что это сможет иметь для нее такое значение. Здесь она встретилась с совершенно новым для нее миром — с миром, где не было места одиночеству хотя бы потому, что уверенность в помощи друга и готовность помочь самому были как хлеб необходимы для живущих в нем людей.

Беатрис ничуть не рисовалась, когда писала Фрэнку о том, как приятно ей слышать обращение «компаньера». Она даже не написала всего; боясь показаться и в самом деле «сентиментальной девчонкой», она умолчала об одном случае, когда она расплакалась после того, как трое пожилых рабочих с «Текстиль Оэсте» принесли ей маленький букетик цветов в благодарность за помощь в деле, которое профсоюзу удалось выиграть у дирекции фабрики. В первый раз в жизни она чувствовала, что может приносить кому-то хоть крошечную пользу.

Едва ли не главный смысл происходящей в ней перемены заключался в том, что после истории с Геймом Беатрис увидела вдруг с потрясающей ясностью всю никчемность своих прежних представлений о счастье. Никогда не бывшая эгоисткой в прямом, грубом смысле этого слова, она все же не могла раньше представить себе счастья без того, чтобы именно это счастье полностью и безоговорочно соответствовало ее собственным вкусам, привычкам и стремлениям. В детстве, переживая в конвенте период религиозной экзальтированности, Беатрис мечтала даже о том, чтобы стать монахиней и ухаживать за прокаженными, и тогда эта перспектива действительно казалась ей высшим счастьем, но все равно — это было счастье, которое приносило бы чувство удовлетворения прежде всего ей самой.

Очевидно, не случайной оказалась та легкость, с какой она мгновенно забыла Фрэнка, едва увидев Джерри Бюиссонье; очевидно, не случайной оказалась ее связь в Геймом. В обоих случаях, какими бы разными, какими бы бесконечно далекими друг от друга они ни были, главную роль сыграла ее глубочайшая, подсознательная убежденность в том, что она — Беатрис Альварадо — вольна поступать так, как ей хочется в данный момент, и что любой поступок является для нее позволительным: «Si libet — licet!» [1]

Теперь она начинала понимать, что счастье заключается в чем-то совершенно другом. Сам смысл понятия «счастье» становился для Беатрис принципиально иным, словно приобретал новый, неизвестный ей ранее подтекст.

Приносить кому-то пользу? Об этом, казалось бы, она думала и раньше. Разве, мечтая о лепрозории, она не стремилась приносить пользу несчастным прокаженным? Но, очевидно, то была бы какая-то другая «польза» — прежде всего приятная для нее самой и уже во вторую очередь нужная тем, на кого она была бы направлена. Здесь была какая-то тончайшая, трудноуловимая фальшь, которую Беатрис не смогла бы еще сформулировать, но уже начинала чувствовать. В свете ее прежних представлений о счастье не было, пожалуй, принци-

[1] «Если хочешь — можешь!» (*лат.*)

пиальной разницы между тем, чтобы посвятить себя служению людям или отдаться понравившемуся мужчине. В том и другом случае на первом месте стояло бы ее желание поступить именно так, как захотелось в данный момент.

В этом Беатрис еще не совсем разобралась. Ей было ясно, что нельзя пытаться строить жизнь на прежних ее представлениях о ней, но новых еще не было, они только-только брезжили, как утренняя заря в тумане.

Последнее письмо Фрэнка наполнило ее смятением. Пожалуй, только сейчас, прочитав наспех нацарапанные слова приписки, она в полной мере оценила непоколебимую верность этого человека — верность, на которую она сама ответила изменой и бессердечием. Она упрекала себя не за то, что ее любовь не выдержала встречи с Джерри Бюиссонье; там она все равно ничего не могла бы с собой поделать, это был удар молнии, амок. Но потом, потом!

Ведь она действительно забыла Джерри. Может быть, не то что забыла, а просто эта мгновенная любовь превратилась в какое-то бесконечно далекое воспоминание, настолько далекое, что оно даже не смогло защитить ее от Гейма. Конечно, тогда в Брюсселе она была еще больна и действительно не могла ответить на чувства Фрэнка, но хотя бы понять их, оценить их ничем непоколебимую твердость, их самоотверженность! Ведь Фрэнк уже понимал тогда, что она его не любит, и вряд ли мог на что-нибудь надеяться, и все же он пришел к ней, чтобы помочь по-братски, по-товарищески, а она ответила оскорблением.

И сейчас она все еще была ему нужна — она, не заслуживающая и сотой доли такой любви...

Однажды утром, когда она пришла на работу с опозданием, ей сказали, что ее дожидается посетитель — новый делегат с «Альпаргатас», которому нужно оформить полномочия.

— Пожалуйста, извините, — сказала Беатрис виноватым тоном, входя в свою комнатку. — Меня задержал транспорт...

Человек, сидящий у ее стола, обернулся, и Беатрис удивленно подняла брови — его лицо показалось ей знакомым. Пожилой, с коротко подстриженными усами — неужели это тот самый садовник? По выражению лица посетителя она увидела, что тот тоже ее узнал.

— Ничего, компаньера,— сказал он,— я поболтал пока с доктором Ретондаро. Вы давно тут работаете?

— Четыре месяца,— сказала Беатрис, торопливо разбирая обычное нагромождение бумаг на своем столе.

— Значит, я не здесь вас встречал,— сказал делегат.— Но где-то видел, это точно.

Беатрис подняла голову, взглянув на него еще раз.

— Мне тоже показалось,— сказала она, поколебавшись.— Вы не работали на одной кинте за Мороном, два года назад?

— Ну конечно! — воскликнул тот.— Вы приезжали, когда улетел сеньор Бюиссонье?

Беатрис молча кивнула.

— Вас нужно оформить? — спросила она.

— Да, по всем правилам. — Новый делегат передал ей документы. — Так это вы, — сказал он, глядя на нее с любопытством. — Как странно...

Беатрис вставила в машинку лист бумаги.

— Почему странно? — спросила она, пожав плечами.

— Да так,— сказал посетитель.— Тогда вы не показались мне девушкой, которая может работать в синдикате.

— Тогда я и не работала, сеньор...— она бросила взгляд на лежащие перед нею документы, — сеньор Хуарес.

Через несколько минут — она уже кончала оформление полномочий — вошел Пико, по обыкновению с дымящейся сигаретой и пачкой бумаг в руке.

— Еще одно такое опоздание,— сказал он свирепым тоном, бросив бумаги перед Беатрис,— и вы будете уволены без идемнизации, уважаемая компаньера. Уяснили?

— Уяснила, уважаемый доктор. Ты знаешь, оказывается, мы с компаньеро Хуаресом почти знакомы.

— Где это ты могла познакомиться? — недоверчиво спросил Пико.

— Ну да, компаньеро работал у покойного мужа доньи Элены...

— А вы ее знаете? — удивленно спросил Хуарес у Пико.— Донью Элену?

— Знаю, конечно.

— Где она сейчас? Что с ней? Я пытался ее найти, поехал туда на кинту и ничего не узнал. Сказали, что, кажется, переехала в столицу. У нее ведь ребенок?

— Мальчишка. Дорита, запиши для компаньеро адрес, а потом найдешь мне дело того ученика, что обварился на «Седалане». Ты не помнишь, какое у них страховое общество?

— Кажется, «Франко-Архентина»,— подумав, сказала Беатрис.— Я сейчас проверю.

— Найди экспертизу и показания свидетелей, я сегодня этим займусь.

После работы Беатрис поехала к донье Элене. Был короткий день, суббота, и ей не хотелось сидеть в одиночестве в пустом холодном доме, дожидаясь возвращения отца. У доньи Элены она бывала теперь довольно часто — они почти подружились, хотя вначале Беатрис не была уверена, найдутся ли у них какие-нибудь общие интересы. Донья Элена оказалась достаточно интересным человеком, и скоро Беатрис перестала замечать, что та очень мало читала и не разбирается в серьезной музыке. Ей нравилось приходить сюда, в чистенькую, обставленную простой новой мебелью квартирку, возиться с Херардином, болтать с хозяйкой о всякой всячине. Словно по какому-то молчаливому соглашению, обе они никогда не упоминали о Жераре; иногда Беатрис спрашивала себя, ревнует ли ее донья Элена к прошлому. Та, во всяком случае, ничем этой ревности не проявляла.

Сегодня донья Элена оказалась дома. Она была простужена и встретила Беатрис, укутанная в теплый халат.

— Входите, входите,— сказала она обрадованно, открыв дверь.— Как вы кстати! Я третий день не выхожу, умираю от скуки, даже Херардина не вижу —донья Мария меня к нему не пускает, она страшно боится гриппа. Зато мне прописали вкусное лекарство — чай с коньяком. Сейчас мы с вами будем лечиться!

— Это не Хиль прописал вам коньяк? — засмеялась Беатрис.— Кстати, донья Элена, я видела сегодня вашего старого знакомого. Знаете кто? Ваш садовник из «Бельявисты», сеньор Хуарес.

— Дон Луис! — воскликнула донья Элена.— Где вы его разыскали? Так его выпустили?

— Он разве сидел? Я не знала. Он — профсоюзный делегат с фабрики «Альпаргатас», сегодня приходил оформляться. А вы знаете, донья Элена, он не похож на простого садовника, если его послушать...

Донья Элена засмеялась.

— Он такой же садовник, как я принцесса! То есть он действительно работал садовником, но вообще он у нас скрывался от полиции — я даже ничего не знала, это он мне уже потом рассказал. Он занимается политикой, понимаете? Как я рада, что он нашелся... Он собирается прийти?

— Да, я дала ему ваш адрес. Он интересовался вами, спрашивал, кто у вас — мальчик или девочка... Донья Элена, разрешите спросить одну вещь?

— Пожалуйста, Дора.

Беатрис поколебалась немного.

— Донья Элена, а почему вы не хотите выйти замуж за Хиля?

— Еще и вы туда же! Удивительно, до чего всем хочется выдать меня замуж,— сказала донья Элена, разливая чай.— Как будто я сама не могу этого решить...

— Донья Элена, а ведь Хиль действительно очень хороший,— заметила Беатрис, помолчав.

— Ну, хороший. Я и не говорю, что он плохой!

— И он, по-моему, вас любит.

Донья Элена вздохнула.

— Пейте лучше свой чай и молчите...

Беатрис последовала ее совету. Выпив чашку, она почувствовала, что начинает согреваться.

— Ужасно сегодня холодно,— сказала она.— Неужели Херардин гуляет?

— Да, Хиль сказал, что ему нужно гулять в любую погоду.

— Видите, у вас был бы и свой домашний врач...

— Я вас выпровожу! Не понимаю, почему женщина не может прожить одна, если у нее есть ребенок и дело...

— Но ведь Хиль вас любит. Донья Элена, а вам никогда не приходило в голову...

— Что?

— Что вы могли бы сделать его счастливым человеком.

— Возможно, Дора,— помолчав, сказала донья Элена.— Но этого ведь еще недостаточно. Когда выходишь замуж, то все-таки прежде всего думаешь о том, будешь ли счастлива сама...

Беатрис подумала и вздохнула.

— Наверное, вы правы, человек по своей природе слишком эгоистичен. Я хорошо знаю это на собственном примере. Но ведь — в принципе, донья Элена,— можно выйти замуж именно для того, чтобы сделать счастливым другого. Разве нет?

— Бывает и так.— Донья Элена невесело усмехнулась.— Не знаю только, хорошо ли такие браки кончаются. Приблизительно этого я и хотела, когда... вышла замуж за Херардо. Я считала, что так будет лучше для него. И что получилось?

Беатрис помолчала.

— А разве ваш брак... был несчастливым? — спросила она тихо.— Разве вы о нем жалеете?

— Я не жалею, Дора. Хотя бы потому, что теперь у меня есть Херардин...

— Конечно...

— Но все равно это оказалось совсем не то, вы понимаете. Ну, я не знаю... У меня все время было такое чувство, будто я навязалась Херардо и он мною тяготится. Конечно, он никогда этого не проявлял, но ведь женщина может и догадываться, верно? Я уж не говорю о том, что мне было тяжело, но ведь я видела все время, что ничего не сумела ему дать, что и ему тоже тяжело. Настоящему мужчине всегда тяжело,

когда он не может ответить на любовь. А Херардо был настоящим мужчиной! Скажите, Дора... он любил вас?

Беатрис сделала усилие и посмотрела ей в глаза.

— Нет, донья Элена,— сказала она тихо.

— Странно,— сказала донья Элена, помолчав.— Мне казалось, что вас он должен был полюбить.

— Нет,— повторила Беатрис.

В передней скрипнула дверь, послышался голос доньи Марии и капризное хныканье Херардина.

— Ну вот и он,— сказала донья Элена, посмотрев на часы.— Чего это донья Мария так задержалась, ему уже пора есть...

— А почему мы хнычем?— весело спросила Беатрис, выйдя в переднюю.— Здравствуйте, донья Мария.— Она присела на корточки возле ребенка и прикоснулась щекой к его разрумянившемуся от холода личику. — Что случилось, сеньор?

— Сеньору бы все гулять да гулять,— сказала донья Мария, снимая пальто. — Ведите-ка его в детскую и раздевайте, я сейчас.

Беатрис встала и подала Херардину палец:

— Ну идем?

Малыш уцепился за палец и потащил ее к двери в гостиную.

— Мама! — сказал он требовательно.

— Нет, сеньор,— сказала Беатрис. — К маме нельзя, мама нездорова и может тебя заразить. Идем-ка лучше сюда...

Она подхватила его на руки и унесла в детскую.

— Ну, кто с тобой сегодня гулял? — спросила она, посадив Херардина на стол и расстегивая пальтишко. — Макбет был?

— Да,— сказал он, кивая белокурой головенкой.— Да, да.

— Конечно, Макбет от тебя ни на шаг. Давай-ка ручки. Вот так. А еще кто был?

— Кóта,— важно сказал Херардин, немного подумав.

— О, и кошка тоже? Наверное, та, соседская. Ты ее не трогал?

Херардин отрицательно помотал головой и выставил ножку, чтобы поскорее сняли резиновый сапожок.

— Сейчас, милый. Значит, кóту ты не трогал, это правильно. Они опасные, могут поцарапать. Большая была кóта?

Херардин опять подумал и поднял кверху растопыренные ручонки.

— Ну, видишь! Куда это, такая громадная кóта — больше тебя. Как Макбет, только Макбет добрый и чистый, а она злая и, наверное, грязная... А ну-ка ножки — не замерзли? Нет, ножки у нас теплые... Сейчас наденем ботиночки, погоди...

Переодев малыша, Беатрис взяла его на руки. Тот сразу бесцеремонно ухватил ее за ухо и повернул лицом к окну.

— Гáга,— сообщил он деловито, показывая на сидящего снаружи на подоконнике мокрого воробья.

— Да, да, такая же, как ты, милый...— Беатрис крепко зажмурилась и прижалась лицом к теплому тельцу ребенка. Сердечко его билось четко и быстро, как у пойманной в ладони птички.— Мой маленький,— шептала Беатрис торопливо, чувствуя, как слезы текут по ее щекам,— мой маленький, моя радость...

С конца июля события в Египте приковали к себе всеобщее внимание. Слова «Суэцкий канал», «Насер», «Ближний Восток» запестрели в газетных заголовках, начались разговоры о возможности войны. Второго августа в Англии была объявлена частичная мобилизация резервистов, четвертого из Портсмута вышел курсом на Мальту авианосец «Тезей» с парашютной бригадой на борту. Беатрис опять начала читать газеты.

Однажды, перед концом рабочего дня, к ней в комнату вошел Пико.

— Послушай,— сказал он, морщась от дыма сигареты,— ты так и собираешься умереть невеждой?

— Не хотелось бы,— ответила Беатрис.— А что?

— Кончай свои дела, и я тебя свезу в одно место. Будет говорить твой приятель, Хуарес.

— О чем, о канале? — Беатрис выразительно вздохнула.— Я за эти дни столько наслушалась о Египте...

— Не беспокойся, Хуарес будет говорить не о канале.

— Дело в том, что сейчас все митинги в основном по поводу канала,— все еще недоверчиво сказала Беатрис.— А когда слишком много говорят про одно и то же, это уже просто не воспринимается...

— Я тебе говорю, собрание по другому поводу! Собирайся, иначе опоздаем.

Собрание происходило далеко — в Боке, возле рыболовного порта. Автобус долго вез их по грязным улицам с высокими тротуарами и странными домами, обшитыми гофрированным железом и окрашенными в неожиданно яркие цвета — синий, оранжевый, фиолетовый. Когда они приехали, большой зал с низким потолком был уже набит битком и основательно прокурен. Пико взял Беатрис за руку и потащил сквозь толпу; на них недовольно оглядывались, но, увидев девушку и однорукого парня, теснились и уступали дорогу.

— Будем стоять здесь, — сказал Пико, добравшись до двери с надписью «Запасной выход». — В случае чего, выскакивай сразу.

— А какой может быть случай?

— Всякий,— неопределенно ответил Пико.

На эстраде уже кто-то говорил, но было шумно, и Беатрис плохо разбирала, о чем идет речь. Потом в зале началось движение, перед Беатрис оказался высокий плечистый мужчина в комбинезоне, пахнущем чем-то машинным; поднимаясь на цыпочки и выглядывая из-за его плеча, она увидела на эстраде Хуареса.

Он начал говорить, но первых его слов Беатрис не услышала. Потом кто-то крикнул: «Громче!!» — и Хуарес повысил голос.

— Если можно, немного тишины, компаньерос,— сказал он.— Помещение большое, а микрофонов у нас нет. Тише, прошу вас!

В зале стало немного тише. Хуарес достал скомканный платок и отер лоб.

— Так я продолжу, компаньерос. Конечно, нельзя не согласиться с тем, что здесь говорил только что уважаемый доктор Арау, но и ограничиться этим было бы большой ошибкой. Большой и очень опасной ошибкой, компаньерос! Положение серьезнее, чем считает доктор... или, во всяком случае, делает вид, что считает!

— Я попросил бы уважаемого оратора воздержаться от...— прервал Хуареса чей-то возмущенный голос, очевидно принадлежащий уважаемому доктору Арау. Беатрис развеселилась — политический митинг начинал очень уж смахивать на один из так хорошо знакомых ей университетских диспутов. Ей даже показалось, что она где-то слышала фамилию уважаемого доктора.

— Прошу прощения, — очень вежливо отозвался Хуарес,— я далек от мысли обвинить вас в намерении сознательно ввести слушателей в заблуждение. Просто иной раз случается, что заблуждаемся мы сами и, чувствуя это, пытаемся убедить в обратном самих себя... ну, а заодно и окружающих. Еще раз прошу меня извинить. Так вот, компаньерос! Уважаемый доктор Арау несомненно прав, говоря о тенденции некоторых наших предпринимателей вернуться к дореформенным временам в смысле свободы действий по отношению к рабочим. Не будем закры-

вать глаза на тот факт, что трудовое законодательство Аргентина получила, в основном, при свергнутом режиме...

— Перонист!! — закричали в зале.— На канонерку!! В Парагвай!! [1]

В той стороне зала, откуда раздались выкрики, опять стало шумно. Переждав минуту, Хуарес продолжал говорить:

— Поэтому кое-какие сеньоры, при Пероне бывшие в оппозиции, сочли падение диктатора удобным моментом для того, чтобы попытаться затормозить социальный прогресс в нашей стране и отнять у аргентинского рабочего даже те скромные завоевания, которых он сумел добиться за последние годы. В этом мы согласны с уважаемым доктором, но дальше мы с ним согласиться не можем. Нас пытаются уверить, что речь идет всего-навсего об отдельных озлобленных реакционерах, до которых еще «не дошли руки» временного правительства,— о кучке реакционеров, которым пока удается еще обманывать власть. Все это очень неприятно, говорит доктор Арау, но это всего лишь частные случаи, которые не следует обобщать. А я говорю: следует! Тридцать тысяч незаконно уволенных за последние полгода — это, компаньерос, уже не «частный случай»! Это становится системой! Зная, какими силами располагает военная хунта, мы не можем всерьез поверить, что она не в состоянии положить конец наглости этих «отдельных реакционеров», как их успокоительно называет доктор Арау. Хунта реагирует очень быстро и очень действенно, как только в столице вспыхивает очередная забастовка, но с причинами, порождающими эти забастовки, она, видите ли, справиться не может! Или она их не видит? Но если правительство не видит, что делается в стране, то оно слепо. Слепо, компаньерос! Кто из нас согласится доверить жизнь своей семьи слепому шоферу? Однако слепое правительство мы терпим, мы доверили ему существование Республики и продолжаем доверять, хотя оно уже восьмой месяц нарушает конституцию, отказывая народу в свободных выборах...

— Господи, он сошел с ума,— шепнула Беатрис, тронув Пико за локоть.— Его же арестуют!

— Тсс, молчи... Он знает, что говорит,— быстро ответил Пико,— юридически к этому не прицепишься — выступление в защиту конституционных прав...

— Нам обещали выборы в начале года,— громко продолжал Хуарес,— но сейчас уже август, а в стране еще не снято военное положение! Силы реакции, с каждым днем все более открыто и безнаказанно, бросают вызов аргентинской демократии, а считающий себя демократом доктор Арау объявляет их действия «частными случаями» и призывает нас не заниматься «ошибочными обобщениями». Нет, здесь нужно именно обобщать, компаньерос, именно обобщать отдельные явления и уметь видеть их внутреннюю связь, их преступную логику...

— Неглупый дядя,— пробормотал Пико.— Но он, кажется, и в самом деле далековато заходит.

— Увидишь, его сегодня засадят,— сказала Беатрис и снова поднялась на цыпочки, выглядывая из-за плеча человека в комбинезоне.

— Наступление на демократию идет слишком широким фронтом,— продолжал между тем Хуарес,— чтобы можно было всерьез говорить сегодня о «частных случаях». Военная хунта не только закрывает глаза на противозаконные действия предпринимателей и латифундистов, не только молчаливо поощряет массовые увольнения городских рабочих и еще более массовые выселения сельских арендаторов,— она, как вы знаете, спешит провести в жизнь ультрареакционный экономический план Пребиша, спешит, пока не объявлены выборы, пока народ не за-

---

[1] Генерал Перон бежал из Аргентины на парагвайской канонерке.

ставил ее уступить власть законно избранному конституционному правительству! А план Пребиша, компаньерос, это удар не только по национальной экономике, не только по аргентинскому экономическому суверенитету,— это прежде всего удар по рабочему классу Аргентины, удар по нам, по нашим детям и по нашим внукам! Оставить Аргентину аграрной страной, страной нищих и неграмотных гаучос,— а нужно помнить, что в конечном счете именно этого добивается автор пресловутого плана,— этот замысел, этот преступный замысел, компаньерос, возник не только потому, что сеньорам Бульрич и Анчорена с их мясом и пшеницей хочется удержать за собой ключевые позиции в аргентинской экономике, компаньерос, основной и тайный смысл этой кампании против индустриализации заключается в том, чтобы сдержать рост аргентинского промышленного пролетариата...

Когда Хуарес начал говорить о плане Пребиша, в зале опять стал нарастать шум. Слышалась какая-то возня, вроде приглушенной драки, кто-то пытался свистеть, люди переругивались все громче и громче; оратору приходилось все повышать голос, уже охрипший от напряжения.

— И таким образом отсрочить час,— выкрикивал Хуарес,— когда в нашей стране окончательно победят силы свободы и демократии! Этот час придет рано или поздно, компаньерос, олигархия обречена, но сроки ее падения зависят от нас с вами — от нашей стойкости, от нашей сплоченности, от нашей воли к победе! Мы знаем, что эта победа не придет сама, но мы знаем также, что в конечном счете только народ может решать свою собственную судьбу...

Шум между тем не утихал, а, напротив, с каждой минутой становился все громче. В конце концов оратор был вынужден замолчать. Сзади началась настоящая свалка — слышались крики, свист, потом вдруг зазвенело и посыпалось выбитое стекло.

— Кажется, началось,— озабоченно сказал Пико, продвигая Беатрис к двери.

Тотчас же, словно подтверждая его слова, сзади негромко хлопнул револьверный выстрел. Часть слушателей, стоявших перед Беатрис, шарахнулась к дверям, увлекая ее с собой, остальные стали проталкиваться к месту свалки.

Первое, что увидела Беатрис, когда толпа вынесла ее во двор, были мелькающие тут и там синие мундиры полицейских. Она потеряла из виду Пико и стала беспомощно оглядываться. В зале слышался рев драки, трещало дерево — очевидно, ломали стулья. Раздалось еще несколько выстрелов.

— И ты туда же, соплячка! — накинулся на Беатрис черноусый полицейский с широким угреватым лицом.— А ну-ка, убирайся отсюда ко всем чертям! — Он схватил ее за плечо и толкнул по направлению к воротам.

— Как вы смеете! — крикнула она, едва удержавшись на ногах.— Ведите себя повежливее, иначе...

— Катись отсюда, я тебе сказал!!! — заорал полицейский, выкатывая глаза.— Я вот тебя заберу в казарму, там тебе так всыпят, что ты у меня узнаешь вежливость!

— Тише, сержант, тише, — сказал подоспевший вовремя Пико. — С дамами, даже молоденькими, полагается разговаривать не повышая голоса...

Он приблизил лицо к уху полицейского и шепнул доверительно: —

— Не стоит связываться, сержант, это дочь доктора Альварадо из министерства внешних сношений.

— Извините, сеньорита,— буркнул тот, приложил палец к фуражке и отошел.

— Видишь, бывшее положение дона Бернардо продолжает действовать даже на полицейские умы, — сказал Пико, закуривая. — А вообще он прав, всыпать тебе не мешало бы. Нашла с кем пререкаться!

— Он меня толкнул! — возмущенно сказала Беартис.— Но что случилось, Пико?

— Как что, обычная полицейская провокация. Нанятые подонки затеяли драку, а защитники порядка не могли не вмешаться. Завтра напишут, что все это — действия коммунистов... Вот что, сейчас я тебя выведу на улицу, и поезжай домой. Деньги на такси есть?

Он оставил Беатрис за воротами и, расталкивая людей, поспешил к полицейской машине, куда уже повели группу задержанных, в числе которых он увидел Хуареса.

— Простите, лейтенант,— обратился он к распоряжавшемуся тут же полицейскому офицеру и достал визитную карточку. — Как юридический асессор профсоюза рабочих текстильной промышленности, делегатом которого является сеньор Хуарес, я протестую против его незаконного задержания. Митинг был разрешен федеральной полицией, и в момент возникновения беспорядков сеньор Хуарес находился на трибуне, что могут засвидетельствовать все присутствующие.

— Бросьте, доктор,— сказал офицер.— Он коммунист — этого вполне достаточно.

— Нет, лейтенант,— возразил Пико.— Поверьте мне, как юристу,— этого недостаточно. Вы нарушаете законы Аргентинской Республики. Я требую немедленно освободить сеньора Хуареса.

— Плевал я на ваше требование!— рявкнул офицер.— Прочь с дороги!

— На вашем месте, лейтенант,— сказал Пико,— я бы не афишировал воспитание, полученное в конюшне...

Через минуту он сидел в машине рядом с Хуаресом.

— Зря, доктор,— сказал тот.— Чего вы этим добились?

— Я ведь юрист, компаньеро. Мое дело — отстаивать соблюдение законов.

Хуарес скептически хмыкнул. Машина тронулась и пошла, подпрыгивая на неровной булыжной мостовой.

— А теперь вам, блюстителю законов,— усмехнулся Хуарес,— придется сидеть вместе с их нарушителем.

— Отчего же не посидеть в хорошей компании.

— А вы учли, что в стране не снято военное положение?

— Я все учел, компаньеро,— сказал Пико, доставая сигареты.— Даже то, что компания будет хорошей...

8

Перекрытие бункера обрушилось около половины второго — он запомнил время, потому что незадолго перед этим смотрел на часы. Света тогда уже не было, и ему пришлось долго держать перед глазами руку, где на запястье мерцал едва различимый в темноте венчик светящихся цифр, а потом он еще подумал, что времени прошло удивительно мало— ему казалось, что налет длится уже целые сутки. На самом деле прошло всего два с половиной часа.

Общее угрожаемое положение — vor-alarm — было объявлено в городе около одиннадцати вечера. Гудрун уже собиралась уходить — рано утром она должна была ехать в Мюнхен, где какой-то чиновник обещал навести справки относительно ее родителей. Когда медленно взвыли сирены, она побледнела и в ее глазах появилось знакомое затравленное выражение. «Включите радио»,— попросила она; сирены

продолжали выть мрачно и заунывно, за стеной суетилась квартирная хозяйка, наверное, собирала вещи. Когда нагрелись лампы, они услышали знакомый голос диктора ПВО: «...общем направлении Франкфурт — Регенсбург — Линц — Вена. Внимание, внимание! Сильные соединения вражеских бомбардировщиков, вторгшиеся в западные области рейха...» Он выключил приемник и сказал, что беспокоиться нечего — томми пролетят севернее. Но Гудрун была совсем девчонка, и к тому же — беженка, проделавшая под бомбами весь путь от Вартегау до Баварии; успокоить ее не удалось.

И она оказалась права. То ли проморгала служба воздушного наблюдения, то ли английские рейдеры неожиданно изменили курс, но не прошло и пятнадцати минут — они с Гудрун едва успели дойти до бункера,— как сирены взревели снова. Толпой овладела паника: осенью сорок четвертого года для немецкого горожанина не было более страшного звука, чем этот прерывистый, точно захлебывающийся от ужаса рев. Сигнал «ácuta-alarm» давался только в обреченных городах, когда становилось ясно, что именно сюда направляется сегодня смерть, запертая в бомбовых люках «ланкастеров» или «фортрессов».

Да, около входа в бункер началась в тот вечер настоящая свалка — как у трапа на шлюпочную палубу, когда корабль уже погружается. Страшным был визг и плач детей — их было тут очень много, и грудных, и побольше, и все они кричали так, словно на них уже падал огненный дождь фосфора,— но и этот отчаянный тысячеголосый вопль, и рвущий барабанные перепонки рев сирен — все это словно заглохло, когда он услышал самолеты. Однажды — уже позже, в Америке,— он пытался рассказать кому-то, как это выглядит, но его собеседник вряд ли многое понял. Об этом не расскажешь, это нужно услышать самому, собственными ушами — этот космический, выходящий за пределы всех земных представлений гул восьми или двенадцати тысяч мощных авиационных моторов, работающих в режиме предельной перегрузки, и услышать не со стороны (не так, как недавно слышали его англичане на побережье Ламанша или французы в своих северных департаментах), а именно здесь, в городе, на который с неотвратимостью потопной волны движется сейчас эта несущая смерть армада...

Протискиваясь к входу, толкая перед собой истерически всхлипывающую Гудрун, он еще успел посмотреть на небо. Над изломанной линией крыш в конце Бисмаркштрассе, за шевелящимся частоколом прожекторов, уже бушевал во мраке бесполезный фейерверк заградительного зенитного огня. Они были уже на лестнице, когда за их спиной, гася синие лампочки, встало и разлилось мертвенное, как лунный свет зимней ночью, магниевое сияние первых осветительных бомб.

Электричество погасло около полуночи, к этому времени в бункере уже было трудно дышать от дыма и газов, засосанных сверху вентиляторами. В темноте еще громче заплакали дети, раздались истерические выкрики, требующие запасных фонарей. Кое-где стали зажигаться, тускло мерцая в спертом воздухе, крошечные стеариновые плошки. Руки Гудрун, судорожно вцепившиеся в него, колотило как в лихорадке. Теперь, когда умолкли вентиляторы, можно было различать отдельные звуки в проникавшем снаружи грохоте. Иногда воздушная волна от особенно близкого взрыва с нестерпимым лязгом била в железные крышки аварийных люков, словно разъяренное чудовище бешено ломилось в бункер; иногда казалось, что в промежутке между двумя раскатами грома можно расслышать яростный сверлящий визг новой бомбовой серии, снижающейся прямо им на головы...

Ему казалось, что с начала бомбежки прошло очень много часов. Трудно было представить себе, что там, наверху, могло остаться что-то еще не уничтоженное, но бессмысленное уже уничтожение продолжа-

лось, новые и новые волны «ланкастеров» проплывали над городом, сбрасывая бомбы на свет пожаров, разнося в прах и щебень пылающие развалины. Потом наступило какое-то отупение. Он сидел, уже ничего не соображая, ему запомнилось только, как дрожали плечи Гудрун, как молилась и что-то выкрикивала женщина неподалеку от них, очевидно сошедшая с ума, как ребенок все заходился слезами и удушливым кашлем. Сам он — это ему тоже запомнилось — не испытывал в тот момент ни страха, ни жалости к человеческому стаду, вместе с ним обреченному на смерть в бетонной могиле. Только одна мысль все время не давала ему покоя: ради этого не стоило приезжать сюда из Берлина, лучше было бы погибнуть там, как погиб отец...

Он осторожно отнял руку, за которую цеплялась Гудрун, и посмотрел на часы, было около половины второго. Ему еще показалось, что наступило затишье. А потом...

Ян усмехнулся и вытянул под столиком скрещенные ноги, откинувшись на спинку кресла. Да, сейчас эта улица выглядит совсем иначе. «Экономическое чудо» во всей его наглядности: отполированный шинами асфальт, зеркальное стекло витрин, за стеклом — изломанные руки и осиные талии манекенов, бесшумно скользят «опели» и «мерседесы» последних выпусков, девчонка в джинсах листает у журнального киоска номер «Скрин-Гайд». И молодые подстриженные липы, и ласковое солнце золотой осени, и музыка. А в ту ночь здесь кипел и пузырился асфальт — там, где его не загромоздили обломки,— и изгрызенные бомбами фасады стояли как черная решетка на фоне бушующего за ними пламени, как черные решетчатые ворота преисподней. Выл и ревел пожираемый огнем воздух, и странная огненная метель мела по улице — он так и не понял тогда, что это было: листы бумаги из какого-нибудь архива, или горящие птицы, или пылающие клочья сена, какие можно видеть на деревенском пожаре,— все это крутилось и мчалось в воздухе вместе с искрами, головнями и прахом распадающихся зданий. Он тогда сразу ослеп, но кое-как, протирая глаза и защищая их руками, успел увидеть, как упала Гудрун. Она упала, не отбежав от бункера и сотни метров. Что-то длинное и горящее — оно пролетело наискось, крутясь, как пропеллер,— настигло ее посреди улицы и...

— Простите, который час?— окликнули Яна из-за соседнего столика. Он посмотрел на часы, ответил. Двадцать минут четвертого, скоро должен подойти Хорват. Зря, в сущности, ввязался он в это дело...

Он подавил зевок и закурил. Зря? А почему, собственно? Что ему еще остается?

Дядя Иозеф уговаривал его не уезжать из Аргентины. Действительно ли в нем заговорили родственные чувства, или просто племянник уже успел зарекомендовать себя неплохим помощником в делах — неизвестно, да и неважно. Так или иначе, карьера была ему обеспечена: дядюшка вел дела по всей Латинской Америке. Стать компаньоном, жениться (это проще всего) и... И что? Копить деньги и наслаждаться жизнью?

Какая теплая в этом году осень, подумал он равнодушно. В Буэнос-Айресе, когда он садился на пароход, было куда холоднее. Впрочем, прошло ведь уже два месяца. Он выехал в августе, а сейчас идет вторая половина октября. Удивительно все же, что здесь так тепло в это время.

Тепло и солнечно и вообще sehr gemütlich[1], как может быть только в этой стране, где даже дорожки к газовым камерам обсаживались цветниками. Мир и благоденствие во всем — в осторожном шуршании шин, в голосе Катарины Валенте, поющей по радио какую-то милую

[1] Очень уютно (*нем.*)

чепуху, в блеске витрин и стерильной чистоте тротуара, вымытого сегодня на рассвете мылом и нейлоновыми щетками. Мертвых под ним не видно, они лежат слишком глубоко.

Они еще напоминали о себе летом сорок пятого года, когда он в последний раз был в этом городе проездом в Париж (у него в кармане уже лежал американский аффидэйвит[1]); июль был необычайно жарким, и трупный смрад сочился из-под земли в закоулках тихих разбомбленных кварталов, с торчащими обломками стен и кладбищенской зеленью на грудах щебня. Но с тех пор минуло одиннадцать лет, над мертвыми прошли бульдозеры и скреперы, катки и асфальтоукладчики; этажи стекла, бетона и алюминия воздвиглись над братскими могилами, бывшими когда-то бомбоубежищами. Мертвые были спрятаны надежно.

Волосы Гудрун уже сгорели, когда он добрался до того места, где она лежала,— не вплотную, подойти ближе было нельзя,— и теперь горела одежда. Она всегда носила одно и то же — синюю форменную юбку БДМ[2] и серый со спороты ми знаками различия китель женской вспомогательной службы люфтваффе; юбка была ее собственной, а китель она получила через НСФ[3], как беженка и Bombenbeschädigte[4]. Он видел, как горела ткань этого кителя, рукав и около воротника, но все равно ничем не мог помочь. Даже если бы удалось подобраться ближе. Даже если бы Гудрун была еще жива в тот момент, что само по себе маловероятно, то едва ли был смысл продлевать ее страдания, обрекая на медленную и мучительную смерть в каком-нибудь переполненном госпитале...

Она лежит приблизительно вон там — около киоска с журналами, похожего на опрокинутую стеклянную пирамиду. Там был какой-то провал —торчащий огрызок стены с уцелевшей на нем красной головой дракона, рекламой автомобильного масла «Гаргойл», и под ним провал, глубиною метра в два; правда, вокруг громоздились обломки, так что определить было трудно, но провал явно был — какой-нибудь обрушившийся туннель или коммутационная камера,— в разбомбленных городах такие провалы на улицах встречаются довольно часто. Он хорошо помнит, что увидел ее сверху, лежащей на глубине около двух метров. Ну конечно, это был туннель — из него валил дым, вот почему он не сразу ее заметил...

Она безусловно там. Ноябрьская бомбежка была не последней, и еще не одна тонна битого кирпича легла поверх тех обломков. Да и кто стал бы беспокоиться в сорок четвертом году по поводу одного обугленного трупа? А потом, в апреле сорок пятого, по этой улице проползли бульдозеры «US Army», и их ножи сгребли обломки до уровня мостовой; то, что осталось ниже, никого не интересовало.

Светит солнце, порхающими мотыльками опускаются на асфальт желтые листья, молча и терпеливо ждут под асфальтом мертвые. Живые учатся, работают, занимаются любовью, надеются, а мертвые просто ждут.

Все для него оборачивается тленом и пустотой. Все, даже любовь. За каких-нибудь полгода мертвым воспоминанием стала и Беатриче Альварадо. А ведь тогда это было всерьез. Что может быть «всерьез» в наши дни? Все тлен, все пустота.

И нигде не думается о смерти так хорошо, как здесь. Отчасти потому, наверное, что со смертью — чьей-то индивидуальной и смертью

---

[1] Affidavit (*англ.*) — в данном случае поручительство, требующееся для получения визы на въезд в страну.

[2] Союз германских девушек (*нем.*).

[3] Национал-социалистическая организация общественного обеспечения (*нем.*).

[4] Лицо, потерявшее имущество в результате воздушных налетов (*нем.*).

вообще — связано большинство его здешних воспоминаний; недаром ему сегодня с самого утра думается о Гудрун — о той ничем не примечательной маленькой беженке, с которой был знаком всего неделю и чью фамилию даже не запомнил...

Но одними воспоминаниями этого не объяснишь. Может быть, виновата сама атмосфера этой страны. Слишком долго и слишком тотально властвовал здесь культ смерти, чтобы теперь исчезнуть без следа, уступив место официально сменившему его культу наживы. И эта лихорадочная активность, эта всеобщая страсть к обогащению — не диктуется ли она все той же мыслью о бренности, о непрочности, о том, что если не воспользуешься жизнью сегодня — завтра будет уже поздно...

— О чем задумались, коллега?

Веселый голос заставил Яна оглянуться — человек в спортивном костюме подошел к его столику.

— А, Хорват,— сказал он и, не вставая, протянул подошедшему руку.— Садитесь, я жду вас уже час. Как результаты?

— Все великолепно,— отозвался Хорват.— Чего бы это нам выпить?..

Он подозвал кельнера. Когда тот отошел, приняв заказ, Хорват достал из кармана вишневого цвета книжечку и хлопнул ею по столу перед Геймом:

— Получайте ваш паспорт, обогатившийся еще одной визой. Вылетаете в понедельник двадцать второго. Иными словами, послезавтра. Ну, как оперативность?

Ян пожал плечами.

— Вы равнодушный человек, Гейм,— сказал Хорват, закуривая.— Это плохо. Для дела, понимаете?

— Сойдет,— отозвался Ян.— Мы летим вместе?

— Нет, я задержусь на несколько дней. Нужно еще кое-кого отправить, а потом присоединюсь к вам. Но вы-то хоть рады, черт возьми?

— Я просто прыгаю от радости. Послушайте, Хорват, вы давно в Германии?

— Давно. Правда, мне приходится разъезжать и по другим странам, но вообще я здесь с войны. А что?

— Какое у вас общее впечатление от всего, что вы здесь видите?

— Общее впечатление? — Хорват сделал неопределенную гримасу.— Ну что ж... страна крепкая, процветающая. С высоким жизненным стандартом.

Ян помолчал, оглядывая улицу рассеянно прищуренными глазами.

— Не знаю,— сказал он наконец.— «Процветающая» — да, «крепкая» — не уверен. Но самое интересное то,— он усмехнулся,— что мне здесь все время приходит на ум мертвецкая, наспех переоборудованная под танцевальный зал...

— Ну зачем же так мрачно? — сказал Хорват, поднося к губам рюмку.— Гейм, у вас болезненное восприятие окружающего, вам следовало бы побывать у психиатра. Мертвецкая, говорите?

— К сожалению. Причем мертвецкая, из которой даже не потрудились убрать трупы, а попросту рассовали их куда попало — за драпировки, под эстраду для музыкантов...

— Тьфу, черт! — Хорват поперхнулся.— Надо же додуматься, трупы под эстраду! Гейм, вы рехнетесь, я вам серьезно говорю, побывайте у психиатра.

— У вас нет чувства юмора, Хорват, и образное мышление вам недоступно. Хорошо, я попытаюсь объяснить. В Аргентине я знал одного испанца из «Голубой дивизии»...

— Подонки, — сказал Хорват. — Бросили фронт под Псковом. Так что́ этот испанец, простите?

— Он рассказывал, что испанские легионеры перед отправкой в Россию подвергались обряду «обручения со смертью». Я уже не помню подробностей, что там с ними делали — служили заупокойную мессу и что-то в этом стиле. Но это не важно, я просто вспомнил это сейчас, глядя на все окружающее. Знаете, мне подумалось, что Германию обручили со смертью еще в тридцать третьем году, и от этого культа не так просто избавиться. Особенно, если его служители живы, пользуются еще некоторым влиянием и вовсе не намерены менять профессию... как и profession de foi [1], если заглянуть поглубже. Все это можно было изменить в сорок пятом, но никто не захотел возиться с перестройкой дома, и вместо этого занялись драпировками. А теперь из-под них до сих пор тянет трупным запахом... Но боюсь, Хорват, вы этого все равно не поймете.

Хорват, слушавший его очень внимательно, покачал головой.

— Ах, Гейм,— сказал он добродушно,— какая у вас путаница в мозгах. Ну ладно! Выпьем лучше за успех дела. В него-то вы верите?

— Выпьем, Хорват. Кстати, кто едет вместе со мной?

— Бруно Иеначек — вы могли видеть его вчера во «Флориде», очень славный парень,— и еще один из Франкфурта. Ну, за успех!

Неделю спустя он вместе со «славным парнем» находился в номере маленькой деревенской гостиницы. Несмотря на поздний час, гостиница не спала — за стеной громко спорили, голоса доносились и из расположенного внизу общего зала, по коридору ходили, хлопая дверьми. За приоткрытым окном, в сырой мгле осенней ночи, то и дело слышался шум проезжавших автомобилей.

— Выключи его к черту,— сказал Гейм не оборачиваясь, когда возбужденный голос диктора снова объявил бюллетень последних известий.

— А вдруг что-нибудь новое?

— Узнаем и так...

Бруно выключил маленький портативный приемник и, сдвинув его в сторону, склонился над разостланной по столу крупномасштабной картой Венгрии, мурлыча себе под нос. Потом он поднял голову и посмотрел на Гейма, который продолжал стоять у окна.

— Что ты там высматриваешь?

Гейм не сразу обернулся и подошел к столу, не вынимая рук из карманов кожаной «американки».

— Да вот, все пытался услышать шум крыльев Самофракийской Победы,— произнес он, задумчиво поглядывая на карту.— Увы, безуспешно...

Бруно издал фыркающий звук.

— Лично я предпочел бы крылья американских бомберов. И дюжину мегатонн куда следует.

Гейм лениво усмехнулся.

— Это уже не романтика крестового похода, мой милый, это вульгарный геноцид...— Он взял с полки термос и встряхнул его.— Убери-ка свою карту, если не хочешь, чтобы я осквернил драгоценный исторический документ. Впрочем, со временем кофейное пятно свободно сойдет за кровь...

Бруно аккуратно сложил карту и, спрятав ее в карман висящей на гвозде куртки, тоже налил себе кофе. Оба закурили.

---

[1] Образ мыслей, мировоззрение (*франц.*).

— Джонни,— сказал Бруно,— а ведь ты, в сущности, просто во всем разочарованный циник...

— Боюсь, ты меня переоцениваешь. Кое-какие иллюзии я еще сохранил, как это ни печально.

— Но в успех дела ты веришь?

— В успех, коллега, верят только американцы... А я, если бы вообще мог во что-то верить, скорее предпочел бы бога. На успех я просто надеюсь.

— Но ты в нем не уверен?

Гейм поднял брови и подумал, потом молча пожал плечами и налил себе вторую чашку.

— Ну, если ты не циник,— сказал Бруно,— то уж, во всяком случае, законченный скептик.

— Это уже точнее, — согласился Гейм, прихлебывая кофе. — Скепсиса во мне хоть отбавляй, ты прав. — Он посмотрел на часы. — Не понимаю, почему их до сих пор нет.

— Сейчас должны подъехать...

Гейм молча допил кофе.

— Успех,— сказал он, усмехнувшись. — Ты немного знаешь древнюю историю?

— Древнюю? — удивленно переспросил Бруно.

— Вспомни Пелопоннесскую войну — последний спор между одряхлевшими Афинами и поднимающейся Спартой. Мне все чаще приходит в голову, что мы, в сущности, не что иное, как афиняне двадцатого века...

— Занятно,— сказал Бруно.— По-твоему, значит, мы являемся обреченной стороной. Кто же ты в таком случае — самоубийца?

— Милый мой, историческая обреченность одной из сторон вовсе не лишает ее возможности одерживать победы... иногда. Беда в том, что в конечном счете эти победы оказываются бесплодными. Та же Пелопоннесская война, если опять ее вспомнить, почти до конца велась с переменным успехом... но Сфактерия[1], скажем, ничего не дала Афинам в конечном счете. В конце концов, Бруно, восторжествовала Спарта.

— А ну тебя к черту!

Бруно встал и отошел к тумбочке. Порывшись в ней, он вернулся с бутылкой, молча поставил на стол и сел, снова посмотрев на часы.

— И все же я не понимаю, что тебя заставило быть с нами,— сказал он, разливая вино по стаканам.— В конце концов, извини, это даже не твоя родина...

— Успокойся, со стороны матери я в родстве со всей Центральной Европой. Аристократия позаботилась о своем Интернационале задолго до Маркса, можешь проверить по Готскому альманаху. А что заставило меня быть сегодня с вами здесь, на этой обреченной галере, отплывающей под стены Сфактерии, я могу объяснить совершенно четко. Я здесь потому, что борьба против коммунизма — дело не одной какой-то национальности. Это дело целого сословия, к которому я имею честь и несчастье принадлежать, дело всех тех, для кого неприемлем мир, управляемый плебеями. Может быть, это последняя наша возможность взять реванш у истории или, по крайней мере, еще раз доказать, что не только мозолистые руки умеют бить насмерть. Теперь ты понял?

— Понял, Джонни. — Бруно кивнул и поднял свой стакан: — За реванш!

Гейм залпом выпил вино, сухое и очень крепкое. Ему вдруг захотелось напиться до бесчувствия.

---

[1] Эпизод Пелопоннесской войны: на острове Сфактерия афинский стратег Клеон нанес тяжелое поражение спартанцам (425 г. до н. э.).

— Господин Иеначек! — крикнул кто-то, постучав в дверь. — Вас к телефону, срочно!

— Наконец-то,— сказал Бруно и вышел.

Гейм налил себе второй стакан и медленно выпил. Через минуту голова у него слегка закружилась, а мысли начали приобретать особенную четкость. «Никто из вас, — усмехнулся он, продолжая разговор с Бруно, — никто из вас не видит, до какой степени это действительно последняя возможность... как ничтожны наши шансы на успех. И эти идиоты еще спрашивают меня — почему я с ними! Где им понять, этим торгашам, что потомок Ягеллонов может позволить себе роскошь умереть за безнадежное дело...»

Он встал, накинул на плечи плащ и вышел из комнаты.

Промозглый сырой холод охватил его на улице — европейская осень во всей своей октябрьской красе. Озябшие фонари тускло освещали полукруглую площадку перед подъездом, дальше была будка часового — единственная деталь, выдающая не совсем обычный характер этой гостиницы. За будкой дорога уходила в непроглядный мрак, слозно обрываясь в бездну.

Этой дороги не могло не быть, понял он вдруг с ужасающей отчетливостью. Никакого другого пути для него, Яна Сигизмунда Гейма, нет и не будет. Все дело в том, что он просто лишний на земле — такой, как он есть, сын венского шибера и правнучки польских королей, последний и никому не нужный патриций...

Иначе он не стоял бы здесь на этой черной дороге. Он был бы сейчас далеко отсюда, по ту сторону Атлантики. Там сейчас летний вечер, крупные звезды загораются в фиолетовом небе, на улице Окампо пахнут глицинии. Может быть, ты еще вернешься?

Гейм усмехнулся и стал закуривать, прикрывая огонек зажигалки. Ветер задувал под плащ, из темноты сыпалась мельчайшая изморось. сигарета сразу отсырела, и он бросил ее после двух затяжек. Стоя на краю освещенной площадки, он смотрел в темноту и не видел ничего, кроме мрака.

...Конечно, если бы Беатриче не отшвырнула его, кое-что было бы иначе. Но лишь кое-что, и то ненадолго. Ничто, даже любовь Беатриче, не могло его спасти, потому что он просто лишний. «Кто же ты в таком случае — самоубийца?» Ты дурак, Бруно, я просто человек, которому незачем жить...

Вернувшись в номер, он застал коллегу лихорадочно собирающим вещи.

— Где тебя носит,— сказал тот,— они сейчас подъедут...

Гейм присел на кровать, задумчиво насвистывая и поглядывая на суетящегося Бруно.

— Собачий холод,— сказал он. — Про кофе ты не забыл?

— Я сказал, чтобы наполнили термос... Сейчас схожу.

Гейм зевнул, нагнулся и вытащил из-под кровати свой рюкзак. Рассовав по боковым карманам всякую туалетную мелочь, он отстегнул верхний клапан и развязал шнурок. Рюкзак был набит довольно плотно — слишком плотно для того, чтобы быть багажом странствующего рыцаря. Ян выбросил на одеяло шерстяной шарф, плотный, небольшого формата томик в коричневом переплете искусственной кожи, потом достал завернутый в промасленную тряпку парабеллум, развернул его, обтер и сунул в наколенный карман.

Встав, он прошелся по комнате и недовольно поморщился. Какая глупая вещь — тяжелая, угловатая, на каждом шагу бьет по ноге. Но ничего не поделаешь, mon vieux [1]. Выпив залпом еще стакан вина, он

---

[1] Старина (*франц.*).

раскрыл на титульном листе коричневый томик Фукидида. Издательство «Атенео», Буэнос-Айрес, серия «Незабываемые классики». Незабываемые? Гейм усмехнулся, бросил книгу и ударом ноги загнал ее под кровать.

Вернулся Бруно с термосом, торопливо напялил куртку, стал хлопать себя по карманам.

— Ну, ты готов? Скорее, нас ждут...

Большой черный лимузин, забрызганный грязью, стоял за углом гостиницы. Гейм и Бруно подали свои рюкзаки в заднее отделение, где уже молча сидели трое.

— Словом, я свое дело сделал,— сказал четвертый, выйдя из-за машины,— с вами мы квиты. Кто поведет дальше?

— Я,— отозвался Бруно.

— Дорогу знаешь?

— Как свои пять пальцев.

— А-а... Ну ладно. Так я тогда пошел. Счастливо, парни...

— Итак, кости брошены,— усмехнулся Ян, устраиваясь рядом с севшим за руль Бруно Иеначеком.— Alea jacta est, как сказал старик Цезарь на берегу Рубикона. Вперед, крестоносцы!

Было холодно, он поднял воротник и поплотнее натянул на лоб берет. Взревел мотор, машина тяжело тронулась с места и выехала за угол, разбрызгивая лужи. Перед будкой Бруно затормозил. Часовой бегло просмотрел поданные ему документы и, возвращая их, буркнул что-то невнятное. Забрызганный грязью лимузин канул в ночь.

9

Тридцатого октября тысяча девятьсот пятьдесят шестого года иммигрант Фрэнклин Хартфилд, гражданин Соединенных Штатов Америки, двадцати девяти лет отроду, с высшим образованием, холостой, не имеющий заразных заболеваний и особых примет, вышел из ворот порта Буэнос-Айрес и медленно побрел через площадь. На левой руке он нес плащ, а в правой — старый кожаный чемодан с полустертым именем капитана Хартфилда на крышке. Чемодан был довольно тяжел, следовало бы взять такси, но Фрэнк не сообразил обменять деньги на пароходе, и в кармане у него не было ни одного аргентинского песо. Кроме того, он не знал бы, какой адрес назвать шоферу.

В общей каюте третьего класса с ним помещался один парень, не в первый раз ехавший в Аргентину; он объяснил Фрэнку, что рядом с портом — название улицы было у Фрэнка записано — есть много недорогих мест, где можно остановиться на несколько дней. Собственно, это не отели и не пансионы, а так, что-то вроде матросских бординг-хаузов, иногда по нескольку человек в одной комнате. Обычно там чисто и не воруют, а главное — гораздо дешевле, чем в отеле. А потом, уже получив документы, можно искать комнату, но лучше уже не здесь, в центре, а где-нибудь в хорошем пригороде.

Дойдя до широкого проспекта, уходящего влево от площади, Фрэнк остановился на углу и опустил на землю чемодан. Достав записную книжку, он посмотрел название улицы и остановил прохожего.

— Пор фавор [1],— сказал он, сильно надеясь на то, что самоучитель, по которому он занимался последние два месяца, хоть чему-то его научил.— Калье Реконкиста?..

Прохожий закивал с готовностью.

— Вон туда,— сказал он, указывая рукой вдоль проспекта и направо.— Совсем близко, понимаете? Сто — двести метров!

[1] Пожалуйста (*исп.*).

Фрэнк поблагодарил, поднял чемодан и пошел дальше. Больших затруднений с испанским у него, очевидно, не будет. Конечно, чтобы работать — это дело другое...

Вывеску «Комнаты для приезжих» он увидел скоро, но свободных мест не было. Во втором доме, в этом же квартале, ему повезло больше. Правда, комната оказалась очень неважной: полутемная, она освещалась только через стеклянную дверь на длинный балкон, идущий вдоль всего третьего этажа и служивший, по-видимому, чем-то вроде внешнего коридора. Туалет, как объяснила ему хозяйка, находился в конце балкона, разумеется общий; ванной не было вообще, для пользования телефоном нужно спускаться вниз.

Фрэнк повесил на спинку стула пиджак, ослабил узел галстука и лег на кровать. Он чувствовал себя очень угнетенным. Впрочем, возможно, это была просто усталость — день был неприятно жаркий, какой-то душный, липкий.

— Ну что ж,— сказал он вслух. — Валяйте, сэр Галахад, начинайте новую жизнь...

Он лежал, закинув левую руку под затылок, и курил сигарету за сигаретой. По балкону, мимо его двери, все время ходили люди, внизу во дворе гомонили играющие дети. В порту низко и мрачно взвыла хриплая пароходная сирена. Фрэнк вспомнил день отплытия из Нью-Йорка, увидел тающие в тумане небоскребы — и стиснул зубы, чтобы не заплакать.

Он лежал, курил сигарету за сигаретой и думал, думал, думал. Пришло время подвести итоги тому, что он сделал. Там, дома, он этим не занимался. Сначала было мешающее трезво рассуждать чувство большой незаслуженной обиды, потом начались хлопоты с документами на выезд, то, другое... А теперь можно было лежать и думать.

Неужели правы были все те, кто говорил ему, что он поступает глупо и бесцельно? Неужели правы были домашние, совершенно не понявшие и не одобрившие его поступка? Нужно ли было все это, добился ли он этим чего-нибудь?

А чего, собственно, он думал добиться? Раскаянья в душе Альтвангера? Капитуляции «Консолидэйтед эйркрафт»? Изменения внешней политики Соединенных Штатов?

Глупости, идиотом он все-таки никогда не был. Ему нужно было только одно: право чувствовать себя человеком. Человеком, а не пешкой. «Только» одно! А разве этого мало? Разве в наши дни этого мало?

Прошлым летом, когда он был во Франции, им показывали средневековый замок с подземными камерами, где «забывали» обреченных узников — на всю жизнь, до смерти. Сейчас с тобою никто такого не сделает, но разве в сегодняшнем мире меньше произвола? Когда, скажем, человек оказывается один на один против какой-нибудь «Консолидэйтед» — разве у него больше прав и возможностей защитить себя, чем у связанного серва, стоящего перед разгневанным бароном?

Сейчас возможностей действовать даже меньше. Сейчас он, например, не смог бы собрать шайку лихих приятелей и напасть на дом Флетчера, предав его огню и мечу, а самого мистера президента повесить на воротах.

Раньше все было проще и обнаженнее. Месть так месть, борьба так борьба. А сейчас человека не могут без суда и следствия посадить в каменный мешок, но он по рукам и ногам опутан липкой невидимой паутиной, которую даже и не определишь — из чего, собственно, она сплетена...

Немыслимо бороться с государством. Немыслимо бороться с банками. Немыслимо бороться с крупными компаниями, с прессой. То есть все это возможно, но возможно только для другого государства, другого

банка, другой компании — такая борьба и не прекращается ни на минуту. И конечно, это же возможно для политических партий — в какой-то степени. Ну а если человек в партии не состоит? Если он один?

Фрэнк вспомнил Хемингуэя. «Старик и море» они с Роем прочитали еще прошлой осенью, после этой книги им и пришла мысль поехать в отпуск на Кубу, а недавно, перед отъездом, Делонг дал ему «Иметь и не иметь». Как это там сказал перед смертью Гарри Морган: «Человек один ни черта не может»? А если может? Если это такой Человек, как старик Сантьяго? Он ничего не может сделать, это верно (не смог же Сантьяго справиться с акулами), но он может остаться Человеком — а это уже не так мало!

Лучше быть не одному, это верно. Но если так случилось, если так сложилась твоя судьба — неужели действительно ты ничего не можешь?

Внутренняя свобода. Способность отказаться от всего ради права чувствовать себя свободным — разве это мало? Пусть ты ничего не можешь сделать, но ты можешь не делать того, что требуют от тебя флетчеры и альтвангеры, ты можешь плюнуть им в глаза и остаться свободным, можешь оставить им их доллары и оставить себе свою свободу. Свою непроданную свободу! Разве не этого он хотел?

Вечером Фрэнк сидел на скамейке в разбитом на холме сквере возле порта, наслаждался прохладой и посматривал на какого-то бронзового генерала с протянутой рукой, сидящего перед ним на вздыбленном коне. Три года назад Трикси называла ему имя генерала, но он позабыл. Он сидел и думал о том, как позвонить Трикси и что ей сказать.

Дело в том, что о своем решении ехать в Аргентину он ничего ей не сообщил. Это, наверное, было глупо, но написать он так и не решился. У него все время было такое чувство, что он собирается непрошеным вселиться в чужой дом, и никак не мог сообразить, что в таком случае более уместно — известить хозяйку заранее или уже после вселения поставить ее перед совершившимся фактом.

В глубине души он опасался, что Трикси, узнав о его намерении, решительно этому воспротивится. Поэтому он трусливо обо всем умолчал, всячески увертывался от вопросов относительно его планов на будущее и сейчас чувствовал себя мелким негодяем.

«Ну что ж,— подумал он наконец,— паспорт со мной, в конце концов могу завтра же сесть на обратный пароход. Конечно, порядочный человек так бы не поступил, и Трикси будет совершенно права, если встретит меня хорошим пинком».

Решив, что отсрочкой положения не исправишь, Фрэнк поднялся и, вздыхая, поплелся на поиски ближайшего телефона.

Номер он знал наизусть — слишком часто смотрел на страничку, где он был записан рукою Трикси. И она сама ему ответила. Она спросила что-то по-испански, он не понял что, но голос узнал сразу.

— Хелло,— сказал он и издал какой-то идиотский смешок. — Это я, Трик... Беатрис, я хочу сказать. Это Хартфилд говорит.

На другом конце провода наступило молчание — такое долгое, что он уже представил себе совершенно отчетливо, как Трикси положила трубку и на цыпочках выходит из комнаты. Но тут же он услышал ее голос снова.

— Фрэнк? — спросила Беатрис изумленно и недоверчиво. — Вы? Как вы звоните — по «межамериканскому»? Почему вас так хорошо слышно?

Фрэнк кашлянул и поправил галстук. В кабине было невыносимо душно, за минуту он весь покрылся испариной.

— Нет, я отсюда,— сказал он. — Ну, возле памятника... где мы тогда сидели, помните? Я хочу сказать, что я вообще в Байресе... Сегодня приехал. Утром.

— Господи,— тихо ахнула Беатрис и снова замолчала. — Вы это серьезно, Фрэнк?

— Ну да. — Он еще раз кашлянул и повертел шеей, вывинчивая ее из воротничка. — Я могу показаться, если не верите...

— Ну конечно! — воскликнула Беатрис. — Приезжайте немедленно, и папа как раз дома! Господи, я просто поверить не могу... Почему же вы ничего не написали раньше, Фрэнк?

— Видите ли... У меня не было полной уверенности, что...

Он умолк, просто не зная, как еще выворачиваться.

— Ну хорошо,— сказала Беатрис,— вы мне все расскажете, только приезжайте скорее! Около какого вы памятника, вы сказали?

— Какой-то генерал на лошади. — Фрэнк оглянулся и посмотрел сквозь стекло кабины. — В треуголке. И еще тут рядом маленький небоскреб, наверху неоновая реклама «Уэллз»...

— Ну да, да, площадь Сан-Мартин, понимаю,— нетерпеливо прервала Беатрис. — Можно ехать по Санта-Фе номером... Или лучше ловите такси — так скорее. Помните, как их останавливать? Можно в любом месте, если красный фонарик — значит, свободно. Я жду, Фрэнк!

Через двадцать минут такси затормозило у знакомого дома.

— Здесь,— сказал шофер и для убедительности потыкал пальцем, указывая пассажиру на овальную дощечку с номером. — Здесь, здесь!

— Thank you,— сказал Фрэнк. — Я все понимай.

Расплатившись, он вышел из машины, сдерживая желание побежать.

Беатрис встретила его в дверях — очевидно, она видела из окна, как он подъехал. В первую секунду Фрэнк даже ничего не сказал — просто смотрел. Она была в черном костюме и выглядела взрослее, чем была год назад в Бельгии; может быть, ее изменила прическа греческим узлом, кроме того, она как будто стала выше, а глаза — еще больше, и вся она была какая-то немного не та, какою он знал ее раньше.

— Здравствуйте, Фрэнк,— сказала она сдержанно. — Я рада, что вы приехали. Входите, пожалуйста.

Да, она действительно была рада его приезду и не могла скрыть эту радость, говоря с ним по телефону, но сейчас, увидев его глаза, которые смотрели на нее, как три года назад, с тем же самым выражением, она сразу вспомнила все случившееся этим летом и почувствовала, что не имеет права на этот взгляд, что Фрэнк смотрел бы на нее совсем иначе, знай он правду, и что самый страшный обман она совершает именно сейчас, позволяя ему смотреть на нее такими глазами и видеть в ней прежнюю Трикси...

Все это мгновенно промелькнуло в ее сознании и связало ее движения и изменило голос. Она говорила сейчас совсем не так, как полчаса назад, по телефону. И Фрэнк сразу это заметил.

Сердце его снова упало. Что, если она говорит это просто из вежливости?

— Я не был уверен,— пробормотал он. — Я боялся, что вы не... не одобрите моего решения... Как поживает мистер Альварадо?

— Хорошо, благодарю вас,— сказала Беатрис. — Он очень доволен тем, что смог вернуться к преподавательской деятельности. Да вот и он сам. Ола, папа!

Мистер Альварадо спустился по лестнице, не касаясь перил,— такой же прямой и корректный, как три года назад. Он обнял Фрэнка и похлопал его по спине.

— Рад за вас, мой друг,— сказал он, медленно выговаривая слова со своим тщательным английским произношением.— Очень за вас рад.

— Честно говоря, сэр,— застенчиво улыбнулся Фрэнк,— я не совсем в том положении, которое может радовать...

— Почему? Жаль, разумеется, что вам пришлось покинуть родину, но бывают моменты, когда и это отступает на задний план перед чем-то более важным. Дора, проси мистера Хартфилда наверх, через полчаса я к вам присоединюсь...

Честно говоря, Фрэнку очень хотелось, чтобы эти полчаса прошли как можно скорее. Оказавшись наедине с Беатрис в старой гостиной, где тоже ничего не изменилось за три прошедших года, он еще больше почувствовал себя непрошеным гостем, чужаком. Вокруг стояла та же мебель, и те же пожелтевшие гравюры висели на выцветших штофных обоях, но Беатрис, его Трикси,— она была совсем не та. Не та, что три года назад, и даже не та, что в прошлом году в Брюсселе.

— Беатрис,— сказал он, обменявшись с нею несколькими незначительными фразами о жаркой погоде и о своем плавании.— Беатрис, может быть, будет лучше, если вы прямо скажете мне, чтобы я ушел и никогда больше вас не видел?

— Вы все еще мне не верите,— отозвалась она.— Я понимаю, что у вас есть для этого все основания. Но если мои слова еще хоть капельку что-то для вас значат — поверьте в мою искренность сейчас. Неужели вы думаете, что я не сумела бы разыграть перед вами любую радость, если бы хотела вас обманывать?

— Я понимаю. И я вам верю, как всегда верил. Но я ведь вижу, Беатрис, что вам сейчас со мной тяжело...

Беатрис помолчала.

— Это не то слово, Фрэнк,— сказала она тихо.— Мне с вами трудно. Но есть трудности, от которых нельзя уходить.

Фрэнк сосредоточенно изучал сложный рисунок паркета.

— Вы как-то написали, Беатрис... что причинили мне «огромное зло»,— я повторяю ваши слова... Так вот, я хотел бы, чтобы вы поняли... это очень важно и для вас, и для меня... что никакого зла мне не причинили. Я не стану обманывать и говорить вам, что никогда не испытывал из-за вас боли... Но потом я понял, что ничто в жизни не пропадает зря... даже горе. Я думаю, что моя жизнь была бы просто беднее, не будь вас.

— Фрэнк,— сказала Беатрис очень тихо, с трудом.— Есть одно обстоятельство... которое должно совершенно изменить ваше мнение обо мне...

Она подняла голову и посмотрела прямо на него, и Фрэнку стало вдруг очень страшно — как никогда в жизни; он понял, что сейчас услышит что-то очень плохое, и уже готов был крикнуть «не надо», но Беатрис снова заговорила.

— Вы должны знать,— сказала она с каким-то странным спокойствием, глядя ему в глаза,— что в этом году... несколько месяцев назад... я изменила вам и изменила памяти человека, ради которого когда-то нарушила нашу помолвку. Вы хорошо меня поняли? Я изменила в самом прямом и точном смысле. Я стала любовницей другого.

Фрэнк все еще не мог до конца осознать услышанное. Он смотрел на Беатрис и ничего не понимал.

— Любовницей?— переспросил он даже без изумления, скорее ошеломленно.— Вы?

Беатрис молча кивнула. Губы ее дрожали, он хорошо это видел,

потом она овладела собой и снова заговорила тем же неестественно спокойным голосом:

— Наша связь продолжалась около месяца, и уже более полугода я ничего о нем не знаю. Чтобы картина была полной, мне, очевидно, следует еще сказать, что я не любила его. Ну вот, теперь вы знаете все. Я думаю, Фрэнк, вам сейчас лучше уйти. А потом вы позвоните мне... если сочтете нужным.

Фрэнк встал и, не сказав ни слова, медленно вышел.

Беатрис сидела неподвижно, уронив руки на колени. Из ее комнаты слышалась музыка, нужно было пойти и выключить радио, но у нее уже не было сил пошевелиться.

Через четверть часа вернулся дон Бернардо. Заглянув в комнату, он удивленно спросил:

— А где же мистер Хартфилд?

— Ушел,— ответила Беатрис.

— Так скоро? Жаль, мне хотелось с ним поговорить...

Дон Бернардо подошел и опустился в кресло, где недавно сидел Фрэнк.

— Что же он думает делать? Я боюсь, ему будет не так легко найти здесь работу по специальности. Он не делился с тобой своими планами?

— Нет. — Беатрис вздохнула и посмотрела на отца. — Папа, я Фрэнку все рассказала.

— Что, дорогая?

— Ну, понимаешь... про Гейма. Все.

Дон Бернардо недоумевающе пожал плечами.

— Но, Дора... Кто же рассказывает подобные вещи посторонним?

— Фрэнк для меня не посторонний...

— Не понимаю. — Дон Бернардо помолчал. — Ты все еще... Он по-прежнему что-то для тебя значит?

— Не знаю, папа. — Беатрис покачала головой. — Так или иначе, я не могу ему лгать...

Лживая девчонка, повторял про себя Фрэнк. Лживая и развращенная до мозга костей. Недаром она выросла в этой стране, где тебе в баре суют порнографические фото. Нужно было дать тому типу в морду — вот и все. Крепким англосаксонским кулаком — в эту гнусную морду сутенера с усиками. Какой-то «амигос», сукин сын «латиноамериканос». Где это видано, чтобы в баре предлагали такую пакость. Правда, еще в Париже. Ну, там тоже французы. Латинская культура, будь она проклята. А тогда, в Брюсселе, она была просто в своем репертуаре, его Трикси. В своей настоящей роли, предлагая запросто переспать и на этом покончить. Лживая девчонка. Дрянь.

Пошел мелкий теплый дождь, желтые рифленые плитки тротуара заблестели под фонарями, как сливочное масло. Тонкий пиджак Фрэнка промок на плечах, но он упрямо продолжал шагать, сам не зная куда. Было, наверное, уже около полуночи, только книжные магазины оставались открытыми да в барах шумели посетители. Восторгались порнографическими картинками, не иначе. Ну и страна! Завтра же на пароход — и обратно. В Канаду, к черту, к дьяволу, куда угодно.

Лживая девчонка. Что из того, что она сама все ему рассказала! Развращенность и цинизм, ничего больше. Для разнообразия можно позволить себе и это, отчего бы и нет? А он ехал сюда, как идиот. Чтобы быть в одном городе со своей Трикси. Чтобы дышать одним с нею воздухом. Чтобы видеть — хоть изредка, хоть издалека. Стоять за углом и смотреть, как она прошествует со своим очередным «кабальеро»,

его маленькая черноглазая девочка. А тогда, в пятьдесят третьем? Почем он теперь знает?

Уехать к черту, и поскорее. Чтобы не видеть, и не слышать, и не помнить. Ведь он в нее верил. Как он в нее верил! А она тем временем...

Дождь кончился. Книжные магазины уже закрывались, а бары и не думали. Фрэнк вошел в первый попавшийся, сел за столик и агрессивно оглянулся — не продают ли и здесь какой-нибудь пакости. Ему очень хотелось пить, и, едва сев, он почувствовал, что ноги уже отнимаются от усталости. Слева сидела компания молодежи, справа мирно объяснялись друг с другом двое пьяниц. Официант принес пиво, Фрэнк залпом выпил стакан и закурил, придвинув к себе пепельницу с рекламой «Чинзано».

Хорошо бы просидеть здесь до утра, а утром прямо на пароход. Впрочем, насчет парохода нужно еще подумать. Совершенно необязательно, чтобы она считала, что он из-за нее уехал. В сущности, какое ему теперь до нее дело? Он приехал сюда работать, а не вздыхать по мисс Альварадо. С этим покончено. Он будет работать, а она пусть занимается чем угодно, лживая потаскушка.

Следующие два дня у него ушли на ожидание в пахнущих дезинфекцией коридорах громадного, занимающего целый квартал, здания управления федеральной полиции на улице Морено. Вокруг толпились преимущественно итальянцы, неистово вопящие, жестикулирующие и отравляющие воздух зловонием черных кривых сигар. Время от времени появлялся толстый полисмен — с минуту молча смотрел на итальянцев, заложив руки за спину и покачивая головой (те с успокаивающими жестами торопливо затаптывали свои сигары и деятельно разгоняли дым ладонями), потом начинал что-то говорить, постепенно повышая голос и кончая криком, от которого багровело его иссиня-выбритое лицо; при этом он то хватался за сердце, то указывал на громадные надписи «Prohibido fumar»[1], сделанные прямо на стенах красной масляной краской. Итальянцы сокрушенно слушали его и жестами показывали, что они все поняли, а потом полисмен уходил, и очередь снова окутывалась сизой дымовой завесой. Женщин здесь не было, их принимали где-то на другом этаже.

К концу второго дня Фрэнк, уже насквозь прокоптившийся ароматом «аванти» и изучивший на слух с дюжину самых ходких итальянских ругательств, достоялся наконец до заветной двери, куда пропускали группами человек по пятнадцать. Здесь группу сразу разделили к нескольким переводчикам. Фрэнк смотрел, как они работают, и внутренне накалялся: теперь-то он понимал, почему пришлось торчать два дня в очереди!

Переводчик бесконечно долго листал очередной паспорт, со скучающим лицом прочитывал страничку за страничкой, оценивающе разглядывал фотографию, печати. Потом долго чистил мундштук, закуривал, иногда начинал ковыряться в зажигалке. Потом он лениво задавал вопросы, не поднимая головы и не глядя на отвечающего, чистил перо и писал, любуясь собственным почерком и выводя букву за буквой. Он мог встать, оставив посетителя перед столом, и подсесть к своему коллеге, чтобы выслушать или рассказать анекдот; он мог выйти в соседнюю комнату, где работали дактилоскопистки, и затеять там болтовню, даже не потрудившись прикрыть двери. Когда до Фрэнка оставался один человек, полицейский принес кофе, все шестеро переводчиков освободились от своих черных нарукавников и расселись за круглым столом в глубине комнаты с непринужденным видом клубных завсегдатаев.

[1] «Курить воспрещается» (*исп.*).

Вот так страна, думал Фрэнк, ничего не понимая. Вот так работники! Он испытывал сильное желание схватить своего переводчика за галстук, потрясти перед его носом вывернутой щепотью, как это делают итальянцы, и крикнуть: «Ма ке кóрно!» Он не знал, что означает это ругательство, но звучало оно хорошо, сильно. Как раз для таких вот случаев.

Лишь когда перед переводчиком лег паспорт с орлом Соединенных Штатов, он изменил своему обыкновению и, подняв голову, уставился на посетителя.

— Не сюда,— сказал он, возвращая паспорт.

Фрэнк обмер. Неужели два дня потрачены напрасно?

— Как это не сюда? — спросил он возмущенно.— Мне же сказали — здесь!

— Здесь выдают седулы на постоянное жительство,— снисходительно объяснил переводчик.— Туристам они не нужны.

— Я не турист! С чего вы взяли, что я турист?

Переводчик уставился на него озадаченно:

— А что же вы такое? Иммигрант — из Соединенных Штатов?

— Да, иммигрант! Откройте паспорт и убедитесь, там постоянная виза!

Переводчик убедился и пожал плечами. Он встал и с паспортом в руке отошел к своему коллеге, тот подозвал остальных. Они устроили небольшое совещание, поглядывая на Фрэнка так, словно он был выставленным в клетке диковинным зверем. Потом переводчик вернулся, еще раз пожал плечами и уселся заполнять анкеты.

— У вас что, были там неприятности с полицией? — закончив опрос, спросил он, уже, так сказать, неофициально, из личного любопытства.

— Да так, мелочи,— ответил Фрэнк, пряча паспорт.— Растление малолетних и попытка вывезти золотой запас из Форт-Нокса. Куда теперь?

— К фотографу, потом дактилоскопия. Вон туда!

Фрэнка усадили в кабинку, укрепили перед грудью доску с номером и щелкнули анфас и в профиль. Потом отпечатки всех его десяти пальцев были сняты на дактилоскопическую карточку. Потом ему дали расписаться и оттиснуть еще один палец на маленьком, размером с игральную карту, листке голубоватой бумаги с сеткой и водяными знаками, вручили квитанцию и сказали, что через неделю он может прийти за седулой. Оттирая над раковиной пальцы мылом и пемзой, он чувствовал, что главные его мытарства остались позади.

Но мытарства с поисками работы только начинались. Зайдя к назначенному сроку в полицию и получив седулу — тот самый голубоватый листок, уже украшенный его фотографией, печатью и номерной перфорацией и запрессованный между двумя пластинками тонкого плексигласа,— Фрэнк достал список, данный ему Делонгом, и стал созваниваться с нужными людьми. Через неделю у него уже было назначено несколько свиданий.

Первые ничего не дали. Его принимали очень радушно, поили коктейлями, знакомили с массой народа, расспрашивали о новостях с родины; что же касается возможностей устроиться, то ничего определенного ему не обещали. При этом все в один голос ссылались на трудное время, на неустойчивое положение в стране и целую кучу других причин. Фрэнку казалось просто непонятным, что в этих кругах, где по-домашнему, без пиджаков собирались люди, державшие в руках половину аргентинской промышленности, никто не мог устроить на работу одного-единственного инженера, да еще соотечественника. О том, чтобы найти место по своей прямой специальности, в самолетостроении, Фрэнк

вообще не мечтал: он знал еще до отъезда, что в Аргентине этой промышленности фактически не существует. Но, в конце концов, мало ли где в наши дни может найти себе применение специалист по электронике! Для него, однако, этого применения просто не находилось.

В бесконечном ожидании и телефонной охоте быстро пролетали дни, шли недели. Его небольшой запас долларов, хотя их и меняли по очень выгодному курсу, быстро таял. В этой стране нужно было быть всегда хорошо одетым (дома Фрэнк обращал на это мало внимания) — пришлось купить модные туфли, несколько нейлоновых сорочек, полдюжины баснословно дорогих итальянских галстуков. Пришлось также поселиться в приличном отеле, так как ему с самого начала дали понять, что человеку, претендующему на хорошее положение, неприлично жить в бординг-хаузе; кроме того, ему действительно нельзя было теперь обойтись без личного телефона.

И каждый день он запрещал себе думать о Беатрис. «С этим покончено», — твердил он себе каждое утро, и днем его отвлекали хлопоты, а вот по вечерам, когда он оставался один,— по вечерам было трудно.

Однажды после ужина он вышел подышать прохладой и случайно забрел в сквер на углу Пуэйрредон и Лас-Эрас, к готическому зданию инженерного факультета. Он тут же хотел сесть в первый попавшийся троллейбус и уехать, но что-то удержало его и заставило опуститься на каменную, еще теплую от дневного зноя скамью. Он сидел и смотрел на широкие ступени темного портала, где три года назад к ним, членам студенческой делегации, подошла тоненькая черноглазая переводчица. Как все нелепо и непоправимо запуталось за эти три года!

Его Трикси. Его маленькая нежная Трикси. «В самом прямом и точном смысле слова». В постели. Но кто заставлял ее рассказать об этом, кто тянул ее за язык?..

«Лживая девчонка»,— назвал он ее тогда. Пожалуй, не совсем точно. Кто тянул ее за язык? Если уж лгать, так лгать до конца. Не могла же она опасаться, что он рано или поздно узнает об этом от других!

А даже если бы и узнал? Даже если бы и могли дойти до него какие-то слухи? Почему бы ей этого опасаться— они давно уже стали чужими друг другу, почему ее вдруг так испугала возможность разоблачения?..

Чужие друг другу. Но откуда вдруг такая откровенность перед чужим? Даже если предположить худшее, даже если допустить, что она сделала это только из трусости, только боясь разоблачения; почему ей вдруг стало так важно — узнает он об этом или не узнает? Если он действительно для нее чужой...

Фрэнк вдруг зажмурился, ослепленный полыхнувшей в мозгу догадкой. Потом он снова открыл глаза — ничто не изменилось вокруг, так же сияли среди деревьев матовые шары фонарей, скользили по асфальту машины, на скамейке напротив молча сидели прижавшиеся друг к другу двое, держась за руки; молчаливо высилась темная громада факультета, похожая на недостроенный готический собор, и ярко и крупно — даже сквозь дымное зарево электричества — светили в небе южные непривычные звезды. Ничто не изменилось вокруг, но в нем самом точно лопнула вдруг какая-то цепь, сковывавшая его сердце все эти последние недели.

Он пришел к ней через три дня, вечером, небритый и в съехавшем на сторону галстуке. Беатрис побледнела, открыв дверь и увидев его перед собой.

— Вы? — шепнула она одним дыханием.

— Трикси,— сказал Фрэнк.— Трикси, вы должны выйти за меня замуж.

Она отступила на шаг, потом еще и еще. И все еще смотрела на него огромными глазами, как на привидение. Он подошел к ней ближе, теперь ей уже просто некуда было отступать — позади была лестница.

— Поверьте,— сказал он,— это совершенно необходимо... для меня и для вас. Поверьте, Трикси! Я очень хорошо все понял — почему у вас так получилось. Трикси, вы просто обязаны, поймите!

Она пошатнулась и села на нижнюю ступеньку, закрыв лицо руками.

— Вы должны, это же все ничего не значит, все можно поправить, абсолютно все, и это даже наш долг, если хотите, — перед самою собой, перед жизнью... Трикси, вы просто не имеете сейчас права сказать «нет»!

10

И снова лето, снова приближается Новый год. Новый, тысяча девятьсот пятьдесят седьмой. Сегодня очень жарко, и Беатрис то и дело с нетерпением посматривает на часы, но до конца рабочего дня еще много времени. Дело не только в жаре: сразу после обеденного перерыва ей позвонил Фрэнк и сказал, что заедет вечером. В пять он будет ждать ее внизу, но сейчас только половина третьего. И очень жарко.

— Ну хорошо,— говорит она, подавив вздох, и вставляет в машинку новый лист.— Продолжайте, компаньеро.

Компаньеро, сидящий напротив нее, торопливо затягивается и ладонью отгоняет дым к открытому окну, через которое в комнату щедро вливается грохот трамваев и послеобеденный зной.

— Так чего тут, собственно, продолжать,— говорит он.— Как я говорил, так оно и получилось. Хорошо еще, что днем. А если бы ночью — так покамест заметили б, так все бы к черту пропало...

— Минутку,— прерывает его Беатрис.— Вы сказали «как я и говорил». Кому вы это говорили?

— Начальнику складов, кому же, сеньору Мело. Я ему сколько раз говорил, что там надо менять всю проводку. И еще говорил, что если уж пока не меняют, так хотя бы не складывали кипы под самый верх или хоть проход оставили бы вдоль стенки. А то там до труб и не добраться, а коробки все до одной без крышек! Я чувствовал, что там, если где замкнет, так оно все заполыхает. Хлопок, он же как порох — одной искры хватит...

— У вас были свидетели при разговорах с сеньором Мело?

Компаньеро думает, наморщив лоб.

— Были, да. Последний раз я с ним говорил неделю назад, и был как раз дежурный электрик и еще один парень...

— Фамилии, пожалуйста.

— Электрика — Бустос, а того — как же он, погодите... Да, Петинатто, итальянец. Он тоже на складе работает, грузчиком.

— Вот видите, все это очень важно, а вы чуть не забыли. Когда был последний разговор с сеньором Мело, точно?

— Это было... сейчас скажу... пятнадцатого, да, как раз в субботу. Я еще с Бустосом договаривался на футбол идти, а тут пришел Мело...

— Так, минутку...

Подумав немного, она начинает быстро печатать:

«В дополнение к вышеизложенному, позволю себе обратить особое внимание Вашей милости на следующее обстоятельство. Я неоднократно предупреждал начальника складов, сеньора Мело, о плохом состоя-

нии проводки в складе № 4 и о недопустимости укладки кип хлопка вплотную к стенам, что исключало возможность доступа к электрическим трубопроводам для их регулярной инспекции. В последний раз такой разговор имел место пятнадцатого декабря с/г, в присутствии дежурного электрика сеньора Бустоса и грузчика сеньора Петинатто. Факт этого разговора, который может быть подтвержден вышеперечисленными свидетелями, противоречит обвинению в невнимательном исполнении служебных обязанностей, выдвинутому против меня дирекцией фабрики «Иландериас Ламотт» и послужившему предлогом для моего увольнения без установленной законом идемнизации...»

— Так. А что вам ответил сеньор Мело, когда вы ему это сказали?

— Да что он ответил! Он говорит — если будете смотреть в оба, так ничего и не случится, вы, говорит, поменьше тут спите и не бегайте в прядильный девчонок лап... Прошу прощения, сеньорита...

— Ничего. Скажите, а разве следить за исправностью проводки не входит в обязанности дежурных электриков? Не может ли дирекция сказать, что замыкание, вызвавшее пожар, как раз и случилось по их недосмотру?

— Сказать-то они могут все, что хотите, компаньора, но вы посудите сами — одно дело следить за исправностью, когда проводка в порядке, а другое — когда ее уже десять лет как пора менять. Они и так только этим и занимаются — там сменят, там подмотают ленты, а оно, смотришь, в другом месте замкнуло. Конечно, какой-то кусок можно всегда заменить, а ежели всю проводку — так это нужно весь склад отключить на несколько дней, и опять же нужен кабель. Они, видать, еще когда монтаж делали, так решили экономию навести — сечение всюду ниже нормы, провода греются, изоляция сохнет. Там сейчас возьмешь кусок старого кабеля, а он в пальцах крошится, уже не резина, а уголь...

Беатрис опять пишет, потом снова спрашивает, пишет, меняет в машинке еще один лист. Наконец с этим покончено. Она заканчивает строчку, привычно отстукивает установленную формулу «да свершится правосудие» и с треском выдергивает лист из каретки. Потом читает все написанное вслух — медленно, делая паузу после каждой фразы. Компаньеро слушает и кивает головой.

— А кто теперь этим займется? — спрашивает он, вытерев руки платком и осторожно нацарапав внизу листа свою подпись.

— Дело, очевидно, будет вести доктор Фигероа,— говорит Беатрис.— Очень хороший адвокат, вы можете не сомневаться.

— Если бы доктор Ретондаро,— с сожалением вздыхает компаньеро.

Беатрис пожимает плечами:

— Что же делать, доктору Ретондаро самому скоро понадобится адвокат. Ну хорошо, компаньеро, у меня пока все! Мы будем держать вас в курсе, если будут новости — сообщим...

Они выходят вместе, и Беатрис стучится в дверь к секретарю профсоюза, компаньеро Пересу. Тот, по обыкновению, сидит без пиджака, толстый и плохо выбритый.

— Что там у тебя, дочка? — спрашивает он, уткнувшись в телефонный справочник.

— Вот, почитайте,— Беатрис кладет перед ним листы.— Это по делу пожара на «Иландериас Ламотт». Оказывается, их предупреждали.

Компаньеро Перес берет с края пепельницы тлеющую сигарету и погружается в чтение.

— Ну что ж, хорошо,— кивает он.— Это, конечно, меняет дело. Тут уже есть за что зацепиться...

— Кстати,— говорит Беатрис,— кому, вы думаете, можно это поручить?

— Вот это я просто и не знаю.— Компаньеро Перес озабоченно пыхтит.— Сейчас они все заняты, скоро конец сессий...

— Я бы посоветовала доктора Фигероа. Дело серьезное, здесь нужно действовать наверняка.

— Гм, Фигероа... Фигероа занят еще больше, чем кто-нибудь. Во всяком случае, попытайся с ним поговорить, может, уломаешь. А? Я-то не против.

— Хорошо, я завтра же ему позвоню, с утра.

Когда Беатрис возвращается к себе, там уже сидит новый посетитель — доктор Ларральде, дон Хиль Зеленые Штаны.

— Пролетарский привет неутомимой защитнице интересов трудящихся, — говорит он. — Долго еще вы намерены их защищать?

— Здравствуйте, дон Хиль. Откуда это вы вынырнули?

— Был на эпидемии, донья инфанта. Это правда, что вы выходите замуж?

Беатрис улыбается:

— Правда, дон Хиль. Видите, я вас обскакала.

— За вами угонишься! Это тот самый янки, я слышал?

— Да, тот самый.

— Могли бы найти и аргентинца, че. Ладно, дело ваше. Валяйте, донья инфанта, приобщайтесь к жизни. Рожать-то собираетесь?

— Д-да, конечно,— говорит Беатрис, храбро выдерживая подтрунивающий взгляд медика.— Надеюсь, дон Хиль, не один раз.

— Смотрите, какой молодец. А то ведь это сейчас не модно, современные дамочки любят жить без забот. Когда же свадьба?

— Не знаю, дон Хиль! Фрэнк пока без работы, вернее, без постоянной — пока только всякие консультации и все такое...

Она вспоминает о пяти часах и опять улыбается.

— То-то вы сияете,— говорит Хиль.— Подцепила жениха и радуется!

— Конечно, радуюсь,— кивает Беатрис.— А что же мне — плакать? Дон Хиль, а когда будете радоваться вы?

— Это насчет женитьбы? — Хиль усмехается.— Ничего не выйдет, донья инфанта. При всей моей блудливости, я все же человек постоянный.

— Я понимаю,— сочувственно говорит Беатрис.— Но вы думаете, донья Элена...

Хиль, закуривая, отрицательно мотает головой.

— Никогда,— говорит он, окутавшись дымом.— Она слишком поглощена своим сыном, своей работой... А я для нее — просто друг дома, и в таковом качестве, надо полагать, просуществую до конца.— Он опять усмехается, не очень-то весело, и подмигивает: — А что, донья инфанта, в этом даже есть свои преимущества!

Беатрис смотрит на него задумчиво.

— Я не совсем понимаю,— говорит она.— Что вообще донья Элена думает делать? Ведь это даже... неестественно. Такая молодая женщина, красивая... Не может же она вообще обойтись без личной жизни...

— Может, донья инфанта,— говорит Хиль.— В том-то и беда, что может. Видите ли, эта самая «личная жизнь» началась для нее так рано и так интенсивно, что годам к двадцати Элена вполне уже могла потерять к ней всякий интерес. Очень можно себе представить, что сейчас для нее и в самом деле не существует ничего, кроме сына...

Он умолкает, мрачно уставившись в одну точку, но через минуту встряхивается и принимает свой обычный вид.

— Послушайте, донья инфанта, я ведь зашел узнать — как там наш однорукий? Что о нем слышно?

— А я позавчера у него была, папа наконец смог добиться, чтобы разрешили свидания. Ничего, он там сидит не в одиночке, их несколько человек, все политические, так что, говорит, компания совсем не плохая.

— Как у него со здоровьем? Он ведь врет как собака, не так уж хорошо зарубцовано это легкое, я-то знаю. Как он сейчас выглядит?

— Выглядит ничего, немного похудел, конечно. Но я бы не сказала, что вид у него болезненный.

— Чертов кретин, упрямый,— ругается Хиль.

Он сидит, курит, расспрашивает Беатрис о ее женихе, рассказывает о своей поездке в Чако, сообщает очередной политический анекдот. Наконец уходит, узнав, по каким дням теперь разрешены свидания с Пико и пообещав пойти вправить ему мозги. Пятый час. Беатрис подходит к окну и высовывается наружу, щурясь от солнца. Внизу лежит пыльная жаркая улица, гремят трамваи, идут разморенные зноем прохожие. Через полчаса здесь появится Фрэнк — он всегда приходит минут за пятнадцать,— плечистый и длинноногий, в своих очках без оправы и с короткой стрижкой,— типичнейший янки. Придет и будет ждать около того столба, расставив ноги и держа руки в карманах, упрямо и терпеливо. Беатрис улыбается. Почему в каждом янки есть всегда что-то немножко детское, мальчишеское? Продолжая задумчиво улыбаться, Беатрис отходит от окна и бросает взгляд на часы.

Вот и замкнулся ее круг. Пройдет еще месяц-другой, и она превратится в сеньору Альварадо де Хартфилд, миссис Фрэнклин Хартфилд. Да, от судьбы, видно, не уйдешь.

Она сидит за столом, машинально приводя в порядок бумаги, и думает о замкнувшемся круге своей судьбы. Не совсем понятно, для чего все это было нужно — встреча с Джерри, встреча с Геймом, тот жаркий послеобеденный час в Мар-дель-Плата... Или только для того, чтобы она правильнее поняла и оценила человека, которому еще три года назад было суждено стать ее мужем?

Что ж, возможно. Возможно, ее счастье было бы ярче, выйди она замуж тогда, в пятьдесят третьем, неопытной и ничего не знающей девочкой. Но яркость — это еще не главное в жизни, далеко не главное...

Сейчас, конечно, уже не будет и той остроты чувства, того неповторимого и единственного в жизни, что бывает только один-единственный, самый первый раз — когда сливаются воедино и страх, и любопытство, и восторг открытия, и предчувствие неизведанного. Но взамен у нее есть нечто большее — вера в человека, с которым она пойдет по жизни.

Сейчас он для нее не прекрасный незнакомец, не рожденный мечтою сказочный принц. Он просто человек. Просто друг — настоящий, верный, на всю жизнь, «for better and for worse, till death do us part» [1]...

Без десяти пять — все равно в это время никто уже не придет — Беатрис начинает собираться. Она запирает комнату, отдает ключ уборщице, спускается вниз. Так и есть, Фрэнк уже тут. Около того самого столба и в той же самой позе — руки в карманах брюк, полы расстегнутого пиджака откинуты назад, длинные ноги расставлены — как будто он на палубе, а не на тротуаре. Здравствуй, принц!

Она повторяет его жест — поднимает правую ладонь к плечу и шевелит пальцами, и ей хочется зажмуриться, так он сияет улыбкой и очками.

---

[1] «В горе и в радости, пока не разлучит нас смерть» (*англ.*) — слова брачной формулы.

— Хэлло, дорогой,— она подходит, встает на цыпочки и подставляет ему щеку.— Что хорошего в мире? Ты, случайно, не нашел какой-нибудь завалящей работы?

Улыбка на лице Фрэнка уступает место огорченной и виноватой гримасе.

— С прожиточным минимумом на двоих? Нет, Трикси. Идиотское невезение — можно подумать, что и здесь уже знают о моей неблагонадежности. Впрочем, обещают, как всегда...

— Это хорошо, если обещают,— бодро говорит Беатрис.— Улыбнись по этому поводу, ну-ка!

Фрэнк устрашающе показывает зубы и вздыхает. Потом берет Беатрис за локоть и переводит на теневую сторону улицы.

— Идем куда-нибудь поедим,— говорит Беатрис,— я сегодня проголодалась, несмотря на жару. Фрэнки, ты не падаешь духом?

— Да нет... Я даже тогда не падал, когда тебя не было. То есть нет, иногда падал, но ненадолго. Мне, верно, мое упрямство помогает. Вообще-то и сейчас можно было бы жить — ведь, в конце концов, случайный заработок есть всегда... Сегодня, например, мне предложили подготовить одного парня-англичанина по математике... Потом в некоторых фирмах можно брать на дом расчеты. Но все это не постоянная работа, ты понимаешь... И если человек собрался жениться...

— Пойдем-ка, Фрэнки, посидим, — говорит Беатрис, сворачивая к маленькому скверику.

— Ты ведь говорила, что хочешь есть?

— Немного позже, когда жара спадет. Съездим куда-нибудь за город, там прохладнее...

Они садятся на каменную скамью. Беатрис снимает защитные очки и, щурясь, рассматривает мраморную группу на высоком постаменте посреди сквера. Какая-то аллегория, что ли,— обнаженные фигуры двух подростков, у юноши в руке книга и он весь устремлен вперед, а девушка, похоже, колеблется. Непонятно.

— Фрэнки,— говорит Беатрис, не отводя глаз от скульптуры.

— Да?

— Ты говоришь — «если человек собрался жениться». Он что, собрался всерьез?

Тот смотрит на нее с недоумением:

— Трикси, ты же знаешь...

— Видишь ли... Мне вот сейчас пришло в голову, когда ты это сказал... Ведь, в сущности, нелепо ставить такой важный шаг в зависимость от пустяков. Что?

Взгляд Фрэнка становится еще более озадаченным.

— От пустяков... Конечно, но... ведь прочный заработок — это далеко не пустяк!

— Господи, Фрэнк,— вздыхает Беатрис.— Если бы все были такими разумными, то люди на Земле давно бы уже вымерли!

— Трикси,— очень серьезно говорит Фрэнк,— ты отлично знаешь, что я только из-за тебя придаю этому значение. Мне самому нужно очень немного, а денег я никогда не копил и не собираюсь копить...

— А что, по-твоему, нужно мне, Фрэнк? — тихо спрашивает Беатрис.— Особняк с колоннами и норковые манто? Ты так представляешь себе мои требования к жизни?

— Нет, конечно. Но...

— Мне нужно одно, Фрэнк,— повышая голос, перебивает его Беатрис.— Мне нужно право чувствовать себя человеком, понимаешь? Как будто деньги могут дать это право! Я не ребенок, Фрэнк, и не хуже тебя понимаю, что в наше время рай в шалаше — штука довольно сомнительная. Но я не предлагаю тебе медовый месяц в хижине из консерв-

ных банок! Согласись, мы ведь с тобой не инвалиды, неужели мы вдвоем не сумеем себя прокормить?

— Грош цена мужчине, который рассчитывает на заработок жены, Трикси.

— Если говорить вообще — да. Но речь идет об особом случае, об особых обстоятельствах. И я могу тебе ответить, что грош цена женщине, которая не сумеет помочь мужу...

Они сидят и молчат, не глядя друг на друга. Мимо сквера по авениде Ривадавиа летят машины, затихающий ветер — словно и его утомил долгий знойный день — пошевеливает листья пальм, низкое уже солнце окрасило вечерним багрянцем мраморную наготу тех двоих, на высоком постаменте посреди сквера.

— Я слишком много пережила, Фрэнк, — негромко говорит Беатрис,— чтобы меня могло теперь удовлетворить обыкновенное семейное благополучие... с «прочным заработком» и прочими атрибутами счастья. Я думаю, Фрэнк, ты меня понимаешь... Я в этом уверена, иначе... иначе у нас с тобою ничего бы не получилось. Я думаю, и у тебя самого какие-то особые требования к себе и к жизни, не такие, как у большинства. Иначе, наверное, ты преспокойно уехал бы тогда в Германию, ведь правда? Пойми, Фрэнк, сейчас решается не только частный вопрос: жениться ли нам до того, как ты найдешь работу, или после; мы должны решить вообще, ради чего мы женимся и что для нас главное в жизни. Ты понимаешь, Фрэнки,— ради чего? Для чего? Одни делают это, чтобы создать лишнюю пару довольных жизнью обывателей, а другие... другие совсем для другого. Я, может быть, и сама еще не могу объяснить — для чего именно. Но я чувствую, что должно быть что-то другое, какая-то другая цель и другой смысл! Если у нас эта цель окажется общей, наш брак будет иметь смысл и... и оправдание, если хочешь. Не помню, у кого я вычитала недавно такую фразу: «Любить— это не значит все время смотреть друг на друга; это значит — обоим смотреть в одну сторону»...

Она возвращается домой поздно, около полуночи. Услышав ее шаги, дон Бернардо выходит из своего кабинета.

— Дора, опять ты меня не предупредила! Откуда мне знать, что ты просто гуляешь, а не попала под авто?..

— А я вовсе не «просто гуляла»,— весело говорит дочь, целуя его в щеку, и в этот момент он замечает, что у нее сегодня какие-то совсем особые глаза: усталые, и счастливые, и печальные.— У меня большая новость, папа. Правда, ты к ней уже подготовлен в какой-то степени.

— Tiens,— говорит дон Бернардо.— Разве Хартфилд уже нашел работу?

— О нет. Но мы решили, что это не так уж и обязательно.

Дон Бернардо задумчиво хмыкает.

— Вообще-то необязательно, дорогая, согласен... Как говорится, счастье не в этом. Но все же, какой-то минимум...

— «Прожиточный минимум на двоих»,— смеется Беатрис.— Господи, папа, сейчас ведь не кризис, в конце концов! Фрэнк, в общем, все время где-то что-то зарабатывает — пусть от случая к случаю, пусть немного, но это ведь уже кое-что. Видишь ли, я считаю, что это просто безнравственно — все подчинять деньгам. Мы ведь не лавочники, чтобы ждать, пока жених обставит квартиру...

— Кстати о квартире,— говорит дон Бернардо.— Пока вы могли бы пожить здесь, по крайней мере отпадет главная статья расхода.

— Я об этом сама думала, но ничего не выйдет. Это было бы бестактно по отношению к Фрэнку. Кажется, я нашла другой выход: ты

ведь знаешь, что Бартольди построили себе дом? Алисия однажды говорила мне, что когда они переберутся, то смогут передать кому-нибудь из знакомых свою квартирку,— она, правда, маленькая, но зато платят они всего пятьсот песо, у них еще старый контракт. Вот и надо ее перехватить! А дом у них будет готов к февралю, так она говорила. Завтра же ей позвоню.

— Да, это, пожалуй, выход...

— И какой! Так что ты напиши тетке Мерседес — пусть продает свои руины и готовится к переезду не позже февраля. Пусть только не тянет, я же не оставлю тебя здесь одного! Напиши, что счастье ее единственной племянницы — в ее руках.

— Мерседес в принципе и не возражает,— говорит дон Бернардо.— Ну что ж... Ужинать будешь, Дора?

Беатрис смотрит на него непонимающе, потом смеется.

— Ой, что ты, мы с Фрэнком так наелись! И знаешь где? Я решила похвастать национальной кухней и затащила его в одну «чурраскерию» — знаешь, такие, под открытым небом, где все жарят на углях прямо у тебя на глазах. Нам притащили вот такое блюдо — неизвестно чего, но все было очень вкусно. Фрэнк сказал, что так вкусно не ел даже во Франции. И вообще обстановка ему понравилась — костры, дым,— говорит, в этом даже есть что-то эпическое...

— Воображаю. Впрочем, иностранцы любят местную экзотику. Пойдем, Дора, посидим...

Они сидят. Час ночи, за открытым окном — крупные звезды и шорох листьев, в старом доме тихо, только стучат часы, и где-то в стенах потрескивает рассыхающееся дерево. Беатрис, уже совсем сонная, свернулась с поджатыми ногами в большом продавленном кресле. Кажется, уже все рассказано.

— Боюсь, с этой теткой опять выйдет какая-нибудь история...— Она сладко зевает и потягивается.— Ох, прости. Знаешь, ты припугни ее хорошенько! Напиши, что в ее возрасте просто опасно жить в таком маленьком городе, без хороших врачей...

— Дора, что у тебя за язык — «эта тетка»...

— Я ее очень люблю, ты ведь знаешь, но все-таки она тетка, никуда от этого не денешься. Папа!

— Да?

— Ты действительно рад?

Дон Бернардо осторожно, чтобы не рассыпался пепел, кладет сигару на край пепельницы.

— Очень это сложно, Дора,— говорит он тихо.— Слишком сложно, чтобы можно определить одним таким словом. За тебя я рад, и в то же время мне за тебя тревожно, и не хватать тебя будет в этом доме... Ты ведь понимаешь. Впрочем, не знаю, понимаешь ли ты это сейчас, но лет через двадцать поймешь. Но за тебя я рад. Ты ведь знаешь, я когда-то довольно скептически относился к твоему обручению с Хартфилдом... Правда, тогда дело обстояло иначе — ты собиралась ехать к нему. Но все равно. Дело в том, что я просто не знал его тогда, совершенно не знал.

— Я тоже его не знала...

— Да, и ты не знала. Поэтому тогда меня это тревожило. А сейчас... Что ж, Дора, могу сказать только одно — Хартфилду я готов тебя передать с совершенно спокойным сердцем. Как ни странно. Потому что вы люди очень разные... по воспитанию, по всему кругу интересов...

— Мне самой иногда это кажется удивительным,— задумчиво говорит Беатрис.— Действительно, у нас ведь почти нет общих интересов, если разобраться. И в то же время...

— Дело, очевидно, не только в интересах, Дора. И пожалуй, вообще не в них. Важнее, чтобы двое друг друга дополняли и чтобы они понимали друг друга в главном — в отношении к жизни. Чтобы у обоих, так сказать, была одна шкала ценностей. Ты меня понимаешь? А что муж увлекается спортом, а жена — музыкой, так какое это имеет значение, в конце-то концов... Иначе самыми счастливыми браками были бы браки между представителями одной профессии, а случается ведь обычно наоборот...

— Вы с Хартфилдом одинаково честны в своих взглядах,— помолчав, продолжает дон Бернардо.— Это я тебе говорю не для того, чтобы ты возомнила себя совершенством, а чтобы ты просто знала свое лучшее качество и постаралась его не утратить.

— Постараюсь, папа,— улыбается Беатрис.

— Не смейся, Дора, иной раз это приходит незаметно. Очень незаметно! Но пока вы оба честны, и я надеюсь, что ни одному из вас не придется стыдиться поступков другого. И вы с Хартфилдом дополняете друг друга, потому что ты слаба, а он человек сильный. Знаешь, Дора... Судя по тому, что ты рассказывала о Бюиссонье, он был более близок тебе по духу, но с ним ты могла бы погибнуть. Потому что он тоже был слабым. Он был честен, но слаб. А в Хартфилде честность подкрепляется силой...

Прошли праздники — рождество, Новый год. Во всяких хлопотах и суете прошел январь, необычно жаркий в пятьдесят седьмом году даже для Аргентины. Вопреки опасениям Беатрис, никакой истории с теткой Мерседес не случилось — она вовремя перебралась в столицу и сразу же приняла деятельное участие в событиях, но история случилась с самой Беатрис. В середине февраля они с Фрэнком поехали провести воскресенье за городом, там ей вздумалось походить босиком, и паук-птицеед укусил ее в ногу, пониже щиколотки. Паук был размером с хороший мужской кулак и густо покрыт рыжей шерстью, но Беатрис потеряла сознание просто от испуга и отвращения, а Фрэнк, незнакомый с южноамериканской живностью, вообразил себе невесть что и в панике погнал в город с такой скоростью, что на одном из поворотов многострадальный «форд» не опрокинулся лишь каким-то чудом. С ногой Беатрис провозились почти три недели, и первое время она даже не могла ходить.

Наступили тихие теплые дни ранней осени. Ночами уже бывало свежо, но потом солнце опять припекало по-летнему, под ногами шуршали сухие листья. Их сгребали кучами, жгли, и по окраинным улицам стлался из садов терпкий синеватый дымок.

В субботу шестнадцатого марта Дора Беатрис Хартфилд, урожденная Альварадо, в последний раз вернулась в дом на Окампо. Утром их брак был оформлен в гражданской регистратуре муниципалитета, венчание было назначено на два часа. Она сидела у себя в комнате, притихшая и немного испуганная, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя.

— Дора, ты одеваешься? — постучала в дверь тетка Мерседес.— Поторопись, милая, не так уж много времени остается.

— Да-да, тетя,— рассеянно отозвалась Беатрис.— Одеваюсь.

Но она не одевалась, она просто сидела и прислушивалась к себе самой. На ней все еще был серый костюм, в котором она вернулась из регистратуры, а венчальный туалет так и лежал на ее узкой кровати — тюль, нейлон, крошечная шапочка с похожей на корону диадемой из флердоранжа. Ее белые доспехи...

Она подняла голову и посмотрела на картину над секретером. Эта

стена была уже пуста — книги и рояль переехали отсюда на прошлой неделе. Остался только старый секретер, черный и молчаливый, и висящая над ним картина, изображающая девушку в белых доспехах. И мрак за ее спиной.

«Джерри, ведь у меня за плечами тоже мрак,— сказала Беатрис.— Черная пустота, провал. Ты молчишь сейчас, уже ровно три года ты молчишь, Джерри Бюиссонье, молчишь и не можешь ответить — правильно ли я поступаю. Вместо тебя отвечает твое письмо. Твое последнее и единственное, что я от тебя получила.

Ты завещал мне любовь к жизни — и я люблю ее, несмотря ни на что. Люблю, хотя в ней куда больше печального, чем веселого, но разве для веселья приходит человек в этот мир? Он приходит выполнить свой долг. Именно поэтому я так поступаю. Потому что люблю жизнь, потому что у меня есть долг перед жизнью и я должна его выполнить, и еще потому, что нашла человека, который смотрит на все это так же, как смотрю я сама.

Разве не этим — пусть неосознанным — осознанием своего долга объясняется вечное и непреодолимое стремление что-то улучшить вокруг себя, что-то изменить, что-то переделать?.. Это начинается с самого простого, самого изначального: построить хижину, засеять пшеницей голую пустошь, родить ребенка, — а потом идет все дальше и глубже... Помнишь, ты писал мне о людях, которые умеют переделывать жизнь своими руками?»

Беатрис вздрогнула от неожиданности, когда зазвонил телефон. Поколебавшись секунду, она встала и подошла к столу.

— Ола, донья инфанта? — послышалось в трубке: — Черт, боялся вас не застать! Что вы сейчас делаете?

— Как что делаю? — удивленно сказала Беатрис.— Собираюсь ехать в церковь, вы сами могли бы догадаться. Но что случилось? Почему это вас не было в муниципалитете?

— Все объясню, погодите. Можем мы увидеться? Разговор на десять минут, но очень срочный. Э?

— Сейчас? — нерешительно переспросила Беатрис и бросила взгляд на часы.— Право... не знаю, у меня уже так мало времени...

— Ладно, успеете! — нетерпеливо прервал Хиль.— Я говорю — десять минут, больше не задержу.

— Ну хорошо. Где вы сейчас?

— Да здесь, в двух шагах, я звоню из будки. Через пять минут буду...

Хиль повесил трубку, не дожидаясь ответа. Действительно, не прошло и пяти минут, как в дверь заглянула тетка Мерседес.

— Послушай, дорогая,— сказала она изумленно,— там тебя срочно спрашивает какой-то совершенно дикого вида молодой человек. Он утверждает, будто ты его ждешь!

— Да-да, тетя, я знаю, пусть идет сюда...

Тетка Мерседес онемела.

— Но, Дора! — трагически сказала она, придя в себя.— Ты окончательно потеряла всякое представление о приличиях, моя дорогая! В день свадьбы принимать молодых людей у себя в спальне...

— О господи,— вздохнула Беатрис.— Извини, тетя. Проси его в гостиную, я сейчас...

Вид у дона Хиля оказался действительно довольно дикий: побриться он сегодня, во всяком случае, явно не догадался.

— Ола, — сказала Беатрис, подавая ему руку. — Знакомьтесь, тетя,— доктор дон Эрменехильдо Ларральде. Дон Хиль — моя сеньора тетушка, донья Мерседес Мария Альварадо де Агирре-и-Бельтранеха...

Представленные церемонно поздоровались, и донья Мерседес Марна величественным жестом указала Хилю на кресло.

— Прошу вас, кабальеро,— сказала она, торжественно опускаясь в другое.

Небритый кабальеро сел. Изобразив на лице светскую и обольстительную — как ему казалось — улыбку, он элегантным жестом поддернул несуществующую складку на брюках и небрежно заложил ногу на ногу. Потом он бросил на Беатрис быстрый и свирепый взгляд, угрожающе шевельнул правым усом.

Беатрис набралась храбрости.

— Тетя, — сказала она сожалеюще, — тебе, очевидно, некогда... Я надеюсь, кабальеро тебя извинит... в такой день...

Хиль, проявляя полное понимание, вскочил и раскланялся.

— О, разумеется, сеньора... Разумеется... Я понимаю—столько хлопот, еще бы! Очарован знакомством, сеньора, очарован...

— Я тебе помогу встать, тетя,— нежно сказала Беатрис,— эти низкие сиденья не для твоей подагры... Опирайся на мою руку, ну-ка!

С этими словами она энергично извлекла тетушку из кресла, и та не успела опомниться, как очутилась у дверей.

— Да что ты, моя милая! — воскликнула донья Мерседес, освобождаясь из рук заботливой племянницы.— Откуда у тебя эти манеры — можно подумать, что ты выросла на мельнице и привыкла иметь дело с мешками! Если вам с кабальеро нужно поговорить наедине, то так и скажи — я ведь еще не окончательно выжила из ума, чтобы настаивать на роли дуэньи при девице столь современного воспитания... Очарована знакомством, кабальеро.

Уже выходя из гостиной, она не удержалась и еще раз строго взглянула на Беатрис.

— Надеюсь, ты не забыла, что сегодня твоя свадьба?

— Благодарю, тетя, я помню,— смиренно заверила Беатрис. Когда дверь закрылась, она посмотрела на Хиля и пожала плечами.— Как вам это нравится? В глазах тетки я просто какое-то чудовище легкомыслия.

— Сеньора не так уж далека от истины. Ну хорошо, а теперь к делу. Вы вообще способны держать язык за зубами?

— Я никогда не была болтливой. А что?

— А то, что наш однорукий вчера вечером бежал из Дэвото.

Беатрис ахнула.

— Но... каким образом? — спросила она тихо.

— Их везли в координационное управление, на одном из перекрестков в машину врезался грузовик, ну и... Словом, они удрали все трое. Полиция не могла стрелять: на улице было полно народу.

— Я понимаю,— ошеломленно сказала Беатрис.— Трое, вы сказали?

— Да. Он был с Хуаресом и еще одним парнем, из той же компании. Так вот в чем дело — их нужно спрятать на несколько дней. Все связи Хуареса давно под наблюдением, это естественно, а за родственниками и знакомыми Пико начнут наблюдать с сегодняшнего дня... Точнее — уже несомненно начали. Значит, нужно какое-то надежное место дней на десять, пока их не снабдят документами...

— Где они сейчас? — спросила Беатрис задумчиво.

— Сейчас? Сейчас они у меня на голубятне. Но там ведь соседей — как муравьев... Хорошо еще, если никто ничего не заметил. Во всяком случае, вечером их нужно оттуда убрать.

— Давайте посоветуемся с папой, дон Хиль. Я уверена, он что-нибудь придумает! Может быть, в конце концов, пока здесь...

— Нет, это исключено. Дона Бернардо нельзя замешивать в такую

историю. Я думал другое — может быть, у кого-нибудь из ваших знакомых, у вас ведь их столько... Конечно, самое простое было бы увезти их за город, но в первые дни это опасно — возможен контроль на дорогах.

— Я понимаю...

Беатрис прикусила губу. В их новой квартирке беглецы могли бы прожить до первого апреля, пока они с Фрэнком будут в Кордове. Только вот удобно ли решать этот вопрос самой, не посоветовавшись с мужем?..

— Знаете, дон Хиль, кажется, я кое-что придумала. Извините, я сейчас...

У себя в комнате Беатрис схватила сумочку и достала из внутреннего отделения маленький плоский ключ. На выдернутом из блокнота листке она написала адрес. И вдруг ею овладела неуверенность.

Она присела на кровать, нерешительно покусывая губы. Конечно, это проще всего, но...

Спокойно, спокойно. Может быть, все обойдется. Но если их там найдут?

Она — дочь известного оппозиционера. «Дона Бернардо нельзя замешивать»,— сказал Хиль. Но что он имел в виду? Нельзя посоветоваться? Нельзя спрятать беглецов в этом доме? А в ее — можно? Замужем или не замужем, она все равно остается для всех дочерью Альварадо...

А положение Фрэнка? Иностранец, занесенный в черные списки у себя на родине, всего несколько месяцев в Аргентине — и уже замешан в местную политику. Да еще с кем — с коммунистами!

Его просто вышлют, немедленно. В двадцать четыре часа. И куда им тогда деваться? Ни один латиноамериканский консул не выдаст визы человеку, высланному за укрывательство местных коммунистов, а в Штатах у него прежде всего аннулируют паспорт. В лучшем случае.

Беатрис было теперь по-настоящему страшно. Она сидела как завороженная, не отрывая глаз от маленького ключа, поблескивающего у нее на ладони. И нужно было случиться такому именно в этот день!

Но ведь, в сущности, ничего пока не случилось... Никто от нее этого не требует, Хиль просто пришел посоветоваться. Можно держать пари, что он уже советовался и еще собирается советоваться с другими своими знакомыми. Почему именно она должна найти решение? Другие ведь его не нашли!

Беатрис вздохнула и вышла из комнаты.

— Вот, возьмите,— сказала она, протягивая Хилю ключ и листок бумаги с адресом.— Это от нашей новой квартиры. Я думаю, там никто не побеспокоит... Тихая улица и никаких соседей.

— А вы сами?

— О, мы ведь все равно уезжаем прямо из церкви...

— Вот как.— Хиль улыбнулся и спрятал ключ в карман.— Ну, спасибо, донья инфанта. Спасибо. А вы, значит, в свадебное путешествие?..

— Ага.

— Конечно, в ваше любимое Мар-дель-Плата?

— О, что вы! — Хилю показалось, что Беатрис почему-то смутилась.— Мы едем в Кордову. Вернемся, очевидно, к первому, а если Пико и его друзья уедут раньше, пусть оставят ключ папе или тете Мерседес.

— Договорились.

— Договорились, дон Хиль. Я еще увижу вас сегодня?

Хиль вздохнул и отрицательно покачал головой:

— Боюсь, мне сегодня не до празднований. Жаль, конечно, донья инфанта, мне всегда жаль упущенной выпивки, но ничего не поделаешь. Ладно, я испаряюсь, бегите одеваться. Каррамба, я ведь вас еще не поздравил! Желаю счастья, донья инфанта! И — побольше сыновей...

Она проводила Хиля до лестницы и медленно пошла к себе.

— Дора! — трагически воскликнула выглянувшая из двери тетка Мерседес. — Ты еще не начинала одеваться!

— Иду, иду,— сказала Беатрис,— ничего страшного, если даже опоздаем на пять минут. Он приходил по важному делу...

Теперь, когда решение было принято и Хиль унес ключ, она не испытывала страха. «Все будет хорошо,— подумала она,— все будет хорошо. И у меня обязательно родится сын!»

Ей вспомнился Херардин и его словечки, которых теперь с каждым днем становилось все больше и больше. «Если бы мне такого малыша, — подумала она, — я была бы абсолютно счастливой женщиной. Впрочем, каким бы он ни оказался — я все равно буду счастлива...»

Потом она сообразила, почти с испугом, что в день своей свадьбы думает о счастье как о чем-то отдаленном. А разве сейчас она не счастлива?

«Не знаю, не знаю,— тут же ответила она себе.— Мне сейчас тревожно, как перед экзаменом. И так же, как перед экзаменом, кажется, что счастье будет потом — когда сдашь. Но только этот экзамен никогда не кончится, он теперь на всю жизнь, и, может быть, счастье тем и хорошо, что оно никогда не вспыхивает у тебя в ладонях, а всегда светит где-то впереди — как путеводный огонь...»

Ленинград, 1961—1963

ОТ ЗАКАТА — К РАССВЕТУ

Герои романов Юрия Слепухина «У черты заката» и «Ступи за ограду» живут в одной из самых больших стран Латинской Америки — в Аргентине.

Прошло почти двадцать лет с тех пор, как появилось первое издание этих романов. Тогда они были написаны по горячим следам — в них отражались бурные события и личной, и общественной жизни аргентинцев середины 50-х годов двадцатого века. Минувшие два десятилетия неизмеримо расширили наш жизненный и читательский опыт.

Далекий континент как бы приблизился к нам. В братскую семью социалистических стран вошла Куба, и судьбы острова Свободы, его смелые, мужественные люди стали близки нам. Мы прочитали романы кубинца Карпентьера и стихи певца кубинского народа Николаса Гильена. Болью отозвалась в наших сердцах чилийская трагедия, в наш читательский круг навсегда вошли стихи Пабло Неруды, выразившие душу Латинской Америки — наследие древней индейской культуры, вековую борьбу за свободу, ненависть к военным диктатурам. Мы поразились за эти годы мудрости и безудержной фантазии романов колумбийца Габриэля Маркеса. Так что для нас, живущих в начале восьмидесятых годов, Латинская Америка — это уже не терра инкогнита, не далекая неизвестная земля, она — часть нашего жизненного опыта, нашего духовного мира.

Два десятилетия — немалый срок, особенно в наше быстротечное время. Тем более это суровый испытательный срок для романа о современности. Заметим, что даже многие исторические романы, повествующие о давным-давно минувших веках, не всегда выдерживают двух десятилетий — многое в них кажется наивным, односторонним, не соответствующим современному читательскому восприятию.

Подчеркнем сразу — романы Юрия Слепухина это действительно трудное испытание выдержали достойно. Автор внес во второе издание необходимые поправки, переписал отдельные страницы, но в целом оба романа полностью сохранили свою структуру, облик героев, сцепление их судеб и характеров. А наш опыт, существенно расширившийся за минувшие годы, не только не ослабляет интереса к жизни героев Ю. Слепухина, но, наоборот, помогает зорче увидеть и глубже понять жизненный пласт, художественно исследованный в романах. Тем более, что советская литература, охватившая в жанрах очерка и публицистики все страны современного мира, почти не затронула в романах и повестях жизнь, быт, коллизии и конфликты далекого континента. Юрий Слепухин — один из первых наших литераторов, кто воспроизвел средствами художественной прозы одну из граней сложного латиноамериканского мира.

А мир этот действительно сложен. Чтобы его понять, нужно преодолеть многие поверхностные, но — увы — прочные стереотипы. Латинская Америка предстает в них в маскарадных костюмах фестивалей, в сомбреро и пончо, в ярких нарядах креолок и мулаток, в шелесте банановых рощ, в ритмах зажигательных танцев. Но это лишь тонкий внешний слой жизни. Конечно, в романах Ю. Слепухина мы видим ослепительные краски далекого от нас необычного мира с его январской жарой и июльскими холодами. Герои и героини этих романов гуляют по широким, просторным авенидам, сидят за столиками кафе под пальмами, слышат звуки океанского прибоя на многокилометровых пляжах или старое сентиментальное танго, доносящееся из ближнего поселка. Весь этот зримый мир, в котором живут Херардо и Хиль, Элен и Беатрис, передан писателем конкретно, со знанием дела. Улицы, дома, пляжи — это не декорации, не условные конструкции, куда помещены герои, а реальное пространство и атмосфера, в которых живут люди. Иначе и быть не может. Без этих жизненных деталей, без красок, звуков, объемов предметного мира нет реалистического произведения. Но герои романов Ю. Слепухина живут не только в этом, так сказать, микромире, они живут и в большом мире. Это не только Аргентина — Буэнос-Айрес, Мар-дель-Плата, это вся Латинская Америка. Два десятка стран, составляющих ее пеструю карту, и гигантская Аргентина и, к примеру, крошечная Гайяна — части единого целого. А для этого целого, как и для каждой его части, характерны общие черты — многовековая борьба народов сперва против испанских колонизаторов, а затем против бесцеремонного вмешательства Соединенных Штатов в жизнь южноамериканских стран, против многочисленных диктаторов, всех этих генералов и адмиралов, сменяющих друг друга в президентских дворцах. Вот эта сторона жизни континента — жестокость военных диктатур, беспощадность полицейского насилия, напряженность

социальных отношений, предгрозовая атмосфера, предвещающая, говоря словами поэта, «невиданные перемены, неслыханные мятежи», хорошо передана в романах Ю. Слепухина.

Ненависть к диктаторскому насилию втягивает в свое магнитное поле не только сознательных революционеров, но и столь далеких первоначально от каких-либо общественных интересов главных героинь романа — Элен и Беатрис. Им обеим ненавистны не только полицейские с их дубинками, но и благовоспитанные господа в черных костюмах, которые оправдывают это насилие и держатся до конца за свои привилегии. Именно в этой предгрозовой обстановке и становится возможным постепенное духовное пробуждение, сложное и противоречивое освобождение от иллюзий, которое совершается разными путями не только с Элен и Беатрис, но и с главным героем романа «У черты заката» художником Жераром. Ненависть не только к открытому физическому насилию, но и ко всем формам насилия духовного, к лжи, лицемерию, бесчеловечности, олицетворением которых выступают и молодые «патриции» из окружения Беатрис, и продажный бизнесмен Брэдли, — ненависть к этим людям ведет героев Слепухина к поиску иных друзей, иных ценностей. И важной, более того, просто необходимой вехой на этом пути становится прикосновение к народной жизни, к земле, олицетворяющей устойчивость жизни, с ее трудом, честностью и прямотой.

В первом из романов есть маленький эпизод: смятенная, почти потерявшая себя Беатрис едет автобусом за восемьсот километров от дома — в Кордову. Она подавлена, раздражена и спутниками своими, и мещанской суетой родственников и друзей. На короткой ночной стоянке Беатрис выходит из автобуса... Перед ней была необозримая пампа — степь, звезды, запахи травы. «Это было больше, чем просто ночная степь: это была сама Патриа, древняя Земля Отцов, неустанно впитывавшая в себя поколение за поколением», — пишет автор. Казалось бы мимолетная встреча с пампой не проходит бесследно для героини. Это очень точная сцена. Причем точная не только психологически, но и исторически. Пампа для Аргентины — это то же самое, что море для голландцев, лес для финнов. Не только источник жизни, но и почва духовного мира, олицетворение национальной традиции, основа легенд, преданий, исторических воспоминаний, народного характера. Без этой прочной основы, без Отечества человек не может жить. Пампа воспета не только в песнях Южной Америки, о ней написаны целые трактаты, в том числе знаменитая книга аргентинского писателя и социолога прошлого века — Доминго Фаустино Сармьенто, в которой он передал сложный мир «дикой пампы», увидел в ней одну из опор национального самосознания.

Ю. Слепухин точно показал эту черту латиноамериканской жизни, как, впрочем, и другую — пеструю, многосложную этническую основу этой жизни, тесную связь латиноамериканцев с другими народами. Действительно, все население континента родилось и выросло в результате сплава трех основных культур — европейской, аборигеноиндейской и африканской. Первый вождь борьбы южноамериканцев за независимость знаменитый Симон Боливар говорил: «Мы — это весь род человеческий в сжатом виде». В романах Слепухина зримо и пластично раскрывается подчеркнуто иберийский, традиционно испанский характер воспитания и образования, полученного Беатрис. Это и чувство сословности, и элементы мистицизма, и всеобъемлющее влияние католицизма. Многими нитями герои романов связаны с другими народами и странами — и по воспитанию, и по происхождению, и по тяготению — политическому и духовному.

Художник Жерар весь в своем французском прошлом; то, что он покинул родную землю, не ослабило, а еще более усилило его тяготение к ней.

Разные черты американизма представляют такие герои романа, как Брэдли и Фрэнк. Один — волчью хватку, абсолютную беззастенчивость в погоне за долларом, полное невежество и, главное, нежелание ничего знать и ни с чем считаться, если это не касается американской жизни. Именно такой, как Брэдли, и загоняет тонкого, талантливого, ранимого Жерара в железный капкан денежной кабалы и шантажа.

Но есть и другие черты американизма — деловитость, прямота, умение работать. Обладатель этих черт Фрэнк проходит нелегкий путь к сердцу Беатрис. Анализ противоречий, вызванных упрощенной прямолинейностью американского инженера и утонченностью воспитанницы привилегированного колледжа, принадлежит к числу удачных страниц книги. «Почему-то любят не нас, — искренне удивляется Фрэнк. — Ведь у нас все гладко, понятно...» Кратко, несколько бегло, но ярко показана автором и почва американизма. Впечатляюща картина американского городка, зависящего от военных заказов, нравы местной верхушки, провинциального истэблишмента, как любят называть элиту американские авторы. Сатирические краски несколько вытесняют здесь психологический анализ, пронизывающий романы в целом, но эти страницы необходимы, они придают многомерность действию, позволяют понять почву, взрастившую героев повествования.

Несколько слабее выглядит «бельгийская» и особенно «немецкая» линии романа. Они представляются излишне беглыми и выходят за рамки действия. Хотя сама по себе тема, затронутая романистом, исключительно интересна и важна для понимания латиноамериканской жизни. На заокеанском континенте оказались не только немецкие антифашисты. После разгрома гитлеризма в Южную Америку перебрались тайно и явно тысячи его последователей. Они образовали свои колонии, а диктаторы, вроде правителя Парагвая, баварца по рождению, предоставили им убежище, скрыли от

правосудия. Мы знаем, что уже в 70-х годах пиночетовских палачей «консультировали» гитлеровские заплечных дел мастера. Так что даже беглый рассказ о носителях фашистских традиций, содержащийся в романе «Ступи за ограду», вполне современен. Без него пестрая и сложная картина жизни Латинской Америки была бы неполной.

В густонаселенных романах Ю. Слепухина, действие которых происходит в Аргентине, Соединенных Штатах, Бельгии, среди множества лиц первого и второго плана особенно выделяется художник Жерар, он же Херардо, главный герой романа «У черты заката», и две женщины — Элен и Беатрис, тесно связанные с ним. Их жизнь прослежена в обоих романах.

Пристальное внимание автора к фигуре Жерара вполне оправдано. Художественное исследование жизни и мыслей этого человека дает возможность автору поставить ряд сложных и острых вопросов, определяющих социальную значимость и современное звучание романов. Среди них — положение художника в буржуазном мире, отношение личности и общества, механизм воздействия частнособственнического мира на творчество художника.

Казалось бы, вопросы эти неоднократно исследовались писателями разных стран. Трагической судьбе художников посвящены многие знаменитые произведения («Жан Кристоф» Ромена Роллана, «Мартин Иден» Джека Лондона, «Бремя страстей человеческих» Сомерсета Моэма и др.), и все же — это бесконечная тема.

Ю. Слепухин одним из первых в нашей литературе обратился к ней и нашел такой поворот темы, которого еще не затрагивали другие авторы произведений, посвященных судьбам художников...

Французский художник Жерар Поль-Анри Бюиссонье, ставший на испано-аргентинский манер Херардо, покинул свою родину в смятении чувств. Он не нашел признания во Франции, не видел возможности завоевать зрителя, легко поддающегося капризам моды. Но Жерар, убежденный противник модернистских деформаций, стремился сохранить свою свободу, хотел писать исторические картины и городские виды, хотел показать на полотнах красоту людей и земли Франции. Он бежит за океан, надеясь, что свежий и неизбалованный аргентинский зритель поймет и оценит его поиски, его искреннее чувство. Так же когда-то бежал на тихоокеанские острова, ближе к естественным людям, соотечественник Жерара — Поль Гоген...

В романе показано, что Жерар — не просто эмигрант, стремящийся забыть о своем прошлом. Нет, оно всегда с ним. И не только картины парижских бульваров, тихие воды Сены, но и лучшие человеческие качества — честность, порядочность, чувство долга. Именно эти качества проявились в рядах тех, кто сражался с нацистскими полчищами. Жерар был одним из них.

Шаг за шагом прослеживает автор путь Жерара к трагической развязке. В романе убедительно показано, что причина гибели художника — не только жестокий шантаж и давление дельцов и негодяев. Это внешняя причина. Но есть и другая причина, о которой не следует умалчивать. Это слабость и неустойчивость самого Жерара, его внутренняя готовность к компромиссу, даже точнее — неумение, неспособность противостоять давлению. А эта неспособность определяется иллюзиями, которые заменяют у Жерара целостный взгляд на мир.

Нам глубоко симпатичен этот человек. Ю. Слепухин рисует его честным, умным, тонко чувствующим, отзывчивым. Недаром к нему тянутся совершенно разные люди. И Элен живет в его доме отнюдь не ради денег; и капризная, эгоцентричная Беатрис интуитивно чувствует в этом человеке глубину, самостоятельность, богатство духовного мира. Но все эти прекрасные качества, убеждает нас автор логикой художественной доказательности, совершенно недостаточны, если у человека нет осознанной идеи, ясного представления о том, что совершается в мире и каково место человека в нем. У Жерара этого осмысленного понимания не было. И это, конечно, не вина его, а беда. Жерар был убежден, что художник абсолютно свободен в своем творчестве, что его личная человеческая и художническая честность сама по себе является лучшей гарантией этой свободы. Достаточно трезвый и точный в своих суждениях о различных направлениях в искусстве, последовательный в своей верности реализму, Жерар непоследователен в своих суждениях о месте личности в обществе. Несбыточная мечта о личной независимости в обществе, о свободе творчества застилает взор Жерара, не дает ему возможности верно оценить реальную действительность. Реалист в искусстве оказывается бессильным перед этой действительностью. Он бежал из Франции в Аргентину, он мог бежать из Аргентины в любую другую страну буржуазного мира, — итог был бы тем же. В этом смысле одна из ключевых сцен романа «У черты заката» — спор Жерара со своим садовником — коммунистом доном Луисом. «Человек хочет только одного, — в растерянности говорит Жерар, — немножко личного счастья и чтобы его оставили в покое». Но тут же сам вынужден признать, что «его в покое не оставляют». И характерно, что умный и тонкий Жерар свою позицию мнимой свободы индивида противопоставляет взглядам коммунистов, о которых он судит, повторяя обывательские выдумки, будто марксисты вообще не считаются с личностью, считают ее каплей в океане, пренебрегают ею как ничтожно малой величиной. Предрассудки эти, искусственно поддержанные теми, в чьих руках все рычаги общественного мнения, действительно застилают глаза многим честным интеллигентам западного мира. Жерару взволнованно и очень точно отвечает дон Луис, говоря, что человек —

это не малая частица, «а то, ради чего мы и живем, и сидим по тюрьмам, и помираем когда приходится... Мы, по правде сказать, не очень-то умели говорить красивые слова о «правах личности», но говорить — это одно, а делать — это совсем другое».

Латиноамериканские коммунисты завоевали право на такие резкие суждения своей беззаветной борьбой за интересы народа. Именно коммунисты во всех странах, а не «либеральные говоруны», как их назвал дон Луис, — подлинные борцы за права и свободы личности. Эти права и свободы должны быть завоеваны не для одиночек, а для всего общества, освобожденного от буржуазного гнета. Но пока существует буржуазный мир, нет и не может быть той свободы личности, о которой мечтал Жерар.

Прозрение пришло к нему поздно — накануне смертного часа, когда уже не было выхода. Это прозрение продиктовало Жерару точные слова, обращенные к Беатрис в его последнем письме: «...нельзя быть посторонним наблюдателем... Когда общество переживает кризис, бездействие и предательство становятся равнозначными понятиями... Выключиться из жизни мы не имеем права... Как это нужно делать — я не знаю, поэтому я и гибну».

Ю. Слепухин убедительно воспроизвел взлеты, падение, прозрение художника, его трагическую судьбу. Судьба таких, как Жерар, — а их тысячи в буржуазном мире — еще и еще раз подтверждает неумолимую истинность гениальных ленинских суждений о том, что «...речи об абсолютной свободе одно лицемерие... Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, господин писатель? от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в рамках и картинах... Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная... зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания».

В романе «У черты заката» Ю. Слепухин раскрывает механизм этой зависимости художника «от денежного мешка». Одним из первых в нашей литературе он прослеживает, в частности, как реализовалось буржуазное требование порнографии в практике коммерческого искусства. Ведь когда был написан роман — в конце 50-х годов — еще не было массового, так называемого порнобизнеса, то есть специальной сети «сексшопов» — магазинов порнографических книжек, специальных издательств, киностудий, выпускающих массовыми тиражами свою отравленную продукцию. Насаждение цинизма, превращение человеческих чувств в животные инстинкты, тотальное развращение подростков и юношей — таков реальный результат этого черного бизнеса, стремящегося подавить или переключить общественную активность молодежи. Но, чтобы порнобизнес функционировал, нужны исполнители — не только натурщицы и натурщики, но и актеры и актрисы, художники, режиссеры, писатели. Одной из первых жертв этой отвратительной индустрии и стал Жерар.

Колоритна в романе фигура торговца кожами Руффо — заказчика порнографической продукции. В нем сочетаются невежество торгаша, старческое сластолюбие, мещанское стремление «быть на уровне». Сегодня непонятный ему модернизм, завтра секскартины — лишь бы казаться современным, знатоком и ценителем искусств.

Точно так же прозорливо Ю. Слепухин в своих романах, написанных два десятилетия тому назад, показывает сложный и противоречивый процесс развития молодежного движения — от стихийного протеста широкой и аморфной оппозиции до осознанной борьбы немногих.

Реальности латиноамериканской жизни порождают горючий материал для народных выступлений, для вспышек борьбы, принимающей подчас самый решительный вооруженный характер.

В романах Ю. Слепухина немало картин такого рода. Бесправие рабочих, произвол хозяев, их высокомерие, их провинциальный аристократизм, нежелание считать трудящихся, «плебеев», людьми — все это порождает глухую ненависть низов, подчас вырывающуюся наружу, заставляет наиболее чутких людей из среды интеллигенции — студентов, врачей, юристов — задумываться над смыслом происходящего. Сложность социально-политических коллизий в Аргентине усугублялась таким противоречивым явлением, как господство Перона и созданного им образа правления и образа мышления — так называемого хустисиализма, то есть «господства справедливости». На деле перонизм был сложным и противоречивым явлением, и в романах Ю. Слепухина эта сложность не обойдена. С одной стороны, жестокий режим подавления демократических свобод, коррупция и произвол верхов, но в то же время под флагом демократического лозунга корпоративного общества — расширение прав профсоюзов, оплаченные отпуска, некоторое ограничение частного капитала. Все это дезориентировало широкие слои оппозиции, которые, кроме коммунистов, так и не смогли определить своего четкого отношения к перонизму, «сводили с ним мелкие счеты», как говорит один из героев.

Но эта широкая оппозиция вовлекла в свою орбиту все лучшее, все честное, что есть в аргентинском обществе. Происходит непрерывный отбор — временные попутчики отсеиваются, идут на компромиссы с правящими верхами, остаются самые стойкие, мужественные, готовые до конца бороться за интересы народа.

Ю. Слепухин показывает этот процесс в его ранних стадиях: великая цель — освобождение народа — привлекает в ряды борцов не только рабочих, но и выходцев из состоятельных слоев общества, молодую интеллигенцию.

Когда читаешь страницы романов, посвященные этому размежеванию оппозиции, кристаллизации в ней истинных героических борцов, то вполне естественно мысль обращается к незабываемым страницам кубинской революции, штурму Монкадо, высадке группы бойцов, к которым присоединилось большинство трудящихся. Молодой адвокат Фидель Кастро возглавил подлинно народную революцию, приведшую Кубу к социализму. Уже в наши дни бойцы сандинистских отрядов в Никарагуа добились свержения ненавистной диктатуры Сомосы. И вновь вместе с рабочими были юристы, социологи, офицеры. Создание широкой демократической оппозиции для борьбы с военными диктатурами — закономерность революционного движения в Латинской Америке.

Ю. Слепухин средствами художественного повествования, не претендуя на большие обобщения, рассказал о разных формах этого процесса.

Революционная борьба молодежи — не внешний фон повествования. Обе героини романов Слепухина, при всей их, казалось бы, жизненной несхожести, все больше и больше тянутся к осознанию смысла жизни. Но это осознание неотделимо от участия в борьбе народа за свои права. Элен — дочь бедных кварталов, рано узнавшая изнанку жизни, стихийно приходит к чувству ненависти. Безжалостные бизнесмены, погубившие жизнь ее Херардо, высокомерные сыновья и дочери из богатых семей — она органически не приемлет их. Ее не надо учить ненависти, она тянется к тем, кто знает, за что и как бороться. Профессорская дочка Беатрис, не знавшая нужды и лишений, также приходит к тем, кто готов бороться против лицемерия, фальши, эгоизма. Обе героини еще не все осознали до конца. Но сделан главный шаг — обе переступили ограду узкого личного мирка. Обе подошли к черте,— но не заката, а рассвета...

Романы Ю. Слепухина расширяют горизонт нашего познания современного мира, мы сопереживаем его героям, вместе с ними глубже и полнее познаем логику жизни, сложность человеческих отношений.

А. И. Новиков,
доктор философских наук,
профессор

СОДЕРЖАНИЕ

У ЧЕРТЫ ЗАКАТА. *Роман* . . . 3

СТУПИ ЗА ОГРАДУ. *Роман* . . . 295

А. И. Новиков. От заката—к рассвету 555

Юрий Григорьевич Слепухин

У черты заката

Ступи за ограду

Редактор Л. А. Плотникова
Художник Ю. Г. Смирнов
Художественный редактор О. И. Маслаков
Технический редактор Л. П. Никитина
Корректор Л. В. Берендюкова

ИБ № 1541

Сдано в набор 20.11.79. Подписано к печати 11.04.80. М-24184. Формат 70×108¹/₁₆. Бумага тип. № 3. Гарн. литер. Печать высокая. Усл. печ. л. 49,0. Уч.-изд. л. 50,98. Тираж 50 000 экз. Заказ № 361. Цена 3 р. 30 к.
Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата. 191023. Ленинград, Фонтанка, 57